



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

UC-NRLF



B 3 469 902



1

2

3

4

5

6

.

]

.

.

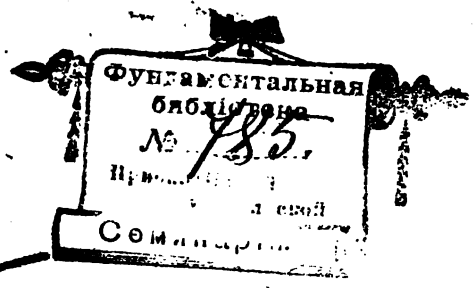
.

.

834/85

Кол-во

УЧБ
135

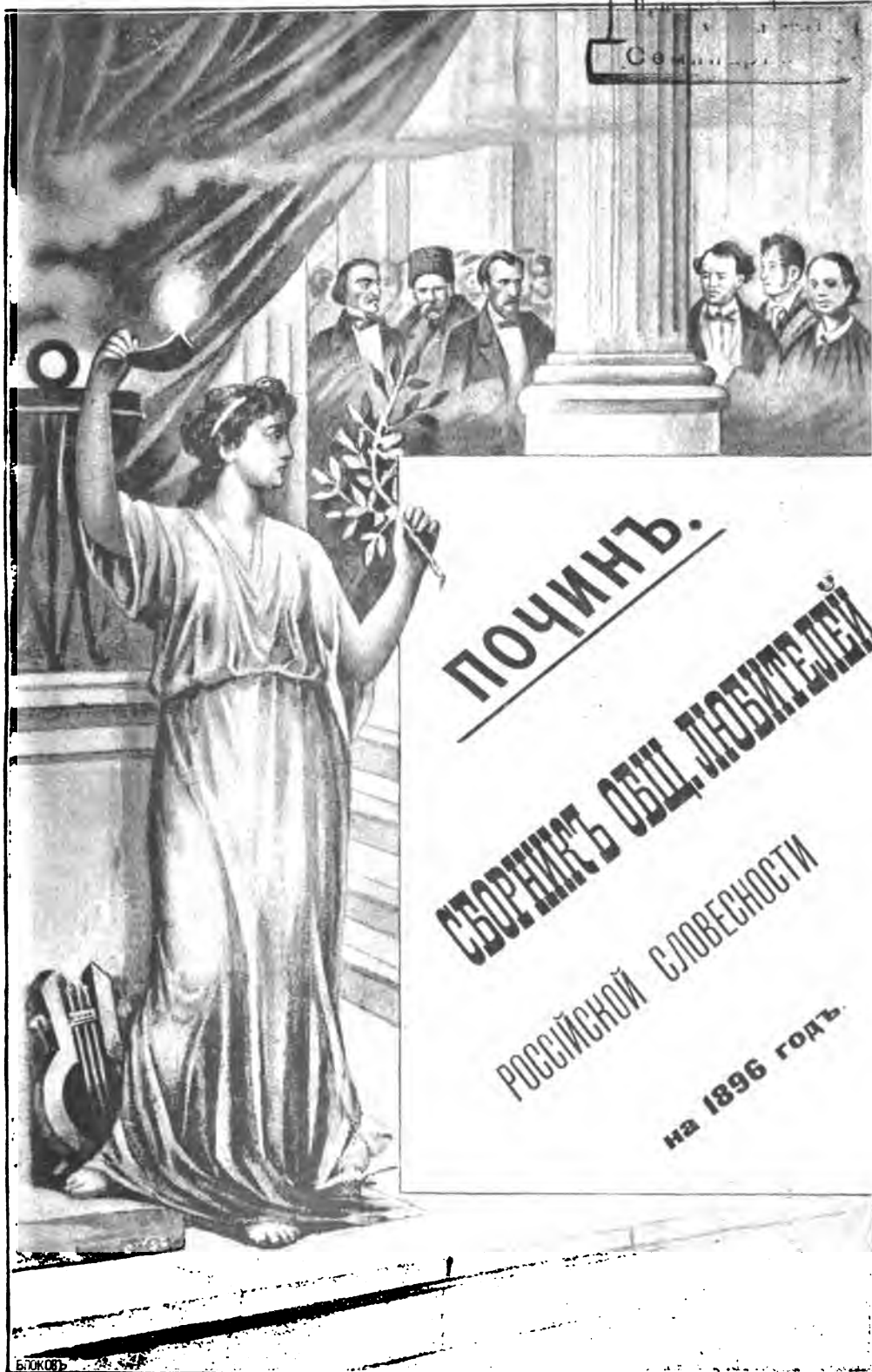


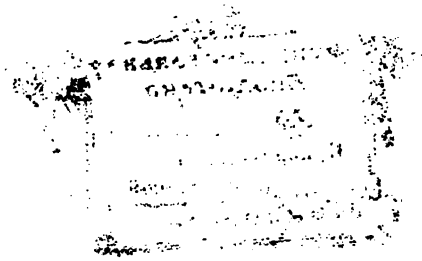
1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

834/85

№153

Фундаментальная
библиотека
№ 153





Dublete

Росин

ПОЧИНЪ.



СБОРНИКЪ ОБЩЕСТВА

ЛЮБИТЕЛЕЙ

РОССІЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

на 1896 годъ.



МОСКВА.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное „Русское Товарищество печатного и издательскаго дѣла“.

Чистые пруды, собственный домъ.

1896.

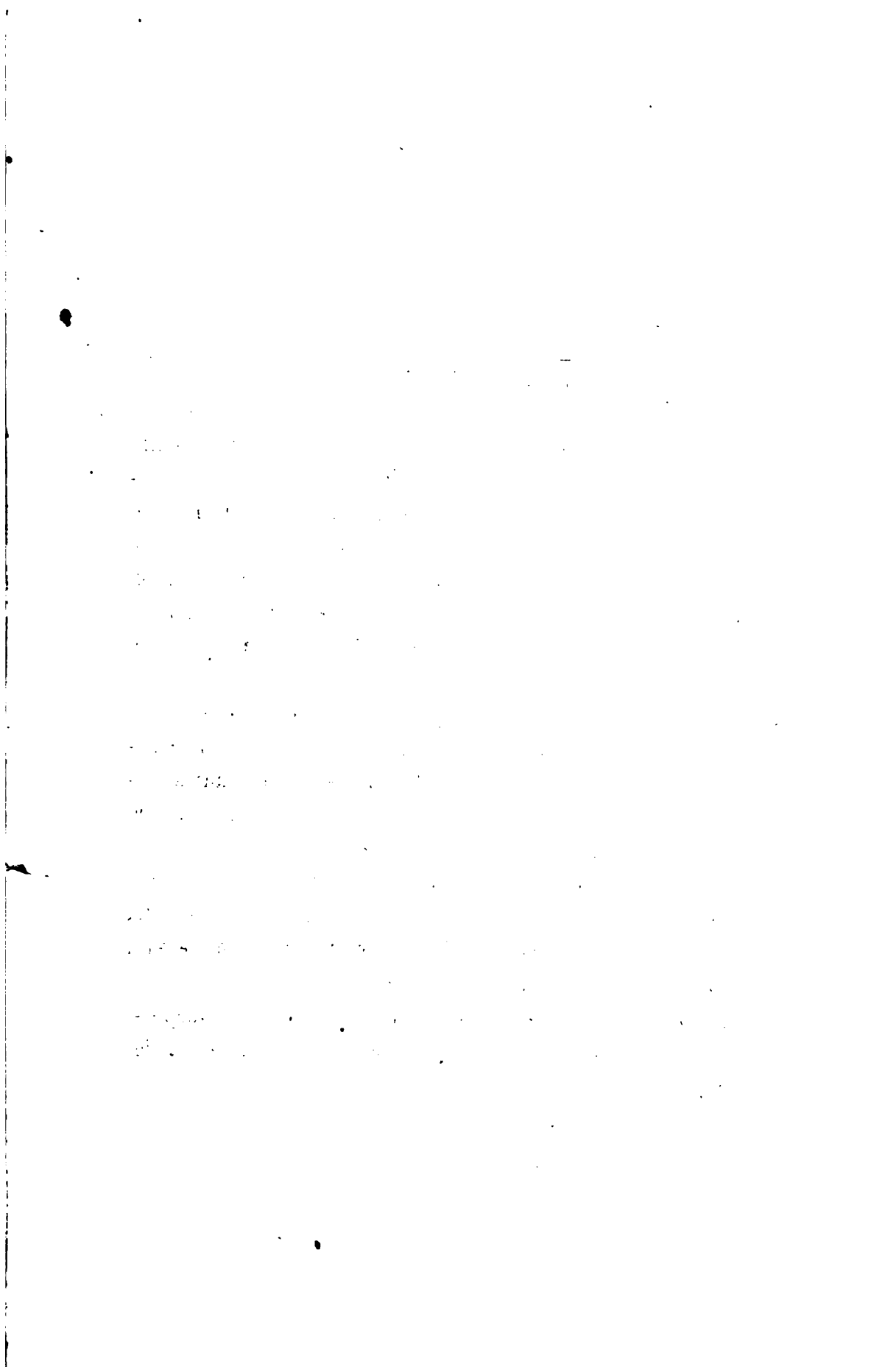


PG2900
PG3
1896
MAIN

Предисловіе.

Въ настоящую книгу «Почина» вошли между прочимъ слѣдующія статьи и произведенія, прочитанныя въ публичныхъ и закрытыхъ засѣданіяхъ Общества Любителей Россійской Словесности: «Два моряка», К. М. Станюковича, «Двѣ милостыни», В. Л. Величко, «Поэзія и личность Жадовской» И. И. Иванова, «Жизнь и поэзія Щербины» Л. П. Вѣльскаго, «И. С. Тургеневъ въ кругу французскихъ литераторовъ», А. А. Андреевой и «Былина о Батыѣ», В. Θ. Миллера. Кромѣ того, напечатаны также многія другія статьи гг. почетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ Общества. Составившійся такимъ образомъ матеріалъ оказался настолько обильнымъ, что редакція должна была отказаться отъ мысли предложить также болѣе или менѣе полный библиографическій обзоръ выдающихся явленій литературы за истекшій годъ, ограничиваясь пока лишь оцѣнкой нѣсколькихъ сочиненій, относящихся къ области критики.

Вторая книга „Почина“ печаталась подъ непосредственнымъ наблюденіемъ временнаго секретаря В. И. Шенрока.



Изъ дополненій къ „Моимъ Воспоминаніямъ“.*)

(Посвящаю моему другу и сотруднику Владимиру Георгіевичу Фонъ-Боолу).

I. Эпизоды изъ исторіи Московскаго Университета.

Въ своемъ повѣствованіи останавлиюсь на первыхъ десятилѣтіяхъ моего профессорства въ средѣ тогдашнихъ моихъ друзей и товарищей. Въ „Моихъ Воспоминаніяхъ“ я привелъ нѣсколько подробностей о нашихъ веселыхъ бесѣдахъ на вечернихъ товарищескихъ сходкахъ, которыя должны были внезапно прекратиться вслѣдствіе ареста и высылки за границу профессора университета Гофмана въ 1848 году. Хотя эти многочисленныя собранія въ извѣстный день и часъ стали уже невозможны, однако наши сношенія другъ съ другомъ не прекращались, поддерживая наши интересы и возбуждая въ насъ разные литературные замыслы. Именно въ это-то самое время созрѣлъ планъ изданія „Прописеевъ“, задуманнаго Леонтьевымъ и приведеннаго въ исполненіе сообща съ нимъ его друзьями и товарищами: Катковымъ, Кудравцевымъ, Шестаковымъ, мною и нѣкоторыми другими. Грановскій готовилъ тогда свои монографіи изъ исторіи среднихъ вѣковъ: о знаменитомъ аббатѣ Сугеріи (Abbe Suger) и о Винетѣ; Катковъ и Леонтьевъ только-что воротились изъ Берлина, гдѣ слушали лекціи Шеллинга о философіи религіи въ историческомъ развитіи вѣрованій христіанскаго и языческаго міра, и оба они были такъ увлечены и восторжены идеями автора знаменитой книги о трансцендентальномъ идеализмѣ, что вполне отказались отъ туманныхъ отвлеченій и безсодержательныхъ формъ Гегелевской философіи, которую до своей поѣздки въ Берлинъ они усердно и подобострастно исповѣдывали. Лекціи Шеллинга, обильныя жизненнымъ историческимъ содержаніемъ, открывали имъ новые пути и просвѣты для изслѣдованій по исторіи вѣрованій, поэзіи и вообще

*) Они печатались въ „Вѣстникъ Европы“ въ продолженіе 1890—1892 годовъ.
Прим. ред.

искусства. Катковъ составилъ для леонтьевскихъ „Пропилеевъ“ монографію о древнѣйшихъ греческихъ философахъ, предшествовавшихъ Сократу, и этюдъ о поэтическомъ творествѣ Пушкина для своего „Русскаго Вѣстника“; Леонтьевъ занимался изслѣдованіемъ обѣ эгинскихъ или эгинетскихъ группъ, древне-греческаго стиля, украшавшихъ нѣкогда храмъ Аѳины, или Минервы, на островѣ Эгинѣ, а въ настоящее время находящихся въ Мюнхенской Глиптотекѣ; для своихъ же „Пропилеевъ“ онъ составилъ обширную статью о греческой литературѣ. Въ то же время Кудрявцевъ писалъ свое классическое произведение о „Римскихъ женщинахъ по Тациту“, а товарищъ и другъ его, профессоръ римской словесности Шестаковъ переводилъ на русскій языкъ для „Пропилеевъ“ греческія трагедіи и римскія комедіи, постоянно обращаясь ко мнѣ, какъ къ самому близкому изъ всѣхъ его друзей, за совѣтами и справками, какъ точнѣе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, изящнѣе то или другое слово съ греческаго или латинскаго языка передать на русскій, и притомъ — то съ оттѣнкомъ величія, важности церковно-славянской рѣчи, то съ грубой простотою народного говора. Чтѣ касается до меня, то я, по своимъ путевымъ замѣткамъ и по нагляднымъ впечатлѣніямъ, вынесеннымъ изъ Италіи, составилъ для „Пропилеевъ“ „Эстетическій этюдъ о женскихъ типахъ въ изваяніяхъ греческихъ богинь“. Замѣчу мимоходомъ, что это очень тонкое и ловкое заглавіе, вполне исчерпывающее содержаніе этой статьи, мнѣ подсказалъ Катковъ.

Нашъ тѣсный кружокъ историко-филологическаго отдѣленія мало-по-малу сталъ разбавляться профессорами и другихъ факультетовъ. Въ моей памяти удержались слѣдующія лица: Драшусовъ, профессоръ астрономіи, иноземнаго происхожденія: отецъ его имѣлъ французскую фамилію Suchard, т. е. Сюшаръ, а если французскія буквы прочесть по-русски наоборотъ, будетъ *Драшусъ*, съ прибавкою же окончанія *овъ* будетъ: Драшусовъ. Потомъ назову вамъ Ершова — профессора практической механики, который потомъ былъ директоромъ Техническаго училища въ Москвѣ. Наконецъ припомню здѣсь и Ефремова, который читалъ въ Московскомъ университетѣ лекціи по всеобщей географіи.

Особеннаго вниманія въ нашей средѣ заслуживаетъ Линовскій, польскаго происхожденія профессоръ, не помню какого-то предмета изъ естественныхъ наукъ, очень красивый молодой

человѣкъ, высокій и стройный, любезный въ обращеніи, внушавшій къ себѣ симпатію. По счастливой случайности въ моихъ бумагахъ сохранилась его записка ко мнѣ слѣдующаго содержанія: „Сдѣлайте одолженіе, Ѳедоръ Ивановичъ, приходите, если можете, ко мнѣ сейчасъ послѣ полученія этой записки. Поповъ, Ефремовъ, Катковъ, Бѣлевичъ и другіе ваши знакомые сидятъ у меня и желаютъ съ Вами непременно повидаться. Приходите поскорѣе. Преданный Вамъ
Линовскій“.

Для продолженія моего разсказа я долженъ теперь познакомить васъ съ одною очень интересною особою. Это была молодая вдова Карлофа, попечителя Риппельскаго лицея въ Одессѣ. Я познакомился съ ней довольно коротко у Александры Ивановны Васильчиковой, съ которой она была въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Я принималъ не малое участіе въ образованіи двухъ сыновей Васильчиковыхъ, изъ которыхъ одинъ, именно Александръ Алексѣевичъ, былъ потомъ директоромъ Императорскаго Эрмитажа; сверхъ того, я читалъ лекціи русской словесности ея дочери Катеринѣ Алексѣевнѣ *) по вечерамъ въ присутствіи ея матери и госпожи Карлофъ. Именно этимъ-то и началось мое знакомство съ этой послѣдней особой.

Она была коротко знакома со многими изъ моихъ университетскихъ товарищей и, привыкнувъ еще въ Одессѣ пробавлять свои досуги въ профессорской средѣ, часто собирала всѣхъ насъ у себя, сначала въ Москвѣ, а потомъ на дачѣ, не вдалекѣ отъ Кунцева, за Сѣтунью, въ селѣ Спасскомъ, гдѣ занимала эта молодая бездѣтная вдова одна-одинехонька просторный помѣщичій домъ, предоставляя большую половину его, прекрасно меблированную, къ услугамъ своихъ гостей, которые проживали у ней по цѣлымъ недѣлямъ. Была она очень образована и потому умѣла хорошо пользоваться своимъ богатствомъ за границею, приобрѣтая разныя художественныя рѣдкости, между прочимъ составила очень цѣнный альбомъ собственноручныхъ рисунковъ разныхъ художниковъ новѣйшаго времени. Мнѣ было очень пріятно внести въ это собраніе довольно интересный вкладъ. Когда проживалъ я въ Римѣ зимою 1840 и 1841 годовъ, скульпторъ Пименовъ замыслилъ изваять

*) Впоследствии она вышла замужъ за князя Черкаскаго.

группу из двухъ фигуръ, именно: Каина и Авеля, приносящихъ Господу Богу свои жертвы. Для объясненія своей мысли онъ сдѣлалъ мнѣ бѣглый рисунокъ обѣихъ этихъ фигуръ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ въ Москву къ Степану Петровичу Шевыреву я сообщилъ свѣдѣніе объ этомъ скульптурномъ замыслѣ. Въ отвѣтъ я получилъ отъ него въ письмѣ замѣтку слѣдующаго содержанія.

„И пало лицо его: вотъ выраженіе библейское, которое я желалъ бы видѣть въ лицѣ Каина. Рѣзецъ г. Пименова, конечно, способенъ будетъ перенести въ мраморъ это выраженіе. Чтò касается до лица Авеля, то его лицо, въ противоположность Каинову, должно быть все поднято къ Богу и выражать на себѣ присутствіе взора Божія, свѣтъ отъ лица Его, ибо въ Библии сказано, что Іегова взглянулъ на Авеля и на его жертву, а на Каина и на жертву его не взглянулъ, и *„загорѣлось у Каина сильно и упало лицо его“* (послѣднія слова переведены точь въ точь съ еврейскаго). Это *паденіе лица* Каинова—вотъ моментъ и выраженіе, предлагаемое еврейскимъ текстомъ для ваятеля“.

Оригиналъ пименовскаго рисунка и копію съ записокъ Шевырева я подарилъ господамъ Карлгофъ.

Между всѣми моими товарищами особеннымъ ея вниманіемъ пользовался Линовскій; это вниманіе скоро перешло въ расположеніе, а расположеніе еще въ болѣе нѣжное сочувствіе ихъ сердецъ: однимъ словомъ, неожиданно-негаданно Линовскій и Карлгофъ очутились передъ нами въ качествѣ жениха и невѣсты.

Разумѣется, мы радовались и ликовали, пили шампанское за здоровье новообрученныхъ и свои пожеланія имъ счастья сопровождали звономъ разбиваемыхъ объ полъ бокаловъ.

Однако, недолго суждено было намъ радоваться счастьемъ влюбленныхъ другъ въ друга жениха и невѣсты.

Однажды, рано утромъ, ворвался ко мнѣ Ершовъ и разбудилъ меня страшнымъ извѣстіемъ: „Вставай скорѣе! Линовскій убитъ!“ Одѣвшись впопыхахъ, отправился я вмѣстѣ съ Ершовымъ на квартиру Линовскаго, находившуюся на Сивцевомъ Вражѣ, недалеко отъ Пятницы Божедомки. Вся улица была переполнена народомъ; у закрытыхъ воротъ квартиры стояли полицейскіе; но насъ, какъ короткихъ знакомыхъ и товарищей покойнаго по службѣ въ университетѣ, тотчасъ же пропустили

во дворъ. Саженахъ въ двухъ отъ воротъ лежалъ навзничъ бездыханный трупъ нашего милаго весельчака Линовскаго. Вѣроятно, въ первыя секунды агоніи онъ успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ и мгновенно упалъ, раскинувъ обѣ руки и нѣсколько разставивъ ноги. Всѣ черты лица выражали такой несказанный ужасъ, какого, кажется, и представить себѣ невозможно. Широко раскрытые глаза конвульсивно смотрѣли потухающимъ взглядомъ. Длинные волосы, сбитые назадъ, будто поднялись дыбомъ.

Убійство было совершено ночью, — какъ оказалось впоследствии, большимъ поварскимъ ножомъ, который при обыскѣ найденъ былъ подъ лавкою въ кухнѣ, весь обгаженный кровью.

Подозрѣніе, само собою разумѣется, пало на слугу Линовскаго, вмѣстѣ и камердинера, и повара. Его, впрочемъ, скоро и нашли, такъ какъ въ николаевское время сыскная полиція въ Москвѣ была несравненно лучше нынѣшней. Убійца былъ молодой человѣкъ, тоже полякъ и — что всего любопытнѣе — былъ своднымъ братомъ Линовскаго отъ любовницы его отца, какой-то дворовой дѣвки. Крѣпостной слуга съ дѣтскихъ лѣтъ привыкъ ненавидѣть своего барченка, который приходился ему роднымъ братомъ, и въ минуту злобнаго раздраженія завершилъ свою зависть и ненависть остервенѣлымъ злодѣйствомъ. Виновный осужденъ былъ въ ссылку на каторжные работы, но съ нѣкоторымъ ограниченіемъ числа лѣтъ, въ виду ложнаго положенія, въ которомъ, противъ ихъ воли, были принуждены жить вмѣстѣ и убійца и его жертва.

Къ стыду человѣческихъ слабостей, мнѣ приходится эту трагическую повѣсть закончить водевильнымъ фарсомъ. Не прошло и полугода послѣ кончины Линовскаго, какъ читатели „Московскихъ Вѣдомостей“ прочли въ отдѣлѣ объ отъѣзжающихъ за границу увѣдомленіе, что выѣхалъ профессоръ Драшусовъ съ своею супругою, которою оказалась госпожа Карлгофъ.

Мои университетскіе товарищи всегда относились ко мнѣ очень дружественно, даже съ нѣкоторымъ отличіемъ, вслѣдствіе благосклоннаго вниманія, которымъ награждалъ меня графъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ за мою безграничную къ нему преданность, о чемъ много подробностей разсказалъ я въ „Моихъ Воспоминаніяхъ“. Такое исключительное положеніе при

особѣ попечителя Московскаго учебнаго округа дѣлало меня полезнымъ посредникомъ между нимъ и моими товарищами въ ихъ нуждахъ и дѣлахъ не только служебныхъ, но и частныхъ. Въ одной изъ предыдущихъ главъ я уже имѣлъ случай замѣтить, какъ Катковъ и Ефремовъ на лѣто поселились въ Мазилловѣ, чтобы при моемъ посредствѣ сноситься съ графомъ Сергіемъ Григорьевичемъ.

Въ то далекое время попечитель учебнаго округа былъ вмѣстѣ съ тѣмъ предсѣдателемъ цензурнаго комитета. Вотъ вамъ двѣ записки ко мнѣ Василя Ивановича Панова по дѣлу о цензурованіи „Московскаго Сборника“, бывшаго органомъ тогдашнихъ славянофиловъ.

Первая записка: „Докучаю вамъ моими просьбами, любезнѣйшій Оеодоръ Ивановичъ! Но что дѣлать? Умоляю васъ, сходите тотчасъ къ графу и скажите ему, что цензоръ Снегиревъ стиховъ Языкова не пропускаетъ, т. е. всего мѣста обѣ Іоаннѣ Грозномъ, а его выпустить невозможно. Графъ мнѣ сказаль, что надобно перемѣнить только одно выраженіе: „книгу книгъ“, и два стиха, гдѣ царь является главою палачей. Языковъ тотчасъ же нынче утромъ исполнилъ желаніе графа. Послѣ обѣда я былъ у Снегирева. Онъ самъ не рѣшается пропустить стиховъ обѣ Іоаннѣ, а ихъ выпустить нельзя. Онъ говоритъ, что ихъ, пожалуй, примѣнять и къ другому царю!!! Послѣ того надобно уничтожить и всю исторію человечества, или мы только свою должны вычеркивать или искажать! Ради Бога, попросите графа, чтобы онъ тотчасъ подписалъ эти стихи. Надобно же мнѣ наконецъ съ чего-нибудь начать и нельзя начинать съ прозаической статьи обѣ искусствѣ! Посылаю экземпляръ Языкова, на которомъ онъ своею рукою сдѣлаль два измѣненія, которыя требоваль графъ, и другой, по которому я читаль нынче графу эти стихи. Онъ такимъ образомъ увидить, что все исполнено, что онъ желаль. Я самъ бы къ нему поѣхаль, но не знаю, приметъ ли онъ завтра. Я усталъ очень и очень. Пожалуйста упросите графа, чтобы онъ тотчасъ же подписалъ. Весь вашъ В. Пановъ.

„Если можно получить скоро отвѣтъ удовлетворительный, велите подождать моему посланному и пришлите мнѣ съ подписью графа тотъ экземпляръ, на которомъ Языковъ подписалъ въ „Московскій Сборникъ“.

Другая записка: „Любезнѣйшій Ѳеодоръ Ивановичъ! Сдѣлайте одолженіе, попросите графа, чтобы онъ позволилъ мнѣ нынче къ нему пріѣхать и назначилъ бы мнѣ часъ. Мнѣ очень накладно: приходится ждать уже болѣе десяти дней; за все это долженъ я много платить въ типографію, ибо работа, буквы, — все остановлено. Зная коротко автора представленной графу пьесы, я многое бы могъ и желалъ ему объяснить и тоже указать, въ чемъ состоятъ придирки цензора. Простите пожалуйста, любезнѣйшій Ѳеодоръ Ивановичъ, что я васъ тревожу этимъ дѣломъ. Вы взялись быть посредникомъ. Нельзя ли нынче меня чѣмъ-нибудь рѣшить. Но если графъ не пропуститъ, то добейтесь пожалуйста, чтобы онъ назначилъ мнѣ время, когда бы я могъ съ нимъ объясниться. Весь вашъ В. Пановъ.

Развитію и укорененію дружескихъ отношеній между тогдашними профессорами много способствовалъ обычай жить вмѣстѣ на одной квартирѣ и вести общее хозяйство. Такъ, Леонтьевъ жилъ съ Шестаковымъ въ небольшомъ каменномъ флигелѣ на Никитской, по лѣвую сторону, если подниматься отъ университета; какъ бы намекая на студенческое сожительство, они приютили у себя, разумѣется безвозмездно, одного бѣднаго студента филологическаго факультета, отдѣливъ ему ширмами помѣщеніе въ залѣ. Бывало онъ ходитъ въ своей загородкѣ взадъ и впередъ и читаетъ свою книжку то про себя, то шепотомъ. Студентъ этотъ былъ не кто другой, какъ Владиміръ Ивановичъ Герье, ставшій потомъ профессоромъ всеобщей исторіи въ Московскомъ университетѣ.

Потомъ Леонтьевъ и Шестаковъ жили тоже на общемъ хозяйствѣ вмѣстѣ съ Кудрявцевымъ на Кисловкѣ. Здѣсь я видѣлъ у нихъ въ гостяхъ графиню Сальясъ, которая была въ дружбѣ съ Кудрявцевымъ, и съ тѣхъ поръ до самой ея смерти поддерживалъ знакомство съ нею. Только уже гораздо позже Леонтьевъ съ Шестаковымъ поселились вмѣстѣ съ Катковымъ въ его квартирѣ съ типографіей въ Армянскомъ переулкѣ. Тогда Шестаковъ уже былъ безнадежно боленъ параличемъ. Сначала отнялись у него обѣ руки и, какъ кости, безчувственны болтались по обѣ стороны; въ такомъ положеніи прожилъ онъ года два и въ молодыхъ лѣтахъ скончался, не успѣвъ въполнѣ обнаружить своихъ высокихъ дарованій и глубокой учености. До своего перемѣщенія въ Армянскій переулокъ Катковъ жилъ на площади у Страстнаго монастыря, въ домѣ Римской-

Корсаковой, родной сестры Грибоедова, какъ говорятъ, послужившей ему оригиналомъ для Софьи, героини его комедіи „Горе отъ ума“. Впослѣдствіи домъ этотъ принадлежалъ Строгановской школѣ рисованія, переименованной потомъ въ художественно-промышленное училище при его директорѣ, Викторѣ Ивановичѣ Бутовскомъ. Престарѣлая вдова Римская-Корсакова занимала одна одиноконька весь бельэтажъ съ своими ровесницами, сѣвными дѣвушками, играя съ утра до вечера съ ними въ карты на орѣхи, а не на деньги, а весь верхъ отдавала даромъ своей подругѣ и сверстницѣ—матери Каткова съ двумя ея сыновьями—Михаиломъ Никифоровичемъ и Меодіемъ Никифоровичемъ. Леонтьевъ и Шестаковъ жили тогда еще отдѣльно отъ Каткова.

Въ „Моихъ Воспоминаніяхъ“, говоря о профессорахъ филологическаго факультета тридцатыхъ, сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, я опустилъ многое, что глубоко захватывало существенные интересы моей жизни. Къ такимъ событіямъ принадлежитъ выходъ Степана Петровича Шевырева изъ Московскаго университета и мое вступленіе на опустѣвшую послѣ него каведру исторіи всеобщей и русской литературы.

Главной причиною мелкихъ непріятностей и крупныхъ несчастій, какія суждено было часто претерпѣвать этому во всѣхъ отношеніяхъ прекрасному человѣку, надобно признать раздражительную вспыльчивость, иногда доводившую его до ослѣпленія и самозабвенія. Онъ не терпѣлъ несогласія кого бы то ни было съ своими мнѣніями и ревниво подозрѣвалъ каждого, въ комъ предчувствовалъ своего недоброжелателя. Изъ его собственной записки, напечатанной, кажется, въ „Русской Старинѣ“, извѣстна его ссора, окончившаяся дракою, съ графомъ Бобринскимъ въ засѣданіи Общества исторіи и древностей российскихъ, происходившемъ въ домѣ Черткова, бывшаго тогда предсѣдателемъ этого общества. Это было въ 1856-мъ году, а лѣтъ за десять случилась подобная этой ссора у Степана Петровича и тоже въ засѣданіи Общества исторіи и древностей российскихъ, только въ стѣнахъ университета, съ Дмитріемъ Павловичемъ Голохвастовымъ, который, въ качествѣ помощника попечителя графа Строганова, на этотъ разъ за него предсѣдательствовалъ въ собраніи общества. Шевыревъ въ какомъ-то ученомъ спорѣ съ Голохвастовымъ, принявъ надменный и презрительный тонъ, нагрубилъ ему самыми рѣзкими и обидными

словами. Тотчасъ изъ засѣданія Голохвастовъ отправился къ графу Сергію Григорьевичу и изложилъ ему въ подробности происшедшую сцену. Онъ можетъ быть удовлетворенъ только въ томъ случаѣ, если Шевыревъ испроситъ у него прощенье, и притомъ не иначе, какъ въ присутствіи самого графа. Таково было требованіе Голохвастова.

Я тогда еще жилъ у графа въ качествѣ наставника его дѣтей. Пользуясь его особеннымъ расположеніемъ, я иногда исправлялъ такія конфиденціальныя обязанности, какихъ онъ не могъ поручить офиціальному чиновнику. Графъ написалъ къ Шевыреву записку, въ которой приглашалъ его къ себѣ съ тѣмъ, чтобы въ его присутствіи извиниться передъ Голохвастовымъ. Я долженъ былъ воротиться отъ Шевырева непременно съ рѣшительнымъ отвѣтомъ. Онъ принималъ меня спокойно и ласково, но, когда прочелъ записку графа, въ одно мгновеніе затрепеталъ и дрожащимъ голосомъ проговорилъ: „Извините, Федоръ Ивановичъ, теперь графу отвѣчать не могу: вы видите, какъ я боленъ.“ Онъ такъ показался мнѣ жалокъ, что у меня сердце разрывалось; но что же дѣлать? Во что бы ни стало, я долженъ былъ исполнить приказаніе графа и явиться къ нему съ отвѣтомъ. Не слушая меня, онъ выбѣжалъ вонъ изъ комнаты, и я остался одинъ и ждалъ, что будетъ далѣе, не смѣя воротиться съ пустыми руками. Прошло болѣе получаса. Наконецъ, приходитъ его жена съ увѣдомленіемъ, что Степанъ Петровичъ завтра непременно явится къ графу въ назначенный имъ часъ.

Когда, вслѣдствіе драки съ Бобринскимъ, Шевыревъ былъ уволенъ отъ должности профессора университета, то немедленно оставилъ Россію и остатокъ своей жизни провелъ въ Парижѣ. Скончался въ маѣ 1864 года.

При Шевыревѣ съ ученой степенью магистра, но уже въ званіи занимающаго должность экстраординарнаго профессора, я читалъ лекціи по исторіи русскаго языка на первомъ курсѣ словеснаго отдѣленія и упражнялъ въ практическихъ занятіяхъ студентовъ перваго курса математическаго факультета. Теперь, по удаленіи Шевырева, предстоялъ вопросъ, кѣмъ и какъ замѣнить его на кафедрѣ исторіи русской и всеобщей литературы. Деканомъ филологическаго факультета или, по тогдашнему, словеснаго отдѣленія философскаго факультета, былъ Сергій Михайловичъ Соловьевъ. Сообща съ другими членами факультета, но безъ моего вѣдома и втихомолку, было рѣшено на мѣсто

Шевырева избрать Михаила Никифоровича Каткова, который со степенью магистра занималъ въ Московскомъ университетѣ катедру философіи въ званіи адъюкта, а въ то время, находясь уже въ отставкѣ, былъ издателемъ и редакторомъ „Русскаго Вѣстника“. Наконецъ, назначено было факультетское засѣданіе по вопросу о замѣщеніи освободившейся послѣ Шевырева катедры. Я смутно догадывался, въ чемъ дѣло, и нѣсколько собрался съ силами и вооружился терпѣніемъ. Бодянской меня терпѣть не могъ, видя во мнѣ соперника по ремеслу, а Леонтьевъ тогда крѣпко подружился уже съ Катковымъ, хотя еще и не жилъ съ нимъ вмѣстѣ.

Я нарочно явился въ засѣданіе попозже, чтобъ дать время всѣмъ собраться. Когда я вошелъ въ прихожую, изъ профессорской залы, гдѣ было засѣданіе, раздавались громкіе голоса, но при моемъ появленіи всѣ вдругъ замолкли. Это вооружило меня несокрушимю броней, чтобы стать подъ выстрѣлы моихъ дорогихъ товарищей. Послѣ краткаго молчанія Соловьевъ открылъ засѣданіе по вопросу о занятіи сказанной катедры. Онъ сидѣлъ въ верхнемъ концѣ стола; налѣво, рядомъ съ нимъ, — Леонтьевъ, потомъ Бабстъ, затѣмъ я и т. д.; по другую сторону стола, прямо противъ меня, сидѣлъ Бодянской. Онъ заговорилъ первый. Сначала сказалъ о важности незанятой въ настоящее время катедры, съ которой читали лекціи такія знаменитости, какъ Мерзляковъ, Давыдовъ, Шевыревъ. Москва, какъ центръ Россіи и хранилище ея преданій, должна разносить повсюду честь и славу нашей литературной старины. „Я бы самъ сѣлъ на эту катедру“, воскликнулъ онъ съ излишнею горячностью: „еслибы у меня на плечахъ не было столько работы по славянскимъ нарѣчіямъ“. Эту вступительную свою рѣчь онъ закончилъ вопросомъ: „итакъ, господа, кого же мы выберемъ на эту катедру?“ Тогда Леонтьевъ назвалъ Каткова, и за нимъ, будто сговорившись, всѣ единогласно повторили его слова. Такимъ образомъ, единогласно былъ избранъ на мѣсто Шевырева Катковъ, и притомъ съ переименованіемъ изъ адъюкта-профессора прямо въ исправляющаго должность ординарнаго профессора. По окончаніи засѣданія рѣшено было немедленно отправиться къ Каткову съ этимъ предложеніемъ отъ факультета. Съ деканомъ Соловьевымъ во главѣ вызвались депутатами Бодянской и Леонтьевъ. Тогда и я, до тѣхъ поръ не сказавшій ни слова въ теченіе всего засѣданія, почелъ своей обязан-

ностью прервать свое молчаніе, предложивъ свои услуги этой депутаціи, примолвивъ, что я, вѣроятно, буду для нихъ полезенъ.

Катковъ занималъ тогда квартиру близехонько отъ университета, на Нижней Кисловѣ, наискосокъ противъ заднихъ воротъ Никитскаго монастыря. Аудіенція происходила въ залѣ, куда онъ явился къ намъ. Мы не сѣли, а стояли передъ нимъ. Деканъ Соловьевъ изложилъ ему рѣшеніе факультета съ просьбою принять предлагаемое ему званіе. Катковъ сначала изумился, будто въ первый разъ услышавъ такую новость, и сталъ отговариваться тѣмъ, что онъ очень занятъ изданіемъ „Русскаго Вѣстника“ и не можетъ взять на себя всѣхъ обязанностей по кафедрѣ, которыя исполнялъ Степанъ Петровичъ Шевыревъ; что онъ не можетъ читать четырехъ лекцій въ недѣлю и, сверхъ того, исправлять сочиненія и переводы, обязательные для студентовъ 1 курса словеснаго и юридическаго факультетовъ, и рѣшительно отказывается отъ экзаменованія вступающихъ въ университетъ. Тогда сталъ уговаривать его Бодянский, заявляя о настоятельной необходимости спасти кафедру литературы въ Московскомъ университетѣ хотя бы двумя только лекціями въ недѣлю, а затѣмъ, чтобы уладить дѣло, я предложилъ Каткову свои услуги взять на себя занятія съ первокурсниками словеснаго и юридическаго факультетовъ, а на приемныхъ испытаніяхъ экзаменовать вступающихъ въ университетъ по всѣмъ четыремъ курсамъ, т. е. я бралъ на себя такой трудъ, который до сихъ поръ мы съ Шевыревымъ дѣлили пополамъ. Любопытно, что никому изъ слушающихъ и въ голову не пришло, что я беру на себя непосильный трудъ и безсовѣстно смѣюсь надъ ними. Всѣ вмѣстѣ съ Катковымъ съ благодарностью приняли мое щедрое предложеніе.

Это было великимъ постомъ, а въ началѣ мая министромъ народнаго просвѣщенія было утверждено рѣшеніе совѣта Московскаго университета возвести бывшаго адъюнкта Каткова въ званіе исправляющаго должность ординарнаго профессора по исторіи русской и всеобщей литературы. Къ крайнему удивленію, Катковъ къ сентябрю мѣсяцу вышелъ въ отставку и, такимъ образомъ, ни разу не успѣлъ влѣзть на такъ щедро предложенную ему кафедру. Такимъ образомъ, собственно говоря, я заступилъ въ Московскомъ университетѣ мѣсто не послѣ Шевырева, а послѣ Каткова.

Никто бы не могъ повѣрить, чтобы могла въ исторіи Московскаго университета разыгратъся такая шутовская комедія, если-бы свидѣтельства о ней не сохранились въ официальныхъ документахъ архивовъ Московскаго университета и министерства народнаго просвѣщенія.

И увѣренъ, такого скандала не приключилось бы, еслибы былъ живъ Тимоѳей Николаевичъ Грановскій, который цѣнилъ мои ранніе опыты по разработкѣ русской старины и народности и поощрялъ меня къ дальнѣйшимъ успѣхамъ.

Университетская типографія съ самаго начала своего учрежденія состояла подъ вѣдѣніемъ директора, назначаемого попечителемъ Московскаго учебнаго округа, покамѣстъ не была сдана вмѣстѣ съ „Московскими Вѣдомостями“ на откупъ частному лицу. Послѣднимъ казеннымъ директоромъ, имѣвшимъ и помещеніе въ зданіи типографіи, былъ Осипъ Максимовичъ Бодянский, а первымъ съемщикомъ — Михаилъ Никифоровичъ Катковъ. Перемѣщеніе обоихъ должно было состояться въ декабрѣ, не помню, котораго года, съ тѣмъ, чтобы Катковъ съ 1 января могъ начать изданіе „Московскихъ Вѣдомостей“. Но Бодянский затормозилъ дѣло и почему-то затруднилъ печатаніе газеты, такъ что нѣсколькими днями она запоздала своимъ выходомъ. Вслѣдствіе этой батрахомахіи тѣсная дружба Бодянскаго съ Катковымъ перешла въ непримиримую и озлобленную вражду.

Что касается меня, то, извиняя Леонтьева въ его продѣлкахъ, рассказанныхъ выше, я не переставалъ находиться съ нимъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Когда, въ теченіе многихъ лѣтъ, въ разное время, изъ-за границы посылалъ я свои корреспонденціи въ „Московскія Вѣдомости“ и „Русскій Вѣстникъ“, то всегда писалъ ихъ въ формѣ письма, и именно не къ Каткову, а къ Леонтьеву, будто веду съ нимъ лично мою дружескую бесѣду, что придавало живость и свѣжесть моему изложенію. Леонтьевъ же уплачивалъ мнѣ и гонораръ за мои работы. Я часто бывалъ у него въ занимаемомъ имъ отдѣленіи типографской квартиры, состоявшемъ въ связи съ рядомъ комнатъ, занимаемыхъ Катковымъ съ его семействомъ, но сюда я ни разу и никогда не заглядывалъ, такъ что связь моя съ Катковымъ поддерживалась только чрезъ Леонтьева.

Между тѣмъ, вражда Бодянскаго съ Катковымъ и Леонтьевымъ не только не прекращалась, но завершилась пагубно

катастрофою. Бодянский изъ-за ревностнаго служенія славянскимъ нарѣчіямъ не въ мѣру загромоздилъ числомъ лекцій всѣ курсы филологическаго отдѣленія, а Леонтьевъ, съ своей стороны, намѣревался какъ можно болѣе усилить преподаваніе древнихъ языковъ, имѣя въ виду водвореніе классицизма въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ какъ высшихъ, такъ и низшихъ. Однако, сломить Бодянскаго онъ никакъ не могъ и прибѣгнулъ къ рѣшительной мѣрѣ. Бодянский прослужилъ въ университетѣ 25 лѣтъ, и ему слѣдовало баллотироваться на слѣдующее пятилѣтіе. Леонтьевъ такъ ухитрился, что его забаллотировали, и онъ долженъ былъ выйти въ отставку. Это произошло въ періодъ самаго полнаго въ нашемъ университетѣ преобладанія партіи баршевской передъ соловьевской. Въ ту пору, именно въ 1870-мъ году, я уѣзжалъ мѣсяцевъ на семь за границу и, по возвращеніи въ Москву, въ началѣ октября, немедленно посѣтилъ Леонтьева. Когда я поразсказалъ ему о своихъ заграничныхъ походахъ, онъ удивилъ меня своимъ вопросомъ, кого бы я предложилъ выбрать въ ректоры Московскаго университета, такъ какъ срокъ Баршева истекаетъ въ слѣдующемъ мѣсяцѣ. — „Какой странный вопросъ предлагаете вы!“ отвѣчалъ я: „разумѣется, выберутъ опять Баршева!“ — „Всѣ эти дрызги такъ мнѣ надоѣли, что я умываю, наконецъ, свои руки: пусть дѣлаютъ, какъ хотятъ!“ отвѣчалъ Леонтьевъ. „И слава Богу!“ вскричалъ я: „дайте же мнѣ хорошенько пожать ихъ, очищенные наконецъ отъ прикосновенія всей этой дрянной баршевщины!“ И дѣйствительно, въ назначенный срокъ вмѣсто Баршева былъ избранъ въ ректоры Соловьевъ.

Вскорѣ послѣ этого событія настала горестная расправа и въ судьбѣ моего милаго друга Леонтьева и, въ свою очередь, по истеченіи двадцатипятилѣтней службы въ званіи профессора, онъ долженъ былъ баллотироваться на слѣдующее затѣмъ пятилѣтіе. Озлобленные его измѣною, члены совѣта баршевской партіи набросали ему черняковъ, и ему слѣдовало выйти въ отставку. Это произошло въ концѣ апрѣля или въ началѣ мая, какъ разъ передъ экзаменами студентовъ. Въ промежутокъ времени, пока еще эта отставка не была утверждена въ Петербургѣ, Леонтьевъ обязанъ былъ экзаменовать своихъ слушателей, и, по окончаніи экзаменовъ, явился на заключительный совѣтъ университета для рѣшенія, кому изъ окончившихъ курсы студентовъ дать степень дѣйствительнаго студента и кому сте-

пень кандидата. Леонтьевъ горячо заступался за нѣкоторыхъ молодыхъ людей, отличавшихся прилежаніемъ и познаніями; другіе члены факультета ему противорѣчили, но онъ настаивалъ на своемъ. Тогда со всѣхъ сторонъ посыпались на него грубости, а иные даже осмѣлились кричать, что онъ, какъ забаллотированный, вовсе не имѣетъ и права голоса въ рѣшеніяхъ университетскаго суда. Поднялся шумъ и гамъ. Сквозь эту сумятицу слышались энергическія и грозныя слова Леонтьева: „Нѣтъ! этого я вамъ никогда не прошу! Вы лизнули моей крови—я съ вами расправляюсь!“ У меня закружилась голова. Я сидѣлъ рядомъ съ Леонтьевымъ, облокотившись на спинку его стула. Не помня себя, я вскочилъ, обнялъ его, расцѣловалъ и тотчасъ же медленнымъ шагомъ пошелъ изъ залы засѣданія. Вдругъ наступила мертвая тишина, только слышались звуки моихъ шаговъ. Это хорошо осталось въ моей памяти. Замѣчательно, что послѣ этого моего поступка никто изъ членовъ совѣта ни малѣйшимъ намекомъ не замѣтилъ мнѣ о моей грубой выходкѣ. Мнѣ казалось, что они стыдились моего осужденія.

До конца своей жизни Леонтьевъ оставался мнѣ преданнымъ другомъ. Въ послѣдній разъ видѣлъ я его въ маѣ 1874 года, передъ отъѣздомъ моимъ за границу. Я пришелъ съ нимъ проститься въ основанный имъ съ Катковымъ институтъ царевича Николая. Леонтьевъ тогда былъ на экзаменѣ учениковъ, но тотчасъ же вышелъ ко мнѣ въ приемную и долго бесѣдовалъ со мною; былъ почему-то растроганъ, даже до слезъ. Не было ли это вѣщее предчувствіе, что онъ видится со мною на землѣ уже послѣдній разъ. Зимой 1874—1875 года, живучи въ Римѣ, я получилъ скорбное извѣстіе о кончинѣ Павла Михайловича Леонтьева.

Съ тѣхъ поръ прекратились мои сношенія и съ Катковымъ. Хотя я продолжалъ помѣщать свои статьи въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, но имѣлъ дѣло не съ редакторомъ этихъ изданій, а съ конторкою, куда отдавалъ свои статьи и откуда получалъ за нихъ гонораръ....

II. Трехдневное празднованіе во Флоренціи пятисотлѣтняго юбилея Данта Аллигieri.

Въ этой главѣ предложу свое чтеніе, сказанное въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности, въ маѣ 1865 года, о

трехдневномъ празднованіи пятисотлѣтняго юбилея дня рожденія Данта Аллигieri. По счастью, я провелъ во Флоренціи цѣлые два мѣсяца въ 1864 году и имѣлъ случай въ самомъ средоточіи юбилея воспользоваться всевозможными документами, журналами, газетами и другими пособіями по этому предмету. Изъ Флоренціи я послалъ въ „Русскій Вѣстникъ“ обстоятельную статью о приготовленіяхъ всей Италіи къ предстоящему юбилею, и по возвращеніи въ Москву, въ слѣдующемъ 1865 году, въ самый день юбилея, рассказалъ членамъ Общества Любителей Россійской Словесности, что именно происходитъ во Флоренціи въ то самое время, когда мы всѣ собрались въ московскомъ засѣданіи.

„Съ нынѣшняго дня, т. е. со 2 мая, по новому стилю съ 14 мая, открывается во Флоренціи трехдневное празднованіе шестисотлѣтняго юбилея дня рожденія Данта Аллигieri. Въ программѣ этого празднованія, составленной учрежденною для этого предмета комиссіею, означены слѣдующія подробности, дающія дантовскому юбилею характеръ общенациональнаго дѣла.

Средоточіемъ празднества назначается площадь св. Креста, находящаяся передъ храмомъ того же имени, который, будучи украшенъ произведеніями искусства XIV столѣтія до нашихъ временъ и надгробными памятниками Микель-Анджело, Галилея, Алфieri, самого Данта, есть вмѣстѣ и усыпальница великихъ людей Италіи, и художественный Пантеонъ итальянскихъ знаменитостей. Обширная площадь св. Креста пользуется популярностью еще съ XIII-го столѣтія, когда на ней произошло знаменитое революціонное движеніе, давшее флорентійской республикѣ новое устройство, согласное съ ея демократическимъ характеромъ, и прославившее громкими подвигами исторію своего отечества. На этой-то площади въ день дантовскаго празднества будетъ открытъ національный памятникъ Данту: это колоссальная статуя великаго поэта, изваянная скульпторомъ Энрико Пазци: въ широко драпированной тогѣ, съ своею поэмою въ рукѣ, великій поэтъ медленно ступаетъ, будто въ этотъ день своего шестисотлѣтняго юбилея входитъ въ родной городъ, изъ котораго до сихъ поръ находился въ изгнаніи, сохраняя свои кости въ далекой Равеннѣ. Вся площадь богато украшена фестонами изъ лавровыхъ вѣтвей и цвѣтовъ и

декоративною живописью, сюжеты которой заимствованы изъ жизни Данта.

Весь городъ украшенъ флагами. На домахъ, гдѣ родились, жили и дѣйствовали знаменитые граждане всѣхъ временъ, выставлены ихъ имена, украшенные трофеями, лавровыми вѣнками и цвѣтами.

По всему пути торжественнаго шествія, а также на нѣкоторыхъ изъ главныхъ площадей города, размѣщены колонны, статуи и трофеи, въ память великихъ событій итальянской исторіи и знаменитыхъ людей, прославившихся въ литературѣ, въ наукахъ и искусствахъ, а также на поприщѣ гражданской и воинской дѣятельности. Особенно украшенъ портикъ подъ зданіемъ присутственныхъ мѣстъ (Uffizi), въ которомъ находится флорентійская галлерея съ знаменитою трибуною, украшенною первѣйшими произведеніями живописи и скульптуры.

Празднество открывается торжественною процессіею отъ монастыря и площади церкви св. Духа, находящейся по ту сторону рѣки Арно (Oltarno), и съ давнихъ временъ прославившейся своими церковными процессіями въ соединеніи съ представленіемъ священныхъ мистерій, для которыхъ декораціи и машины дѣлали знаменитые художники и особенно въ XV вѣкѣ Брунеллески.

Сегодня 2/14 мая, въ воскресенье, въ 10 ч. утра, на этой площади и въ монастырѣ св. Духа, собрались въ официальномъ порядкѣ представители всѣхъ муниципальных, сословныхъ и вообще національных учреждений, каждое подъ своимъ знаменемъ и съ своими девизами и значками, а именно: представители итальянскихъ академій, итальянскихъ и иностранныхъ лицеевъ, университетовъ и другихъ учебныхъ заведеній; коммисіи адвокатовъ, ученыхъ, медиковъ, аптекарей (къ цеху которыхъ нѣкогда принадлежалъ самъ Дантъ), библіотекарей, журналистовъ и проч.; затѣмъ депутаты отъ художественныхъ братствъ и отъ общинъ рабочихъ; наконецъ, депутаты итальянскихъ эмигрантовъ, и въ настоящее время еще раздѣляющихъ печальную судьбу великаго флорентійскаго поэта.

По знаку, данному колокольнымъ звономъ съ такъ называемаго Старого Дворца (Palazzo Vecchio), всѣ эти корпораціи, въ сопровожденіи музыкальныхъ хоровъ и національной гвардіи, двинулись съ Троицы на эту сторону Арно, и, обогнувши съ южной стороны соборную площадь, приблизились къ Ста-

рому Дворцу древнефлорентійской общины (palazzo Comunale), известному подъ именемъ Bargello, откуда къ процессіи присоединяются корпораціи муниципій Флоренціи и Равенны, двухъ городовъ, изъ которыхъ въ первомъ родился Дантъ, а въ послѣднемъ—скончался и похороненъ. Затѣмъ, когда процессія, направившись къ храму св. Креста, вступила на площадь передъ этимъ храмомъ, и когда корпораціи представителей и депутатовъ размѣстились по своимъ мѣстамъ, наступаетъ, при звукѣ музыки и колокольномъ звонѣ, торжественное открытіе памятника Данту.—Произнесеніемъ краткой рѣчи и прочтеніемъ официального акта, слѣдующаго программѣ, должно было окончиться утреннее торжество первого дня юбилейныхъ праздниковъ.

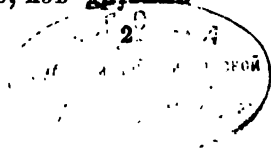
Сегодня вечеромъ весь городъ будетъ иллюминированъ, и на главныхъ пунктахъ будетъ играть музыка въ честь Данта сочиненныя симфоніи, а на площади св. Креста будутъ пѣть хоры пѣвчихъ.

Завтра утромъ назначена литературная академія, то есть литературныя чтенія въ память Данта, которымъ будетъ предшествовать музыкальная симфонія; въ заключеніе будутъ пѣть хоры пѣвцовъ, а вечеромъ, въ одномъ изъ театровъ, будетъ академія музыкальная, то есть исполненіе разныхъ музыкальных піесъ, сочиненныхъ въ честь Данта. Наконецъ, послѣ завтра, во вторникъ, 4/16 мая, утромъ, имѣетъ быть засѣданіе академіи della Crusca, а по полудни соберутся на площади св. Креста ремесленныя братства и общества взаимнаго вспоможенія, для раздачи пособій. Вечеромъ, въ одномъ изъ театровъ, состоится представленіе живыхъ картинъ, сопровождаемое произнесеніемъ нѣкоторыхъ эпизодовъ изъ „Божественной Комедіи“.

Во всѣхъ этихъ собраніяхъ будутъ присутствовать, въ официальном порядкѣ, сказанныя выше корпораціи депутатовъ отъ разныхъ учреждений и сословій.

Въ тотъ же вечеръ, подъ портикомъ присутственныхъ мѣстъ (Uffizi), назначено народное гулянье.

Кромѣ того, въ теченіе всѣхъ трехъ дней будутъ устроены для жителей города и для простого народа разные увеселенія, открыты выставки изящныхъ искусствъ и садоводства, галереи и, наконецъ, въ обширномъ дворцѣ (или Bargello)—Дантовская выставка, для которой со всей Италіи и, частью, изъ другихъ



странъ собрано все относящееся къ Данту изъ памятниковъ письменности и искусства, какъ-то: рукописи его сочиненій, рѣдчайшія изданія, произведенія живописи, скульптуры и т. п.

Сообщенная мною программа дантовскаго юбилея выражаетъ только внѣшнюю сторону національнаго торжества и притомъ только въ одномъ городѣ, хотя и въ главномъ средоточіи празднества; но извѣстно, что въ то же самое время должны раздаться восторженные клики въ честь великаго флорентійца въ мѣстныхъ празднествахъ дантовскаго юбилея почти по всѣмъ городамъ особенно средней и сѣверной Италіи, гдѣ этотъ поэтъ издавна пользовался большою популярностью. Уже предшествовавшее юбилею снаряженіе муниципальных депутатовъ изъ городовъ итальянскаго королевства во Флоренцію должно было произвести общее движеніе, которое тѣмъ больше воспламенило умы, что въ исторіи политическихъ переворотовъ послѣднихъ годовъ, какъ въ настоящее время, имя Данта сдѣлалось какъ бы знаменемъ либеральныхъ стремленій въ пользу единенія провинцій Апеннинскаго полуострова, съ ближайшею цѣлью изгнать нѣмцевъ изъ Венеціанской области и освободить Римъ отъ клерикальнаго управленія и сдѣлать этотъ вѣчный городъ столицею единой и нераздѣльной Италіи.

Такимъ образомъ, дантовскій юбилей въ Италіи можетъ дать намъ самое полное понятіе о современномъ взглядѣ на исторію и объ отношеніи народа къ его прошедшему.

Было время, когда возвращеніе къ прошедшему возбуждало мечтательность, когда исторія увлекала воображеніе, какъ романъ, въ которомъ сентиментальные умы искали себѣ идеаловъ и въ праздномъ досугѣ любовались ими, какъ любителю авторъ идилліи своими несбыточными героями, заслоняя отъ своихъ глазъ сладкою мечтою скучную дѣйствительность. Въ тѣ счастливыя времена, впрочемъ очень недавнія, обращались къ Данту какъ-бы съ религіознымъ обаяніемъ, будто къ чародѣю, который увлекалъ воображеніе читателей въ самое сердце средневѣковой жизни, и воскрешалъ передъ ними знаменательныя личности Фаринати, Каччагвиды, Франчески да Римини, Уголино, св. Доминика, — личности то ужасающія, то симпатичныя, со всею ихъ средневѣковою обстановкою, тѣмъ больше обаятельною, что эта давно отошедшая жизнь возникала передъ восторженнымъ воображеніемъ во всей ея свѣжести, будучи воспроизведена въ вѣчныхъ, монументальныхъ формахъ, под-

чиненныхъ небеснымъ законамъ религіозной идеи о возмездіи въ загробныхъ царствахъ Ада, Чистилища и Рая.

Для мечтательнаго воображенія исчезали столѣтія, которыми настоящее отдѣлено отъ прошедшаго, далекое становилось близкимъ и роднымъ, и средневѣковое—своимъ современнымъ, потому что оно представлялось въ радужной призмѣ загробной вѣчности, въ которой сливаются въ одинъ религіозный моментъ всѣ времена. Такъ было въ прежніе годы. Теперь иначе смотрятъ на прошедшее. Наша современность имѣетъ о себѣ высокое понятіе, будучи убѣждена, что она лучше, разумнѣе и совершеннѣе всего того, что она наслѣдовала отъ исторіи. Идиллическое обращеніе къ прошедшему, для того, чтобъ забыть современное горе, она называетъ ребячествомъ и скорѣе видитъ въ исторіи собраніе ошибокъ и недостатковъ, нежели свѣтлые идеалы. Наша практическая современность оцѣниваетъ исторію, насколько видитъ въ ней примѣненіе къ своимъ практическимъ цѣлямъ. Потому, если въ прежнія времена историческій взглядъ на прошедшее затемнялся мечтательнымъ къ нему обращеніемъ, какъ къ несбыточному идеалу, то и въ наше время исторія, можетъ быть, тоже много проигрываетъ, будучи воспроизводима съ личными цѣлями разныхъ современныхъ направленій.

Впрочемъ, сколько бы ни было односторонне это практическое отношеніе къ прошедшему, оно имѣетъ великое значеніе для современниковъ, когда имъ въ ихъ исторіи, далекой и полузабытой, указываютъ животрепещущіе интересы, которыми движутся и они сами.

Въ какомъ бы совершенствѣ ни выработалась историческая критика, новое время всегда будетъ предъявлять права на прошедшее, какъ на свою собственность, наслѣдованную отъ предковъ, и чѣмъ многозначительнѣе для народа прошедшій фактъ или чѣмъ болѣе историческая личность становится популярною, тѣмъ необходимѣе и естественнѣе каждому новому поколѣнію, при воспоминаніи о нихъ, сливать съ ихъ историческимъ значеніемъ интересы своей современности.

Какъ старинная сказка, переходя изъ устъ въ уста, отъ одного поколѣнія къ другому, принимаетъ на себя отпечатки разныхъ этическихъ поколѣній, и, вслѣдствіе накопленія этихъ самыхъ анахронизмовъ становится тѣмъ популярнѣе и тѣмъ дороже и милѣе народу; такъ и періодическое возвращеніе разныхъ

поколѣній къ любимой ими исторической личности, съ непремѣннымъ желаніемъ сблизить ее со своимъ временемъ и слиться съ нею своими интересами, тѣмъ болѣе дѣлаетъ такую личность популярною, чѣмъ чаще и искреннѣе возвращаются къ ней симпатіи позднѣйшихъ поколѣній.

Это періодическое возвращеніе позднѣйшихъ поколѣній съ національными симпатіями къ своему прошедшему нашло себѣ очень удобную для нашего времени форму въ празднованіи юбилеевъ, которые для нашихъ потомковъ будутъ любопытнѣйшими документами, особенно по тѣмъ современнымъ идеямъ, которыя наше время связываетъ съ историческою дѣятельностью чествуемыхъ въ юбилей личностей.

Италія нашего времени видитъ въ своемъ великомъ поэтѣ политическаго дѣятеля, который указалъ путь къ освобожденію отъ чуждаго ига и отъ клерикальнаго, не столько пророка, предсказавшаго счастливую эпоху, наступающую для этой страны въ настоящее время, сколько почти своего современника, потому что Италія временъ Данта, только подъ другими именами, находилась почти въ томъ же печальномъ положеніи, изъ котораго только теперь начинаетъ она освобождаться.

Таковъ внутренній историческій и политическій смыслъ дантовскаго юбилея для національнаго сознанія итальянцевъ. Для среднихъ вѣковъ великій флорентинецъ былъ богословъ, для Италіи нашего времени онъ — политикъ и агитаторъ: передъ его именемъ должны пасть всѣ преграды на пути Италіи изъ ея полной независимости и самостоятельности: и Австрійскія крѣпости въ Венеціанской области, и вмѣшательство французовъ, и свѣтская власть папы.

Но сверхъ національныхъ, собственно итальянскихъ, интересовъ, Дантъ имѣетъ значеніе всемірное въ исторіи всего человѣчества, какъ геніальнѣйшій представитель идей среднихъ вѣковъ, въ эпоху перехода отъ смутнаго броженія разныхъ элементовъ европейской цивилизаціи, выразившихся въ стилѣ готическомъ, къ живительнымъ началамъ эпохи такъ называемаго Возрожденія, проблески которой такъ явны становятся въ Италіи уже съ XIV в.

Политическая и литературная дѣятельность Данта относится еще къ тому времени, когда одни общіе интересы въ борьбѣ власти папской съ императорскою связывали между собой всѣ государства Западной Европы, когда католичество ознаме-

новалось послѣднимъ великимъ актомъ возстановленія своего уже ослабѣвшаго авторитета, въ учрежденіи и повсемірномъ распространеніи монашескихъ орденовъ св. Франциска и св. Доминика, когда Италія стала средоточіемъ европейскихъ интересовъ больше, нежели когда-нибудь прежде.

Слѣдовательно, понятно и вполне законно присутствіе корпорации иноземныхъ ученыхъ и литераторовъ на дантовскомъ юбилеѣ во Флоренціи, не потому только, что гениальный поэтъ есть гражданинъ всѣхъ временъ и народовъ, но и потому, что средніе вѣка, возсозданные Дантомъ въ его „Божественной Комедіи“, равно принадлежатъ къ національнымъ предметамъ какъ Италіи, такъ и другихъ западныхъ странъ.

Что же касается до сочувствія иностранцевъ къ политическимъ тенденціямъ, которыя итальянцы соединяютъ съ дантовскимъ юбилеемъ, то я имѣю мало данныхъ, чтобы въ достаточной полнотѣ рѣшить себѣ этотъ вопросъ.

Остается сказать нѣсколько словъ о томъ, въ какомъ отношеніи находится къ этому общеевропейскому торжеству русская образованная публика и русская литература.

Сколько было возможно въ короткій срокъ своего водворенія въ наше отечествѣ, наука и литература успѣли сдѣлать довольно многое для ознакомленія нашихъ соотечественниковъ съ Дантомъ. Еще въ 30-хъ годахъ текущаго столѣтія въ Московскомъ университетѣ читалъ отличныя лекціи о флорентійскомъ поэтѣ и его „Божественной Комедіи“ профессоръ Степанъ Петровичъ Шевыревъ.

Просвѣщенная публика довольно уже оцѣнила стихотворный переводъ первой кантики этой поэмы, о достоинствѣ котораго я умалчиваю изъ уваженія къ скромности переводчика, котораго Общество Любителей Россійской Словесности имѣетъ честь считать въ числѣ своихъ дѣйствительныхъ членовъ^{*)}. Наконецъ, въ послѣднее время педагогическою комиссіею Московскаго учебнаго округа вмѣнено въ обязанность для поступающихъ въ университетъ знакомство по крайней мѣрѣ съ нѣсколькими пѣснями „Божественной Комедіи“ по русскому переводу.

Вотъ почти все, что сдѣлано въ нашей литературѣ для Данта, исключая нѣкоторыя болѣе или менѣе удачныя компіляции, из-

^{*)} Минъ, бывшій профессоръ Московскаго университета.

влеченія и переводы иностранныхъ сочиненій по исторіи итальянской литературы.

Судя по этому немногому, трудно предположить, чтобы въ русской образованной публикѣ могли выказаться какія-либо опредѣленные симпатіи къ дантовскому юбилею, справляемому въ странѣ слишкомъ отдаленной и во всемъ намъ чуждой, и въ городѣ, вообще такъ мало у насъ извѣстномъ. Наша старина, богатая памятниками такъ называемаго романтическаго стиля, вовсе не знала стили готическаго, высшимъ проявленіемъ котораго въ литературѣ была „Божественная Комедія“. Наша новая литература, возсозданная въ XV в. по образцамъ западнымъ, заимствовала изъ нихъ позднѣйшіе результаты цивилизаціи, не имѣвшіе уже ничего общаго съ отдаленными временами борьбы Гвельфовъ и Гибеллиновъ. Можно бы разсчитывать на средневѣковую набожность и благочестіе русскаго народа въ сочувствіи къ такому произведенію, которое имѣетъ своимъ содержаніемъ восхожденіе человѣка въ область Божественной благодати черезъ юдоли плача и сокрушенія въ грѣхачъ. Но эта общая идея „Божественной Комедіи“ проводится черезъ такіа историческія, энциклопедическія и мѣстныя подробности, уразумѣніе которыхъ теперь можетъ быть доступно только ученымъ-специалистамъ изъ многочисленныхъ комментаріевъ или объясненій на Данта. Русскіе люди церковнаго направленія вовсе не могутъ сочувствовать поэмѣ, въ которой каждый стихъ пропитанъ католицизмомъ, въ которой высшими праведниками и святыми чествуются Тома Аквинскій, Бонавентура, Доминикъ и Францискъ Ассизскій, и которая, наконецъ, именуется *комедіей*, да еще *божественной*, такъ что дѣтъ 15 тому назадъ русская цензура запрещала въ печати называть поэмѣ Данта „*Божественной Комедіей*“.

Еще меньше слѣдуетъ ожидать сочувствія къ этому произведенію отъ такъ называемыхъ развитыхъ, современныхъ или, какъ говорится, *либеральныхъ* умовъ русской журналистики, которые должны приходить въ немалое затрудненіе при мысли—какъ можетъ во второй половинѣ XIX столѣтія имѣть современный интересъ стихотворное описаніе Ада, Чистилища и Рая, преисполненное всевозможныхъ суевѣрій и предразсудковъ, и особенно въ такой странѣ, какъ итальянское королевство, гдѣ не перестаютъ еще подвизаться Гарибальди и Мадзини, гдѣ готовятся уничтожить всѣ монастыри и гдѣ знаменитая книга

Ренана пользуется такою популярностью, что продается на каждом углу вмѣстѣ съ либреттами оперъ и ежедневными листками политическихъ карикатуръ.

Итакъ, кромѣ науки, въ нашемъ отечествѣ не выработалось никакой другой среды, въ которой имя Данта получило бы свое настоящее значеніе. Зато эта среда, самая чистая и возвышенная, и, по своей отрѣшенности отъ мелкихъ направленій текущаго дня, наиболѣе согласная съ вѣчными идеями, положенными великимъ флорентійцемъ въ основу Европейской цивилизаціи.

III. О двухъ священнослужителяхъ при русскихъ посольствахъ за границей.

Еще два разрозненныхъ эпизода изъ моей біографіи, обнимающихъ время на разстояніи цѣлыхъ сорока лѣтъ отъ 1840—1880 года. Рѣчь будетъ о двухъ церковнослужителяхъ при русскомъ посольствѣ за границею, именно въ Римѣ и въ Вѣнѣ.

Проживая въ Римѣ осень, зиму и весну 1840 и 1841-го годовъ, я коротко познакомился съ архимандритомъ Герасимомъ, исполнявшимъ должность священника при тамошнемъ русскомъ посольствѣ. Онъ былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти и передъ тѣмъ нѣсколько лѣтъ священствовалъ тоже при русскомъ посольствѣ въ Константинополѣ. Пребываніе въ этой бывшей нѣкогда столицѣ всего христіанскаго міра много способствовало умственному, ученому и религіозному образованію отца Герасима. Кромѣ самаго подробнаго изученія Св. Софіи царѣградской, передѣланной теперь въ мусульманскую мечеть, онъ посѣтилъ въ Солуни древніе православные храмы, доселѣ въ замѣчательной цѣлости сохранившіеся, а также и въ Греціи тѣ полуразрушенные во время войны за независимость храмы, рисунки которыхъ были сняты извѣстнымъ французскимъ антикваріемъ Дюраномъ, о чемъ я подробно говорилъ въ первомъ томѣ „Моихъ Досуговъ“, именно въ статьѣ о Шартрѣ. Изученіе древне-христіанской церковной архитектуры внушило о. Герасиму убѣжденіе, что досчатая перегородка въ русскихъ церквахъ, извѣстная подъ именемъ иконостаса, есть позднѣйшее искаженіе, не только обезобразившее всю внутренность храма, сокративъ его этою перегородкою, но и тѣмъ, что она заслоняла горнее мѣсто, на которомъ, по древнѣй-

шему преданію, искони изображалась тайная вечера, именно въ древнѣйшемъ переводѣ, т. е. посреди Христосъ изображенъ дважды стоящій: по одну сторону отдаетъ шести апостоламъ хлѣбъ, а по другую вино изъ сосуда. На основаніи этого древнѣйшаго изображенія отецъ Герасимъ оправдываетъ католическій обрядъ отдѣльнаго причащенія хлѣбомъ и виномъ, хотя находитъ совершенно излишнимъ вносить его въ нашу православную церковь. Другое его убѣжденіе состоитъ въ томъ, что хлѣбъ на тайной вечерѣ, по обычаю еврейскому, былъ опрѣсночный, а не квасной, но это различіе между восточной и западной церквами онъ не признаетъ существеннымъ. Гораздо важнѣе его выводы о Св. Духѣ, основанные на изученіи греческихъ рукописей, находящихся въ бібліотекахъ Аѳонскихъ монастырей—въ Символѣ Вѣры по этимъ рукописямъ оказывается замѣчательный вариантъ объ исхожденіи Св. Духа. По однимъ читается: „Иже отъ Отца исходящаго“, а по другимъ: „иже отъ Отца и Сына (Filioque) исходящаго“. Варианту этому особаго значенія нашъ архимандритъ не придаетъ, оставляя вопросъ открытымъ.

Въ православномъ календарѣ титулованіе Іеронима и Августина эпитетомъ *блаженный* находитъ онъ оскорбительнымъ въ отличіе отъ прочихъ Отцовъ церкви, именуемыхъ *святыми*. Кроме всего вышесказаннаго, пребываніе въ Турціи во всей ясности и полнотѣ обнаружило о. Герасиму нахальство и тиранію католическихъ монаховъ, принимавшихъ всевозможныя мѣры обращать православныхъ славянъ, турецкихъ подданныхъ, въ католичество. На сопротивлявшихся ихъ проповѣди они доносили турецкимъ властямъ, какъ на государственныхъ преступниковъ, а иногда и сами предавали ихъ истязаніямъ. По этому поводу отецъ архимандритъ привелъ мнѣ одинъ очень разительный примѣръ. Какой-то славянинъ изъ Македоніи былъ посаженъ въ тюрьму и приговоренъ къ казни за нанесенное имъ оскорбленіе какому-то турецкому вельможѣ. Дѣло было зимою, и въ темницѣ славянина для согрѣванія стоялъ на полу тазъ съ горящими углями; къ несчастному арестанту входитъ католическій монахъ и начинаетъ его увѣщевать, чтобы онъ принялъ католичество и тогда будетъ выпущенъ изъ тюрьмы и спасенъ отъ казни. Узникъ возразилъ монаху противъ его доказательствъ о превосходствѣ католическаго исповѣданія передъ православнымъ; богослов-



ское состязаніе перешло въ брань и обиды. Славянинъ вышелъ изъ себя, схватилъ тазъ съ горящими угольями и окатилъ ими съ ногъ до головы порицавшаго его проповѣдника. Разумѣется, несчастный былъ казнень, а монахъ отдѣлался только обжогами. Когда архимандритъ Герасимъ переѣхалъ изъ Константинополя въ Римъ, онъ былъ уже вполнѣ подготовленъ ненавидѣть католическихъ поповъ и монаховъ и вести съ ними борьбу.

Мое знакомство съ нимъ очень скоро перешло въ дружбу, и я часто навѣщалъ его и обыкновенно подолгу съ нимъ бесѣдовалъ по вечерамъ, когда прогулки по Риму были бесполезны для моихъ наблюденій. Главнѣйшимъ и почти единственнымъ предметомъ нашихъ бесѣдъ были: злокозненное католичество, развратные папы и ихъ прелаты, ехидные иезуиты и палачи Доминиканцы съ ихъ инквизиціей. Впрочемъ, онъ не жаловалъ и всѣ другіе монашескіе ордена, за исключеніемъ Францисканцевъ, потому, что благоговѣнно чествовалъ Св. Франциска, священнымъ девизомъ котораго были: смиреніе или послушаніе, цѣломудріе и нищета. Его духовные гимны, писанные итальянскими стихами, отецъ Герасимъ зналъ наизусть и удачно пользовался ими въ своихъ диспутахъ съ щеголеватыми, легкомысленными и сластолюбивыми монахами другихъ орденовъ. Чтобы мѣтко преслѣдовать и допекать зловредный папизмъ, о. Герасимъ обстоятельно изучилъ исторію папъ Ранке, а также старинныя лѣтописи, мемуары и разныя другіе источники и пособія. Съ великимъ злорадствомъ рассказывалъ онъ мнѣ изъ нѣмецкихъ лѣтописей X, XI и XII-го вѣковъ о такъ называемомъ управленіи или царствованіи папскихъ наложницъ (Hugenregiment), о знаменитой Морозин, которая ставила на папскій престолъ своихъ шестнадцатилѣтнихъ сыновей, прижитыхъ отъ своего любовника— тоже папы; рассказывалъ о пресловутой папессѣ Іоаннѣ, переодѣтой въ мужское одѣяніе и въ качествѣ папы Іоанна воссѣдавшей на папскомъ престолѣ; къ этому присовокуплялъ мой рассказчикъ, какъ, однажды, эта священная персона въ папскомъ облаченіи, предшествуя крестному ходу изъ базилики Св. Климента къ Іоанну Латеранскому, вдругъ почувствовала приближеніе немедленныхъ родовъ, упала въ изнеможеніи и въ углу узенькаго переулка

разрѣшилась отъ бремени. Это укромное мѣстечко въ пустырь можно было видѣть еще въ 1874 году.

Изъ позднѣйшаго времени мой милый собесѣдникъ повѣдалъ самые соблазнительные скандалы папской куріи изъ мемуаровъ объ Олимпіи Мальдакини.

Эта ловкая женщина, заправляя общественными и политическими дѣлами Рима и всей Италіи, въ теченіе десяти лѣтъ, съ 1844 по 1855, по мужу принадлежала къ аристократической фамиліи Maildalchini Pamfili, исторія которой связана съ городомъ Видербо, гдѣ у нихъ былъ дворецъ, особые покои въ одномъ изъ женскихъ монастырей, и въ милѣ отъ города роскошная вилла, гдѣ Олимпія принимала къ себѣ папу Иннокентія. Старинную фамилію Maildalchini, сохранившуюся въ этой формѣ въ Видербо, передѣляли въ Maldachini, подъ которою прослыла эта замѣчательная героиня стариннаго романа аббата Гвальди, наполненнаго характеристическими подробностями, самыми постыдными для римской аристократіи того времени, и свѣтской, и, особенно, духовной. Римскіе скандалы гремѣли по всей Италіи и далеко за предѣлами ея, и въ обществѣ, и въ литературѣ, и въ политикѣ. Мраморный Пасквино облѣплялся сотнями пасквинатъ, или пасквилей, и перекликался съ своимъ собратомъ Марфоріо. Когда, благочестивая до тѣхъ поръ, Олимпія, вмѣстѣ съ Иннокентіемъ, вступила на римскій престолъ, Пасквино возвѣстилъ Риму о событіи каламбуромъ: „Olim pia, pinc impia“, а когда она сдѣлала Ватиканъ сборищемъ женщинъ дурного поведенія, Пасквино рекомендовалъ своему собрату: „Se tu vuoi farti il ruffiano, — troverai donne al Vaticano“¹⁾. Когда же, по рѣшенію Олимпіи, Иннокентій возвелъ въ кардинальское званіе своего восемнадцатилѣтняго племянника, а ея сына, снискавшаго себѣ извѣстность только по своей глупости и безобразію, Марфоріо, въ свою очередь, адресовался къ Пасквино: „Non pianger, Pasquino, compagna ti saga Maldachino“. По всей Европѣ были распространяемы золотыя и серебряныя медали съ портретомъ Олимпіи въ папской тиарѣ св. Петра на одной сторонѣ, и на другой—съ портретомъ самого Иннокентія въ женской прическѣ, съ веретеномъ и прялкою въ рукахъ. Въ Англіи будто бы передъ самимъ Кромвелемъ играли комедію: „Свадьба папы“, на англійскомъ языкѣ. Иннокентій

¹⁾ „Если хочешь сдѣлаться сводникомъ, бабъ найдешь въ Ватиканѣ“.

просить у Олимпіи руки; она отказывается ему, потому что онъ безобразенъ и гадокъ, и соглашается только тогда, когда онъ отдаетъ ей сначала ключъ отъ рая, а потомъ и отъ ада, который она вытребовала съ тѣмъ, чтобы онъ не спровадилъ ее въ адъ, когда она надобѣтъ ему. На ихъ свадьбѣ веселятся братья и сестры Доминиканскаго и другихъ орденовъ, въ радостномъ ожиданіи, что и для нихъ наступитъ время сочетаться бракомъ. Наконецъ, одинъ проповѣдникъ въ Женевѣ, на текстъ о томъ, что мужъ не долженъ подчиняться власти жены, громилъ униженное положеніе римской церкви, поработенной Олимпіею. Эти и другія подробности аббатъ Гвальди группируетъ въ своемъ историческомъ очеркѣ, придавая ему романическій интересъ мѣткими характеристиками дѣйствующихъ лицъ, ихъ живыми разговорами, пикантными остротами и, наконецъ, всею обстановкою тогдашней жизни въ Римѣ, какъ аристократической, такъ и народной—на улицахъ.

Такимъ образомъ, ополчившись во всеоружіи для диспутовъ съ католическими богословами, о. Герасимъ поселился въ Римѣ, на главной его улицѣ Corso, идущей отъ Народной площади (Piazza del Popolo) до самаго Капитолія. Какъ на квартирѣ, такъ и вообще въ простонародной римской публикѣ онъ прозывался не священникомъ или прелатомъ, а кавалеромъ (cavalier Gerasimo). Онъ съ своей стороны особъ католическаго духовенства называлъ „западными попами“. „Вотъ вчера я встрѣтилъ на улицѣ западнаго попа и порядочно отдѣлалъ его!“ и т. д. Предметы диспутовъ были слѣдующаго содержанія. Во-первыхъ, высокоумное суетумудріе ватиканскихъ владыкъ, дерзновенно именовавшихъ себя намѣстниками самого апостола Петра, отъ котораго они яко-бы получили символическіе знаки на верховное право миловать и казнить свою паству не только въ здѣшнемъ мірѣ, но и въ будущемъ, отверзая ключами этого апостола врата адовы для грѣшниковъ и врата райскія—для праведниковъ. Во-вторыхъ, алчное корыстолюбіе въ снисканіи знати и другихъ земныхъ благъ посредствомъ индульгенцій и другихъ столько же незаконныхъ поборовъ и даже грабежей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и грѣховною продажей даровъ св. Духа или симоніею, такъ что римскіе первосвященники становили себя въ ряды тѣхъ мытарей, которыхъ Іисусъ Христосъ изгонялъ изъ храма Соломона вервиемъ. Въ-третьихъ, сладострастный развратъ не только самихъ папъ, но и кардиналовъ и

всего низшаго католическаго духовенства, не исключая и монаховъ. Съ особенной игривостью кавалере Джерасимо развивалъ передъ „западными попами“ эту тему, пользуясь выше-сказанными повѣстями и анекдотами, а также многими другими. Въ-четвертыхъ, безчеловѣчное жестокосердіе многихъ наместниковъ апостола Петра, вооруженное костромъ и сѣкирою, инквизиціей Доминиканцевъ и оберегаемое отъ нареканій и скандаловъ злокозненными іезуитами. Любопытно, что самыя наименованія этихъ двухъ постыдныхъ монашескихъ орденовъ запечатлѣны нахальнымъ кощунствомъ: по католическому богословію Доминиканцы, т. е. *Domini canes*, символически означаетъ *божьихъ* собакъ, почему и въ религіозной живописи разныхъ итальянскихъ живописцевъ эти монахи съ благочестивымъ уваженіемъ изображаются въ видѣ бѣлыхъ собакъ съ черными пятнами, на томъ основаніи, что Доминиканцы наряжаются въ бѣлыя туники, сверху покрытыя черными капюшонами. Что же касается до іезуитовъ, то это, по смыслу слова, суть не что иное, какъ братья во имя Іисуса Христа.

Не могу понять, какъ могли сходить съ рукъ безнаказанно всѣ эти дерзости, наносимыя нашимъ архимандритомъ всему католическому духовенству, какъ не упрятали его куда-нибудь, или какъ не спровадили его на тотъ свѣтъ злостные псы Господа Бога и братія Іисуса Христа. Можетъ быть, опасались дипломатической передраги въ русскомъ посольствѣ, или же просто-напросто не придавали горячности нашего архимандрита никакого серьезнаго значенія, и, дѣйствительно, въ своихъ диспутахъ съ нимъ римскіе богословы отдѣлывались шутивымъ балагурствомъ и остроумными каламбурами. Тогда нашъ ораторъ выходилъ изъ себя, и диспутъ оканчивался шутовскою комедіей, въ которой нашему кавалеру Герасиму рекомендовалось играть роль полоумнаго Донъ-Кихота, сражающагося съ вѣтранными мельницами.

Впрочемъ, этотъ милый человѣкъ удовольствовался местию, которую онъ нанесъ католичеству въ своей церковной службѣ. Въ помощники псаломщику онъ нашелъ по ту сторону Тибра одного транстеверинца, здоровеннаго малаго лѣтъ 25-ти, перевелъ его изъ католичества въ православіе таинствомъ миропомазанія, выучилъ немножко говорить по-русски и пѣть церковную службу, подтягивая своимъ густымъ басомъ тенору псаломщика. Былъ онъ одѣтъ всегда въ черномъ фракѣ, подавалъ

архимандриту курящееся кадило, а молясь передъ иконами, онъ спускался только на одно колѣно по-католически, а не по нашему—на оба.

Мнѣ остается сказать еще объ одномъ качествѣ настоятеля нашей посольской церкви: онъ былъ превосходный духовникъ. Никогда, ни прежде, ни послѣ, мнѣ не пришлось съ такимъ благоговѣніемъ и съ такимъ слезнымъ раскаяніемъ исповѣдываться, какъ у него. Я въ Римѣ былъ тогда очень восторженъ и наивно набоженъ, и потому слезно раскаивался въ своихъ прегрѣшеніяхъ. О. Герасиму стало жаль меня: „Успокойтесь“,—сказалъ онъ,—„я и самъ во многомъ этомъ грѣшенъ“. Въ отвѣтъ на это утѣшеніе я не могъ удержаться отъ рыданій.

Миръ праху твоему, ревностный ратоборецъ за благотворное, кроткое и смиренномудрое православіе противъ эгоистичнаго, хитраго и гордостнаго католичества! Понятія и убѣжденія твои объ этомъ изолгавшемся исповѣданіи вполне согласовались со всѣмъ его прошедшимъ и предсказывали грядущую правосудную Немезиду, когда, наконецъ, король Викторъ Эммануилъ, въ сотовариществѣ съ Гарибальди, нанесъ мнимому намѣстнику апостола Петра роковой ударъ, низвергшій его съ недостигаемой высоты величія въ земную бездну плачевной и горемычной участи ватиканскаго плѣнника.

Любопытно и для меня непонятно, какими судьбами нашъ убогій игуменъ, недалекій самоучка въ премудростяхъ современнаго просвѣщенія, пришедшій съ далекаго сѣверо-востока въ Римъ бесѣдовать съ тамошними богословами, могъ обладать такою чуткою прозорливостью, что въ своихъ идеяхъ и образѣ мысли предугадалъ грозныя филиппики, какими бичевали злокозненное католическое духовенство знаменитые европейскіе мыслители и итальянскіе классическіе писатели, какъ поэты, такъ и прозаики. Еще великій Дантъ въ своей „Божественной Комедіи“ нещадно казнилъ, порочилъ ихъ папъ и прелатовъ, помѣстивъ ихъ въ кромѣшныхъ вертепахъ своего ада, а вышеупомянутый роковой подвигъ Виктора Эммануила предсказалъ въ символическомъ образѣ Великаго Пса (Веронскій *Cane Grande*), который пожретъ алчную Римскую Волчицу. Боккаччо въ своихъ новеллахъ смѣхотворно издѣвается надъ фальшивыми чудесами, какія продѣлываютъ католическіе церковники, надъ духовниками, которые на исповѣди добываютъ

себѣ любовницѣ, какъ въ знаменитой новеллѣ о венеціанской Маннѣ-Лизѣ; изображаетъ растленіе нравовъ всего римскаго духовенства въ злостной новеллѣ о двухъ друзьяхъ, проживавшихъ въ Парижѣ, изъ которыхъ одинъ былъ христіанинъ, т. е. католикъ, а другой—еврей. Христіанинъ крайне сожалѣлъ своего друга, что онъ погибнетъ въ аду, будучи еврейскаго исповѣданія, но этотъ послѣдній не соглашался и медлилъ до тѣхъ поръ, пока убѣдится въ превосходствѣ христіанской вѣры передъ еврейской. Наконецъ, для разрѣшенія всѣхъ своихъ сомнѣній, отправляется въ Римъ, какъ центръ и высшій пунктъ христіанскаго исповѣданія. И какъ же онъ ошибся въ своихъ ожиданіяхъ! Большаго разврата, лжи, хищничества и святотатства онъ и вообразить себѣ не могъ, сколько напелъ въ Римѣ, начиная отъ папы и до самаго низшаго класса церковниковъ. Если не знаете новеллы Боккачіо, ни за что не угадаете, къ какому рѣшенію пришелъ нашъ еврей. Воротившись въ Парижъ, онъ немедленно отправился къ своему другу и съ искреннимъ убѣжденіемъ сказалъ ему: „я сейчасъ же желаю всѣмъ своимъ сердцемъ принять христіанскую вѣру, потому что она дѣйствительно святѣе всѣхъ другихъ исповѣданій; въ противномъ же случаѣ давно бы изсякла, а Римъ со всѣмъ своимъ духовенствомъ провалился бы подъ землю. Велика ваша вѣра, когда и въ рукахъ такихъ порочныхъ служителей церкви не загрязняется“. У Боккачіо же встрѣчаемъ ранній набросокъ Лессингова „Натана Премудраго“. Самую злостную сатиру на католическую церковь составилъ въ XVII вѣкѣ Паллавичини, въ одномъ изъ своихъ рассказовъ подъ заглавіемъ „Небесный Разводъ“. Пародируя библейскую „Пѣсню пѣсней“, онъ жениха изображаетъ въ видѣ Иисуса Христа, а невѣсту въ видѣ католической церкви, но они уже повѣнчались. И вотъ, однажды, является Христосъ къ Своему Богу Отцу и слезно жалуется Ему на свою жену, потому что своими мерзостями, непрестанными обманами и развратомъ вывела она Его изъ всякаго терпѣнія; жить съ нею далѣе Онъ рѣшительно не въ силахъ и убѣдительно проситъ Своего Отца, чтобы Онъ развелъ Его съ нею. Такимъ образомъ съ тѣхъ поръ католическую церковь навсегда покинулъ Иисусъ Христосъ.

Теперь переведу васъ изъ Рима въ Вѣну и расскажу вамъ кое-что о протоіерѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ Раевскомъ, о настоятелѣ церкви русскаго посольства при австрійскомъ дворѣ. Я

съ нимъ познакомился въ 1863 году и съ тѣхъ поръ, посѣщая Вѣну, видался съ нимъ до 1880 года. Раевскій былъ такой же энтузіастъ, какъ и архимандритъ Герасимъ, только въ другомъ родѣ и въ другомъ направленіи. Онъ оставлялъ въ сторонѣ австрійское католичество и все свое вниманіе обращалъ на политическое отношеніе славянъ къ ихъ австрійскому императору, и по этой причинѣ былъ постоянно подъ строгимъ надзоромъ тамошней тайной полиціи. Онъ это хорошо зналъ и гордился такимъ вниманіемъ австрійскихъ властей, надѣясь на защиту своей репутаціи отъ нашего посла. Къ празднику нѣмцамъ онъ устроилъ для своей посольской церкви отличный хоръ пѣвчихъ изъ чеховъ и словаковъ, разумѣется, основательно проштудировавъ съ ними славянское церковное хоровое пѣніе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обучивъ ихъ говорить по русски. Пѣвчіе эти были бѣльмоу на глазу для австрійскихъ властей, но дѣлать было нечего, такъ какъ предметъ касался собственно не политики, а религіи.

Тогда еще продолжалось бойкое полемическое время изворотливыхъ преній и злостныхъ пререканій, имѣвшихъ предметомъ религіозные, политическіе и литературные вопросы, какое именно изъ исповѣданій преимущественнѣе: православное или католическое съ протестантскимъ, и какая національность чище и способнѣе къ дальнѣйшему развитію: славянская или западноевропейская. На этихъ антитезахъ основалась такъ называемая партія славянофильская въ противоположность западничеству. Въ Россіи средоточіемъ ея была Москва. Изъ главныхъ представителей ея назовемъ: Сергѣя Тимоѣевича Аксакова съ двумя сыновьями его, Константиномъ и Иваномъ, двухъ братьевъ Кирѣевскихъ, Ивана и Петра Васильевичей, Алексѣя Степановича Хомякова, Михаила Петровича Погодина, Степана Петровича Шевырева, Юрія Ѳедоровича Самарина, Александра Ивановича Копелева, Александра Николаевича Попова и Василія Ивановича Панова. Милостивымъ покровителемъ ихъ въ Петербургѣ былъ статсъ-секретарь Дмитрій Николаевичъ Блудовъ, вмѣстѣ съ своею дочерью, Антониною Дмитріевною, любимую фрейлиною Государыни Императрицы Маріи Александровны. Графиня Блудова вмѣстѣ съ другою фрейлиною, Анной Ѳедоровною Тютчевой¹⁾, состоявшей воспи-

¹⁾ Впоследствии женою Н. С. Аксакова.

тательницей при великой княжнѣ Маріи Александровнѣ, нынѣ герцогинѣ Единбургской, посвятила Государыню въ идеи и стремленія славянофиловъ.

Изъ этихъ славянофиловъ распространяли свое ученіе и любовь къ русской народности слѣдующія лица: Погодинъ и Шевыревъ въ журналѣ подъ названіемъ „Москвитинъ“, а послѣдній изъ нихъ и своими лекціями какъ частными для студентовъ, такъ, особенно, публичными. Самаринъ для рѣшенія вопроса о борьбѣ православія съ католичествомъ и протестантизмомъ предложилъ диссертацию на степень магистра о трехъ русскихъ архипастыряхъ: о Теофанѣ Прокоповичѣ, Стефанѣ Яворскомъ и Гавріилѣ Бужинскомъ. Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ писалъ тоже магистерскую диссертацию о Ломоносовѣ, преимущественно о его заслугахъ по обработкѣ русскаго литературнаго языка. Петръ Васильевичъ Кирѣевскій собиралъ самъ по разнымъ концамъ Россіи, а также и при помощи своихъ друзей и знакомыхъ, русскія народныя пѣсни и быliny, которыя были потомъ изданы.

Что касается до ученой и литературной дѣятельности нашихъ литературныхъ соотечественниковъ и особенно чеховъ, то около половины XIX столѣтія чешская литература достигла небывалой долготы высоты. Каждый новый литературный опытъ этихъ дѣятелей вызывалъ восторженные похвалы и энтузіазмъ читателей. Таковы, напр., произведенія Шафарика: „Славянская Народопись“ и „Славянскія Старожитности“; Палацкаго „Исторія чешскаго народа“; Ганки изданія: „Старобыла Складана“ (т. е. старинныя сочиненія) и между ними очень любопытная повѣсть подъ заглавіемъ „Ткадличекъ“, по нашему—„ткачъ“; „Краледворская рукопись“; Далемилова чешская хроника и, наконецъ, знаменитая поддѣлка подъ названіемъ: „Судъ Любуши“, состряпанная самимъ Ганкою, для возбужденія пущей ненависти чеховъ къ нѣмцамъ, которая, по свидѣтельству этой будто бы древней поэмы, испоконъ вѣку поддерживалась жестокостью ихъ притѣснителей. Около того же времени сербъ Вукъ Караджичъ исходилъ на одной ногѣ и съ костылемъ всю сербскую землю и собралъ громадное количество народныхъ пѣсенъ и сказокъ, и издать то и другое, а также и толковый сербскій словарь съ присовокупленіемъ разныхъ народныхъ обрядовъ и повѣрій, поговорокъ, постоянныхъ эпитетовъ и другихъ стереотипныхъ выраженій. Вслѣдъ за Вукомъ Караджичемъ стали издаваться сбор-

ники безыскусственной народной словесности и у другихъ славянскихъ иноплеменниковъ: у болгаръ, чеховъ, словаковъ и лужичанъ.

Желая воспользоваться моимъ прїѣздомъ въ Вѣну, протоіерей Раевскій задумалъ устроить у себя вечеръ для тѣхъ изъ славянскихъ студентовъ Вѣнскаго университета, которые понимаютъ по-русски, съ тѣмъ, чтобы я познакомилъ ихъ съ древними русскими стихотвореніями Кириши Данилова по изданію Калайдовича. Чешской и словацкой молодежи набралось человѣкъ съ десять, и за русскимъ самоваромъ, угощаясь ароматическимъ русскимъ чаемъ, они съ восторгомъ прослушали нѣскольکو отрывковъ, прочтенныхъ мною изъ былинъ объ Ильѣ Муромцѣ, Добрынѣ Никитичѣ, о Садкѣ богатомъ гостѣ и Васкѣ Буславѣ. — Когда я возвращался отъ Раевскаго въ нанятой мною на вечеръ четырехмѣстной каретѣ, милые студенты порѣшили проводить меня до нашей гостинницы: человѣка четыре сѣло со мной въ карету, а другіе умѣстились, какъ попало: кто на запяткахъ, кто на подножкахъ, а кто на козлахъ съ кучеромъ. Во всю дорогу безъ усталости громко и стройно пѣли они какой-то патріотическій славянскій гимнъ, а когда я съ ними распрощался и вошелъ въ гостинницу, они на улицѣ подъ окнами устроили мнѣ еще серенаду. Часовъ въ 12 на другой день впопыхахъ является ко мнѣ Раевскій и увѣдомляетъ, что утромъ у него былъ полицейскій чиновникъ, чтобы получить отъ него свидѣнія, кто именно и какіе студенты проѣхали отъ его квартиры и до такой-то гостинницы, горла не пѣсни и безчинствуя по всѣмъ улицамъ. Впрочемъ, онъ успокоилъ меня, присовокупивъ, что онъ заявилъ полицейскому о моей полнѣйшей благонамѣренности.

Какъ тогда, такъ и потомъ, посѣщая Вѣну, я никогда не могъ достаточно налюбоваться на семейное счастье, какимъ наслаждался Михаилъ Ѳеодоровичъ вмѣстѣ съ своею женою въ взаимномъ сердечномъ сочувствіи между собою. Выдавъ дочь свою замужъ за дьякона при церкви русскаго посольства въ Неаполѣ, а сына своего отправивъ въ Россію на государственную службу, они остались вдвоемъ одни-одинохоньки, какъ-бы отдѣливъ себя магическимъ кругомъ отъ всего иноземнаго, чуждаго имъ по языку, нравамъ, обычаямъ и привычкамъ. Этимъ я объясняю себѣ тотъ замкнутый союзъ этихъ супруговъ, какимъ я восхищался.

Когда осенью 1880 года я прибылъ въ Вѣну вмѣстѣ съ своею женою, Людмилою Яковлевною, мы застали протоіерея Раевского уже вдовцомъ. Онъ сильно одряхлѣлъ и исхудалъ, осунулся. Чтобы размыкать свое горе, онъ, пользуясь нашимъ прїѣздомъ, часто посѣщалъ насъ въ гостинницѣ, а также вмѣстѣ съ нами гулялъ по городу и по его публичнымъ садамъ. Прежняя его веселость и спокойствіе духа замѣнились нервною раздражительностью, доходящею иногда до озлобленія. Политика по отношенію австрійскихъ славянъ къ правительству перестала его занимать, да и времена перемѣнились. Горячіе дѣятели за свободу чеховъ, знакомые и друзья Михаила Ѳедоровича всѣ повимерли, наступило вялое затишье. Что же касается до новаго поколѣнія славянскихъ ученыхъ, то лучшіе изъ нихъ были покорнѣйшими слугами императора австрійскаго. Въ особенности былъ таковъ знаменитый профессоръ по кафедрѣ славянскихъ нарѣчій въ Вѣнскомъ университетѣ Миклошичъ, который пользовался такимъ благорасположеніемъ императора, что могъ по собственному желанію, когда было ему нужно, являться во дворецъ къ государю. Этого-то Миклошича Раевскій терпѣть не могъ и называлъ его шарлатаномъ, и серьезно, съ азартомъ говорилъ мнѣ, что этотъ ученый гроша не стоитъ и что его славянскій сравнительный корнесловъ и церковно-славянскій словарь переполнены ошибками и всякою чепухою, и что онъ, Раевскій, въдесятеро бы лучше него составилъ эти ученые труды. Я, разумѣется, слушалъ его молча и опасался своимъ несогласіемъ раздражить болѣзненнаго и несчастнаго человѣка.

Ѳедоръ Буслаевъ.

Москва, 28 ноября 1895 г.

Общій взглядъ на древнюю русскую литературу *).

Въ X вѣкѣ, въ то время, когда въ Западной Европѣ господствовала уже лжеклассическая, схоластическая философія, по обширнымъ, слабо-заселеннымъ мѣстностямъ древней Руси стало медленно, сначала только по главнымъ центрамъ, распространяться христіанство. Народы Западной Европы успѣли уже пройти огромное пространство того тернистаго пути, который предстоялъ теперь русскимъ славянамъ. Чтò же принесло съ собой христіанство въ языческое общество? Первыми проповѣдниками его были люди простые, темные, равнодушные къ интересамъ знанія и видѣвшіе въ языческой наукѣ только „жимваль звенящій“, — люди, съ презрѣніемъ смотрѣвшіе на старую религію, на языческую философію. Языческіе же философы, образованные люди, скромно развиваютъ знаніе среди темнаго, бездѣйствующаго невѣжества. Христіане апостольскаго вѣка относились къ разуму съ недоувѣріемъ, презрѣніемъ и не давали ему особеннаго мѣста для дѣятельности. Съ теченіемъ времени среди христіанъ появляются люди, овладѣвшіе вполнѣ языческими науками, не гнушавшіеся знанія, отводившіе и разуму нѣкоторое мѣсто въ человѣческой дѣятельности. Мѣсто это въ первое время не было особенно завидно. Христіанство подвергалось сильнымъ нападкамъ со стороны языческой науки. Надо было сдѣлать уступку разуму, наукѣ для того, чтобы бороться съ языческой философіей ея же оружіемъ. И вотъ христіанскіе учителя овладѣваютъ богатствомъ языческаго образованія, дѣлаются отцами христіанской церкви, учителями, проповѣдниками новой вѣры. Земная мудрость, внесенная въ науку, получаетъ во II вѣкѣ у самихъ христіанъ нѣкоторое значеніе, какъ орудіе для защиты небесной мудрости. Но наука является тутъ только служебнымъ орудіемъ

*) Вступительная лекція въ курсъ исторіи литературы XVI вѣка, прочитанная въ 1882/3 академич. г. въ Московскомъ Университетѣ.

богословія, которое не пропускает случая осыпать упреками мирскую философію, которая рабски только поклонялась разуму и предъявляла права на свою независимость.

Въ св. писаніи учили искать разрѣшенія всѣхъ вопросовъ, возникающихъ въ человѣческомъ обществѣ, заставляли болѣе вѣрить и отучали понимать. Но человѣческій разумъ не могъ оставаться въ этомъ неестественномъ подчиненіи одностороннему богословію. Онъ не могъ отказаться отъ права на жизнь, на самостоятельность, и постепенно эмансипировался изъ-подъ вліянія теологіи. Въ IX вѣкѣ эта эмансипація приняла уже полные, опредѣленные размѣры: начинали сбрасывать оковы богословскаго догматизма, начинали смотрѣть на жизнь смѣлѣе и независимѣе, перестали считать грѣхомъ свободно жить и думать...

При содѣйствіи арабовъ, пришедшихъ въ Западную Европу, возникла великая энциклопедія. Личность Аристотеля становится незыблемымъ авторитетомъ въ области знанія. Философы, какъ люди другихъ мыслей и воззрѣній, допускали свободу мышленія, воззрѣній,—и въ этомъ почти состояла великая заслуга схоластики; она дала знанію и мудрости право существованія независимо отъ христіанскаго богословія. Кочующіе евреи и арабы, которымъ принадлежитъ въ средніе вѣка образованіе, распространили ученіе Аристотеля далеко по всей Западной Европѣ. Передъ Аристотелемъ начинаютъ преклоняться такъ же, какъ передъ христіанскимъ богословіемъ; къ нему ученики относятся, какъ къ авторитету, съ безусловной вѣрой. Отсюда схоластика съ своимъ умственнымъ движеніемъ, которое было вызвано учениками Аристотеля,—главный шагъ былъ сдѣланъ.

Въ это самое время, когда Западная Европа переживала этотъ важный переворотъ въ своемъ развитіи, Владиміръ св. крестилъ кіевлянъ. Необыкновенно медленно стали распространяться новая вѣра—христіанство—и новое просвѣщеніе среди русскихъ славянъ. Славяне жили отдѣльными племенами; распространеніе новой вѣры застало ихъ на переходѣ отъ племенной жизни къ формамъ быта областнаго. Начиная сказываться особенность областной жизни на сѣверѣ—въ Новгородѣ и на югѣ—въ Кіевѣ. И эти областныя особенности сѣвера и юга, подмѣченные и указанные уже начальной лѣтописью, прежде всего сказываются въ самомъ распространеніи христіанства,—а именно: южная Русь податливѣе новой религіи

сравнительно съ сѣверной областью; Великій Новгородъ, Псковъ, области—Владимірская и Ростовская оказывали гораздо болѣе сопротивленія новой вѣрѣ. И это понятно: христіанство было все-таки элементомъ новымъ, чуждымъ, пришлымъ. Ради него нужно было отказаться отъ всего того, что было выработано предшествовавшимъ язычествомъ въ области правовъ, обычаевъ, мѣровъ, быта славянъ, отъ всего того, что называется національнымъ, въ жертву христіанства. Въ жертву этой пришлой религіи нужно было принести все то, что для національности было всего дороже: вѣрованія, „законъ отецъ“ и преданія. Каждый народъ, какъ живой и дѣятельный организмъ, будетъ всегда оказывать и долженъ оказывать сопротивленіе тому, что налагается на него извнѣ, какъ противное его національности: степень же этого сопротивленія опредѣляется различными историческими условіями. Сѣверныя русскія области крѣпче стояли за свою старину, за свой законъ и преданія, за свою языческую народность, нежели южныя, — да и сѣверныя области должны были гораздо тверже и прочнѣе хранить свои областныя формы, старый бытъ и обычаи, нежели южныя. Не одно столѣтіе прошло въ этой глухой борьбѣ русскаго національнаго язычества съ христіанствомъ. Новая религія усваивалась передовыми людьми (князья, дружина), но въ гораздо меньшемъ размѣрѣ и необыкновенно слабо проникала въ народную массу. Открывая лѣтописи и другіе историческіе памятники, мы найдемъ тамъ среди какого-либо племени такое, напримѣръ, явленіе: выступаетъ волхвъ, представитель языческой старины; противъ него поднимается князь съ дружиной, духовенство, а на сторонѣ волхва—весь народъ, масса. Такимъ образомъ въ массу народа чрезвычайно медленно проникали идеи христіанства.

Были и другія причины медленнаго и своеобразнаго распространенія христіанскаго просвѣщенія въ древней Россіи. Какіе только варвары не перебивали въ южной Россіи, — на этомъ широкомъ перепутьѣ изъ Азіи въ Западную Европу! . Здѣсь, на югѣ Россіи, перебивали разные кочующіе народы, но здѣсь не могло осядѣть какое-либо племя, — здѣсь чело-вѣческое развитіе языческихъ народовъ не имѣло возможности развиться до полныхъ, опредѣленныхъ результатовъ; оно не могло исчерпать себя окончательно, какъ, напримѣръ, на Скандинавскомъ полуостровѣ, гдѣ является, напримѣръ, скандинавская

Эда. Можно сказать, что христіанство застало языческихъ славянъ врасплохъ; оно силилось его порвать, не давало ему передышки, такъ что язычество не успѣло сказать свое послѣднее слово, не могло представить своего сопротивленія, и потому язычество должно было упорно отстаивать свои притязанія на дальнѣйшую жизнь. Язычество продолжало бороться съ новымъ началомъ, которое явилось его уничтожить. Да и обстоятельства благопріятствовали долгой жизни языческихъ воззрѣній на Руси, хотя и силились видоизмѣнять наплывъ постороннихъ, чуждыхъ воззрѣній. Старая Русь приняла христіанство отъ Византіи. Это самое отдѣлило древнюю Россію отъ Западной Европы гораздо сильнѣе, нежели ее отдѣляли географическія условія. Благодаря этой византійской догматикѣ, которая принесена была на Русь христіанскимъ просвѣщеніемъ, Западная Европа была поставлена на одну доску съ язычниками, еретиками, жидами, магометанами. Отъ всякаго вліянія западной цивилизаціи надолго была отрѣшена древняя Россія; зато она была открыта широкому вліянію азіатскаго Востока, Византіи и славянъ юга — болгаръ и сербовъ. Азіатскимъ элементамъ въ собственной Руси, то есть южной, былъ предоставленъ самый широкій просторъ, — дикіе азіатскіе кочевники, а именно: половцы, печенѣги, черные клобуки, берендѣи и тому под. составляли значительную часть населенія въ южной Руси; не даромъ въ „Словѣ о полку Игоря“ такъ сильно чувствуется это вліяніе восточныхъ элементовъ. Съ другой стороны между Россіей и Византіей лежала, не такъ, какъ въ Европѣ, Италія съ своими античными воспоминаніями, а Сербія и Болгарія. Въ эту эпоху, когда новообращенная Россія впервые завязала прочныя и сильныя литературныя сношенія съ Болгаріей, стало быть приблизительно въ XI вѣкѣ, болгаре переживали блистательную эпоху съ своей литературой и съ своей образованностію. Болгарія при приѣмѣ цивилизаціи сильно волновалась Богумильскою ересью и видѣла постепенный упадокъ и измелчаніе своей словесности. Страна эта, давши намъ богослужебныя книги Священнаго Писанія на языкѣ славянскомъ, конечно, должна была пользоваться особеннымъ уваженіемъ у древнихъ русскихъ людей.

II вотъ какъ понимали въ старину наши литературныя связи съ другими народами. Сначала идутъ правовѣрные книги западныхъ грековъ, болгарскія, иверскія, грузинскія, фряж-

скія; затѣмъ получаютъ вѣру: угорскія, армянскія, чепскія. Начиная съ XII вѣка и до XIV, такъ называемыя „правовѣрныя“ болгарскія книги вносятся въ нашу литературную жизнь, притомъ многія такія, что впоследствии оказались еретическими и подвергнулись церковному гоненію. Литературные результаты послѣдняго церковнаго движенія, то есть Богумильства, тотчасъ же отдались на нашей почвѣ. Болгарскій поплъ Іеремія распространилъ свою ересь въ той литературной формѣ, которая была такъ привлекательна для нашего духовенства, изъ-за которой не любили доискиваться до вѣрнаго содержанія. Богумильство распространяло языческій дуализмъ, — созданіе міра и человѣка они признавали одинаковымъ дѣйствіемъ Бога и дьявола. И весь этотъ дуализмъ болгарскаго Богумильства находитъ себѣ широкій пріемъ на Русской землѣ, гдѣ язычество боролось съ христіанствомъ. И до сихъ поръ эти болгарскія басни, окрашенныя Богумильствомъ, живутъ среди простого народа. Литературныя сношенія между народами слабо развиваются, хранятся не путемъ письменнымъ, а путемъ устныхъ преданій, пѣсенъ, сказокъ и т. п.

Такимъ образомъ изъ Византіи переходили къ намъ произведенія отцовъ и учителей церкви. Изъ Болгаріи переходила масса разныхъ сказаній, частью восточныхъ, которыя, какъ свѣтлыя, литературныя, живые элементы, входятъ въ романтическую поэзію средневѣковой Европы.

Затѣмъ завязываются непосредственныя и продолжительныя связи съ азіатскимъ Востокомъ; эти связи идутъ съ XI вѣка. Съ XI же вѣка на Руси распространяется паломничество на Востокъ и принимаетъ такіе широкіе размѣры, что не далѣе, какъ въ XII вѣкѣ, духовенство, въ интересъ котораго было поддерживать это благочестивое странствованіе въ Іерусалимъ, считаетъ своею обязанностью обличать и останавливать въ инокахъ и мірянахъ это необходимое странствованіе къ святымъ мѣстамъ; убѣждаетъ искать спасенія въ христіанскихъ дѣлахъ, а не въ путешествіи на дальній Востокъ; оно начинаетъ останавливать цѣлыя толпы этихъ каликъ-перехожихъ, которыя поддерживали постоянныя, изо дня въ день, эти живыя и непосредственныя сношенія съ христіанскимъ Востокомъ. Цѣлыя литературныя отрывки, живущіе до сихъ поръ, создаютъ эти калики-перехожіе, эти странники, эти живые посредники между древней Россіей и азіатскимъ Востокомъ.

Цѣлыя толпы каликъ-перехожихъ неудержимо идутъ въ Іерусалимъ, и это движеніе продолжается до половины XVII столѣтія. Этихъ людей, которые успѣли совершить длинный и трудный путь въ святые мѣста, на родинѣ встрѣчало не одно простое любопытство, но и благоговѣйное уваженіе русскихъ. По церковнымъ уставамъ Владиміра Святого, Ярослава Старого и Всеволода паломники принадлежали къ числу церковныхъ людей. Они стали на ряду съ духовенствомъ, на ряду съ народными наставниками въ дѣлѣ религіи; на нихъ смотрѣли какъ на людей избранныхъ, угодившихъ Богу, святымъ. Возвратившись изъ Іерусалима, паломники считали себя не въ правѣ молчать, что они видѣли, что они слышали въ святой землѣ. Передать видѣнное и слышанное „вѣрнымъ“ (т. е. вѣрующимъ) людямъ дѣлалось для нихъ религіозною обязанностью, „дабы не презрѣли милости Божіей на себѣ“. Что же приносили они съ собою на родину? Въ мѣстахъ земной жизни Христа ихъ охватывали длинною цѣпью мѣстныхъ христіанскіхъ преданій, и это великое цѣлое восточнаго христіанскаго эпоса служило комментариемъ къ тому, что они видѣли въ Палестинѣ. Люди старые и книжные служатъ имъ „вожами“ и „языками“: они толкуютъ все видѣнное, и паломники возвращаются на Русь съ богатымъ запасомъ восточныхъ легендъ, сказаній, литературныхъ произведеній. Иногда паломники занимались тамъ цѣлыми переводами восточныхъ христіанскихъ преданій и потомъ распространяли ихъ по Руси. Эти восточныя легенды распространялись или путемъ устной передачи въ формѣ народной пѣсни, духовныхъ стиховъ, или въ видѣ письменнаго разсказа, какъ разсказъ *Даніила Паломника*, или, наконецъ, въ видѣ переводовъ восточныхъ произведеній, сдѣланныхъ на мѣстѣ. Это литературное наслѣдіе каликъ-перехожихъ входитъ существеннымъ элементомъ въ древнюю русскую литературу и народную поэзію. Калики становятся носителями и распространителями религіозной поэзіи, и кругъ религіозныхъ воззрѣній народа складывается подъ непосредственнымъ вліяніемъ странниковъ, которое гораздо значительнѣе, нежели вліяніе духовенства, нежели вліяніе произведеній греческихъ отцовъ, для народа мало понятныхъ. Азіатскій Востокъ пользуется еще большею прочностью въ южной Россіи. Монгольское иго, какъ оставившее такіе тяжелые слѣды въ быту и нравахъ, должно было подавить распространеніе литературы

на югъ, въ Кіевѣ. Сѣверные предѣлы, Новгородъ и Псковъ, удаленные отъ этого вліянія, имѣли возможность живо и свободно развивать форму народнаго быта, начала народной словесности. На всѣхъ памятникахъ древней русской словесности съ конца XIII вѣка и почти до половины XV лежатъ яркіе признаки новгородскаго нарѣчія, какъ будто бы вся литературная производительность сдѣлалась монополіей Великаго Новгорода, какъ будто новгородское нарѣчіе сдѣлалось общимъ литературнымъ языкомъ въ древней Россіи этой эпохи. Областные особенности въ жизни и литературѣ нигдѣ не выразились такъ полно, какъ въ новгородской области. Цѣль былинъ кіевскихъ, сосредоточенныхъ вокругъ князя Владиміра, уступили свое мѣсто кругу былинъ новгородскихъ, вращающихся около торговыхъ людей и мужиковъ новгородскихъ. Вѣчевой бытъ стараго Новгорода протекалъ вдали отъ Византіи, ближе къ европейскому Западу. Области Новгородская и Псковская уже въ XIV вѣкѣ доступны были, и весьма легко, западно-европейскому вліянію, и потому здѣсь сказались слѣды болѣе свободнаго литературнаго и художественнаго развитія. Съ меньшею оригинальностью и силою выразились этнографическія особенности другихъ областей: Владимірской, Ростовской; впрочемъ, и здѣсь, въ мѣстныхъ сказаніяхъ историческихъ, легендахъ, житіяхъ святыхъ, слышатся отголоски областной индивидуальности. Литература древней Россіи развивается по отдѣльнымъ областямъ, ее составлявшимъ, и до тѣхъ поръ, пока Москва не объединила ихъ, слѣдуетъ изучать литературное развитіе древней Россіи по отдѣльнымъ областямъ. Въ житіяхъ русскихъ святыхъ, въ мѣстныхъ преданіяхъ, лѣтописяхъ нашли себѣ выраженіе эти этнографическія и историческія въ особенности древнихъ русскихъ областей. Но Московское государство поглотило областную самостоятельность, сплотило въ одинъ общій однообразный типъ удѣльные княжества и въ древней русской литературѣ замолкли слѣды областныхъ нарѣчій и общимъ литературнымъ языкомъ сдѣлалось нарѣчіе московское. Начинается XVI вѣкъ. Но помимо этихъ мѣстныхъ и областныхъ отличій въ древней русской литературѣ и древнемъ русскомъ просвѣщеніи проходятъ общіе, неизмѣнные для всѣхъ областей мотивы. Среди удѣльныхъ усобицъ, среди борьбы областей Новгорода съ Москвою, Москвы съ Тверью, Кіева съ Владиміромъ не терялась, однако-жъ, мысль

о единствѣ этихъ разнородныхъ членовъ русской земли: объединяющимъ началомъ прошла религія по всѣмъ областямъ русскаго государства. Рядомъ съ мѣстными сказаніями стоитъ общая всѣмъ областямъ литература переводная, внесенная черезъ Сербію и Болгарію изъ Византіи, носящая на себѣ отпечатокъ одной византійской догмы. Въ чемъ же состояла эта византійская догма, имѣвшая рѣшительное вліяніе на всѣ русскія области? Обличенія языческой вѣры, языческаго быта и всего, что стояло въ связи съ ними, составляютъ первую заботу греческаго духовенства въ Россіи; подобнаго рода произведеніями наполнены XII, XIII и XIV вѣка.

Сурово отнеслась къ жизни византійская теологія, выработанная среди безполезныхъ словопреній. Эта догма видѣла въ жизни одно господство злыхъ силъ, которыя соблюдали земныя удовольствія, но зато лишали высшаго блаженства въ другомъ мірѣ. Византійская догма учитъ презирать міръ, бѣжать отъ соблазна въ пустыни, подавлять всѣ человѣческія страсти. Мрачный аскетизмъ, монашество дѣлается нравственнымъ идеаломъ: все то, что составляетъ счастье человѣческой жизни, что украшаетъ жизнь, было въ глазахъ византійскихъ теологовъ дьявольскимъ навожденіемъ. Общественныя условія поддерживали это суровое ученіе первыхъ монаховъ: при недостаткѣ сильнаго нравственнаго вліянія общество должно было представлять изъ себя безотрадную картину невообразимаго насилія и грубаго произвола; поневолѣ людямъ лучшимъ, болѣе чистымъ, приходилось бѣжать или въ пустыни, монастыри, тамъ искать спокойствія и независимаго существованія, или предаваться постоянному странствованію, дѣлаться каликами переходжими. Древняя русская жизнь въ лучшихъ людяхъ вызвала страсть къ монастырской жизни, къ иночеству. Общество заключило древнюю русскую женщину въ терема и выдѣлилось изъ-подъ ея нравственнаго вліянія. Право сильнаго обратило свободнаго человѣка въ раба, „заточника“, и его голосъ раздается порою изъ мѣста дальней ссылки, какъ, напримѣръ, съ озера Лаче голосъ Данила-Заточника. Населеніе древней Руси двигалось постоянно съ одного мѣста на другое, крестьяне переходили въ поискахъ лучшаго мѣста. Люди, недовольные тѣмъ, что ихъ окружало, шли въ пустыни—искать новой жизни и топоръ отшельника дѣйствительно пролагалъ новую жизнь въ пустыни. Къ монасты-

рямъ приходили крестьяне, располагались около него, образовывались монастырскія слободы и села.

Въ древней Россіи не сложилось того богатаго, самостоятельнаго, независимаго городского сословія, которое давало такую силу общественному быту въ Европѣ, которое создало средневѣковую литературу. Средневѣковая жизнь, такъ полно выразившаяся въ новеллахъ, фарсахъ, комедіяхъ, повѣстяхъ, у насъ не создала ничего. Древне-русская литература не представляетъ намъ никакого изображенія домашней жизни, семейной; и это понятно, такъ какъ область эта считалась недостойною вниманія. Условныя и строго опредѣленныя фигуры византійской иконописи поражаютъ тѣмъ-же отрѣшеніемъ отъ жизни;—въ духѣ отрорженія отъ жизни старается воспитать человѣка византійская догма. И вотъ передъ вами цѣлый рядъ патериковъ переводныхъ, въ которыхъ это аскетическое воззрѣніе въ легендарной формѣ возвышается порою до поэтическаго выраженія. Сильно и обширно вліяніе Византіи на древнюю Россію и оно держится необыкновенно крѣпко до конца XV столѣтія. Но слѣдуетъ обратить вниманіе и на другія стороны этого вліянія; пора наконецъ оставить средневѣковое о немъ представленіе, пора перестать повторять мнѣнія западныхъ ученыхъ, по которымъ Византія представляетъ одни дурныя качества. Въ Западной Европѣ до недавняго времени словомъ „Византизмъ“ выражалась смѣсь всевозможныхъ политическихъ и нравственныхъ пороковъ. Народъ, упавшій до полнѣйшаго безсилія въ государственномъ отношеніи, до положительнаго литературнаго безплодія, полное отсутствіе самостоятельности и творчества, мертвая схоластика, которая не давала мѣста свободному развитію мысли и чувства—вотъ чтѣ обыкновенно характеризовалось словомъ „Византизмъ“; и такой характеристики до послѣдняго времени западные ученые придерживались относительно средневѣковыхъ грековъ-византійцевъ. Въ послѣднее время, однако, трудами по преимуществу французскихъ ученыхъ, указана та значительная дань, которую внесла Византія въ европейскую литературу. Таковы труды Бенфея, Жиделя, Леграна и Рамбо.

Таковы въ самыхъ общихъ чертахъ иноземныя начала, которые принимали участіе въ древней русской литературѣ. Азіатскій Востокъ, слабѣющая, мельчавшая литература южныхъ славянъ, болгаръ и сербовъ, колеблемая Богумильскою ересью,

теологическая догма Византии—все это обещало не особенно блестящую будущность для развитія русской литературы. Но въ XIV вѣкѣ это исключительное преобладаніе Византизма на Руси начало колебаться и на первое время въ сѣверныхъ областяхъ. Для русской литературы и художества открылась возможность болѣе свѣтлаго будущаго. Это освобожденіе отъ византійской догмы совершилось постепенно силою національной оппозиціи народа. Западные области, въ свою очередь, не мало содѣйствовали тому, чтобы эта оппозиція приняла твердое и опредѣленное направленіе. Для православнаго духовенства эта оппозиція должна была казаться дѣломъ грѣховнымъ, и, дѣйствительно, въ ереси стригольниковъ въ первый разъ сказался этотъ протестъ противъ господства византійской догмы, въ первый разъ ясно означилась сильная окраска западнаго вліянія. Съ XIV вѣка неослабно до конца XVI вѣка тянутся одною, непрерывною цѣпью эти еретическія начала, возникающія въ Новгородѣ и Псковѣ и распространяющіяся всюду, гдѣ могли встрѣтить поддержку, и вотъ ереси стригольниковъ въ XIV вѣкѣ, жидовствующихъ въ XV, Феодора Косого—последовательно смѣняются одна другой. Эти ереси должны занять важное мѣсто въ исторіи русской литературы, такъ какъ она теряетъ съ этихъ поръ свою прежнюю одно-сторонность и получаетъ новое направленіе со стороны Запада, и мы этимъ движеніемъ вводимся въ самый XVI вѣкъ.

Н. Тихонравовъ.

НОЧЬ. *)

Высокіе своды, узкая ютическая комната, Фаустъ безпокойно сидитъ около своего пишутра.

Ну, вотъ, извѣданъ знаній кругъ!
И философіи, и права,
И медицины,—всѣхъ наукъ,—
И богословія,—о, праздная забава!
Напрасно все я изучалъ,
Безумной ввѣрился надеждѣ,
Усилья тщетно расточалъ:
Теперь я не умнѣй, чѣмъ прежде.
Ко мнѣ ученики идутъ,
Магистромъ, докторомъ зовутъ,
И я изъ года въ годъ безсильно хлопочу,
И за носъ ихъ вожу, и вкривь, и вкось учу.
И вижу, истина въ удѣлъ намъ не дана,
И жгучей горести душа моя полна.
Да, незавидная награда!
Пусть нѣтъ загадокъ для ума,
Пускай разсѣялась сомнѣній вѣчныхъ тьма,—
Но что мнѣ въ томъ! Какая мнѣ отрада,
Что я умнѣй всѣхъ свѣтскихъ мудрецовъ,
Поповъ, магистровъ, докторовъ, писцовъ,
Что не боюсь ни сатаны, ни ада!
Зато я радости лишень
Сказать о чемъ-нибудь: „я въ этомъ убѣжденъ“.
Нѣтъ, мнѣ невѣдома святыхъ убѣжденья,
Нѣтъ, мнѣ невѣдомо, чему людей учить,
Чтобъ устранить ихъ заблужденья
И къ высшей правдѣ обратить.

*) Переводъ изъ „Фауста“ Гете.

—И не смѣются мнѣ веселыя забавы
Богатства, роскоши, и почестей, и славы.
Собачья жизнь'

Я магии отдался,
Чтобъ тайны трудныя мнѣ вѣщій Духъ открыть,
Чтобы въ словахъ я больше не копался,
Чтобъ горькимъ потомъ я не обливался
И взоръ пытливый устремилъ—
Безъ прежнихъ жалкихъ заблужденій
На силы скрытыя, на таинства явленій.

О, мѣсяцъ, ты ко мнѣ склони
Свой ликъ печальный и туманный,
И на мою печаль въ послѣдній разъ взгляни!
Бывало, трудъ свой неустанный
Я въ полночь прерывалъ,—вставалъ отъ скучныхъ книгъ,—
И ты, мой блѣдный другъ, склонялъ ко мнѣ свой ликъ!
Ахъ, еслибъ грузъ ненужный знанья
Съ себя, какъ сонъ, я могъ страхнуть,
И между горъ бродить, и тамъ легко вздохнуть,
И утонуть въ волнахъ сребристаго сіянья,
Въ ущельяхъ съ духами летать,
Скользить неслышно, невидимкой,
Росу прохладную впивать
Въ лугахъ, покрытыхъ нѣжной дымкой!

А тутъ сиди себѣ въ стѣнахъ своей тюрьмы,
Въ вертепѣ душномъ, полнымъ тьмы,
Гдѣ даже яркій лучъ небесный,
Придя изъ дали неизвѣстной,
Сквозь разноцвѣтное окно
Кладетъ лишь тусклое пятно!
Влачи несносныя вереги
И отвращенья, и тоски!
Вокругъ все книги, вѣчно книги,
На нихъ садится пыль, ихъ гложутъ червяки,
И кипы желтыя истертыхъ пергаментовъ
Назойливо стѣсняють взглядъ,
А дальше—разношерстый рядъ
Ретортъ, и колбъ, и всякихъ инструментовъ,

Набита комната биткомъ.

И вотъ твой міръ! Гляди! То цѣлый міръ кругомъ!

Что-жъ страннаго, что грудь томится,
Отъ всякой радости свободной далека,
Что несказанная тоска
Въ твоей душѣ змѣей гнѣздится?
Богъ, Всеблагой, создавъ людей,
Имъ далъ природу во владѣнье,—
А ты живешь средь гнили, тлѣнья,
Среди скелетовъ и костей.

Лети скорѣй къ инымъ мірамъ!
Вотъ здѣсь мудрѣйшая изъ книгъ,
Ее оставилъ Нострадамъ:
Она, какъ вѣрный проводникъ,
Тебя отсюда поведетъ,—
И, полный сладостной свободы,
Ты звѣздъ увидишь хороводъ,
Ты связь познаешь всей природы,—
Въ міръ духовъ проскользнетъ твой просвѣтленный взоръ,
И будешь ты внимать ихъ тайный разговоръ.
Для скуднаго ума темно и сокровенно
Значенье символовъ святыхъ:
Вы, духи, объясните ихъ,
Доступно вамъ—парить и все понять мгновенно!

Онъ раскрываетъ книгу и видитъ знакъ Макроkozма.

О, какъ чудесенъ этотъ видъ,
Какъ много мысли въ немъ. какъ много совершенства!
Весь юный пылъ души опять во мнѣ кипитъ,
Я жизни чувствую блаженство!
Кто эти знаки начертилъ?
Не богъ-ли? Въ нихъ онъ чары влилъ,
Далъ власть имъ утишить моей груди смятенье,
И сердце свѣтомъ освѣнилъ,
Открылъ мнѣ вѣчныхъ тайнъ значенье,
Природу предо мной кругомъ разоблачилъ!
Неизъяснимаго я полонъ упоенья!
Не богъ-ли я?

Прозрачна для меня вся сказка бытія!
Душа свѣтло горить!
Да, вижу я, мудрецъ не даромъ говорить:
„Для насъ міръ духовъ не закрыть,
Твой умъ свѣтлѣть, сердце спать,
Возстань душой, смѣлѣй гори
Въ лучахъ пурпуровой зари!“

Разсматриваетъ знакъ.

Какъ все сплетается въ одно
Живое цѣльное звено!
Какъ силы неба здѣсь слились,
Восходятъ вверхъ, нисходятъ внизъ,
Другъ другу подають, и ласково, и бодро,
Душистой влагою блистающія ведра,
Парятъ вокругъ земли, спѣшать подъ сводъ небесный,
И все во Всемъ звучить гармоніей чудесной!

О, что за видъ! Но только видъ!
Гдѣ обниму тебя, природы безконечность?
Гдѣ грудь? О, гдѣ она,—зизидительная вѣчность,—
Которая весь міръ живой водой поить?
Источникъ бытія и плещеть, и струится,
Но сохнетъ грудь моя и жаждою томится.

Недовольный, онъ опрокидываетъ книгу и видитъ знакъ Духа Земли.

Вотъ этотъ знакъ влечетъ меня сильнѣе!
О, Духъ Земли, ты ближе для меня,
Согрѣть я вспышкой новаго огня,
И чувства ширятся, растутъ въ душѣ полнѣе.
Хочу весь міръ въ себя принять,
Блаженство всей земли, и всей земли мученье,
И въ поедингѣ громъ и молнію обнять,
И слышать плескъ валовъ, морскихъ судовъ крушенье.
Чернѣетъ небосводъ!
И мѣсяцъ скрылъ свой ликъ!
И лампа гаснетъ!

Вкругъ головы моей лучи

Багровые дрожать!
Со свода на меня
Холодный вѣтъ ужасъ!
Я чувствую, ты здѣсь, со мной, желанный Духъ,
Ужъ вѣянье твое услышалъ жадный слухъ!
Передъ твоимъ чудеснымъ появленьемъ
Невѣдомымъ я весь исполнился волненьемъ!
Что за восторгъ мнѣ въ грудь проникъ!
Приблизься—и открой свой ликъ!
Тебя душа моя алкала,
Все, что ни есть во мнѣ, —тебѣ принадлежать!
Явись, явись, во что бы то ни стало!

*Онъ слагиваетъ книгу и таинственно произноситъ знакъ Духа.
Колѣблется красноватое пламя, Духъ появляется въ пламени.*

Духъ.

Кто звалъ меня?

Фаустъ (отвертываясь).

Ужасный видъ!

Духъ.

Меня ты ждалъ и жаждалъ страстно,
Меня ты призывалъ такъ властно,
И что-жъ—

Фаустъ.

Увы! взглянуть нѣтъ силъ.

Духъ.

Ты, задыхаяся, молилъ,
Чтобъ я открылъ тебѣ свой ликъ,
Чтобъ я съ тобой заговорилъ,
Твоей души могучій крикъ
Меня склонилъ.
Ну, что-жъ, зачѣмъ ты восклицалъ:
„Приди! Слѣши!“
Я здѣсь!—Сверхчеловѣкъ! о, какъ ты низко палъ!
Гдѣ радость мужества? Гдѣ зовъ твоей души?



Этой-ли груди ты міръ возсоздавалъ,
Лелѣялъ, лелѣялъ? И хотѣлъ
Сравниться съ духами, стряхнуть земной удѣлъ?
Ты — Фаустъ! Это — ты!
Твой голосъ мнѣ звучалъ,
И мнѣ ты обращалъ и мысли, и мечты,
Ты въ бездны бытія безстрашно проникалъ!
И я тебѣ свѣтилъ, какъ пламенный маякъ!
Ты всюду мною былъ взлелѣянъ,
Моимъ дыханіемъ обвѣянъ, —
Ты, — жалкій скорченный червякъ!

Фаустъ.

Тебѣ-ли уступлю, дыханіе огня?
Я — Фаустъ! Я великъ! Ты не сильнѣй меня!

Духъ.

Въ свѣтломъ просторѣ —
Жизненный геній;
Вѣчное море,
Буря явленій!
Вѣчность движенія —
Область моя;
Смерть и рожденіе —
Ткань бытія.

На прелеѣ шумящей временъ и пространства
Я Богу готовлю живое убранство.

Фаустъ.

Какъ близокъ я тебѣ! Весь міръ ты обнимаешь,
Неутомимый Духъ, блистающій въ огнѣ!

Духъ.

Тѣмъ духамъ близокъ ты, которыхъ постигаешь, —
Не мнѣ!

Исчезаетъ.

Н. Бальмонтъ.

Homunculus.

Эпизодъ изъ алхиміи и изъ исторіи русской литературы.

Во второй части „Фауста“, въ первыхъ сценахъ второго акта, дѣйствіе происходитъ въ прежнемъ ученомъ кабинетѣ Фауста. Пораженный видѣніемъ Елены, Фаустъ впалъ въ безчувствіе. Мефистофель осматривается въ давно заброшенномъ кабинетѣ, гдѣ сохранилась обстановка ихъ перваго знакомства; онъ звонитъ въ колоколъ, и на звонъ, отъ котораго дрожитъ галерея, приходитъ помощникъ (famulus) Вагнера, и Мефистофель заводитъ рѣчь объ его господинѣ, который въ отсутствіе Фауста продолжалъ работать и сталъ знаменитымъ ученымъ. Мефистофель спрашиваетъ:

Чѣмъ занять онъ? Кто Вагнера не знаетъ?
Въ ученомъ мірѣ онъ провозглашенъ
Нѣтъ первыхъ первымъ. Все вмѣщаетъ онъ
Въ себѣ одномъ и мудрость умножаетъ,
Чѣмъ молодость толпами привлекаетъ
Къ глубоко-мудрымъ лекціямъ своимъ.⁴
Одинъ онъ всѣхъ студентовъ восхищаетъ.
И альфа, и омега—все онъ имъ,
Соперниковъ по славѣ онъ не знаетъ,
Одинъ межъ всѣми ярко онъ блеститъ
И Фауста извѣстность затмеваетъ,
Затѣмъ, что всѣхъ онъ выше здѣсь стоитъ *).

Фамулусъ не понимаетъ насмѣшки и защищаетъ своего господина: напротивъ, Вагнеръ очень скромнѣе; онъ высоко почитаетъ Фауста, сохраняетъ въ томъ же видѣ его комнаты, не знаетъ только, куда онъ дѣвался. Мефистофель желаетъ повидать Вагнера, Фамулусъ отвѣчаетъ, что это невозможно:

⁴) Переводъ г. Холодковского, какъ и далѣе.

Никакъ нельзя: онъ занятъ важнымъ дѣломъ.
Входить къ себѣ онъ строго не велить.
Не выходя, по мѣсяцамъ онъ цѣлымъ
Въ своей рабочей комнатѣ сидить.
Изъ всѣхъ ученыхъ былъ онъ самымъ чистымъ,
А нынѣ смотритъ сущимъ трубочникомъ.
Совсѣмъ теперь чумазымъ онъ глядитъ:
Глаза его отъ жару покраснѣли,
А лобъ и носъ и уши почернѣли.
Сидитъ себѣ, да колбами гремитъ.

Мефистофель велитъ однако сказать Вагнеру, что намѣренъ ему помочь въ его алхимической работѣ, и послѣ разговора съ бывшимъ ученикомъ Фауста, теперь бакалавромъ—самонадѣяннымъ философомъ, въ которомъ Гёте хотѣлъ посмѣяться надъ крайнимъ идеализмомъ Фихте,—онъ входитъ въ лабораторію Вагнера. Это—комната въ средневѣковомъ вкусѣ, съ фантастическими неуклюжими приборами; Вагнеръ сидитъ у печки, занятый великимъ дѣломъ: онъ стремится разрѣшить таинственную и высшую задачу, какую ставила себѣ алхимическая наука,—въ алхимической ретортѣ, путемъ сложныхъ манипуляцій, должно быть создано подобіе человѣка или маленькій человѣкъ, Homunculus.

Звенить реторта! Грудь томится!
Дрожить отъ звона мрачный сводъ!
Да, неизвѣстность разрѣшится:
Моимъ томленьемъ настанетъ
Конецъ. Ужъ свѣтъ во тьмѣ сіяетъ,
Въ ретортѣ тлѣетъ уголекъ
И ярко блещетъ огонекъ.
Да, лучъ изъ мрака выступаетъ:
То какъ карбункулъ засверкаетъ,
То превратится въ бѣлый свѣтъ.
Ужель достигнуть не придется
Мнѣ цѣли?...

Когда вошелъ Мефистофель, Вагнеръ въ тревогѣ сообщаетъ ему, что „должно сейчасъ великое свершиться—творится человѣкъ“. Мефистофель подшучиваетъ, что не видитъ парочки, и не будетъ ли ей здѣсь слишкомъ дымно. Вагнеръ съ негодованіемъ объясняетъ, что дѣло идетъ вовсе не о томъ:

...долженъ человѣкъ, вѣнецъ всего творенья,
Достойное себя имѣть происхожденъе.

Вагнеръ не спускаетъ глазъ съ реторты и изъ его словъ можно видѣть алхимическую процедуру творенія Гомункула:

Надежды свѣтъ блистаетъ намъ изъ тьмы!
Смѣшавши сотни разныхъ специй, мы
Все человѣка вещество сформируемъ
Смѣшеніемъ—да, смѣшеніемъ однимъ.
Потомъ его прилежно профильтруемъ
И перегонкой вновь преобразуемъ—
И такъ въ тиши все дѣло совершимъ.

Смотрите: тайна все становится яснѣе,
А масса мутная въ ретортѣ все свѣтлѣе!
Мы обнаружимъ все—наглядно объяснимъ,
Что каждый тайною чудесною считаетъ.
Организація въ природѣ все свершаетъ:
Кристаллизаціей мы тоже совершимъ.

Мефистофель подсмѣивается опять, что въ своихъ странствіяхъ видывалъ кристаллизованныхъ людей. Вагнеръ ничего не слышитъ и смотритъ съ восторгомъ въ свою реторту:

Сіяетъ, пѣнится, сверкаетъ:
Одна минута все рѣшается.
Сперва смѣшонъ великій замыселъ намъ,
А тамъ—гляднись—успѣли мы въ стараньи.
Отнынѣ тотъ, кто здраво мыслить самъ,
Мыслителя сработать въ состояньи.

Звенить реторта! Вотъ яснѣй, яснѣй
Внутри ея; вотъ снова замутилось...
Не чудо-ли? барахтается въ ней
Мой человѣчекъ милый. Совершилось;
Раскрыта тайна; весь секретъ открытъ:
Чего-жъ еще желать намъ остается?
Прислушайтесь: онъ что-то говоритъ.
Тсс, тише! Рѣчь въ ретортѣ раздается.

Наконецъ Гомункулъ созданъ,—Мефистофель помогъ алхимическому чуду. Гомункулъ привѣтствуетъ своего родителя, встрѣчаетъ Мефистофеля, какъ стараго знакомаго и стараго плута.

.....Ну что-жъ! ты кстати здѣсь, какъ-разъ,
Ты въ добрый часъ пришелъ: я начинаю
Существовать—и дѣйствовать сейчасъ
Желаю страстно. Я готовъ къ работѣ:
Ты можешь дать исходъ моей заботѣ.

Гомункулъ можетъ жить только въ своей ретортѣ, но, по алхимическому преданію, гомункулы, какъ существа, созданныя наукой, отличаются необыкновенными знаніями, имѣютъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ своей природѣ нѣчто демоническое, — по тому и другому Гомункулъ близокъ и къ Фаусту и къ Мефистофелю: Гомункулъ у Гёте дѣйствительно обладаетъ глубокой проникающей и, вмѣстѣ, жаждою дѣятельности. Мефистофель указываетъ ему на Фауста, который все еще остается безъ сознанія, и съ этой минуты Гомункулъ дѣятельно вмѣшивается въ его судьбу и становится его путеводителемъ. Гомункулъ въ своей ретортѣ выпрыгиваетъ изъ рукъ Вагнера, летитъ къ Фаусту, рассказываетъ его сонъ и находитъ средство вернуть его къ сознанію: надо раскинуть мантию пошире и перенестись въ Фарсальскую долину, въ классическую Вальпургіеву ночь, — въ чемъ символически изображено стремленіе Фауста къ античной красотѣ.

Вагнеръ при этихъ сборахъ спрашиваетъ боязливо: „А какъ же я?“ Гомункулъ успокоиваетъ его, совѣтуетъ по прежнему копаться въ пергаментахъ, подбирать начала жизни и распредѣлять ихъ по росписанію, —

Да, ты легко все можешь получить,
Найти награду за свои старанья:
Честь, долголѣтье, славу, деньги, знанье
И добродѣтель даже, можетъ быть.

Появленіе Гомункула въ судьбахъ Фауста дало много труда комментаторамъ Гёте, и одинъ изъ нихъ прямо говоритъ: „Что собственно долженъ представлять аллегорически Гомункулъ, это никогда не было достаточно опредѣлено комментаріями. Отвѣтъ Гёте на вопросъ Экерманна относительно этого своеобразнаго созданія вовсе не рѣшаетъ этой задачи. Дюнцеръ называетъ его олицетвореніемъ неустаннаго стремленія Фауста къ идеальной красотѣ, и исчезновеніе Гомункула на классическомъ шабашѣ объясняетъ какъ естественное угасаніе этого стремленія послѣ того, какъ достигнута была его цѣль. Вѣрно это или нѣтъ, но знаменателенъ тотъ фактъ, что этотъ результатъ усиленныхъ изслѣдованій Вагнера долженъ служить Фаусту путеводителемъ въ ту область, куда стремятся всѣ его желанія. Вмѣсто того, чтобы снова на многіе долгіе годы предпринимать свои независимыя изысканія въ тайнствахъ

природы, Фаустъ можетъ теперь извлечь пользу изъ познаній, накопленныхъ и собранныхъ близорукими, лишенными фантазій, сухими специалистами, которые работали до него съ педантическою добросовѣстностью, далеко не предчувствуя тѣхъ прекрасныхъ примѣненій, къ которымъ могутъ послужить результаты ихъ собственныхъ изслѣдованій... Проницательный, богатый фантазійей, остроумный гений нѣсколькими смѣлыми синтезами обратить въ величественное органическое единство весь тотъ хаосъ фактовъ, какой поставили въ его распоряженіе его менѣе извѣстные предшественники“ *).

Представленіе о гомункулѣ Гёте заимствовало изъ алхимическихъ преданій той эпохи, которой принадлежитъ и самая легенда о докторѣ Фаустѣ. Это—XV—XVI-е столѣтіе, промежуточный періодъ между средними вѣками и новымъ временемъ, та странная эпоха броженія, въ которую мало-помалу возникалъ переходъ отъ стараго мистическаго суевѣрія къ зачаткамъ научнаго изслѣдованія. Средніе вѣка подъ влияніемъ византійской и особенно арабской учености возбуждали мысль о жизни природы, ставили вопросы, какихъ однако не въ силахъ была одолѣть ихъ наука, и на смѣну церковной мистической схоластики являлась теперь мистическая алхимія. Познакомившись съ немногими процессами естественныхъ силъ, которые стали потомъ предметомъ физики и химіи, ученые тѣхъ временъ пришли къ убѣжденію, что передъ ними раскрываются величайшія тайны творенія, и поставили себѣ задачей раскрыть эти тайны до конца: къ простому объясненію явленій присоединилось желаніе отнять у природы тайну вещей, необходимыхъ для человѣческаго благополучія. Такъ алхимики искали универсальнаго лѣкарства, исцѣляющаго всѣ болѣзни и даже доставляющаго безсмертіе; искали философскаго камня, способнаго превращать всѣ металлы въ золото. Стремленіе уразумѣть законы естественной жизни разрослось въ стремленіе постигнуть все таинственное въ бытіи человѣка, природы и самаго общенія человѣка съ божествомъ: алхимія переходила съ одной стороны въ мистику, съ другой—въ магію. Начиная съ XVI-го вѣка и до конца XVIII-го, и даже переходя въ XIX-й, образовалась громадная литература, гдѣ всѣ эти теченія сливались, гдѣ въ систему чудной науки привлечены были

*) Ein Kommentar zu Goethe's Faust von Hjalmar Hjorth Boyesen. Autorisirte deutsche Bearbeitung von Otfried Mylius. Leipzig (1881), стр. 133—134.

и мистическія преданія восточной и античной древности, и созданія христіанской мистики, и первые опыты алхиміи въ средніе вѣка, и преданія о магическихъ искусствахъ. Новѣйшіе мистики, которыхъ особенно много расплодилось къ концу XVIII-го вѣка, полагали себя полными обладателями тайнъ божества, природы и человѣка, придумывали „божественную алхимію“ и „божественную магію“, говорили тѣмъ же алхимическимъ языкомъ, но придавали ему особое мистическое значеніе. Въ этой литературѣ XVIII-го вѣка, какъ увидимъ, нашли отголосокъ самыя странныя фантазіи и бредни алхимиковъ XV—XVI-го вѣка.

Отъ одного изъ знаменитѣйшихъ писателей XVI вѣка, родоначальниковъ этой мистической алхиміи, Гёте заимствовалъ представленіе о гомункулѣ. Это былъ знаменитый врачъ, химикъ и теософъ XVI вѣка, Парацельсъ (1493 — 1541), или полнымъ именемъ: Филиппъ Авреоль Парацельсъ Теофрастъ Бомбастъ изъ Гогенгейма. Онъ пользовался въ свое время и послѣ великою славой, оставилъ множество сочиненій, и въ литературѣ, о которой мы говоримъ, въ литературѣ мистики и тайныхъ наукъ, онъ былъ однимъ изъ великихъ авторитетовъ. Гёте въ юности читалъ Парацельса, въ одномъ изъ сочиненій котораго, „De generatione hominis“, говорится о возможности алхимическимъ путемъ произвести искусственнаго человѣка; отсюда Гёте и взял мысль заставить Вагнера добиваться алхимическимъ путемъ творенія Гомункула *).

Это великое изобрѣтеніе старинной алхиміи стало извѣстно въ XVIII-мъ вѣкѣ и у насъ — въ интимной литературѣ масонства.

Эта литература изучена до сихъ поръ очень мало; между тѣмъ она могла бы доставить многія характерныя черты для опредѣленія того міровоззрѣнія, какое господствовало въ нашихъ масонскихъ кругахъ конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія и тяготѣло между прочимъ надъ такими умами, какъ Н. И. Новиковъ. Нѣкогда мы имѣли случай указывать

*) Ср. Hartung, Ungelehrte Erklärung des Goethe'schen Faust. Leipzig. 1855, стр. 209; Schröer, Faust von Goethe. Mit Einleitung und fortlaufender Erklärung. Heilbronn, 1881 (изданіе „Фауста“ съ обширнымъ подстрочнымъ комментариемъ), II, стр. 120—131. Впрочемъ, здѣсь не сполна повторенъ рецептъ Парацельса, гдѣ главнымъ ингредиентомъ служатъ spermа hominis и пособіемъ—arsenum sanguinis humani.

на этот обширный материал рукописной масонской литературы, который хранится в Публичной Библиотеке в Петербурге и в Румянцовском Музее в Москве *).

В Публичной Библиотеке находится собрание рукописей и коллекция печатных изданий, между прочим очень редких, по масонству и тайным наукам, принадлежавших гр. М. Ю. Вельгоровскому, О. И. Прянишникову и др. В Румянцовском Музее находится целый масонский архив, принадлежавший некогда великому мастеру „Великой Провинциальной Ложы“ во времена императора Александра I, С. С. Ланскому. Это—целая масса официальных дел и переписки, собрание уставов и ритуалов, большая коллекция масонской рукописной литературы, собрание частной переписки, наконец; грамоты, дипломов и разных вещественных принадлежностей масонства, — масонские эмблемы, костюмы, картины, аксессуары лож и т. д.

Как известно, довольно значительное число масонских сочинений издано было Новиковым во времена Типографической Компании и Дружеского Общества; но гораздо большее число осталось не изданным, и в особенности это были те, в которых именно заключалось закрытое для непосвященных, интимное „орденское“ учение. Известно также, что особенно деятельный круг масонства, где руководителями были Новиков и Шварц, в заключение своих исканий „истинного“ масонства, пришли к системе, которая была одною из самых странных форм масонства в конце прошлого века—к розенкрейцерству. Гвоздом его был Берлин, а отличительною чертой—необычайная смесь обскурантизма и суеверия, вместе с политической реакцией. В розенкрейцерстве как будто совместились все то предание мрачного застоя, с которым боролось „просвещение“ XVIII-го века, и со стороны наших искателей таинственной мудрости, хранилищем которой полагались масонские ложи, было делом простодушной и неопытной доверчивости искать этой мудрости в мутном источнике берлинского розенкрейцерства. Это последнее, как вообще позднейшие масонские „системы“, совершенно отклонилось от старого предания английских лож и, в своей жажде открыть наконец „тайну“, обратилось к той лите-

*) „Материалы для истории масонских лож“, в „Вестн. Европы“, 1872, январь, февраль, июль.

ратурѣ мистики и тайныхъ наукъ, о которой мы выше говорили. Въ область розенкрейцерства были привлечены и творенія мистической философіи, во главѣ которой стоялъ Яковъ Бѣмъ, и самыя необузданныя фантазіи „божественной алхиміи“ и „божественной магіи“: отвергая съ пренебреженіемъ простую алхімію и магію, будто бы только грубо матеріальныя, розенкрейцеры на самомъ дѣлѣ мечтали однако о добываніи золота, философскаго камня и т. д., какъ мечтали и ихъ московскіе ученики. Въ масонскихъ рукописяхъ упомянутыхъ собраній находится цѣлая масса переводовъ изъ этой мистико-алхимической литературы, между прочимъ въ прекрасно написанныхъ и переплетенныхъ экземплярахъ. Мы встрѣтимъ здѣсь многочисленные переводы изъ Якова Бѣма и другихъ собственно мистическихъ писателей, какъ Таулера, Пордечъ, г-жа Гюйонъ и т. д., и затѣмъ, напримѣръ, такія творенія по мистической алхиміи и магіи:

„Исторія микрокосма“, Роберта Флюdda (по-англійски Fludd, въ латинскомъ написаніи de Fluctibus: „переводъ съ латинскаго подлинника, напечатаннаго въ 1619 году въ Оппенгеймѣ“), фоліантъ въ нѣсколько сотъ страницъ, съ отчетливо сдѣланными рисунками, объясняющими таинственныя отношенія чиселъ. Исторія микрокосма объясняетъ отношенія человѣческой природы къ мистическимъ началамъ естества и божественныхъ силъ и т. д.; рукопись новая, но переводъ, безъ сомнѣнія, XVIII вѣка. Публичной Библіотеки III, F. 18.

— „Георгія Веллинга сочиненія маго-кабалистическія и теозофическія“, опять большой фоліантъ съ рисунками алхимическаго и кабалистическаго свойства. Книга раздѣлена на три части—о соли, сѣрѣ и ртути, но алхимія переплетена съ мистическими толкованіями, напримѣръ: „О исконномъ или первобытномъ мірѣ (de mundo archetypo)“, „О состояніи человѣка по смерти и превращеніи тлѣннаго его тѣла въ нетлѣнное, какъ онъ въ Едемѣ созданъ былъ; такъ же и о состояніи осужденныхъ нетлѣнныхъ тѣлъ изъ начала мрака“, „О заточеніи древняго змія, діавола или сатаны, и о первомъ воскресеніи и царствѣ святыхъ“, „О религіи, ясными мѣстами священнаго писанія утвержденной и о истинной маго-кабалѣ, на ономъ основанной“ и т. д. На листѣ 165 замѣчено: „переводъ съ нѣмецкаго 1791“. Въ концѣ прибавлены еще нѣсколько алхимическихъ статей: „Разсужденіе о фило-

софскомъ камнѣ“ Гензинга, „Алхимическіе вопросы“ Анонима, выписки изъ „Небесной манны“, „Non plus ultra veritatis, т. е. изслѣдованіе герметической науки“ и т. д. Рукопись Публичной Библіотеки III, F. 25; другой экземпляръ III, F. 41.

— „Собраніе новѣйшихъ и достопамятнѣйшихъ приключеній, случившихся съ разными чаятельно въ живыхъ еще находящимися адептами, и о ихъ философической тинктурѣ, купно съ пространною и чудною исторіею великаго адепта Никол. Фламелла. Переводъ съ нѣмецкаго подлинника, напечатаннаго въ Гильдесгеймѣ въ 1780 году, а на російской языкѣ переложеннаго въ 1795“,—защита дѣланія золота противъ „хулителей истины“, „преданныхъ предразсудкамъ прекослововъ“. Самихъ алхимиковъ авторъ называетъ „священниками природы“ и т. п. Рукопись Публ. Библіотеки III, F. 29.

— „Описаніе Адама Сигизмунда Флейшера трехъ дѣйствующихъ основанія-свойствъ человѣческой души“, и пр. „Печатана на нѣмецкомъ языкѣ въ благодатное лѣто Господне 1786“. Обширный фоліантъ, тамъ же III, F. 30.

— „Откровенная герметическая наука, или новое магическое свѣтило, въ которомъ содержатся разные Египетскіе, Еврейскіе и Халдейскіе таинства. 1787“. (Переведено, вѣроятно, съ французскаго, такъ какъ особенно мудренныя слова приводятся въ скобкахъ по-французски); тамъ же, III, F. 34.

— „Двѣнадцать ключей брата Василия Валентина, монаха ордена св. Венедикта, которыми двери къ древнему камню любезныхъ нашихъ предшественниковъ отверзаются“ и пр. Переводъ съ французскаго. Тамъ же III, Q. 23.

— „Отверзтыя врата тайной натуры и дѣйствующихъ свойствъ ея въ добрѣ и во злѣ... Также, что есть Эссенція вещей, и давно желанная всѣми химиками къ свѣдѣнію первая матерія философскаго универсальнаго лѣкарства въ пользу ищущимъ истинныхъ спагирическихъ и медицинскихъ знаній—описано Д. Георгіемъ Фридрихомъ Рецель“, и пр. Тамъ же III, Q. 35, и другой экземпляръ III, Q. 36.

— „Три любопытные химическіе трактатца, названные Амвросіа Миллера *Райское Зеркало*, въ которомъ видѣть можно высочайшее врачество, для уврачеванія золота и человѣковъ. *Домъ нѣмецкихъ стрѣлковъ*, выписанныхъ и вызванныхъ всепервѣйшимъ Адамомъ, отцомъ всѣхъ насъ, ко всѣмъ стрѣлкамъ, имѣющимъ охоту въ цѣль стрѣлять. Описаніе великія

тайны камня мудрыхъ, яко отъ Бога вымоленные и полученные премудрости царя Соломона. Однимъ Е. G. Q. J. R. V. M. D. E⁴. (Франкфуртъ и Лейпцигъ, 1704). Тамъ же III, Q. 37.

— „Нѣчто не для многихъ или нѣчто о герметической философіи, основанной на таинствахъ божественной алхиміи, въ макро- и микрокосмѣ. *Hermesburg und Sophienstadt*“. Тамъ же III, Q. 48.

— „Евангельская магія.—Рафаель, или врачъ Ангель. Сочинено по прошенію нѣкоего боголюбящаго врача А. S. г. Авраамомъ фонъ-Франкенбергъ, Рыцаремъ Силезскимъ, въ 1639 году. Нынѣ же издѣвѣніемъ нѣкоторыхъ добрыхъ сердецъ и споспѣшествователей въ свѣтъ издано въ Амстердамѣ 1676 года. Переведена съ нѣмецкаго 1788“. Рукопись написана съ великой старательностью, испещрена еврейскими, греческими и латинскими цитатами и мистическими чертежами; образчикъ кабалистическаго сумбура. Тамъ же III, Q. 63.

— Раймунда Лулія Каббалистика,—въ двухъ книгахъ. Тамъ же III, O. 16.

— Сборникъ алхимическихъ статей. Тамъ же III, O. 17.

— Графъ Габалисъ или разговоры о тайныхъ наукахъ. Сочиненіе аббата Вильяра. Въ двухъ книгахъ. Тамъ же III, O. 19; см. также III, Q. 65.

— Гермеса Трисмегиста Поемандръ или о божественной силѣ и премудрости древніе Египетскіе фрагменты. Тамъ же III, O. 25...

Въ этихъ указаніяхъ изъ рукописей Публичной Библіотеки далеко не исчерпана переводная алхимическая литература конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія: подобныя творенія находятся и въ рукописяхъ Румянцовскаго Музея и другихъ собраній¹⁾. Большинство этихъ произведеній несомнѣнно было

¹⁾ Подлинники этихъ переводовъ большею частью опредѣляются по описаніямъ алхимической и магической литературы:

— J. G. Th. Grasse, *Bibliotheca Magica et Pneumatica oder wissenschaftlich geordnete Bibliographie der wichtigsten in das Gebiet des Zauber-, Wunder-, Geister-, und sonstigen Aberglaubens vorzüglich älterer Zeit einschlagenden Werke.... Ein Beitrag zur sittengeschichtlichen Literatur.* Leipzig. 1843.

— G. Kloss, *Bibliographie der Freimaurerei und der mit ihr in Verbindung gesetzten geheimen Gesellschaften* Frankfurt a. M., 1844, — отдѣлы о розенкрейцerstvъ, теософін, магіи и пр.

— *Bibliothèque Ouvraroif. Catalogue spécimen. Sciences secrètes (par A. Lagrange).* M. 1870, и др.

Объ исторіи алхиміи кромѣ старой книги Шмидера (*Geschichte der Alchemie.* Cassel, 1832) см. у историковъ химіи, напр.: *Histoire de la Chimie, par Ferdinand Hoefer.* 2-me éd. Paris, 1866—1869 (здѣсь о гомункулѣ Парацельса, II, стр.

переведено въ кругу Новикова, и для будущихъ изыскателей предстоитъ задача выяснитъ подробнѣе эту дѣятельность новиковскаго круга... Но преданіе московскихъ розенкрейцеровъ не прервалось съ распаденіемъ Дружескаго Общества послѣ ареста и заключенія Новикова. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ, что при Павлѣ друзья Новикова и питомцы его школы, мистическіе піетисты, стали во главѣ Московскаго университетскаго пансіона, были воспитателями новаго поколѣнія и передали ему долю піетистической мечтательности, отраженіемъ которой была поэзія Жуковскаго. Но если въ этой группѣ хранилась однако унаслѣдованная отъ временъ Дружескаго Общества любовь къ просвѣщенію, которая мирилась у Новикова съ его мистицизмомъ, то была и другая группа, въ которой розенкрейцерство переходило въ прямой обскурантизмъ. Таковъ былъ О. А. Поздѣвъ, который пользовался большимъ авторитетомъ въ кругахъ, прикосновенныхъ къ масонству; таковъ былъ Захаръ Карнѣвъ, впоследствии попечитель Харьковскаго университета,—его масонскія творенія находятся въ московскомъ и въ петербургскомъ собраніяхъ¹⁾. Розенкрейцерское преданіе перешло и къ новому поколѣнію масоновъ, которые, какъ гр. М. Ю. Віельгорскій и С. С. Ланской, специально поучались у Поздѣва; отъ него они слышали между прочимъ и отрывки алхимической мудрости, въ которую самъ онъ вѣрилъ.... Мы не знаемъ подробностей о томъ, насколько посвящены были въ розенкрейцерскія таинства эти молодые представители масонства Александровскаго времени; но, быть можетъ, съ этими отголосками розенкрейцерства, слышанными Ланскимъ, стоятъ въ связи алхимическіе вкусы его близкаго родственника (женатаго на его сестрѣ), кн. В. Ѳ. Одоевскаго,—конечно, кн. Одоевскій, благодаря серьезной школѣ, умѣлъ уже стать на научную точку зрѣнія и замѣнить алхимию и магію натур-философіей Шеллинга и Окена.

Такія историческія развѣтвленія старой мистики можно наблюдать на переходѣ отъ XVIII вѣка въ XIX-й, гдѣ новый

16); Бертело Introduction à l'étude de la chimie des anciens et du moyen âge, Paris, 1889; Коппа, Alchimie in älterer und neuerer Zeit. Heidelberg, 1886 и др. Общую характеристику алхимиковъ по отношенію къ ихъ мистическимъ ученіямъ см. также у историковъ мистицизма и у историковъ магіи, какъ напр. Еппеносер, Geschichte der Magie. Leipzig, 1844.

¹⁾ О немъ вспомнили недавно въ сборникѣ Харьковскаго филологическаго Общества, 1895: „Къ исторіи Харьковскаго университета“, замѣтка г. Лященко.

расцветъ мистицизма ознаменовался потомъ въ дѣятельности Лабзина, библейскихъ обществъ и т. д.

Въ этой алхимической и магической литературѣ мы встрѣчаемъ, наконецъ, твореніе, которое возвращаетъ насъ къ Гомункулу. Это небольшая рукопись Публичной Библіотеки (Ш, О. 30), подъ названіемъ: „Божественная Магія. Наставленіе, представляющее важнѣйшія искусства древнихъ израильтянъ, мудрецовъ и первыхъ, такъ какъ и нынѣшнихъ, истинныхъ христіанъ. Какимъ образомъ оныя приготовляемы и употребляемы были,—и нынѣ еще нѣкоторыми весьма немногими людьми въ тишинѣ и страхѣ Господнемъ производятся и употребляются. Въ печать издана, украшена фигурами и свѣту сообщена Л. V. Н. Любителемъ тайной Божественной премудрости. Франкфуртъ и Лейпцигъ 1745 года“¹⁾.

Эта книжка есть цѣлое собраніе магическаго волшебства. Послѣ предисловія, гдѣ объясняется великая важность этого сочиненія, сообщается молитва, какую надобно творить передъ началомъ cadaго изъ описанныхъ здѣсь дѣйствій: „О, великій Боже, Іегова, Фолль Іагъ! (voll Jah), о Непостижимый Тетраграмматонъ, изливающийся Духъ Премудрости! О Садаи!“ и т. д. Затѣмъ, описаніе магическихъ орудій,—какъ „уримъ и тумимъ“, приготовляемый изъ *electrum magicum*, изъ разныхъ металловъ и элементовъ разныхъ царствъ природы и при извѣстныхъ обрядахъ доставляющій вѣрующимъ видѣнія всего того, что можетъ быть нужно имъ и ихъ обществу; какъ „магическое кольцо“, которое открываетъ присутствіе ада (тогда оно чернѣетъ), присутствіе врага (покрывается кровавыми пятнами) и т. д.; съ помощью урима можно знать также своего ангела-хранителя. Далѣе, наставленія: „какъ сдѣлать *Perpetuum Mobile Naturae* (всегдашнее движеніе естества)?“ — „О магическихъ колоколахъ Ангеловъ для призванія седми князей планетъ“ и т. д.; „Какъ по онымъ семи планетамъ вливать магическія фигуры“;—„Какъ изъ *Electro magico* сдѣлать мечъ непобѣдимый“; — „Какъ сдѣлать металлическій вопрошательный пруть, чрезъ который получается все то, что скрывается подъ землею?“ Въ концѣ рукописи прибавлены свѣдѣнія о

¹⁾ Забавно, что на корешкѣ эта книга обозначена: „Вогословія“. Подлинникъ: „*Magia divina, oder gründ—und deutlicher Unterricht, von denen fürnehmsten caballistischen Kunst—Stücken derer alten Israeliten, Welt-Weisen, und Ersten, auch noch einigen heutigen wahren Christen*“... Von L. v. H. der geheimen göttlichen Weisheit Liebhabern. Frankfurt und Leipzig, 1745.

философскомъ камнѣ, который есть „врачевство Божественнаго происхожденія, составленное изъ трехъ первыхъ началъ Природы, очищенныхъ отъ грубой своей коры и доведенныхъ до высочайшей постоянности“ и пр.

Въ этой рукописи находится (л. 25 обор.—31) и описаніе способа создать гомункула ¹⁾. Повидимому, этотъ рецептъ отличается отъ рецепта Парацельса, которому слѣдовалъ Гёте, и здѣсь алхимическій процессъ получилъ кромѣ того мистическое примѣненіе: создается не *одинъ* человѣкъ — въ доказательство того, какъ могущественна таинственная наука, — но *два* маленькіе человѣка, которые должны олицетворять нашихъ „прародителей“, и въ маломъ видѣ повторяется исторія творенія и конца міра, — въ доказательство того, „сколь тѣсно священное писаніе согласуется съ естествомъ“.

Это усиленное стремленіе усвоить фантастическую литературу мистики, алхиміи и магіи имѣетъ свое историческое значеніе на ряду съ другими явленіями нашей литературы прошлаго вѣка. У насъ не было ничего подобнаго тому движенію, какое создало европейскую литературу, когда реформа открыла впервые новый путь для русской образованности, — намъ приходилось второпяхъ усваивать новыя литературныя формы и содержаніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ перенималось и много такого, что въ самой Европѣ было только запоздалымъ отголоскомъ прошедшаго. Дѣятели нашей образованности, столь еще бѣдной и неопытной, были вынуждены идти ощупью и наугадъ: такъ Дружескому Обществу въ его поискахъ за истинной встрѣтилось розенкрейцерство, и черезъ него пришла къ намъ эта масса алхимическихъ и магическихъ твореній, которыми не только люди стараго вѣка, но даже и представители молодого поколѣнія продолжали поучаться еще наканунѣ самобытнаго расцвѣта русской литературы съ дѣятельностью Пушкина, Грибоѣдова и Гоголя.

Октябрь, 1895.

А. Пыпинъ.

¹⁾ Та же статья, въ другомъ переводѣ, помѣщена и въ другой рукописи Публ. Библиотеки, III, О. 27, л. 43—48: „Выписка изъ Палингенезиса (такъ!), таинство“. Такой Палингенезисъ мы не имѣли въ рукахъ.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

О философическихъ человѣкахъ,—что они суть въ самомъ дѣлѣ и какъ ихъ рождать?

Сіе происходитъ слѣдующимъ образомъ: возьми колбу изъ самаго сучшаго хрустальнаго стекла,—положи въ оную самой чистой майской росы, въ полнолуніе собранной, одну часть,—двѣ части мужской крови и три части крови женской; но замѣтить должно, чтобъ сіи особы, если только можно, были цѣломудренны и чисты; потомъ поставь стекло оное съ сею матеріею, покрывъ его слѣпою крышкою, сохранно на два мѣсяца для гніенія въ умѣренную теплоту,—и тогда на днѣ онаго ссядется красная земля. Послѣ сего времени процѣди сей менструмъ, который стоитъ наверху, въ чистое стекло и сохрани его хорошенько; потомъ возьми одну грань тинктуры изъ царства животныхъ,—положи оную въ колбу, поставь ее паки въ умѣренную теплоту на одинъ мѣсяцъ,—и тогда въ колбѣ сей подымется кверху пузырекъ. Когда ты усмотришь, что покажутся жилки,—то влей туда немножко твоего процѣженнаго и согрѣтаго менструмъ и сохрани поспѣшно колбу, закупоривъ ее крѣпко, старайся токмо, чтобы не много шевелить оную, оставь ее паки бродить цѣлый мѣсяцъ; то оный пузырекъ будетъ дѣлаться отъ часу большимъ; по прошествіи 4-хъ недѣль, паки влей туда немного онаго менструмъ,—и сіе дѣлай четыре мѣсяца сряду; однакожъ, всякой разъ вливай болѣе менструмъ, нежели въ началѣ. Послѣ сего времени, когда услышишь нѣчто шипящее и свистящее, то подойди къ колбѣ,—и, къ великой радости и удивленію твоему, ты увидишь въ ней двѣ живыя твари.

Здѣсь примѣчай. Ежели кровь, изъ коей приготовленъ *Osser*, и изъ которой выросли сіи мушкетеръ и женщина, взята изъ людей цѣломудренныхъ, то мушкетеръ будетъ половина звѣрь,—также и женщина будетъ съ низу ужаснаго вида. Ежели же кровь сія взята отъ особъ цѣломудренныхъ и чистыхъ, то ты будешь радоваться ими и взирать на нихъ съ сердечнымъ веселіемъ, сколь любезными естество ихъ составило; но они будутъ не выше одной четверти аршина; однакожъ шевелятся и движутся, ходятъ взадъ и впередъ въ колбѣ; въ срединѣ же вырастетъ деревцо, украшенное всякими плодами.

Ежели ты хочешь сохранить ихъ и желаешь, чтобъ они паче и паче возрастали; то возьми двѣ грани астральнаго камня прежде, нежели оный увеличится, и столько же камня растѣвнѣй, сотри хорошенько обѣ тиньтуры въ твоёмъ сохраненномъ менструмъ, налей оныя нѣсколько въ колбу чрезъ трубочки, долженствующія быть на сторонѣ колбы, дабы не было нужды часто отерывать оныя и не входилъ бы въ нее воздухъ, которой вреденъ для сихъ тварей,—и налей на самое дно оныя, а потомъ затни трубочки оныя накрѣпко,—и тогда въ скорости начнутъ произрастать всякія травы и древа; однакожь ты долженъ каждый мѣсяцъ подливать симъ образомъ; и такъ можешь ты сохранить цѣлый годъ. А по прошествіи сего времени ты отъ нихъ узнаешь все то, что тебѣ захочется знать изъ натуры; они будутъ тебя бояться и чтить, — но болѣе шести лѣтъ жить они не могутъ, на седьмомъ году исчезаютъ (кончаются).

Сіе представляетъ тебѣ ясно, какъ первые наши прародители были въ раю и какъ произошло ихъ паденіе; ибо послѣ шести лѣтъ ты увидишь, что сіи твари, которыя до сего времени отъ всего бѣли, исключая того цвѣта, который въ самомъ началѣ показался въ срединѣ колбы, теперь начинаютъ имѣть желаніе также и отъ сего вкусить! И сего ради вверху гелма¹⁾ составляется чадъ изъ облака (туманъ), который становится отъ часу сильнѣе, наконецъ дѣлается красенъ, какъ кровь, и даже огонь начнетъ изъ себя выбрасывать; въ сіе время оба человѣка ползаютъ и стараются сокрыться,—и сіе видѣть весьма жалостно; но и сіе паки переходитъ; однакожь, какъ-скоро ты усмотришь въ колбѣ сей знакъ, то не вливай болѣе въ колбу того менструмъ, которымъ ты сохранялъ доселѣ жизнь тварей твоихъ; засимъ послѣдуетъ въ колбѣ великая засуха, все разлитися, а человѣки и умрутъ даже. По семъ разверзется земля, начнетъ и огонь низпадать съ верху. Ужасно видѣть сіе! При семъ случаѣ, ежели колба мала, разрывается въ куски и великой вредъ причиняетъ.—Сего ради колба должна быть твердая и толстая, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше, фигура же ея должна быть круглая. И такъ сіе изрыганіе огня продолжится цѣлой мѣсяцъ, потомъ настанетъ тишина, и все вмѣстѣ стопится: ты увидишь въ колбѣ четыре части одна надъ другою ссѣвшіяся; на верхнее не можно будетъ глядѣть, по причинѣ великаго сіянія и цвѣтовъ; въ срединѣ хрустальная часть, за сею слѣдуетъ красная, какъ кровь,—и въ самомъ низу черной дымъ, безпрестанно куращійся.

Верхнее въ колбѣ со многими красками представляетъ небесный Іерусалимъ со всѣми его жителями; слѣдующее за симъ хрустальное изображаетъ стеклянное²⁾,—третіе показываетъ красное великое стеклянное море, чрезъ которое должны проходить и очищаться тѣ, кои въ сей жизни не сотворили истиннаго покаянія³⁾—Въ низу представляется вѣчное осужденіе, мрачное жилище дѣволовъ и не-

1) Т. е. крышки колбы. II.

2) Кажется, что-то пропущено или ошибочно написано. II.

3) Т. е. чистилище. II.

честивцевъ,—и хотя бѣ сто лѣтъ стояла у тебя земля сія, то безпрестанно бѣ она курилась; но ежели землю сію положиши въ *реторту* и дашь ей въ печѣѣ огонь постепенной ¹⁾, то воздымется огненный горящій сублиматъ, которымъ легко все возжигается; есѣи же, напротивъ того, выбросиши вонъ сію землю, то дѣлается она иломъ, на подобіе жабы и ползетъ въ землю ²⁾.

Здѣсь примѣчай: ежели ты въ то время, когда уже духъ естества ³⁾ поднялся въ верху (какъ то выше было показано), еще болѣе подольши онаго менструмъ, то все ссядется въ клубъ и произойдетъ изъ того мерзостный червь или уродъ; и ежели ты хочешь освободиться онаго, то поставь его во второй степень огня, въ которомъ онъ также, какъ въ 3-мъ и 4-мъ степени, въ каждомъ жить будетъ по четыре недѣли. Послѣ сего времени онъ исчезнетъ и твое вещество начнетъ разтопляться; чистое сядетъ въ срединѣ, а нечистое вокругъ его; чистымъ можешь ты тинировать ⁴⁾, а нечистое выбрось.

И теперь, преклоньше колѣна, благодари Бога изъ глубины души твоей за то, что допустилъ тебя видѣть, какъ сотворилъ онъ небо и землю, какъ и сколь долго жилъ первый человѣкъ въ состояніи непорочности, а потомъ палъ; *сколь тѣсно священное писаніе согласуется съ естествомъ*, — и наконецъ благодари за то, что онъ въ ясномъ зеркалѣ представилъ тебѣ, какимъ образомъ изтребится небо и земля.

¹⁾ Въ другомъ экземплярѣ, который мы имѣли въ рукахъ: „и постепенно жару прибавлять будешь“.

²⁾ Въ друг. экз. „... то является слизнякою клейкою матеріею, только (точно?) такою, изъ коей жабы происхожденіе свое имѣютъ, и послѣ тотчасъ въ землю войдетъ“.

³⁾ Въ друг. экз.: „сей духъ или душа натуры“.

⁴⁾ Употреблять какъ тинтуру, т. е. кажется: превращать металлы въ золото. П.

Два моряка.

Разсказъ.

Посвящается А. Н. Альмедингену.

I.

Отставной вице-адмиралъ Максимъ Ивановичъ Волынцевъ только-что поднялся съ жестковатаго дивана, проспавши свой положенный часъ послѣ обѣда.

Откашлявшись, Максимъ Ивановичъ снялъ халатъ, бережно повѣсилъ его въ шкапъ и облекся въ старенькій, но опрятный сюртукъ съ адмиральскими поперечными, какъ у отставныхъ, погонами, прошелся щеткой по сбѣдой, коротко остриженной головѣ, расчесалъ бѣлую пушистую бороду и усы, закурилъ толстую папиросу и присѣлъ въ плетеное кресло у письменнаго небольшого стола.

Не спѣша, вынулъ онъ изъ футляра очки и взялъ со стола аккуратно сложенную газету.

Не смотря на потертую обивку старомодной мебели и старенькія вещи, бывшія въ кабинетѣ, все въ этой небольшой комнатѣ имѣло необыкновенно опрятный и даже привѣтливый видъ, сіяя тою умопомрачающею чистотой, какая только бываетъ на военныхъ корабляхъ.

Полъ сверкалъ, точно зеркало. Дверныя ручки, оконныя задвижки и мѣдныя кнопки гвоздиковъ, на которыхъ висѣли, занимая сплошь всю стѣну, фотографіи въ черныхъ простыхъ рамкахъ,—блестѣли подъ лучами рѣдкаго петербургскаго солнца, свѣтившаго въ теченіе цѣлаго августовскаго дня. Занавѣски на окнахъ были ослѣпительной бѣлизны; фікусы, аралии и пальмочки вымыты и выхолены, однимъ словомъ, рѣшительно все въ комнатѣ свидѣтельствовало о при-

вычѣхъ хозяина къ порядку и щепетильной чистотѣ и все, казалось, дышало привѣтливостью.

Даже хорошенькая „Вѣрушка“, какъ звалъ Максимъ Ивановичъ маленькую канарейку, и та, заливавшаяся во все горло, казалась необыкновенно чистенькой и веселой, а клѣтка, которую адмиралъ собственноручно чистилъ два раза въ день, просторная, бѣлая клѣтка, усыпанная пескомъ, содержалась въ безукоризненномъ порядкѣ.

Кабинетъ напоминалъ каюту, и въ немъ даже пахло немного кораблемъ отъ остраго смолистаго запаха мата, лежавшаго, вмѣсто коврика, подъ ногами адмирала.

И самъ онъ своимъ внѣшнимъ видомъ производилъ впечатлѣніе той-же опрятности и привѣтливости, которыми отличались кабинетъ и вся скромная его обстановка.

Это былъ небольшого роста, сутуловатый и сухощавый старикъ лѣтъ шестидесяти, крѣпкій и бодрый на видъ. Вся его небольшая фигура съ перваго же раза внушала къ себѣ невольную симпатію. И въ выраженіи его стараго, морщинистаго лица, отливавшаго здоровымъ румянцемъ, и особенно въ выраженіи небольшихъ, еще живыхъ и острыхъ темныхъ глазъ, было что-то необыкновенно хорошее: доброе и ласковое и въ то-же время застѣнчивое,—говорящее о душевной чистотѣ и о честно прожитой жизни.

И дѣйствительно, вся его жизнь была лямкой добросовѣстнаго морского служаки, который даже и въ прежнія суровыя времена отличался добротой и былъ любимъ матросами за то, что обращался съ ними по-человѣчески. Честный до щепетильности, онъ никогда не пользовался казенной копѣйкой, никогда не подлаживался къ начальству, не зналъ протекціи и, считаясь однимъ изъ лучшихъ моряковъ, много плавалъ, но особенной карьеры не сдѣлалъ. Напротивъ, испортилъ ее своею независимостью, принужденный выйти въ отставку уже контръ-адмираломъ вслѣдствіе того, что не поладилъ съ высшимъ морскимъ начальствомъ. Онъ, конечно, ничего не имѣлъ и скромно жилъ съ семьей на скромную пенсію.

Максимъ Ивановичъ принялся за газетный фельетонъ, чтеніе котораго онъ всегда откладывалъ до вечера. Утромъ адмиралъ прочитывалъ всѣ остальные отдѣлы и читалъ ихъ сплошь, отъ первой строки до послѣдней, начиная съ перовой статьи.

Это былъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ читателей, которые не пропускаютъ ни одного извѣстія, и не просто читаютъ, а, такъ сказать, священнодѣйствуютъ.

Максимъ Ивановичъ привыкъ къ своей газетѣ, но не вѣрилъ ей безусловно и частенько такъ не соглашался съ ея мнѣніями. Прочитывая иногда въ передовой статьѣ о томъ, что „Россія не допустить“ того-то и того-то и вникая въ смыслъ взмысленныхъ quasi-патріотическихъ фразъ, полныхъ безшабашнаго шовинизма, старый адмиралъ, пробывшій всю осаду Севастополя на одномъ изъ бастіоновъ и получившій за храбрость еще въ лейтенантскомъ чинѣ Георгіевскій крестъ, бывшій въ петлицѣ его сюртука,—неодобрительно покачивалъ головой и, случалось, говорилъ вслухъ:

— Тоже пишеть! Молода, во Саксоніи не была! Послать бы тебя, строкулиста, самого на войну!

Но особенно старика возмущало, когда газета, не жалѣя красокъ, восхваляла какого-нибудь вновь назначеннаго савоиника.

И тогда его, обыкновенно добродушное, лицо выражало нескрываемое презрѣніе, и онъ приговаривалъ, обращаясь, по-видимому, къ автору хвалебной статейки:

— И это тебя льстеца за языкъ дергаетъ? Раненько, братъ, хвалишь... Не хорошо!..

Зато, если Максиму Ивановичу статейка нравилась, и онъ находилъ мысли ея „правильными и благородными“, — онъ съ увлеченіемъ прочитывалъ вслухъ особенно понравившіяся ему выраженія и восклицалъ:

— Ай, да молодчага! Ловко!. Такъ и надо писать, коли Богъ тебѣ талантъ далъ!.

И, случалось, писалъ въ редакцію газеты письмо, въ которомъ выражалъ благодарность неизвѣстному автору статьи за доставленное имъ удовольствіе.

За завтракомъ Максимъ Ивановичъ обыкновенно передавалъ въ болѣе или менѣе короткихъ извлеченіяхъ все интересное, прочитанное въ газетѣ, своей женѣ и дочери.

И хотя и жена и дочь сами уже прочли послѣ адмирала газету, но обѣ онѣ, обожавшія старика, внимательно слушали, пока онъ не спохватывался и не говорилъ со своею добродушною улыбкой:

— Да вы ужъ читали...

— Ничего, ничего, рассказывай...

Но Максимъ Ивановичъ не продолжалъ, а переходилъ къ обсужденію прочитаннаго и нерѣдко критиковалъ газету.

Сегодня адмиралу, повидимому, не понравился фельетонъ. Во время чтенія онъ дергалъ плечами и, наконецъ, проговорилъ:

— Тоже фанаберія... скажи, пожалуйста! А у самого-то на грошъ амуниціи!

Въ эту минуту въ кабинетъ вошла легкой, слегка плывущей походкой, съ подносомъ въ рукахъ, дочь адмирала Наташа, или, какъ звалъ ее отецъ, Нита, высокая и худощавая, стройная и граціозная въ своихъ движеніяхъ блондинка, лѣтъ двадцати пяти, съ большими ясными сѣрыми глазами. Въ ея лицѣ, свѣтившемся умомъ и тою одухотворенною красотою, какую можно встрѣтить лишь у избранныхъ натуръ, было то-же выраженіе душевной чистоты и мягкости, что и у отца, но лицомъ она совсѣмъ на него не походила. Одѣта она была очень скромно, но съ тѣмъ изяществомъ, которое свидѣтельствовало о вкусѣ не одной только портнихи. На ней была шерстяная черная юбка, открывавшая маленькія ноги, и свѣтлосѣрый лифъ съ высокимъ воротникомъ, закрывавшимъ шею. И все это на ней сидѣло такъ ловко и такъ шло къ ея свѣжему лицу молочной бѣлизны съ нѣжнымъ румянцемъ. Ни серегъ въ ея маленькихъ ушахъ, ни колецъ на ея красивыхъ, тонкихъ рукахъ съ длинными породистыми пальцами не было. Только маленькая брошка съ тремя брилліантками—подарокъ отца—блестѣла у шеи.

— Ты кого это, папа?—спросила она, улыбаясь, когда поставила на столъ стаканъ чая и блюдечко съ вареньемъ.

— Да этого „Виго..“ Не люблю я его... Ломается... Читала сегодняшній фельетонъ?

— Читала, папа.

— И тебѣ не нравится?

— Не нравится.

— У насъ съ тобой одинаковые вкусы, Ниточка!—проговорилъ отецъ и взглянулъ на дочь взглядомъ, полнымъ любви и обожанія.

Вмѣсто отвѣта Нита поцѣловала старика.

— Славная ты моя!—промолвилъ умиленно старикъ.—Скоро вотъ и другой нашъ славный вернется, — оживленно прибавилъ Максимъ Ивановичъ...

— А когда?

— Дня черезъ три, я думаю, они придутъ въ Кронштадтъ, если ничто ихъ не задержитъ. Въ морѣ вѣдь нельзя, Ниточка, точно рассчитывать. Вѣрно, Сережа протелеграфируетъ о выходѣ изъ Копенгагена, а изъ Кронштадта мнѣ дадутъ знать телеграммой, какъ-только „Витязъ“ покажется у Толбухина маяка. Ужъ я просилъ объ этомъ... Мы всѣ и поѣдемъ встрѣчать Сережу... Вѣдь я голубчика шесть лѣтъ не видалъ!— прибавилъ Максимъ Ивановичъ.

Дѣйствительно, отецъ въ послѣдній разъ видѣлъ сына передъ выпускомъ его изъ корпуса, восемнадцатилѣтнимъ юношей, и назначенный начальникомъ эскадры Тихаго океана, уѣхалъ на три года, а когда вернулся въ Россію, не засталъ сына. Тотъ ушелъ въ дальнее плаваніе.

Старикъ помолчалъ и прибавилъ:

— Надѣюсь, Сережа бравый морской офицеръ и не забылъ совѣтовъ отца, какъ надо служить. Онъ вѣдь славный мальчикъ всегда былъ, только морской корпусъ его нѣсколько портилъ... Нынче тамъ больше на манеры обращаютъ вниманіе... Это тщеславіе... эта дружба съ богатенькими князьками... Помнишь, какъ мы ссорились съ нимъ изъ-за этого?.. Ну, да тогда онъ былъ юнцомъ и все это, конечно, прошло съ годами... Онъ вѣдь умный и честный мальчикъ!— горячо прибавилъ старикъ.

— Еще бы!—такъ же горячо воскликнула Нита и, словно бы чѣмъ-то обеспокоенная, порывисто прибавила:—но только знаешь ли чтѣ, папа?

— Чтѣ, Нита?

— Сережа иногда напускаетъ на себя больше фатовства, а онъ не такой... И ты не обращай на это вниманія, если тебѣ покажется въ немъ что-нибудь такое... наносное...

Она старалась заранѣе приготовить отца къ тому, чтѣ онъ увидитъ. Письма, которыя она изрѣдка получала отъ брата, не нравились ей; въ нихъ чувствовалось что-то такое, чтѣ глубоко огорчало ее и, конечно, огорчить старика. Да и раньше жизнь брата, въ отсутствіе отца, не нравилась ей, а—главное—его взгляды, его убѣжденія казались ей такими не симпатичными. И Нита, любившая своего единственного брата до безумія, не разъ горячо съ нимъ спорила, стараясь переубѣдить его.

И теперь, при мысли о скорой встрѣчѣ брата съ этимъ честнымъ, безупречнымъ отцомъ, предчувствіе чего-то тяжелаго невольно закрадывалось въ ея сердце. О, какъ ей хотѣлось, чтобы предчувствіе это оказалось ложнымъ, и чтобы Сережа не былъ такимъ практическимъ человѣкомъ, какимъ выставлялъ себя въ письмахъ.

— Ну, конечно, наносное... Нынче это въ модѣ. И моряки щеголяютъ тѣмъ, чего мы въ молодые годы стыдились... Такой ужъ духъ нынче и во флотѣ, къ сожалѣнію... Идеаль гроша царить... Какой-то духъ торгашества... Да, Ниточка, моряки теперь не тѣ, что были прежде! Прежде мы не думали поражать франтовствомъ да по моднымъ ресторанамъ шататься... Прежде мы были хоть и замухрышками, но зато, знаешь ли, на сдѣлки разныя съ совѣстью не пускались, по переднимъ у начальства не торчали, къ тетенькамъ за протекціей не ѣздили, а тянули себя лямку по совѣсти... А теперь... Ну, да что говорить... Я увѣренъ только, что нашъ Сережа — сынъ своего отца и никогда не заставитъ его краснѣть за себя... Не такъ-ли, моя голубушка?.. Ты вѣдь у меня славная, прямая дѣвочка и умница!

Нита поспѣшила согласиться съ отцомъ, но когда пришла въ свою маленькую свѣтлую комнату, мысли о Сережѣ заставили ее снова задуматься. И ей было почему-то безконечно жаль отца.

II.

— Анна Васильевна! Нита! Готовы ли вы? Черезъ четверть часа пора ѣхать, чтобы поспѣть на пароходъ! — говорилъ, стуча въ началѣ девятаго часа утра поочередно въ двери комнатъ жены и дочери, веселый и радостный старикъ, бодрый и свѣжій, пріодѣвшійся въ новый сюртукъ и надѣвшій на шею большой крестъ Владиміра второй степени, спрятавшійся подъ густою бородой адмирала.

Онъ то-и-дѣло посматривалъ на свои старинные золотые часы и, никогда не опаздывавшій въ своей жизни, за пять минутъ до отъѣзда снова стучался въ комнаты своихъ.

Дамы были готовы; два извозчика уже стояли у подъѣзда, и вся семья за десять минутъ до девяти часовъ была на кронштадтскомъ пароходѣ.

Утро стояло хорошее, солнечное и теплое, и Волынцевы сидѣли на палубѣ, радостно взволнованные, въ ожиданіи свиданія съ Сережей.

Наконецъ и Кронштадтъ.

Волынцевы съ пристани отправились въ купеческую гавань, и тамъ адмиралъ нанялъ яликъ до малаго рейда.

— А не страшно на яликѣ, Максимъ Ивановичъ?—спрашивала адмиральша, женщина лѣтъ пятидесяти, высокая и статная, сохранившая еще въ своемъ лицѣ остатки былой красоты, боязливо поглядывая на маленькій яликъ...

— Не извольте беспокоиться, барыня. И въ погоду ѣздимъ, а не то, что въ тишь, какъ теперь!—проговорилъ старикъ-яличникъ.

— Садись, садись, Анна Васильевна, не бойся!—успокаивалъ адмиралъ.—Ты привыкла все на катерахъ ѣздить, да на большихъ, ну, а теперь мы въ отставѣ, катеровъ намъ не полагается!—шутливо прибавилъ адмиралъ.

— Сережа могъ-бы прислать за нами катеръ!—замѣтила адмиральша, усѣвшись при помощи мужа въ яликъ.

— Почему онъ знаетъ, что мы съ первымъ пароходомъ ѣдемъ къ нему. Онъ, быть можетъ, и не ждетъ насъ... Эка погода-то славная!... Хорошо сегодня на морѣ!—воскликнулъ адмиралъ, вдыхая полной грудью свѣжій морской воздухъ.

Дѣйствительно, было хорошо. Стоялъ мертвый штиль, и море разстилалось зеленоватой гладью. Съ безоблачнаго неба весело глядѣло солнце.

Вдали, на большомъ рейдѣ виднѣлось нѣсколько броненосцевъ, грозныхъ, но неуклюжихъ, а поближе, на среднемъ рейдѣ, стоялъ крейсеръ „Витязъ“, весь черный и красивый со своими высокими тремя мачтами, паутиной снастей и съ двумя бѣлыми дымовыми трубами.

Яликъ ходко шель, приближаясь къ „Витязю“.

Адмиралъ такъ и впился въ него своими зоркими глазами лихого моряка, гордившагося, бывало, образцовымъ порядкомъ и щегольскимъ видомъ судовъ, которыми онъ командовалъ въ теченіе своей службы, и тою любовью, какую питали къ нему матросы и офицеры. Онъ любилъ и эту службу, полную борьбы и опасностей, любилъ и эти дальнія плаванья на океанскомъ просторѣ, любилъ и матросовъ, этихъ славныхъ, добрыхъ тружениковъ моря, готовыхъ изъ кожи лѣзть, если только съ

ними обращаются по-человѣчески и признають въ нихъ людей, а не одну только рабочую силу. И Максимъ Ивановичъ пожалѣлъ, что онъ въ отставку и уже не въ той родной средѣ, съ которою такъ сжился. Но не онъ виноватъ, что его удалили изъ флота... Онъ слишкомъ цѣнитъ чувство человѣческаго достоинства, чтобы оставаться во флотѣ цѣною подлаживанія къ высшему начальству.

Повидимому, Максимъ Ивановичъ остался доволенъ внѣшнимъ видомъ „Витязя“. Рангоутъ выправленъ безукоризненно, рей—тоже. Посадка судна превосходная.

— Славное суденышко, молодцомъ глядитъ!—нѣжно, почти любовно, произнесъ старый морякъ.—Полюбуйся-ка, Нита.

— Ужъ я и то люблюсь, папочка!

— Я радъ, что Сережа сдѣлалъ кругосвѣтное плаваніе не на броненосцѣ, а на крейсере. По крайней мѣрѣ, знаетъ, какъ ходить подъ парусами, а то теперь молодые офицеры совсѣмъ не знаютъ парусовъ... Все только подъ парами гуляютъ!

Чѣмъ ближе подходилъ яликъ къ крейсеру, тѣмъ нетерпѣливѣе становились пассажиры ялика.

Еще нѣсколько минутъ, и яликъ присталъ къ парадному трапу „Витязя“. Фалгребные матросы въ синихъ рубахахъ съ откидными воротниками, открывавшими загорѣлыя шеи, стояли по бокамъ трапа, отдавая честь отставному адмиралу.

Молодой вахтенный мичманъ встрѣтилъ прибывшихъ у входа на палубу.

— Я хотѣлъ бы видѣть лейтенанта...

Но старикъ не докончилъ.

Лейтенантъ, котораго онъ такъ страстно хотѣлъ видѣть, уже цѣловалъ руки и лицо матери, а Анна Васильевна, вся всхлипывая, осыпала поцѣлуями коротко остриженную блондинку голову и молодое красивое лицо, которое въ первое мгновеніе показалось Максиму Ивановичу незнакомымъ, чужимъ,—до того оно возмужало и мало напоминало то нѣжное, безбородое лицо юнца, какое помнилъ отецъ.

Еще минута, и Сережа, осторожно освободившись изъ объятій матери, цѣловался съ отцомъ и потомъ съ сестрой... У всѣхъ на глазахъ сверкали слезы...

Всѣмъ хотѣлось говорить, и всѣ говорили не то, что хотѣлось.

— Здѣсь у насъ еще идетъ чистка, папа. Пойдемъ лучше въ каюту!—проговорилъ наконецъ Сережа низкимъ пріятнымъ

баритономъ, бросая быстрый взглядъ на костюмъ Ниты и отводя глаза съ довольнымъ выраженіемъ.

— Веди, куда хочешь, Сережа!— взволнованно отвѣчалъ отецъ.

— Вотъ нашъ капитанъ, папа... Позволь тебѣ его представить.

И, не дожидаясь согласія отца, онъ подвелъ капитана, пожилого, приземистаго брюнета, заросшаго волосами, и представилъ его отцу, матери и сестрѣ.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ разговора, въ которомъ капитанъ очень хвалилъ молодого лейтенанта, всѣ спустились въ каютъ-компанію. Офицеры, сидѣвшіе тамъ, встали и поклонились. Сережа опять представилъ своимъ двухъ молодыхъ офицеровъ, въ томъ числѣ одного съ княжеской фамиліей.

— Познакомь ужъ со всѣми, Сережа!— проговорилъ тихо адмиралъ, замѣтивши, что сынъ хотѣлъ вести его въ каюту.

Всѣ были представлены, и послѣ того Сережа ввелъ своихъ въ просторную, свѣтлую, щегольски убранную каюту.

— А вѣдь я тебя, Сережа, не узналъ въ первую минуту... Такъ ты измѣнился... возмущалъ съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались. Ну-ка, дай я на тебя погляжу.

И съ этими словами старикъ крѣпко сжалъ въ своей худой, костлявой, но сильной рукѣ, мягкую, пухлую, коленую руку сына и глядѣлъ на него долгимъ любовнымъ, полнымъ безконечной нѣжности взглядомъ.

— Экой ты молодецъ какой!— наконецъ проговорилъ онъ, отводя глаза, и сталъ разглядывать Сережину каюту.

Высокій, хорошо сложенный, свѣжій и румяный, съ тонкими чертами красиваго и умнаго, слегка загорѣвшаго лица, опушеннаго свѣтло-русой бородкой, подстриженной по модному, à la Henri IV, молодой человекъ, недавно только-что произведенный въ лейтенанты, дѣйствительно глядѣлъ молодцомъ и притомъ имѣлъ тотъ нѣсколько-самоувѣренный, хлыщеватый и въ то-же время солидный видъ, какимъ въ послѣднее время стали, по примѣру серьезныхъ молодыхъ франтовъ изъ свѣтскаго общества, щеголять и многіе моряки молодого поколѣнія, совсѣмъ не похожіе на прежній средній типъ моряка, отличавшійся отсутствіемъ всякаго хлыщества, скромностью и даже застѣнчивостью въ обществѣ и нѣкоторою, словно бы умышленною небрежностью костюма. Дескать, моряку стыдно заниматься такими глупостями, какъ франтовство!

Молодой Волинцевъ, напротивъ, былъ франтовать до мелочей и, видимо, тщательно занимался и своей особой, и своимъ туалетомъ.

Щегольской сюртукъ, сшитый не совсѣмъ по формѣ — длиннѣе, чѣмъ слѣдовало — сидѣлъ на немъ, какъ облитой. Стоячіе воротники, съ загнутыми впереди кончиками, сіяли ослѣпительной бѣлизной, а креповый черныи галстукъ, завязанный отъ руки морскимъ узломъ, былъ безукоризненъ. На ногахъ были модные остроносые ботинки безъ каблучковъ. Отъ бороды и усовъ, чуть-чуть закрученныхъ кверху, шелъ тонкій аромать духовъ. На мизинцѣ одной изъ рукъ была красивая бирюза, и золотой браслетъ — *porte bonheur* — виднѣлся изъ-подъ рукава сорочки.

Сережа походилъ на сестру, но выраженіе его лица и карихъ глазъ было совсѣмъ не то, что у отца и сестры. И въ лицѣ и въ глазахъ Сережи было что-то самоувѣренное жестковатое и холодное. Чувствовалось, что, не смотря на молодость, это человѣкъ съ характеромъ.

Обрадованный свиданіемъ, Максимъ Ивановичъ въ первыи минуты не замѣтилъ ни изысканнаго франтовства, ни самоувѣреннаго, полнаго апломба, вида Сережи и, оглядѣвъ какоту, промолвилъ:

— Однако, и ящиковъ тутъ у тебя. Много же ты навезъ вещей, Сережа.

— Тутъ еще не всѣ, папа... Еще въ ахтеръ-люкъ есть.

— Куда столько?...

— И для васъ, и для себя...

— Но вѣдь это денегъ стоитъ и большихъ... Или ты, голубчикъ, себѣ во всемъ отказывалъ, чтобы навезти столько?...

Сережа чуть-чуть покраснѣлъ и торопливо проговорилъ:

— На все хватало, папа... А для тебя, Нита, есть и крепонны китайскіе для нарядныхъ платьевъ, и вѣера, и бразильскіи мушки для серегъ, и хорошіе изумруды для браслета... Хочешь посмотрѣть?

— Не надо, потомъ, потомъ... Намъ хочется на тебя поглядѣть, Сережа. Спасибо тебѣ, но только зачѣмъ мнѣ. Я вѣдь не выѣзжаю.

— Она у насъ домосѣдка Ниточка! — вставилъ отецъ. — Все больше за книжками сидить.

— Напрасно. Ты стала такая хорошенькая, что могла бы выѣзжать и сидѣть хорошую партію! — смѣясь проговорилъ Сережа.

Нита вспыхнула. Этот тонъ не нравился ей. Поморщился и адмиралъ.

— Ну, ну, не сердись, Нита... Хочешь быть монашкой и ученой—твоя княжая воля.

И онъ обнялъ сестру.

Анна Васильевна не сводила глазъ съ Сережи—такой онъ казался ей красивый и элегантный. Она рассказывала о родныхъ, о знакомыхъ, смѣясь говорила, что многія барышни ждутъ его, не дождутся. Сережа весело улыбался и покручивалъ свои выхоленные усы.

А Максимъ Ивановичъ слушалъ, приглядывался и только теперь замѣтилъ, какой Сережа франтъ, и его, старика, особенно неприятно поразилъ этотъ браслетъ на рукѣ сына.

„Точно женщина—браслетъ носить!“—подумалъ онъ. Однако, ничего не сказалъ.

Нита какъ-то испуганно переводила глаза съ отца на брата.

— Ну, а ты, папа, какъ поживаешь?—спрашивалъ Сережа.

— Отлично поживаю, какъ видишь... Ты вѣдь знаешь, почему я вышелъ въ отставку?—неожиданно спросилъ старикъ.

— Знаю, ты писалъ...

— Но ты тогда ничего мнѣ не отвѣтилъ...

— Что-жъ было писать?—уклончиво проговорилъ Сережа.

— Какъ что? Я ждалъ, что ты одобришь мое рѣшеніе.

— Извини, папа, но я очень сожалѣлъ, что ты оставилъ службу... Вѣдь флотъ нуждается въ хорошихъ адмиралахъ...

— Ну, положимъ, нуждается...

Нита затаила дыханіе. Она знала, что братъ не одобрялъ рѣшенія отца и въ письмѣ къ ней называлъ выходъ его въ отставку „мальчишествомъ“, тогда какъ она гордилась поступкомъ отца.

— А если нуждается,—продолжалъ слегка докторальнымъ тономъ молодой человекъ,—то логичнѣе было бы, мнѣ кажется, не оставлять флота... Извини, папа... Но я высказываю свое мнѣніе, разъ ты меня спрашиваешь...

— Конечно, спрашиваю... И нечего тутъ извиняться... Такъ ты считаешь, что мнѣ слѣдовало ѣхать къ начальству и просить извиненія за то, что я былъ правъ?—спрашивалъ

Максимъ Ивановичъ, взглядывая на сына и вдругъ чувствуя себя словно бы въ положеніи подсудимаго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ старикъ почувствовалъ, что сынъ давно уже произнесъ свой приговоръ. Онъ это видѣлъ въ снисходительномъ взглядѣ Сережи, онъ это слышалъ въ тонѣ его голоса. И прежній юнецъ Сережа словно бы пропалъ. Передъ нимъ былъ основательный, не по лѣтамъ практическій молодой человѣкъ, который могъ бы поучить его, старика, какъ надо вести себя.

— Сережа вовсе этого не думаетъ, папочка! Не правда ли, Сережа?—вступилась Нита, какъ-бы давая понять брату, что слѣдуетъ ему отвѣтить.

Сережа не соблаговолилъ отвѣтить сестрѣ и проговорилъ, обращаясь къ отцу:

— Мнѣ кажется, можно было бы устроить дѣло и безъ извиненій, если они такъ были тебѣ непріятны, что ты изъ-за нихъ бросилъ службу, которую любишь... Въ такихъ случаяхъ всегда есть посредники, которые улаживаютъ недоразумѣнія... Но ты, папа, погорячился... Ты дѣйствовалъ подъ вліяніемъ чувства, конечно, благороднаго, но изъ-за этого флотъ лишился превосходнаго адмирала!—прибавилъ Сережа.

Старикъ попробовалъ было улыбнуться, но улыбка вышла какая-то кислая. Однако, онъ промолвилъ:

— Ты, можетъ быть, и правъ, мой милый... Даже навѣрное правъ... Мы, старики, слишкомъ впечатлительны и часто забываемъ правила житейской мудрости... Но съ темпераментомъ ничего не подѣлаешь, Сережа!.. Я вотъ и вышелъ въ отставку, и флотъ лишился, какъ ты говоришь, хорошаго адмирала.

— Ты не сердись, папа, что я позволилъ себѣ откровенно высказать свое мнѣніе...

— Что ты, Сережа! За что же сердиться? Ты просто благоразумнѣе меня, вотъ и все... Ну, рассказывай, голубчикъ, доволенъ-ли ты службой?.. Полюбилъ-ли море?..

Сережа признался, что моря особенно онъ не любитъ, но что служить добросовѣстно и на хорошемъ счету у капитана. Два года какъ онъ ревизоромъ*) послѣ того, какъ прежній ревизоръ заболѣлъ и уѣхалъ въ Россію.

*) Ревизоръ, офицеръ, заступающій хозяйственной частью.

— Хлопотливая эта обязанность... Напрасно ты согласился принять ее.

— Да, работы много, но разъ капитанъ просилъ, я не считалъ возможнымъ отказать.

Сереза между тѣмъ взглянулъ на часы и подавилъ пуговку электрическаго звонка.

У порога каюты вытянулся молодой вѣстовой. По напряженной его физиономіи и нѣсколько испуганному взгляду сразу можно было догадаться, что этотъ бѣлобрысый матросикъ съ голубыми, слегка выкаченными глазами, побаивается молодого лейтенанта.

— Узнай, скоро-ли завтракать?—сухимъ и повелительнымъ тономъ произнесъ Сереза.

— Есть, ваше благородіе!

Вѣстовой хотѣлъ было уйти.

— Постой!—рѣзко остановилъ его Сереза.

Вѣстовой замеръ на мѣстѣ и, не моргая, глядѣлъ на лейтенанта.

— Скажи буфетчику, чтобы накрылъ три лишніе прибора... Понялъ?

— Понялъ, ваше благородіе!

— Ступай!

И этотъ рѣзкій, повелительный тонъ Серезы рѣзанулъ ухо отца. Вспомнилъ онъ свое отношеніе къ вѣстовымъ, вспомнилъ, какіе преданные, славные были у него вѣстовые, и какъ они бывали коротки съ нимъ и нисколько его не боялись, и спросилъ сына:

— Давно онъ у тебя, Сереза?

— Съ самаго начала плаванія... А что?

— Нѣтъ, я такъ... Славное у этого матросика лицо... Доволенъ ты имъ?

— Ничего... Безтолковъ только очень!—небрежно кинулъ Сереза.

— Онъ изъ какой губерніи?

— А не знаю... Не интересовался, папа... Я, признаться, съ матросами не фамиллярничаю... А то, того и гляди, забудутся...

— Въ наше время они не забывались!—проронилъ адмиралъ и замолкъ.

Черезъ нѣсколько минутъ вѣстовой, уже въ нитяныхъ перчаткахъ, доложилъ, что завтракъ готовъ.

— Папа, мама пойдете... Нита!..

● Всѣ они вошли въ каютъ-компанію, гдѣ, въ ожиданіи гостей, никто не садился. Адмиральшу и адмирала посадили на почетныя мѣста; около нихъ сѣли капитанъ, приглашенный на завтракъ въ каютъ-компанію, и старшій офицеръ. Сережа сѣлъ рядомъ съ сестрой, посадивъ около нея молодого лейтенанта съ княжескимъ титуломъ.

Завтракъ прошелъ оживленно. Пили шампанское за благополучное возвращеніе на родину. Чокались другъ съ другомъ, говорили спичи.

Отъ Максима Ивановича, долго на своемъ вѣку плававшего и сразу умѣвшего уловить настроеніе каютъ-компаніи, не укрылось, что въ каютъ-компаніи на „Витязѣ“ не было той товарищеской связи, которая соединяла бы всѣхъ. Онъ замѣтилъ, что штурманскіе офицеры, докторъ и нѣсколько молодыхъ моряковъ какъ-бы составляютъ одну партію и не особенно расположены къ другимъ офицерамъ, въ числѣ которыхъ былъ и Сережа. Чувствовалось, что отношеніе къ нему далеко не дружеское, не сердечное.

Вскорѣ послѣ завтрака Волынцевы уѣхали съ крейсера. Имъ дали, конечно, катеръ.

Сережа не могъ ѣхать съ ними—обязанности ревизора мѣшали ему—но онъ обѣщалъ пріѣхать на другой день.

Прощаясь съ сестрой, Сережа шепнулъ ей:

— Понравился тебѣ, Нита, князь Усольцевъ? Обрати на него вниманіе... Онъ славный малый и у него двадцать тысячъ годового дохода... Я привезу его къ вамъ.

Нита вспыхнула и шепнула:

— Пожалуйста, не привози.

Старый адмиралъ вернулся въ Петербургъ, какъ будто не особенно веселый.

За обѣдомъ онъ былъ задумчивъ и разсѣянъ — не такого Сережу надѣялся онъ встрѣтить!

Зато Анна Васильевна была въ восторгѣ и находила, что онъ совершенство.

— Не правда-ли, какой славный Сережа? Какъ ты его нашелъ, Максимъ Ивановичъ? Ты какъ будто не особенно доволенъ имъ?—спрашивала Анна Васильевна, нѣсколько удивленная и огорченная недостаточнымъ, по ея мнѣнію, восхищеніемъ отца сыномъ.

— Что, ты, что ты, Анна Васильевна! Конечно, Сережа славный, честный мальчик! — горячо промолвил старикъ, скрывая отъ жены и дочери то тяжелое впечатлѣніе, которое произвелъ на него сынъ при первой встрѣчѣ и которое мучило теперь старика.

Его любовь къ Сережѣ боролась съ этимъ первымъ впечатлѣніемъ. Онъ хотѣлъ во что бы то ни стало обвинить себя въ излишней поспѣшности сужденія о сынѣ. Какъ отецъ, онъ, быть можетъ, слишкомъ требователенъ, и въ глазахъ его мелкіе недостатки приняли большіе размѣры и многое показалось не въ томъ свѣтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, и эта рѣзкость съ вѣстовымъ и это франтовство сына не такія ужъ преступленія, а его практичность и солидность доказываютъ только, что Сережа, не смотря на молодость, живетъ не однимъ сердцемъ... Во всякомъ случаѣ онъ честный и хорошій молодой человекъ! Онъ прійдетъ, раскроетъ свою душу, и тогда отецъ убѣдится, что первое впечатлѣніе было ложно.

И старикъ, словно бы утѣшая себя, продолжалъ:

— И знаешь ли, Анна Васильевна, мнѣ даже нравится въ немъ эта увѣренность въ себѣ, серьезность и практичность...

— Сережа напускаетъ больше на себя... Вовсе онъ не такой практичный, папа! — вступилась Нита.

Адмиралъ взглянулъ на дочь ласковымъ, благодарнымъ взглядомъ за это противорѣчіе, которое такъ хотѣлось ему слышать.

III.

Со времени возвращенія Сережи прошелъ мѣсяцъ, но Сережа не торопился раскрывать своей души передъ отцомъ и вообще избѣгалъ высказываться, хотя при случаѣ и не скрывалъ, что смотритъ на многое совсѣмъ не такъ, какъ отецъ и Нита. Онъ видимо нѣсколько снисходительно относился къ ихъ взглядамъ, но споровъ избѣгалъ, не смотря на то, что старикъ, какъ будто нарочно, старался заводить ихъ. Да и дома Сережа оставался недолго во время пріѣздовъ своихъ въ Петербургъ. Пообѣдаетъ или заглянетъ на часъ, да и уѣдетъ то по дѣламъ, то къ знакомымъ, то въ театръ. И останавливался онъ не у своихъ — хотя для него и приготовлена была прежняя маленькая его комната — а у своего друга, князя Усольцева,

котораго Сережа, не смотря на протестъ сестры, все-таки привезъ къ своимъ.

Масса подарковъ Сережи украшала теперь скромную квартиру Волинцевыхъ. Чудныя японскія ваазы, столики, разныя китайскія вещи изъ черепахи и слоновой кости стояли въ гостиной и въ комнатѣ Анны Васильевны. У адмирала въ кабинетѣ красовались великолѣпныя китайскія шахматы съ громадными фигурами, а у Ниты въ комодѣ были китайскія и японскія матеріи, вѣера, страусовыя перья и много разныхъ цѣнныхъ бездѣлокъ. Такими-же роскошными вещами Сережа одарилъ нѣкоторыхъ знакомыхъ и кромѣ того кронштадтская его квартира была полна привезенными вещами.

Отецъ только удивлялся. Онъ зналъ, что всѣ эти предметы роскоши стоили большихъ денегъ; нельзя было навезти ихъ столько на жалованье. Кромѣ того, Максима Ивановича поражала и жизнь сына въ Петербургѣ: эти лихачи, эта дружба съ княземъ Усольцевымъ, завтраки и обѣды въ ресторанахъ, театры...

Откуда у него на это деньги?

И аккуратный старикъ, никогда въ жизни не имѣвшій долговъ, съ ужасомъ подумалъ, что сынъ запутался въ долгахъ.

Не рѣшаясь изъ деликатности прямо спросить объ этомъ, онъ какъ-то стороной завелъ однажды рѣчь о молодыхъ людяхъ, запутывающихся въ долгахъ, но Сережа, понимая, къ чему клонить отецъ, смѣясь, проговорилъ:

— Успокойся, папа. У меня нѣтъ ни копѣйки долга.

— „Откуда-жъ у тебя деньги?“ — чуть было не сорвалось у отца, но онъ удержался и промолчалъ.

И вдругъ адмиралъ вспомнилъ, что сынъ его ревизоръ. Онъ хорошо зналъ, что въ послѣднее время ревизоры и многіе капитаны нисколько не стѣсняются пользоваться незаконными доходами и даже громко хвастаются этимъ.

„Господи! Неужели и Сережа!“

Ужасное подозрѣніе закралось въ эту честную сѣдую голову, и выраженіе страха и страданія исказило черты лица адмирала, когда онъ остался одинъ въ своемъ кабинетѣ.

„Не можетъ быть! Это неправда!“

Онъ гналъ эти подозрѣнія. Онъ ни слова не говорилъ сыну, ожидая, что тотъ самъ объяснитъ это недоразумѣніе. Быть

можетъ, Сережа выигралъ крупную сумму въ карты—вѣдь моряки любятъ поиграть въ азартныя игры на берегу!

Но Сережа молчалъ, и подозрѣнія снова навойливо закрадывались въ голову старика и терзали его.

Въ послѣдніе дни они не давали покоя. Куда дѣвалось его прежнее добродушіе и веселость? Какъ ни старался онъ скрыть отъ жены и дочери свои страданія, его скорбный, растерянный видъ выдавалъ его. Онъ сдѣлался молчаливъ и большую часть времени проводилъ у себя въ кабинетѣ.

Анна Васильевна съ тревогой спрашивала: „здоровъ ли онъ?“ и старикъ, чтобъ отдѣлаться, сваливалъ свое дурное расположеніе на ревматизмъ. Чуткая Нита догадывалась, что поведеніе Сережи причиняетъ страданія отцу, чаще ласкалась къ старику, заглядывая къ нему въ кабинетъ, и чаще предлагала почитать вслухъ.

И старикъ нѣжно цѣловалъ ее и говорилъ:

— Спасибо, спасибо, Ниточка, не надо... Ревматизмъ подлецъ даетъ себя знать... Я полежу... А ты иди къ матери...

Однажды онъ возвратился домой совсѣмъ убитый. Онъ только что вернулся изъ одного ресторана на Васильевскомъ островѣ, куда ходилъ читать англійскія газеты и выпить чашку кофе, и тамъ слышалъ разговоръ нѣсколькихъ молодыхъ моряковъ объ его сынѣ. Они его не бранили—о, нѣтъ!—напротивъ, съ одобреніями и завистью говорили, что онъ „ловкій ревизоръ“, тысячь десять привезъ изъ плаванія кромѣ вещей... Молодецъ Волынцевъ! Не зѣвалъ!

Точно оплеванный, вышелъ адмиралъ изъ ресторана, дошелъ домой и заперся въ кабинетѣ.

„Не можетъ быть... На Сережу клеветуютъ!“—все еще не хотѣлъ вѣрить честнѣйшій старикъ и рѣшилъ, что надо переговорить съ сыномъ.

Онъ опровергнетъ всѣ эти мерзости!... О, навѣрное!

И надежда смѣнялась отчаяніемъ, отчаяніе надеждой. Безграничная любовь къ Сережѣ ожесточенно боролась противъ очевидности.

Но болѣе терпѣть онъ не могъ. Надо же, наконецъ, узнать правду и не подозрѣвать напрасно сына.

И, однако, страхъ охватывалъ этого неустрашимого моряка, видавшаго на своемъ вѣку не мало опасностей, при мысли о подобномъ объясненіи съ сыномъ.

Думалъ-ли онъ, что ему придется имѣть такія объясненія?!

Въ этотъ день Сережа обѣдалъ дома. Веселый и довольный, онъ между прочимъ сообщилъ, что командиръ „Витязя“ назначается командиромъ броненосца „Побѣдный“ и что онъ зоветъ его къ себѣ ревизоромъ.

— И ты согласился?—съ какою-то тревогой въ голосѣ спросилъ старикъ.

— Разумѣется, папа! — отвѣтилъ Сережа. — Черезъ годъ „Побѣдный“ идетъ на два года въ Средиземное море! — прибавилъ онъ.

„И, значитъ, доходы будутъ большіе“,—невольно пронеслось въ головѣ старика.

Когда окончился обѣдъ, адмиралъ какъ-то смущенно проговорилъ:

— А ты зайди-ка ко мнѣ, въ кабинетъ, Сережа... Хочу тебѣ показать чертежи новаго англійскаго крейсера... интересные... Прелестный будетъ крейсеръ...

Нита испуганно взглянула на отца, и, замѣтивъ его смущеніе, поняла, что не о чертежахъ будетъ рѣчь. И ей стало страшно за отца.

IV.

— Присядь, Сережа... Видишь-ли... Ужъ ты извини, голубчикъ... Никакихъ чертежей нѣтъ... Я такъ, чтобы, понимаешь-ли... мать и сестра... Зачѣмъ имъ знать?... А мнѣ нужно съ тобой поговорить... ты самъ поймешь, что очень нужно, и извинишь отца, что онъ... въ нѣкоторомъ родѣ...

Адмиралъ конфузился и говорилъ безсвязно, видимо не рѣшаясь объяснить сущности дѣла.

Сережа, напротивъ, былъ спокоенъ и взглянувъ ясными, нѣсколько удивленными глазами на отца, сказалъ:

— Ты, папа, говори прямо... не стѣсняйся... О чемъ ты хочешь говорить со мной?

Этотъ самоувѣренный видъ и спокойный тонъ обрадовали старика, и онъ продолжалъ:

— Я, конечно, такъ и думалъ, что все это подлая ложь... Но меня все-таки, знаешь ли, мучило... Какъ смѣютъ про тебя говорить...

— Что-же про меня говорятъ, папа?

— Что будто ты былъ ловкимъ ревизоромъ и привезъ изъ плаванія десять тысячъ...

И адмиралъ даже засмѣялся.

По красивому, румяному лицу молодого лейтенанта разлилась краска. Но глаза его такъ-же ясно и рѣшительно смотрѣли на отца, когда онъ проговорилъ:

— Это вѣрно, папа. Тысячъ восемь я привезъ!

Адмиралъ, казалось, не вѣрилъ своимъ ушамъ. Такъ просто и спокойно проговорилъ эти слова сынъ.

— Потому, что былъ ревизоромъ? — наконецъ спросилъ старикъ упавшимъ голосомъ.

— Да, папа. Я дѣлалъ то, что дѣлаютъ почти всѣ, и долженъ тебѣ сказать, что не вижу въ этомъ никакой подлости... Напрасно ты такъ близко принимаешь это къ сердцу, папа. Не возьми я своей части, все пошло бы одному капитану... Съ какой стати!... И вѣдь эти восемь тысячъ, которыя мнѣ достались, собственно говоря, ни отъ кого не отняты... Никакихъ злоупотребленій мы не дѣлали ни съ углемъ, ни съ провизіей... Все покупали по справочнымъ цѣнамъ, которыя давали намъ консула... Но эти обычные скидки десяти процентовъ со счетовъ, которыя практикуются вездѣ, что съ ними дѣлать?... Записывать ихъ на приходъ по книгамъ нельзя... Оставлять ихъ поставщикамъ, что-ли? Это было бы совсѣмъ глупо... Ну, онѣ и дѣлятся между капитаномъ и ревизоромъ... И никто не видитъ въ этомъ ничего предосудительнаго...

— Но вѣдь это... воровство!.. Вѣдь эти скидки должны поступать въ казну... Или ты съ капитаномъ этого не понимаете?... Неужели не понимаете?... О, Господи, какіе вы непонятливые!... И ты, сынъ человѣка, который въ жизни никогда не пользовался никакими скидками, ты тоже не находишь ничего предосудительнаго?...

— Ты, папа, извини, слишкомъ большой идеалистъ и требуешь отъ людей какого-то геройства и притомъ ни къ чему ненужнаго. А я смотрю на жизнь нѣсколько иначе... Я не....

— Вижу... Довольно... Мы другъ друга не понимаемъ, — перебилъ старикъ, и голосъ его звучалъ невыразимой грустью. — Теперь во флотѣ не понимаютъ даже, что предосудительно и что нѣтъ... И даже такіе молодые... То-то ты и отставки моей не одобряешь... Ты разсудителенъ не по лѣтамъ... И, вѣрно, карьеру сдѣлаешь... Иди... иди. Сережа... Намъ больше не

о чемъ разговаривать!... Не говори только объ этомъ сестрѣ... Она тоже не пойметъ тебя...

Сережа пожалъ плечами, словно бы удивленный этими lamentаціями старика, и вышелъ изъ кабинета, а Максимъ Ивановичъ какъ-то безпомощно опустилъ свою сѣдую голову.

Когда Нита принесла чай, Максимъ Ивановичъ попрежнему сидѣлъ за столомъ, скорбный и мрачный. Увидавъ дочь, онъ попробовалъ улыбнуться, но улыбка была печальная.

Нита молча обняла старика. Онъ крѣпко, крѣпко прижалъ ее къ своей груди, и слезы блестя на глазахъ стараго адмирала.

К. Станюковичъ.

Герценъ въ Вяткѣ.

„Мало познѣвъ въ Вятской жизни моеѣ, пишу много“. (Рук. письмо Герцена отъ 20-го сентября 1837 года).

Приходилось ли вамъ когда-нибудь видать портреты Герцена разныхъ періодовъ? Быстрый взглядъ не усматриваетъ въ нихъ ни малѣйшаго сходства, — это какъ бы снимки съ разныхъ лицъ. Но стоитъ остановиться подольше, взглянуть попристальнѣе въ каждую отдѣльную черту — и вы скоро убѣдитесь, что это одно и то же лицо: одни и тѣ же живые, умные, полные жизненной энергіи глаза, тотъ же красивый, большой лобъ и тотъ же длинный, нѣсколько неправильный, какъ бы выдающій нѣмецкое происхожденіе, носъ.

Почти то же происходитъ и при поверхностномъ знакомствѣ съ его духовнымъ обликомъ въ разные эпохи жизни. Герценъ до тюрьмы и Герценъ въ тюрьмѣ и ссылке, послѣ опубликованія новыхъ матеріаловъ, представляются въ умѣ читателя совершенными противоположностями. Энергичная, огненно-дѣятельная, реальная и свободолюбивая личность первого словно бы завядаетъ въ тюрьмѣ и, наконецъ, совсѣмъ исчезаетъ въ расплывчатой, слабой, пассивной личности ссылкиго, тонущей въ мистицизмъ и разныхъ суевѣрійхъ. Но близкое, подробное знакомство съ нимъ за эти періоды, насколько позволяетъ ненапечатанная часть большой „Переписки“ съ невѣстой, даетъ возможность усмотрѣть яркія черты все того же прежняго облика. И вотъ, ради этого, попробуемъ взглянуть попристальнѣе, что представляетъ изъ себя Герценъ до тюрьмы, въ тюрьмѣ и во время жизни въ Вяткѣ.

I.

„А несчастье ли это постигло тогда меня? Не знаю. Я выросъ, лучше понять себя“. (Рук. письмо отъ июля 1837 г.).

Уже въ 1829 году Герценъ вошелъ въ университетскую аудиторію съ чувствомъ глубокой ненависти къ насилию, рабству и всякому произволу. Уже тогда онъ былъ полонъ желанія принести пользу родинѣ, полонъ жажды общественнаго служенія. Эти мысли занимали его съ отроческихъ лѣтъ. Но самый способъ служенія, его средства, были ему, разумѣется, не ясны. Ярый, искренній поклонникъ декабристовъ и героевъ французской революціи, которую онъ усердно изучалъ еще до вступленія въ университетъ, онъ знакомится въ стѣнахъ университета съ брошюрами Сень-Симона, гдѣ высказываются заботы „объ улучшеніи нравственнаго и физическаго состоянія класса наиболѣе бѣднаго“, и начинаетъ въ аудиторіи проповѣдь всѣхъ этихъ идей.

Не смотря на неясность и неопредѣленность проповѣди, она уже силою своей искренности, горячности проповѣдника, благодаря его талантливой, огненной и увлекающейся натурѣ, производитъ дѣйствіе, и вокругъ юноши Герцена образуется кружокъ. Этотъ кружокъ не имѣетъ никакихъ опредѣленныхъ политическихъ цѣлей, никакой организаціи. Самому создателю кружка еще неясно, что нужно дѣлать, какъ, какимъ способомъ вступить въ борьбу съ насилиемъ и рабствомъ. Для Герцена было несомнѣнно только одно: надо дѣйствовать, надо съ пользою на служеніе родинѣ принести свои таланты и такимъ способомъ достигнуть славы, которая являлась одной изъ главныхъ побудительныхъ причинъ человѣческихъ дѣйствій и въ ученіи Сень-Симона.

Слава, полезная дѣятельность, свобода, жажда знанія—вотъ девизъ, съ которымъ Герценъ 5 іюня 1833 года¹⁾ выходитъ изъ стѣнъ университета со степенью кандидата, удостоеннаго серебряной медали.

¹⁾ Въ статьѣ Н. С. Тихонова: „И. С. Тургеневъ въ Московскомъ Университетѣ“ не вѣрно сказано, что Герценъ вышелъ кандидатомъ въ 1832 году: мнѣ удалось видѣть его формулярный списокъ, хранящійся въ архивѣ Московскаго Университета.

Последней наградой оскорблено его самолюбие: онъ даже не пошелъ на актъ за полученіемъ медали. „Я кандидатъ, это правда, но золотую медаль дали не *мнѣ*. Мнѣ серебряная медаль — *одна изъ трехъ*... Сегодня актъ, но я не былъ, ибо не хочу быть вторымъ при полученіи награды“. ¹⁾

Однако выходомъ изъ университета кончилось только официальное ученье: „ибо хотя я и *кончилъ курсъ*“, — говоритъ Герценъ, — „но собралъ такъ мало, что стыдно на людей смотрѣть“. ²⁾

Эта ненасытная жажда знанія проходить живою нитью черезъ всю его жизнь; мы встрѣчаемся съ ней и въ стѣнахъ Крутицкихъ казармъ, и на сѣверо-восточныхъ окраинахъ во время жизни въ ссылке, она же не покидаетъ его и на Западѣ. Съ этой неизмѣнной *жаждой* знанія неразлучно, рука объ руку, идетъ горячее желаніе принести пользу родинѣ. Молодой кандидатъ чувствуетъ, что желаніе въ груди такъ сильно, такъ искренно и горячо, что онъ не остановился бы передъ исполненіемъ, еслибы оно было связано даже съ извѣстной жертвой, ну, хотя бы съ удаленіемъ изъ Москвы, съ ссылкой въ Грузію или въ Камчатку.

Въ такомъ настроеніи, которое, впрочемъ, не мѣшало ему жить полной жизнью молодости, — его, ни въ чемъ не повиннаго, кромѣ указанного образа мыслей, захватываетъ въ свои стѣны тюрьма. Арестъ былъ произведенъ въ домѣ отца, въ 2 часа ночи съ 20-го на 21-е іюля 1834 года, ³⁾ якобы за участіе въ студенческой пирушкѣ 24 іюня, гдѣ пѣлись предосудительныя пѣсни.

Герценъ съ большою твердостью и спокойствіемъ выносить несчастье: ни возмущенія, ни негодованія за несправедливый арестъ. Вѣдь, онъ давно былъ полонъ желанія принести себя на жертву родинѣ, за нее пострадать, потому и смотреть на тюрьму, какъ на первую ступень этого давно обѣщаннаго служенія. Незаслуженный арестъ долженъ только еще болѣе укрѣпить въ разъ намѣченной цѣли и поднять въ собственныхъ

¹⁾ „Записки“, часть II-я, стр. 103.

²⁾ Рук. письмо отъ 26 іюля 1833 года.

³⁾ Хронологія устанавливается на основаніи „Переписки“, когда память у Герцена еще была свѣжа и не могла сбиваться, какъ сбивается въ „Запискахъ“, которыя писались много поздѣе.

глазахъ... „несчастія приносятъ ужасную пользу—они поднимаютъ душу, возвышаютъ насъ въ собственныхъ глазахъ“. ¹⁾

Такъ онъ писалъ двоюродной сестрѣ послѣ пятимѣсячнаго одиночнаго заключенія—и при этомъ ни одного слова жалобы на скуку или несправедливость. Онъ боится только одного, что ему и арестованнымъ вмѣстѣ съ нимъ товарищамъ суждена гибель „нѣмая, глухая, о которой никто не узнаетъ. Зачѣмъ же природа дала намъ эти огненные души, стремящіяся къ дѣятельности, къ славѣ—неужели это насмѣшка?“

Тюрьма зато до извѣстной степени даетъ просторъ и досугъ для удовлетворенія, если не славы, то жажды знанія, и Герценъ предается здѣсь тому самообразованію, о которомъ писалъ двоюродной сестрѣ по окончаніи университетскаго курса. Онъ принимается за изученіе итальянскаго языка. Благодаря своимъ гениальнымъ способностямъ, вполнѣ овладѣваетъ имъ въ два мѣсяца. Знакомится въ подлинникъ съ итальянскими классическими произведеніями: съ „Божественной Комедіей“ Данте, съ „Моими тюрьмами“ Сильвіо Пелико...; одновременно съ этимъ усердно предается изученію св. Писанія: перечитываетъ свою еще съ дѣтства любимую книгу — „Евангеліе“, читаетъ „Четы-Миней“...

Углубляясь въ факты жизни Христа и Его учениковъ, онъ ищетъ въ нихъ аналогіи съ избраннымъ имъ въ жизни путемъ. Особенно останавливается на томъ мѣстѣ, гдѣ Христосъ говоритъ Іоанну, что одинъ изъ учениковъ предастъ Его, послѣ чего Іоаннъ склоняетъ свою опечаленную голову на грудь Учителя. „Но гдѣ же нашъ Христосъ?“—говоритъ Герценъ. — „Кому мы на грудь склонимъ опечаленную голову? Неужели мы ученики безъ учителя, апостолы безъ Мессіи?“ ²⁾

Эта аналогія служитъ лучшей иллюстраціей для подтвержденія высказанной мысли, что у герценовскаго кружка не было никакой организаціи, никакихъ опредѣленныхъ замысловъ, выработанныхъ плановъ: кружокъ представлялъ изъ себя еще „учениковъ безъ учителя, апостоловъ безъ Мессіи“.

Хоть Герценъ и серіозно занятъ въ тюрьмѣ чтеніемъ святыхъ книгъ, которыя должны пробуждать въ душѣ смиреніе, увлекать мысль аскетическими идеалами, но въ немъ выступаетъ душевная двойственность. Съ одной стороны онъ пора-

¹⁾ Рук. письмо отъ 10 декабря 1834 года.

²⁾ Рук. письмо отъ 21-го февраля 1835 года.

жасть независимостью въ своихъ воззрѣніяхъ: отвергаетъ, напр., всякія узы родства, разъ онѣ основываются только на крови; рѣзко высказываетъ свое мнѣніе противъ свѣтскаго воспитанія, которое считаетъ полезнымъ только для людей, не имѣющихъ „никакого собственнаго звука“: „это воспитаніе“ — говоритъ онъ — „имъ придаетъ видъ людской“; ¹⁾ жаждетъ славы, дѣятельности... Съ другой стороны, подъ вліяніемъ „Четыхъ-Миней“, которыя должны были пробуждать въ душѣ смиреніе, начинаетъ порицать въ себѣ стремленіе къ славѣ, извѣстности, начинаетъ считать это стремленіе болѣзнью, которой необходимо беречься. Уже тогда, въ тюрьмѣ, бывали минуты, когда у него вырывались такіа слова: „на что счастье и какое счастье здѣсь, на землѣ?“ ²⁾ Въ этой двойственности нѣтрудно усмотрѣть столкновеніе природныхъ свойствъ души Герцена съ тѣми мыслями, которыя навѣвались чтеніемъ религіозныхъ книгъ, сложившимися обстоятельствами, и, наконецъ, такими посѣтителями тюрьмы, какъ его бывшій законоучитель, В. В. Боголѣповъ, который очень любилъ ученика и не разъ былъ у него въ Крутицахъ,—и какъ его двоюродная сестра. Посѣщеніе же другихъ родныхъ и близкихъ знакомыхъ въ этомъ отношеніи было почти безразлично. Между прочими посѣтителями его приходили навѣщать: дядя „сенаторъ“, Левъ Алексѣевичъ Яковлевъ, этотъ аристократъ-европеецъ и свѣтскій чиновный человекъ, но въ сущности очень добрый и сердечный: онъ плакалъ въ Крутицахъ; бывшая гувернантка двоюродной сестры „Наташи“, Эмилиа Михайловна Аксбергъ, которая была влюблена въ Александра Ивановича; товарищъ по университету Н. И. Сазоновъ; мать—Луиза Ивановна, которая 9-го апрѣля 1835 г. привозила съ собой Наталью Александровну, чтобы проститься съ затворникомъ, уѣзжавшимъ на другой день въ ссылку...

Въ обществѣ и въ литературѣ сложилось убѣжденіе, что до тюрьмы Герценъ былъ далекъ отъ всякой религіи, что до тюрьмы онъ былъ чуть не атеистъ, и только тюрьма съ своимъ одиночествомъ, побуждающая къ сосредоточенности, анализу и самоуглубленію, подъ вліяніемъ бывшаго на Ваганьковскомъ кладбищѣ знаменитаго разговора съ двоюродной сестрой, Н. А. Захарьиной, и ея писемъ,—сдѣлала его религіозно-вѣрующимъ ³⁾.

¹⁾ Рук. письмо отъ 31-го декабря 1834 года.

²⁾ Тамъ же.

³⁾ Это высказывалъ и самъ Герценъ въ своихъ „Запискахъ“, а за нимъ пришлось, на основаніи его словъ, повторить и всѣмъ другимъ, писавшимъ о немъ.

Но этотъ взглядъ теперь оказывается не совсѣмъ вѣренъ. Мы знаемъ, что хотя отецъ Герцена и не придавалъ большого значенія религіозной обрядности, которая во времена дѣтства обыкновенно служитъ первымъ толчкомъ къ религіи, зарождающейся безсознательно, но онъ требовалъ, чтобы сынъ исполнялъ обряды. И Герценъ, — какъ самъ говоритъ, — ежегодно ходилъ на исповѣдь и къ причастію. Но страхъ, съ которымъ подходилъ къ причастію, онъ отказывается назвать религіознымъ. Все-же, если у Герцена и не было въ то время той глубокой религіозности, которая обнаружилась сперва въ тюрьмѣ, потомъ въ ссылкѣ, то и до тюрьмы онъ далеко былъ отъ невѣрія, какъ въ силу господствовавшаго въ обществѣ настроенія во время царствованія имп. Александра I-го, когда даже и сами декабристы были глубоко религіозные люди, такъ и въ силу крайней религіозности своего друга Огарева, одна близость съ которымъ говорить уже за необходимость нѣкотораго совпаденія и съ этой стороны. Припомнимъ, что писалъ Огаревъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній конца 30-хъ годовъ.

„Я въ храмъ былъ, и много тамъ людей
Толпилися у Божьихъ алтарей:
Сталь въ углу, гдѣ нѣкогда со мною
Молился другъ, сочувствуя душой,
Мы горько плакали; тогда я былъ
Несчастливъ: я терялъ, что я любилъ;
Но нашихъ нѣтъ слѣдовъ на мѣстѣ томъ,
Гдѣ такъ тепло молились мы вдвоемъ“¹⁾.

Этотъ другъ, съ которымъ Огаревъ такъ тепло молился у алтаря и проливалъ слезы, былъ, конечно, никто иной, какъ Герценъ. За что же, какъ не за нѣкоторую долю вѣры, говорить и то колѣнопреклоненное положеніе А. И. передъ отцомъ въ минуту прощанья въ ночь съ 20-го на 21-е іюля 1834 г., когда отецъ, съ катящейся по щекамъ слезой, надѣвалъ на сына образокъ съ изображеніемъ усѣкновенной главы Іоанна Крестителя? Да и само ученіе Сень - Симона, которымъ Герценъ увлекался до тюрьмы, скорѣе направляло, чѣмъ отвращало отъ религіи. Тамъ говорилось, что „религія не только не потеряетъ своего мѣста въ обществахъ человѣческихъ, но еще увеличитъ свое значеніе...“²⁾.

1) „Рус. Старина“, 1888 г., ноябрь, стр. 490.

2) „Исторія социальныхъ системъ“, Щеглова, стр. 37.

Первое большое несчастье—арестъ Огарева и его собственный—будить въ немъ ту глубокую вѣру, задатки которой до этихъ поръ уже лежали въ его груди. На другой мѣсяцъ послѣ ареста Герценъ пишетъ записку двоюродной сестрѣ, гдѣ уже ясно выступаетъ его вѣра. „Я получила отъ него записку“,— пишетъ она А. Г. Кліентовой, ¹⁾ — „кажется, онъ спокоенъ, а *вѣра ея*, Сашенька, поддерживаетъ и мою вѣру, въ ней ясно изображается его геній—терпѣніе въ высочайшей степени“.

Эта вѣра, присущая ему и до тюрьмы, проснулась въ немъ помимо вліянія сестры,—сестра могла только способствовать ея укрѣпленію. Вѣра уже жила въ немъ. Онъ самъ говорилъ сестрѣ въ письмѣ отъ 10-го дек. 1834 г.: „Нѣтъ, въ груди горитъ вѣра сильная, живая. Есть Провидѣніе.. Я читаю съ восторгомъ Четьи-Миней—вотъ есть божественные примѣры, вотъ были люди!“

Такъ говоритъ Герценъ еще до того, когда завязалась частая переписка между нимъ и „Наташей“, такъ говоритъ еще помимо ея вліянія, а также и задолго до встрѣчи съ Витбергъ,—ясно, что и до вліянія этихъ обѣихъ личностей онъ не принадлежалъ къ невѣрующимъ, и до этого онъ былъ полонъ религіознаго чувства.

Слухи о томъ, что тюрьма должна смѣниться ссылкой, стали распространяться еще до начала февраля 1835 года. Поговаривали, что арестованныхъ друзей сошлютъ на Кавказъ. Извѣстіе это нисколько не испугало и не встревожило Герцена. И съ ссылкой онъ мирится такъ-же скоро, какъ примирился съ тюрьмой. Не самъ-ли онъ обрекъ себя на этотъ путь? Правда, онъ еще ничего не сдѣлалъ, чтобы заслужить такіа наказанія, которыя должны быть слѣдствіемъ извѣстныхъ дѣлъ и поступковъ; но развѣ онъ виноватъ, что они ему достаются раньше времени? Онъ, молча, съ твердостью принимаетъ наказаніе. Его страшить только одно: „дадутъ-ли поприще“, на которомъ-бы онъ могъ послужить родинѣ? Но въ крайнемъ случаѣ онъ и тутъ находитъ выходъ: онъ видитъ въ ссылкѣ „пользу отъ занятій“ ²⁾. И при мысли о ссылкѣ полонъ тѣми-же мечтами, тѣми-же желаніями, какъ и до тюрьмы. „Когда-же“,—говоритъ онъ,—„сбудется хоть одна мечта изъ тѣхъ, которыя раздражаютъ мнѣ душу,—неужели никогда?“ ³⁾

¹⁾ Письмо отъ 22 авг. 34 г. („Рус. Стар.“, мартъ 1892 г. „Н. А. Герценъ“).

²⁾ Рус. письмо отъ 8 февраля 1835 года.

³⁾ Тамъ же.

Но прежде чѣмъ отправиться въ ссылку, нужно было пройти черезъ испытаніе слѣдственной комиссіи, которая обвиняла Герцена въ сень-симонизмѣ. „Я не сень-симонистъ“, — пишетъ онъ двоюродной сестрѣ,¹⁾ — „но вполнѣ чувствую съ нимъ за одно“... Комиссія, кромѣ этой вины, другой за нимъ не раскрыла, но сдѣлала предположеніе о политическомъ заговорѣ, исполненію котораго будто-бы помѣшалъ произведенный арестъ. И на этомъ основаніи Герценъ и его друзья были собраны 31 марта 1835 г. для выслушанія приговора. Прочли „сначала смертную казнь, потомъ каторгу по законамъ и объявили, что государь милуетъ и приказываетъ только разослать по городамъ“²⁾. Герценъ назначался въ Пермь, Огаревъ въ Пензу, Сатинъ въ Симбирскъ. Спокойно и твердо былъ принятъ приговоръ. Желаніе пострадать ради родины осуществлялось. Потому Герценъ говоритъ двоюродной сестрѣ: „Что мнѣ Пермь или Москва, и Москва—Пермь... Наша жизнь рѣшена, жребій брошенъ, буря увлекла; куда? не знаю. Но знаю, что тамъ будетъ хорошо, тамъ отдыхъ и награда. Человѣчество! для него все³⁾, для него родятся люди, ему обязаны мы; но что мы можемъ? малое, — но и малое есть нѣчто... Да будемъ мы забыты и презрѣнны, ежели сторонимъ въ землю тѣ малые таланты, которые намъ далъ Богъ“.⁴⁾

Съ такой клятвой, произнесенной надъ самимъ собой, и уже съ желаніемъ пользы не только родинѣ, а всему человѣчеству, служеніемъ которому были заняты сень-симонисты, Герценъ собирается въ далекій путь. У него ни тѣни злобы на строгій приговоръ. Но это мирное настроеніе было нарушено въ тюрьмѣ однимъ печальнымъ эпизодомъ... „Все было хорошо. но вчерашній день, — да будетъ онъ проклятъ! — сломалъ меня до послѣдней жилы. Я тебѣ расскажу. Со мной содержится Оболенскій.⁵⁾ Когда намъ прочли сентенцію, я спросилъ дозволеніе у Цинскаго⁶⁾ намъ видѣться, — мнѣ позволили. Возвратившись, я отправился къ нему; между тѣмъ объ этомъ дозволеніи забыли сказать полковнику. На другой день м.....

¹⁾ Рукописное письмо отъ 21 февр. 1835 г.

²⁾ Рукописное письмо отъ 2 апр. 1835 г.

³⁾ Въ рукописи стоитъ, вмѣсто все, *всего*.

⁴⁾ Тамъ-же.

⁵⁾ Оболенскій содержался въ тюрьмѣ по одному дѣлу съ Герценомъ.

⁶⁾ Цинскій—московскій оберъ-полицеймейстеръ, предсѣдательствовавшій при первомъ допросѣ.

офицеръ Соколовъ донесъ полковнику объ этомъ, какъ о противозаконномъ поступкѣ, и я такимъ образомъ замѣшалъ трехъ лучшихъ офицеровъ, которые мнѣ дѣлали, Богъ знаетъ, сколько одолженій; всѣ они имѣли выговоръ и всѣ наказаны, и теперь должны, не смѣняясь, дежурить три недѣли (а тутъ Святая). Васильева ¹⁾ моего высѣкли розгами — и все черезъ меня! Я грызъ себѣ пальцы, я плакалъ, бѣсилъ, рвался, и первая мысль, пришедшая мнѣ въ голову, было мщеніе. Я опозорилъ этого Соколова, я рассказалъ про него вещи, которыя могутъ погубить его — и вспомнилъ, что онъ бѣдный человѣкъ и отецъ 7 дѣтей... Но должно ли падать фискала? Развѣ онъ падалъ другихъ? Чортъ съ нимъ! Мнѣ надобно, чтобы я былъ отмщенъ. Это происшествіе тѣмъ сильнѣе огорчило меня, что я еще весь былъ мягокъ и (весель) ²⁾ отъ вчерашняго свиданія; вдругъ весь чистый, поэтический восторгъ превратился въ какую-то злость, и я доселѣ готовъ, ей Богу, готовъ — зубами грызть всякаго...“ ³⁾.

И разстроенный, измученный всѣмъ происшедшимъ, онъ въ первый разъ негодуетъ на тюрьму и на тѣхъ, кто держитъ его взаперти послѣ прочтенія приговора. Мщеніе, охватившее его въ эту минуту, совсѣмъ далеко отъ смиренія и „непротивленія злу,“ которыя возникали у него подѣ вліяніемъ духовнаго чтенія и глохли тотчасъ подѣ напоромъ болѣе сильнаго чувства, свойственнаго молодости и энергіи.

Такая негодующая рѣчь вылилась 2-го апрѣля; въ ссылку же онъ уѣзжалъ 10-го, т. е. черезъ восемь дней. Въ этотъ восьмидневный промежутокъ онъ успѣлъ успокоиться и снова покориться той неизбежной судьбѣ, которую добровольно выбралъ самъ. Ни тюрьма, ни ссылка ни для него, ни для его друзей, какъ было видно, не были простой случайностью, напротивъ, онѣ являлись первою желанною ступенью служенія родинѣ, служенія, признаваемаго за ними и какъ-бы самимъ обществомъ, — потому они и входятъ въ тюрьму съ спокойствіемъ героевъ, и съ такимъ же величавымъ спокойствіемъ ѣдутъ въ ссылку.

¹⁾ Жандармъ при Крутицкой тюрьмѣ, котораго Герценъ очень любилъ.

²⁾ Вставлено слово.

³⁾ Рук. письмо отъ 2-го апрѣля 1835 года.

II.

„Здѣсь я узналъ, что такое униженіе, здѣсь я долженъ былъ поклониться чудовищному Калибану и гіена (sic) вмѣстѣ. У меня въ головѣ кружилось, и грудь стеснала, а выбора не было.“ (Рук. письмо отъ 14 декабря 1837 г.).

Тюрьма, принимая Герцена въ свои стѣны, уже самымъ фактомъ принятія признавала въ немъ взрослого человѣка, тогда какъ дома и по окончаніи университетскаго курса на него продолжали смотрѣть, какъ на мальчика. Кромѣ этого, бодрости духа также много способствовала и незаслуженность самаго наказанія. Потому неудивительно, что тюрьма не убила въ немъ ни одной надежды; напротивъ, изъ стѣнъ тюрьмы ему виднѣлась впереди „слава — наградой за жизнь, дружба — наградой за дружбу. А три года ссылки я не предчувствовалъ“ ¹⁾). Онъ не предчувствовалъ и того, что ему дастъ ссылка, когда 10 апрѣля 1835 года выѣзжалъ изъ Москвы въ Пермь, которую покинулъ 13-го мая по случаю внезапнаго перевода въ Вятку, куда прибылъ 20-го мая. Неопытный, знакомый съ жизнью только еще, такъ сказать, изъ окна отцовскаго дома, — можно себя представить, какую массу неожиданныхъ непріятностей онъ долженъ былъ встрѣтить въ далекой провинціи, да еще въ положеніи ссыльнаго! Непріятности, столкновенія, оскорбленія — все это неминуемо должно было встать на его дорогѣ чуть не съ первыхъ же дней. Потому трудно ждать, чтобы въ ссылкѣ его облекало то же спокойствіе, съ какимъ онъ выступаетъ въ тюрьмѣ. Не разъ во время своего почти трехлѣтняго пребыванія въ Вяткѣ ²⁾ онъ жаловался на ссылку, загнавшую его въ далекую провинцію, гдѣ онъ принужденъ входить въ общеніе съ тѣмъ, что ниже, грубѣе его, съ кѣмъ онъ не имѣетъ ничего общаго.

Ни разу во все время сидѣнья въ тюрьмѣ у него не вырвалось того скорбнаго вздоха и крика, какіе очень часто прорываются въ Вяткѣ. „О, Господи, когда Ты изведешь меня изъ этого города?“ вскрикиваетъ онъ 21-го февраля 1837 г.

¹⁾ Рук. письмо отъ 23 ноября 1837 г.

²⁾ Герценъ пробылъ въ Вяткѣ съ 20 мая 1835 г. по 29 декабря 1837, — следовательно ровно два года и семь мѣсяцевъ.

А через три дня слышимъ опять: „Но снова посылаю молитву къ престолу Божію, чтобы Онъ окончилъ мои страданія. Весна, весна! Все оживаетъ, все живетъ вдвое, птицы возвращаются. Природа расковывается. Можетъ, и я вмѣстѣ съ природой раскуюсь“. Но его ожиданія и надежды съ каждымъ днемъ блекли сильнѣй: сколько ни хлопотали родные, сколько ни хлопоталъ онъ самъ о прекращеніи ссылки,—все было напрасно: онъ попрежнему, какъ Прометей, оставался прикованнымъ къ ненавистному городу. „Въ сотый разъ повторяю, что за гадкая жизнь въ маленькомъ городѣ, вдали отъ столицъ, гдѣ всѣ трепещутъ одного, гдѣ этотъ одинъ распоряжается, какъ турецкій паша“. ¹⁾ „Нигдѣ нельзя видѣть ниже человѣка, какъ въ какомъ-нибудь захоластѣ à la Wiatka.—Надобно признаться, урокъ очень полезный — прослужить два-три года въ дальней губерніи. Тамъ, въ столицѣ, хоть наружность приличнѣе, а здѣсь все открыто; тамъ метутъ грязь, а здѣсь она по колѣна“.

Такъ восклицаетъ Герценъ 8-го марта 1837 года, уже измученный, истощенный двухгодичнымъ пребываніемъ на далекой окраинѣ. Потому возможно подумать, что этотъ крикъ, а также и порицаніе въ сторону Вятки являются уже какъ бы слѣдствіемъ утомленія однообразіемъ провинціальной жизни. Можно подумать, что такой кипучей, энергичной натурѣ, какова была натура Герцена, просто наскучило, надоѣло провинціальное „одно и то же“—и отсюда его негодованіе. Но, оказывается, и въ болѣе раннихъ письмахъ онъ отзывался о провинціи не лучше. „О, какъ скверно жить въ провинціи!“ — писалъ онъ ²⁾ 4-го ноября 1836 г.,—„какъ здѣсь все сведено на однѣ матеріальныя нужды, на одни матеріальныя удовольствія! Здѣсь нѣтъ умственной дѣятельности, здѣсь нельзя прислушаться, какъ сильная мысль пролетитъ рады и волнуется души, и отзывается“. А мѣсяцами двумя раньше крикъ былъ еще сильнѣй: „Всякій, кто станетъ выше толпы, тотъ врагъ ея, того толпа побьетъ камнями... Я избитъ судьбою, я избитъ людьми, вся душа въ рубцахъ, все сердце въ крови“ ³⁾...

Что же оставалось дѣлать? гдѣ найти отдыхъ отъ всѣхъ неприятностей? чѣмъ заглушить тоску отъ провинціального за-

¹⁾ Рук. письмо отъ 7-го марта 1837 года.

²⁾ Рук. письмо.

³⁾ 21 сентября 1836 года.

стоя, провинціального сплина? Герценъ съ своей огненно-дѣятельной натурой не находитъ въ Вяткѣ въ первое время много исхода, какъ кутежи, со всей необузданностью предаются разнымъ оргіямъ, вакханаліямъ, женщинамъ и даже картамъ. Онъ хочетъ утопить въ нихъ нестерпимую пустоту и скуку жизни, но по привычкѣ и здѣсь ищетъ чего-нибудь разумнаго, человѣческаго. На одной изъ такихъ вакханалій онъ проникается жалостью къ одной падшей женщинѣ, хочетъ спасти ее. И вотъ, когда уже все было готово къ спасенію, когда онъ былъ увѣренъ въ счастливомъ исходѣ, когда радовался ему, какъ совершившемуся факту, вдругъ узнаетъ, что женщина, которую онъ считалъ спасенной, жестокимъ образомъ обманула его...

Въ то время, когда Герценъ такъ томился скукою и застоємъ провинціальной жизни, на горизонтѣ свѣтскаго вятскаго общества появилась новая пріѣзжая звѣзда, молодая, красивая Прасковья Петровна Медвѣдева, съ тремя дѣтьми и съ старикомъ мужемъ. Герценъ невольно поворачивается въ ея сторону. У него съ этой женщиной, не глупой отъ природы, до известной степени развитой и крайне несчастной въ жизни, начался тотъ романъ, о которомъ онъ упоминаетъ во 2-мъ томѣ своихъ „Записокъ“ и который окончательно выясняется въ его обширной „Перепискѣ“ съ невѣстой. Мы его здѣсь касаться не будемъ, а поговоримъ о немъ въ отдѣльной статьѣ.

Но встрѣча съ Медвѣдовой не могла наполнить всей жизни Герцена; какъ до нея, такъ и послѣ этой встрѣчи онъ старается придумывать развлечения: то отправляется на бумажную фабрику, гдѣ все производство совершается съ помощью машинъ, подробно знакомится съ самымъ производствомъ, въ которое его любезно посвящаетъ нѣмецъ, завѣдующій фабрикой; то ѣдетъ (въ маѣ 1836 г.) за 50 верстъ отъ Вятки взглянуть на народный праздникъ на Великой рѣкѣ, куда ежегодно изъ Вятки возятъ икону Николая Хлыновскаго, нѣкогда, какъ говорятъ, явившуюся на Великой рѣкѣ и перевезенную въ Вятку со времени ея основанія ¹⁾; то пируетъ у губернатора на балу, съ котораго возвращается не раньше 4 часовъ утра; то пируетъ у него на свадьбѣ сына; или же ѣдетъ къ вятскому архіерею, чтобы поговорить о религіи и католицизмѣ... Поло-

¹⁾ Это путешествіе или, вѣрнѣе, самый праздникъ Герценъ прекрасно описываетъ въ I т. своихъ „Записокъ“:

женіе ссыльнаго, какъ видно, нисколько не мѣшало Герцену являться въ обществѣ и водить знакомство съ такими первыми лицами города, какъ губернаторъ или архіерей. Герцена приглашаютъ всюду: его рѣдкій умъ, блестящее образованіе всюду открываютъ доступъ. Онъ бываетъ среди почетныхъ лицъ почти на всѣхъ экзаменахъ города.

Но всѣ эти развлечения не даютъ желаннаго отдыха. И Герценъ ищетъ его въ несродномъ для своего характера уединеніи, въ одинокихъ загородныхъ прогулкахъ, въ деревенскихъ забавахъ, въ родѣ катанья на лодкѣ по рѣкѣ въ лунную ночь, когда природа даже такой отдаленной, восточной провинціи въ силахъ дать красивое зрѣлище.

„Вчера вечеромъ поѣхалъ я кататься на лодкѣ¹⁾. Мѣсяцъ свѣтилъ блѣдно; разливъ черезъ поля, лѣса соединяетъ рѣку съ озеромъ, отстоящимъ на пять съ половиною верстъ, — я поѣхалъ туда. Рѣка была спокойна, небо спокойно, луна бѣжала за нами по водѣ, и каждая волна, взброшенная весломъ, подымалась, чтобъ сверкнуть, какъ молнія, и исчезнуть. А по другую сторону мракъ. Хороша природа, вездѣ хороша, и тутъ мнѣ былъ просторъ и досугъ мечтать о тебѣ..... Съ одной стороны рѣка, горы, даль, съ другой маленькая лачуга, гдѣ царитъ бѣдность, и большой каменный острогъ, который печально смотритъ въ рѣку и звенитъ цѣпами, и дышетъ вздохами“..

Если не лодка, то конь уносилъ далеко изъ города съ его скучной канцеляріей и еще болѣе скучными чиновниками. Герценъ былъ большой охотникъ до верховой ѣзды, и вотъ раннимъ утромъ, когда весь городъ еще спитъ непробуднымъ сномъ, садится верхомъ на коня и ѣдетъ на просторъ полей и лѣсовъ. И какъ хороша, какъ красива и обаятельна кажется ему природа вятскаго края съ ея гористой и холмистой мѣстностью въ эти уединенныя прогулки! Не прочь онъ поразвлечься и охотой. Съ этой стороны природа Вятки съ своими темными, дремучими лѣсами и обиліемъ воды давала много простора и преимуществъ даже передъ окрестностями столицы. Но разъ, вслѣдствіе одной случайности, Герценъ за это удовольствіе чуть было не поплатился жизнью. „Когда Зонненбергъ²⁾ былъ

¹⁾ Рук. письмо отъ 5-го мая 1837 г.

²⁾ Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ—бывшій гувернеръ Н. П. Огарева—ѣздилъ въ Ирбитъ на ярмарку и по порученію И. А. Яковлева, вѣзжалъ къ Герцену.

въ Вяткѣ“, — писалъ онъ, уже будучи во Владимірѣ ¹⁾, — „отправился я съ нимъ и съ Синягинымъ (?) на охоту. Шли топью, безпрестанно поскользаясь. Синягинъ передо мною, ружье на плечѣ, — вдругъ онъ оступился. Я почувствовалъ что-то горячее возлѣ щеки, потомъ чрезвычайно громкій выстрѣлъ, — не могъ догадаться. Смотрю, Синягинъ блѣдный, какъ полотно, спрашиваетъ меня: — „ничего“? — Я спросилъ его: „Да въ чемъ дѣло“? — „Вотъ въ чемъ. Падая, ружье зацѣпило за сучекъ и, обращенное дуломъ ко мнѣ, выстрѣлило; зарядъ пролетѣлъ въ какихъ-нибудь пяти-шести вершкахъ отъ меня. — Понимаешь-ли ты, что въ такихъ опасностяхъ есть своего рода высокое наслаждение? Оттого-то я трусовъ больше ненавижу, нежели преступниковъ“.

При той любви къ природѣ, какую развилъ въ себѣ Герценъ еще въ дѣтствѣ во время лѣтней жизни въ отцовскихъ подмосковныхъ, какъ только наступала весна, онъ могъ и въ Вяткѣ безконечно разнообразить свои удовольствія. Но общеніе съ природой, одинокія прогулки все-таки мало давали отдыха его чувствительной, дѣятельной и экспансивной натурѣ, которая съ дѣтскихъ лѣтъ просила отвзвукъ, сочувствія и дружескаго рукопожатія. Ему нуженъ былъ живой обмѣнъ чувствъ и мыслей; въ груди стояла неотступная потребность въ общеніи съ людьми, одинаково чувствующими и думающими. Но гдѣ было въ провинціи найти такихъ людей, которые могли бы стать въ уровень съ нимъ, — съ нимъ, который и среди столичной университетской молодежи занималъ не иначе, какъ первое мѣсто по уму, развитію, таланту и образованію? Такая захолустная провинція, какъ Вятка, развѣ могла дать что-нибудь по плечу? Равнаго себѣ онъ могъ найти развѣ только среди такихъ же невольныхъ обитателей города, какимъ былъ самъ. А такихъ обитателей въ Вяткѣ было не мало ²⁾. Между ними такой человѣкъ дѣйствительно нашелся, но только много позднѣе, а пока пришлось не пренебрегать и тѣмъ, что пред-

¹⁾ Рук. письмо отъ 27 января 1838 г.

²⁾ Между прочимъ называютъ г-жу Перваго (незаконную дочь Стрѣшневъ-Глѣбова). Она была сослана въ Вятку за неосторожныя рѣчи. Узнавши о пріѣздѣ въ городъ Герцена, какъ рассказываетъ въ своихъ запискахъ Н. А. Огарева, — она обратилась къ нему письменно съ предложеніемъ заказать панихиду по Рылѣеву. Что могъ отвѣтить на такое предложеніе, исходящее отъ какой-то неизвестной дамы, ссыльный, только-что пріѣхавшій въ городъ? Разумѣется, онъ его отклонилъ. Г-жа Перваго разсердилась и не могла никогда простить Герцену этого отказа. „Рус. Стар.“, 1890, октябрь).

ставляла провинція, хоть и недалекаго по развитію, но добраго и незапятнаннаго въ нравственномъ отношеніи. И вотъ изъ такихъ немудреныхъ, но чистыхъ, простыхъ душъ, которыми изобилуетъ всякое отдаленное захолустье, и образовался рядъ близкихъ людей вокругъ Герцена. Онъ для нихъ съ первыхъ же дней обратился въ путеводную звѣзду, въ оракула. То были учителя гимназій, семинарій, молодые чиновники, случайно заброшенные въ канцелярію губернатора, медицинскій персоналъ и т. д. Среди нихъ могъ искать себѣ Герценъ, если не собесѣдниковъ, то слушателей, учениковъ, готовыхъ подчиниться его волѣ. Любовь же къ проповѣди не покидала его и въ ссылки, и тамъ онъ оставался при своей страсти—горячо и убѣжденно говорить за то, что считалъ истиной.

Между вятскими друзьями, которые отогревали Герцена въ тяжелыя минуты и для которыхъ встрѣча съ нимъ должна была оставить глубокой слѣдъ на всю послѣдующую жизнь, занимаетъ первое мѣсто учитель вятской гимназій—Скворцовъ и его невѣста—нѣмочка, Полина Тромпетеръ, подруга жены вятскаго аптекаря Рулковиуса, изъ дружбы къ которой она покинула родину и пріѣхала въ Вятку.

Скворцовъ былъ человѣкъ молодой, отъ природы мягкой и чувствительный. Онъ сердцемъ понялъ Герцена и весь подчинился вліянію его огненной натуры. Герценъ открылъ въ немъ душевныя богатства, помогъ сознать ихъ и оцѣнить самого себя. Онъ считалъ Скворцова „лучшимъ изъ всѣхъ учителей Вятки,“ „прекраснымъ, благороднымъ, образованнымъ человѣкомъ“; съ нимъ былъ ближе другихъ, говорилъ на „ты,“ приходилъ къ нему въ самыя тяжелыя минуты своей вятской жизни, да даже и изъ Владиміра обращался къ нему же съ просьбой о деньгахъ, когда затѣялъ увезти Наталью Александровну тайно во Владиміръ и тамъ обвѣнчаться. Скворцовъ былъ его любимый вятскій ученикъ, по отношенію къ которому у Герцена проглядывало иногда чувство, похожее на женскую нѣжность. „Въ Вятку привезли разъ множество картинъ отъ Даціаро; перебирая ихъ, я встрѣтилъ Тверской бульваръ“ — говоритъ Герценъ — „и тотъ домъ—нашъ домъ¹⁾. Я на фронтонѣ написалъ твое имя и мое и подарилъ Скворцову²⁾“.

¹⁾ Т. е. тотъ домъ Яковлевыхъ, гдѣ родились оба—братъ и сестра.

²⁾ Рук. письмо изъ Владиміра отъ 8 апрѣля 1838 г.

При участіи Герцена и подъ его вліяніемъ произошло и сближеніе Скворцова съ Полиной, которое завершилось счастливымъ бракомъ... „Здѣсь же,“—писалъ Герценъ передъ отъѣздомъ изъ Вятки, — „я встрѣтилъ юношу, не знавшаго ни силы своей, ни цѣны, и—ему огненное крещеніе, и тогда я подвелъ юношу къ этой дѣвушкѣ.“

Полина же, во все время жизни въ Вяткѣ, была его ангеломъ-хранителемъ. Ей первой онъ сказалъ о своей любви къ Натальѣ; въ разговорахъ съ ней отводилъ душу; въ грустные минуты приходилъ слушать ея пѣніе, когда она бывало садеться за фортепьяно и запоетъ ему „Das Mädchen aus der Fremde“ Шиллера. Полина, въ свою очередь, была безконечно счастлива своей близостью съ Герценомъ: вѣдь, въ Вяткѣ онъ былъ чуть не единственный русскій, съ которымъ она могла говорить на своемъ родномъ языкѣ. У нея была дѣтски-чистая дружба къ А. И., безъ всякой примѣси какого-нибудь иного чувства. По рассказамъ Герцена объ его невѣстѣ, она прониклась къ Натальѣ Александровнѣ заочно глубокою симпатіей, и онѣ обѣ, не зная другъ друга, обмѣнивались сувенирами въ родѣ колець изъ собственныхъ волосъ и т. п... „Я любилъ (Полину), какъ дитя“,—говоритъ Герценъ въ „Запискахъ“, ¹⁾ „съ которой мнѣ было легко, потому что ни ей не приходило въ голову кокетничать со мной, ни мнѣ съ ней“. Она была небольшого роста, смуглая брюнетка, крѣпкая здоровьемъ, съ большими черными глазами и съ самобытнымъ видомъ, была коренастая народная красота; въ ея движеніяхъ и словахъ была большая энергія, и когда бывало аптекарь,—существо скучное и скупое,—дѣлалъ не очень вѣжливыя замѣчанія своей женѣ, и та ихъ слушала съ улыбкой на губахъ и слезой на рѣсницѣ, — Полина краснѣла въ лицѣ и такъ взглядывала на расходившагося фармацевта, что тотъ мгновенно усмирался, дѣлалъ видъ, что очень занятъ, и уходилъ въ лабораторію мѣшать и толочь всякую дрянъ для возстановленія здоровья вятскихъ чиновниковъ.“ ²⁾

Полина-же и Скворцовъ исполняли роль сестры милосердія, возлѣ Герцена оба раза во время его страшныхъ ушибовъ головы въ Вяткѣ. Одинъ разъ—это было дѣломъ—Герценъ неосторожно

¹⁾ Часть II, стр. 43.

²⁾ „Записки“, часть I, стр. 48.

подошелъ къ круглымъ качелямъ, не замѣтивъ, что бесѣдочка въ это время возвращалась назадъ. Не прошло секунды, какъ ударъ бесѣдки снизошелъ на него съ ногъ. Нѣсколько дней послѣ этого у него болѣла голова и затылокъ, которые онъ ушибъ при паденіи. Другой разъ ушибъ головы былъ еще страшнѣе. Это было на Рождествѣ, чуть не наканунѣ отъѣзда изъ Вятки во Владиміръ. „25-го декабря былъ я въ аптеку. Съ моей обычной живостью бросился къ Полинь въ горницу — тутъ пауза — я лежу на диванѣ безъ галстука, Полина вся въ слезахъ держитъ спиртъ, Скворцовъ блѣдный стоитъ возлѣ меня. Я ничего не понималъ, мутно смотрѣлъ на всѣхъ, жалъ руку Полинь и Скворцову, спрашивалъ, въ чемъ дѣло. Вотъ въ чемъ: со всего разбѣгу я ударился головою въ дверь и мертвымъ брякнулся на землю. Скворцовъ схватилъ руку — пульсъ не бьется, дыханіе остановилось, лицо посинѣло. Полина положила голову мою на колѣни, — прошло нѣсколько минутъ, — перемѣны нѣтъ. Аптекаревъ помощникъ принесъ спиртъ — не дѣйствуетъ; „да онъ не живъ“, — сказалъ онъ, а Полина, (о, прелестное существо!) только и могла проговорить: „Natalie, Natalie! зачѣмъ не ты на моемъ мѣстѣ?“ Послали за докторомъ, чтобы пустить кровь. Я все лежалъ мертвый, — это продолжалось около часа. Потомъ пришелъ въ себя. Но' долго не могъ опомниться, — даже когда привезли домой, я все еще былъ, какъ пьяный. Скворцовъ не отходилъ отъ меня. Боялись послѣдствій, и все прошло очень скоро. Боялись отпустить меня въ дорогу, — но я перенесъ ее“ ¹⁾).

Послѣ больше, чѣмъ двухлѣтней близости Полины и Скворцова съ Герценомъ, между ними образовалась та близкая связь, которая сдѣлала разставанье друзей, при отъѣздѣ Герцена въ Владиміръ, очень тяжелымъ. . „Скворцовъ на-дняхъ сказалъ мнѣ со слезами на глазахъ: „Герценъ, будь веселъ въ день твоего отъѣзда, а то, ежели и ты будешь грустенъ, я не знаю, чтѣ со мною будетъ“ ²⁾. Навѣрно, отъѣздъ Герцена не мало слезъ стоилъ и Полинь, не смотря на ея положеніе невѣсты. Переводъ во Владиміръ помѣшалъ Герцену быть на свадьбѣ своихъ молодыхъ друзей, а ему такъ хотѣлось быть шаферомъ невѣсты! Но отсутствіе его не помѣшало друзьямъ

¹⁾ Рук. письмо 9 янв. 1838 г. изъ Владиміра.

²⁾ Рук. письмо 21 генв. 1838 г. изъ Владиміра.

вспомнить о немъ: послѣ тоста за молодыхъ первый тостъ на свадьбѣ былъ за Герцена. Да и трудно подуматъ, чтобы эта молодая парочка скоро забыла того, кто ихъ сблизилъ и вывелъ на новую дорогу. Такія встрѣчи не легко забываются: онѣ кладутъ слѣды на весь послѣдующій складъ жизни и образъ мыслей. Чтò собственно случилось съ Скворцовыми, чтò вышло изъ ихъ новой семьи—мы не знаемъ,—а интересно-бы знать.

Кромѣ Скворцовыхъ, у Герцена въ Вяткѣ былъ еще близкій пріятель-чиновникъ, служившій въ канцеляріи губернатора, уроженецъ Сибири, Гавріилъ Каспаровичъ Эрнъ, который жилъ съ матерью, доброй старушкой, Прасковьей Андреевной, и съ маленькой сестрой Машей. Вся семья Эрна была къ Герцену чрезвычайно ласкова; онъ принятъ былъ въ домѣ, какъ родной. Если онъ расхварывался, Прасковья Андреевна ходила за нимъ, какъ за роднымъ сыномъ. Герценъ не зналъ, чѣмъ отплатить этимъ людямъ за ихъ ласку и вниманіе. Наконецъ, придумалъ деликатный способъ: онъ предложилъ заниматься съ маленькой Машей французскимъ языкомъ, а потомъ сталъ настаивать, чтобы дѣвочку везли въ Москву и отдали въ какой-нибудь пансіонъ, такъ какъ въ Вяткѣ тогда, кажется, не существовало никакого женскаго учебнаго заведенія. Видимо, онъ и въ этой семьѣ сумѣлъ поселить къ себѣ уваженіе и довѣріе къ своимъ словамъ, не смотря на всю молодость лѣтъ. Эрны послушали его совѣта, и Прасковья Андреевна поѣхала съ дочерью въ Москву. Герценъ ихъ направилъ прямо въ домъ своего отца, который въ благодарность за ласку и вниманіе, оказанныя сыну, привѣтливо встрѣтилъ пріѣзжихъ; дѣвочку устроилъ въ пансіонъ и каждый праздникъ бралъ къ себѣ въ домъ. Съ этихъ поръ „Машенька Эрнъ“ становится какъ-бы роднымъ человѣкомъ въ семьѣ Яковлевыхъ. Хорошая Луиза Ивановна ¹⁾ ласково относится къ дѣвочкѣ, смотритъ на нее, какъ на свою родную дочь. А когда „Машенька“ вырастаетъ въ Марью Каспаровну, она уже совсѣмъ поселяется въ домѣ Яковлевыхъ, куда часто пріѣзжаетъ гостить подолгу и ея мать, Прасковья Андреевна. Когда-же, послѣ смерти старика Яковлева, Герценъ со всей своей семьей и съ матерью ѣдетъ за границу, то онъ беретъ съ собой и Марью Каспа-

¹⁾ Луиза Ивановна Гаагъ—мать А. И. Герцена.

ровну. За границей она выходит замуж за известнаго профессора музыки Рейхеля, который потомъ становится директоромъ Бернской консерваторіи...

Да не только въ Вяткѣ, а даже въ Перми, гдѣ Герцену пришлось прожить много меньше мѣсяца, онъ и тамъ нашелъ людей, способныхъ оцѣнить его. Личность доктора Чеботарева, съ своимъ сарказмомъ и неизмѣнной поговоркой: „вѣдь вамъ это ни копѣйки не стоитъ“, и ссыльный полякъ Цыгановичъ навсегда останутся въ памяти тѣхъ, кому хоть разъ удалось прочесть „Записки“ Герцена.

То же можно сказать и объ его первыхъ, холостыхъ, мѣсяцахъ жизни во Владимірѣ. Онъ прожилъ здѣсь до свадьбы меньше полугода, но уже имѣлъ не только просто знакомыхъ, а поклонниковъ, учениковъ среди молодежи. 4-го апрѣля (1838 г.) онъ писалъ изъ Владиміра невѣстѣ: „Ко мнѣ ходитъ иногда съ почтеніемъ молодой гимназистъ, лѣтъ 15—16; есть способности, таланты, но дурное направленіе, неполное, узкое и бѣдное. Сегодня утромъ онъ началъ спрашивать смиренно и уничиженно моихъ совѣтовъ насчетъ занятій. Я былъ въ духѣ и вдругъ съ огненнымъ жаромъ, поэзіей представилъ ему все высокое призваніе человѣка науки... Потомъ я пошелъ одѣваться въ другую комнату; возвратившись, застаю юношу на томъ же мѣстѣ—щеки горятъ. „Боже мой“, сказалъ онъ: „вы въ нѣсколько минутъ дали другое направленіе моей жизни; бѣдно прошедшее. О, я вамъ буду благодаренъ! Вы счастливы, потому что ваша жизнь какъ-то необыкновенна, и вашъ взоръ высокъ, силенъ. Завидую вамъ. Что мнѣ дѣлать?“... Вотъ мой совѣтъ: во 1-хъ, берегите, какъ высочайшую святость, нравственность и чистоту,—это главное; жертвуйте наукой философіи, а философіей—религіи, читайте природу больше книгъ“.

Это письмо лучше и ярче, чѣмъ что-либо, указываетъ на то значеніе, какое должно было имѣть для отдаленныхъ губерній долгое пребываніе такого энергичнаго и развитого человѣка, какимъ былъ Герценъ. Оно не могло пройти даромъ и остаться безъ вліянія на тѣ юныя души, у которыхъ было заложено предчувствіе или неопредѣленное стремленіе къ чему-нибудь лучшему. Одна жизнь такого мощнаго и энергичнаго человѣка должна была будить провинцію отъ летаргическаго сна, не говоря уже о проповѣди, къ которой былъ склоненъ Герценъ по натурѣ и къ которой охотно и съ удвоенной силой прибѣгалъ,

разъ замѣчалъ на нее запросъ въ молодомъ поколѣніи. Навѣрно, не одинъ гимназистъ города Владиміра, не одинъ семинаристъ города Вятки, экзамены которыхъ Герценъ такъ охотно посѣщалъ за неимѣніемъ другихъ развлеченій, — выслушивалъ изъ его устъ напутствіе идти по дорогѣ развитія, познанія и самоусовершенствованія. Навѣрно, не одна „Машенька Эрнъ“ была выведена изъ летаргіи провинціальной жизни и выброшена въ столичный водоворотъ, а оттуда и на просторъ европейской культуры. Сильно возмущилъ и всколыхнулъ Герцена своимъ появленіемъ въ названныхъ городахъ застой провинціального болота и нарушилъ всеобщую спячку. Другой вопросъ, — что дала провинція самому ссыльному, какимъ опытомъ жизни наградила его за пятилѣтнее изгнаніе? Объ этомъ довольно много и подробно говоритъ Герценъ въ 1-ой части своихъ „Записокъ“. Интересующіеся могутъ обратиться къ этому прекрасному источнику.

Уже въ силу своей общительности А. И. долженъ былъ имѣть въ Вяткѣ много знакомыхъ, которые, если и не были близки его душѣ, то все же забыть о немъ и послѣ его отъѣзда изъ Вятки долго не могли. Въ такимъ знакомымъ принадлежали богатые купеческіе братья Машковцевы, Бѣлаевъ, о которомъ мы ничего не знаемъ; они не переставали писать ему и во Владимірѣ, а одинъ изъ Машковцевыхъ (Владиміръ) даже не разъ былъ у него въ гостяхъ.

Но среди обитателей Вятки, какъ уже было упомянуто раньше, Герцену пришлось встрѣтиться съ человѣкомъ въ извѣстномъ смыслѣ своего роста, на которомъ была „печать гонія“, „рубцы страданій“. То былъ архитекторъ Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ, сосланный такъ же, какъ и Герценъ, въ Вятку.

Герценъ страшно обрадовался этой встрѣчѣ, и такъ какъ Витбергъ въ ноябрѣ 1825 г. пріѣхалъ одинъ, безъ семьи, то Герценъ пригласилъ его поселиться у себя, — а уже потомъ пріѣхала и семья. Витбергъ въ это время былъ женатъ на второй женѣ, Авдотѣ Викторовнѣ, — урожденной Пузыревской¹⁾, хотя у него была уже и взрослая дочь — Вѣра Александровна. Дочь нравилась Герцену больше жены.

Съ Витбергомъ Герценъ велъ философскія и религиозно-мистическія бесѣды, его уважалъ, какъ талантъ и какъ чело-

¹⁾ Воспоминанія Т. П. Пассекъ, стр. 142.

вѣка необыкновенно твердаго и сильнаго въ несчастіяхъ, и старался чѣмъ-нибудь скрасить его жизнь въ изгнаніи.

Разъ онъ придумалъ сюрпризомъ для Витберга, ко дню его рожденія, — къ 15 янв. 1837 г. — устроить живыя картины. Эта затѣя доставила, разумѣется, не мало удовольствія и развлеченія и самому Герцену. „За нѣсколько дней, тайно отъ него“, — говоритъ Герценъ — „готовили всѣ мы живыя картины. Я былъ антрепренеръ, директоръ и проч. Наконецъ въ самый день рожденія сцена поставлена, и онъ (т. е. Витбергъ) не зналъ, что будетъ. Картины сочинилъ я, и ты узнаешь въ нихъ мою вѣчную мысль о Наташѣ. *Первая* — представляла Данте, утомленнаго жизнью, измученнаго, изнуреннаго. Онъ лежитъ на камнѣ, и тѣнь Виргилія ободряетъ его и указываетъ туда, къ свѣту. Виргилій посланъ спасти его Беатричей. Данте былъ я, и длинныя волосы, и борода, и костюмъ среднихъ временъ придалъ особую выразительность моему лицу. *Вторая* — Беатриче на тронѣ, Люція — свѣтъ поэзіи и Матильда — благодать небесная — открываются вдали. Данте, увидѣвъ ее, бросается на колѣни, не смѣетъ смотрѣть, но она съ улыбкой надѣваетъ вѣнокъ изъ лавровъ. У меня слезы были на глазахъ, когда я стоялъ у подножія трона: я думалъ о тебѣ, ангелъ мой. *Третья* — ангелъ (роль ангела была дана Полинь) держитъ развернутую книгу; въ ней написанъ текстъ: „Да мимо идетъ меня чаша сія... но яко ты хочешь“. Беатриче показываетъ грустному Данту этотъ текстъ, Люція и Матильда на колѣняхъ молятся“.

Успѣхъ былъ болѣе, нежели ожидали. Александръ Лаврентьевичъ по окончаніи возшелъ на сцену и со слезами долго, долго жалъ въ своихъ объятіяхъ. „Какъ поднялась занавѣсъ“, — говоритъ онъ, — „я увидѣлъ вашу мысль, и кто, кромѣ васъ, взялъ-бы Данте и религіозный предметъ?“ Я самъ былъ тронутъ и жалъ руки этого дивнаго человѣка. Требовали повторенія.. Повторилъ. Потомъ Александръ Лаврентьевичъ посадилъ меня на тронъ Беатриче и поднялъ на меня лавровый вѣнокъ. Я изъ рукъ великаго артиста получилъ его... Да, этотъ день провелъ я прекрасно. Беатриче была M-me Witberg“¹⁾.

На досугъ и среди скуки вятской жизни Герценъ не только участвовалъ въ живыхъ картинахъ, но разъ даже играть на театрѣ, что заняло у него цѣлыхъ три недѣли. На театрѣ онъ

¹⁾ Рукоп. письмо отъ 16 янв. 1837.

игралъ такъ успѣшно, вызвалъ столько оваций, что въ шутку подумывалъ избрать сцену своимъ профессиональнымъ поприщемъ, ради заработка, если, въ случаѣ его самовольной женитьбы, отецъ откажетъ давать средства къ существованію. Къ тому же онъ вообще любилъ театръ и увлекался имъ. Попавши изъ Вятки во Владиміръ, гдѣ у него не было уже такихъ близкихъ друзей, онъ не пренебрегаетъ и дрянной заѣзжей труппой: ходитъ на представленіе каждый день.

Отношенія къ Витбергу у Герцена были, разумѣется, не тѣ, что къ Скворцову и къ Полинѣ. Здѣсь не было ни интимной откровенности, ни той близости. „Витбергъ“, — писалъ онъ къ невѣстѣ изъ Владиміра ¹⁾, — „не смотря на всю нашу симпатію, мы никогда не были очень близки. Лѣта, понятія уже клали между нами препятствія. Уваженіе, безъ границъ ему, но уваженіе меньше дружбы на моемъ языкѣ“. При этомъ, надо замѣтить, ихъ сильно дѣлила жена. Герценъ ея не уважалъ; онъ считалъ, что она гирей виситъ на шеѣ Витберга.

И покинувши Вятку, Герценъ не переставалъ переписываться и высоко чтить „страдальца“, какъ онъ называлъ архитектора. Онъ всегда и вездѣ открыто выдавалъ себя за сторонника ссыльнаго Витберга. Такъ, разъ у владимірскаго губернатора, Ивана Эммануиловича Куруты, давался обѣдъ. Герценъ, по обыкновенію, былъ приглашенъ. За обѣдомъ рѣчь зашла о Витбергѣ, и его начали бранить. „Я всталъ и разгромилъ ихъ, но съ такой силой, что никто не дерзнулъ прямо возражать“ ²⁾.

Должно быть, подъ вліяніемъ Витберга Герценъ заинтересовался архитектурой и, подобно тому, какъ въ Крутицкихъ казармахъ изучилъ въ два мѣсяца итальянскій языкъ, такъ здѣсь въ тотъ-же срокъ знакомится основательно съ архитектурой.

Страсть къ расширенію знаній, казалось, въ Вяткѣ еще болѣе усилилась. Рядомъ съ изученіемъ архитектуры онъ задался желаніемъ такъ изучить нѣмецкій языкъ, — который зналъ еще съ дѣтства и на которомъ свободно говорилъ, — какъ зналъ свой родной, и съ этой цѣлью начинаетъ брать уроки у доктора богословія Беннера, который такъ-же, какъ и Герценъ, былъ невольнымъ обитателемъ Вятки. А какая масса книгъ была прочтена имъ здѣсь! Читалъ преимущественно иностранные: русская литература и русскіе ученые давали черезчуръ

¹⁾ Рук. письмо 13 янв. 1838 г.

²⁾ Рук. письмо отъ 4-го апрѣля 1838 года.

мало, и потому неудивительно, что Герценъ находилъ, что „русскія книги всего менѣе годятся для чтенія“¹⁾. Въ Вяткѣ же онъ усиленно предается литературнымъ занятіямъ²⁾.

Но и теперь все еще продолжаетъ быть смутно для Герцена, какимъ путемъ онъ принесетъ пользу родинѣ и что нужно для этого съ его стороны. Еще въ октябрѣ (10-го) 1836 г. онъ писалъ Наташѣ: „Ежели я когда-нибудь буду настолько силенъ, я превращу казематъ, гдѣ сидѣлъ въ Крутицахъ, въ часовню...“ Но почему, какимъ образомъ онъ вдругъ сдѣлается силенъ, для него это такъ-же не ясно, какъ и для насъ. Онъ то мечтаетъ о какой-то необычайной силѣ и могуществѣ, котораго когда-то и чѣмъ-то достигнуть, то думаетъ о поѣздѣ въ Италію, на Кавказъ и, наконецъ, въ Индію и Египетъ. Определеннаго и яснаго еще пока ему не видится ничего, такъ-же, какъ было во время сидѣнья въ Крутицахъ.

О переводѣ на Кавказъ онъ разсчитывалъ еще съ 1835 г.; о поѣздѣ въ Италію сталъ мечтать въ февралѣ 1836 г., а мысль о поѣздѣ въ Египетъ и Индію у него складывается въ іюнѣ 1837 г., подъ вліяніемъ чтенія обширнаго сочиненія о Востокахъ. „Желалъ-бы я взглянуть на Востокъ, на Индію — колыбель идей и фактовъ, на мифическій Египетъ, — и будто это невозможно, и будто годъ жизни нельзя потратить для этихъ странъ?“³⁾

У него даже разъ мелькнула фантазія — лѣтомъ 1837 года — вмѣстѣ съ невѣстой отправиться въ Египетъ и, „становясь на лодку“ (?), обернуться на родину: „что сказать ей? По слезѣ родному краю, и отвернемся, чтобы онъ не подумалъ, что мы хотимъ ему послать упрекъ“⁴⁾.

III.

Но, вѣдь, Герценъ былъ препровожденъ въ Вятку не просто въ ссылку, а на службу. Потому тотчасъ по пріѣздѣ онъ

¹⁾ „Идеалисты 30-хъ годовъ“ П. В. Анненкова.

²⁾ См. статью „Юношескіе литературные труды Герцена“, („Сѣверный Вѣстникъ“, 1885 г., сентябрь).

³⁾ Рук. письмо отъ 8-го іюня.

⁴⁾ Рукописное письмо.

отъявился къ губернатору, но тотъ не принялъ его и велѣлъ придти на другой день.

Губернаторомъ въ то время въ Вяткѣ былъ Тюфяевъ, котораго такъ живо и художественно воспроизвелъ Герценъ въ своихъ „Запискахъ“. Губернаторъ, проэкзаменовавши ссыльнаго по части почерка, поручилъ правителю канцеляріи — Аленцину — обучить „ученаго кандидата московскаго университета“, какъ должно служить и писать канцелярскія бумаги. Ради этой науки Герценъ долженъ былъ приходить въ канцелярію губернатора ежедневно и даже по два раза въ день: отъ 9 утра до 2 часовъ и отъ 5 до 8 вечера.

„Просидѣвши день цѣлый въ этой галлерей, я приходилъ иной разъ домой въ какомъ-то оступѣніи всѣхъ способностей и бросался на диванъ, изнуренный, униженный и неспособный ни на какую работу, ни на какое занятіе. Я душевно жалѣлъ о моей крутицкой кельѣ, съ ея чадомъ и тараканами, съ жандармомъ у дверей и съ замкомъ на дверяхъ. Тамъ я былъ воленъ, дѣлалъ, что хотѣлъ, никто мнѣ не мѣшалъ; вмѣсто этихъ пошлыхъ рѣчей, грязныхъ людей, низкихъ понятій, грубыхъ чувствъ, тамъ была мертвая тишина и невозмущаемый досугъ. И когда мнѣ приходило въ голову, что послѣ обѣда опять слѣдуетъ идти и завтра опять, мною подчасъ овладевало бѣшенство и отчаяніе, и я пилъ вино и водку для утѣшенія“¹⁾.

Такъ шли служебныя занятія въ первое время; черезъ вѣсколько мѣсяцевъ губернаторъ употребилъ его на другое дѣло. 6-го сентября 1835 года Герценъ писалъ въ Москву: „губернаторъ обратилъ вниманіе на меня и употребилъ на дѣло, болѣе родное мнѣ: на составленіе статистики здѣшней губерніи“. Министръ внутреннихъ дѣлъ рѣшилъ по всѣмъ губерніямъ учредить статистическіе комитеты, а денегъ на содержаніе комитетовъ не назначалось. Канцелярія губернатора и безъ того имѣла много дѣла, — какъ говоритъ Герценъ въ „Запискахъ“, а тутъ предстояло еще новое. При этомъ Петербургъ еще требовалъ, чтобы губернаторъ высказалъ свое мнѣніе по поводу этого новаго дѣла, указавъ-бы на пользу или вредъ отъ существованія такихъ комитетовъ. Герценъ взялся написать отзывъ и заняться составленіемъ статистики, но только

¹⁾ „Записки“, часть I, стр. 296—297.

съ условіемъ, чтобы ему предоставили право заниматься этимъ дѣломъ у себя дома. Правитель канцеляріи, Аленицынъ, согласился на его предложеніе, но только все-таки потребовалъ, чтобы Герценъ ежедневно, хотя на нѣсколько минутъ, являлся въ канцелярію. Дѣлать нечего, пришлось уступить. Но для Герцена было важно уже то, что заниматься можно было дома, что онъ могъ быть избавленъ отъ постоянного, ежедневнаго общенія съ пьяными, безграмотными товарищами-чиновниками.

И такъ какъ губернаторъ очень остался доволенъ отвѣтной бумагой Герцена въ Петербургъ, гдѣ высказывался взглядъ о пользѣ учреждающагося комитета, то онъ уже, видимо, благоволилъ къ ссыльному и сталъ его приглашать къ себѣ на обѣды. Герценъ, какъ самъ писалъ 21-го сен. 1836 г., принужденъ былъ почти черезъ день обѣдать у губернатора. Но эти обѣды, разумѣется, не развлекаютъ его, а скорѣй утомляютъ... Губернаторъ-же въ осень 1836 г. такъ благоволилъ къ ссыльному, что въ октябрѣ или ноябрѣ представляетъ его для описанія губерніи министру. Это назначеніе очень обрадовало Герцена: онъ рассчитывалъ, получивши инструкцію отъ министра, испросить право поѣздить ради этой работы по губерніи. Думалъ проѣздить мѣсяца два, объѣздить тысячи двѣ версты...¹⁾

Но дружба Герцена съ губернаторомъ недолго продолжалась. „Тюфяевъ скоро догадался, что я не гошусь въ „высшее“ вятское общество“.

„Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ былъ мною недоволенъ, черезъ нѣсколько другихъ онъ меня ненавидѣлъ, и я не только не ходилъ на его обѣды, но вовсе пересталъ къ нему ходить. Проѣздъ наслѣдника спасъ меня отъ его преслѣдованій, какъ мы увидимъ послѣ... Онъ не могъ вынести во мнѣ человека, державшаго себя независимо, но вовсе не дерзко; я былъ съ нимъ всегда en gèle, онъ требовалъ подобострастія“²⁾.

А тутъ еще Герцену вмѣстѣ съ Витбергомъ пришлось выступить защитникомъ Медвѣдовой противъ губернатора, который вздумалъ преслѣдовать бѣдную, беззащитную вдову всевозможными оскорбительными предложеніями, переходившими въ требованіе. Потому у Герцена съ губернаторомъ начался открытыя непріятности: Тюфяевъ не могъ простить смѣлости

¹⁾ Письмо отъ 1-го ноября 1836 г.

²⁾ „Записки“, часть I, стр. 303.

ссылнаго вступать съ нимъ, начальникомъ губерніи, въ борьбу. „Недавно мнѣ была большая непріятность“, — писалъ Герценъ невѣстѣ 30 ноября 1836 г. и просилъ ее никому объ этомъ не говорить.

Тюфяевъ такъ разсердился въ этотъ разъ на дерзкаго ссылнаго, что рѣшилъ услать его куда-нибудь еще дальше, — что сдѣлать было весьма нетрудно при его положеніи „хозяина губерніи“, какъ въ то время назывался губернаторъ. Но совершиться такому дѣлу помѣшалъ жандармскій штабъ-офицеръ: „онъ отказалъ въ своемъ содѣйствіи на планъ дальнейшей высылки паціента“¹⁾.

Кстати тутъ подоспѣлъ изъ Петербурга приказъ объ устройствѣ въ городѣ выставки всѣхъ естественныхъ богатствъ въ губерніи, которыя были-бы распределены въ порядкѣ трехъ царствъ природы и могли-бы познакомить съ богатствомъ края наслѣдника, великаго князя Александра Николаевича, долженствовавшаго проѣхать изъ Сибири черезъ Вятку. Тюфяевъ, какъ человѣкъ, не получившій никакого образованія, не могъ сознательно, какъ слѣдуетъ, выполнить возложенную задачу. „Ну, напр., медь“, — говорилъ онъ, — „куда принадлежитъ медь? Или золоченая рама, какъ опредѣлить, куда она относится?“ Увидя изъ отвѣтовъ, что я имѣю удивительно точныя свѣдѣнія о трехъ царствахъ природы, онъ предложилъ мнѣ заняться расположеніемъ выставки“²⁾. И вотъ эта новая миссія дала Герцену возможность ознакомиться хорошо съ богатствомъ края. Весна 1837 г. была имъ посвящена на устройство выставки, которую въ маѣ уже осматривалъ наслѣдникъ вмѣстѣ съ своей свитой, гдѣ, между прочимъ, находились Жуковскій и Арсеньевъ.

Пріѣздъ наслѣдника долженъ былъ развязать затанувшійся узелъ и положить конецъ тому преслѣдованію, которому Герценъ подвергался со стороны Тюфяева. Жуковскій, Арсеньевъ и самъ наслѣдникъ тутъ же, на выставкѣ, видя полное невѣжество Тюфяева, принуждены были обратиться за разъясненіями къ Герцену, чтобы онъ, какъ устроитель выставки, ознакомилъ съ ея содержаніемъ. Заговоривши съ Герценомъ, Жуковскій и Арсеньевъ были поражены его умомъ, образованностью и талантомъ. Самъ наслѣдникъ, послѣ осмотра выставки, сказалъ Герцену нѣсколько любезныхъ словъ, а Жуковскій и

1) „Идеалисты 30-хъ годовъ“ П. В. Анненкова, стр. 32.

2) „Записки“, часть I, стр. 359.

Арсеньевъ послѣ того, какъ наслѣдникъ уѣхалъ, оставшись одни, стали разспрашивать Герцена, какъ онъ сюда попалъ, и, узнавши объ его участи, рѣшили ходатайствовать о немъ передъ наслѣдникомъ. Наслѣдникъ самъ написалъ о немъ императору Николаю Павловичу, прося перевести Герцена въ Петербургъ.

Пріѣздъ наслѣдника далъ Герцену въ его борьбѣ съ Тюфяевымъ громадный перевѣсъ. „Я былъ въ большихъ хлопотахъ“, — писалъ онъ въ іюнѣ. ¹⁾ Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ рассорился съ здѣшнимъ губернаторомъ. Надобно замѣтить, что это высшій предѣлъ злодѣя и мерзавца. Последнее время я сталъ почти въ явную оппозицію противъ него; я — сосланный, а онъ — губернаторъ; но есть Богъ: онъ выгнанъ изъ службы „за беззаконное управленіе губерніей“, и слѣдовательно торжество на моей сторонѣ. Теперь дышать легче, теперь прекратились гоненія Медвѣдовой, ибо этотъ злодѣй — ея врагъ, — и что онъ дѣлалъ противъ нея! это непостижимо честному человѣку“.

На мѣсто Тюфяева былъ назначенъ новый губернаторъ, — образованный человѣкъ, кончившій курсъ въ Царскосельскомъ лицѣѣ, товарищъ Пушкина, — Корниловъ. Арсеньевъ, по порученію наслѣдника, писалъ къ нему и рекомендовалъ относиться къ Герцену, какъ къ человѣку, обратившему на себя вниманіе наслѣдника.

Новый губернаторъ, въ силу ли этой рекомендаціи, или же добровольно, самъ по себѣ, — велъ себя съ Герценомъ необыкновенно любезно: давалъ ему книги изъ своей библіотеки, избавилъ отъ всякихъ канцелярскихъ занятій, а, вмѣсто этого, предложилъ заняться неофициальнымъ отдѣломъ „Вятскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“. Въ 1837 году вышелъ приказъ объ изданіи въ губернскихъ городахъ губернскихъ вѣдомостей. Веденіе неофициальнаго отдѣла въ провинціи при отсутствіи литературныхъ силъ было не менѣе трудно, какъ и устройство выставки по тремъ царствамъ природы. Всего удобнѣе, конечно, было поручить это ссыльному кандидату московскаго университета. Герценъ охотно принялся за дѣло: рѣшилъ поставить на ноги неофициальную часть. Но за одну его статейку въ этомъ отдѣлѣ чуть было не попался въ бѣду его преемникъ. ²⁾

¹⁾ Рун. письмо 18 іюня 1837 года.

²⁾ „Записки“, часть I, стр. 372.

Только на такія экстраординарныя новыя, интересныя дѣла употреблялъ Герцена губернаторъ Корниловъ и этимъ способомъ облегчалъ ему, сколько могъ, тяжесть ссылки.

Когда въ концѣ 1837 г. была разослана по губерніи ревизія, чтобы провѣрить дѣла департамента государственныхъ имуществъ, надъ которымъ была назначена слѣдственная коммиссія, губернаторъ долженъ былъ отъ себя присоединить къ ней двухъ чиновниковъ. Онъ и на этотъ разъ не нашелъ болѣе подходящаго лица, какъ Герценъ, которому, благодаря такому назначенію, пришлось познакомиться съ рядомъ невиданныхъ и неслыханныхъ злоупотребленій и дѣлъ, описанію которыхъ онъ посвящаетъ конецъ первой части своихъ „Записокъ“.

Но и это было еще не послѣднее официальное порученіе, возложенное губернаторомъ Корниловымъ: на всякое новое дѣло, новое начинаніе въ губерніи, требующее энергіи и инициативы, онъ выдвигалъ своего ссылнаго кандидата. Въ 1837 г., рядомъ съ основаніемъ губернскихъ вѣдомостей, было приказаніе выше и объ открытіи въ Вяткѣ публичной библіотеки. Открытіе вятской публичной библіотеки было назначено на 6 декабря 1837 года. Герценъ въ этотъ день выступилъ публично съ рѣчью по поводу открытія, — которая помѣщена въ общемъ собраніи его сочиненій.

Чтеніе этой рѣчи при многолюдномъ собраніи публики было полнѣйшимъ торжествомъ. Вятка теперь не только знала, но и любила Герцена. 6-го декабря она какъ бы прощалась съ нимъ. Чтеніе этой рѣчи было его послѣднимъ официальнымъ служеніемъ этому городу, откуда онъ назначался въ переводъ во Владиміръ. И хотя приказъ о переводѣ состоялся въ Петербургѣ еще въ половинѣ ноября, друзья, знакомые и даже самъ губернаторъ оттягиваютъ — какъ говоритъ Герценъ — его отъѣздъ со дня на день и упрашиваютъ остаться. Сперва Витбергъ уговариваетъ провести вмѣстѣ первый день Рождества, потомъ губернаторъ удерживаетъ еще на лишній день по случаю бала, который дается въ его домѣ. Такъ по крайней мѣрѣ объясняетъ А. И. своей невѣстѣ причину своего поздняго выѣзда изъ Вятки; на самомъ же дѣлѣ, какъ кажется, главной задержкой отъѣзда надо считать внезапный ушибъ головы, который А. И. нѣкоторое время скрывалъ отъ невѣсты и который между тѣмъ уложилъ его въ постель. Такимъ образомъ Герцену удастся выѣхать только 29 декабря. И онъ

выбывает сопровождаемый самыми лучшими пожеланиями друзей и заваленный всевозможной провизией и разными яствами. Чуть не вся Вятка провожает его до первой почтовой станции, послѣ чего онъ остается уже одинъ съ своимъ любимцемъ Матвѣемъ,¹⁾ съ которымъ на одной изъ станцій, не подалеку отъ Нижняго-Новгорода, встрѣчаетъ новый—1838—годъ, съ замороженнымъ шампанскимъ и обледенѣлой ветчиной.— Теперь Вятка для него становилась прошедшимъ, уходила вдаль, гдѣ стиралось и исчезало все дурное, а все, что было хорошо, дѣлалось необыкновенно выпукло и дорого сердцу. Потому, обращиваясь въ сторону покинутого города, онъ шлетъ ему теплый привѣтъ и благословеніе. „Ну, прощай, Вятка, всѣмъ сердцемъ благословляю тебя: ты не оставила чуждаго изгнанника, ты дала ему руку и привѣтъ. Благословляю тебя. А вы, друзья, оботрите слезу, вѣдь, вы знали, что встрѣтились съ пилигримомъ, что онъ не могъ навсегда остаться съ вами: его зоветъ голосъ сильный. Прощай, Витбергъ, не я буду останавливать страдальческую слезу; прощай, Полина и Скворцевъ, не я стану съ вами у алтаря. Прощай, Эрнъ, которого я взял за руку и вывелъ на другую половину земного шара,—дружба вамъ и благословеніе изгнанника!“

IV.

„Теперь я весь твой — нѣтъ людей, и они мнѣ не нужны. Я всѣмъ друзьямъ сказалъ: „прощайте!“ такъ, какъ сказалъ мечтаю о славѣ, о поприщѣ, о дѣятельности — „прощайте!“ Вся моя жизнь нѣ тебѣ. Конечно, я искалъ великаго — и нашелъ въ тебѣ; я искалъ изящнаго, святаго — и нашелъ въ тебѣ. И такъ, прощай весь міръ! Ты мнѣ далъ все дурное и все хорошее! Теперь разстанемся, теперь моя жизнь—одной Наташѣ. И я чувствую силы отрваться отъ всего“... (Рук. письмо отъ января 1838 г.).

...„опять раздаются литавры, и пламенная фантазія чертитъ вдали воздушные замки... Опять объ этомъ голосъ. Откуда онъ? Неужели это одно броженіе буйной, неугомонной гордости? Нѣтъ ли чего-нибудь высшаго? Не есть ли это сознаніе силы, не есть ли и это голосъ Провидѣнія, повелѣвающий быть дѣятельнымъ звеномъ? Горе зарывающему талантъ свой!“ (Рук. письмо отъ 18 авг. 1837 г.).

П. В. Анненковъ въ статьѣ: „Идеалисты тридцатыхъ годовъ“ говорить, что Герценъ въ Вяткѣ *второй разъ* влюбился

¹⁾ Матвѣй — слуга Герцена.

въ свою двоюродную сестру, Н. А. Захарьину, „и съ помощью воспоминаній, психическаго анализа, сильной мозговой работы дошелъ до обожанія образа“. ¹⁾ Но лежащая передъ нами обширная „Переписка“ двоюроднаго брата и сестры опровергаетъ такое предположеніе, давая возможность подробно прослѣдить постепенный ходъ развитія ихъ взаимной любви.

Наталя Александровна, какъ-только стала помнить себя, какъ-только вошла въ домъ княгини Хованской, такъ все свое вниманіе, всю любовь сосредоточила на умномъ, огненно-энергичномъ братѣ. Понемногу эта любовь обращалась у нея въ культъ, который она бережно скрывала отъ посторонняго взгляда. Съ особенной, далеко недѣтской чуткостью относилась она ко всему и ко всѣмъ, что имѣло отношеніе къ ея брату. Она крѣпко любила всѣхъ, кому онъ оказывалъ вниманіе; она старалась глядѣть на людей его глазами, старалась думать о томъ и читать то, что онъ находилъ хорошимъ. Смотри на свое божество снизу вверхъ, какъ на что-то недосягаемое, она не осмѣливалась спрашивать у него его мнѣнія; она прибѣгала въ такихъ случаяхъ къ Т. П. Пассеку, узнавала черезъ нее. Человекъ, на которомъ останавливался дорогой взоръ брата, сейчасъ же выпросталъ въ ея глазахъ. Наталя Александровна дорожила каждымъ его словомъ, вскользя брошеннымъ мнѣніемъ, а о дружбѣ его мечтала, какъ о чемъ-то недосягаемомъ, невозможномъ. Она любила брата, какъ высшее существо, которому нѣтъ равнаго и который для нея—недосягаемый кумиръ. Ей нужно отъ него только взглядъ, слово, а совпаденіе съ нимъ во вкусахъ приводить ее въ восторгъ, отъ котораго у нея на глазахъ навертываются слезы, душу охватываетъ сладкая грусть.

О своемъ чувствѣ къ брату она говорила только подругамъ, передъ нимъ же его не выказывала. Она бывала всегда тиха, молчалива и грустна. Онъ — огонь и сама энергія. Въ силу своего горячаго, подвижнаго темперамента, не позволявшаго въ раздумьи останавливаться надъ гладкой поверхностью тихаго озера, гдѣ въ безвѣтряный день ничто не шелохнется, онъ проходилъ мимо тихаго, незамѣтнаго существованія дѣвочки-сиротки въ домѣ кн. Хованской. Онъ и не подозрѣвалъ, что подъ этимъ молчаливымъ, грустнымъ взглядомъ таятся не-

¹⁾ Стр. 31.

неизбримая глубина чувства, что подъ этой спокойной оболочкой горитъ вулканъ любви, неугасимый огонь, зажженный ему въ тайникѣ ея души. Дорогой кумиръ, на котораго молилась кузина, проходилъ мимо, не подозрѣвая, мимо чего онъ проходитъ. У него была масса товарищей, разныхъ интересовъ; онъ весь былъ погруженъ въ нихъ.

Сестра на него молилась — онъ не замѣчалъ. Такъ шли года. Онъ не становился внимательнѣе, она не переставала любить. И Богъ знаетъ, когда бы нарушилось такое положеніе, еслибы не арестъ Огарева..

Пораженный неожиданностью, Герценъ недоумѣвалъ: за что? и почему Огаревъ взятъ, а онъ нѣтъ? Последнее, кажется, всего сильнѣе смущало молодого человѣка. Онъ рѣшилъ, во что бы то ни стало, разузнать причину и повидаться съ арестованнымъ. Для этого онъ объѣхалъ чуть не полъ-Москвы, — у кого только не былъ? рисковалъ... Но все напрасно..

Эти неудачи, неизвѣстность о судьбѣ друга сильно удручали и омрачали Александра Ивановича.

Наблюдательная и необыкновенно чуткая ко всему, а въ особенности къ тому, что касалось ея кумира, Н. А. не могла не замѣтить и не отозваться на душевное страданіе своего брата. И она выразила ему сочувствіе 20-го іюля на Ваганьковскомъ кладбищѣ, куда они прошли съ Ходынскаго поля со скачекъ.

Только тутъ въ первый разъ заговорилъ съ ней А. И., какъ съ человѣкомъ, который въ силахъ понять его, только тутъ увидѣлъ въ ней то сочувствіе, котораго былъ лишенъ въ окружающемъ. И онъ не могъ не опѣнить его. Дворянская сестра — это до сихъ поръ, какъ ему казалось, холодное существо, — стала близка его душѣ... Но здѣсь еще и рѣчи быть не могло о любви съ его стороны. Да и сердце А. И. въ это время было занято другой особой, которая его сильно любила и съ которой у него уже было объясненіе. Эта особа была сестра его товарища — Людмила Васильевна Пассекъ, прозванная имъ въ „Запискахъ“ „Гаэтаной“.

Но послѣ этого разговора на кладбищѣ, когда братъ какъ бы въ первый разъ разглядѣлъ и понялъ, что его сестра далеко не холодное и не заурядное существо, они были надолго разлучены обстоятельствами: какъ уже было сказано, А. И. въ ночь съ 20 на 21 іюля 1834 года былъ арестованъ и заключенъ въ Крутицкія казармы, гдѣ провелъ почти девять мѣсяцевъ.

Во всѣ девять мѣсяцевъ братъ и сестра видѣлись всего только одинъ разъ — наканунѣ его отъѣзда въ ссылку — 9-го апрѣля 1835 года, какъ упоминалось раньше. Но зато теперь они хоть изрѣдка, а переписывались.

Письма Натальи Александровны за это время не сохранились; но объ ихъ характерѣ и томъ чувствѣ, какимъ они были проникнуты, можно прекрасно догадываться по сохранившимся до сихъ поръ отвѣтамъ А-а И-ча. Насколько горячи были письма Н-и А-и, насколько въ нихъ ясно выступало ея чувство къ молодому затворнику, которому она отдавала себя въ полное распоряженіе, просила, чтобы онъ сдѣлалъ изъ нея, что хочетъ, — настолько затворникъ былъ далекъ отъ любви къ своей юной сестрѣ. Теперь едва ли онъ могъ не видѣть и не чувствовать, что онъ любимъ ею, а еслибы даже самъ и не замѣтилъ, ему указали бы другіе. Сазоновъ — одинъ изъ университетскихъ друзей Герцена, увидавши Н-ю А-у въ Крутицкихъ казармахъ, нашелъ, что она прелестна, а главное — сильно любить своего двоюроднаго брата. Онъ тогда же сообщил свои наблюденія Герцену.

Герценъ принялъ эту любовь за чувство равносильное дружбѣ съ ея стороны и, уѣзжая въ ссылку, отдыхалъ на немъ. Видя въ ней родную себѣ душу, онъ находилъ удовольствіе писать ей, да и самое чувство поклоненія сестры должно было льстить его самолюбію, и онъ съ удовольствіемъ началъ поддерживать съ ней частую переписку.

Самъ же онъ, какъ въ это время, такъ и въ первое время по пріѣздѣ въ Вятку, далекъ былъ отъ чувства любви къ двоюродной сестрѣ. Только въ Вяткѣ, когда любовь къ Людмилѣ Васильевнѣ Пассекъ окончательно заглохла, и даже ея записки, полученные въ Крутицахъ, были брошены въ каминъ, и когда быстро вспыхнувшая и также быстро сгорѣвшая страсть къ Медвѣдовой испугала Герцена своимъ быстрымъ исчезновеніемъ, — только тутъ, сравнивъ дружбу своей сестры, онъ понялъ всю неизмѣримую разницу ея чувства къ себѣ и чувства Медвѣдовой, понялъ разницу этихъ двухъ женщинъ, изъ которыхъ одна была вся — земная страсть, другая — неземное существо, — только съ этихъ поръ въ немъ вспыхиваетъ любовь къ Н-ѣ А-ѣ.

Чѣмъ дальше бѣжали дни, тѣмъ яснѣе, чище вырисовывался передъ Герценомъ образъ той дѣвочки-сиротки, на ко-

торую въ Москвѣ онъ такъ мало обращалъ вниманія. Словно необходима была эта тысячеверстная даль, чтобы онъ вглядѣлся и вдумался въ двоюродную сестру настолько, что могъ увидать въ ней „существо, превзошедшее изяществомъ самую мечту“.

Вотъ что онъ говоритъ по этому поводу въ одномъ письмѣ: „Мнѣ надо было имѣть повязку юношескихъ сатурналій и глазъ, чтобы (не) оцѣнить серафима чистоты? Это мнѣ напоминаетъ старый случай. Въ Афинахъ заказаны были двѣ статуи Минервы: одна — великому Праксителю, другая — какому-то ваятелю. Оба выставили свои произведенія. Народъ бѣжалъ къ статуѣ неизвѣстнаго, восхищался прелестной отдѣлкой, а на Праксителеву не смотрѣлъ никто: она едва была изсѣчена, груба. Обѣ статуи поставили на колонны, тогда все перемѣнилось. Мелочи и мелкія красоты исчезли отъ дали, а божественное выраженіе статуи Праксителя подавило величіемъ и красотой. Ей надо было удалиться отъ толпы, стать ближе къ небу, не рядомъ съ нею, чтобы толпа поняла ее. И не смотрю ли я теперь на тебя, какъ народъ на статую Праксителя? не вверхъ ли поднимаю голову? не къ небу ли смотрю, когда думаю о тебѣ? не на немъ ли твои черты и не оттуда ли ты сіяла мнѣ любовью, улыбкой? ангелъ, ангелъ!“

Такое обожаніе и восторженное отношеніе А. И. къ двоюродной сестрѣ явилось, разумѣется, не вдругъ. Та дружба, которой онъ надѣлялъ ее въ письмахъ изъ Крутицъ и при прощаньи 9-го апрѣля, развилась въ Вяткѣ еще пышнѣй и черезъ полгода перешла въ любовь. Въ октябрѣ 1835 года онъ уже задавалъ ей вопросъ: вѣрить ли она, что то чувство, которое она питаетъ къ нему, есть дружба? И тутъ же прибавляетъ, что онъ не вѣритъ, чтобы его чувство къ ней была дружба. Для нея же всѣ эти вопросы были лишніе: она давно любила его безпредѣльной любовью, но только была увѣрена, что это чувство не любовь, а дружба; любить же его ни больше, ни меньше она уже не могла. Но, конечно, она не могла въ то же время не испытывать чувства величайшаго удовольствія, услышавъ, что ея кумиръ, на котораго она привыкла смотрѣть снизу вверхъ, о дружбѣ съ которымъ не смѣла и мечтать, вдругъ этотъ кумиръ говорить ей о любви! Всѣ четыре года разлуки съ братомъ, со времени ареста вплоть до собственнаго отъѣзда во Владиміръ, Н. А. жила только мыслью объ А.-ѣ И.-ѣ, жила только въ письмахъ и письмами.

Другой жизни, других интересов у нея не было. Все, что было въ ней изящнаго, лучшаго, поэтическаго—все съ тароватостью миллионера-богача выпала она въ эти письма. Она, можно сказать, исходила любовью къ своему чудному, необыкновенному брату, судьбѣ и жизни котораго давала великое предназначеніе: служеніе человѣчеству.

Ей было ясно, что онъ долженъ былъ водворить на землѣ царствіе Божіе, научить толпу истинному Христову ученью. Она даже рисовала себѣ въ перспективѣ эту совсѣмъ новую жизнь, непохожую на жизнь другихъ людей, вдали отъ нихъ, окруженную друзьями. Герценъ же, какъ припомнимъ, не имѣлъ яснаго, опредѣленнаго плана. Онъ чувствовалъ въ себѣ присутствіе безконечной жажды дѣятельности, чувствовалъ въ себѣ не початый запасъ энергіи и ждалъ дѣла, искалъ поприща, хотѣлъ славы. Онъ зналъ, что окружающая дѣйствительность даетъ для этого только два пути: писать или служить. Но который изъ этихъ двухъ путей слѣдуетъ избрать, онъ не зналъ и стоялъ въ раздумьи. Послѣ того, какъ Наталья Александровна силою своей любви возымѣла надъ нимъ вліяніе, онъ этотъ трудный вопросъ—писать или служить—отдаетъ на ея волю, ей предоставляетъ рѣшеніе.

Прислушаемся, что отвѣчаетъ Наталья Александровна. Она рѣшительно, категорически возстаетъ противъ того, чтобы онъ служилъ и произносить рѣчь въ пользу литературныхъ занятій. „Первая дорога (т. е. служба)—не вѣрна, не въ твоей власти, зависимость, слѣдовательно всѣ сопряженныя съ нею низости, непріятности, вся чернота,—если не окончаніе, неуспѣхъ начатого, безполезные труды!“ Вторая дорога—твоя, собственно твоя. Ты можешь ее сдѣлать шире, уже, длиннѣе, короче; здѣсь труды необыкновенныя и польза необыкновенная!“¹⁾

Такъ отвѣчаетъ двадцатилѣтняя дѣвушка, проведенная всю жизнь среди скучныхъ старухъ, старыхъ календарей и безчисленныхъ приживалокъ! Какую большую дозу здраваго смысла надо было имѣть, чтобы дѣвушкѣ въ ея годы такъ вѣрно постигнуть всю трудность службы въ николаевскія времена! Потому неудивительно, что Герценъ полагается даже въ такихъ вопросахъ, гдѣ, казалось бы, меньше всего могла быть компетентна Наталья Александровна, выросшая въ четырехъ стѣнахъ. Онъ

¹⁾ Рукоп. письмо.

пишетъ ей въ отвѣтъ на ея разсужденія: „Ты совершенно права насчетъ службы, но, вѣдь, и одной литературной дѣятельности мало; въ ней не достаётъ плоти, реальности, практическаго дѣйствія, ибо, право же, человекъ не созданъ быть писателемъ“. Въ Герценѣ была непомерная жажда дѣятельности; онъ говорилъ о ней еще въ тюрьмѣ, повторяетъ то же и въ Вяткѣ, гдѣ, какъ мы уже видѣли, онъ не сидѣлъ, сложа руки, и, кромѣ литературныхъ работъ, переходилъ отъ одного дѣла къ другому. „Неужели, какъ дымъ въ воздухѣ, исчезнетъ моя жизнь?“ восклицаетъ онъ въ августѣ 1837 года Ему хочется не столько ученой, литературной, сколько практической дѣятельности: „мертвая буква и живое слово раздѣлены пѣлымъ моремъ“. ¹⁾ „Не надо удалаться отъ людей и дѣйствительнаго міра; это старинный германскій предрасудокъ. Въ дѣйствительномъ мірѣ есть своя полнота, которая не находится въ жизни кабинетной и которая учитъ многому“. ²⁾

Съ теченіемъ времени, тѣмъ больше превозноситъ Герценъ свою невѣсту, усматривая въ ней посланницу свыше, предназначенную служить, какъ отдохновеніемъ для его души, такъ вмѣстѣ съ тѣмъ и путеводною звѣздой, — тѣмъ сильнѣе проникается Наталья Александровна мыслью о своемъ значеніи для „Александра“. Познакомившись съ драмой Шиллера — „Іоанна д'Аркъ“, она подъ вліяніемъ похвалъ и восторговъ жениха, а также и чтенія Шиллера, дѣйствительно начинаетъ смотрѣть на себя, какъ на посланницу свыше для своего Александра. Ей начинаетъ думаться, что она предназначена спасти его, вести на дорогу къ небу, подобно тому, какъ Іоанна д'Аркъ предназначена была спасти французскій народъ, а ему — ея брату — жениху — „предназначено превратить камень смерти въ хлѣбъ жизни и питать тысячи“. Она вѣрила, что и онъ, и она исполнять свое предназначеніе. А отсюда у нея явилась и увѣренность въ памяти вѣчной, неувыдаемой его имени на землѣ. „Твой образъ“, — говоритъ она, — „долженъ сохраниться на землѣ, пока она будетъ существовать; имя твое будетъ звучать до тѣхъ поръ, пока голосъ человѣческій будетъ слышенъ, чтобы при воспоминаніи о тебѣ грудь старца расцвѣтала юностью, чтобы юныя души, согрѣтыя тобой, какъ солнцемъ, украшали міръ дивными произведеніями“.

¹⁾ Рукон. письмо отъ 18 августа 1837 г.

²⁾ Рукон. письмо отъ 27 апрѣля 1837 г.

Крайне религіозная еще съ дѣтства, она чуть ли не тотчасъ послѣ первыхъ писемъ, гдѣ А. И. заговорилъ съ ней о любви, начинать уже направлять его къ церкви, къ молитвѣ. Уже въ ноябрѣ 1835 года спрашиваетъ: бываетъ ли онъ у обѣдни? молится о немъ, проситъ и его молиться, назначаетъ часъ для ихъ ежедневной общей молитвы, — нужды нѣтъ, что они раздѣлены тысячеверстнымъ пространствомъ.

А. И. хотъ и глубоко вѣрить въ Бога, хотъ и читаетъ духовныя книги, на которыя его натолкнуло одиночное сидѣніе въ тюрьмѣ и пробудило спящую въ душѣ религіозность, но онъ и сейчасъ далекъ отъ вѣры во внѣшнюю сторону религіи. 26 августа 1836 года онъ пишетъ ей: „Въ церкви я не былъ, я рѣдко могу молиться и всего рѣже въ церкви“. „Нѣтъ“ (—пишетъ онъ 17 апр. 1837 г.), — „намъ уже трудно сродниться съ церковными обрядами; все воспитаніе,¹⁾ вся жизнь такъ противоположна обрядамъ, что рѣдко сердце беретъ въ нихъ участіе“. Однако, силою своей необычайной любви, ей все же удается незамѣтнымъ образомъ вліять на него, если не внѣшнею, обрядовою стороною религіи, которой она и сама не придаетъ особенно большого значенія,²⁾ — то аскетическою, которая предписываетъ лишать себя всего въ здѣшней жизни, такъ какъ настоящая жизнь должна быть „тамъ“, на небесахъ. „По мѣрѣ возраста нашего въ мірѣ духовномъ“, — проповѣдовала она, — „мы должны уничтожаться въ здѣшнемъ мірѣ, по мѣрѣ увеличенія *тамъ*, должны умаляться *здесь*. Потому — то намъ и необходимо отречься отъ всего того, что утучняетъ внѣшняго человѣка, даетъ ему силу и крѣпость — богатство, слава и всякое довольство; необходимо вооружиться всѣмъ разслабѣвающимъ его, умерщвляющимъ — бѣдность, гоненіе и всякое лишеніе. Тогда-то, въ минуту его смерти (т. е. смерти внѣшняго человѣка), мы воскреснемъ во всей славѣ и величествѣ, и будемъ жить Богомъ — вѣчною“.³⁾

Мы помнимъ — Герценъ еще въ Крутицкихъ казармахъ разсчитывалъ, что отдохнетъ „тамъ“, что „тамъ“ ему будетъ

¹⁾ Хотя въ дѣтствѣ, какъ говоритъ Герценъ въ „Запискахъ“, его и заставляли исполнять обряды, но этимъ обрядамъ не придавалось должнаго значенія.

²⁾ Н. А. охотно готова была обойтись при выходѣ замужъ безъ церковнаго обряда: „Нужна ли тутъ“, пишетъ она 9-го января 1838 г., — „купленная молитва священника и непременно въ собраніи любопытныхъ зрителей? Чистыя души насъ благословятъ“...

³⁾ Рук. письмо. 1838 г. 22 февраля.

хорошо послѣ перенесенныхъ здѣсь страданій, потому Наталья Александровнѣ съ этой стороны дѣйствовать было не трудно. Нѣсколько мистически настроенный уже силою послѣднихъ событій въ своей собственной судьбѣ и судьбѣ своихъ товарищей, т. е. арестомъ и ссылкой, и заброшенный силою обстоятельствъ на далекую окраину, — онъ съ каждымъ днемъ сильнѣй подпадаетъ подъ гипнотическое вліяніе мистически настроенной и крайне религіозной сестры, поддается ея проповѣди, — а тутъ это близкое сожителство съ Витбергомъ еще сильнѣй уводитъ въ эту сторону.

Еслибы не утвержденіе самого Герцена, что *Витбергу принадлежитъ* главная направляющая, гипнотизирующая его сила въ вятскій періодъ, что именно вліяніе Витберга произвело въ немъ тотъ временный переворотъ, который задерживалъ естественный ходъ роста его мысли, возможно-бы было первенствующую силу этого вліянія, основываясь на „Перепискѣ“, приписать Натальѣ Александровнѣ, письма которой полны множествомъ такихъ мѣстъ, какъ вышеприведенное, а также и основываясь на томъ, съ какой любовью и вниманіемъ относился Герценъ къ словамъ невѣсты, которую въ это время обожалъ, боготворилъ, на которую смотрѣлъ какъ на чистѣйшаго ангела, слетѣвшаго въ міръ только для того, чтобы спасти его отъ земли для неба. По мѣрѣ роста своего чувства къ этой обаятельной, сильной въ своей кротости, изяществѣ и терпѣніи женщинѣ, постепенно все сильнѣй и сильнѣй подчиняется ея вліянію и теряетъ свое „я“. Она — слабая, нѣжная — брала на себя миссію вести его къ небу, къ небесному спасенію, къ вѣчной жизни, незамѣтно для себя, подчиняя его своему восторженному вѣрованію въ свое и его высокое предназначеніе. Герценъ подъ ея вліяніемъ постепенно отказывался отъ своей личности во все время ссылки вплоть до женитьбы, подавляя свои природныя наклонности; ему было сладко подчинять себя, отдаваться въ руки женщины, — которая ему казалась выше самой Беатриче, выше Теклы, — напоминающей „Дѣву чужбины“ Шиллера, казалось, превосходила самую мечту.

Этому самоотреченію много помогало душевное настроеніе Герцена въ Вяткѣ, происходившее отъ его поступка съ Медвѣдовой, которымъ онъ мучился и въ то-же время затыкался, какъ мертвой петлей, и который считалъ несмыслимымъ пятномъ.

La mer y passerait sans laver la tâche,
Car l'abîme est immense et la tâche est au fond,—¹⁾

говорилъ онъ.

Угнетаемый съ этой стороны самобичеваніемъ, съ другой—притѣсненіями, которымъ родные подвергали его дорогую Наташу, противясь ея браку съ нимъ, съ третьей—притѣсняемый Тюфяевымъ, онъ радъ былъ куда-нибудь уйти душою отъ всѣхъ этихъ мукъ, радъ былъ отдать себя въ руки ангела, который-бы „смылъ съ него ужасное пятно“ и привелъ-бы его душу къ спасенію. Теперь больше, чѣмъ когда-нибудь, онъ сознавалъ, что при его огненномъ, необузданномъ характерѣ безъ такой святой путеводной руки, сильной своею чистотой и дѣвственной слабостью, ему не устоять на дорогѣ добродѣтели, не удержаться отъ порока.

Охваченная религіознымъ экстазомъ и страстью къ подвижничеству и самоусовершенствованію, къ чему стремились всѣ лучшіе люди того времени, поддерживаемая въ своихъ мысляхъ и стремленіяхъ поклоненіемъ, обожаніемъ и любовью самого брата,—она съ каждымъ днемъ проникается все большею увѣренностью въ себя и въ своихъ мысляхъ рѣшительно настаиваетъ, чтобъ онъ отворачивался отъ земли, ея радостей и наслажденій. Она сама не цѣнитъ и не пользуется радостями и увеселеніями жизни: въ ея глазахъ все это только пустая забава. Она теперь прямо говоритъ своему Александру, что *не смѣдуетъ искать земной славы*, что его слава на небесахъ, что ихъ жизнь *тамъ*, за предѣлами земли... Н. А. говоритъ такъ увлекательно, она такъ восхитительна, такъ изящна въ своемъ увлеченіи, что Герценъ, въ силу своей увлекающейся и пылкой натуры, самъ поддается ея проповѣди и вслѣдъ за ней уходитъ отъ жизни въ мысли о смерти, о жизни „тамъ“. Дѣятельность, слава, честолюбіе, которыя — какъ мы видѣли еще въ Крутицкихъ казармахъ — составляли краеугольный камень его жизни, теперь понемногу какъ-бы блѣднѣютъ передъ неземнымъ существомъ Наташи и передъ изяществомъ ея проповѣди. И Герценъ чувствуетъ, что въ немъ какъ-бы совершается переворотъ, что слава, земныя похвалы, земныя радости, все то, чѣмъ онъ жилъ до сихъ поръ, тускнѣетъ и теряетъ цѣну

¹⁾ „Цѣлое море не въ силахъ смыть этого пятна, потому что пропасть глубока, а пятно на днѣ ея“.

въ его глазахъ. И въ одномъ письмѣ онъ торжественно отрекается отъ славы, почестей; ничего ему теперь не нужно, кромѣ неба и Наташи, даже людей не надо. 7-го іюня 1837 года онъ предлагаетъ ей: „Уйдемъ въ Италію, не въ большой городъ—нѣтъ, въ какой-нибудь самый незначительный, въ Нису или гдѣ-нибудь въ Сицилію, хоть въ деревеньку, лишь-бы на берегу моря... Тамъ проведемъ годъ или два *безъ людей*, тамъ, убаюканные волнами моря и теплымъ воздухомъ, мы отдохнемъ, мы *будемъ счастливы*“.

Такой громадной интенсивности достигаетъ его любовь въ 1837 году. Онъ весь полонъ ею, этой чистой дѣвою, которая при сравненіи съ Медвѣдовой—страстной, земной женщиной,—еще выше поднимается въ его глазахъ; самыя думы о ней дѣлаютъ его, какъ ему кажется, чище, лучше, очищаютъ отъ тѣхъ пятенъ, которыми загрязнена душа его и которыя онъ безсилецъ смыть когда-нибудь.

Герценъ благодаритъ невесту, что она отучила его отъ погони за славой; онъ чувствуетъ, что теперь все его назначеніе—Наташа; онъ готовъ улетѣть съ ней отъ земли, и теперь уже въ этомъ видитъ свое призваніе. Онъ увѣренъ, что теперь пересоздался окончательно, окончательно избавился отъ своихъ главныхъ пороковъ: славолубія и словолубія.

И вотъ въ пору этой увѣренности, въ маѣ 1837 года, въ пору такого торжества неба надъ землею, въ Вятку пріѣзжаетъ наслѣдникъ съ Жуковскимъ и Арсеньевымъ. На него,—какъ упоминалось раньше,—обращаютъ вниманіе. Его талантъ и необыкновенное образованіе замѣтили, о немъ написали въ Петербургъ, его выдѣлили.

Все это опять разомъ всколыхнуло ссыльнаго, пробудило отъ гипноза, вызвало изъ летаргіи и вернуло къ сознанію своихъ исключительныхъ силъ и талантовъ, дарованныхъ природой, которыя онъ еще при отъѣздѣ въ ссылку поклялся принести на пользу человѣчеству, а здѣсь—въ Вяткѣ—изо всѣхъ силъ давилъ. Теперь-же, послѣ пріѣзда наслѣдника и полученнаго ободренія, у него вдругъ опять проснулась въ душѣ та энергія и жажда дѣятельности, которыя были только на время искусственно заглушены; заговорила опять и любовь къ славѣ, которая, помимо внушенія со стороны ученія сенъ-симонистовъ, была присуща самой его натурѣ. Разомъ благоприятный исходъ пріѣзда наслѣдника передернулъ всѣ его искусственно-настроен-

ные планы и выпустилъ на волю тѣ стороны души, которыя онъ изъ всѣхъ силъ старался подавить въ себѣ и которыя составляли принадлежность его натуры. „Опять раздаются литавры“ — пишетъ онъ къ своей Наташѣ,¹⁾ — „а пламенные фантазіи чертятъ вдали воздушные замки. Ты недавно радовалась моему тихому расположенію, но я не хочу ни въ чемъ обманывать тебя. Въ Италію-то мы поѣдемъ и проживемъ тамъ другъ для друга и для природы годъ или два. *А тамъ? Неужели, какъ дымъ въ воздухѣ, исчезнетъ моя жизнь? Неужели же, голосъ самолюбія, ты не съ неба сошелъ!*“

И вы невольно чувствуете и догадываетесь, какая тяжелая борьба происходитъ въ его душѣ, когда, помимо воли, опять начинаютъ „раздаваться литавры“ и ломать все то, что онъ съ такимъ стараніемъ водворилъ въ душѣ на мѣсто прежнихъ кумировъ. Ему страшно при видѣ, какъ все старое, прежнее, что онъ относитъ подъ вліяніемъ гипноза къ пороку, опять начинаетъ торжествовать и влечетъ неудержимо назадъ, къ тому, что, казалось, онъ побѣдилъ въ себѣ и вытравилъ окончательно изъ души. Наталья Александровна попрежнему тянетъ его въ одну сторону, а кипучая, дѣятельная натура и природныя таланты рвутся въ другую и рвутъ на части. А онъ стоитъ, какъ на пылкѣ, между двухъ этихъ силъ, одинаково могущественныхъ, одинаково дорогихъ. Послѣ отъѣзда наслѣдника онъ не разъ прислушивается къ безпокойному внутреннему голосу, который зоветъ его къ жизни, къ дѣятельности, уводя отъ неба и молитвы. „Опять этотъ голосъ“, — пишетъ онъ 18 августа. — „Откуда онъ? Неужели это одно броженіе неутомимой гордости? Нѣтъ-ли чего-нибудь высшаго? Не есть-ли это сознаніе силы, не есть-ли это голосъ Провидѣнія, повелѣвающій быть дѣятельнымъ звеномъ! Горе зарывающему талантъ свой!“

Но не менѣе могучая, какъ и внутренній голосъ, сила любви, не даетъ ему опомниться, не даетъ собраться съ силами, образумиться, хорошенько поразмыслить, а тутъ еще эти неукротимыя, жгучія угрызенія совѣсти за тяжкій поступокъ съ Медвѣдовой, — и онъ, обезсиленный отъ ихъ мукъ, отдается снова тихимъ волнамъ любви, отталкивая отъ себя всѣ соблазны дѣятельной, энергичной натуры... Но онъ не въ силахъ ее усыпить...

¹⁾ Письмо 1837 г.

„Во мнѣ съ ребачества,“—говорить онъ въ томъ же письмѣ,—„поселилась огненная дѣятельность внѣ себя. Отвлеченной мыслью я достигну высоты,—я это чувствую,—но не могу представить себѣ возможности большаго круга дѣятельности, которому бы я могъ сообщить огонь души. Какой это кругъ—все равно, лишь бы не ученый: мертвая буква и живое слово раздѣлены цѣлымъ моремъ. Разумѣется, я подъ ученымъ занятіемъ не понимаю литературу. Однако, и въ самой литературной дѣятельности нѣтъ той полноты, которая есть въ практической дѣятельности“.

И вотъ, словно въ морѣ приливъ и отливъ, совершается внутри ссыльнаго та мучительная борьба между гипнотизирующей его любовью и его реальной, энергичной, стремящейся къ дѣятельности натурой. Онъ то выглянетъ передъ нами тѣмъ, что онъ есть и тѣмъ не переставалъ быть и въ ссылкѣ, отбросивъ всѣ пути, сотканныя гипнотизирующей его любовью, то снова поддается гипнозу, перестаетъ быть самимъ собой, исчезаетъ изъ глазъ, какъ бурею на Волгѣ, захлестнутый налетѣвшей волной.

Эта борьба, эти колебанія и прежде не разъ проскальзывали въ „Перепискѣ“, уступая каждый разъ мѣсто сильному вліянію сестры или,—вѣрнѣе, любви къ ней, которая въ концѣ вятской жизни такъ же, какъ и во Владимірѣ, заполонила все его существо, но никогда волны этой борьбы не достигали еще такой силы и высоты, какъ на этотъ разъ. Благодаря ихъ особой силѣ и интенсивности, мы въ этотъ разъ очевиднѣе, тѣмъ когда-нибудь, должны признать, что Герценъ и въ ссылкѣ не переставалъ быть тѣмъ же, что и до тюрьмы и тѣмъ былъ въ тюрьмѣ; онъ не переставалъ, не смотря на всѣ перипетіи и кажущееся измѣненіе, быть самимъ собой: идеалъ дѣятельности—служеніе родинѣ, принесенія ей пользы—не переставалъ и теперь стоять передъ нимъ и звать его на обѣщанное служеніе.

Привыкнувъ за послѣдніе годы держать свою душу открытой передъ невѣстой, Герценъ не скрываетъ отъ нея и этого момента, когда природныя стороны его натуры выбивались и рвались на свободу изъ-подъ власти овладѣвшихъ имъ религіозныхъ идей. И на этотъ разъ, какъ мы уже видѣли, голосъ природы оказывался сильнѣй, онъ, видимо, бралъ верхъ. Но провинціальная жизнь съ своимъ застоємъ и угрызенія совѣсти отъ поступка съ Медвѣдовой—съ одной стороны, съ другой—письма и проповѣди

Наташи Александровны, которыя съ каждымъ днемъ становились все чаще и убѣжденнѣе, поддерживаемыя къ тому же постояннымъ общеніемъ съ Витбергомъ—глушать и не даютъ пищи и необходимой среды для развитія этихъ сторонъ, — и кипучая натура Герцена опять ванетъ, сгибается подъ напоромъ этого сильнаго вліянія. Герценъ опять отказывается отъ славы, и послѣднія мысли принимаетъ за слѣдствіе окончательной побѣды, совершенной имъ съ помощью Наташи надъ порочными сторонами своей натуры. Онъ считаетъ, что Наташа его побѣдила, пересоздала, и теперь земля окончательно потеряла для него смыслъ, теперь для него все земное — пустыня, даже писательство, которое онъ было избралъ своей дѣятельностью, и оно не стоитъ вниманія: имъ можно, по его мнѣнію, заниматься только за немнѣніемъ лучшаго, а это лучшее теперь — его Наташа, о вѣчномъ соединеніи съ которой поглощены теперь его мысли. „Я всѣмъ друзьямъ сказалъ: „прощайте!“¹⁾—пишетъ онъ изъ Владиміра, — „такъ, какъ сказалъ мечтаю о славѣ, о поприщѣ, о дѣятельности—прощайте! вся моя жизнь въ тебѣ... И такъ, прощай, весь міръ!“ Онъ мечталъ о такомъ соединеніи съ Наташей, котораго не нарушитъ даже смерть. „Погоди,“ — пишетъ онъ 9-го апрѣля изъ Владиміра, — „нѣсколько дней — и увидимся тогда нѣсколько недѣль, и не разстанемся до гроба, а съ гробу на минуту разлука: что намъ другъ безъ друга дѣлать на землѣ?“

Такой гипнозъ, принимаемый самимъ Герценомъ за коренное измѣненіе его натуры, совершаемый силою любви, служитъ прекрасной иллюстраціей его подвижнаго, огненнаго, увлекающагося характера. Въ концѣ 1837 и началѣ 1838 года для поверхностнаго наблюдателя онъ какъ бы пересталъ совсѣмъ походить самъ на себя, въ сущности же это было насиліе любви и обстоятельствъ надъ его натурою; въ сущности, самъ не сознавая того, онъ оставался тѣмъ же пылкимъ, кипучимъ человѣкомъ, рвущимся къ реальной дѣятельности и свободѣ, такимъ, какимъ создала его природа. Этому служить доказательствомъ его энергичная дѣятельность въ Вяткѣ по занятію статистикой, по устройству выставки, по заботѣ о постройкѣ неофициальной части „Вятскихъ Губернскихъ Вѣдомостей,“ по ревизіи губерніи и, наконецъ, по открытію вятской

¹⁾ 5 января 1838 г.

публичной бібліотеки. — Не смотря на всю эту массу дѣлъ, онъ находилъ время не только много и серьезно читать, а и предаваться литературной работѣ. Какъ въ Вятѣ, такъ и во время жизни во Владимірѣ, имъ была написана масса работъ, передъ дѣйствительнымъ перечнемъ которыхъ перечень, приведенный П. В. Анненковымъ въ его статьѣ: „Идеалисты 30-хъ годовъ“, оказывается не полнымъ.¹⁾

Не смотря на свою увѣренность, что онъ пересоздался и дѣйствительно проникся христіанскою любовью и смиреніемъ, какъ повелѣваетъ ученіе Христа, Герценъ совсѣмъ далекъ отъ той кротости и смиренія, какимъ полна душа его Наташи. Какъ-только ему приходится столкнуться въ жизни съ такими фактами, которые отъ него требуютъ смиренія и покорности, — его независимая и свободолюбивая натура тотчасъ возстаетъ противъ аскетическаго смиренія и вызываетъ къ дѣятельности, къ желанію дать отпоръ, къ противленію.

Припомнимъ, какъ послѣ доноса офицера Соколова въ Крутицахъ, изъ-за котораго пострадали другіе офицеры и жандармъ Васильевъ, припомнимъ, какъ вся молодая натура Герцена зажглась чувствомъ негодованія, даже преисполнилась мести, не смотря на все религіозное настроеніе, которымъ онъ былъ проникнутъ въ Крутицахъ. То же замѣчаемъ и въ періодъ жизни въ ссылкѣ. Когда его отецъ, И. А. Яковлевъ, на вопросъ о разрѣшеніи ему жениться на Натальѣ Александровнѣ отвѣчалъ, что онъ хоть и не противится желанію сына, но, если сынъ женится, онъ не будетъ его знать, — припомнимъ, какъ реагируетъ на такой отвѣтъ Герценъ, весь, повидимому, погруженный въ аскетическое міросозерцаніе и охваченный чувствомъ христіанскаго смиренія. Наталкиваясь на препятствіе, онъ еще упорнѣе стремится къ осуществленію желаемого. Онъ не въ силахъ покориться отцу, смириться передъ нимъ, какъ того требуетъ Наташа, — не въ силахъ превратиться въ святого. Вотъ что онъ говоритъ ей въ письмѣ изъ Владиміра²⁾ на ея совѣтъ: „Развѣ за слезу, пролитую 20-го іюля 1834“ (т. е. въ день ареста, когда отецъ надѣвалъ на него образокъ съ усѣкновеніемъ главы Іоанна Крестителя), „за попеченіе, съ тѣхъ поръ я обязанъ платить жизнью, душою?“

¹⁾ См. статью: „Юношескіе литературные труды Герцена“. („Сѣверный Вѣстникъ“, 1895 г. сентябрь).

²⁾ Рук. письмо 1838 года.

Это уже слова и мысли далеко не смиренного инока, отказавшагося от всего въ жизни и ушедшаго въ мечту о жизни тамъ. Нѣтъ, мы видимъ въ эту минуту передъ собой того же огненного, пламеннаго и энергичнаго Герцена, какимъ онъ намъ рисуется до и во время тюрьмы. Тотъ же пылъ, та же жажда дѣятельности, борьбы, а въ душѣ, конечно, та же жажда славы, которую онъ насильственно подавляетъ и убиваетъ, а она, словно червякъ, разорванный на части, продолжаетъ жить каждымъ отдѣльнымъ кольцомъ. Мало того—онъ въ ссылке борется за свободу другихъ, выступаетъ на защиту угнетенныхъ. Стоитъ для этого припомнить его столкновение съ Тюфяевымъ, когда онъ выступаетъ въ защиту Медвѣдовой, притѣсняемой и оскорбляемой губернаторомъ; стоитъ вспомнить его пламенную рѣчь на обѣдѣ у владимірскаго губернатора Куруты, когда онъ—ссылный—одинъ осмѣливается не согласиться съ общимъ мнѣніемъ о Витбергѣ и выступаетъ его горячимъ защитникомъ и т. д. и т. д.—стоитъ все это припомнить, чтобы вполне признать въ немъ и въ это время того же прежняго Герцена, горячаго поборника свободы и яраго борца противъ угнетенія.

Онъ самъ подмѣтилъ въ себѣ эту двойственность, какъ-только очутился наединѣ съ самимъ собой, безъ постороннихъ отвлекающихъ впечатлѣній, какъ-только пріѣхалъ изъ Вятки во Владиміръ, гдѣ въ началѣ у него не было не только друзей, но и знакомыхъ. Онъ подмѣтилъ эту двойственность, главнымъ образомъ, въ своихъ работахъ: „однѣ статьи“, — писалъ онъ,¹⁾ — „выходятъ постепенно съ печатью любви и вѣры... другія съ клеймомъ самой злой, ядовитой ироніи“. И чѣмъ дольше продолжалось одиночество, тѣмъ сильнѣй прозрѣвалъ Герценъ присутствіе въ себѣ прежняго человека. 9-го февраля 1838 г. онъ писалъ невѣстѣ: „Что ни говори, милый другъ, а я никакъ не могу присудить себя къ той небесной кротости, которая составляетъ одно изъ главныхъ свойствъ твоего характера. Я слишкомъ огненъ“. Такое признаніе, какъ видимъ, посѣщаетъ его даже въ самый разгаръ любви къ невѣстѣ, въ тотъ владимірскій періодъ холостой жизни, когда онъ самъ увѣренъ, что сдѣлалъ надъ своей натурой великую побѣду—весь обратился къ религіи, отвернулся и отказался отъ земного и пороч-

¹⁾ Рун. письмо отъ 13 янв. 1838 года.

наго. „Отъ роду *первый* разъ я сегодня исповѣдовался“ — пишетъ онъ 30-го марта 1838 года; — „такой побѣды достигъ съ помощью Наташи надъ своей душой“.

Но земной человѣкъ, съ несокрушимой жаждой дѣятельности и славы, продолжалъ жить въ немъ, скрываясь подъ наслоившимися, наносными чувствами. Хотя онъ и учитъ юношу, пришедшаго къ нему во Владиміръ съ вопросомъ: что дѣлать? — „во-первыхъ, берегите, какъ высшую святость, нравственность и чистоту, — это главное“, но что-то такое, сидящее глубоко внутри, много глубже, чѣмъ то преобразование, которое совершилось на поверхности, и то смиреніе, которое нанесено на его душу гипнозомъ любви и разными случайными обстоятельствами, это что-то удерживаетъ его при встрѣчѣ съ Кетчеромъ, когда тотъ призываетъ навѣстить товарища во Владиміръ, не позволяетъ признаться въ совершившемся преобразованіи. „*(Я)* не смѣлъ сказать нашу мысль *полнаго пренебреженія славы, полнаго погруженія въ море любви*“.

Отчего же „не смѣлъ“, разъ въ душѣ давно рѣшено пренебречь всѣми прежними идеалами и цѣлями, разъ давно всѣ взоры устремлены отъ жалкой земли къ небу? — Да оттого, что это отреченіе помимо воли до сихъ поръ, въ глубокихъ тайникахъ его души, встрѣчаетъ отпоръ; его натура до сихъ поръ не перестаетъ бороться съ этимъ наноснымъ наслоеніемъ; она — полная отъ природы кипучихъ страстей, — гдѣ-жъ ей принять отреченіе отъ жизни?!

Измѣнить натуру въ конецъ нельзя; ее возможно на время сковать или увлечь въ несродную для нея сторону, если природа наградила ее способностью увлекаться; но зато при первомъ же удобномъ случаѣ она вырвется наружу и тѣмъ съ большей силою проявитъ свойственную ея характеру дѣятельность.

Е. Некрасова.

На могилѣ Шевченко.

(Изъ давнихъ воспоминаній).

Мы пріѣхали въ Кіевъ наканунѣ Свѣтлаго Воскресенья, чтобы побывать въ Христову ночь у заутрени въ Печерской лаврѣ и на другой-же день двинуться къ г. Каневу, около котораго, какъ извѣстно, и находится могила Шевченко; мы рассчитывали, что, благодаря празднику, на пароходѣ не будетъ давки и тѣсноты, и мы легче найдемъ билеты. Но, къ удивленію, наши предположенія не оправдались: и пристань, и пароходная палуба уже буквально были залиты массой исключительно „сѣраго“ люда. Не трудно было догадаться, что это была маленькая частица той громадной, двадцати-тысячной толпы богомольцевъ, которая вчера всю ночь безшумно, какъ волны, колыбалась вокругъ лаврскаго собора, среди мрака и таинственной тишины лаврскаго сада, съ наивною радостью и удовольствіемъ вслушиваясь въ своеобразный звонъ серебрянаго била, который лился надъ нею чарующей музыкой, принесенной изъ сѣдой глубины протекшихъ вѣковъ. Удивительное впечатлѣніе производила эта „сермяжная“ толпа именно здѣсь! Чувствовалось, что именно она парила здѣсь вполне, что именно здѣсь дышала она вполне свободно. Богатый, величественный городъ былъ гдѣ-то далеко-далеко; на эти дни онъ, казалось, совсѣмъ забывалъ свою лавру, предоставивъ ее вполне этой безыменной массѣ; весь оффиціальныи и неоффиціальныи Кіевъ наполнилъ собою городскіе соборы, какъ будто безглаголиво отстраняясь отъ этой пришлои черноземной толпы; даже полиціи почти не было замѣтно, — да и не было въ ней здѣсь надобности: некого и нечего было охранять. Кто-же оставался здѣсь съ этой многотысячнои толпой народа — труженика? Одинъ монахъ... Но и этотъ монахъ, какъ и все окружающее, какъ и эти старинныя иконы, эти древ-

ніе храмы, эти нетлѣнные останки, покоющіеся въ пещерахъ,—все это только одна аллегорія, аллегорія далекаго, легендарнаго прошлаго, въ которомъ смутно, изъ-за мрака вѣковъ, чуть мерцали какія-то неясныя, туманныя, но врачевавшія, освѣжавшія, поднимавшія духъ надежды, упованія и мечты... И за этимъ, только за этимъ пришли сюда эти бѣдныя труженики за сто, за двѣсти, за пятьсотъ верстъ, только ватѣмъ, чтобы подышать здѣсь воздухомъ этой аллегорической Христовой ночи, плечо о плечо, одинъ на одинъ, съ своимъ многотысячнымъ братомъ, одухотвореннымъ однимъ и тѣмъ-же настроеніемъ, одной и той-же думой... И больше имъ нечего здѣсь ждать, нечего дѣлать въ этомъ большомъ, блестящемъ городѣ... Что для нихъ этотъ современный, богатый Кіевъ,—краса и мать городовъ русскихъ? Что онъ даетъ имъ? Какою интимною, духовною связью можетъ онъ ихъ привлечь къ себѣ, кромѣ этихъ символовъ сѣдой старины? Что для нихъ эти блестящіе магазины, эти широкія красавицы-улицы, залитыя электрическимъ свѣтомъ, эти богатые палаццо, живущіе своей особенной жизнью, невѣроятно далекой отъ нихъ, чуждой имъ такъ-же, какъ чужды и странны другъ для друга нравы и интересы двухъ различныхъ расъ? Что, наконецъ, для нихъ это величавое зданіе университета, эти академіи, гимназіи, консерваторіи, художественныя выставки, концерты?... Открывало-ли все это любовно и широко свои двери для этого бѣднаго, многомилліоннаго труженика, искало-ли страстно и напряженно средствъ, чтобы приобщить его къ наслажденіямъ мысли и искусства? Открыли-ли они для него хоть уголочекъ той завѣсы, за которой въ безбрежной, туманно-свѣтлой перспективѣ сіяетъ солнце будущаго, чтобы могъ онъ, этотъ бѣдный труженикъ, въ рѣдкія минуты своей жизни, искать утѣшенія не въ однихъ только воспоминаніяхъ о великихъ образахъ прошлаго, но и въ чистой, бодрой вѣрѣ въ величіе будущаго?...

Надменный, величаво-красивый Кіевъ, погруженный въ интересы биржи, акціонерныхъ компаній и синдикатовъ, былъ холоденъ и безучастенъ къ этой массѣ, и холодна и безучастна къ нему была эта масса; она ежегодно неслась сюда широкими потоками,—но неслась въ свой особенный, старый, символическій Кіевъ, и освѣживъ въ своей душѣ смутныя воспоминанія объ этихъ символахъ, тѣмъ-же стремительнымъ потокомъ неслась обратно...

Странное дѣло! Когда я стоялъ на палубѣ парохода и смотрѣлъ на этотъ блестящій Кіевъ, весь залитый золотомъ веселыхъ лучей восходящаго солнца и яркой зеленью только-что распускавшихся тополей, которыя, казалось, насытили все вокругъ своей тяжело-душистой атмосферой,—и вмѣстѣ съ тѣмъ видѣлъ передъ собой нескончаемый потокъ сѣраго люда, который лился съ кіевскихъ горъ къ пристанямъ,—когда я вспомнилъ эту массу въ таинственной тишинѣ лаврской ночи, эти отливы и приливы ея къ Кіеву,—мнѣ чулось во всемъ этомъ что-то таинственное, волнующее и трагическое... Тамъ, на верху историческихъ холмовъ, съ которыхъ несли гулъ сотни колоколовъ,—странное сочетаніе биржи и синдикатовъ и этихъ величавыхъ храмовъ религіи, науки, искусства,—здѣсь, внизу,—въ этой колыхающейся массѣ сѣраго люда—приподнятое настроеніе простой, наивной души, идеально-возвышенные образы и символы прошлаго, еще волнующіе и одухотворяющіе ея воображеніе, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, глухой ропотъ этой души, замкнутой, подавленной недовѣріемъ, удрученной плохо-сознаваемымъ и смутноощущаемымъ гнетомъ отчужденія, холода и безучастія...

Пароходъ, наконецъ, былъ буквально переполненъ народомъ,—ни на палубѣ, ни между каютами невозможно было двигаться среди лежащихъ и стоящихъ пассажировъ,—а жадный пароходовладѣлецъ все еще выдавалъ билеты. Наконецъ, мы всѣ пришли въ ужасъ уже не отъ тѣсноты, съ которой еще можно было примириться, а отъ мысли, что при первой, даже ничтожной случайности въ пути весь пароходъ пойдетъ моментально ко дну, безъ всякой возможности спасенія среди тысячной толпы. И только благодаря единодушному протесту всѣхъ насъ, капитанъ далъ третій свистокъ, и пароходъ медленно отвалилъ отъ пристани, подъ звонъ кіевскихъ колоколовъ.

Религіозно-приподнятое настроеніе не покидало еще толпу. Стараясь кое-какъ размѣститься среди этой невозможной тѣсноты, тѣмъ не менѣе всѣ были сдержанны, перебрасываясь больше шутками и, по возможности, ради праздника, воздерживаясь отъ рѣзкихъ протестовъ и окриковъ. Во всѣхъ сказывалось какое-то особенное благодушно-серьезное настроеніе. Спустя полчаса, когда толкотня и возня съ мѣшками и всякими дорожными запасами наконецъ кончилась, можно было замѣтить то тамъ, то здѣсь цѣлыя группы, усѣвшіяся на полу вокругъ какого-нибудь солиднаго хохла-грамотѣя, мѣрно читавшаго какую-нибудь

брошюрку религіознаго содержанія или просто бесѣдовавшаго на тему различныхъ религіозныхъ воспоминаній, навѣянныхъ Києвомъ. Мнѣ показалось, что хохлы болѣе религіозно-сосредоточенный народъ, чѣмъ великороссы: если хохоль не такъ скоро поддается религіозному настроенію и воодушевленію, — зато, разъ подчинившись ему, онъ долго находится подъ его вліяніемъ; великороссъ, наоборотъ, какъ извѣстно, чрезвычайно быстро, съ наивнымъ легкомысліемъ, переходитъ отъ самаго возвышеннаго религіознаго увлеченія къ самому наивному и ребяческому разгулу и веселію. Вотъ почему у насъ, на парохдѣ, гдѣ было подавляющее большинство хохловъ, не смотря на праздникъ, совсѣмъ не было замѣтно пьяныхъ: все было сдержанно и серьезно, и праздничное настроеніе сказывалось только въ какой-то особенной мягкости и деликатности въ отношеніяхъ.

Я ходилъ по палубѣ, прислушиваясь къ разговорамъ, и мнѣ было какъ-то особенно пріятно это отчасти торжественное, отчасти меланхолично-праздничное настроеніе; иногда я подсаживался къ сидѣвшимъ на полу группамъ и начиналъ разговоръ.

— Издалека пріѣхали?

— Да, далеко, — отвѣчали мнѣ. — Изъ-подъ Елизаветграда...

— Вотъ какъ! А долго-ли пробыли въ Києвѣ?

— Да два дня будетъ... Больше не будетъ: двѣ ночи ночевали, — говорилъ старый хохоль, но еще крѣпкій и бодрый.

— Только-то?..

— Довольно... Чтò-жъ, помолились!.. По соборамъ ходили... Въ лаврѣ Христову ночь стояли... Довольно... Чего-жъ больше?.. Слава Богу, что и того удостоилъ Онъ... Вотъ съ доньками на базаръ ходили... Ну, побаловались... Вонъ бусы купили... Крестики... Вотъ и привеземъ гостинцы къ своимъ... Рады будутъ!.. Чего-жъ больше?.. Будутъ Києвъ помнить... Хорошо Києвъ? А? — спрашивалъ онъ, улыбаясь, молоденькую дочь, въ новыхъ стеклянныхъ подъ бирюзу бусахъ.

Она только какъ-то вся просіяла въ отвѣтъ, вспыхнула и стыдливо опустила глаза.

— Въ себя еще не придетъ! — сказалъ старикъ, видимо очень довольный, что ему удалось доставить дочери такое большое удовольствіе: — Сразу полміра увидала!.. Да!.. А то когда-бы еще ей пришлось... Богъ знаетъ, можетъ, еще такъ и не удастся... Не придется...

— Отчего-же так?.. Ты еще не старъ, а ея вѣкъ впереди. Но старикъ не отвѣчалъ на этотъ вопросъ; онъ какъ будто испугался, что слишкомъ разговорился, сталъ копаться въ мѣшкѣ и совсѣмъ замолчалъ.

— А вы куда ѣдете?—спросилъ меня молодой мужикъ изъ сосѣдней группы.

Я сказалъ, что ѣду побывать на могилѣ старика Шевченко. Онъ въ недоумѣніи посмотрѣлъ на меня.

— Родственники будете?

— Нѣтъ. А вы не слыхали объ этомъ старикѣ?

— Слыхали, слыхали, — перебилъ пожилой хохолъ:—это изъ старыхъ казаковъ, изъ тѣхъ, что еще съ туркой да ляхами воевали... Старый рыцарь!.. Великій былъ казакъ!.. Кабы не эти старые казаки,—такъ, можетъ, насъ здѣсь и не было никого, можетъ, всѣ у турки служили-бы.

— Что вы говорите, дѣдъ!—возразилъ другой хохолъ среднихъ лѣтъ. — То вы-же все перепутали!.. То былъ Тарасъ Бульба... А послѣ того Желѣзнякъ, Гонта... А Шевченко—то былъ кобзарь, пѣсни складывалъ, научный былъ человѣкъ...

— Слыхали, слыхали!..—подхватили другіе. — Вотъ у насъ хлопцы поютъ... Это онѣ самыя... его пѣсни.

— Пѣсни!.. Это былъ вотъ какой казакъ,—вдругъ заговорилъ стоявшій въ сторонѣ черноволосый, смуглый хохолъ въ казацкомъ старомъ казакинѣ, бритый, съ небольшими черными усами.—Это былъ такой казакъ, что ходилъ у самый Питеръ, воли домогался, отъ паньщины...

— Вотъ какой казакъ!—съ веселымъ удивленіемъ замѣтили хохлы.

— Да, вотъ какой казакъ... Тогда его сейчасъ приказали изъ казаковъ въ солдаты разжаловать, за эту его смѣлость, и въ Сибирь чтобы загнать. Ну, а послѣ того все-жъ таки волю объявили.

— Вотъ какой казакъ!—повторили опять хохлы.

— Да. А потомъ, какъ онъ умеръ у Сибири,—его вотъ на Днѣпрѣ и закопали, въ глухомъ мѣстѣ, чтобы на виду очень не былъ... Тутъ и могила его... И крестъ видать... Вотъ поѣдемъ—видно будетъ... Подъ Каневомъ, версты три книзу... По водѣ... По правую руку...

Всѣ помолчали, какъ будто хотѣли хорошенько вникнуть въ сообщенную новость.

— Нема нонѣ такихъ казаковъ, нема, нема! — вдругъ сказалъ старый хохоль, раскуривая трубку. — Э-эхъ, донька, донька!.. — вздохнулъ онъ, съ какой-то любовной тоскою взглянувъ на свою красивую дивчину.

— Неправильно вы, дѣдъ, говорите, — замѣтилъ молодой хохоль цыганскаго типа: — можетъ, гдѣ и есть такіе казаки, — да на виду ихъ нема.

— Нема нонѣ такихъ казаковъ! — повторилъ упрямо старикъ. — А позвольте вы, панычу, спросить васъ объ одномъ дѣлѣ? — обратился онъ неожиданно ко мнѣ.

— Спрашивайте, — сказалъ я.

— Вотъ объ Сибири былъ разговоръ... А въ какую сторону эта Сибирь будетъ?.. И теперь Амурь-рѣка есть тамъ? Далече?

Я сказалъ.

— А Уссурь-рѣка далече?

Я отвѣтилъ, но когда спросилъ его, зачѣмъ это ему нужно, — онъ что-то промычалъ, сказалъ, что... такъ, къ слову, такъ какъ разговоръ о Сибири шелъ... и затѣмъ, видимо, не желалъ больше говорить.

— Зачѣмъ! Сбѣжать хохоль хочетъ, господинъ... Я знаю ихъ вотъ какъ... Хитрые они!.. Въ Сибирь сбѣжать хочетъ, — объяснилъ какой-то молодой вертлявый господинъ, въ длинномъ кафтанѣ, не то жидокъ, не то купчикъ, и засмѣялся: — Недовольный народъ!.. Не жив'т'ся имъ съ людьми!

— Нехай тебѣ больше останется!.. Бери все!.. — вдругъ возбужденно крикнулъ ему въ лицо старый хохоль и, отвернувшись, усиленно принялся перебирать свои пожитки.

Я отошелъ, чтобы прекратить этотъ тяжелый разговоръ.

Пароходъ тяжело пыхтѣлъ; на пристаняхъ всё больше и больше подсаживалось евреевъ и отъ ихъ крикливаго говора загудѣлъ нашъ пароходъ, какъ пчелиный рой; общее настроеніе давно перемѣнилось; гдѣ-то раздалась гармоника, заплѣлись — и веселая компанія подвыпившихъ „кацаповъ“ окончательно овладѣла палубой. Хохлы давно попрятали свои книжки и, чтобы не подвергать соблазну свои серьезныя и религіозно-приподнятыя думы, мирно уснули на своихъ походныхъ мѣшкахъ.

Мы все ближе подвигались къ могилѣ „старого Тараса“, но имъ никто уже не интересовался.

Наконецъ пароходъ присталъ къ Каневу; мы спустились на пристань и, нанявъ лодку, тотчасъ-же двинулись внизъ по водѣ. Когда, обогнавъ насъ, шумно прошелъ нашъ пароходъ, когда улеглось поднятое имъ волненіе, когда не слышно уже стало гвалта голосовъ на пристани и мы на полной свободѣ понеслись по мягкимъ волнамъ еще полного, какъ чаша, раскинувшася на необозримое пространство Днѣпра,—насъ охватило чувство какой-то необъяснимо-пріятной, тихой, поэтической меланхоліи; намъ казалось, что съ этихъ минутъ мы уже вступили въ область неотъемлемыхъ владѣній стараго Тараса, гдѣ каждый прибрежный холмъ, каждая заводинка съ рыбацкой хатой, каждая купа тополей вдали, около кучки разбросанныхъ бѣлыхъ мазанокъ, наконецъ каждый вздохъ этого могучаго старика — Днѣпра были одухотворены любвеобильной симпатіей родного имъ кобзаря. Черезъ полчаса холмы на правомъ берегу стали появляться всё чаще, становились выше и обрывистѣе, ложбины между ними гуще заросли молодымъ дубнякомъ; Днѣпръ какъ-будто сердитѣе и ворчливѣе сталъ ударять въ свои крутые бока.

— А вотъ сейчасъ и тарасовъ хуторъ, — сказалъ нашъ проводникъ: — вотъ тутъ и старый Тарасъ нашъ поселился! Милости просимъ!

Какъ извѣстно, по возвращеніи на родину, самой излюбленной мечтой Шевченко сдѣлалась мысль купить на берегу Днѣпра кусокъ земли, поставить здѣсь хату и провести въ ней остатокъ своихъ многострадальныхъ дней, сложивъ тутъ-же въ родную землю свои кости. И эта мысль уже была близка къ осуществленію; старикъ, какъ говорятъ, самъ присматривалъ уже такой уголокъ и облюбовалъ его именно здѣсь, подъ Каневомъ. Но поѣхавъ въ Петербургъ, онъ захворалъ тамъ и умеръ, не успѣвъ осуществить своей мечты, — и только нѣсколько лѣтъ спустя кружокъ его поклонниковъ, собравъ необходимую сумму, купилъ намѣченный имъ уголокъ земли и перевезъ сюда его прахъ, исполняя его предсмертную волю.

Лодка быстро и круто повернула къ берегу, къ одному изъ зеленѣющихъ высокихъ холмовъ, — и на самой вершинѣ его вдругъ заблесталъ передъ нами большой бѣлый крестъ, облитый яркими лучами склонявшагося къ закату солнца. Это было и необыкновенно-просто, и необыкновенно-величественно; какъ-то невольно хотѣлось обнажить голову при видѣ этого про-

стого, но такого глубоко-поучительнаго символа страданія и любви.

Когда, въ избѣжаніе крутого подъѣма на вершину холма, мы стали подниматься на него болѣе отлогимъ обходомъ, впечатлѣніе необыкновенной чарующей простоты было еще болѣе поразительно; казалось, дѣйствительно мы шли въ мирный, поэтическій пріютъ добраго, любящаго, гостепріимнаго дѣда, который вотъ-вотъ появится передъ нами съ своей задумчиво-ласковой улыбкой. Кругомъ была невозмутимая тишина весенняго вечера; вправо разстилалась зеленая равнина съ разбросанными по ней рѣдкими мазанками, влѣво — мягко и плавно катилъ свои синія волны широкій Днѣпръ, чуть слышно ударяясь въ подошву холма съ бѣлымъ крестомъ, поставленнымъ на небольшомъ зеленомъ курганѣ съ желѣзной бѣлой рѣшеткой. А вотъ, невдалекѣ, у подошвы кургана, пріютилась и она — эта крохотная, бѣлая мазанка, — тотъ роскошный палаццо, о которомъ мечталъ бѣдный поэтъ, какъ о лучшемъ своемъ пріютѣ, и которому теперь суждено оберегать и покоить лишь прахъ своего хозяина, да тотъ добрый духъ его, который невидимо виталъ надъ нимъ здѣсь. Оказалось, мы были не одни. Скоро мы услышали мѣрное негромкое чтеніе и замѣтили мирно и скромно пріютившуюся сбоку рѣшетки незнакомую группу: старушку, сухую и болѣзненную, въ простомъ черномъ платьѣ, повязанную платкомъ, молодого человѣка въ бѣлой хохляцкой барашковой шапкѣ, съ бойкими черными глазами и маленькими усиками, и трѣхъ молодыхъ дѣвушекъ въ расшитыхъ малорусскихъ сорочкахъ.

Были-ли это дѣти духовенства изъ ближайшихъ сѣлъ, или же представители той „молодой,“ школьной деревни, которые уже нерѣдко появляются теперь среди деревенскихъ палестинъ, или тѣ и другіе вмѣстѣ, — трудно было сказать, но ихъ присутствіе здѣсь, въ этомъ поэтическомъ уединеніи, придавало еще болѣе милый и задушевный колоритъ общей картинѣ. Мы долго сидѣли, всматриваясь въ безграничную даль Днѣпра, какъ очарованные, вслушиваясь то въ знакомые, какъ музыка, гармоническіе и играющіе стихи „Кобзара“, которые читалъ юноша, то въ невнятный рокотъ днѣпровской волны, какъ будто рассказывавшей намъ были сѣдой казацкой старины.

Наша идиллія была, однако, скоро нарушена неожиданнымъ посѣщеніемъ. Вдали послышался шумъ подъѣзжавшихъ бога-

тыхъ экипажей и скоро показалась группа, оживленно и весело болтавшихъ попольски, богато разодѣтыхъ кавалеровъ и дамъ. Одинъ изъ молодыхъ шляхтичей, съ тонко и изящно закрученными усами, — когда вся компанія подошла къ подошвѣ кургана, — вдругъ, схвативъ за руки дамъ, крикнулъ: „*Gé, mesdames! Hor-là!.. Hor-là!*“, и выдѣлывая на, какъ въ мазуркѣ, быстро вбѣжалъ съ своими дамами на вершину. Оживленный, веселый говоръ готовъ былъ окончательно смутить витавшій здѣсь невидимо духъ стараго народнаго пѣвца, — но такъ какъ юноша, на минуту смущенно пріостановившись, началъ читать опять съ еще большею выразительностью, то веселая компанія какъ-будто невольно смокла. Нѣсколько минутъ казалось, какъ-будто и еѣ покорили эти чудные, могучіе звуки; казалось, она вслушивалась въ нихъ какъ во что-то новое, необыкновенное и вмѣстѣ... странное. Откуда, изъ какой это дали времени несутся эти странные, могучіе звуки, то полные тоски и любви, то ужаса и негодованія?.. Но это продолжалось очень недолго.

— *Hor-là, mesdames, hor-là!* — вмѣсто отвѣта крикнулъ красивый шляхтичъ, и, снова весело подхвативъ подъ руки красивыхъ дамъ, подъ тактъ мазурки, спустился съ кургана. И только одна молодая дѣвушка, какъ показалось мнѣ, пріостановилась на минуту; какъ-будто ей не хотѣлось уйти такъ скоро, какъ-будто ей хотѣлось вотъ такъ-же, какъ и мы, опуститься къ подножію этого креста и слушать, и слушать еще и еще эти чудные звуки такой простой, такой полной дѣтской чистоты поэзіи, и этотъ невнятный рокотъ стараго Днѣпра. Но еѣ окрикнули, и она, задумчиво оборачиваясь на крестъ, медленно спустилась съ кургана... Не была-ли это „Дикарка“ среди блестящей *compagnie de plaisir*, загнанной въ этотъ мирный уголокъ лишь жаждой пресыщеннаго воображенія?.. Если такъ, — то придетъ время и она вспомнить этотъ крестъ, и придетъ опять сюда, но уже не въ веселой компаніи, а полная трепета и восторга пробужденной мысли и взволнованнаго чувства.

Нашъ спутникъ напомнилъ намъ о маленькой „тарасовой хатѣ“. Вся бѣлая, какъ голубь, чистая и прибранная, какъ къ Свѣтлому дню, она невольно манила къ себѣ какимъ-то наивнымъ весельемъ и уютомъ. Мы вошли въ низенькую дверь; маленькія сѣнцы раздѣляли хатку на двѣ половины: въ одной,

направо, маленькой каморкѣ съ русской печкой, жилъ сторожъ, въ другой, налѣво, выбѣленной и какъ будто только-что омытой весеннимъ дождемъ, сіяющей дѣвственной чистотой, какъ невѣста, — жилъ... да, именно жилъ онъ, этотъ вѣчный, неумирающій старый кобзарь. Простыя деревянные лавки по стѣнамъ, сосновый столъ, — на немъ „Кобзарь,“ — и небольшой портретъ — копія Рѣпина — на стѣнѣ, который чья-то внимательная рука по-малорусски обвѣсила неприхотливымъ вышитымъ ручникомъ, — вотъ и всё... и больше ничего не нужно! И вы чувствуете, что лучше и трогательнѣе было-бы трудно придумать что-либо иное для памяти такого старика на его могилѣ. Мы сидѣли, не смѣя шевельнуться, иллюзія была полная, — до того чувствовалось здѣсь невидимое таинственное присутствіе великой души этого „единого отъ малыхъ“, такъ много обиженнаго отъ жизни, — и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ много возлюбившаго и простившаго. Невольно мысль приводила на память другого такого-же „единого отъ малыхъ“, такого-же „пѣвца народа,“ и думалось, что, можетъ быть, въ этомъ далѣкомъ глухомъ уголѣ, въ темныя длинныя ночи, сходятся здѣсь ихъ братски-родственные тѣни — и создаютъ вдохновенныя пѣсни будущаго, гимны великой свободѣ и братству, для выраженія которыхъ у живыхъ нѣтъ еще ни звуковъ, ни символовъ. А они уже тамъ давно заключили свой братскій союзъ: одинъ — весь порывъ, страсть, протестъ могучаго непосредственнаго чувства, и вмѣстѣ — нѣжная ласка, печаль и скорбь любящей материнской души; другой — юный Антей, только-что прикоснувшійся къ родной землѣ, только-что почувствовавшій первый духовный трепетъ отъ этого прикосновенія, весь — глубина внутреннего дѣвственно-чистаго чувства, весь — созерцаніе, таинственный запросъ, весь — жажда созиданія и идеала.

Мы еще сидѣли въ „тарасовой хаткѣ,“ мысленно созерцая эти двѣ родственныя тѣни, когда въ отворенную дверь вдругъ стала доноситься до насъ сначала робкая, неувѣренная нѣжная мелодія... Катерина-ли, Наймычка-ли, или Русалочка вышла изъ Деѣпра и тихо рыдала у ногъ стараго дѣда? Но вотъ голосъ крѣпчалъ всё больше, становился увѣреннѣе; серебромъ звенѣла пѣсня въ чистомъ, прозрачномъ воздухѣ весенняго вечера, — и вдругъ рыдающая мелодія оборвалась. Когда мы вышли, скромная юная группа уже медленно спустилась съ кургана и двинулась вдоль берега. Намъ ещё чудились трепетавшія

въ воздухѣ рыданія, — какъ вдругъ, дружно подхваченный молодыми голосами, какъ бы въ отвѣтъ на эти рыданія, мощно и сильно заговорилъ самъ дѣдъ — и широкой волной полились и заходили украинскія „думы“ по родному Днѣпру.

Мы спустились въ лодку, выѣхали на просторъ Днѣпра и подъ чарующіе звуки этихъ думъ, укачиваемые бурливой волной, медленно двинулись по теченію. А пѣсни стараго кобзаря лились и лились...

Привитай-же, моя ненько, моя Украино,
Моихъ дитокъ нерозумныхъ, якъ свою дытину!

молилъ дѣдъ, — и Днѣпръ подхватывалъ эти мольбы и уносилъ ихъ всё дальше и дальше. О, еслибы юная паночка, внезапно такъ задумавшаяся у бѣлаго креста, услышала здѣсь эти, то рыдающіе и молящіе, то мощные и суровые звуки, — она не скоро вернулась бы къ своей веселой компаніи!..

Н. Златовратскій.

Изъ неизданной переписки В. Г. Бѣлинскаго.*)

(Письма его къ невѣстѣ—съ предисловіемъ П. Н. Милюкова).

Въ теченіе своей недолгой жизни В. Г. Бѣлинскій пережилъ двѣ сильныхъ сердечныхъ привязанности. Въ обѣ онъ внесъ весь пылъ своей страстной натуры; обѣ сыграли въ его біографіи очень значительную роль. Но роль каждой изъ нихъ была далеко неодинакова; и самый характеръ той и другой привязанности былъ такъ же различенъ, какъ непохожъ былъ самъ Бѣлинскій 40-хъ годовъ на Бѣлинскаго 30-хъ годовъ. Романтическая любовь 30-хъ годовъ „привела въ движеніе всѣ тайныя родники“ душевной силы Бѣлинскаго-юноши и, такимъ образомъ, „открыла ему самому все богатство его натуры“. Разсудительная любовь 40-хъ годовъ должна была дать зрѣлому обществу дѣятелю „мирное, ясное, теплое существованіе, охоту къ труду и любовь къ своему углу“. Бракъ былъ сознательной цѣлью этой любви, тогда какъ для прежней, по романтическому кодексу, — онъ долженъ былъ бы сдѣлаться „гробомъ“.

Съ исторіей послѣдней сердечной привязанности Бѣлинскаго знакомятъ насъ печатаемыя ниже письма его къ будущей женѣ. Трудно прибавить что-нибудь къ той яркой характеристикѣ, которую дѣлаетъ своему тогдашнему настроенію самъ Бѣлинскій въ этихъ письмахъ. Но на обязанности комментатора остается объяснить, какъ подготовлена была почва для такого настроенія всею предыдущею душевною жизнью Бѣлинскаго. Едва-ли даже можно понять надлежащимъ образомъ смыслъ этого настроенія, не поставивъ его въ связь съ предшествовавшей сердечной исторіей Бѣлинскаго. Вотъ почему нѣсколько замѣчаній о томъ душевномъ переломѣ, который пе-

¹⁾) Незначительная часть изъ печатаемыхъ здѣсь писемъ, впрочемъ, были помѣщены въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ (въ №№ 163, 166, 185 за 1895 годъ).

режить былъ нашимъ критикомъ на короткомъ промежуткѣ — отъ середины 30-хъ годовъ до начала 40-хъ, будутъ нелишними для правильнаго пониманія издаваемой далѣе переписки.

Въ срединѣ 30-хъ годовъ Бѣлинскій былъ начинающимъ юношей, не брезговавшимъ самой черной журнальной работой. Не смотря на быстрый успѣхъ своихъ первыхъ литературныхъ статей, онъ не успѣлъ еще узнать себя и не довѣрять своимъ силамъ. Его окружало общество, въ которомъ не было мѣста для выгнаннаго студента, безпріютнаго бѣдняка, принужденнаго биться изъ-за куска хлѣба, — неблаговоспитаннаго плебея, лишеннаго всего, что считалось тогда необходимыми признаками хорошаго образованія и хорошаго тона. Конечно, молодые сверстники, вмѣстѣ съ нимъ проходившіе университетъ и заключившіе между собой союзъ дружбы во имя общихъ имъ всѣмъ идеаловъ, не могли дать ему почувствовать раздѣлявшее ихъ разстояніе. Но за друзьями стояли ихъ семьи, въ которыхъ косились на дружбу съ Бѣлинскимъ; друзья оставались, при всемъ своемъ идеализмѣ, членами того же общества, въ которое Бѣлинскій не имѣлъ доступа; помимо ихъ воли и сознания, ихъ продолжало отдѣлять отъ Бѣлинскаго все, чѣмъ ихъ сдѣлало домашнее воспитаніе, — все, чего требовали отъ нихъ понятія и привычки ихъ круга. Ихъ юношескій идеализмъ, какъ давно уже было замѣчено, носилъ оттѣнокъ аристократизма, свойственный ихъ соціальной средѣ. Борьба съ настоящей нуждой здѣсь была неизбежна; занятія литературой, какъ средство къ жизни, вызвали презрѣніе; наука, литература и искусство считались здѣсь исключительно орудіемъ саморазвитія, а не предметомъ пропаганды; и менѣе всего кружковъ склоненъ былъ признать выразителемъ своихъ мнѣній товарища, усвоившаго эти мнѣнія съ чужого голоса и немедленно пустившагося кричать о нихъ на весь міръ и зарабатывать этимъ путемъ жалкіе „гривенники“. Успѣхъ въ „толпѣ“ могъ только раздражить друзей, презиравшихъ толпу и брезговавшихъ „дешевыми средствами“, въ употребленіи которыхъ они видѣли весь секретъ этого успѣха. Недовольство журнальной дѣятельностью Бѣлинскаго дошло до того, что однажды друзья объявили Бѣлинскому свое коллективное мнѣніе, что онъ не имѣетъ права печататься и что онъ лишенъ эстетическаго чувства.

Въ этомъ отношеніи друзей къ Бѣлинскому заключался зародышъ пережитой имъ душевной драмы. Мы поймемъ, какъ

эта драма должна была для него быть тяжелой, если припомнить его отношение къ друзьямъ. До чрезвычайности скромный въ своемъ мнѣніи о самомъ себѣ, готовый думать, что „хуже его не было никого у Бога“, Бѣлинскій началъ съ безусловнаго преклоненія передъ нѣкоторыми изъ этихъ друзей. Ихъ міросозерцаніе онъ принималъ цѣликомъ, какъ откровеніе свыше; и сужденіе друзей о самомъ себѣ долженъ былъ принять безпрекословно, такъ какъ оно вытекало съ логической необходимостью изъ этого міросозерцанія. По теоріи, справедливо или несправедливо окрещенной въ дружескомъ кругу Бѣлинскаго именемъ „фихтианства“,—надъ пошлой толпой возвышались немногочисленные избранники существа, способные ощущать въ себѣ отборныя чувства, недоступныя обыкновеннымъ смертнымъ. Органомъ этихъ чувствъ высшаго порядка считалась у нашихъ романтиковъ 30-къ годовъ—эстетическая способность; а когда романтическое настроеніе, во второй половинѣ этого десятилѣтія, вылилось въ философскія формулы, то высшая ступень духовной жизни получила названіе „абсолютной жизни“, „жизни въ духѣ“ или „состоянія благодати.“ Сравнительно съ этой высшей жизнью въ духѣ, окружающая дѣйствительность признава была „мнимой“ и „пошлой“: человекъ, „погрязшій“ въ этой дѣйствительности, въ глазахъ кружка лишенъ былъ всякаго участія въ истинной жизни. Признавалась, правда, возможность и промежуточнаго состоянія: человекъ, отрѣшившійся отъ *пошлой* дѣйствительности, но еще не дошедшій до *истинной*, находился, по теоріи друзей, на низшей ступени духовной жизни, въ состояніи „прекраснодушія“. Въ этомъ промежуточномъ состояніи считалъ себя находящимся Бѣлинскій—и смотрѣлъ снизу вверхъ на счастливыхъ обладателей „благодати“ и участниковъ „абсолютной жизни“. Вывести изъ этого положенія и привести въ состояніе „благодати“ должна была „любовь“. „Любовь“—это было „слиянiе въ духѣ“ двухъ избранныхъ и предназначенныхъ другъ для друга существъ. При первой встрѣчѣ эти существа сразу „узнавали“ другъ друга, одновременно возгорались взаимнымъ чувствомъ и стремились къ соединенію. И Бѣлинскій слишкомъ настойчиво ждалъ, чтобы не дожидаться желанной встрѣчи. И ему встрѣтилось существо изъ міра, который онъ и безъ того привыкъ считать „вышнимъ“; въ семьѣ ближайшаго друга онъ нашелъ себѣ „душу, родную по духу“. До сихъ поръ все шло, какъ слѣдовало по теоріи. Къ фантазіи,

заранѣ настроенной на извѣстный ладъ, вскорѣ присоединилось и дѣйствительное чувство. Любовь помогла дружбѣ убѣдить Бѣлинскаго въ истинности усвоеннаго имъ міровоззрѣнія. Связанный двойными узами любви и дружбы, Бѣлинскій заставлялъ себя закрыть глаза на то рѣзкое несоотвѣтствіе, которое существовало между требованіями его натуры, условіями его житейской обстановки — и кружковой теоріей. Если же несоотвѣтствіе становилось ужъ чрезчуръ замѣтнымъ, то Бѣлинскій не колебался осудить самого себя и оправдать теорію; въ то время онъ готовъ былъ всегда „унизить себя“ за то, „что должно бы было заставить его гордиться собою“. Сердце было растерзано, — зато идея торжествовала, и, „утирая кулакомъ кровавыя слезы“, Бѣлинскій „повторялъ“ за друзьями, „что жизнь — блаженство“ „и что ему вмѣстѣ съ другими „чудо какъ хорошо жить“ въ фантастическомъ мірѣ, который признавался друзьями за истинную дѣйствительность.

Нужны были тяжелыя разочарованія въ любви и дружбѣ, нужно было Бѣлинскому перенести цѣлый рядъ „оскорбленій въ самыхъ законныхъ и святыхъ стремленіяхъ и желаніяхъ“, чтобы разрушилось это очарованіе кружка и чтобы Бѣлинскій получилъ возможность взглянуть на жизнь своими собственными глазами. Въ другомъ мѣстѣ мы излагали подробно исторію этихъ разочарованій и связаннаго съ ними крушенія старой теоріи ¹⁾.

Не повторяя сказаннаго тамъ, напомнимъ только, что дружба оказалась слишкомъ деспотичной, а любовь осталась нераздѣленной, — и что въ основѣ той и другой неудачи Бѣлинскій не могъ, наконецъ, не разглядѣть пренебрежительнаго отношенія къ собственной особѣ и вытекавшаго отсюда нежеланія сколько-нибудь войти въ его душевную жизнь. Онъ слишкомъ много давалъ — и слишкомъ поздно замѣтилъ, какъ мало получалъ въ замѣнъ. „Боже мой, какую глупую роль игралъ я!“ вспоминаетъ онъ объ этомъ черезъ нѣсколько лѣтъ; „какъ много было во мнѣ любви и какъ мало благородной гордости“.

Дѣйствительно, преобладающимъ чувствомъ среди сердечныхъ неудачъ долго оставалось у Бѣлинскаго чувство собственного „недостойства“. Въ любви онъ не встрѣтилъ сочувствія:

¹⁾ „Русскія Вѣдомости“, 1895, №№ 312, 317, 323: „Любовь у идеалистовъ 30-хъ годовъ“ II, В. Г. Бѣлинскій.

это значило для него, что онъ не заслуживаетъ любви избранной натуры и принадлежитъ къ „пошлякамъ“. Дружба отнеслась къ нему свысока и признала „низменными“ его отношенія къ „дѣйствительности“. Онъ готовъ былъ согласиться и съ этимъ, приводя лишь въ свою пользу смягчающія обстоятельства. Условія наслѣдственности не сложились-ли для него самымъ невыгоднымъ образомъ? Рожденный съ дурными задатками, не развились-ли онъ ихъ въ себѣ благодаря отвратительнымъ условіямъ своего воспитанія? И не опредѣлили-ли роковымъ образомъ эти условія наслѣдственности и воспитанія неуравновѣшенность, „нервичность“ его натуры, въ противоположность счастливому — „гармоническому“ душевному складу его друзей? Да, несомнѣнно, съ такими задатками достиженіе высшей жизни для него недоступно, и одно стремленіе къ ней должно остаться его вѣчнымъ уделомъ.

Цѣлый рядъ обстоятельствъ вывелъ, наконецъ, Бѣлинскаго изъ этого состоянія самоуничженія. Во-первыхъ, бить всегда по одному и тому-же больному мѣсту, которое онъ самъ-же обнаружилъ передъ друзьями, — значило, въ концѣ концовъ, притупить чувствительность. „Глупо и пошло — повторять цѣлую жизнь: я неучъ, я дуракъ, я жалокъ, я смѣшонъ“, — замѣчалъ, наконецъ, самъ Бѣлинскій. Во-вторыхъ, при всемъ своемъ ослѣпленіи, Бѣлинскій долженъ былъ замѣтить цѣлый рядъ крупныхъ и мелкихъ несовершенствъ въ предметахъ своей любви и дружбы: мало-по-малу повязка спала съ его глазъ и онъ ниввелъ съ пьедестала своихъ кумировъ.

Отношенія къ нему самому послужили при этомъ пробнымъ камнемъ. „Чувство всегда вѣрно, никогда не обманываетъ въ дѣлахъ сердца“: и это непосредственное чувство давно заставило Бѣлинскаго замѣтить недостатокъ деликатности въ обращеніи съ его душевными ранами. Бѣлинскій покался во всемъ, въ чемъ могъ, и готовъ былъ взвести на себя всякія небывлицы. Но этого оказалось мало: друзья шли дальше и отрицали у него то, въ чемъ онъ не думалъ сомнѣваться: отрицали все, что составляло его силу, какъ писателя. Это было уже слишкомъ. При всей своей готовности къ самообвиненіямъ, Бѣлинскій всегда былъ чуждъ ложной скромности. Онъ не могъ не чувствовать, что онъ „уже не кандидатъ въ члены общества, а членъ его“, и что у него есть свое дѣло и свое мѣсто, на которомъ онъ далеко не лишній. И то обстоятельство, что

другим этого не понимали, сразу показало Бёлинскому, какой „необитаемый остров“ — как маленький кружок и сколько условного и наивного скрывается въ нём высокомерномъ презрѣніи къ действительности. Теперь съ каждымъ днемъ онъ получалъ новые доказательства, что друзья судили о действительности, не зная ея, и что, „стараясь ухватить мыслью и мышлениемъ — то, что понимается просто и легко — „инстинктивнымъ чувствомъ“, они только „щелкались и стучались объ действительность“. Жестокая борьба съ нуждой уже давно показала ему, что „действительность есть чудовище, вооруженное острыми когтями и железными челюстями“ и что она „метаетъ въ тебя насмѣшливо, ядовито“ тѣмъ, кто не хочетъ съ ней снаться... Неудачи въ любви и дружбѣ окончательно убѣдили его въ томъ, что „не все то бываетъ, что, кажется, должно бы быть“, что „между міромъ фантазій и міромъ действительности нѣтъ ничего общаго“ и что „действительность не лошадь, которою можно управлять по волѣ, а кучерь, который править нами и пренесправно помысливаетъ насъ своими бычемъ“. „Для меня нѣтъ ужаснѣе мысли“, говорилъ Бёлинскій въ послѣдствіи, „какъ остаться у жизни въ дуракахъ, быть ей дюпомъ. Пусть бьетъ она меня, но я буду знать, кто и что она, и на удары буду отвѣчать промѣлтами. Это лучше, чѣмъ позволить ей спеленать себя и убаюкивать, какъ ребенка“. Итакъ, „надо жить, надо двигаться въ живой действительности“, „ощущенія, волнованія жизни — это главное, а тамъ можно и пофилософствовать“. И „съ ненасытнымъ любопытствомъ“ Бёлинскій началъ вглядываться въ эту действительность, „прежде столь презираемую“ кружкомъ. Въ этотъ самый моментъ подошло тегеліанство съ своей всеобъемлющей формулой о разумности всего существующаго, и Бёлинскій „вырвался отъ радости“. Въ знаменитой формулѣ онъ наконецъ нашелъ свое *mot d'enigme*. Для кружка вся окружающая действительность была „пошла“ и „призрачна“; для него она будетъ теперь все сплошь „разумна“: „ничего изъ нея нельзя выкинуть и ничего въ ней нельзя похулить и отвергнуть“. Съ этой разгадкой сразу все стало понятно и просто; весь міръ, поставленный въ кружокъ вверхъ ногами, возвращался теперь въ свое естественное положеніе. И для Бёлинскаго „настаетъ время простыхъ признаній“ — въ томъ-же, въ чемъ онъ признавался и прежде, но уже безъ всякаго самоуничиженія. Да, онъ не гений и

не обыкновенный человек, онъ какъ все, — „простой, добрый малый“; онъ не можетъ достигнуть „абсолютнаго блаженства“ путемъ мысли и путемъ излюбленнаго пріятелемъ „самоотреченія“ (Entsagung, Resignation); онъ будетъ искать его въ жизни, „не созерцательно, а дѣятельно“; и найдетъ свое блаженство „не въ абсолютѣ“, не въ „рефлексіи“, а въ простомъ непосредственномъ наслажденіи жизнью, безъ всякихъ справокъ о томъ, насколько въ индивидуальныхъ „частностяхъ“ жизни отражается философское „общее“. Прочъ „добровольное отреченіе отъ своей еущности, своей самостоятельности, по причинѣ разныхъ философскихъ вліяній. Кто пляшетъ подъ чужую дудку, тотъ всегда дуракъ“. „Въ чему философскія маски—будь всякій тѣмъ, что есть“. И Бѣлинскій окончательно рѣшилъ, что, каковъ-бы ни былъ, — онъ самъ по себѣ, что ругать себя и впадать на другіе на свой счетъ—глупо и смѣшно, что у всякаго свое призваніе, своя дорога къ жизни“.

Въ этомъ настроеніи онъ почувствовалъ потребность „оторваться отъ родного круга“, разорвать, хотя-бы на время, старыя кружевныя связи. Прочъ, дальше отъ нихъ—къ чужимъ людямъ, въ чужой городъ, гдѣ можно будетъ окунуться съ головою въ новую „дѣйствительность“, невѣдомую и заманчивую, остаться наединѣ самому съ собою и сосредоточиться на своихъ собственныхъ, самостоятельныхъ, независимыхъ отъ дружескаго вліянія мысляхъ! Переездъ въ Петербургъ былъ для робкаго, непрактичнаго Бѣлинскаго героическою попыткой—удовлетворить этой назрѣвшей душевной потребности.

Полный расчетъ со старымъ долженъ былъ быть послѣдствіемъ этого переезда. Бѣлинскій не признавалъ въ себѣ самъ способности останавливаться на серединѣ; не мудрено, что, какъ всегда, онъ и на этотъ разъ оказался „въ экстремѣ“. То, съ тѣмъ онъ съ гордостью носился нѣсколько лѣтъ, какъ съ „терновымъ вѣнкомъ страданія“, — его нераздѣленная любовь, — теперь уже представлялась ему „красоту интовскимъ волнакомъ съ бубенчиками“, добровольно на себя надѣтый. Свою „абсолютность“ онъ готовъ былъ, „еще съ придачею послѣдняго сюртука“, отдать „за ту полноту, съ какою нѣкой офицеръ спѣшитъ на балъ, гдѣ много барышень и скачетъ штандартъ“.

Шиллеръ сдѣлался „любимымъ врагомъ“ Бѣлинскаго, и онъ мечталъ ему „за все то, отъ чего страдалъ во имя его“ прежде. Идеальныхъ женщинъ Шиллера, помимо которыхъ для него

прежде „не было женщины“, онъ изъяслялъ теперь готовность промѣнять на слесаршу Пошлепкину. „Что такое женщина“, онъ „узналъ“ теперь изъ „Ромео и Юліи“; легкомысленныя лирики Гете и Гейне приводили его въ восторгъ.

„Напрасно влачишь ты въ печали томящей
Часы драгоцѣнные жизни летящей
Затѣмъ, что своею ты милой забыть.
О, пусть возвратится пора золотая!
Такъ нѣжно, такъ сладко цѣлуетъ вторая,—
О первой не будешь ты долго грустить!“

Въ Москвѣ онъ уже проповѣдовалъ, что надо относиться къ жизни просто, „не заноситься, брать что подъ руками, и за неимѣніемъ лучшаго пировать, чѣмъ Богъ послалъ“. Въ Петербургѣ онъ шелъ дальше и находилъ, что жизнь надо презирать, чтобы умѣть пользоваться ея благами. Все въ жизни относительно; страданія и наслажденія одинаково ступеньваются передъ великимъ таинствомъ уничтоженія и смерти. Жизнь — ловушка, а мы — мыши: инымъ удастся сорвать приманку и выйти изъ западни, но большая часть гибнетъ въ ней, а приманку развѣ понюхаетъ... Нынѣшній день нашъ.... будемъ же пить и веселиться, *если можемъ*“.

Конечно, Бѣлинскій не могъ „пить и веселиться“ послѣ такихъ разсужденій. На днѣ души его копился горькій осадокъ, и сердце щемило глухое ощущеніе внутренней пустоты. „Въ душѣ моей сухость, досада, злость, желчь, апатія, бѣшенство и пр. и пр. Вѣра въ жизнь, въ духъ, въ дѣйствительность—отложена на неопредѣленный срокъ—до лучшаго времени, а пока въ ней безвѣріе и отчаяніе“. „Душа совсѣмъ расклеилась и похожа на разбитую скрипку — одиѣ щепки. Собери и склей — скрипка опять заиграетъ, и, можетъ быть, еще лучше, — но пока одиѣ щепки“. „Плохо, братъ, такъ плохо, что не затѣмъ и жить. Въ душѣ—холодъ, апатія, дѣнь непобѣдимая... И не люблю, и не страдаю... Надежды на счастье нѣтъ... не для меня счастье. Отъ него отказалась ужъ и услужливая моя фантазія“. Эти и подобныя признанія постоянно вырываются у Бѣлинскаго въ письмахъ къ Боткину 1839—40 годовъ.

„Однако же“, замѣчаетъ Бѣлинскій уже весной 1840 года, „внутри что-то дѣется само собою“. Дѣйствительно,—на раз-

валинахъ стараго міровоззрѣнія уже складывалось новое, которому Бѣлинскій вскорѣ и предался съ обычной своей горячностью. „Ты знаешь мою натуру“, пишетъ онъ осенью 1841 г.: „она вѣчно въ крайностяхъ“... Я съ трудомъ и болью расстаюсь съ старою идеей, отрицаю ее до-нельзя, а въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Итакъ, я теперь въ новой крайности. Это—идея *соціализма*, которая стала для меня идеею идей, альфою и омегой вѣры и знанія“... „Мнѣ стало легче жить“, встрѣчаемъ въ письмѣ, написанномъ еще годъ спустя: „въ душѣ моей есть то, безъ чего я не могу жить,—есть вѣра“.

Это было—очень много; но далеко еще не все, что нужно было Бѣлинскому, чтобы чувствовать себя удовлетвореннымъ. Прежде всего, по самому своему содержанію, новая вѣра вела за собою и новыя тернія. „Я теперь совершенно созналъ себя, понялъ свою натуру. То и другое можетъ быть вполнѣ выражено словомъ *That*, которое есть моя стихія. А сознать это—значитъ сознать себя заживо зарытымъ въ гробу, да еще съ связанными назади руками“. „Что мнѣ въ томъ, что я увѣренъ, что разумность восторжествуетъ, что въ будущемъ будетъ хорошо, если судьба велѣла мнѣ быть свидѣтелемъ торжества случайности, неразумія, животной силы? Что мнѣ въ томъ, что моимъ или твоимъ дѣтямъ будетъ хорошо, если мнѣ скверно,—и если не моя вина въ томъ, что мнѣ скверно?“ „Дайте... человѣку сферу свойственной его способностямъ дѣятельности,—и онъ переродится“. — Но эта сфера... ея негдѣ взять. Этой сферы и теперь для меня нѣтъ, и никогда, никогда не будетъ ея для меня.... Цѣлесообразная и разумная дѣятельность, по теперешнимъ понятіямъ Бѣлинскаго, возможна только въ обществѣ, сознательно преслѣдующемъ свои общественные интересы; и прилагая эти понятія къ тому, что онъ видѣлъ вокругъ себя, Бѣлинскій окончательно приходилъ къ безотрадному выводу, что онъ и все его поколѣніе суть жертвы „безалабернаго состоянія русскаго общества“, что единственнымъ убѣжищемъ отъ презираемой ими и презирающей ихъ дѣйствительности можетъ быть только „необитаемый островъ“, какимъ и былъ ихъ кружокъ, и что, при этихъ условіяхъ, и сами они, и ихъ любовь и дружба, стремленія и дѣятельность—превращаются въ какой-то „призракъ“. „Будь литература на Руси выраженіемъ общества, а слѣд. и потребностью его,—

будь хоть сколько-нибудь человеческая цена за", — тогда было бы дело другое.

Къ сознанию своего безсилія присоединилось еще тяжелое чувство зависимости отъ поденнаго журнальнаго заработка. Необходимость „писать второй листъ, когда перваго уже написана корректура“, невозможность „прочесть что-нибудь для себя“, вѣстѣ съ напоминаніями близкихъ людей: „читай, Виссаріонъ, а не то черезъ годъ тебѣ будетъ трудно писать“, — все это временами вызывало у Бѣлинскаго отвращеніе къ перу и погружало его въ совершенную апатію. „Мнѣ кажется“, замѣчалъ онъ, „дай мнѣ свободу дѣйствовать для общества хотя на десять лѣтъ... и я, можетъ быть, въ три года возвратилъ бы мою потерянную молодость... полюбилъ бы трудъ, нашелъ бы силу воли“... Но, увы, это были однѣ мечты. Въ дѣйствительности же Бѣлинскій сравнивалъ себя съ „Прометеемъ въ карикатурѣ“. „Отечественныя Записки“ — моя скала, Краевскій — мой коршунъ. Мозгъ мой сохнетъ, способности тупѣютъ, и только „печаль минувшихъ дней въ моей душѣ, чѣмъ старѣй, тѣмъ сильнѣй“.

„Печалью минувшихъ дней“ была сердечная неудача Бѣлинскаго, нисколько не истребившая въ его душѣ потребности чувства. „Сквозь житейскій туманъ“ все еще видѣлись ему милые образы, „словно ангельскіе лики въ облакахъ“. И онъ сдѣлалъ даже попытку найти тлѣющую искру въ потухшемъ пламени своей старой привязанности. Онъ возобновилъ прерванное знакомство, перенесся въ обстановку, одно воспоминаніе о которой было дорого его сердцу. То, что онъ испыталъ, не удовлетворило его сердечной потребности, а только сдѣлало ее болѣе жгучей. Онъ долженъ былъ только убѣдиться, что воспоминанія не имѣютъ болѣе силы надъ нимъ, что прошлое уже не можетъ снова сдѣлаться настоящимъ. Онъ былъ уже не тотъ, что прежде, и старые друзья безсильны были пробудить въ немъ прежнія впечатлѣнія. Ему приходилось теперь „вновь знакомить ихъ съ собою и вновь знакомиться съ ними“. „Вы правы“, пишетъ Бѣлинскій особѣ, бывшей предметомъ его первой привязанности; „въ томъ и жизнь, что она безпрестанно нова, безпрестанно измѣняется... Только тѣ и живутъ, которые такъ думаютъ. Старое — Богъ съ нимъ: оно хорошо и прекрасно только въ той мѣрѣ, въ какой было прямою или косвенною причиною новаго; а само по себѣ — прочь его!“

И, въ самомъ дѣлѣ, то новое, что призывалъ теперь къ себѣ Бѣлинскій всѣми силами души, нисколько не походило на старое. „Экстатическую, мистическую“ любовь своей прошедшей юности онъ признавалъ теперь „возможной и дѣйствительной“ только „какъ моментъ, какъ вспышку, какъ утро, какъ весну жизни“. Онъ не былъ, однако же, болѣе и тѣмъ ненавистникомъ женщинъ, какимъ сдѣлало его на нѣсколько лѣтъ крушеніе его „платонической любви“. Романы Жоржъ-Зандъ указали ему середину между фривольнымъ и мистическимъ отношеніемъ къ женщинѣ;—и эта середина состояла въ уваженіи въ женщинѣ свободной человѣческой „личности“. Отъ любви Бѣлинскій не требовалъ теперь „чудесъ“ и не ожидалъ „слитія съ духомъ“; но онъ и не смотрѣлъ на нее болѣе, какъ на средство мимолетнаго наслажденія и не считалъ „пиръ во время чумы — лучшимъ явленіемъ жизни“. „Прежняя любовь не риемовала съ бракомъ, и вообще съ дѣйствительностью жизни“; новая любовь должна была прежде всего упорядочить условія внѣшняго существованія Бѣлинскаго: „разсудокъ тутъ игралъ роль не меньшую чувства, если еще не болѣшую“. Еще въ 1838 году Бѣлинскій предчувствовалъ для себя возможность такой любви безъ влюбленности—и брака „по разсчету“. „Не всѣмъ суждено любить (т. е. *влюбиться*), быть любимымъ и жениться по любви, почувствованной и сознанной прежде, чѣмъ вошла въ голову мысль о женитьбѣ; но... кромѣ пошлаго разчета есть еще разсчетъ человѣческій, имѣющій въ виду удовлетвореніе лучшей стороны своей человѣческой природы; — разсудокъ не есть единственный выходъ изъ состоянія чувства, но... то и другое можетъ дѣйствовать въ ладу, не мѣшая одно другому“. Эта идея крѣпко засѣла въ головѣ Бѣлинскаго; въ 1841 г. онъ пишетъ: „не знаю, что собственно разумѣлъ Гегель подъ „разумнымъ бракомъ“, но если я такъ понимаю его идею, то онъ—мужикъ умный. Любовь для брака дѣло не только не лишнее, но даже необходимое, но она имѣетъ тутъ другой характеръ—тикій, спокойный: удалось—хорошо; не удалось—такъ и быть, не умираютъ, не дѣлаются несчастными“. Наконецъ, ровно черезъ годъ Бѣлинскій дѣлаетъ уже откровенное примѣненіе этой мысли къ себѣ. „Знаешь-ли, когда пора человѣку жениться?“ спрашиваетъ отъ Боткина и отвѣчаетъ: „когда онъ дѣлается неспособнымъ влюбляться, перестаетъ видѣть въ женщинѣ „ея“, а видитъ въ ней

просто (ими рекъ)“. Еще годъ спустя Бѣлинскій уже завязалъ свои отношенія къ будущей женѣ и повелъ ихъ форсированнымъ маршемъ къ возможно быстрой развязкѣ.

Чего ожидалъ Бѣлинскій отъ этого брака? Читатель увидитъ это изъ печатаемыхъ далѣе писемъ. Но мы знали бы объ этомъ даже и въ томъ случаѣ, еслибы этихъ писемъ вовсе не существовало. Чѣмъ далѣе, тѣмъ больше овладѣвало Бѣлинскимъ чувство одиночества. Холостая квартира становилась ему годъ отъ году постылѣе. Окончивъ срочную журнальную работу, онъ спѣшилъ бѣжать изъ дома, отъ „сообщества съ собственнымъ лакеемъ“. Онъ искалъ общества женщинъ, но знакомый ему женскій кругъ не давалъ работы натянутымъ нервамъ,—Бѣлинскій все чаще и чаще искалъ отдохновенія за карточнымъ столомъ. „Отработался, и два-три дня у меня болитъ рука“, пишетъ онъ въ 1843 г.: „видъ бумаги и пера наводитъ на меня тоску и апатію, дую себѣ въ преферансъ, ставлю ремизы страшныя, ибо и игру знаю плохо и горачусь, какъ сумасшедшій—на мѣлокъ я долженъ рублей около 300, а переплатилъ мѣсяца за два (какъ началъ играть въ преферансъ) рублей 150. Благородная, братецъ, игра преферансъ! Я готовъ играть утромъ, вечеромъ, ночью, днемъ, не ѣсть и играть, не спать и играть. Страсть моя къ преферансу ужасаетъ всѣхъ; но *страсти нѣтъ: ты поймешь, что есть*“.

Изъ этого заколдованнаго круга—тяжелой работы и не менѣе изнурительнаго отдыха,—Бѣлинскій чувствовалъ,—его могла вырвать только семейная жизнь. Не могъ онъ не чувствовать и того, что физическое существо его годъ отъ году разрушается и шансы личнаго счастья становятся все меньше и меньше. Всякая охота играть съ своими чувствами отпадала лицомъ къ лицу съ „этимъ страшнымъ, могильнымъ ощущеніемъ“. „Выль грѣшокъ“, пишетъ Бѣлинскій, — „любилъ я въ старину преувеличивать иное ради поэзіи содержанія и выраженія; но теперь Богъ съ нею, со всякою поэзіею—немножко спокойствія, немножко веселости я предпочелъ бы чести—сильно страдать. Теперь настала пора, когда не до поэзіи, когда странно увѣриться въ прозаической дѣйствительности собственнаго страданія,—а увѣряешься противъ воли“.

Таково было настроеніе Бѣлинскаго въ тотъ моментъ, когда начались отношенія, составляющія предметъ издаваемой далѣе переписки. Утомленіе жизнью, стремленіе найти душевный

покой въ тихой пристани брака, и „простой“ взглядъ на любовь, облегчавшій удовлетвореніе этого стремленія,—все это предшествовало новому чувству, это и вызвало его появленіе. Читатель увидить изъ писемъ, что вмѣсто тихой пристани Бѣлинскому пришлось на самомъ порогѣ брака вынести новую грозную бурю, которая едва не кончилась новымъ и полнымъ крушеніемъ. Но это не остановило Бѣлинскаго; зажмуривъ глаза, онъ смѣло перешагнулъ порогъ. Для объясненія этого, кромѣ того, что говорится въ письмахъ, мы можемъ тоже припомнить предшествовавшія признанія Бѣлинскаго. „Страстность составляетъ преобладающій элементъ моей *прекрасной души*. Эта страстность — источникъ мукъ и радостей моихъ; а такъ какъ, притомъ, судьба отказала мнѣ слишкомъ во многомъ, то я и не умѣю отдаваться въ половину тому немногому, въ чемъ не отказала она мнѣ“. „Вообрази себѣ мужика“, пишетъ онъ въ другой разъ (тоже до брака), — „который всю жизнь свою не ѣдалъ ничего, кромѣ хлѣба, пополамъ съ пескомъ и мякиной и, пришедъ въ большой городъ, увидѣлъ горы — и калачей, и кондитерскихъ издѣлій, и плодовъ. Можно ли сказать, что у него вѣтъ самообладанія и человѣческой воздержанности, если онъ на эти вещи будетъ смотрѣть глазами тигра..., а захвативши что-нибудь, начнетъ пожирать съ звѣриною жадностью, и когда у него стануть отнимать; онъ въ бѣшенствѣ разобьетъ себѣ черепъ?“

Мы не станемъ дѣлать сопоставленій между приведенными объясненіями и цитатами и печатаемой здѣсь перепиской, предоставляя сдѣлать эти сопоставленія самому читателю. Не будемъ также стараться и проникнуть въ секретъ того, что нашелъ Бѣлинскій за порогомъ брака. Переписка не открываетъ намъ этой тайны. Бѣлинскій твердо выполнилъ свое намереніе: если это было счастье, онъ пользовался имъ тихо, „не привлекая ничьего вниманія“; если это былъ крестъ, — онъ сумѣлъ нести его „съ достоинствомъ“, и унести свою тайну въ могилу. Въ первые годы брака у него совсѣмъ отпадаетъ охота — исповѣдаться передъ друзьями въ письмахъ, занимающихъ десятки листовъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ эта способность — писать длинные письма — возвращается, правда, къ Бѣлинскому снова. Но сердечныя признанія въ этихъ письмахъ уже не играютъ никакой роли: письма заняты общественными интересами, борьбой литературныхъ партій, жур-

наибольшими новостями и т. д. Только въ перепискѣ съ Боткинымъ прорываются иногда полупризнанія и жалобы чисто личнаго характера. Возвращеніе Боткина изъ-за границы напоминаетъ Бѣлинскому, что уже три года, какъ онъ женатъ, что въ эти три года онъ „перезжилъ да передумалъ — и уже не головою, какъ прежде, — лѣтъ за тридцать“, — что, разставшись другъ съ другомъ „молодыми“, они „свидѣтся стариками“. — Бѣлинскій утѣшалъ Боткина въ неудачѣ его семейной жизни, и, кажется, ничего не говорилъ о своей. Разъ только, мимоходомъ, онъ намекнулъ на то, „чего такъ глухо добивался всю жизнь и чего такъ умно не дала ему судьба, — разве такого мудренаго кушанья у нея не оказалось“.

П. Миллюковъ.

Письма В. Г. Бѣлинскаго къ М. В. Орловой. *)

Хочется много сказать вамъ, и потому ничего не говорится. Буду писать, какъ напишется. Вы хотѣли, чтобы я подробно увѣдомила васъ обо всемъ, что было со мною со дня нашей разлуки. Какъ сумѣю, выполняю вашу волю. Во-первыхъ, я долженъ вамъ сказать, что уѣхалъ я изъ Москвы не въ четвергъ, а въ пятницу. Въ среду мнѣ было не то, чтобы тяжело или грустно, а какъ-то неловко. Я смотрѣлъ по обыкновенію въ окна, слѣдя за видоизмѣненіями облаковъ,—погода была, помните, довольно дурна,—и на душѣ было и пусто, и тревожно. Я поѣхалъ кой-куда, а вечеромъ располагался къ Коршу, и мысль объ этомъ визитѣ бросила меня въ жаръ. Но мнѣ не удалось быть у К., а былъ я у Щ—хъ, ¹⁾ гдѣ только слегка упрекали меня въ забвеніи и гдѣ отдѣлался я наглымъ молчаніемъ. Вечеромъ у меня былъ Кудравцевъ и м-г l'Adolescent, ²⁾ который ни разу не упо-

*) Печатаемые здѣсь письма Бѣлинскаго адресованы Маріи Васильевнѣ Орловой, которой онъ отдалъ предложеніе лѣтомъ 1843 г. и съ которой обѣщался въ ноябрѣ того же года. Сообщаемъ, со словъ ея сестры А. В. Орловой, нѣкоторыя біографическія данныя. М. В. Орлова родилась 1812 г. Воспитаніе она получила въ Московскомъ Александровскомъ институтѣ, гдѣ кончила курсъ съ первою медалью. Выдаваясь среди сверстницъ по своимъ умственнымъ способностямъ, М. В. отличалась замѣчательною крѣпостью, и на ней остановилъ вниманіе Николай I во время коронаціонныхъ празднествъ 1826 г. По окончаніи курса М. В. оставлена была пенингеркою при институтѣ, затѣмъ она была гувернанткой въ семьѣ племянницы извѣстнаго писателя Ламечникова, а въ 1835 г. поступила классною дамою въ Екатерининскій институтъ. Знакомство ея съ Бѣлинскимъ относится къ тому же году. Раньше она читала и зачитывалась Бѣлинскимъ, причемъ особенное впечатлѣніе произвела на нее появившаяся въ 1834 г. извѣстная статья Бѣлинскаго „Литературныя мечтанія“. Познакомилась М. В. съ Бѣлинскимъ въ домѣ П. Я. Петрова, впоследствии ученаго оріенталиста. Бѣлинскій посѣщалъ М. В. въ институтѣ и приносилъ ей книги для чтенія. Такъ продолжалось до переезда Бѣлинскаго въ Петербургъ въ 1839 г.—М. В. Бѣлинская умерла въ Москвѣ въ 1890 г.
Примѣч. Г. А. Джаншіева.

Также и слѣдующія подстрочныя примѣчанія принадлежать Г. А. Джаншіеву.
Ред.

¹⁾ Щепиныхъ.

²⁾ Галяховъ.

мянулъ при мнѣ вашего имени, но снова просилъ меня „erouzer m-Ile Ostr.“ ¹⁾ На другой день поутру поѣхалъ я къ Коршу. Меня встрѣтила его сестра. ²⁾ — Узнаете ли вы меня? Не забыли ли вы, гдѣ мы живемъ? и пр. Выходить его жена, ³⁾ и я пришелъ въ ужасъ отъ ея коварной улыбки, чувствуя, что погибнуть мнѣ отъ нея во цвѣтъ лѣтъ и красоты. Однимъ словомъ, между множествомъ злыхъ намековъ, меня спросили: „здоровъ ли мнѣ воздухъ сосновой рощи и какъ я нахожу московскія окрестности?“ Я почувствовалъ себя въ паровой ваннѣ въ 40 градусовъ, краснѣлъ, блѣднѣлъ, хохоталъ какъ сумасшедшій и, — что всего ужаснѣе, — онѣ видѣли ясно, что это распеканіе доставляетъ мнѣ больше наслажденія, чѣмъ досады. Къ стыду моему, я самъ это чувствовалъ. Какъ же узнали онѣ о сосновой рощѣ? Имъ сказала одна знакомая имъ дама, что я часто бываю въ Сел. ⁴⁾ И какъ они давно замѣтили перемѣну во мнѣ и какъ я разъ надоѣлъ самому К. моею разсѣянностью и натянутостію, — то онѣ и смекнули, въ чемъ дѣло. Женщины — кошки: я давно имѣлъ честь докладывать вамъ это. Онѣ сейчасъ замѣтятъ мысль и начнутъ ее мучить, играя съ нею. А мои непріятельницы находили особенное удовольствіе мучить меня, ибо я всегда смѣялся надъ бракомъ, любовью и всякими сердечными привязанностями. Но въ ихъ злости было столько женскаго торжества, столько доброты, желанія мнѣ счастья и радости за мое счастье, что я покаялся передъ ними въ грѣхъ моемъ. Впрочемъ, ваше имя осталось для нихъ тайною, и онѣ узнали только фактъ моего сердечнаго состоянія. Мнѣ стало съ ними легко и весело, и вечеромъ я опять пришелъ къ нимъ. Онѣ посадили меня между собою за самоварнымъ столомъ, и я сидѣлъ подъ перекрестнымъ огнемъ лукавыхъ улыбокъ и торжественныхъ взглядовъ, и былъ веселъ, счастливъ, какъ ребенокъ, какъ дуракъ. Я уже имѣлъ честь доносить вамъ, что женщины на то и созданы, чтобы дѣлать мужчинъ дураками; но всего обиднѣе въ этомъ то, что мужчины до смерти рады своей глупости. Но видно ужъ такъ суждено самимъ Господомъ Богомъ, и волтеріанцы напрасно противъ этого возстаютъ.

¹⁾ Классная дама, г-жа Остроумова.

²⁾ Марья Федоровна Коршъ.

³⁾ Софья Карловна Коршъ.

⁴⁾ Въ Сокольникахъ.

Проснувшись на другой день, я почувствовалъ нѣчто въ родѣ тоски разлуки, — и еслибы поѣздка была отложена до субботы, то я, право, не ручаюсь, чтобы не явился къ вамъ въ институтъ. Подобный *Sehnsucht* подмывалъ меня еще и въ четвергъ. Поѣхалъ я съ Языковымъ; Клыковъ тоже съ нами. Въ вечеру все сильнѣе и сильнѣе овладѣвало мною тоскливое порываніе къ вамъ. Засыпая тяжелымъ сномъ (ибо не могу хорошо спать, сидя при стулѣ громоздкаго экипажа), я или видѣлъ васъ, или чувствовалъ ваше присутствіе, и потому старался какъ можно больше и больше спать, хотя отъ этого спанья у меня только болѣла голова. Ъхать въ каретѣ для меня пытка, потому что нельзя лежать, а все надо сидѣть. Наконецъ, кое-какъ доѣхали. Послѣдняя станція передъ Петерб. называется *Ижоры*. Такъ какъ отъ нея шоссе до Птб. сдѣлано заново и ѣздить по немъ тяжело, то ямщики сворачиваютъ на царскосельскую дорогу. Приѣхавши въ Царское, мы съ Кл. вздумали высадиться изъ дилижанса, чтобы приѣхать въ П. по желѣзной дорогѣ, а Яз. съ женою поѣхалъ въ дилижансѣ. Это было въ 6 ч. вечера въ понедѣльникъ, и намъ надо было дожидаться пѣлый часъ. Въ вокзалѣ я повстрѣчалъ человѣка Панаева, который сказалъ мнѣ, что Ботк. съ Агм. остановились на квартирѣ Панаева (который живетъ на дачѣ въ Павловскѣ). Приѣзжаю домой, вхожу въ квартиру, которой еще не видалъ (потому что мой человѣкъ безъ меня перебрался на нее), не снимая картуза, бѣгу въ мой кабинетъ — и отступаю въ изумленіи назадъ: въ кабинетѣ за моимъ рабочимъ столомъ на креслахъ сидитъ женщина. Я такъ былъ увѣренъ, что Б. съ А. ¹⁾ на квартирѣ Панаева, что съ трудомъ могъ убѣдиться, что предо мною m-lle Арманде, — тѣмъ болѣе, что въ комнатѣ только одна свѣча, какъ-то тускло горѣвшая. Мысль, что моя комната освящена присутствіемъ женщины и что въ этой же самой комнатѣ я могъ бы видѣть другую женщину — эта мысль обезумила меня, такъ что когда m-lle Арм. съ веселымъ привѣтствіемъ подала мнѣ руку, я забылъ даже то небольшое количество французскихъ словъ, которое зналъ. Къ этому присоединилось и еще другое. Я ужасно любилъ и прежнюю мою квартиру; но эта (въ которой жилъ Краевскій) еще лучше той, но какъ она невелика, то я и рѣшилъ въ Москвѣ, что надо

¹⁾ В. П. Боткинъ и его невеста m-lle Арманде.

искать другой. Это меня беспокоило, потому что въ Петербургѣ легко находить или самыя лучшія, т. е. самыя дорогія, или самыя северныя квартиры, и главное, это повело бы меня къ разнымъ глупымъ затѣямъ. Между тѣмъ моя квартира, чистая, опрятная, красивая, свѣтлая, смотрѣла на меня такъ привѣтливо, какъ будто бы хотѣла меня отъ души съ чѣмъ-то поздравить. Смѣшно подумать и стыдно признаться—сердце мое болѣзненно сжалось. Является Б. и начинаетъ хвалить мою квартиру, говоря, что я сдѣлалъ бы крайне глупо, еслибы перемѣнилъ ее, что Агн. въ восторгѣ отъ нея и не хотѣла бы никогда жить на другой, что она любитъ безпрестанно мои картины, разстановку мебели и восклицаетъ: „il a du gout“. Все это меня потрясло чуть не до лихорадки. На другой день я увидѣлся съ Краевскимъ, я былъ даже нѣсколько тронутъ участіемъ и деликатностью, съ какими онъ говорилъ со мною—вы понимаете о чемъ. Онъ окончательно утвердилъ меня въ рѣшеніи не перемѣнять квартиры. Я видѣлъ, что былъ очень глупъ, желая пустыми затѣями, которыя ничего не прибавятъ къ счастью, откладывать истинное счастье. И это повидимому пустое обстоятельство имѣло своимъ результатомъ то, что я прійду въ Москву уже не на праздникахъ и не послѣ праздниковъ, а передъ рождественскимъ постомъ, и не считаю невозможнымъ пріѣхать даже въ половинѣ октября. Я опьянѣлъ отъ этой мысли, и хожу теперь дуракъ-дуракомъ. Ни о чемъ не могу думать, ничего не могу дѣлать. Если письмо мое нескладно, то вотъ причина этому. Боже мой, когда же это будетъ! Намъ будетъ раздѣлять одна только дверь—и это радуетъ меня, ибо чѣмъ ближе будете вы ко мнѣ, тѣмъ счастливѣе буду я. Квартира моя высока—въ третьемъ этажѣ; но въ П. квартиры нижнихъ этажей—хлѣвы и подвалы, а вторыхъ этажей непомерно дороги. Къ удобствамъ квартиры моей принадлежитъ то, что она свѣтла, окнами на солнце, суха и тепла, а это въ Птб. большая рѣдкость. Она состоитъ изъ двухъ комнатъ. Задняя—мой теперешній кабинетъ, довольно длинная комната, съ двумя окнами на дворъ. Ее можно перегородить ширмами и тогда изъ нея выйдетъ для васъ двѣ комнаты: изъ задней ходъ черезъ коридоръ въ кухню и прихожую, а изъ передней въ теперешнюю залу, которую я обращаю тогда въ кабинетъ. Все это до того занимаетъ меня, что я только и думаю о томъ, какой видъ дать моимъ ком-

натамъ. Я теперь ночую у знакомыхъ и къ себѣ на квартиру хожу въ гости съ Б. Здоровье мое такъ и сажь, да я теперь и неспособенъ чувствовать ни болѣзни, ни здоровья. Я разорванъ пополамъ и чувствую, что не достаетъ цѣлой половины меня самого, что жизнь моя неполна и что я тогда только буду жить, когда вы будете со мной, подлѣ меня. Бываютъ минуты страстнаго, тоскливаго стремленія къ вамъ. Вотъ полетѣлъ бы хоть на минуту, крѣпко, крѣпко пожалъ бы вамъ руку, тихо сказалъ бы вамъ на ухо, какъ много я люблю васъ, какъ пуста и бессмысленна для меня жизнь безъ васъ. Нѣтъ, нѣтъ—скорѣе, скорѣе или я съ ума сойду!

Что вы, какъ вы? Здоровы ли, веселы ли, счастливы ли? Отъ этой минуты съ тоскою буду ждать вашего письма, буду считать дни и минуты, когда получу отъ васъ первое письмо. Отвѣчайте мнѣ скорѣе, если не хотите заставить меня страдать. Адресуйте ваши письма вотъ по этому адресу: *Въ С.-Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, у Аничкина моста, въ д. Лопатина, квартира № 47.* Адресъ тотъ же, что и у васъ, только № квартиры надо прибавить.

Въ среду, 1-го окт., Б-тень обвѣнчался съ Агн. Теперь онъ хлопочетъ, чтобы въ субботу отправиться за границу. Онъ вамъ кланяется и благодарить васъ за память о немъ.

Аграфенъ Васильевъ ¹⁾ посылаю мой искренній душевный привѣтъ, и прошу, умоляю ее какъ можно меньше сердиться на всѣхъ, а въ особенности на самое себя, на васъ и на меня. Правда, я много виноватъ передъ ней, но это такая вина, въ которой я нимало не намѣренъ ни раскаяться, ни исправиться.

Прощайте. Да хранить васъ Господь для вашего и моего счастья. Посылаю вамъ всѣ благословенія и обѣты навсегда преданнаго вамъ моего сердца.

В. Бѣлинскій.

С. П. Б. 1843, сентября 3.

С. П. Б. 1843. Сентября 7-го, вторникъ. Вчера должны были вы получить первое письмо мое къ вамъ. Я знаю, съ какимъ нетерпѣніемъ, съ какимъ волненіемъ ждали вы его;

¹⁾ Сестра М. В. Орловой.

знаю, съ какою радостію и какимъ страхомъ услышали вы, что есть письмо къ А. В., и какого труда стоило вамъ съ сестрою принять на себя видъ равнодушія. Я не могъ писать къ вамъ тотчасъ же по прїѣздѣ въ Птб., потому что жилъ на бивакахъ и былъ внѣ себя. Первое письмо мое написано кое-какъ. Въ продолженіе дней, въ которые должно было идти оно въ М., я только и думалъ о томъ, когда вы получите его; я мучился тѣмъ же нетерпѣніемъ, какъ и вы, мысль моя погоняла лѣнливое время и упреждала его; съ радостію видѣлъ я наступленіе вечера и говорилъ себѣ: „днемъ меньше!“ Но вчера я былъ какъ на угольяхъ, разсчитывая, въ которомъ часу должны вы получить мое письмо. Я не могу видѣть васъ, говорить съ вами, и мнѣ остается только писать къ вамъ; вотъ почему второе письмо мое получаете вы, не успѣвши освободиться изъ-подъ впечатлѣнія отъ перваго. Мысль о васъ дѣлаетъ меня счастливымъ, и я несчастенъ моимъ счастіемъ, ибо могу только думать о васъ. Самая роскошная мечта стоитъ меньше самой небогатой существенности; а меня ожидаетъ богатая существенность: чтѣ же и къ чему мнѣ всѣ мечты, и могутъ ли онѣ дать мнѣ счастье? Нѣтъ, до тѣхъ поръ, пока вы не со мной, — я самъ не свой, не могу ничего дѣлать, ничего думать. Послѣ этого очень естественно, что всѣ мои думы, желанія, стремленія сосредоточились въ одной мысли, въ одномъ вопросѣ: когда же это будетъ? И пока я еще не знаю, когда именно, но что-то внутри меня говоритъ мнѣ, что скоро. О, еслибы это могло быть въ будущемъ мѣсяцѣ!

Погода въ Пб. чудесная, весенняя. Она прибыла сюда вмѣстѣ со мною, потому что до моего прїѣзда здѣсь были дождь и холодъ. А теперь на небѣ ни облачка, все облито блескомъ солнца, тепло, какъ въ ясный апрѣльскій день. Вчера было туманно. и я думалъ, что погода переменится; но сегодня снова блещетъ солнце, и мои окна открыты. А ночи? Еслибы вы знали, какія теперь ночи! Цвѣтъ неба густо-темень и въ то же время ярко блестящъ усыпавшими его звѣздами. Не думайте, что я не берегусь, обрадовавшись такой погодѣ. Напротивъ: я и днемъ, какъ и вечеромъ, хожу въ моемъ тепломъ пальто, чему, между прочимъ, причиною и то, что еще не пришелъ въ П. посланный по транспорту ящикъ съ моими вещами, гдѣ обрѣтается и мое лѣтнее пальто. Впрочемъ, днемъ нѣтъ никакой опасности ходить въ одномъ сюртукѣ,

безъ всякаго пальто, но вечеромъ это довольно опасно, и вотъ ради чего я и днемъ жарюсь... (въ) зимнемъ пальто. Мнѣ кажется, что въ Москвѣ теперь должна быть хорошая погода. Не забудьте увѣдомить меня объ этомъ: московская погода очень интересуетъ меня. Не повѣрите, какъ жарко: окна отворены, а я задыхаюсь отъ жару. На небѣ такъ (ярко) и свѣтло, а на душѣ, такъ легко и весело!

Безъ меня мои растенія ужасно разрослись, а что больше всего обрадовало меня, такъ это то, что безъ меня распцѣла одна изъ моихъ олеандръ. Я очень люблю это растеніе, и у меня ихъ цѣлыхъ три горшка. Одна олеандра выше меня ростомъ. Послѣ тысячи мелкихъ и ядовитыхъ досадъ и хлопотъ, Боткинъ наконецъ уѣхалъ за границу. Это было въ субботу (4 сент.). Я провожалъ его до Кронштадта. День былъ чудесный,—и мнѣ такъ отраднo было думать и мечтать о васъ на морѣ. Разстались мы съ Б. довольно грустно, чему была важная причина, о которой узнаете послѣ. Странное дѣло! Я едва могъ дожидаться, когда перейду на мою квартиру, а тутъ мнѣ тяжела была мысль, что я вотъ сегодня же ночую въ ней. И теперь еще мнѣ какъ-то дико въ ней. Впрочемъ, это будетъ такъ до тѣхъ поръ, пока я вновь не найду самого себя, т. е. пока вы не возвратите меня самому мнѣ. До тѣхъ же поръ мнѣ одно утѣшеніе и одно наслажденіе: смотрѣть на стѣны и мысленно опредѣлять перемѣщеніе картинъ и мебели. Это меня ужасно занимаетъ.

Скажите: скоро-ли получу я отъ васъ письмо? Жду—и не вѣрю, что дождусь; увѣренъ, что получу скоро—и боюсь даже надѣяться. О, не мучьте меня; но вѣдь вы уже послали ваше письмо, и я получу его сегодня, завтра!—не правда ли?

Прощайте. Храни васъ Господь! Пусть добрые духи окружаютъ васъ днемъ, нашептываютъ вамъ слова любви и счастья, а ночью посылаютъ вамъ хорошіе сны. А я,—я хотѣлъ бы теперь хоть на минуту увидать васъ, долго, долго посмотрѣть вамъ въ глаза, обнять ваши колѣна и поцѣловать край вашего платья. Но нѣтъ, лучше дольше, какъ можно дольше не видѣться, совсѣмъ, нежели увидѣться на одну только минуту, и вновь разстаться, какъ мы уже разстались разъ. Простите меня за эту болтовню; грудь моя горитъ, на глазахъ накапливаетъ слеза: въ такомъ глупомъ состояніи обыкновенно хочется сказать много и ничего не говорится, или говорится

очень глупо. Странное дѣло! Въ мечтахъ я лучше говорю съ вами, чѣмъ на письмѣ, какъ нѣкогда заочно я лучше говорилъ съ вами, чѣмъ при свиданіяхъ. Чтѣ-то теперь Сокольники? Чтѣ завѣтная дорожка, зеленая скамеечка, великолѣпная аллея? Какъ грустно вспоминать обо всемъ этомъ, и сколько отрады и счастья въ грусти этого воспоминанія!

Сент. 8-го. Скажите, Бога ради, чтѣ Ваня—здоровъ или боленъ, живъ или умеръ? Не смѣшно ли, что я васъ спрашиваю такъ, какъ будто бы вы уже писали ко мнѣ, да забыли только упомянуть объ этомъ обстоятельстве. Когда же дождусь я письма отъ васъ? Сегодня на небѣ сѣро, и не знаю, пробьется ли солнце сквозь облачную пелену. Это досадно—я такъ люблю ясную погоду, и такъ рѣдко наслаждаюсь ею.

Чтѣ вамъ сказать о моемъ здоровьѣ? Я пріѣхалъ въ П. съ лихорадкою, но теперь она оставила меня. Когда это случилось—не помню, потому что рѣшительно неспособенъ различать болѣзненное состояніе отъ здороваго и наоборотъ. Теперь я и здоровъ, и боленъ однимъ, объ одномъ могу думать и однимъ полонъ, и это одно—вы. Прощайте. Вашъ навсегда

В. Бѣлинскій.

С.П.Б. 1843, сент. 14-го. Наконецъ-то вы и Богъ сжаились надо мною. О, еслибы вы знали, чего мнѣ стоило ваше долгое молчаніе. Первое письмо мое пошло къ вамъ 3-го сент. (въ пятн.), слѣд. 6-го (въ понед.) вы получили его. Я рассчиталъ, что во вторникъ Агр. В. дежурная, и потому думалъ, что вашъ отвѣтъ пойдетъ въ среду (8-го), а ко мнѣ придетъ въ субботу. Но въ субботу ничего не пришло, и мнѣ съ чего-то вообразилось, что я жду вашего отвѣта на мое письмо уже недѣли двѣ. Въ воскр. нѣтъ; я приунылъ,—и въ голову полѣзли разные вздоры: то мое письмо пропало на почтѣ и не дошло до васъ, то вы больны, и больны тяжело, то (смѣйтесь надо мною—я зналъ, что я глупъ—вѣдь вы же сдѣлали меня дуракомъ) вы вдругъ охладѣли ко мнѣ. Я не могъ работать (а съ работою и такъ опоздалъ, все думаю объ васъ); мнѣ было тяжело, жизнь опять приняла въ глазахъ моихъ мрачный колоритъ. Къ тому же съ воскресенья началась холодная и дождливая погода, а погода всегда имѣетъ сильное вліяніе на расположеніе моего духа. Въ понедѣльникъ опять нѣтъ,

сегодня ждалъ почти до 3-хъ часовъ, и съ горя, не смотря на дождь, пошелъ обѣдать на другой конецъ Невскаго проспекта. Возвращаясь домой, возымѣлъ благое желаніе утѣшить себя въ горѣ двумя десятками грушъ, твердо рѣшившись истребить ихъ менѣе, чѣмъ въ двадцать минутъ. Прихожу домой, и изъ залы вижу въ кабинетѣ, на бюро, что-то въ родѣ письма. У меня зарябило въ глазахъ и захватило духъ. Рука женская; но, можетъ быть, это отъ Бак—хъ? ¹⁾ Нѣтъ, на конвертѣ штемпель московскій. Чтѣжь бы вы думали!—я сейчасъ схватилъ, распечаталъ, прочелъ?—Ничуть не бывало. Я переодѣлся, дождался, пока мой валетъ уйдетъ въ свою комнату,—а сердце между тѣмъ билось...

Боже мой! сколько мученій прекратило ваше письмо! Сколько разъ думалъ я: если это отъ болѣзни, то сохрани и помилуй меня Богъ (это чуть ли не первая была моя молитва въ жизни); если же это такъ—нынче да завтра, то прости ее, Господи! Я сталъ робокъ и всего боюсь, но больше всего въ мірѣ—вашей болѣзни. Мнѣ кажется, что я такъ крѣпокъ, что смѣшно и думать и заботиться обо мнѣ; но вы—о Боже мой, Боже мой, сколько тяжелыхъ грезъ, сколько мрачныхъ опасеній!

Тысячу и тысячу разъ благодарю васъ за ваше милое письмо. Оно такъ просто, такъ чуждо всякой изысканности и между тѣмъ такъ много говоритъ. Особенно восхитило оно меня тѣмъ, что въ немъ вашъ характеръ, какъ живой, мечется у меня передъ глазами, — вашъ характеръ, весь составленный изъ благородной простоты, твердости и достоинства. Ваши выговоры мнѣ за то и другое—я перечитывалъ ихъ слово по слову, буква по буквѣ, медленно, какъ гастрономъ, наслаждающійся лакомымъ кушаньемъ. Я далъ себѣ слово какъ можно больше провиниться передъ вами, чтобы вы какъ можно больше бранили меня. Впрочемъ, вы въ одномъ вашемъ упрекѣ мнѣ рѣшительно неправы. Какъ вы мало меня знаете, говорите вы мнѣ, и говорите неправду. Я васъ знаю хорошо, и самая ваша безтребовательность могла уже меня заставить немножко зафантазироваться. Притомъ же, какъ русскій человѣкъ, я какъ-то привыкъ думать, что, женясь, надо жить *шире*. Это, конечно, глупо. Я васъ знаю,—знаю, что васъ нельзя ни удивить, ни обрадовать мелочами и вздорами; но не отнимайте же совсѣмъ

¹⁾ Бакуниныхъ.

у меня права думать больше о васъ, чѣмъ о себѣ. Я знаю, что для васъ все равно, тотъ или этотъ стулъ, лишь бы можно было сидѣть на немъ; но чтожь мнѣ дѣлать, если я счастливъ мыслию, что лучший стулъ будетъ у васъ, а не у меня. Глупо, глупо и глупо—вижу самъ; да развѣ я претендую теперь хоть на капельку ума? Развѣ я не знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ началъ посѣщать Сок., ¹⁾ — сдѣлался такимъ дуракомъ, какимъ еще не бывалъ. Теперь я понялъ ту великую истину, что на свѣтѣ только дураки счастливы. Я было отчаялся въ возможности быть сколько-нибудь счастливымъ, не понимая того, что не велика бѣда, если родился не дуракомъ—стоитъ сойти съ ума... Зарапортовался!

Все, что вы пишете о томъ, что было съ вами со дня нашей разлуки, все это такъ истинно, такъ естественно и такъ понятно мнѣ. За ваши мысли о неприличіи приносить въ общество свою *нарядную печаль* мнѣ хотѣлось бы поцѣловать вашу ножку. А что вы пустились въ плясъ, это мнѣ не совсѣмъ по сердцу, потому что усиленное движеніе можетъ вамъ быть вредно, пожалуй, еще простудитесь.

А вѣдь Аграфена-то Васильевна права, упрекая васъ, что вы не говорили со мною откровенно о будущемъ. Я было не разъ думалъ начинать такіе разговоры, да какъ-то все прилипалъ языкъ къ гортани. Впрочемъ, пользы отъ этого для меня не было бы никакой; но эти разговоры дѣлали бы меня безумно счастливымъ, и болѣе и болѣе сближали бы насъ другъ съ другомъ. А то меня всегда и постоянно мучила мысль, что мы не довольно близки другъ къ другу, что мы ребячимся, сбиваясь немного на провинціальный идеализмъ.

Мое здоровье! да Богъ его знаетъ—говорю вамъ, что не разберу, живъ ли я, или умеръ. Въ воскресенье, поѣхавъ обѣдать къ Комарову, простудился слегка — кашель и насморкъ—оттого, что мое теплое пальто насквозь промокло отъ дождя. Впрочемъ, простудный кашель—наслажденіе въ сравненіи съ нервическимъ и желудочнымъ. Теперь все прошло. Я долженъ покаяться предъ вами въ грѣхѣ. Вотъ въ чемъ дѣло: не имѣть никого, съ кѣмъ бы я могъ иногда поговорить объ васъ,—для меня мученіе. Вотъ почему Марія Алекс. Комарова знаетъ то, чего не знаютъ Корши. Я сказалъ ей мужу,

¹⁾ Сокольникови.

ибо самъ не имѣлъ духу даже передать ей вашего поклона. Прихожу послѣ и вижу, что ей какъ-то неловко со мною. Хочется ей потрунить на мой счетъ—и боится. Тогда я самъ прехрабро началъ наводить ее на шутки на мой счетъ. И что же? Она такъ конфузилась, такъ ярко вспыхивала, что мы съ ея мужемъ стали смѣяться, а я просто былъ въ неистовомъ восторгѣ. И было отъ чего! Я, который краснѣю за другихъ—не только за себя, я былъ тутъ геройски безстыденъ, а бѣдная М. А. за меня рѣзалась. Но въ прошлое воскр. мы съ нею таки потолковали о васъ и объ институтѣ. Вообще, я радъ, что К—вы знаютъ: чрезъ это я обдерживаюсь, привыкаю къ мысли о новомъ положеніи и приучаюсь не бояться фразы: „все былъ не женатъ, а то вдругъ женатъ!“

Я совершенно согласенъ съ А. В., что вы были лучше всѣхъ на маленькомъ балѣ вашей начальницы. Другія могли быть свѣжѣе, граціознѣе, миловиднѣе васъ,—это такъ: но только у одной у васъ черты лица такъ строго правильны, и дышутъ такимъ благородствомъ, такимъ достоинствомъ. Въ вашей красотѣ есть то величіе и та грандіозность, которыя даются умомъ и глубокимъ чувствомъ. Вы были красавицей въ полномъ значеніи этого слова, и вы много утратили отъ своей красоты; но при васъ осталось еще то, чему позавидуютъ и красота и молодость, и что не можетъ быть отнято отъ васъ никогда. Я это давно ужъ начиналъ понимать; но опытъ—лучшій учитель, и я недавно, чужимъ опытомъ, еще болѣе убѣдился въ томъ, что ничего нѣтъ опаснѣе, какъ связывать свою участь съ участью женщины за то только, что она прекрасна и молода. Долго было бы распространяться объ этомъ „чужомъ опытѣ“, и мнѣ хотѣлось бы рассказать вамъ о немъ не на письмѣ. И потому пока скажу вамъ одно, что Б. ¹⁾ глубоко завидуетъ мнѣ, а я ему нисколько, или, лучше сказать, очень, очень жалѣю его и понимаю его восклицанія еще въ Москвѣ: „зачѣмъ ей не 30 лѣтъ?“

Хотѣлось бы мнѣ сказать вамъ, какъ глубоко, какъ сильно люблю я васъ, сказать вамъ, что вы дали смыслъ моей жизни, и много, много хотѣлось бы сказать мнѣ вамъ такого, что вы и безъ сказыванья должны знать. Но не буду говорить, по-

¹⁾ Воткинъ.

тому что на словахъ и на письмѣ все это выходитъ у меня какъ-то пошло и нисколько не выражаетъ того, что бы должно было выразить. Теперь я понимаю, что поэту совсѣмъ не нужно влюбляться, чтобы хорошо писать о любви, и скорѣе не нужно влюбляться, чтобы мочь хорошо писать о любви. Теперь я понялъ, что мы лучше всего умѣемъ говорить о томъ, чего бы намъ хотѣлось, но чего у насъ нѣтъ, и что мы совсѣмъ не умѣемъ говорить о томъ, чѣмъ мы полны.

Прощайте, Магге. Вы просите меня не мучить васъ, заставляя долго ждать моихъ писемъ: я отвѣчаю вамъ въ тотъ же день, какъ получилъ ваше письмо, и посылаю мой отвѣтъ завтра. Такъ хочу я всегда дѣлать.

Очень меня тронуло то, что вы пишете мнѣ объ А. В. Со мною ей было тѣсно, а безъ меня скучно. Я понимаю это, и оно иначе быть не могло. А. В. не можетъ не быть расположена къ человѣку, который долженъ сдѣлать счастливою ее сестру, и въ то же время она не могла защититься отъ какого-то враждебнаго чувства къ человѣку, который долженъ разлучить ее съ тѣмъ, что составляло все ее счастье и всю ее любовь. Кромѣ того, мои къ ней отношенія (въ которыхъ я не совсѣмъ виноватъ) не могли же особенно расположить ее ко мнѣ: ей видъ болѣе огорчалъ меня, чѣмъ радовалъ, ибо я хотѣлъ видѣть только одну васъ и быть съ одною вами. Но, не смотря на то, у меня всегда было самое радушное, самое теплое чувство къ А. В. И. теперь я люблю ее какъ добрую, милую сестру мою—конечно, ни она, ни вы не найдете это выраженіе дерзкимъ или неумѣстнымъ. Жму руку Аграфенѣ Васильевнѣ и низко ей кланяюсь. Богъ дастъ, можетъ быть, когда-нибудь мы и всѣ трое будемъ жить вмѣстѣ. По крайней мѣрѣ, я отъ всей души желаю этого. Я привыкъ ложиться и вставать рано. Это полезно мнѣ. Но сегодня досидѣлъ до 12 часовъ—писалъ статью, потомъ письмо, и рука крѣпко ноетъ. Немного остается бѣлой бумаги, и мнѣ жаль этого—все бы говорилъ съ вами.

Бѣдный Ваня—мнѣ жаль, что онъ умеръ, жаль и его самого, и его матери, потому что для матери тяжела потеря дитяти. Радуюсь вашей храбрости съ Миловзоромъ и вашей радости по случаю моей рѣзни у Коршей. Читали ли вы 9-й № „*Отеч. Записокъ*?“ Моя статья о Жуев. надѣлала шуму,—всѣ хвалятъ. Вотъ уже не понимаю, какъ эта статья выпала хо-

роша; я писалъ ее наканунѣ дня, въ который можно было ѣхать въ Сок.

Пожалуйста, побораните меня хорошенько въ слѣдующемъ письмѣ вашемъ, которое (надѣюсь) скоро придетъ ко мнѣ. Вы меня по вечерамъ крестите: почему-жъ и не такъ, если это забавляетъ васъ? А я—меня тоже забавляетъ эта игра: продолжайте. Чтѣ же касается до лѣченія, право, не до него. Скажу вамъ не шутя: пока вы не со мной, я безъ головы, безъ ума, самъ не свой, ничего не могу дѣлать и ни о чемъ думать. Я самъ не вдругъ въ этомъ увѣрился; но теперь, касательно этого, поставилъ 4, помноживши 2 на 2.

Еще разъ прощайте.

Вашъ В. Бѣлинскій.

Сент. 18-го, суббота. Цѣлый день мучить меня какая-то тяжелая, безотрадная тоска. Можетъ быть, это оттого, что вчера я былъ уже черезчуръ веселъ, безумно веселъ. Былъ я вчера у Вержбицкихъ. У нихъ въ домѣ были двѣ именинницы, вслѣдствіе какового событія была пляска подъ звуки рояли. Дамы до того раскутились, что пристали ко мнѣ, чтобы танцевалъ французскую кадрили. Я сталъ—меня водили, толкали, посылали вправо и влево; я ходилъ, путалъ, всѣ хохотали, а тоже, а въ крѣпко пожималъ дамамъ руки, за что онѣ громко изъявляли свое на меня неудовольствіе. Это, однако же, не помѣшало имъ звать меня на вторую кадрили: опять та же исторія. Всѣ эти глупости и фарсы были очень милы, потому что были непритворно веселы, были отъ души. Я пришелъ домой въ 12 часовъ, или около того, вполне довольный моимъ днемъ. И я имѣлъ причины быть довольнымъ имъ: въ этотъ день явилась мнѣ уже не вдали, не въ туманѣ и не гадательно возможность близкаго свершенія моихъ лучшихъ желаній. Но объ этомъ послѣ. Видите ли, Marie, не однѣ вы пускаетесь въ плясъ, и я ни въ чемъ не хочу вамъ уступить, а въ смѣшномъ далеко превосхожу васъ,—а право, я не шучу, только въ одномъ этомъ я и сознаю мое передъ вами превосходство. Но сегодня съ самаго утра почувствовалъ я себя нехорошо. Можетъ быть, это нездоровье. Я принялъ лѣкарство—мнѣ стало нѣсколько лучше, но душевное расположеніе мое отъ этого немногимъ разъяснилось.

Да, это отъ нездоровья: вчерашній бокаль шампанскаго крѣпко ударилъ мнѣ въ голову, а передъ тѣмъ я немного простудился. Мнѣ совсѣмъ бы не надо было пить вина; но когда всѣ веселы и самъ себя чувствуешь веселымъ — ну, какъ удержишься, чтобъ не подурачиться? Мнѣ же такъ ново и непривычно быть веселымъ.

Прихожу сегодня домой отъ обѣда и ищу глазами письма— его нѣтъ. А между тѣмъ мысль о немъ веселила меня вчера и поддерживала сегодня. Въ субботу (11-го) вы получили мое второе письмо, во вторникъ (14-го) Агр. Вас. свободна, — и вашъ отвѣтъ могъ бы быть посланъ. Мое нетерпѣніе рѣшило, что онъ непремѣнно посланъ во вторникъ, и я его ждалъ еще вчера, а потомъ утѣшилъ себя мыслию, что почталіонъ-де не успѣлъ разнести—получу завтра, и вотъ почему я сегодня съ предлиннымъ носомъ, и теперь съ горя принялся писать къ вамъ. Стало быть, письмо ваше послано въ четвергъ (6-го), и я получу его завтра?

Дай-то Богъ!

Сент. 19. Воскресенье. Вотъ и еще день прошелъ, а письма вашего нѣтъ какъ нѣтъ; оно не отправлено и въ четвергъ, стало быть, я не получу его и завтра, а долженъ ждать во вторникъ, и то въ такомъ только случаѣ, если оно отправлено въ субботу. Знаю, что такіа земедленія происходятъ не отъ васъ, а отъ обстоятельствъ, происходятъ отъ того, что А. В.—нѣтъ достаточнаго предлога къ выѣзду изъ института,—знаю все это, но отъ этого мнѣ все-таки не легче. Знаю, что и вамъ это не совсѣмъ пріятно и за себя, и за меня; но все-таки тяжело, очень тяжело. Обманутая надежда, несвершенное ожиданіе, и потомъ разныя грустныя и мрачныя мысли, которыя противъ воли лѣзутъ въ голову—все это тяжело и тяжело. Вы какъ-то говорили мнѣ, что были намѣрены отправлять ваши письма черезъ вашу *garde-malade*: не лучше ли это будетъ?

Сегодня съ горя поѣхалъ обѣдать къ Комарову. М-ме К. сегодня была очень зла и, противъ своего обыкновенія, очень храбра—жала меня какъ пчела и заставляла конфузиться. Я какъ-то сдуру, забывшись, началъ улыбаться про себя; вдругъ вопросъ: о чемъ? Словно соннаго холодною водою —

тѣмъ болѣе, что тутъ были посторонніе люди. Потомъ ни съ того, ни съ сего вопросъ: какія вы любите губы—толстыя или тонкія? Толстыя, какъ у коровы!—отвѣчалъ я съ досадою. Оекла Алекс. ѣдетъ въ Вологду, и ей нужно же было за столомъ изъяснить свое сожалѣніе о томъ, что не увидитъ меня,— *я погибалъ*,—по возвращеніи моемъ изъ Москвы... О женщины! А вотъ и еще вамъ жалоба на М. А. Замѣтивши, что мнѣ нравится одно ея платье, она всегда надѣваетъ его въ тѣ дни, когда я у нихъ бываю, и вообще старается всѣми силами завладѣть моимъ сердцемъ. Я храбро боролся, побѣдилъ, но въ борьбѣ утратилъ много силъ, и потому, возвращаясь домой, принужденъ былъ взять извозчика, хотя прежде располагался было идти домой пѣшкомъ. Все это глупости: а дѣло тутъ въ томъ, что мнѣ очень пріятно болтать о васъ съ М. А. Это тѣмъ пріятнѣе, что письмо ваше я ужъ выучилъ наизусть, а на полученіе новыхъ потерялъ всякую надежду. Между прочимъ, мы говорили съ ней и о дѣлахъ, т. е. пустились въ разныя хозяйственныя соображенія.

Кстати о дѣлѣ и о дѣлахъ. Пора мнѣ съ вами поговорить о нихъ серьезно. Вы не напрасно бранили меня въ письмѣ своемъ за разныя затѣи и фантазіи. Я заслуживалъ еще большей брани. Я не разъ говорилъ вамъ и повторю теперь, что вы умнѣ меня. Мой умъ чисто теоретическій, и въ теоріи прекрасно умѣть ставить 4, помноживши 2 на 2; въ дѣйствительности, я столько же глупъ, сколько вы умны,—стало быть, очень глупъ. Говорю это не шутя, ибо хочу, чтобы вы знали меня такимъ, каковъ я есть въ самомъ дѣлѣ; скорѣе хуже, нежели я есть, чѣмъ лучше, нежели я есть. Живя въ Москвѣ и плавая душою въ эмпиреяхъ, я составилъ въ головѣ преглупый планъ, по которому мнѣ, по пріѣздѣ въ Питеръ, надо было засѣсть за дѣло, чтобы кончить работу, которая дѣйствительно должна была принести мнѣ значительныя выгоды. Но по пріѣздѣ въ Питеръ я тотчасъ же увидѣлъ, что не могу ничего дѣлать, особенно мучась тщетнымъ ожиданіемъ писемъ. Потомъ я сообразилъ, что хотя я и опредѣлялъ окончаніе моей работы къ новому году, однако она могла бы и еще затянуться мѣсяца на три, даже при усиленной дѣятельности. Все это я теперь нахожу школьнически-глупымъ. Положимъ, что этою работою (которой я впрочемъ не имѣлъ бы силы кончить во вѣки вѣковъ) я приобрѣлъ средства пошире

и поудобнѣе устроить мою новую жизнь, но не глупо ли для пустяковъ и бездѣлицъ откладывать то, для чего всѣ хлопоты объ этихъ пустякахъ и бездѣлицахъ, безъ чего я не могу ничего дѣлать, ни о чемъ думать? Ясно какъ $2 \times 2 = 4$, что пока вы не со мною и я не съ вами, — я никуда не поѣду и жизнь мнѣ въ тягость. И потому надо думать не обо вздорахъ, а объ дѣлѣ. Пусть дѣло кончится расчетливо и въ обрѣзъ, но лишь бы оно какъ можно скорѣе кончилось, а тамъ все придетъ своимъ чередомъ, и что будетъ нужно, то всегда можно будетъ сдѣлать. Краевскій теперь небогатъ деньгами, да мнѣ слишкомъ забираться и не слѣдуетъ, — то мы съ нимъ и считали все приблизительно. Деньги я получу на дняхъ, стало быть, самое главное препятствіе устранено. Второе препятствіе состоитъ въ томъ, что я жду изъ Пензы дворянской грамоты, на которую изъ Москвы послалъ 150 руб. асс. и которую надѣюсь получить очень скоро. Между тѣмъ нашлось еще обстоятельство, о которомъ мнѣ нужно сказать вамъ и рѣшеніе котораго должно зависѣть отъ однихъ васъ и нисколько не отъ меня. Не примите этого даже за предложеніе съ моей стороны; нѣтъ, это только вопросъ, на который вы свободны отвѣчать какъ вамъ угодно. Для самого меня онъ такъ странный, что безъ вашего отвѣта я не умѣю его рѣшить ни положительно, ни отрицательно. Дѣло вотъ въ чемъ: всѣ мои пріятели, которымъ я напелъ нужнымъ открыть мою тайну, увѣряютъ меня, что, для избѣжанія лишнихъ расходовъ, мнѣ не надо было бы ѣздить въ Москву, а лучше бы вамъ однимъ пріѣхать въ Питеръ, гдѣ вы могли бы остановиться на день у Краевского, у котораго живетъ сестра его покойной жены (еслибы вы не захотѣли остановиться на своей собственной квартирѣ, которая была бы готова къ вашему пріѣзду). Если я нѣсколько на сторонѣ подобнаго плана, такъ это не по причинѣ потери лишнихъ денегъ и лишняго времени, а вотъ почему: можетъ быть, вы думаете вѣнчаться въ инстит. церкви, въ присутствіи М. Chaptot и всего института: это для меня ужасно; потомъ, по патриархальнымъ къ вамъ отношеніямъ, М. Ch., можетъ быть, станетъ смотрѣть на наше формальное соединеніе, какъ на свадьбу въ общемъ значеніи этого слова, и, пожалуй, предложить еще себя въ посаженныхъ матери, а вамъ, м. б., нельзя будетъ отъ этого отказаться. Если это такъ, то мнѣ пріятнѣе было бы обвѣнчаться съ вами въ Кам-

чатѣй, или на Алеутскихъ островахъ, чѣмъ въ Москвѣ. Но, м. б., все это въ вашей волѣ сдѣлать и иначе, и тогда мои страхи уничтожаются сами собою вмѣстѣ съ ихъ причиною. М. А. находитъ, что ѣхать вамъ одному было бы трудно по вашимъ отношеніямъ къ М. Ш., ибо вы должны ей сказать, куда и зачѣмъ ѣдете, а ей это могло бы показаться всячески неудобовыполнимымъ. Итакъ, скажите ваше мнѣніе просто и откровенно, и не думайте, чтобы вашъ отрицательный отвѣтъ могъ сколько-нибудь быть мнѣ не по сердцу. Для меня самого странна мысль, что вы поѣдете одинъ, безъ меня, и я Богъ знаетъ, чего бы не надумался. Но чтобы объ этомъ уже не было больше и помину, я договарю все; это тѣмъ нужнѣе, что вы должны видѣть дѣло со всѣхъ его сторонъ. Въ числѣ суммы, которую беру я у Краевского, 900 рублей слѣдуютъ вамъ: 500 на ваши необходимые расходы, 200 на отѣздъ, еслибы вы поѣхали одинъ, и 200, которыя я долженъ вамъ. Я увѣренъ, что такое распоряженіе съ моей стороны не покажется вамъ нисколько страннымъ или неумѣстнымъ: если эти 500 рублей будутъ вамъ нужны, тѣмъ лучше, значить, я сдѣлалъ какъ надо; если же они вамъ будутъ не нужны, то вы ихъ и привезете съ собою, и они будутъ все *нашими* же, а не чьими-нибудь деньгами. Что касается до первыхъ 200 руб., они предполагаются только въ случаѣ, если вы поѣдете одинъ: ибо въ такомъ случаѣ вамъ надо будетъ взять съ собою женщину, безъ которой вамъ нельзя обойтись въ дорогѣ, и въ такомъ случаѣ всего лучше, еслибы эта женщина могла и остаться у васъ кухаркою и горничною. Но это только предположеніе, которое сообщаю вамъ только для того, чтобы (вы могли) отвѣтить рѣшительнѣе—да, или нѣтъ. Вотъ все, что такъ занимало меня и на что буду ожидать вашего отвѣта со всею тоскою живѣйшаго нетерпѣнія.

Такъ или сякъ, но желанный день долженъ придти скоро, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; во всякомъ случаѣ никакъ не далѣе первой половины ноября (кажется, 14-го начнется постъ); мнѣ бы хотѣлось въ будущемъ мѣсяцѣ. Итакъ, отвѣчайте скорѣе, чтобы для меня былъ рѣшенъ этотъ вопросъ. Если я поѣду въ Москву, мнѣ надо будетъ заранѣе прислать туда мои бумаги, чтобы безъ меня могли три воскресенья сряду окликать васъ, безъ чего нельзя вѣнчаться. Если въ Москвѣ, то я думалъ бы въ церкви Шереметьевской больницы, гдѣ Гра-

новскій могъ бы безъ меня все приготовить лучше, чѣмъ бы я могъ это сдѣлать самъ. Ради всего святаго, скорѣе отвѣчайте на это письмо. Медлить нечего. Если судьба дастъ намъ долгіе счастливые дни,—возьмемъ ихъ; если одинъ день—не упустимъ и того. Одинъ картежный игрокъ, нажившій игрою милліонъ, говорилъ при мнѣ, что для каждаго человѣка судьба даетъ минуту,—воспользуйся онъ ею, не упуститъ ее—и все получить; пропусти—никогда, никогда уже не представится ему благопріятная минута. Я нахожу это очень вѣрнымъ, и думаю, что въ важныхъ дѣлахъ жизни всегда надо спѣшить такъ, какъ будто бы отъ потери одной минуты должно было все погибнуть. Какъ-только получу отъ васъ отвѣтъ на это письмо, тотчасъ же начну дѣйствовать.

Довольно объ этомъ пока. Душа и рука моя утомлены. Скажу вамъ въ заключеніе, что я бросилъ гнусное табаконюханіе. Изъ чужихъ табакерокъ еще нюхаю, но своей не имѣю, и когда случается два и три дня въ глаза не видать табаку, то и не хочется. Прощайте.

Вашъ В. Бѣлинскій.

Письмо это пойдетъ завтра, т. е. 20-го сентября. Боже мой! Это уже *четвертое* письмо, а отъ васъ только *одно*. Есть отъ чего сойти съ ума! И если это такъ продолжится, то сойду, право сойду, такъ-таки вотъ возьму да и сойду, и буду еще глуше, чѣмъ теперь.

Агриппинѣ Васильевнѣ желаю веселаго и яснаго расположенія духа.

Сент. 20-го. Письмо это было вчера запечатано и со всѣмъ готово къ отправленію. Сегодня поутру просыпаюсь—надо встать, а лѣнь,—потому что вставши надо за работу сѣсть, да къ тому-жъ и холодно, а подъ одѣяломъ тепло. Вдругъ—слышу—звонокъ—не почталіонъ ли? Святители! Человѣкъ входитъ въ комнату—можетъ быть, онъ несетъ бумаги или книги отъ Краевского; но вдругъ слышу—онъ бречитъ мѣдными деньгами... „Что такое?“—„Письмо-съ“... Давай сюда. Думалъ-было я сперва положить это письмо, не распечатывая его, пока не встану съ постели, не умою лица моего и не умаху главы моей, да не явлюся передъ людьми постыженнымъ;—но письмо какъ-то само и распечаталось и прочлось. Три раза уже прочелъ я его, а вотъ и теперь не могу

сообразиться, что въ немъ и какъ на него отвѣчать. Постойте, прочту еще разъ, да ужъ съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. Не спрашиваю васъ, какъ показалась вамъ статья моя: судя по обстоятельствамъ, которыми сопровождалось ея чтеніе, не думаю, чтобы вы что-нибудь замѣтили въ ней. Бѣдная статья моя, а мнѣ такъ хотѣлось услышать ваше о ней мнѣніе. И это отнюдь не по авторскому самолюбію—вотъ будущая моя статья такъ гадка, что изъ рукъ вонъ, а въ той, какова бы ни была она, для меня важно содержаніе, и о немъ-то хотѣлъ бы я услышать ваше мнѣніе. Миловзоръ Галаховъ появился, видно, преслѣдовать васъ. Я теперь понимаю, почему онъ приставалъ ко мнѣ съ своей *m-lle Ostr.*—кажется мнѣ теперь, что надѣялся услышать отъ меня признаніе въ тайнѣ. Ахъ, лисый Маниловъ, вотъ я его! Что касается до издѣвокъ Агриппины Васильевны, то сколько ей угодно; я знаю, что мы съ ней друзья, и притомъ самыя задушевные, а до остального мнѣ нѣтъ дѣла. Вотъ ея *scènes de jalousie*,—это другое дѣло: хотѣлось бы посмотреть и поаплодировать, если хорошо представляются. Я люблю сценическое искусство. Что же касается до старой, больной, бѣдной, дурной жены, *sauvage* въ обществѣ и не смыслящей ничего въ хозяйствѣ, которую наказываетъ меня Богъ,—то позвольте имѣть честь донести вамъ, Магіе, что вы изволите говорить глупости. Я особенно благодаренъ вамъ за эпигроту *бѣдной*; въ самомъ дѣлѣ, вы погубили меня своею бѣдностію: вѣдь я было располагался жениться на толстой купчихѣ съ черными зубами и 100,000 приданого. Что касается до вашей старости, я былъ бы отъ нея въ совершенномъ отчаяніи, еслибы, во 1-хъ, мнѣ хотѣлось имѣть молоденькую жену, *à la madame Maniloff*, и во 2-хъ, если бы я не видѣлъ и не зналъ людей, которые отъ молодости женъ своихъ страдаютъ такъ, какъ другіе отъ старости. Изъ этого я заключаю, что дѣло ни въ старости, ни въ молодости, и вообще нѣтъ ничего безполезнѣе, какъ заглядывать впередъ и говорить утвердительно о томъ, что еще только будетъ, но ничего еще нѣтъ. Я надѣюсь, что мы будемъ счастливы; но рѣшеніе на этотъ вопросъ можетъ дать не надежда, не предчувствіе, не расчетъ, а только сама дѣйствительность. И потому пойдемъ впередъ безъ оглядокъ и будемъ готовы на все—быть человѣчески достойными счастья, если судьба дастъ намъ его, и

съ достоинствомъ, по-человѣчески, нести несчастіе, въ которомъ никто изъ насъ не будетъ виновать. Кто не стремится, тотъ и не достигаетъ; кто не дерзаетъ, тотъ и не получаетъ. Всякое важное обстоятельство въ жизни есть лотерея, особенно бракъ; нельзя, чтобы рука не дрожала, опускаясь въ таинственную урну за страшнымъ билетомъ, но неужели же слѣдуетъ отдергивать руку потому, что она дрожитъ?—Вы больны,—это правда; но вѣдь и я боленъ; я былъ бы въ тягость здоровой женѣ, которая не знала бы по себѣ, что такое страданіе. Намъ же не въ чемъ будетъ завидовать другъ другу, и мы будемъ понимать одинъ другого во всемъ—даже и въ болѣзняхъ. Какъ добрые друзья, будемъ подавать другъ другу лѣкарства,—и они не такъ горьки будутъ намъ казаться. Впрочемъ, по роду вашей болѣзни, вы должны выздоровѣть, вышедши замужъ; бывали примѣры, что доктора отказывались лѣчить, какъ безнадежныхъ, больныхъ разстройствомъ нервовъ женщинъ, совѣтуя имъ замужество, какъ послѣднее средство,—и опыты часто показывали, что доктора не ошибались въ своихъ расчетахъ; ибо брачная жизнь болѣе сообразна съ натурою и назначеніемъ женщины, чѣмъ дѣвическое состояніе. Но какъ бы то ни было—

Будь сіянье, будь ненастье,
Будь, что надобно судьбѣ,
Все для жизни будетъ счастье,
Добрый спутникъ, при тебѣ.

Дайте мнѣ вашу руку, мой добрый, милый другъ—то опираясь на нее, то поддерживая ее, я готовъ идти по дорогѣ моей жизни, съ надеждою и бодро. Я вѣрю, что чувствовать подлѣ своего сердца такое сердце, какъ ваше, быть любимымъ такою душою, какъ ваша, есть не наказаніе, а награда выше мѣры и заслуги. Вы называете себя дурною и даже букою: что-жь? Я люблю ваше дурное лицо и нахожу его прекраснымъ: стало быть, наказанія и тутъ нѣтъ. Вы дики въ обществѣ—я тоже, и тѣмъ веселѣе будетъ намъ въ обществѣ одинъ съ другимъ. Еслибы вы были общительны и любили общество—тогда бы я дѣйствительно былъ наказанъ крѣпко за грѣхи мои. Вы ничего не знаете въ хозяйствѣ, и не мудрено,—вамъ не для чего и не отъ чего было узнать его, какъ и всѣмъ особамъ вашего пола, которыя не были поставлены

судьбою въ необходимость заниматься хозяйствомъ. Но, какъ и многія, увидя себя хозяйкою, вы поневолѣ сдѣлаетесь ею. Я, право, не понимаю, почему вамъ стоило такого труда сказать мнѣ, что вы хотѣли бы, чтобъ церемонія была въ 12 ч., и чтобъ уѣхать изъ Москвы въ тотъ-же день; и не понимаю, что вы тутъ разумѣете подъ вашею кн. Марьею Алексѣевной. На чемъ бы ни было основано ваше желаніе, еслибы даже и ни на чемъ,—я не вижу никакой причины не выполнить его. Можетъ быть, это желаніе происходитъ отъ того, что вы не хотите дать собою зрѣлище для празднаго и дикаго любопытства людей, которые чужими дѣлами занимаются больше, чѣмъ своими: въ такомъ случаѣ, я и самъ вполне раздѣляю ваше желаніе. Къ чему эти затруднительныя выговариванія; будемъ вполне и свободно откровенны другъ съ другомъ. Этимъ письмомъ я подаю вамъ примѣръ. Глуны мои предположенія, не правятся они вамъ—скажите—и объ нихъ больше ни слова. На счетъ отъѣзда изъ Москвы въ день вѣнчанія—дѣло довольно трудное. Взять особенной кареты я теперь не въ состояніи—на это нужно 500 руб.; стало быть, заранѣе надо взять мѣста въ *hallerpost* или конторѣ дилижансовъ; но въ первой мѣста берутся недѣли за двѣ впередъ, а изъ вторыхъ только изъ одной конторы дилижансы ходятъ послѣ обѣда.

Mlle Agrippine можетъ говорить, что ей угодно о вашемъ первомъ письмѣ; но мнѣ оно до того кажется умнымъ и милымъ, такъ вѣрно отражающимъ въ себѣ васъ, что я выучилъ его чуть не наизусть. Главнымъ образомъ, хоть mlle Agr. и упрекаетъ васъ, что ваши письма холодны, но я и въ этомъ съ нею не согласенъ. Я читаю въ вашихъ письмахъ не только то, что въ строкахъ написано, но что и между строками. Я такъ увѣренъ въ вашей любви ко мнѣ, что вамъ нѣтъ никакой нужды писать ваши письма иначе, нежели какъ они сами пишутся. Будьте самой-собою, Marie—больше я отъ васъ ничего не требую, потому что люблю васъ такою, каковы вы въ самомъ дѣлѣ. А что касается до разлуки—прегадкая вещь во всякомъ случаѣ и всегда, но до брака особенно, ибо ставить людей въ прегрупное положеніе, которое можно выразить словами: *ни то, ни се*. Терпѣть не могу такихъ положеній; они очаровательны для юношей и мальчиковъ, которые еще не выросли изъ стиховъ Жуковского и любятъ твердить: „Любовь ни времени, ни мѣсту не подвластна“.—По картамъ у васъ вы-

ходить всегда прекрасно. Дитя вы, дитя! Ну, да, дѣла мои, точно, пошли недурно; а сначала я было приунылъ, ибо уви-дѣлъ, что въ дѣйствительности не такъ-то легко все дѣлается, какъ въ фантазіи, заодно съ желаніемъ. А вы угадали, что въ тотъ день, какъ вы писали ко мнѣ это письмо, и я писалъ къ вамъ: послѣднее письмо мое пошло къ вамъ въ среду (15), а вы получили его въ субботу (18). Вы пишете, что m-lle Agrippine только и бредитъ мною: что-жъ тутъ удивительнаго—я приписываю это моимъ необыкновеннымъ достоинствамъ. Я радъ, что вы видѣли Кудр.: ¹⁾ я этого человѣка очень люблю и много уважаю.

А вы пишете, что чувствуете себя не очень здоровою и что вамъ очень грустно: вотъ это нехорошо, и этого я больше всего боюсь. Бога ради, берегитесь! Обо мнѣ не беспокойтесь—я живучъ какъ кошка, и со мной чортъ-ли дѣлается. Прощайте. Пуще всего будьте здоровы. Теперь я буду въ большомъ безпокойствѣ, не зная, кончилось ли ваше нездоровье, или—сохрани Богъ—пошло вдалѣ. Не мучьте меня медленностію вашихъ отвѣтовъ: съ этой стороны я и такъ ужъ порядочно измученъ.

Вашъ В. Ѳюминскій.

Суббота, сент. 25. Наконецъ, я получилъ ваше письмо, ожиданіе котораго дѣлало меня безумнымъ за три дня до четверга (23) и два дня послѣ четверга, ибо въ четвергъ ожидалъ я его. Мое третье письмо вы получили въ прошлую субботу (18); а какъ въ понедѣльникъ m-lle Agrippine свободна отъ дежурства, то, благодаря ея добротѣ и снисходительности, вашъ отвѣтъ и могъ быть посланъ. Я даже думалъ, что онъ не могъ быть посланъ; но ваше письмо вывело меня изъ заблужденія и показало мнѣ, что я былъ невыносимо глупъ. Признаюсь въ глупости и прошу васъ извинить меня за нее, а за то, что вы навели меня на сознаніе моей глупости, чувствительнѣйше благодарю васъ. Точно, я теперь вспомнилъ, что вы говорили, что будете писать ко мнѣ разъ въ двѣ недѣли. Но вѣдь помнится, и я тоже хотѣлъ писать къ вамъ только разъ въ недѣлю; но, получивъ ваше письмо, не могу

¹⁾ П. Н. Кудравцевъ.

не отвѣтить на него въ ту же минуту, а пославъ его на почту, считаю дни, часы и минуты, въ продолженіе которыхъ оно должно дойти до васъ. Меня занимаетъ (и какъ еще—если бы вы знали!) не одна только мысль, когда ваше письмо обрадуетъ меня, но и когда мое письмо обрадуетъ васъ. Я думалъ, что и вы такъ же точно, и моимъ душевнымъ состояніемъ мѣрили состояніе вашей души. Это было глупо, какъ я вижу теперь. Вы обѣщали писать въ двѣ недѣли разъ, теперь пишете каждую недѣлю, и чаще *пишете не намѣрены*. Хвалю такую геройскую рѣшительность и такую непоколебимую твердость характера. Я въ восторгѣ отъ нихъ. Итакъ, теперь мнѣ уже не отъ чего беспокоиться, мучиться, не получая отъ васъ долго письма: вы здоровы, и мои опасенія—грезны больного воображенія, вы здоровы, и наслаждаетесь своимъ рѣшеніемъ не писать больше одного раза въ недѣлю. Но скажите же, отъ чего мнѣ жаль моего безпокойства, моей тревоги, тоски и мученія? Отъ чего не радуется меня мысль, что теперь ваше молчаніе не означаетъ вашего нездоровья? Не знаю—или я слишкомъ слабохарактеренъ и въ моемъ чувствѣ много дѣтскаго, или вы написали ко мнѣ ваше третье письмо въ состояніи той враждебности, которую чувствовали вы ко мнѣ въ одну изъ субботъ, когда мы втроемъ гуляли въ Сок. Такъ или этакъ, но только мнѣ грустно, очень грустно. Я ждалъ себѣ сегодня свѣтлаго праздника...

Мнѣ хочется разорвать это письмо и ни слова не говорить вамъ о томъ, что такъ тяжело на меня подѣйствовало; но меня остановила мысль, чтобы вы знали меня такимъ, каковъ я есть. Поэтому я боюсь скрыть отъ васъ какое бы то ни было движеніе души моей. Охотно признаюсь вамъ въ несправедливости моего упрека вамъ за танцы, и прошу васъ извинить меня за него. Что касается до меня, въ дождь по Невскому я не гулялъ. Я поѣхалъ обѣдать къ Комарову, (по воскресеньямъ я всегда ѣзжу обѣдать или къ Комарову, или Вержбицкому), поѣхалъ, когда не было дождя, а по дорогѣ меня засталъ проливной дождь и промочилъ насквозь мои ноги. M-lle Agrippine назвала меня Подколесиннымъ. Всякій мужчина передъ женитьбой есть Подколесинъ, только одинъ лучше, другой хуже умѣетъ скрывать это. Я, разумѣется, всѣхъ хуже.

Что я писалъ къ вамъ письмо до 12 часовъ ночи, вы можете бранить меня за это сколько вамъ угодно. Что мнѣ дѣ-

лать? У меня нѣтъ вашего благоразумія въ дѣлѣ переписки съ вами, и я не могу сказать себѣ: „буду писать тогда-то“, а пишу, когда захочется писать. Вотъ сегодня хотя бы я и рано легъ, а не усну скоро, и потому хочу работать. Работу я запустилъ, ибо, не зная причины вашего долгаго молчанія, все безпокоился и тосковалъ, а работа не шла на умъ. Я, точно, безтолковъ, а вы—надо въ этомъ отдать вамъ полную справедливость—вы очень благоразумны. Кстати о благоразуміи и Татьянѣ—да нѣтъ, я сегодня не въ состояніи разсуждать съ вами объ этой прекрасной россиянкѣ, за которую вы такъ горячо заступаетесь. Что касается до Б. ¹⁾ и его горя: вы не совсѣмъ такъ поняли все это. Что Агн. ²⁾ не 30, а только 20 лѣтъ, въ этомъ нѣтъ бѣды, а худо то, что они другъ друга не понимаютъ и что между ними ничего общаго нѣтъ. Быть связаннымъ съ женщиною, которая горячо меня любитъ, которую я не могу не уважать за благородную душу и страстное сердце, но которая не знаетъ ни того, чѣмъ я здоровъ, ни того, чѣмъ я боленъ, съ которою мнѣ не о чемъ слова перемолвить, съ которою я молюсь не одному Богу, съ которою у меня нѣтъ ни одной общей симпатіи, ни одного общаго интереса,—о, не чудакъ я буду, если скажу: зачѣмъ она дитя, зачѣмъ ей не 30 лѣтъ! Есть люди, которые любятъ въ женщинахъ больше всего наивность и разныя милыя качества; есть другіе, которые въ женщинѣ хотятъ видѣть прежде всего человѣка, по образу и по подобію Божію созданнаго: Б. изъ такихъ людей.

Ваше изъясненіе на счетъ моего друга нисколько не озлобило меня, тѣмъ болѣе, что я самъ виноватъ въ томъ, что вы поняли это дѣло въ довольно смѣшномъ видѣ: мнѣ бы или совсѣмъ не слѣдовало говорить вамъ о немъ ни слова, или бы надо было сказать поподробнѣе. Адресы на моихъ письмахъ всѣ безъ исключенія писаны не мною, а Б—мъ.

Да! скажите: можетъ быть, ваше твердое намѣреніе не писать ко мнѣ больше одного раза въ недѣлю означаетъ также и нежеланіе получать отъ меня больше одного письма въ недѣлю? Увѣдомьте меня о вашей волѣ въ этомъ отношеніи. И если такова дѣйствительно ваша воля, то какъ ни больно мнѣ это, а я постараюсь ее выполнить... Какія ночи, Боже мой! какія ночи! моя зала облита фантастическимъ серебрянымъ свѣ-

¹⁾ В. П. Боткинъ.

²⁾ Агнессе — жена Боткина.

томъ луны. Не могу смотрѣть на луну безъ увлеченія: она такъ часто сопровождала меня въ то прекрасное время, когда бывало возвращался я изъ Сок. Но теперь, въ эту минуту, мнѣ не весело смотрѣть и на чудную ночь. Прощайте, Marie, жму и цѣлую вашу руку, и прошу ее написать ко мнѣ хотя одно ласковое слово—оно утѣшило бы меня. Почему-то мнѣ захотѣлось перечестъ ваше второе письмо—оно доставило мнѣ столько счастья!

Среда, 29-го. Долго я не имѣлъ духу ни перечестъ своего письма, ни отослать его къ вамъ. А все потому, что боялся или огорчить и обезпокоить васъ долгимъ молчаніемъ, или показаться вамъ смѣшнымъ, придавая важное значеніе тому, что въ глазахъ вашихъ, можетъ быть, очень обыкновенно и мелко. О, тысячу разъ простите меня, если я былъ глупъ и понялъ ваше письмо, не такъ, какъ должно было понять его! Во всякомъ случаѣ, я былъ бы радъ и счастливъ, еслибы это мое письмо не огорчило васъ.

Все это время я былъ не въ духѣ и не совсѣмъ здоровъ. Я слишкомъ impressionnable, и душевное состояніе мое такъ же сильно дѣйствуетъ на здоровье, какъ и здоровье на душу. Теперь мнѣ какъ будто лучше, и для того, чтобы мнѣ было совершенно хорошо, не достаетъ только нѣсколькихъ дружественныхъ строкъ, написанныхъ вашею рукою. О, тогда я снова буду счастливъ и снова буду жить и дышать ожиданіемъ вашихъ писемъ!

Отвѣтъ на мое послѣднее письмо надѣюсь получить послѣзавтра (въ пятницу, 1-го окт.), думаю, что онъ отосланъ во вторникъ; не знаю, обманетъ ли меня моя надежда.

Вчера только отдѣлался я отъ 10-й книжки „*Отеч. Зап.*“ Мочи нѣтъ какъ усталъ и душою и тѣломъ; правая рука одеревенѣла и ломитъ Прощайте.

Вашъ В. Бѣлинскій.

С. П. Б. 1843, окт. 1. Ваше письмо доконало меня во всѣхъ отношеніяхъ. Вы ждете моего отвѣта, чтобы сообразно съ нимъ распорядиться. Само собою разумѣется, что я поступлю такъ, какъ вы хотите, какъ ни страшно тяжело это для

меня. Vous êtes esclave и прекрасная россиянка—не въ обиду вамъ будь сказано. И это мнѣ горше всего. Конечно, сбереженіе денегъ вещь важная, и что я истрачу на проѣздъ, все это могло бы быть употреблено съ большею пользою; но деньги не могутъ быть крайнимъ препятствіемъ. Гораздо важнѣе для меня потеря времени, ибо я нуженъ Краевскому, и онъ довольно уже терпѣлъ отлучки и помѣху работѣ. Но что всего хуже, всего ужаснѣе, это—покориться обычаямъ шутовскимъ и подлымъ, профанирующимъ святость отношеній, въ какія мы готовы вступить съ вами, обычаямъ, которые я презираю и ненавижу по принципу и по натурѣ моей. У дядюшки обѣдъ! Будь прокляты всѣ обѣды, всѣ дядюшки, всѣ тетюшки и всѣ чиновники съ ихъ гнусными обычаями. Еслибы вы пріѣхали въ Петербургъ,—тихо, просто, *человѣчески* обвинялись бы мы съ вами въ церкви какого-нибудь учебнаго заведенія, и присутствовало бы тутъ человѣкъ пять (никакъ не болѣе) моихъ друзей, да одна изъ женъ моихъ друзей, съ которою могли бы вы пріѣхать въ церковь, еслибы, въ качествѣ прекрасной россиянки, нашли неловкимъ пріѣхать туда со мной. Я смотрю на этотъ обрядъ, какъ на необходимый *юридическій* актъ, и чѣмъ проще онъ совершится, тѣмъ лучше. Б. взялъ Агт. подъ руку, да и пошелъ съ нею по Невскому въ Казанскій соборъ, въ сопровожденіи пяти пріятелей—такъ и воротился словно съ прогулки. Вы могли бы остановиться у меня, ибо что вамъ за дѣло до того, что объ васъ станутъ говорить люди, которыхъ вы не знаете и никогда не узнаете, а тѣ, которыхъ вы будете знать, будутъ на это смотрѣть, какъ я. Знаете ли что? Я долженъ теперь лгать передъ моими друзьями, ибо я никогда не рѣшусь сказать имъ о вашихъ мотивахъ и о той шутовской процедурѣ, которую долженъ я буду пройти въ Москвѣ. Они не повѣрятъ, что слышатъ это отъ Бѣлинскаго. Причины ваши всѣ недостаточны и ложны. М-ше Chagriot вы лично могли бы приготовить, могли бы увѣрить ее, что мои дѣла не позволяютъ мнѣ ни на день отлучиться изъ Петербурга, что черезъ это я потерю мѣсто, которымъ существую, и что вы, съ своей стороны, находите смѣшнымъ отказаться отъ того, что считаете своимъ счастьемъ, для глупыхъ условныхъ приличій. Кстати замѣчу, что въ Питерѣ ни одинъ человѣкъ не пойметъ, въ чемъ тутъ неприличіе, ибо въ Петербургѣ нравы ближе къ Европѣ и человѣчности,—не то,

что въ Москвѣ, этомъ égout, наполненномъ дядюшками и тетушками, этими подонками, этимъ отстоемъ, этою изгарью татарской цивилизаціи. При вѣнчаніи будутъ—пишете вы—все-го человекъ *двадцать*, да съ моей стороны человекъ 10 или 15: да зачѣмъ и гдѣ наберу я такую орду? У меня все такіе знакомые, для которыхъ подобное зрѣлище нисколько не интересно. Будутъ, можетъ быть, человека три. Вы даже убѣждены, что если бы мы, обвинчавшись, не уѣхали въ тотъ же день, то были-бы должны дѣлать и отдавать визиты, *иначе подпадемъ анаемъ*: ахъ, Магіе, Магіе, да что же вамъ за дѣло до всѣхъ этихъ анаемъ? Неужели вамъ мало любви и уваженія человека, котораго вы избрали въ спутники вашей жизни, уваженія и пріязни всѣхъ тѣхъ, коихъ онъ уважаетъ и любитъ,—и вы хотите еще знать, что объ васъ говорятъ люди, съ которыми у васъ нѣтъ ничего общаго, которымъ до васъ, такъ же, какъ и вамъ до нихъ, нѣтъ дѣла?.. Пріятели, которые дали мнѣ совѣтъ предложить вамъ ѣхать одной въ Питеръ, живутъ въ дѣйствительности, а не въ эмпирей—они люди женатые и отцы семействъ, прозу жизни знаютъ хорошо, но они не москвичи, не татары и не калмыки, а петербургскіе жители. Когда я, по какому-то грустному предчувствію, принялъ ихъ совѣтъ нерѣшительно, они начали надо мною смѣяться и бранить меня, говоря утвердительно, что съ вашей стороны препятствія быть не можетъ, и думая видѣть его съ моей.

Да что объ этомъ говорить! Если вы меня знаете и понимаете, то поймете, что во мнѣ говоритъ это не *Подколесинъ*, а *человѣкъ* (я слово человекъ употребляю какъ антитезу *москвичу*). Не скрою отъ васъ и того, что мнѣ горько видѣть въ вашей волѣ тѣ самые предрасудки, которыхъ вы выше умою вашимъ. Я думалъ, что мое предложеніе обрадуетъ васъ, какъ простое средство избавиться отъ необходимости дѣлать изъ себя спектакль, и что вы ухватитесь за него со всею силою вашего характера и вашей воли, уступчивыхъ въ пустякахъ (какъ вы мнѣ говорили), но твердыхъ и настойчивыхъ въ важныхъ дѣлахъ. Но быть такъ; я пріѣду и умоляю васъ только вотъ о чемъ: вѣнчаться въ приходѣ Новаго Пимена (это важно потому, что можно избѣжать повѣстки), и часа въ 4, чтобы изъ церкви же ѣхать въ контору дилижансовъ) (есть одна, гдѣ дилижансы отходятъ въ 6 ч. вечера).

Упрекъ вашъ въ болтовнѣ несправедливъ; что я женюсь,— это знаетъ только семейство Корша, и то не знаетъ—на комъ. Щепкинымъ я не только ничего не говорилъ, но боялся, чтобы они не узнали, почему я рѣдко у нихъ бываю. Откуда выпли сплетни, не знаю. Но видно Москва носомъ слышитъ новости. Очень жалѣю о страданіи M-me Agrippine, но не я виновать въ нихъ.

Бъ счастію, ваше письмо получилъ я сегодня очень рано (въ 10 ч.) и потому сегодня же могу и отвѣчать вамъ. Мой отвѣтъ долженъ быть у васъ въ рукахъ въ понед. (3). Бога ради, отвѣчайте поскорѣе.

Что касается до моей статьи, то взгляды мои въ ней вы раздѣляете только *теоретически*; ваше письмо доказываетъ, что на *практикѣ* мы разнѣ понимаемъ вещи. Прощайте. Не сердитесь на меня за сердитыя фразы: надо же мнѣ дать волю высказать тяжесть души,—послѣ этого я буду смиренъ какъ теленокъ и буду мычать у вашихъ дядюшекъ и тетюшекъ.

Вашъ В. Бѣлинскій.

Суббота, 2 окт. 1843, С.-П.-Б.

Я никого не люблю огорчать ни умышленно, ни неумышленно, и когда мнѣ случится это сдѣлать такъ или этакъ, я страдаю больше тѣхъ, которыхъ огорчилъ. Тѣмъ мучительнѣе для меня мысль, что, можетъ быть, я огорчилъ васъ вотъ уже двумя письмами, отъ которыхъ вы ожидали только удовольствія и радости. Вотъ причина этого новаго письма, которое будетъ для васъ совсѣмъ неожиданно. Давеча по утру (это письмо пишется въ пятницу же, ночью) я былъ слишкомъ разстроенъ и потрясенъ вашимъ письмомъ и потому не могъ отвѣчать на него спокойнѣе и кротче, какъ бы слѣдовало. Теперь я спокойнѣе и хочу поговорить съ вами все о томъ же, только хладнокровнѣе и разсудительнѣе. Когда я писалъ вамъ насчетъ вашего приѣзда въ П(етербургъ), я дѣлалъ это въ просительномъ тонѣ, изъ котораго вы могли видѣть, что я готовъ послѣдовать не моему, но вашему рѣшенію касательно этого предмета. Я тутъ нисколько не хитрилъ, ибо единственною причиною, которая могла бы остановить васъ, полагалъ боязнѣ ѣхать одной и подвергнуться, м. б., какимъ-нибудь не-

приятнымъ случайностямъ въ дорогѣ, не имѣя при себѣ муж-
чины. Хотя подобныхъ случайностей на дорогѣ между Мо-
сквою и П(етербургомъ) не бываетъ, и хотя по этой до-
рогѣ поѣздка теперь сдѣлалась очень обыкновенною, удоб-
ною и безопасною, но кого любяшь, за того боишься все-
го, и меня самого пугала мысль, что вы поѣдете безъ меня;
а потому, въ случаѣ вашего несогласія, я спокойно распола-
гался приѣхать самъ въ Москву. Я не думалъ ни о дядюшкахъ
и тетюшкахъ, ни о M-me Chagriot (если и думалъ о послѣд-
ней, то предположительно только), ни объ официальномъ обѣ-
дѣ, съ шампанскимъ и поздравленіями, съ идиотскими улыбка-
ми, и, можете быть, о infame! — съ чиновническими шутками и
любезностями. Въ этой поистинѣ плѣнительной картинѣ не
достаесть только свахи, смотра, стовора, дѣвичника съ свадеб-
ными пѣснями. Кажется, что — и при этой мысли ужасъ про-
никаетъ холодомъ до костей моихъ — въ посаженомъ отцѣ и
посаженой матери недостатка не будетъ, и насъ съ вами встрѣ-
тятъ съ образомъ, и мы будемъ кланяться въ ноги. Знаете ли
что! — мнѣ больно не одно то, что вы осуждаете меня на эту
позорную пытку, но то, что вы обнаруживаете столько resigna-
tion въ этомъ случаѣ въ отношеніи къ самой себѣ. Это для
меня всего тяжелѣе. Вы даже не хотите понять причины мо-
его ужаса и отвращенія къ этимъ позорнымъ церемоніямъ и при-
писываете это трусости Подколесина. Во мнѣ такъ много не-
достатковъ, что уже ради одной ихъ многочисленности не слѣ-
дуетъ мнѣ приписывать не существующихъ во мнѣ. Под-
кол(есинъ) труситъ мысли, что вотъ-де все былъ неженатъ и
вдругъ женатъ. Я понимаю такую мысль, но она не можетъ
же испугать меня до того, чтобы я хотя на секунду, въ уеди-
ненной бесѣдѣ съ самимъ собою, пожалѣлъ о моемъ рѣ-
шеніи жениться. Въ такомъ случаѣ, я чувствовалъ бы себя
недостойнымъ васъ и сталъ бы самъ себя презирать. Такая мысль
(т. е. Подколесинскій страхъ женатаго состоянія) можетъ меня
безпокоить, какъ необходимость выѣхать въ собраніе, или прой-
ти по улицѣ въ мундирѣ, но не больше. Подколесинъ пугает-
ся не церемоній и неприличныхъ приличій; напротивъ, онъ
не понимаетъ возможности брака безъ нихъ, и безъ нихъ про-
палъ бы отъ ужаса при мысли, что объ этомъ говорить. Изъ
окна я не выброшусь, но не ручаюсь, что наканунѣ вѣнчанья не
проснусь съ сильною просвѣдою на головѣ и что въ эту ночь

не переживу длиннаго, длиннаго времени тяжелой внутренней тревоги. И пиша эти строки, я глубоко скорблю и глубоко страдаю отъ мысли, что вы не поймете моего отвращенія къ позорнымъ приличіямъ и шутовскимъ церемоніямъ. Для меня противны слова: *невеста, жена, женихъ, мужъ*. Я хотѣлъ бы видѣть въ васъ *ma bien aimée, amie de ma vie, ma Eugénie...* По моему *кровному* убѣжденію, союзъ брачный долженъ быть чуждъ всякой публичности, это дѣло касается только двоихъ—больше никого.

Вы боитесь *scandale*, *анафемы* и толковъ—этого я просто не понимаю, ибо я давно позволилъ безнаказанно проклинать меня и говорить обо мнѣ все, чтò угодно, тѣмъ, съ которыми я на всю жизнь *разставался*. Таковыя для меня не существуютъ. У меня есть свой кругъ и свое общество, состоящее все изъ людей, женившихся совсѣмъ не по русскійски. Вы пишете, что теперь поняли всю дикость нашего общества и пр. Знаете ли, что вѣдь ваши слова не болѣе какъ слова, слова и слова?—Ибо они не оправдываются дѣломъ. Общество улучшается черезъ благороднѣйшихъ своихъ представителей, и вѣдь кому-нибудь надо же начинать. Вы похожи на раба-отпущенника, который хотя и знаетъ, что его бывшій баринъ уже не имѣетъ надъ нимъ никакой власти, но все, по старой привычкѣ, почтительно снимаетъ передъ нимъ шапку и робко потупляетъ передъ нимъ глаза; мнѣ кажется, что разумъ данъ человѣку для того, чтобы онъ разумно жилъ, а не для того только, чтобы онъ видѣлъ, что неразумно живеть.

Изъ всѣхъ изложенныхъ вами причинъ невозможности ѣхать въ Питеръ я нахожу резонною только одну: непріятныя отношенія, въ которыя станетъ А(графена) В(асильевна) къ своимъ родственникамъ. Я согласенъ, что въ этомъ отношеніи не должно дразнить гусей, но должно сдѣлать такъ, чтобы вы настояли все-таки на своемъ, а гусей не раздражили. Для этого есть очень простое средство: попросите у дядюшки (смирно и интимно) совѣта въ дѣлѣ, на исполненіе котораго вы и безъ него рѣшились твердо. Можетъ быть, онъ и поспоритъ, но потомъ непременно согласится, если поведете дѣло искусно и сумѣете поладить съ его самолюбіемъ. Судя по вашимъ же о немъ рассказамъ, онъ человѣкъ не глупый и пойметъ, что смѣшно же вамъ, изъ уваженія къ разнымъ, хотя бы и важнымъ, аппаратсамъ, отказываться отъ того, чтò, и по его

мнѣнію, должно составить счастье вашей жизни. А я прилагаю вамъ при семъ (на всякій случай) официальное письмо къ вамъ, которое вы можете показать ему. Если онъ согласится, то и тетенька (о милое слово!) тоже согласится. Сперва имъ будетъ это дико, но дня черезъ три, привыкнувъ къ этой мысли, они найдутъ ее очень естественною. Такъ же точно можете вы поступить и съ M-me Charpiot. И по русской пословицѣ—и овцы будутъ цѣлы и волки будутъ сыты. Потомъ изрѣдка письма изъ Питера въ M-me Ch. и къ родственникамъ,—и M-lle Agrippine будетъ въ лучшихъ отношеніяхъ и съ тою и съ другими. Повторяю вамъ, я поступлю такъ, какъ рѣшите вы въ отвѣтъ на это письмо (которымъ не медлите ни минуты, ибо время становится дорого); хотя, кромѣ сказаннаго мною объ ужасѣ и отвращеніи, какое внушаетъ мнѣ одна мысль объ ожидающихъ меня въ М—вѣ мѣщанскихъ (bourgeois) продѣлкахъ, есть и еще весьма непріятное обстоятельство: Краевскому крайне непріятна мысль о моемъ отъѣздѣ и, не смотря на всѣ мои доводы, онъ не видитъ достаточной для нея причины. И потому, мнѣ теперь надо страшно работать, чтобы статьи послѣднихъ №№ поспѣли ко времени и были хороши. Однакожь, все это я употребляю всѣ мои силы преодолѣть. Но, не смотря на то, умоляю васъ, Marie—заставьте за себя вѣчно молиться Богу и не обидьте сироту круглаго—вѣдь ни батюшки, ни матушки, ни роду-племени—попытайтесь устроить дѣло, какъ я вамъ говорю. На колѣняхъ умоляю васъ. Если не удастся—ну, дѣлать нечего—двухъ смертей не будетъ, одной не миновать.

Мнѣ кажется, что васъ тутъ, кромѣ другихъ причинъ, страшитъ мысль ѣхать одной. О дорогѣ ни слова—это вздоръ. Возьмите мѣсто въ каретѣ *malle-post*, а выберите день, когда сосѣднее съ вами мѣсто занято будетъ дамою же. Если бы, чего да избавить Богъ,—вы заболѣете дорогою, то на всякой станціи найдете вы особую комнату и прислугу, и можете послать ко мнѣ письмо съ своимъ же кондукторомъ, который, въ надеждѣ получить отъ меня цѣлковый, сейчасъ же доставитъ его мнѣ, и я явлюсь къ вамъ немедленно. Если же васъ страшитъ мысль не ѣхать, а пріѣхать одной въ Питеръ, то надо, чтобы вы считали меня за Ивана Александровича Хлестакова, который въ одно прекрасное утро хлопъ передъ вами на колѣна, да и закричалъ: „руки прощу, Марья Антоновна!“

а потомъ, какъ вы прѣѣхали... да нѣтъ, у меня не достаетъ духу кончить фразу, — и я прошу у васъ прощенія въ негѣпомъ предположеніи.

Касательно причинъ, которые можете вы представить М-ше Charriot и дядюшкѣ, я уже писалъ вамъ въ письмѣ, полученномъ вами вчера. Вы нисколько не будете лгать, если скажете, что я не могу отлучиться изъ П., по причинѣ моихъ занятій. Вамъ придется только прикрасить эту истину, сказавъ, что я, въ случаѣ поѣздки, лишусь мѣста при журналѣ, которое даетъ мнѣ 6,000 р. асс. въ годъ и которое отдастся другому. Неужели такого довода мало для этихъ людей?

Окт. 2. Еще слово о пріятеляхъ, давшихъ мнѣ совѣтъ предложить вамъ ѣхать одной въ П. Это Комаровъ, пять лѣтъ женатый, Краевскій уже два года вдовый и Вержбицкій, двѣнадцать лѣтъ женатый. Вы, м. б., насмѣшливо улыбнетесь при этомъ исчисленіи лѣтъ женатой жизни, но я говорю дѣло, и вы согласитесь со мною, что женатая жизнь, говорю, не даетъ человѣку жить въ эмпиреѣ, въ томъ смыслѣ, какой вы даете этому слову. Дѣло здѣсь въ томъ, что въ Петербургѣ, если бы о вашемъ пріѣздѣ дано было знать цѣлому городу, никто бы не нашелъ этого страннымъ, а всѣ нашли бы это очень естественнымъ и обыкновеннымъ. Пет. столѣтіемъ обогналъ Москву и на 700 верстъ ближе ея къ Европѣ. Въ Пет. люди заняты, живутъ работою и знаютъ, что такое время. Поэтому въ П. пріѣзды невѣсть къ женихамъ (какіе гнусные терминны!) нерѣдки и обыкновенны. Калмыцкій принципъ родства въ П. очень слабъ въ сравненіи съ Москвою. Въ П. никому нѣтъ дѣла до другихъ, потому что много своихъ хлопотъ. Тамъ братъ по году не видитъ брата, не будучи въ ссорѣ. Москвѣ больше нечего дѣлать, какъ жрать и сплетничать. Разумѣется, для нея позвать на свадьбу—великая радость: да какая же радость лишить ее этой радости? Неужели вы не понимаете этого? Неужели, сказавши: „Je suis esclave, esclave par-dessus les oreilles“ вы этимъ утѣшились, рѣшившись навсегда остаться при этомъ? Я ловлю васъ на этомъ словѣ,—и какъ я ненавижу ложь и скрытность съ тѣми, кого люблю, то скажу вамъ прямо, что не вѣрю, будто положеніе А. В. заставляетъ васъ такъ дѣйствовать: нѣтъ, причина этому votre esclavage, ваша московская боязнь того, что скажутъ о васъ люди, которыхъ вы въ душѣ презираете и не любите, но передъ мнѣніемъ

которыхъ вы ползаете. Это стыдно и грѣхъ. Это преступленіе передъ Богомъ и передъ совѣстью. Скажу болѣе: это низко и недостойно васъ. Еслибы вы, въ понятіяхъ вашихъ, шли въ уровень съ толпою—тогда другое бы дѣло.

И при этомъ, вы себя жестоко обманываете. Вы думаете, оставаясь въ Москвѣ, избрать изъ двухъ золъ меньшее,—а я убѣжденъ въ томъ, что когда будетъ вблизи то, что теперь еще вдалекѣ, вы горько раскаетесь, что не послѣдовали моему совѣту. Васъ измучаетъ вмѣшательство этихъ людей, которымъ столько дѣла до другихъ, васъ убоетъ пошлость и тривиальность этихъ продѣлокъ. Вы увидите, что ихъ больше, чѣмъ вы предвидѣли, что они скучнѣе, чѣмъ вы воображали. Что до меня, моя фигура—въ одно и то же время и жалкая и свирѣпая, и шутовская и звѣриная (ибо я не умѣю притворяться, да и не имѣю въ этомъ нужды, не будучи рабомъ мнѣнія подлой, презираемой мною толпы), вызоветъ толки, горькіе для васъ. Скажутъ, пожалуй, что я женюсь на васъ потому только, что ужъ сказалъ слово, и что поэтому мое вѣнчанье походило на похороны. А такого рода толки таковы, что возмущаютъ мою душу заранѣе, при всемъ моемъ презрѣніи къ мнѣнію толпы, ибо эти толки оскорбятъ не меня, а васъ,—а я многое въ состояніи перенести, кромѣ того, что бы могло бросить на васъ какую-либо тѣнь и такъ или сякъ оскорбить васъ. Съ нѣкотораго времени, я научился молиться, и моя молитва такого содержанія:

„A vous le calme — à moi l'orage“.

Итакъ, вы будете страдать вдвойнѣ—и за себя и за меня. Приѣзжайте вы въ П. однѣ—ничего этого не будетъ. Люди, которые будутъ присутствовать при церемоніи, вамъ совершенно чужды, и тѣмъ лучше для васъ; они расположены къ вамъ хорошо и уважаютъ васъ заранѣе и высокаго о васъ мнѣнія уже по тому одному, что вы (это не мои, а ихъ собственныя слова) могли понять меня. Они уже расположены заранѣе мѣрять ваши достоинства не масштабомъ толпы, ибо они знаютъ, что мнѣ нужно и что меня можетъ сдѣлать счастливымъ. И потому, будучи среди чужихъ, вы больше будете среди своихъ и родныхъ, чѣмъ въ Москвѣ. Если ваша княгиня Марья Алексѣевна запретитъ вамъ остановиться прямо у меня, т. е. у самой себя, то можете остановиться у Краевского (у котораго живетъ дѣвушка, сестра покойной жены его), у Панаева (это

въ одномъ домѣ со мною), у Языкова, у Комарова — у кого хотите, всѣ они радехоньки и наперерывъ мнѣ предлагаютъ. Жена Языкова очень дика, и такъ какъ я не смущалъ ее разговорами, пока она не привыкла ко мнѣ, то она меня очень полюбила. Мужъ ея знаетъ нашу тайну, и я позволилъ ему сказать это его женѣ. Она ему изъяснила свое желаніе, чтобы вы остановились у нея, и сказала при этомъ, что она, еще не видя васъ, уже любитъ васъ за то, что вы моя невѣста. Если же вамъ покажется неловко и тяжело явиться со мною въ чужой для васъ домъ и къ чужимъ для васъ людямъ (что я понимаю и противъ чего спорить не буду), и это дѣло поправимое: вы можете остановиться въ одной изъ лучшихъ гостинницъ П—га—вѣдь это будетъ стоить всего какихъ-нибудь 25 р. асс. со всѣми издержками, потому что это на однѣ сутки, ибо на другой же день и вѣнчаться. Можно бы, пожалуй, и въ тотъ же (т. е. въ день пріѣзда), да съ дороги надо же вамъ отдохнуть и оправиться. Вы меня увѣдомите, на какое число вы взяли мѣсто, и жду васъ въ день пріѣзда въ конторѣ malle-post или дилижансовъ. Не будетъ у насъ ни обѣда, ни дядюшекъ съ тетюшками, воротимся мы съ вами изъ церкви одни. Незамѣтно пройдетъ нѣсколько дней, и мы привыкнемъ къ нашей новой жизни и все сдѣлается обыкновеннымъ, безъ оскорбляющихъ человѣческое достоинство сценъ и спектаклей.

Marie — еще разъ прошу и заклинаю васъ всѣмъ святымъ для васъ въ жизни — да идетъ мимо чапа сія! Не дайте погибнуть мнѣ въ цвѣтѣ лѣтъ и красоты. Мнѣ особенно жаль послѣдней, т. е. моей красоты, ибо я буду очень некрасивъ все время моего плачевнаго пребыванія въ Москвѣ. Если же нельзя иначе—что дѣлать! Въ такомъ случаѣ я, конечно, не имѣю нужды увѣрять васъ, что будетъ по-вашему, а не по моему.

Вы были больны, бѣдный другъ мой, больны безъ простуды: это меня больше потревожило, нежели сколько потревожило бы, если бы вы простудились. Когда къ пѣвкамъ прибѣгаютъ безъ простуды, ушиба или другого случая, это должно быть очень невесело. А вы все толкуете о моемъ здоровьи — какъ будто не знаете, что чортъ ли мнѣ дѣлается. Вы пишете, что не можете тотчасъ же отвѣчать на мои письма потому, что у васъ дрожить рука: зачѣмъ же вы, злая Marie, не сказали этого раньше и черезъ то заставили меня написать къ вамъ

преглупое и прегрубое письмо, которое вы получили сегодня (2-го окт., суб.)? Зачѣмъ вы въ вашемъ третьемъ письмѣ приняли такой холодный и высокомерный тонъ, какъ будто вамъ лѣнь и смотрѣть на насъ, nous autres, pauvres diables? Затѣмъ, что вы женщина и не можете не быть вѣрны своей женской натурѣ? Да отъ этого мнѣ-то не легче, потому что если вы кошки (виноватъ: всѣ женщины болѣе или менѣе кошки), то я медвѣдь, или наипаче бульдогъ, и не умѣю проникать въ капризы и противорѣчія женскаго сердца. Дѣло прошлое, а письмо ваше тяжело подѣйствовало на мою медвѣжью натуру. Если мое причинило вамъ хоть минуту грусти, то будь я проклятъ за это, и да разорвутъ меня на куски дядюшки и тетюшки всего міра. Миръ, Marie—дайте мнѣ вашу руку, которой въ эту минуту я какъ будто чувствую обаятельное прикосновеніе—дайте мнѣ крѣпко, крѣпко пожать ее и прижать къ моимъ горящимъ устамъ, чтобы упала на нее накипающая на глазахъ слеза. Вижу въ эту минуту васъ передъ собою, смотрю въ ваши глаза и тону въ глубинѣ вашего полного любви взгляда.

Ахъ, Marie, Marie, вы, которая такъ умѣете понимать, чувствовать и любить, вамъ ли быть рабою мнѣній дикой толпы? Вамъ ли имѣть такъ мало силы характера и воли и дрожать призраковъ и тѣней, которые пугаютъ только глупцовъ? О, нѣтъ, я увѣренъ, что это только непривычка къ новымъ мыслямъ, исполненіе ихъ на дѣлѣ требуетъ такъ безотлагательно — не больше; я увѣренъ, и теперь внутри васъ раздается сильный голосъ, и что вы выйдете изъ этой борьбы побѣдительницею. Вамъ Богъ далъ высокій ростъ, зачѣмъ же присѣдать, горбиться и сгибаться? Вамъ Богъ далъ столько ума, зачѣмъ же ему ограничиться одною теоріею и не перейти въ жизнь, дабы самымъ дѣломъ служить Господу и хвалить его? Вашу руку, Marie, вашу руку—мнѣ далъ васъ Богъ, и потому я хочу, чтобы вы были моею не только передъ людьми и свѣтомъ, но и передъ Богомъ: а это возможно только тогда, когда вы и чувствомъ, и словомъ, и дѣломъ вмѣстѣ со мною станете передъ Нимъ на колѣна. Отвѣчайте мнѣ скорѣе, и не забывайте, что все-таки, если надо будетъ мнѣ пріѣхать въ М(оскву), я пріѣду.

Вашъ В. Вѣминскій.

Милостивая государыня

Марья Васильевна! *)

Мнѣ очень прискорбно, что я долженъ огорчить васъ этимъ письмомъ; но вы, конечно, повѣрите мнѣ, если я скажу вамъ, что мнѣ самому это очень тяжело. Дѣла мои приняли такой оборотъ, что мнѣ ни на единую недѣлю невозможно оторваться отъ журнала и отлучиться изъ Петербурга. Причина этому та, что я и такъ цѣлое лѣто прожилъ въ Москвѣ, почти ничего не дѣлая для „*Отеч. Записокъ*“. Но лѣтніе мѣсяцы еще не такъ важны для журнала; теперь настала для него самая важная пора: отъ ноября до мая продолжится подписка, и книжки за эти мѣсяцы должны быть одна другой лучше. Отложить наше дѣло до лѣта—одна мысль о такой отсрочкѣ приводитъ меня въ ужасъ и тоску; но сверхъ того, будущимъ лѣтомъ мнѣ еще больше нельзя будетъ выѣхать изъ Петербурга ни даже на три дня, потому что Краевскій въ маѣ мѣсяцѣ ѣдетъ чрезъ Москву (гдѣ остановится на нѣкоторое время для свиданія съ матерью), въ Крымъ и проѣздитъ почти до октября, а на это время *мнѣ* поручаетъ свой журналъ. Вы не знаете, что такое журналъ: отъ него ни на минуту нельзя отойти. А между тѣмъ я, какъ вамъ извѣстно, существую журнальною работою; если я противъ воли Краевского выѣду изъ Петербурга и тѣмъ поставлю его въ затруднительное положеніе, это будетъ знакомъ, что я не хочу больше работать въ его журналъ, а онъ имѣетъ право пригласить на мое мѣсто другого сотрудника. Въ такомъ ужасномъ для меня положеніи, я беру на себя смѣлость сдѣлать вамъ предложеніе, мысль о которомъ подалъ мнѣ Краевскій и которое вамъ, надѣюсь, не покажется страннымъ или неумѣстнымъ, какъ вызванное обстоятельствами и необходимостью. Это—пріѣхать вамъ въ Петербургъ одной съ тѣмъ, чтобы на другой же день была церемонія. А остановиться на однѣ сутки можете вы у извѣстной вамъ Марьи Александровны Комаровой, урожденной Дементьевой, бывшей вашей воспитанницы, которая, черезъ меня, усердно васъ объ этомъ проситъ, равно какъ и мужъ ея, Александръ Александровичъ Комаровъ, съ которымъ мы большіе пріятели. Я смѣю

*) Это—официальное письмо, предназначавшееся для дяди М. В.

надѣяться, что подобное предложеніе не будетъ вами отринуто, и что вынужденное обстоятельствами, а не моею прихотью, минованіе нѣкоторыхъ установленныхъ приличіемъ и необходимыхъ обыкновений вы не сочтете достаточною причиною лишить меня счастья, которое такъ давно было моею сладчайшею мечтою. Мнѣ самому очень прискорбно, что священный обрядъ нашего соединенія не будетъ почтенъ драгоцѣннымъ присутствіемъ вашихъ почтенныхъ родственниковъ и столь многоуважаемой и любимой вами начальницы вашей Madame Charpiot, къ которой васъ привязываетъ и чувство признательности, и благородный ея характеръ; но что жъ дѣлать? Я смѣю думать, что какъ ваши почтенные родственники, такъ и ваша достойная начальница Madame Charpiot найдутъ мои резоны основательными и не посоветуютъ вамъ сдѣлать навсегда несчастнымъ челоуѣка, котораго чувство къ вамъ нашло отзвѣвъ въ вашемъ сердцѣ,—потому только, что онъ не можетъ выполнить нѣкоторыхъ весьма справедливыхъ и уважительныхъ требованій приличія, но выполненіе которыхъ обстоятельства дѣлаютъ для него рѣшительно невозможнымъ. Впрочемъ, въ Петербургѣ, гдѣ всѣ заняты должностями и каждый дорожить даже и однимъ днемъ, между людьми небогатыми такіе примѣры не рѣдки, и никто не находитъ ихъ странными и удивительными.

Съ волненіемъ и трепетомъ ожидая вашего отвѣта, отъ котораго такъ многое будетъ зависѣть для меня въ жизни, и прося васъ передать мое почтеніе сестрицѣ вашей Аграфенѣ Васильевнѣ, остаюсь навсегда преданный вамъ беззавѣтно

Вашъ В. Бѣлинскій.

С.-Петербургъ. 1843 года, октября 2 дня.

С.П.Б. окт. 3. Не удивляйтесь моимъ частымъ письмамъ. Вы должны предполагать, въ какомъ состояніи нахожусь я теперь; каково бы ни было ваше—мое не лучше. Я осажденъ, подавленъ одною и тою-же мыслью. Много писалъ я вамъ о ней, и все еще остается что сказать. Сегодня поутру былъ я у Кр.¹⁾ и имѣлъ съ нимъ продолжительный разговоръ, а потомъ цѣлый день все думалъ и передумывалъ, будучи у Ко-

¹⁾ Краевского, редактора-издателя „Отечественныхъ Записокъ“.

марова¹⁾, гдѣ обѣдалъ. Дѣло ясное, что поѣздка моя въ Москву жестоко разстроила-бы дѣла „От. З.“, ибо, въ случаѣ ея, одна книжка необходимо должна остаться безъ моей статьи. Въи-чанье въ П. взяло-бы у меня два-три дня—не больше; поѣздка въ М. отнимаетъ *восемь* дней только на проѣздъ взадъ и впе-редъ; меньше недѣли нѣтъ никакой возможности остаться въ М.—итого 15 дней; да передъ отъѣздомъ дни два или три какая ужъ работа, да по пріѣздѣ дни два—три тоже—итого 21 день! Стало-быть, о статьѣ нечего и думать; а Кр. не хо-четъ и думать, чтобы не было статьи. Конечно, я не стану васъ обманывать, увѣряя, что это дѣло не могло-бы уладиться хотя съ натяжкою; но, согласитесь, что-же мнѣ за радость портить мои отношенія къ человѣку, отъ кого зависитъ те-перь мое благосостояніе, отъ кого я, кромѣ хорошаго и доб-раго, ничего не видѣлъ, который принялъ въ моемъ дѣлѣ са-мое искреннее и гуманное участіе и котораго требованія отъ меня совершенно справедливы. Затѣмъ-же его интересы должны страдать отъ моихъ, особенно когда есть средства устроить дѣло еѣ обоюдному удовольствію? Справедливо-ли это? Здѣсь напомнимъ вамъ одну фразу изъ вашего письма: „Думая о себѣ, должно-ли забывать другихъ?“ Конечно, Кр. слишкомъ цѣ-нить меня и дорожить мною, чтобы рѣшился разойтись со мною, въ случаѣ моего отъѣзда, противъ его воли (въ этомъ случаѣ справедливой и законной); но онъ тогда будетъ имѣть полное право стать со мною на холодно-вѣжливыя отношенія, а это, кромѣ всего другого, сильно повредитъ моимъ интере-самъ, о которыхъ я теперь уже обязанъ думать и пешихъ. Теперь еще другое: ужъ коли дѣло пошло на выполненіе ки-тайскихъ и монгольскихъ обычаевъ, то смѣшно-же было-бы, исполняя одни изъ нихъ, презирать другіе. Вѣдь я пріѣду въ М. затѣмъ, чтобы сперва разыграть интересную роль *жениха*, а потомъ не менѣе интересную роль *молодого* (что за милые термины!); это повидимому пустое обстоятельство обязываетъ меня, кромѣ траты на проѣздъ и житье въ М., истратить еще не мало денегъ на фракъ, бѣлый жилетъ, бѣлый галстухъ, словомъ, на костюмъ, приличный обстоятельству. По пріѣздѣ въ П. вся эта дрянь мнѣ будетъ не нужна, потому что мнѣ

¹⁾ Одинъ изъ близкихъ пріятелей Бѣлинскаго, о которомъ не разъ упоминаетъ Панаевъ въ „Литературныхъ Воспоминаніяхъ“. Ред.

никогда не придется надѣвать ее на себя. У меня есть фракъ, который спитъ назадъ тому *три* года и давно уже страшно вышелъ изъ моды (вы видѣли меня въ немъ въ мою зимнюю поѣздку въ М.), и что-же? не смотря на свою старость, онъ новехонекъ, какъ-будто вчера спитъ, ибо я не надѣвалъ его и 10 разъ. Въ П. я и его надѣлъ-бы, на случай церемоніи, только для того, чтобы не смутить вашего взгляда на эти вещи. Что-же касается до меня собственно, я зналъ-бы, что нашъ фракъ былъ-бы равно дѣйствителенъ передъ гражданскимъ закономъ—во фракѣ или сюртукѣ вѣнчался я. Если мы будемъ вѣнчаться въ Пет., на мнѣ, сверхъ обыкновеннаго ежедневнаго моего костюма, будетъ только одинъ фракъ, и тотъ старомодный, галстухъ черный, а жилетъ пестрый; не куплю даже бѣлыхъ перчатокъ—не изъ экономіи, а такъ, по нѣкоторому, мнѣ извѣстному, чувству. Да и передъ кѣмъ-же мнѣ было-бы рядиться? вѣдь родственника ни одного—все друзья, все люди, одинаково со мною думающіе и чувствующіе, и, однако-жъ, живущіе совсѣмъ не въ эмпиреѣ, а на бѣдной нашей землѣ, подъ сѣрымъ и дождливымъ небомъ Петербурга. Кстати о Петербургѣ. Въ немъ есть по крайней мѣрѣ 50 круговъ или обществъ, во всемъ рѣзко отличающихся другъ отъ друга. Каждый индивидуумъ въ Пет. соотнобщается съ мнѣніемъ и обычаями *своего* круга, не обращая вниманія даже на существованіе другихъ. Мои пріатели принадлежать къ кругу, подобнаго которому въ Москвѣ ничего нѣтъ. Вотъ это-то васъ и сбиваетъ съ толку. Вы, кажется, смотрите на моихъ пріателей, какъ на фантазеровъ и мечтателей, которые бранятъ толпу и не знаютъ жизни. Ошибаетесь. Правда, всѣ они немного чудаки (ибо умные среди дураковъ всегда странны), но женаты, а женатая жизнь всякаго сведетъ съ эмпиреи на землю, какъ всякая дѣйствительная жизнь. Поженились они всѣ немного странно: Комаровъ черезъ три дня послѣ того, какъ въ первый разъ увидѣлъ свою М. А.; женитьба Краевского была сюрпризомъ для всѣхъ его знакомыхъ, изъ которыхъ самые близкіе къ нему узнали черезъ три дня послѣ того, какъ онъ уже женился (и не было ни стола, ни бала); Вержицкій женился, будучи мальчикомъ 22 лѣтъ, на дѣвочкѣ моложе двадцати лѣтъ, существуя шестью стами рублей въ годъ жалованья (теперь у него доходу около 4000 р.). Говорю вамъ это для того, чтобы показать вамъ, что въ эмпиреѣ не

бываетъ такихъ доходовъ. Комаровъ получаетъ страшными, усиленными трудами учительства 12000 р. въ годъ, для чего даетъ ежедневно до десяти уроковъ — тоже не эмпирейскій человѣкъ!

Повѣрьте, это не мечтатели и люди совсѣмъ не пылкіе, менѣе всего фантазеры, что, однако-же, не мѣшаетъ имъ быть прекраснѣйшими людьми во всѣхъ отношеніяхъ. Но что они люди извѣстнаго круга, это—правда, и совѣтъ, данный ими мнѣ, не удивитъ никого изъ людей этого круга. Къ этому я долженъ еще прибавить, что ихъ совѣтъ основывался также и на уваженіи къ моему выбору, и на высокомъ мнѣніи о васъ.

Октяб. 4, понед. До сихъ поръ не могу опомниться отъ вашего письма: такъ неожиданно было для меня его содержаніе. Когда, въ М., говорилъ я вамъ о моемъ пріѣздѣ, у меня и мысли не было о М-me Charriot, которой, по моему мнѣнію, не было никакого дѣла и интереса до нашего дѣла; о дядюшкѣ съ тетушкой думалъ я—можетъ быть, захотятъ быть при церемоніи, и этимъ все и кончится. Присутствіе 20 особъ и параднаго стола послѣ церемоніи мнѣ и въ голову не входило, ибо думалъ, что вы скорѣе согласитесь сто разъ умереть, чѣмъ добровольно подвергнуться униженію и позору китайскихъ и тибетскихъ обычаевъ. Я такъ въ этомъ случаѣ былъ увѣренъ въ васъ, что не хотѣлъ и говорить объ этомъ. Я робокъ и дикъ въ обществѣ и съ незнакомыми людьми. Но въ обществѣ порядочномъ я менѣе дикъ, а иногда бываю даже разговорчивъ и смѣлъ; въ обществѣ, каково то, къ которому принадлежатъ ваши родственники, я теряюсь и уничтожаюсь, даже нечаянно попавши въ него; а играть въ немъ роль, и притомъ еще такую, слушать поздравленія, сопровождаемыя то идіотскими, то злыми улыбками, слушать любезности и лакейскіе экивоки (что неизбѣжно, если тутъ будетъ, напр., тотъ милый вашъ родственникъ, въ которомъ любовь видитъ идеалъ свѣтской любезности),—это не только на яву, но и во снѣ страшно увидѣть—можно проснуться съ сѣдыми волосами!.. Къ этой плѣнительной картинѣ не достаетъ только встрѣчи насъ съ хлѣбомъ и солью (впрочемъ, это-то, вѣроятно, и будетъ), да еще того, чтобы члены честнаго компанства (т. е.

гости), прихлебывая вино, говорили-бы: *горько!* а мы-бы съ вами цѣловались въ ихъ удовольствіе; да еще не достаетъ нѣкоторыхъ обрядовъ, которые бывають на Руси уже на другой день и о которыхъ я, конечно, вамъ не буду говорить. Вы, можетъ быть, скажете мнѣ: „что-же за любовь ваша ко мнѣ, если она не можетъ выдержать вотъ какого опыта и если вы для меня не хотите подвергнуться, конечно, непріятнымъ, но и необходимымъ условіямъ?“ Прекрасно; но если-бы на Руси было такое обыкновеніе, что желающій жениться непременно долженъ быть всенародно высѣченъ трижды: сперва у порога своего дома, потомъ на полпути, а наконецъ у входа въ храмъ Божій; неужели вы и тогда сказали-бы, что мое чувство къ вамъ слабо, если не можетъ выдержать такого испытанія? Вы скажете, что я выражаюсь, во-первыхъ, слишкомъ энергически (извините: я люблю называть вещи настоящими ихъ именами, а китаизмъ не считаю деликатностью), а во-вторыхъ, по моему обыкновенію утрирую вещи, и что то, что я сказалъ, далеко не то, чему я долженъ подвергнуться. Вотъ это-то и есть самый печальный и грустный пунктъ нашего вопроса. Я глубоко чувствую позоръ подчиненія законамъ подлой, бессмысленной и презираемой мною толпы; вы тоже глубоко чувствуете это; но я считаю за трусость, за подлость, за грѣхъ передъ Богомъ, подчиняться имъ, изъ боязни толковъ, а вы считаете это за необходимость. Вопреки первой заповѣди вы сотворили себѣ кумиръ, и изъ чего-же? Изъ презираемыхъ вами мнѣній презираемой вами толпы! Вы чувствуете одно, вѣруете одному, а дѣлаете другое. А это и не великодушно и неблагородно! Это значить молиться Богу своему втайнѣ, а взявъ приносить жертвы идоламъ. Это страшный грѣхъ! О, я понимаю теперь, почему вы такъ заступаетесь за Т—ну Пушкина, и почему меня это всегда такъ бѣсило и огорчало, что я не могъ говорить съ вами порядкомъ и толковать объ этомъ предметѣ! Любовь есть религія женщины, и нѣтъ для женщины высшаго и болѣе святаго наслажденія, какъ всѣмъ жертвовать своей религіи. Для нея свято всякое законное и справедливое требованіе того, кого она любитъ. Съ моей стороны, я тоже имѣю право предложить вамъ вопросъ: „Неужели-же ваше чувство ко мнѣ такъ слабо, что вы не можете принести мнѣ жертвы (необходимость какой внутренно признаете сами) и не можете выпол-

нить. самаго справедливаго и законнаго—не требованія—я не требую,—а прошу, умоляю васъ! Я увѣренъ, Марія, что первыя два письма мои произвели на васъ должное дѣйствіе и вполне убѣдили васъ въ справедливости моихъ настояній. Это письмо я пишу для того, чтобы окончательно утвердить васъ въ разумномъ рѣшеніи, чтобы договорить все, что можно сказать объ этомъ предметѣ, и чтобы, во всякомъ случаѣ,—т. е. согласитесь вы со мною или не согласитесь,—уже болѣе не говорить объ этомъ ни слова. Вы, можетъ быть, увидите въ этомъ письмѣ нѣкоторое противорѣчіе: въ началѣ его я говорю о невозможности ѣхать мнѣ въ М. и, какъ-будто, на этой невозможности основываю необходимость вашего рѣшенія ѣхать вамъ ко мнѣ въ Петербургъ; а потомъ доказываю эту необходимость моимъ отвращеніемъ покориться китайскимъ позорнымъ обычаямъ. Тутъ противорѣчія нѣтъ никакого: мнѣ дѣйствительно ѣхать нельзя, но въ то-же время, скажу вамъ откровенно, что мнѣ было-бы грустно, если-бы вы рѣшились ѣхать только потому, что мнѣ нельзя ѣхать, а не по согласію со мною, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ доводахъ второго разряда... Я увѣренъ, что вы хорошо поймете, что я хочу сказать этимъ. Но великій Боже!—какая ужасная идея входитъ мнѣ въ голову: неужели это возможно, что дѣло наше, изъ такой причины, отложится, и мы не будемъ обвиняемы до поста? Нѣтъ, М., если не изъ любви ко мнѣ, то хоть изъ сожалѣнія пощадите и спасите меня. Я, конечно, „не окончу смертію живота моего“—этого не бойтесь, но меня можетъ постигнуть праведная смерть—мною овладѣваетъ апатія, уныніе, лѣнь, преферансъ—я опускаюсь до послѣдней степени. Это неизбежно и вѣрно, какъ и то, что я буду гордъ и счастливъ вами, если вы побѣдите своего внутренняго врага—боязнь *княгини Марьи Алексѣвны*. Ахъ, Марія, Марія, только теперь почувствовалъ я, какъ сильно, какъ глубоко люблю я васъ. То, что считаю я въ васъ недостаткомъ, заставляетъ меня не сердиться на васъ, не охлаждать къ вамъ, но болѣзненно страдать. Со времени полученія вашего письма, я самъ не свой. Вы недавно писали ко мнѣ, что вы стары, больны и дики въ обществѣ, что это такіе недостатки въ васъ, которые я долженъ принять для себя какъ наказаніе Божіе: я смѣялся и смѣюсь надъ этимъ, хотя скажу это не въ похвалу себѣ, немногіе способны надъ этимъ смѣяться. Но я вижу ваше

большой недостатокъ въ томъ, въ чемъ опять-таки слишкомъ немногіе способны увидѣть его,—это въ вашемъ esclavage. Поймите-же меня и уважьте во мнѣ то, что составляетъ фондъ и лучшую сторону моей натуры, моей личности.

Прощайте, Марія... Съ нетерпѣніемъ жду письма отъ васъ и въ первый еще разъ желаю его получить попозже, т. е. уже какъ отвѣтъ вотъ на это письмо. Сегодня получили вы мое первое письмо объ этомъ предметѣ, завтра получите второе и это получите въ четвертое. Какъ хорошо, если-бы вы отвѣчали мнѣ въ пятницу или субботу.

Вашъ В. Бѣлинскій.

Р. С. Я-бы очень желалъ знать мнѣніе объ этомъ предметѣ Аграфены Васильевны.

10-го октября. Третьяго дня (8, въ пятн.) получилъ я одно ваше письмо, сегодня другое. Первое меня нисколько не огорчило и не опечалило, а второе много утѣшило и сильно обрадовало. Въ немъ я узналъ въ васъ давно родное и милое душѣ моей существо, мою Магіе. О прошломъ ни слова, да и настоящія обстоятельства такъ сложны, что было-бы смѣшно заниматься этими ребяческими мелочами. Не буду потому, что не могу, не въ силахъ писать вамъ, какъ обрадовало меня ваше рѣшеніе ѣхать въ Москву (sic). Это рѣшеніе достойно васъ и доказываетъ мнѣ ясно, что я не ошибся въ васъ. Сперва вы думали объ этомъ предметѣ иначе,—что-жъ за бѣда! Зато теперь вы думаете о немъ какъ слѣдуетъ. Ошибки извинительны человѣку, особливо если онѣ выходятъ не изъ его натуры, а изъ воспитанія, изъ общественнаго мнѣнія и т. д. Дѣло не въ томъ, чтобы никогда не дѣлать ошибокъ, а въ томъ, чтобы уметь сознавать ихъ и великодушно, смѣло слѣдовать своему сознанію. Я больше всего цѣню въ людяхъ эластичность души, способность ея движенія впередъ. Вотъ бѣда, когда эта божественная способность утрачена! Въ васъ она жива—это для меня слишкомъ довольно, чтобы быть счастливымъ черезъ васъ и за вами. Итакъ, вы рѣшились; хоть вы и сказали, что обѣщали *непремѣнно*, но я увѣренъ, что будетъ такъ, ибо вы изъ тѣхъ натуръ, которыя склонны ко всякой крайности, чѣмъ къ срединѣ; зато и полюбилъ я васъ. Кромѣ того, я не ожидаю и не предполагаю никакой

оппозиціи вашему рѣшенію ни со стороны вашего дяди, ни со стороны М-me Chagriot. Сестра и безъ того во всемъ съ вами согласна, а до прочихъ вамъ и дѣла нѣтъ. Но рѣшеніе ваше ѣхать 15 числа испугало меня: нужно сдѣлать окличку, безъ которой нельзя вѣнчаться. Объ этомъ поговорю съ вами теперь обстоятельнѣй; но прежде скажу нѣсколько словъ о другомъ дѣлѣ, которое должно вамъ знать.

Въ тотъ вечеръ, какъ получили вы мое письмо, которое произвело на васъ такое сильное дѣйствіе (и за которое написавшая его рука стояла хорошей мушки), я былъ у одного знакомаго, въ низенькихъ комнатахъ, гдѣ было душно и жарко. День былъ сухой и теплый, а потому, вышедши изъ дому еще съ утра, я не надѣлъ калошъ. Надо сказать, что и передъ этимъ я все чувствовалъ себя не то, чтобы больнымъ, но и не здоровымъ. Выхожу изъ гостей довольно поздно — улица мокра и грязна. И не знаю, промочилъ-ли я ноги, или быстрый переходъ изъ жаркой и душной комнаты на сырой и холодный воздухъ сильно на меня подѣйствовалъ, только я проснулся на другой день съ значительною болью въ головѣ и ознобомъ. Какъ истинный семьянинъ и русскій человѣкъ, я не хотѣлъ признать себя больнымъ, позавтракалъ яицъ и пошелъ къ Краевскому, коего нашелъ въ постели съ обвязанною тряпками головою. Короче: на другой день вечеромъ я почувствовалъ адскій огонь внутри себя, при нестерпимомъ холодѣ снаружи. Поставилъ себѣ семь зыкъ горчичниковъ (на спину, къ рукамъ, къ икрамъ и къ подошвамъ ногъ) и послалъ за докторомъ, который, прописавъ лѣкарство, велѣлъ мнѣ сейчасъ-же поставить 24 пиявки, по 12 за каждымъ ухомъ. На другой день поутру (въ пятн.), ваше письмо застало меня въ самомъ животномъ положеніи, лежащаго на кушеткѣ — подушка запеклась въ крови, воротникъ рубашки тоже, грудь окровавлена, перевязки за ушами ослабли и запекшаяся кровь отстала, лицо блѣдное, не бритое, запачканное въ крови. Словомъ, я былъ некрасивъ, но интересенъ. Въ этотъ день мнѣ было уже такъ лучше, что у меня вечеръ провелъ Тургеневъ (авторъ „Параши“) и мы толковали съ нимъ „о Байронѣ и о матеріяхъ важныхъ“. Вчера (въ субб.), мнѣ было еще лучше, и вечеръ провели у меня четверо гостей, а сегодня я только нѣсколько слабъ, а то совсѣмъ здоровъ. Желудокъ мой собачьимъ голодомъ обнаруживаетъ силь-

ныя корыстныя претензіи на разныя яства; но неумолимый эскулапъ мой осудилъ его на супъ съ курицей, а выйти изъ дому позволилъ мнѣ не прежде среды. Тогда возьму изъ мѣхового магазина мою шубу, и безъ нея и безъ калошъ уже нигдѣ ни шагу, не смотря ни на какую погоду—честное слово и ненарушимую клятву даю вамъ въ этомъ, моя дорогая Марія.

Итакъ, о моемъ здоровьѣ не беспокойтесь. Я теперь даже веселъ, благодаря вашему письму. Еслибы я лежалъ въ постели, безцѣнное письмо ваше, моя дорогая, милая Marie, оживило-бы меня. Всю эту исторію поторопился я рассказать вамъ больше для того, чтобы васъ не испугало начало приложеннаго здѣсь письма, писаннаго незнакомою вамъ рукою. Дѣло вотъ въ чемъ: всѣ мои бумаги отосланы въ пензенское депутатское собраніе для полученія дворянской грамоты. Я остался съ однимъ университетскимъ свидѣтельствомъ, по которому и живу и записываюсь въ полицію. Грамоту я жду со дня на день, но могу легко прождать и еще два мѣсяца. И потому я просилъ моего знакомаго переговорить съ священникомъ, у котораго я исповѣдуюсь и причащаюсь, можетъ-ли онъ обвинять меня по этому университетскому свидѣтельству, и притомъ съ тѣмъ, чтобы свидѣтельство о смерти моего отца я доставилъ ему послѣ. (Для этого я во вторникъ и былъ въ томъ домѣ, выходя откуда простудился). Вчера я получилъ отвѣтъ отъ моего пріятели (Баландина), который прилагаю при моемъ письмѣ, потому что мнѣ трудно писать, и это письмо я царапаю уже цѣлый день (а въ пятницу началъ было, да и бросилъ послѣ нѣсколькихъ строкъ). Препятствіе, о которомъ я говорю, пустое: Петръ Александровичъ есть никто иной, какъ родной братъ моего пріятели Языкова¹⁾, полковникъ и инспекторъ въ институтѣ, о церкви котораго идетъ рѣчь. Я съ П. А. хорошо знакомъ, онъ чудесный человѣкъ и очень меня любитъ. Итакъ, Marie, ваше метрич. свид. да позволеніе отъ вашего родителя не забудьте. Мѣсто возьмите въ *malle poste*—на *двадцать восьмое* число октября вмѣсто 15, ибо въ слѣдующее воскресенье (17 окт.) будетъ нашъ первый окликъ, 24 окт. второй, а 31—третій и послѣдній. Терять времени некогда, и потому, я завтра-же даю знать Балан-

¹⁾ Языковъ пріятель Вязинскаго; см. о немъ также въ „Литер. Воспоминаніяхъ“ Панаева. Ред.

дину, чтобы онъ сказалъ священнику ваше имя и попросить его въ слѣдующее воскрес. начать окликъ. Ежели вы выйдете изъ М. 28 окт., то будете въ П. 31 (въ воскресенье—въ день послѣдняго оклика). Съ 10 часовъ утра я жду васъ въ конторѣ *malle poste*. А 1-го ноября мы можемъ обвѣнчаться. Время это удобное: отъ 11-й книжки „От. 3.“ я буду тутъ свободенъ, а къ 12-й приступлю не прежде 7-го или 8-го ноября. Женщину вы непременно должны были-бы взять съ собою, если-бы вы и совершенно были здоровы. Да берите для нея мѣсто не въ брикъ, а рядомъ съ собою, въ каретѣ: разница въ 20 р. асс., а между тѣмъ этотъ пустой лишній расходъ избавить васъ отъ непріятности имѣть сосѣдку или—что еще хуже—сосѣда, и дастъ вамъ удобства имѣть вашу служанку у себя подъ бокомъ, такъ что, вмѣсто кондуктора, она будетъ помогать вамъ даже садиться въ карету и выходить изъ нея. Хорошо, еслибы эта-же самая женщина могла остаться у насъ кухаркою и горничною вмѣстѣ; если-же нѣтъ, увѣдомьте меня заранѣе, чтобы я могъ прислать къ вашему приѣзду кухарку, вмѣщающую въ своей особѣ и горничную, на что бывають очень хороши шведки, которыхъ въ П. много; а вашу женщину можно будетъ отпустить въ М., заплативъ ей и взявши ей мѣсто въ сидѣйкѣ. Бога ради, одѣньтесь теплѣе. Знаете-ли, что у меня есть тулупъ на прекрасѣйшемъ кошачьемъ мѣху, онъ мнѣ совсѣмъ не нуженъ: не прислать-ли мнѣ его вамъ, чтобы вы перешли его себѣ на дорожный капотъ? Претеплая вещь! А? Не правда-ли? Если хотите, скорѣе напишите, куда его отправить,—на имя вашего дядюшки, что-ли, и я сейчасъ-же отправлю-бы его по четырехдневному транспорту. Да для ногъ купите себѣ мѣховыя калоши, чтобы въ нихъ ставить ноги, сидя въ каретѣ. Да закажите себѣ башмаки на двойной кожѣ, на двойной подошвѣ—одна чтобы была изъ пробковаго дерева. Дорога вамъ будетъ непременно полезна и благодѣтельна, если сбережете себя—не промочите ногъ и не попадете на струю вѣтра, будучи въ легкой испаринѣ послѣ чаю, которымъ посему не совѣтую вамъ согрѣваться. А берите себѣ мѣсто въ *malle poste*, а не въ заведеніи дилижансовъ: казенная карета надежнѣе, да и приѣдете полднемъ скорѣе и въ опредѣленный часъ. Не прошу васъ писать ко мнѣ это время часто или много. Вамъ будетъ за сборами и хлопотами не до того, и я доволенъ буду, если

ставете хотя двумя строками уведомлять о своемъ здоровьи. Но на это письмо жду скорого, немедленного и удовлетворительнаго отвѣта, жду его съ тоскою и тревогою: ибо не забудьте, что, желая сохранить время, я велѣлъ дѣлать окликъ, не получивъ отъ васъ на это рѣшительнаго согласія, и, стало-быть, не зная, умно или глупо распорядился я. Если вамъ нужны деньги—безъ церемоній скажите, сколько и на чье имя высылать. Прощайте! Берегите себя. Да пуще всего, не поддавайтесь силѣ ощущений. Жизнь душить и давить ногами тѣхъ, которые глядятъ на нее съ мистическимъ ужасомъ и подобострастіемъ: надо смотрѣть ей прямо въ глаза. Въ ней нѣтъ ничего ни столько сладкаго, ни столько горькаго, ни столько ласкающаго, ни столько страшнаго, что бы смерть не изгладила ровно, безъ всякаго слѣда. Стало-быть, не изъ чего слишкомъ волноваться. Будьте спокойнѣе и смотрите разсудительнѣе, холоднѣе и прозаичнѣе—будетъ лучше. Жизнь, какъ и пуля, падаетъ храбраго и бьетъ труса. Смѣлѣе! Вашу руку, Магіе, которая, Богъ дастъ, скоро будетъ моею! Прощайте и не медлите утѣшить отвѣтомъ вашего В. Бѣлинскаго. Это письмо пойдетъ завтра (11 окт.).

Трепещу ужасной мысли, что или письмо это принесется къ вамъ наканунѣ вашего отъѣзда, или А. В. получить его, проводивши васъ. Если можно будетъ перемѣнить число, немедленно сдѣлайте это. Письмо это получитъ вами или 14 вечеромъ, или 15 поутру—страшно! Какъ это вамъ пришло въ голову ѣхать 15, не списавшись со мною? Вотъ ужъ по-длинно изъ одной крайности въ другую. Впрочемъ, я люблю крайности; къ тому окликъ не слишкомъ важное дѣло, и, можетъ-быть, священникъ обвиняетъ и послѣ одного или двухъ окликовъ. Въ такомъ случаѣ еще лучше. Будь, что будетъ!

Вложенное письмо Баландина къ Бѣлинскому.

Суббота, октября 8-го дня, 1843 г.

Говорятъ, что вы больны. Очень сожалѣю, что не могу самъ зайти къ вамъ. Дѣла ваши почти устроены. Если дворянскаго свидѣтельства не приплюютъ, то потѣ совершить бракъ и безъ него. На вашемъ свидѣтельствѣ будетъ написано: бракъ совершенъ при такихъ-то свидѣтеляхъ, а свидѣтели подпишутъ. Свидѣтельства о смерти отца вашего не

нужно. Окликъ будетъ сдѣлана, начиная съ завтрашняго дня, если только вы потрудитесь доставить мнѣ немедленно имя и званіе вашей невѣсты. Поторопитесь. Попъ говорилъ мнѣ, что окликъ можно начать и за всюнощную. Вамъ самимъ остается уладить только одно обстоятельство. Я говорилъ вамъ, что баронъ Притвицъ, директоръ строительнаго училища, запрещаетъ попу вѣнчать постороннихъ въ церкви училища. Это очень глупо, но „у всякаго барона своя фантазія“. Совѣтую вамъ обратиться къ Петру Александровичу: онъ можетъ легко устранить и это послѣднее препятствіе.

Душевно преданный вамъ

А. Баландинъ.

P. S. Совсѣмъ было забылъ сказать, что, для совершенія брака, необходимо метрическое свидѣтельство невѣсты и позволеніе ея родителей, если таковыя имѣются. Впрочемъ, я думаю, вы сами это знали!

Окт. 12. Третьяго дня получилъ я отъ васъ письмо, которое сдѣлало меня кротко и тихо, но вмѣстѣ съ тѣмъ и глубоко счастливымъ; образъ вашъ въ душѣ моей снова сталъ свѣтелъ и прекрасенъ, и я сказалъ вамъ правду во вчерашнемъ письмѣ, что это ваше письмо могло бы воскресить меня умирающаго. Да, до 4 часовъ нынѣшняго дня, я былъ невыразимо счастливъ вами и черезъ васъ: мысль о васъ дѣйствовала на мою грудь освѣжительно, я чувствовалъ вокругъ себя ваше незримое присутствіе, жилъ двойною жизнью. Я не жалѣлъ о томъ, что письмо мое заставило васъ много и тяжело страдать: страданье благотно тогда, когда оно ведетъ къ сознанію. Мнѣ было бы даже непріятно, если-бы вдругъ вы спокойно согласились со мною въ томъ, чего за минуту и представить не умѣли себѣ какъ возможное и естественное, и потому въ вашемъ страданіи я видѣлъ органическій, живой процессъ сознанія и благословилъ его. Ваше письмо было написано въ два приѣма, и составляетъ какъ бы два письма. Первое оканчивается изъявленіями вашей любви ко мнѣ, которыя тронули меня до глубины души, до слезъ; почеркъ слабѣетъ и послѣднія строки едва дописаны—волненіе души вашей прервало ихъ. Второе письмо начинается мыслью, что ваше страданіе было не бесполезно—и по вашему рѣшенію ѣхать въ П., я увидѣлъ, что вы съ честью и побѣдою вышли

изъ борьбы. Да, ваше письмо было прекрасно; какъ въ зеркалѣ, отражало оно въ себѣ вашу душу, ваше сердце, все что я въ васъ такъ высоко уважалъ, а *потому* и любилъ. Въ этомъ письмѣ вы были самой собою, безъ всякихъ постороннихъ вліяній.

Сегодня получилъ я отъ васъ второе письмо, которое вы написали, побывавъ у своего дражайшаго дядюшки, и въ которомъ *потому*, я уже не узналъ васъ. Въ немъ ничего нѣтъ вашего,—особенно вашей благородной откровенности: вы хитрите и лукавите со мною, а, можетъ быть, прежде всего съ самой-собою. „Я *приѣду, непременно приѣду*“, говорите вы, но къ этому прибавляете: „если вы такъ этого хотите“. А развѣ вы не знаете, что я такъ этого хочу? Развѣ вы не знаете, что я такъ этого хочу потому, что иначе и нѣтъ возможности соединиться намъ, ибо *нхатъ въ М.* я *рѣшительно не могу*? Кажется, я объ этомъ писалъ подробно и ясно? Потомъ, какъ вы общаетесь *пріѣхать*?—съ оговорками, что, можетъ быть, дурно сдѣлаете, пожертвовавъ одному чувству другими, хотя и не столь сильными, но все же святыми; что, можетъ быть, убьете сестру и отца, и что, можетъ быть, *пріѣдете въ бѣлой горячкѣ*....Marie, Marie! да кто-жъ этакъ соглашается? этакъ только отказываютъ начисто....

Потомъ, въ одномъ мѣстѣ вашего письма вы увѣряете меня, что ошибаюсь я, думая, что вы не поѣдете въ П. по одному только уваженію къ княгинѣ Марьѣ Алексѣевнѣ; увѣряете, что вамъ это трудно по родственнымъ отношеніямъ и по отношеніямъ къ институту. А въ концѣ письма, изъявляя сожалѣніе о мукахъ, въ которыя бросаете меня, оправдываетесь тѣмъ, что не разъ предупреждали меня, что я считаю васъ лучшею, чѣмъ вы есть на самомъ дѣлѣ. Все это, Marie, недостойно васъ, и вы лучше бы сдѣлали, если бы откровенно сказали мнѣ, что не ѣдете только по уваженію къ мнѣнію родныхъ вашихъ и княгини Маріи Алексѣевны. Оно, конечно, такое признаніе было бы тяжело для вашего самолюбія, но, по крайней мѣрѣ, васъ утѣшила бы мысль, что вы поступили добросовѣстно. А то истиннаго-то мотива вашей нерѣшительности вы не замаскировали, да и поступили то не прямо. Я очень ясно вижу, что одна только причина, почему *вы боитесь и ужасаетесь словно смертной казни, ѣхать въ П.*, это—мысль, что вы, невѣста, поѣдете ко мнѣ, къ жениху, вмѣсто того, чтобы я

пріѣхалъ къ вамъ, какъ это считается символомъ вѣры московскихъ бабъ и сплетницъ, и княгиня Марьевъ Алексѣевнѣ. Вотъ что! Аграфена Васильевна (дай ей Богъ, здоровья!) удивляется, что я заставляю васъ ѣхать одну въ такую погоду. А если я съ вами поѣду, погода переѣмнится? помилуйте, да переѣздъ изъ М. въ П. и обратно, теперь, особенно въ *malleposte*, да это легче, чѣмъ изъ М. съѣздить къ Троицѣ; это теперь пустая поѣздка, и сколько женщинъ и дѣвушекъ, однѣ одиноконьки, ѣздить по этой дорогѣ! Сами вы ѣзжали и по проселочнымъ, ночевывали на столахъ въ крестьянскихъ избахъ, среди общества свиней, поросятъ, ягнятъ, куръ, мужиковъ, бабъ. Наконецъ, Marie, я долженъ выразиться откровеннѣе: у меня нѣтъ въ головѣ органа, какимъ бы я могъ понять, почему вы дѣлаете такой важный вопросъ изъ такого пустого дѣла, какъ переѣздъ вашъ изъ М. въ П? Я вѣрю вамъ, что вы много и тяжело страдаете, да только я не понимаю, какъ же это и отчего, и потому не чувствую никакой симпатіи къ вашимъ страданіямъ,—хотя мысль о нихъ тѣмъ болѣе усиливаетъ мои собственные.

Аграфена Васильевна ссылается на Б. и на Агматсе. Напрасно: вамъ бы слѣдовало умолчать объ этихъ лицахъ, чтобы не встрѣтить ихъ обвинительнаго, или насмѣшливаго взгляда, который бы заставилъ васъ покраснѣть. Не Б. для Агм. поѣхалъ за границу (онъ поѣхалъ для самого себя), а Агм. поѣхала для Б.—это разъ, потомъ Агм. прожила съ Б. около двухъ недѣль на моей квартирѣ, до брака своего съ нимъ, и все твердила ему, что вѣнчаться не нужно, что она такъ отдается ему и беретъ на себя всѣ слѣдствія этого рѣшенія, каковы бы они ни были. *Русская барышня* (существо, которое стоитъ *прекрасной росіянки*) не имѣетъ въ головѣ органа, чтобы понять подобную выходку со стороны страстной, любящей французженки. У Агм. есть отецъ, мать и сестры, которыхъ она безумно любитъ; но она религіозно считаетъ себя обязанной жертвовать одному чувству другими, не такъ сильными, хотя и все-таки святыми.

Письмо ваше, Marie, заставило меня перегорѣть въ жгутомъ жупельномъ огнѣ такихъ адскихъ мукъ, для выраженія какихъ у меня нѣтъ словъ. Мнѣ хотѣлось броситься не на полъ, а на землю, чтобы грызть ее. Задыхаясь и стоная, валялся я по дивану. Мой докторъ говорилъ на сторонѣ, что если-бы

я не послалъ къ нему въ четвергъ, я или бы умеръ къ утру отъ удара въ голову, или сошелъ-бы съ ума. Когда мнѣ объ этомъ сказали, я не только былъ уже внѣ опасности, но уже получилъ ваше милое, ваше безцѣнное письмо отъ 5-го окт., и потому весело улыбнулся при мысли объ избѣгнутой опасности, думая: теперь мнѣ есть для чего жить. Когда я прочелъ ваше письмо отъ 8-го окт., мнѣ сейчасъ пришла въ голову мысль: и зачѣмъ я посылалъ за нимъ? зачѣмъ посланный мой засталъ его дома? Лучше было-бы тогда издохнуть мнѣ, какъ собакѣ, чѣмъ дожить до такой минуты! Вамъ это также покажется непонятнымъ, какъ мнѣ ваши страданія. Горько мнѣ, что мы въ нѣкоторыхъ пунктахъ такъ мало понимаемъ другъ друга. Мнѣ мало того, что вы прїѣдете въ П.: меня все-таки будетъ убивать мысль, что вы этимъ принесли мнѣ жертву. Я хотѣлъ-бы, чтобъ эта поѣздка ничего вамъ не стоила, кромѣ обыкновенныхъ безпокойствъ дороги. Меня убиваетъ мысль, что вы, кого считалъ я лучшею изъ женщинъ, что вы, въ рукахъ которой теперь счастье и бѣдствие всей моей жизни, что вы, которую я люблю, вы,—раба мнѣнїй московскихъ кумушекъ, салонницъ и тетушекъ. Вотъ чѣмъ Богъ-то наказалъ меня за грѣхи, а не тѣмъ, что вамъ 32 года и что вы больны!.. И тяжка наказующая меня Десница!..

Въ васъ есть способность къ безграничному самоотверженію, къ любви и преданности полной и совершенной, но не иначе, какъ съ дозволенія правительства и съ одобренія дяденьки съ тетенькой. Будь я вашъ мужъ, а вы моя жена,—о! вы поскакали-бы на телѣгѣ ко мнѣ на край свѣта и обидѣлись-бы, еслибъ кто увидѣлъ въ этомъ что-то необыкновенное и сталъ-бы васъ хвалить. Но теперь вы на меня смотрите не какъ на человѣка, котораго вы любите (самый чело-вѣческій и поэтический взглядъ!), а какъ на *жену* (подлое слово, чтобъ чортъ приснился тому, кто его выдумалъ!), и позвольте себѣ скорѣе умереть, зачахнуть въ горѣ и тоскѣ вѣчной разлуки со мною, чѣмъ увидѣться со мною противъ правилъ приличій, хотя-бы отъ этого зависѣло мое спасеніе отъ смерти. Будь я въ Москвѣ, умирай я, вы не рѣшились-бы прїйти ко мнѣ на квартиру видѣть меня. Да это еще извинительнѣе въ глазахъ моихъ: такимъ поступкомъ вы разорвали-бы всѣ связи съ обществомъ и лишили-бы себя пристанища приклонить голову; но, выходя замужъ, у насъ, на

Руси, дѣвушка ничего не теряетъ, но все выигрываетъ, и если мужъ ее уважаетъ, она имѣетъ полное право плевать на все остальное. Вы, Marie, такъ зависите отъ чуждыхъ вліяній, что даже жаль васъ. Когда вы поѣхали къ дяденькѣ съ тетенькой,—если-бы эти изверги сказали вамъ: „конечно-де, глупо жертвовать счастьемъ жизни условному приличію“,—вы прискакали-бы въ институтъ къ сестрѣ счастливая, веселая, довольная, съ твердой рѣшимостью презирать глупыя условія, и были-бы въ восторгѣ отъ своего героизма. Но какъ эти добродушные злодѣи оказали отпоръ вашему намѣренію,—оно вдругъ ослабѣло, воля ваша исчезла, характеръ спрятался, а любовь ко мнѣ сказалась больною; все святое, все *ваше* отлетѣло отъ васъ,—и въ письмѣ ко мнѣ очутились только слова, слова, слова, да ложь, ложь и ложь... Ахъ, Marie, Marie! Пока дѣло шло о такихъ выраженіяхъ любви, какъ, напр., подарить крестикъ и обязать меня носить его, перекрестить и проч., вы были смѣлы и рѣшительны. А какъ дѣло коснулось до пожертвованія крошечку посущественнѣе, вы испугались бѣлой горячки... Что-жъ ваша любовь ко мнѣ, ваше чувство?... Робко-же вы любите!... Вы говорите, *если-бы* вы были сиротою, совершенно одинокою, вы ни минуты не поколебались-бы ѣхать въ П. и не испугались-бы остаться два—три дня до вѣнчанья подъ одною кровлею со мною. Не вѣрю, Marie, рѣшительно не вѣрю. Есть положенія въ жизни, для которыхъ не существуетъ условій, которыя не допускаютъ *если-бы*. Таково положеніе—любовь, особенно для женщины. Это ея долгъ, обязанность, религія, и для женщины нѣтъ ничего сладостнѣе, какъ всѣмъ жертвовать религіи своего сердца. Любовь даетъ ей силу творить великое и пристыжать своею силою гордаго, сильнаго мужчину. Принести жертву—еще дѣло не великое: великое въ томъ, чтобы насладиться, обрѣсти источникъ счастья въ собственной жертвѣ. Жертвы, дѣлаемыя по холодному долгу, часто убиваютъ (напр. ввергая въ бѣлую горячку); жертвы, совершаемыя по любви, даютъ счастье тому, кто приноситъ ихъ. Иначе, я не умѣю понимать ни любви, ни самоотверженія.

Вы на меня смотрите какъ на своего жениха, т. е. какъ на человѣка, съ которымъ вы можете быть связаны на вѣки, но съ которымъ вы еще не связаны на вѣки. Я совсѣмъ иначе смотрю на наши отношенія. Вы въ моихъ глазахъ давно уже

жена моя, съ которою уже не можетъ у меня быть разрыва. И поэтому я думаю, что, если, женившись на васъ, я буду имѣть право выписать васъ изъ-за тысячи верстъ по первой надобности, то почему-же общество теперь не признаетъ мнѣ этого права.

Слушайте-же, Магіе, что я скажу вамъ теперь, и вѣрьте —я не обманываю васъ—каждое слово мое вѣрно и честно. Вы пишете ко мнѣ, что въ М. можно обвиняться скромно, словомъ, какъ я хочу: это обстоятельство дѣлаетъ то, что *убѣжденія* мои уже не помѣшали-бы мнѣ пріѣхать въ М., но *обстоятельства*, это дѣло другого рода, и клянусь вамъ Богомъ и честью, что, съ этой стороны, *пріѣхать въ М. я никакъ не могу*, какъ-бы ни желалъ этого. Для васъ (о, только въ трудныя минуты моей жизни созналъ я, какъ глубоко и сильно люблю я васъ!)—я сдѣлалъ-бы это охотно, мнѣ было пріятно пощадить вашу слабость и принести вамъ эту жертву, но это не въ моей власти, по тремъ причинамъ, изъ которыхъ каждой одной достаточно, чтобъ я и не думалъ о возможности этой поѣздки. *Во-первыхъ деньги*. Магіе, ваше женственное тонкое чувство деликатности не допускаетъ меня до подробныхъ объясненій по части этой статьи. Повѣрьте мнѣ, что я скорѣе мотъ, чѣмъ скряга, и если ужъ я заговорилъ о деньгахъ, какъ о препятствіи, значить дѣло не шуточное. Впрочемъ, я и на деньги еще не посмотрѣлъ-бы: нѣсколько бессонныхъ ночей и нѣсколько дней тяжелаго труда впереди не испугали-бы меня,—хотя я знаю, вы сами потомъ бранили-бы меня за недостатокъ откровенности по сей части. *Во-вторыхъ*, мои отношенія къ журналу и Краевскому. Оставить № безъ статьи въ это время, въ то-же время поставивъ Краевскому въ необходимость достать и дать мнѣ 3000 р. денегъ, которыхъ онъ мнѣ не долженъ,—согласитесь, что если я былъ-бы такъ наглъ, то онъ могъ-бы не быть такъ уступчивъ. Видите-ли, вы меня заставили-же наконецъ быть вполне откровеннымъ съ вами. Я существую только „Отеч. Записками“, и больше ничѣмъ. Плату получаю не задѣльную, а круглую, т. е. не по статьямъ, а въ годъ—4500 р. Теперь я собираюсь просить его, чтобъ онъ прибавилъ мнѣ еще 1500 р., чтобъ я получалъ въ годъ ровно 6000 р., а въ мѣсяць 500 р. По его-же собственному расчету, намъ съ вами, на столъ, чай, сахаръ, квартиру, дрова, двоихъ людей, прачку и проч.

никакъ нельзя издержать менѣе 250 р. въ мѣсяцъ или 3000 руб. въ годъ: такъ нельзя-же, чтобы столько-же не оставалось у насъ на платѣе и разныя непредвидимыя издержки! Теперь сообразите сами: какимъ образомъ я буду имѣть безстыдство просить у Краевскаго прибавки жалованья и за это отпуска, т. е. права оставить одну книжку „О. З.“, въ такое критическое для журнала время, безъ моей статьи? Я ужъ не говорю о томъ, что убѣдить Краевскаго, какъ и многихъ въ Петербургѣ, въ томъ, что мнѣ надо ѣхать въ М.; а вамъ нельзя ѣхать въ П., нѣтъ никакой возможности,—такъ же, какъ нѣтъ никакой возможности убѣдить иныхъ москвичей въ томъ, что ничего нѣтъ худого ѣхать невѣстѣ къ жениху, но что это даже хорошо, какъ знакъ ея желанія сдѣлать легкимъ тяжелый для обоихъ шагъ. О третьей причинѣ я писалъ къ вамъ въ прошедшемъ письмѣ. Документовъ у меня нѣтъ и послать въ М. нечего. Если я пошлю университетское свидѣтельство, мнѣ потомъ не по чемъ будетъ взять отъ части позволенія на выѣздъ и не съ чѣмъ будетъ остановиться въ трактирѣ (ибо, по моимъ убѣжденіямъ, остановиться у вашего дядюшки я никогда и ни за что въ мірѣ не соглашусь). Грамоту изъ Пензы я могу получить завтра, но могу ее-же получить и черезъ три мѣсяца. Свидѣтельство о смерти отца надо выхлопывать. а когда-же это? Въ Петербургѣ-же священникъ церкви института корпуса путей сообщенія вѣнчаетъ меня по одному университетскому свидѣтельству и больше ничего отъ меня не требуетъ (а отъ васъ требуетъ—и то, когда вы пріѣдете—метрическое свидѣтельство да позволеніе отъ вашего родителя), и съ будущаго воскресенья (17 окт.) начинается оклики, для чего я вчера переслалъ къ нему ваше имя, отчество и фамилію. Получивъ письмо, я долго былъ въ страшной нерѣшимости—отложить оклики или нѣтъ. Не знаю, худо или хорошо я сдѣлалъ, но рѣшился не откладывать. Магіе, моя добрая, моя милая Магіе, у вашихъ ногъ, рыдая, обнимая ваши колѣна, цѣлуя край вашего платья, умоляю васъ, спасите меня отъ горя и отчаянія, сдѣлайте меня вполнѣ счастливымъ—пріѣзжайте; но рѣшитесь на это твердо, мужественно, проникнувшись чувствомъ обязанностей, которыя налагаетъ на васъ любовь, если вы любите меня. Чтѣ мнѣ въ вашемъ вынужденномъ рѣшеніи? Оно убьетъ меня, отравитъ мое счастье. Я и такъ давно влеку какое-то тяжелое существованіе, которое

было прервано вашимъ святымъ, благоуханнымъ письмомъ отъ 5 окт., а теперь опять оно охватило меня своими холодными и слизистыми лапами. Вы страдаете сами, да зачѣмъ-же вы, бѣдный и милый другъ мой, страдаете безъ достаточной причины? Зачѣмъ пугаете себя призраками, созданными вашимъ воображеніемъ? Вы пишете, что, поѣхавъ въ П., убьете отца вашего. Не вѣрю, Marie! Много, много, если старикъ погруститъ дней десятокъ, пока не получитъ отъ васъ письма, что вы уже обвѣнчаны и что я васъ не обманулъ. Чтобъ утѣшить старика, я готовъ буду приписать къ вашему письму, что угодно, или даже написать къ нему особое письмо подѣ вашу диктовку. Повѣрьте мнѣ, Marie, вы пугаетесь призраковъ; вы не можете выносить взглядовъ и возраженій вашихъ родственниковъ—вотъ и все. Но неужели-же мысль о вашемъ счастьи не даетъ вамъ силы быть слѣпою и глухою къ людямъ, которые, повѣрьте, не по участію къ вамъ, а по страсти мѣшаться не въ свои дѣла, будутъ изливать свое неудовольствіе, что ихъ лишили любопытнаго для нихъ зрѣлища. Ахъ, Marie, Marie, еслибъ вы знали, какъ болитъ моя грудь любовью къ вамъ и скорбію о васъ; еслибъ вы знали, какъ мысль о васъ слилась со всѣмъ существомъ моимъ! И если я говорю съ вами иногда такъ рѣзко и бранчиво, вѣрьте, я-бы никогда на это не рѣшился, если-бы полнота и сила моего къ вамъ чувства не давали мнѣ на это право. Вы—милое дитя моего сердца, и мнѣ иногда нѣтъ силъ не бранить васъ, а потомъ нѣтъ силъ не жалѣть о васъ и не сердиться на себя. Я ничего не могу дѣлать для журнала, все думая и мечтая о васъ. И больной, въ огнѣ лихорадки, я ни на минуту не переставалъ думать о васъ, и не за себя, а за васъ беспокоился моимъ положеніемъ и страшился его. Я живу вашей жизнью, ваша скорбь—отрава моей жизни, ваша смерть—моя смерть. И что-же, за все это вы убиваете себя пустыми сомнѣніями, пустою борьбою, вредите своему здоровью и налагаете печать страданія на ваше лицо, которое должно сіять счастьемъ и быть прекрасно его блескомъ. О, нѣтъ, Marie, вы сжалитесь надо мною, отгоните отъ себя чернаго демона и перестанете колебаться между мною и мнѣніемъ людей близкихъ вамъ только формально? Не правда-ли? Вы отвѣтите мнѣ на это письмо, что рѣшились ѣхать, и что это рѣшеніе не

мучить, а веселить васъ? О, Marie, тогда дай Богъ не сойти мнѣ съ ума отъ радости! Отвѣчайте мнѣ скорѣе.

Вашъ В. Вѣлинскій.

Окт. 13. Ваша сестра сказала правду, что я фатальный и что мнѣ нѣтъ счастья. По всѣмъ соображеніямъ, союзъ съ вами сулилъ мнѣ тихое и спокойное счастье. Но увы!—мы еще не соединены, а я уже глубоко несчастенъ и страдаю такимъ страданіемъ, котораго и возможности прежде не подозревалъ. Я получилъ ударъ съ такой стороны, съ которой никогда и не ожидалъ его. Я разошелся бы навсегда съ лучшимъ моимъ другомъ, если-бы, назадъ тому нѣсколько времени, онъ сталъ утверждать, что вы до такой степени зависите отъ мнѣнія людей, надъ которыми въ другихъ случаяхъ внутренно смѣетесь. Когда я положилъ писать къ вамъ о томъ, чтобы вы пріѣхали въ П.,—не знаю, какое-то странное безпокойство овладѣло мною. Когда друзья мои говорили мнѣ: „разумѣется, невѣста ваша не задумается ни одной минуты, я отвѣчалъ имъ утвердительно, тогда какъ внутри меня проходилъ холодъ невольнаго сомнѣнія, называлъ себя подлецомъ передъ вами, человекомъ, который недовольно уважаетъ васъ; но мое непосредственное чувство говорило свое. Ваше письмо, въ которомъ вы такъ легко, какъ о чемъ-то возможномъ для меня, говорите о необходимости подвергнуться шутовскимъ церемоніямъ,—это письмо было для меня ударомъ грома, внезапно упавшимъ къ ногамъ моимъ, въ ясную погоду. Я думалъ о васъ, что вы скорѣе согласитесь умереть лютою смертью, чѣмъ добровольно подвергнуться безчестію и позору подлыхъ обычаевъ. Вышло, что я ошибался. Итакъ, съ облаковъ упалъ я на землю и больно ушибся. Самолюбіе мое было страшно поражено, и мнѣ, какъ бы невольно, лѣзли въ голову все эти стихи Пушкина:

„Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья,
И въ поэтический бокаль—
Воды я много подмѣшалъ.“

Но любовь къ вамъ побѣдила все. Я забылъ о страшно-раненномъ самолюбіи и сталъ убѣждать васъ въ томъ, что вы не правы, стараясь объяснить вамъ мой взглядъ на этотъ предметъ. Отвѣта вашего я такъ боялся, что блѣднѣлъ при звукѣ колокольчика. Наконецъ, получаю отвѣтъ. Въ немъ нахожу я все, что уважалъ и любилъ въ васъ, все, что

заставляло меня быть счастливымъ и гордымъ моимъ выборомъ. Я былъ вознагражденъ за все, и ни за что бы въ мірѣ не захотѣлъ, чтобы дѣло передѣлялось иначе, т. е. чтобы я не получалъ предшествовавшаго письма, столько огорчившаго меня. Душа моя озаарилась спокойствіемъ счастья—чувствомъ, доселѣ незнакомымъ мнѣ. Я любилъ васъ и былъ счастливъ и гордъ вами. Близость нашего соединенія казалась мнѣ несомнѣнною, а въ ней я видѣлъ близость нашего счастья. Мнѣ стало такъ тепло, такъ свѣтло, такъ хорошо! Ваше послѣднее письмо наповаль убило это прекрасное расположеніе моей души. Страшная была для меня минута, когда прочелъ я его. И вотъ, теперь, я словно горю на маломъ огнѣ. Въ груди у меня что-то щемитъ и не даетъ мнѣ забыться ни на минуту: ночью мнѣ снятся гробы. И все это потому, что надъ вами такъ сильна княгиня Марья Алексѣевна, мнѣнія вашихъ родственниковъ, и что, подобно мнѣ, вы не хотите жить разсудкомъ, и презирать предразсудки, хотя въ важныхъ обстоятельствахъ вашей жизни. Когда я собирался писать къ вамъ, чтобы вы пріѣхали въ П. и почувствовалъ что-то вродѣ нерѣшительности, я посоветовался съ одною особою, мнѣніе которой было для меня очень важно. У Вержбицкаго въ домѣ живетъ въ качествѣ гувернантки подруга жены его—онѣ обѣ воспитывались въ Екатерининскомъ институтѣ. Эта дѣвица уже не первой молодости, и не безъ ума, не безъ сердца. Я съ нею довольно коротокъ. Когда я ей сказалъ, что хочу просить васъ пріѣхать въ П., она отвѣчала: „прекрасно, чего лучше“!—„И вы не находите страннымъ подобное предложеніе съ моей стороны“?—„Нисколько“, сказала она. — „Но если-бы вы были въ положеніи моей невѣсты—какъ бывы поступили?“—„Разумѣется, поѣхала бы—и все тутъ“.

Это меня до того утѣшило и успокоило, что я даже началъ фантазировать, какъ вы будете дѣлать печальныя мины на плачевныя и гнѣвныя восклицанія вашихъ родственниковъ, наружно соглашаясь съ ихъ доводами и только ссылаясь на необходимость, а внутренно смѣясь надъ этими пошляками,—и, довольная, счастливая, весело готовитесь къ пути... Опытъ представилъ мнѣ тысяча-первое доказательство, что нѣтъ ничего общаго между міромъ фантазіи и міромъ дѣйствительности...

Вчера (13 окт.) мнѣ было очень тяжело. Докторъ позволилъ мнѣ выходить. Погода была ужасная—дождь, слякоть,

сырость—тѣмъ лучше было для меня. Я готовъ былъ выкупаться въ Невѣ, если-бы зналъ, что отъ этого мнѣ будетъ легче. Я пошелъ къ Вержибицкимъ и повѣрилъ мое горе особѣ, о которой сейчасъ говорилъ. Я усомнился было даже въ себѣ, въ моихъ убѣжденіяхъ, и мнѣ хотѣлось, чтобы кто-нибудь во всемъ обвинилъ меня и во всемъ оправдалъ васъ. И васъ точно оправдали (хотя меня и не обвиняли), но тѣмъ-же?—тѣмъ, что вы воспитаны и живете въ Москвѣ, а потому не можете болѣе или менѣе не думать по-московски... Боже мой! Да я бы хотѣлъ видѣть въ васъ не дочь Москвы, Петербурга, или другого города, а просто женщину, которая въ важныхъ обстоятельствахъ своей жизни руководствуется только внушеніями и откровеніями своей женской натуры, не справляясь съ мнѣніемъ Москвы, Петербурга, дядюшки, тетюшки и проч. Можетъ быть, васъ огорчить и оскорбить то, что я ставлю между собою и вами чужихъ людей и повѣряю имъ наши общія тайны, самыя святыя: на коленяхъ прошу у васъ прощенія, и вы не можете не простить меня, если сообразите, что я дѣйствую какъ помѣшанный, ибо тяжкое горе сводитъ меня съ ума. Мысль, что вы не выше предрасудковъ и зависите отъ мнѣнія вашихъ родственниковъ, эта мысль—мрачная тѣнь на мое счастье въ прошедшемъ и будущемъ. И не смотря на то, что никогда такъ глубоко и живо не сознавалъ и не чувствовалъ я неразрывности узъ, которыми связалъ себя съ вами не даннымъ словомъ, не тѣмъ, что далеко зашелъ въ моихъ отношеніяхъ къ вамъ,—а моимъ къ вамъ чувствомъ. Внѣ васъ я теряю смыслъ моей жизни и перестаю понимать, зачѣмъ мнѣ жить. Вашъ образъ, звуки вашего голоса, ваши манеры — все это неотступно и неотходно окружаетъ меня. „Неужели-же вы этого не замѣтили?..“—я и теперь не могу вспомнить этой фразы безъ сердечнаго движенія, безъ чувства счастья. И много хранить моя память словъ и движеній, которыхъ значеніе—темно иль ничтожно; но о которыхъ не могу я вспомнить безъ живѣйшаго волненія. Да, я люблю васъ, Marie! Въ моей любви къ вамъ нѣтъ ничего огненного, порывистаго, но есть все, что нужно для тихаго счастья и благороднаго человѣческаго (а не апатическаго) спокойствія. Только съ вами могъ бы я трудиться, работать и жить не безъ пользы для себя и для общества, только съ вами не тратились бы понапрасну мои лучшіе дни и не то-

нуль бы я въ апатической лѣни. Только съ вами любилъ бы я мой тѣсный уголь, неохотно бы оставлялъ его и радостно, нетерпѣливо возвращался бы въ него. Но нѣтъ, я не только люблю васъ—у меня есть вѣра въ васъ,—и я убѣжденъ, что вы должны, что вы не можете не побѣдить своего внутреннего врага. Вы никогда не боролись съ жизнію и не рѣшали *практически* вопросовъ теоретическихъ, а оттого васъ теперь и пугаютъ такъ эти вопросы, на которые вызвалъ я васъ. Нѣтъ, вы не хуже того, чѣмъ я васъ считаю, но вы только худо дѣлаете, думая, что можно прожить на свѣтѣ безъ воли и безъ борьбы. Возьмите надъ собою волю—и все будетъ хорошо. Я теперь Богъ знаетъ что бы далъ за возможность пріѣхать къ вамъ. Клянусь вамъ всѣмъ святымъ, я былъ бы счастливѣйшимъ человѣкомъ, если-бы могъ пріѣхать въ Москву, чтобы спасти васъ отъ безсонныхъ ночей, отъ слезъ и мукъ нерѣшительности. Не симпатизируя вашему горю (ибо не понимаю его), я тѣмъ не менѣе страдаю имъ. Каждая слеза ваша падаетъ каплею яда на мое сердце и сушитъ его. Но я не могу пріѣхать: могущественная сила обстоятельствъ не допускаетъ меня до этого. Я только-что выздоровѣлъ, и еще ни строки не написалъ для журнала; а Краевскій и теперь еще боленъ и ничего не можетъ дѣлать. Сегодня хотѣлъ его навѣстить; онъ сказалъ моему человѣку, что хотя ему и легче, но чтобы я отложилъ мое посѣщеніе дня на два. Сверхъ того, какъ вамъ уже извѣстно это,—мнѣ не съ чѣмъ ѣхать въ М.—у меня нѣтъ бумагъ. Вы пишете, что для васъ была бы тяжела отсрочка до Рождества: эта отсрочка *невозможна*, ибо если я могу пріѣхать въ Москву, то развѣ только послѣ Пасхи, когда прекращается подписка на журналы. И такъ ждать почти до мая! Неужели вы согласитесь на это, чтобы только избѣгнуть ненавистой вамъ поѣздки? Неужели вамъ не страшна такая отсрочка? Мнѣ—такъ она ужасна. Кромѣ того, что все это время я ничего не буду въ состояніи дѣлать и принужденъ буду снова приняться за преферансъ,—кромѣ всего этого и многого другого, я еще не вѣрю судьбѣ и жизни. Мало ли что можетъ случиться въ это время. Не должно пытаться судьбу: дать—берите сейчасъ-же, или послѣ не жалуйтесь на нее. Въ этомъ отношеніи я фаталистъ, чѣмъ и вамъ желаю быть. Мнѣ почему-то кажется, что если мы не обвиняемся до поста предрождественскаго, то

никогда ужъ не соединимся. Это предчувствіе—глупость, но оно мучить меня. Итакъ, вотъ мое положеніе: съ одной стороны, ужасъ при мысли о какой бы то ни было отсрочкѣ; съ другой—ваши слова: „*Я приѣду, непременно приѣду, если вы такъ этого хотите!*“ И потомъ, ваши мученія, боязнь бѣлой горячки.

Ужасно! Часто приходитъ мнѣ въ голову:

Боже мой, не дай мнѣ сойти съ ума, но дай умереть. Еще вчера я повторялъ, зачѣмъ удалось мнѣ пригласить въ четвергъ моего доктора! Мысль о вашихъ мученіяхъ, бессонныхъ ночахъ и какой-бы то ни было болѣзни, вслѣдствіе принужденной поѣздки въ П., эта мысль точить мою грудь какъ червь. Она до того мучить меня, что я, пожалуй, готовъ на отсрочку до апрѣля (а тогда я самъ могу приѣхать въ М.), если это вамъ легче, чѣмъ поѣздка. Я, правда, не велѣлъ отложить окликъ (и П. А. Языковъ, разумѣется, позволилъ священнику вѣнчать меня), но чтѣ за бѣда, что разъ окликнуть, а потомъ и перестануть. Это еще не Богъ знаетъ какое горе: вѣдь свадьба наша только отлагается, а не расходится. Отложить совсѣмъ окликъ я былъ не въ состояніи: меня удержала тайная надежда, авось либо-вы одумаетесь, переломите себя, и добровольно, бодро и весело съ полною довѣренностію къ Провидѣнію рѣшитесь на то, на что теперь рѣшаетесь съ отчаяньемъ, тоскою и сомнѣніемъ. И если-бы моя надежда сбылась, и вы написали бы ко мнѣ, что ѣдете—каково было бы мое положеніе: вы ѣдете, а время для оклика потеряно, и вмѣсто одного дня, должны жить со мною до вѣнчанія недѣлю или двѣ! Теперь-же, если-бы рѣшились, можно, если хотите, обвиняться въ самый день вашего приѣзда: это будетъ зависѣть совершенно отъ васъ. Но если вы не можете рѣшиться на эту поѣздку безъ ужаса, подвергая себя тѣмъ болѣзни, то, разумѣется, bon grè, mal grè, надо отложить наше дѣло до апрѣля. Письмо это вы получите навѣрное въ понедѣльникъ (8), и если пошлете отвѣтъ во вторникъ (9), я навѣрное получу его въ субботу (23) и буду еще имѣть время остановить второй окликъ, если вы не рѣшитесь ѣхать на лучшемъ нравственномъ основаніи, нежели на какомъ рѣшаетесь теперь. Изъ этого вы, по крайней мѣрѣ, можете видѣть мою готовность на всевозможныя уступки, лишь бы вы не страдали. Уважая вашъ предразсудокъ, я рѣшаюсь много, много взять на себя... Ну, да чтѣ объ этомъ

говорить. Смотрите же: въ субботу (23) я непременно долженъ получить ваше письмо. Отвѣтъ на вчерашнее письмо не будетъ для меня удовлетворителенъ. Какова будетъ жизнь моя до полученія отвѣта на это письмо—можете догадаться сами. Мнѣ жаль васъ, Marie: вы одиноки, и некому укрѣпить васъ совѣтомъ и мнѣніемъ. Mademoiselle Agrippine горячо и преданно любитъ васъ, но, къ несчастію, она всегда и во всемъ согласна съ вами, а потому и не можетъ дать вамъ ни совѣта, ни мнѣнія. На что бы вы ни рѣшились и что бы ни было, вѣрьте одному, что я горячо и свято люблю васъ и что самая жесткость моихъ выходокъ противъ васъ доказываетъ только мою любовь къ вамъ. Да просвѣтитъ васъ Господь своимъ невидимымъ совѣтомъ и да подастъ Онъ вамъ силу и крѣпость воли. Вашу руку, мой милый, безцѣнный другъ, моя добрая, дорогая Marie—крѣпко жму её и съ тоскою, и любовію смотрю въ ваши глаза, полные печали и тяжелой думы.

Прощайте, вашъ

В. Бѣлинскій.

Окт. 15-го, вечеромъ. Не успѣю отослать къ вамъ одно письмо, какъ ужъ и хочется написать другое. Всякій разъ мнѣ представляется, что и не все вамъ высказалъ и что мнѣ остается и еще что-то сказать вамъ. Это происходитъ отъ того, что мы другъ друга не совсѣмъ хорошо понимаемъ, а потому и принуждены повторять все одно и то же, не заставляя, однако же, тѣмъ лучше понять себя. Я рѣшился на отсрочку; но отчего же не стало мнѣ легче отъ этого рѣшенія, отчего это жгучее щемленіе въ груди, какъ будто меня совѣсть мучить за какое-нибудь преступленіе?

Что значитъ этотъ злой духъ, который такъ неотступно и такъ жестоко терзаетъ меня? Что онъ—предвѣстіе несчастія, предчувствіе, что не сбыться прекраснымъ надеждамъ, которыя цвѣтутъ не для *фатальныхъ*? Еслибы я имѣлъ какую-нибудь возможность поѣхать въ Москву, я не сталъ бы медлить ни минуты. Эта возможность сдѣлать мое *idée fixe* моею точкою помѣшательства, но чѣмъ болѣе я о ней думаю, тѣмъ яснѣе вижу, что не слѣдуетъ мнѣ о ней и думать. Итакъ до апрѣля, или почти до мая! И еще столько времени неопредѣленныхъ отношеній, которыя мучительнѣе всего въ мірѣ, и которыя, сверхъ того, могутъ еще кончиться ничѣмъ, къ вѣчному горю обоихъ изъ насъ, или того, кто изъ насъ живучѣе!

Вотъ что значать предразсудки! Нужно же людямъ мучить и терзать себя ими, какъ будто и безъ предразсудковъ мало у нихъ горя! И накажи меня Богъ, если я до сего времени не готовъ былъ покаяться всѣмъ и каждому, что вы, моя избранная, чужды всякихъ предразсудковъ, что вы стоите выше ихъ! И какое разочарованіе, Боже великій, какое разочарованіе! Для меня тутъ есть отъ чего сойти съ ума или умереть, хоть я и знаю, что ни съ ума не сойду, ни умру, а только буду тяжело страдать про себя. Пріѣзжайте вы въ Петербургъ, и къ посту мы обвиняны, а къ празднику мы уже привыкли бы къ нашему новому положенію, рѣка вошла бы въ свои берега и потекла бы ровною, чистою и свѣтлою волною, отражая въ себѣ далекія небеса, еслибы то угодно было Богу. А вы думаете, *привычка* дѣло легкое и скорое? Я отъ брака съ вами никогда не ожидалъ восторговъ, да и Богъ съ ними, съ этими восторгамъ, не стоятъ они того, чтобы гнаться за ними; я ожидалъ отъ жизни вдвоемъ съ вами существованія мирнаго, яснаго, теплаго, охоты къ труду и любви къ своему углу, или, какъ французы говорятъ, къ своему очагу. И это бы пришло и этимъ бы мы наслаждались уже вполнѣ мѣсяца черезъ два (еслибы обвинчались въ началѣ ноября); а теперь этого надо ожидать *мѣсяцевъ* черезъ *восемь*.

И почему же? потому что вы слишкомъ уважаете приличія мелкаго чиновническаго круга, который по своимъ понятіямъ едва ли выше любого лакейскаго круга! Нѣтъ, и въ самой Москвѣ всѣ порядочные люди взяли бы мою сторону противъ васъ. Не могу забыть вашего святого, благоуханнаго письма (отъ 5 окт.), въ которомъ вы были самою собою, писали подъ диктовку вашего сердца, а не вашего почтеннаго дядюшки (проклятіе ему!). Вы согласились со мною, вы сами увидѣли, что я правъ, что, во всѣхъ отношеніяхъ, лучше вамъ ѣхать въ П(етербургъ), чѣмъ мнѣ въ М(оскву) и что въ этомъ нѣтъ никакой жертвы и ничего страннаго, неумѣстнаго, или предосудительнаго съ вашей стороны. Да какъ же иначе и могли бы вы понимать это простое и обыкновенное дѣло, вы, у которой такое сердце, такая душа, такой умъ и такой разсудокъ? Вы очень хорошо знаете, что дѣвушки бѣгаютъ отъ родителей, чтобы тайно вѣнчаться съ тѣми, кого онѣ любятъ, — и если дѣло дѣйствительно повершается бракомъ, то общество и не думаетъ ихъ презирать. Въ Россіи бракъ покрываетъ и не

такія дѣла. Ваше же положеніе передъ глазами общества совсѣмъ другое. Вы съ позволенія своего отца, поѣдете къ жениху, который *по обстоятельствамъ* (а не по чему другому) не можетъ пріѣхать къ вамъ, вотъ и все. Тутъ ничего нѣтъ ни страннаго, ни необыкновеннаго, ни неумѣстнаго, ни предосудительнаго. Въ Петербургѣ это для всѣхъ и каждаго обыкновенно и естественно; въ Москвѣ это осудятъ только салонницы да чиновники... Неужели же на нихъ смотрѣть? Вы все это сами знаете и чувствуете не хуже меня. Но вы съѣздили къ вашему драгоценному дядюшкѣ и встрѣтили отпоръ; сгнѣшили, оторопѣли, и вмѣсто того, чтобы спорить, доказывать, и то наступая, то уступая, то твердостью, то лаской заставить его согласиться съ вами, или, по крайней мѣрѣ, возбудить въ немъ терпимость (*tolerance*) къ мысли о вашей поѣздкѣ, — вы расплакались, голова у васъ разболѣлась и вы начали вдругъ ни съ того, ни съ сего смотрѣть въ очки вашего дражайшаго дядюшки и стали *пренаивно* увѣрять меня, что, требуя вашего пріѣзда въ Петербургъ, я требую, чтобы вы въ холодѣ пошли по улицѣ въ дезабилье...

Ахъ, Магіе, Магіе! да вы уже отъ одной мысли о поѣздкѣ, кажется, сошли съ ума; что же бы стало съ вами, если-бы вы въ самомъ дѣлѣ поѣхали?... Страшно и подумать! А вы, право, не совсѣмъ въ умѣ, Магіе: иначе какъ же бы вы могли о вашей поѣздкѣ въ Петербургъ говорить такимъ тономъ, какъ будто бы я требовалъ отъ васъ, чтобы вы рѣшились жить со мною, въ качествѣ жены, только безъ брака. И вы не стали бы сравнивать вашего положенія съ положеніемъ Еугеніе, съ которымъ у васъ ровно ничего нѣтъ общаго.

Простите меня, милая Магіе, за дерзость и жестокость моей шутки на-счетъ состоянія вашего мозга, — право, о немъ нельзя сказать, чтобы оно было сладко, какъ сахаръ. Вы немного лукавите передо мною и прежде всего передъ самой собою, но я васъ вижу насквозь. Вы не хуже меня понимаете, что поѣздка въ Петербургъ — дѣло очень простое, въ родѣ моихъ поѣздокъ съ Маросейки въ Сокольники; но у васъ слабъ характеръ, очень слабъ, и вы не можете прямо смотрѣть въ глаза вашему многоцѣнному дяденькѣ, когда онъ съ вами несогласенъ. Вотъ и все. Вы до такой степени esclave передъ своимъ высокоцѣннымъ дядюшкою, что убѣждаете себя насильно въ его образѣ мыслей, не дерзая ему противорѣчить. Вотъ и

все. У васъ нѣтъ силы быть самой собою. Это жаль, очень жаль, тѣмъ болѣе жаль, что когда вы являетесь самой собою (какъ въ письмѣ 5 окт.), вы бываете святы, нравственно прекрасны, достойны обожанія, высоки и благородны, блистаете всѣмъ, чѣмъ велика и благодатна натура женщины. И зато, еслибы вы знали, какое состраданіе возбуждаете вы въ себѣ, когда находитесь подъ вліяніемъ вашего подъячественнаго дядюшки!

Святители! Вы ли это, Марья Васильевна? Нѣтъ, это Мареа Васильевна!... Я не знаю, какъ мнѣ благодарить Бога, что я получилъ отъ васъ письмо отъ 5 окт. Если умру скоро, велю положить съ собою въ гробъ это письмо, какъ лучшее и прекраснѣйшее, чѣмъ порадовали меня судьба и жизнь. Это письмо еще дорого для меня и съ другой стороны: оно для меня — вашъ духовный портретъ. Безъ него вашъ свѣтлый образъ затмился бы въ душѣ моей, и я, какъ сумасшедшій, помучилъ бы себя тщетнымъ усиліемъ вспомнить, кого же и чтѣ же любилъ я въ васъ... Но теперь мнѣ только стоитъ прочесть его, — и передо мною снова возстаетъ прекрасный и свѣтлый образъ лучшей женщины, какую только встрѣтилъ я въ жизни, женщины, которая много любила и много страдала, женщины, которую полюбилъ я за ея любовь и ея страданье, и за ея возвышенный и простой умъ, за ея горячее сердце и благородную душу... Перечитавъ ваше сегодняшнее письмо, я съ ужасомъ остановился на одномъ мѣстѣ въ немъ. Вы пишете, каково бы вамъ было, еслибъ въ Петербургѣ васъ встрѣтилъ кто изъ московскихъ и посмотрѣлъ бы на васъ такимъ взглядомъ, отъ котораго не поздоровится. Кто же это, Marie? Ужъ не Любовь ли, горничная вашей кузины? Или не тотъ ли милый родственникъ вашъ, чтѣ такой мастеръ на лакейскія любезности и кучерскія каламбуры? Но кто бы ни былъ, онъ — лакей, холопская подлая душа, если бы осмѣлился съ презрѣніемъ посмотрѣть на васъ за то только, что вы рѣшились пріѣхать къ своему жениху въ Петербургъ, вмѣсто того, чтобы дожидаться его къ себѣ въ Москву. Ну, Marie, какъ же слабо въ васъ сознаніе вашего достоинства, какъ же мало въ васъ уваженія къ самой себѣ, если взгляды лакеевъ, кучеровъ, свинопасовъ и чиновниковъ могутъ заставлять васъ потуплять ваши глаза и страдать. Вы ли это, Marie, или тѣнь ваша, призракъ? Нѣтъ, эти строки необдуманно сорвались съ пера вашего, и вамъ, вѣрно, теперь стыдно ихъ.

Да, Marie, мы съ вами во многомъ расходимся. Вы, за отсутствіемъ какихъ-либо внутреннихъ убѣжденій, обожествили деревяннаго болвана общественнаго мнѣнія и преусердно ставите свѣчи своему идолу, чтобъ не разсердить его. Я съ дѣтства моего считалъ за пріятнѣйшую жертву для Бога истины и разума—плевать въ рожу общественному мнѣнію тамъ, гдѣ оно глупо или подло, или то и другое вмѣстѣ. Поступить наперекоръ ему, когда есть возможность достигнуть той же цѣли тихо и скромно, для меня божественное наслажденіе. Затѣмъ пишу я это вамъ? Затѣмъ, что въ ваши свѣтлыя минуты, когда вы будете самой-собою, вы поймете это и скажете: еслибъ онъ былъ не таковъ, я бы, можетъ быть, больше любила его, но меньше уважала...

Впрочемъ, насъ раздѣлило воспитаніе, а не природа. Я люблю и уважаю вашу натуру, люблю и уважаю васъ, какъ прекрасную возможность чего-то прекраснаго. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ же виноваты вы, что родились и воспитались въ „дистанціи огромнаго размѣра“, въ городѣ княгини Марьи Алексѣевны.

А между тѣмъ въ этомъ городѣ есть и хорошіе, даже очень хорошіе люди. Я отдыхалъ душою въ семействѣ Корша, чуждомъ всякихъ предразсудковъ. Ахъ, еслибы знали вы, Marie, что за существо—жена Герцена! Она, дѣвушкою, бѣжала отъ своей воспитательницы и благодѣтельницы—гнусной старухи, которая попрекала ее каждымъ кускомъ, — бѣжала отъ нея, чтобы обвиняться съ теперешнимъ мужемъ своимъ, — и повѣрите ли—не умерла, не впала въ бѣлую горячку, не сошла съ ума отъ этого. Это женщина, подобно вамъ, больная—низкаго роста, худая, прекрасная, тихая, кроткая, съ тоненькимъ голоскомъ, но страшно энергичная: скажетъ тихо, — и бѣгъ остановится и съ почтеніемъ упрется рогами въ землю передъ этимъ кроткимъ взглядомъ и тихимъ голосомъ. Наталья Александровна не побоялась бы познакомиться съ Eugénie. Когда я былъ у Герцена въ деревнѣ, — даже меня поразила царствующая тамъ европейская свобода. Всѣ мужчины въ блузахъ (родъ рубашки, опоясанный кожанымъ ремнемъ); гуляя, разъ я пожаловался на усталость и жаръ, и ко мнѣ всѣ пристали (и она), чтобы я снялъ съ себя сюртукъ и понесъ его на плечѣ. Разъ я сконфузился даже, когда она подшутила надъ моею чиновническою (все глупое и подлое есть чиновническое) възлivelюстью, что я поклонился ей, выходя изъ обѣда. Какъ

жаль, что вы съ нею незнакомы: она вывела бы васъ изъ затруднительнаго положенія и указала бы вашей совѣсти большую дорогу. Боткинъ возилъ къ ней знакомиться Агтапсе, и та была очень довольна этимъ знакомствомъ. Порядочный человѣкъ также и Грановскій.

Когда шли толки о томъ, надо ли обвѣнчаться Б. съ Агт., или остаться имъ безъ вѣнца въ интимныхъ отношеніяхъ;—я сказалъ, что это невозможно въ нашемъ обществѣ, ибо прежде всего, кто же захочетъ быть знакомымъ съ Агт.? — Жена Герцена и моя жена прежде всѣхъ,—сказалъ Грановскій. Право, Магіе, все это не дурные люди, и они образуютъ собою свой отдѣльный кругъ общества, который кромѣ себя никого знать не хочетъ и никѣмъ не интересуется, но которымъ многіе и многіе очень интересуются. Какъ жаль, Магіе, что вы не знаете никакого круга, кромѣ круга вашихъ родственниковъ, которые—люди добрые, не спору, но по тону, манерамъ и понятіямъ принадлежать къ самымъ низшимъ слоямъ русскаго общества. Что же касается до вашего дядюшки,—я его смертельно ненавижу, какъ самаго лютаго врага моего; если я съ нимъ увижусь когда-нибудь, это будетъ не на радость вамъ; вы знаете, какъ я не умѣю владѣть лицомъ и взглядомъ моимъ: при встрѣчѣ съ нимъ мой взглядъ выразитъ смертельную ненависть. Этотъ человѣкъ осмѣлился стать между мною и вами, и мнимымъ правомъ своего родства, можетъ быть, разрушить наше счастье. Проклятіе ему!

Итакъ, Магіе, наше дѣло отложено. Мысль эта сжимаетъ мнѣ сердце. Отъ нея мнѣ стало холодно, и я почувствовалъ отвращеніе отъ себя и отъ жизни. Хотѣлось бы умереть; и жаль, что упустилъ прекрасный случай.

Не знаю, какъ подѣйствуетъ на васъ это письмо, но въ немъ вы должны видѣть только мою прямоту, а слѣд. и мою любовь къ вамъ. Еслибы я не любилъ васъ искренно и глубоко, отсрочка меня обрадовала бы, а не сдѣлала бы несчастнымъ (ибо слово *опечалила* здѣсь слабо), и я сумѣлъ бы замаскироваться, притворившись спокойнымъ и согласнымъ съ вами. Но я люблю васъ,—и меня огорчаютъ ваши недостатки, я болѣзненно страдаю отъ нихъ. Признаться ли вамъ: я все еще не совсѣмъ потерялъ надежду, что ангелъ свѣта побѣдитъ въ васъ ангела тьмы, что вы сознаете свое смѣшное заблужденіе, и не по долгу, а по любви, весело и бодро пуститесь

въ Питеръ, чтобы дать мнѣ счастье, котораго я нѣсколько заслуживаю въ качествѣ человека *скорбящаго и работающаго*: ибо только такимъ, по моему мнѣнію, должна быть наградою любовь женщины. Не забывайте, Магіе, что я даже не прошу васъ, а только надѣюсь — и не на васъ, а на Бога, Который, сжалившись надъ моими невыносимыми страданіями, можетъ быть, озарить вашу спутанную и оглушенную родственными толпами голову свѣтомъ сознанія.

Вы съ чего-то вообразили, что я пишу подъ вліяніемъ моихъ друзей (какъ ни тяжело мнѣ было при чтеніи вашего письма, но эти строки заставили меня разсмѣяться): не пишите-ка вы подъ вліяніемъ вашихъ родственниковъ, но пишите подъ диктовку вашего сердца, которое одно люблю я, одно хочу знать, — а что мнѣ до вашихъ родственниковъ, равно какъ и имъ до меня? У меня есть только одинъ другъ, который можетъ имѣть и дѣйствительно имѣетъ на меня вліяніе: это Боткинъ, но его теперь, „въ минуту жизни трудную“, нѣтъ со мною. Я очень люблю и уважаю моихъ петербургскихъ пріятелей; но никто изъ нихъ не имѣетъ на меня никакого вліянія. Всѣхъ больше цѣню я голову Тургенева, — но онъ-то именно до сихъ поръ и не подозреваетъ, что я женюсь. Но забавнѣе всего ваша премудрая и глубокомысленная догадка, что я пишу подъ вліяніемъ Краевского, — мнѣ и теперь еще смѣшно при мысли о ней. Знаете ли вы, что Кр. не видалъ ни одного ни вашего, ни моего письма, и что если я говорилъ съ нимъ о моемъ дѣлѣ, то болѣе съ точки зрѣнія хозяйственной, денежной, практической. Знаете ли вы, что я пишу вамъ вотъ уже *пятое* письмо, не издавши Краевского, сперва за моей собственной болѣзнію, а теперь за его болѣзнію, ибо онъ все еще лежитъ, съ среды уже другая недѣля, и недавно только очуствовался?

Полноте, Магіе, пускаться въ политику и строить догадки: вы не мастерица на это. Идите-ко прямою дорогою — дорогою сердца. Умъ женщину часто обманываетъ; сердце — никогда. Спрашивайтесь одного его. У меня есть вѣра въ него, что оно спасетъ и осчастливитъ меня. А то я погибаю, и глубоко несчастливъ. Кр. боленъ, „О(течеств.), З(аписки)“ запущены — у меня ни строки, а уже 15 число: примусь писать, принужу себя — не могу: внутренняя мука путаетъ мысли. Спасите меня, но не жертвою, не чувствомъ долга, а любовью и здравымъ

разсудкомъ. Укрѣпитесь сознаниемъ и вы исполнитесь силою. Бросьте софизмы и смотрите на дѣло прямо. А дѣло это очень просто.

M-lle Agrippine, на колѣняхъ умоляю васъ принять безпристрастное участіе въ нашемъ спорѣ, и цѣлую ваши прелестныя ручки,—вѣдь, право, погибаю въ цвѣтѣ лѣтъ и красоты. Вамъ же будетъ жаль, что такой очаровательный молодой человѣкъ пропадетъ ни за копѣйку, на радость Булгарина, Погодина и Шевырева.

Не знаю, Магіе, надежда ли проказитъ, или что другое, только мнѣ стало легче—на глазахъ слезы, къ груди приливаютъ горячія волны любви,—и мнѣ хотѣлось бы излить передъ вами всю душу мою, чтобы вы меня поняли. Я весь полонъ вами, весь проникнутъ вашимъ незримымъ присутствіемъ. О, когда же незримое превратится въ очевидное?! Когда же, утомленный работою, тихо буду входить я въ ваше святилище и, глядя на васъ, слушая васъ, говоря съ вами, отдыхать душою и собирать новыя силы на новыя труды? Неужели чиновническія приличія должны надолго отсрочить мое счастье? Когда же тѣсный уголъ мой наполнится вашимъ присутствіемъ, и, почувявъ близость святыни, я буду жить полною жизнію? Когда же за минуты одушевленнаго труда будетъ мнѣ наградой ваша блѣдная рука? Когда буду повѣрять я вамъ мои мечты и читать мои писанія, требуя вашего мнѣнія и совѣта?

Ахъ, Магіе, Магіе! Жизнь коротка и обманчива, ловите ее—или послѣ не раскаивайтесь. Въ Китаѣ обычай и приличіе выше истины и счастья: выѣзжайте изъ Китая, т. е. изъ Москвы, и спѣшите ко мнѣ. Вѣрьте, счастье, которое вы вкусите, не дастъ вамъ помнить о существованіи людей, которые любятъ вмѣшиваться не въ свои дѣла. Узнавши меня, вы не будете узнавать себя. Какъ женщина, вы такъ мало знаете жизнь, что съ вами иногда нѣтъ возможности говорить о ней, словно съ ребенкомъ. Я знаю, напр., что мои причины невозможности ѣхать въ Москву вы находите неудовлетворительными, особливо со стороны моихъ отношеній къ О. З. и К-му; но объяснить я вамъ ихъ не въ силахъ, именно потому, что вы женщина и притомъ русская женщина. Приѣхавъ, сами увидите и, повѣрьте, не разъ вспомните о своей несправедливости ко мнѣ, обвините себя, пожалѣете обо мнѣ и посмѣетесь надъ собою.

Хотѣлъ написать къ вамъ нѣсколько строкъ и написалъ цѣлыхъ полтора листа. Чувствую необходимость безпрестанно говорить съ вами. Не общаю писать въ понедѣльникъ (завтра суббота), но и не ручаюсь, что не буду писать, и что въ будущую пятницу (23-го) вы не получите отъ меня и еще письма, какъ получили его въ воскресенье, въ понедѣльникъ, во вторникъ и въ среду.

Не хочется разстаться съ вами, мой добрый другъ, моя милая Marie,—все бы говорилъ и говорилъ. Подумайте обо всемъ написанномъ мною и посоветуйтесь съ своимъ сердцемъ: на этого родственника у меня большая надежда—можетъ быть, онъ спасетъ меня: зато услышитъ онъ бѣненіе моего сердца, дружно и въ ладъ отвѣчающее на его бѣненіе!...Цѣлую вашу руку.

(NB. Письмо это пойдетъ 16-го октября, въ субботу).

Вашъ В. Бѣлинскій.

Окт. 15-го. Сегодня почему-то ждалъ я отъ васъ письма, рано поутру, письма, посланнаго вами, какъ мнѣ казалось, въ понедѣльникъ; но вотъ уже 10 часовъ, и его нѣтъ, и я перестаю ждать. Мнѣ тяжело, невыносимо тяжело. Ко всѣмъ другимъ причинамъ моего страданія присовокупилась новая: это—воспоминаніе о грубомъ и жесткомъ тонѣ моихъ писемъ, который долженъ оскорбить, огорчить васъ, когда вамъ и безъ того тяжело. Меня ужасаетъ мысль, что, можетъ быть, звѣрскія письма мои сильно подѣйствуютъ на ваше здоровье. О, я звѣрь, родился звѣремъ—имъ и умру. Но мое звѣрство скоро смѣняется человѣческимъ расположеніемъ, и тогда я изъ одного мученія перехожу въ другое. Marie, другъ мой, о, простите меня, если я огорчилъ васъ, забудьте это, изорвите мои несчастныя письма, и помните только одно, вѣрьте только одному, что я люблю, глубоко и сильно люблю васъ. Одумавшись, я понялъ, что требовалъ отъ васъ слишкомъ много, былъ къ вамъ несправедливо строгъ. Ваша слабость теперь понятна мнѣ, и я отъ всей души извиняю васъ въ ней. Поживя со мною, вы на многое будете смотрѣть иначе и во многомъ будете поступать иначе; но теперь—какъ винить васъ за то, что дышите тѣмъ воздухомъ, который окружаетъ васъ, а не тѣмъ, который далекъ отъ васъ. Сегодня видѣлъ я во снѣ, будто вы пріѣхали ко мнѣ. Я былъ бы счастливъ, очень счастливъ, еслибы сонъ мой сбился; но ваше спокойствіе, ваше

здоровье дороже мнѣ всего, и вы поступайте свободно, не принуждая себя. Зимой мнѣ рѣшительно невозможно будетъ приѣхать; придется подождать до весны. Такъ или сякъ, только будьте здоровы и спокойны, — здоровье и спокойствіе всего нужнѣе вамъ.

Боже мой, что со мной дѣлается! Меня мучить злой духъ. Не могу вспомнить о моихъ письмахъ безъ жгучаго щемленія въ груди. Вечеромъ страшно ложиться спать, и прежде чѣмъ засну совсѣмъ, не разъ забудусь и не разъ проснусь, вздрагивая. Тяжело. Неужели я надѣлалъ дѣлъ моими письмами? О, Боже, страшно подумать. Отвѣта на эти два письма буду ждать въ пятницу и субботу (22, 23), а на это въ воскресенье (24), — и если изъ отвѣта на это письмо увижу, что я опасался напрасно, что мои проклятыя письма не подѣйствовали на ваше здоровье, о, я съ ума сойду отъ радости. Сегодня никакъ не думаю писать къ вамъ, и схватился за перо прежде, чѣмъ понять, зачѣмъ это дѣлаю. Это было какимъ-то вдохновеннымъ порывомъ.

Больше писать нечего. Вы поймете, что бы еще могъ или хотѣлъ сказать я. Прощайте. Храни васъ Господь, а мои обѣты и мольбы за васъ неотлучно съ вами, равно какъ и мысль моя.

Вашъ В. Бѣлинскій.

Сердце не обмануло меня: только-что полѣзъ было я въ ящикъ за конвертомъ, чтобы запечатать это письмо, какъ получилъ ваше. Ахъ, Marie, Marie, вы меня не понимаете, или не хотите понять: не грѣхъ ли вамъ думать, что я лгу передъ вами, обманываю васъ, увѣряя васъ, что не могу къ вамъ приѣхать? И не могу я къ вамъ приѣхать совсѣмъ не по боязни шутовскихъ церемоній, которыхъ — я вѣрю вамъ — не было бы теперь, еслибъ я приѣхалъ. Не могу я приѣхать по тому же самому, почему часовой не можетъ сойти съ своего поста, хотя бы отъ этого зависѣло счастье всей его жизни. Я опять-таки несогласенъ съ вами, чтобы такое важное дѣло было приѣхать вамъ въ Петербургъ. Никто съ этимъ не согласится; но спорить съ вами не буду, ибо чѣмъ же вы виноваты, что все жили въ Москвѣ, а не въ Петербургѣ? Застать меня на столѣ — дѣло не невѣроятное и не невозможное; это было бы для васъ страшнымъ несчастіемъ, но неужели въ Москвѣ черезъ это теряются права на уваженіе? Какой же это гнусный, подлый и киргизъ-кайсацкій городъ!

Если вы одна придёте въ Петербургъ и потомъ кого-нибудь и когда-нибудь встрѣтите изъ московскихъ, который *посмотритъ на васъ такъ, что не поздоровится отъ этого взгляда*, то увѣрю васъ, что мнѣ будетъ не больно, какъ вы пишете, а только смѣшно, и я буду объ этомъ рассказывать съ хохотомъ всѣмъ моимъ знакомымъ, чтобы заставить и ихъ хохотать. Ахъ, Marie, Marie, какъ вы будете смѣяться надъ этими описаніями, когда будете моею женою и почувствуете себя въ другой совершенно сферѣ, петербургской жизни, гдѣ на вещи смотреть діаметрально-противоположно. Но теперь ни въ чемъ васъ не увѣрю и ни въ чемъ съ вами не спорю. Вижу, что рѣшиться ѣхать для васъ то же, что рѣшиться умереть. Жалко о силѣ смѣшного предрасудка надъ такимъ умомъ и такимъ сердцемъ, каковы вышн; но извиняю васъ во всемъ этомъ, приписывая все это не вамъ, а судьбѣ. Что касается до Eugénie, то вы напрасно думаете уподобиться ей тѣмъ, что рѣшитесь пріѣхать въ Петербургъ. Еслибы вы и пріѣхали, между ею и вами все бы ничего не было общаго; ибо Eugénie въ Петербургѣ никто бы не принялъ къ себѣ, а васъ всѣ примутъ, и вмѣсто презрѣнія, вы своимъ пріѣздомъ приобрѣли бы только большее право на уваженіе всѣхъ и cadaго. Вы неправы, думая, что я живу подъ чѣмъ-либо вліяніемъ, а тѣмъ болѣе подъ вліяніемъ Краевского. Такъ же точно неправы вы, видя въ каждомъ моемъ словѣ *seigneur et maître*, а во мнѣ деспота. Это показываетъ, что вы еще мало знаете меня. Я *фанатикъ*, это правда, но всего менѣе деспотъ. Не мѣсто и не время объяснять вамъ теперь здѣсь разницу между деспотизмомъ и фанатизмомъ, деспотомъ и фанатикомъ, и потому оставляю эту матерію. Если когда-нибудь мы будемъ соединены, тогда, надѣюсь, вы узнаете меня лучше и будете ко мнѣ справедливѣе; а теперь вы судите обо мнѣ подъ вліяніемъ таинственной для васъ идеи о поѣздѣ въ П.

Рѣшайте вы—отъ васъ я жду рѣшенія—оно въ вашей, а не въ моей волѣ: или пріѣзжайте, если хотите, чтобы къ посту кончилисъ нани пытки и страданія; или отложите до апрѣля, когда я буду въ состояніи пріѣхать къ вамъ въ Москву.

Въ первомъ случаѣ вы можете ѣхать и не 28-го числа, а позже, лишь бы пріѣхать въ П. дня за три до поста; но въ обоихъ случаяхъ вы не замедлите увѣдомить меня. Если вы рѣшитесь отложить, я покорюсь вашему рѣшенію со всѣмъ *resignation* преданнаго вамъ друга, который ваше спокойствіе

и здоровье предпочитаетъ своему счастью. Я вижу самъ, что ѣхать вамъ нѣтъ никакой возможности: *почему-то* вы воображаете, что такимъ поступкомъ лишаетесь права на уваженіе общества. Можетъ быть, въ Москвѣ оно и такъ, а потому больше и не спорю съ вами. Ахъ, боюсь одного, одного боюсь: моего проклятаго письма, какое получили вы уже въ воскресенье (17). Только пронеси Богъ мимо эту бурю, а тамъ пусть будетъ, что будетъ!

Бѣдный другъ мой, какъ вы страдаете. Сердце мое сжалось, когда я прочелъ ваше письмо. Правда, причина вашего страданія—фантомъ, призракъ, бредъ больного воображенія; но развѣ отъ этого легче ваше страданіе? Напротивъ, тѣмъ большее страданіе возбуждаетъ въ моей душѣ ваше страданіе. Да, Marie, есть пункты, въ которыхъ мы рѣшительно не понимаемъ другъ друга; зато, благодаря имъ, я понялъ, что такое Москва. Я давно уже не люблю ее; но теперь... Что касается до приглашенія, которымъ удостоиваютъ меня ваши родственники, я долженъ объяснить съ вами опредѣленнѣе на этотъ счетъ. Въ Петербургѣ нѣтъ обычая останавливаться у родни, своей или женниной; тамъ это не въ тонѣ, да никто и не пригласитъ и не пуститъ; для этого есть трактиры. Такъ водится и въ Европѣ; но не такъ водится въ Москвѣ, патріархальной и азіатской. Если я захочу соблюсти экономію, я остановлюсь у своихъ родственниковъ, или у Щепкиныхъ, которыхъ считаю истинными своими родными въ духѣ; но что-жъ мнѣ за радость остановиться у людей, совершенно чуждыхъ мнѣ, быть связаннымъ, притворяться, скрывать свой образъ мыслей, говорить не то, что думаю? Бывать у нихъ я готовъ для васъ. Это другое дѣло. Вы, Marie, совсѣмъ не понимаете меня съ моей главной и существенной стороны. Знаете ли вы, что людей, съ которыми я ни въ чемъ не могу сойтись, я считаю моими личными врагами и ненавижу ихъ? И знаете ли вы, что я это считаю въ себѣ добродѣтелью, лучшимъ, что есть во мнѣ?

Прощайте. Отвѣчайте мнѣ немедленно на это письмо. Будьте свободны въ вашемъ рѣшеніи, и вѣрьте, что ваше спокойствіе и здоровье, въ моихъ глазахъ, стоятъ моего счастья, и что я постараюсь, какъ могу и умѣю, *me resigner*.

Вашъ В. Бѣлинскій.

Послѣ этого переписка окончилась слѣдствіе пріѣзда невесты къ Бѣлинскому.
Ред.

Конь Калигулы.

„Калигула, твой конь въ сенатѣ
„Не могъ сіять, сіяя въ златѣ;
„Сіяютъ добрыя дѣла“.

Такъ поигралъ въ слова Державинъ,
Негодоваіемъ объять.
А мнѣ сдается (виноватъ!),
Что тѣмъ Калигула и славенъ,
Что вздумалъ лошадей, говорятъ,
Послать присутствовать въ сенатъ.
Я помню: въ юности плѣняла
Его иронія меня;
И мысль моя живописала
Въ стѣнахъ священныхъ трибунала,
Среди сановниковъ, коня.
Что-жъ, развѣ тамъ онъ былъ не кстати?
По мнѣ—въ парадномъ чепраѣ
Зачѣмъ не быть коню въ сенатѣ,
Когда сидѣтъ бы людямъ знати
Умѣстнѣй въ конномъ денникѣ?
Что-жъ, развѣ звукъ веселый ржанья
Былъ для имперіи вреднѣй
И раболѣпнаго молчанья,
И лестью дышащихъ рѣчей?
Что-жъ, развѣ конь красивой мордой
Не затмевалъ ничтожныхъ лицъ,
И не срашилъ осанкой гордой
Людей привыкшихъ падать ницъ?..
Я и теперь того же мнѣнья,
Что врядъ ли гдѣ встрѣчалось намъ
Такое къ трусамъ и къ рабамъ
Великолѣпное презрѣнье.

Алексѣй Жемчужниковъ.

Памятники древне-христианской литературы въ нашей словесности.

Старая русская и славянская письменность въ числѣ многихъ переводныхъ произведеній обладаетъ довольно обширнымъ кругомъ апокрифовъ, а въ числѣ этихъ послѣднихъ — довольно полнымъ кругомъ апокрифическихъ евангелій.

Исторію этихъ памятниковъ популярной христианской литературы приходится начать издавна: по своимъ источникамъ, по времени созданія апокрифическія евангелія восходятъ къ древнѣйшимъ временамъ христианства, представляя поэтическіе литературные памятники той эпохи, когда христианство, явившись обновленіемъ обветшавшей античной греко-римской, языческой вообще, и іудейской жизни въ частности, все болѣе и болѣе начало подчинять себѣ умы и чувства людей. Первое, что должно было сломить христианство, это было античное, языческое и іудейское міровоззрѣніе съ его богатой литературой, съ его своеобразной догматикой, со сложившейся вѣками обрядностью. Высшіе классы древняго общества, уже отрѣшившіеся болѣе или менѣе отъ старыхъ воззрѣній, почти вполне перешедшіе отъ религіознаго вѣрованія къ атеизму, прикрытому философскими системами различныхъ направленій, — эти высшіе классы общества не были первыми и главными прозелитами новой вѣры; долго они даже не интересовались вовсе новой вѣрой, возникшей гдѣ-то въ отдаленномъ отъ культурныхъ центровъ уголкѣ греко-римскаго міра, среди народности, мало интересной для культурнаго человѣка, воспитаннаго Афинами, Александріей и Римомъ. Если высшіе классы и заинтересовались новой вѣрой, то это произошло только тогда, когда новая христианская община стала въ болѣе или менѣе опредѣленные отно-

шенія къ государственному строю Рима, когда государство, какъ государство, принуждено было уже считаться съ организаціей христіанской общины, организаціей, создавшейся на основахъ этой новой вѣры. Для высшихъ классовъ общества очередь вступить въ ряды приверженцевъ христіанства была еще впереди. Первоначальное же христіанство было вѣрой „простыхъ людей“, вѣрой демократической; первыми христіанами въ обществѣ были люди изъ народа, которымъ далеко не были доступны отвлеченныя умствованія философіи, просвѣщеннаго атеизма, государственныя идеи въ религіи, руководившія образованными высшими классами; но зато этотъ простой народъ вѣровалъ болѣе или менѣе по старому, сохраняя язычество съ его богами, мифами и обрядами, насколько это было возможно при общемъ разложениі стараго міровоззрѣнія: старая мифологія, ея легенды и сказки, суевѣрія, вѣра въ чудесное, въ волшебство, колдовство, обрядность—все это было тѣмъ, что должно было заполнить пустоту, образовавшуюся въ умахъ и сердцахъ людей, уже утратившихъ живую вѣру. Сказанія, легенды старой религіи стали уже не предметомъ вѣры только, но также, если не въ большей степени, и словесности, сохраняясь уже болѣе въ силу консерватизма и традиціи въ массѣ, нежели въ силу потребности.—Въ это время является христіанство съ его новыми идеями, новыми, невиданными до того времени дѣятелями, съ новой литературой. Оно должно было дать народамъ новое содержаніе жизни, замѣнивъ собою старое, уже мало удовлетворявшее міровоззрѣніе. Народы съ жадностью хватаются за новое вѣроученіе, усваиваютъ новыя идеи. Но старая привычка, многое, бессознательно вошедшее въ жизнь изъ стараго, цѣлыя вѣка воспитанія въ языческихъ идеяхъ, низкая ступень развитія массы, наконецъ, самыя индивидуальныя свойства отдѣльныхъ народностей, ихъ прежняя народная литература—все это мѣшаетъ сразу и вполне овладѣть высокими идеями новой вѣры. Но постепенное усвоеніе началось. Изъ этой новой вѣры прежде всего принимается и пускается въ оборотъ то, что наиболѣе доступно пониманію массы, что менѣе противорѣчитъ унаслѣдованному отъ древности взгляду, что наиболѣе интересуется простаго человѣка. Первое мѣсто здѣсь занимаетъ не догматическая сторона христіанства, а самъ Основатель новаго вѣроученія, Его ближайшіе послѣдователи, энергичные, самоотверженные продолжатели Его дѣла. Самая исторія возникновенія

и распространения христианства съ его чудесами, великими подвигами просвѣтителей—вотъ что прежде всего интересуется массу новыхъ христіанъ, вотъ что побуждаетъ знакомиться съ христіанствомъ язычниковъ, уже охладѣвшихъ къ своимъ богамъ и героямъ. И изъ этой исторіи опять таки выбирается то, что доступно, наглядно объясняетъ превосходство новой вѣры надъ старой—стало быть, великіе дѣятели христіанства, великіе подвиги ихъ въ борьбѣ со старыми началами. Такимъ образомъ на почвѣ старой народной словесности происходитъ постепенно замѣна старой мифологіи, старыхъ мифологическихъ легендъ, новыми эпизодами и рассказами про новую вѣру. Такимъ образомъ, христіанство, эта „вѣра простецовъ“ того времени, становится съ первыхъ же поръ достояніемъ народа, а его литература—источникомъ новой народной христіанской словесности. Здѣсь начало христіанскаго эпоса, начало христіанской легенды, апокрифическаго сказанія: христіанскія идеи, факты изъ жизни христіанства становятся темой для обработки въ устахъ народа. Народъ обрабатываетъ ихъ съ помощью тѣхъ же приемовъ, которыми онъ привыкъ давно пользоваться и прежде, въ дохристіанское время, разъ его вниманіе привлекало къ себѣ какое-нибудь событіе или какая-либо личность. Поэтому, и новый христіанскій эпосъ сталъ подчиняться законамъ, управляющимъ развитіемъ всякаго народнаго эпоса. Подобно народному эпосу любого народа, и христіанская древняя легенда имѣла своихъ героев—Христа, Его апостоловъ и учениковъ, мучениковъ, проповѣдниковъ и исповѣдниковъ христіанства; и чѣмъ больше подобная личность производила впечатлѣнія на умы массы, тѣмъ полнѣе, тѣмъ подробнѣе и тѣмъ старательнѣе занималась ею легенда, черпая матеріалъ для своего развитія и изъ дѣйствительныхъ фактовъ, изъ преданій и писаній, приспособляя къ этой личности также факты и данныя другого рода, о другихъ лицахъ. Такимъ путемъ около главныхъ дѣйствующихъ лицъ христіанства нарождались цѣлые циклы сказаній, удовлетворявшіе пытливой и благочестивой фантазіи христіанъ, не могшихъ ограничиться только тѣмъ, что передавало имъ св. писаніе и авторитетные проповѣдники вѣры, стремившіеся прежде всего (что и вполне понятно) внушить основныя истины, догматы новой религіи. Такимъ образомъ уже отъ первыхъ вѣковъ нашей эры мы знаемъ цѣлые циклы сказаній о Христѣ, служившіе дополненіемъ къ евангеліямъ, позднѣе признаннымъ кано-

ническими, сказаній объ апостолахъ и апостольскихъ мужахъ. Изъ этихъ-то сказаній и легендъ и создались тѣ памятники, которые мы знаемъ подъ именемъ апокрифическихъ евангелій, апокрифическихъ дѣяній, хожденій и т. д.

Число подобныхъ памятниковъ, извѣстныхъ намъ изъ различныхъ указаній древне-христіанской литературы, велико, но дошедшихъ до насъ, и то по большей части уже въ сравнительно позднихъ обработкахъ, довольно ограничено; напримѣръ изъ 30 слишкомъ извѣстныхъ намъ по указаніямъ древне-христіанскихъ писателей неканоническихъ евангелій мы владѣемъ только восемью, при томъ на разныхъ языкахъ; это такъ называемыя: Ев. Псевдо-Матвея, ев. Іакова (иначе первоевангеліе), исторія Іосифа, обручника Маріи, исторія Рождества Богородицы, ев. Оомы, ев. дѣтства Христова, ев. Петра, (недавно открытое), ев. Никодима. Причина подобной судьбы старыхъ христіанскихъ легендъ, а въ частности апокрифическихъ памятниковъ, въ ихъ исторіи: помимо общихъ условій паденія, исчезновенія старыхъ эпосовъ или ихъ частей, въ исторіи христіанской легенды, мы можемъ отмѣтить и нѣкоторыя особенныя условія: христіанская легенда, часто весьма близкая къ истинѣ, принимаемая сперва руководителями христіанства довольно благосклонно, какъ хорошее подготовительное средство къ усвоенію истинъ новой вѣры прозелитами, стала встрѣчать, что дальше, то чаще и больше, противодѣйствіе своему развитію потому, что она стала тенденціозна: не ограничиваясь безобиднымъ и безвреднымъ сравнительно желаніемъ пополнить пробѣлы въ исторіи того или другого дѣятеля христіанства, связать начало христіанства въ той или другой общинѣ съ дѣятельностью и именемъ знаменитаго проповѣдника, легенда стала тенденціозно примѣняться для оправданія той или другой стороны вѣроученія, того или другого взгляда на существенные вопросы новой вѣры; а взгляды эти далеко не всегда соответствовали истинамъ вѣры, какъ ихъ понимали руководители церкви или церквей; иначе—легенда, а вмѣстѣ съ нею апокрифъ, стали служить цѣлямъ сектъ и затѣмъ прямо ересей. Это-то и вызвало стремленіе ограничить распространеніе писаній и сказаній легендарнаго характера, вызвало установленіе канона св. писанія, какъ главнаго и чистаго источника вѣроученія, создало такъ называемые индексы, списки книгъ истинныхъ, т. е. богодухновенныхъ, дозволенныхъ, а потому не вредныхъ, а даже частію

и полезныхъ для неофитовъ, и списки книгъ вредныхъ, богоотметныхъ, для христіанина негодныхъ; затѣмъ строгость индекса увеличивается, результатомъ чего является дѣленіе всѣхъ христіанскихъ книгъ на истинныя, т. е. богодухновенное писаніе, и ложныя, куда попадаетъ вся легенда и ея письменные памятники-апокрифы. Такъ дѣло было съ официальной стороны. На самомъ же дѣлѣ, на практикѣ, было иначе: отвергнутыя официально представителями церкви и ихъ соборными постановленіями, легенды, въ устномъ видѣ и записанныя, продолжали жить, защищаемыя симпатіями массы, не желавшей и не могшей разстаться такъ легко со своимъ эпосомъ, удовлетворявшимъ ея любознательности и религіозному чувству. Легенды живутъ, очищаются по мѣрѣ углубленія въ пониманіи ученія, поддерживаемыя признаваемымъ и церковью св. преданіемъ, обогащаются изъ легендъ еретическихъ или ставшихъ еретическими. Наконецъ и сами руководители церкви, полемизируя противъ легендъ, какъ содержащихъ неправильное ученіе, какъ противъ одного изъ орудій еретической пропаганды въ массахъ, не брезговали ими, но только смотрѣли на нихъ, какъ на художественныя и популярныя средства въ своихъ трудахъ, назначаемыхъ для просвѣщенія тѣхъ-же массъ. Такимъ образомъ легенда, легендарное писаніе остались въ извѣстной своей долѣ въ христіанской литературѣ, войдя частью въ писанія учителей церкви, частью же въ видѣ излюбленнаго чтенія среднихъ и низшихъ классовъ христіанскаго общества. Въ этомъ видѣ легенда сослужила крупную службу христіанству въ эпоху первоначальнаго его распространенія среди язычниковъ античнаго міра, а также и во вторую его эпоху, когда оно начало захватывать и подчинять себѣ новыя варварскіе народы среднихъ вѣковъ: народы эти, позднѣе вступившіе въ семью христіанъ, такъ-же и первоначальные христіане, при низкой степени культуры, уступавшей, повидимому, даже „простой чади“ начальныхъ лѣтъ христіанства также нуждались въ болѣе легкихъ средствахъ для усвоенія новаго ученія, къ тому же ставшаго къ этому времени, болѣе сложнымъ и строгимъ по системѣ, нежели то было въ первые вѣка. Здѣсь, вмѣстѣ съ строгимъ ученіемъ, идетъ къ дикимъ варварамъ уже очищенная болѣе или менѣе легенда, не только помогаетъ замѣнить свой языческій эпосъ болѣе соответствующимъ новому ученію, но оказываетъ и прямо воспитательное вліяніе на массы, давая, на примѣръ

въ лицѣ Іоакима и Анны, Іосифа и Маріи, какъ ихъ рисуютъ апокрифическія евангелія, образцы гражданскихъ и семейныхъ добродѣтелей, давая рядъ темъ для литературныхъ и художественныхъ произведеній ранней западной литературы, наковы поэмы Гросветы и Бивенульфа. Благодаря легендѣ, и эпосъ новообращенныхъ народовъ становится христіанскимъ, что совершается тѣмъ быстрѣе, что легенда и апокрифъ, не смотря на многолѣтнюю переработку, закрѣпленіе письменностью и церковную цензуру, все еще сохранили въ себѣ много чистонароднаго, характернаго для народнаго эпоса; поэтому они и здѣсь скорѣе, нежели строгое каноническое ученіе, его догматы и писанія и вся отвлеченная христіанская литература входили въ сознаніе малоразвитыхъ людей, легче приспособляясь къ ихъ мировоззрѣнію. Такимъ образомъ, памятникъ письменный, возникшій устнымъ путемъ въ первобытномъ христіанствѣ, началъ новую жизнь, ставши источникомъ новаго христіанскаго, народнаго, устнаго и письменнаго творчества народовъ Запада.

То, что было въ исторіи этихъ памятниковъ на Западѣ, повторилось съ нѣкоторыми видоизмѣненіями и у насъ. Принимая въ IX и X вв. христіанство, народы славянскіе приняли не только каноническое писаніе и церковную богословскую литературу, но усвоили также и легенду, главнымъ образомъ письменную, а частью и устную, доходившую прямо и косвенно отъ ихъ сосѣдей-просвѣтителей; не смотря на многочисленные списки книгъ истинныхъ и ложныхъ, переданные намъ Византіей, у насъ въ первоначальный же періодъ христіанства является богатый запасъ апокрифовъ и связанныхъ съ ними легендарныхъ сказаній: Болгарія, охваченная ересью Богомиловъ, уже въ X—XI в. обладаетъ богатой апокрифической литературой, которая весьма рано, уже въ XII в., въ значительной мѣрѣ встрѣчается и у насъ. Весьма рано и у насъ начинаетъ сознаться вся прелесть легенды и апокрифа: легендами апокрифическаго характера отмѣченъ, по начальной лѣтописи, первый шагъ христіанства у насъ, именно въ рѣчи философа, просвѣщавшаго князя Владиміра; также лѣтопись сохраняетъ намъ легенду объ Андрей апостолѣ, какъ первомъ лучѣ будущаго христіанства на Руси. Въ концѣ концовъ значительная часть древнехристіанскаго апокрифа, насколько онъ уцѣлѣлъ ко времени нашего обращенія въ христіанство, оказалась въ различныхъ видахъ и въ нашей славянской и русской

литературѣ. И здѣсь легенда и апокрифъ не прошли безслѣдно для народной жизни, окрасивши или претворивши нашъ старый эпосъ въ христіанскій, или даже давая пищу народному творчеству: благодаря имъ, явились у насъ подражанія, духовный стихъ; они же служили народу любопытнымъ чтеніемъ, популярнымъ истолкованіемъ церковной исторіи, обычая, священнаго изображенія. Эта роль апокрифа не прекратилась и до сихъ поръ, о чемъ свидѣтельствуютъ ходящіе до сихъ поръ въ народѣ тетрадки, содержащія рядомъ съ гаданіями и заговорами, апокрифическія сказанія о снѣ Богородицы, о крестномъ сынѣ и т. д. Къ числу подобныхъ памятниковъ относятся и апокрифическія евангелія. Первое, что создало имъ популярность въ древнее время, какъ у древнихъ христіанъ, такъ и у насъ, это то, что они являются дополненіемъ къ каноническимъ евангеліямъ, рассказываютъ то, что или вовсе не отмѣчено, или отмѣчено черезчуръ кратко для любознательнаго христіанина въ каноническихъ евангеліяхъ, съ которыми онъ знакомится въ церкви. Церковная исторія по евангеліямъ знаетъ, а потому можетъ сообщить, весьма немногое о жизни Богоматери; главное ея вниманіе обращено на Христа, тогда какъ свѣдѣнія о Богоматери ограничиваются немногими общими фразами, родителей же ея извѣстны только имена. Съ другой стороны все это личности и сами по себѣ весьма интересныя для вѣрующаго, какъ связанныя съ личностью Христа, и исторія ихъ есть нѣкоторымъ образомъ исторія того же Христа. Это вызвало появленіе цѣлаго ряда евангелій о Маріи въ древнехристіанское время (Псевдо-Маттея. Исторія рождества Богоматери, ев. Іакова), это же создало популярность и одному изъ этихъ евангелій и у насъ: Первоевангеліе (ев. Іакова) помѣщалось у насъ въ числѣ чтеній на рождество Богородицы, Благовѣщеніе, Срѣтеніе, Рождество Христово рядомъ съ поученіями знаменитыхъ проповѣдниковъ и учителей: мы его встрѣчаемъ вмѣстѣ съ словами Златоуста, Епифанія, Василия В напримѣръ въ сборникахъ поученій, называемыхъ „Златоустами“. Въ этомъ евангеліи Іакова находимъ трогательную картину супружеской жизни Іоакима и Анны, поэтичный лирический плачъ Анны о безчадіи въ саду при видѣ гнѣзда, плачъ, давшій источникъ цѣлому ряду подобныхъ. Затѣмъ здѣсь же рассказывается о необыкновенномъ младенствѣ Маріи, о ея воспитаніи, пребываніи въ храмѣ, о служеніи ей ангеловъ. Все это

служить ей подготовленіемъ къ будущей ея роли Богоматери. Затѣмъ передается подробно, очень живо Благовѣщеніе, картина избранія Іосифа, рядъ эпизодовъ до рождества Христова (испытаніе невинности Іосифа водой обличенія), наконецъ рождество Христово съ подробностями, отсутствующими въ каноническихъ евангеліяхъ: вся природа замираетъ въ торжественный моментъ появленія въ міръ Спасителя; тутъ же совершается и первое чудо божественнаго Младенца — исцѣленіе маловѣрной бабки Соломіи. Дальше рассказывать евангелію апокрифическому уже нечего: каноническое сообщаетъ уже слѣдующіе факты — бѣгство во Египетъ, избіеніе младенцевъ. Такимъ образомъ любопытству оно удовлетворило: начальная исторія Христа становится извѣстной. Подробности этого рассказа находятъ себѣ приложеніе: чудесные эпизоды пребыванія Богородицы въ храмѣ, бабка Соломонида, удостоившаяся присутствовать при рожденіи Христа, перешли въ народную поэзію, создавши духовные стихи о введеніи во храмъ, создавши обрядовую пѣсню, причитаніе у повивальныхъ бабокъ нашего сѣвера. Вся же жизнь Богородицы перешла въ иконную и стѣнную живопись церквей: это иконы рождества Богородицы, „съ дѣяніемъ“; эти же эпизоды находимъ по краямъ иконъ Благовѣщенія, Рождества Христова. Такимъ образомъ апокрифическое евангеліе и иконы взаимно объясняютъ другъ друга, удовлетворяя любознательности благочестиваго люда.

Рассказавши о бѣгствѣ во Египетъ, каноническія евангелія опять замолкаютъ на время и опять начинаютъ повѣствовать о Спасителѣ рассказомъ о преніи Отрока во храмѣ. Опять пробѣлъ въ жизни Христа въ 12 лѣтъ... Здѣсь опять фантазія народа находитъ себѣ исходъ и удовлетвореніе своему любопытству въ „евангеліяхъ дѣтства“, изъ которыхъ одно — ев. Θомы — переходитъ черезъ юго-славянство и къ намъ. Рассказываетъ это евангеліе дѣянія Христа отъ 5 до 12 лѣтъ. Созданное на Востокѣ, оно носитъ на себѣ всѣ характерныя черты этого края: повидимому, сказаній болѣе или менѣе реального характера, болѣе или менѣе сходныхъ съ дѣйствительностью о дѣтскихъ годахъ жизни Христа, не было въ эпоху созданія этого евангелія; поэтому пылкая фантазія Востока здѣсь получила полный просторъ и для созданія евангелія Θомы (равно какъ и другихъ „евангелій дѣтства“) воспользовалась тенденціозной идеей преимущества христіанства надъ іудей-

ствомъ, идеей противоположности того и другого ученія. Одѣтая въ форму чудеснаго эпизода, идея эта и дала въ результатѣ разсказъ, или, лучше, рядъ разсказовъ, о младенцѣ Христѣ, пользующемся чудесами, чтобы не только доказать свое посланничество, но и покарать невѣрующихъ іудеевъ со всей ихъ суетной мудростью. Это и составило содержаніе ев. Өомы. По разсказамъ этого евангелія, Христосъ жестоко караетъ іудея, осмѣливагося разорить игрушечную плотину на дождевой лужѣ, гнѣвить, вопреки предписанію о субботахъ, изъ гнѣви птицъ, заставляетъ ихъ летать, словомъ убиваетъ ребенка, вскочившаго шута Ему на плечи, поирамляетъ учителя, взявшагося Его учить грамотѣ и т. д. Вообще, необузданная фантазія и недостатокъ матеріала, быть можетъ, создали этотъ образъ Христа мальчика такимъ необычнымъ, такъ мало сходнымъ съ обычнымъ представленіемъ о Христѣ, какимъ Онъ рисуется въ богословской церковной письменности и легендѣ. Этотъ необычный характеръ Христа и былъ, вѣроятно, причиною того, что ев. Өомы, хотя и удовлетворяло любознательности фантазіи, по своему содержанію заполня пробѣлъ (оно кончается своеобразнымъ изложеніемъ пренія отрока Іисуса въ храмѣ) въ евангеліяхъ каноническихъ, — не получило, однако, распространенія ни у насъ, ни среди остальныхъ христіанъ: списки этого евангелія и на славянскомъ, и на другихъ языкахъ, рѣдки, а слѣдовъ его въ области искусства почти нѣтъ...

Далѣе въ каноническихъ евангеліяхъ опять перерывъ до вступленія Христа на проповѣдь; единственный эпизодъ, кромѣ крещенія, разсказываемый въ нихъ, — искушеніе Его отъ дьявола. И этотъ промежутокъ заполненъ отчасти легендами и апокрифами: извѣстны апокрифы о томъ, какъ Христосъ былъ „въ попп“ ставленъ, извѣстно преніе Его съ дьяволомъ, отличное отъ разсказа евангельскаго. Дальнѣйшая жизнь Христа довольно полно разсказывается каноническимъ писаніемъ. Но самая важная ея часть — крестныя страданія, смерть, воскресеніе и вознесеніе — опять является въ глазахъ вѣрующихъ не достаточно полной, не достаточно законченной: нѣтъ подробной исторіи многихъ эпизодовъ, напримѣръ сошествія Христа въ адъ, не извѣстна судьба цѣлаго ряда лицъ, принимавшихъ участіе въ послѣднихъ событіяхъ, каковы, напримѣръ, Іосифъ Аримаѣйскій, Никодимъ, Пилать и др. Поэтому въ народномъ сознаніи чувствовалась необходимость въ добавле-

ніяхъ. Такимъ образомъ возникло обширное, поэтическое во своей второй части Никодимово евангеліе съ цѣлой вереницей добавочныхъ эпизодовъ, достойнымъ образомъ завершающихъ эту великую евангельскую эпопею. Самая интересная часть Никодимова ев., это—сошествіе Христа въ адъ. Разсказавши съ подробностями самый судъ надъ Христомъ, евангеліе сообщаетъ примѣнительно къ каноническимъ евангеліямъ судьбу Іосіа Аримаѣйскаго, благочестиваго, правдиваго старѣйшины, защитника Христа: за свое расположеніе къ Нему, за погребеніе оныя заключенъ враждебными іудеями въ темницу, но исчезаетъ изъ нея къ великому страху старѣйшинъ: воскресшій Христосъ выводитъ его изъ темницы, поднявши съ земли зданіе ея. Паника увеличивается съ приходомъ воиновъ, разсказавшихъ о воскресеніи Христа; достигаетъ она высшей степени, когда приходятъ свидѣтели вознесенія Спасителя. Но упорство евреевъ не сломлено: они разсылаютъ по горамъ, по пустынямъ слугъ, надѣясь отыскать Христа, по ихъ мнѣнію скрывающагося гдѣ-нибудь. Въмѣсто Христа посланные люди находятъ Карина и Левкія, сыновей Симеона Богопріимца, которые воскресли, очевидно, въ числѣ тѣхъ, про которыхъ каноническое евангеліе сообщаетъ, что послѣ смерти Спасителя „тѣлеса многихъ святыхъ возсташа и явишася многимъ въ Іерусалимѣ“. Дѣйствительно, какъ оказывается, Каринъ и Левкій, давно умершіе, явились изъ ада. И вотъ чтó они разсказали о сошествіи Христа въ адъ (о чемъ, кстати замѣтить, только намекъ въ канонич. евангеліи). Сидѣли умершіе въ адѣ, „въ сѣни смертѣй“ и „во мракѣ темнемъ“, угнетаемые надменнымъ сатаной и адомъ (здѣсь уже олицетвореннымъ), закованные въ цѣпи. Но вдругъ эту тьму прорѣзываетъ лучъ свѣта: это явился Іоаннъ Креститель, и здѣсь предтеча Христа, чтобы благовѣствовать о близкомъ избавленіи святыхъ отъ власти дьявола. Въ подземномъ царствѣ начинается волненіе: пророки одинъ за другимъ встаютъ и, начиная съ Симы, громогласно заявляютъ, что и они предвидѣли давно появленіе Христа освободителя. Сатана и адъ уже безсильны, усмирить своихъ недавнихъ рабовъ не могутъ, начинаютъ осматривать другъ друга укоризнами въ неумѣніи справиться съ опаснымъ врагомъ ихъ царства. Пока происходитъ это смятеніе и раздоръ въ подземномъ царствѣ, у вратъ ада внезапно раздаются трубные звуки и гласъ: „возьмите, врата, князи ваша, возьмитесь врата вѣчная, се бо вни-

детъ Царь славы". Окруженный небесными силами, является во всей славы Христосъ; Его съ ликоваіемъ встрѣчаютъ святые, томившіеся въ мракѣ, и сѣни смертной. Онъ подаетъ руку, поднимаетъ и выводитъ изъ ада прародителя Адама, передаетъ его Михаилу, и за ними двигаются съ пѣніемъ и радостными кликами всѣ святые; всѣ они направляются въ небесное царство... Этой величественной картиной собственно и кончается евангеліе. Остальныя подробности имѣютъ цѣлью закруглить исторію лицъ, игравшихъ ту или другую роль въ разсказѣ: Пилать доноситъ о случившемся въ Римъ, вызванъ на судъ Кесаремъ, осужденъ на казнь, передъ смертью обращается ко Христу; его отсѣченную главу ангелъ уноситъ къ благочестивой Проклѣ, его женѣ, заступившейся за Христа во время суда („ничтоже тебѣ и праведнику тому, много бо и страдахъ днесъ во сѣи Его ради"), которая и умираетъ мирно. Но и іудеи не должны были быть оставлены безъ возмездія за свое злодѣяніе: посланныя войска избиваютъ ихъ, а главные виновники смерти Христа подвергнуты лютой казни: Анна, зашитый въ воловью шкуру и повѣшенный на солнцѣ, умираетъ въ страшныхъ мученіяхъ, а Каиафа, скрывшійся было, убить, по промыслу Божію, самимъ Кесаремъ во время охоты. Такимъ образомъ ни одно мало-мальски замѣтное лицо изъ упоминаемыхъ въ каноническихъ евангеліяхъ не осталось безъ своей исторіи. Евангеліе Никодима, подобно первоевангелію, какъ въ древнехристіанской литературѣ, такъ и у насъ, пользовалось почетомъ и уваженіемъ, помѣщаясь въ сборникахъ поученій. Еще въ древнехристіанской и западной средневѣковой литературахъ породило это евангеліе цѣлый рядъ памятниковъ, непосредственно или черезъ посредство пользовавшихся его высоко-поэтическими, величественными образами. У насъ оно, помимо интереснаго благочестиваго чтенія и вообще воспитательнаго значенія, дало пищу и народному творчеству, породивши цѣлый рядъ духовныхъ стиховъ на тему о воскресеніи и сошествіи во адъ. Такъ же, какъ и первоевангеліе, Никодимово ев. сослужило службу и въ области искусства, создавши популярность и давши объясненіе иконамъ воскресенія Христова въ одной изъ его композицій, гдѣ Христосъ съ побѣдной хоругвіею стоитъ на вратахъ адвыхъ, выводитъ изъ ада ветхаго денми Адама, за которымъ слѣдуютъ остальные святые. Эта композиція до сихъ поръ украшаетъ стѣны нашихъ церквей снаружи (какъ, на примѣръ, въ храмѣ Спасителя въ Москвѣ) и внутри.

Такимъ образомъ апокрифическія евангелія христіанской старины до сихъ поръ остаются важнымъ источникомъ для желающаго поближе познакомиться съ духовнымъ просвѣщеніемъ нашего народа, до сихъ поръ еще нуждающагося въ популярныхъ вспомогательныхъ средствахъ для своего религіознаго развитія. Кромѣ всего этого, тексты евангелій апокрифическихъ, и именно славянскихъ, представляютъ не мало интереса и для ученаго спеціалиста. Какъ памятники древніе, много испытавшіе на своемъ вѣку, апокрифическія евангелія претерпѣли много измѣненій, много утратъ, какъ мы уже видѣли: они дошли до насъ въ текстахъ, сравнительно позднихъ, отдѣленныхъ многими вѣками отъ своихъ оригиналовъ; масса иноземныхъ текстовъ, еще существовавшихъ въ то время, когда возникали славянскіе переводы, теперь намъ недоступна: они или погибли, или до нихъ еще не добрались пытливые взоры ученыхъ. Здѣсь-то иногда славянскій или русскій текстъ можетъ оказать услугу наукѣ: сравнительно поздній текстъ, который мы имѣемъ передъ собой, воспроизводитъ въ переводѣ такой иноземный текстъ, какого мы до сихъ поръ не доискались; такимъ образомъ этотъ текстъ, разъ онъ будетъ критически изученъ, замѣнитъ собой исчезнувшій или ненайденный оригиналъ. Съ подобнымъ фактомъ мы имѣемъ дѣло, напр., въ евангеліи *Θομῆ*, которое у насъ переведено съ такого греческаго, который по составу своему передаетъ содержаніе памятника полнѣе и лучше, нежели извѣстные намъ рѣдкіе греческіе тексты, т. е. имѣетъ не меньшее значеніе въ самой древнехристіанской литературѣ, нежели въ нашей.

М. Сперанскій.

Двѣ Милостыни.

Драматическій этюдъ въ 1-мъ дѣйствіи, въ стихахъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Павель Сергѣевичъ, 35 лѣтъ, холеный, самодовольный господинъ.

Маруся, 24 лѣтъ, его жена, изящная, нервная женщина.

Наташа, 28 лѣтъ, женщина въ лохмотьяхъ.

Лиза, 20 лѣтъ, горничная, одѣтая по модѣ.

Константинъ, лакей.

Филиппъ, швейцаръ.

Дѣйствіе происходитъ въ Петербургѣ, въ наши дни.

Сцена 1-я. *Лиза одна.*

Будуаръ Маруси, роскошно меблированный. **Лиза** зажигаетъ лампу.

Лиза.

Однако, наша-то сегодня припоздала!

Сегодня пятница... Какъ разъ пріемный день

У насъ отъ двухъ часовъ! (*смотритъ на часы*). Вишь, ^{пятого начало,}

А барыни все нѣтъ!.. (*таинственно*) Тотъ приходилъ, —
тюлень! (*хохочетъ*)

Пузатый генералъ, — такой страшный, строгій!.. (*передразниваетъ генерала, поднимая плечи*).

— „Нѣтъ барыни?! — Какъ нѣтъ?! Да вѣдь четвертый часъ!“...
(*хохочетъ*)

И этотъ забѣгалъ, — поджарый, тонконогій,
Что любить фриштыкать у насъ...

Самъ въ куцѣмъ пиджакѣ, ни на-што не похоже, (*показываетъ на темя*)

Тутъ вовсе ничего,—какой-то хохолокъ!—

А самъ, небось, туда-жъ! По дамской части тоже!

Сичасъ—это:—„Бонжуръ, я къ вамъ на фифъ—окложъ!“...
(*хохочетъ*).

Да спутать барыню смертельная охота

У всѣхъ у нихъ, у всѣхъ!.. Лишь пальцемъ помани—

И-и-ихъ! Какъ забѣгали-бъ они!

Да все-вотъ подусту, не выгораетъ что-то!..

Чудная барыня: на балъ—и то съ трудомъ,

Бывало, выйдутъ! Все книжки бы читали,

Все только Поль, да Поль!.. При ихнемъ капиталѣ,

Да чтобъ эдакъ жить?!.. Подворье, а не домъ!..

Да и въ подворьѣ—вотъ знакомый мой келейникъ,—

На что монахъ,—а ужъ такой затѣйникъ!

—„Я“, говорить, „служить вамъ всей душою радъ!

Мнѣ не дозволено... вотъ это...

Мнѣ далъ одинъ актеръ, двоюродный мой братъ“...

Въ подрасникъ руку хватъ!—И вынулъ два билета

На завтра въ маскарадъ!..

Ахъ! Прелесть—маскарадъ приказчицкаго клуба!

Любимый идѣлъ, восторгъ мой—танцовать!..

Я буду купчика опять интриговать...

Какіе рысаки! (*показываетъ на руки*) колець тутъ! Что
за шуба!.. (*задумывается*)

А что, какъ влюбится?!..—Бываетъ иногда!..

„Я тутъ прощуся...—„какъ?! Уходите вы, Лиза?

„Разсчетъ вамъ надобно?!..“—„Не нужно-съ!“.. (*хохочетъ*)
Господа,

Небось, съ ума сойдутъ отъ этого сюрприза! (*спохватывается*)

Однако, что-же я?!.. (*зажигаетъ лампу*) Никакъ идутъ
сюда!..

Сцена 2-я. *Лиза, потомъ Маруся, Наташа, Константинъ и Филиппъ.*

(Константинъ съ Филиппомъ вносятъ Наташу въ обморокъ, съ повязкой на голову; Маруся входитъ за ними, въ модной шубкѣ и шляпкѣ, сильно встревоженная).

Маруся.

Сюда, сюда, Филиппъ!.. Тихонько, ради Бога! (*укладываютъ Наташу на кушетку*)
Дай Богъ ее спасти!..

Константинъ (*несочувственно*).

Такихъ, вѣдь, нынче много!
Шатаются вездѣ! Не бойтесь: отойдетъ!
Небось, подъ лошадьми валяться ей привычно!

Филиппъ.

Ужъ это именно: иная такъ и претъ!

Маруся (*къ Константину*)

Скорѣй за докторомъ!.. А если Цукербротъ
Уѣхалъ изъ дому?.. (*задумывается*)

Лиза (*въ сторону*)

Довольно неприлично!
Для этой нищенки!..

Константинъ (*иронически*)

Такъ-съ!.. Значить, если вѣтъ...

Маруся.

Тогда... Кого-нибудь: Лопушникова, Шмита!

Вѣдь не сошелся клиномъ свѣтъ! (*Константинъ не уходитъ*)

Ну!..

Константинъ (*нехотя*)

Слушаюсь! (*въ сторону, уходя*) Вишь, нынче
какъ сердита!

Филиппъ (*осторожно, но съ важностью*).

Какъ, если гости?

Маруся (*посль минутной разсѣянности*)

Гнать!.. Ступайте!..

Филиппъ (*въ сторону, иронически кланяясь*)

Тоже домъ! (*Константинъ и Филиппъ уходятъ*).

Сцена 3-я. *Маруся, Лиза и Наташа.*

Маруся (*Лизѣ, отдавая ей шубку и перчатки*)

Теперь, голубушка, скорѣй воды со льдомъ!

Лиза (*хочетъ уходить*)

Сейчасъ!

Маруся.

И два платка, и нюхательной соли... (*показываетъ рукой*).

Тамъ, въ спальнѣ, на бюро... (*Лиза уходитъ*).

Сцена 4-я. *Маруся и Наташа.*

Маруся (*становится на колѣни передъ Наташей, разстегиваетъ ей воротъ и, осторожно развязавъ платокъ на головѣ, осматриваетъ ея рану*).

Ай, рана какъ страшна! (*трогаетъ ея сердце*)

И сердце замерло!.. (*заглядываетъ въ лицо*) О Боже, какъ блѣдна!..

Должно быть, обморокъ отъ ужаса и боли...

Но не проходить все!.. Ужъ нѣтъ-ли тамъ, въ мозгу,
Какихъ-нибудь опасныхъ осложнений?!

Лиза (*вноситъ воду со льдомъ,
платки и хрустальный
пузырекъ съ нюхательной
солью*).

Сцена 5-я. *Маруся, Наташа и
Лиза.*

Лиза (*входя*)

Извольте, барыня!.. (*Маруся дѣлаетъ примочки и при-
кладываетъ Наташѣ*) Зачѣмъ-же-съ? Я могу!..

Маруся (*не глядя на нее*)

Не нужно, я сама!.. Чтѣ дѣлаетъ Евгеній?

Лиза.

Тамъ, въ дѣтской, сладко спать...

Маруся.

И съ виду... Ничего?

Лиза.

Ну, прямо ангельчикъ-съ!..

Маруся.

Въ шестомъ часу его

Ты съ нянею разбудишь...

Пойду его купать... (*указываетъ на Наташу*). А ты
вотъ съ ней побудешь!..

Ахъ, докторъ бы скорѣй!.. (*мнѣняетъ примочку*).

Лиза (*глядя на рану Наташи*)

Какія ужаси! Чтѣ это вышло съ ней?!

Маруся.

Ахъ! И не говори! Подъ лошадей попала...

Лиза.

Ой, Господи-ты-мой! Въ крови вся голова!

Маруся.

Я до сихъ поръ сама отъ страху чуть жива!..

Лиза (*всматриваясь въ Наташу*)

Изъ бѣдныхъ, надо быть!.. И платье изорвала!..

Маруся.

Спасти бы жизнь!..

Лиза.

Да!.. Вотъ:

Маленько прозѣвай—и на всю жизнь калѣка!.. (*задумывается*)

А только... барыня, ей не поможетъ ледъ!

Не взять-ли арники?!.. Близехонько аптека!..

Маруся.

Да, да, скорѣй бѣги!.. (*Лиза быстро уходитъ*)

Сцена 6-я. Маруся и Наташа.

Маруся (*становится на колѣни передъ Наташей, давая нюхать соль*).

И все не легче ей!

О Боже! Какъ помочь?! (*Наташа открываетъ глаза*) А!..

Наташа (*слабымъ голосомъ, удивленно озираясь*)

Гдѣ я?

Маруся (*нѣжно*)

У друзей!..

Наташа (*машинально*)

Что?.. У какихъ друзей?.. (*берется за грудь*) Какъ больно грудь заныла!.. (*откидывается назадъ*)

Но гдѣ-же я теперь?.. И что со мною было?..

Маруся.

Васъ лошади свалили, смяли...

Наташа.

Да!..
Припомнила!.. (смотритъ на Марусю въ упоръ) Затѣмъ...
Затѣмъ-же вы тогда
Побезпокоились?.. Я нищая, бродяга!.. (отстраняетъ руку
Маруси и снимаетъ примочку)

Маруся (опять накладываетъ примочку)

Ахъ, не снимайте, нѣтъ!.. Для вашего-же блага!..
Сейчасъ прійдетъ врачъ...

Наташа.

Къ чему вамъ хлопотать?
Свалили рысаки—скорѣй-бы ускакать—
И кончилось-бы тѣмъ пустое приключенье!..
Вѣдь такъ всѣ дѣлаютъ!.. Когда-бъ и знала я,
Бто тамъ помялъ меня,—то денегъ на лѣченье
Не стала-бъ требовать!.. (Опять снимаетъ примочку).

Маруся (опять накладывая Наташѣ примочку).

Голубушка моя,
Затѣмъ упорствовать?! Вѣдь я не виновата!
Какой-то негодяй, купеческій сыночекъ,
На парѣ налетѣлъ, мгновенно сбиль васъ съ ногъ—
И съ хохотомъ исчезъ... Полиція куда-то
Хотѣла васъ забрать...

Наташа.

Не все-ль равно, гдѣ умирать?! (Всматриваясь недоверчиво въ Марусю).
Но если лошади не ваши, для чего-же
Вы возитесь со мной?.. Затѣмъ?..

Маруся.

Большой Боже!
Затѣмъ, что сердце кровью облилось!
Едва увидѣла,—и стало вдругъ невольно
Мнѣ какъ-то совѣстно... Такъ совѣстно и больно!..

Наташа (*растроганно*).

За много, много лѣтъ впервые довелось
Мнѣ встрѣтить доброту!..

Маруся (*неръшительно*)

Теперь вопросъ нескромный
Позвольте мнѣ задать...

Наташа (*не слушая ее*).

Отъ звука словъ такихъ
Отвыкла сердцемъ я!..

Маруся.

У васъ тутъ нѣтъ родныхъ?

Наташа (*съ горечью*).

У жалкой нищенки, презрѣнной и бездомной?!

Маруся.

Ахъ, бѣдная! (*Протягиваетъ ей руку. Наташа сперва не понимаетъ этого жеста и начинаетъ искать глазами вокругъ себя, а потомъ схватываетъ руку Маруси и хочетъ поцѣловать. Маруся быстро отдергиваетъ ее въ смущеніи*).

Зачѣмъ?! Да что вы?! (*Отодвигается смѣясь*). Отъ грѣха
Подальше сѣсть!.. У васъ нѣтъ мужа?!

Наташа.

Ха-ха-ха!..

Да развѣ на такихъ, какъ я, жениться можно?!..

Маруся (*неръшительно*)

Но... вы простите мнѣ... Мнѣ кажется, наврядъ
Вы изъ простыхъ?.. Вѣдь такъ?.. И мимолетный взглядъ
Открылъ мнѣ... Какъ сказать?.. Открылъ, что очень сложно
Несчастье тяжкое, измучившее васъ!..
Скажите... Въ чемъ оно?!

Наташа (*съ отчаяньемъ*)

Да въ томъ, что каждый часъ
Я умереть хочу! Что правды свѣтъ погасъ
И даже небесамъ невѣдома пощада!.. (*Рыдаетъ. Маруся обнимаетъ ее*).

Маруся.

Не надо, милая, не надо!

Голубушка моя!

Попробуйте заснуть! Вамъ вредно волноваться!

Ахъ, доктора никакъ я не могу дожидаться!..

Наташа.

Заснуть!.. Легко сказать!..

Маруся (*хватаясь за голову*)

Да что-же это я?!

Забыла! Подъ рукой испытанное средство! (*бросается къ комоду и достаетъ пузырекъ*).

Сама бессонницей страдаю съ малолѣтства! (*наливаетъ воды въ рюмку и капаетъ*).

Вотъ капли... пять, шесть... семь.. (*подаетъ рюмку*). Вотъ, милая моя!

Примите: хорошо подѣйствуетъ на нервы!

Пріемовъ нужно два: сейчасъ, положимъ, первый... (*смотритъ на часы*).

А не подѣйствуетъ чрезъ полчаса, — опять! (*Укладываетъ Наташу поудобнѣе*).

Такъ, ладно. А теперь .. давайте-ка молчать!

(*Садится поодаль съ книгой. Наташа дремлетъ, изрѣдка тяжело вздыхая. Входитъ Павелъ Сергѣевичъ. Маруся подбѣгаетъ къ нему на цыпочкахъ*).

Сцена 7-я *Маруся, Наташа и Павелъ Сергѣевичъ.*

Пав. Серг. (*остановившись на срединѣ сцены, внѣ области зрѣнія Наташи*).

Маруся, милый другъ!.. Ну, какъ тебѣ не стыдно?!

У эксцентричности, вѣдь, надобенъ предѣлъ, —

А ты съ ума сошла!..

Маруся.

Не понимаю!..

Пав. Серг.

Видно!

Швейцарь,—на что мужикъ,—буквально обалдѣлъ!

Маруся.

Голубчикъ, нынче ты настроенъ какъ-то вѣдорно!
Да что-жь я сдѣлала?

Пав. Серг. (*возвышая голосъ*).

Какъ что?!. Прошу покорно!

Взять въ санки нищую! По Невскому, Морской
Въ объѣздахъ эту дрянь везти!—и въ часъ какой?!
Когда весь Петербургъ васъ долженъ былъ увидѣть!
Чтобъ послѣ былъ твой мужъ осмѣянъ, какъ дуракъ!

Маруся.

Ахъ, тише!.. Спитъ она!

Пав. Серг.

Больницу для бродягъ

Устроить хочешь тутъ, иль даровой кабакъ?!

Сейчасъ-же вонъ ее! Ты слышишь?! (*Хочетъ идти къ
Наташѣ; Маруся энергично противится*).

Маруся (*повелительно*).

Я обидѣть

Ее не дамъ тебѣ! (*Наташа приподнимается и прислушивается*).

Пав. Серг. (*притворно смѣясь, обнимаетъ Марусю*).

Вступилась за свою

Игрушку новую, почетнѣйшую гостью!..

Дитя!..

Маруся.

Я, Поль, тебя, клянусь, не узнаю!

Себя уродуешь ты напускною злостью!

Ты добрый, ласковый...

Пав. Серг.

И вдругъ такой злодѣй?!

Эхъ, дѣточка моя!.. Не знаешь ты людей!

Подъ видомъ нищеты скрываются шантажи,
Мошенничество, лѣнь!.. Ну, хоть подъ экипажи
Бросаться—это, вѣдь, буквально ремесло!..
Конечно, кучера мерзавцы,—но ужъ эти,—
Страдальцы, жертвы!.. У!..

Маруся.

Порой мнѣ жить на свѣтѣ,
Такъ стыдно, стыдно, тяжело!
Такъ нестерпима жизнь, что, право...

Пав. Серг.

А, прекрасно!
Богата, молода, любима—и несчастна?!
Вотъ это лестно мнѣ! (*Иронически кланяется*) Спасибо
вамъ!

Маруся.

Ахъ, Поль!
Тебѣ-бы все шутить!

Пав. Серг.

Твой грустный видъ нарушить
Веселость ангела! (*Нѣжно кладетъ ей руки на сердце*).
Ну, гдѣ у насъ тамъ боль?!

Маруся.

Не знаю, какъ сказать!.. Меня.. Все это... душишь!..

Пав. Серг.

Что „все!?“

Маруся.

Мы роскошью окружены...

Пав. Серг.

Такъ что-жъ?!

Маруся.

Нашъ трудъ единственный—придумывать желанья!..

Пав. Серг.

Ну, да! Чего-жъ еще?!

Маруся.

Бездѣлье, скука, ложь!

Все—лицемѣріе, неправое стяжанье!.. (*Оживляясь*)

Мы не преступники! Приличными людьми

И христіанами считаемся, пойми!

Утѣхи, почести предъ нами!

А такъ недалеко, за этими стѣнами,

Толпа голодная бездомныхъ и калѣкъ

Въ грязи живетъ и мретъ, безъ радостей, безъ хлѣба!..

Пав. Серг. (*шутя*)

О небо!

Да это нигилизмъ; ты страшный человѣкъ! (*Треплетъ ее по плечу*).

Мы научились книгъ! Мы юны и ретивы!..

Какъ станешь опытнѣй, сама поймешь потомъ:

Всѣ эти... такъ сказать, гражданскіе мотивы

Давно ужъ заключилъ въ себѣ десятый томъ!

Маруся.

Законникъ гадкій, злой!..

Пав. Серг.

Какъ мы нетерпѣливы!

Маруся.

Ахъ, Поль, пойми меня!..

Пав. Серг. (*возвышая голосъ*)

Да что тутъ понимать?!

Ты, милый другъ, жена и мать—

И твой первѣйшій долгъ...

Маруся.

Да я съ собой боролась!..

Быть можетъ, мысли эти бредъ....

Вѣдь не поможешь всѣмъ!... А вотъ покоя нѣтъ!...

Пав. Серг.

Все это глупости!...

Наташа (*въ сторону, тщетно силясь приподняться, чтобы увидетьъ лицо Павла Сергѣевича*).

Какой знакомый голосъ!...

Маруся (*къ Пав. Серг., обиженно*)

Но только... говорить объ этомъ свысока....

Пав. Серг. (*брезгливо*).

Ну, это бросимъ мы пока,
А вотъ что: я слыхалъ, за докторомъ послали?
Осмотреть, — а затѣмъ убрать ее нельзя-ли!...

Маруся.

Зачѣмъ-же такъ, сейчасъ?!...
Я говорила съ ней.... Ее безчеловѣчно
Обидѣлъ кто-то....

Пав. Серг.

Ну, конечно!
Вдобавокъ, значить, тварь! Не мѣсто ей у насъ!
Всѣ жертвы мнимыя жестокаго обмана
Разврату придаютъ красивый видъ романа!...

Маруся.

Но, Поль....

Пав. Серг. (*рѣшительно*).

Пожалуйста, безъ „но“!
Что рѣшено, то рѣшено!
Нельзя-же тутъ держать намъ эдакую птицу!
Ну... помѣстимъ ее въ больницу! (*мягче*)
Въ чемъ можно, я готовъ тебѣ и уступить!
А если ужъ тебѣ желательно глупить,
Тряпья ей подаришь, немножко денегъ, что-ли!...
(*Махнувъ рукой, уходитъ. Наташа, привставъ, глядитъ ему вслѣдъ*).

Наташа.

Что, если это онъ?! ужель?!... не можетъ быть!...
Но голосъ такъ знакомъ!... (*Маруся подходитъ къ ней*).

Сцена 8-я *Маруся и Наташа.*

Маруся.

Простите, поневолѣ

Я разбудила васъ....

Наташа.

Кто это съ вами былъ?

Маруся.

Мой мужъ....

Наташа.

А какъ его...

Маруся.

Что?...

Наташа (*въ смущеніи*).

Н-нѣтъ... я такъ... но странно...

По голосу....

Маруся.

О нѣтъ! Сегодня лишь неожиданно

Онъ чѣмъ-то раздраженъ!... А то—онъ добръ и милъ!
Онъ только на словахъ не сдержанъ!... Вы не бойтесь!...
Голубушка моя! ложитесь, успокойтесь!

Мужъ городскому головѣ

Напишетъ письмо... Лѣченье и занятъе

Все, все устроится... (*Наташа тупо глядитъ на узоры
марусинаго платья*).

Вы... смотрите на платье...

На эту вышивку?... Да?... Лѣтомъ по канвѣ

Отъ скуки нынче я на дачѣ вышивала...

Попробуйте заснуть!...

Наташа (*махнетъ рукой*)
Не въ силахъ!

Маруся.

Я прервала,
Однако, вашъ рассказъ.... Вѣдь легче, можетъ быть,
Поговорить о томъ, чего нельзя забыть?!...

Наташа (*иронически*).
О бѣдствіяхъ чужихъ послушать всѣмъ пріятно!

Маруся (*въ ужасѣ*).
Ахъ, что вы! это не понятно!...

Наташа.
Дай Боже вамъ не понимать и впредь!... (*задумывается*).

Маруся.
Скажите... Можетъ быть, у васъ... у васъ есть дѣти?

Наташа (*вздвигнувъ*)
Кто вамъ сказалъ?!!!

Маруся (*въ смущеніи*)
Н-нието....

Наташа (*глухо*).
Былъ сынъ... и нѣтъ его на свѣтѣ!
Онъ догадался умереть!

Маруся.
О, бѣдная моя!...

Наташа.
Да, намъ жилось несладко...
Но я вамъ расскажу, какъ было, по порядку.
Я, такъ сказать, изъ барышень была;
Отца не знала я, мать рано умерла...
Но не пригнетена сиротствомъ и печалью,
Я кончила гимназію съ медалью

И въ городѣхъ родномъ уроками жила...
Съ подругой жили мы и бодро выносили
Тяжелую нужду.... Мнѣ было двадцать лѣтъ,
Когда меня въ деревню пригласили
Учить двухъ дѣвочек.... И тамъ бывалъ сосѣдъ,
Красивый, молодой, съ прямымъ и добрымъ взглядомъ....
Зимой служилъ въ Москвѣ, а лѣтомъ, въ отпуску,
Онъ выдавать умѣлъ за „выспую тоску“
Хандру отъ праздности!... Сижу, бывало, рядомъ
Я съ нимъ у чайнаго стола,
Вся трепеть, вся восторгъ!... И рѣчь его текла
Про жажду истины, душевную свободу
И про служеніе народу!
Про то, какъ съ пошлостью мучительна борьба
Безъ друга, безъ любви.... Разставила судьба
Мнѣ роковую сѣть—и я въ нее попала!...

Маруся.

Вы полюбили?

Наташа (*глухо*)

Да, — и полюбивъ, я пала....

Маруся (*въ ужасъ*).

Зачѣмъ?! Ахъ Боже мой! Такъ безпощаденъ свѣтъ!...
Еще немного подождать бы....

Наташа (*рѣзко*).

Спасибо за совѣтъ!

Немного потерпѣть — и дождалась бы свадьбы?!... (*качая
головой*)

Спросили вы, „зачѣмъ“?!... Спросите, „почему“?!...
Вѣдь онъ былъ дорогъ мнѣ, а вѣрила ему!
Разсчета мало тамъ, гдѣ вѣры слишкомъ много!
Всѣмъ, страстно любящимъ, грозить такой удѣлъ;
Блаженъ, кто избѣжать гибели сумѣлъ! (*злобно*)
Кичиться нечѣмъ тутъ! Благодарите Бога!

Въ одной удачѣ весь вопросъ!...

Но лучше бросимъ это!...

Какъ будто сонъ, мелькнуло лѣто

И мой... (*запнувшись*) ну, мой женихъ въ Москву меня увезъ...
Я стала матерью....

Маруся.

Вы испугались, вѣрно?...

Наташа.

Нѣтъ, счастлива была! О, счастлива безмѣрно!
Вѣдь это былъ ребенокъ отъ него!
Я не желала ничего,
Лишь только-бъ ихъ любить, не разлучаться съ ними!
Но скоро счастію положенъ былъ предѣлъ....

Маруся.

Другой увлекся онъ?...

Наташа.

Нѣтъ, просто охладѣлъ,
А въ этихъ случаяхъ они неумолимы!
У, какъ бывалъ онъ лютъ!... Развязки роковой
Пришла пора: бѣжать! А мы—на мостовой,
Забиты, брошены!... (*помолчавъ*) Чтѣ-жъ! не бѣжать въ до-
гонку!
Я утопилась-бы!.. Но... мать нужна ребенку!
Вѣдь онъ не виноватъ!...

Маруся (*пожимая ей руку*).

Ахъ, бѣдная моя!

Наташа.

Работу... гдѣ найти?!... ни пищи, ни жилья!
Наслушалась я гнусныхъ предложеній!...
Тогда, вѣдь, я была собою хороша....

Маруся.

Вы и теперь....

Наташа.

Эхъ! чтѣ!... (*хохочетъ*) пропащая душа!
(*серьезно*).

Тогда мой сынъ былъ живъ!... (*Маруся нервно хватается за портретъ своего ребенка. Наташа невольно взглядывается въ него и вдругъ вырываетъ портретъ*).

Что это?! ..

Маруся (*въ изумленіи*)

Мой Евгеній,

Мой старшій сынъ....

Наташа (*глядя съ ненавистью то на портретъ, то на Марусю*)
Вашъ сынъ??

Маруся.

Чѣмъ вы удивлены?!..

Зачѣмъ вы смотрите... такъ странно?!

Наташа (*въ сторону, не слушая Маруси*).

О, Боже! Какъ похожъ!.. Неужто я неожиданно
Попала въ домъ его?! Я—у его жены?! (*хочетъ встать*).
Ну, если такъ,—постой! Недолго до расправы!..

(*вскакиваетъ, но шатается. Маруся поддерживаетъ ее и усаживаетъ опять на кушетку. Наташа тяжело дышетъ, закрывъ лицо руками*).

Маруся.

Постойте, милая! Куда вы?!

Наташа (*яростно*).

Оставьте вы меня! Пустите! Я пойду!.. (*Маруся обнимаетъ ее и гладитъ по головѣ*).

Маруся.

Чѣмъ заслужила я подобную вражду?! (*Цѣлуетъ ее*).

Голубушка моя! Страдалица! Бѣдняжка!..

О дитятеѣ напоминанье тяжело! (*откладываетъ портретъ въ сторону и накрываетъ его газетой. Наташа тихо рыдаетъ*).

Что говорить!? Утрата изъ утратъ!..
Онъ умеръ... Что-жъ затѣмъ?..

Наташа (*цинично, вдругъ встре-
пенувшись*).

Что?! Пьянство и развратъ,
Разгуль безъ удержу, безъ смысла, безъ предѣла,—
Чтобъ утопить въ грязи все: разумъ, душу, тѣло! (*Ма-
руся въ ужасъ закрываетъ лицо руками*).
Ха-ха-ха-ха! Пьяна, вѣдь, я была тогда,

Когда подъ лошадей попала!

Я вамъ противна?.. Да?! (*хохочетъ*).

Все для меня пропало,

Одна въ душѣ надежда есть,

Одно стремление—мечь!

Скорѣй-же въ Петербургъ!.. Не то мнѣ было важно,

Что привлекаетъ всѣхъ, подобныхъ мнѣ, сюда,—

Гдѣ случай властелинъ, все гнило, все продажно!

Сбиралась я пять лѣтъ! Ужасные года,

Года позорныхъ мукъ, попражня всякой чести!..

Но близокъ часъ желанной мести,

Неутоленной до сихъ поръ!..

Я здѣсь два мѣсяца... [*Маруся смотритъ вопросы-
тельно. Наташа почти кричитъ*).

Узнала!.. Этотъ воръ,

Укравшій жизнь мою...

Маруся (*полупрошептомъ, въ ужасъ*).

Онъ здѣсь?!

Наташа.

Блестяще служить,

Жевать! И дѣти есть!.. Онъ счастливъ! Онъ не тужить!.

Забылъ и думать обо мнѣ!...

Но я-то помню все!.. Скажу его женѣ,

Каковъ ея супругъ! (*хохочетъ*). О, жизнь ихъ станетъ
раемъ!

Маруся.

О, Боже!

Наташа

На весь міръ, предъ всѣми закричу
Проклятье палачу!..

Маруся.

За что губить жену?! Съ подобнымъ негодяемъ
Она не станетъ жить!.. Я тотчасъ-бы ушла!
Да что тутъ?! Я бы умерла!
А дѣти бѣдныя! Вѣдь это ихъ погубить!
За что-же тѣмъ, кто чистъ, невиненъ, свято любить,—
Страдать и погибать изъ-за чужого зла?!
Подумайте о нихъ! Простите, ради Бога!

Наташа.

Погибнуть?! Ничего!.. Туда имъ и дорога!
Да не погибнуть! Нѣтъ!.. Повѣрьте мнѣ: и вы,—
И жены прочія совсѣмъ не таковы!
Пусть муженьковъ онѣ измучать безпощадно,
Чтобъ эдакъ поступать имъ было неповадно!..
Иная посильнѣй урокъ сумѣетъ дать...
Но грѣхъ зачѣмъ таять?! У всякаго мужчины
Есть въ прошломъ гадости—и, чтобъ ихъ оправдать,
Всегда въ концѣ концовъ на одятся причины!
На смарку старыя долги:
Себѣ, вѣдь, жены не враги!..
А если выйдетъ такъ, что пострадаютъ дѣти,—
Такъ мало-ли дѣтей загубленныхъ на свѣтѣ?!
Да кто-же моего ребенка пожалѣлъ?!

Маруся.

Вы въ Бога вѣрите!?

Наташа.

Увы, мнѣ вѣрить трудно!
Истерзана душа!.. Заснули непробудно
Въ ней чувства лучшія!..

Маруся.

А можетъ быть, велѣлъ
Самъ Богъ намъ встрѣтиться сегодня?!

Какъ знать пути Господни?!

(Садится рядомъ съ Наташей и нѣжно обнимаетъ ее).

Послушайте меня!.. Все худшее прошло...

Дойдите-жъ до конца и побѣдите зло!

Извѣдайте душой, какъ сладостно прощенье!

Быть можетъ, ваше назначенье—

По многотрудному, тернистому пути

Къ такому счастью высокому прійти,

Какое на землѣ доступно лишь немногимъ!

Сколькимъ измученнымъ, сколькимъ, душой убогимъ,

Вы можете помочь,—

Любовью озарить ихъ горестную ночь!..

Подумайте, сколькихъ тоска гнететъ и глохнетъ!

Вся жизнь ихъ—нищета, ихъ міръ духовный—адъ!

Любовь, одна любовь—неистощимый кладъ:

Ее-то ужъ никто, никто отнять не можетъ!..

Быть можетъ, надобно избранникомъ страдать,

Чтобъ этой силою чудесной обладать,

Служа таинственно-воспринятой задачѣ!..

Кто больше жертвуетъ, — становится богаче!

Отдайте въ жертву мечь!.. Не нужно дольше ждать!..

Наташа *(сначала какъ будто поддается убѣжденію, а потомъ возражаетъ иронически).*

Любовь!.. Въ небесный рай отворенная дверца!..

Маруся *(грустно).*

Какъ вы озлоблены!

Наташа.

Я нищая сама,

Порой отъ голода чуть не схожу съ ума!

Чѣмъ я могу помочь?!

Маруся *(вдохновенно).*

Чѣмъ?! Милостыней сердца!..

Наташа (*поддаваясь Марусь, задумчиво*).

Какъ вы сказали?.. Да... Хорошія слова...

Маруся.

Что помощь деньгами?! Ничтожна и мертва
Предъ добротою настоящей!.

Наташа.

Такой, какъ ваша!.. Да!.. Какой души скорбящей
Не успокоитъ ваша рѣчь!
Какъ вы умѣете любить, ласкать, беречь!.. (*плачетъ въ умиленіи*).
Какъ счастливъ тотъ, кого вы полюбили!..
Скажите... Кто вашъ мужъ?

Маруся.

Мой мужъ?.. Онъ служить тутъ... (*объясняетъ Лиза*).

Сцена 9-я. *Маруся, Наташа и Лиза.*

Лиза (*подавая Марусь арнику*).

Извольте, барыня!.. Васъ въ дѣтскую зовутъ,
Къ Евгенью Павлычу!..

Маруся.

А... Женю разбудили?! (*быстро дѣлаетъ примочку и прикладываетъ ее Наташѣ*).

Наташа.

Какая легкая рука!..

Маруся.

Ну, вотъ у васъ теперь заправская примочка!..
Вамъ Лиза не нужна?

Наташа.

Нѣтъ, нѣтъ!

Маруся (къ Лизѣ).

Тогда сыночка

Пойдемъ съ тобой ,купать (къ Наташѣ). Вотъ пуговка
звонка! (указываетъ на электрическій звонокъ).

Наташа.

Зачѣмъ? Не нужно мнѣ.

Маруся.

Ну, такъ... На всякій случай!..

Черезъ четверть часика, не позже, я приду!..

(Маруся и Лиза уходятъ).

Сцена 10-я. (Наташа одна).

Наташа.

Да, лишь за встрѣчу съ ней благословишь бѣду,—

За глазки добрые, за голосокъ пѣвучій!

Какая вѣра въ жизнь и въ торжество добра!

Я такъ измучена, душою такъ стара,—

А вотъ она меня совсѣмъ преобразила!

И какъ-то вѣрится, и легче стало вдругъ... (Задумывается).

Кто могъ-бы быть ея супругъ?..

Я, Богъ вѣсть почему, себя вообразила,

Что это онъ, мой врагъ!—и пламенемъ въ крови

Зажглася ненависть, воскресло все бывшее!..

Самой смѣшно теперь: да развѣ можетъ злое

Хоть что-нибудь здѣсь быть?!. Здѣсь цѣлый міръ любви!..

(Слышатся шаги. Наташа прислушивается).

Что это тамъ?.. Шаги?!. Но почему тревога

Опять беретъ меня?!. Что это значить?!. (Входитъ Па-

велъ Сергѣевичъ съ конвертомъ въ рукѣ и ищетъ
глазами Наташу).

Онъ!

Сцена 11-я. *Наташа и Павелъ Сергѣвичъ.*

Наташа (*всматривается въ Павла Сергѣвича, который камнѣетъ отъ ужаса*).

Ужели онъ?! (*къ Павлу Серг.*) Узналъ?!

Пав. Серг.

Пѣтише, ради Бога!

Наташа.

Да ты, я вижу, удивлень!
Ты полагалъ, что я ужъ вовсе безоружна?!

Пав. Серг.

Да тише!..

Наташа.

Ха-ха-ха!

Пав. Серг.

Пойдемъ въ мой кабинетъ!..

Услышать!..

Наташа.

Кто? Жена!. Ха-ха! Мнѣ дѣла нѣтъ!
Пускай узнаетъ все!..

Пав. Серг. (*возвышая голосъ*)

Чего.. Чего вамъ нужно?.. (*Слохватившись*).
Э, матушка, съ тобой недолго разговоръ! (*Быстро кидается къ двери въ женнину спальню и запираетъ ее*).
Я церемониться не буду!
Мы двери на запоръ —

Наташа (*грозно*).

И...

Что ты говоришь?!

Пав. Серг. *(топая ногой)*

Немедля вонъ отсюда,
Пролаза гнусная!..

Наташа *(яростно)*

Меня ты смѣешь гнать?!..

Пав. Серг. *(многозначительно и
насмѣшливо)*

А можетъ быть, угодно вамъ узнать,
Какъ привлекательна этапная дорожка?!
Черкну въ полицію: неласкова она!..

Наташа

Нѣтъ! Зря не вышлютъ вонъ! Ты припоздалъ немножко!
Другія нынче времена!
Пускай узнаетъ все сперва твоя жена,—
А тамъ пусть выгонятъ бездомную бродягу!..

Пав. Серг. *(кидается къ ней)*

Хотите, чтобъ я самъ васъ вышвырнулъ?!..

Наташа *(быстро хватается за
ручку электрическаго
звонка)*

Ни шагу!..

(Пав. Серг. въ ужасъ отступаетъ).

Пав. Серг.

Зачѣмъ-же... Такъ... Сейчасъ?

Постой! Зачѣмъ звонить?!.. Не здѣсь, въ другомъ бы мѣстѣ...
Назначь мнѣ!—Я приду!.. *(Наташа машетъ рукой и
громко хохочетъ)*

Ахъ, умоляю васъ!

Честное слово, я...

Наташа

Онъ говорить о чести!..

Какимъ былъ козыремъ!—А вишь: дрожить, какъ воръ,
Съ поличнымъ пойманный! Какъ уличный проказникъ!
На улицѣ моей теперь выходитъ праздникъ!..

Пав. Серг.

Чего-же нужно вамъ?..

Наташа

Мнѣ нуженъ твой позоръ!

Пав. Серг. (*умоляющимъ тономъ*)

Наташа... Милая!..

Наташа

Какая нѣжность тона

И вкрадчивая рѣчь! И, какъ во время оно,

Молящій, кроткій взоръ!..

А помнишь, какъ ты былъ потомъ безчеловѣченъ,

Швырнувъ насъ въ омутъ нищеты?!

Ну... бросилъ бы меня!.. Но сынъ твой! Знаешь ты,

Гдѣ плоть и кровь твоя?!.. Ты счастливъ и безпеченъ,
Богатъ...

Пав. Серг.

Не мучь меня!.. Наташа, не томи!..

Наташа

-На произволь судьбы и звѣрь дѣтей не бросить!

Пав. Серг. (*вынимая деньги изъ бумажника, предлагаетъ ей*)

Я грѣшенъ, виноватъ!.. Я сознаю!.. Возьми!

Я не оставлю такъ...

Наташа (*швыряя деньги на полъ*).

Кто васъ объ этомъ просить?! (*нервно
отряхивая руки*)

Дотронуться до нихъ—и то противно мнѣ,
Вѣдь деньги... Женщины! Верните ихъ женѣ!

Пав. Серг.

Нѣтъ, нѣтъ, онѣ мои!.. Ей-Богу!

Наташа (*смыется презрительно*)

Ты заѣденъ

Корыстью глупою, тщеславьемъ, суетой!..

На что ты зарился, куда рвался мечтой,

Когда мнѣ измѣнилъ?!.. Ты даже не былъ бѣденъ!

Презрѣнный человѣкъ!.. (*протягиваетъ руку къ звонку*).

Пав. Серг. (*падая на колѣни*)

Наташа, пощади!..

Наташа

И я еще тебя любить могла!.. Какъ стыдно!.. (*грозно глядя на него*).

Нѣтъ!..

Пав. Серг.

Пощади жену!

Наташа (*брезгливо*)

Ну, тамъ ужъ будетъ видно!

А ты... (*повелительно указывая на дверь въ кабинетъ*)

Ступай къ себѣ!.. И тамъ рѣшенья жди!..

(*Пав. Серг. уходитъ, понуривъ голову, а Наташа опускается въ изнеможеніи на кушетку и нѣсколько секундъ молчитъ*).

Сцена 12-я. Наташа одна.

Наташа (*оправившись*).

О! Чтѣ за негодяй!.. Какой онъ жалкій!.. Жалкій!..

Отъ страха съежился, какъ песъ при видѣ палки!—

А испугайся я, начни просить, заплачь—

И въ немъ проснулся бы палачъ.

Холопъ, умѣющій лишь мучить, да бояться!..

Да, еслибы его рѣшила я простить,

Тогда за свой-же грѣхъ онъ началъ бы мнѣ мстить,

Надъ глупостью моей безмѣрною смѣяться!.. (*вскакиваетъ въ бѣшенствѣ*)

Ты въ грязь меня втопталъ! Такъ нѣтъ-же!.. Погоди!

Расплата впереди!..

(подбѣгаетъ, шатаясь, къ двери, ведущей въ марусину спальню, и останавливается, схватившись за ключъ).

Нѣтъ!.. Местъ моя безвинную погубить!..

Нѣтъ, не могу!.. Она его такъ любитъ!

Такъ искренна бѣдняжка была,

Сказавъ: „Да чтó тутъ? Я бы умерла“...

Убить ее, другихъ отъ горькой муки

Желавшую мольбами уберечь!..

(Опускаетъ въ безсиліи руку и медленно, держась за стѣну, направляется къ выходу, потомъ останавливается).

Какъ въ душу мнѣ просились эти звуки,—

Живой любви живая рѣчь!.. *(сморкаетъ на минутку, схватившись за сердце).*

Полна упорствомъ иновѣрца,

Душа была темна, мертва—

И вдругъ зажгли ее слова,

Слова про милостыню сердца!..

Я мстить не буду, не хочу:

Во мнѣ царить иное властно!

Я сердца милостыней страстно

За мигъ отрады заплачу!.. *(Обращается въ сторону спальни)*

Прими убогій даръ калѣки!..

(слышенъ стукъ въ дверь спальни; Наташа вздрагиваетъ).

Стучится въ дверь!.. *(погибаетъ воздушный поцѣлуй).*

Прощай навѣки!

Господь тебя благослови:

Твои надежды и желанья,

Святую зоркость состраданья

И слѣпоту твоей любви!..

Василій Величко.

Поэзія и личность Жадовской.

(Прочитано на литературно-музыкальномъ вечерѣ Общества Любителей Россійской Словесности 18-го марта 1895 года).

I.

Русская литература знаетъ много блестящихъ, въ высшей степени эффектныхъ героевъ. Они не только увлекали и до сихъ поръ увлекаютъ читателей, — они налагаютъ яркую несмываемую печать на эпохи общественной исторіи, вызываютъ настоящія повѣтрія восторженной идеализаціи и слѣпого подражанія.

Тайна ихъ очарованія объясняется просто. Они одарены мучительно безпокойной мыслью, вѣчно тоскующимъ сердцемъ. Окружающая дѣйствительность ложится гнетомъ на ихъ нравственный міръ, — ихъ стремленія — широкія и вольныя — не вмѣщаются въ тѣсныя рамки сѣрыхъ людскихъ будней, мелкаго стаднаго труда и робкихъ себялюбивыхъ вождедѣній. Ихъ обычныя настроенія — печаль и гнѣвъ, ихъ излюбленныя рѣчи — протестъ и насмѣшка.

И въ результатѣ они — „властители думъ“, — одинаково — и въ своемъ дѣйствительно героическомъ видѣ и въ смѣшныхъ карикатурахъ. Они вѣнчаются лаврами и какъ Чацкіе — подлинныя жертвы чужой пошлости и рабскихъ инстинктовъ, — и какъ Онѣгины — изуродованныя отраженія великихъ образовъ.

На долю Онѣгиныхъ достается часто еще больше сочувствія и удивленія, потому что крикливые искусственные уборы гораздо рѣзче поражаютъ глаза толпы, чѣмъ скромная естественная красота. Чтобы замѣтить и оцѣнить ее, требуется много доброй воли и вдумчивости искреннее развитое чутье правды.

Этимъ объясняется, почему въ длинномъ ряду литературныхъ и общественныхъ любимцевъ мы видимъ почти только смѣ-

лыхъ, краснорѣчивыхъ выразителей протеста,—и лишь изрѣдка промелькнетъ молчаливое, будто сконфуженное лицо, съ задумчивымъ взоромъ, съ блѣдной жалобной улыбкой. Здѣсь и помину нѣтъ объ эффектѣ, о громкихъ рѣчахъ, о торжествующей пропіи. По временамъ слышится тихая слезная молитва, подавленный вздохъ,—и кто распознаетъ, сколько нравственной силы въ этой молитвѣ и безысходной тоски,—сколько оскорбленныхъ надеждъ и неудовлетворенныхъ думъ!..

Счастливы тотъ, чей голосъ доходить до людей! Страданіе, признанное обществомъ,—перестаетъ быть страданіемъ, и горе, высказанное въ горячемъ словѣ, переходитъ въ чувство отрады и удовлетворенія. Чацкаго упрекали, будто онъ проповѣдуетъ предъ недостойной аудиторіей — но въ этой проповѣди и въ какихъ бы то ни было слушателяхъ заключался единственный исходъ накипѣвшему гнѣву и мести.

А если кому суждено одиночество, если его разочарованія и муки вѣдомы только четверемъ стѣнамъ и всю жизнь должны перегорать среди темной борьбы великихъ силъ съ столь естественной жаждой счастья и сочувствія, — тогда непотухающій душевный свѣтъ и неизмѣнно гуманное чувство — признаки настоящаго нравственного величія.

Вы, безъ сомнѣнія, угадываете, о комъ идетъ моя рѣчь.

Русская жизнь далеко не можетъ похвалиться способностью вырабатывать сильныя натуры. Недаромъ популярнѣйшими именами у насъ отмѣчаются цѣлыя поколѣнія, — и проходятъ десятилѣтія, не создавъ ни одного яркаго типа, не отмѣтивъ громаднхъ полосъ жизни ни одной самобытной личностью.

Но часто крѣпкая воля и беспокойная мысль загораются тамъ, гдѣ менѣе всего ихъ можно бы ожидать по современнымъ культурнымъ условіямъ. Въ кругу старомодной полуварварской семьи вырастаетъ дѣвушка, ни единой чертой своего душевнаго склада не похожая на „отцовъ“. Она со дня рожденія обречена на самый узкій подневольный путь. Кто допустить мысль, будто барышня можетъ протестовать и возмущаться, днями и ночами жить совершенно другими думами и надеждами, чѣмъ жила ея мать, и чувствовать глубокія обиды своему человѣческому достоинству тамъ, гдѣ старшіе видятъ мудрый и неизмѣнный законъ природы и нравственности?

Если въ такое положеніе попадаетъ „сынъ“, — онъ становится грознымъ мстителемъ, смѣло громить семью и общество

укоризнами и презрительнымъ смѣхомъ, цѣлому поколѣнію бросаетъ въ лицо „стихъ, облитый горечью и злостью“, или идетъ еще дальше—отвергаетъ самыя основы мысли и жизни „отцовъ“.

И онъ великъ и опасенъ даже въ глазахъ враговъ—Чайльдъ Гарольдъ онъ или Базаровъ, — и для писателей нѣтъ болѣе завлекательнаго предмета, чѣмъ исторіи о „герояхъ времени“, или о „дѣтахъ“ въ борьбѣ съ „отцами“.

Но какъ же живутъ и борются „дочери?“ Не бываетъ ли и среди нихъ „героинь времени?“

Отвѣты есть и даже утвердительные, — но какъ они сравнительно коротки и рѣдки!

Нужно явиться Тургеневу, — писателю, лично искушенному страшнымъ семейнымъ деспотизмомъ, съ дѣтства наблюдавшему всѣ виды рабства, какіе могло создать крѣпостное право, — тогда только русскіе читатели узнали о существованіи Лизы, о необычайно глубокой и оригинальной натурѣ „дочери“ рядомъ съ банальнымъ, часто пошлымъ существованіемъ отцовъ.

Надо было въ домѣ армейскаго офицера и полудикаго помещика родиться поэту „печали и гнѣва“, чтобы свѣтъ узналъ, сколько безмолвныхъ подвиговъ совершено *женой и матерью*, сколько сокровищъ женскаго сердца перешло въ пѣсни о страданіяхъ народа.

Это — счастливые случаи, — и художественное созданіе Тургенева и правдивая исторія Некрасова — двѣ главы одной великой повѣсти объ исключительно-русскомъ явленіи, о невидномъ героизмѣ на закрытой сценѣ, о торжествѣ идеализма сердца надъ жестокой безпощадной дѣйствительностью.

Но эта же самая повѣсть — единственный разъ въ нашей литературѣ — одновременно пережита и рассказана, гармонически слила въ одной жизни и въ одной личности правду и поэзію.

И трудно представить, — могло ли воображеніе создать такой обильный источникъ нравственныхъ страданій и одарить страдальцу такой силой благороднаго вдохновенія?

II.

Вглядитесь въ это совсѣмъ неэффектное лицо, проникнутое какой-то затаенной болѣзненной думой, будто вѣющее на васъ тоской одиночества, — вы прочтете на немъ несравненно

болѣе человѣческихъ чертъ и настоящаго величія, чѣмъ на интересномъ „демоническомъ“ обликѣ разочарованнаго „героя времени“, каждымъ движеніемъ и взглядомъ вызывающаго къ вашему благоговѣйному сочувствію.

На первый взглядъ странно даже сравнивать ослѣпительныхъ мучениковъ разочарованія съ Жадовской. Сама природа, повидимому, хотѣла подобное сравненіе превратить въ жестокую насмѣшку.

Юлія Валерьяновна родилась безъ лѣвой руки и только съ тремя пальцами на правой. Физическое уродство для женщины при настоящемъ уровнѣ нашей цивилизаціи неизмѣримо болѣе чувствительное несчастье, чѣмъ всѣ другіе пороки, — и будущая поэтесса съ самаго ранняго дѣтства должна мириться съ своимъ безправнымъ и фатально-приниженнымъ положеніемъ.

И примиреніе было особенно мучительно. Судьба наградила ребенка не только непоправимымъ несчастіемъ, — но вложила въ него необыкновенно воспріимчивое, чуткое сердце, мечтательную, идеально-настроенную мысль и всепоглощающую жажду любви и счастья.

Этого достаточно, чтобы жизнь женщины превратить въ драму, — но и здѣсь еще не конецъ.

Жадовская поступаетъ въ пансіонъ; ея блестящія литературныя способности увлекаютъ учителя словесности, знаменитаго педагога — Перевлѣскаго, — взаимный интересъ переходитъ въ любовь — глубокую и прочную; она длится пять лѣтъ, учитель рѣшается просить руки своей ученицы, счастье, очевидно, и близко и возможно, — но противъ брака рѣшительно возстаетъ отецъ влюбленной, находя постыднымъ родство съ семинаристомъ.

Вы видите, — исторія въ высшей степени простая. Отецъ, по сословнымъ соображеніямъ, не позволилъ дочери выйти замужъ за любимаго человѣка. Это происходитъ ежедневно и рѣшительно никого не беспокоитъ, кромѣ лицъ непосредственно заинтересованныхъ. Но варварство извѣстной среды именно тѣмъ и характеризуется, что насилія надъ личностью кажутся заурядными, естественными явленіями, необходимыми даже со стороны любящаго отца, какъ это думалъ Жадовскій. Косное царство предразсудковъ выработало удобныя и съ виду невинныя формулы для прикрытія вопіющаго деспотизма. Оно

не признаетъ за дѣвушкой другихъ путей личной жизни, кромѣ брака, неизбежно, слѣдовательно, вопросъ сердечныхъ влеченій превращаетъ въ вопросъ нравственной жизни и смерти и все-таки считаетъ законнымъ рѣшать его внѣшней физической силой, будто разрубать не живой организмъ, а трупъ.

А между тѣмъ, — удары чаще всего поражаютъ самыя чувствительныя организаци и раны не заживаютъ въ теченіе долгихъ лѣтъ, нерѣдко — до самой смерти. „Разбитая жизнь“ изъ красивой романтической метафоры превращается въ самую удручающую дѣйствительность.

Это именно и произошло съ Жадовской.

Литература знаетъ множество юныхъ героевъ, ставшихъ поэтами своихъ несчастныхъ сердечныхъ исторій. Достаточно вспомнить Гёте. Извѣстны также писательницы, почерпавшія вдохновеніе изъ собственныхъ житейскихъ романовъ: Жоржъ-Зандъ — блестящій примѣръ.

Имя Жадовской, конечно, не можетъ стоять рядомъ съ этими всемірно-знаменитыми именами. Но мы говоримъ не о славіи и не о силѣ талантовъ, а объ ихъ душѣ и вдохновеніи.

Для Жадовской первая молодая страсть не была первымъ влюбленіемъ, которому идетъ на смѣну множество другихъ, столь же сильныхъ и мимолетныхъ. У Гёте личный романъ являлся матеріаломъ для поэтическаго творчества, у Жоржъ-Зандъ — практическимъ опытомъ надъ страстью мужчины и женщины.

Жадовская совершенно иначе представляетъ свою любовь. Много лѣтъ спустя, вспоминая о прошломъ, она говорить:

Да, я вижу — безумство то было:
Въ наше время грѣшно такъ любить,
И души благодатныя силы
Объ единое чувство разбить.

И ей несказанно дорого это чувство. Въ самыя тяжелыя минуты одинокой пасмурной жизни готовая проклясть все, что приносило когда-то и горе и радость, — она спѣшитъ оговориться:

Лишь тебѣ въ этомъ хаосѣ темномъ, —
Какъ ни стынетъ отъ холода кровь, —
Лишь тебѣ не пошлю я проклятья,
Моей юности первой любовь.

Много требовалось энергіи сердца, чтобы остаться вѣрной столь грустнымъ воспоминаніямъ. Они говорили не о счастьи, было нѣчто въ родѣ намека на счастье, преддверіе къ нему, внушавшее скорѣе тоску и опасенія, чѣмъ свѣтлую радость. Но въ сумракѣ, который теперь наступилъ для покорной дочери,—и такое прошлое казалось „звѣздой“.

Блѣдный лучъ мнѣ до сердца доходить,
Разливаясь ясной мечтой,—

писала Жадовская и свято берегла память о дорогомъ другѣ и наставникѣ.

Жизнь течетъ ровно и безцвѣтно, тихо и грустно. Всѣ дни походятъ одинъ на другой. Воли отца попрежнему тяготѣетъ надъ „дочерью“, она не выходитъ изъ положенія не-совершеннолѣтней. Кругомъ люди совершенно чужіе, не только не способные понять ея горя, готовые даже посмѣяться надъ ея тоской, надъ ея вѣрностью злосчастному чувству.

Сколько насильственного притворства на каждомъ шагу, вынужденнаго смѣха, когда хотятъ литься слезы, придуманныхъ милыхъ разговоровъ, когда грудь объята холодомъ!

Одинъ изъ нашихъ гениальныхъ поэтовъ разсказалъ, чего стоитъ прожить годы среди общества, погруженнаго въ будничныя дразги, знающаго только или мудрый расчетъ, или презрительный смѣхъ въ отвѣтъ на все, что возвышается надъ уровнемъ житейской пошлости.

Поэзія Лермонтова переполнена страстными воплями души, скованной цѣпями „важнаго шута“, оскорбленной лицемеріемъ „нарядныхъ масокъ“, возмущенной ихъ равнодушіемъ къ идеальнымъ стремленіямъ.

Поэтъ бѣжалъ изъ этой нравственной тюрьмы въ царство могучей свободной природы. Ей онъ разсказывалъ свои мечты и она „прозрачной лазурью небесъ“ и „чуднымъ воемъ мгновенныхъ громкихъ бурь“ отвѣчала на его тихія, часто молитвенныя настроенія и на грозные взрывы его негодующаго генія.

У Жадовской нѣтъ лермонтовской мощи, она не бредитъ съ первыхъ дней сознанія *могучимъ образомъ*, и на ея языкѣ нѣтъ огненныхъ карающихъ рѣчей,—но тѣмъ трогательнѣе ея одинокая скорбь, проникновеннѣе жалобы и молитвы.

Какое счастье великому поэту метать громы въ своихъ мучителей! Это значить ихъ же клеймить рабами, а себя чув-

ствовать молниеноснымъ орломъ. Но дѣвушка, запертой въ деревенской глуши, отъ рожденія обездоленной и природой и семьей, какъ подняться на эту царственную высоту? У нея совершенно другіе образы, другія пѣсни, — но прислушайтесь къ нимъ, — и васъ поразитъ изумительное сходство подавленныхъ стонѣвъ съ торжествующимъ гимномъ демонической страсти.

III.

Здѣсь нѣтъ внѣшняго блеска, но въ каждой строкѣ трепещутъ изстрадавшіеся нервы, взываетъ къ сочувствію надорванное сердце.

Исторія цѣлой жизни вмѣщается въ одномъ стихотвореніи. Оно невелико по размѣрамъ, не эффектно по формѣ, — но выкиньте въ настроеніе, продиктовавшее его: изъ такихъ настроеній слагается поэзія Жадовской.

Впередѣ темнѣетъ
Жизнь безъ наслажденья,
Въ сердце проникаетъ
Скорбное сомнѣнье...
Мало-ли ихъ было,
Чистыхъ упованій...
Ни одно изъ жаркихъ
Не сбылось желаній!
Безпощадной волей
Всѣ они разбиты...
Не было участя,
Не было защиты!
Гдѣ-жъ для новой жизни,
Гдѣ возьму я силы?
Знать не будетъ больше
Счастья до могилы!

Какимъ-бы было утѣшеніемъ передать другимъ эти грустные думы! Можетъ быть, — нашлось-бы слово отрады. Но нѣтъ такого собесѣдника, нѣтъ „родной души“, — повторяетъ Жадовская любимое выраженіе Лермонтова, — и, — случалось, — въ минуты раздумья —

Она въ душѣ вдругъ обрѣтала звуки
Чудесные; ихъ выразить желала;
Но, посмотрѣвъ вокругъ, вздыхала и молчала.

Только съ дѣтьми она не скрываетъ своей тоски и своихъ слезъ. Дѣти также не понимаютъ одинокаго горя, но они зато

и не смѣются надъ нимъ, и вотъ одна изъ прелестнѣйшихъ по истинѣ солнечныхъ картинъ этой долголѣтней осени:

Съ какой печальною, смущающею думой,
Малютка, предъ тобой безмолвно я стою.
Ахъ, чувства тяжкія волнуютъ грудь мою!
Здѣсь, въ этой комнаткѣ, удалена отъ шума,
Здѣсь я могу, дитя, не скрыть слѣзы моей
И при тебѣ излить тоску мою могу я;
Но ты играй, мой другъ; пытающихъ очей
Ко мнѣ не обращай, и лаской поцѣлуя
Мнѣ горя усладить не покушайся! Дай
Поплакать мнѣ одной, въ тиши, не узнавая
О чемъ я плачу такъ, о чемъ я такъ страдаю,
Зачѣмъ отъ всѣхъ свои страданія скрываю!
Ты также слезъ моихъ, какъ люди, не поймешь;
Но, какъ они, ты ихъ, мой другъ, не осмѣешь!

Другая неизмѣнно „родная душа“ для поэта—душа безграничнаго міра. Мы знаемъ безчисленныя пѣсни о природѣ, о весеннемъ утрѣ, о лѣтней ночи, о соловьиныхъ пѣсняхъ,—но это не вдохновеніе Жадовской.

Природа для нея не только необозримое царство прекрасныхъ созданій, не только великая загадка безсмертной жизни,—это лучшая подруга, единственная повѣренная задушевныхъ думъ и драгоцѣннѣйшихъ воспоминаній.

Предъ нами единеніе двухъ родственныхъ міровъ, музыкальный дуэтъ человѣческаго сердца и какой-то таинственной силы, однимъ могучимъ дыханіемъ укрощающей его боли.

Жадовская обращается къ природѣ, какъ къ своему гению-утѣшителю, существу—мыслящему и чувствующему:

Какъ сладко приникнуть мнѣ
Къ святому ложу твоему,
Мать всеисцѣляющая—
Природа!..

И это не фраза.

Каждый моментъ въ природѣ, въ особенности исполненный меланхоліи и тайны,—вызываетъ отклики въ умѣ и сердцѣ Жадовской. Вы безпрестанно встрѣчаете стихотворенія: „Вечернія думы“, „Вечерняя мысль“. Въ книгѣ природы записана вся печальная исторія поэтического разбитого сердца. „Ясно-голубое небо“ вѣзвало первый трепетъ въ дѣтской груди, потомъ подѣ

музыку весенней грозы родился и выросъ „восторгъ безотчетный“, и сердце

Будто птица въ клѣткѣ трепетала
Незнаемымъ и чуднымъ ощущеньемъ.

Темная аллея слышала „прерывистыя рѣчи“ первой любви, — простыя, нелѣстивыя, часто жестко-правдивыя, а „духъ сада“ нашептывалъ лукавымъ голосомъ — надежды на счастье, бодрствовалъ надъ каждой минутой мечтательной дѣвушки, говорилъ ей:

Люблю я головы горячей увлеченье,
И сердца страстнаго безумный, жаркій бредъ,
И рядъ печальныхъ думъ, и вѣчное стремленье
Къ тому, чему у васъ названья въ мѣрѣ нѣтъ.
Моихъ цвѣтовъ краса и упоенье
Пуškai тебя восторгомъ подарить,
Пусть шумъ деревъ заглушить на мгновенье
Предчувствіе того, что будущность сулитъ.

Предчувствіе оправдалось, но благодѣтельный духъ не отлетѣлъ отъ своей любимицы. Въ сумерки онъ вмѣстѣ съ ней оплакивалъ прошлое, на крыльяхъ величественной бури — приносилъ ей душевный миръ, въ пѣснѣ соловья оживлялъ дорогія воспоминанія, онъ подсказалъ ей, наконецъ, трогательную аллегорію о завядшемъ цвѣтѣ и безвременно загубленной молодости, и полную смысла исторію о посѣвѣ. Не всѣмъ сѣменамъ счастливится упасть на добрую землю, въ глубокія борозды:

Многія вѣтеръ отнесъ на дорогу;
Много подъ глыбы заброшено было...

И не одинаковы всходы: одни принесли плодъ обильный и зрѣлый:

Тѣ-же, что въ бороадѣ или на дорогу,
Или подъ глыбы заброшены были,
Тщетно стремяся къ назначенной цѣли,
Сгибли, завяли въ борьбѣ безъисходной...

И даже свѣтель не помнитъ и не вѣдаетъ тѣхъ зеренъ, что зачахли въ „тяжелой истомѣ“.

Трудно подыскать болѣе правдивое и прочувствованное изображеніе личной жизни Жадовской.

Мы знаемъ источникъ ее страданій, вѣримъ въ ихъ искренность и глубину, — но развѣ не поднимаются у васъ не-

вольные вопросы: „Но вѣдь это только сердечная печальная исторія? Это—неудавшійся романъ мечтательной дѣвушки? Это чисто-личное горе и личные чувства?“

И попробуйте отвѣтить утвердительно, — вы въ глазахъ весьма многихъ отнимете глубокий интересъ у личности и поэзіи Жадовской.

И такъ отвѣчали первые читатели стихотвореній нашей поэтессы. Они появились въ печати въ самую горячую эпоху русской общественной мысли, — наканунѣ освободительныхъ реформъ. Кто могъ вчитываться въ рассказъ о разбитомъ сердцѣ женщины, когда рѣшалась участь великаго многомилліоннаго народа? И Жадовская сама это сознавала.

„Очень вѣроятно“, — писала она, „что стихи мои проданы только въ количествѣ 300 экз., судя по читающей публикѣ и ея направленію. Кому теперь до стиховъ?..“

Очевидно, — тяжелой истомѣ колоса, попавшаго подъ глыбу, такъ и суждено было остаться безъ людского сочувствія. Добролюбовъ могъ оцѣнить „задушевность, полную искренность чувства и спокойную простоту его выраженія“, могъ указать на скромность вдохновенія Жадовской, — но не это волновало русскихъ людей въ шестидесятые годы.

И къ многочисленнымъ актамъ драмы прибавился еще одинъ. „Холоднымъ свѣтомъ“ оказалось почти все русское общество.

И оно было право. Вопросъ народной свободы стоялъ неизмѣримо выше личной судьбы какого-бы то ни было поэта...

Но правда-ли, что — Жадовская воспѣвала только свое личное горе? Некрасовъ, достойнѣйшій судья въ вопросѣ, рѣшилъ его совершенно опредѣленно. Его суровая муза не погнушалась дружбой съ авторомъ скромныхъ стиховъ: она почувала близкіе ей мотивы *общаго* горя, *общей* неволи.

Поэтъ всѣхъ угнетенныхъ никогда не забывалъ „женской доли“, — и вотъ эта доля, столь глубоко запавшая ему въ сердце съ перваго дѣтства, завѣщанная незабвенной страдальцей матерью, — явилась ему въ лицѣ непризнанной поэтессы. Онъ понялъ, что ея устами говорятъ тысячи русскихъ женщинъ, что такихъ колоосевъ — увядающихъ безъ солнца и влаги — разсыяно по русской нивѣ едва ли не больше, чѣмъ золотистыхъ и радостныхъ. Онъ инстинктомъ поэта-борца и гражданина проникъ въ глубину этихъ молитвенныхъ дѣвственно-

боязливыхъ строкъ,—и увидѣлъ сдавленное мукою и переполненное любовью сердце, которому помѣшали раскрыть предъ свѣтомъ свои сокровища. А этихъ сокровищъ было немало...

IV.

Жадовская необыкновенно искренне судила о себѣ. Въ стихахъ и въ прозѣ она не высоко оцѣнивала свой талантъ, говорила о своемъ „слабомъ женственномъ стихѣ“, восторженно привѣтствовала сильныхъ пѣвцовъ,—въ томъ числѣ Некрасова,—очищающихъ людскія сердца, укоряла другихъ, забывшихъ важное назначеніе поэта,—Щербинѣ она писала:

Себялюбиво увлеченъ
Ты блескомъ чувственной мечты,—
Прерви эпикурейскій сонъ,
Оставь служенье красоты—
И скорбнымъ братьямъ послужи.
За насъ люби, за насъ страдай...
И духа гордости и лжи
Стихомъ могучимъ поражай.

Но сама она рѣдко затрогивала общественные вопросы,—и если ей приходилось заговорить о нихъ,—она будто смущалась и спѣшила сократить рѣчь.

Почему же?

Объясненіе заключается въ слѣдующихъ словахъ. Она только-что заговорила объ одномъ явленіи крестьянской жизни и уже спѣшила прервать себя.

„Ну, да не мое дѣло толковать объ этомъ, всю эту несвязную страницу пишу вамъ ради того, чтобъ вызвать отъ васъ нѣсколько лишнихъ строкъ. Ради Бога только не заключите поэтому, что я равнодушна къ общественному благу. Если я сказала: „не мое дѣло толковать объ этомъ“, это значитъ, что я не умѣю толковать“. Немногіе въ положеніи Жадовской рѣшились бы на такое признанье. Но по временамъ будто невольно у Жадовской срывалось горячее слово о народѣ, столь долго ожидавшемъ желанной свободы.

„Отчего такъ тянется крестьянскій вопросъ?“—писала она осенью 60-го года,—„и будетъ ли ему конецъ? Будетъ ли конецъ этой истомѣ, этому лихорадочному ожиданію бѣдныхъ людей?“

Иногда вдругъ насъ поражаетъ свѣтъ, озаряющій вереницу, очевидно, продолжительныхъ и глубокихъ размышлений. Эти моменты рѣдки, но мы уже знаемъ почему, — и тѣмъ выше цѣннымъ будто мимоходомъ брошенныя мысли.

Жадовская должна была пережить столь естественную идеализацію народа наканунѣ освобожденія, слышала и читала восторженные рѣчи о будущемъ новыхъ гражданъ. Но неизмѣнно вдумчивая строгая мысль подсказывала ей другое, указывая на темный путь крѣпостныхъ рабовъ, вѣками уродовавшій человеческую природу:

Всѣ говорятъ, что бѣдный нашъ народъ
Пойметъ свое высокое призванье,
Со временемъ окрѣпнетъ, возрастетъ...
Прекрасное, благое упованье!
Но мнится мнѣ съ тоской непобѣдимой,
Что тотъ, чье дѣтство протекло
Въ невѣжественной тьмѣ, непроходимой,
Укоренявшей пагубное зло,
Въ кого съ невинныхъ первыхъ лѣтъ
Любви къ благому не вселили,
Въ комъ рядомъ тяжкихъ смуть и бѣдъ
Самосознаніе убили,
И истины прямой отрадный свѣтъ
Предубѣжденьемъ заслонили, —
О, тотъ растетъ неправильно и тупо
И не дойдетъ развитія вполне....

Такъ могъ говорить истинный общественный мыслитель, не закрывающій глазъ на тернистый путь къ просвѣщенію народа и воспитанію въ немъ основы культурнаго гражданскаго общества.

Жадовская до конца жизни не дождалась ровнаго, свѣтлаго счастья. Она рѣшилась покончить со своей неволей и такъ сама объясняетъ свое рѣшеніе:

„Мнѣ такъ тяжело приходилось отъ страстныхъ привязанностей, связывавшихъ мою судьбу, что у меня достало характера страхнуть ихъ разомъ, не смотря на весь ихъ трагизмъ“.

Тридцати-восьми лѣтъ Жадовская вышла замужъ за пятидесятилетняго доктора Севена. О мужѣ и жизни съ нимъ она пишетъ:

„Живемъ мы ладно и смирно. Мужъ мой — рѣдко добрый и честный человѣкъ, но идеалистъ первой руки и въ 53 года сохранилъ теплоту и свѣжесть юношескихъ мечтаній; это, однако,

душа наболѣвшая, настрадавшаяся до того, что въ самомъ счастьи находить какое-то томленіе и безпокойство. Напримѣръ, вдругъ ему представится, что какое-нибудь чудовище похитить меня, или я умру, или нѣчто въ этомъ родѣ... и находить на него болѣзненный страхъ и ужасъ, который умѣетъ прогнать только моя нѣжность и ласка. Онъ слишкомъ сосредоточился на любви ко мнѣ"... Повидимому,—это картина настоящаго семейнаго счастья,—но болѣзни и тяжелая нужда постоянно нагоняють тучи, и письма Жадовской переполнены страдальческими воплями, нерѣдко сплошь заняты домашними дрязгами и хозяйственными счетами на рубли и копейки. „Кабы вы знали,“ писала она, „какъ мнѣ бываетъ жутко подъ часъ отъ житейскихъ заботъ... не даромъ обезпамятѣла... дни и числа забываю“.

Но бывшая поэтическая чуткость не замолкала. Весна, солнце, рѣзвящіяся ласточки и теперь тѣшатъ её, какъ въ годы мечтательной юности. Старое сравненіе съ цвѣткомъ невольно припоминается при чтеніи откровенныхъ, часто трогательныхъ писемъ.

„Теперь зима—тяжелое для меня время—ужъ на исходѣ, а съ ней вмѣстѣ проходитъ и многое непріятное, накопившееся на душѣ, вслѣдствіе разныхъ столкновеній, недоразумѣній, эгоистическихъ побужденій и проч. Вѣдь я такая ужъ странная, эластичная натура, что какъ судьба ни жметъ меня,—а стоитъ только упасть на меня солнечному лучу—я вновь оживала. Я говорю—оживала и сію же минуту сама грустно посмѣиваюсь надъ такимъ выраженіемъ. Видно, ужъ я такъ до гробовой доски буду все понемножку оживать и никогда не оживу вполне“.

Смерть пришла внезапная, непредугаданная, будто спѣша достойно закончить драму цѣлой жизни.

Но она не прервала надеждъ поэтессы, онѣ звучатъ намъ и изъ-за могилы....

Въ нашемъ мірѣ появилось существо „съ многотумной и страстной душой“,—но никто не распознавалъ его думъ, никто не щадилъ его души. Жизнь прошла незамѣтной проселочной дорогой,—и никто не разглядѣлъ, сколько терній судьбы и цвѣтовъ сердца разсыяно здѣсь, „въ сторонѣ отъ большого свѣта“. И одинокая путница невольно обращала взоръ, полный ожиданій,—не къ жизни, а къ смерти.

Я тихо и грустно свершаю
Безъ радостей жизненный путь
И какъ я люблю и страдаю—
Узнаетъ могила одна.

Это написано въ молодости, но могила многое должна также и рассказать намъ. „Большого таланта у меня нѣтъ“, писала Жадовская съ обычной искренностью; „но ежели есть то, что понятно и доступно многимъ, то, что многіе чувствовали, а я за нихъ высказала,—то уже и это не лишнее на бѣломъ свѣтѣ“.

Бто же эти многіе?

Ихъ назвала прежде всего сама поэтесса:

Пройду своимъ путемъ хоть горестно, но честно,
Любя свою страну, любя родной народъ;
И, можетъ быть, къ моей могилѣ неизвѣстной
Бѣднякъ или другъ со вздохомъ подойдетъ;
На то, что екажетъ онъ, на то, о чемъ помыслить,
Я вѣрно отзовусь безсмертною душою....

Мы вѣримъ этому, потому что личные страданія — вѣрнѣйшій путь къ пониманію чужихъ страданій. А врядъ ли когда въ жизни женщины было вмѣщено столько горя, нравственной и житейской борьбы.

И мы знаемъ, кто и какъ её создалъ.

„Жадовская въ молодости любила сравнивать себя съ падучею звѣздой“. Это — звѣзда не первой величины, она не ослѣпляетъ насъ разнообразными переливами блеска,—но свѣтъ ея чистъ и прекрасенъ. Онъ говоритъ о длинныхъ ночахъ, посвященныхъ упорной думѣ, объ оскорбленномъ благородномъ женскомъ чувствѣ, о безчисленныхъ жертвахъ эгоизма и предразсудковъ, о незамѣтномъ торжествѣ рабскихъ инстинктовъ общества надъ стремленіемъ отдѣльныхъ личностей—къ свободѣ и независимому человѣческому достоинству. Этотъ свѣтъ говоритъ намъ, наконецъ, о великой русской ночи, гдѣ столько настоящихъ звѣздъ превращаются въ падучія.

Ив. Ивановъ.

Переполахъ.

(Разсказъ).

I.

На Бережкахъ великій переполахъ...

До обѣда на деревнѣ стояло тихо и спокойно. Сіяющее, но не жаркое лѣтнее утро сулило бережковцамъ чудный день. Чѣмъ выше поднималось на ясномъ небѣ солнце, тѣмъ больше кругомъ хорошѣло и расцвѣтало: пестрый лугъ передъ окнами, успѣвшій умыться свѣжею росой, улыбался всѣми своими цвѣтками и тихо радовался; веселая пойма, раскинувшаяся на многія версты, глядѣла еще веселѣе и привѣтливѣе; среди затопленного цвѣтами луга и смѣющихся кустовъ поймы, разстилалась голубая полоса рѣки, быстрыя струи которой мѣстами переливались въ блескѣ расплавленного серебра и золота; сосновые и еловые лѣса, встававшіе тамъ и сямъ, какъ будто бы отъ полноты счастья, млѣли и неслышно, но глубоко и благодарно вздыхали. Только передъ обѣдомъ, задымилась было гдѣ-то вдали тучка, но и та скоро растаяла и расплылась въ прозрачномъ нѣжно-голубомъ воздухѣ.

— Экой денекъ Господь даетъ! — говорили крестьяне. — Просохнетъ наше сѣнцо... Ежели такъ подольше постоитъ, такъ живо мы и съ аржанымъ уберемся.

— Да ровно бы, по примѣтамъ-то глядѣть, надобно постоять вѣдру, — разсуждалъ умудренный годами и опытомъ одинъ старъ-человѣкъ: — дождю не должно быть.

— Дѣло это Божье, Иванъ Никифоричь!

— Знамо не наше, Михей Антропычь.

*) Настоящій разсказъ — одинъ изъ серіи разсказовъ автора, носящихъ общее заглавіе: „На Бережкахъ“.

Маленькій невзрачный мужиченка, съ лицомъ заросшимъ кустарникомъ и, какъ говорится, не по шерсти важностью въ поступи. — разомъ порѣшилъ между стариками разногласіе.

— Нѣтъ, дожда не будетъ...

— А ты почему знаешь, Василій Васильичъ? — спросилъ, усмѣхнувшись, Михай Антроповичъ. — Аль ты у Бога-то на совѣтѣ былъ, такъ про все освѣдомился?

Въ другое время Василій Васильевичъ принялъ бы такія слова за насмѣшку и не перенесъ обиды — человекъ онъ былъ самолюбивый, — но теперь онъ выслушалъ ихъ спокойно, какъ мужъ благоразумный и отлично знающій цѣну тому, что онъ говорилъ.

— А очень просто, — сказалъ Василій Васильевичъ: — не съ чего дождю идти. У Бога всему свой чередъ установленъ: чередъ дождю и чередъ вѣдру.

— Ну, такъ я и зналъ, что ты былъ на небѣ, — шутилъ здоровый старикъ, причемъ все лицо его и густая впросѣдъ борода смѣялись. — А не примѣтилъ ли ты, словно-бы сейчасъ тучка заходила?

— Какая-нибудь заблудящая. Толкнулась, да увидала, что зря проработала и сбѣжала прочь, — въ лады веселому старику шутливо отвѣчалъ Василій Васильевичъ.

По этимъ разговорамъ и тону, съ какими они велись, а также и по выраженію лицъ крестьянъ нетрудно было догадаться, что жители Бережковъ находились въ самомъ благодушномъ настроеніи, и ничто какъ на землѣ, такъ и на небесахъ не грозило ничѣмъ мирному теченію ихъ деревенской жизни. И вдругъ — этотъ переполохъ!

Поднялся онъ вскорѣ послѣ того, какъ мужички, перекинувшись еще между собой нѣсколькими добрыми шутками, разбрелись по своимъ домамъ: не справляясь ни съ какими часами, а просто по одному ощущенію подъ-ложечкою, они точно опредѣлили время обѣда.

Дѣйствительно, только домохозяйева разошлись, черезъ дорогу, отдѣлявшую рядокъ жилыхъ избъ отъ погребовъ, забѣгали хозяйки, съ горшками и деревянными чашками; въ улицѣ раздались женскіе голоса, скликавшіе ребятеноевъ. Одна изъ такихъ хозяекъ, по имени Дарья Трофимовна, прозванная Защепистою, вышла изъ калитки своего двора и направилась къ погребу нацѣдить холоднаго квасу, но вмѣсто того, чтобы идти

прямо за дѣломъ и по верхамъ не зѣвать, она какъ разъ и поступила наоборотъ: не дойдя шаговъ трехъ, Зацепистая приостановилась и начала оглядываться по сторонамъ. Здѣсь безъ объясненія никакъ не обойдешься; иначе поведеніе этой хозяйки можетъ вызвать невыгодныя для нея толкованія.

Дарья Трофимовна отъ природы была щедро надѣлена разными талантами, въ особенности, — „любопытностью“: ей было до тонкости извѣстно, — кто и какъ живетъ въ деревнѣ, кто что ѣдятъ и пьютъ, о чемъ говорятъ и проч., вникала въ мельчайшія подробности чужой жизни и часто, безъ всякой видимой причины остановившись среди пустой улицы, прислушивалась къ вѣтру: не нанесетъ-ли чего хорошенькаго? Любопытность ея не ограничивалась предѣлами своей деревни: Дарья не менѣе и достоверно знала все, что дѣлается въ сосѣднихъ деревняхъ, на фабрикахъ и въ городѣ. Всѣ новости, какія только въ Бережкахъ распространялись, узнавали всегда отъ первой Дарьи Зацепистой. Мало этого — про Дарью говорили, что она даже и то знаетъ, о чемъ люди думаютъ. „Промолви при ней хоша одно единое слово, и больше ничего ты ей не сказывай“ — шептались между собою деревенскія красавицы — „а ужъ она тебѣ все расскажетъ, что ты думала сказать, и еще отъ себя столько такого прибавитъ, о чемъ ты никогда и въ мысляхъ своихъ не понимала! Вотъ какая она, Зацепистая-то!“ Очевидно, Дарья обладала и талантомъ творчества, соединеннаго съ потребностью живой и постоянной наблюдательности. Понятно теперь, почему Зацепистая, отправившись на погребъ по такому спѣшному дѣлу, какъ за квасомъ къ обѣду, не въ силахъ была удержаться, чтобы не удовлетворить запросамъ своего духа.

Посмотрѣвъ пристально своими рысьими глазами въ оба конца деревни, Дарья не встрѣтила никакого предмета, достойнаго вниманія; сдѣлавъ шагъ впередъ, она протянула свободную руку къ двери погреба, а глаза устремила прямо на улыбавшійся дугъ... Сперва ей послышался хорошо знакомый стукъ и топотъ, потомъ изъ-за купы вязовъ вынырнула лошадка, а за нею выкатились и роспуски съ хозяиномъ; послѣдній сидѣлъ на правомъ крылѣ, подамски, съ обращеннымъ къ деревнѣ лицомъ... Дарья, какъ увидала мужичка, оцѣпенѣла, и деревянная чашка въ рукѣ замерла: такъ поразило ее зрѣлище лошадки, роспусковъ и крестьянина!

— Ахъ, что онъ удумалъ!—придя въ себя, выговорила Зацепистая, прозрѣвъ въ замыселъ мужа, мчавшагося по лужу во всю лошадиную прыть и скоро пропавшаго изъ глазъ.

Неподалеку, около палисадника, въ песочекъ играли малыши, спѣша къ сельскому базару заготовить двѣ сотни бабасекъ.¹⁾ Они такъ углубились въ свою работу, что позабыли про обѣдъ. Одинъ мальчуганъ, поднявъ на деревянной лопаточкѣ песочную бабайку, хотѣлъ передать ее дѣвочкѣ, исправлявшей обязанности стряпухи, но взглянулъ нечаянно въ сторону акимова погреба и увидѣлъ Дарью.

— Что она стоитъ?—задалъ онъ вопросъ.

Стряпуха обернулась.

— Да, стоитъ и куда-то глазами уставилась, — сказала дѣвочка.—Знать, она что ни то запримѣтила.

— Знамо,—заговорили другіе изъ кучки.—Даромъ тетка Дарья не будетъ стоять... Вишь, съ чашкой она, за квасомъ пошла...

— Такъ побѣжимте къ ней! Можетъ, увидимъ что и мы.

Не успѣли ребятенки добѣжать до погреба, какъ половинка окна въ Акимовой избѣ отодвинулась и показалась борода съ лицомъ.

— Что ты долго?—послышался хриплый мужской голосъ.—Мы давно ужъ за столомъ сидимъ.

Дарья оглянулась.

— Андрей Хромой по сѣно поѣхалъ!

— Н-ну?! Гдѣ? — и съ этими словами изъ оконца высунулся по поясъ мужикъ, съ всклооченной головой и длинной русою бородою.

— Вонъ, полюбуйся,—да гдѣ его увидишь, скрылся изъ вида!—говорила Дарья.—Ну-ка, ну-ка, что надѣлалъ Хромой: по сѣно поѣхалъ!!

Малыши услышали, стрѣльнули глазенками и мигомъ разсыпались: одни метнулись въ южный конецъ улицы, другіе—въ сѣверный. Разомъ деревня огласилась ихъ тонкими и звонкими голосенками.

— Дядя Андрей по сѣно поѣхалъ!.. Андрей Хромой за сѣномъ уѣхалъ!..

¹⁾ Бабайки—гречневники, продающіеся не только на сельскихъ базарахъ, но и на толкучкѣ въ Москвѣ.

Въ домахъ, одно за другимъ, быстро начали открываться окна, выставлялись на волю любопытныя или удивленныя лица и глаза искали виновника переполоха.

— Да что случилось? Вора, что-ли, поймали? — спрашивали изъ окошекъ тѣ, кто не разобралъ хорошо ребячьихъ криковъ. — Спаси Христось, не пожаръ-ли ужъ гдѣ?! —

— Уѣхалъ!... Дядя Андрей, — разносились голосенки. — Хромой по сѣно поѣхалъ.

— Да вы не врете-ли, сопливые?

— Что намъ врать-то! Чай, тетка Дарья своими глазами видѣла, — она намъ и сказала.

Окна закрывались.

— Ну, коли Зацепистая видѣла, такъ, можетъ, ребятенки и правду вопять.

Тутъ заволновались и домовладыки.

— Да неужъ взаправду Хромой? Что-жъ это за безобразія зачались, ежели вдругъ такіе поступки... Я говорилъ, отъ Хромого надобно было чего-нибудь ожидать!

— Такъ ежели дальше пойдетъ, то скорое, значить, рѣшеніе міру будетъ.

— Ахъ, Хромой, — сокрушались бабы, — что надѣлалъ! Съ одной-ли своей умной головы онъ это взялъ, или сообща какъ съ бабкой Анисьею удумали.

— Ставь проворнѣй другую перемѣну, — командовалъ глава семьи. — Не задерживай! Поскорѣ управиться да бѣжать жъ старостѣ, — надо оповѣстить начальника!

Еще въ улицѣ не совсѣмъ утихли дѣтскіе крики, какъ съ южнаго конца Бережковъ, гдѣ жилъ Хромой, раскатились на всю деревню мужскіе голоса.

— Какъ? Что это за новости! Слыханное-ли когда дѣло, чтобы такое самовольничанье? — гремѣлъ одинъ голосъ.

— А ты по какому праву на обрѣзкахъ въ свою пользу косилъ? — раскатывался въ отвѣтъ другой голосъ. — Развѣ ты можешь самовольно казеннымъ сѣнокосомъ распоряжаться?

— Врешь! — мнѣ дозволено начальствомъ на обрѣзкахъ косить. Я — по закону.

— Ты врешь! на обрѣзкахъ, что осталось по-за крестьянскимъ надѣломъ, трава мужикамъ предоставлена. Ты меня законамъ-то этимъ не учи, я законы получше твоего знаю, — я ихъ отъ доски до доски насквозъ произошелъ! Вотъ какъ

законы-то мнѣ довольно хорошо извѣстны. Самъ десять годовъ объѣзчикомъ былъ...

— То-то за эти законы, должно, тебя по шенямъ со службъ и проводили.

Въ такихъ выраженіяхъ, съ значительной прибавкою другихъ, еще болѣе энергическихъ и образныхъ, велись препирательства между двумя мужчинами, изъ коихъ каждый былъ чуть не саженаго роста, оба сухощавые и мускулистые, съ продолговатыми лицами, чалой растительностью на бородѣ и прямыми волосами, съ тою лишь разницею, что у одного растительность была темнаго цвѣта, а у другого—рыжеватаго. Одинъ—прежній объѣзчикъ и настоящій содержатель деревенскаго перевоза, а другой—нынѣшній лѣсникъ и богатѣй-крестьянинъ.

— Врешь!—не уступалъ перевозчикъ.—Меня не прогнали, а благородно уволили на спокой жизни... Я отъ самихъ министровъ похвальный листъ имѣю, аттестатъ съ казенной печатью. Самъ Островскій и Канціони собственноручно подъ аттестатомъ расписались. Вотъ до чего дослужился Матвѣй Антипычъ Смугловъ!.. А ты казну грабишь, и своихъ жителей утѣсняешь... Съ тѣмъ только ты, Вавилка, на страшное судилище предстанешь?

— Молчи, пьяная голова!

— Ты языкъ прикуси, скоробогатый!

Волненіе охватило и другой конецъ и скоро сдѣлалось общимъ въ цѣлой деревнѣ. Домохозяева толпились у старостинаго дома, къ нимъ безъ перерыва новые прибывали.

— Староста? Иванъ Егорычъ!—слышались возгласы.—Гдѣ же староста?

— Да нѣтъ его: изъ Ворши не пріѣзжалъ.

— Что-жъ намъ теперь дѣлать? Хромой успѣетъ вернуться.

— Надо его на мѣстѣ застать.

— Да какъ-же безъ старосты?

Вавила Семеновичъ, покончивши или, вѣрнѣе, прервавши войну съ перевозчикомъ, поспѣшилъ къ своему дому, который стоялъ за дворомъ старосты, и шагаль безъ-мала по сажени, размахивая своими длинными руками и разсуждая сдержанно, но такъ, что деревня могла слышать каждое его слово.

— Своевоольство такое... Вотъ новости! Такъ ежели всѣ... Вздумалъ страшнымъ судилищемъ меня пугать... Я самъ Богато помню: у меня вся стѣна въ новой горницѣ картинами страшнаго суда и грѣхопадениемъ человѣка оклеена... Пьяница!..

Что послѣднія слова никакъ не относились къ впавшему въ проступокъ Хроному, всякій легко могъ вывести изъ того, что Андрей Елизаровъ никѣмъ за пьяницу не почитался, а что имѣлся въ виду кто-то другой и этотъ другой былъ никто иной, какъ тотъ же перевозчикъ Матвѣй Смугловъ, который въ настоящую минуту, съ открытой головою, красовался во весь свой ростъ среди улицы, близъ своей избы, и провожалъ добрыми напутствіями своего врага.

— Не уйдешь, не уйдешь отъ возмездія, скоробогатый! Какъ, съ чѣмъ только ты, Вавилка, на страшное-то судилище Христова предстанешь?

Вавила Семеновичъ обернулся и гаркнулъ.

— Пьяница! Перевозъ въ кабакъ заложилъ.

— Съ кѣмъ ты это больно хорошо разговариваешь? — спросилъ его кто-то изъ мірянъ.

— А вонъ съ пропойцей-то... За самовольствіе Хромого заступаться вздумалъ!

— Неужто?!

— Беззаконники!.. Да что-жь вы толчетесь? —зыкнулъ на міръ Вавила.—Надо Хромого арестовать.

— Старосты нѣтъ...

— Коли его нѣтъ—міромъ арестуемъ. Идемъ!

Братъ Вавилы, коренастый, съ кудластою, искрасна широкою бородою, только-что окончившій службу въ должности волостного судьи, попытался сдержать брата.

— Безъ своего начальника мы не можемъ человѣка арестовать, или остановить. Выходить, это какъ-бы самовольство, али самоуправство...

— Какое самовольство,—перебилъ горячій Вавила, ежели мы всѣмъ міромъ?

— Безъ начальника нельзя, какъ-бы намъ послѣ самимъ не наотвѣчаться... Надо по закону...

— А я про что говорю? По закону поступимъ, всѣмъ міромъ накроемъ.

Многіе взяли сторону Вавилы.

— Что староста! —кипятился Василій Васильевичъ.—Онъ за деньги служить, а всему голова—міръ: что мы положимъ на общество, то и будетъ. Идемъ всѣмъ обществомъ противъ Хромого!

Но въ это время изъ-за угла крайняго погреба показалась зеленая телѣжка, и всѣ узнали ее и гладкаго коня старостина.

— Да вот онъ самъ! пріѣхалъ...

— Что за собраніе? Аль что случилось? — освѣдомился староста.

— Своевольство... Ослушники завелись... Хромой за сѣномъ поѣхалъ.

Староста, успѣвшій подѣвхаться къ отвореннымъ воротамъ своего дома, развелъ только руками и выронилъ возжи.

— Какъ?!. противъ міра! — выговорилъ онъ и не дожидаясь, потому что жеребенокъ, увидѣвъ родной дворъ, не хотѣлъ дожидаться окончанія рѣчи и рванулся въ ворота.

II.

Если посмотрѣть со стороны на волненіе въ Бережкахъ, то, пожалуй, все дѣло представится пустячнымъ и сами „жители“ людьми далеко не умными. Въ самомъ дѣлѣ, изъ-за чего сыръ дремучій боръ загорѣлся? Мужикъ поѣхалъ по сѣно, баба увидѣла, что онъ поѣхалъ, и подняла тревогу... Но, вѣдь, Хромой не за чужимъ, а за своимъ сѣномъ поѣхалъ, и ни одинъ строгій прокуроръ, при всемъ своемъ желаніи найти составъ преступленія, никакого злого умысла въ дѣйствіи Андрея Елизарова Хромого не усмотрѣлъ бы и возбужденное о немъ дѣло назначилъ къ прекращенію производствомъ: скосилъ мужикъ на своемъ жеребѣ, вздумалъ сѣно перевезти и поѣхалъ! Дѣло ясное, какъ этотъ лѣтній день, и только Дарья Зацепистая, не въ мѣру своего развитого воображенія и большого дара творчества, создала нѣчто страшное, возмутивъ спокойствіе деревни, а мужики, занятые обѣдомъ, не потрудились разобрать въ чемъ дѣло и разыграли дураковъ.

Со стороны—это будетъ такъ, совершенно правильно, но съ деревенской точки зрѣнія выходитъ совсѣмъ не такъ: тутъ цѣлое событіе, да еще какое событіе-то!..

Бережки находятся въ семи верстахъ отъ станціи желѣзной дороги и въ четырехъ отъ большой фабрики. Мужики, солидные и почтенные домохозяева, имѣютъ сношенія съ фабрикою и желѣзно-дорожной станціею, часто ѣздятъ на базаръ въ ближайшее торговое село, расположенное на шоссе и о бокъ съ другой большой фабрикой, изрѣдка заглядываютъ и въ свой губернский городъ. Многіе изъ нихъ, особенно теперешніе старики, хорошо знакомы съ Москвою и Питеромъ, въ молодости

подолгу тамъ жили; бывали въ Одессѣ, Астрахани и Архангельскѣ, немало исколесили дорогъ по матушкѣ Руси и на многое насмотрѣлись. Казалось, продолжительное житіе въ большихъ городахъ, посѣщеніе отдаленныхъ мѣстъ и близость фабрикъ съ желѣзною дорогою должны-бы оказать свое вліяніе на міросозерцаніе и бытъ жителей Бережковъ: освободить населеніе отъ разныхъ предрасудковъ, обычаевъ старины и т. п., преобразовавъ въ обыкновенныхъ гражданъ. Ничего этого не бывало! Бережковцы крѣпко держатся за свою землю—кормилицу, хотя послѣдняя и скупно вознаграждаетъ ихъ трудъ, не уклоняются отъ обычаевъ и порядковъ старины, всѣ свои дѣла рѣшаютъ сами и управляются безъ всякой посторонней помощи: никто не запомнить, чтобы къ нимъ въ деревню, хотя разъ когда, заглянулъ не только становой, но даже урядникъ. Знаютъ они уѣздное казначейство, и то потому только, что въ извѣстное опредѣленное время и всегда аккуратно староста отвозить туда мірской „оброкъ“. Такой порядокъ поддерживаютъ и охраняютъ всѣ жители, навпаче старики, люди бывалые и на все насмотрѣвшіеся. Правда, могущественное вліяніе фабрикъ начинаетъ уже сказываться, но оно пока замѣчается только на той части молодежи, которая на этихъ фабрикахъ работаетъ.

Бережковцы живутъ по старымъ обычаямъ и уставамъ, выработаннымъ шестьюстами лѣтъ деревенской жизни. Они въ одно время утра встаютъ, въ одно время работаютъ и отдыхаютъ, въ одно время даже и спать ложатся. Впрочемъ, относительно сна, ѣды и питья,—допускаются нѣкоторые отклоненія, но рѣдко, и то по уважительнымъ причинамъ. Такъ, напримѣръ, поѣдетъ одинъ домохозяинъ въ городъ или въ село на базаръ, съ дѣлами ко времени не управится и вернется поздно; другой и поспѣлъ-бы, но позасидѣлся съ любезнымъ человѣкомъ въ трактирѣ и на возвратномъ пути, по капризу лошаденки или подъ впечатлѣніемъ пріятной бесѣды въ заведеніи, потерялъ дорогу и долго кружился около одной и той-же чужой деревни... Ну, вслѣдствіе подобнаго рода случайностей или несчастія, человѣкъ воленъ былъ ѣсть, пить и спать, когда ему было угодно. Но что касается работы и отдыха, то ужъ тутъ никому и никакого послабленія не дѣлалось: строго соблюдался порядокъ! Дѣло обыкновенно велось такъ. Наступаетъ время покоса; собирается сходка, и на ней рѣшается вопросъ: съ ка-

кого дня начинать косить, гдѣ, въ лѣсу, на болотѣ или на арендной землѣ. Порѣшили. Наканунѣ по деревнѣ бѣжалъ десятникъ съ палкою, стучалъ у каждой избы и кричалъ: „завтра косить на „кочкахъ!“ Дня черезъ два-три по деревнѣ снова бѣжалъ десятникъ, стучалъ палкою и кричалъ: „завтра сѣно убирать!“ Точно такъ же поступали и относительно другихъ работъ: десятникъ возвѣщалъ, когда жать, когда возить снопы, когда пахать, городить поля и т. д. Такому-же порядку были подчинены и мѣстные праздники, называемые „заказными“. Кромѣ воскресныхъ и общихъ праздниковъ, чтимыхъ всею православною Русью, бережовцы еще праздновали: двѣ Прасковей-Пятницы, день Кирика и Улиты, Положенія честныя ризы, память градобитія и т. п. Наканунѣ заказныхъ праздниковъ опять по деревнѣ бѣжали десятникъ, или его жена, стучали палкой и кричали: „завтра не работать, праздникъ въ честь скотинскаго падежа!“ И каждымъ домохозяиномъ, не исключая его жены и ребятишекъ, исполнялось неукоснительно все, что было постановлено миромъ на сходы и что, черезъ десятника или его жену, возглашалось миру.

И горе-бы тому, кто не исполнилъ своихъ обязанностей или вздумалъ поработать въ свой, „заказной праздникъ“ (въ общіе праздники или въ воскресенье работать не возбраняется!) Попробуй кто, — хотя-бы только починить худую крышу на своемъ дворѣ или замазать кирпичъ въ развалившейся трубѣ, — мало, что отнять всѣ орудія работы, но подвергнуть еще и примѣрному взысканію: на полведра или четверть вина миръ накажетъ ослушника.

Старикъ Антипъ Власычъ, патріархъ Бережковъ, — ему только двухъ не хватало до ста годовъ, — грѣясь на красномъ солнышкѣ, постоянно говорилъ:

— Въ стары-то годы люди крѣпко Бога боялись, и Господь за это никогда ихъ не спускалъ: жили хорошо, другъ другу помогали и дѣлали всякое дѣло сообча, какъ рыбари въ дни оныя, когда еще по землѣ Иисусъ Христосъ ходилъ...

— Такъ, такъ, родимый дѣдушенька! — подхватывали со слезами бабы, готовые всякій разъ расчувствоваться, когда говорятъ старые люди и прихватятъ слово отъ божественнаго. — Только стариной и живемъ, а то при этихъ фабрикахъ да чугунокѣ, что бы отъ насъ осталось?..

— Пока мы не отшатнулись отъ обычаевъ старины, Царь нашъ небесный и не отвращаетъ отъ насъ грѣшныхъ лица своего пресвѣтлаго, — продолжалъ тихо рѣчь дѣдушка, повода сѣденькою бородкою. — Нутка, въ двѣнадцатомъ-то году, — я женихомъ ужъ тогда былъ, — французъ на Россію приходилъ и Москву взялъ, а къ намъ, вѣдь, не посмѣлъ идти... Въ тридцатыхъ годахъ чума ходила; голодъ и всякія напасти люди терпѣли, недавно эта холера опять проявилась, кругомъ по деревнямъ народъ мретъ, а Бережки наши Господь милуетъ... Супостать насъ не трогаетъ; голодовокъ еще не знавали и помирали своей смертью, достигнувъ конца-предѣла земной жизни. Такъ какъ-же намъ не блюсти себя, не держаться добрыхъ обычаевъ и порядковъ старины?

— Какъ можно! — соглашались всѣ хоромъ. — Да ежели мы на одну пядь отступимъ, станемъ дѣлать все на особицу, такъ перекувыркнется міръ... Спаси Христосъ!

Строги были нравы и крѣпки порядки деревни, состоящей изъ сорока пяти дворовъ.

Но въ семьѣ, говорятъ, не безъ уroda, а тѣмъ болѣе — въ цѣломъ обществѣ. Въ Бережкахъ такимъ уроdomъ, въ значеніи гражданскомъ, оказался Андрей Хромой, а почему онъ оказался уроdomъ, — добратъся до причины этого никто бы не могъ, равно какъ и до того, почему Андрей — *Хромой*, не въ гражданскомъ, а въ физическомъ значеніи этого слова: „сѣ дѣтства онъ хромалъ и по-сейчасъ хромаетъ, а отъ чего съ нимъ это поpritчилось, — Господь вѣдаетъ, родимые“, — говорили деревенскія старухи.

III.

Андрей Елизаровичъ Хромой (онъ и въ сельскихъ приговорахъ писался Хромымъ) не былъ какимъ-нибудь отщепенцемъ — этого никто про него не только бы не сказалъ, но даже никогда и не подумалъ. На міру, на сходкѣ, Хромой всегда первый человекъ и радѣтель; на собраніи, то - есть бесѣдѣ, веселыя шутки его сыпались градомъ, возбуждая здоровый смѣхъ и хохотъ; на общественномъ праздникѣ или мірской пирушкѣ Андрей Елизаровичъ всегда сидѣлъ подъ первымъ стаганомъ и съ него начинали обносить гостей виномъ. Онъ единственный изъ всей деревни запѣвало и мастеръ играть хоро-

шія „проголосныя“ пѣсни, — какихъ современная молодежь и не слыхивала; онъ страстный рыбакъ и, къ довершенію всего, не обходимый человѣкъ для всякой доброй хозяйки: безъ него ни одна печь не была бы въ надлежащемъ видѣ и состояніи, такъ какъ онъ только одинъ умѣлъ исправлять всякіе печные изъяны, причиняемые топливомъ и временемъ. Онъ былъ родственникомъ Вавилѣ Семеновичу, закадычный другъ со старою и пріятель со всѣми мужиками въ деревнѣ... Но при всѣхъ своихъ достоинствахъ, Андрей Елизаровичъ имѣлъ нѣкоторыя слабости. Онъ былъ горденекъ, насмѣшливъ и держался вольнаго образа мыслей на счетъ паспортной системы.

— Рассейскій настоящій я человѣкъ, — говорилъ онъ во всеуслышаніе и не стѣсняясь ничѣмъ присутствіемъ, — въ ней, матушкѣ, я родился и въ ней косточки свои похороню, а безъ этого ярлыка, али билета, что ли, мнѣ не позволительно даже въ свой городъ пріѣхать и пожить въ губерніи. Почему такъ? Позвольте-съ! Я — Андрей Хромой, житель деревни Бережковъ, Урвixinской волости, такого-то уѣзда и своей губерніи. „Кажись свой видъ!“ Да я — то самъ развѣ не видъ? А кто я такой, я вамъ сказывалъ. „Мало этого“, говорятъ: „представь намъ билетъ, и мы тебя пропишемъ.“ — „Такъ для васъ только ярлыкъ важенъ, а человѣкъ-то самъ? Человѣкъ, значить, ничто по вашему!.. Такъ я вамъ прямо объявляю, что ярлыка при себѣ никакого не имѣю и впредь имѣть не желаю, а потому арестуйте, ежели вы имѣете такія права: сдѣлайте ваше одолженіе, — я сію минуту готовъ“.

Такіе взгляды Андрей Елизаровичъ поддѣржывалъ дѣломъ; куда бы онъ ни шелъ, ни ѣхалъ, вида онъ себѣ никогда не выправлялъ. Въ своемъ губернскомъ городѣ, куда онъ ѣздилъ снимать у казны озеро, разъ его совсѣмъ было задержали и хотѣли посадить въ кутузку. Городовой привелъ „безпаспортнаго“ въ полицію и представилъ начальству. Частный приставъ, не удостоивъ взгляда „бродягу“, сдѣлалъ только энергическій жестъ и гнѣвно произнесъ: „посадить!“ Хромой на это приказаніе вѣжливо откашлянулся. Приставъ поднялъ голову и метнулъ на безпаспортнаго молніеносный взоръ. Тотъ поклонился „Ты что?“ — Съ покорнѣйшей просьбою до вашей милости. Будьте настолько добры, прикажите и моего коняшку на казенные харчи поставить, а то дворникъ, пожалуй, безъ меня всякое продовольствіе ему прекратить“. — „Ну, ну, поговори еще у меня:

я тебѣ дамъ коняшку! Маршъ!“ — „Слушаю-съ“. — Андрей повернулся и, какъ-то граціозно присѣдая, захромывалъ вслѣдъ за городовымъ; частный, посмотрѣвъ, вдругъ расхохотался и позвалъ его назадъ: „да ты кто такой и откуда?“ Хромой встряхнулъ волосами и далъ о себѣ обстоятельныя свѣдѣнія: — „Природный расейскій человѣкъ, Андрей Елизаровъ, по фамиліи Смѣловъ, а по природнымъ своимъ дарованіямъ — Хромовъ, но зовутъ просто Хромымъ — извоили примѣтить, ваше благородіе, я на лѣвую ногу, — быдто, этакъ малость припадаю? — коренной я житель и крестьянинъ деревни Бережковъ, Урвixinской волости, уѣзда“...

— „Ахъ, ты шутъ хромой!“ — разражаясь новымъ взрывомъ хохота, прервалъ частный пристава. — „Ну, убирайся!“

Съ тѣхъ поръ, когда случалось Андрею Елизаровичу бывать въ городѣ, онъ любезно раскланивался при встрѣчѣ съ знакомымъ приставомъ, который при этомъ не могъ удержаться отъ улыбки, а съ городовымъ даже сошелся на короткую ногу и угощалъ его не разъ чаемъ.

Но эта отрицательная черта въ характерѣ Хромого — отрицательная съ общей точки зрѣнія, такъ сказать государственной, но отнюдъ не деревенской; наоборотъ, Бережки держались одного и того же взгляда съ Хромымъ на „ярлыки“ и явно сочувствовали ему. Но вотъ гордость — эта слабость за нимъ водилась издавна — да еще кое-какіе недостатки, обнаружившіеся въ послѣднее время, не вызывали ничьего поощренія или какой похвалы.

Такъ, будучи отъ природы человекомъ любознательнымъ, но любознательнымъ въ иномъ родѣ, чѣмъ Дарья Зацепистая, — не прочь былъ иногда пофилософствовать и пускаться въ критику деревенскихъ порядковъ.

— Почему это, господа міряне, — говорилъ онъ, — живемъ мы на свободѣ, все равно какъ-бы на дворянскомъ положеніи, а руки и ноги у насъ связаны? Примѣрно, встрѣтилось крестьянину какое-нибудь спѣшное дѣло, нужно ему сейчасъ же произвести въ ходъ, а міръ говорить: „не смѣй, нонѣ у насъ покосъ“.

— Нельзя иначе, — возражали недовольному: — ежели всякъ на особицу станетъ дѣлать, тогда никакого порядка не будетъ.

— Позвольте. Положимъ, сегодня десятскій оповѣстилъ, что завтра міромъ приказано парить. Очень это прекрасно.

Кому способно, тѣ завтра и повезутъ навозъ на поле, а если у кого есть слѣшное дѣло, болѣе для него значительное, чѣмъ пашня, то онъ долженъ бросать все и страждать?

— Не хочешь съ міромъ за одно работать—выписывайся изъ общества и тогда дѣлай, что знаешь и когда тебѣ способно.

— Нѣтъ. Зачѣмъ такъ? Я не въ ту сторону рѣчь веду. Жить надобно обществомъ, потому одинъ человѣкъ озвѣрѣетъ и пропадетъ безъ опоры и заступы, а на міру и смерть красна. Но такъ слѣдуетъ жизнь учредить, чтобы общество мнѣ не препятствовало, ежели я дурного или вреда ему не приношу, и каждый человѣкъ былъ въ своихъ поступкахъ свободенъ, чувствовалъ онъ, что въ немъ есть живая душа...

— Ну, ты нонче что-то мудрено заговорилъ, тебя хорошо слушать сытно наѣвшись, а съ пустымъ брюхомъ ничего не поймешь. Одно скажу: блажь тебѣ въ голову полѣзла.

— Брось, Андрей! не гоже ты сталъ говорить!

Однако, Андрей Елизаровичъ этими внушеніями не пронался; онъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, продолжалъ вести критику и подъ конецъ впалъ положительно въ вольнодумство. Онъ началъ утверждать, что въ дни ихъ заказныхъ праздниковъ работать не грѣхъ и что эти праздники — „палочные“, а не настоящіе, какіе установлены церковью.

Деревня слухала и диву давалась: откуда къ Хромому такая проказа пристала? Еслибы онъ жилъ на сторонѣ, гдѣ въ Москвѣ или Питерѣ, то могъ бы тамъ понабраться разныхъ блохъ, но онъ всю жизнь, — до шестидесяти годовъ прожилъ въ Бережекахъ и дальше своего губернскаго города нигдѣ не бывалъ. Знакомство и хлѣбъ — соль водилъ съ тѣми же почтенными людьми, съ коими и всѣ однокоренцы водили. Правда, годовъ десять тому назадъ, у Храмого жилъ въ свѣтелеѣ лѣто, какъ бы на дачѣ, отставной полковникъ, старикъ; но отъ заслуженнаго человѣка онъ слышалъ одни рассказы про военные походы, баталію да штурмы, а на прощаніе — получилъ въ даръ и на вѣчную память отличную полковническую фуражку, въ которой и щеголялъ сперва по большимъ праздникамъ, а потомъ, когда темнозеленое сукно полиняло и вытерлось, то ходилъ въ ней по грибы и вывозилъ на свою полосу навозъ. Раза два или три наѣзжалъ къ Хромому на рыбную ловлю техникъ съ одной подмосковной фабрики, но отъ того, кромѣ денежной награды за труды и угощенія,

онъ позаимствовалъ только парюю нерусскихъ словъ: „технологическій институтъ“, которыми тоже воспользовался, и пускалъ въ обращеніе, но нѣсколько въ измѣненной формѣ. При всей своей любознательности, книжекъ онъ сторонился и никогда въ нихъ не заглядывалъ по той простой причинѣ, что читать не умѣлъ. Сколько ни пытались мужики съ бабами достучаться, откуда въ Хромомъ взялась этакая нечисть, какъ ни добирались до источника проказы, но ни до чего путнаго не добрались и единогласно порѣшили:

— Видно, блажь-то эта въ немъ — съ рожденія, да пока Хромой былъ молодъ, такъ она въ немъ не сказывалась, долго внутри таилась, а вотъ какъ онъ сталъ въ совершенныя лѣта входить, она и отрыгнулась у него наружу.

— Не иначе, что такъ. А то какъ бы намъ не примѣтить!

Личность Андрея Елизаровича почти выяснилась: отъ человека съ такимъ образомъ мыслей только и надо было ждать необычайныхъ дѣйствій и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ неизбежнаго послѣдствія таковыхъ, — взрыва страстей со стороны населенія.

Утромъ знаменательнаго дня, который лучше всякой лѣтописи сохранится въ памяти деревни, Андрей Елизаровичъ, справивъ кое-что по хозяйству во дворѣ, побѣждалъ за пять верстъ на озеро, которое арендовалъ въ казнѣ. Осмотрѣвъ свою охоту, — все оказалось въ исправности, заглянулъ въ рыболовныя снасти и не нашелъ въ нихъ ни одной стоящей рыбки, — но опытный глазъ рыбака примѣтилъ, что рыба пойдетъ, завтра утромъ онъ вынетъ полныя шахи и отвезетъ уловъ въ село трактирщику, который просилъ его доставить хорошенькихъ линьковъ и карасиковъ. Съ мыслью о предстоящей добычѣ онъ возвращался домой и въ предчувствіи, кромѣ полученія денегъ за рыбу, добраго стакана вина, довольно улыбался и будущее рисовалось ему въ радужныхъ краскахъ. Но тутъ онъ вспомнилъ, что завтра уборка сѣна, и пріятное настроеніе разомъ исчезло...

„Весь день безъ дѣла проболтаешься, — думалъ Хромой, — такъ зря, дуромъ время пройдетъ, а сѣно лежитъ. Экіе у насъ дурачкіе порядки!.. Завтра мнѣ Господь добычу пошлетъ, а я долженъ сѣно убирать“...

Воображеніе снова перенесло его на озеро. Онъ съ трудомъ вытаскиваетъ тяжелые шахи, полные жирными линями, карасями толщиною въ четвертной боченокъ.

„Экая рыба!“—проносится въ головѣ Андрея Елизаровича и сердце въ груди замирало... „Я напередъ угадалъ, что будетъ добыча... Непремѣнно трактирщикъ двумя стаканами потчуетъ“.

Но дѣйствительность, въ видѣ лѣсной мухи, помѣстившейся на носу рыбака, напомнила ему о себѣ и оторвала его отъ сладкихъ мечтаній. Сознавъ муху, онъ принялся раскидывать умомъ, какъ выпутаться изъ затруднительнаго положенія.

„А почему бы мнѣ сегодня не убрать?“... Нѣшто я не воленъ въ своемъ времени, не имѣю права распорядиться своею собственностью? Нужно же имъ когда-нибудь показать, что я полный домохозяинъ и господинъ самому себѣ, могу дѣйствовать самостоятельно... Съѣздить?.. Да, вѣдь, заорутъ галманы-то. Эхъ-ма, ни за что пропадетъ моя рыба! Гдѣ-жъ мнѣ съ нею поспѣть? не до рыбы будетъ, весь день съ сѣномъ пробаталиться“...

Онъ вытеръ рукавомъ пестраевой рубашки свое вспотѣвшее лицо и расправилъ широкую, пепельнаго цвѣта бороду, со щекъ засеребрившуюся.

„Порядки-то хорошо соблюдать тѣмъ, у кого въ домѣ два-три работника—долго-ли имъ повернуться!—а вотъ какъ ты одинъ-то со старухой, такъ поспѣешь-ли за другими, полными хозяевами?.. Нѣтъ, будетъ чужую дурь тѣшить... Довольно съ нихъ!“

Мысль Андрея Елизаровича усердно работала, а съ приближеніемъ къ деревнѣ зрѣло и отважное рѣшеніе. На задворкахъ, гдѣ обыкновенно лѣтомъ стоятъ телѣги, сохи, бороны и проч., взоръ рыбака привлекли къ себѣ роспуски. Усмотрѣвъ, что лѣвая околина поразсохлась, онъ поднялъ камушекъ, валявшійся тутъ же, на землѣ, и принялся имъ постукивать. Въ двѣ минуты роспуски были исправлены. Немного подумавъ хозяинъ, ступилъ шагъ къ навѣсу, досталъ изъ телѣги длинную веревку и, сматавъ ее въ цыфру восемь, кинулъ на роспуски. Постоялъ еще въ раздумѣ, сдернулъ съ головы вытертую шапку, неистово поскребъ въ головѣ и медленно, какъ будто припоминая, не забылъ ли онъ чего еще сдѣлать, заковылялъ по недавно вычищенному, но тѣмъ не менѣе пахнущему навозцемъ, двору прямо къ своей старухѣ... Почему-то изъ широкой груди Андрея Елизаровича, время отъ времени, вырывались не громкіе, но тяжелые вздохи.

Баба Анисья—такъ звали жену Андрея—была старше мужа тремя годами и смотрѣла настоящею уже старухою; худощавая, средняго роста и съ маленькими слезящимися глазками, она двигалась и дѣлала все медленно, зато каждое дѣло у нея не отбивалось отъ рукъ и доводилось всегда до конца, слыла по деревнѣ за хорошую, исправную и заботливую хозяйку, умѣла и лѣчить хорошо, но съ полевыми работами теперь ей трудно было справляться: не хватало силъ. Жили они вдвоемъ только съ мужемъ: сыновьями ихъ Богъ не наградилъ, а дочери выданы замужъ въ чужія деревни. Въ своей будничной, заплятанной паневѣ, синей домашняго тканья курточкѣ и старомъ темномъ платкѣ, который покрывалъ ея голову и скрадывалъ лицо, Анисья перемывала въ теплой водѣ горшки и плошки, когда дверь отворилась, и въ душную избу вошелъ съ какимъ-то другимъ, а не своимъ обыкновеннымъ лицомъ мужъ. Бросивъ въ уголъ шапку и не проронивъ ни одного слова, Андрей усѣлся на переднюю лавку и сталъ глядѣть въ окошечко. Баба Анисья смекнула, что мужикъ чѣмъ-то озабоченъ.

— Ничего, видно, не принесъ, — спокойно проговорила старуха, не глядя на мужа и ставя на полку опрокинутый вверхъ дномъ горшочекъ.

Андрей молчалъ и глядѣлъ въ окно, хотя видѣлъ онъ не переулочекъ и дворъ сосѣда, куда выходили окошки, а свѣтлое озеро, шахи и жирныхъ линей съ толстошубными карасями.

— Ну, въ другой разъ поймашь, — сказала Анисья, словно она получила отвѣтъ на свой вопросъ.

Андрей крикнулъ.

— Мелкой рыбешки много въ шахи набилось, — промолвилъ онъ. — Значить, на утречкѣ завтра крупной си-и-ила пойдеть!

— Ладно, кабы пошла!... Деньжонки-то намъ скоро понадобятся, — послѣзавтра Петра и Павла, праздникъ-батюшка, а на другой день десятскій ужъ и заячить подъ окошками: „несите оброкъ старостѣ за вторую половину!“ По другимъ-то селениямъ оброки послѣ Здвиженья собираютъ, когда Господь приведетъ новаго хлѣбца продать, а у насъ вонъ еще съ коикихъ поръ за душу почнуть тянуть!

Андрей молчалъ. Онъ смотрѣлъ въ окошко, порой встряхивалъ головою, отпугивая надоедливыхъ мухъ, тучами носившихся по избѣ, и всѣми мыслями, всею страстною душою рыбака уносился на милое озеро, обрамленное сосновымъ лѣ-

сомъ, подъ ясное утреннее небо, съ котораго бьютъ и льются потоки молодого свѣта.... Экая благодать! А рыбы-то, рыбы какая сила!... И вдругъ ему представилось, что всѣ рыболовныя снасти фабричными поломаны и рыба изъ нихъ выбрата (работіе съ ближней фабрики частенько рыбу у него воровали)!.. Теперь—конецъ послѣднимъ колебаніямъ, онъ рѣшился, и рѣшился безповоротно!

— А знаешь чтѣ, баба! — круто повернувшись на лавкѣ, сказалъ онъ женѣ. — Я нонѣ хочу сѣно перевезти....

— Ой! Да годно ли ты это удумалъ, Ондрей?

— А кто же посмѣетъ мнѣ запретить? Я своему времени полный господинъ, и могу свое добро убрать, когда мнѣ сподобно... Э! да никакъ тучка наверхулась?

Старуха посмотрѣла черезъ стекло на небо.

— Вѣрно. Съ полуденной стороны подымается... Какъ бы сѣно-то у насъ не перемочило?...

— Такъ я-же сичасъ ѣду! Живой рукой скомандую, — соскочилъ съ лавки, быстро снялъ съ гвоздя полковничью фуражку и махнулъ въ дверь. — Можетъ, до дождя возокъ успѣю перевезти, — добавилъ онъ изъ сѣней.

— Обѣдъ-то затянется...

— Поспѣемъ! Я — махомъ оберну...

— Ну, какъ знаешь — ты мужикъ.

Вывелъ хозяинъ своего гнѣдка на задворки, проворно запрегъ его въ роспуски, и, схвативъ ведерко, побѣжавъ на колодезь.

— Куда ѣдешь, Андрей Елизаровичъ? — послышался знакомый голосъ.

— Сѣнца хочу возокъ перевезти...

— Ну? — воскликнулъ перевозчикъ. — Такъ и мнѣ не посылать ли Оедюшку... Право слово?

— Твое дѣло... Попей, гнѣдушка, — подставляя ведро подъ лошадиную морду, говорилъ Андрей. — Господи Іисусе... пей, милый, пей!

— А я пошлю своего парня, — сказалъ Матвѣй. — Того жди, дождь къ вечеру соберется. Тучки ужъ показиваются, — только сію минуту одна скрылась.

— Напился? Не хочешь больше, — промолвилъ Андрей и, выплеснувъ на землю остатокъ воды, бросилъ ведерко въ тѣлу. — Теперь мы готовы...

- А мужиковъ ты не опасешься?—спросилъ Матвѣй.
— Чего? Я, чай, не за худымъ чѣмъ, а за своимъ добромъ ѣду.
— Справедливо. Въ добрый тебѣ часъ!... А сейчасъ, за тобой же слѣдомъ, Оедюшку своего погоню.
Крылья затрещали, и роспуски покатались,

IV.

— Сбивай наро-одъ! Слышь? Десятникъ! — доносился на улицу откуда-то, словно бы изъ нивѣсть какой дали, голосъ старосты. — Да остановись же, разбойникъ, дай хоть слѣзть-то... Марья, возьми его подъ уздцы, поддержи жеребенка-то. Вишь онъ, песъ, колоду-то увидѣлъ и пріостановиться не хочетъ, тащить за собой меня... Десятникъ!

— А ты сперва хоть пообѣдай, батюшка!

— Чтѣ ты говоришь, глупая! — вылѣзши наконецъ изъ зеленой телѣжки и вставъ на ноги въ глубинѣ двора, проговорилъ въ ужасѣ староста Иванъ Егоровичъ. — Развѣ не знаешь, какая завароха на деревнѣ?.. Убери жеребенка, задай ему мѣсева и послѣ овсеца осьмушку всыпь...

— Староста! чтѣ-жъ ты? — взывали съ улицы. — Народъ давно ждетъ... Домашніе безъ тебя знаютъ, какъ убрать коня.

— Бѣгу, бѣгу!.. Вишь, режутъ-то мужики... Не забудь же про овесъ... Да иду, иду!... Какое беззаконство... Дозвольте хоша передохнуть... Совсѣмъ изъ головы вышибло: Марья, на-ка, возьми, спрячь мой бумажникъ!.. Нѣтъ, я не допущу своевольства!.. Десятникъ, сбивай народъ! — выкатываясь изъ двора и показываясь уже передъ мужиками, кричалъ и распоряжался дѣятельный староста.

— Чего напрасно беспокоиться, — сказалъ Михай Антроповичъ: — народъ весь въ сборѣ?

— Да всѣ ли? Законное число домохозяевъ на лицѣ?

— Гораздо больше, чѣмъ требуется.

— Ну такъ инъ ладно. Въ походъ!

Сказавъ, и толпа человѣкъ изъ пятидесяти всколыхнулась, двинулась и повалила за своимъ предводителемъ. Отъ валеныхъ сапогъ, лаптей и босыхъ ногъ поднялась сухая и густая пыль, тучею покрывшая толпу; видѣлись только лица и фигуры

переднихъ,—старосы, Вавилы Семеновича, Михея Антроповича и Василя Васильевича. По сторонамъ толпы, держась ближе строений, точно воробьишки стайками, неслись ребятишки. Сплошной крикъ и брань взрослыхъ, но громче и отчетливѣе раздавались голоса самого начальника и Вавилы.

— Своевольство!.. мошенникъ!.. Нѣтъ, подожди, Хромой!

За ворота поспѣшно выбѣгали дѣвицы. Изъ окошекъ глядѣли бабы.

— Пошли ужъ, пошли! — слышались ихъ голоса. — Ахъ, Хромой, до чего довелъ себя!

Туча валила вдоль улицы, съ сѣвера на югъ, и, быстро достигши середины, поворотила въ проѣздъ къ рѣкѣ. Съ минуту ничего нельзя было разсмотрѣть: словно лихой табунъ промчался деревнею! Но когда пыль нѣсколько поулеглась и воздухъ прояснился, то мужики были уже за воротами.

Тутъ произошла незначительная задержка. Только-что всѣ благополучно миновали ворота и начали было загибать вправо по луку, какъ слѣва выкатились съ трескомъ роспуски и на нихъ парень, сидѣвшій къ мужикамъ спиною.

— Глядите! — крикнулъ Василій Васильевичъ. — Вѣдь, это — перевозчиковъ Ѳедюшка?

— Ой-ли?

Приостановились.

— Да куда онъ?.. Братцы! безпремѣнно Ѳедюшка за сѣномъ гонить.

— Какъ? что ты?!

— А, такъ вотъ почему отчишка-то его, пропоецъ, за Хромова въ защиту давеча со мною вступилъ! — разразился Вавила Семеновъ. — Господа крестьяне, Иванъ Егорычъ, промежду ними обоюдное соглашеніе... Надобно задержать!

— Стой, стой, Ѳедька! — закричалъ староста, замахавъ руками. — Остановись! Я тебя заарестую, мошенника...

Какъ ни сильно трепетали окоины роспусковъ, производя частый и задорный трескъ, Ѳедюшка, здоровый двадцати-трехлѣтній парень и вдобавокъ давно уже женатый, услыхалъ голоса, обернулся и увидѣлъ... Отъ страха ему показалось, что не одной только своей деревни, но со всей волости противъ него мужики выступили. Не промолвивъ слова, дюжій парень круто повернулъ, вскочилъ на роспуски, подобралъ возжи и, нахлеставъ лошаденку, погналъ во весь духъ обратно домой.

— Видѣли?—кричалъ горячій Вавила,—самъ выдалъ себя... не своеволие это, не мошенство?..

— Чего ужъ толковать!—не уступалъ въ усердіи къ мірскимъ интересамъ Василій Васильевичъ.—Съ ними теперь міру просто—бѣда, ожидать надо обчаго замущенія.

— Чтѣ не хорошо, такъ не хорошо,—говорилъ здоровый и довольно-таки плотный Михей Антроповичъ, обливаясь отъ жары потомъ:—дурного нельзя похвалить!

— Н-нѣтъ, я съ тѣмъ, разбойникомъ-то, Хромымъ, справлюсь!—выше остальныхъ поднимался голосъ начальника.—Позабудеть въ другой разъ міръ баломутить, обществу безпокойство причинять!

Промаяхъ Оедюшки подлилъ масла въ огонь.

— Не уйдетъ... Накроемъ!.. Да чего вы?—окликнулъ Иванъ Егоровичъ, оглядываясь назадъ.—Экой вы народъ, братцы мои—увальни!.. Не для стороннихъ, петрушинскихъ, чтѣ-ли, а для себя радѣете: поворачивайтесь, надо, чай, постѣпывать!

Но мужиковъ грѣшно было упрекнуть въ недобросовѣстности: они такъ ходко шли, что спины у всѣхъ отъ усердія и солнца взмокли, по щекамъ стекали ручьи. Ребятенки, не менѣе большихъ усердствовавшіе въ мірскомъ дѣлѣ, бѣжали въ припрыжку, спотыкались и падали; чутьемъ угадывая важность совершаемаго ихъ отцами похода, они сохраняли молчаніе и только разъ, на всемъ пути, обмѣнялись нѣсколькими словами:

— Что теперь дядѣ Андрею будетъ?—спросила одна черномазая дѣвочка, съ живыми умными глазенками.

— Чтѣ?—отвѣтилъ ей мальчуганъ, такой-же цыганенокъ и постарше:—міръ ужъ знаетъ чтѣ... Хорошаго немного Хромымъ получить.

За полверсты отъ деревни мужички отмахали. Сняли картузы съ шапками; кто былъ въ лаптяхъ или валенкахъ—для легкости разулись.

— Поторапливайтесь, міряне!—не давалъ вздоху староста, являя собою образецъ ревности и примѣръ, достойный подражанія.

Мужикъ слишкомъ шестидесяти годовъ, съ чистыми голубыми глазами и свѣтло-русою, кудрявившеюся бородою, въ которой не серебрилось ни одного волоска, крѣпкій, средняго роста, онъ широко шагаль въ толстыхъ кожаныхъ сапогахъ, казинетовомъ сѣромъ кафтанѣ и суконномъ картузѣ; не смотря

на усталость, которую выдавал съѣхавшій на самый затѣлокъ картузъ, сдвинувшіеся на лбу волосы и прерывистое дыханіе, староста отважно, можно сказать съ самоотверженіемъ, велъ къ цѣли мірянъ.

Спустились въ ложбину. Малыши первые начали поотставать. За ними вскорѣ и большіе обнаружили слабость.

— Нѣтъ, больше не въ ногу, — взмолился старикъ Михай Антропычъ: — дайте хоть передохнуть!..

— Не худо-бы и намъ посократиться, — заговорилъ Акимъ Ивановъ, мужъ Дарьи Зацепистой: — не на пожаръ, чай, торопимся, а въ чужое вино міромъ пить!

— Эка, сколько въ тебѣ лѣтъ-то, Акимка! — упрекнулъ мужика староста. — Антроповъ человѣкъ корпусный и въ дѣлахъ — вонъ у него лысина-то, матушка, во всю голову разѣхалась! — а ты сухопарый, какъ жердь, и молодой, да ужъ и приутомился? Постыдился-бы хоть маленько добрыхъ-то людей!..

Молодой Акимъ — ему было всего пятьдесятъ съ чѣмъ-то — вздохнулъ и посмотрѣлъ на старосту.

— Ладно тебѣ, дядюшка Иванъ, такъ разговаривать, — промолвилъ онъ въ свою защиту: — ты вонъ какой сытый да легкій на ногу, а я человѣкъ тощій и притомъ-же хворый... Угоняешься-ли за тобою?

— Молчи, хрипунъ!..

— Да оно это точно, — заговорилъ бывший судья, Алексѣй Семеновъ, — мужики, пожалуй, и дѣло толкуютъ. Больно-то намъ себя надсажать не приходится: Хромой отъ міра не куды дѣнется!

— Экой ты, Алексѣй! — перебилъ начальникъ. — Ондрюшкѣ слѣдуетъ на мѣстѣ захватить... Но ежели народъ взаправду приутомился, такъ можно передышку сдѣлать, полегче маленько идти. Мнѣ что? Я не корысти своей ради, а міру послужить хочу, вашей-же ради пользы стараюсь. Какъ вамъ будетъ угодно, господа міряне!

— Я согласенъ поспѣшать, — подавъ голосъ Вавила Семеновъ. — А впрочемъ — какъ міръ желаетъ, я супротивъ общества не пойду.

Міръ облегченно вздохнулъ, и всѣ, не промолвивъ слова, замедлили ходъ.

Солнце перешло за полдень. Кругомъ стояла тишина; чуть примѣтно зыблелась рѣка, весело глядѣла пойма; младенчески

чисто радовались цвѣты на лугу; въ лиловой дымкѣ тонули далекіе лѣса. Время отъ времени на рѣкѣ всплеснется рыба, блеснувши ослѣпительно серебристой чешуею; со стороны полей, золотившимися высокою рожью, изъ яснаго поднебесья сыпались на землю любовныя пѣсни жаворонковъ, а въ ближнемъ лѣсу, могучемъ и высокомъ, раздавались томные звуки, полные тихой, но глубокой печали: то были послѣднія прощальныя пѣсни кукушки, оплакивавшей улетѣвшую весну.

Не спѣша, „прокладно“ и въ полномъ молчаніи продолжали свой походъ утомленные мужики. Всякое деревцо, всякій кустикъ, попадавшіеся имъ на трудномъ пути, манили подъ свою прохладную тѣнь, и каждый изъ нихъ думалъ: „эхъ, хорошо бы тутъ было отдохнуть часокъ!“..

— Ёдетъ, ёдетъ!

Отъ зычнаго голоса Вавилы Семеновича мужики встрепенулись, устремили впередъ глаза и оживились, разомъ прибавивъ шагъ. Ребятишки также вспорхнули и съ новыми силами понеслись...

— Онъ! Хромой ёдетъ...

Возъ сѣна только-что выѣхалъ изъ лѣса. На возу лежалъ Андрей Елизаровичъ и напѣвалъ пѣсенку; изрѣдка онъ пошевеливалъ возжами, обращаясь съ добрымъ словомъ къ лошади.

— Но, гнѣдушка, но, родимый! Скоро къ дворамъ пріѣдемъ, хозяйка намъ пообѣдать дастъ...

Возъ подвигался и постепенно выросталъ на глазахъ мірянъ.

— Вишь, какой стогъ навилъ! — позавидовалъ Вавила Семеновичъ.

— Ужъ и сѣно же у насъ на рендованномъ лугу уродилось! Непривиданное!

— Кабы этотъ лугъ да нашъ былъ! а? Да не уступить фабрикантъ-то...

— А вы не задерживайте! — крикнулъ староста: — надо поспѣшать...

— Торопиться-то некуда, Иванъ Егорычъ, — отвѣтилъ бывшій судья: — мимо Хромой не проѣдетъ.

— Экой ты, Алексѣй! Поскорѣе управимся, да и ослобонимся... Я нонѣ еще не обѣдалъ...

Возъ между тѣмъ подвигается ближе, явственно слышна протяжная, съ переливами, грустная пѣсенка.

— Поетъ онъ, разбойникъ! — вознегодовалъ староста. —
Словно изъ гостей отъ праздника ѣдетъ... Эй, Хромой, остановись!
Не слышать. Видитъ онъ подступающую къ нему силу,
но знай себѣ полеживаешь и пѣсенку напѣваешь.

— Остановись...

Не останавливается Хромой, плетется съ возомъ потихоньку
гнѣдко.

— Тебѣ я кричу, али нѣтъ...

„А жена мужу взмолилася“...

выводилъ Андрей Елизаровичъ, и въ мягкомъ задушевномъ те-
норѣ слышалось, какъ горько молила жена своего мужа.

„Ты не бей меня со полуденька,
Погуби меня со полуночи—
Какъ сосѣди спать улягутся,
Малы дѣточки приразоспятся“...

— Чтѣ же это, мірянс?—недоумѣвалъ Иванъ Егоровичъ.—
Хромой не слушается... Загороди дорогу, не давайте ходу!..

Нѣсколько человѣкъ кинулись на перерѣзъ возу и схва-
тили за узду лошадей.

V.

Вскинулся на возу Андрей Елизаровичъ, встряхнулъ пыш-
ными волосами и подбоченился.

— Ну, а чтѣ вы теперь со мною будете дѣлать? — крикнулъ
онъ міру. — Нисколько вы мнѣ не страшны, и грозы вашей
я ни чуточки не опасаюсь!

Ребятенки припипились и затаили дыханіе, съ испугомъ
глядя на широкоплечую и грозную фигуру дяди Андрея, а
міръ, какъ воинственно ни былъ настроенъ, обалдѣлъ и на
время лишился употребленія языка. По голосу Хромого, по
осанкѣ, смѣлому и твердому взгляду, какимъ онъ съ высоты
воза обдавалъ народъ, и, наконецъ, по надѣтой на бекрень,
какъ-то по-ухарски, рыжей полковнической фуражкѣ, было для
всѣхъ ясно, что онъ приготовился къ отчаянной оборонѣ и
постоять за себя.

Первымъ очнулся Вавила.

— Староста! Иванъ Егорычъ, чтѣ жъ ты?.. Бери его!

Староста отвѣтилъ на это воззваніе неопредѣленнымъ движеніемъ рукъ, но впередъ шагу не ступилъ.

— Никакъ голосокъ Вавилы Семеныча? — заговорилъ Хромой и снялъ фуражку. — Почтеніе сродственничку любезному! — раскланялся онъ, усѣвшись преспокойно на возу. — Ну-ка, попытай, — у тебя обѣ ноги прямы и руки длинны — сыми меня, Хромого-то!.. Эхъ ты, скотинка согласная!

Вавила Семенычъ всклопнулъ себя по бедрамъ. — Вотъ тебѣ на!.. Самъ на мошениствѣ пойманъ, а другихъ поносить!..

— Придержи языкъ, Вавила! — осадилъ рѣдственника Хромой. — Въ какомъ такомъ мошениствѣ ты меня изобличаешь? Смотри, за неосторожное слово отвѣчать бы не пришлось!

Тутъ выступилъ съ рѣчью Василій Васильичъ:

— Чтѣ-жъ это, господа общество, — началъ онъ, ни на кого самъ не глядя, — Андрей будетъ надсмѣхаться, а мы и остановить его не смѣемъ! Ежели предоставить ему полную волю, такъ онъ всѣхъ насъ словами изурочить... Надобно это прекратить... Староста, — твоя обязанность — дѣйствуй...

Въ предприимчивости и мужествѣ Ивана Егоровича не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія, — кто же не видѣлъ, съ какой отвагою и стремительностью ринулся онъ въ походъ и даже велѣлъ остановить Хромого; но, встрѣясь лицомъ къ лицу съ врагомъ и получивъ отъ послѣдняго неожиданный отпоръ, онъ совершенно растерялся, и какое-то смутное чувство опасенія овладѣло его душою: „а ну, какъ мужикъ въ своемъ правѣ“?.. Вотъ почему въ данную минуту, проявленія его власти ограничивались одними неопредѣленными движеніями рукъ и безмолвнымъ тарашеніемъ глазъ на Андрея Елизарова. Напоминаніе объ обязанностяхъ и приглашеніе къ дѣйствіямъ открыли старостѣ ротъ.

— Ондрей, — началъ онъ скорѣе заискивающимъ, чѣмъ начальническимъ голосомъ: — чтѣ ты озорничаешь? Нѣшь такъ дозволяется?..

— Сказано ужъ вамъ: нисколько я васъ не боюсь, и никакой власти надо мною вы не имѣете! — отрѣзалъ Андрей. — Какъ только вамъ не стыдно, братцы, съ такими-то бородами, да сѣдымъ волосомъ въ головѣ, передъ молодымъ народомъ и ребятешками себя конфузить, — поучалъ онъ міранъ: — цѣлой деревнею на одного человѣка вышли!.. Напрасно вы

еще огороды не разломали да съ кольями меня не встрѣтили... Промашечку большую вы сдѣдали!

Михей Антропычъ, обливаясь потомъ, тихою посмѣивался, хоронясь за спины высокихъ мужиковъ; бывший судья, Алексѣй Семенычъ, закрывалъ рукою бороду; молодые крестьяне, приличія ради, глядѣли въ землю, а лица малышей сіяли и глазенки ихъ, устремленные на дядю Андрея, играли весельемъ.

— Однако, мнѣ пора ко двора, — объявилъ Андрей Елизаровъ: — и гнѣду на припекъ-то надоѣло стоять, — вишь, онъ, щельмецъ, головой какъ помахиваетъ: пора, молъ, хозяинъ, ко двора! — да и у меня на брюхѣ словно бы горохъ катается... Вы, вѣдь, пообѣдавши, господа міряне, а я съ утра не ѣвши... Ну-ка, посторонитесь, молодчики! — оборотился онъ къ стоящимъ около лошади, подбирая веревочныя возжи. — Поберегись, шаршавый! — прибавилъ, относясь уже исключительно къ одному Василю Васильевичу: — не ровенъ часъ, не наступилъ бы на тебя гнѣдко — раздавить, пожалуй!

Ребятенки всѣ цокотились со смѣха, Алексѣй Семеновъ метнулся въ сторону, и кругомъ послышались странные звуки: точно икота на добрую половину мужиковъ напала. Только немногіе, такъ сказать, столбы не пошатнулись и выдержали искушеніе.

— Чтѣ жъ это такое? — заговорилъ Вавила Семеновъ. — Пошли мы по важному общественному дѣлу, хотѣли прекратить самовольствіе и заарестовать челоуѣка, а на повѣрку выходитъ, что насъ только для одного смѣху гоняли да парили!

— Теперь на улицу хотѣ не показывайся, — бормоталъ Василій Васильевъ: — Хромой за все насмѣхаться станетъ.

— Онъ ужъ доймае, — говорилъ Михей Антропычъ, не переставая про себя посмѣиваться.

— А пропоецъ-то, Матюшка! — взревѣлъ Вавила: — проходу никому не дастъ, засрамитъ...

— Правда, Матвѣй Антипычъ на языкъ дерзконекъ, — вставилъ слово братъ Вавилы, Алексѣй Семеновъ: — дѣйстви-тельно, онъ теперь насъ прозолотитъ!..

Староста по-очередно глядѣлъ на мужиковъ, двигалъ руками и положительно не зналъ, чтѣ ему дѣлать... Глаза его остановились на длинномъ, безбородомъ и съ большимъ ртомъ лицѣ высоченнаго парня, который вмѣстѣ съ другими стоялъ у лошади и предобродушно смѣялся.

— Ты что, дуракъ, зубы-то скалишь! — накинута на него Иванъ Егоровичъ, воспользовавшийся случаемъ сорвать досаду на самого себя за ненаходчивость и вмѣстѣ показать міру, что начальство не бездѣйствуетъ. — Умные люди сообразиться не могутъ, а ты смѣешься!..

Парень попробовалъ оправдаться.

— Я, дядюшка Иванъ, ничего, ей-Богу, право, ничего, — заговорилъ онъ и еще больше обнаружилъ свои длинные крѣпкіе зубы. — А что у меня, когда я ротъ маленько пріоткрою, ровно бы улыбочка легкая на устахъ играетъ, такъ это у насъ въ роду такая примѣта... Я, было, собрался тебя поспрошать, что, молъ, не ослобонить ли гнѣдка-то, — дядюшкѣ Андрею, слышь, обѣдать больно хочется?..

— Ахъ, ты чортъ — лѣшій!..

— погоди, Иванъ Егоровичъ, — перебилъ Хромой — Парень-то дѣло сказалъ. Распусти ты свое войско,пусти!.. Гляди, замаялись они, да и самъ-то весь измотаешься. Вѣдь умнѣ Ванюхи, какъ вы много ни трудите свои головушки, ничего вамъ не придумать...

Огромный ротъ Ивана открылся, и на „устахъ“ снова „заиграла улыбочка“.

— До пріятнаго увиданія, почтенное общество! — заключилъ Хромой и дернулъ поводьями.

— Стой! стой, — заревѣли. — Иванъ Егоровъ!.. Староста!.. Нѣтъ такъ можно?.. Хромой ужъ отъѣзжаетъ...

Непокорность и насмѣшливость Хромого, съ одной стороны, и настойчивость міра, съ другой, на этотъ разъ заставили старосту подбаться. Въ самомъ дѣлѣ: начальство — и бездѣйствуетъ! Мужики замѣтять въ немъ эту слабость: не ловко! Онъ рѣшилъ, поискалъ кого-то глазами и крикнулъ:

— Олексѣй!

— Ась? — отозвался не очень ужъ близко тотъ. — Что, ахъ я тебѣ зачѣмъ понадобился?

— погоды! Я самъ до тебя дойду... А ты, Иванко, не сходи съ дороги... Шаршавый, держи подъ уздцы гнѣдка.

Андрей Елизарычъ, посиживая на душистомъ сѣнѣ, соверпалъ, надо полагать, красоту окружающей природы и внималъ голосамъ, раздававшимся кругомъ въ ложбинѣ. Приказаніе старосты дало ему поводъ бросить пріятелямъ нѣсколько словъ.

— Вотъ, міряне честные,—встряхнувъ мягкими волосами, не перестававшими до шести десятковъ завиваться въ локоны, началъ Хромой:—безъ всякаго умысла я слово-то сичасъ обронилъ, анъ-гляди-косъ! — оно и пригодилось доброму человѣку, въ дѣло онъ его произвелъ. Слышали, какъ начальникъ Василья Васильича повеличалъ: „держи гнѣда, шаршавый“?

Большинство взрослыхъ отшатнулось въ сторону, здоровый Иванъ припалъ лицомъ къ шеѣ лошади, а малыши разлились такимъ-то звонкимъ и веселымъ смѣхомъ, что и пойма съ рѣкою, и богатырь лѣсъ, и прозрачно голубой воздухъ подхватили этотъ дѣтскій смѣхъ и повторили его на разные голоса.

— Чему это паршивые-то смѣются? — любопытствовалъ Иванъ Егоровичъ, вступившій съ бывшимъ судьей въ совѣщаніе.

— Поди, Хромой что-нибудь счудилъ.

— Экой жидъ Ондрюшка!.. Такъ, что ты присовѣтуешь: арестовать Хромого, что-ли, какъ міръ желаетъ, али наложить штрафъ?..

— Ваше дѣло,—отвѣтилъ Алексѣй Семеновичъ, — поступайте, какъ знаете: вы—начальникъ.

— Аль за арестъ-то отвѣчать заставляютъ?

— По моему, словно бы, аресту Хромой не подлежитъ...

— Я то же самое полагалъ. Вотъ инъ какъ мы съ нимъ поступимъ...—и благоразумный староста, приблизясь къ самому уху совѣтника, прибавилъ что-то шепотомъ.—Гожо ли?

— Дѣло ваше... Какъ здѣшнее обноковеніе, крестьянскіе обычаи...

— Да ладно я удумалъ. Живетъ.

Совѣщаніе окончилось. Староста почувствовалъ себя на высотѣ своего призванія и поспѣшно, колесомъ, но не безъ достоинства, подкатился къ роспускамъ. Остановившись сбоку воза и закинувъ кверху голову, онъ началъ дѣло прямо съ опредѣленнаго строго вопроса.

— Он-ндрей! гдѣ ты законъ такой читалъ, чтобъ въ неурочное время и самовластенно увозить съ пожни сѣно?

Андрей Елизаровичъ, съ не менѣе строгою опредѣленностью, почтительно отвѣчалъ:

— А ты, господинъ староста, гдѣ такой законъ вычиталъ, чтобъ хозяину не дозволялось распоряжаться собственностью?

— Ты это оставь. Знаешь, я отродясь никаких законовъ не читалъ, потому какъ грамотѣ родителями поучень не былъ.

— А я, скажи, въ какомъ палаточническомъ авститутѣ законы-то эти произошелъ? Кажется, мы оба съ тобою равное отличие имѣемъ: какой ты грамотникъ, такой и я.

— Брось шутки. Не къ мѣсту здѣсь .. Поверни лошадеку и отвези сѣно обратно, свали на прежнее мѣсто.

Хромой весело одобрилъ распоряженіе начальника.

— Вотъ это ты чудесно придумалъ! Ну-ка, Иванъ Егорычъ, навей самъ возикъ, да и покажи собою примѣръ... Только я, напередъ твоей милости докладываю, своего воза назадъ не повезу.

— Да какъ ты, мой, не повезешь, — началъ уже горячиться староста, а когда онъ горячился, то вставлялъ въ рѣчь слово „мой“, — ежели, тебѣ приказываютъ? Обязанъ ты старшимъ повиноваться, али ты это испровергаешь? За ослушанье же и озорство свое ты повиненъ, по закону, штрафъ внести: на благоустройство и безпокойство, какое ты начальству и обществу причинилъ, предлагаю съ тебя на полведра...

Андрей Елизарычъ свиснулъ и поскребъ у себя въ затылкѣ.

— Э-эхъ, парень!.. Огрѣлъ-же ты меня своимъ закономъ, словно дубиной по башкѣ-то съѣздили!..

— О-он-ндрюшка, не смѣйся... Ты, мой, выходишь, супротивникъ и ослушникъ... Поворачивай и вези, а тебѣ приказываю!

— А я тебѣ отвѣчаю: не повезу!

Вавила Семеновъ не вытерпѣлъ.

— Видано ли такое беззаконство!.. Перемѣшалъ всѣ жеребея, самовластно увезъ сѣно и кориться не желаетъ.

— Вѣрно, жеребея перемѣшалъ! — дружно подхватили голоса. — Теперь и не доберешься, гдѣ чье сѣно, все перепуталъ...

— А вы были на мѣстѣ, видѣли? — храбро отражалъ удары Хромой. — Побезпокойтесь, сдѣлайте вашу милость, сбѣгайте на пожню, доглядите хорошенько, а потомъ ужъ и галдите, что жеребья перемѣшалъ.

Староста изъ себя выходилъ.

— Ты, мой, не разговаривай!.. Покоряйся... Он-ндрюшка! Хромоногий дьяволъ, чортъ, лѣшій!..

— Неужъ, братцы, это староста такъ лается? — наклоняясь съ воза и обводя глазами мужиковъ, промолвилъ Андрей Ели-

заровить.—Постыдись, Иванъ Егоровъ! какой ты ни на есть начальникъ, хопша гнилымъ лыкомъ шитый, а все же ты, по глупости напей, начальникъ, и тебѣ по-собачьи зыкать не подобаетъ.

Искра упала въ пороховъ.

— Ахъ, ты подлець, мошенникъ!—завопилъ Иванъ Егоровъ.—Ты, мой, мой... Господа жители, миръ честной! Хромой всѣ наши порядки ниспровергаетъ, онъ самый зловередный человекъ для общества... Его, мошенника, — вонъ изъ нашего жительства!..

Зловередный человекъ повелъ плечами, слегка подался впередъ корпусомъ и не громко, но довольно отчетливо проговорилъ:

— Подлецомъ и мошенникомъ пока никто еще меня не обзывалъ, а что до прочихъ, какіе у насъ, на деревнѣ, мошенники или грабители, то—слушокъ давно идетъ — водятся такіе... Но по имени и отчеству назвать ихъ у меня духу не хватаетъ.

Только и всего сказать, больше слова не прибавилъ, а на умы и сердца воздѣйствіе большое произвелъ. Одинъ богатѣй вспыхнулъ, словно пламя, другой сдѣлался темень, какъ осенняя ночь; остальные всѣ потупились, принялись одергивать на себѣ рубашки и перевязывать пояски. Нѣсколько секундъ длилось тяжелое молчаніе.

Пронзительный, точно какой птичій голосъ, нарушилъ эту мертвую тишину.

— Сваливай возъ!

Отлегло у міра, словно гора съ плечъ свалилась.

— Давно бы ты вотъ такъ-то!—обрадовались мужики.—А то сколько времени занапрасно пробатались!

— Не смѣете! — крикнулъ Андрей. — За самоуправство отвѣтите...

— Чего вы стали?—тѣмъ же пронзительнымъ голосомъ, трясаясь и задыхаясь отъ злости, кричалъ на мірянъ староста.—Сваливайте!

По лицу Андрея Елизаровича пробѣжали тѣни, и онъ неожиданно поблѣднѣлъ... Десетки рукъ потянулись въ роспускамъ, возъ со всѣхъ сторонъ окружилъ, поднялся гамъ смѣшанныхъ голосовъ... Еще разъ на верху промелькнула военная фуражка, блѣдное лицо съ вздрагивающими губами; потомъ кто-то ска-

тился съ вoзa, упaлъ нa зeмлю... Брaнь, хoхoтъ и вeсeлныe кpики...

— Ближe къ кaнaвѣ, съ дopoги oттaщи!.. Бepись! Пoдымaй...

— Вoтъ нaдo кaкѣ!—вeсeлѣe и энepгичнѣe всѣхъ дѣйствoвaлъ пapень Ивaнъ, „кoтopый жeлaлъ oтпyститъ дядюшкy Aндрeя пooбѣдaтъ“.— Зa oкoлинy! Нy? Нaвaлись! Xa-xa-xa!..

VI.

Пoкa мiръ yпpaвлялся съ нapyшитeлeмъ пopядкa, дepeвня, въ лицѣ пpeдстaвитeльницѣ жeнскoй пoлoвины, нaхoдилась въ сaмoмъ нaпpажeннoмъ сoстoяніи дyxa и нeскaзaннoй тpeвoгѣ.

Извѣстнo, чтo бaбы нaрoдъ чpeзвычaйнo лyбoпытный, a тyтъ eщe—тaкoй нeбывaлый слyчaй! Xотѣлось пoскopѣe yзнaть pазвязкy, всѣ были стpашнo вoзбyждeны и oзaбoчeны... Пoлoжимъ, съ oднимъ чeлoвѣкoмъ пoлcoтни спpавятcя, oпacaтcя, кaжeтcя, зa мyжeй и cынoвeй нeчeгo... Нo ктo-жe знaeтъ, чтo y Xpoмoгo нa yмѣ? Yжe eсли oнъ, cpeди бѣлoгo днa и нa глaзaxъ y житeлeй, нe пoбoялся cамoвoльнo oтпpавитcя зa cѣнoмъ, тo нaвѣpнo пpo всякій слyчaй чѣмъ слѣдyeтъ пoзaпaccя, чтoбы нe дaтъ ceбя въ oбидy... Кcтaти тyтъ вcпoмнили, чтo бaбкa Aниcья лѣчитъ oтъ „глaзa“, „ypoкoвъ“, „пocтpѣлa“, лѣчитъ oднoй вoдoю: зaчepпнeтъ кoвшъ, yйдeтъ зa пeчкy или въ cѣни, пoшeпчeтъ тaмъ и дaтъ бoльнoмy нaпитcя, пoтoмъ лицo eмy yмoeтъ—и чeлoвѣкъ здopoвъ! Пoгoвapивaли пpo cтapyxу, чтo „нe cпpocтa“ oнa всякіe нeдyги пpoгoнaeтъ: „кoe-чтo“ oнa знaeтъ и съ тѣми знaкoмa... Дapья Тpoфимoвнa пpямo-тaки yтвepждaлa, чтo Aниcья Xpoмoгo—кoлдyнья, и чтo этo нe нaпpacлинa нa cтapyxу, a cyщaя пpавдa-иcтинa, чтo Зaщeпистaя coбcтвeнными глaзaми и yшaми въ тoмъ yбѣдилась („coхpaни Гocпoдъ и пoмилyй, чтoбы я грѣхъ нa дyшy пpинялa—нe тoлькo cкaзaтъ, нo и пoмыслитъ-тo o чeлoвѣкѣ дypнo“!). Вышлa oнa paзъ лѣтнeй нoчью, „въ cамyю-тo, чтo ни eсть глyхyю пoлнoчъ“, нa зaдвopки („пpиснилoсь, чтo пecтpая oвцa co двopa cбѣжaлa“), идeтъ и мoлитвy пpo ceбя твopитъ: „жyткo нѣшъ и нoчъ тee-мнaя пpeтeмнaя, зги нe видaтъ“, идeтъ, и вдpyгъ ей пpeдстaвилoсь: нa пpoгoнѣ, y кoлoдцa Xpoмoгo, cтoитъ жeнщинa, въ oднoй pyбaшкѣ, вoлocы нa гoлoвѣ pacпy-

щени, размахиваетъ вѣнникомъ и „ячить, да не хорошо таково ячить, по-лѣшину“¹⁾:

„Полуно-о-очные, совосто-о-очные,
Уносите, за край морей!
А полу-уде-нные, за-ападные,
Со частымъ дождемъ, прилетайте-ка!“

Какъ тогда не рѣшилась отъ страха жизни Дарья Трофимовна,—она сама послѣ долго не могла на себя подивиться,—но успѣла, однако, перекреститься и крикнуть: „да воскреснетъ Богъ, и разыдутся враги Его“ (Защепистая держалась австрійскаго толка)—и женщина пропала. „А это, бабы, Анисья-то съ вѣтромъ колдовала!“ полушепотомъ и таинственно заключила свой рассказъ Дарья. „И, вѣдь, по ея вышло: на утро съ западной и полуденной стороны пришли тучи, такой хорошій да теплый дождикъ пролилъ, что и хлѣбъ весь поднялся, и трава поправилась, а грибовъ, грибовъ за день выросло,—по три плетушки на каждую избу набрали!“ Давненько этому дѣлу было,—лѣтъ двадцать слишечкомъ—такъ что многіе даже озабыли; но теперь разомъ всѣ вспомнили и пришли въ смятеніе.

— Непремѣнно бабка чтó ни то подѣлала,—заговорили тревожно. — Развѣ бы Хромой посмѣлъ, еслибы ничего-то?.. Ну, какъ она мужикамъ глаза отведеть, или съ вѣтра чтó напустить, навожденіемъ какимъ пужать? Долго ли до грѣха! Чтó намъ тогда съ полоумными-то будетъ дѣлать? Пропадемъ!

— Ничего вамъ съ ними не придется дѣлать, а вотъ они-то чтó съ вами сдѣлають, коли домой не своимъ образъ придутъ?—разжигала бабъ Защепистая.

— Ой, не пужай!.. Ужъ не побѣжать ли намъ за мужиками-то?..

— Дѣло говоришь! Побѣжимъ-ка поскорѣй!

Дарья Трофимовна строго посмотрѣла на бабъ:

— Загорѣлось?—промолвила. — Терпѣнья, видно не хватаетъ дома подождать,—захотѣлось на пожнѣ мужниныхъ кулаковъ отвѣдать?..

— Ахъ, Трофимовна! да, вѣдь, изнадесядепсья, не вѣдаючи, чтó у нихъ съ Хромымъ... Хоть бы однимъ глазкомъ взглянуть!

— Иванка-то, Иванка мой ни за чтó пропадетъ!—сокрушалась одна длинноносая, не старая еще женщина, Вивея

¹⁾ Ячить—плачетъ, причитаетъ, востъ.

Тихонова. — Пахомка въ солдаты уйдетъ, а Иванко... Куда я дѣнусь, одна сирота, куда преклоню свою голову?

Зацепистая что-то соображала.

— Нѣшто ужъ мнѣ для васъ потрудиться?—начала она...

— Ма-атушка! что, что ты удумала?..

— Не орите! Надо осторожность соблюдать—вонъ старики вышли. Слушайте: колдовства бабкина мнѣ не отвести,—я женщина богобоязливая и съ нечистымъ не знаюсь,—а что тамъ у мужиковъ съ еретикомъ будетъ, можетъ, увижу и про все я вамъ повѣдаю.

— Радѣльница ты наша!.. Да какъ тебя Господь сподобляетъ!

Дарья Трофимовна посвятила бабъ въ тайну и прибавила:

— Лѣстницу только новыше достаньте и тихоно въ проносите туда.

Близъ огороднаго плетня, на зеленомъ горбылѣ стоялъ исполнѣ вязъ, древность котораго восходила къ доисторическимъ временамъ Бережковъ, толщиною въ четыре или пять обхватовъ рослаго мужика. Въ этомъ старомъ великанѣ, на высотѣ аршинъ десяти, было хорошее дупло, въ которомъ легко укрывались по двое здоровыхъ парней, съ невинной цѣлью подслушать секреты дѣвицъ, любившихъ въ праздники собираться подъ широкую тѣнь многовѣтвистаго дерева и вести бесѣды. Едва мужики и сторожа скрылись въ первыхъ кустахъ, изъ воротъ проѣзда показались Вивей Тихонова съ молодою снохою, женою высоченнаго Ивана, неся за концы длинную лѣстницу; за ними, въ нѣкоторомъ отдаленіи, выступала Дарья Трофимовна, покрытая по самыя глаза темнымъ платкомъ. Какъ только лѣстницу приставили къ вязу, Зацепистая стремительно кинулась и подбѣжала къ возу, перекрестилась и черезъ минуту очутилась въ дуплѣ.

— Отнимите лѣстницу, и сами къ сторонѣ поотойдите, а то не навернулся бы на грѣхъ кто изъ мужиковъ,—выглянувъ изъ дупла, распорядилась Дарья Трофимовна.—Опрічь стариковъ, на деревнѣ челоуѣкъ пятокъ еще осталось и Матюшка перевозчикъ,—засрамить, ругатель, ежели онъ пронохаетъ!

— Не опасайся! Мы тебя соблюдемъ, голубка... ты почаще только вѣсти подавай, а мы тѣмъ временемъ будемъ...

— Да ужъ стану оповѣщать, коли взялась за дѣло... Отходите скорѣ!..

Бабы съ лѣстницею отошли; „голубка“ сдѣлалась невидима.

Лучшаго мѣста для наблюденія желать было невозможно. Изъ дупла открывался весь лугъ съ кучами деревьевъ и кустами, замыкавшійся на концѣ могучимъ лѣсомъ; справа, за околицею деревни, чернѣлись бани, мимо которыхъ пролегала, желтѣясь, къ ближней фабрикѣ песчаная дорога, прятая въ тотъ же лѣсъ; слѣва, широкою дугою поворачивала голубая рѣка, сіяя на солнцѣ, разстилалась красавица пойма, синѣлъ дальній лѣсъ и краснѣлась высокая труба другой, пришоссейной фабрики. Благодаря такимъ выгоднымъ условіямъ обсервационнаго пункта, занятаго Дарьею Трофимовною, представлялся широкій просторъ какъ для наблюденій ума, такъ и для работы свободного творчества счастливо одаренной натуры. Съ большимъ удобствомъ Зацепистая расположилась въ просторномъ дуплѣ и немедленно принялась „за дѣло“.

Изъ огородовъ, время отъ времени, уже поднимались надъ плетнемъ озабоченныя лица и слышались осторожные голоса:

— Что видишь?

— Пока однихъ мужиковъ, — отвѣчалъ голосъ изъ дупла: — бѣгутъ.

— А тою — еще не знатко?

— Не видать.

Минуты на двѣ — на три лица скрываются и голоса замолкаютъ. А потомъ снова:

— Теперь что видишь? — спрашиваютъ.

— Поснимали съ себя одѣжу, стаскиваютъ картузы, шапки...

— Аль Богу молиться хотятъ?

— Врядъ. Сильно взопрѣли. Ужъ очень усердствуютъ, не жалѣютъ себя.

Затихнетъ. Немного погодя, опять сдержанный голосъ отъ плетня:

— Все ли благополучно, голубка? — слышится.

Невидимая голубка отвѣчаетъ:

— Знай, дупятъ... Въ ложбину спустились... Освѣтило!..

— Ай! не навожденье-то ли ужъ бабкино зачалось?

— Нѣтъ. Михеева лысина освѣчаетъ... Убавили ходу...

Шибко измаялись.

— Вишь, сердечные!

Спустя еще нѣсколько времени, голосъ изъ дупла провѣщаль:

— Гора изъ лѣса выкатилась, а на горѣ медвѣдь лежитъ, лапу сосеть.

— Владычица! съ нами крестная сила?.. А мужики?..

— Отъ ужаси, должно, въ разсудѣи они помутились. Надали, бѣгутъ на встрѣчу... Господи Исусе!.. Вотъ оно, навожденіе-то бѣсовское: замѣсто горы съ медвѣдемъ, — теперь ужъ возъ съ сѣномъ и на немъ Хромой лежитъ.

— Эко, эко чтò, родимая! Въ разныхъ видахъ, значить, оно представляется!...

А на улицѣ, противъ большого двухъэтажнаго дома Шабаловыхъ, у палисадника, расположились на лавочкѣ старики, бывшіе москвичи, питерщики и люди вообще бывалые. Гдѣ бы имъ въ такую пору печься на солнышкѣ, спали бы они въ прохладномъ мѣстечкѣ послѣобѣденнымъ сномъ, но сейчасъ и они бодрствуютъ, перемогаются и скорбятъ... Нельзя, дѣло большое на міру стряслось! Около нихъ стоятъ и тѣ мужики, которые почему-то уклонились отъ участія въ мірскомъ походѣ. (Не видать было одного Матвѣя Антипыча Смуглова: послѣ неудачной попытки Оедюшки, онъ съ огорченія залѣзъ на чердакъ своего дома и выглядывалъ изъ круглаго окошечка, въ чаяніи что-нибудь услышать или увидѣть).

— Никакъ я не могу постигнуть, — съ чего Андрею Елизарычу эдакая блажь въ голову ударила? — склонивъ веснущатое лицо, съ выпѣвѣвшей длинною бородою, недоумѣвалъ Иванъ Никифорищъ, одѣтый въ легкій бѣличій тулупчикъ, въ желтыхъ съ пунцовыми мушками валеныхъ сапогахъ и большомъ, на ватѣ, бархатномъ картузѣ гранатнаго цвѣта. — Человѣкъ онъ ужъ не очень чтобы молодой, и въ его годахъ, братецъ мой, да въ такое малодушество впасть! Мудреная задача!

— Просто'сдурился мужикъ, — раздражительно проговорилъ Шабаловъ, параличный старикъ, съ подвязанной рукою.

Дѣдушка Антипъ Власевичъ говорилъ:

— Видно, родимые мои, чтò времена и лѣта, то и люди на семь свѣтѣ: время впередъ идетъ, годъ на годъ не походитъ, такъ и человѣки въ теченіе своей жизни измѣняются. Андрей Елизарычъ изъ ряда другихъ никогда не выходилъ, шелъ за-всегда съ міромъ согласно, а вотъ, достигнувъ совершенныхъ лѣтъ, удумалъ отколоться и повести себя на особицу.

Въ эту минуту пробѣгала мимо бабочка, жена Ивана Тихонова; увидя стариковъ, она пріостановилась, отдала низкій поклонъ и доложила:

— Выѣхалъ. Сидитъ на возу и плеткой помахиваетъ.

— Да ты про кого сказываешь?—спросилъ Иванъ Никифоровичъ.

— Вѣстимо, про дядюшку Андрея. Только-что изъ лѣса онъ показался.

— А чтò мѣръ?

— А мѣръ, дѣдушеньки хорошіе, все усердствуетъ, мужички съ дядюшкой Иваномъ старостой бѣгутъ... Слышь, даже больно упарились, рубашки инда поскидали.

— Чтò за чудеса! — удивился Иванъ Никифоровичъ... Отъ деревни, кажется, не должно бы видѣть этого мѣста, а молодичка рассказываетъ, точно она была тамъ или своими глазами видѣла?

— Вѣрно, дѣдушенька. Отъ надежныхъ людей слышала. Простите!—добавила молодичка и поспѣшно отошла, направившись къ кучкѣ женщинъ, видѣвшихся у одного погребя.

Кузьма Григорьевичъ, высокій черноволосый крестьянинъ, съ пробивающимися въ бородѣ бѣлыми волосками, посмотрѣлъ въ одинъ конецъ улицы, поглядѣлъ въ другой и промолвилъ:

— Дѣвственно, у насъ, на деревнѣ, какія-то чудеса творятся. Вездѣ на улицѣ бабы, дѣвки, ровно въ праздникъ, гульбища завели... И на огородахъ ихъ довольно есть. Задалъ же всѣмъ работы Андрей Елизарычъ!

Старики задумчиво молчали.

— Надобно ожидать переменъ, большихъ переменъ въ Россіи,—заговорилъ первый Антипъ Власевичъ, подпершись сѣденькою бородкою на клюшку подошка.—Ну-тка, вотъ, гдѣ-гдѣ въ молодые-то годы мы ни бывали, гдѣ ни живали,—я и до Дуная доходилъ, въ городѣ Варнѣ гулялъ,—а ни о фабрикахъ, ни заводахъ этихъ, нонѣчныхъ, въ слухахъ тогда не чутъ было. Съ заработковъ домой приходили, садились на землюматушку и принимались опять за прародительскій, святой крестьянскій промыселъ. А нонѣ ужъ не то стало: молодой народъ бѣжитъ изъ деревни, норовятъ всѣ на фабрики, заводы да чугунку. Побросаютъ землю, испокидаютъ женъ съ дѣтками и уйдутъ, а въ домъ отъ нихъ—никакой помощи, весь заработокъ на сторонѣ проживутъ. Подъ конецъ всего и сами пропадутъ, а ежели кто и вернется ко дворахъ, такъ хворый или немощный, къ хозяйству крестьянскому не пригоднымъ оказывается: только лишній ротъ въ голодной семьѣ прибавится... Бережки

наши отъ такой напасти пока Господь миловалъ, но и у насъ молодые соблазняются, уходятъ на эти погубительныя фабрики... Быть большимъ переѣздамъ! И не чуемъ, родимые, а нарождаются иныя, новыя порядки на свято-русской землѣ. Вотъ и Андрей Елизарычъ, что потолкнуло его на такое дѣло? Никакъ не сумѣемъ добратся. Ахъ, можетъ, въ поступкѣ его предвѣстіе этого, новаго-то...

— Врядъ ли, — сердито отрѣзалъ Шабаловъ. — Вчера съ перевозчикомъ, сыномъ твоимъ, Антипъ Власычъ, не хватили ли они лишку? Твой, я самъ видѣлъ, у вабора въ полномъ безчувствіи валялся. Съ похмелья человекъ...

Онъ не договорилъ. Вблизи послышались аханья и восклицанія.

— Ахъ, ахъ... что надѣлалъ... Батюшки, родимые! мой-то, Иванка-то... Разбойникъ! — и съ усиленными аханьями, изъ проѣзда выбѣжала Тихонова Вивея, вся красная, съ трудомъ переводя дыханіе. — Ой! бѣгите, спасайте душеньки!

Старики недоумѣвали и вопросительно поглядывали на бабу.

— Старички почтенные... Разбойникъ-отъ палитъ ужъ началъ!

— Что ты, вдова, опомнись, приди въ себя, — заговорилъ Иванъ Никифоричъ. — О какомъ разбойникѣ ты говоришь?

— Да о какомъ же еще другомъ говорить, какъ не о душегубцѣ, хромоногомъ дьяволѣ?

— Не ври! — оборвалъ Шабаловъ.

— Ахъ не ври! — отгрызнулась вдова. — Старички господніе, охранители и заступники вы мірскіе, — обращаясь къ другимъ, жалостливо продолжала Вивея: — послушайте вы, что я вамъ повѣдаю! Какъ на второмъ пришествіи передъ самимъ Богомъ, такъ я и передъ вами не потаю, расскажу всю истинную правду. Вѣдь, сами вы знаете, участь моя сиротская, восьмой годъ безъ мужа — сладко ли мнѣ, горюхѣ, безъ своего закона возлюбленнаго жить?.. Такъ лгать мнѣ не приходится, а избидѣть меня, сироту, всякій избидетъ...

— А ты рассказывай, про что хотѣла, а участь твоя намъ довольно извѣстна.

— Сейчасъ расскажу, старички милые, все отъ меня узнаете. Мнѣ, вѣдь, больно не досужно, поскорѣе надо другихъ бабъ оповѣстить, а то онѣ и не увидятъ своихъ мужиковъ, растеряютъ всѣхъ до одного. Хотя сама я сирота, вдова, но знаю, каково молодой или не вовсе еще старой женщинѣ мужа потерять. Такъ вотъ, какъ разбойникъ-отъ, мірской

ослушникъ и супротивникъ, Хромой, поравнялся съ жителями, а тѣ было его поогрудили, чтобы зарестовать-то. Вавила Семенычъ, дядюшка Василий, Иванъ мой лошадь за уздцы схватили, а дядюшка Иванъ, староста, съ Алексѣемъ судьей, да еще человекъ съ десятокъ возмутителя, зная, сдернуть съ воза хотѣли. Батюшки-свѣты! вскочилъ Хромой, всталъ на возу — и возъ у него, что твоя Лисая гора, куда много выше! — да по жителямъ изъ ружья: хлопъ! хлопъ!.. Кто тутъ же попадалъ на земь, кто ударился бѣжать въ лѣсъ, а разбойникъ-отъ въ догонку по нимъ, знай все: хлопъ, хлопъ!..

— Чортъ знаетъ, что баба вретъ! — не стерпѣлъ и выбранился Шабаловъ. — Не мели зря, дура!

— Дура? — ошетибилась вдова. — Ахъ ты, ругатель! Богомъ самъ убить, а на сироту беззащитную нападаешь.

Антипъ Васильевичъ, повода бѣлой своей бородкой, беззвучно и младенчески кротко посмѣивался.

— А сознайся, сирота беззащитная, — сказалъ Иванъ Никифоровичъ: — выдумала ты отъ себя много про Хромого?

— Выдумала? Ахъ, вы, обидчики, ругатели! Я нарочно остановилась, чтобы имъ честь-честью, какъ и путнымъ, рассказать про мірское несчастіе, а они за старанье-то мое, словами поскудными меня изурочили! штобъ вамъ пусто было! Живутъ, заѣдаютъ только чужіе вѣка, постылые!

Разобиженная вдова сплюнула и побѣжала дальше, продолжая вслухъ честить „старичковъ господнихъ“.

— Славно отпечатывается, сирота! — похвалилъ Кузьма Григорьевичъ. — Отчетливо у ней выходитъ... Однако, на деревнѣ большое замѣшательство... Чего это бабы съ дѣвками разбѣгалась? Слышь, голоса!

— Впрямъ грѣха какого не случилось ли? — задался вопросомъ Иванъ Никифоровичъ. — Кузьма, ты бы дошелъ до бережка, поглядѣлъ...

— Что понапрасно ходить, дядюшка? Воротятся мужики, — узнаемъ, а до чужихъ дѣловъ я не больно охотникъ.

Антипъ Васильевичъ повернулъ къ нему свою бородку.

— Что ты, родимый, сказалъ? Мірское дѣло — не чужое, общественное, каждому должно быть близко, потому всѣхъ оно касается.

Дарья Трофимовна выполнила добровольно принятые на себя трудныя обязанности до самаго конца и выполнила съ

замѣчательною добросовѣстностью. Если впечатлѣнія и наблюденія ея нѣсколько и расходились съ дѣйствительностью, то одна причина этому — богатая фантазія, за которую она не отвѣтственна. Притомъ же свѣдѣнія, получаемыя отъ нея Вивеей и другими, — ужасно искажались и передавались деревнѣ совершенно въ превратномъ видѣ. А чего ей стоило просидѣть въ дуплѣ, хотя и просторномъ, но душномъ и раскаленномъ отъ жаркихъ лучей солнца! Не совсѣмъ обезпечена она была и отъ опасности, непріятностей. Когда Андрей Елизаровичъ, бросившій сѣно и лошадь, заковылялъ по направленію домой, взволнованный, обиженный и уничтоженный, то Дарья Трофимовна, желая прочесть по лицу душевное состояніе Хромого, такъ выставилась изъ дупла, что мужикъ легко могъ увидѣть ее, и онъ видѣлъ, пристально смотря на удлинненное съ рысьими глазами женское лицо, но не пріостановился, не полюбопытствовалъ и проковылялъ дальше. Счастливо такъ миновало это для Зацепистой только потому, что хотя Андрей и глядѣлъ на нее, но не видѣлъ... Потомъ, возвращавшіеся ребятенки мимоходомъ запускали въ дупло камешками... А одинъ изъ побѣдителей, именно Иванъ, сынъ Вивеи, хотѣлъ даже самъ взлѣзть на вязъ и отдохнуть въ дуплѣ. Нелегко было ей вынести эти испытанія?

Вскорѣ на деревнѣ всѣ знали, что міръ одержалъ побѣду надъ Хромымъ; свалили сѣно у канавы.

А черезъ часъ, Андрей Елизаровичъ, вмѣстѣ съ перевозчикомъ, на тѣхъ же роспускахъ и своемъ гнѣдѣ, гналъ въ село, въ „волость“. Зацепистая, какъ-только увидала, въ ту же минуту все поняла и воскликнула:

— Ну, Хромой жаловаться на міръ поскакалъ.

VII.

Слѣдующій день выдался точно такой же солнечный и жаркій, какъ и предшествующій, но уже совершенно мирный: бережковцы убирались съ покосомъ на томъ самомъ участкѣ, съ котораго неблагополучно попробовалъ свезти сѣно Андрей Елизаровичъ.

Волнообразная долина, раскинувшаяся между кражистымъ берегомъ рѣки и живою, зеленою изгородью лѣса, съ утра до

вечера, кишѣла народомъ и пестрѣла всевозможными цвѣтами. Дѣвушки, въ яркихъ ситцевыхъ платьяхъ и легкихъ платочкахъ на головѣ, проворно сгребали высохшую траву; мужики и парни, въ кумачныхъ, синихъ и желтыхъ рубахахъ, подхватывали сѣно на деревянные вилы и подавали одѣтымъ также въ ситцевые сарафаны женщинамъ: послѣднія, стоя посреди роспусковъ, принимали съ вилъ въ свои широко открытыя объятія и навивали, изо всѣхъ силъ приминая сѣно колѣнками. По долину, въ разныхъ мѣстахъ, выросли лохматые великаны и, покачнувшись всей массою, сдвигались съ мѣста и поспѣшно удалялись. А навстрѣчу этимъ великанамъ, во всю конскую прыть, мчались порошніе роспуски, съ загорѣлыми оживленными личиками и треплющимися льняными или темными волосенками. Отъ покоса до селенія и обратно идетъ почти непрерывное движеніе, лѣсъ и долина наполнены разнообразными звуками, голосами и покрякиваніями, сопровождаемыми ребячьимъ смѣхомъ. Какая-то необычайная, напряженная дѣятельность бьетъ ключомъ: всѣ спѣшатъ и торопятся скорѣе управиться, не хотятъ отстать другъ передъ другомъ, не давая себѣ отдыха и обливаясь ручьями пота; но никакой усталости незамѣтно, выраженіе лицъ степенно-веселое. Здоровьемъ, мощью и довольствомъ вѣетъ отъ этихъ фигуръ, работающихъ подъ яснымъ небомъ, на чистомъ воздухѣ, напоенномъ дыханіемъ цвѣтовъ и травъ, среди молодой зеленой листвы, блестящей, играющей и трепещущей въ зали томъ лучами солнца радостно-юномъ свѣтѣ.

Часамъ къ пяти за полдень, когда одни успѣли совсѣмъ управиться, а другіе кончали съ работою, появился Андрей Елизаровичъ.. Его появленіе не много озадачило пожню: никто ужъ не ожидалъ, что Хромой прійдетъ. Не изъ боязни или трусости запоздалъ Андрей Елизаровичъ. Подобнаго рода предположеніе никому не могло прійти въ голову, кто видѣлъ Хромого, какимъ тетеревомъ онъ сидѣлъ на околинѣ, не обращая вниманія на міръ и не думая ломать обѣзлаго, но крѣпкаго козырька порывѣлой фуражки! Однако, мужички тотчасъ нашлись.

— Не уходило въ немъ сердце-то, и не пожелалъ вмѣстѣ съ нами работать. Противны мы теперь ему, какъ чорту ладанъ.

Вѣрно объяснили. Но была и другая причина: Андрей Елизаровичъ только утромъ вернулся изъ волости, долго проспалъ въ пустой сѣнницѣ и еще дольше такъ провалялся...

Дарья Трофимовна, увидавъ издалека и полковничью фуражку, вытянулась въ струну и устала на возмутителя сокрушающій взоръ.

— Вишь, еретикъ, словно правый ѣдетъ,—не громко говорила Зацепистая.—И колдуниху за собою волочетъ ..

Сирота Вивея, находившаяся по близости, жалостливо прибавила:

— Развѣ они это чувствуютъ? Нѣтъ, вѣдь, чтобы къ міру-то какъ со смиренствомъ али бы съ покорностью... Совсѣмъ обезстыжили!

— Погоди, то ли еще увидимъ,—сотервенничала Дарья Трофимовна.—Отъ хромоногаго бѣса міру будетъ кока съ сокой.

— Ой?—насторожилась сирота.—Аль ты ужъ что маленько спровѣдала?.. Не потайся, открой мнѣ, голубка!

— Ничего я не знаю,—сердито оборвала Зацепистая, сплхвativшись, что дала маху и носастая предупредить ее новостями въ деревнѣ.

Долина скоро обезлюдѣла и опустѣла. Только Хромою съ бабкою Анисьею убирались на своей дѣлянкѣ. Жаръ давно свалилъ. Надъ рѣкою и берегомъ, оглашая воздухъ своими задорными пѣсniшками, закружились рѣзвые ласточки; сильнѣе разносился душистый запахъ сѣна, пахло шиповникомъ, земляникою и медомъ. Деревья и кусты длиннѣе отбрасывали отъ себя тѣни; не далеко оставалось до ночлега и солнышку: оно стояло теперь надъ полотномъ желѣзной дороги, обливая косыми лучами лѣсъ, долину, фигуры стариковъ и стоявшаго гнѣдка, который, время отъ времени, наклонялъ голову, подбирая клочки чужого сѣна и, кстати, пробуя хозяйское.

Андрей Елизаровичъ работалъ не хуже молодого, споро и вездѣ поспѣвая: самъ подваливалъ къ дрогамъ сѣно, самъ бралъ на вилы и самъ навивалъ. Но работалъ онъ молча, безъ обычныхъ своихъ шутокъ и разговоровъ, съ мрачно сосредоточеннымъ видомъ. Бабка Анисья, сгребая траву, пыталась заводить съ мужемъ рѣчь, но тотъ не отвѣчалъ и самъ слова не проронилъ.

— Гожо намъ убираться-то,—молвила старуха, не теряя надежды вытянуть изъ мужика хотя одно слово.—Не жарко... Роса бы, гляди, не пала.

Но Андрей Елизаровичъ точно не слышалъ. Онъ довивалъ возъ. Съ рѣки потянуло легкой сыростью, солнце опу-

скалось за край неба. Покончивъ съ возомъ, мужикъ проворно спустился на землю и ухватилъ грабли.

— Надо тебѣ подсобить, бабушка, — сказалъ онъ. — Сгребемъ въ копнѣшку, и я нонѣ же увезу.

По голосу Анисья догадалась, что съ мужа „посвалило“, и она замѣтно обрадовалась.

— Подсоби, родимый. А то отпотѣеть сѣно. Жалко: больно ужъ хороша здѣсь трава уродилась.

— Трава — первый сортъ. Ежели бы и на своихъ, общественныхъ покосахъ, такая родилась, можно бы лишнюю скотину держать. Несчастье наше: въ кормахъ недостача!

Разговорился мужикъ. Хитрая бабка воспользовалась случаемъ и, погода, кинула.

— А что я удумала, Ондрей? Въ копнѣ ничего сѣну не сдѣлается, заночуетъ на мѣстѣ. Спроворимъ возъ-отъ ко дворамъ, ты оборотишься да и забереешь то, что разбойники-то свалили.

Густыя свѣтлорусыя брови мужика насупились; онъ не отвѣтилъ старухѣ.

— Право, я дѣло говорю, — добивалась своего Анисья. — Подумай самъ: возомъ-то мы сыты, вся скотина и птица имъ живы.

— Молчи! — прикрикнулъ Андрей. — Знаю... Да осыпъ ты всего меня, съ головы до ногъ, золотомъ, а не стану я убирать опельмованное сѣно!.. Ты, баба, лучше никогда объ этомъ и не заикайся, — избраню.

Бабка умокла. Сердечная рана у Андрея Елизаровича была еще очень свѣжа, и старуха неосторожнымъ своимъ прикосновеніемъ разбередила ее. Продолжая съ какимъ-то ужъ ожесточеніемъ сгребать сѣно, мужикъ сердито и долго про себя бормоталъ.

— На что это похоже? Не смѣй шагу ступить самостоятельно!.. во всемъ поступаай по ихъ дурацкому заведенію и покоряйся... Нѣтъ, я на это не согласенъ, я еще, пока силы мочи хватить, поборюсь съ ними... Цѣлой деревнею на Хромого вышли! Нѣтъ, съ ними, дуrolомами, житья никакого не станетъ... Я вотъ малость подожду, погляжу, что дальше отъ нихъ будетъ, и ежели я только ихъ не поборю, — брошу деревню и поминай, какъ меня звали!.. Эхъ, если бы не эти постылые ярлыки, одной единой минуты я тутъ не остался: сейчасъ-бы на чугунку и въ Москву, или Питерь!.. Тамъ по

печной части работы не впролазь... А то въ Адестъ или на Кавказъ махону... Да вездѣ найду себѣ дѣла!.. Чудесно!.. И на кой рожонъ ихъ выдумали? Тоже, поди, немало головы ломали, чтобы какъ это учредить, да вольнаго человѣка оболванить... Связали по рукамъ и ногамъ, и — „слава въ выпинихъ Богу и на земли миръ...“ А въ человѣцѣхъ-то, въ людяхъ, что?

Сознаніе мірской несправедливости и живая боль причиненной обиды заговорили: Хромой — да простить ему Господь невольный грѣхъ ему! — ударился въ вольнодумство!

До глубокой ночи пробылъ на пожнѣ Андрей Елизаровъ, — Анисья уплелась домой. Долгая лѣтняя заря потухала, ночныя тѣни все больше сгущались и съ рѣкъ подымался туманъ, а онъ не переставалъ трудиться, навивая второй и послѣдній возъ...

VIII.

На утро, въ день праздника Петра и Павла, деревня узнала важную новость: Хромой дѣйствительно ѣздилъ въ волость жаловаться на міръ! Предположеніе Дарьи Трофимовны, значитъ, оправдалось: извѣстно, на вѣтеръ слова не кинетъ Зацепистая...

Обычнымъ порядкомъ добрые люди разговѣлись, и послѣ обѣда, какъ должно, выспались, а потомъ вышли на улицу. Мужики собрались къ Кузьмину погребу, гдѣ у нихъ всегда происходятъ засѣданія и сходки, а бабы на бесѣду — подѣ навѣсъ погреба Борисовыхъ. Первые занимались своими мужскими разговорами, а послѣднія — женскою политикою. Мужики говорили о томъ, когда и гдѣ на своей землѣ косить, каковъ нонче Богъ пошлетъ урожай и о тому подобныхъ хозяйственныхъ предметахъ, а женщины говорили... Но о комъ-же онѣ теперь могли говорить, какъ не о возмутителѣ Хромомъ, чѣмъ исключительно интересоваться, какъ не новыми кознями того-же Хромого?.. Смиренная вдова Вивея успѣла кое-кому изъ нихъ шепнуть, что у Трофимовны есть уже что-то новенькое, и этого было совершенно достаточно, чтобы всѣ другіе вопросы женской политики отошли на задній планъ и даже позабыты, а на очередь было выдвинуто и поставлено именно это „что-то новенькое“. Дарья Трофимовна долго отпѣкивалась, ей „сего-

дня что-то не охота“ рассказывать, но подъ конецъ не устояла, подалась подъ дружнымъ натискомъ всего бабьяго кагала и выступила, какъ всегда, въ главной роли, которую давно за нею обезпечили многостороннія свѣдѣнія, огромный талантъ и смѣлость,—больше всего, пожалуй, это послѣднее качество, такъ какъ въ дарѣ творчества у нея являлась опасная соперница въ лицѣ сироты Вивей, но въ смѣлости ей не было равной.

— Прискакалъ. Извѣстно, прямо къ трактиру привернули, — рассказывала. Зацепистая, такъ плотно огороженная съ улицы бабьими спинами, что фигуру ея, сухощавую, съ удлинненнымъ и морщинистымъ лицомъ, повязанную въ кромку темнымъ платкомъ и въ темномъ-же сарафанѣ, невозможно было видѣть съ дороги иначе, какъ подойдя къ самой погребницѣ...— Первымъ долгомъ, вина бутылку спросили. Хромой треснулъ два стакана и побѣжалъ въ волость, а перевозчикъ Мотья остался усиживать посудину — онъ, вѣдь, затѣмъ и увязался съ колченогимъ-то, чтобы винища этого нажраться. Дохромылялъ тотъ до правленія и вломился прямо въ присутствіе, гдѣ старшина съ писаремъ за столомъ сидятъ. Такъ и такъ, говорить, „примите отъ меня на общество словесную жалобу!“ Ну, знамо дѣло, весь распалился, жаръ сѣнкой-то въ немъ, что твои березовыя дрова, пышетъ, а тутъ и вина еще два стаканца хлопнулъ. Говорить хочется ему, поскорѣе все обсказать, а жаръ-то не позволяетъ; мотается, на коротышку свою припадаетъ, а языкъ ему не повинуется. Писарь поотвернулся—смѣхъ его больно разбираетъ,—а старшина говоритъ: „ты поди, выпишь и приходи: здѣсь не заведеніе, а присутственное мѣсто“. Вспыхнулъ колченогій.—„Помилуйте!“—завопилъ: — „что-же это будетъ?.. Самоуправство, денной разбой! И я-же, по вашему, пьянъ?“—Вопить такъ и цуще еще припадаетъ, колѣнкой этакъ дѣлаетъ, словно кому киселя поддаетъ. (Зацепистая, для бѣлой живости и образности, наглядно изобразила, какъ Хромой мотался и колѣнкой дѣлалъ, что вызвало общій смѣхъ внимательныхъ слушательницъ).

— Вишь ты, въ лицахъ представляетъ, ровно сама въ правленія-то была!—послышались сдержанныя одобренія.

— Право, бабы, не хвастаю: такъ Хромой дѣлалъ!.. Ну, старшина къ нему опять: „ступай, проспишь хорошенько и послѣ приходи: лучше тогда обскажешь. А то на умѣ у тебя танцы!“—

„А коль вы такъ, такъ я и безъ васъ обойдусь“, — выпалилъ хромоногий: — „я найду дорогу, куда надо жаловаться!“.

— Какой смѣлый! Не заробѣлъ, нужды нѣтъ, что передъ самимъ начальникомъ...

— Вернулся въ трактиръ, — рожи на немъ нѣтъ, — а дружекъ-то, пропоецъ, новую ужъ бутылку охаживаетъ, и съ нимъ какой-то человѣкъ сидитъ. „Я напередъ зналъ, что занапрасно ты пробезпокоишься!“ встрѣтилъ Мотыка, и за бутылку хватается. „Что нашъ староста, что волостной старшина съ писаремъ — всѣ они одной шайки и другъ другу покрываютъ. Да ты не печалуйся, кушай вино — на-ка, прими да не задерживай посуду! — а я ужъ о тебѣ промыслилъ. Вотъ“ — на человѣка показалъ — „онъ за цѣлковый-рубль все обдѣлаетъ: на законахъ онъ сидитъ, съ законами ѣсть-пить и съ законами спать. Сверхъ рубля и этой бутылки, которую я за твой счетъ потребовалъ, спроси еще одну и закажи на троихъ селянку. Трата небольшая, а старосту, Вавилку подлеца и все общество, куда тебѣ пожелается, онъ съ превеликимъ удовольствіемъ испроизведетъ... Говорю тебѣ: „дока, самъ министры!..“ А дока: „я“, говорить, „все это могу — по замкамъ-то да на поселеніе утискать. Много“, говорить, „у меня по деревнямъ и селамъ бабъ, которыя ежечасно къ Господу Богу съ слезами припадаютъ, черезъ мои хлопоты и усердіе мужей своихъ потерявши. Я — все по закону“.

— Вишь, какой грозный! Кто-жъ этотъ самъ дока-то?

— А урвixinскій Флегоска — изъ солдатъ онъ будетъ. На службѣ отъ крестьянскаго промысла отвалился, работать ему стало лѣнь, такъ онъ себя и опустил по суднымъ дѣламъ, — деретъ оброки съ дураковъ-то... Написалъ тутъ дока колченомому псу бумагу, — съ книги нѣшъ все списывалъ, при себѣ онъ завсегда книжку эту содержитъ, — такую бумагу написалъ, что все наше общество въ Сибирь сослать!

Слушательницы были поражены.

— А-а-ахъ, ахъ, ахъ! — закатилась горемычная Вивея. — Что надѣлалъ?.. Ахъ, онъ проклятый! Чтобъ останную ногу у него отняло!.. Иванка, Иванка-то мой за что пропадетъ?..

— Не пугай, Трофимовна! — наплась одна. — Правду сказывай!

— Правду я вамъ и сказываю, — пообидѣвшись, отвѣчала Зацепистая. — Лгать да выдумывать напраслину я еще не обу-

чилась. Благодарение Всевышнему, проживу вѣкъ одной правдою... Ну, да гнилого слова я къ себѣ не отнесу и dokonчу, о чемъ взялась повѣдать. Флегонка составилъ прошеніе и прочиталъ Хрому. Тотъ прослушалъ. „Всему причина“—говорить,—„староста, онъ долженъ и отвѣчать, а мужики—что скотина на пастбѣ: куда пастухъ погонитъ стадо, туда оно и бредетъ“. А пропоецъ: „Вавилку, Вавилку-то, ты мнѣ упеки!“ просить доку. „Черезъ него, Іуду, я свою лѣсную должность потерялъ... Сколь много душа моя страдала! Отъ Вавилки, можетъ, я и эту чашу пью“? Выложилъ пропоецъ свою скорбь и хлопнулъ винища стаканъ. „Упеки его!“ добавилъ. Но Хромой воспротивился. „Пиши“—говоритъ Флегонкѣ—„на одного старосту, Ивана Егорова, а всѣхъ прочихъ не касайся“.

— Вонъ какой Андрей-то!—замѣтила жена бывшаго судьи. Поимѣлась, видно совѣсть въ человѣкѣ, жалко ему стало губить безвинныхъ людей!

— „Жалко“, „совѣсть!“—передразнила Зацепистая. —Самъ онъ кругомъ виноватъ, да еще-бы другихъ завилилъ? Хрому, если бы въ немъ была искра Божія, и противъ старосты не слѣдовало итти: дядя Иванъ за міръ вступился!

— Что-жъ, дядю Ивана теперь судить будутъ?

Дарья Трофимовна помолчала, обвела глазами бесѣду и отчеканила:

— Самъ земскій начальникъ!

— Бб-а-ба-атюшки свѣты!

Насладившись произведеннымъ впечатлѣніемъ, Зацепистая продолжала:

— Только ничего, по искамъ еретика не исполнится.

— Благодарѣтельница!.. Какъ такъ?!

— А Богъ-отъ! Онъ хоть и высоко, батюшка, а все съ престола-то своего небеснаго видитъ... Расплатился хромоногій съ Флегонкою, отдалъ за вино и селянку—всѣ денежки, какія ворожейка его, Анисья-то, въ оброкъ припасла, ухлопалъ въ трактирѣ, а самъ—на лошадь; Пропойцу-то, Мотьку, трактирщиковы ребята на телѣгу за ноги взволокли,—до безчувствія накатился. Погналъ колченогій на почту, чтобы положить къ земскому прошенію, а дорогою и напади на возмутителя сонъ: бумага-то изъ пазухи у него выпала и потерялась. А лошаденка-то пошла ихъ водить: кружила-кружила цѣлый вечеръ и всю ночь, да ужъ только на другой день утромъ хозяина

къ перевозу доставила, а пропоець и посейчасъ не появлялся: знать, свалился гдѣ въ озеро или въ рѣку и потопъ. Баба его, и вчера, и сегодня бѣгала искать по поймѣ — нигдѣ сокровища своего не нашла.

Непостижимымъ для слушательницъ оказалось то, какимъ образомъ Зацепистая могла все это знать: свѣдала-ли она черезъ вѣрныхъ людей, которые были въ трактирѣ и волостномъ правленіи, сами видѣли и слышали, или она, — хотя и сваливаетъ на бабу Анисю, — сама-то и есть настоящая колдунья, которой приносятъ съ разныхъ концовъ вѣсти „нечистые“.

„Съ побѣ... съ побѣ... съ побѣдой поздравляю“, обратно донесся съ берега, изъ-за огородовъ, сильный и не лишенный пріятности, но какъ будто-бы слегка пропавшій мужской голосъ.

— Кто это горланить? — спросила Зацепистая. — Голосъ, словно-бы, знакомый...

Прислушались. Но пѣвецъ умолкъ.

Не прошло однако, пяти минутъ, какъ изъ проѣзда выдвинулась длинная мужская фигура, въ одной рубашкѣ, коротенькихъ штанишкахъ и босикомъ. Вслѣдъ за нимъ взметнулась стая ребятишекъ.

— Да никакъ это и есть онъ, пропоець-то!

„Съ побѣдой по-оздравляю!“

раскатилось по деревнѣ, и перевозчикъ Матвѣй Антиповичъ зашагалъ вдоль улицы въ южный конецъ, сопровождаемый по сторонамъ смѣющимися малышами, но, пройдя сажень пять, круто повернулъ, и направился прямо къ женской бесѣдѣ.

— Матушки! да, вѣдь, онъ сюда идетъ...

— Бережковскимъ купчихамъ! — приближаясь не совсѣмъ прямыми, но рѣшительными, стопами къ бабамъ, кричалъ Матвѣй Антиповичъ. — Низайшее мое почтеніе вамъ свидѣтельствую... Съ праздникомъ! Какъ здоровы, барыни?

„Барыни“ хотѣли отвѣтить на привѣтствіе, подняли глаза — и потупились. Въ легкомъ костюмѣ перевозчика онъ примѣтилъ кое-какіе изъязыны, видъ которыхъ и смутилъ ихъ, и чуть не заставилъ расхохотаться... Но молчать было неудобно — перевозчикъ въ хорошихъ градуссахъ, и бережковскія купчихи отлично знали, какую звонкою монетою отплатить-бы онъ за ихъ неучтивость. Поэтому онъ прибѣгли къ тонкой хитрости: всѣ разомъ, точно по уговору, вскинули прямо на лицо мужика глаза, искусно миновавъ прорѣхи и другія погрѣшности его костюма.

— Богъ спасетъ, Матвѣй Антипычъ! — въ нѣсколько голосовъ отвѣтили бабы. — И васъ также съ праздникомъ! Здоровъ-ли?

Матвѣй Антипычъ, разставивъ свои длинныя ноги, склонилъ темноволосую, спутанную голову и долго въ такомъ положеніи оставался, выражая тѣмъ свою глубочайшую признательность за любезное вниманіе къ его особѣ со стороны „купчихъ“.

— Чувствительнѣйше благодарю... покорнѣйше благодарю... много, премного вамъ я благодаренъ, — говорилъ перевозчикъ и кланялся. — Я все понимаю и цѣню.

— Ну, чай, будетъ кланяться-то! Голова устанетъ.

— Нѣтъ, нельзя... Я долженъ чувствовать и дорожить къ себѣ вниманіемъ... Благодарю! А насчетъ здоровья — я, слава Богу, доволенъ. Позагулялъ немножечко... Простите меня, Христа ради! Я никого не обидѣлъ... Можетъ, крестьяне на меня обижаются, такъ Господь съ ними, — я ихъ не осуждаю... „не судите, да не судимы будете“. Оедюшка виноватъ — это точно, а моей причины въ томъ нѣтъ. Не сумѣлъ онъ, дуракъ, прямо на перевозъ проѣхать: видитъ, что народъ сдѣлалъ-бы отводъ и къ перевозу, а тамъ, какъ поутишилось-бы дѣло, бережкомъ полегонечку и валялъ на пожню: навилъ потихонечку возикъ да съ миромъ ко дворамъ! А онъ, глупый, мужиковъ забоялся.. Молодъ, неопытенъ!

Бесѣда посматривала на оборванца, съ трудомъ сдерживая подступившій къ горлу смѣхъ, и нетерпѣливо ждала, чѣмъ еще онъ разутѣшитъ собраніе. Первозчикъ не заставилъ долго ждать.

— Ну, а сичасъ, милыя купчихи, дозвольте васъ обезпокоить вопросомъ, — началъ онъ: — гдѣ-бы мнѣ повидать Дарью Трофимовну?

Защепистая сидѣла ни жива, ни мертва, низко наклонивъ свою голову: гроза и страхъ всей деревни, она трепетала при одномъ видѣ перевозчика, когда тотъ въ градуссахъ находился.

Гивея радехонька была надглумиться.

— Развѣ ты ее не видишь? — поспѣшно сказала вдова. — Да вотъ-же она, — вишь притулилась, смиренница!

Защепистой ничего другого не оставалось, какъ поднять голову и показать свое иконописное лицо, исполненное, дѣйствительно, великаго смиренія и покорности судьбѣ.

— Чего тебѣ отъ меня угодно, Матвѣй Антипычъ?

— Она!—воскликнулъ Матвѣй Антипычъ и, осѣняя себя большимъ крестомъ, отступилъ шага на три, причемъ всѣ грѣхи костюма выглянули съ полной откровенностью.—Дарьѣ Трофимовнѣ низайшее почтеніе, и съ большимъ праздникомъ!—сказалъ онъ, отдавъ глубокій поклонъ.—Покорнѣйшая просьба у меня до вашей премудрости... Повѣдай, во истину-ли третьяго дня ты вознесена была на древо познанія, именуемое, по деревенскому, прародительской ворожбою? Не сокрой благодати, скажи правду!

— Забавникъ ты, Матвѣй Антипычъ. Выдумаетъ что сказать!.

— Не лукавь. Припомни, что сказано: овому дають таланты, овому два, и сокрывый таланты... Ты одной вѣры со мною,—оба въ древлеблагочестіи пребываемъ,—и должна знать, чему подвергнется лукавый рабъ, зарывшій таланты господина своего? Передъ еретиками и еретицами ухитрайся и не мечи бисеръ, но передъ истиннымъ христіаниномъ благодать отерой!

— Христосъ съ тобою! Про какую благодать ты говоришь? Я — грѣшница; можетъ, грѣшнѣй-то меня и человѣка нѣтъ.

— Уничженіе паче гордости. Не верти хвостомъ. Скажи: пошто тебя черти въ душло заносили?

— Окстись! что ты? Померещилось, знать, тебѣ... со сна.

Матвѣй Антипычъ вознегодовалъ.

— Какъ? Передъ древнимъ христіаниномъ, обновѣрцемъ и ты не пожелала въ грѣхахъ своихъ покаяться? Упорствуешь!.. Отреклась отъ духа сатаны и ангеловъ? а!.. Будь ты отъ сего дня не Защепистой, а Дуплинской; слыхала ты доселѣ, обрѣтался гдѣ-то одинъ Никола Дуплинскій, а ты своя въ деревнѣ Бережкахъ объявилась Дарья Дуплинская! Такъ, бабы, и зовите ее. Дуплинской!.. Больше мнѣ разговаривать съ вами не о чемъ, купчихи. Простите! Кажется, никого я не обѣдѣлъ?

Поклонившись честной бесѣдѣ, перевозчикъ скромно удалился, взявъ курсъ на югъ. Съ дороги онъ разъ обернулся, крикнувъ: „бабы! скоро всѣ вы будете подъ моимъ началомъ!“ и заѣхалъ:

„Съ побѣдой поздравляю“...

На мужицкой бесѣдѣ, у Кузьмина погреба, говорили объ Андрѣѣ Елизаровичѣ.

— Не въ шутку, должно, огнѣвался Хромой: не убралъ отъ канавы сѣна, возъ тамъ лежитъ.

— Поостынетъ немного, такъ и увезетъ.

— А какъ на счетъ штрафа?—напомнилъ староста.—Полведерки-то хоть-бы выпить?

— Чего еще желать лучше,—согласился Кузьма Андреевъ, не принимавшій никакого участія въ мірскихъ трудахъ и безпокойствѣхъ:—ради праздника апостоловъ Петра и Павла чудесно-бы роспили.

— Чего ужъ, съ одного вола двѣ шкуры сдирать,—вступился Алексѣй Семеновичъ, который вина совсѣмъ не пилъ.—Наказали Хромого, возъ у него свалили—довольно, пора пожалѣть человѣка.

— Справедливо... Огорченья этого долго ему не изжить. Вмѣшался Василій Васильевичъ.

— Погодите жалѣть Хромого,—сказалъ онъ:—намъ еще не извѣстно, какое дѣйство жалоба его возымѣетъ.

— Да подаль-ли Хромой жалобу?—тревожно спросилъ староста.

— Къ ворожеѣ ѣздилъ, а подаль-ли—не знаю... Дарья Трофимова тогда баяла: безпремѣнно жалобиться Хромой поѣхалъ.

— Ну, бабьимъ рѣчамъ вѣры нельзя давать.

— Дуракъ будетъ тотъ, кто бабѣ повѣритъ,—съ убѣжденіемъ выговорилъ мужъ Зщеписстой, Акимъ Ивановъ.—Эдакого вздорнаго и лживаго народа, какъ бабы, другого и свѣтъ не рождаетъ: самая пустая ихняя порода!

Усмѣхнулись на бесѣдѣ.

— Вѣрно. Сужу по своей...

— Черезъ женщину и Адамъ пострадалъ,—замѣтилъ Кузьма Андреевъ.

— Адамъ, Адамъ!—заговорилъ бывшій судья.—Вонъ у насъ на что ужъ крѣпокъ Макаръ Захарычъ—и зовутъ-то его Макаромъ Христовымъ, а и того жена сомутила: картошку сталъ ѣсть!

Общій хохотъ покрылъ слова Алексѣя Семеновича.

— Опять запѣлъ!—раздалось у погреба.—Идетъ!

Матвѣй Антипычъ приближался и пѣлъ.

— Отъ него освѣдомимся, подаль-ли жалобу Хромой..

Но перевозчикъ, не доходя всего одной избы до мірской бесѣды, къ несказанному удивленію крестьянъ, повернулъ въ проулокъ.

— Матвѣй Антипычъ!

Перевозчикъ на минуту пріостановился.

— Не хочу съ вами разговаривать, — отвѣчалъ Матвѣй Антипычъ: Смугловъ извѣстенъ всей Россіи, его сами министры уважаютъ, а вы—необразованные мужики самоуправцы... Подъ судъ васъ!

— Чтò ты нонче больно ужъ строгъ?

— Я строгъ,—потрясая рваньемъ, гремѣлъ Смугловъ. — Я теперь съ вами по закону буду.

— Да будетъ тебѣ! Подойди побесѣдуй съ нами, скажи, подали-ли вы съ Хромымъ на міръ прошеніе?

— Прошеніе?.. Какое?.. Не помню, позабылъ!.. А вино у васъ есть?

— Коли ты насъ попотчуетъ, такъ мы за твое здоровье изопьемъ... А своимъ не позапаслись.

— Такъ мнѣ съ вами низко и заниматься! Господинъ Смугловъ человекъ именитый, министеръ!.. а вы — галманы, самоуправники. На кого вы войною пошли? Одинокого человека, почтеннаго старика, колченогу заслуженнаго обидѣли!.. Съ чѣмъ вы только на страшное судилище предстанете?.. Побѣдители!.. Да чтобъ я, господинъ Смугловъ, сталъ бесѣдовать съ вами? Недостойны вы лицезрѣть мой праведный образъ. Удаляюсь... Царь Давидъ и псалмопѣвецъ говоритъ: „блаженъ мужъ, иже не идетъ на совѣтъ нечестивыхъ“... Прочь! шире дорогу Смуглову!

И съ послѣдними словами господинъ Смугловъ ринулся дальше въ проулокъ.

— Постой, воротись!..—раздались вслѣдъ голоса.

— Оставьте, — смѣясь, проговорилъ Алексѣй Семеновичъ. — Мало съ насъ? Онъ не такъ, насквозь еще проволотить.

Михей Андреичъ, поджимая животъ, хохоталъ до слезъ, и вся бесѣда громко смѣялась.

— Простите меня, Христа ради! — слышался кроткій голосъ, и изъ переулка на минуту выглянулъ „праведный образъ“ перевозчика. — Кажись, никого я не обидѣлъ.

IX.

Минуло двѣ недѣли. Изъ волости никакихъ слуховъ не было. Ужъ совершенно успокоились, страсти тоже улеглись, и жизнь въ Бережкахъ потекла обычнымъ мирнымъ теченіемъ. Только вотъ сваленный возъ Хромого попрежнему лежалъ у канавы, не прибранный хозяиномъ... Впрочемъ, и на этотъ счетъ не могло быть опасенія: Андрей Елизаровъ человѣкъ гордый, хочетъ выдержать характеръ. Вонъ Хромой, и людей страшится, желаетъ, чтобы міръ къ нему зашелъ въ глаза, а не самъ онъ къ міру первый... А, можетъ, стыдно ему: человѣкъ онъ хорошій, совѣстливый, но поддался врагу рода человѣческаго, и никакъ съ собою не сладитъ. Но жаловаться не станеть, нѣтъ! Сгоряча махнулъ въ село, а дорогою повытрясло блажь, одумался и закончилъ тѣмъ, что въ трактирѣ погулялъ.

Приступили къ жнитву ржаного поля. Сходъ назначилъ день, наканунѣ десятникъ обѣгалъ деревню, стуча по подоконницамъ и выкрикивая: „Завтра начинать рожь жать... на ближнемъ полѣ!“ Утромъ, до солнышка, встали, помолились иконамъ и всѣмъ селеніемъ отправились на работу.

Около двухъ часовъ, когда деревенскіе люди наскоро пообѣдали, и снова принялись за работу, въ поле прибѣжалъ ребятаенокъ и возвѣстилъ, что пріѣхалъ старшина съ волостнымъ писаремъ!

— Гдѣ они? — измѣнившись въ лицѣ, спросилъ староста.

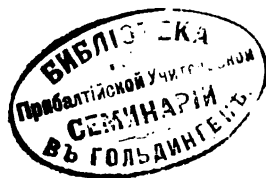
— У перевоза. Въ хибаркѣ дядѣ Матвѣя ждутъ. Называли, чтобъ староста и мужики скорехонько сюда бѣжали.

— Что такое? Зачѣмъ?

— И въ какую пору нелегкая принесла!..

— Нечего дѣлать. Собирайтесь, мѣшкать нельзя: пріѣхали начальники.

На берегу, у бревенчатой, съ однимъ большимъ окномъ, на завалинкѣ въ тѣни сидѣлъ волостной старшина и писарь. Первый, высокій и дюжій мужикъ, съ окладистой русой бородою, въ синемъ суконномъ халатѣ и картузѣ, а второй, лѣтъ тридцати, съ черными усиками, въ коломенковой пиджачной парѣ и бѣлой фуражкѣ. Матвѣй Антипычъ, въ поношенной, но крѣпкой ситцевой рубашкѣ и нанковыхъ штанахъ, стоялъ въ почтительномъ отдаленіи и скорбно глядѣлъ въ пространство:



онъ нѣсколько дней не прикасался къ вину и былъ совершенно трезвый.

Прибѣжали, запыхавшись, мужики, предводительствуемые старостою; сняли картузы, шапки.

— Здравствуйте, міряне!—поздоровался старшина.

— Добраго здоровья, господинъ старшина!

— Аль въ гости ко мнѣ?—съ дѣланной развязностью, но нетвердымъ голосомъ спросилъ Иванъ Егоровичъ. — Просимъ милости, радъ дорогихъ гостей встрѣчать!

— Спасибо на ласковомъ словѣ,—отвѣтилъ старшина. — Не знаю, рады-ли вы только будете гостямъ. Мы къ вамъ по дѣлу: предписанье отъ господина земскаго начальника получили.

Выраженіе тревоги изобразилось на лицахъ крестьянъ, исключая Алексѣя Семеновича и перевозчика.

— Вашей деревни крестьянинъ, Андрей Елизаровъ Хромой, Смѣловъ тожъ, жалуется на васъ за самоуправство!

Помолчали значительно мужики, переглянулись: вотъ, молъ, онъ что надумалъ.

Жалобщикъ переступилъ, припадая на короткую ногу. Лицо перевозчика какъ-то просвѣтлѣло.

— Мы себя виновными не признаемъ! — выговорилъ Вавила Семеновичъ. — Хромой самъ оказалъ самовольствіе и беззаконность.

— Мы что, — потянулся за смѣлымъ мужикомъ „шаршавый“, — мы тутъ не причастны: мы по приказанію старосты дѣйствовали...

— Ну, тамъ судъ разберетъ, — сказалъ старшина. — Мы пріѣхали слѣдствіе произвести. Гдѣ находится сваленное у мужика сѣно?

„А, хромоногій! такъ вотъ ты почему не убиралъ-то!“ — говорили краснорѣчиво глаза мірянъ, устремленные на возмутителя. Андрей Елизаровичъ смутился и два раза переступилъ, перепадая на короткую ножку.

— Далеко то мѣсто?

— Не такъ чтобы далеко, но и не очень близко.

Писарь съ живостью договорилъ.

— Игнатій Галактионовичъ! — Мы доѣдемъ туда, а мужички проводить.

— Что-жъ, такъ намъ спокойнѣе будетъ.

Старшина съ писаремъ усѣлись въ легонькій тарантасикъ и поѣхали, а миряне повалили за ними. Писарь досталъ папирску и закурилъ. Дорогою крестьяне пооправились, заговорили. Писарь ловко поддерживалъ разговоръ; старшина солидно молчалъ.

— Разстояніе, однако, довольно значительное, господа міряне, — замѣтилъ писарь.

— Да, помяться надо!

— Много старанія и усердія съ вашей стороны было приложено, если вы не поставили себѣ за трудъ столько мѣста отмахать.

— Общественное дѣло! Поупарились въ тотъ разъ, да и вдругорядъ Богъ привелъ.

— Ничего, — подхватилъ веселый писарь: — для себя опять трудитесь! Общественное дѣло!

Наконецъ, добрались до цѣли путешествія.

— Здѣсь, — сказалъ Вавило Семеновичъ: — оно самое, облизъ канавки лежить.

Возъ осѣлъ и распался по сторонамъ, глядѣлъ такимъ жалкимъ и сиротливымъ, что у Андрея Елизаровича кольнуло въ сердцѣ.

Слѣдователи обошли кругомъ, старшина вырвалъ изъ-подъ низу клочекъ, понюхалъ и проговорилъ:

— Доброе сѣнцо.

— Съ рендованнаго покоса, Игнатъ Галахтіончъ.

— А!..

Писарь предложилъ старостѣ и крестьянамъ нѣсколько вопросовъ, тутъ же записалъ на бумажѣ, вынутой изъ папки, выкурилъ другую папирску и задумался.

— Достаточно. Господинъ старшина, можно ѣхать?

— Гляди. Не упустилъ ли чего изъ вида?

— Ничего не забыто. Осмотръ на мѣстѣ оконченъ. Крестьяне приободрились.

— Значить, мы ослободились?

— Не окончательно. Дойдемъ до хижинъ, — протоколъ составимъ.

Переглянулись и вздохнули.

На возвратномъ пути, Вавило Семеновичъ не выдержалъ и разразился:

— Извольте порадоваться! Всѣ дѣло-то — наплевать не стоитъ, ежели сообразиться... На дворѣ страда, нужная работа стоитъ, а мы изъ-за всякой швали тратимъ время!

Волостной старшина, очевидно, говорилъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда требовали обязанности и власть; иначе онъ предпочиталъ сохранять молчаніе. Горячая рѣчь мужика напоминала ему объ обязанности.

— Павелъ Семенычъ! ты говори да не заговаривайся. Веди себя поучтивѣе!

Вавило Семеновъ — этотъ всегда храбрый, здоровенный и высоченный мужикъ, вдобавокъ чуть-ли не первый богатѣй изъ деревни — оторопѣлъ, весь какъ-то умалился и съ глуповатою, виноватою улыбкою на съезжившемся лицѣ робко проговорилъ:

— Я ничего, кажется, для васъ, Игнатъ Галахтіонычъ, не сказалъ...

— Нельзя при начальникѣ такіа выраженія: „плевать“ да „шваль!“ Законъ не дозволяетъ.

— Извините-сь. Я безъ всякаго дурного умысла, просто молвилъ... Желалъ изъяснить, что все дѣло, изъ-за коего весь переполохъ и беспокойство происходятъ, никакого вниманія не стоитъ...

— Ну вотъ это такъ!.. Это, братецъ, выраженія правильныя. Ежели бы ты этакъ сказалъ, то замѣчанія себѣ отъ меня не получилъ бы. А то: „шваль“, „плевать!“ Выраженія неподходящія! Законъ не допускаетъ.

Веселый писарь, чтобы окончательно сгладить непріятное впечатлѣніе и ободрить упавшій духъ Вавилы Семеновича и другихъ, весьма кстати вклеилъ отъ своего лица доброе слово.

— Совершенно справедливо, господа, что дѣло ваше никакого вниманія не стоитъ: только бы плюнуть да растереть. Но объ этомъ слѣдовало бы подумать ранѣе, а не въ настоящую минуту, когда на плевое дѣло обращено вниманіе значительнаго лица, отъ котораго съ нарочнымъ къ намъ пакетъ прилетѣлъ: „экстренное, спѣшное и важное“. Вотъ какъ, — извините, господинъ старшина, — „шваль“ то разыграла?

Въ хибаркѣ былъ составленъ протоколъ: грамотные — ихъ оказалось трое — приложили руки и расписались за безграмотныхъ.

— Ну, слава Богу! — вздохнули міряне и одинъ за другимъ спѣшили скорѣе на поле.

— Алексѣй Семенычъ, — обратился писарь къ бывшему судѣ: — ты что рѣдко къ намъ въ правленіе заглядываешь?

— Дѣловъ никакихъ нѣтъ, — отвѣтилъ тотъ. — Въ судьяхъ сидѣль бывало часто по обязанности, а нонче я къ дѣламъ этимъ не причастенъ.

— Все же, по старому знакомству, когда заверни!

— Выпадетъ случай — побываю. Спасибо!

Остался съ начальствомъ одинъ староста.

— Чай, за Хромого ничего, вѣдь, не будетъ? — началъ онъ неувѣренно, обращаясь къ писарю.

— Полагаю, міру сдѣлають легкій выговоръ, а ты посидишь.

— Ой?! — испугался Иванъ Егоровъ. — За что?

— За самоуправство.

— Да нѣтъ я въ томъ причиненъ? Я сполнялъ, что міръ желалъ.

— Ты — начальникъ! твоя прямая обязанность — удерживать мужиковъ, не позволять...

Староста былъ уничтоженъ.

— Такъ какъ же, мой... равно бы, мѣй, не того, — лепеталъ Иванъ Егоровичъ.

— Ничего не подѣлаешь. Мы не хотѣли тебя выдавать: старшина Хромого вытурилъ изъ правленія, когда тотъ съ словесной съ жалобой являлся. А онъ нашелъ себѣ адвоката да прямо господину земскому начальнику прошеніе закатилъ!.. Пора, старшина, намъ въ волость! — оборвалъ рѣчь писарь.

— Что-жъ, пойдемъ.

Иванъ Егоровъ ухватилъ за пиджакъ волостного писаря.

— Погодь! — не своимъ голосомъ проговорилъ староста. — Нельзя ли вамъ того... сколько-то бы какъ было-то...

Писарь оказался человѣкомъ доброй души, сжалился надъ старикомъ.

— Ты желаешь съ нами посовѣтоваться? — спросилъ онъ съ живостью, но пониженнымъ голосомъ. — Я такъ понимаю твои слова.

— Да, да!

— Ну, въ такомъ случаѣ у насъ будетъ съ тобой особый разговоръ. Приѣзжай въ село и зови насъ съ старшиною въ трактиръ: мы тебѣ совѣтъ подадимъ.

— Завтра приѣду! — вскрикнулъ повеселѣвшій староста.

— Превосходно. Тебѣ надо поторопиться: и занять голову намъ съ старостой придется не мало времени.

Проводивъ начальство, Иванъ Егоровичъ направился во-
свояси, бранилъ на чемъ свѣтъ стоитъ разбойника, подлеца и
возмутителя Хромого. У воротъ проѣзда старосту поджидалъ
Алексѣй Семеновичъ.

— На чемъ съ писаремъ и старшиною порѣшили?

— Завтра ему въ волость.

Это настоящее дѣло. Тебѣ давно бы слѣдовало побывать
тамъ.

— А ты что раньше-то мнѣ не говорилъ?

— Ты меня не спрашивалъ.

— Да! Самъ бы ты догадался... А что, мой, замнутъ они
дѣло?

Алексѣй Семеновичъ улыбнулся.

— Понужай! Наученія тебѣ тамъ подадутъ. Ничего не
опасайся. Не позабудь только, какъ станешь утре собираться,
захватить изъ своей шкатулочки-то...

— Знаю. Безъ этого нѣтъ можно ѣхать!

Вечеромъ, когда вернулись съ поля, бабы чуть не возбу-
товались.

— Душегубецъ! разбойникъ хромоногій!—раздавались не-
истовые женскіе голоса по деревнѣ. — Бога въ немъ нѣтъ,
кровопивецъ!

— Вонъ его изъ нашего жительства! Мужики, староста!
сбивайте сходъ, пишите скорѣе приговоръ!..

— А Дарья-то, Зацепистая, какова? Врала, врала намъ,
а про самое дѣло и утаила: сказала, что Хромой прошенъ
свое потерять.

— Ахъ, милая бабонька! — взывала сирота Вивея: — на-
прасно вы такъ на Дуплинскую-то... Да нѣтъ она потаила
бы, если доподлинно знала? Въ томъ-то и печаль-горе ея го-
ловушекъ, что ничего вѣрнаго не знаетъ, и всѣ ея рассказы
съ премудростью одни пустяки-сплетки! Я никогда Зацепи-
стой—Дуплинской вота насколько не вѣрила!

— Правда твоя, Вивея. Теперь видимъ сами, что баба
она—пустая, врушиха... Эхъ, да что намъ до ихъ! Надо му-
жикамъ-то подумать, ихъ пожалѣть!..

Общественное положеніе Дарьи Трофимовны сразу упало.
Всѣ ея многолѣтніе труды, заботы, подвиги на благо „міра“—
все полетѣло къ чорту.

Мужиковъ успокоилъ Алексѣй Семеновичъ.

— Не сумлѣвайтесь, братцы. На волостномъ судѣ наше дѣло будутъ разбирать по обычаю. Развѣ что вотъ старостѣ... да нѣтъ, выслободятъ и его!

X.

Время шло. Убрались съ ржанымъ, принялись за яровое, а мужиковъ не тревожатъ—на судъ не вызываютъ. Староста ходитъ весело, голову держитъ высоко. Бабы... но какое дѣло мірянамъ до бабъ: вините, браните Хромого, грызитесь промежь себя!

Одинъ человѣкъ въ деревнѣ не былъ похожъ на себя. „Слѣдствіе“, произведенное старшиною съ писаремъ, произвело на Андрея Елизаровича сильное впечатлѣніе. Бабка Анисья стала примѣчать, что мужикъ худѣетъ, часто о чемъ-то задумывается и мало говоритъ. До „слѣдствія“ Андрей храбрился, вольный духъ въ себѣ оказывалъ; выйдетъ когда на улицу,—посудить и поговорить хотя съ стариками, а теперь—никуда шагу, отъ всѣхъ хоронился, даже перевозчика избѣгаетъ и съ нимъ больше молчитъ, только на озеро свое бѣгаетъ и просиживаетъ тамъ до самаго обѣда. Проницательная старуха догадывалась, что томится мужикъ и вольнаго духа въ немъ званія не осталось. Не ладно что-то!.. Въ праздникъ съ раннего утра закатился, закатился Андрей Елизаровичъ на озеро, проводилъ тамъ долгіе часы. Прежде обыкновенно такъ водилось: придетъ, вынетъ изъ снастей добычу и торопится съ нею домой, чтобъ отвезти трактирщику, на станцію или фабрику. Не такъ теперь: придетъ, сидеть или приляжетъ на бережѣ озера, глядитъ на высокое небо, лѣсъ, зеркальную поверхность воды и думаетъ. Тяжело вдохнуть, а иногда и вымолвить: — „Эхъ, тяжело! Словно я оплеванный!..“ Лицо у него сдѣлается точно печальное, грустное и жалостное, а въ голубыхъ, немного сѣроватыхъ глазахъ будто что застелется... Глядитъ онъ и думаетъ: и живешь на міру—связанъ человѣкъ, безъ оглядки шагу ему нельзя ступить, а поотдѣлился отъ людей,—тяжко одному, гребится ровно что на сердцѣ... неужто нельзя такъ, что въ полномъ согласіи съ добрыми людьми жить, и самъ ты чувствовалъ легость, во всемъ тебѣ была развязка?.. Вотъ и люди грамотные говорятъ, что Богъ

создалъ человѣка свободнаго, дозволилъ ему поступать, какъ онъ хочетъ, только заказалъ зла не дѣлать... Въ чемъ отъ меня людямъ зло: если я, въ свободное время — когда мнѣ было способно, сѣно увезъ?.. Не въ урочную пору я свезъ, но вреда другимъ отъ этого не приключилось... А меня изобидѣли, сраму предали! Какъ же мнѣ было стерпѣть, не пожаловаться-то на обидчика?..

— Экъ, вплеснулись! — перебилъ себя Хромой. — Хорошо играетъ рыбка!.. Не подняться ли, выбрать изъ шаховъ?

Но думы не даютъ ему подняться, онъ смотритъ на свѣтлое озеро и думаетъ.

„Не слѣдовало мнѣ съ ними говорить рѣзко, насмѣхаться... Сказать бы прямо, что, молъ, не поищите на мнѣ, я вотъ по какой причинѣ выѣхалъ: нужда, оброкъ скоро потянуть, а деньжатъ нѣтъ. Поняли бы они это... Да нѣшто мнѣ что важно было? Я хотѣлъ показать имъ, что въ человѣкѣ живая душа, и слободенъ въ своихъ поступкахъ...“

— Опять!.. Экая большая вскинулась!

„Въ церкви читають, въ евангеліи написано“, продолжалъ думать Андрей Елизаровичъ: „любить ближнихъ и не помнить обиды на враговъ вашихъ“... Великое это слово Господне: любить! Безъ любви человѣкъ пуще лютаго звѣря бы сдѣлался, любовью одною весь свѣтъ и міръ держатся!.. И помнить обиды не слѣдуетъ: кто помнить обиды, тотъ самъ ожесточается и душѣ своей покоя не знаетъ... Но отстранять отъ себя человѣку обиду Богомъ не воспрещено. Ежели ты станешь попускать на себя, такъ не токмо дышать, всплакнуть тебѣ не дадутъ, званія никакого отъ человѣка не останется, словно онъ и на свѣтъ не рожденъ! А Господь велитъ человѣку жить... Я супротивъ мужиковъ никакой вражды не имѣю, на сердцѣ у меня ничего нѣтъ, и противъ старосты обиду я не ищу; мнѣ одного желательно: огражденія на предбудущее, и чтобъ люди видѣли, что человѣкъ слободенъ располагать собою. Ежели земскій начальникъ, или волостной судъ завидятъ старосту, я сейчасъ же въ ту минуту заявлю: „подвергать взысканію Ивана Егорова я не желаю, господа судьи: отъ всего сердца я прощаю его“! Тогда міръ и Иванъ Егоровъ поймутъ, чего я искалъ, и не станутъ меня за возмутителя почитать. Значить, что я имъ никакой не сдѣлалъ обиды: съ вихъ не искалъ, а хотѣлъ одной просьбы добиться... Поди,

«скоро ужъ насъ вызовутъ! А зла у меня нѣтъ, какъ передъ Богомъ! Онъ, ворипко, самъ видитъ, что у меня въ душѣ...

Успокоенный такимъ заключеніемъ своихъ думъ, Андрей Елизаровичъ, вставая съ травы, выбиралъ изъ снастей рыбу въ плетюшку и возвращался съ ней домой.

Между тѣмъ по деревнѣ начали ходить слухи, что прошеніе Хромого подъ суено положили и никакого суда не будетъ. Вскорѣ и другой слухъ прошелъ: будутъ судить самого Хромого за ослушаніе... Матвѣй Антонычъ внѣ себя прибѣгалъ съ той вѣстью къ Хромому и сообщалъ.

— Ладно, — промолвилъ Андрей Егоровичъ. — Знаю, откуда вѣтеръ несетъ. Не застрашаютъ!

— Я нарочно и прибѣжалъ къ тебѣ... Чтобы ты, выйдя, не поддавался, выдержалъ себя!.. Ну-ка, нѣтъ ли у тебя хоть одной рюмочки? Со вчерашняго — больно голова трепить, страсть какъ!

— Найдется Антипычъ. Съ тобою и я рюмочку пропущу.

Разъ, воскреснымъ днемъ, Хромой сидѣлъ въ своей передней, чистой избушкѣ, у раскрытаго окошечка, и поглядывалъ въ задумчивости на рѣчку. Мимо проходилъ Алексѣй Семеновъ; увидѣвъ старика, остановился.

— Здорово, дядя Андрей!

— Здравствуй, Алексѣй Семенычъ.

— Что въ избѣ сидишь? Вышелъ-бы на волю, погулялъ!

— Мнѣ и въ избѣ хорошо! — сухо и не глядя на мужика отвѣтилъ дядя Андрей.

— Ну, какъ знаешь: твоя воля... Да вотъ я что хотѣлъ тебѣ побаять: убери ты съ канавы сѣно! Стгнѣтъ задаромъ! Жалко!

— Пускай стгнѣтъ.

— Напрасно. Вѣдь денегъ стбѣтъ, да на базарѣ ты этакого сѣна никогда и не купишь.

— Знаю, нигдѣ не купишь. А я не желаю...

— Полно тебѣ дурить, Андрей!.. Я монѣ изъ села вернулся, заходилъ въ волостное правленіе. Спросилъ писаря: „что, молъ, у насъ, въ деревнѣ слухъ есть, что Андрея Хромого будутъ судить?“.. „Вѣрно“, говоритъ, „староста на него прошеніе подавъ — за ослушаніе. Придется“, говоритъ, „Хромому отсидѣть“.

— Что-же, отсижу! Этакая важность на волостныхъ хлѣбахъ недѣлю посидѣть. Только баушка-то сказываетъ на двое,

голова: Андрею-ли Хрому сидѣть, али староста Иванъ Егоровъ высидитъ.

— По моему, лучше-бы вамъ замирились.

— Такъ мнѣ, что-ли, первому идти къ нему, да кланяться: прости, молю, Иванъ Егорычъ, виноватъ я, дуракъ, передъ тобою, не наклади ты мнѣ съ міромъ-то по заливку! Нѣтъ, пускай судъ разберетъ!

— Ладно. Ну, судъ разберетъ, бавинять, допустимъ, старосту. Да тебѣ-то какая польза отъ того?..

— Я ничего не хочу, мнѣ ничего не требуется. По крайности, люди будутъ знать, что Хромой не возмутитель и стоялъ въ своемъ правѣ. А то, знаю я ихъ, дуракомовъ: они и въ другой разъ со мною такъ-же поступятъ.

— Знамо дѣло, если супротивничать будешь. А то какъ-же съ тобою управляться-то міру?

— Да ты, пошто ко мнѣ подошелъ?—повелъ онъ уже другую рѣчь.—Чего тебѣ отъ меня требуется?.. Ты учить меня вздумалъ...

— Чудной ты, Хромой! Вѣдь, ты еще сродни мнѣ немножко приходишься. Жалко мнѣ тебя.

— Уходи, уходи отъ моихъ окошекъ, пока цѣль! А то выйду, схвачу орасину, да такъ нагрѣю!.. Вишь, сродственникъ какой выискался, жалѣть!.. А ты еще не ушелъ, столпъ, рыжій?..

Алексѣй Семеновичъ засмѣялся, махнулъ обѣими руками и Лотихоньку отошелъ.

— Я-я-я тебя, рыжій! — высунувшись по брюхо изъ окошка, грозилъ родственнику Хромой. — Вздумалъ учить... Воротись, воротись! Я-я-тебѣ!

Когда Андрей Елизаровичъ успокоился, отступилъ отъ окна и сѣлъ въ простѣночкѣ, Анисья посмотрѣла слезящимися глазами на мужа, тихо сказавъ:

— Олеха-то, пожалуй, дѣло толкуетъ. Лучше-бы тебѣ, Ондрей, взаправду замирились, отъ грѣха отойти.

— Мо-олчи!—закричалъ мужъ.—Не знаю я съ твое, баба?..

Но это, какъ въ разговорѣ съ родственникомъ, такъ и крикъ на жену, были послѣднія вспышки, останныя проявленія вольнаго духа Хромого...

Наконецъ—вызываютъ на 15 число сентября! Старосту по жалобѣ въ самоуправствѣ, а Хромого—по обвиненію его ста-

ростомъ въ ослушаніи; крестьянъ вызвали въ качествѣ свидѣтелей.

Было воскресенье. Дождь шелъ, на улицѣ грязь, дорога распустилась!.. Изъ Бережковъ, вмѣстѣ съ сѣрымъ разсвѣтомъ, тронулись въ путь всѣ мужики и староста,—Панфилъ и Хромой на своемъ гнѣдко.

Въ волостномъ правленіи бережковцамъ сказали, что они рано явились: дѣло старосты и Хромого назначено къ разбору въ 2 часа пополудни. Въ виду этого, они отправились въ трактиръ.

Староста съ мужиками, свидѣтелями, помѣстились за нѣсколькими столами во второмъ этажѣ. Передъ ними, на столѣ, скоро появилась дюжина чашекъ и воздвиглись большія горы баранокъ. Принялись чаевничать и закусывать. Пораскраснѣлись; начался разговоръ и шутки.

— А гдѣ-жъ у насъ Хромой?—вспомнилъ кто-то изъ молодыхъ.

— И то:—не видать его!

Алексѣй Семеновичъ, тихо о чемъ-то разговаривавшій со старостою, услыхалъ и молвилъ:

— Надо-бы его поискать. Не внизу-ли онъ? Позвать-бы сюда. Чтò ему одному-то тамъ сидѣть?

— Я дойду, поищу Хромого,—отозвался молодой черно-волосый съ бородкою мужикъ.

Бывшій судья продолжалъ говорить и, повидимому, въ чемъ-то убѣждать старосту.

— Чтò-же... Я ничего,—отрывисто отвѣчалъ Иванъ Егоровъ.—Какъ онъ... По мнѣ... Я не прочь.

Молодой крестьянинъ воротился.

— Ну, чтò?

— Тамъ, внизу; пьетъ чай.

— Одинъ. Звалъ его: не идетъ! „Мнѣ“, говорить, „не скучно; здѣсь и одному“.

— Экой жидъ Хромой!

— Постойте-ка, я самъ къ нему доложусь,—сказалъ Алексѣй Семеновичъ.

— Дойди! Чтò ему тамъ одному страдать?

— Міряне!—обратился къ бережковцамъ староста.— Не позаправиться-ли намъ?

Міряне ничего противъ этого предложенія не имѣли.

— Полведерки, по началу, на всѣхъ пока хватить?

— Мало, пожалуй, Иванъ Егорычъ! Глядь: всѣ столы нашими заняты.

— Не хватить, — спросимъ еще!

Хромой одинъ пилъ чай и закусывалъ баранками. Алексѣй Егоровичъ подошелъ, поздоровался и сталъ звать его въ общую компанію.

— Мнѣ здѣсь больно хорошо.

— Ну, а съ людьми лучше будетъ, Андрей Елизаровичъ! Пойдемъ-ка... Пока на судъ до нашего дѣла очередь не дошла, мы замиримъ васъ. Право, Андрей, замиришься!

— Кому охота мириться, такъ пускай тотъ и мирится, — отвѣчалъ угрюмо Хромой.

— А то пойдемъ! Тамъ ужъ уладимъ, миролюбіе заключимъ.

— Я первый не замирюсь.

— Не безпокойся! Мы такъ учредимъ васъ, что оба вы и не увидите, какъ миръ промежду васъ устанется.

— Не знаю, право, Алексѣй...

— Полно. Вставай-ка, вставай, да и пойдемъ.

Минутъ черезъ десять Андрей Елизаровичъ сидѣлъ уже за однимъ столомъ съ Иваномъ Егоровымъ, Алексѣемъ Семеновымъ и другими. Хромой сидѣлъ молча, насупившись. Первый стаканчикъ онъ взялъ, промолвя: „желаю здравствовать, добрые люди!“ выпилъ и замолкъ. Выпилъ второй и сказалъ:

— Вѣтреная погода и дождь на дворѣ.

— Да, Андрей, теперь ужъ польются дожди, — сказалъ староста.

Заговорили. Со всѣхъ сторонъ съ любопытствомъ слѣдили за врагами, а больше судья—молодой мужикъ и рѣзко о чемъ-то говорилъ мужикамъ.

— Не выпить-ли?—сказалъ Иванъ Егоровъ.

— Чтѣ-жъ, пожалуй,—отвѣтилъ Хромой.

Послѣ трехъ староста и Хромой разговорились уже совсемъ свободно и пріятно хлопали себя по рукамъ.

— Иванъ Егорычъ! — неожиданно обратился къ старостѣ Хромой. — Чтѣ-жъ ты, пріятель: вѣдь, первые-то два стакашка заодолѣють одного-то. Налей и поднеси четвертый, чтобы сравнялось!

Староста хлопнулъ по плечу Хромого и засмѣялся.

— Ахъ, Андрюшка! Всегда онъ съ своими веселыми шутками... Зато я, мужики, люблю его! Право слово, люблю!

— Такъ, вѣдь, и я тебя, дуракъ, люблю! Помнишь, какъ мы съ тобой маленькими-то были, вмѣстѣ играли въ казаки?

— Да, ты еще разъ бабку разбилъ. Я осерчалъ, а ты мою свинчатку взамѣнь: „на“, сказалъ, „не сердись. Я не нарочно“... Ахъ, Ондрюшка!

— Ну вотъ теперь и хорошо. Слава Богу! Поцѣлуйтесь же!

Оба вопросительно посмотрѣли на мужиковъ; потомъ взглянули другъ на друга, разсмѣялись и потянулись.

— Ну, коли миръ, такъ миръ,—сказалъ Хромой. Поцѣлуемся, Алексѣй Егорычъ.

— Давай! Вотъ я тебя какъ обниму! Оба засмѣялись и на глазахъ блестяли слезы.

— Ухъ! крикнулъ Матвѣй Антиповичъ.

Вотъ это я люблю! Вотъ это по христіански! Сказано: „другъ друга обнимемъ!“ Дайте, родимые, и я васъ обниму! всѣхъ обниму!

Ф. Нефедовъ.

30 января 1896 г.

Былина о Батыѣ.

Спорный вопросъ о томъ, какъ велико наслѣдіе старины, полученное сѣверно-русскимъ былевымъ эпосомъ отъ южно-русскаго періода нашей исторіи, можетъ быть уясненъ только детальнымъ анализомъ былинъ, содержащихъ событія, прикрѣпленныя къ древнимъ историческимъ именамъ.

Такова былина о нашествіи Батыги, т. е. Батя. Во всей нашей исторіи не было болѣе страшнаго, роковаго событія, которое могло-бы произвести болѣе потрясающее впечатлѣніе на воображеніе нашихъ предковъ, чѣмъ этотъ опустошительный ураганъ, пронесшійся почти надъ всѣми землями Руси, поглотившій сотни тысячъ человѣческихъ жизней, покрывшій наше отечество пожарами, развалинами и поработившій остатки населенія ненавистному татарскому игу.

Глубокая скорбь народная слышится и въ скудныхъ словами извѣстіяхъ нашихъ лѣтописей о 1237—40 годахъ, и въ болѣе пространныхъ и краснорѣчивыхъ повѣстяхъ и сказаніяхъ. Несомнѣнно, рассказы современниковъ или ближайшаго поколѣнія о страшной бѣдѣ русской земли отлились и въ поэтическія формы,—пѣсенъ, воспѣвавшихъ, быть можетъ, отдѣльные эпизоды, поразившіе народное воображеніе въ тѣхъ или другихъ областяхъ Руси. Донеслось-ли до насъ что-нибудь изъ этихъ древнихъ пѣсенъ въ современной былинѣ, записанной въ XIX столѣтіи—вотъ вопросъ, на который невольно наводитъ извѣстная былина о Батыѣ. Тотъ или другой отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ повести къ разъясненію скрытой отъ насъ исторіи сложенія и сохраненія былинъ...

Записи былины о Батыѣ далеко не многочисленны. Изъ восьми вариантовъ сборника Гильфердинга ¹⁾, три предста-

¹⁾ №№ 18, 41, 60, 66, 116, 181, 231, 258.

вляють повторенія записей Рыбникова ¹⁾; сверхъ того въ сборникѣ Рыбникова находятся еще 3 записи былины того-же сюжета ²⁾, одна (изъ Нижегородской губ.) въ сборникѣ Кирѣвскаго, ³⁾ и три въ сборникѣ Тихонравова и Миллера ⁴⁾. Всѣ эти 15 записей, восходящія къ одной редакціи, посвящены подвигамъ богатыря Василя Игнатьевича или Василя пьяницы. О другихъ былинахъ, въ которыхъ дѣйствующимъ лицомъ также является Батыга, скажемъ ниже.

Установить довольно точно содержаніе основного извода былины позволяютъ намъ лучшія записи, къ которымъ мы относимъ четыре: 2 въ сборникѣ Гильфердинга (№№ 66 и 60) и 2 въ сборникѣ Рыбникова (II, 11 и I, 29).

Былина открывается оригинальнымъ заголовкомъ, представляющимъ unicum въ нашемъ эпосѣ. Это знаменитый заглавѣ о турахъ златорогихъ:

„Изъ-подъ той бѣлой березы кудреватая,
Изъ-подъ чуднаго креста Еландіева (Леванидова),
Шли-выбѣгали четыре тура златорогіе,
И шли они бѣжали мимо славенъ Кіевъ градъ
И видѣли надъ Кіевомъ чуднымъ-чудно,
И видѣли надъ Кіевомъ дивнымъ-дивно:
И по той стѣнѣ городовая
И ходитъ-гуляетъ душа красна дѣвица,
Во рукахъ держитъ Божью книгу Евангеліе,
Сколько ни читаетъ, а вдвое плачетъ.
Побѣжали туры прочь отъ Кіева,
И встрѣтили турицу, поздоровались:
„Здравствуй, турица, родна матушка!“
— Здравствуйте, туры, малы дѣточки!
— Гдѣ вы ходили, гдѣ вы бѣгали?“

Туры рассказываютъ матери о видѣнномъ чудѣ.

„Говоритъ тутъ турица, родна матушка:
— Ужъ вы глупые, туры златорогіе!
— Ничего вы, дѣточки, не знаете:
— Не душа та красна дѣвица гуляла по стѣны,
— А ходила та Мать Пресвята Богородица,
— А плакала стѣна мать городовая,
— По той ли по вѣрѣ христіанскія,—
— Будетъ надъ Кіевъ градъ погибельѣ“.

¹⁾ № 60—Рыб. II, 10; № 66—Рыб. III, 37 № 116—Рыб. II 65.

²⁾ I № 29, II № 11 и 65.

³⁾ II, стр. 93—96

⁴⁾ II №№ 38, 39 и 40.

Затѣмъ запѣвъ переходитъ непосредственно въ зачинъ самой былины, такъ что даже трудно сказать, гдѣ онъ кончается.

„Подымается Батыга сынъ Сергѣевичъ,

И съ сыномъ Батыгомъ Батыговичемъ,

И съ зятемъ Тараканникомъ и съ Каранниковымъ,

И съ думнымъ дьякомъ воромъ-выдумщикомъ“ и проч. ¹⁾

У всѣхъ четырехъ—Батыги, его сына, зятя и дьяка—по сорока тысячъ рати. Подступивъ къ Киеву, Батыга требуетъ у князя Владимира супротивника-поединщика. У князя, какъ на грѣхъ, богатырей не случилось; всѣ они въ разѣздахъ: Илья, Самсонъ, Святогоръ, Добрыня, Олеша. Въ Киевѣ оставался только добрый молодецъ Василий Игнатьевичъ, горькій пьяница, живмя-жившій въ кабацѣ, промотавъ и житье-бытье свое, и приданое женино. Услыхавъ о требованіи Батыги, Василий приходитъ къ князю и проситъ дать ему опохмелиться. Владимиръ угощаетъ его чарой въ 1½ ведра. „Поправившись“, Василий почувствовалъ, что можетъ на конѣ сидѣть и саблей владѣть. Онъ выѣзжаетъ за стѣну и стрѣляетъ въ татарскій станъ, цѣлясь по тремъ лучшимъ головамъ. Тремя стрѣлами онъ убиваетъ сына, зятя Батыги и его дьяка. Разгнѣванный Батыга отправляетъ въ Киевъ посла съ требованіемъ немедленной выдачи стрѣлявшаго. Василий добровольно отправляется въ ставъ Батыги, проситъ у него прощенія въ своей винѣ, снова опохмеляется и общаетъ Батыгѣ взять для него Киевъ-градъ, если онъ дастъ ему силы сорокъ тысячей. На тѣ рѣчи Батыга обнадѣялся и давалъ ему силы сорокъ тысячей. Отѣхавъ съ войскомъ, Василий избиваетъ всю татарскую рать, возвращается къ Батыгѣ и говоритъ ему, что хотя и потерялъ 40 тысячъ войска, но зато высмотрѣлъ, гдѣ въ Киевѣ ворота не заложены и теперь возьметъ городъ, если Батыга дастъ ему еще силы 40 тысячей. Батыга снова повѣрилъ обману; Василий опять истребилъ все войско и обманомъ получилъ новыя 40 тысячей силы, которыя постигла та-же участь. Тутъ только Батыга увидѣлъ свою бѣду неминуемую и спѣшно поѣхалъ въ свою землю, заклинаясь никогда впредь не бывать подъ Киевомъ.

„Не дай Богъ бывать болѣ подъ Киевомъ,

Ни мнѣ-то бывать, ни дѣтямъ моимъ,

Ни дѣтямъ моимъ, ни внучатамъ!“

¹⁾ Рыбниковъ II № 11 (зап. отъ старика налгня изъ деревни Красныя Ляги, Каргопольск. уѣзда).

Таково содержаніе былины по 4-мъ лучшимъ пересказамъ. Въ прочихъ разсказъ болѣе скомканъ въ подробностяхъ, спутанъ, и если въ нихъ есть нѣкоторыя новыя детали, то не важныя. Отметимъ нѣкоторыя.

Въ былинѣ Гильфердинга № 41 и Рыбн. II № 10 князь Владимиръ вовсе не упоминается. Василій пьяница дѣйствуетъ по собственной инициативѣ. Но объ былины такъ плохи и кратки, что забвеніе князя Владимира нужно поставить на счетъ плохой памяти сказителей (Прохорова и Слѣпого Ивана). Князь несомнѣнно упоминался въ основномъ изводѣ былины.

Въ былинѣ Гильфердинга № 18 (плохой и краткой) находимъ ту подробность, что вслѣдъ за требованіемъ Батыги выдачи стрѣлка, караульные солдаты докладываютъ царю Владимиру о мѣстопребываніи Василія въ кабацѣ и, по его приказу, приводятъ пьяницу, который затѣмъ у царя опохмеляется чарой въ полпята ведра. Въ былинѣ Гильфердинга № 231 (Воинова) о стрѣлявшемъ въ татаръ пьяницѣ Василю Васильевичѣ (не Игнатьевичѣ) докладываютъ князю какіе-то солдаты *буфетные*. Приведенному изъ кабака Василю князь говорить:

— „Ай же ты голь ты кабацкая!“

— „Не ты-ли билъ силу Батыгину?“

— „Поѣзжай-ко ко Батыги со отвѣтомъ самъ“. ¹⁾

Въ былинѣ Гильфердинга № 258 (Лядкова) Василій Игнатьевичъ, вмѣсто трехъ разъ, сразу беретъ у Батыги 300000 *арміи* и избиваетъ ее, махая татариномъ ²⁾. Приѣмъ избіенія взятъ изъ другихъ былинь.

Въ краткой и плохой былинѣ Рыбникова (II № 65), скомкавшей все содержаніе въ 73 стихахъ, Василій бьется мечомъ съ самимъ Батыгой и убиваетъ его, а затѣмъ Тараканчика, дьячка и все войско татарское. Владимиръ встрѣчаетъ побѣдителя у Златыхъ воротъ, ведетъ въ гридню и заводитъ пиръ. Изъ сопоставленія большинства записей можно вывести, что основная былина не кончалась смертью Батыги, а уходомъ его. Но иногда, какъ въ упомянутой записи, ³⁾ добавлена и смерть Батыги.

¹⁾ Столб. 1118.

²⁾ Столб. 1183.

³⁾ Ср. также Тихонр. и Миллеръ II № 40.

Любопытно для процесса нарастанія подробностей отмѣтить, что сказитель Потапъ Антоновъ, окончившій былинну бѣгствомъ Батыги, когда сказывалъ ее Рыбникову,¹⁾ значительно продолжилъ ее въ записи Гильфердинга. Когда Батыга съ обычнымъ закліатіемъ отъѣзжаетъ отъ Кіева, Василій ѣдетъ за нимъ въ сугонъ, чтобъ съ нимъ перевѣдаться за то, что онъ, не простившись, уѣхалъ во свояси. Они бьются на сабляхъ, Василій снимаетъ у Батыги буйну голову, избиваетъ его остатнюю силу, возвращается въ Кіевъ и пируетъ у Владимира 12 день. Вслѣдствіе такихъ дополненій второй пересказъ Антонова почти на 100 стиховъ длиннѣе перваго. Такъ разнятся тексты былинъ въ устахъ однихъ и тѣхъ-же сказителей.

Въ посредственной былинѣ, записанной Гуляевымъ въ Барнаульскомъ округѣ²⁾, вмѣсто Батыги подступаетъ къ Кіеву Подольскій царь, не названный по имени. Владимиръ посылаетъ слугъ вѣрныхъ за Васенькой, голью-кабацкой. Василій выѣзжаетъ, избиваетъ силу Подольскаго царя и гонится за нимъ. Однако, его останавливаетъ вѣщій конь словами:

„Не бѣгай ты, Васинька, голь кабацкая,
Не бѣгай ты въ землю басурманскую,
Земля басурманская хитра-мудра,
Не быть намъ обоимъ живымъ“.

Послушавшись коня, Василій возвращается въ Кіевъ, гдѣ, вмѣсто награды, испрашиваетъ у князя три погребца:

„Первый погребъ зелена вина,
Второй погребъ пива пьянова,
Третій погребъ сыты медвяныя!“

Подробности въ томъ-же кабацкомъ вкусѣ находимъ въ записи крест. Касьянова, Олонецк. губ.³⁾ Голи кабацкія, при приступѣ Батыги, говорятъ князю Владимиру о Васиіи, лежащемъ въ кабаѣ на печи. Князь Владимиръ самъ идетъ по кружаламъ государевымъ, „по тѣмъ царскимъ кабакамъ“ и находитъ Васиію. Василій жалуется, что у него трещитъ буйна голова, и проситъ чаши похмельной. Дальнѣйшій рассказъ кратко передаетъ обычное содержаніе былинны.

Всѣ доселѣ рассмотрѣнныя записи принадлежать олонецкому и одна (Гуляева) сибирскому репертуару. Изъ централь-

¹⁾ III, стр. 296.

²⁾ Тихонравъ и Миллеръ II. № 39.

³⁾ Тихонравовъ и Миллеръ № 38.

ныхъ губерній былина записана лишь въ Нижегородской,¹⁾ и, какъ всѣ былины средней Россіи, не отличается ни полнотой, ни обиліемъ деталей. Затѣвъ о турахъ, сохранившійся во всѣхъ олонецкихъ былинахъ (кромѣ неполной Рыб. II 10), отсутствуетъ. Зять Батыги Лукаперъ богатырь попалъ сюда изъ сказки о Бовѣ. Василій носитъ отчество Казнѣровичъ по смѣненію съ другимъ богатыремъ. Кабацкія подробности развиты. Владимиръ велитъ князьямъ-боярамъ позвать Василья. Тѣ идутъ въ кабакъ и грубо зовутъ Василья къ князю. Василій запираетъ двери кабака, снимаетъ съ бояръ платье свѣтлое, бьетъ ихъ и гонитъ нагихъ ко двору князя, который издѣвается надъ ними. Затѣмъ князь самъ идетъ къ Василю въ кабакъ, кланяется ему и проситъ защиты. Василій троекратно пьетъ, чтобъ опохмелиться, чары Ильи Муромца въ полсема ведра, Добрыни Никитича въ полпята и Олеси Поповича въ полтретя ведра, затѣмъ идетъ на Батыя, попадаетъ стрѣлою Лукаперу въ правый глазъ и предлагаетъ Батыю взять Кіевъ; на этомъ былина обрывается. Отмѣтимъ, что Батый въ этой былинѣ носитъ отчество *Каймановичъ*, о которомъ скажемъ ниже.

Къ числу былины о Батыгѣ можетъ быть отчасти привлечена одна былина сборника Кириши Данилова, хотя басурманскій царь въ ней названъ Калиномъ²⁾ и главнымъ дѣйствующимъ лицомъ, какъ въ другихъ былинахъ о Калинѣ, является Илья Муромецъ. Василій пьяница приплетенъ къ началу былины. Когда по приходѣ Калина съ его зятемъ Сартакомъ и и сыномъ Лоншекомъ въ Кіевъ богатырей не случилось, Василій пьяница пускаетъ стрѣлу съ башни наугольной и попадаетъ въ правый глазъ зятю Калинову, Сартаку. Калинъ требуетъ выдачи стрѣлявшаго. Но Василю не приходится идти. Во время подоспѣваетъ Илья Муромецъ, и былина, совсѣмъ забывъ о Василю, рассказываетъ подвиги главнаго русскаго богатыря.

Просмотрѣвъ всѣ варианты былины о Василю и Батыгѣ, мы видимъ, что основной ея типъ довольно бѣденъ содержаніемъ. Подвиги Василя описываются кратко: больше вниманія сосредоточивается на его пребываніи въ кабакъ и многократномъ опохмеленіи то въ грядницѣ князя Владимира, то въ станѣ

¹⁾ Кирѣвскій II, стр. 93.

²⁾ К. Даниловъ № 24, у Кирѣвскаго I, стр. 70—76.

Баття. Это смакованіе кабацкой сцены и зелена вина уже само указывает и на слагателей былины, и на среду, для увеселенія которой она сложена. Это—грубая среда любителей „кружала государева“, кабацких засѣдателей, „веселыхъ людей“ скомороховъ. Дѣйствительно, лучшіе пересказы былины до сихъ поръ носятъ слѣды ея скоморошья происхожденія, кончаясь шутливой прибауткой въ ихъ вкусѣ. Такъ, калика Латышевъ послѣ заклинанья Батыги окончилъ былинѹ слѣдующей прибауткой:

„Сильные-могучіе богатыри во Кіевѣ;
Церковное пѣнье въ Москвѣ-городѣ;
Славный звонъ въ Новѣ-городѣ;
Сладкіе поцѣлуи Новоладожанки;
Гладкіе мхи къ синю морю подошли;
Щельѣ-каменьѣ въ сѣверной сторонѣ;
Широкіе подолы Олонецкіе;
Дубинные сарафаны по Онегѣ по рѣкѣ;
Обо... подолы по Мошѣ по рѣкѣ;
Рипсоватые подолы Почезерочки;
Рядные сарафаны Кенозерочки;
Нучеглазья молодки Слобожаночки;
Толстобрюхія молодки Лексимозерочки;
Малошальскій погъ до солдатовъ добръ.

Дунай, Дунай,

Болѣ пить (т. е. пѣть) впередъ не знай!“¹⁾

Сказитель Фепоновъ прибавилъ ту-же прибаутку къ своей былинѣ съ нѣкоторыми измѣненіями, замѣтивъ, что его учитель, калика Мѣщаниновъ, нѣвалъ эту „небылицу“ именно послѣ этой былины:

Ай чистыи поля были ко Опскову,
А широки раздольица ко Кіеву,
А высокія-ты горы Сорочинскіи,
А церковно-то строенъ въ каменной Москвы,
Колокольной-отъ звонъ да въ Новѣ-городѣ,
Ай тѣртыя колачики Валдайскія,
Ай шаптивы щеголихи въ Ярослави городи,
Дешёвы поцѣлуи въ Бѣлозѣрской сторонѣ,
А сладки напитки во Питери,
А мхи-ты болота ко синю морю,
А щельѣ каменьѣ ко сѣверику,
А широки подолы Пудожаночки,
Ай дублѣны сарафаны по Онеги по рѣки,

¹⁾ Рыбн. П, № 11, стр. 44. Та же прибаутка въ сокращеніи въ былинѣ Рыбн. I № 29.

Толстобрюхія бабенки Лѣшмозѣрочки,
Ай пучеглазья бабенки Пошозѣрочки.
А Дунай, Дунай, Дунай,
Да болѣ пѣть впередъ не знай“¹⁾

Наконецъ, сказитель Антоновъ въ своемъ пересказѣ былины Рыбникову (точнѣе, его сотруднику) добавилъ прибаутку въ еще болѣе сжатомъ видѣ:

„Что ни лучшіе богатыри во Кіевѣ,
Золота казна во Черниговѣ,
А цвѣтно платье во Новѣгородѣ,
А хлѣбны запасы во Смоленцѣ городѣ,
А мхи да болота во Заморской стороны,
А раструбисты сарафаны по Мошѣ по рѣкѣ,
А худые сарафаны въ Каргопольской стороны!“²⁾

Если мы просмотримъ біографіи сказителей, добавившихъ прибаутку, то увидимъ, что они переняли свои былины отъ специальныхъ пѣтарей-калики. Такъ, Антоновъ Потапъ научился былинамъ отъ слѣпого калики Минны Ефимова;³⁾ Латышевъ—самъ калика по профессіи; Феоновъ учился у калики Петра Мѣщанинова и самъ, будучи слѣпъ, отчасти питается подавніемъ за пѣніе духовныхъ стиховъ⁴⁾. Въ виду того, что прибаутка сопровождаетъ разсматриваемую былинку въ лучшихъ пересказахъ, встрѣчаясь, впрочемъ, и въ нѣкоторыхъ посредственныхъ⁵⁾, можно заключить, что она составляла заключительную часть въ основномъ изводѣ точно такъ-же, какъ началу былины предшествовалъ оригинальный заглавъ съ картиной встрѣчи туровъ златорогихъ съ турицей подъ стѣнами Кіева.

Итакъ, въ разсматриваемой былинѣ, которой составъ опредѣляется лучшими пересказами, мы имѣемъ вполнѣ законченное произведеніе, какъ бы ничтожно ни было его художественное значеніе. Соотвѣтственно обычному типу былины, оно состояло изъ вступленія или зачина, повѣствовательной или главной части и заключенія. Въ такомъ видѣ, съ конечной прибауткой, былина пѣлась профессиональными пѣвцами-каликами, наслѣдовавшими ее изъ репертуара другихъ болѣе искусныхъ испол-

¹⁾ Гильерд., № 60, столб. 325.

²⁾ Рыбн. III, № 37, стр. 226.

³⁾ Гильерд., столб. 334.

⁴⁾ Гильердингъ, столб. 295.

⁵⁾ Рыбн., I № 29, Гильерд., № 231, столб. 1119; № 18, столб. 119; № 41, столб. 207.

нителѣй скомороховъ. Последняя дошедшая до насъ редакція былинъ носитъ несомнѣнные признаки ихъ работы, работы, прибавимъ, далеко не высокаго достоинства. Однако, эта последняя обработка сюжета о нашествіи Батыги предполагаетъ другую, болѣе древнюю, старую погудку, передѣланную скоморохами на новый ладъ, и еслибъ мы могли узнать что-нибудь объ этомъ древнѣйшемъ изводѣ, то составили-бы себѣ нѣкоторое понятіе о приемахъ творчества нашихъ профессиональных пѣтарей-слагателей былинъ XVI и XVII вв.

Спрашивается, однако, почему подъ дошедшей до насъ былинной слѣдуетъ предполагать нѣчто болѣе древнее, служившее отчасти матеріаломъ для новой постройки. Подтвержденіе этому предположенію мы видимъ въ рѣзкомъ несоотвѣтствіи вступленія или заглавія былинъ съ ея содержаніемъ. Дѣйствительно, въ заглавіи рассказывается, что Мать Пресвятая Богородица, стоя на стѣнѣ городской, читаетъ Евангеліе и горько плачетъ:

„Она вѣдасть невзгодушку надъ Кіевомъ,
Она вѣдасть невзгодушку великую“. ¹⁾

Или:

„Это плакала стѣна городова,
Она слышала побѣду надъ Кіевомъ“. ²⁾

Или:

„Не красная дѣвица тутъ плакала,
Тутъ плакала сама мать Богородица,
Тужила-то о вѣрѣ христіанскія“. ³⁾

Или:

„Она плакала о вдовахъ, о сиротахъ, о бѣдныхъ о головахъ“. ⁴⁾

Или:

„А ходила та Мать Пресвята Богородица,
А плакала стѣна мать городова,
По той ли по вѣрѣ христіанскія,
Будеть надъ Кіевъ градъ погибельѣ“. ⁵⁾

¹⁾ Гильо., № 60, ст. 322.

²⁾ Гильо., № 181, ст. 893.

³⁾ Гильо., № 231, ст. 1117.

⁴⁾ Гильо., № 258, ст. 1180.

⁵⁾ Рыбн., II, № 11, стр. 40.

Итакъ, былина открывается чудесной легендой: заступница Кіева Пресвятая Богородица плачетъ о судьбѣ города, зная предстоящую ему погибель: она горюетъ о вѣрѣ христіанской, о вдовахъ и сиротахъ. Такое знаменіе не можетъ не исполниться. Пресвятая Богородица не можетъ ошибиться. Городъ долженъ пасть, и, дѣйствительно, послѣ погрома Батыева Кіевъ лежалъ въ развалинахъ. И что-же? вмѣсто описанія ужасной судьбы Кіева, предвѣщаемой вступительной печальной легендой, мы въ былинѣ находимъ нѣчто совсѣмъ не сообразное съ вступленіемъ. Предчувствіе Богородицы не оправдалось: Кіевъ остался цѣль, даже не смотря на отсутствіе его главныхъ защитниковъ—богатырей. Огромныя силы Батыги, его сына, зятя и дѣяка (отъ 120 до 300 тысячъ) шута искрошилъ кабацей засѣдатель Василій пьяница. Ожидавшаяся драма разрышилась фарсомъ. Вниманіе рассказчика объ обложеніи Кіева Батыгой сосредоточивается не столько на этомъ событіи и на боѣ Василя, сколько на процессѣ испиванія Васькой непомятыхъ чаръ зелена вина. Видно, что кружало—главный центрпритяженія для составителя быliny, что она и создана въ кабацѣ въ чадѣ винныхъ паровъ. Послѣдній ея слагатель жилъ въ такое время, когда Русь уже торжествовала надъ татарами, когда они уже не представлялись грозной, непобѣдимой силой, подъ которой нѣкогда стонали предки. Понятія *своего* времени, пробудившюся въ московскомъ царствѣ національную гордость слагатель простосердечно переносилъ въ прошедшее, ко временамъ Батыги. Изъ грознаго завоевателя онъ сдѣлалъ шутовского царя басурмана, глупаго труса, бѣгущаго безъ оглядки отъ русскаго кабацкаго героя. Не смущаясь полнымъ несоотвѣтствіемъ печальнаго тона запѣва съ замышляемымъ рассказомъ о богатырѣ-пьяницѣ, слагатель взялъ изъ старинной пѣсни легендарное зачало и, какъ умѣлъ, придѣлалъ къ нему новый рассказъ, пользуясь кое-гдѣ матеріалами изъ стараго. Мы никогда не будемъ въ состояніи точно уяснить, какіе это были матеріалы. Но все же считаемъ не лишнимъ поискать въ былинѣ крупницъ старины...

Прежде всего, мы предполагаемъ, что вступительная картина — встрѣча туровъ съ турицею и плачущая Богородица, съ книгой евангельскою—остатокъ старинной легенды. Въ основѣ легенды лежитъ представленіе о томъ, что городъ Кіевъ былъ посвященъ охранѣ Богородицы, какъ Константинополь.

Вспомнимъ слова, приписываемыя Андрею Юродивому, что Константинополь вданъ даромъ Богородицѣ и никто его не отниметь у нея. Многіе языки приступать къ стѣнамъ его, но сокрушать роги свои и отойдуть со срамомъ. ¹⁾ Вспомнимъ, что специальной стоятельницей за Новгородъ была св. Софія и что судьбу города легенда приводила также въ связь съ фресковымъ образомъ Спасителя въ этомъ храмѣ, написанного со сжатою рукою. Но лучшимъ комментариемъ къ плачущей Богородицѣ нашей былины можетъ служить новгородская легенда въ повѣсти о побѣдѣ новгородцевъ надъ суздальцами. Повѣсть рассказываетъ, что раздраженный на Новгородъ Андрей Боголюбскій послалъ сына Романа со всей силою суздальскою и князя Мстислава со смолянами, рязанцевъ, муромцевъ, полочанъ, торопчанъ, переяславцевъ и ростовцевъ на Новгородъ. Всѣхъ князей было 72. Новгородцы въ скорби сѣтовали и молились Богу. Суздальцы стояли подѣ городомъ 3 дня. На 3-ю ночь новгородскій владыка Іоаннъ услышалъ гласъ, указавшій ему на икону Богородицы на Ильинѣ улицѣ. Икона была перенесена на стѣну. При нападеніи суздальцевъ, ликъ Богородицы оросился слезами, которыя владыка принялъ на фелонь. Тогда Господь разгнѣвался на осаждавшихъ, они ослѣпли и стали побивать другъ друга. Такъ Богородица спасла Новгородъ своими слезами. ²⁾ Намекъ на подобную старинную легенду о Богородицѣ нужно видѣть въ былинномъ зачатѣ. Наши изслѣдователи уже давно привели спутанную картину былины—съ образомъ не то плачущей стѣны, не то Богородицы—въ связь съ Кіевской легендой о мозаичномъ образѣ Богородицы на восточной стѣнѣ Софійскаго собора, извѣстномъ подѣ названіемъ „Нерушимая стѣна“. Названіе объясняется тѣмъ, что при разрушеніи собора стѣна съ этимъ древнимъ образомъ уцѣлѣла, и Богородица съ молитвенно поднятыми дланями долгіе годы послѣ погрома печально смотрѣла на развалины „матери городовъ русскихъ“. ³⁾ Легенда о Богородицѣ, скорбящей о судьбѣ Кіева, должна была сложиться вслѣдъ за разгромомъ города Батыемъ въ 1240 году и, такимъ образомъ, мы имѣемъ приблизительную хронологическую дату по крайней

¹⁾ Сахаровъ—Экзотологич. сочиненія и проч., стр. 89.

²⁾ Памятники старин. русск. литер. Вып. I, стр. 241—2.

³⁾ См. объ образѣ „Нерушимая стѣна“ у Закревскаго—Описаніе Кіева. 1868, т. II, стр. 780 и слѣд.

мѣръ для поэтической и грустной картины, открывавшей собою древнюю историческую пѣсню о нашествіи Батыя на Кіевъ.

Поищемъ другихъ слѣдовъ древнихъ пѣсень о событіяхъ роковыхъ 1237—1240 годовъ въ книжныхъ сказаніяхъ и повѣстахъ. Мы имѣемъ въ виду прежде всего „Повѣсть о приходѣ Батыевой рати на Рязань“, вошедшую въ нѣкоторые поздніе лѣтописные своды и находимую въ нѣсколькихъ сборникахъ, большей частью рядомъ съ повѣстью о корсунскомъ образѣ Николая чудотворца Заразскомъ. Пользуясь текстомъ „повѣсти“, изданнымъ акад. Срезневскимъ,¹⁾ мы отмѣтимъ тѣ черты разсказа, въ которыхъ можно подозрѣвать народную эпическую основу. Какъ варіантомъ, мы воспользуемся вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстнымъ пространнымъ Сказаніемъ о Батыевомъ приходѣ на Русь въ 1237 году, помѣщеннымъ во всѣхъ древнихъ и старинныхъ лѣтописныхъ сводахъ. Для нашей цѣли—указанія тѣхъ эпизодовъ разсказа, которые отзываются народной эпикой,—воспользуемся пространнымъ „Сказаніемъ“, взятымъ Сахаровымъ изъ Софійскаго временника и Костромской лѣтописи.²⁾

Напомнимъ вкратцѣ содержаніе „Повѣсти о приходѣ Батыевой рати на Рязань“.

Безбожный Батый въ 1237 г. съ огромнымъ войскомъ прибылъ къ рязанскимъ предѣламъ и сталъ на р. Воронежъ (въ Сказаніи—на Онузѣ). Затѣмъ онъ посылаетъ къ рязанскому князю Юрію Ингоровичу *бездѣльных* пословъ, съ требованіемъ десятины во всемъ: въ князьяхъ, людяхъ, коняхъ. Въ Сказаніи—послами Батыя является *жена чародѣица* и съ нею два мужа. Требованіе десятины распространено нѣкоторыми народно-поэтическими чертами: десятина требуется въ князьяхъ, въ людяхъ, въ коняхъ: бѣлыхъ, вороныхъ, бурыхъ, рыжихъ, пѣгихъ. И жену чародѣицу, и пространное перечисленіе мастей коней—слѣдуетъ отнести къ чертамъ старинной пѣсни. Далѣе рязанскимъ князьямъ, выѣхавшимъ въ Воронежъ на встрѣчу Батыю, влагаются въ уста эпическій отвѣтъ: „Коли насъ не будетъ всѣхъ, то все ваше будетъ“. Затѣмъ въ „Повѣсти“ и „Сказаніи“ кратко разсказывается, какъ рязанскіе князья просили помощи у великаго князя Юрія Владимірскаго, и какъ онъ отказалъ

¹⁾ „Свидѣнія и замѣтки о малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ памятникахъ“. Приложен. къ XI т. запис. И. А. Наукъ, № 2, 1867, стр. 81—90.

²⁾ „Сказанія русск. народа“, т. I, кн. IV, стр. 45—56, изд. 1841 г.

имъ. Не получивъ подмоги, рязанскіе князья рѣшаются „уто-
лить“ безбожнаго царя дарами и молениями великими, и Юрій
посылаетъ къ нему своего сына Θεодора съ другими князьями.
Батый принявъ дары, обѣщалъ не воевать рязанскую землю,
но сталъ глумиться надъ пріѣхавшимъ посольствомъ и просить
у рязанскихъ князей ихъ дочерей и сестеръ себѣ на ложе. Нѣкій
изъ вельможъ рязанскихъ сказалъ Батыю, что у князя Θεодора
жена красавица и царскаго рода. Батый, обратившись къ Тео-
дору, сказалъ: „дай мнѣ, князь, видѣть жены твоей красоту“. Оскорбленный князь Θεодоръ, „посмѣваясь“, (Сказан.) сказалъ:
„Не подобно есть намъ, христіанамъ, къ тебѣ нечестивому
царю водить жены своя на блудъ; аще преодолѣши, то и
женами нашими владѣти начнешь“. Безбожный царь велитъ
убить князя Θεодора, а тѣло его выбросить звѣрямъ и пти-
цамъ на растерзаніе. Перебиты были и спутники Θεодора.
Только одинъ—пѣстунъ, именемъ Аполоница—укрылся и спря-
талъ тѣло своего убитаго князя. Затѣмъ онъ постѣпшилъ къ
женѣ Θεодора, княгинѣ Евпраксіи, чтобъ сообщить ей печальную
вѣсть. При пріѣздѣ гонца княгиня Евпраксія стояла „въ пре-
высоцѣмъ храмѣ своемъ“ (Сказ.), т. е. въ *высокихъ хоромахъ*
и держала на своихъ „бѣлыхъ“ рукахъ (Сказ.) „любезное“ чадо
свое. Она поджидала своего „ласковаго и любимаго“ супруга.
Услыхавъ отъ Аполоницы, что ея мужъ „любви ея ради и
красоты“ убитъ Батыемъ, Евпраксія „наполнися слезъ и горест-
ти, и ринуся изъ превысокаго храма своего съ сыномъ своимъ,
съ княземъ Иваномъ, на среду земли, и заразися до смерти“.

Едва-ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что трогательный
эпизодъ о смерти Θεодора и Евпраксіи въ изложеніи книжника
основанъ на народной пѣснѣ. Черты народнаго стиля сквозятъ
доселѣ въ отдѣльных образахъ и выраженіяхъ: детальное пе-
речисленіе дани конями, высокій теремъ Евпраксіи, бѣлыя руки,
любезное чадо—все это хорошо извѣстные приемы народной
поэзіи. Да и самое содержаніе эпизода, какъ было указано
ислѣдователями эпоса¹⁾, сильно напоминаетъ былинну о Данилѣ
Ловчанинѣ и его женѣ. Чтобъ уяснить это сходство, отмѣтимъ
слѣдующія общія черты:

1. Роль рязанскаго вельможи, сказавшаго Батыю о кра-
сотѣ жены князя Θεодора, въ былинѣ исполняетъ коварный

¹⁾ М. Г. Халаанскій, „Великорусс. былинны Киевскаго цикла“, стр. 82. См.
также наши „Экскурсы“, стр. 26.

Мишатка Путятичъ, который говоритъ князю Владимиру о красотѣ жены Данила Ловчанина и соблазняетъ князя ею овладѣть.

2. Въ сказаніи Батый убиваетъ кн. Θεодора, въ былинѣ Владимиръ губитъ Данилу не прямо, а посылаетъ его на охоту съ труднымъ порученіемъ и содѣйствуетъ его гибели (самоубійству).

3. Какъ Евпраксія, узнавъ о смерти мужа, кончаетъ жизнь самоубійствомъ, такъ и жена Данилы Ловчанина.

Вслѣдъ за эпизодомъ о Θεодорѣ и Евпраксіи, повѣсть обычнымъ украшеннымъ книжнымъ стилемъ изображаетъ сборы Юрія Ингоревича, влагая въ его уста благочестивыя молитвы и увѣщанія къ воинамъ. Онъ посѣщаетъ церкви, даетъ послѣднее цѣлованіе супругѣ Агриппинѣ Ростиславнѣ, принимаетъ благословеніе отъ епископа и выступаетъ противъ Батыя. Описаніе боя ограничивается довольно блѣдными чертами. Сѣча была зла и ужасна. Батый видѣлъ, что „господство рязанское крѣпко и мужественно билось и убоился“. Но противъ гнѣва Божія что постоитъ! Одинъ русскій бился съ тысячею, а два съ тьмою. Битва кончилась полнымъ пораженіемъ и избиеніемъ рязанскихъ князей: Георгія Ингоревича, Давида, Глѣба, Всеволода Пронскаго и друг. Далѣе слѣдуетъ взятіе Рязани и ужасное опустошеніе всей области, послѣ чего Батый идетъ на Суздаль и Владимиръ. Здѣсь рассказъ прерывается вставкой—эпизодомъ о подвигахъ Евпатія Коловрата, — въ которой снова можно подозрѣвать отдѣльную пѣсню.

Одинъ изъ вельможъ рязанскихъ (въ сказаніи *русскихъ*), Евпатій Коловратъ, въ то время былъ въ Черниговѣ съ княземъ Ингоремъ Ингоревичемъ, собирая для него дань. Услыхавъ о приходѣ безбожнаго царя Батыя, онъ съ малой дружиной погналъ въ землю Рязанскую и увидѣлъ, что городъ въ развалинахъ, государи побиты, множество народа посѣчено, пожжено или потоплено въ рѣкѣ. И вскричалъ Евпатій въ горести души своей и распалился въ сердцѣ. Собралъ онъ 1700 человекъ дружины, изъ людей, которыхъ Богъ сохранилъ, и погналъ вслѣдъ безбожному царю Батю, рѣшившись „испить смертную чашу съ своими государями равно“. Едва догнавъ Батыя въ землѣ Суздальской, онъ внезапно напалъ на его станъ и началъ сѣчи татаръ безъ милости. „И сметоша всѣ полки татарскыя. Татарове же сташа яко пияны, а ли неистовый Евпатій тако ихъ бѣяше, яко и мечи притупишася и емля

татарскія мечи и сѣчаше ихъ. Татарове мняша, яко мертви восташа. Еупатій *сильныя* полки татарскыя проѣзжая бѣяше ихъ нещадно и ѣздя по полкамъ татарскимъ храбро и мужественно, яко и самому царю побоятися. И еѣва поимаша отъ полку Еупатіева пять человѣкъ воинскихъ, изнемогшихъ отъ великихъ ранъ, и приведоша ихъ къ царю Батю. И царь Батій нача вопрошати. „*Коя вѣры есте вы и коя земля и что мнѣ много зла творите?*“. Они же рѣша: „вѣры крестіанскія есѣмъ, раби великаго князя Юрья Ингоревича Резанскаго, а отъ полку Еупатіева Коловрата, посланы отъ князя Ингваря Ингоревича Резанскаго тебѣ сильна царя почтити и честно проводитьи, и честь тобѣ воздати, да не подиви, царю, не усѣивати наливати чашу на *великую силу рать* татарскую“. Царь же подивися отвѣту ихъ мудрому. И посла шурича своего Хостоврула (*Таеврула*) на Еупатія, а съ нимъ сильныя полки татарскіе. Хостоврулъ же похвалися предъ царемъ, хотя Еупатія жива предъ царя привести. И ступишася сильныя полки татарскія, хотя Еупатія жива яти. Хостоврулъ же сѣхася въ Еупатіемъ. Еупатей же исполинъ силою (наѣхавъ) и разсѣче Хостоврула *на полы до сѣдла*, и начаша сѣчи силу татарскую. И многихъ тутъ нарочитыхъ богатырей батыевыхъ побилъ, овихъ на полы пресѣкоша, а иныхъ до сѣдла краяша. Татарове возбояшася, видя Еупатія крѣпка исполина, и навадиша на него множество пороковъ и начаша бити по немъ съ сточисленныхъ пороковъ и едва убиша его и принесоша тѣло его предъ царя Батю. Царь Батій посла по мурзы и по князи (Ординскіи) и по санчакбѣи, и начаша дивитися храбрости и крѣпости и мужеству. Они же рекоша царю: „*Мы со многими цари во многихъ земляхъ на многихъ бранехъ бывали, а такихъ удалцовъ и рязецовъ не видали, ни отци наши возвѣстивша намъ*“. Сіи бо люди крылати и не имѣюще смерти тако крѣпка и мужественно ѣздѣ бѣяшася, единъ съ тысящею, а два съ тмою. Ни единъ отъ нихъ можетъ сѣхати живъ съ побоища. Царь Батій, зря на тѣло Еупатіево, и рече: „О Коловрате Еупатіе! Гораздо еси меня поскепалъ малою своею дружиною, да многихъ богатырей *сильной* эрды побилъ еси, и многие (полки) падоша. Аще бы у меня такой служилъ, держалъ быхъ его *противъ сердца своего*“. И даша тѣло Еупатіево его дружинѣ останной, которые поиманы на побоищѣ, и веля ихъ царь Батій отпустити, ни чемъ вредити“...

И содержаніе, и форма, и мѣсто приведеннаго эпизода объ Евпатіи Коловратѣ, показываютъ, что передъ нами переданная прозой народная пѣсня рязанскаго происхожденія, вставленная въ повѣсть о батыевомъ нашествіи. Интересно отмѣтить мѣсто этой вставки. Авторъ „Повѣсти“ о разореніи Рязани Батыемъ помѣстилъ ее послѣ разсказа о разореніи Рязани, когда Батый пошелъ къ Суздалю и Владиміру. Подвигъ Евпатія является хоть отчасти мщеніемъ рязанскаго удалца Батыю, за убіеніе князей и разореніе родной области. Фантазія народная старалась всячески разукрасить этотъ подвигъ, отдохнуть на немъ послѣ ужасныхъ претерпѣнныхъ отъ Батыя бѣдствій, возмутившихъ и оскорбившихъ народную гордость. Другое мѣсто далъ тому же преданію составитель пространнаго сказанія о нашествіи Батыя на русскую землю. Передавъ печальную судьбу Рязани и ея княжескаго дома, онъ переходитъ къ описанію событій въ Суздальской области: рассказываетъ о боѣ при Коломнѣ, взятіи татарами Москвы, Суздаля, Владиміра, разореніи всей Ростовской и Суздальской земли и описываетъ скорбь великаго князя Юрія. Только здѣсь помѣщаетъ онъ разсказъ о подвигѣ Евпатія Коловрата и затѣмъ снова возвращается къ великому князю Юрію и описываетъ битву при Сити, въ которой палъ князь Юрій Всеволодовичъ и князь Василій Константиновичъ былъ взятъ въ плѣнъ и замученъ. Ясно, что эпизодъ о Коловратѣ болѣе умѣстенъ тамъ, гдѣ его вводитъ авторъ *попытка* о разореніи Батыемъ Рязани. Мы не входимъ въ соображенія, почему авторъ пространнаго „Сказанія“ передвинулъ его на другое мѣсто: для насъ достаточно того, что разсказъ объ Евпатіи представляетъ отдѣльное цѣлое, отдѣльную пѣсню, которою пользовались составители украшенныхъ историческихъ повѣстей.

Типическія черты пѣсни проглядываютъ до сихъ поръ въ ея книжной обработкѣ. Отмѣтимъ нѣкоторыя черты народной эпикѣ.

Евпатій съ своей ничтожной дружиной проѣзжаетъ сильные полки татарскіе, какъ Илья Муромецъ или Ермакъ; татары шатаются, какъ *пьяные*; приведеннымъ къ нему воинамъ Коловрата изумленный ихъ храбростью Батый ставитъ обычные эпические вопросы: „Коя вѣры есте и коя земля?“ Тѣмъ же эпическимъ духомъ вѣетъ отъ ихъ ироническаго отвѣта, что они „посланы княземъ его, сильнаго царя, почтити и честно

проводити“, и чтобы онъ простилъ, что они не успѣваютъ чашу наливать на великую *силу-ратъ* татарскую. ¹⁾ Удивленіе Батя мужественному отвѣту плѣнниковъ, похвальба Хостоврула привести Евпатія живьемъ къ царю, бой Евпатія съ Хостовруломъ, причемъ рязанскій удалецъ, какъ эпическіе кievскіе богатыри, разсѣкаетъ нахвальщика на помы до сѣдла, сознаніе татарскихъ мурзъ при тѣлѣ Коловрата, что они во многихъ земляхъ и на многихъ браняхъ бывали, а такихъ удалцовъ и рѣзвцовъ не видали ²⁾—все это черты знакомыя нашимъ былинамъ. Наконецъ, какъ позднѣйшія пѣсни о Батѣ кончаются его жалобой на русскихъ богатырей, такъ и старинная рязанская пѣсня содержитъ въ заключеніи жалобу Батя на Коловрата за то, что онъ его „гораздо поскепалъ, много богатырей его сильной орды побилъ“, и сознаніе басурманскаго царя, что у него нѣтъ богатырей равныхъ Коловрату. Батю приписываетъ пѣсня даже нѣкоторое великодушіе, вызванное удивленіемъ подвигамъ русскаго богатыря.

Итакъ въ эпизодѣ объ Евпатіи Коловратѣ нельзя не видѣть драгоцѣннаго остатка народной исторической пѣсни, если не современной, то, вѣроятно, по сложенію близкой ко времени событія. Вмѣстѣ съ эпизодомъ о смерти князя Θεодора и княгини Евпраксіи, книжный разсказъ объ Евпатіи можетъ служить яркимъ образчикомъ историческихъ эпическихъ пѣсенъ, сложенныхъ въ народной или дружинной средѣ въ томъ поколѣніи, которое либо было свидѣтелемъ татарскаго погрома, либо слышало о немъ изъ устъ современнаго событію поколѣнія. Мы не думаемъ, чтобы въ дружинахъ или въ народѣ въ то время существовали пространныя историческія пѣсни о разореніи всей русской земли нашествіемъ Батя, нѣчто вродѣ того связнаго разсказа, который представляли объ этомъ событіи книжныя повѣсти, вошедшія въ лѣтописныя своды. Погромъ былъ такъ ужасенъ, побѣдоносное шествіе Батя было такимъ рядомъ пораженій русскихъ дружинъ, что на такомъ сюжетѣ, крайне непріятномъ для національной гордости, не могъ остановиться народный поэтъ. Но, отвращаясь отъ печальнаго сюжета въ цѣломъ, народное преданіе должно было искать утѣшенія, душевнаго отдыха въ частностяхъ, и такими частностями, между прочимъ, являются пѣсни о Θεодорѣ и Ев-

¹⁾ Отмѣтимъ тутъ же тавтологическое выраженіе: „сила-ратъ“.

²⁾ Отмѣтимъ глагольныя рѣзмы.

практии и о подвигъ Евпатія Коловрата. Мученическая смерть князя Теодора, защищавшаго честь жены, и трагическая смерть любящей жены при извѣстїи о гибели любимаго мужа — вотъ эпизодъ, исторически не имѣвшій значенія, но своею нравственной стороною глубоко запечатлѣвшійся въ народной памяти и давшій прекрасный сюжетъ для печальной пѣсни. Точно также исторически ничтожная, но удачная для русскихъ, стычка съ однимъ изъ татарскихъ отрядовъ (предполагая, что въ рассказѣ о Коловратѣ есть хоть ничтожная крупица исторїи) должна была въ годину страшнаго бѣдствія нѣсколько подбодрить угнетенное народное настроеніе, и народъ создалъ богатырскую пѣсню, всячески приукрашающую рязанскаго удалца.

Все это психологически вполне естественно, но намъ интересно знать, дошло-ли что-нибудь изъ этихъ древнихъ пѣсенъ до нашего сѣвернаго эпоса, рассказывающаго, какъ мы видѣли, о нашествїи Батыги. Теперь, когда мы разсмотрѣли остатки старинныхъ пѣсенъ въ передѣлкахъ книжниковъ, отвѣтъ на этотъ вопросъ не можетъ насъ затруднить. Почти ничего, кромѣ нѣкоторыхъ именъ, что снова подтверждаетъ общеизвѣстный фактъ, что *имена* въ нашемъ эпосѣ, какъ и въ другихъ народныхъ устныхъ произведеніяхъ, древнѣе *фабулъ*, къ нимъ прикрѣпленныхъ. Разсмотримъ эти имена.

Въ „Экскурсахъ“ я уже высказалъ предположеніе, что имя нашей безсмѣнной эпической кievской княгини Опраксы, Опраксѣвны ведетъ свое происхожденіе отъ имени рязанской княгини, извѣстной въ преданїяхъ о Батыгѣ, причемъ имя совершенно отдѣлилось отъ нравственныхъ свойствъ исторической личности, носившей его. „Типъ вѣрной жены, угрожаемой сластолюбивымъ царемъ и кончающей жизнь самоубійствомъ при извѣстїи о смерти мужа, перешелъ въ нашемъ эпосѣ къ Василисѣ, женѣ Данилы Ловчанина, а имя — одно безъ всякихъ другихъ чертъ, оторванное отъ исторической княгини, — прикрѣпилось къ женѣ кн. Владимира, полной противоположности исторической Евпраксіи по нравственнымъ свойствамъ. Очевидно, это могло произойти значительно позже XIII вѣка, когда имя Евпраксіи уже было отдѣлено отъ историческаго событія, связаннаго съ нимъ, когда оно ничего уже не говорило народному воображенію, кромѣ того, что это была какая-то *изысканная* княгиня, чѣмъ-то и когда-то прославившаяся. А такъ какъ въ эпосѣ единственной княгиней является жена былиннаго

князя Владимира (какъ онъ самъ единственнымъ княземъ), то не мудрено, что какой-нибудь слагатель, а за нимъ другіе, назвали эту княгиню именно Апраксіей (Опраксой)¹⁾.—Итакъ, сохраненіе въ нашихъ былинахъ имени Опраксы и замѣчательное сходство сюжета быliny о Данилѣ и Василисѣ съ сказаніемъ о Ѳеодорѣ и Евпраксіи, хотя въ былинѣ некрасивая роль Батыя и перенесена на князя Владимира,—все это свидѣтельствуешь о томъ, что въ болѣе раннемъ періодѣ нашего эпоса въ немъ была популярна пѣсня о гибели Ѳеодора и Евпраксіи при нашествіи Батыя на рязанскую землю.

Изъ другой разсмотрѣнной старинной рязанской пѣсни—объ Евпатіи Коловратѣ—вѣроятно, зашло въ быliny имя *Таврульевичъ*. Вспомнимъ, что въ „Повѣсти“ главнымъ богатыремъ и нахвальщикомъ при Батѣ является Хостовруль (или Тавруль). Въ былинахъ *отчество* Таврульевичъ нерѣдко. Такъ (въ былинѣ Кириши Данилова № 6) Волхъ Всеславьевичъ, пробравшись въ Индѣйское царство, беретъ за руки царя Салтыка *Ставрुльевича*, ударяетъ имъ о кирпичать полъ и расшибаетъ его въ крохи. Въ „Гисторіи о кіевскомъ богатырѣ Михайлѣ Даниловичѣ“, татарскій царь, подступившій къ Кіеву и разбитый малолѣтнимъ Михайломъ, названъ Бахметомъ сыномъ *Таврульевичемъ*²⁾. Наконецъ, въ старинной тверской пѣснѣ о Щелканѣ Дудентьевичѣ татарскій царь носитъ имя Возяга *Таврольевича*³⁾.

Можетъ быть, изъ какой-нибудь старинной пѣсни о Батѣ вошло въ одну современную быlinу, записанную въ Архангельской губ., отчество Каймановичъ:

„Подступаетъ къ намъ подъ Кѣвъ царь Батый.
Царь Батый, онъ-жа Каймановичъ“. ⁴⁾

Сходное по звукамъ имя Кайданъ носить одинъ изъ братьевъ Батыя въ пространномъ сказаніи о нашествіи Батыя на русскую землю⁵⁾.

Наконецъ, можетъ быть поставленъ вопросъ, не изъ старинныхъ-ли пѣсенныхъ источниковъ вошло въ быlinу о Ба-

¹⁾ „Эпосурсы“, стр. 26 и 27.

²⁾ Р. быlinны ст. и нов. записи, I, стр. 61.

³⁾ Гильберт., №№ 235, 269, 283.

⁴⁾ Кирѣевск., II, стр. 93.

⁵⁾ Сахаровъ, стр. 53.

тыгъ имя богатыря Василя пьяницы. Акад. Веселовскій весьма правдоподобно объяснилъ, почему къ имени Василя прикрѣпился типъ человѣка унынсливаго, но можно колебаться въ рѣшеніи вопроса, такъ сказать, хронологическаго: что въ данномъ случаѣ было предшествовавшее и послѣдующее? Представить-ли намъ себѣ процессъ творчества такъ, что народъ сначала создалъ типъ богатыря пьяницы и затѣмъ окрестилъ пьяницу Василемъ подѣ влияніемъ ложно истолкованной легенды о Василя Новомъ; или старинная пѣсня знала имя Василя, наследовавъ его изъ традиціи и затѣмъ подѣ влияніемъ имени носитель его въ скоморошьей средѣ, которой принадлежитъ позднѣйшая обработка былины, приобрѣлъ черты кабацкаго гуляки-богатыря.

Не утверждая послѣдняго, я не прочь отъ предположенія, что имя Василя могло находиться въ старинномъ пѣсенномъ преданіи. Это имя носить въ книжномъ сказаніи князь Василій Константиновичъ, взятый Батыемъ въ плѣнъ въ битвѣ при Сити. Подобно тому, какъ въ былинахъ Батыга, Калинъ или Бахметъ Таврудьевичъ побуждаютъ взятаго въ плѣнъ русскаго богатыря имъ служить и получаютъ отъ послѣдняго ироническій и дерзкій отвѣтъ, такъ книжникъ, основываясь, быть можетъ, на народномъ преданіи, говоритъ про плѣннаго Василька: „И нудиша Василька много проклятій, безбожные татарове въ поганской быти воли ихъ и воевати съ ними. Онъ-же, не повинуся обычаю ихъ никако-же, не покорися беззаконію ихъ, ни брашна, ни питія ихъ не приѣ“¹⁾. Здѣсь Василій отказывается воевать въ татарской рати, въ былинѣ Василій Игнатьевичъ обманно переходитъ на сторону татаръ, а затѣмъ избиваетъ данную ему Батыгой силу. Убитый Батыемъ князь Василій Константиновичъ привлекалъ къ себѣ народную симпатію не только, какъ мученикъ. Религіозно настроенный авторъ „Сказанія“ прославляетъ его не только за мужественную смерть. Онъ дѣлаетъ характеристику убитаго князя, что сравнительно не часто находимъ у нашихъ книжниковъ, припоминаетъ тѣ внѣшнія черты и свойства характера, которыя привлекали къ князю всѣ сердца: „Бѣ же Василько лицомъ красенъ, очима свѣтелъ и грозенъ взоромъ, паче мѣры храбръ, на ловѣхъ вазнивъ, сердцемъ легокъ; а кто ему служилъ и хлѣбъ его ѣлъ,

¹⁾ Сахаровъ, стр. 51.

чашу его пилъ, той за его любовь никако-же не можаше у иного князя быти и служити, излише бо слуги своя любляше; мужество и умъ въ немъ живяше, правда-же и истина съ нимъ ходиста; бѣ бо всему хитръ, и посѣде въ добрыхъ денехъ на отнѣ столѣ и дѣднѣ“¹⁾. Въ такой характеристикѣ князя слышатся мнѣнія о немъ дружины, высоко цѣнившей княжескую ласку, щедрость, хлѣбосоольство, а также удачу на охотѣ. Хорошо было дружиннику служить у такого князя и послѣ службы у него уже не по сердцу была служба у другихъ князей. Едва-ли поэтому авторъ „Сказанія“ риторически преувеличилъ скорбь подданныхъ о Василии Константиновичѣ, когда говоритъ, что при его отпѣваніи въ церкви „не бѣ слышати пѣнія во мнозѣ плачѣ“.

Если на основаніи характеристики Василия въ „Сказаніи“ мы предположимъ, что имя этого популярнаго и трагически погибшаго князя поминалось въ народномъ преданіи въ связи съ именемъ Батыя, то найдемъ возможнымъ и другое предположеніе, что оно сохранилось въ современной былинѣ о Батыгѣ, сохранилось только, какъ имя, независимо отъ историческаго лица, его носившаго. Типъ богатыря-пьяницы получился какимъ-нибудь другимъ процессомъ, — имя, можетъ быть, ему предшествовало. Аналогіей этому процессу можетъ служить эпическая судьба имени Евпраксія, о которой мы говорили выше. Во всякомъ случаѣ между исторической княгиней Евпраксией, пострадавшей при нашествіи Батыя, и былинной Опраксой не большее различіе, чѣмъ между плѣненнымъ и замученнымъ Батыемъ княземъ Василиемъ Константиновичемъ и былиннымъ Василиемъ Игнатьевичемъ, такъ-же находившимся въ рукахъ Батыя, но уничтожившимъ его несмѣтную силу. — Чтобы покончить рядъ былинныхъ именъ, предположительно, сохранившихся изъ болѣе древнихъ эпическихъ матеріаловъ, упомянемъ еще имя пѣстуна кн. Теодора Аполоницы, который спряталъ тѣло князя и привезъ изъ стана Батыева Евпраксіи извѣстіе о его смерти. Уже въ „Эккурсахъ“²⁾ я предположилъ, не зашло-ли изъ рязанскаго сказанія въ нашъ эпосъ странно звучащее имя Аполлонище, которое носитъ иногда богатырскій сынъ Ильи Муромца, вступающій съ нимъ въ бой. „Славное Аполонище, сынъ дѣвки Сиверьяничны изъ Золотой Орды“ —

¹⁾ Сахаровъ, стр. 52.

²⁾ Стр. 27, примѣчаніе.

упоминается въ былинѣ Гильфердинга № 246.¹⁾ Имя пѣстуна Теодорова Аполоницы могло, отдѣлившись отъ историческаго его носителя, прикрѣпиться къ былинному богатырю, также приѣзжающему изъ орды“²⁾).

Чтобы исчерпать весь матеріалъ, содержащійся въ нашемъ эпосѣ для характеристики Батя, намъ остается просмотрѣть еще одну былинѣ Архангельской губерніи.³⁾ Раньше мы указали былинѣ о царѣ Калинѣ, въ которую вплетенъ богатырь Василій, играющій главную роль въ былинѣ о Батыгѣ. Въ разсматриваемой архангельской былинѣ, наоборотъ, царь Батый Батевичъ замѣняетъ царя Калина и сталкивается, какъ послѣдній, съ Ильей Муромцемъ.

Какъ въ другихъ былинахъ о Батыгѣ, Батый Батевичъ приступаетъ къ Кіеву съ сыномъ (Таракашкомъ) и любимымъ зятемъ (Улюшпой), но при этомъ страннымъ образомъ подѣзжаетъ на кораблѣ—подробность неудачно припутавшаяся изъ другихъ былинныхъ сюжетовъ.

Раздернувъ бѣль-полотняный шатеръ, Батый созываетъ на совѣтъ своихъ мурзовъ-бурзовъ и посылаетъ въ Кіевъ съ требованіемъ выдать ему трехъ богатырей—Илью, Добрыню и Алешу, — угрожая въ противномъ случаѣ „сильныхъ богатырей подъ мечъ склонить, князя со княгинею въ полонъ взять, Божьи церкви на дымъ спустить“ и проч. Прочтя ярлыкъ, князь запечалился и пошелъ въ церковь молиться Богу. На встрѣчу ему выходитъ калика-перехожая и спрашиваетъ, о чемъ князь груститъ. Князь рассказываетъ о требованіи Батя. Тогда калика открывается: оказывается, что это Илья Муромецъ, которому было давно княземъ отъ Кіева отказано. Владимиръ бьетъ Ильѣ челомъ до сырой земли и проситъ его:

„Постарайся за вѣру христіанскую,
Не для меня, князя Владимира,
Не для-ради княгини Апраксин,
Не для церквей и монастырей,
А для бѣдныхъ вдовъ и малыхъ дѣтей.“

Илья съ Добрыней, Алешей и княземъ съ многочисленными дарами ѣдетъ къ Батыю, чтобы откупиться на три года. Ба-

¹⁾ Столб. 1151.

²⁾ Другое объясненіе былиннаго имени *Аполонице* дано акад. А. Н. Веселовскимъ—„Журн. Мин. Нар. Просв.“, 1890 г., мартъ.

³⁾ Карповскій—IV, стр. 38—46.

тый угощаетъ пословъ, но не даетъ срока и на три дня. Тогда Илья, приказавъ князю запереться въ Кіевѣ, ѣдетъ на Почайрѣку звать богатырей и уговариваетъ ихъ, сердитыхъ на Владимира, выручить Кіевъ. Богатыри соглашаются. 12 дней рубятся съ татарами, но затѣмъ отъѣзжаютъ „опочивъ держать“. Остается одинъ Илья Муромецъ. Дальнѣйшее содержаніе представляетъ обычныя черты былины о Калинѣ: паденіе Ильи въ татарскіе подкопы, веденіе его на казнь, маханіе татаринѣмъ и бѣгство басурманскаго царя.

Обзоръ содержанія архангельской былины показываетъ, что она скорѣе относится къ циклу былины объ Ильѣ Муромцѣ и Калинѣ. Только въ силу синкретизма, обычнаго въ устномъ эпосѣ, сказитель былины смѣшалъ Калина съ Батыгой и внесъ въ начало своей пѣсни нѣкоторыя черты изъ былины о Батыгѣ. Вообще басурманскіе цари нашего эпоса — Калинъ, Батыга, Бурганъ, Кумбаль, Мамай, Бахметъ и проч. — такъ сходны между собою и историческія черты разныхъ эпохъ до такой степени сведены къ одной формулѣ, что попытки различить какія-нибудь историческія подробности, вошедшія въ эпосъ вмѣстѣ съ тѣмъ или другимъ историческимъ именемъ, представляются тщетными. Несомнѣнно историческія имена — Батыга, Мамай, Ахмата — являются, такъ сказать, хронологическими вѣхами, указывающими на многовѣковый путь, пройденный нашимъ устнымъ эпосомъ. Но народная память давно позабыла подробности этого длиннаго пути и, дойдя до послѣдней станціи уже въ московскомъ царскомъ періодѣ, странникъ помнитъ только о ней и въ своемъ воображеніи переноситъ условія настоящаго въ прошлое и приписываетъ ихъ ранѣе пройденнымъ этапамъ.

Въ заключеніе резюмируемъ выводы, къ которымъ приводитъ изслѣдованіе былины о Батыгѣ въ связи съ книжными повѣстями и сказаніями.

1. Несомнѣннымъ представляется существованіе въ XIII в. народныхъ, вѣроятно дружинаго происхожденія, пѣсень, очерпавшихъ сюжеты изъ воспоминаній современниковъ о страшномъ нашествіи. Къ такимъ пѣснямъ, вошедшимъ, какъ эпизоды, въ книжныя повѣсти, можно отнести пѣсни о смерти кн. Θεодора и Евпраксіи и о подвигѣ Евпатія Коловрата. Сюжетъ первой пѣсни съ другими именами еще живетъ въ нашемъ эпосѣ; популярное же чрезъ пѣсню имя Евпраксіи стало

нашимъ эпическимъ именемъ жены Владимира. Изъ пѣсенъ о Евпатіи Коловратѣ, вѣроятно, проникло въ былины имя *Таврульевичъ*.

2. Къ старинному наслѣдію въ нашемъ эпосѣ, кромѣ нѣкоторыхъ именъ, можно отнести и заглавье съ Богородицей, плачущей о судьбѣ Кіева. Не соответствуя, какъ мы видѣли, содержанію былины о Василии и Батыгѣ, этотъ заглавье былъ безотчетно сохраненъ ея слагателемъ.

3. Съ нѣкоторой вѣроятностью можно далѣе предположить, что имя Василя, героя былины о Батыгѣ, еще принадлежало болѣе древнимъ пѣснямъ Батыева цикла, поминавшимъ любимого дружиной и народомъ князя Василя Константиновича, взятаго татарами въ плѣнъ въ битвѣ при Сити и погибшаго въ станѣ Батыя, какъ другой современный герой исторіи и пѣсни — князь Феодоръ. Но въ позднѣйшій періодъ нашего эпоса имя Василя отдѣлилось, какъ имя Евпраксин, отъ историческаго лица, его носившаго, вслѣдствіе чего къ нему могла прикрѣпиться фабула, не имѣющая ничего общаго съ исторической судьбой князя Василя.

4. Эта позднѣйшая обработка былины принадлежитъ скоморошью средѣ, вѣроятно, XVI или XVII в. На это указываетъ, какъ мы видѣли, и характеръ героя — типъ Василя-пьяницы, — и заключительная юмористическая прибаутка, съ приглагомъ „Дунай“, обычная въ скоморошьяхъ пѣсняхъ. Отъ профессиональных пѣвцовъ-слагателей, „веселыхъ людей скомороховъ“, былина перешла къ калікамъ, а отъ нихъ ее переняли лучшіе современные олонечіе сказители.

Эти выводы, если только они окажутся прочными, даютъ намъ до нѣкоторой степени возможность судить объ отношеніи дошедшей до насъ редакціи былины къ болѣе древнимъ историческимъ пѣснямъ и историческимъ именамъ.

Вс. Миллеръ.

Мертвые корабли.

Поэма.

1.

Между льдовъ затерты, спятъ въ тиши морей
Остовы нѣмые мертвыхъ кораблей.
Вѣтеръ быстролетный, тронувъ паруса,
Прочь спѣшитъ въ испугѣ, мчится въ небеса.
Мчится, и не смѣетъ бить дыханьемъ твердь,
Всюду видя только—блѣдность, холодъ, смерть.
Точно саркофаги, глыбистые льды
Длинною толпою встали изъ воды.
Бѣлый снѣгъ ложится, вьется надъ волной,
Воздухъ утомляя мертвой бѣлизной.
Вьются хлопья, вьются, точно стаи птицъ—
Царству бѣлой смерти нѣтъ нигдѣ границъ.
Что-жъ вы здѣсь искали, выброски зыбей,
Остовы нѣмые мертвыхъ кораблей?

2.

„На полюсъ! На полюсъ! Бѣжимъ, поспѣшимъ
И новыя тайны откроемъ!
Тамъ вѣрно есть островъ,—красивъ, недвижимъ,
Окованъ плѣнительнымъ зносомъ:
„Намъ скучны предѣлы родимыхъ полей,
Извѣданныхъ думъ и желаній.
Мы жаждемъ качанья нѣмыхъ кораблей,
Мы жаждемъ далекихъ скитаній.
„Въ безвѣстномъ—улада тревожной души,
Въ туманностяхъ манять зарницы,
И сердцу рокочутъ приливы: „снѣжи!“

И дразнить свободныя птицы.
„Намъ вѣтеръ бездомный шепнулъ въ полуснѣ,
Что сбудутся наши надежды:
Для новаго солнца въ цвѣтущей странѣ,
Проснувшись, откроемъ мы вѣжды.
Мы гордо раздвинемъ предѣлы земли,
Намъ свѣтитъ нашъ разумъ стоокій.
Плывите, плывите скорѣй, корабли!
Плывите на полюсь далекій!“

3.

Солнце свершаетъ
Скучный свой путь.
Что-то жѣмлетъ
Сердцу вздохнуть.
Въ морѣ приливы
Шумно растутъ.
Мирныя нивы
Гдѣ-то цвѣтутъ.
Пѣнясь, про вѣгу
Шепчетъ вода.
Гдѣ-то къ ночлегу
Гонять стада.
Грусть утихаетъ,
Съ другомъ легко.
Кто-то вздыхаетъ
Тамъ далеко.
Счастливы, кто мирной
Долей живетъ.
Кто-то въ обширной
Безднѣ плыветъ.
Нѣжная ива
Спитъ и молчитъ.
Гдѣ-то тоскливо
Чайка кричитъ.

4.

„Мы плыли—все дальше—мы плыли.
Мы плыли не день и не два.
Отъ влажной крутящейся пыли

Кружилась не разъ голова.
„Туманы клубились густые,
Вставалъ и гудѣлъ океанъ:
Какъ будто бы вѣдѣмы сѣдня
Раскинули вражескій станъ.
„И туча бѣжала за тучей,
За валомъ мятелся валъ.
Встрѣчали мы островъ пловучій,
Но онъ отъ очей ускользалъ.
„И тамъ, гдѣ изъ воднаго плѣна
На мигъ возставали цвѣты,—
Крутилась лишь бѣлая пѣна,
Сверкая среди темноты.
„И дерзко смѣялись зарницы,
Манившія міромъ чудесь.
Кружились зловѣщія птицы
Подъ склепомъ пустынныхъ небесъ.
„Буруны закрыли со стономъ
Сверканья полярной звѣзды.
И вотъ ужъ съ пророческимъ звономъ
Идутъ, надвигаются льды.
„Такъ что-жь,—и для насъ развернула
Свой свитокъ сѣдая печаль!
Такъ значитъ и насъ обманула
Богатая сказками даль!
„Мы отданы бѣлымъ пустынямъ,
Мы тризну свершаемъ на льдахъ.
Мы тонемъ, мы гаснемъ, мы стынемъ
Съ проклятемъ на блѣдныхъ устахъ!...”

5.

Скрипя, бѣжитъ среди валовъ
Гигантскій гробъ, скелетъ пловучій.
Въ тѣлахъ обманутыхъ пловцовъ
Изякъ свѣтильникъ жизни жгучей.
Огромный остовъ корабля
Въ пустынь моря быстро мчится,
Какъ будто гдѣ-то есть земля,
Къ которой жадно онъ стремится.
За нимъ, скрипя, среди зыбей

Несутся бѣшено другія.
И привидѣнья кораблей
Тревожатъ области морскія.
И шепчутъ волны межъ собой,
Что дальше ихъ пускать не надо, —
И встала бѣлою толпой
Снѣговъ и льдистыхъ глыбъ громада.
И пѣсни имъ надгробной нѣтъ,
Безмолвенъ міръ пустыни сонной,
И только солнца красный свѣтъ
Горитъ какъ факель похоронный.

6.

Да легкіе хлопья летаютъ
И беззвучную сказку поютъ,
И бѣлыя ткани сплетаютъ,
Созидаютъ для смерти пріютъ.
И шепчутъ: „мы дѣти вѣтра,
Мы любимцы нѣмой тишины,
Враги безпокойнаго міра,
„Мы пушистые, чистые сны.
Мы падаемъ въ синее море,
„Мы по воздуху молча плывемъ,
И мчимся въ безбрежномъ просторѣ,
„И къ покою другъ друга зовемъ.
И вѣчно мы, вѣчно, летаемъ,
„И не нужно намъ шума земли,
Мы вѣмся, бѣжимъ, пропадаемъ,
И летаемъ, и таемъ вдали“...

К. Бальмонтъ.

9 декабря 1895.

Донъ-Кихотъ московскаго захолустья.

I.

Юньскій, праздничный вечеръ; въ Екатерининскомъ паркѣ играетъ музыка, большая часть гуляющей публики находится вблизи эстрады, народъ почтице сидитъ кругомъ площадки на скамейкахъ, а попроче толпится около музыкантовъ, причемъ нѣкоторые съ любопытствомъ заглядываютъ въ самыя жерла огромныхъ военныхъ тромбоновъ и восхищаются извергаемымъ ими оглушительнымъ ревомъ.

Вдали отъ музыки, на одной изъ кривыхъ дорожекъ парка, сидѣли двое мужчинъ: одинъ пожилой, гладко выбритый, съ полнымъ, нѣсколько женственнымъ лицомъ и съ веселыми смѣющимися глазами; другой молодой, худощавый, голубоглазый, скромнаго вида, чисто одѣтый блондинъ съ небольшою бородкою.

Первый, Лаврентій Семеновичъ Лысковъ, московскій старожилъ, прежде былъ крѣпостнымъ одной богатой графини и управлялъ ея домами; послѣ смерти барыни онъ получилъ пожизненную пенсію; выписавшись въ мѣщане, на завѣщанія три тысячи купилъ себѣ домикъ, въ которомъ и проживалъ съ дочерью, старой и убогой дѣвицей. Всѣ окрестные жители были ему знакомы, про всякаго онъ зналъ всю его подноготную, для всѣхъ былъ добрый пріятель, а при случаѣ—и совѣтникъ.

Собесѣдникъ его, Алексѣй Ивановичъ Ситниковъ, приходился ему сродни. Онъ служилъ кѣмъ-то въ имѣніи бывшихъ господъ и только-что былъ переведенъ въ Москву. Онъ съ старухой матерью поселился на квартирѣ въ домѣ Лыскова, который и знакомилъ его съ Москвой.

— Чудесно у насъ теперича тутъ стало, — обводя рукой вокругъ, говорилъ Лаврентій Семеновичъ:—Самотеку эту самую вонючую обекорнали, въ маленькій прудокъ оборотили; дорожки прочистили, деревьевъ насажали, бесѣдокъ настроили, музыка отжаривается!.. Тверскому бульвару не уступить!

— Я даже напротивъ того считаю, — замѣтилъ Ситниковъ, — что у васъ превосходнѣе; потому бульваръ изъ себя всего три дорожки обозначаетъ, а здѣсь пространство во всей окружности... Именно, надо сказать — парки!

— Это вѣрно. Положимъ, и въ прежнее время это мѣсто тоже катерининскими парками называлось, ну, было тутъ одно безобразіе, — глушь, смрадъ, народъ толкался самый нестойкій... Я ужъ давно на свѣтъ-то живу, такъ чего-чего въ этихъ паркахъ не наглядѣлся!.. Бывало придетъ авторникъ, по утру — глядь, — гдѣ-нибудь ужъ повѣсившій и болтается.

— Почему такъ?

— Съ тоски.

— Вы, то-есть, про какую-же собственно тоску говорите? — недоумѣвая спросилъ Ситниковъ.

— Про пьяную, которая у рабочаго человѣка отъ похмеля происходитъ. Сколько здѣсь этой разной мастероватины переѣшалось, — не счесть!..

— Скажите!.. Почему-же такъ ужъ безпремѣнно во вторникъ?..

— А потому, что въ субботу съ вечера онъ начнетъ, воскресенье, напимѣръ, пропьянствуетъ; деньги пропьетъ; на другой день, стало быть, понедѣльничаетъ, — опохмеляется и одежду какую ни на есть съ себя спускаетъ; на третій день начнется съ нимъ трясеніе, тоска одолавать станетъ; по дѣлу то надоть за работу садиться, а возможности къ этому никакой нѣтъ. Вотъ онъ ходитъ-ходитъ по паркамъ-то, на деревья-то поглядываетъ-поглядываетъ, высмотритъ себѣ по характеру сучекъ и — готовъ! Очень просто.

— Почему-же такъ они это самое мѣсто облюбовали?

— А куда-же ему еще идтить-то? Онъ здѣшній житель, — съ Грачевки, съ Устрѣтенки, съ Божедомки... Ему въ другое мѣсто ходить никакого расчёту нѣтъ, когда здѣсь, у себя, подъ бокомъ такое приволье.

— Неужели такъ и было завсегда, что для всѣхъ пропившихъ одна кончина, — удушеніе?

— Нѣтъ, тутъ одинъ чудакъ другую моду сооронилъ: мѣдникъ онъ былъ, Исай Ивановъ, а отъ публики ему было прозваніе Горностай... Такъ вотъ этотъ самый Горностай пилъ—пилъ, до нитки пропился; клокочеть у него внутри-то, а выпить не на что; въ питейныхъ домахъ въ долгъ не отпускають, у прохожихъ просилъ на шкваликъ,—не подаютъ... У бирюковыхъ банъ человѣкъ пять банщикеовъ стояло, — онъ къ нимъ; началъ разныя колѣна строить: и пѣлъ-то, и плясалъ-то, и на четверенькахъ звѣря какого-то представлялъ, — все надѣялся, что его за это награждать, а тѣ что? Извѣстно, народъ молодой, хохочутъ на него, только и всего. Видитъ онъ, что изъ его представленія ничего не выходитъ, почувствовалъ въ себѣ полную отчаянность, закричалъ: „прощайте, господа банщики, только вы меня и видѣли“! — да вдругъ однимъ махомъ прямо черезъ барьеръ въ Самотеку внизъ головой и ахнулъ!

— Потопъ?—со страхомъ спросилъ Ситниковъ.

— Нисколько не потопъ, — спокойно, съ улыбкой отвѣтилъ Лысковъ, — развѣ возможно было въ Самотекѣ потопнуть, когда въ ней и воды-то на аршинъ не было?.. Онъ, видите-ли, юркнулъ туда внизъ головой, воткнулся, стало быть, по поясъ въ грязь, а дальше и нейдетъ. Чтó смѣху было! Торчатъ, на примѣръ, это у него босыя ноги, а онъ ими дрыгается!..

— Вытащили?

— Конечно дѣло вытащили; сейчасъ-же банщики подбѣгли и прочій народъ... И били-же этого Горностая здѣрово!

— Кто?

— Да всѣ били, кому не лѣнь; спервоначалу, какъ-только морду ему отмыли, городской по салазкамъ съѣздилъ за безпокойство, потомъ ужъ и прочіе къ этому присоединились... На скандалъ жена его прибѣжала и какъ-же всю публику уважила!.. Шаршавый онъ такой былъ, Горностай-то, высокій, а она изъ себя бабенка ма-ахонькая; ну, до той степени озлобилась, что, вѣрите-ли, какъ подпрыгнула, вцѣпилась ему въ шерсть, такъ и висѣла, покуда его довели до дому, до самой Цемиловки!

Оба разсмѣялись; Лаврентій Семеновичъ вынулъ изъ кармана непочатую пачку съ десяткомъ сигаръ и, надорвавъ съ конца обложку, предложилъ своему компаньону.

— Не желаете-ли развлечься?

— Нѣтъ, благодарствуйте, — отвѣтилъ тотъ, — мнѣ вашей цыгарки не осилить, я ужъ лучше папиросочкой побалуюсь.

Онъ чиркнулъ спичкой и, держа ее отъ вѣтра между ладонями, поднесъ Лаврентію Семеновичу, который принялся закуривать свою зеленятаго цвѣта регалию, при чемъ изъ нея что-то выпалило съ такимъ трескомъ, что Ситниковъ съ испугомъ отдернулъ руки.

— Ничего-съ, это она спервоначалу завсегда такъ, — успокоилъ его Лаврентій Семеновичъ, съ пріятностью затягиваясь крѣпкимъ дымомъ.

Ситниковъ, отмахнувъ рукой лѣзшій ему прямо въ носъ злой сигарный аромать, досталъ изъ рогового портсигара папироску и тоже закурилъ.

— И вотъ, теперича, гляжу я, — началъ Лаврентій Семеновичъ, — какія съ годами во всемъ перемѣны, — даже удивительно!.. Взять хоть-бы эти моды...

— А что-съ?

— Да ужъ очень много подъ нее подражанія; всѣхъ она теперича коснулася, безъ разбору...

— А прежде развѣ этого не было?

— Бакъ не быть! Да только тогда всякое сословіе себя по своему соблюдало, что кому прилично; а теперь такое смѣшеніе, что и не разберешь, — кто баринъ, кто холуй... Модность завсегда была; въ прежнее время матеріи-то такія выходили, что теперь не взять и выговорить, но у каждого званія былъ свой фасонъ: которая дама носила, примѣрно, косынку, такъ ужъ она косынкѣ до самой смерти была предана, — нынче, скажемъ, у ей гранатовая, завтра — серизовая, послѣ завтра — поднебесная, ну, все-таки она косынка, а не то, чтобы шляпка какая-нибудь на манеръ куриного гнѣзда. И всякая-то, съ позволенія вашего сказать, дрянъ теперича за модами таращится!.. А изъ какихъ доходовъ, спросите? Да вотъ вамъ, пожалуйста! Не угодно-ли полюбоваться?

Онъ показалъ рукой вправо; по дорожкѣ, въ сопровожденіи двухъ бѣдноватыхъ, но пестро одѣтыхъ, кавалеровъ, вертлявой походкой, задравъ еверху носъ, бойко выстукивая каблукми, прошла молодая, недурненькая дѣвушка.

Лаврентій Семеновичъ прищуренными, смѣющимися глазами поглядѣлъ имъ вслѣдъ и, покачавъ головой, сказалъ:

— Эта самая дѣвченка—портниха она, черезъ два дома отъ насъ живетъ съ матерью... Вѣдь вотъ вся цѣна-то ей грошъ, а между прочимъ въ умѣ одно содержать, — какъ-бы, то-есть, себя на бульварѣ супротивъ другой подобной сволочи не уронить! И стыдъ, и совѣсть, и мать позабудетъ для ради собственной своей глупости...

— Да-съ, это справедливо; ужъ ежели человѣкъ начнетъ про всякія глупости въ головѣ содержать, такъ ты его хоть коломъ бей...

— А вотъ вамъ и еще!—перебилъ Лаврентій Семеновичъ, указывая рукой вправо; Ситниковъ поглядѣлъ и расхохотался.

По дорожкѣ шелъ въ длиннополномъ сюртукѣ и въ картузѣ лавочникъ Луковкинъ подъ ручку съ супругой, превышавшей его ростомъ на цѣлую голову; дама эта была уже лѣтъ за сорокъ и очень полна; одѣта она была необычайно пестро; сдвинутая на затылокъ преогромная шляпа была украшена кистями зеленаго винограда и такой диковинной птицей, какой, навѣрное, никогда не видали ни подъ какими тропиками; несообразныхъ размѣровъ турнюръ торчали на боку. Чета раскланялась съ Лысовымъ и съ важностью поплыла дальше.

— Вотъ, извольте замѣтить,—обратился Лысовъ къ своему собесѣднику,—куда человѣка можетъ завести глупость: теперича этой самой Лукерѣ, лавочницѣ, одно названіе только и есть, что — корова, и вдругъ она на себя и турниръ возлагаетъ, и птицу съ ягодами!... Присталъ ей такъ подобный маскарадъ?

— Чего тутъ присталъ! — со смѣхомъ отвѣтилъ Ситниковъ.—Ужъ именно, какъ къ коровѣ сѣдло!

— А вѣдь она этого нисколько не понимаетъ,—внушительнымъ тономъ продолжалъ Лаврентій Семеновичъ.—Ежели вы на корову, которая извѣстная глупая животная, сѣдло положите, она сейчасъ сообразитъ, что это къ ней не пристало,—хвостомъ завертитъ, козлы начнетъ строить, бодаться станетъ, дескать: „что это вы со мной, господа, дѣлаете?“ —Ну эта-же теперича Лукерья глупѣе каждой коровы выходитъ,—вырядилась попугаемъ, турниръ гдѣ-то, съ боку зря прилѣпила и воображаетъ, что она никакой госпожѣ не уважить!..

Лаврентій Семеновичъ такъ разсердился на вырядившуюся лавочницу, что даже плюнулъ ей вслѣдъ.

— А у васъ, какъ я погляжу,—сказалъ Ситниковъ,—занятныхъ людей довольно!..

— Занятныхъ людей у насъ до пропасти; положимъ, народъ все больше мелкота, ну, однако, промежду нихъ попадаются такіе антики, что любопытному человѣку стоитъ обратить свое вниманіе...

— Лаврентію Семеновичу! — неожиданно крикнулъ проходившій мимо молодой парень въ сильно поношенномъ, съ чужого плеча, пиджакѣ и бойко отсалютовалъ лихо заломленнымъ на-бекрень картузомъ.

— А-а! Ганичка!-съ улыбною нараспѣвъ отвѣтилъ Лаврентій Семеновичъ.—Каково поживаешь?

— По маленьку-съ.

— Ну, какъ искусство твое идетъ?

— Ничего-съ, Лаврентій Семеновичъ, но мѣрѣ возможности стараемся!

— Не видать тебя что-то было?

— Это вѣрно-съ, въ Тулу уѣзжалъ.

— Дѣйствовалъ?

— Совершенно справедливо-съ, нѣкотораго господина обставилъ въ лучшемъ видѣ! — сплюнувъ въ сторону, отвѣтилъ парень и искоса съ достоинствомъ взглянулъ на Ситникова, который широко раскрылъ голубые глаза и съ недоумѣніемъ слушалъ непонятный для него разговоръ.

— Деньжонки-то зашибъ-ли?

— Ничего-съ, жаловаться не смѣю.

— Ну, а здѣсь какъ?—спросилъ Лаврентій Семеновичъ,—метнувъ головой въ правую сторону.

— Въ будущее воскресенье рассчитываю.

— Имѣешь въ себѣ надежду?

— Острамиться не думаю, Лаврентій Семеновичъ!—горделиво выпятивъ грудь и передернувъ плечами, отвѣтилъ парень.—Только въ нашемъ дѣлѣ тоже, вѣдь, окомъ умѣнья, и счастье имѣть надо. Вотъ въ третьемъ году Ивановъ... Не случись съ нимъ несчастья, безпремѣнно-бы англичанина раздѣлялъ.

— Какое-же несчастье?

Костюмъ развалился, пряжка отскочила, пробовалъ руками поддержать,—не ловко, такъ и принужденъ былъ съ кругу сойти!.. Будьте здоровы-съ!

Онъ раскланялся и широкимъ шагомъ пошелъ по направлению къ саду „Эрмитажъ“...

— Старайся, братъ!—крикнулъ ему вслѣдъ Лаврентій Семеновичъ, на что парень издала, обернувшись, но не останавливаясь, отвѣтилъ улыбкой и такимъ жестомъ, какимъ обыкновенно акробаты отвѣчаютъ на одобреніе публики.

— Это кто-же такой будетъ? Что за артистъ?—спросилъ Ситниковъ.

— Ганичка-то? Бѣгунъ-съ, на перегонки въ разныхъ мѣстахъ бѣгаетъ.

— Скажи-ите!—протануль Ситниковъ.

— Какой прежде славный былъ парнишка! — Въ мѣщанскомъ училищѣ курсъ прошелъ, поступилъ на хорошее мѣсто, по чайной части, тридцать пять цѣлковыхъ получалъ, матери своей помогалъ, — жить-бы, да жить, а его лукавый и смутилъ. Вдругъ завелось въ Москвѣ безуміе бѣгать; какой-то дуракъ это выдумалъ и побѣжали люди всякаго сословія: и купцы, и мѣщане, и полотеры, дворники, и даже,—извините меня, — горничныя дѣвки!.. Всѣхъ взманило, потому сейчасъ разговоръ идетъ: тотъ, напримѣръ, нѣмца на три версты обдѣлалъ,—золотые часы получилъ; другой лошадь обогналъ,—сто цѣлковыхъ ему за это! Такимъ родомъ и парнишка этотъ самый, Ганька, тоже себя въ голову забралъ; вмѣстѣ съ прочими дураками началъ по Москвѣ свою рысь показывать, да на грѣхъ выигралъ часишки цѣлковыхъ въ восемь, ну и конецъ. Съ той поры сталъ вполнѣ артистъ-акробатъ, во всей формѣ: на мѣстахъ не живетъ, лѣтомъ бѣгаетъ по 15 верстъ за три цѣлковыхъ, а зимой по разнымъ веселымъ мѣстамъ подъ гармонію куплеты поетъ.

Онъ остановился, поглядѣлъ прищурясь вдаль черезъ толпу и сказалъ Ситникову:

— Вотъ я вамъ сейчасъ одного занятнаго человѣка отрекомендую.

— Какой такой?—съ любопытствомъ спросилъ Ситниковъ.

— А вотъ увидите, — отвѣтилъ Лаврентій Семеновичъ и крикнулъ:

— Эй! Вредный членъ! Одинъ ты что-ли? Иди сюда.

— Одишь! — отозвался изъ толпы неизвѣстно кому принадлежащій сиповатый голосъ и вскорѣ къ скамейкѣ подошелъ человѣкъ средняго роста, худощавый и сутуловатый; онъ былъ

одѣтъ въ старое, не по сезону толстое пальто съ выцвѣтшимъ, лоснящимся, когда-то бархатнымъ воротникомъ: брюки были заправлены въ короткіе, стоптанные сапоги; картузъ былъ больше мѣрки головы и заходилъ за уши, совершенно закрывая затылокъ; рѣдкая, темно-русая съ просѣдью борода окаймляла худощавое, темное лицо, похожее на портретъ, засиженный мухами; сѣрые глаза глядѣли не то лукаво, не то пытливо, въ нихъ было что-то и насмѣшливое, и способное пронзить. Подойдя къ скамейкѣ, онъ снялъ картузъ, обнаживъ изрядно полнысѣвший черепъ и вѣжливо раскланялся съ Лысовымъ.

— Здорово, братецъ!—сказалъ Лаврентій Семеновичъ, протягивая ему руку.—Садись. Цигарочку не хочешь-ли?

— Дозвольте побаловаться,—отвѣтилъ тотъ, опускаясь на край скамейки,—я до хорошаго-то охотникъ!

— Это, я вамъ скажу,—обратился Лаврентій Семеновичъ къ Ситникову,—такой человѣчина, что просто... Да вотъ сами судите,—одно его названіе чегостоить: „вредный членъ!“ Закуривай!—Лаврентій Семеновичъ подставилъ ему свою сигару, а „вредный членъ“, нагнувшись, чтобы закурить, мигнулъ глазомъ на Ситникова и спросилъ.

— Ктѣ такіе?

— Жилецъ мой, сродственникъ, хорошій господинъ,—также тихо отвѣтилъ Лаврентій Семеновичъ; хотя до слуха Ситникова вполне ясно долетѣли и вопросъ, и отвѣтъ, но онъ захотѣлъ сдѣлать видъ, что не слыхалъ, и потому началъ что-то трубить губами.

— Разгуляться, чтѣ-ли, вышелъ?—спросилъ Лаврентій Семеновичъ новаго собесѣдника, когда тотъ послѣ долгаго чмоканья запалилъ непокорную сигарку.

— Да-съ, пройтись захотѣлось,—отвѣтилъ тотъ, сплевывая черезъ плечо на газонъ,—на народъ посмотрѣть да себя показать. Люди гуляютъ, а намъ развѣ ужъ и доли нѣтъ?

— Новенькаго чего нѣтъ-ли?—послѣ небольшого молчанія спросилъ Лаврентій Семеновичъ.—У тебя вѣдь разнымъ происшествіямъ конца-краю нѣтъ!..

— Какъ не быть-съ!—Моя ужъ такая природа, мнѣ безъ происшествіевъ существовать невозможно.

— Ужъ тебя на то взять!—сказалъ Лаврентій Семеновичъ и, указавъ на него Ситникову, добавилъ:—Какъ вы теперь интересуетесь насчетъ занятныхъ людей, такъ вотъ

этотъ самый Иванъ Митричъ можетъ исполнѣ вамъ доставить удовольствіе. Судите сами: башмачныхъ дѣлъ мастеръ Гречушкинъ и вдругъ — „вредный членъ!“

— Почему-же, позвольте спросить, за мѣсто натуральной фамиліи вамъ дадено такое прозваніе? — спросилъ Ситниковъ, съ любопытствомъ оглядывая его.

— За безпокойный духъ-съ, — отвѣтилъ тотъ.

Ситниковъ съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на него и на Лысова.

— А, ужъ что ему гоненіевъ за этотъ духъ было, такъ — ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать! — съ улыбкой сказалъ Лаврентій Семеновичъ! — Еще то благодать, что характеръ имѣетъ сносный, терпѣливый, другой-бы на его мѣстѣ разъ пять померъ, а ему все какъ стѣнѣ горохъ!

— Ну, оно не слишкомъ такъ, чтобы горохъ, — слегка подмигнувъ глазомъ возразилъ Гречушкинъ, — отъ нѣкоторыхъ подобныхъ гороховъ случалось въ большую задумчивость впадать!.. Всего видали, ну, отступленія никогда не было!

Зудъ любопытства все больше и больше раздражалъ Ситникова: передъ нимъ сидѣлъ непостижимый, но несомнѣнно занятный человѣкъ; хотѣлось узнать его покороче. Ситниковъ безпокойно шевельнулся на скамейкѣ и несмѣло предложилъ компаніи отправиться въ трактиръ, попить чайку.

— Даже я вамъ скажу, — промолвилъ, потирая спину Лысовъ, — теперича ужъ такое время, что не вредно и собачку опрокинуть.

— Такъ и любезное дѣло, пойдемте-съ, — сказала Ситниковъ, поднимаясь со скамейки. Замѣтивъ, что Гречушкинъ готовится откланяться, онъ торопливо заговорилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, — съ нами прошу.

— Домой-бы ужъ время... — нерѣшительно отвѣтилъ Гречушкинъ.

— А что тебѣ дома-то дѣлать? — замѣтилъ Лысовъ. — Иди, иди! Хорошій господинъ его приглашаетъ, а онъ изъ себя хочетъ невѣжу состроить!

Онъ со смѣхомъ, шутя, ударилъ по шеѣ Гречушкина и всѣ неторопливымъ шагомъ направились къ трактиру. Трактиръ былъ съ „низкомъ“, переполненнымъ извозчиками, а вверху, на „дворянской половинѣ“, было не людно: за однимъ столомъ сидѣли двое какихъ-то дѣловыхъ россіянь въ долгополыхъ, засаленныхъ поддѣвкахъ, съ густо намазанными волосами и

усиленно потѣли надъ чаемъ, безъ отдыха, точно по судебному приговору, опрокидывая чашку за чашкой; за другимъ столомъ, уставленнымъ пивными бутылками, помѣщалась группа пѣвчихъ; при входѣ нашихъ собесѣдниковъ, одинъ изъ нихъ, курчавый, круглолицый басъ на поклонъ Гречушкина отвѣтилъ не словами, а жестомъ: сначала показалъ очень внушительныхъ размѣровъ кулакъ, потомъ раскрывши пальцы, опять ихъ сложилъ и представилъ, какъ таскають за волосы.

— Ладно, ладно!—отвѣтилъ Гречушкинъ, усаживаясь вмѣстѣ съ своими компаньонами за столъ.

— Будетъ!—рѣзко и непомѣрно густо отозвался пѣвчій и разразился такимъ громовымъ хохотомъ, что обѣ засаленныя поддѣвки вздрогнули, а половые фыркнули въ салфетки и въ фартуки.

— Давай шесть паръ,—приказалъ половому Ситниковъ.

— Сливочекъ—али лимонцу прикажете?—спросилъ половой, разстлала салфетку.

— Алимонтъ!—коротко отвѣтилъ Лысовъ.

— Это кто такой вамъ угрожаетъ?—спросилъ Гречушкина Ситниковъ, показывая глазами на громогласнаго, усатаго пѣвчаго и обтирая платкомъ вспотѣвшій лобъ.

— Октава отъ Боброва,—отвѣтилъ тотъ небрежно.—Старый пріятель, путникъ. Завсегда, какъ ни встрѣтить, все кулакъ показываетъ; даже въ храмъ когда войдешь, увидить это онъ съ крылоса, сейчасъ и покажетъ... Веселый господинъ!..

— И по личности по ихней видно, что путники,—замѣтилъ Ситниковъ.

— Хорошій человекъ, это вѣрно,—подтвердилъ Лаврентій Семеновичъ.—А вотъ влѣво отъ него сидитъ теноришка... Видите,—рыженькій-то?

— Чтѣ-же-съ?

— Жуликъ; ни въ одномъ хорѣ держать не стали-бы, еслибы не „верха“.

Половой подалъ чай; Ситниковъ привычной рукой ополоснулъ посуду и разлилъ; нѣсколько времени пили молча.

— Я теперича догадался,—допивая блюдечко и показывая головой на октаву, сказалъ Гречушкинъ,—почему онъ мнѣ кулакомъ грозитъ,—это онъ насчетъ Авдѣя Егорова намекаетъ.

— Насчетъ подстарости?—спросилъ Лаврентій Семеновичъ.—У тебя развѣ съ нимъ было чтѣ?

— Какъ-же-съ! Подъ Духовъ день сурьезное было объясненіе... И вамъ сейчасъ всю матерію расскажу-съ.

Гречушкинъ вылилъ чай на блюдце и раскрылъ было ротъ, чтобы начать свое повѣствованіе, но его прервалъ внезапно возникшій шумъ между пѣвчими: басы и тенора спорили о томъ, кому сколько приходится платить за съѣденное и выпитое; всѣ говорили разомъ, въ перебой; только одна нарядно выпившая октава, отвалившись на спинку стула, молчала и раскосыми глазами смотрѣла на спорящихъ товарищей, потомъ вдругъ она набрала духу и неожиданно покрыла всѣ голоса какой-то раскатистой, непомерно громкой фіоритурой, которую кончила низкой, хрипящей нотой.

Пѣвчіе сразу умолкли, потомъ разсмѣялись и стали разсчитываться безъ споровъ.

— Изволите видѣть, какая сила у жеребца стоялаго! — сказалъ Лаврентій Семеновичъ Ситникову.

— Да-а-а-съ! — протянулъ тотъ. — Этотъ голосокъ, можно сказать, вполне отчетливый!.. Ежели такому голосу въ многолѣтіи или за апостоломъ отвагу дать, такъ на ногахъ не устоишь.

— Чтѣ ты народъ-то пужаешь, — труба ерихонская? — съ притворно строгимъ видомъ обратился къ октавѣ Гречушкинъ.

— Мо-олча-ать! — протянула въ отвѣтъ труба на голосъ „аминь“.

Всѣ опять засмѣялись; слегка пошатывавшаяся октава оставилась въ дверяхъ и, опершись рукой о косякъ, пропѣла Гречушкину на какой-то гласъ:

— Имаша воспріяти, грѣшнице Гречиниче, реберъ сокрушеніе и вы наkostenіе сугубое!

Пѣснопѣніе свое октава сопровождала объяснительными жестами и съ громкимъ хохотомъ скрылась. Гречушкинъ только покачалъ головой и сказалъ:

— Ахъ, шашель! Ахъ, шашель этакой!

— А ну его, шута горохового! — сказалъ Лаврентій Семеновичъ. Перебилъ только. Рассказывай!

— Пошелъ я подъ Духовъ день въ ихній приходъ за всеобщую; стою, стало-быть, по близости къ ящику... Самъ пошелъ съ блюдомъ, а Авдѣй Егоровъ у продажи стоять остался; прихожанъ его со всѣхъ сторонъ обступили, подають на свѣчи; онъ эти самые пятаки хватаетъ, швыряетъ ихъ въ ящикъ со

звономъ, свѣчи тычетъ богомольцамъ прямо въ рыло, не разбирая, — перебраивается, точно, съ позволенія сказать, въ кабацѣ за выручной. Просто даже нестерпимо было смотрѣть на всѣ его безобразія; не выдержавъ я и говорю ему: „Вы-бы господа Егоровъ, повѣжливей съ публикой обращались!..“ Онъ только повелъ съ гордымъ видомъ глазами, а на мои слова — хоть-бы что!... Стою я, смотрю, что дальше будетъ. Промежду прочимъ подходитъ къ нему старушка, бѣдная прихожанка, и даетъ двѣ семитки на трехкопѣечную свѣчу; онъ, знаете, сейчасъ эти двѣ семитки швырнулъ, свѣчку ей ткнулъ и опять сталъ истуканомъ; та къ нему, — дескать: „сдачи слѣдуетъ копѣйку“ — а онъ и ухомъ не ведетъ!... Точно не къ нему рѣчь. Наконецъ того, старушка отъ него не отстаетъ, потому для ней и копѣйка серебромъ расчетъ составляетъ, а Авдюшка точно и не слышитъ, пересчитываетъ съ громомъ въ лицѣ деньги, да своими масляными, рыжими волосами встряхиваетъ. И замѣтите, это ужъ не впервой онъ такіе штуки разыгрываетъ, грубость его всѣмъ прихожанамъ извѣстная... Заклокотала у меня на него вся нутренняя, ну, помню то, что идетъ божественное служеніе, я себя сдержалъ и вѣжливо говорю ему: „Потрудитесь, г. Егоровъ, молящую госпожу удовлетворить, возвратите ейнюю копѣйку серебромъ“. Ни слова, онъ совершенно ничего не отвѣтилъ, точно я къ стѣнѣ обращаюсь.

— Экая дубина! — презрительно сказалъ Лаврентій Семеновичъ. — Такъ и не отдалъ копѣйки-то?

— Такъ и не отдалъ; старушка потопталась около него и отошла, потому ей промежду прочимъ и молиться тоже хочется. Такъ это все меня разстроило, что даже вышелъ, сѣлъ на тумбочкѣ у паперти, дожидаясь самого старосту г. Полушубкина — въ храмъ оставаться не могъ, — грѣхъ одинъ; а у самого, прямо вамъ скажу, такъ подъ сердце и подкатываетъ. Наконецъ того — служба отошла, богомольцы разбрелись, слышу, двери захлопнулись, замокъ застучалъ, выходитъ самъ етиторъ и Авдюшка за нимъ. Скинулъ я картузь, вѣжливымъ манеромъ кланяюсь; только-что хотѣлъ было ротъ раскрыть, вдругъ онъ какъ крикнетъ на меня: „съ какими еще такими ты разговорами лѣзешь? Ступай своей дорогой, а я съ тобой время тратить не желаю!..“

— Видите-ли! — покачавъ головой, произнесъ Ситниковъ.

— Просто даже трасеніе во мнѣ сдѣлалось отъ его невѣжества!—воскликнулъ, безпокойно повернувшись на стулѣ,— Гречушкинъ, при чемъ въ горлѣ у него послышалось какое-то клокотанье.— Про всѣхъ авдюшкиныхъ продѣлки ему доложили и говорю такъ: „ежели вы называетесь староста, такъ ваша обязанность понимать, что храмъ Господній не мучной лабазъ, вы это, говорю, должны чувствовать. Въ лабазѣ у себя сколько хочешь дозволяй своему приказчику мошенничать, ежели ваша такая камерція, ну, никакъ не въ храмѣ, за это вашего брата не слишкомъ одобряютъ! Ежели, говорю, вы на сорокъ цѣлковыхъ расшиблись, хоругви обновили, такъ ты не считай, что черезъ это можешь позволять себѣ всякое невѣжество. Коль скоро вы медали достигнуть хотите, держите себя аккуратно; Василій Савельичъ, говорю, много почище тебя былъ, двѣ кавалеріи имѣлъ на шеѣ, колоколъ новый полейный замѣсто треснувшаго водрузилъ, а и тотъ слетѣлъ, когда дѣло на задоръ пошло!

— Ловко!—съ веселымъ смѣхомъ воскликнулъ Лаврентій Семеновичъ.

— Озарился онъ отъ моихъ словъ, какъ звѣрь, задрожалъ и кричитъ: „А вотъ я сейчасъ городского покличу, да лопатки тебѣ скручу, чтобы степенныхъ людей глупостями не тревожить“. На это, говорю ему, законовъ нѣтъ. А кабы у тебя было настоящее понятіе, такъ дѣйствительно слѣдовало-бы сдѣлать такое подобное распоряженіе по случаю Авдѣя Егорова, который всему безобразію зачинщикъ и притомъ называемый вашъ подстароста.

— Что-же Авдюшка-то? — спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Авдюшка позади идетъ въ молчаніи, только ключами звенитъ отъ злости, да на мои слова зубами скрипитъ, а я, значить, все на старосту насѣдаю,— этого дѣла, говорю, я никогда не оставляю, будьте спокойны, ежели чего коснется, я до концисторіи дойду! Подошли въ это время къ ихнимъ воротамъ; онъ, значить, не взирая на мои слова, прошелъ во дворъ, и только было я ему вслѣдъ крикнулъ: „Погоди, купецъ, теперь на подобныхъ огарковъ гласность существуетъ, я тебя еще въ газетѣ распубликую!“ Ну, не успѣлъ я путемъ этихъ словъ договорить, какъ вдругъ чувствую себѣ по этому самому мѣсту ударъ....

Онъ указалъ на шею.

— Авдюшка?— быстро и дѣлая удивленное лицо спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Да-съ, Авдюшка. Треснулъ меня, нырнулъ въ калитку и засовомъ задвинулъ, такъ я и остался съ награжденіемъ!

— Почему-же вы, позвольте васъ спросить,—сказалъ Ситниковъ,— въ ту пору смолчали?— Вамъ-бы, по моему смислу, слѣдовало „караулъ“ гаркнуть.

— Для чего-съ?

— Все-таки...

— Нѣтъ-съ, тогда окромѣ затрещины еще я-же въ дураки попалъ-бы.

— Почему?

— А потому, что этому дѣлу никакихъ свидѣтелей не было; допустимъ такъ, что я заоралъ, явился городской, я ему докладываю, въ чемъ дѣло; идетъ онъ къ Полушубкину во дворъ и говоритъ, напригѣръ, Авдюшкѣ: „Какое вы имѣли право нашего обывателя по шеѣ беспокоить?“ А тотъ ему за-всегда съ полнымъ спокойствіемъ можетъ произнести: „И не воображалъ даже! Можетъ статься, вашъ обыватель рехнувшій въ умъ, такъ вы его попроворнѣй въ безумный домъ отправляйте, чтобы отъ него другимъ людямъ не было послѣдствіевъ“. Что-же въ подобномъ случаѣ долженъ сдѣлать городской? Передъ Авдюшкой сказать „извините“, а меня всячески выругать!

— Тѣмъ и кончилось?— спросилъ Лаврентій Семеновичъ, опрокидывая чашку.

— Затѣмъ баловаться! отвѣтилъ Гречушкинъ. — Какъ ни какъ, я своего достигнулъ, — отцу-протоіерею доложилъ, а тотъ приказалъ Полушубкину Авдѣя отъ свѣчнаго ящика удалить; теперича замѣсто его военного старичка приставили, — очень хорошій ундерокъ попался, вѣжливый, тихій инвалидъ...

— Вотъ, я думаю, Авдѣй-то теперича на тебя злобу имѣетъ? — сказалъ Лаврентій Семеновичъ.

— Еще-бы! — усмѣхнувшись отвѣтилъ Гречушкинъ. — Не даромъ мнѣ Елисей Матвѣевъ акаѣистъ-то пропѣлъ.

— Кто такой?—спросилъ Ситниковъ.

— Да вотъ-съ бась-то, что ушелъ. Это самое пѣніе я долженъ понимать такъ, что мнѣ отъ Авдюшки еще кой чего ожидать надо!

— Однако, какъ вы свободно объ подобной опасности рассуждаете!—замѣтилъ Ситниковъ.

— Его ничѣмъ не напугаешь! — потрепавъ Гречушкина по плечу, сказалъ Лаврентій Семеновичъ. — У него, я вамъ доложу, такой духъ, чуть сжали гдѣ что неправильное замѣтить, сейчасъ-же въ это дѣло замается, а что самому за это будетъ, и вниманія никакого не беретъ. — Просто сказать — чистый герой, и въ кого ты, братецъ мой, такой бѣдовый зародился?

— Въ папашу-съ, — серьезно и увѣренно отвѣтилъ Гречушкинъ. — Ну, только упокойникъ родитель мой намного сурьезнѣй меня былъ-съ. Положимъ, что духъ въ насъ одинаковый, а между прочимъ нужно принять въ расчетъ время....

— Какое время?—спросилъ Ситниковъ.

— А такое-съ, что теперича законъ для всѣхъ одинаково дѣйствуетъ,—обидитъ, скажемъ, простого человѣка господинъ и господину за это спуску нѣтъ, а прежде не то.... Возьмите опять полицейское обхожденіе, насколько оно отъ прежняго ушло!...

— Это ты собственно къ чему?—спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Къ тому,—отвѣтилъ Гречушкинъ,—что прежде время было строгое, шабаршить никому не дозволялось, а родитель мой такой въ себѣ умъ имѣлъ, что при всей своей отвагѣ невредимый оставался, пальчикомъ тронуть не былъ. Бывало простое сословіе полосуютъ на обѣ корки, а папашѣ и горя мало! Другіе прочіе отъ страху на все согласиться готовы, а онъ, упокойникъ, ничего не боялся; его, напримѣръ, попробуютъ пострашать, а онъ замѣсто отвѣта возьметъ, да и пропоесть куплетъ:

Я пойду—пойду косить,
Пойду Цинскаго просить;
Если Цинскій не разсудитъ,
Я къ Голишину пойду.

Вотъ какъ-съ!

— И ничего?—спросилъ Ситниковъ.

— И ходилъ-съ!—горделиво откидываясь на спинку стула, отвѣтилъ Гречушкинъ, — и до свѣтлѣющаго достигалъ, и никогда ничего не было....

— А вотъ тебѣ, братъ,—со смѣхомъ перебилъ его Лаврентій Семеновичъ,—другое счастье вышло!—Правовъ у тебя те-
перича хоть отбавляй, а влетаетъ тоже, сколько хочешь!

Ситниковъ сдержанно улыбнулся, а Гречушкинъ нисколько не обидѣлся и совершенно серьезно возразилъ:

— Тутъ нужно понять разницу, Лаврентій Семеновичъ....
Прямо вамъ признаюсь, что я много дурачился-съ; родитель
мой бралъ больше разсудкомъ, спокойствіемъ, а у меня не то
направленіе: я за что схвачусь, влѣзу по маковку и—шабашъ!

— Однако, не убрать-ли чай-то?—послѣ небольшого молча-
нія сказалъ Ситниковъ.

— Пожалуй, что и убрать,—согласился Лаврентій Семено-
вичъ.— У меня, признаться, аппетита что-то.... Отъ воздуха
что-ли?

— Такъ давайте сейчасъ распоряженіе сдѣлаемъ,—сказалъ
Ситниковъ.

— Любезное дѣло! — согласился Лаврентій Семеновичъ и
крикнулъ:

— Мальчикъ!

Къ столу, какъ—шаръ подкатился круглый, лысый половой,
лѣтъ подъ пятьдесятъ, котораго всѣ постоянные посѣтители
звали „мальчикомъ“.

— Убери это полосканье-то, — указывая на чай, сказалъ
Лаврентій Семеновичъ,—да подать намъ пол-пузыречка.

— Слушаю-съ, — отвѣтилъ половой, собирая на подносъ
чашки.—Закусить что прикажете?

— А у васъ какіе предметы?

— Окромя птичьяго молока все, что вамъ будетъ угодно съ
—состригъ половой.—Постное—скромное желаете?

— Объ Петровкахъ скромнаго я не кушаю,—промолвилъ
Лаврентій Семеновичъ,—это ты сдѣлалъ глупый предлогъ.

— Извините, забылъ-съ!... Въ такомъ разѣ позвольте для
васъ малосольную бѣлужку съ хрѣнкомъ сформировать?

— И сформирую!

— Огурчика свѣжаго прикажете, или свѣжепросольные
наиболѣе уважаете?

— Давай свѣжепросольнаго.

Половой съ подносомъ скрылся, а Ситниковъ досталъ свой
роговой портсигаръ и предложилъ Гречушкину; тотъ побла-
годарилъ поклономъ и закурилъ.

Половой принесъ водку и закуску; Ситниковъ налилъ три рюмки и сказалъ:

— Просимъ покорно.

— Со свиданіемъ-съ!—отвѣтилъ Гречушкинъ съ поклономъ, медленно выпилъ рюмку и взялъ въ два пальца огурецъ, понюхалъ его съ пріятной улыбкой, откусилъ и промолвилъ:

— Просольный!

— Любимая моя фрукта,—пережевывая одними передними зубами, за неимѣніемъ коренныхъ, подтвердилъ Лаврентій Семеновичъ и сейчасъ-же прибавилъ:—Развѣ вдругъ по другой?

— Совершенно хорошо! — согласился Ситниковъ, наливая три.

— Покойникъ папаша мой,—выпивъ и обмакивая въ хрѣтъ кусокъ рыбы, говорилъ Гречушкинъ,—завсегда любилъ фруктами закусывать. И нѣтъ-то ему, бывало, больше удовольствія, какъ зеленый лукъ! Поэтому у насъ постоянно свой ростился, свѣженькій. Подойдетъ это онъ, бывало, къ шкапчику, хлопнетъ чашечку, лучкомъ закусить и перекрестится.

— А ты у себя лукъ растишь? — шутливо спросилъ его Лаврентій Семеновичъ.

— Рощу-съ; я тоже до него любитель, а вотъ насчетъ хмельного не слишкомъ набалованъ; разъ,—слабъ, а второе,—къ моему характеру да ежели питье,—бѣда!

— А чтó?—спросилъ Ситниковъ.

— Тогда я пропасть долженъ буду! Меня и теперь, что за сердце заберетъ, съ собой никакъ сообразить не могу, а ежели выпить...

Ситникову очень хотѣлось узнать что-нибудь о похожденияхъ „занятаго человѣка“, но онъ не зналъ, какъ къ нему приступить; Гречушкинъ самъ вывелъ его изъ затрудненія, неожиданно обратясь къ Лысову:

— А я, Лаврентій Семеновичъ, недавно съ Храмцова встрѣтилъ.

— А—а!... Чтó-же онъ?

— Ничего-съ, отворотился отъ меня, только и всего.

— Это кто такой-съ?—спросилъ Ситниковъ.

— Портной одинъ,—отвѣтилъ Лаврентій Семеновичъ;—Гречушкинъ ему такую закуску устроилъ...

— Чтó-же такое именно-съ? — съ любопытствомъ опять спросилъ Ситниковъ.

— Я вамъ сейчасъ это доложу-сь, — сказалъ Гречушкинъ, — а вы сами извольте разсудить, насколько я вредный человѣкъ... Дозвольте у васъ еще одной папирсочку попользоваться.

Ситниковъ торопливо предоставилъ въ его распоряженіе свой портсигаръ и даже самъ важегъ для него спичку.

— Премного благодаренъ-сь, — съ поклономъ сказалъ Гречушкинъ, закуривъ и началъ:

— Храмцовъ этотъ самый, портныхъ дѣлъ мастеръ, жилъ на одномъ дворѣ съ нами, на магазинъ польты работалъ; мастеровъ у него не было — одни ребяташки-ученики. Вотъ-сь, какъ-только бывало заря займется, сейчасъ въ ихней квартирѣ начинается шумъ, визгъ, плачь, по ихнему сказать — наука. То одинъ мальчишка заревеетъ, то другой запищитъ; того, напримѣръ, сердобольный хозяинъ за волосы отдеретъ, другого аршиномъ отпосуетъ, третьяго на морозъ босого выпонить за наказаніе... А ужъ какъ голодомъ изводилъ, такъ это даже описать невозможно!...

Онъ захлебнулся, у него что-то заклокотало внутри, папирса задрожала въ худыхъ пальцахъ, некрасивое темное лицо приняло слезливое выраженіе. Онъ передохнулъ, затанулся и продолжалъ:

— Вѣрите-ли, добрый господинъ, до какой степени эти самые несчастные мальчишки доходили, уже не говоря, что прямо Христа ради у прочихъ жителей насчетъ хлѣбушка побиравась, ну, даже изъ помойницы всякою дрянью питались, — очистки какіе-нибудь попадутъ, косточка, картошка... Только развѣ самая заблудшая, голодная собаченка такую мерзость жрать будетъ, а ежели, напримѣръ, хорошая, комнатная — ни за что!...

— Вотъ какая анаема! — воскликнулъ возмущенный Ситниковъ.

— Да помиуйте, — горячо заговорилъ Гречушкинъ, — развѣ это возможно такъ обращаться? У меня у самого сейчасъ имѣется мальчикъ, сиротка, такъ не угодно-ли вамъ посмотреть, какъ мы его наблюдаемъ! Не то, чтобы наказаніе или изморъ, а напротивъ того, — рубашечка на немъ завсегда чистенькая, самъ сытенькій, мордочка-то словно налитая... Со стороны мило посмотреть!.. А у нихъ, помиуйте, окромѣ всего существуетъ еще сынокъ; единственное чадо, пятнадцати

годовъ отъ роду, ну, такая жердила!.. Выше васъ на цѣльную голову будетъ, сюсюка, молвы у него совсѣмъ почти разобрать невозможно... И чѣмъ-бы, вы думали, такой подобный дуракъ забавляется? Садеть въ телѣжку, въ бѣлевую, запряжетъ этихъ голодныхъ ребятишекъ и заставляетъ себя по улицѣ катать! А не шибко ежели везуть, кнутомъ ихъ стегаетъ.

— И неужели такую дубину родители не умиряли? — съ безразличностью въ тонѣ спросилъ Ситниковъ.

— Напротивъ того, — радуются! — злобно воскликнулъ Гречушкинъ. — Любуются на свое отродье!.. Смотрѣли, смотрѣли мы съ женой на этихъ горькихъ ребятъ, — нестерпимо стало, взяло меня за сердце, прихожу я къ нему на квартиру и говорю: „потрудитесь, г. Храмцовъ, жить по-божески и всѣ свои подлости оставить, а не то, говорю, я противъ васъ такой зубъ сыщу, что все ваше заведение нарушу“.

— Совершенно великолепно! — хлопнувъ рукой по столу, съ довольнымъ видомъ сказалъ Ситниковъ.

— Конечно, — продолжалъ Гречушкинъ, — это я сказалъ такъ, для видимости, попухать хотѣлъ, потому какъ онъ человѣкъ темный... Думаю, озадачу его съ бацу, можетъ статься, дѣло и выгорить. И точно, спервоначалу-то онъ какъ будто ослѣлся и на слова мои отвѣта никакого не далъ; ну, въ это самое время выскочила женишка его, Василиса, и давай меня ругать! Я, напримѣръ, хочу сказать слово, а она мнѣ десять, визжитъ, словно ее рѣжутъ и даже въ злобѣ за ухватъ хватается... Видючи такую ея отвагу, и супругъ духу набрался, съ желѣзнымъ аршиномъ на меня насѣдать сталъ... Ну, что-жъ я могъ сдѣлать? Въ споръ съ ними вступать, брань завести на весь проулокъ и, наконецъ того, побои принять? Такимъ родомъ долженъ былъ я сдѣлать отступленіе и только изъ-за двери крикнулъ имъ, чтобы во всякомъ случаѣ на предбудущее время остерегались.

— Тѣмъ и кончилось? — съ сожалѣніемъ спросилъ Ситниковъ.

— Нѣ-ѣтъ-съ, зачѣмъ баловаться! Я себѣ мнѣніе забралъ въ голову крѣпко; ну, временно переждалъ нѣсколько, посмотрѣлъ, не стануть-ли они послѣ моихъ разговоровъ поумнѣе... Однако, этого не вышло, даже какъ будто у нихъ звѣрства еще больше прибыло...

Онъ звонко отнапился, пощупалъ горло и, взглянувъ на Ситникова, сказалъ:

— Въ глоткѣ чтой-то у меня запершило-сь... Дозвольте пропустить одну штучку?

— Пропущай себѣ на здоровье, — отвѣтилъ Лаврентій Семеновичъ, наливая ему рюмку и подвигая остатокъ огурца.

— А я думаю, — сказалъ Ситниковъ, — что пивцомъ теперича время побаловаться.

— Побалуемся, — согласился съ нимъ Лаврентій Семеновичъ.

— Вы кушаете? — обратился Ситниковъ къ Гречушкину.

— Кушаю-сь, — пережевывая огурецъ и обтирая пальцемъ губы, отвѣтилъ Гречушкинъ.

Ситниковъ приказалъ подать пива, а Гречушкинъ, прожегавъ огурецъ, продолжалъ:

— Вотъ теперича я буду вамъ докладывать, какъ это самое дѣло заиграло: былъ у меня одинъ давадецъ, знатный господинъ... Да вотъ Лаврентій Семеновичъ ихъ знали.

— Это кто? — спросилъ Лаврентій Семеновичъ. — Генералъ, что-ли?

— Онъ самый-сь, — отвѣтилъ Гречушкинъ, — генералъ Отрубевъ; они отставные были и за почетъ служили насчетъ человеколюбія.

— Развѣ ты на него работалъ?

— А какъ-же-сь? — съ достоинствомъ воскликнулъ Гречушкинъ. — Только я одинъ и могъ потрафить на нихъ козловыми туфлями, потому какъ отъ службы, отъ разныхъ походовъ ноги у нихъ были порченны, мозоли, на примѣръ, существовали старинныя... Вотъ-сь набралъ я на себя смѣлость, явился къ нимъ и доложилъ про всѣ звѣрства. Генералъ даже ахнулъ отъ удивленія, заходилъ по комнатамъ взадъ и впередъ, долго бранился всачески, потомъ вдругъ остановился, посмотрѣлъ на меня строго и говоритъ: „Ты не врешь?“ — „Хоть на висѣлицу отправляйте, ваше превосходительство, ни въ одномъ словѣ не запрусь!..“ Тогда онъ, значить, сѣлъ къ столу, записалъ адресъ дому, званіе Храмцова и всѣ подробности. Что ужъ онъ тамъ дѣлалъ, не могу знать, ну, только дней черезъ пять явилась къ намъ въ домъ полиція, съ ней какіе-то другіе господа и ребята отъ Храмцова отобрали.

— Вотъ это безподобно! — съ удовольствіемъ воскликнулъ Ситниковъ. — Что-жъ потомъ было?

— А потомъ, стало быть, судъ надъ нимъ былъ, сидѣли они гдѣ-то съ своей супругой, а окромѣ того вышелъ приказъ, чтобы ему, значить, никогда впредь у себя учениковъ не имѣть. Самъ шей, сколько хочешь, а учениковъ—ни-ни!

— Видите, каковъ у насъ Гречушкинъ-то? — обратился Лаврентій Семеновичъ къ Ситникову. — Вотъ какое дѣло оборудовалъ!..

— Да-съ! — отозвался Ситниковъ. — За такой поступокъ вы ото всѣхъ должны были заслужить благодарность!

— Благодарность! — съ иронической усмѣшкой, покачавъ головой, сказалъ Гречушкинъ. — Только бока мои, да шея про эту благодарность знаютъ.

— Какъ-такъ? — спросилъ изумленный Ситниковъ. — Кто-же это васъ мѣлъ?..

— Нашлись такіе господа... Вы думаете, мало народу-то на свѣтѣ въ родѣ Храмцова? Да это еще не бѣда-съ. На это я и роптанія не имѣю, а главная причина, что намъ насчетъ квартиры сдѣлалось затрудненіе...

— Въ чемъ? — спросилъ Ситниковъ.

— Съ прежней-то я самъ принужденъ былъ съѣхать, потому, прямо надо сказать, отъ разныхъ глупостей жить тамъ стало нестерпимо... Принялись мы искать себѣ новое пристанище—куда ни тнемся, нигдѣ не пускаютъ.

— Почему-же?

— А потому, что прошли обо мнѣ слухи, ну, и стали опасаться. Придемъ куда-нибудь смотрѣть, а тамъ говорятъ: „проваливай, намъ тебя ни за какія деньги не надо, съ тобой еще въ бѣду попадешь!“..

— Видите-ли! — протянулъ Ситниковъ.

— Куда, напримѣръ, въ окрестности ни толенемся, сейчасъ намъ поворотъ отъ воротъ. Точно я сталъ для всѣхъ чумовой какой, — не беретъ никто и — шабанъ! Что-жъ теперича дѣлать? Начали ужъ по отдаленности бродить, думаемъ — тамъ нѣтъ извѣстности; придемъ, осмотримъ, выну я задатокъ, сейчасъ вопросъ: „Кто такіе будете?“ „Вашимачныхъ дѣлъ мастеръ Гречушкинъ“. — „Будьте здоровы!“

— По всей Москвѣ прогремѣлъ! — воскликнулъ съ веселымъ смѣхомъ Лаврентій Семеновичъ.

— Что-же сдѣлаешь? — разводя руками, отвѣтилъ Гречушкинъ. — Ихъ тоже судить нельзя; всякій норовитъ хоть мало-

малъски въ спокойствіи прожить. Слонялись мы, слонялись по Москвѣ-то и, наконецъ того, только у Креста могли основаться.

— По этому случаю васъ и стали вреднымъ членомъ звать? — спросилъ послѣ небольшого молчанія Ситниковъ.

— Нѣтъ-съ, — затыгиваясь папирской и задумчиво глядя куда-то въ пространство, отвѣтилъ Гречушкинъ. — Это ужъ опослѣ... Это меня такимъ чиномъ въ бумагѣ обозначили.

— По какому-же случаю подобная бумага произошла? — съ любопытствомъ спросилъ Ситниковъ.

— По случаю осердившихъ на меня людей-съ. Вы, можете быть, подумаете, что я какую-нибудь свою корысть наблюдаю или подобное... Нѣтъ-съ, вполнѣ изъ-за чужого дѣла влетѣлъ. Ужъ, ежели у меня есть желаніе мерзавцевъ обнаруживать, чтобы то-есть не допустить... Потому черезъ разныя скверности завсегда могутъ неповинные люди пострадать... У подлеца вся мечта состоитъ, чтобы задаромъ поживиться, ну, никакъ не у благороднаго человѣка, который завсегда понимаетъ, что такое можетъ обозначать послѣдствіе!

— Это вы собственно къ чему? — спросилъ Ситниковъ, ровно ничего не понявшій изъ мудреной рѣчи Гречушкина.

— Къ мошенничеству-съ, — положительно и серьезно, но съ нѣкоторой зацѣпкой въ языкѣ, отвѣтилъ Гречушкинъ. — Отчего не нажать? Нажать всякому позволяется, ну, ты наживи честно, трудами рукъ своихъ, по-божески, а не то, что...

— Это мы все знаемъ и понимаемъ... — началъ было Лаврентій Семеновичъ съ намѣреніемъ пресѣчь его излишнее краснорѣчіе и вернуть къ повѣствованію, но Гречушкинъ, подщелкнувъ языкомъ и прищуря лѣвый глазъ, внезапно перебилъ его.

— А писаніе знаете? Что тамъ про ближнихъ говорится?..

— Знаю! — нетерпѣливо возразилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Возлюби! — поднимая палецъ кверху, съ чувствомъ произнесъ Гречушкинъ. — Этого я никогда не смѣю позабывать!.. Пущай-же лучше я себя во всемъ окорнаю, ну чтобы моего ближняго обидѣли... Нѣтъ! Зачѣмъ баловаться! Я какъ-только замѣтилъ, что ближній мой отъ мерзавцевъ пострадать долженъ, мой долгъ сейчасъ вступиться...

— Поэтому ты такъ и вступаешься? — перебилъ его Лаврентій Семеновичъ.

— Безпрѣмѣнно. А вы какъ-бы думали?.. Когда человѣкъ другому дѣлаетъ зло...

— Постой! — снова перебилъ его Лаврентій Семеновичъ и потихоньку толкнулъ колѣнкой Ситникова. — Ты говоришь — зло? — А какъ же, напримѣръ, въ писаніи обозначено: „уйди отъ зла и сотвори благо?“

Гречушкинъ всплеснулъ руками, откатиулся на спинку стула и долгимъ, строгимъ взглядомъ посмотрѣлъ на Лаврентія Семеновича; съ клокотаніемъ въ горлѣ и съ возрастающимъ волненіемъ онъ заговорилъ:

— Отъ васъ ли я слышу!?! Лаврентій Семеновичъ!.. Уважаемый нашъ!.. Неужели ваше такое понятіе, что ежели когда я вижу, какъ человѣка грабятъ, или убиваютъ, или... дѣлаютъ всякія надругательства... И я вдругъ долженъ пройти мимо? Я, напримѣръ, вижу... какъ при мнѣ происходитъ... прохожу не взирая... Такъ вѣдь тогда я буду...

Онъ безпокойно завертѣлся на стулѣ, нервно тряхнулъ головой и издалъ свистящій звукъ; это было какое-то слово, не выговоренное перехваченнымъ спазмой горломъ; подъ лѣвымъ глазомъ у него плясать живчикъ и самый глазъ поэтому щурился и подмигивалъ. Лаврентій Семеновичъ смотрѣлъ на него такъ, какъ обыкновенно смотрятъ на представляющихъ людей; зато удивленіе Ситникова было близко къ испугу. Гречушкинъ глубокимъ вздохомъ подавилъ охватившее его волненіе, сильнымъ, почти беззвучнымъ голосомъ заговорилъ:

— Уйти отъ зла, значитъ — съ нимъ не прикасаться, а не то, чтобы... А коснувшіе со зломъ ему потворщики и должны быть ото всѣхъ презрѣнныя... Это все надоть понимать умственно!.. Ежели мы не будемъ за другими наблюдать, какъ-же мы тогда поймемъ, кто, напримѣръ, подлець, а кто хорошій господинъ?

— Объ этомъ ты не безпокойся, — опять поталкивая Ситникова и удерживаясь отъ улыбки, сказалъ Лаврентій Семеновичъ; — на подлецовъ есть судъ и наказаніе, кому какое соотвѣтственно...

— Да судъ-то, — перебилъ его Гречушкинъ, — когда бываетъ? Въ судъ-то кто попадаетъ?

— Извѣстно кто, — преступники.

— А-а-а!.. То-то и оно-то! Человѣкъ убилъ, ограбилъ, обворовалъ, всю свою подлость сдѣлалъ, поймали его, засудили,

въ Сибирь отправили... Такъ-съ?.. Безподобно... Ну, кто-жъ, теперича убитаго возвратить? Кто обокраденное отдасть?... Чего-съ?

— Ничего, — усмѣхнувшись отвѣтилъ, Лаврентій Семеновичъ.

— Вы этимъ довольны?

Лаврентій Семеновичъ молчалъ.

— А я не доволенъ-съ, — гордо, съ клокотаньемъ въ горлѣ, произнесъ Гречушкинъ, хлопнувъ по столу ладонью. — Я считаю такъ, что всякій настоящий гражданинъ обязанъ кругомъ себя смотрѣть, а тутъ ежели какую скверность замѣтилъ, — упрещай!.. Ты этимъ многимъ добро сдѣлаешь! А ежели мы будемъ только объ себѣ думать, ото всего отворачиваться, быдто-бы ничего не видимъ, тогда насъ надо называть...

Онъ не договорилъ и потрогалъ пальцемъ около гѣрла.

— Ну, будетъ ужъ, будетъ горячиться-то! — съ улыбкой сказалъ Лаврентій Семеновичъ. — Я пошутилъ, а ты и взаправду!

— Подразнить вамъ меня захотѣлось? — успокоиваясь и обтирая ситцевымъ платкомъ лобъ, сказалъ Гречушкинъ. — А я было съ дуру-то и не понялъ! Ахъ, шутники!

— Освѣжитесь, пивца стаканчикъ! — наливая пиво, сказалъ просвѣтлѣвшій Ситниковъ.

— Вотъ хоть-бы взять къ примѣру это самое дѣло, — говорилъ Гречушкинъ Ситникову, выпивъ залпомъ стаканъ, — черезъ которое я вышелъ вредный членъ... Я вамъ расскажу во всей подробности и вы сами увидите, что я упрелъ большую уголовность, которая была могущая произойти.

— Еще стаканчикъ? — спросилъ приготовившійся слушать Ситниковъ.

— Ничего-съ, я его въ прихлебочку, за разговоромъ... — сказалъ Гречушкинъ.

— Не подбавить-ли бражки-то? — спросилъ Лаврентій Семеновичъ Ситникова.

— Безпремѣнно, — отвѣтилъ Ситниковъ и пробилъ по столу пальцами дробь, на которую подкатился „мальчикъ“ и получилъ приказъ сдѣлать повтореніе. Гречушкинъ облокотился локтями на столъ и заговорилъ:

— Это вотъ въ чемъ происходило-съ: скончался у насъ сосѣдъ, купецъ Мартышовъ, опослѣ себя оставилъ онъ своей супругѣ и дочкѣ, окромѣ капитала, три дома-съ. Вдова ихняя,

Авдотья Яковлевна... этого ужъ не скроешь,—еще при жизни супруга склонность къ напиткамъ получила...

— Это по купечеству довольно часто случается,—промолвилъ Ситниковъ.

— Совершенно вѣрно-съ, ну и винить тоже подобныхъ дамъ не приходится,—продолжалъ Гречушкинъ,—потому какъ мужа у нихъ загуливаютъ, по разнымъ мѣстамъ раскатываются, всякія себѣ удовольствія имѣютъ, а женъ дома держать; къ тому-же и озорство,—чуть что, сейчасъ „сѣни мои сѣни!“ Такимъ фасономъ жены и начинаютъ потихоньку себя развлекать... Скоронимши супруга, госпожа Мартышова въ своей слабости стѣсняться перестала, какъ утро зачинается, только-что, къ примѣру, чай откупаютъ, а ужъ у ней на столѣ полная закуска разставлена. Проживала у нихъ какая-то дальняя родственница, засядутъ онѣ съ ней, посмѣиваются, рябиновую култыхаютъ, да мадерцей закусываютъ! Кушаетъ это Авдотья Яковлевна всякіе напитки и совершенно не понимаетъ, что у ней есть дочь по двадцать третьему году, а у той, извините меня, своя мечта въ головѣ заключается, чтобы поскорѣй найти себѣ какого ни на есть избранника. Еще года за четыре до родительской кончины съ ней былъ случай,—какого-то юнкера черезъ заборъ къ себѣ въ садъ вовлекла; теперича-же, оставшись безо всякаго призора, она могла соорудить какое угодно колѣно!

— Обыкновенно,—подтвердилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Въ это-же самое время,—отхлебнувъ пивца, продолжалъ Гречушкинъ, черезъ проулокъ отъ насъ проживалъ одинъ ухарь, по фамиліи Салазкинъ. Считался онъ мебельный коммерсантъ, а на дѣлѣ былъ просто мошенникъ,—по картежной части дѣйствовалъ, заманивалъ разныхъ денежных простаковъ, напавалъ и обиралъ; а второе его занятіе было насчетъ женскаго сословія... Хотя онъ ужъ и въ ту пору былъ въ лѣтахъ, ну, дѣйствительно, что мужчина изъ себя видный, ходилъ по-барски — съ усами, и гдѣ, на примѣръ, только чуть замѣтитъ въ какомъ-нибудь домѣ слабость,—ужъ онъ тутъ! И до тѣхъ поръ не уйдетъ, покада не оберетъ до чиста. —Жимши насупротивъ Мартышова дому, вдругъ я въ окошко вижу, что Салазкинъ туда жадуется. Ну, думаю, теперича пиши пропало! Зачуялъ этотъ аспидъ кровь-то, не помилуетъ! День онъ туда ходитъ, два ходитъ, недѣлю. Каждый день кульки съ собой приносить... Зацемило у меня сердце

и сталъ я соображать, какъ-бы, то-есть, всю эту музыку разстроить. И вотъ-съ въ это время приходитъ ко мнѣ ихняя прислуга, старушка, насчетъ починки обуви, я, значить, ее сейчасъ за самоваръ, разговоры развелъ, тутъ и объяснила она мнѣ, что у нихъ творится: такъ тамъ г. Салазкинъ около вдовы устроился, что просто полнымъ хозяиномъ сталъ, — всѣмъ, на-примѣръ, распоряжается, приказъ отдаетъ по хозяйству... Заполонимши мать, и дочь безо вниманія не оставилъ: на тотъ случай, чтобы она какъ-нибудь ихнимъ дѣламъ не помѣшала, онъ ужъ успѣлъ и жениха для нея подыскать.

— Какого-такого?—спросилъ Ситниковъ.

— Азіатской природы-съ, во всей формѣ, въ длинной въ этакой чуйкѣ съ кинжаломъ, въ бараньей шапкѣ, на подобіе какъ офицеръ. Парень такой бравый, подбористый, пучеглазый и совершенно воронова крыла черный, даже въ синеву ударяетъ. Былъ онъ изъ салазкинской шайки, тоже по картежному дѣлу мерзавецъ. Мало того, что за жениха этого азіата подсунулъ, для всякой видимости привелъ въ домъ еще стараго армянина, будто-бы онъ есть природный князь и дядя жениху... А онъ больше ничего, какъ проторговавшій купецъ, имѣлъ прежде шелковое занятіе, а потомъ сталъ картежнымъ мошенничествомъ промышлять.

— Тс-съ!—протянулъ Ситниковъ, съ любопытствомъ смотря Гречушкину прямо въ глаза.

— Ну, какъ-только дѣвицѣ азіата показали, такъ она сейчасъ и обомлѣла! А онъ-то съ ней по саду разгуливается, глазами поводитъ, да зубы оскаливаетъ!.. При этомъ, извольте замѣтить, напитки со стола не сходятъ и даже музыка заиграла. Салазкинъ какого-то гитариста предоставилъ, и такое тамъ безобразіе творилось, что даже, извините меня, рассказывать скверно!.. Прислуга ихняя, гостя моя, плачется на всѣ эти обстоятельства и промежду прочимъ говоритъ: „Ежели-бы хозяйкинъ братецъ про это узналъ, онъ-бы всѣхъ усмирилъ“. Отъ этихъ словъ меня точно шиломъ кольнуло, а она продолжаетъ: „пришло, говоритъ, отъ него письмо, что ѣдетъ сюда всѣ дѣла устроить, а имъ этого не желательно, такъ теперича сама приказала дочери ему обратно отписать, чтобы, дескать, задержался дома, потому, будто-бы, сами-къ нему собираются... Выиграла у меня вся внутренняя отъ этихъ словъ! „Вы“,—говорю я старушкѣ,—„это самое письмо задержите и

покажите мнѣ; я, говорю, на адресъ только взгляну, я такъ, можете быть, Богъ дастъ, что-нибудь и сострою”.

— Ахъ, какъ это умственно!—воскликнулъ Ситниковъ.

— Какое-же было мнѣ счастье! — Къ вечеру въ тотъ-же день я списалъ адресъ и отъ себя другое письмо накаталъ! Обозначилъ про всѣ безобразія подробно, а въ концѣ говорю, чтобы онъ не мѣшкалъ, скорѣй-бы ѣхалъ, по случаю угрожающей опасности насчетъ грабежа. Вотъ-съ жду я съ трепетомъ, какое будетъ отъ моего письма послѣдствіе, безпокоюсь всякими думами, а промежду тѣмъ у Мартыновыхъ днѣй коромысломъ идетъ; по случаю того, что въ покояхъ душно было, вся компанія проводила время въ саду, на вольномъ воздухѣ; заборъ у нихъ высокій былъ, что тамъ творилось, не видать, ну зато гнѣіе, визгъ и хохотъ непрерывный продолжался. А четвертаго числа августа въ авдотинъ день, смотрю я, къ дому двѣ тройки подъѣхали, сначала покляли на нихъ кузьки съ провизіей и съ виномъ, а потомъ и компанія вся вышла.—Салазкинъ подъ ручку самое ведетъ, азіатъ—дочку, армянинъ, который представляющій дядю, тоже съ какой-то франтихой выѣзъ, а гитаристъ съ инструментомъ; уѣхали всѣ съ хохотомъ и полетѣли. „Куда“?—спрашиваю прислугу. „Въ Кузьминки, именины справлять“. Встали въ шестомъ часу, вышелъ я ставнишки отворить, слышу—экипажи гремятъ, бубенцы звякаютъ и вдругъ изъ-за угла выкатывается все общество: сама сидитъ простоволосая, раскосишная глава, въ косу еоргинъ воткнуть; Салазкинъ съ цигаркой развалившись рядомъ съ ней; насупротивъ ихъ старый армянинъ, совсѣмъ сожвѣвшій, слюнявый и держитъ его подъ мышки гитаристъ; а въ другой коляскѣ, значитъ, дочка, положивши голову къ азіату на плечо, въ родѣ какъ въ дремотѣ находится; противъ нихъ на скамеечкѣ гитара, а новой компаньонки, которая бывшая со старымъ армяниномъ, нѣтъ,—либо они ее въ Кузьминкахъ забыли, либо вовсе потеряли. Выбѣжала прислуга, самое отвели подъ руки, дочка на подобіе козы за ней попрыгала, а прочіе уѣхали. „Ну, думаю себѣ, наладишь Салазкинъ дѣло, держись мартишовскія денежки!..“

— Какое безобразіе!—промолвилъ Ситниковъ.

— Чистое распутство!—прибавилъ Лаврентій Семеновичъ. — Ну, про самое нечего говорить,—вдовье дѣло, напитки... А дочь-то?

— Да-съ,—сказалъ Гречушкинъ,—полную ей свободу предоставили. И какъ она это къ азіату склонилась, такъ... Чистая страмота! И притомъ возмате, насколько былъ потерянъ всякій стыдъ, ежели въ такомъ образѣ въ бѣлый день онѣ по улицамъ катались, когда весь нашъ обыватель, всѣ сосѣди встали и въ окошки на нихъ смотрять?.. Прошло послѣ этого безобразія дня съ два, нѣтъ мнѣ никакого покою да и шабашъ! Измучился я, издумался до самой своей послѣдней степени и порѣшилъ такъ, что ежели черезъ три дня братъ ея изъ Тамбова не прійдетъ,—бѣжать къ какому ни на есть начальству, и про все доложить, а къ брату вторичное письмо послать. Сѣжу я какъ-то пообѣдавши съ такими думами у себя въ сѣняхъ, занимаюсь своимъ рукоесломъ, слышу — кличетъ меня изъ покоя хозяинъ: „Митричъ, Митричъ, бѣги сюда проворнѣй!“ Бросилъ свою работишку, вхожу въ покой, а жена говоритъ: „Смотри скорѣй, кто это такой къ Мартышовымъ подъѣхалъ“... Подбѣгъ я, значить къ окошку и вижу,—разсчитывается съ извозчикомъ какой-то господинъ, сурьезнаго сложенія, одѣтъ по-русски, въ рукахъ сабъ-де-воажъ; на крыльцѣ прислуга стоитъ, которая моя бывшая гостя, съ улыбающимся лицомъ ему кланяется... Братъ!.. Возрадовался я всей своей душой, такъ что даже перекрестился и говорю женѣ: „Ну, Маша, мы съ тобой въ тѣтрахъ-то не бываемъ, такъ теперь посмотримъ на комедію,—представленіе намъ будетъ аховое!“ „Сиди“, говорю, у окошка, сиди и глазъ не спущай!“ Время было второй часъ въ началѣ и вся веселая компанія находилась тамъ во всемъ своемъ полномъ составѣ,—значить, этотъ самый братъ въ самую пору утрафилъ. Вышелъ я за ворота, сѣлъ у калитки на скамеечку, смотрю на мартышовъ домъ, а у самого сердца такъ и замираетъ... Ну, вотъ чисто, какъ подъ вѣнецъ я иду.

Всѣ разсѣялись, а круглый половой, все время стоявшій подлѣ стола, даже взвизгнулъ.

— Антиресуеться? — повернувшись къ нему, спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Невозможно-съ! — отвѣтилъ тотъ, со смѣхомъ отмахиваясь салфеткой. — Ужъ очень Иванъ Митричъ чудно разсказываютъ.

— Ну, Гречушкинъ, доколавивай! — сказалъ Лаврентій Семеновичъ.

— Посидѣлъ я довольно долго, тихо все было, только вдругъ вижу проворнымъ ходомъ скатывается съ лѣстницы старый армянинъ, картузъ на ходу надѣваетъ, садится на извозчика безъ торгу и погонять велитъ.

— Выгнали?—радостно спросилъ Ситниковъ.

— Не иначе, что такъ,—отвѣтилъ Гречушкинъ.— Извозчикъ этотъ отъ вокзала привезъ, стало-быть, брата, лошадь у него заморилась, не бѣжить, а армянинъ все его палкой въ спину тычетъ, чтобы проворнѣй ѣхалъ. Я, признаться, не утерпѣлъ, посвистѣлъ ему вдогонку!

— А онъ что-жъ?—спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Палкой мнѣ погрозился, а потомъ за уголъ завернулъ. Двухъ минутъ не прошло, слышу—въ домъ шумокъ начинается, потомъ пошло все громче, да громче, женскіе визги стали раздаваться; остановились подлѣ меня двое прохожихъ, спрашиваютъ: „что такое?“ Не успѣлъ я имъ ничего отвѣтить, какъ-вдругъ по лѣстницѣ стуки—ту, ту—ту, тр—рахъ!! Распахиваются двери и вылетаетъ на улицу азіятъ, шапку въ рукахъ держать. Только-что, значить, онъ выскочилъ, шею у себя пощупалъ; потомъ шапку надѣлъ на-бекрень и, обернувшись къ крыльцу, забормоталъ было что-то на своемъ языкѣ.— Вдругъ слышимъ вторично—трескъ, стукъ, топотъ,—и со всего-то размаху, прямо харей на мостовую, шлепается самъ главный атаманъ, господинъ Салазкинъ!

— Ахъ, великолѣпно хорошо!—всплеснувъ руками, воскликнулъ Ситниковъ.

— Не успѣлъ еще онъ, значить, подняться,—продолжалъ Гречушкинъ,—какъ сейчасъ-же объявился самъ пріѣзжій братъ, безъ сюртука, въ одной жилеткѣ и съ грознымъ видомъ сталъ на протуварѣ. Зрителевъ еще прибыло—и прохожіе пріостановились, и сосѣди изъ домовъ повышли...

Азіятъ, завидѣвши брата, отскочилъ въ сторону, опять по-своему браниться продолжаетъ и все рукой за кинжалъ хватается, а братъ этотъ самый тамбовскій подперся фертонъ и говорить: „Много-ль васъ тутъ? Выходите, всѣхъ уберу!“ Салазкинъ вскочилъ на ноги, платкомъ харю утираетъ, потому изъ носу кровь пошла и, подступивъ къ брату, говорить: „Какое вы имѣете право такимъ манеромъ меня оскорблять, когда я по званію своему почетный гражданинъ?“ — „Мошенникъ ты, воръ, а не гражданинъ! Вы, мерзавцы, цѣльной шай-

кой ввалились въ степенный домъ, глупыхъ бабъ обобратъ задумали!“ Салазкинъ, значить, хотѣлъ его опять попужать, только было ротъ открылъ, ну, братъ на него еще сурьезнѣй крикнулъ: „Не лѣзь, коли хочешь, чтобы рожа твоя воровская цѣла осталась! Да и татарина-то своего уברי подальше, потому я не посмотрю, что у него ножикъ подвѣшенъ, я ему всѣ ребра переломлю вотъ этимъ инструментомъ!“ — и показалъ онъ кулакъ...

— Струментъ?—съ смѣющимися глазами спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Да уже такой струментъ, что не только сухопараго черкеса, ну, даже быка, я полагаю, можно-бы имъ озадачить!— Салазкинъ видитъ, что дѣло его—тьфу, что съ такимъ сурьезнымъ купцомъ немного наговоришь, форсу своего, однако, не спустилъ, а сфыркнулъ этакъ презрительно, пожалъ плечами и говоритъ черкесу: „Пойдемте, князь, намъ теперь одно остается,—прямо къ пальцмейстеру ѣхать!“ И таково важно, не торопясь, пошли оба по проулку; а братъ имъ вслѣдъ шуметь: „Вы молитесь Богу, чтобы я къ пальцмейстеру-то не поѣхалъ, да въ острогъ васъ, мошенниковъ, не упряталъ!..“ Я, значить, отъ восторгу, какъ было мнѣ это очень до крайности чувствительно, не утерпѣлъ, вскочилъ на скамейку, захопалъ въ ладоши и „браву“ кричу!.. Вдругъ этотъ самый братъ оборачивается ко мнѣ: „Это по какому такому случаю вы въ ладоши застучали? Комедіантъ я вамъ, что-ли? Какой такой вы есть человекъ? Какое ваше званіе?..“ И подступаетъ ко мнѣ...

— Вотъ тебѣ разъ!—перебилъ Лаврентій Семеновичъ.

Гречушкинъ жестомъ пригласилъ его замолчать и продолжалъ:

— Какъ-только онъ, значить, сталъ ко мнѣ приближаться, всѣ зрители въ одну минутую въ сторону шарахнулись.

— Испужались?—спросилъ Ситниковъ.

— Да вѣдь жутко-съ, потому всѣ видѣли, какъ онъ гостей-то высаживалъ!.. Я же ни чуточки не испужался, вѣжливо кланяюся и вольнымъ духомъ отвѣчаю: „По званію своему я есть баппашиниъ, а ежели въ ладоши удареніе дѣлалъ, такъ именно что отъ одного восторгу, потому душа моя радовалась, видѣвши, какъ жульническую компанію тамбовскій купецъ Ушниковъ разнесъ“. „Откедова ты, говорить, можешь мою фамилію

взять?" „А потому я вашу фамилию знаю, что письмо, которое вами полученное, моей рукой писано". Онъ даже глаза спервоначалу на меня вытупилъ, а потомъ, когда я ему, значить, про все подробно объяснилъ, сказалъ мнѣ: „вы вполне благородно эту штуку сстроили, и мы должны быть вами очень благодарны, поэтому моя есть такая обязанность—васъ подарить". Слезилъ въ карманъ и подаетъ мнѣ синенькую: я отсторонился, руки за спину заложилъ и говорю: „напрасно вы, купецъ хорешій, хотите мнѣ подарокъ дѣлать; ежели вы понимаете, что я изъ-за денегъ поступалъ, такъ это вы ошибаетесь. Гривенничекъ мнѣ съ васъ дѣйствительно за письмо получить слѣдуетъ, ну никакъ не синенькую пять рублей"... „Ну," говоритъ купецъ, „ужъ коли ты такой чудакъ зародился, такъ съ тобой ничего не подѣлаешь! Получай гривенникъ, а я пойду своихъ бабъ усмирять"... Отдалъ мнѣ гривенникъ, сказалъ „спасибо", за руку потресь и хотѣлъ было уходить, ну, я его немножко задержалъ и говорю: „дозвольте ужъ мнѣ полюбопытствовать, — насколько это самое жулье вашихъ сродственниковъ нагрѣло?" „Капитала," говоритъ, „тронуть не могли, потому-что еще вводу во владѣніе не было, а вещей, говорить, должно быть коснулись, потому у этого самаго черкеса я съ пальца затевъ яхонтовый перстень снялъ и у большого-то изъ галстука булавку его же жемчужную вытащилъ. „Теперь," говоритъ, „всей этой музкѣ конецъ, потому я ихъ отсюда на родину спроважу, тамъ не очень разыграются".

— Чудесно хорошо! — промолвилъ Ситниковъ, обращаясь къ Лаврентію Семеновичу. — И это они совершенную правду сказали, что изъ подобной аллегоріи могла выйти уголовщина здоровенная! Ну, только отчего было синенькой не взять? Человѣкъ отъ всей души предлагаетъ...

— Нѣ-ѣтъ-съ! — отлебывая ниво и отрицательно мотая головой, произнесъ Гречушкинъ. — Моя основанія не въ этомъ заключается. Ежели-бы свои поступки строилъ изъ корысти, тогда меня надо было-бы прямо на одной оснѣкѣ вмѣстѣ съ подлецами повѣсить. Я всякія страданія за свои открытія принималъ и то никогда не ропталъ, сносилъ съ колымъ терпѣніемъ, а не то, чтобы деньгами пользоваться... Я и „вреднаго члена" заслужилъ себя, и другую обиду принималъ, ну чтобы деньги!..

— Выкупайте! — для успокоенія предлагаю ему Ситниковъ.

— Премного благодаренъ-съ, — отвѣтилъ Гречушкинъ, съ поклономъ принимая стаканъ. — И такъ ужъ вы меня совсѣмъ занотчивали!..

— На доброе здоровье, очень пріятно, — сказалъ Ситниковъ. А какъ-же, позвольте васъ спросить, теперича это самое ваше прозвище?.. То-есть, какое-же было его предсѣ-
жденіе?..

— Это все пустое! — выпивъ пиво и закуривъ предложенную Ситниковымъ папирску, сказалъ Гречушкинъ. — Я отъ своего прозванія никакой тяжести не чувствую. Хотѣлъ мнѣ Салазкинъ отомстить, думалъ меня разстрѣлять на всю Москву...

— Какимъ манеромъ онъ узналъ, что все его крушеніе черезъ тебя произошло? — спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Вѣдь я вамъ говорилъ, что этому дѣлу были зрители, разговоръ мой съ купцомъ слышали, — ну, стало-быть, сейчасъ мнѣ похвалу, — „молодецъ Гречушкинъ“, — потомъ по окрестности говоръ, ну, до него и дошло. Тутъ онъ насчетъ вредности моей и вздумалъ соорудить механику, подбѣлъ разныхъ обывателей, которые были мной недовольные, написать бумагу, чтобы меня выселить, то-есть убрать въ другое мѣсто. Ну, только устроили это безо всякаго разума; нашли какого-то кляушника, — онъ имъ за три цѣлковыхъ бумагу и навалалъ, прописалъ въ ней, что отъ меня жителямъ страшное безпокойство и что я по своему характеру есть вредный членъ общества. Пришли съ этой рукописью къ приставу; ну, тамъ, знаете, только посмѣялись, потому на ихнее глупое прошеніе никакихъ законовъ нѣтъ; а между прочимъ приставъ тогда у насъ былъ шутникъ, тому прочтеть, посмѣется, другому прочтеть... Ну, такъ оно и пошло, и сталъ я „вредный членъ“.

— Да-а, вотъ она въ чемъ штука-то! — протянулъ Ситниковъ.

— Все пустое дѣло! — слезывая въ сторону нѣсколько охмѣлѣвшимъ голосомъ говорилъ Гречушкинъ. Вы, можетъ быть, воображаете, что я черезъ это себя чувствую непріятнымъ? Вотъ даже ни чуточки! Честное слово, вамъ говорю... Вотъ сейчасъ издохнуть... Это для меня ничего не состоитъ!..

— Ничего? — спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Ровно ничего!.. Вы извольте взять себя въ разсужденіе: для кого я вредный человѣкъ? Для подлецовъ, для шельмовъ, для обманщиковъ,—такъ-съ? Ну, ни одинъ справедливый господинъ меня вреднымъ не сочтетъ. Н-ни одинъ!.. Вы, напримѣръ, кричите: „Эй, вредный членъ, иди сюда!“ Что-жъ изъ этого выходитъ?.. Я иду къ вамъ съ вольнымъ духомъ, свободно, безъ обиды, потому я такъ понимаю, что вы говорите „вредный членъ“, а это обозначаетъ—„милый человѣкъ!..“—Вѣрно-съ?..

— Вѣрно, вѣрно! — подтвердилъ Лаврентій Семеновичъ и потомъ обратился къ Ситникову: — А не выкатится-ли намъ отсюда опять на воздухъ? Здѣсь что-то душновато нѣсколько... Или, можетъ, еще желаете пивца продолжить?

— Мнѣ достаточно,—отвѣтилъ Ситниковъ и, указывая на Гречушкина, прибавилъ:—Вотъ они развѣ...

— Нѣтъ-съ, премного благодаренъ,—съ довольной улыбкой, обтирая губы, отвѣтилъ Гречушкинъ.—Я и такъ малость сдаль... потому привычки нѣтъ...

Ситниковъ расцелся съ половымъ, а Лаврентій Семеновичъ вылилъ изъ бутылки остатокъ пива въ стаканъ Гречушкина и сказалъ:

— Валяй на дорожку-то!

— Право ужъ...—началъ было Гречушкинъ.

— Пей, пей, все одно такъ вѣдь пропадетъ.

Разобравши шапки, выбрались на бульваръ и молча ушли на ближайшую скамейку около пруда, нѣкогда бывшаго Самотекой; отъ Екатерининскаго парка доносились звуки музыки. Гречушкинъ порядочно захмелѣлъ; онъ склонилъ на бокъ голову, поднялъ вверхъ указательный палецъ, прислушался къ музыкѣ, игравшей какой-то вальсъ и тонкимъ сильнымъ фальцетомъ затянулъ было: „ужъ ты, садъ-ли, мой садъ“, но Лаврентій Семеновичъ его остановилъ:

— Вотъ еще что надумалъ! — Нѣтъ, братъ, ты эти концерта брось, рассказывай лучше что-нибудь, а пѣніевъ твоихъ намъ не нужно...

— Не нужно-съ? — благодушно разсмѣявшись, спросилъ Гречушкинъ.—Ну, не нужно, такъ не нужно... Конечно, какъ вы, напримѣръ, водили меня въ рестарацию, сдѣлали мнѣ угощеніе... За все ваше расположеніе мой долгъ есть васъ удоблестворить... Пожалуйста цыгарку!

— Смотри, не крѣпка-ли будетъ?

— Не безпокойтесь, намъ все подойдетъ... Ядъ, а не цыгарка!.. Ну, я ее за ваше здоровье выкурю, будьте спокойны... До самого до корня докурю и невредимъ останусь!..

— Ну, получай,—сказалъ Лаврентій Семеновичъ, подавая ему сигару.—Конечъ-то скуси!

— Не сомнѣвайтесь! — отвѣтилъ Гречушкинъ, откусилъ конечъ, обсосалъ его, долго закуривалъ, потомъ сильно, съ какой-то особенной удалью затынулся, закашлялся до слезъ, раза три чихнулъ, обтеръ ладонью слезы и, покрутивъ головой, съ чувствомъ произнесъ:

— А-а-ахъ, здорова, каторжная!.. И притомъ пользителъная, шельма! Кого хопъ въ чувство приведетъ...

— Смотри, братъ, какъ-бы тебя съ нея пуще не затуманило!

— Не воз-можно! Вы, пожалуйста... сдѣлайте ваше одолженіе, оставьте это свое продолженіе...

— Какое продолженіе...

— Объ цыгаркѣ.

Курнувъ раза два, онъ вдругъ неожиданно вскочилъ на ноги, гордо вытянулся, сдѣлалъ строгое лицо и, ударивъ кулакомъ по тощей, узкой груди, съ достоинствомъ произнесъ:

— Русскій ремесленникъ себѣ знаетъ цѣну! Давай сейчасъ хучь купороснаго масла...

— Ну, ладно, ладно! Садись.

— То-то! — отдуваясь и опускаясь на скамейку, произнесъ Гречушкинъ и опять закричалъ: — Не пострашимся во вѣки!..

— Да будетъ тебѣ ломаться-то! — Рассказывать, такъ рассказывай.

— Извольте-съ,—спокойно, натуральнымъ голосомъ отвѣтилъ Гречушкинъ. — Вамъ, стало-быть, теперича любопытно объ моихъ гоненіяхъ прослушать? Извольте-съ, съ полнымъ удовольствіемъ!.. На чемъ у насъ вышла остановка?

— На пяти рубляхъ.

— Я ихъ не взялъ...

— Знаемъ, что не взялъ... Чтѣ-же купецъ съ бабами-то сдѣлалъ?

— Увезъ, обѣихъ увезъ къ себѣ на родину. Ну и чтѣ только происходило, такъ это — батюшки мои! — ужъ очень вдова-то упиралась: все ей хотѣлось доказать, что она сама себѣ госпожа... Самолюбія!..

— Не доказала?

— Куда же! Развѣ возможно съ этими чортами?.. Скрутилъ ихъ въ лучшемъ видѣ и увезъ. Тутъ, стало быть, въ спешности и я былъ принужденъ съ своей квартиры съѣхать... То-есть, видите-ли... Я могъ-бы упереться, ну, вотчинникъ меня уговорилъ; опослѣ этой самой бумаги пристаѣ ко мнѣ,—сѣзжай, да сѣзжай... — „Почему-же такъ?“ — говорю ему. „Я вамъ деньги всегда аккуратно, за пол-мѣсяца впередъ... и вдругъ вы меня поуждаете?“ „Согнать тебя“, — отвѣчаетъ онъ, — „я правъ не имѣю, ну, ты самъ меня долженъ пожалѣть, я теперича домовладѣлецъ, во всемъ отъ начальства зависимъ, а объ тебѣ существуетъ бумага. По этому случаю я всегда черезъ тебя могу ожидать прижимки“.

— Да что-жъ, вѣдь онъ правильно рассуждалъ, — сказалъ Лаврентій Семеновичъ. — Ты тамъ надѣлалъ дѣловъ, а ему въ чужомъ пирѣ похмелье принимать!

— Совершенно съ вашимъ согласіемъ, — серьезно отвѣтилъ Гречушкинъ. — Я и сѣзхалъ, потому онъ говоритъ: „ко мнѣ теперича за всякую соринку будутъ прищипляться!“ Я нисколько не упорствовалъ, я даже съ удовольствіемъ его желанія сдѣлалъ, потому эта бумага еще надравнила... опослѣ нея наши жители...

— Задражили тебя очень? — перебилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Дражненіе мнѣ наплевать, я никакого вниманія на это не бралъ, а тутъ другое: опослѣ бумаги многіе носы подняли, огрызаться стали...

— Въ чемъ же собственно состояло огрызаніе? — спросилъ Ситниковъ.

— Во всякомъ вздорѣ-съ, — отвѣчалъ Гречушкинъ. — Совсѣмъ не попрежнему стали относиться.

— То-есть... собственно въ чемъ? Непонятно мнѣ что-то, — говорилъ Ситниковъ.

— Ахъ, Боже мой! Ну, чего-же тутъ не понять? Все дѣло очень просто состоитъ, вотъ я вамъ скажу примѣръ: вотъ хоть-бы пошелъ я въ булочную, купилъ себѣ поклеванный хлѣбъ, сажусь съ супругой за самоваръ, разламываю этотъ самый Божій даръ, и вдругъ, на примѣръ, вижу запеченъ въ немъ черный тараканъ.

— Сдѣлай милость, братъ, — смѣясь промолвилъ Лаврентій Семеновичъ, — у насъ этихъ сюрпризовъ сколько хочешь!

— Пушай! Ну, я не могу кушать хлѣбъ съ тараканами! Сейчасъ я, значитъ, беру этотъ помѣванный, завертываю въ бумагу, приношу къ пекарю и говорю: „но какому такому случаю въ вашемъ хлѣбѣ подобный насѣкомый существуетъ?“ — „Ахъ, извините, г. Гречушкинъ! Нашъ грѣхъ, не досмотрѣли! Позвольте вамъ поднести за наше нечѣжество пару“. — „Мерси васъ, лишняго намъ не требуется; пожалуйста на обѣдъ другой хлѣбецъ, ну, однако, на будущее время потрудитесь быть поосторожнѣй“. — „Будьте спокойны, нынче же морильщика пригласимъ для истребленія“. Вотъ и весь разговоръ! И я шокоенъ и пекаръ насчетъ чистоты всѣ заботы прилагаетъ. А почему? Потому, что ему мой характеръ давно извѣстенъ, онъ понимаетъ, что я молчать не стану, а черезъ это всей его торговлѣ можетъ выйти мать.

— Вѣрно! — подтвердилъ Лаврентій Семеновичъ.

— А потомъ, опасаясь этого вреднаго члена, — улыбаясь и прищуривая одинъ глазъ, заговорилъ Гречушкинъ, — всѣ подобные господа ввалили смѣлость; не успѣю я открыть, а ужъ они бѣгутъ по начальству, — „ваше благородіе, отъ Гречушкина житья нѣтъ, ослобоните!“ Вотъ оно что!.. Конечно, что изъ этого никакой важности не выходило, одно пустое безпокойство... Призовутъ, на примѣръ, меня и говорятъ: „ты какъ можешь про такого-то говорить вредныя слова?“.. А я на отвѣтъ: „Пушай онъ это докажетъ!“ Что же мнѣ могутъ произнести? Окромя только, что погрозятъ пальцемъ, да скажутъ: „смотри, не забывайся!“ „Покорно васъ благодарю, будьте здоровы!“ Вотъ и все!..

Всѣ разсмѣялись; Гречушкинъ съ хрипомъ сосалъ расплывшуюся сигару.

— Однако, братъ — подмигнувъ Ситникову, обратился Лаврентій Семеновичъ къ Гречушкину, — я не могу повѣрить, чтобы Салазкинъ при своемъ озорствѣ, да только и сдѣлалъ, что бумагу написалъ!..

— Вы погодите, — грозя ему среднимъ пальцемъ лѣвой руки и стараясь сдѣлать приставившій къ нижней губѣ зеленоватый листъ охидной сигары, говорилъ Гречушкинъ. — Это все вперед!.. — Онъ сжалъ пальцемъ сигарный листъ, обтеръ палецъ объ кофѣнку и спокойнымъ, серьезнымъ тономъ спросилъ Лаврентія Семеновича:

— Вы это про битье? Сдѣлайте ваше одолженіе, — отбузовали въ лучшемъ видѣ!

— Отбузовали?

— Безпремѣнно. А вы какъ-же хотите? Я у человѣка изъ глотки этакой кусокъ вырвалъ — и чтобъ онъ на мнѣ своего сердца не сорвалъ! За это онъ, извините меня, былъ-бы ду-у-р-ракъ!

Лаврентій Семеновичъ и Ситниковъ не удержались и разразились веселымъ смѣхомъ.

— Чему вы смѣетесь? Я вамъ, окромя всякихъ шутокъ, это говорю. По настоящему-то онъ долженъ былъ зарѣзать меня отъ своей злобы...

— Ахъ, чтобъ тебѣ!.. Ну, человѣчина... Какъ-же, это онъ?

— Онъ не самъ, — отвѣтилъ Гречушкинъ, — тутъ былъ подосланный народъ... Я вамъ сейчасъ про все подробно, безъ скрытности... Позвольте, я вотъ только цыгарочку докончу... Онъ попробовалъ было пососать окончательно распользшійся окурокъ, но трудъ былъ напрасенъ, — между зелеными листьями только что-то запищало; швырнувъ окурокъ въ сторону, онъ принялся вытирать съ кислой гримасой, рукавомъ пальто, испицанный локчащимъ табачнымъ экстрактомъ языкъ.

— Тьфу ты, чтобъ тебя! какъ облокал!.. Чисто какъ испанская мушка.

— Возьми свѣженькую.

— Нѣтъ-съ, увольте! И безъ того она меня... Тьфу ты! Это, я вамъ скажу, табакъ!.. Онъ не простой! Это сейчасъ видно, что цыгарка не здѣшняя.

Онъ покосился на валявшійся въ сторонѣ окурокъ, изъ котораго тонкой струйкой извивался злой дымокъ, покачалъ головой и обратился къ слушателямъ:

— Это дѣло шло такимъ ходомъ: опослѣ того какъ Салазкинъ черезъ меня отъ тамбовскаго купца претерпѣлъ, сталъ онъ хвастать про свое намѣреніе.

— Про которое? — спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— А вотъ именно, что меня исколотить. Нашлись люди, мои доброжелатели, увѣдомили меня, чтобы я остерегался отъ нападенія; сталъ я наблюдать осторожность, такъ что даже поздно изъ дому не выходилъ. Время прошло порядочно, никто меня не трогалъ, объ его угрозахъ сталъ я забывать и подумалъ, что, должно быть, дескать, онъ плюнулъ на это дѣло.

Вот однажды къ вечеру занездоровилось чтой-то моей супругѣ, приключился съ ней жаръ и стало подъ сердце подкатывать. Должно быть, это произошло по случаю яблоковъ, потому какъ въ тотъ годъ были очень дешево... Мы ихъ, признаться, въ возу цѣльную мѣру купили, а она, стало быть, не остереглась... Охала она, охала и, наконецъ того, говорить: „нѣтъ никакой моей возможности, Митричъ, сходи къ Михайлѣ Кирилчу за лѣкарствомъ“. Схватилъ я картузишко и побѣгъ...

— Это какой же такой Кирилчъ былъ, — лѣкаръ? — перебилъ его Ситниковъ.

— Ничего даже не лѣкаръ, кардонщикъ онъ былъ, кардонны клепалъ для магазиновъ; а былъ у него секретъ, составлялъ онъ на разныхъ травахъ декопъ.

— Декопъ? — переспросилъ Ситниковъ.

— Декопъ; тѣ — ёмный такой, словно деготь. Такое было полезительное отъ всѣхъ болѣзней прибожище, что никакимъ лѣкарнымъ не уважить!...

— Онъ, что-же, торговалъ имъ, декопомъ-то?

— Торговалъ-съ, издавеча къ нему приходили, изъ Таганки, отъ Серпуховскихъ... А намъ, стало быть, даромъ давалъ, по родству, — какъ была его племянница выдана за нашимъ крестникомъ.

— Живъ онъ?

— Нѣтъ-съ, пятый годъ ужъ померъ; главное то обидно, что и секретъ свой на тотъ свѣтъ унесъ.

— Почему-же такъ?

— Скончался скоропостижно, пошелъ передъ Введеньемъ въ баню, тамъ на полкѣ его и пристыгнуло. Ежели-бы не это, такъ оставшіе его наслѣдники, можетъ до пятаго колѣна, были-бы декопомъ обезпечены, а теперича, — ау!

— Экая жалость какая!

— Да и для болѣющихъ-то потеря страшная, потому, ежели бывало отъ головы, отъ живота, отъ простуды, отъ ушиба, — ото всего полное прибожище. Сынъ его старшій, Андрей Михайлычъ, пробовалъ было своимъ умомъ дойти, долго хлопоталъ, да только не та кадрель!

— Не вышло?

— Дѣйствительно, что и онъ тоже декопъ сварилъ, ну, только совсѣмъ не такой, — и духъ не тотъ и цвѣтомъ въ желтизну ударяетъ, и слащавый и для нутреней болѣзни ничего

не стоит. Отъ ломоты ежели на ночь потереться, такъ еще ничего, а внутри ничего не стоитъ, только слюну отечиво глотать. Вотъ-съ побегъ это я въ Маринину слободку, взялъ у Кириллыча сороковушку лѣкарства и поспѣваю домой; только это, значить, перехожу я луговинку-то къ александринскому нирсетуту, ка-акъ а-ахнутъ меня по уху,—я сейчасъ брыкъ—съ ногъ долой.

— Кто же это?

— Неизвѣстно кто, темно было, да еще дождикъ моросилъ; только я успѣлъ опомниться, хотѣлъ было крикнуть,—сейчасъ это, значить, мнѣ ротъ зажали, насѣли на меня двое и давай подъ бока охаживать!.. Дуютъ меня со всѣмъ остервенѣніемъ, а я лежу, ничѣмъ даже тронуться не могу, потому ротъ у меня зажатъ, а въ рукахъ лѣкарство берегу... Наколотимшись до-сыта, набросили мнѣ на голову рогожнѣй кулъ и скрылись; перевелъ это я духъ, выпарапался изъ-подъ куля, оглядѣлся кругомъ—никого нѣтъ.

— Ай-ай-ай!..

— Очень большое круженіе головы у меня было, такъ что даже шатало... Потрогалъ я себѣ бока, всѣ-ли, значить ребра цѣлы, отряхнулся отъ грязи и кое-какъ поплелся домой. Супругѣ своей я ничего не сказалъ, чтобы больного человѣка не разстраивать; задалъ ей декопу самымъ вольнымъ духомъ, подбадриваю ее разными шутками, показываю свою легкость, а промежду тѣмъ самого меня такъ и валить...

— Какъ не валить! Этакую мятку задали, да чтобы не валило!..—сказалъ Лаврентій Семеновичъ.

— Вотъ-съ, принявши лѣкарство, спрашиваетъ она по какому случаю я весь въ грязи перепачканъ? Говорю: „хотѣлъ по случаю кареты попроворнѣй черезъ мостовую перебѣжать, да осклизнулся“. Замѣтимши, что жена отъ лѣкарства уснула, всталъ я потихонечку, отлил себѣ въ чайную чашку декопу и, признаться, потерялся маленько. Ночью я нѣсколько отмякъ и все размышлялъ про себя, — какъ мнѣ въ подобномъ дѣлѣ поступать? Съ одной стороны была такая дума, что, дескать, теперьча меня отлудили, стало быть, и дѣло съ концомъ; съ другой-же стороны, напротивъ того, приходитъ въ голову, что все-таки я живая тварь и даже, такъ сказать, какой ни на есть обыватель, стало быть, дуть въ меня, какъ въ бубенъ, не совсѣмъ приходится...

— Еще-бы, — поддержать его Лаврентій Семеновичъ. — Здѣсь не лѣсъ! Развѣ можно на человѣка нападать? Противъ этого существуетъ законъ.

— Вотъ именно такимъ родемъ и я разсуждалъ; ну, вышло, извините меня, одна глупость: никакой я себѣ заступы, окромѣ насмѣшки, не встрѣтилъ; пришелъ я, стало быть, утромъ въ начальству; замѣсто самого — помощникъ сидитъ, Иванъ Гордѣичъ, рыжеусый такой. „Что, говорить, нужно?“ „Такъ и такъ, докладываю ему, вчерашняго числа побить“. „Кѣмъ?“ — „Не могу знать, неизвѣстные господа сверзли меня съ ногъ и произвели въ бокахъ поврежденіе“. „Ребра поломали?“ — „Никакъ нѣтъ-съ, ребра цѣлы, а ломъ стоитъ и шелохнуться больно“. „Съ докторомъ, говорить, посоветуйся, онъ тебѣ рецептъ выпишетъ... Отвернулся отъ меня и сталъ какія-то бумаги перебирать. Я помаялся нѣсколько, потомъ говорю ему: „ну, одною я этого дѣла такъ оставить не желаю“... „Чего-же“, говорить, „тебѣ хочется?“ „Заступу“, говорю, „найти желательно, потому, какъ я подозреваю, что это отъ одной личности происходитъ“. „Представь“, говорить, „свидѣтелей и укажи тѣхъ, кто тебя билъ, тогда мы“, говорить, „ахъ напущемъ; а твоими словамъ я вѣры дать не могу, потому что, можетъ быть, ты это изъ своей головы выдумалъ“. — „Будьте покойны, говорю, отбуживали на совѣсть! Неужели я въ такомъ дѣлѣ могу начальство обманывать?“. Опять онъ ничего не отвѣчаетъ и продолжаетъ своими бумагами заниматься; меня, знаете-ли, отъ этого спокойствія даже нѣсколько возмутило; дѣлаю ему такой вопросъ: „а дозволейте спросить, ваше благородіе, должна полиція обывателя оберегать?“ „Безпремѣнно“, отвѣчаетъ: „вотъ ежели-бы ты въ ту пору, какъ били, закричалъ „жараулъ“, городской прибѣжалъ и оберегъ-бы“. — „Я этого исполнить не могу по той причинѣ, что злодѣи и ротъ мнѣ зажали и, окромѣ того, рогожнымъ кулемъ голову закрыли“. — „Это“, говорить, „только то обозначаетъ, что они усмотрительные люди“... Не вижу я себѣ въ немъ никакого участія, да и на поди! „А дозволейте, говорю, полюбопытствовать, какъ бы меня до безчувствія избили, чтѣ-бы тогда было?“ „Тогда-бы тебя безпремѣнно въ больницу отправили“. — „Ну, а ежели-бы, наконецъ, того, меня до смерти убили?“ — „Ну, ужъ опослѣ этого тебя-бы, должно быть, схоронили!“ — Вотъ тебѣ и весь разговоръ!.. Думалъ найти себѣ поддержку, а замѣсто того самъ въ дуракахъ остаюсь.

А между прочимъ мнѣ такъ уйтить не желательно, спрашиваю послѣднее: „могу я по этому дѣлу на одного человѣка подозрѣніе выразить?“—„Выражай,“ говоритъ, „на кого хочешь, только, смотри, самъ не угоди за желѣзную рѣшетку“.—„За какія-же такія заслуги?“—„За клевету“.—„Мое вамъ почтеніе-съ, извините за беспокойство“.

— Такъ, стало-быть, ты такъ и претерпѣлъ безо всякаго результата?

— Безо всякаго, — съ длиннымъ зѣвкомъ отвѣтилъ притомившійся рассказчикъ. — И вѣрите-ли, сколько такихъ оказій со мной ни случалось, все задаромъ проходило.

— Почему-же такъ? — спросилъ Ситниковъ.

— А потому, что такъ дѣлалось. Еще не обидно, когда знаешь за что, а то бываетъ такъ, что совершенно не понятно. Вотъ разъ осенью, поздно вечеромъ, шелъ я отъ дачальца черезъ Грохольскій переулокъ, хватили меня камнемъ по ногѣ.

— Кто? — спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Неизвѣстно; прошелъ мимо меня какой-то человѣкъ, а на него никакого вниманія не обратилъ, иду себѣ; вдругъ — рразъ! Прямо вотъ по этому мѣсту.

Онъ показалъ немного выше ступни.

— Я такъ и присѣлъ; даже до дому силъ не было дойти, извозчика напелъ; съ недѣлю совсѣмъ ходить не могъ, да и теперича еще припадаю.

— Ужъ тебя не караулилъ-ли кто?

— А кто-жъ его знаетъ? Можетъ статься, и караулилъ, а можетъ статься, за другого кого принялъ.

Всѣ помолчали, Гречушкинъ опять длинно зѣвнулъ и перекрестилъ ротъ, потомъ обратился къ Ситникову:

— Ахъ ты!.. Какъ разморило!.. Позвольте на прощанье одну папирочку!

Ситниковъ далъ ему папиросу и огня.

— Теперича, — началъ онъ, — года мои ужъ не тѣ становятся; прежде, не смотря, что съ рожденія такой сухощавый, бывало, какъ ни попадетъ, все словно стѣнѣ горохъ, а теперь — ау! Вонъ намеднишь на пожарѣ...

— На какомъ пожарѣ? — удивленно воскликнулъ Ситниковъ, никакъ не ожидавшій еще повѣствованія объ истязаніи.

Вотъ Лаврентій Семеновичъ про этотъ пожаръ знаютъ, — сказалъ Гречушкинъ и съ усмѣнкой прибавилъ: — волонѣрный магистръ купца Колѣсникова.

— Да, братъ, — покачалъ головой, сказалъ Лаврентій Семеновичъ, — уважилъ ты этого Колѣсникова, будетъ онъ тебя помнить!

— И я его долго не забуду-сь. Только что-жъ это вы говорите, что именно я уважилъ? Тутъ народу оврагъ меня было до пропасти.

— Сколько-бы ни было, все-таки ты въ первую голову дѣйствовалъ, черезъ тебя онъ въ дѣлѣ-то мѣста угодили, — поддразнивая его, сказалъ Лаврентій Семеновичъ.

— Напрасно-сь! Если ему вышло такое опредѣленіе, такъ скорѣй-же за поступки, ну, никакъ не черезъ меня.

— Толкуй еще! — махнувъ рукой и поворачиваясь къ Ситникову, сказалъ Лаврентій Семеновичъ. — Упекъ человѣка, куда Макаръ телѣтъ не гонялъ, а теперь отпирается!

— Позвольте-сь, позвольте! — вскакивая, горячо, съ начинающимся елокотаньемъ въ горлѣ и обращаясь къ Ситникову, заговорилъ Гречушкинъ. — Это они неправильно говорятъ-сь, я злодѣемъ ни для кого не былъ... Этотъ самый Колѣсниковъ шесть разовъ погорѣлъ... Понимаете-сь? Даже такъ было однажды, что у портнихи дѣвочка сгорѣла... Изъ всѣхъ пожаровъ онъ чистъ выходитъ, а тутъ и попался...

— Въ чемъ-же собственно? — съ серьезнымъ видомъ спросилъ Ситниковъ.

— Въ поджогѣ-сь.

— Вы Осининъ домъ знаете?

— Это на углу?

— Гречушкинъ утвердительно кивнулъ головой. — Знаю.

— Ну, вотъ-сь... Этотъ домъ теперича съ верху до низу мелкотой набитъ; однихъ ребятъ ежели собрать, такъ сотни съ двѣ наберется, — и вдругъ-сь въ подобномъ такомъ мѣстѣ случается въ первомъ часу ночи пожаръ... Чего-сь?

— Я совершенно согласенъ, — отвѣтилъ Ситниковъ. — Это онъ изъ-за страховки?

— Одно дѣло-сь! — передохнувъ и снова сядя на скамейку, отвѣтилъ Гречушкинъ. — Мы первые прибѣжали, когда еще, значитъ, наружу не вышибло... Я, стало быть, окно вышибъ, вскочилъ туда, такъ меня керосиннымъ запахомъ и

обдало! Гляжу, въ углѣ полыхаетъ всякій вздоръ, кульки, щепы, бумага... Мы сейчасъ растаскивать, разбрасывать, товаръ спасать. Схватимъ, напимъ, голову сахару, а она деревянная! Бросимъ ящики съ чаемъ, а изъ него опилки сыплются!... Довольно хорошо?

— Это ужъ видимое мошенничество! — подтвердилъ Ситниковъ.

— А они говорятъ!... — указывая на Лаврентія Семеновича, обиженнымъ тономъ сказалъ Гречушкинъ. — Счастье то, что разгорѣться не дали, а то-бы такого жарковаго господина Колѣнкинъ настрепалъ, — страсть!... Смиѣяться всему можно!

— Да будетъ тебѣ прибирать-то, старый чортъ! — шутиливо крикнулъ на него Лаврентій Семеновичъ.

— Вѣдь обидно-съ! — обтирая носъ и успокоиваясь, отвѣтилъ Гречушкинъ.

— Ну, ладно!... Ты про себя вѣдь что-то началъ: что такое съ тобою было?

— Ударъ получилъ-съ!

— Черезъ пожарныхъ? — спросилъ Ситниковъ.

— Отъ самого преступника. Видите-ли, какъ это вышло: когда, все затушивши, стали дѣлать осмотръ...

— Кто?

— Ну obviously полиція, страховой агентъ и самого Колѣнкина привели; идетъ допросъ, — какъ, что и почему? Какъ бывший всему дѣлу очевидецъ, я даю объясненіе насчетъ керосину, про сахарныя головы, про ящики. Вдругъ чувствую себѣ въ боку, противъ самаго сердца, ударъ, такой ударъ, что у меня даже духъ занялся, крикнуть не могъ, только охнулъ. Оглядываюсь, — стоитъ Колѣнкинъ съ звѣрскимъ лицомъ, въ рукахъ желѣзный безменъ и говоритъ мнѣ: „извините, я, кажется, васъ нечаянно толкнулъ!..“ Вотъ тебѣ и разъ!..

— Какъ, однако, онъ тонко сорвалъ на васъ злобу! — замѣтилъ Ситниковъ, покачивая головой.

— Да-съ! — разводя руками, отвѣтилъ Гречушкинъ. — Что-же я могъ сдѣлать, когда онъ говоритъ: „извините“. И такъ, позвольте вамъ доложить, онъ меня двинулъ, что вотъ ужъ пятый годъ этому, а мнѣ до сихъ поръ со временемъ бываетъ чувствительно.

— Еще-бы, желѣзнымъ-то безменомъ! — съ звѣкомъ отвѣтилъ Лаврентій Семеновичъ. — Да еще окромѣ того, должно быть, и угодилъ вѣрно, — подъ самое нужное ребро.

— Не иначе, что такъ, — отвѣтили Гречушкинъ. — И какая, я вамъ скажу, диковина: вотъ теперича у меня на этомъ мѣстѣ ничего не видать, ну, только я, напримѣръ, пришелъ въ баню, какъ меня жаромъ перехватило, — сейчасъ знакъ и проступить.

— Какого цвѣту? — неизвѣстно для чего съ новымъ звѣкомъ спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Голубой-съ, въ мѣдный пяточокъ будетъ мѣрой.

— А лѣчиться вы не пробовали? — спросилъ Ситниковъ.

— Какъ не пробовать! И декономъ себя пользовалъ, и карасиномъ натирался, и банку кровяную на это самое мѣсто пригонялъ, только все безъ послѣдствія. Однако-же, заболтался я, вонъ ужъ и народъ расходится... Позвольте вамъ засвидѣтельствовать! За угощеніе! Желаю быть здоровымъ-съ! — заговорилъ Гречушкинъ, вставая и сопровождая каждую фразу поклономъ.

— Не на чемъ-съ! — отвѣтилъ Ситниковъ, протягивая ему руку. — Напротивъ того, мы себѣ имѣемъ отъ васъ удовольствіе. Напредки будьте знакомы.

— Насчетъ работы, ежели случится, не оставьте.

— Безпремѣнно постараюсь.

— Лаврентію Семеничу-съ!.. Пожелаю вамъ!..

— Прощай, братъ, — сказалъ, вставая, Лаврентій Семеновичъ, — не сердись, что я тебя подражалъ маленько.

— Помилуйте-съ! — съ добродушной улыбкой отвѣтилъ Гречушкинъ, сдѣлавъ общій поклонъ и побрелъ по направленію къ Садовой, а Лаврентій Семеновичъ съ Ситниковымъ пошли въ противоположную сторону.

— Вполнѣ занятый человѣкъ, — говорилъ дорогой Ситниковъ Лысову. — И какое въ немъ упорство, такъ это даже удивительно! Его, напримѣръ, наказываютъ, а онъ все своего не оставляетъ.

— И никогда не оставить, — увѣреннымъ тономъ отвѣтилъ Лаврентій Семеновичъ. — Эта такая ужъ язва на свѣтъ рожденная. Онъ, я вамъ скажу, разныхъ открытіевъ множество сдѣлалъ; что онъ рассказывалъ, такъ тутъ десятой доли всего нѣтъ. И вѣдь вотъ, подите-же, какая диковина: всѣ почти знаютъ,

сколько онъ своими открытiями добра сдѣлалъ и при этомъ всякій человѣкъ отъ него сторонится? Много ему доставалось, да все легко обходилось; ну, вотъ попомните мое слово, когда-нибудь его совсѣмъ прикончатъ!

Ситниковъ ничего не отвѣтилъ и, задумчиво склонивъ голову, шелъ за Лаврентiемъ Семеновичемъ. Уже почти смерклося, музыка кончилась, послѣднiй народъ расходился по домамъ. Навстрѣчу нашимъ собесѣдникамъ двое нетрезвыхъ босыхъ мастеровыхъ тащили подъ руки совершенно изнемогаго растерзаннаго товарища, — который старался отъ нихъ вырваться, брыкался ногами и хрипло, съ трудомъ ворочая слюнявыми губами, лепеталъ:

— Бр-ратцы!.. Р-р-ради самого Бога... Дозволяете... одинъ шкальчикъ... Сейчас помереть!.. Бр-ратцы!.. Никитка, чортъ!.. Для ради поправки...

— Иди, иди! — строгимъ, задыхающимся голосомъ говорилъ товарищъ. — Исправка!.. Состроилъ себѣ поправку, — ни спинняка, ни сапогъ нѣтъ!.. Иди, чортъ, не упирайся!..

— Бр-ратцы!..

— Ахъ, Максимка, Максимка! — съ сожалѣнiемъ, покачивая головой, вслѣдъ ему проговорилъ Лысовъ. Какой былъ чудесный парнишка и что теперь изъ него стало!

— Знаете его? — спросилъ Ситниковъ.

— Какъ же не знать? Вѣстуну-то, что къ намъ подходилъ, родной братъ. По слесарному дѣлу человѣку цѣна нѣтъ, а онъ, видите, каковъ...

Ситниковъ вздохнулъ.

— Я вамъ давеча про удавленниковъ-то говорилъ, — продолжалъ Лаврентiй Семеновичъ, — ну, вотъ возьмите его. Видите, въ какомъ онъ духѣ? Ежели за нимъ теперь товарищи не приглядятъ, такъ... житiя его было до вторника!

Ситниковъ грустно улыбнулся и покачалъ головой; — прошли нѣсколько шаговъ молча, народу стало еще меньше. На дорожкѣ вправо двѣ женщины, одѣтыя юрмилками, тормозили какой-то раскисшiй долгополый сюртукъ и въ перебой, сильными голосами говорили:

— Купецъ! Полно жадничать-то, — расшибись на дѣй парочки!.. Купецъ!.. Мы тебя вотъ какъ уважимъ...

— Ну, ужъ тутъ теперь мерзость начинается, — съ брезгливой гримасой, отворачиваясь отъ этой сцены, — сказалъ Лысовъ, — пойдете по протувару!

II.

Вся жизнь Гречушкина состояла изъ цѣлаго ряда разнѣтъ открытій съ воздаяніями и безъ воздаяній; такіа-бы возмездія ни приходилось переносить, онъ никогда не отступалъ отъ того образа дѣйствій, который ему указывало чувство. Онъ останавливался съ полнымъ вниманіемъ передъ такими явленіями жизни, передъ которыми десятки людей проходили мимо; какія-бы возмездія ему ни угрожали, — онъ никогда не ощущалъ страха въ своей, возмущавшейся всякой неправдой, душѣ; для него было немислимо сказать: „не мое дѣло“, какъ говорятъ многіе, озабоченные, главнымъ образомъ, цѣлостью „своей шкуры“. Подобно Донъ-Кихоту, Гречушкинъ глубоко, твердо вѣровалъ въ то, что на обязанности каждаго человека лежитъ преслѣдованіе зла, въ какой-бы формѣ оно ни проявлялось, а о томъ, останется ли онъ въ неприкосновенности или получитъ какія-нибудь поврежденія — онъ не думалъ, да и послѣ, когда либура оказывалась увязленной, онъ не ропталъ и на свое изъясненіе смотрѣлъ, какъ на неизбежное послѣдствіе сдѣланнаго; онъ былъ въ этомъ случаѣ похожъ на трубочиста, который, приступая къ своей работѣ, несомнѣнно убѣжденъ въ томъ, что ему чистому не уйти. Гречушкинъ такъ привыкъ къ возмездіямъ моральнымъ и физическимъ, что если оставался не тронутымъ, то испытывалъ такое ощущеніе, какъ будто ему что-то не доставало; онъ безмятежно оглядывался кругомъ и думалъ: „да скоро-ли, наконецъ, мнѣ влетитъ-то?..“

Глубоко проникнутый вѣрой въ свое призваніе, онъ считалъ непремѣннымъ долгомъ появляться тамъ, гдѣ находилъ свое вниманіе полезнымъ; встрѣтивъ, напримѣръ, сидящихъ на тротуарѣ мальчиковъ-ремесленниковъ, замученныхъ непосильною ношей, онъ останавливался и спрашивалъ:

— Далече-ли несете?

— На Щипокъ, — хриплыми, слезливыми голосами отвѣчали мальчики.

— У него живете?

— У мастера.

— Какъ по фамиліи?

— Ивановъ.

— Это у Трифона онъ живетъ?

— У Трифона.

— Тяжело?

— Страсть, дяданька, тяжело! Четвертый разъ отдыхаетъ, всѣ плечи перерывало!— говорили мальчики, поглаживая свои узкія, худыя плечики.

— Гречушкинъ приподнималъ корзину, наполненную металлическими издѣліями, и, покачавъ головой, обращался къ прохожимъ:

— Извольте обратить, господа, ваше вниманіе, какое варварство существуетъ у господъ мастеровъ! Въ корзину теперича вѣрныхъ пять пудовъ будетъ и вдругъ наприимѣръ... Тебѣ который годъ?—неожиданно обращался онъ къ одному изъ мальчиковъ.

— Двѣнадцатый,—обтирая рукавомъ носъ, отвѣчалъ чего-то испугавшійся и готовый заплакать мальчикъ.

— Вообразите, — продолжалъ Гречушкинъ, — на такого клопа, у котораго, съ позволенія сказать, въ чемъ душа держится,—и вдругъ такую тяжелину...

Прохожіе или сокрушались, молча качая головами, или громко возмущались жестокостью мастера, а Гречушкинъ, не взирая на вопли перепуганныхъ мальчиковъ, тащилъ вмѣстѣ съ ними въ участокъ корзину и добивался составленія протокола.

Наткнувшись на блюстителя порядка, который, для приведенія въ чувство потерявшаго всякое сознаніе пьянаго обывателя, съ ожесточеніемъ теръ ему своими закорючливыми ладонями виски,—Гречушкинъ распорядился доставленіемъ по начальству безчувственнаго потерпѣвшаго вмѣстѣ съ его истязателемъ и докладывалъ о случившемся, при чемъ обыкновенно происходилъ слѣдующій разговоръ:

— Тебѣ-то какое дѣло?—говорило Гречушкину начальство, желавшее выгородить своего подчиненнаго. — Пьяный этотъ тебѣ свать или братъ?

— Не свать и не братъ, а какъ собственно живое твореніе...—начиналъ Гречушкинъ.

— Тебѣ какое дѣло?—еще строже перебивало начальство. — Вѣдь не твои виски терли?

— Моихъ висковъ, ваше благородіе, — отвѣчалъ съ достоинствомъ Гречушкинъ,—тереть невозможно!—Первое, что я себя никогда не допускаю...

— А онъ допустилъ, стало-быть, ему такъ и слѣдуетъ.

— Нѣтъ, ваше благородіе, — съ саркастической улыбкой возражалъ Гречушкинъ, — это не полагается, чтобы увѣчить обывателя. Здѣсь, позвольте вамъ доложить, существуетъ столица... Какъ вамъ будетъ угодно, а только вы извольте своему чину взысканіе сдѣлать, потому его есть обязанность за всякимъ порядкомъ наблюдать, ну, ужъ никакъ не треніе!..

— Ну, хорошо, хорошо, — уходи! — говорило начальство, сверкая на него строгими очами и искоса взглядывая на вытянувшася у дверей обвиняемаго.

— Никакъ нѣтъ-съ, — уже съ клокотаньемъ въ горлѣ отвѣчалъ Гречушкинъ, — мнѣ уйтись невозможно, покада вы своего распоряженія не сдѣлаете. Мы сами тоже обыватели; намъ расчету нѣтъ... Всякій можетъ быть подверженъ... Этого самый безчувственный субъектъ, который у васъ на скамейку положенъ, ему слѣдуетъ внутрь напатырный спиртъ, а между прочимъ у нихъ оба уха до крови растерты!.. Какой-же опослѣ этого вашъ чинъ блюститель?..

Онъ не отставалъ до тѣхъ поръ, пока выведенное изъ всякаго терпѣнія начальство не дѣлало строгаго внушенія городовому или не распоряжалось подвергнуть его какому-нибудь наказанію; послѣ этого успокоенный Гречушкинъ уходилъ, причемъ обличенный городской злобно шипѣлъ ему вслѣдъ:

— погоди, попадесси! Я тебѣ докажу, что значить служащаго передъ начальствомъ конфузить!..

Многое множество подобныхъ дѣлъ было практиковано Гречушкинымъ и всегда съ болѣе или менѣе благоприятнымъ результатомъ; но это его не удовлетворяло, — ему хотѣлось чего-нибудь посерьезнѣй, покрупнѣй; благодаря такому капризному спросу природы, Гречушкинъ уже началъ было переставать ограничиваться тѣмъ, что ему попадало на глаза, и вздумалъ приняться за открытіе золъ тайныхъ; роль человѣка, карающаго видимые пороки, стала ему казаться ничтожною; вмѣсто благороднаго сознанія своего достоинства, какъ человѣка, дѣлающаго другимъ добро, въ его душѣ поселилось противное, назойливое чувство подозрительности.

Досадно ему было только на то, что онъ понапрасну себя тревожилъ и много времени потратилъ даромъ; можетъ быть, въ эту пору кругомъ него совершались такія дѣла, гдѣ можно-бы было ударить прямо въ прицѣлъ, безъ промаха, на пользу

другимъ; а онъ пустяками занимался,—высматривалъ, да вы-
сматривалъ то, чего, можетъ быть, вовсе и не существовало.

На новой квартирѣ онъ скучалъ не долго; аскорбъ по пе-
реѣздѣ ему выпалъ случай сдѣлать одно открытіе: сталъ онъ
замѣчать, что забираемые его женой и мальчикомъ въ мелоч-
ной лавочкѣ жизненные продукты, какъ будто получаютъ въ
меньшемъ противъ прежняго количествѣ; принесутъ, напри-
мѣръ, хлѣба ржаного шесть фунтовъ, свѣситъ онъ его на рукѣ
и покачаетъ головой.

— Что ты, Митричъ, головой-то качаешь?—спроситъ жена.

— Такъ, ничего,—задумчиво отвѣтитъ Гречушкинъ и за-
молчитъ. Самъ началъ ходить въ лавочку за провизіей, сталъ
присматриваться не обвѣшиваютъ-ли? Купить хлѣба, муки
ипшеничной для пирога да сахару три фунта; смотреть въ оба,
все было свѣшано съ большимъ походомъ, а дома на рукѣ
попробовать,—не вытягиваетъ!

— Что за притча?—подумалъ онъ про себя.—Неужели это
мнѣ только чудится? Ужъ не опять ли меня лукавый смущаетъ?
Нѣтъ, надо будетъ эту механику узнать вполнѣ!

Онъ купилъ для проверки цѣлый ржаной хлѣбъ, въ кото-
ромъ вытянуло шестнадцать фунтовъ; не заходя домой, отпра-
вился къ пріятелю-лавочнику, къ своему старому поставщику,
и попросилъ прикинуть купленный хлѣбъ на вѣсакъ,—вытянуло
меньше четырнадцати фунтовъ; сомнѣнія въ мошенническомъ
обвѣсѣ больше не было. Заклокотало въ немъ знакомое, ста-
рое, много разъ пережитое волненіе, но онъ сдержалъ порывъ
негодованія и сталъ дѣйствовать систематически. Съ недѣлю
ходилъ въ лавочку, зорко смотрѣлъ на вѣсовые чашки и въ
одинъ прекрасный день ему все стало ясно: когда вѣсы на-
ходились безъ употребленія, то всегда на той изъ чашекъ, на
которую клались отпускаемые продукты, стояло по гирѣ, на
большихъ десяти-фунтовая желѣзная, а на среднихъ трехъ-
фунтовая мѣдная, а на самыхъ маленькихъ, гдѣ вѣшалось на
золотники, былъ осыпанъ весь мелкій разновѣсъ. Улучивъ ми-
нуту, когда кудравый, румяный хозяинъ отвернулся зачѣмъ-то,
Гречушкинъ незамѣтно поднялъ гирьку съ среднихъ вѣсовъ.
чашка осталась почти въ прежнемъ положеніи; въ этотъ-же
день вечеромъ онъ тѣмъ-же способомъ проверилъ большіе
вѣсы,—оказалось то-же самое!.. Не смотря на сильное бѣшеніе
сердца, онъ опять такъ воздержался отъ обличенія, потому что

въ лавкѣ, кромѣ него, хозяина и мальчика, никого не было. а такое дѣло нужно было сдѣлать при свидѣтеляхъ.

Другой день пришлось наканунѣ большого праздника, оредное население обыкновенно съ вечера дѣлало необходимыя хозяйственныя закупки, лавочка въ той мѣстности была единственная, покупателями была вся окружная молкота, — этимъ и рѣшилъ воспользоваться Гречушкинъ. Цѣлый день онъ находился въ ажитаціи, — то всматривалъ съ своей снамейки и пилъ воду, то пѣлъ какія-то импровизаціи, то ни съ того, ни съ сего начинать шутить съ женой. Въ 6 часовъ онъ взялъ картузь, досталъ изъ пуватаго комода, подъ которымъ вмѣсто сломанной ножки лежало полѣвно, рублевую бумажку и, помолвившись передъ иконой, пошелъ къ двери; на порогѣ онъ остановился и сказалъ женѣ, сидѣвшей съ какимъ-то питьемъ у окна.

— Ты, Мама, лампаду-то не забудь затеплить: завтра вѣдь Петры-Павлы!

— Не забуду, — отвѣтила жена, перекусывая нитку. — Ты ко военнопленнымъ, чтѣ-ли? Рано еще...

— Кому рано, а намъ пора! — захлопывая дверь весело крикнулъ Гречушкинъ и запѣлъ: „звенить звонокъ и тройка мчится“... Въ калиткѣ онъ опять перекрестился и бодро, точно храбрый полководецъ, ведущій свои войска къ вѣрной побѣдѣ, зашагалъ по направленію къ лавочкѣ; заглянувъ въ нее, онъ увидалъ, что тамъ находятся только двѣ какія-то женскія шапачейки и прошелъ мимо, — женщинъ онъ считалъ недостойными такого дѣла. Сдѣлавъ небольшой крючокъ, вернулся обратно, — женщинъ въ лавочкѣ уже не было, а толклось нѣсколько мужчинъ.

— Пора! — сказалъ самъ себѣ Гречушкинъ, сильно шагнулъ черезъ порогъ и весело, снимая картузь, крикнулъ хлопавшему за отпускомъ товара кудрявому хозяину:

— Оедулъ Иванычу почтеніе!

— Желаю здравствовать, — отвѣтилъ хозяинъ, нагибаясь съ совкомъ надъ какимъ-то мѣшкомъ въ углу. — Обождите малость, сейчасъ васъ удовлетворимъ, только вотъ съ покупателями управляюсь.

— Ничего-съ, мы обождемъ, — отвѣтилъ Гречушкинъ и сейчасъ-же осмотрѣлъ всѣхъ, — гири стояли на чашкахъ, какъ и всегда. Гдѣ-то глубоко у него внутри ёкнуло. Двое изъ покупателей, босой черноглазый столяръ съ перепиленнымъ но-

сомъ, съ ремешкомъ на шаршавой головѣ и тощій бѣлокурый перчаточникъ съ масляной бутылкой въ рукахъ,—стояли подлѣ прилавка, дожидаясь своей очереди; Гречушкинъ сталъ подлѣ нихъ, облокотился на прилавокъ и съ замираніемъ сердца, будто шута, снялъ съ вѣсовъ обличительный пяти-фунтовикъ,—чашка чуть шевельнулась и осталась почти въ прежнемъ положеніи.

— Это чтó-же такое обозначаетъ?—тихо промолвилъ онъ, обращаясь къ столяру и перчаточнику.

— Вы про чтó?—спросилъ его, въ свою очередь, перчаточникъ, взглядывая на вѣсы и ничего не понимая.

— Видите, чашка-то?—пониживъ голосъ, чтобы не слыхалъ лавочникъ, говорилъ Гречушкинъ. — Чтó на ней гиря стояла, чтó безъ гири,—все одно!

— Ахъ, чтóбъ тебя!.. И то вѣдь!..—воскликнулъ перчаточникъ.

— Вотъ такъ чудесно!—хриплымъ голосомъ, широко раскрывая черные глаза, сказалъ столяръ.

— А мы сейчасъ къ хозяину отнесемъ, онъ намъ эту механику растолкуетъ!—ехидно улыбаясь, сказалъ Гречушкинъ и крикнулъ хозяину:

— Бѣдулъ Иванычъ, пожалуйста сюда!

— Сею минутою, — обтирая фартукомъ руки и заходя за прилавокъ, отвѣтилъ не подозрѣвавшій бѣды хозяинъ. — Чѣмъ служить могу?

— Да вотъ-съ, — пряча въ рукѣ предательскую гирьку, заговорилъ Гречушкинъ,—у насъ тутъ промежду себя маленькое недоумѣніе выходитъ на счетъ вѣсовъ...

У лавочника съ лица сбѣжала краска и дрогнули губы; столяръ впился въ него черными, мечущими искры, глазами, а бѣлокурый перчаточникъ почему-то весь осклабился.

— Чтó такое... собственно?—съ усиліемъ выговорилъ лавочникъ.

— Никакъ мы этого постигнуть не можемъ, — медленно, внушительно, взорадствуя надъ струсившимъ лавочникомъ, говорилъ Гречушкинъ,—почему такъ: вѣсы теперича пустые, а одна сторона перетянула? Вотъ эти самые господа покупатели такое мѣніе имѣютъ, что быдто-бы на вѣсахъ чашеамъ надоть быть вровень, а онѣ у васъ энъ какой походъ показываютъ?

Хозяинъ вздумалъ отшутиться:

— Ахъ, господа! Вотъ чудаки-то!.. Ахъ ты! Положите гирьку-то на мѣсто, не затерялась-бы какъ...

— Нѣтъ, братъ, ты эти фигуры оставь! — грозно вскинулся на него столяръ, сверкая еще пуще глазами и, сильно возвышая голосъ, уже не захрипѣлъ, а какъ-то завизжалъ.

Хозяинъ вдругъ перемѣнилъ тонъ и рѣшился круто повернуть въ другую сторону, — на угрозу отвѣтить угрозой:

— Вы это чего такое ко мнѣ лѣзете? Какіе вы есть народы, чтобы ко мнѣ съ подобными глупостями относиться? Намъ шутки шутить некогда, пришелъ покупать, получай товаръ и уходи!

Замѣтивъ, что эта выходка на мгновеніе озадачила протестовавшихъ покупателей, лавочникъ выпрямился, горделиво сдвинулъ на бокъ картузь и громкимъ развязнымъ тономъ крикнулъ къ появившемуся въ дверяхъ лавки новому покупателю, парнишкѣ съ замазаннымъ лицомъ и въ соломенной шляпѣ безъ полей:

— Чтѣ угодно-съ?

— Квасу на три копѣйки, да луку... — началъ было парнишка; но протестующіе покупатели въ эту минуту пришли въ себя и не дали ему договорить.

— Это вы отставьте! — неожиданно горячо заговорилъ, шепелявя и брызжа слюнями, перчаточникъ, моментально превращаясь изъ тихаго агнца во что-то хищное. — Насъ не напугаешь! Когда у тебя сейчасъ есть такая неправильная...

— Ваша обязанность заключается, — перебилъ его Гречушкинъ, обращаясь къ лавочнику, — чтобы себя оправдать передъ покупателями, ну, нисколько не орать...

— Мы, братъ, на тебя такъ заоремъ, — грозно хрипѣлъ столяръ, что ты присмирѣешь!

— Какое-же можетъ быть твое оранье? — спросилъ неизвестно для чего, вновь пришедшій въ замѣшательство лавочникъ.

— Не мое, — колотя себя въ грудь, взвизгнулъ столяръ, — а тутъ все жителство замѣшано! Ты, стало быть, сколько годовъ насъ всѣхъ обвѣшивалъ, да еще стращать хочешь!

Двое прохожихъ, услыхавъ шумъ, остановились на тротуарѣ противъ дверей лавочки и съ любопытствомъ смотрѣли, какъ пойманный Гречушкинымъ хозяинъ былъ такъ испуганъ натискомъ обманутыхъ имъ кліентовъ, что совершенно расте-

рялся, сдвинулъ на затылок съ вспотѣвшаго лба засаленный картузь и, прикладывая руки къ груди, безъ всякой связи бересталь подъ общій шумъ:

— Ну, однако, позвольте!.. Милостивый государь!.. Все дѣло суть самое пустое... двѣнадцатый годъ на одномъ мѣстѣ... и всегда могу доказать... Лучше-же тихо, скромно, благо-родно, ну, къ чему подобное многословство?.. Прохожіе, на-примѣръ... всякій слышитъ... двѣнадцатый годъ съ Духова дни... и вдругъ подобная мораль!..

— Я самъ шепотомъ подъ въ Смирновомъ домѣ живу, — пере-валиваясь черезъ прилавокъ, въ самое лицо лавочника кричалъ столяръ, — окромя тебя ни у кого не забираю, на всеѣ мастер-скую твою поставка шла, — ты за пять-то лѣтъ на какую сум-му нагрѣлъ? На какую?

— Господи!.. — безпомощно пересохшими губами пролепеталъ лавочникъ, возводя очи къ потолку.

Въ дверяхъ лавочки уже тѣснилось съ десятокъ покупателей и прохожихъ.

— А-а! Возмолвились Оедуль Ивановичъ? — съ улыбкой при-щурясь, взглянувъ на лавочника, сказалъ Грекушкинъ и не-томъ обратился къ столяру съ перчаточникомъ:

— Я смѣю такъ выразиться, что теперьча самое настоящее дѣло за правительствомъ послать, господина околотовскаго пригласить?

Хозяинъ съ безнадежнымъ отчаяніемъ что-то зашепталъ было, продолжая прикладывать руки къ груди, но его не было слышно за общимъ гуломъ, который прерывался звонкимъ фаль-цетомъ перчаточника. кричавшаго къ замазанному мальчишкѣ, который какъ пришелъ, такъ и остался съ вытаращенными глазами на порогъ:

— Эй ты, замазанное рыло, бѣги проворнѣй въ Смирновъ домъ, въ участокъ, обвѣсти надирателя, что, молъ, въ лавкѣ у Оедула Иванова происшествія на счетъ вѣсовъ!..

Парнишка продолжался сивозъ народъ, уже порядочной тол-пой стоявшій у дверей, гулко трактовавшій о совершившемся событіи и начинавшій постепенно наполнять лавочку. Или раз-спросы, на которые Грекушкинъ давалъ объясненія и демон-стрировалъ фальшивые вѣсы, на одной чашкѣ которыхъ, подъ вырѣзанной красивыми фестонами бумажкой, оказался крипа-тый свинецъ. Въ это время лавочникъ, принергнвъ къ углу

столяромъ и перчаточникомъ, съ связаннымъ дрожаніемъ въ голосѣ несвязно лепеталъ:

— Уважаемое мое господа... отиѣните эти глупости... За что я долженъ повиноваться?... Двѣнадцатый годъ на одномъ мѣстѣ... Господа!.. Отиѣните только, а я вамъ готовъ всякое уваженіе... рѣшительно все до самой малости за половинную цѣну... обязуюсь по гробъ жизни... Довольно хороша? Помилосердитесь!.. Супруга у меня теперь въ тишинахъ... — Онъ низко кланялся и даже пробовалъ опуститься на колѣни, но сзасточенные покупатели были далеки отъ милосердія, — они уже подѣвъ самого носа гибнущаго лавочника застылиривали замазанными руками, на перебой выкрикивали перодъ нимъ о его обманахъ и съ прибавленіемъ крѣпкихъ эпитетовъ считывали, на сколько — каждый бывъ обманутъ; неизвѣстно, до чего-бы могло дойти всеобщее озлобленіе, еслибы не раздалось съ улицы повелительное „разступитесь“. Все притихло; черезъ разступившуюся толпу въ сопровожденіи городового и замазавшаго парничка вошелъ въ лавочку молодой, херувимско-подобный околоточный въ новенькомъ мундирчикѣ и спросилъ:

— Въ чемъ собственно дѣло?

Со всѣхъ сторонъ на перебой посыпались объясненія, но околоточный, съ неподуей къ его юному лицу строгости, крикнулъ:

— Не всё вдругъ, говори кто-нибудь одинъ!

Этимъ однимъ оказался Гречушкинъ и обо всемъ толково рассказалъ околоточному; были осмотрѣны всѣ, при чемъ кромѣ свнца у большихъ мѣдныхъ оказался таковой-же, а у большихъ съ деревянными четырехъ-угольными площадками вѣсто чашекъ, подъ одной изъ нихъ, оказалось прибитымъ вѣское желѣзное кольцо. Околоточный взглянулъ на безмолвно стоявшаго лавочника, укоризненно покачалъ головой, удалилъ липный народъ на улицу, для сдерживанія котораго былъ поставленъ городовой, написалъ протоколъ, подъ которымъ первыми расписался Гречушкинъ, запечаталъ всѣ и пригласилъ идти за собой лавочника, который пошелъ съ такимъ угнетенно-покорнымъ видомъ, какъ будто онъ только-что выслушалъ смертный приговоръ. За нимъ пошло для чего-то нѣсколько человекъ изъ публики, между которыми шелъ и лавочный мальчикъ съ облупленными щеками; онъ заливался

горькими слезами, сморкался въ фартукъ и прерывающимся голосомъ твердилъ:

— За что-же меня-то?... Мое дѣло... мальчишка... Я у хозяина подѣ началомъ живу... За что-же меня-то?

Среди оставшейся подлѣ лавки толпы Гречушкинъ былъ настоящимъ триумфаторомъ; его благодарили за открытіе, жали руки и называли разными поощрительными именами; Гречушкинъ съ достоинствомъ принялъ всѣ благодарности и удалился; народъ-же не расходился, продолжая толковать о случившемся и восхваляя проницательность Гречушкина.

— Ахъ, какая умственная шельма! — съ восторгомъ хрипѣлъ столяръ, показывая на свой лобъ пальцемъ съ синимъ ногтемъ.

— Пять годовъ съ половиной я на эти вѣсы смотрѣлъ и ничего такого не имѣлъ въ своемъ воображеніи, а онъ, ананасъ, въ одну недѣлю все постигнулъ!

— Это именно обозначаетъ то, — подтвердилъ перчаточникъ, — что человекъ, значить, въ себѣ имѣетъ произвительный умъ!.. Мы всѣ на эти гири смотрѣли и никому не вдомекъ, а онъ...

— Это кто такой онъ-то? — спросилъ уже послѣ ухода Гречушкина подошедшій къ народу беззубый, шепелявый старичокъ въ богатырскомъ халатѣ, съ узелкомъ въ рукахъ и съ вѣшникомъ подѣ мышкой.

— Недавно къ намъ сюда переѣхалъ, — отвѣчалъ столяръ и обратился къ перчаточнику: — сапожникъ онъ, что-ли?

— Башмачникъ, Гречихинъ по фамилии, — отвѣтилъ тотъ.

— О-о! Знаю я его! — протянулъ старикъ. — Только вы ошибаетесь, не Гречихинъ, а Гречушкинымъ его зовутъ.

— Все одно, все та-же гречиха! — осклабясь съострилъ перчаточникъ. — Только она такая ядовитая зародилась!

— Да, ужъ именно, что ядовитая! — прошамкалъ старикъ съ вѣшникомъ. — Я давно его знаю... Ему и названіе существуетъ: „вредный членъ“.

— Чего? — не понимая послѣднихъ словъ, спросилъ столяръ.

— Вредный членъ, — разстановисто повторилъ старикъ.

— Это къ чему-же собственно?... — спросилъ перчаточникъ.

— Въ бумагѣ его такъ прописали, за дѣянія, потому какъ онъ купца одного ужъ очень произвелъ.

— Произведь?—дѣлая серьезное лицо,—переспросилъ старикъ.

— Да ужъ такъ-то произведь — съ улыбкой отвѣтилъ старикъ, — что тотъ чуть ума не рѣшился, потому вся механика у него лопнула...

— Какая механика?—спросилъ перчаточникъ.

— А вотъ ужъ этого не умѣю сказать; знаю только, что опослѣ того бумагу подавали... Онъ хорошъ-хорошъ, а вы все-таки его остерегайтесь, потому онъ въ себѣ чутье имѣетъ, сейчасъ разнохаетъ, какія блохи за кѣмъ водятся...

— Ви-и-дите-ли какая исторія!—нараспѣвъ протянулъ перчаточникъ.—Значитъ, на немъ ужъ и пакентъ наложенъ!

Старикъ съ вѣникомъ поплелся дальше, а оставшіеся еще нѣсколько времени потолковали о его сообщеніи; отдали еще разъ должную похвалу прозорливости Пречушкина, но въ умахъ своихъ порѣшили на будущее время остерегаться „вреднаго члена“.

III.

Лаврентій Семеновичъ возвращался домой отъ Сухаревой, куда онъ ходилъ каждое воскресенье болѣе по привычкѣ, нежели за какой-нибудь опредѣленной надобностью; большой ковровый сакъ-вожъ, набитый разной хозяйственной дрянью, оттянулъ ему руки, и Лаврентій Семеновичъ былъ очень радъ, когда дотащился до излюбленной своей скамейки Екатерининскаго парка. Онъ снялъ картузъ, вытеръ вспотѣвшій лобъ и, закуривъ свою зеленую регалию, раскланивался съ многочисленными знакомыми; нѣкоторымъ онъ кидалъ вопросы: „почемъ, Сеня, картошку-то бралъ?“ — „Распросталась у тебя невѣстка-то?“ — „Выпустили Петра Герасимова изъ титовъ-то, али еще досаживаетъ?“ и т. п. Отдохнувъ и удовлетворивъ въ достаточной мѣрѣ свое любопытство, онъ собрался уходить и уже взялся было за сакъ-вожъ, но въ это время къ скамейкѣ подошелъ новый прохожій, въ новомъ долгополомъ сюртукѣ и въ поношенной, выцвѣтшей ситцевой рубашкѣ, съ плохо-отмытымъ отъ сажи лицомъ!

— Лаврентію Семенычу почтеніе-съ!—сказалъ онъ, снимая картузъ.

— А-а! Калина Васильичъ! — обернувшись къ нему, протянулъ Лаврентій Семеновичъ. — Здравствуй, братъ!

— Съ праздникомъ васъ!

— Далече-ли идешь?.. Сядись-ка! — давая ему мѣсто на скамейкѣ, сказалъ Лаврентій Семеновичъ.

— Благодаримъ повторно, — отвѣтилъ тотъ, садясь. За получкой на Цатріархіе пруды иду-съ, работали мы тамъ на одного барина... Да только ужъ деньгами больно водить, — вотъ теперича пятую недѣлю каждый праздникъ къ нему хожу, двѣнадцать рублей, стало быть, за нимъ осталось.

— А въ нашу сторону-то ты какъ пошелъ? Тебе работаль гдѣ-нибудь?

— Нѣтъ-съ, сюда-то я по другому дѣлу, — признаться сказать, въ больницѣ былъ, своякъ у меня тамъ лежитъ...

— А-а!.. Что-же съ нимъ такое?

— Столяръ онъ у насъ, такъ руку себѣ какъ-то стамеской повредилъ, прикинулась она у него, стало быть, болѣть, день за днемъ, хуже да хуже... Наконецъ до того дошло, что всею руку разнесло, чисто какъ подушку...

— Ишь ты!.. покачай-головой, сказалъ Лаврентій Семеновичъ.

— Стрѣльба пошла, — продолжалъ его собесѣдникъ, — раны стали дѣлаться... Пошелъ къ лѣкарю, тотъ сказалъ, чтобы безпримѣнно въ больницу ложиться...

— Что-же съ нимъ? Операцию сдѣлали?

— Три пальца отхватили.

— Ахъ, ты!..

— Да-съ. Хорошо еще, что рука-то лѣвая, а ежели-бы, сохрани Богъ, на правой такая штука, — куда рабочему дѣваться? По міру идти?

— Одно дѣло! подтвердилъ Лаврентій Семеновичъ. — Что-жъ поправляется?

— Да теперича ничего-съ, день черезъ пять выйдетъ — отвѣтилъ тотъ, вставая. — Однако, позвольте вамъ засвидѣтельствовать, пора мнѣ.

— Прощай, другъ, — сказалъ Лаврентій Семеновичъ, протягивая ему руку. — Ты гдѣ живешь-то? Въ Луковомъ?

— Все на одномъ мѣстѣ-съ, безмѣнно!

Онъ раскланялся еще разъ, сдѣлавъ шаговъ пять, потомъ остановился и озапекнулъ тоже собирающагося уходить Лаврентія Семеновича.

— Лаврентій Семеновичъ!

— Что тебѣ?

— Забылъ вамъ сказать-съ, — возвращаясь къ Лаврентію Семеновичу, сказалъ тотъ; — вѣдь я знакомаго вашего въ больницѣ-то встрѣтилъ.

— Какого? — быстро спросилъ Лаврентій Семеновичъ, опускаясь на скамейку.

— Ивана Митрева, „вреднаго члена“.

— Да мо-ожетъ-ли быть? — съ удивленіемъ протянулъ Лаврентій Семеновичъ. — Что-жъ такое съ нимъ?

— Ошпарили.

— Въ банѣ, что-ли?

— Нѣтъ-съ, на улицѣ, — съ трудомъ сдерживая улыбку, отвѣтилъ тотъ.

— Да что ты, братецъ, городишь-то? — уже съ нѣкоторымъ раздраженіемъ воскликнулъ Лаврентій Семеновичъ. — Какъ такъ можно на улицѣ человека ошпарить?!..

— Да вѣдь его не кипяткомъ-съ, — успокоительно отвѣтилъ рассказчикъ, — его кислотой-съ...

— Какой кислотой? — еще съ большимъ удивленіемъ перебилъ Лаврентій Семеновичъ.

— А вотъ этой... Какъ она?.. Да вспомнилъ: купоросное масло!

— Ахъ ты, батюшки!.. Это кто-же его? Нечаянно, что-ли, какъ?

— Нѣтъ-съ, должно быть по злобѣ, а кто — неизвѣстно.

— Ай-ай-ай! — съ сокрушеннымъ видомъ, покачавъ головой, сказалъ Лаврентій Семеновичъ. — Вотъ тебѣ и вредный членъ! Догулялся!.. Ты его самого видѣлъ въ больницѣ-то?

— Какже не видать-то? Съ моимъ своякомъ онъ въ одной палатѣ лежитъ.

— Говорилъ ты съ нимъ?

— Не пришлось поговорить-то. спалъ онъ въ ту пору: даже разглядѣть путемъ его не могъ, потому, значить, весь онъ завязанъ, вся голова...

— Го-о-лова-а? — протянулъ Лаврентій Семеновичъ.

— Голова-съ. Своакъ-то говорилъ мнѣ, что вся личность у него попорчена и даже будто-бы доктора такъ рассуждали, что одному глазу пропасть надобно.

— Ахъ, бѣдняга этакой!.. Ай-ай-ай!.. — жалостно сморщившись и качая головой, произнесъ Лаврентій Семеновичъ. Жена-то теперь, чай, сама не своя!..

— Нѣту ее, жены-то съ, — куда-то къ роднымъ уѣхала, безъ нея все это случилось; съ однимъ парнишкой онъ оставался, — пришлось при мнѣ его провѣдывать.

— Кто?

— А паренекъ-то; сидитъ около койки и горькими-то слезами заливается. — плачетъ, такъ что даже чувствительно смотрѣть.

— Какъ не плакать! Доведись до большого, и тотъ...

— Я признаться, спросилъ его, мальчика-то, на кого, молъ, думаете? „На жуликовъ“, — говоритъ.

— На какихъ жуликовъ?

— Да, видите-ли, жилъ у нихъ въ домѣ какой-то народъ, — не то они скорняки, не то старьевщики считались, а на дѣлѣ вышли жулики, потому вдругъ ночью пришло начальство и всѣхъ ихъ забрали. Браденного, вишь ты, много у нихъ найдено было... Ну, такъ вотъ и есть такое мнѣніе, будто-бы, то-есть, эта жульническая шайка считала, что на нихъ былъ доносъ черезъ Гречушкина, ну, вотъ, стало бить, въ отместку ему и состроили.

— А, можетъ, и вправду онъ ихъ открылъ?

— Нѣтъ-съ, — отрицательно мотнувъ головой, увѣреннымъ тономъ сказалъ тотъ. — Я и самъ было, признаться, также подумалъ, — спросилъ парнишку-то; ну, тотъ говоритъ, что даже ни чуточки ничего не было, „мы“, говоритъ, „все время ихъ за скорняковъ считали“.

— Ахъ дѣла, дѣла! — сокрушенно, со вздохомъ промолвилъ Лаврентій Семеновичъ. — Надоть будетъ сходить, провѣдать его. Старый пріятель...

— Не поспѣете, пожалуй, Лаврентій Семеновичъ, — съ улыбкой перебилъ его печникъ. — Не застанете!

— Развѣ плохъ очень?.. — съ испугомъ, широко раскрывая глаза, спросилъ Лаврентій Семеновичъ.

— Нѣтъ-съ, — успокоительно замѣтилъ печникъ, — дѣло его на поправку пошло, а только-что, надо полагать, его отсюда выпишутъ.

— Какъ-же такъ выпишутъ, ежели онъ еще не вполне выздоровѣлъ?

— За характеры-съ, — очень ужъ исомъ надоѣтъ. Первое — сидѣлку звать на какомъ-то жушаньи, потомъ, стало быть, съ формальнымъ было у него срамосіе... Я, признаться сказать, не слишкомъ вникнулъ, какъ и что именно, а тобою, братъ-бы, сказано, чтобы его-то-есть поскорѣй подмазать и выписать.

— Бить, поди-жь ты, какой безпокойный духъ въ себѣ человекъ имѣтъ; — его, напротивъ, такія манеры сконфузилъ, чуть жизни не рѣшился, а между прочимъ все въ свою дудку продолжаетъ!

— Да-съ; именно что такая его неугомонная природа-съ... Однако, позвольте вамъ засвидѣтельствовать, — время бѣжать.

— Прощай, другъ, дай Богъ счастливо.

— Благодаримъ!

Оба разошлись въ разные стороны.

Недѣлю спустя, у воротъ большого дома, наполненного маленькими жильцами, стоялъ Гречушкинъ, окруженный кучкой мѣстныхъ обитателей; лѣвый глазъ у него былъ завязанъ, щека красная, и часть бороды отсутствовала; онъ горячо, съ екзотаниемъ въ горлѣ, рассказывалъ о томъ, какія злоупотребленія ему пришлось обнаружить въ больницѣ. Когда онъ кончилъ, кто-то изъ слушателей съ усмѣшкой сказалъ:

— Вотъ те и кривой! Зрячіе ничего не замѣчаютъ, а кривой все разсмотрѣлъ!

— Не сумлѣвайся, братъ, — подмигивая удѣлѣвшимся глазомъ, отвѣтилъ Гречушкинъ, — хучь совсѣмъ ослѣпну, и то не бѣда, чутьемъ услышу, гдѣ неправда живетъ!.. Надобно, чтобы у человека душа была прямая, а глазъ кривой ничего не обозначаетъ...

— Богъ шельму мѣтитъ! — ни къ селу, ни къ городу замѣтилъ одинъ слушатель, изрядно выпившій и, видимо, принадлежавшій къ антагонистамъ Гречушкина.

III. — Бо-огъ? — протянулъ Гречушкинъ. — Можетъ статься, твоя правда есть, что шельмы Богомъ отмѣченны, ну, меня, справедливаго человека, не Богъ отмѣтилъ, а злой ненавистникъ, дуракъ и невѣжа, — не плоше тебя! Кабы у тебя было

такое понятіе, какое мнѣ отъ Господа дадено, ты-бы стыдился подобныхъ глупыхъ словъ!.. Уйти отъ васъ отъ грѣха.

Онъ съ сердцемъ повернулся и среди общаго молчанія ушелъ домой.

— Съѣлъ?—сказалъ кто-то пьяному антагонисту.

Антагонистъ долго смотрѣлъ на него осоловѣлыми глазами, пошевелилъ было губами съ намѣреніемъ что-то сказать, потомъ плюнулъ себѣ на подбородокъ и зигзагами пошелъ черезъ дорогу въ заведеніе съ двухцвѣтной вывѣской.

М. Садовскій.

Старый закалъ.

Драма въ пяти дѣйствіяхъ.

Дѣйствующія лица:

Воржесъ Андреевичъ Ватунинъ-Верещенъ—довольно крупный чиновникъ, лѣтъ 60-ти, бывшій помѣщикъ.

Вѣра Борисовна

Людмила Борисовна } его дѣти.

Илья Ворисовичъ

Пульхерія Алексѣевна Воротина—его свояченица, лѣтъ 50, помѣщица.

Филиппъ Игнатьевичъ Врыжгинъ—очень представительный и вездѣ принятый господинъ, лѣтъ 50-ти.

Гравъ Валеріанъ Николаевичъ Вѣлоборскій—гвардіи штабъ-ротмистръ, лѣтъ подъ 30.

Василій Сергѣевичъ Олтинъ—полковникъ, батальонный командиръ на лѣвомъ флангѣ Кавказской линіи, лѣтъ подъ 50.

Иванъ Густавовичъ Вриотъ—подполковникъ, командиръ артиллерійской части, расположенной въ той-же крѣпости, гдѣ батальонъ Олтина, и состоящій при его отрядѣ, лѣтъ 45.

Анастасій Анастасевичъ Глушановъ—капитанъ, командиръ 1-й гренадерской роты въ батальонѣ Олтина, лѣтъ 50.

Дарья Кировна—его жена, лѣтъ подъ 49.

Эшеръ Андреевичъ Коржель—поручикъ

Семенъ Петровичъ Чарускій—поручикъ

Алексѣй Микроновичъ Вотяковъ—шт.-кап.

} офицеры, ротн. командиры
того-же батальона.

Перервенко—есаулъ, командиръ казачьяго отряда въ крѣпости.

Эразмъ Эрастовичъ Брауншвейге—гѣваръ при батальонѣ, ничего нѣмцаго, кромѣ фамиліи; лѣтъ 35.

Осра Васильевна—его жена, красная дама, лѣтъ 30-ти.

Князь Захарій Ревазовичъ Гадаевъ—молодой драгунскій офицеръ, состоящій при князѣ Барятинскомъ, грузинъ, съ едва замѣтнымъ акцентомъ.

Иванъ Ивановичъ Ульинъ—прапорщикъ, субалтернъ-офицеръ въ батальонѣ Олтина.

Адъютантъ князя Барятинскаго.

Настя—горничная, крѣпостная Вѣры Борисовны.

Даша—деревенская горничная Воротиной.

Захаровъ—денщикъ Олтина.

Жыгалкинъ—денщикъ Бриста.

Онуфриевъ—старшій унтеръ-офицеръ 2-й роты.

Архиповъ—старый солдатъ.

Офицеры, солдаты.

Дѣйствіе происходитъ въ началѣ 50-хъ годовъ, до Крымской кампаніи. I-е дѣйствіе—у Батурина-Вертищева въ Петербургѣ. II-е, III-е и IV-е—въ крѣпости на лѣвомъ флангѣ Кавказской линіи, расположенной на берегу рѣки, которая отдѣляетъ замкнутую отъ немирной Чечни, въ предгорьяхъ. V-е дѣйствіе въ горахъ, недалеко отъ крѣпости. Между I и II дѣйствіями проходитъ два года, II-е и III-е—происходятъ въ одинъ день, IV-е—на слѣдующій день, V-е—черезъ день.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Небольшая уютная гостиная въ домѣ Батурина-Вертищева въ Петербургѣ. Обстановка и мебель 40-хъ годовъ. Дверь слѣва на 2-мъ планѣ—въ комнаты Вѣры и Людмилы. Въ глубинѣ, слѣва же небольшая арка, въ которую видна другая, большая гостиная. Изъ гостиной выходы направо, въ задъ и переднюю, направо—въ кабинетъ Бориса Андреевича. Справа на первомъ планѣ—дверь въ комнату Ильи Борисовича. Слева на первомъ планѣ коверъ и три кресла вокругъ небольшого стола. Справа, въ глубинѣ, уголокъ отдѣленъ отъ арки трельяжемъ или ширмой, за ней угловымъ диваномъ и столомъ, окруженнымъ красивыми, покойными креслами. Стѣны въ картинахъ. Ивасины жирондели, цвѣты. Слева за козеткой рабочій столикъ. Около 3-хъ часовъ мартовскаго или апрѣльскаго петербургскаго дня.

ЯВЛЕНІЕ I.

ВѢРА (выходитъ изъ своей комнаты). НАСТЯНЬКА (изъ гостиной).

ВѢРА. Кто у папа?

НАСТЯ. Филиппъ Игнатьевичъ. (Вѣра хочетъ уходить обратно). Да вотъ и они сюда идутъ.

Вѣра съ утомленнымъ, холоднымъ видомъ выходитъ къ козеткѣ и беретъ вышиванье.

Настя уходитъ. Изъ гостиной входитъ Филиппъ Игнатьевичъ.

БРЫЗГИНЪ (кланяясь). *Mademoiselle, votre papa m'a donné la permission d'avoir l'honneur de vous saluer.*

ВѢРА (указывая кресло). *Je vous prie.*

БРЫЗГИНЪ. *Merçi (сидясь).* Вчера былъ одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ вечеровъ, на которыхъ не скучаютъ. Надо признаться, эти названья вносятъ большую оживленность въ нашъ скучный сезонъ. Я замѣтилъ, вы съ интересомъ слушали рассказы неуклюжаго помковника Олтина.

ВѢРА. Я не нахожу его неумнымъ.

Брызгинъ (*жмётъ носъ*). Востисленные рассказы о подвигахъ, приваться, могутъ скоро надоесть. Тутъ одна рота отражаетъ живши полчища, тамъ батальонъ, теряя половину, беретъ неприступныя горы, переноситъ не только пушки, но чутъ не лошадей на рукахъ черезъ пропасти... Но все это въ болыпой модѣ, какъ и весь Кавказъ. Говорятъ, нашъ полковникъ представлялся Государю и былъ весьма милостиво имъ облаванъ.

Взр. Полковникъ Олтинъ рассказывалъ мнѣ. Онъ бываеъ у насъ довольно часто.

Брызгинъ. Я давно замѣтилъ, что кавказецъ вытѣснилъ воѣхъ изъ горизонта вашихъ взглядовъ. Хотѣ-бы онъ уѣхалъ поскорѣе къ себѣ въ горы. По ближайшемъ разсмотрѣнн герои въ моихъ глазахъ почти что каннибалы.

Взр. За что всѣ эти громы и молніи? Олтинъ очень честный, очень порядочный человекъ. Я слушаю съ удовольствіемъ его простые рассказы. Меня интересуютъ вся ихъ жизнь, опасная, суровая...

Брызгинъ. И, кромѣ того, — онъ герой дня. Помните. Такое лестное письмо къ князю-министру отъ самого главнокомандующаго: «пошлю вамъ храбраго подполковника» Олтина. Раменый въ этомъ чудесномъ дѣлѣ, онъ предсказалъ всѣ объясненія, если благоугодно... Mais, c'est, мы воемъ постоянно. Если, каждый день посылать къ намъ подполковниковъ и производить ихъ въ полковники въ 24 часа, у насъ останутся одни полковники. Петербургъ переживеъ наводненіе полковниками. Ну, вотъ вы и разсмѣялись. Qui rit, est deçavé.

Взр. Вы очень злы... злы и умны... Это васъ извиняетъ.

Брызгинъ. Я не злюсь, я ревнивь, я не умею, я безумецъ. Когда жеъ голымъ вашимъ полковникомъ кто-нибудь одинъ оказывается вашимъ внимательнымъ взглядомъ... О, bon Dieu! я теряю рассудокъ отъ ревности...

Взр. Безъ всякаго права.

Брызгинъ (*поднявшись къ ней*). Дайте мнѣ это право ревновать васъ. Дайте мнѣ это блаженство и муку. Пожалѣйте меня. Je vous aime! (*Опускается на колѣни*).

Взр. (*остаеъ*). Нѣтъ. Благодарю васъ. (*Уходитъ. Въ аркт. потемнѣе графъ Блловорскій въ мардейскаго мундиръ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Блловорскій. Ваша карта бита?

Брызгинъ (*поднявшись съ колѣни*). Здравствуйте, графъ. Въ пятьдесятъ лѣтъ эти карты всегда бьются. (*Потирая носъ*). Графъ, или женитесь въ-время, или не пытайтесь жениться.

Блловорскій. Слушаю-сь. (*Садится*).

Брызгинъ (*послѣ легкой паузы*). Графъ, васъ совершенно бесполезно просить молчать о томъ, что вы видите. Вы не лишите себя удовольствія рассказывать, какъ на вашихъ глазахъ старый Филиппъ въ арбузъ, поднесенный вамъ кузиной.

Бѣловорскій. Вы такъ безпощадно колотите меня тузами и двойками, что мнѣ нуженъ реваншъ... въ чемъ-нибудь. Но успокойтесь, я рассказывать не буду. Мнѣ не улыбается идея упоминать рядомъ съ вашимъ именемъ имя Вѣры Борисовны. Это плохо звучитъ.

Брызгинъ. *Comte, vous etes insupportable.* Но спасибо за скромность. Будете у меня сегодня? Перекинемся.

Бѣловорскій (*беретъ ея за руку и внимательно разсматриваетъ пальцы*). Нѣтъ.

Брызгинъ. Знаете, графъ, вы невозможны. До свиданія. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ III.

Бѣловорскій (*усмѣхнувшись*). Счастливая привычка получать пощетины, расправляя бабенбарды... Мила дѣвочка! заведомому шулеру позволяеть дѣлать предложеніе. Илья! (*Изъ своей комнаты выходитъ Илья Борисовичъ. Лицо помятое. Обиій тонъ большого щеголя*). Илья, что это Брызгинъ къ вамъ повадился?

Илья. Дружба съ папа. Подозрѣваю любовь къ Вѣрѣ.

Бѣловорскій. Ты предупреди отца: Брызгинъ шулеръ. Объ этомъ вездѣ толкуютъ. Вѣроятно, его скоро вышлютъ. Ну, стойтъ еще о немъ говорить. Слышалъ новость?

Илья (*скупаящимъ тономъ*). Ахъ, Валерьянъ, никакая новость меня не развлечетъ...

Бѣловорскій. Да я не имѣю намѣренія тебя развлекать.

Илья (*продолжая*). У насъ какой-то желтый домъ. Папа хандритъ, сидитъ въ кабинетѣ и требуетъ, чтобы его не волновали. Il me semble, что онъ старѣетъ. Вѣра, по обыкновенію, мечтаетъ сорокъ восемь часовъ въ сутки. Людмила зла, скучаетъ и никому не даетъ покою. Кругомъ заимодавцы, денегъ нѣтъ. Выписали «черноземную тегушеу» на подмогу, — пятьсотъ душъ, каретныя важи, говорятъ, набиты ассигнаціями, но скупа, какъ чортъ. Притащила съ собой на козлахъ босоногую дѣву и кличетъ ее въ гостиную каждую минуту. Мы все терпимъ. Еще тутъ эта армейщина Олтинъ зачастилъ. Кажется, тоже врѣзался въ Вѣру. Однимъ словомъ, въ цѣломъ домѣ я одинъ похожъ на человѣка. Хоть-бы удрать куда-нибудь.

Бѣловорскій. Поѣдемъ со мной на Кавказъ.

Илья. А развѣ вашъ полкъ выступаетъ?

Бѣловорскій. Нѣтъ, я одинъ выступаю и не совсѣмъ по доброй волѣ.

Илья. А! Понимаю... Тоже должныи... т. е. заимодавцы... то-есть... Чортъ. Я вездѣ напутанъ! Заимодавецъ это если я у него, а должныи, если онъ у меня... Ну, это невозможно... это такъ трудно...

Бѣловорскій. Нѣтъ, не то. Разжаловали изъ гвардіи.

Илья. Tiens! За что?

Бѣловорскій (*махнувъ рукой*). За все вмѣстѣ. Да я, ей-Богу, радъ...

Илья. Это весьма строго. За что-же собственно?

Бѣловорскій. Надоѣлъ мнѣ Мерякинъ, знаешь, бывший откупщикъ, а теперь другъ и пріятель Брызгина.

Илья. Знаю.

Бѣловорскій. Пріѣзжаетъ ко мнѣ на Каменный островъ, а у меня сидятъ Семенъ, Бабаринъ и Лидія Сергѣевна.

Илья. Reste! Жену засталъ? Что-жъ, развѣ это ему впервой?

Бѣловорскій. Ужъ я не знаю впервой-ли, только Лидія Сергѣевна сочла нужнымъ лишиться чувствъ, а онъ на нее какъ звѣрь... Я на него старался подѣйствовать мѣрами кротости—ничего не вышло... Семенъ и говоритъ: «давайте его на кордъ гонять, пока не утомонится». Сказано—сдѣлано. Позвали кучеровъ. Лидія Сергѣевна пришла въ себя и только покрививаетъ: «быстрѣй, быстрѣй!»...

Илья. Ah! C'est ravissant!

Бѣловорскій. Я сейчасъ отъ генерала. Ужъ онъ меня пудрилъ, пудрилъ. Все припомнилъ: и панихиду за живого командира, и цыганское дѣло, и дуэли... Весь старый соръ. Въ сорокъ восемь часовъ велѣно быть за заставой и безъ остановки ѣхать до Ставрополя.

Илья. Разжаловали?

Бѣловорскій. Перевали тѣмъ-же чиномъ въ армію, на Кавказскую линію.

Илья (*безтолково машетъ руками*). Ah! quelle nouvelle! Это... это...

Бѣловорскій. Такъ вотъ, если хочешь, поѣдемъ вмѣстѣ. Что тебѣ тутъ полы натирать?..

Илья. Сколько верстъ?

Бѣловорскій. Тысячи двѣ съ половиной.

Илья. Все въ коляскѣ?

Бѣловорскій. Ну, нѣтъ, гдѣ на перекладныхъ, гдѣ веркомъ.

Илья. Это утомительно. Потому, что я тамъ буду дѣлать? Тамъ совсѣмъ нѣтъ цивилизаціи, dans ces maudites montagnes. Тамъ постоянно стрѣляютъ, лѣзутъ на горы, чеченцы гикаютъ, а этого не вынесу. Ты послушай, что Олтинъ рассказываетъ.

Бѣловорскій. Олтинъ будетъ у васъ сегодня?

Илья. Не знаю. Представь, спать на голой землѣ, недѣлями подъ дождемъ, огня развести нельзя, климатъ суровый, однимъ словомъ—горный. Въ походахъ сухари размочать и этимъ поддерживаютъ существованіе. (*Входитъ Вѣра*).

ЯВЛЕНІЕ IV.

Илья. Вѣра, кузена ссылаютъ.

Вѣра. Что?..

Илья. Разжаловали и ссылаютъ на Кавказъ. C'est touchant. Надо сообщить папа (*уходитъ*).

Вѣра. Что случилось?

Бѣловорскій (*цѣлуя ея руку*). Илья сейчасъ выслушаетъ мои признанія. Повторять скучно и не совсѣмъ удобно. Припомнили всѣ

жон... неосторожности, прикралась къ пустыкамъ и сочин за благо убрать меня изъ Петербурга.

ВѢРА. Значить... вы уѣзжаете?

БѢЛОВОРСКІЙ. Послѣ завтра.

ВѢРА (не зная что сказать). На Кавказъ?

БѢЛОВОРСКІЙ. Да.

ВѢРА. На... на долго?

БѢЛОВОРСКІЙ (пожимая плечами). Кто же знаетъ? Признаться, меня это мало волнуетъ. Я даже радъ.

ВѢРА. Да?

БѢЛОВОРСКІЙ. Скука вдѣсь убьетъ вѣрнѣе и скорѣе, чѣмъ какой-нибудь джигитъ или ябрекъ.

ВѢРА (садится, сжавъ руками голову). Вы могли бы мнѣ этого не говорить. Я это вижу давно.

БѢЛОВОРСКІЙ. Оставивъ меня. Брызгинъ осчастливилъ васъ предложеніемъ? Новая побѣда, съ которой, впрочемъ, я васъ не поздравляю, кузина.

ВѢРА. Я этихъ побѣдъ не ищу и въ нихъ не виновата. Вы это хорошо знаете. Оставьте этотъ притворный тонъ и не мучайте меня. Вамъ все равно—приняла ли бы я чье-нибудь предложеніе или нѣтъ.

БѢЛОВОРСКІЙ. Въ свѣтѣ васъ выдаютъ за Олгина. Ибо въ онъ шансы?

ВѢРА. Валерьяны!

БѢЛОВОРСКІЙ. Какъ жаль, что въ 48 часовъ не уладится этотъ счастливый бракъ, а черезъ 48 часовъ я долженъ быть за вѣнцомъ одинъ или съ фельдгегеремъ. Мнѣ бы очень пріятно было держать вѣнецъ надъ вашей прелестной головой и думать въ это время о... женщинахъ вообще и о васъ въ особенности.

ВѢРА (нерешительно встаетъ). Что же вы можете думать обо мнѣ? Какъ я была глупа, когда ждала отъ васъ чего-нибудь, кромѣ забавной игры моихъ сердцемъ?

БѢЛОВОРСКІЙ. Я самъ отъ себя ничего не жду и не рекомендую это дѣлать другимъ... ВѢРА. Въ эту минуту и злость и на себя... и на васъ. Чѣмъ больше я виновата въ томъ, что чистую вредность вашей... дружбы я постоянно мѣняла на вашъ привычный мужской разгулъ, чѣмъ сильнѣе я къ нему привязана, тѣмъ я злѣе на все... Я уѣзжаю. Вы выйдете замужъ... У меня отнимутъ мое, мое...

ВѢРА. Чего вы сами не хотите брать...

БѢЛОВОРСКІЙ. А еще меньше хочу уступать другому. Я привыкъ встрѣчать этотъ взглядъ, слышать этотъ голосъ...

ВѢРА. И мѣнять все это постоянно на ваши холостыя привычки?

БѢЛОВОРСКІЙ. Пускай. Я отъ своихъ пороковъ не отпирюсь, я ихъ знаю и достаточно презираю себя за нихъ, но... все это нильнѣ меня. Только надо, чтобы вы были близко... чтобы я зналъ...

ВѢРА. Валерьяны... (Съ трудомъ начинаетъ). Мы разстанемся надолго, можетъ быть... навсѣ... значить, все надо сказать и будь, что будетъ. То, что во мнѣ, слишкомъ сильно и слишкомъ чисто, чтобы стыдиться высказать... Наше дальнее родство позволяло намъ

чаще видѣться, чѣмъ это принято, сблизило насъ, и въ тѣ минуты, когда вы были около меня, я уже не судила васъ, не спрашивала себя, за что... я такъ при... привязалась къ вамъ... Мнѣ было чудно, несравненно хорошо и я прощала вамъ все горе, которое мнѣ приносили всѣ слухи о вашей жизни, тамъ... гдѣ-то... въ чужомъ мнѣ... мужскомъ водномъ кругу... Я не требовала ничего, я старалась только угадывать ваши желанія, ваше... я покорно отдала вамъ сердце навсегда. Вся ваша воля надо мной. Велите мнѣ — и я буду ждать. Велите — и я пойду за вами, какъ ваша жена, какъ ваша... раба.

БѢЛОВАРСКІЙ (*тронутый, начинаетъ взволнованно, потомъ незаметно переходитъ въ обычный нѣсколько холодный тонъ*). Много надо силы, чтобы не кинуться сейчасъ къ вашимъ ногамъ за эти слова, за этотъ ангельскій взглядъ... Еще больше, чтобы не сказать вамъ: будьте моей женой, (*Вѣра встаетъ*) Женой!.. женой!.. Вѣра! Вѣра! Это невозможно!.. Пойдите. Нарисуйте себѣ картину: я со старостой кладу на биркахъ и считаю копы, скирды, четверди, оброки... Рядомъ вы, но уже не вы — дряхлая, блѣдная, блестящая... какъ сейчасъ, а другая: по-полнѣе, по-краснѣе, по-глубѣе... (*съ шипящей*) во главѣ престола. Я представляю себѣ его многочисленнымъ и пышнымъ. Псовая охота... Наливки, соленья, варенья... Сосѣди, именны. Кабинетъ съ арапникомъ. Дѣтская. Тетушка моя, тетюшка ваша, набожецъ, такъ называемая «моя жада» — это сличкомъ. (*Встаетъ*).

ВѢРА (*поблѣднѣвъ, какъ мертвая*). Вы правы, графъ. Это сличкомъ.

ЯВЛЕНІЕ V.

ПУЛЬХЕРІЯ АЛЕКСѢЕВНА (*ведетъ за собою полковника Олтина въ полной парадной формѣ*).

ПУЛЬХЕРІЯ АЛЕКСѢЕВНА. Угадайте, кто пріѣхалъ?

Олтинъ. Честь имѣю кланяться. Ваше здоровье, Вѣра Борисовна? Здравствуйтесь, графъ. (*Графъ нѣсколько высокомерно отвѣщаетъ поклономъ*).

ВѢРА. Очень рада васъ видѣть, полковникъ. Зачѣмъ такой парадъ?

Олтинъ. Явился откланяться, Вѣра Борисовна.

ПУЛЬХЕРІЯ АЛЕКСѢЕВНА. Неужели уѣзжаете? Ахъ ты, Господи, я было собралась вмѣстѣ. Вѣдь и вы на Рязань? Я бы васъ въ каретѣ довезла, чѣмъ вамъ на перекладныхъ трястись.

Олтинъ (*совершенно серьезно*). Очень вамъ благодаренъ, Пульхерія Алексѣевна. Пока вы изволите до Рязани доѣхать, мнѣ ужъ до Моздокъ добраться надобно.

ВѢРА. Прошу васъ. (*Все садится*).

ПУЛЬХЕРІЯ АЛЕКСѢЕВНА. Это гдѣ же? Все на Кавказъ? Пятидесятъ лѣтъ ужъ вы тамъ ждете. Падонки бы, ай-Богу. Если и поверите, гдѣ вы для такихъ головорѣзовъ исправниковъ наберете? А безъ исправниковъ и у насъ бунтуютъ, не то, что у басурмановъ.

Олтинъ. Это ужъ не наше дѣло. Намъ разсуждать не полагается, а народъ дѣйствительно непокойный. Лѣтъ 10 назадъ мы по всей Чечнѣ, и большой, и малой, какъ по Невскому ходили. А стояло Шамилю появиться—точно дружбы и не бывало. Разбойники народъ.

Пульхерія Алексѣевна. Слышу я все Шамиль, да Шамиль. Мнѣ и объяснили такъ, что онъ изъ нашихъ же офицеровъ, принялъ ихъ законъ и бунтуетъ теперь. Какъ его... и фамилію мнѣ называли... Ну вотъ, онъ еще книжки все писалъ... Лейтенантъ Черноморь... нѣтъ, постоите, не то. Да, Лейтенантъ Бѣлозеръ. Вотъ какъ. И все онъ свою фамилію мѣнялъ... Какъ его, Боже мой!

Вѣра. Мардинскій.

Бѣловорскій. Бестужевъ.

Пульхерія Алексѣевна. Ну, вотъ, вотъ. Онъ и есть.

Олтинъ (*озабоченный*). Въ первый разъ слышу. Шамиль—настоящій горецъ, да еще духовное лицо. Имамъ, по-ихнему. Онъ у нихъ вродѣ султана.

Пульхерія Алексѣевна. Поди-жъ ты, чего люди не на-скажутъ. Вѣдь дойди этакій слухъ до матушки Бестужева, легко сказать. Каково бы было старушкѣ! Вотъ и пріятно повидать тамошняго, все знаетъ. А скажите...

Олтинъ. Вѣрѣ Борисовнѣ, я думаю, надоѣло.

Вѣра. Нѣтъ, полковникъ, я васъ люблю слушать. Послѣ вашихъ разсказовъ меня такъ и тянетъ самой поглядѣть на эти чудеса.

Олтинъ (*встрепенувшись*). Въ самомъ дѣлѣ?

Пульхерія Алексѣевна. Вотъ это ужъ благодарю васъ. Благодарственная дѣвица станетъ развѣзжать по ихнимъ буеракамъ!

Олтинъ. Почему же, Пульхерія Алексѣевна? У насъ на линіи не только въ городахъ или штабъ - квартирахъ, а и въ крѣпостяхъ дамы живутъ, прямо скажу вамъ, прелестныя дамы. У насъ много офицеровъ женатыхъ. Мы и балы задаемъ. Фортепьяны выписаны у многихъ командировъ. Пикники, кавалькады, военные праздники, благородные спектакли устраиваемъ, много книгъ получаемъ... и не скучно у насъ, Вѣра Борисовна. Не слушайте тетеньку... Конечно (*съ стороны графа*), съ гвардіей намъ, сърымъ армейцамъ, не тягаться, но и наши полковые кавалеры не изъ послѣднихъ. Умѣютъ цѣнить красоту и изящество дамъ, которыя не брезгаютъ жить въ нашихъ захолустьяхъ.

Пульхерія Алексѣевна. Какъ поетъ-то, какъ напѣваетъ, разбойники!

Олтинъ (*сконфуженный*). Я безъ задней мысли, Пульхерія Алексѣевна, ей-Богу, одну правду говорю, безо всякихъ фигуръ. (*Бѣлоборскому*) Слышалъ я, графъ, и вы къ намъ?

Бѣловорскій. Такъ точно-съ.

Олтинъ. И не расцветесь. (*Входитъ Людмила подъ руку съ Ильей. Мужчины кланяются. Она отъпачетъ поклономъ, цѣлуетъ тетку и садится къ сестрѣ. Илья, поздоровавшись съ полковникомъ и сдѣлавъ учтивый поклонъ теткѣ, хочетъ исчезнуть*).

Пульхерія Алексеевна. Илюша, что-жъ ты, голубчикъ, хоть поцѣловаль-бы тетку. *(Тотъ цѣлуетъ)*. Подай-ка мнѣ, голубчикъ, вонъ на столѣ мотокъ шерсти *(подаетъ)*. Сядь сюда, ангелочекъ мой. *(Указываетъ ему на скамеечку у ногъ, нагибается на руки шерсти и начинаетъ наматывать клубокъ)*. Прямыѣ держи, пострѣленоку!

Илья. Elle me prend pour un bébé.

Людмила. Сейчасъ братъ мнѣ говорилъ о предложеніи графа ѣхать на Кавказъ. Скажите, пожалуйста, полковникъ, драгоцѣнной жизни вашей тамъ грозитъ большая опасность?

Илья. C'est drôle! Я вовсе не боюсь за жизнь, я боюсь, что на войнѣ нѣтъ комфорта, который необходимъ просвѣщенному челаеку.

Людмила. Успокойте просвѣщеннаго челаека, полковникъ.

Олтинъ. Въ дѣйствующемъ отрядѣ, Людмила Борисовна, дѣйствительно просвѣщенному челоуѣку, какъ Илья Борисовичъ, придется круто.

Людмила. Не понимаю. Вѣдь вы такіе же люди, какъ и онъ; вѣдь вамъ тяжело приходилось?

Пульхерія Алексеевна. Гдѣ же такіе? Что ты на ребенка нападаешь, Люд? Гляди-ка, онъ полковнику подѣ мышку подойдетъ.

Олтинъ. Все привычка, Людмила Борисовна, я вамъ искренно скажу: по вашимъ бальнымъ заламъ куда ходить тяжелѣе, чѣмъ по ковымъ дорожкамъ. И ужъ, кажется, чеченецъ или левгинъ не помилуетъ, а какъ я тутъ его сіятельству князю Чернышеву объясненія представлялъ по приказанію главнокомандующаго — такъ, ей-Богу, въ первый разъ въ жизни ноги дрожали. Куда страшнѣе, чѣмъ съ Шамилемъ встрѣтиться. Тамъ я ужъ знаю, что мнѣ надо дѣлать, чего слушаться, что командовать. А здѣсь разбери-ка. Одно слово — и погибъ. Куда страшнѣе-съ: на все привычка-съ.

Вѣра. А вы любите вашъ Кавказъ?

Олтинъ. Сроднились, Вѣра Борисовна. Много тамъ нашей крови пролито, много товарищей полегло. Ни одного шага впередъ безъ русскихъ костей не сдѣлано. Мы съ братомъ съ покойнымъ туда молоденькими офицерами прямо изъ корпуса прибыли въ девятнадцатомъ году. Догнали мы полкъ въ походѣ въ Дагестанѣ: самъ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ его велъ. Явились по начальству. Майоръ Швецовъ, — царство ему небесное, — тогда вторымъ батальономъ кабардинцевъ командовалъ. Дѣло поздно вечеромъ было. Отрапортовали: честь имѣю явиться... ну, и прочее. Мундирчики-то новенькіе, съ иголочки — въ оврагѣ передъ самымъ лагеремъ переодѣлись. Тотъ на насъ поглядѣлъ и говоритъ: «хорошо. Быть готовыми въ полночи. Налѣво кругомъ маршъ.» Изготовились. Сердца у обонхъ такъ и стучать — ужъ отчего и не разберу: отъ страха ли, отъ нетерпѣнія ли...

Пульхерія Алексеевна. Конечно, отъ страха. Легко ли!

Олтинъ *(умбается)*. Можетъ быть: дѣло молодое, непривычное. Послѣ полночи тронулись. Шли часа три. Свѣтать стало. Кругомъ какъ въ рай. Съ горъ ароматнымъ вѣтеркомъ понесло, снѣга порозовѣли, а ниже по горнымъ сватамъ сады, рощи, посѣвы зеленѣютъ, стада... Мы по ущелью шли, глядимъ, надъ нами на отвѣсной кручѣ

ауль. Тихо: должно, стража задремала. Слышимъ команду шепотомъ: «лежись!» Поползли вверхъ. Нога въмъ-то камень въ-пручу повалился, услышали и пошло сверху: «ги! ги! Агга!» Затрещали выстрѣлы. Мы тутъ—«ура». На ноги, кинулись карабаться на кручу. Сначала жутко было, какъ ползли, а спустились бѣгомъ; ни о чемъ не думаешь, только бы дорваться до какого-нибудь живого человѣка, съ вѣмъ бы схватиться грудью... (Илья вырываетъ мотокъ; Пульхерія Алексѣевна не замѣчаетъ этого; общее вниманіе.) И не отъ кровосажденности это, а тяжесть всего то, что стрѣлять-то они стрѣляютъ, а мы ихъ не видимъ.

Пульхерія Алексѣевна: Ну, скажите, пожалуйста...

Олтинъ. Володя, братишка мой, рядомъ бѣжать, а на него мѣнять да и оглянуться, цѣль ли, и все, знаете, стараюсь впередъ его забѣжать, чтобы хоть маленько прикрыть. А онъ, должно быть, съ той же мыслью меня обѣжать желаетъ. И ребятами, и въ корпусъ были мы какъ два друга. Вотъ ужъ къ самой, значить, вершинѣ подбѣжали — глядь: Володя нѣтъ. Мысль пришла, да долго думать-то въ бою некогда. Наскочилъ я на какого-то уздею, размахнуться я не успѣлъ, какъ онъ меня окрестилъ. (Показываетъ на ирамъ ноперкъ лба). Очнулся я, должно быть, дней черезъ пять въ лазаретъ. Спрашиваю у доктора: «гдѣ прапорщикъ Владиміръ Олтинъ?» А онъ мнѣ и отвѣчаетъ: «у Господа Бога». Такъ я его и не видалъ. (Оправало) Такъ какъ же мнѣ такого края не любить, Вѣра Борисовна? (Общее молчаніе).

Пульхерія Алексѣевна (совершенно расплакавшись). Вотъ тебѣ и война... Дѣвка! Дашка, подай платокъ.

Илья (быстро). Вотъ вашъ платокъ...

Пульхерія Алексѣевна. Спасибо, Ильяша.

Людмила. Илья, ты всю шерсть тетѣ спуталъ. Дайте я расправлю.

Пульхерія Алексѣевна (сморкаясь и отирая глаза). Расправь, душа. А то я со слезъ ничего не вижу. Вотъ ангельская душенька-то: истинно у Господа Бога.

Бзловорскій. Я почти радъ своему переводу, такъ много я слышалъ о вашей лихой жизни, полковникъ.

Олтинъ. Да что жъ, не скучно. Конечно, порою и тамъ не сладко, особенно зимой или въ знойное лѣто, коли попадешь куда въ стойнку съ батальономъ. Ни почты, ни дѣла, ни общества! Стоишь, да изрѣдка для развлечения въ сѣрое облачко пострѣливаешь. Недавно одинъ поручикъ нашего батальона, Корневъ по фамиліи, стоялъ съ рѣтой въ крѣпости. Стоялъ, стоялъ, да и застоялся. Ну, палить. Послали подмогу, знаемъ, что съ нимъ всего-то человѣкъ со сто, да одна пушка. Прибѣжали на мѣсто—никакого непріятеля нѣтъ. Что случилось? — Ничего, говоритъ, просто хотѣлъ справиться, какъ здоровье Анны Ивановны. Онъ былъ влюбленъ въ одну нашу даму, да и началъ салютовать съ тоски. Ну, ему такую Анну Ивановну задали, что онъ, я думаю, вѣкъ не забудетъ.

Людмила. Вотъ бы, cousin, васъ съ этимъ офицеромъ въ одинъ полкъ. Какъ бы весело проводили время!—Такъ бы и жили подъ арестомъ.

Бзловорскій. А если васъ еще къ намъ въ маркитантки...

Людмила. Нашелъ чѣмъ пугать. Да я бы съ радостью. Большая радость въ нашемъ Петербургѣ съ этими франтами (*указываетъ на брата*) или съ такими стариками, какъ cousin, — цѣдять севозъ зубы, никогда не улыбнутся. Скользятъ какъ кошки. Только шпорами брякъ, брякъ... И лица такіа невинныя, точно и воды не замутятъ, точно никогда откупщика на кордѣ не гоняли...

Пульхерія Алексѣевна. Это что же откупщикъ — лошадь, что ли такъ называется?

Людмила. Спросите у графа, какая это лошадь. Это изъ его конюшни.

Олтинъ (*тихо графу*). Васъ за это?

Бзловорскій. Да, и за это.

Людмила. О чемъ у нихъ нѣ спросишь. Oui, mademoiselle, non, mademoiselle! C'est ravissant!.. О, какая скука!

Пульхерія Алексѣевна. Разбирай, разбирай, вотъ и за-сидишься въ дѣвкахъ.

Илья (*давно выражавшій негодование*). Людмила, на что это похоже, ради Создателя. Вѣдь ты же та tante только въ искушеніе вводишь. Что это за матримоніальныя бесѣды?

Людмила (*бразня брата*). Матримоніальныя бесѣды... Ужъ лучше ты со мной не разговаривай, Илья... отъ тебя сливки киснутъ.

Олтинъ (*внезапно громко*). Огонь... (*Нѣсколько сконфузясь*). Виновать, mesdames, Людмила Борисовна, виновать, въ восторгъ меня привели. Я такъ тутъ усталъ себя на привязи держать... прорвало... простите, будьте великодушны. Прорвало!

Людмила. Ахъ, полковникъ, я такъ рада. У васъ такой звучный голосъ. Я это ужасно люблю. Наши вѣдь всѣ въ полголоса да въ подушки. (*Беретъ брата за руку*) Ну, чему тутъ прорваться, скажите мнѣ, пожалуйста. Что въ немъ есть? Будъ онъ у васъ въ полку, кто бы онъ былъ? Кашеваръ.

Илья (*визливо*). Оставьте меня въ покоѣ. Прошу васъ оставьте меня въ покоѣ. Что это за манера!

Олтинъ (*раскатисто хохочетъ*). Илья Борисовичъ... извините меня... Ил... Ха-ха-ха... Илья Борис... Кашеваръ... Ха-ха-ха...

Илья (*разсерженный уходитъ*). Графъ, deux mots. (*Бзловорскій уходитъ*).

Олтинъ (*оправясь отъ смѣха*). Позвольте, Вѣра Борисовна, откланяться вашему батюшкѣ.

Вѣра. Пожалуйста, онъ у себя въ кабинетѣ.

Пульхерія Алексѣевна. Я васъ, голубчикъ, провожу. (*Уводя ея*). А не знавали ли вы тамъ Петра Онуфріевича Игнатьева?

Олтинъ. А онъ въ какомъ полку?

Пульхерія Алексѣевна. Въ вашемъ же, батюшка, въ горномъ.

Олтинъ. Такого полка нѣтъ, Пульхерія Алексѣевна (*уходитъ*)

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Людмила. Вѣра, скажи мнѣ, отчего ты не выходишь замужъ?

Вѣра. Что это за новое школьничество?

Людмила. Говорять, неприлично младшей сестрѣ выходить замужъ раньше старшей. Что жъ дѣлать младшей сестрѣ, когда старшую не сдвинешь съ мѣста?

Вѣра. Не обращать вниманія на старшую и выходить.

Людмила. Легко сказать. Разберемъ наше положеніе, какъ говорить Илья, когда дѣлаетъ страшныя усилія казаться умнымъ. Мы съ тобой барышни, прекрасно воспитаны, недурны, но намъ не повезло.

Вѣра. Какъ это глупо!

Людмила. Совершенно вѣрно. Это ужасно глупо, но я не виновата. Папа спитъ и видитъ во снѣ, какъ мы своими прелестями покоряемъ владѣтельныхъ принцевъ. Принцы приносятъ къ нашимъ ногамъ владѣнія. Но принца нѣтъ, владѣній — тоже. Я жду годъ — нѣтъ, два — нѣтъ, пять — нѣтъ. Я начинаю увядать. Я уступаю принца другимъ. Я прошу себя чего-нибудь поменьше. Мнѣ надоѣло съ очаровательной улыбкой показывать на балахъ изъ-подъ тарлатана мои полнѣющія плечи.

Вѣра. Люда, оставь меня въ покоѣ! Я люблю тебя слушать, но теперь...

Людмила. Тарлатанъ! Тарлатанъ! О, еслибы кто зналъ, какъ я ненавижу этотъ тарлатанъ! Какъ мнѣ надоѣлъ нашъ невинный тарлатанъ! Знаешь, когда я вхожу рядомъ съ тобой въ какой-нибудь освѣщенный залъ и мы направо и налево мило киваемъ головками, мнѣ такъ и кажется, что всѣ кругомъ думаютъ: «Слава Богу, опять наши тарлатаны пришли!» Умру — и то въ тарлатанѣ погребутъ! Вѣрочка! Выходи замужъ! Все-таки однимъ тарлатаномъ будетъ меньше. *(Вѣра, опустивъ голову на руки, плачетъ)*. Что съ тобой? Этого я у тебя никогда не видала.

Вѣра. И не увидишь больше.

Людмила. Что-же съ тобою?

Вѣра. Сегодня я похоронила свои послѣднія надежды, самыя дорогія свои мечты. Я умерла сегодня, Люда.

Людмила. Послушай, Вѣра, я знаю, про что ты говоришь. Неужели у тебя это было такъ сильно?

Вѣра. Сильно? *(Усмѣнувшись)*. Я ничего не знала, не видѣла, ничѣмъ не жила больше. Понимаешь! Ничѣмъ... Быть его женой, его рабой, его собакой — чѣмъ онъ хочетъ, только-бы хоть изрѣдка видѣть его, чувствовать на себѣ его взглядъ... Иногда мнѣ казалось... *(встаетъ)*. Ну, что казалось, ужъ больше не кажется. Мечты кончились... Кончились!.. Ихъ мнѣ жалъ больше всего. Ахъ, какъ онѣ мнѣ были дороги, Люда! Въ нихъ была вся моя жизнь, пойми, пойми, вся моя жизнь... И она ушла вмѣстѣ съ ними навсегда, навсегда!..

Людмила. Вѣра, милая, брось, забудь...

Вѣра. Брошу, Людочка... Забыть трудно, а брошу. Не нужно ничѣмъ сожалѣній... даже его. Этого удовольствія я ему не доставлю.

Мнѣ иногда кажется, что я... сумасшедшая. Для меня онъ не одинъ, а точно двойной. Одинъ тотъ, кого я любила, люблю и не разлюблю никогда, о комъ я думала въ мои безсонныя ночи, кто былъ моимъ царемъ, моимъ богомъ... И другой—этотъ стальной человѣкъ, безъ сердца, безъ любви!.. (*Мозаи ходитъ*). Знаешь, я чувствую совершенно ясно, что кто-то больно, больно жметъ мнѣ сердце, точно холодными клещами... Ай!

Людмила. Вѣра!

Вѣра. Прошло... все прошло. (*Входитъ Бѣлоборскій, натягивая перчатки*).

ЯВЛЕНІЕ IX.

Бѣлоборскій. Je reviendrai demain pour prendre congé!.. Мнѣ жаль... серьезно жаль расставаться съ вами, кузины. Изъ всего Петербурга только съ вами.

Вѣра (*шутливо*). За то вы вернетесь къ намъ героемъ, спасителемъ отечества, героемъ, можетъ быть, немножко хромымъ, немножко ревматичнымъ, но, Богъ дастъ, живымъ, и остепенившимся.

Людмила (*тихо Вѣрѣ*). Научи меня, какъ это ты дѣлаешь?

Бѣлоборскій (*несколько удивленно ее слушающий*). И это все, что вы дарите мнѣ на прощанье?

Вѣра (*ирая удивленную*). Но, cher comte, не могу-же я вамъ пѣть романсы про погибельный Кавказъ. Я проводила-бы васъ со слезами, но я не умѣю плакать. Мы, петербуржанки, славимся этимъ. Странно было-бы ожидать отъ насъ чего-нибудь другого.

Бѣлоборскій. Гм... (*Поживъ плечами*). Мнѣ казалось...

Вѣра. Мало-ли что кажется, графъ. Не вѣрьте никому, ничему, а намъ въ особенности.

Бѣлоборскій. Слушаю-съ. Кузина Люда, до свиданія.

Людмила. Cousin! Я согласна плакать за Вѣру и за себя. Я вамъ буду посылать каждый день листъ почтовой бумаги безъ словъ, но съ моими слезами. Боже мой, для седьмой воды на кисель—право, я много дѣлаю. (*Протягивая руку*). Хотите поцѣловать?

Бѣлоборскій (*цѣлуя ея руку, Вѣрѣ*). Завтра я буду еще...

Вѣра. Завтра я ѣду покупать цѣлый ворохъ подарковъ моимъ московскимъ кузинамъ. Тети уѣзжаетъ, надо снѣшить. Мы простимся сейчасъ. Долгіе проводы—лишнія слезы.

Бѣлоборскій. Но вѣдь у васъ ихъ нѣтъ.

Вѣра. Меня можетъ увлечь примѣръ Люды.

Людмила. Я чувствую, у меня уже подступаютъ рыданія. Прощайте, милый cousin. Бѣгу рыдать въ подушку. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ X.

Бѣлоборскій. Вѣра, что съ вами?

Вѣра (*самымъ непринужденнымъ тономъ*). Что?

Бѣлоборскій. Мнѣ-бы хотѣлось видѣть другое... Что-нибудь другое, только искреннее. Пусть это будутъ упреки, я ихъ заслужилъ,

ненависть, злоба... но не эта странная комедія. Вы не могли пережить въ полчаса.

ВЪРА. Иногда въ полчаса сѣдѣють, графъ. Я не посѣдѣла, кажется, но правда, я перемѣнилась. И не въ полчаса, а давно, постепенно. Когда на сердце падаетъ цѣлый рядъ незамѣтныхъ льдинокъ, постепенно и безпощадно, то, наконецъ, довольно одной минуты, одной неожиданности, въ родѣ вашей картины семейнаго счастья, чтобы окружить его ледяной корой. Помните? Соленья... потомство... *C'était bien drôle, cette dernière goutte...* Вы мнѣ открыли глаза—я увидѣла въ будущемъ того, кого любила въ прошломъ, ужаснулась, опомнилась и...

Бѣловорскій. Разлюбили?

ВЪРА. Если когда-нибудь любила. Мы, дѣвушки, очень романтически. Остатокъ ребячества. Настоящая любовь, можетъ быть, выдержала-бы это суровое испытаніе, а моя пансіонская страсть не вынесла перваго заслуженнаго урока. У васъ нѣтъ ни моего портрета, ни моихъ волосъ, ни моихъ писемъ...

Бѣловорскій. У меня было больше...

ВЪРА. Мнѣ нечего требовать отъ васъ, кромѣ одного.

Бѣловорскій. Чего?

ВЪРА (*серьезно*). Дайте мнѣ ваше честное слово, никогда, ни въ игривомъ настроеніи, съ вашими друзьями, ни въ разговорахъ съ другою женщиной... которую вы полюбите... словомъ, никогда, ни съ кѣмъ не смѣяться надъ моею... правда, смѣшной любовью...

Бѣловорскій. Вѣра, какъ вы можете...

ВЪРА (*истерично*). Нѣтъ, вы меня не поняли... Я знаю, я увѣрена въ вашей... порядочности, въ томъ, что имени моего вы не назовете. Я прошу васъ дать мнѣ слово никогда не вспоминать съ кѣмъ-бы то ни было объ этой самой ничтожной изъ вашихъ побѣдъ.

Бѣловорскій. Прежде чѣмъ дать это слово, мнѣ нужно сказать вамъ...

ВЪРА. Ничего не нужно. Сказано все. Дайте мнѣ слово.

Бѣловорскій. Вѣра...

ВЪРА. Дайте мнѣ честное слово.

Бѣловорскій (*опустивъ голову, подумавъ, протягиваетъ ей руку*). Честное слово.

ВЪРА. Благодарю васъ. Прощайте. (*Онъ цѣлуетъ ея руку. Она хочетъ поцѣловать его въ голову, но удерживается и долгимъ взглядомъ окидываетъ его склоненную голову*).

Бѣловорскій. Прощайте. (*Идетъ къ аркѣ, идѣ встрѣчается съ полковникомъ Олѣинымъ и Борисомъ Андреевичемъ. Кламается имъ и уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ XI.

Борисъ Андреевичъ. (*Необычайно важенъ, но сквозь эту важность проявляетъ какое-то волненіе и неуверенность*). Vera, mon enfant, est tu seul?

ВѢРА. Оуі, рара.

БОРИСЪ АНДРЕЕВИЧЪ. Полковникъ Олтинъ... мой дорогой Василій Сергѣевичъ... онъ хочетъ поговорить съ тобою объ очень важномъ дѣлѣ... Сообщи мнѣ свое рѣшеніе... Я поступлю, какъ ты хочешь... какъ хочешь, дорогая моя дочурка... какъ хочешь... (*Уходитъ. Олтинъ, крайне смущенный, весь дрожитъ. ВѢРА очень покойна.*)

ЯВЛЕНІЕ XII.

Олтинъ. ВѢРА Борисовна...

ВѢРА (*совершенно покойна, очень любезно, холодно смотря ему въ глаза*). Что прикажете?

Олтинъ (*забылъ, что хотѣлъ сказать, и молча смотритъ на ВѢРУ. Молчаніе. Большая пауза*). Не могу. Вся жизнь... Что жизнь!.. О жизни я никогда не заботился... а все... (*ВѢРА молчитъ. Полковникъ окончательно теряется*). Я... обожаю... васъ, ВѢРА Борисовна. (*Весь дрожа, становится на колѣни, опустивъ голову*).

ВѢРА (*не сводя съ него глазъ, нѣкоторое время молчитъ*). Встаньте, Василій Сергѣевичъ, и садьте сюда. (*Садится. Онъ встаетъ, но не садится*). Василій Сергѣевичъ, сказать вамъ, что я цѣню ваше предложеніе—мало! я горжусь имъ. (*Онъ хватается за голову*). Но выслушайте и поймите меня: той любви, которую въ правѣ требовать мужъ, я вамъ дать не могу.

Олтинъ. Требовать? Чего я смѣю требовать, ВѢРА Борисовна! Молиться на васъ, служить вамъ... вотъ все, чего я хочу. Беречь васъ ото всякихъ бѣдъ... грудью за васъ... постоять... и молиться, молиться на васъ.

ВѢРА (*нѣсколько холодно*). ВѢРЮ. Но, согласитесь, я не мраморная богиня, которая безмолвно принимала-бы жертвы и молитвы. Я живая. Чѣмъ я отвѣчу на ваше глубокое, сильное чувство?

Олтинъ. Если я заслужу не любовь вашу, а только... хоть иногда... какую-нибудь ласку... Вѣдь мы, солдаты, цѣнимъ ласку... мы за спасибо жизнь отдадимъ. Мы народъ не балованный, и ужъ если кто насъ пригрѣетъ теплымъ словомъ... ВѢРА Борисовна, умоляю васъ, освѣтите меня. Будьте моимъ ангеломъ-хранителемъ... Дайте мнѣ это счастье... безмѣрное счастье.

ВѢРА. Я согласна.

Олтинъ (*весь дрогнулъ*). Ну... вотъ... Господи, Господи!

ВѢРА. Я буду вамъ вѣрной женой. Я буду молиться, чтобы Богъ послалъ мнѣ полюбить васъ, какъ вы этого стоите, и сдѣлать васъ счастливымъ, какъ могу.

Олтинъ (*весь дрожа, припадаетъ къ ея рукамъ. Она целуетъ его голову*). Богиня моя! (*Входитъ Илья*).

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Илья. Tiens!..

Олтинъ. Илья Борисовичъ, голубчикъ вы мой... ВѢРА Борисовна...

Илья. Папа. (*Входитъ Борисъ Андреевичъ*).

Олтинъ. Борисъ Андреевичъ.

Борисъ Андреевичъ. Вижу... вижу... Другъ мой, ради Бога, не волнуй меня. Я не вынесу... Еліе, прикажи, мой другъ, подать шампанскаго... и все, что слѣдуетъ. Ну, благослови васъ Богъ!

Пульхерія Алексѣевна (*изъ кабинета*). Ужъ я знала... Говорила тебѣ, не бойся... Хорошій будетъ мужъ... хорошій. А ты знай, дослужись до генерала — привози мнѣ ее показать, молодую генеральшу привезешь, я ужъ тебѣ все имѣніе сдамъ.

Илья (*вернувшись*). А теперь, старая карга, ничего не дастъ.

Олтинъ. Ничего мнѣ, кромѣ этого ангела, не надо.

Пульхерія Алексѣевна. А ужъ какое я ей приданое смастерю, только руками разведешь!.. Милая, вся въ сестру покойницу... Дашка!..

Илья (*навстрѣчу сунувшейся Дашкѣ*). Пошла вонъ! Пошла вонъ! (*Выталкиваетъ ее. Вбѣгаетъ Людмила*).

Людмила. Неужели правда? Вѣра, голубочка моя... (*цѣлуетъ ее, почти плача. Полковнику*). Впрочемъ, еслибы она вамъ отказала, я бы за васъ вышла съ большимъ удовольствіемъ. (*Цѣлуетъ его*).

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ II-е.

Сцена представляетъ открытую площадку передъ крѣпостью въ сѣверномъ Дагестанѣ. Площадка эта—плоская крыша сакли, находящейся уступомъ ниже укрѣпленія. Слѣва вмѣсто кулисъ боковая стѣна крѣпости съ амбразурами и рѣшетчатыми окнами, выстроенной изъ дикаго камня большихъ размѣровъ. Въ дальнемъ углу крѣпости круглая высокая башня. Двѣ двери. Въ глубинѣ, во всю длину сцены—зубчатый парапетъ съ двумя пушками по угламъ, обращенными жерлами въ глубину. Изъ-за парапета выглядываютъ верхушки деревьевъ, растущихъ ниже. Правая часть сцены тоже обнесена парапетомъ, изъ-за котораго выростають верхи чинаръ (пирамидальныхъ тополей) во всю вышину сцены. Глубина за парапетомъ представляетъ зарѣчный видъ. Почти во всю ширину задней занавѣсп—горы, заканчивающіяся снѣговыми вершинами и цѣлыми сѣверными склонами, покрытыми вѣчнымъ снѣгомъ ниже снѣговой линіи. Ниже сѣрые, прихотливо-разбросанные каменистые уступы, скалы, ущелья, кое-гдѣ на южныхъ склонахъ и среди камней—яркія зеленныя пастбища, посѣвы, сады. Въ горахъ разбросаны аулы, то почти сливающіеся цвѣтомъ съ сѣрыми громадами, то рѣзко выдѣляющіеся своей грудой среди зелени. Потоки кое-гдѣ прорѣзываютъ кручи почти вертикальными линіями, кое-гдѣ бѣгутъ по дну ущелій. — На сценѣ слѣва нѣсколько стульевъ, креселъ, столъ. Стѣна крѣпости покрыта вьющимся виноградомъ. Входъ справа, снизу, между деревьями. Слѣва, изъ-за крѣпости солнце ярко освѣщаетъ верхушки чинаръ и правую часть сцены, оставляя лѣвую въ легкой тѣни. Два года послѣ лѣтѣ перваго дѣйствія. Май мѣсяцъ. Около 3-хъ часовъ дня.

ЯВЛЕНИЕ I.

ЗАХАРОВЪ расположился на паранетъ и оттачиваетъ шашку полковника. Жигалкинъ развязно входитъ справа и подходитъ къ Захарову. Онуфриевъ осторожно выглядываетъ справа.

ЖИГАЛКИНЪ. Начальство спитъ?

ЗАХАРОВЪ. Почиваетъ.

ЖИГАЛКИНЪ (Онуфриеву). Ходи на майданъ. (Тотъ выходитъ) Вотъ, значить, обстоятельство. Надо бумагу писать.

ЗАХАРОВЪ. Могимъ. По какимъ дѣламъ?

Онуфриевъ. Отъ первой гренадерской роты насчетъ провіанту.

ЗАХАРОВЪ. Куда?

Онуфриевъ. Во вторую женатую роту.

ЗАХАРОВЪ. Помѣщиками живутъ. У кого же и просить?

Онуфриевъ (сосредоточенно). И какъ ихъ, чертей, не вздуеть! И свинки, и огороды, и всякое добро. Лежи на печи съ бабой, ѣшь до отвалу.

ЗАХАРОВЪ (Онуфриеву). Бумага есть?

Онуфриевъ (вытаскивая изъ-за обилами бумагу, чистое перо и пузырекъ съ чернилами). Есть. (Вытаскивая пробку зубами) Завтра окая въ штабъ-квартиру мимо поселенія. По дорогѣ и завезутъ,

ЗАХАРОВЪ (очинивъ перо шашкой). Чего просите? Первое?

Онуфриевъ. Значить, сала семь пудовъ.

ЗАХАРОВЪ. Засимъ?

Онуфриевъ. Крупы пудовъ, скажемъ, шестьдесятъ.

ЗАХАРОВЪ. Болѣе ничего?

Онуфриевъ. Холста на подвѣтки сто аршиновъ. Да не дадутъ. (Захаровъ присаживается на паранетъ, собираясь писать на коленяхъ). Вы такъ начните, Захаръ Ивановичъ, что, молъ, посылаемъ вамъ двухъ коней, чтобы, значить, обрадовались. Отъ немирнаго табуна наши молодцы отбили.

ЖИГАЛКИНЪ (слѣжка подсвистывая). Знаемъ, какой немирной табунъ. У кунаковъ спроворили...

Онуфриевъ. Тавреные, Захаръ Ивановичъ, — немирные кони. Хошь у казаковъ спросите...

ЖИГАЛКИНЪ. Водилъ коршунъ лису свидѣтелемъ, какимъ былъ для куръ радѣтелемъ. (Свиститъ слѣжка).

ЗАХАРОВЪ. Попадешься, свистунъ, я тѣ уважу. (Макаетъ перо въ пузырекъ, задумывается и начинаетъ писать... Входитъ Настенька. Захаровъ подозрительно поглядываетъ на нее, пока идетъ слѣдующая сцена. Онуфриевъ съ благоговѣніемъ держитъ пузырекъ обѣими руками и не дышитъ).

НАСТЕНЬКА (Жигалкину). Вы опять подсвистываете? А барыня слышать?

ЖИГАЛКИНЪ. Наплевать.

НАСТЕНЬКА. Какъ же вы это смѣете?

Жигалкинъ. Смѣлымъ Богъ владѣть, Настасья Герасимовна. Можетъ, ночью погуляемъ, посидимъ да поболтаемъ? Когда барыня уснутъ? а? Настасья Герасимовна?

Настенька. Нѣтъ, ужъ довольно. Отъ глупостей этихъ ничего хорошаго не будетъ. Слыхали, Захаръ Ивановичъ! Барыня приказала къ вечеру себѣ и барышнѣ лошадей сѣдлатъ.

Захаровъ. Въ какое направленіе, не слыхали? За рѣку не поѣдутъ?

Настенька. Кто-жъ ихъ знаетъ!

Захаровъ (*Онуфриеву*). Отъ полковника такой приказъ, чтобъ съ глазъ не спущать. Опасно.

Онуфриевъ. Человѣкъ двадцать пять разсыплю по дорогѣ, за кустами. Написали?

Захаровъ. Сейчасъ. (*Продолжаетъ. выводитъ съ большимъ трудомъ*).

Настенька (*уходя въ домъ мимо Жигалкина*). Адью, мусью.

Жигалкинъ (*глядя вслѣдъ ей, изо всей силы швыряетъ шапку о землю, сплевываетъ въ сторону и подходитъ къ Захарову и Онуфриеву*). Пишете? Ну, пишите.

Захаровъ. Готово. (*Читаетъ*) «Милостивая государыня, вторая женатая рота. При семь имѣемъ честь препроводить двухъ коней въ знакъ дружбы и низко кланяемся вамъ съ супругами».

Онуфриевъ. Ловко.

Захаровъ (*продолжаетъ*). «А просимъ мы васъ, препроводите намъ за сіе крупы шестьдесятъ пудовъ, сальца семь пудовъ, да холста аршинъ сто, какъ подвертки у насъ истрепались, а бабы намъ холста не текутъ». Чтобъ значить, чувствовали.

Онуфриевъ. Извѣстно.

Захаровъ (*кончая*). «Съ почтеніемъ первая гренадерская рота, а по ей безграмотству писалъ Захаровъ».

Онуфриевъ (*въ восторгъ бережно прячетъ письмо за обшлагъ, посыпавъ его пескомъ. Потомъ достаетъ картузь, табакъ и подаетъ Захарову*). Не обидьте, Захаръ Ивановичъ. Письменно изложили. Писарь лопнетъ съ досады.

Захаровъ (*взявъ свертокъ*). Ладно.

Жигалкинъ. Захаръ Ивановичъ, можете вы нѣжное письмо написать?

Захаровъ. Нѣжное? (*Подумавъ*) Могины. Только вамъ не для кого. И не просите.

Жигалкинъ. Ну, значить адью. (*Уходитъ*).

Онуфриевъ. Провіантскій-то иродъ здѣсь?

Захаровъ. Здѣсь. Доброю не кончится. У полковника, какъ онъ съ нимъ говоритъ, за ушми — то такъ и заливаешь. А ужъ вы понимаете...

Онуфриевъ (*со страхомъ*). Заливаетъ. Ну, въ такомъ разѣ Прощайте, Захаръ Ивановичъ. (*Уходитъ. Входитъ Настя. Захаровъ обнимаетъ ее*) У... мѣриканочка!..

Настя (*отстраняясь*). Что это на васъ всѣхъ угомону нѣтъ. Чисто шалые, право? Безъ барыни хошь не показывайся никуда, такъ и облапять. Идите: баринъ проснулся. (*Входитъ справа Корневъ въ черкескѣ на горскій манеръ, усы лихо закручены, взглядъ мрачный, не особенно красивъ и Ульинъ въ кителѣ—хорошенькій, розовый, блондинъ, нѣсколько женственный офицеръ*).

Корневъ. Проснулся?

Захаровъ. (*сурово*). Проснулись. Сейчасъ доложу. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Ульинъ. Ты не предчувствуешь, зачѣмъ онъ тебѣ велѣлъ явиться?

Корневъ. Предчувствую. Какая-нибудь интрига со стороны этого графчика. Какъ онъ завелся у насъ въ батальонѣ, весь духъ сталъ другой. Пріѣзжаютъ сюда хватать ордена, чины, пороку не нюхали на своихъ плацъ-парадахъ, а тутъ носы задираютъ, потому что съ камердинерами да съ несессерами пожаловали. Нѣтъ, братъ, шалишь. Тутъ не духами, а кровью пахнетъ.

Ульинъ. Онъ, кажется, удалой. Въ Кабардѣ раненъ, крестъ получилъ, а здѣсь онъ всего двѣ недѣли, гдѣ-жъ ему себя показать?

Корневъ. Тетунка въ Москвѣ, дядюшка въ Петербургѣ, рука въ Тифлисѣ—вотъ тебѣ и крестъ. Нашелъ чѣмъ удивить! Эхъ ты, простопыла!

Ульинъ. Неужели ты ни во что не вѣришь?

Корневъ (*мрачно*). Ни во что.

Ульинъ. А въ любовь?

Корневъ (*горько усмѣхнувшись*). Любовь мнѣ недоступна.

Ульинъ (*со страхомъ*). Почему?

Корневъ. Я не могу любить женщины.

Ульинъ. Кого же ты можешь любить?

Корневъ. Смерть. Вотъ грозная, но вѣрная любовница. Она одна никогда не измѣнитъ. А женщины... О, если-бъ ты зналъ, какой дьяволъ гнѣздится въ ихъ бѣлоснѣжной груди.

Ульинъ. Ну, что ты!

Корневъ. Вотъ тебѣ, братецъ, я «что ты.» Вспомни праздникъ въ Грозной, у князя послѣ большого зимняго похода. Я танцевалъ съ Вѣрой мазурку.

Ульинъ. А я съ Людмилой.

Корневъ. Она спрашивала меня про мою рану, про дѣло, гдѣ я ее получилъ... Интересовалась...

Ульинъ. Забыть тебя не могу съ солдатскимъ ружьемъ на завалѣ. Что ты чувствуешь въ эти минуты? Вѣдь ты герой. Ты...

Корневъ. Я было ей повѣрилъ. Я даже сказалъ ей: «передо мной носился образъ красавицы»... Конечно, если-бы сказать по-французски, было-бы еще сильнѣе... Но она подарила меня такимъ взглядомъ, что... Ну, а потомъ, здѣсь, когда я съ ней катался верхомъ... Ты знаешь, если меня охватываетъ волненіе, я... теряю разговоръ.

Ульянъ. Это бываетъ.

Корневъ. Я краснорѣчивъ, если разойдусь. А съ женщинами у меня столько чувства, что я только пылаю—молчу. Еще, если меня кто-нибудь задѣнетъ, я потомъ отлично придумаю, что я долженъ былъ сказать въ отвѣтъ, а въ ту минуту, хотъ убей.

Ульянъ. Это бываетъ отъ напыва. Ты себя этимъ не разстраивай, Эсперъ.

Корневъ. Отъ напыва, это вѣрно. Должна-же она это понимать!.. И понимала, пока не явился сюда этотъ непрощенный гость. Она говорила мнѣ, когда мы бывало скакали рядомъ, что у меня воинственный профиль и вся турнюра, что... У меня отъ этихъ словъ сдѣлался такой напывъ, что ужъ только ночью я сообразилъ, что я долженъ былъ отвѣтить. А теперь она меня не видитъ, смотреть сквозь меня, точно я какое-то стекло... Ну, ужъ я ей скажу.

Ульянъ. Что-же?

Корневъ. Я ужъ придумалъ. Я скажу: «я не петербургская кукла въ манжеткахъ и по-французски не говорю, но за поясъ заткнуть я себя не позволю».

Ульянъ. Ахъ, нѣтъ! Это очень жестоко. У тебя, Эсперъ, какая-то неукротимость во всемъ. Ты постарайся ее смягчить.

Корневъ. Ну, ужъ это я предоставляю тебѣ, Жасминъ Жасминовичъ. Я съ этими свѣтскими женщинами все кончилъ. Довольно разочарованій! А этому фазану я перьевъ поубавлю.

Ульянъ. Знаешь, Эсперъ, какъ-бы я ни былъ счастливъ, ты всегда меня омрачишь.

Корневъ. Ну, Людмила Борисовна утѣшить. Вы съ графомъ у насъ счастливчики, ручные! Слушай, Ульянъ, ты не проболтайся, смотри. Это тайна между мною и ею.

Ульянъ. Будь покоенъ.

(Входитъ полковникъ въ китель, съ чубукомъ. *Офицеры вытягиваются и козыряютъ*).

ЯВЛЕНІЕ III.

Олтинъ (*Улыну*). Очень радъ васъ видѣть, Иванъ Ивановичъ. Прошу покорно къ женѣ. У нея уже сидятъ наши. (*Улыну расшаркнувшись, быстро уходитъ*). Поручикъ Корневъ, что мнѣ прикажете съ вами дѣлать? А?

Корневъ (*руку и козырьки*). Какъ прикажете, г. полковникъ.

Олтинъ. Что какъ прикажете? Извольте молчать. Вамъ въ роту негодный провіантъ доставляютъ, вы и не взглянете. Только-бы вамъ на брустверы лѣзть, да удалъ въ бою показывать! Такъ этого мало-съ. Я васъ въ слѣдующій разъ въ прикрытіе къ вышкамъ назначу. Хорошій ротный командиръ за каждую дыру въ солдатскомъ сапогѣ отвѣтить долженъ. А если его солдатъ гнилой крупой кормятъ, такъ онъ обязанъ не допускать. Обязанъ-съ. Что вы можете мнѣ на это отвѣтить?

Корневъ. Виноватъ, г. полковникъ.

Олтинъ. Знаю, что виновать. Экую новость сказалъ! Поучитесь у капитана Глушкова, какъ солдатъ беречь. Имъ въ походѣ довольно голодать, а въ крѣпости отдохнуть — бы слѣдовало, кабы ихъ ротный меньше за полковницей ухаживалъ, да больше о нихъ думалъ.

Корневъ (*окончательно потерянный, вздрагиваетъ*). Слушаю-съ, г. полковникъ.

Олтинъ. Сперва служба-съ, а потомъ ужъ любовь въ свободное время. Поняли?

Корневъ. Такъ точно, г. полковникъ.

Олтинъ (*протягивая руку, совсѣмъ другимъ тономъ*). Такъ-то, голубчикъ Эсперъ Андреевичъ, вы человѣкъ молодой, отличный офицеръ, храбрый, рѣшительный, какъ-же не стыдно быть такимъ легкомысленнымъ. Самъ не доѣшь, а людей накорми. Этотъ подлецъ Брызгинъ ссылается на то, что у него есть ваша росписка въ годности доставленнаго провіанта. Подмахнуть, небось, не читая, что подписывалъ?

Корневъ. Такъ точно, г. полковникъ.

Олтинъ. Вотъ то-то и оно. Все-бы подвиги! Подвиги хороши, а сѣрая служба важнѣе-съ, да и терпѣнья и храбрости для нея нужно не меньше-съ. Пройдите къ женѣ, Эсперъ Андреевичъ, попросите всѣхъ сюда чай кушать. (*Отходитъ къ паркету*).

Корневъ (*помогая юловой, отдувается и быстро идетъ къ окнамъ крѣпости*). Кто-же ему донесъ про жену? (*останавливается*). Неужели?... О, какая низость! (*Олтинъ*). Г. полковникъ, позвольте сказать два слова...

Олтинъ. Ну-съ?

Корневъ (*красный, взволнованный*). Я... какъ честный человѣкъ... изволили намекнуть...

Олтинъ. Что вы за женой ухаживаете?

Корневъ. Да-съ... Такъ я... какъ честный человѣкъ...

Олтинъ. Да на здоровье, голубчикъ... Плохъ офицеръ, который не развлекаетъ молодую командиршу. Пока я съ вами черезъ платокъ стрѣляться не собираюсь, пользуйтесь временемъ. Ну, идите, идите...

Корневъ (*не найдя что сказать, уходя, про себя*). Какое дурацкое положеніе! (*Уходитъ въ крѣпость. Справа входитъ подполковникъ Бристъ съ котенкомъ въ рукахъ. Онъ одѣтъ чрезвычайно опрятно, очень вѣжливо въ обращеніи, блондинъ лѣтъ 45-ти*).

ЯВЛЕНІЕ IV.

Олтинъ. Здравствуйте, Иванъ Густавычъ.

Бристъ. Здравствуйте, полковникъ.

Олтинъ. Вы опять съ котенкомъ?

Бристъ. Опять, полковникъ.

Олтинъ. Какъ вамъ это не надоѣстъ? И что за страсть такая для военнаго человѣка!

Бристъ. Мои котята службѣ не мѣшаютъ. Есть множество страстей, гораздо болѣе губительныхъ и для человѣка вообще и для

военнаго въ отдѣльности. Напримѣръ, гнѣвъ. Не правда-ли, полковникъ?

Олтинъ. Ну, ну, завелъ. Терпѣть не могу, когда вы начинаете философствовать.

Бристъ. Вы не трогайте моихъ котятъ и я не буду философствовать. Нашъ отравитель здѣсь еще?

Олтинъ (*съ неудовольствіемъ*). Чортъ-бы его дралъ совсѣмъ, — здѣсь. Видѣть не могу этой лакированной рожи. Ну, наживайся, чортъ съ тобой, да хоть каплю совѣсти имѣй. Знаете, кто такой оказался? Знаменитый петербургскій шулеръ! Пришлось отсюда ноги уносить — вотъ къ намъ и пожаловалъ. И какого барина разыгрываетъ, по-французски такъ и чешетъ... Вотъ я его почешу, черти-бы ему въ зубы!

Бристъ (*качая головой*). Сколько вы чертей помянули, полковникъ, и хотъ-бы одинъ васъ навелъ на хорошую мысль.

Олтинъ. Какія тутъ мысли? Когда явный мошенникъ у солдата кусокъ хлѣба рветъ изо-рта? Чтò вы мнѣ все съ мыслями?

Бристъ. Безъ мысли никакъ нельзя, ни въ одномъ дѣлѣ. Безъ мысли самый честный командиръ можетъ попасть подъ судъ.

Олтинъ (*побавровѣвъ*). Меня подъ судъ?! Ну, Иванъ Густавовичъ, знаете, щекотали-бы вы вашихъ котятъ, да мурлыкали-бы съ ними... (*Проводя рукой по волосамъ*). Подъ судъ... (*Пройдясь, пока Бристъ спокойно чешетъ своего котенка*). Да я его велю нагайками гнать, пока у него подошвы не отлетятъ.

Бристъ. Этого я вамъ дѣлать не совѣтую.

Олтинъ. А я сдѣлаю.

Бристъ. Будетъ очень неосторожно.

Олтинъ. А мнѣ плевать. (*Молчаніе*).

Бристъ. Насчетъ предположеннаго движенія въ горы ничего не имѣете?

Олтинъ. Пока нѣтъ. Жду ежедневно. У васъ все въ порядкѣ?

Бристъ. А когда-же у меня былъ безпорядокъ?

Олтинъ. Никогда не былъ, а мало-ли чтò...

Бристъ. Хотъ сегодня сниматься. (*Входитъ Глушковъ съ Дарьей Кировой*).

ЯВЛЕНІЕ V.

Олтинъ. Вотъ и Дарій Кировичъ съ супругомъ.

Дарья Кировна (*очень энергичная, подвижная женщина*). Чѣмъ дразниться, полковникъ, вы бы лучше муженьку-то моему голову вымыли. Никакой управы я на него не найду.

Олтинъ (*во время общаго здорованья*). Чтò такое, Дарій Кировичъ? За что такая гроза?

Дарья Кировна. Давеча на ученіи у него рота такъ маршировала, что я только плюнула и ушла. Носковъ не выносятъ, равненія не знаютъ, а ужъ мундиры... Господи помилуй! Папенька, небось разъ пять за это ученіе въ могилѣ перевернулся.

Олтинъ (*притворно строго*). Это какъ-же, капитанъ?

Глушаковъ (*совершенно покойно*). По враждѣ наговаривается, полковникъ. Не вѣрьте дамамъ.

Дарья Кировна. Ну, скажите пожалуйста! Какая-же у меня къ вамъ можетъ быть вражда? За что?

Глушаковъ. А за то, что у васъ дѣтей нѣтъ. Вотъ вы и суетесь съ доносами отъ нечего дѣлать.

Дарья Кировна. Развѣ это значить доносъ, если я объ его службѣ забочусь? Вѣдь вы поглядите на него: весь какъ рѣшето истыканъ, весь исполосованъ—раздѣнется, такъ смотрѣть на него противно, а какая ему за это награда? Пятьдесятъ лѣтъ, а все капитанъ, точно его кто заколдовалъ въ этомъ чинѣ! Вѣдь вы думаете, кто за него хлопочетъ, чтобъ въ реляціи и его упомянули? Я одна. Безъ меня онъ такъ въ прапорщикахъ-бы и сидѣлъ.

Глушаковъ. Васъ послушать, Дарья Кировна, такъ ужъ безъ васъ я и трубки не раскурю. Позвольте спросить, кто изъ насъ офицеръ: вы или я? Это ужъ начальство лучше васъ знаетъ, слѣдуетъ-ли обо мнѣ въ реляціи упоминать, или не слѣдуетъ. А вотъ что съ вашей ѣздой по штабамъ, вы какъ-нибудь въ плѣнъ угодите, это ужъ я вамъ пророчу.

Олтинъ. Ну, нѣтъ, Дарія Кырыча взять не легко. Какъ она прогуливалась по валу съ вѣромъ подъ черкесскими пудами, помните?

Глушаковъ. Отстрѣливаться только мѣшала.

Дарья Кировна. Да вы, неблагодарный человѣкъ, за мой вѣеръ и капитана-то получили. А если-бы вы вращались въ хорошемъ обществѣ, такъ вы, можетъ быть, и генераломъ-бы уже были.

Глушаковъ (*Бристу*). Ну, Иванъ Густавовичъ, гдѣ вы такихъ генераловъ видали, скажите пожалуйста,—вы человѣкъ бывалый? Ну хоть за-границей?

Дарья Кировна (*вся взволнованная, очень пылко*). А вотъ на зло тебѣ будешь генераломъ. Ужъ чего-бы мнѣ это ни стоило!

Бристь (*серьезно*). Знаете, у васъ есть шансы на генерала, Анастасій Анастасьевичъ.

Олтинъ (*шутя*). Вы ужъ и намъ-бы помогли, Дарья Кировна. Капитану, видно, не очень хочется, а мы, пожалуй, и не прочь.

Дарья Кировна. Вся сила въ реляціяхъ. Можно такую реляцію написать, что на дѣлѣ убить одинъ теленокъ, а на бумагѣ—двѣсти джигитовъ. Въ другихъ полкахъ есть очень хорошіе писатели, а у насъ—хоть-бы одинъ.

Глушаковъ. Ну, реляція—это вѣрно. А насчетъ фрунтовой службы никакое начальство не повѣритъ. У насъ и мѣста такія, что чѣмъ ровнѣе идешь, тѣмъ скорѣе въ кручу угодишь. Значить и людей попусту мучить нечего.

Дарья Кировна. Да на смотрахъ-то извергъ вы этакой, вѣдь это первое дѣло.

Глушаковъ. Не случилось еще, чтобы она сама замолчала. (*Олтинъ хохочетъ. Бристь улыбається. Слѣва входятъ Вѣра Борисовна въ амазонкѣ, Брызгинъ, при появленіи котораго Олтинъ сразу*

мнется встѣ тономъ и рѣзко обрываетъ смѣхъ, за ними Людмила Борисовна, графъ Бѣлоборскій, въ черкескѣ, въ шелковомъ бешиметѣ, съ выпущенными воротничками и рукавчиками, Корневъ и Ульяновъ. Настя и Захаровъ накрываютъ чайный столъ).

ЯВЛЕНІЕ VI.

Брызгинъ. Дамы, дамы завоюютъ намъ Кавказъ, этотъ перлъ природы. Клянусь моею честью, я хотѣлъ-бы здѣсь умереть.

Олтинъ (*Бристу*). Вотъ и повѣситъ-бы: кстати напрашивается! (*Всѣ здороваются*).

Дарья Кировна. Милочка, Людмилочка, подите-ка на пару словъ. Онъ вліятельный?

Людмила. Еще-бы. Поль-Петербурга обыгралъ.

Дарья Кировна. Какая интересная особа!

Въра (*отвѣчая Брызгину*). Чтò дѣлаемъ зимою? Да то-же, чтò и лѣтомъ. Когда они въ походѣ, ждемъ съ замираніемъ сердца, вернутся-ли живыми. Кататься нельзя, опасно уѣзжать далеко отъ крѣпости. Читаемъ, корпію готовимъ, играемъ ноктюрны Шопена. Они очень подходятъ къ нашему настроенію.

Людмила. Иногда налетитъ шальная партія горцевъ, ну—отстрѣливаемся. Я для этого у мосея Ульяна беру уроки прицѣльной стрѣльбы.

Ульянъ (*радостно*). И какія большія способности! Удивительно вѣрный взглядъ и твердая рука у Людмилы Борисовны!

Людмила (*обернувшись къ нему*). Вы льстецъ, мой другъ. Правда Эсперъ Андреевичъ?

Корневъ (*мрачно, съ трудомъ*). Молодъ и довѣрчивъ.

Людмила. Вы сегодня кого-нибудь хоронили?

Корневъ. Никакъ нѣтъ-съ.

Людмила. Странно. Я-бы держала пари, что вы прямо съ кладбища.

Дарья Кировна (*обворожая Брызгина*). Вы знакомы съ моимъ мужемъ? Анастасій Анастасьевичъ! (*Тотъ дѣлаетъ видъ, что не слышитъ*). Анастасій Анастасьевичъ, поди сюда, мой другъ. (*Тотъ бокомъ, нехотя подходитъ*).

Бристъ (*Олтину*). Протекцію составляетъ.

Олтинъ. Капитанъ Глушаковъ! (*Тотъ быстро поворачивается и подходитъ къ Олтину*). Когда я попадусь узденямъ, смѣю надѣяться на такую-же быструю помощь съ вашей стороны?

Глушаковъ. Будьте покойны, Василій Сергѣевичъ. И чего она меня въ свои кружева путаетъ?

Дарья Кировна. У васъ, конечно, въ Петербургѣ все на виду. А здѣсь, будь ты о семи пядей во лбу, одинъ тебѣ конецъ: тани ляжку, пока не ухлопаютъ. Такой роты, какъ у мужа, вы на всемъ Кавказѣ не сыщете. Храбрость, это само-собою, храбростью здѣсь никого не удивишь, но вы посмотрите ее въ строю, на парадѣ. Какое сравненіе! Ужъ на что папенька мой былъ знаменитый фрунтовики,—

дочерей маршировать училъ,—и тотъ-бы, покойникъ, порадовался. Вы по какой части изволите служить? У его сіятельства по гражданскому управленію?

Брызгинъ. Н...нѣтъ, я... по продовольствію...

Дарья Кировна (*другимъ тономъ*). Интендантъ?

Брызгинъ. Нѣтъ, я... частными подрядами занимаюсь.

Дарья Кировна. Частными? Какая жалость! (*Идетъ къ графу Бѣлоторскому, который отошелъ съ Олтиннымъ, Бристономъ и Глушаковымъ*). Графъ, вы опять мечтаете?

Бѣлоторскій. Въ этомъ грѣхѣ никогда не повиненъ.

Дарья Кировна (*мужу*). Оказался подрядчикъ.

Глушаковъ. А вы-бы сперва справились, а потомъ ужъ ободьщали.

Людмила (*Брызгину*). Филиппъ Николаевичъ, вы такъ восторгались видами, мнѣ хочется вамъ показать мой любимый уголокъ понадъ рѣкой.

Брызгинъ. Съ величайшимъ удовольствіемъ!

Людмила (*беря его подъ руку*). Мнѣ въ Петербургѣ рассказывали, что вы удивительный фокусникъ. Правда это?

Брызгинъ. То-есть...

Людмила. Особенно на картахъ. (*Улыну*). Иванъ Ивановичъ, забѣгите къ себѣ по дорогѣ за колодой картъ и догоняйте насъ скорѣе. (*Уводитъ Брызгина; за ними уходитъ Улыну*).

Олтинъ (*группъ жены*). О чемъ бесѣда?

Бѣлоторскій. Споримъ о литературѣ. Поручикъ Корневъ застрѣлъ на Марлинскомъ, стараемся съѣхать съ мѣста.

Корневъ. Баронъ Брамбеусъ...

Бѣлоторскій. Ну, ну.

Корневъ. Теперь извольте вы французовъ называть.

Олтинъ. Нѣтъ, графъ, хотите говорить о литературѣ, такъ вы съ Чарусскимъ; нашъ Эсперъ Андреевичъ насчетъ литературы, сколько его Иванъ Густавычъ ни просвѣщаетъ, туго идетъ. Вотъ рубиться лихъ, это ужъ по его части. (*Глушакову*). Что рана Чарусскаго?

Глушаковъ. Поправился. Сегодня на ученѣ былъ.

Дарья Кировна. Все мои припарки.

Олтинъ. Подите вотъ! Присланъ изъ Московскаго университета за какіе-то тамъ стихи, знакомства, книжки. Аттестованъ такъ, что ждали какого-то якобинца. А за пять лѣтъ произведенъ въ офицеры, получилъ крестъ, три раза раненъ и службистъ хоть-бы капитану подъ пару. Только ужъ очень тоскуетъ по ученой карьерѣ.

Дарья Кировна. Меланхолическій характеръ—ничего не подѣлаешь. (*Входитъ Чарусскій нѣсколько блѣдный, задумчивый, молодой человекъ*).

Олтинъ. Пожалуйста, Семенъ Петровичъ. Только-что про васъ говорили.

Чарусскій. Я пришелъ доложить вамъ, полковникъ, что я не могу принять присланный провіантъ. Кромѣ того, доставившій его подводчикъ, послѣ моего отказа, передалъ мнѣ вотъ этотъ конвертъ

отъ имени подрядчика. Я его распечатаю и счелъ нужнымъ представить вамъ со всѣмъ содержимымъ. (*Передастъ конвертъ съ ассигнаціями*).

Олтинъ (*весь встѣхнувъ*). Ну-съ, Иванъ Густавовичъ, на какія «мысли» васъ наведетъ эта штука?

Бристь. На мысль предать этого мерзавца суду по закону...

Олтинъ. Хорошо. (*Въ волненіи ходитъ*). Хорошо! Хорошо! Подводчикъ цѣль?

Чарусскій. Цѣль, полковникъ.

Олтинъ. Искренно удивляюсь и завидую вашему терпѣнію.

Чарусскій (*очень покойно, но серьезно*). Я очень радъ, что это было сдѣлано черезъ посредника, а не лично. Болванъ не имѣлъ представленія, что онъ мнѣ вручаетъ. Я не могъ-бы отвѣтить за себя въ тотъ моментъ, а надѣвать вторично солдатскую шинель я не имѣю никакой охоты.

Олтинъ. Совершенно справедливо. (*Идетъ въ крѣпость, оттуда-же Захаръ вноситъ самоваръ*). А, дьяволъ, суется тутъ... (*Уходитъ*).

Чарусскій. Честь имѣю откланяться.

Вѣра. Чаю не хотите, Семень Петровичъ? (*Настя вноситъ сахарницу*).

Чарусскій. Благодарю васъ, Вѣра Борисовна... Не особенно здоровъ. (*Уходитъ съ общимъ поклономъ*).

Глушаковъ. Чтожъ, подполковникъ, пора-бы и за пулечку. Вонъ докторъ идетъ съ супругой. Доставь столикъ да карточки, Захаръ Ивановичъ. (*Именно въ это время Захаровъ уцѣпнулъ Настеньку. Та вскрикнула*).

Захаровъ. (*съ серьезнымъ видомъ*). Слушаю-съ.

Вѣра. Настя, что ты?

Настя. Простите, барыни, объ самоваръ обожглась. (*Захарову шепотомъ*). Ей-Богу еще разъ сдѣлаете—пожалуюсь.

Захаровъ (*тоже шепотомъ*). Не растаете. (*Оба уходятъ*).

Вѣра. Эсперъ Андреевичъ, я, какъ ваша командирша, хочу вамъ дать нагоняй. Вы, говорятъ, съ ума свели нашу докторшу.

Корневъ (*внутренно очень доволенъ, но сохраняетъ свой мрачный тонъ*). Это мало меня радуетъ.

Бѣловорскій. О!

Корневъ (*встѣхнувъ*). Что вы этимъ желаете выразить, графъ?

Бѣловорскій. Чѣмъ именно?

Корневъ. Вашимъ «о».

Бѣловорскій. Одну изъ буквъ русской азбуки.

Дарья Кировна. Ахъ, ужъ вы, графъ, всегда такъ срѣжете...

Корневъ. Я этой петербургской азбуки не знаю.

Бѣловорскій (*пожавъ плечами*). Я тоже. Я знаю русскую.

Корневъ (*очень возмущенно*). И я знаю...

Бѣловорскій (*учтиво кланяясь*). Не смѣю сомнѣваться. Поэтому меня и удивилъ вашъ вопросъ. (*Впрѣ*). Поѣдемъ сегодня верхами?

Вѣра (*разливая чай*). Какъ обыкновенно. Господа, Дарья Кировна—чаю! Эсперъ Андреевичъ, мы ѣдемъ кататься сегодня, вы знаете?

Корневъ (*просіявъ*). Хотъ на край свѣта, Вѣра Борисовна!

Бѣловорскій (*нагнувшись за стаканомъ*). Это система — ни одну минуту не остаться со мною вдвоемъ за цѣлыя двѣ недѣли?

Вѣра (*отвѣчая ему недоумывающимъ взглядомъ*). Зачѣмъ? (*Входитъ Эразмъ Эрастовичъ и Сира Васильевна*).

Эразмъ Эрастовичъ (*цѣлуя ручки Вѣры*). Насилу выбрался изъ лазарета, Сира, я хотѣлъ давно тебѣ представить — вотъ графъ Бѣловорскій. Не ухаживайте очень, графъ, а то придется мнѣ вамъ руку или ногу рѣзать — все припомню. Подполковникъ, кошки ваши здоровы?

Бристъ. Здоровы, благодарю васъ покорно. Пока у васъ не лѣчились, я за нихъ покоенъ.

Эразмъ Эрастовичъ. Сира, напомни мнѣ о немъ въ свое время. Всѣхъ, батюшка, переберу. А, неблагодарный поручикъ или кавказскій Донъ-Жуанъ! Кого побѣждаете послѣ жены? Чья очередь? Вы знаете, Вѣра Борисовна, дуэты вмѣстѣ поють, а у него голосъ совершенно какъ у нагайской арбы — такъ же музыкаленъ и гибокъ.

Бѣловорскій. О! (*Корнева держитъ*).

Сира Васильевна. Да уймись ты, Эразмъ, ради Бога. Трепещи съ самаго утра. Только и покою, когда ты въ лазаретѣ.

Эразмъ Эрастовичъ. Необходимо. Въ нашемъ дѣлѣ, если тебя одолѣютъ грустныя мысли — непременно удавишься. Посудите сами: идешь, наприимѣръ, вотъ съ этими молодцами въ походъ. Ну, извѣстно — игры, смѣхи, всякія утѣхи. Сшиблись, глядятъ, вмѣсто весельчаковъ-то тащатъ къ тебѣ на перевязочный одного за другимъ дыривыхъ да кромсанныхъ — вѣдь все знакомые, друзья вѣдь все! Каждый за Сирой Васильевной ужъ непременно волочитъ. Куда тебѣ смѣхи! Курносая шутокъ не понимаетъ, все скомкаетъ. Вотъ, какъ на все это насмотришься, такъ два тебѣ пути — либо хохочи всю жизнь, либо пей горькую.

Глушаковъ. Сколько ты, докторъ, можешь говорить о пустякахъ, я даже удивляюсь. На карту, садись играть.

Эразмъ Эрастовичъ. Вѣра Борисовна, не откажите чайку, красавица моя. (*Садится съ Бристомъ и Глушаковымъ*). По копѣйкѣ!

Сира Васильевна. Вы чтò-жъ это меня компрометируете, поручикъ?

Вѣра. Ай, ай, Эсперъ Андреевичъ! Хорошо, что я не вѣрила вашимъ вздохамъ.

Сира Васильевна. А вздыхалъ?

Вѣра. Начиналъ.

Сира Васильевна. Давайте, женимъ его въ наказаніе!

Дарья Кировна. У капитана есть племянница въ Саратовской губерніи, мы ее по Волгѣ живо выпишемъ. Вернутся они съ лѣтней экспедиціи, а ужъ у насъ все будетъ готово.

Сира Васильевна. Выписывайте, Дарья Кировна.

Корневъ (*крутя усы, глядя на Вѣру Борисовну*). Напрасно.

Бѣловорскій (*чистя ногти*). О!

Корневъ (*бросивъ взглядъ, полный ненависти, на графа*). Въ жизни у человѣка можетъ быть одна глубокая любовь — только одна.

Бѣловорскій. Новая мысль. Ваша?

Корневъ. Чтѣ-съ?

Бѣловорскій. Я говорю, вы сами дошли до этой мысли?

Корневъ. А то кто-жъ, разъ я говорю?

Бѣловорскій (*искоса поглядывая на Вирю полушутя, полу-серьезно*). Я тоже этого мнѣнія. Всякій изъ насъ инстинктивно боится двухъ вещей: быть смѣшнымъ и быть глубоко влюбленнымъ, а сплосъ да рядомъ это одно и то же. Вотъ мы, какъ трусы, и жмуримся, и кидаемся въ разныя стороны, чтобы уйти отъ опасности. Но рано или поздно «повязка съ глазъ долой».

Эразмъ Эрастовичъ (*энергично ходитъ съ карты*). «И спала пелена»... Какъ чудесно Чарусскій читаетъ Чацкаго.

Бѣловорскій (*продолжая*). И оказывается, что отъ судьбы не ушелъ.

Эразмъ Эрастовичъ. Милыя дамы, жените, пожалуйста, и графа, а то онъ въ холостомъ видѣ намъ—мужьямъ—неудобенъ. Ужъ больно красно говорить.

Глушаковъ (*ворчитъ*). Или играть, или разговаривать.

Эразмъ Эрастовичъ. Тебѣ хорошо, капитанъ, съ Дарьей Кировной. Она теперь больше наблюдательница романовъ, чѣмъ героиня, а я, братъ, долженъ держать уши на макушкѣ.

Дарья Кировна. Вы на моихъ крестинахъ не были. Почему вы знаете мои романы?..

Глушковъ. Иванъ Густавовичъ, вашъ котенокъ на меня лѣзетъ, возьмите его, пожалуйста, себѣ. Терпѣть не могу этой пакости.

Бристъ. Поставилъ ремизъ и придирается.

Бѣловорскій. Вы со мной согласны, поручикъ?

Корневъ. Нѣтъ-съ.

Бѣловорскій. Почему-же?

Корневъ. Такъ. Не согласенъ, да и все тутъ.

Сира Васильевна. Безъ объясненія причинъ?

Корневъ. Безъ объясненія.

Бѣловорскій. А вѣдь я только развилъ вашу мысль.

Корневъ. Мои мысли не требуютъ развитія...

Дарья Кировна (*приглубывая чай*). Вотъ двадцать пять лѣтъ я съ капитаномъ изъ крѣпости въ крѣпость кочую и вездѣ замѣчаю одно: когда молодые офицеры при дамахъ, они, какъ пѣтухи, такъ другъ на друга и наскакиваютъ, а чуть крѣпость холостая,—всѣ на ты, и дружба такая, что водой не разольешь.

Бѣловорскій. Дарья Кировна, вы ужъ очень все упрощаете. (*Вбѣгаетъ запыхавшись и раскраснѣвшись Людмила*).

ЯВЛЕНІЕ VII.

Людмила. Горцы! (*Всѣ встаютъ, кромѣ Глушакова и Бриста*). То есть я не знаю—горцы или казаки, только скачутъ по дорогѣ, верстахъ въ трехъ самое большее...

Глушаковъ. Какъ же горцы смѣютъ днемъ по дорогѣ скакать? Эхъ вы!

Людмила. Ульяновъ не приходилъ?

Въра. Шальная ты, Люда.

Людмила. Нѣтъ, ты послушай, что я сдѣлала съ Брызгинымъ: завела его въ самый низъ, къ рѣчкѣ. Онъ ползетъ, чуть не на четверенькахъ, и все справляется сторонкой, нѣтъ ли опасности отъ горцевъ. Бывали, говорю, случаи, что и изъ крѣпости увозили. Охъ, Господи!.. *(Заливается хохотомъ)* Пришли. Сидимъ втроемъ на камнѣ... Здравствуйте, милая Сирочка... И пришла мнѣ мысль... Ульяна я послала назадъ узнать, готовы ли лошади, и только - что онъ скрылся изъ виду, оборвала разговоръ и вглядываюсь въ даль, сначала смѣясь, а потомъ все тревожнѣе и тревожнѣе... Брызгинъ, какъ на булавкахъ. Вдругъ я какъ вскочу да взвизгну: «ай, абреки!».. да бѣгомъ... въ гору то... а онъ за мной. Пыхтитъ, какъ слонъ, и ужъ забылъ всякій стыдъ, кричитъ: «постойте... помогите»... А я то чуть не падаю съ хохоту... Будетъ онъ меня помнить!.. Вонъ онъ бѣжитъ, вонъ спотыкается. *(Кричитъ)* Скорѣе... догоните! Уже близко! ха, ха, ха...

Голосъ Брызгина *(снизу изъ глубины, запыхавшійся и отчаянный)*. Вышлите роту!..

Бристъ *(подходитъ къ ранену и отчетливо говоритъ)*. Это не горцы, а казачій конвой съ офицеромъ впереди. Успокойтесь.. *(Людмила)* Извините, Людмила Борисовна, надъ человѣкомъ издѣваться не слѣдуетъ, кто бы онъ ни былъ. *(Садится играть)*.

Людмила *(оробѣвъ)*. Какой строгій! *(Входитъ Олтинъ)*.

Олтинъ *(подходя къ Корневу)*. Поручикъ, извольте подать рапортъ, что крупа и сухари оказались негодными и укажите, что расписка выдана вами по опрометчивости.

Корневъ. Слушаю-съ, полковникъ. *(Хочетъ идти. Входитъ справа Вотяковъ въ походной одеждѣ: высокіе сапоги, покрытые пылью, очень старый запятанный сюртукъ, черкесская шапка чрезъ плечо, на поясъ папача)*.

Вотяковъ *(лицо опухшее, загорѣлое, юлосъ хриплый, рука къ папачѣ)*. Честь имѣю явиться.

Олтинъ *(протягивая руку)*. Благополучно?

Вотяковъ. Такъ точно-съ. Выступили въ ночь, согласно вашему предписанію. Чуть брезжить стало, выгнали изъ аула баранту. Казаки съ тылу гикнули, погнали на насъ, чабаны ускакали, изъ нихъ шестеро выбыло. 1-й взводъ отрядилъ стережъ добычу, съ остальными же сталъ выкашивать посѣвы ячменя и кукурузы. Успѣли съ четверть часа покоситься, пока показался непріятель.

Олтинъ. Дальше?

Вотяковъ. Пошли въ шапки, да не дошли, подались назадъ отъ залпа. Я велѣлъ отступать. Тронулись въ порядкѣ. Въ ущелии здорово на насъ наѣли. Шестъ разъ въ штывы кидались. Стадо все пригнали.

Олтинъ. Потери?

Вотяковъ. Двѣнадцать раненыхъ, трое убитыхъ.
Олтинъ. Плѣнные есть?
Вотяковъ. Всего двухъ добыли.
Олтинъ. Прошу чаю откупать.
Вотяковъ (*пошатываясь*). На ногахъ не стою, Василий Сергѣевичъ, смерть спать хочется.
Олтинъ. Ну, голубчикъ, выпитесь, да ужинать милости просимъ.
Вѣра. Вы не ранены?
Вотяковъ. Никакъ нѣтъ-съ, Вѣра Борисовна.
Людмила. А что же у васъ на рукѣ... Кажется, кровь?
Вотяковъ (*поглядѣвъ на руку*). Виновать-съ, умыться не успѣлъ.
Эразмъ Эрастовичъ. Раненыхъ не растерялъ?
Вотяковъ (*ему шепотомъ*). Я тебѣ растеряю, чортовъ кумъ.
Всѣхъ въ цѣлости тебѣ, живодеру, привезъ. Иди скорѣе.
Эразмъ Эрастовичъ. Есть тяжелые?
Вотяковъ. Нѣтъ, слава Богу. (*Уходитъ*).
Людмила. Докторъ, можно съ вами?
Эразмъ Эрастовичъ. Смотри какія раны. Ужъ лучше сперва самому поглядѣть. Корпіи захватите.
Людмила. У меня много наципано. (*Докторъ уходитъ. Вслѣдъ ему*). Мы сейчасъ прибѣжимъ, будемъ у лазаретныхъ дверей дожидаться. Сирочка, пойдемъ собирать вещи. Вѣра, приходите чаемъ раненыхъ поить. (*Убѣгаетъ, за ней Сира Васильевна*).

ЯВЛЕНІЕ IX.

Брызгинъ (*стараясь шутить*). Гдѣ моя предательница? А? Оставила меня на произ...
Олтинъ (*весь трясется, подходитъ къ нему*). Вы русскій человѣкъ?
Брызгинъ. Ну, да.
Олтинъ (*обращаясь къ окружающимъ*). Слышите, господа офицеры? а я думалъ: онъ жидъ, либо грекъ!
Брызгинъ. Послушайте, полковникъ, вы забываетесь!
Олтинъ (*выхватывая конвертъ Чарусскаго изъ кармана*). Да я тебѣ, мерзавецъ, въ глотку твою взятки вобью!
Брызгинъ. Василий Сергѣевичъ, ради Бога!..
Олтинъ. Извольте молчать, подполковникъ Брызгинъ, когда говорить начальникъ отряда. Что-жъ мнѣ цѣловаться съ этимъ христо-продавцемъ, когда онъ моимъ офицерамъ взятки подсылаетъ? Что-жъ они за твои ассигнаціи солдатъ морить станутъ? Да какъ ты смѣлъ подумать?
Брызгинъ (*блѣдный, дрожа отъ злости*). Вы мнѣ дадите отчетъ съ пистолетомъ въ рукахъ.
Олтинъ. Этой чести тебѣ не видать, а вотъ тебѣ, гуляй съ этимъ (*швыряетъ ему въ лицо конвертъ*). Поручикъ Корневъ, извольте проводить г. Брызгина въ отведенную ему квартиру. Завтра утромъ выслать его въ штабъ-квартиру съ оказіей.
Брызгинъ. Вы отвѣтите за ваши дѣйствія передъ судомъ. Я найду на васъ управу.

Олтинъ (*Корневу*). Извольте исполнить приказаніе.

Корневъ. Слушаю-съ, полковникъ.

Брызгинъ (*уходя въ сопровожденіи Корнева*). Вы припомните сегодняшній день, милѣйшій. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ X.

Дарья Кировна. Примочите головку, Василій Сергѣевичъ.

Бристь. Ну, поздравляю васъ, Вѣра Борисовна; сдержанный характеръ у вашего супруга!

Вѣра (*подойдя къ мужу*). Стоить ли такъ волноваться, Василій Сергѣевичъ, изъ-за такого негодая.

Олтинъ. Помилуй, Вѣра, вѣдь послѣ этого... я не знаю... Взятки дасть, какъ тамъ въ ихъ... (*Входитъ князь Гадаевъ, въ 30, въ кавалерійскомъ мундирѣ, съ аксельбантами*).

Кн. Гадаевъ (*съ легкимъ, едва замѣтнымъ грузинскимъ акцентомъ*). Имѣю честь явиться отъ начальника лѣваго фланга, состоящій при его сіятельствѣ, штабъ-ротмистръ князь Гадаевъ.

Олтинъ. Имѣете конвертъ?

Кн. Гадаевъ. Никакъ нѣтъ, господинъ полковникъ. Словесное порученіе - явиться вамъ къ его сіятельству въ штабъ-квартиру немедленно съ подполковникомъ Бристомъ по экстренному дѣлу.

Олтинъ. Позвольте представить васъ женѣ.

Кн. Гадаевъ. Имѣлъ счастье танцевать съ Вѣрой Борисовной въ Грозной.

Олтинъ. Подполковникъ Бристь. Капитанъ Бѣлоборскій. Капитанъ Глушковъ. Дарья Кировна... (*Входитъ Захаровъ*). Захаровъ, уложить мундиръ! Засѣдлать Керимъ-Агу! Приготовить все къ отъѣзду!

Захаровъ. Слушаю-съ, ваше высокоблагородіе. (*Уходитъ*).

Олтинъ. Вѣруся, распорядись, голубушка, князю откушать, чѣмъ Богъ послалъ.

Вѣра. Сію минуту (*Уходитъ*).

Кн. Гадаевъ (*кричитъ ей вслѣдъ*). Напрасно, Вѣра Борисовна, клянусь Богомъ, напрасно беспокоитесь...

Олтинъ. Ну, какъ напрасно! Часа четыре въ дорогѣ. Вы обратно со мной?

Кн. Гадаевъ. Такъ точно, полковникъ, попрошу только у васъ свѣжую лошадь.

Олтинъ. Сейчасъ распоряжусь.

Глушаковъ. Конвой снарядить?

Олтинъ. Десять казаковъ.

Глушаковъ. Маловато.

Олтинъ. Ну вотъ еще!.. Иванъ Густавычъ, черезъ полчаса выѣзжаемъ.

Бристь (*уходя*). Слушаю-съ, честь имѣю кланяться. (*Уходитъ*). (*Олтинъ отходитъ къ Глушакову, давая распоряженія*).

Кн. Гадаевъ (*провожая Бриста глазами*). Слушай, графъ. Это тотъ самый брысь, который съ котонкомъ всегда?

Бѣловорскій. Онъ самый.

Кн. Гадаевъ. Это, который съ двадцатью артиллеристами орудія отстоялъ безъ прикрытія, а потомъ убитого котонка на лафетъ привезъ?

Бѣловорскій. Ну, да.

Кн. Гадаевъ. Хладнокровный какой!

Бѣловорскій. Да ужъ, братъ, не тебѣ чета. Какъ ты, сумасшедшій, не спросясь броду, въ рѣку не кинется. Какъ ты тогда выбрался? Пьянъ былъ, должно быть?

Кн. Гадаевъ. Это вы, Русо, пьяные. А мы всегда пьемъ, никогда пьяные не напиваемся.

Олтинъ (*подходя*). Когда князь Александръ Ивановичъ прибылъ изъ Грозной и надолго ли въ штабъ-квартирѣ?

Кн. Гадаевъ. Сегодня утромъ. Вѣроятно, самъ отрядъ поведетъ. Много войскъ стягиваютъ. Неизвѣстно, гдѣ соединимся. Всѣ начальники собрались.

Олтинъ. О Шамилѣ нѣтъ извѣстій?

Кн. Гадаевъ. Большую силу собралъ. До двухъ сотъ значковъ, говорятъ.

Олтинъ (*офицерамъ*). Поздравляю васъ, господа! Должно быть, вернусь къ вамъ съ хорошими вѣстями. (*Уходитъ въ крѣпость*).

ЯВЛЕНІЕ XI.

Дарья Кировна (*обольстительно*). Князь, какъ я давно хотѣла съ вами познакомиться. Скажите, пожалуйста, на береговой линіи съ нами служилъ прапорщикъ милиціи Млхазъ Гадаевъ, онъ вамъ родственникъ?

Кн. Гадаевъ. Онъ мой дядя, мадамъ. Ему отрубили руку.

Дарья Кировна. Ахъ, какой былъ красавецъ и удалецъ! Анастасій Анастасьевичъ, ты помнишь нашего Млхаза? Дядюшкой имъ приходится.

Глушаковъ. Очень радъ. Старинные мы съ нимъ товарищи.

Дарья Кировна. Совсѣмъ другая служба была на береговой линіи. Тамъ и производство было скорѣе... Вотъ бы вы, какъ состоящій...

Глушаковъ. Дарья Кировна, васъ Вѣра Борисовна кличетъ.

Дарья Кировна (*кричитъ въ крѣпость*). Сейчасъ. (*Гадаеву*). Какъ состоящій при его сіятельствѣ...

Глушаковъ (*беретъ ее подъ руку*). Невѣжливо, Дарья Кировна, полковница васъ просить.

Дарья Кировна. Ахъ, Боже мой! иду. (*уходитъ*).

Глушаковъ. Надо командиру конвой приказать. Графъ, голубчикъ, скажите, что я сейчасъ вернусь, если онъ спросить. (*Уходитъ*).

Кн. Гадаевъ (*снимаетъ фуражку*). Какая жара! Валерьянъ, ты далеко живешь?

Бѣловорскій. Внизу.

Кн. Гадаевъ. Вели заморозить, душка. Горло высохло.

Бѣловорскій. Пойдемъ. У меня всегда заморожено. (*Входятъ Людмила и Сира Васильевна съ копѣй и съ разными свертками*).

Кн. Гадаевъ (*Бѣлоторскому*). Ба. Это кто такіа?

Бѣлоторскій. Belle-soeur командира и наша докторша.

Кн. Гадаевъ. Душка, представь, умоляю. Ахъ, ты, плуть, въ какой батальонъ попалъ.

Людмила (*Сиръ Васильевна*). Ахъ, Сирочка, какая прелесты! Кто этотъ офицеръ? Глаза-то, какъ уголья!

Сира Васильевна. Не знаю.

Бѣлоторскій. Людмила Борисовна, Сира Васильевна, позвольте вамъ представить: князь Захарій Гадаевъ. Извѣстенъ болѣе подъ названіемъ «сумасшедшій Захарка.» Изъ турьяго ли рога, не переводя духа, двѣ бутылки шампанскаго выдушить, насказать ли съ двумя казаками на цѣлую партію, съ кручи ли въ рѣчку слетѣть сломя голову: впереди эскадрона—на все мастеръ. И все цѣль.

Кн. Гадаевъ. Дуракамъ счастье. Но такого, какъ тебѣ, графъ, — все нѣтъ.

Людмила. Очень рада, очень рада. Слышала много про ваши подвиги. Сирочка, отнесите корпію, я сейчасъ прибѣгу.

Сира Васильевна. Все расскажу Ивану Ивановичу.

Людмила. Ахъ, пожалуйста! (*Сира Васильевна уходитъ*). Какое-же такое счастье у графа?

Кн. Гадаевъ (*не сводя съ нея глазъ*). Помилуйте, Людмила Борисовна, каждый день васъ видѣть — какое-же еще нужно счастье? Я сразу чуть не ослѣпъ...

Людмила. Вы когда пріѣхали, князь?

Кн. Гадаевъ. Сейчасъ только. Еслибъ я зналъ, что васъ здѣсь увижу, я-бы два часа раньше пріѣхалъ.

Бѣлоторскій. Ну, врядъ-ли. Вонъ твой конвой весь еще тянется по одиночкѣ.

Людмила. Долго у насъ прогостите?

Кн. Гадаевъ. Сейчасъ назадъ уѣзжаю.

Людмила. Вотъ стояло пріѣзжать.

Кн. Гадаевъ. Стоило. Если небо откроется на одну минуту и въ эту дырку ангелъ покажется—на всю жизнь этого довольно.

Бѣлоторскій. Ишь ты. Восточное-то воображеніе!

Людмила. Проводите меня къ лазарету. Тамъ раненыхъ привезли, мы идемъ перевязывать.

Кн. Гадаевъ (*предлагая руку*). Ничего у Бога не прошу, только чтобы вы мою рану перевязали, когда будетъ.

(*Справа, куда они идутъ, входитъ поспѣшно Ульинъ*).

Людмила. Князь Гадаевъ, поручикъ Ульинъ.

Ульинъ. Очень... пріятно...

Людмила. Ну, хоть и не очень, а дѣлать нечего. Захватите мой зонтикъ и бѣгите къ лазарету. (*Уходитъ съ Гадаевымъ. Ульинъ, постоявъ, стремглавъ кидается въ крѣпость, откуда слышенъ его голосъ во всю ночь*).

Ульинъ. Настя, зонтикъ Людмилы Борисовны!.. Гдѣ зонтикъ Людмилы Борисовны. (*Изъ крѣпости выходитъ Корнеевъ*).

КОРНЕВЪ (*хмурый идетъ черезъ сцену къ Бѣлоборскому*). Очень радъ, что мы одни. Позвольте спросить, что значать ваши шуточки при...

Бѣловорскій. При Вѣрѣ Борисовнѣ?

КОРНЕВЪ. Вообще при дамахъ. Я не петербургскій франтъ и по-французски не говорю, но... (*Вбѣгаетъ Ульинъ съ зонтикомъ*).

Ульинъ. Эсперъ, пойдемъ со мною, умоляю тебя...

КОРНЕВЪ. Сейчасъ приду.

Ульинъ (*умоляющимъ голосомъ*). Пойдемъ, Эсперъ, каждая секунда для меня вѣчность... Мнѣ нуженъ другъ.

Бѣловорскій (*кланяясь Корневу*). Мы кончимъ нашъ разговоръ, когда, какъ и гдѣ угодно, а теперь, дѣйствительно, вашъ другъ нуждается въ вашей немедленной помощи. (*Отходитъ къ паркету*).

Ульинъ (*увлекая Корневу*). Эсперъ, ты былъ правъ... У женщинъ нѣтъ сердца. (*Уходятъ. Входитъ Дарья Кировна*).

ДАРЯ КИРОВНА. Пожалуйста кушать, князь, Вѣра Борисовна... Гдѣ онъ?

Бѣловорскій. Прошелъ въ лазаретъ съ Людмилой Борисовной.

ДАРЯ КИРОВНА. Уже? А Иванъ Ивановичъ?

Бѣловорскій. Помчался за ними съ зонтикомъ въ рукахъ и съ отчаяніемъ въ душѣ.

ДАРЯ КИРОВНА. Э, товарища надо выручать. Князь! Князь Гадаевъ... (*Уходитъ направо*).

ЯВЛЕНІЕ XII.

Бѣловорскій (*одинъ расхаживая по террасѣ*). Неужели ужъ ничего... такъ-таки ничего не сохранилось въ ней отъ прежняго? Не можетъ быть. Эти ясные глаза, этотъ покой, эта ровность... А все-таки что-то свѣтится тамъ, въ глубинѣ... тревога есть... (*Входитъ Вѣра*).

Вѣра. Гдѣ-же князь? Вы не видали, Валерьянъ Николаевичъ?

Бѣловорскій. За нимъ прошла Дарья Кировна. (*Дрогнувшимъ голосомъ*).. Вѣра Борисовна...

Вѣра (*взглянувъ на него, совершенно просто*). Что, Валерьянъ Николаевичъ?

Бѣловорскій. Что? Еслибъ можно было такъ легко отвѣтить на этотъ вопросъ. Что мнѣ сказать вамъ, чего-бы вы раньше не знали уже, о чемъ вы не догадались-бы съ первой минуты моего пріѣзда?

Вѣра. Такъ о чемъ-же говорить, если я догадалась? Нового вы мнѣ ничего не скажете.

Бѣловорскій. Я хочу только стараго, только прежняго!

Вѣра. Взгляните, вотъ заходитъ солнце. Найдите тѣ силы, чтобы вернуть его на то мѣсто, гдѣ оно было минуту назадъ—тогда и говорите со мной. Это послѣднее... больше никогда... Слышите? Никогда ни одного слова о томъ, чего ужъ нѣтъ.

Бѣловорскій (*блѣдный, руки дрожатъ*). Если я повѣрю вамъ вполнѣ, повѣрю этимъ страшнымъ словамъ—я умру. Взгляните мнѣ въ глаза. Вы увидите, какъ я далекъ отъ шутокъ или притворства въ эту минуту.

ВѢРА (*преодолѣвъ болѣзненное ощущеніе, вполнѣ овладѣвъ собой, не глядя на него*). Можете вѣрить.

Входитъ Олтинъ. На немъ высокіе сапоги, папаха, шашка черезъ плечо, черезъ другое нагайка. За нимъ Захаровъ).

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Олтинъ. Лошадь вывели?

Захаровъ. Такъ точно, ваше высокоблагородіе.

Олтинъ. Гдѣ капитанъ Глушаковъ? (*Ему не отвѣчаютъ*). Захаровъ, сбѣгай живо за капитаномъ, проси его сію минуту явиться. (*Захаровъ уходитъ*). А князь Гадаевъ?

ВѢРА. Онъ сейчасъ вернется. Люда его куда-то утащила.

Бѣловорскій. Къ лазарету. Я сейчасъ его пришлю, полковникъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ XIV.

Олтинъ. Вѣрочка, радость моя, исполни мою просьбу—не ѣзди сегодня кататься. Здѣсь эти головорѣзы, какъ ласточки, носятся. Я не буду покоенъ, если ты мнѣ не общаешь.

ВѢРА. Общаю.

Олтинъ. Тебѣ это не новость слышать отъ меня, но мнѣ—то хоть всю жизнь—бы твердить, какъ я тебя люблю. Вся жизнь почти промелькнула въ бояхъ, среди суровыхъ людей; я, признаться, и не вѣрилъ и не думалъ, что сдѣлается съ сердцемъ... А знаешь, такъ оно полно твоимъ образомъ, такъ... Ну, словъ нѣтъ, какъ я тебя люблю. (*Обнимаетъ ее*).

ВѢРА. Какой ты весь могучій... и добрый.

Олтинъ. ВѢРА, я себя не узнаю... Никогда я не думалъ о томъ, что теперь у меня неотвязно въ мысляхъ... Помнишь, ты сказала мнѣ, что ты не можешь дать мнѣ любви, какъ мужу... А я сказалъ, кажется, что всѣ силы... ну, не помню что... что-то вродѣ «радъ стараться...» Такъ отвѣть мнѣ теперь, почти черезъ два года... что... что... Ну, словомъ, дорогъ-ли я тебѣ хоть немножко?

ВѢРА. Да.

Олтинъ. И еще... нѣтъ-ли кого-нибудь, кто-бы... ну, кого-бы ты хотѣла видѣть на моемъ мѣстѣ...

ВѢРА. Ты ревнуешь?

Олтинъ (*усмѣхнувшись*). Нѣтъ, ревновать я, кажется, не умѣю... Когда вокругъ тебя здѣсь или въ Тифлисѣ, въ Грозной, вьются наши красавцы и глядятъ тебѣ въ глаза и готовы сломить сумасшедшія головы за одну твою улыбку, мнѣ только жаль, что ужъ мнѣ это не къ лицу, не по лѣтамъ. А то, можетъ быть, я и ихъ-бы за поясъ заткнулъ, кабы тряхнуть удалой стариной. Нѣтъ, къ нимъ я тебя не ревную.

ВѢРА. Такъ что-же?

Олтинъ. А вотъ хотѣлось-бы мнѣ, чтобы твоя душа такъ-же раскрылась для меня, какъ моя для тебя открылась. Чтобы этотъ холодокъ, никому не замѣтный, кромѣ меня, не леденилъ меня иногда... чтобы повѣяло изъ этихъ дорогихъ глазенокъ тепломъ и любовью на стараго, полусѣдого раба твоего. (*Вѣра, закрывъ лицо руками, приближаетъ къ нему на грудь*).

ВѢРА. А какъ мнѣ этого хочется... Ахъ, какъ хочется!.. Нѣтъ, во мнѣ чего-то... нѣтъ... Задушено это тепло...

Олтинъ. Ну... разъ ты сама ждешь... хочешь этого, я и счастливъ... Мнѣ ничего больше не надо. Я и силенъ, и бодръ, и ждать этого луча буду хоть цѣлые годы.

(*Входитъ Глушаковъ и Бристъ, одѣтый такъ-же, какъ и Олтинъ*).

ЯВЛЕНІЕ XV.

БРИСТЪ. Пора, полковникъ.

ГЛУШАКОВЪ. Конвой готовъ.

Олтинъ. Капитанъ, извольте принять отъ меня начальство. Говорить объ осторожности вамъ не надо.

Глушаковъ. Никакъ нѣтъ, полковникъ, травленный. (*Бѣгутъ отдаленную зорю*).

Олтинъ. Чтò-жъ это князь пропалъ. А?

(*Вбѣгаетъ Людмила, за ней кн. Гадаевъ*).

ЯВЛЕНІЕ XVI.

Кн. Гадаевъ. Извините, ради Бога, простите... къ вашимъ услугамъ.

Олтинъ. До свиданья, Вѣра. Къ обѣду завтра жди.

Кн. Гадаевъ (*Людмилѣ*). Ради Бога, позвольте ручку поцѣловать. Живой-ли, мертвый-ли, какъ можно скорѣе, къ вамъ приѣду. (*Вѣръ*). Честь имѣю кланяться.

Олтинъ (*капитану*). Въ оба, капитанъ. Съ Богомъ! (*Уходитъ съ Бристою и Гадаевымъ*).

Людмила (*Вѣръ*). Улыбнись уму сойдетъ. Только у грузина глаза... ужъ очень черные...

Голосъ (*внизу*). Гайда! Ги! ги!

Глушаковъ (*козыряя*). Счастливаго пути...

Голосъ Олтина (*издали*). До свиданья, Вѣра!

Глушаковъ. Ишь понеслись какъ! А молодецъ еще мой полковникъ!

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Декорация та-же, что и въ предыдущемъ дѣйствіи. Лунная ночь того-же дня, около 10—11 часовъ. Лунный свѣтъ падаетъ справа, оставляя противоположную крѣпости сторону въ тѣни и обливая полнымъ свѣтомъ стѣну крѣпости.

ЯВЛЕНІЕ I.

Ульинъ (*нервно ходитъ по площадкѣ, Корневъ въ нѣсколько театральнѣе позѣ стоитъ, облокотившись на паранетъ*). Я увѣряю тебя, Эсперъ, она выйдетъ. Не можетъ быть, чтобы она не поняла, какъ я мучусь.

Корневъ. Тебя за носъ водятъ, рядятъ въ дурака, а ты ходишь, какъ нищій, подъ окошкомъ. Къ чему любовь, брошенная изъ милости?

Ульинъ. Эсперъ, тебѣ хорошо, ты герой. А у меня, ей-Богу, такъ сердце болитъ, такъ болитъ...

Корневъ. А гнѣва и презрѣнія ты не чувствуешь?

Ульинъ. Представь, нѣтъ.

Корневъ. Удивляюсь!

Ульинъ. Я понимаю, что я тебѣ долженъ быть противенъ, потому что у меня нѣтъ твоего желѣзнаго характера. (*За сценой переклички часовыхъ: „Слушай“*). Но вѣдь со дня на день въ походъ. Вдругъ я ее до похода не увижу. Эсперъ, докажи мнѣ дружбу. Сходи къ ней, попроси ее выйти ко мнѣ на минутку, ну, на одну минутку.

Корневъ. Послушай. Знаешь, что она почувствуетъ къ тебѣ, если ты будешь такъ унижаться, отвращеніе.

Ульинъ. Да что ты!

Корневъ. Ужъ я тебѣ говорю. Кажется, я знаю женщинъ.

Ульинъ. Знаешь.

Корневъ. Пойдемъ ко мнѣ и если до завтра она не пришлетъ за тобой сама — я пойду къ ней и скажу... Ужъ я знаю, что ей сказать!

Ульинъ. Нѣтъ, ты ничего жестокаго не придумывай, Эсперъ. Я убѣжденъ, что она теперь сама груститъ, только женщины самолюбивы, Эсперъ. И принесло-жъ этого проклятаго князя. Какъ все было... Я слышу ея шагъ. (*Входитъ Захаровъ*). Захаръ Ивановичъ, что барышня дѣлаетъ?

ЯВЛЕНІЕ II.

Захаровъ. Свернулись на тахтѣ въ комочекъ и спать.

Корневъ. Гм. Груститъ! А... барыня? (*Ульинъ поворачиваетъ голову*).

Захаровъ. Барыня тамъ-же; Дарью Кировну слушаютъ, работаютъ что-то.

Корневъ. Графъ Бѣлоборскій у нихъ?

Захаровъ. Никого нѣту. Капитанъ Глушаковъ по должности ходятъ по всей крѣпости, а больше никого. И вамъ-бы, ваши бла-

городія, по квартирамъ пора. Десять часовъ било. Опять ученя проспите.

КОРНЕВЪ. Я посты обходилъ. Прощай, Захаръ Ивановичъ.

ЗАХАРОВЪ. Спите съ Богомъ.

КОРНЕВЪ (*Улыну*). Будешь дожидаться?

УЛЫНЪ (*очень грустно*). Спать, а? Спать! Какъ она можетъ спать и не чувствовать...

КОРНЕВЪ. Женщины не могутъ чувствовать. (*Уходитъ направо*).

БРЫЗГИНЪ (*выйдя на выступъ башни наверху*). Послушай, любезный...

ЗАХАРОВЪ. Чего изволите?

БРЫЗГИНЪ. Въ которомъ часу выступаетъ оказія?

ЗАХАРОВЪ. Въ три.

БРЫЗГИНЪ. Я запрუსь у себя, такъ ты постучи, любезный, хорошенько, чтобы мнѣ не проспать...

ЗАХАРОВЪ. Не беспокойтесь, полковникъ приказалъ, значить, и соннаго васъ увезутъ.

БРЫЗГИНЪ. Дуракъ! (*Затворяетъ окно*).

ЗАХАРОВЪ (*про себя*). Самъ такой. А должно не даромъ Настасья не спитъ... Жигалкина поджидаетъ. (*Слышенъ легкій свистъ*). Вонъ оно! Точно по перепеламъ, свистульникъ окаанный! (*Отходитъ въ тѣнь*).

ЖИГАЛКИНЪ (*осторожно выглядываетъ изъ-за деревьевъ*). Фью... фью... фью!..

ЗАХАРОВЪ (*съ размаху бьетъ его по шее*). Ахъ ты, котъ сибирскій!

ЖИГАЛКИНЪ. Ваше благ... Захаръ Ивановичъ. По какому уставу... А у самого зубы не чешутся?

ЗАХАРОВЪ. Вы чего тутъ повадился съ пакостями по чужимъ дворамъ?

ЖИГАЛКИНЪ. Чтò-жъ это за усадьба такая, скажите, что ужъ и не подступись? Крѣпостной плацъ, значить всякій могить...

ЗАХАРОВЪ. Слышь, кошатникъ, я тѣ вѣрно говорю. (*Показываетъ кулакъ*). Не лѣзь сюда! Она дѣвка честная. Я, можетъ, на ней жениться хочу... Тебѣ, дьяволу, службы-то еще лѣтъ пятнадцать, а мнѣ черезъ годъ...

ЖИГАЛКИНЪ. Ахъ ты, клюй те муха! Старый песъ! Думаешь, что усы нафабрилъ...

ЗАХАРОВЪ (*молча беретъ его за шиворотъ, мощно поворачиваетъ и спускаетъ съ лѣстницы*). Загремѣлъ! Вотъ ты и чувствууй, каковъ я старый. Свисти теперь, да подаль.

(*Входитъ Настя*).

ЗАХАРОВЪ. Зачѣмъ выплыли?

НАСТЯ. Воздухомъ подышать. А вамъ чтò?

ЗАХАРОВЪ. Пожалуйте-ка сюда.

НАСТЯ. Да зачѣмъ?

ЗАХАРОВЪ. Хочу вамъ хромого кошатника показать. Досвистался! Отважу я его къ вамъ приставать.

Настя (*сердито*). Да вамъ то чтò, Захаръ Ивановичъ? Чтò вы ужъ такую волю берете? Ей-Богу, барынь пожалуюсь.

Захаровъ. Не грозись, дура, а слухай. Хочешь замужъ идти за меня?

Настя. Бить будете?

Захаровъ. Безъ дѣла не буду. Барыню упростишь, она добрая, можешь, и вольную тебѣ дать. Ей-же лучше, ничѣмъ такъ ей дѣвку испортятъ. Ну, не вилай, говори прямо. Пойдешь?

Настя. Страшно, Захаръ Ивановичъ. Нѣтъ, ужъ Богъ съ вами! (*Хочетъ убѣжать*).

Захаровъ. Эка безтолковая! Говорю, иди за меня. Ухъ ты, золотая!.. (*обнимаетъ ее*)

Настя (*пищитъ*). Ой, задавили, Захаръ Ивановичъ! Голубчикъ, миленькій, пустите! (*Вырвавшись*). Усищами то всю искололи. Ужъ лучше я вамъ кисетъ свяжу, ей-Богу, твижу, бисерный, какъ у барина... только замужъ не просите.

Голосъ Людмилы. Настя!

Настя. Иду, барышня. (*Захаровъ въ тѣни не пускаетъ ее*).

Захаровъ. Кошатникъ сбиваетъ... Ладно!

ЯВЛЕНІЕ III.

Людмила (*показавшись въ дверяхъ, въ бѣлой буркѣ и военной фуражкѣ, кричитъ очень нетерпѣливо*). Настя! Настя! Настя!

Настя (*подбѣгаетъ*). Здѣсь я, барышня.

Людмила. Гдѣ ты пропадаешь? А тамъ кто? (*Захаръ сконфуженный, но мрачный, выступаетъ впередъ*.) Скажите пожалуйста! Дѣдушка Захаръ!

Захаровъ. Чего изволите?

Людмила. Чтò ты тутъ дѣлалъ?

Захаровъ. Ничего-съ. Такъ, оглядѣть вышелъ: въ порядкѣ ли все.

Людмила. А ты, Настя, тоже въ порядокъ тутъ приводила?

Настя. Никакъ нѣтъ-съ, барышня, я...

Людмила. Дѣдушка Захаръ, Ивана Ивановича тутъ не было?

Захаровъ. Какъ не быть. Съ поручикомъ Корневымъ, должно, часъ цѣлый тутъ дежурили. Про васъ спрашивали.

Людмила. Отлично. Ступай, отыщи его и скажи: «барышня приказали, чтобы вы сію секунду пришли къ нимъ». Понялъ?

Захаровъ. Чего-жъ не понять? Барышня, молъ, велѣли придти сію секундою.

Людмила. Ну, вотъ. Иди живо. (*Захаровъ уходитъ*). Настя, ты понимаешь, какъ все хорошо?

Настя. Чтò-съ, барышня?

Людмила (*дѣлая неопредѣленный жестъ, какъ бы обнимая себя*). Все. Все. Выходить мнѣ замужъ или нѣтъ?

Настя (*вздыхнувъ*). Чтò-жъ, все одно, когда-нибудь придется. Не възовушей же вамъ, барышня красавица, жить.

Людмила. Отчего-жъ ты вздыхаешь?

Настя. Да чего-жъ не вздыхать-то? У насъ надъ невѣстой и плачутъ. Вотъ возьмите хоть бы себя и барыню, Вѣру Борисовну. Сейчасъ по ихъ видно, какая отъ замужества сладость.

Людмила. Вѣра и дѣвушкой была монастырка. Она мнѣ не указъ. Я замужемъ веселѣе буду. Я такъ считаю: человѣкъ въ жизни долженъ все дѣлать, во-первыхъ, такъ, чтобы ему было весело, и во-вторыхъ, чтобы было всѣмъ другимъ отъ него хорошо и тоже весело.

Настя. Это правильно, барышня, только отъ Захара Иваныча веселья-то мало.

Людмила. Отъ какого Захара Иваныча? Чтò ты, Настя?

Настя. Ахъ, виновата, барышня! Я про другое.

Людмила (*едва удерживая хохотъ*). Неужели сватался?

Настя. Да вѣдь какъ! Я ужъ еле выбилась, спасибо, вы вошли, ну, испугался.

Людмила. Это здѣсь, должно быть, воздухъ такой. Всѣ влюблены въ кого-нибудь, по нѣскольку человѣкъ въ одну. Слѣпые прозрѣли, хромые пошли. (*Ходить*). А вѣдь и то, Настя! Посмотри, какъ красиво кругомъ. И этотъ воздухъ, и этотъ свѣтъ, и вѣтерокъ ароматный. Свѣжо и жутко, и тянетъ тебя куда-то, и хочется чего-то: не то цѣловаться, не то вскочить на дикого коня, да нестись куда глаза глядятъ, чтобы духъ захватывало, чтобы сердце замирало и билось въ груди во сто разъ скорѣе... Эхъ, Настенька, силы - то во мнѣ, силы!.. Дѣвать некуда! Будь я мужчина, чего бы я только не натворила! (*Прислушалась*). Иди спать, Настя, меня не жди, я сама раздѣнусь.

Настя. Покойной ночи, барышня. (*Идетъ къ дверямъ, навстрѣчу ей Глушаковъ. Молча обнимаетъ ее и цѣлуетъ. Настя вскрикиваетъ*).

Людмила (*обернувшись*). Чтò съ тобой, Настя?

Настя. Ничего-съ. Настасья Настасьича испугалась.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Глушаковъ (*наставительно*). Пора привыкать, Настенька. Трусить стыдно. У насъ сторона военная. Людмила Борисовна, это хорошо, что вы бурку вашу надѣли. Ночка-то у насъ свѣженькая!

Людмила. Капитанъ! Правда, я была бы миленькій офицеръ?

Глушаковъ. Чего же еще лучше?

Людмила. Хотите я васъ осчастливлю?

Глушаковъ. Чѣмъ-съ?

Людмила (*цѣлуетъ его*). Пріятно?

Глушаковъ (*закрутивъ усь отъ удовольствія*). Вотъ покорно васъ благодарю за это удовольствіе. Меня поцѣловать не зазорно и по годамъ моимъ и по заслугамъ. Утѣшили стараго солдата.

Людмила. Ну, вотъ, и я такъ думала. Очень рада.

Глушаковъ (*ей въ тонъ*). Пожалуйста, вы если еще когда расшалитесь, такъ сдѣлайте милость, я ничего противъ...

Людмила. Мнѣ сейчасъ надо, необходимо надо, чтобы всѣ,

кого я вижу, непременно были счастливы. И здѣсь это такъ просто сдѣлать, совсѣмъ не то, что въ этомъ ужасномъ Петербургѣ, потому что и всѣ и все тутъ простое. Никакихъ тутъ нѣтъ фигли-мигли, *tenez vous droite*

Глушаковъ. Какіе-жъ тутъ фигли-мигли на войнѣ?

Людмила. Ну, вотъ видите, мы съ вами согласны. *(За сценой переключка часовыхъ: „слушай“.)* Вы всю ночь спать не будете?

Глушаковъ. Всю ночь. Сохрани Богъ, что случится. Полковникъ не помилуетъ. У него дружба — дружбой, а служба — службой. Обойти посты-то. Оглядѣть надо. *(Идетъ направо, обернувшись.)* Вы все-таки, Людмила Борисовна, Дарьё Кировнѣ ничего не говорите.

Людмила. Про что?

Глушаковъ. Про нашъ поцѣлуй. Она женщина фантастическая. Незвѣстно, какъ приметъ. Я всегда избѣгаю.

Людмила. Ну, если всегда, такъ и теперь избѣгнемъ.

Глушаковъ. Такъ ужъ я на васъ положусь. *(Уходитъ.)*

ЯВЛЕНІЕ V.

Людмила *(напѣвая)*. «Что за ночь, за луна, когда друга я жду»... *(Входитъ Улынь, за нимъ Захаровъ).* Захаровъ, тебя Настя искала. Она въ домѣ. *(Захаровъ поспѣшно уходитъ. Улыну).* Ну-съ! Гдѣ вы пропадаете?

Улынь *(хмуро, не глядя на нее)*. Развѣ васъ это интересуетъ?

Людмила. Это что такое? Какъ вы смѣете мнѣ такъ отвѣчать? Извольте просить прощенія.

Улынь. Я бы попросилъ у васъ прощенія, еслибы я былъ виноватъ. А такъ какъ вы виноваты, то...

Людмила. Ну! *(Съ ужасомъ)*. Ну, договаривайте, другъ господина Корнева.

Улынь. То вы... то я не буду у васъ просить прощенья.

Людмила. Боже, онъ говоритъ не только словами Корнева, но и его голосомъ! Вы обезьяна. У васъ шапка надѣта, какъ у него... Какой ужасъ! *(Улынь поправляетъ шапку)*. Да шапку можно поправить, но сказаннаго воротить уже нельзя. Вотъ его взглядъ теперь... его движеніе... За что мнѣ судьба послала обезьяну?

Улынь *(обиженно)*. Людмила Борисовна, я не обезьяна.

Людмила. Онъ спорить со мной. Кто же вы, позвольте васъ спросить? *(Улынь, до сихъ поръ не глядя на Людмилу, вздыхаетъ и застываетъ отъ восторга)*. Ну, отвѣчайте! Чето вы остолбенѣли?

Улынь. Фуражка...

Людмила. Что фуражка? Какая фуражка?

Улынь. Ваша...

Людмила. Ну, вытягивайте: фуражка... моя. А дальше?

Улынь. Идетъ...

Людмила. Кто? Куда идетъ? Онъ помѣшанъ!

Улынь. Къ вамъ идетъ. Вы чудо какая хорошенькая!

Людмила. Догадался!

Ульянъ. И бурка...

Людмила. Ну, дальше я знаю: бурка... ваша идетъ... къ... вамъ. Потомъ будетъ: брошка... ваша... идетъ... къ вамъ и такъ далѣе, всѣ части туалета. Развѣ этому васъ научилъ вашъ другъ? Вспомните-ка хорошенько. Онъ васъ напутствовалъ, ероша волосы: «Жанъ, будь рѣшительнѣе! Пусть она трепещетъ. Она преступна». Вы были рѣшительны, я ухажу трепетать и оплакивать свое преступленіе. (*Быстро уходитъ*).

Ульянъ (*ахнулъ отъ неожиданности и стѣлъ*). Вѣроятно, я ей сказалъ что-нибудь очень рѣзко. Все погибло. (*Закрываетъ лицо руками, Людмила подходитъ сзади и долго смотритъ на него*).

Людмила. Одумались?

Ульянъ (*съ восторгомъ*). Людмила Борисовна...

Людмила (*сидящая около него*). Могла я совсѣмъ уйти и лечь спать?

Ульянъ. Могли.

Людмила. Чтò бы вы тогда дѣлали всю ночь?

Ульянъ. Терзался бы!

Людмила. А теперь?

Ульянъ. Теперь... я... я... въ блаженствѣ.

Людмила. А кто его вамъ далъ?

Ульянъ. Вы! Вы!

Людмила. Я добрая?

Ульянъ. Еще бы!

Людмила. Ангелъ?

Ульянъ. Ангелъ.

Людмила. Простить васъ?

Ульянъ. Простите.

Людмила. То-то. (*Садится. Молчаніе*). Ну?

Ульянъ (*съ нѣмымъ восторгомъ*). Да.

Людмила. Чтò такое да? Вы ничего, кажется, не понимаете, чтò съ вами дѣлается.

Ульянъ. И не надо. Такъ хорошо! Такъ хорошо!.. Господи!.. Ахъ!.. Чтò жъ это?

Людмила. А еще чтò?

Ульянъ. Людмила Борисовна! Я васъ люблю.

Людмила. Неужели?

Ульянъ. Людмила Борисовна! Любите-ли вы меня?

Людмила. За чтò?

Ульянъ. Такъ, просто. Я знаю, что пока не за что. Я, конечно, не стою... Но я... я горы двину... Я все, чтò хотите... Любите-ли вы меня?

Людмила. Вамъ еще рано знать.

Ульянъ. Когда же?

Людмила. Сперва объясните: за чтò вы бѣсились?

Ульянъ. Этотъ князь...

Людмила. Чтò же онъ сдѣлалъ?

Ульянъ. Ухаживалъ.

Людмила. Такъ и надо.

Ульинъ. Совсѣмъ не надо. Онъ такъ на васъ смотрѣлъ своими азіатскими глазами, точно съѣсть васъ хотѣлъ. Останься онъ здѣсь, я бы его вызвалъ. Потомъ, каждое слово у него имѣло смыслъ.

Людмила. А у васъ? Имѣеть?

Ульинъ. Конечно. Такъ вѣдь я въ васъ влюбленъ!

Людмила. А онъ?

Ульинъ. Да вѣдь онъ сразу.

Людмила. А вы? Вспомните!

Ульинъ. Такъ вѣдь я... *(Путается)* я... Я другое дѣло.

Людмила. Ну, хорошо. Это все онъ. А я-то, бѣдная, чѣмъ провинилась?

Ульинъ. Нѣтъ, вы меня не жалуйте. Вы тоже...

Людмила. Чтò?

Ульинъ. Кокетничали съ нимъ.

Людмила. Да вѣдь я со всѣми кокетничаю. Это у меня въ природѣ, я такъ воспитана.

Ульинъ. Со всѣми можете, а съ нимъ нельзя.

Людмила. Почему же?

Ульинъ. Потому что онъ... брюнетъ.

Людмила. Понимаю. Значить, чѣмъ человѣкъ чернѣе, тѣмъ я должна съ нимъ меньше говорить, а если увижу негра, то прямо бѣжать. Слушаю-съ.

Ульинъ. Нѣтъ, негръ...

Людмила. Съ негромъ можно? Знаете, вы очень снисходительны, Ваничка. Очень, очень, очень. Чѣмъ я вамъ заплачу за такую доброту?

Ульинъ. Не мучайте меня такъ, пожалуйста. Вамъ это легко, а мнѣ такъ было больно, такъ было больно, что... *(За сиеной пере-
ключки часовыхъ: „слушай!“)*

Людмила. Заплакали бы?

Ульинъ. Вѣроятно, въ концѣ-концовъ заплакалъ бы. Чтò-жъ, тутъ ничего стыднаго нѣтъ. Сердце такъ болѣло, такъ болѣло. Вамъ надо всѣмъ легко смѣяться, потому что вы знаете, что я такъ васъ люблю, какъ никто никогда никого не любилъ...

Людмила. Романами заговорилъ.

Ульинъ. А я вѣдь совсѣмъ не знаю, любите ли вы меня, или только играете отъ скуки... Значить, мнѣ смѣяться нечему. Ахъ, какъ вы меня огорчили!

Людмила. Второй романсъ.

Ульинъ. Мое несчастье въ чемъ?— Что у меня нѣтъ желѣзнаго характера. Конечно, я себя долженъ за это презирать. Другой офицеръ непременно отомстилъ бы вамъ холодною или небрежною... а я не могу, потому что совсѣмъ не чувствую къ вамъ ни холодности, ни небрежности. Другой бы вамъ запретилъ себя мучить, а я не могу запретить. Мнѣ, напротивъ, все хочется не запрещать вамъ, а стать передъ вами на колѣни и умолять васъ, чтобы вы меня не мучили. И, конечно, вы будете меня презирать за то, что у меня нѣтъ желѣзнаго характера.

Людмила (*очень тронутая, глядит на него*). Сколько вамъ лѣтъ?

Ульяинъ. Двадцать одинъ.

Людмила. Три прибавили?

Ульяинъ. Нѣтъ. (*Помолчалъ*). Два.

Людмила. Девятнадцать. Пойдите. Черезъ десять лѣтъ мнѣ будетъ 32, а вамъ 29. Вы встрѣтите такую, которой въ то время будетъ 20, и измѣните мнѣ. Вотъ въ этомъ главное затрудненіе.

Ульяинъ. Я измѣню вамъ?

Людмила (*продолжая*). Но вѣдь это будетъ черезъ десять лѣтъ.

Ульяинъ (*тылко*). Я вамъ до гроба буду вѣренъ!

Людмила. Ахъ, да что тутъ считать! Не въ счетъ дѣло. Дѣло въ томъ, что сейчасъ хорошо. Иногда мнѣ кажется, что я несусь вмѣстѣ съ бурей по этимъ ущельямъ, а теперь расплываюсь туманомъ въ этомъ лунномъ свѣтѣ и... Такъ хорошо, такъ свѣтло... Сколько на свѣтѣ счастья.

Ульяинъ. Да, да! Людмила Борисовна!

Людмила. Что?

Ульяинъ (*оробѣвшій*). Мнѣ...

Людмила. Опять по одному слову?

Ульяинъ. Дайте мнѣ одинъ поцѣлуй.

Людмила. Злиться не будешь?

Ульяинъ. Никогда.

Людмила. На. (*Цѣлуетъ его*).

Ульяинъ (*на коленяхъ, цѣлуя ея руки*). Какъ во снѣ... какъ тогда, во снѣ...

Людмила. Что? Что во снѣ?

Ульяинъ. Я сонъ видѣлъ... я не помню... Только вы тогда также поцѣловали меня... Я думалъ, что я умру отъ счастья.

Людмила (*строго*). Чтобы никогда больше не смѣть цѣловать меня безъ моего позволенія.

Ульяинъ. Да вѣдь во снѣ...

Людмила. Тѣмъ больше. На яву и безъ моего позволенія нельзя, а во снѣ, что жъ я подѣлаю?

Ульяинъ. Людмила Борисовна! Дайте мнѣ надежду... Обѣщайте мнѣ быть моею женой.

Людмила. Я уже это рѣшила, когда считала наши годы. Я уже все рѣшила даже раньше. Вы и теперь и послѣ ни о чемъ не спрашивайте, а дѣлайте такъ, какъ я вамъ скажу...

Ульяинъ. Анг... (*Она зажимаетъ ему ротъ рукой*).

Людмила. ...И все будетъ хорошо. Свадьба наша черезъ годъ. Тсс! (*Она хочетъ говорить*). Вы должны такъ влюбиться въ меня, чтобы я ужъ навѣрное могла считать на десять лѣтъ впередъ. (*Она хочетъ говорить*). Тсс... Этотъ годъ я свободна, какъ вѣтеръ. Обо-жайте меня, ревнуйте меня, мечтайте обо мнѣ, а я... что бы я ни дѣлала, знайте, что я буду... твоя... (*Горячо цѣлуетъ его*). Довольно... довольно... сумасшедшій!

Ульяинъ. Люда, Люда... (*Схватившись за голову*). Ахъ! Боже! Что жъ это... Господи!..

Людмила. Ну, маршъ домой!

Ульянъ. Одну минуту... Одно слово...

Людмила. Ну?

Ульянъ. Что жъ это?

Людмила. Отъ васъ путнаго ничего теперь не услышишь. Идите спать, извольте видѣть меня во снѣ, но... безъ глупостей.

Ульянъ. Я спать не буду. Я пойду къ Эсперу, я буду говорить ему о васъ всю ночь...

Людмила. Вотъ обрадуется-то. Голубчикъ, вѣдь это вы влюблены въ меня, а не онъ.

Ульянъ. Все равно! Онъ пойметъ...

Людмила. Ничего онъ не пойметъ. Развѣ васъ кто-нибудь можетъ понять, кромѣ меня? (*Входятъ Глушакови и Вѣра*).

ЯВЛЕНІЕ VI.

Дарья Кировна. Скажите, одиннадцатый часъ, а я... это что за офицеръ? Одинъ Ульянъ, а другой... Корневъ повыше.

Людмила (*козыряя*). Корнетъ Батунинъ-Вертищевъ. Не будетъ ли какихъ приказаній Дарій Кировичъ?

Дарья Кировна. Хороша! Эхъ, чортъ, молодость-то первое женское удовольствіе. Иванъ Ивановичъ, правда хорошенькій однокашникъ?

Людмила. Не наводите его на этотъ разговоръ, онъ сейчасъ начнетъ : «Ахъ! Боже! Что жъ это! Господи!»

Дарья Кировна. Вотъ такъ-то и я съ Анастасіемъ Анастасьевичемъ крутилась. Гдѣ, кстати, мой инвалидъ-то? Онъ тутъ все по крѣпости бродилъ.

Людмила (*Ульяну*). Вотъ и я васъ буду такъ звать въ свое время.

Ульянъ. Хотъ сейчасъ.

Людмила (*пожавъ плечами*). На все готовъ. Дарья Кировна, что я съ капитаномъ сдѣлала!.. (*Зажимаетъ себѣ ротъ рукой*). Ай, тайна!

Дарья Кировна. Что же вы изволили сдѣлать?

Людмила. Ничего особеннаго.

Дарья Кировна. Нѣтъ, Людочка, вы его ужъ оставьте. Онъ человекъ пылкій, я его знаю. Я изъ-за этой черты характера два укрѣпленія заставляла его перемѣнить. Коли онъ еще будетъ направо и налѣво увлекаться, у него ужъ никакихъ добродѣтелей для фамиліи не останется.

Людмила. Да что вы, Дарья Кировна?

Дарья Кировна. Пожалуйста, пожалуйста, Людмила Борисовна, терпѣть я этого не могу. Онъ мой мужъ, ну, значить, ему тутъ крышка. Иванъ Ивановичъ, проводите меня домой. До свиданья, душечка Вѣра Борисовна.

Вѣра Борисовна. До свиданья, Дарья Кировна.

Людмила. Цѣлуйте ручку скорѣе! (*Тотъ звонко цѣлуетъ*). Тише!

ДАРЬЯ КИРОВНА. Пожалуйста, Вѣра Борисовна, если капитанъ придетъ сюда, скажите ему, что я домой пошла и буду ждать его. До свиданья, дорогая. Ну, Иванъ Ивановичъ, разстаньтесь наконецъ! *(Беретъ его подъ руку и уходитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ VII.

Людмила. Я невѣста.

ВѢРА. Сдѣлалъ предложеніе?

Людмила. Нѣтъ, я сдѣлала. Онъ бы не посмѣлъ. Я его ужасно люблю за это.

ВѢРА. За что?

Людмила. За то, что онъ меня любить, что онъ простой, живой и весь такой свѣтлый, свѣтлый и... красивый.

ВѢРА. Ну, если любишь, за что бы ни любила,—дай тебѣ Богъ счастья за насъ обѣихъ.

Людмила. Вѣрся, милая... Я хотѣла тебѣ сказать. Мнѣ грустно, мнѣ больно за тебя... особенно съ тѣхъ поръ, какъ... Зачѣмъ ему нужно было явиться сюда?

ВѢРА. Кому?

Людмила. Ты не хочешь со мной говорить? Вѣдь ты знаешь, про кого...

ВѢРА. Людмила, кромѣ мужа я никого не знаю, ни о комъ не думаю, ни о комъ поэтому и говорить не хочу даже съ тобой.

Людмила. Вѣдь это вериги!

ВѢРА. Довольно, Люда, Оставь меня.

Людмила. Ну, изволь, я и прозябла кстати. Жаль, спать не хочется. Теперь бы верхомъ... ночь свѣтлая...

ВѢРА. Что ты сумасшедшая... Въ горы угодить захотѣла?

Людмила. А что-жь? Интересно.

ВѢРА. Ну, хорошо! хорошо! *(Цѣлуетъ ее)*.

Людмила. Эхъ, кабы свое счастье можно было дѣлить пополамъ! Вѣрся, пойдемъ въ четыре руки поиграемъ.

ВѢРА. Хорошо, только не долго. У меня голова болить. Дарья Кировна замучила меня своимъ капитаномъ. Весь послужной списокъ его рассказала и всѣ свои надежды на генеральство.

Людмила. Ну, хоть немножко. Я спать сейчасъ не могу. *(Уходя про себя)*. Ваня, Ваня, милый Ваня... хорошенькое имя. *(Уходитъ. Справа входятъ Глушаковъ и Чарусскій. За сценой переключки часовыхъ)*.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Глушаковъ. Ну, проводни и идите домой, голубчикъ. Ночи свѣжія, а раны этого не любятъ.

Чарусскій. Дайте отдохнуть. Я усталъ отъ ходьбы, да и дома... тоска. *(Садится)*.

Глушаковъ *(подсаживаясь къ нему)*. Все бы сраженія. Не уходились еще.

Ч А Р У С С К І Й. Отъ нихъ-то у меня и тоска. Отдѣлаться не могу отъ нихъ. Чего, чего не дѣлаю, чтобы привыкнуть—не могу.

Г л у ш а к о в ъ. Кто говорить, трудно!

Ч А Р У С С К І Й. А я долженъ. Понимаете? Не могу и долженъ. Какъ это совмѣстить?

Г л у ш а к о в ъ. А зачѣмъ совмѣщать? Исполняйте присягу, а тамъ ужъ Господь разберетъ. Размышленіе въ нашемъ дѣлѣ—плевая штука.

Ч А Р У С С К І Й. Куда жъ мнѣ дѣваться отъ него, если оно мнѣ всю душу проѣло. Какъ я могу не мыслить, когда мысль была моей работой, всей моей жизнью. Бывало, послѣ лекцій Тимоѣя Николаевича весь горишь свѣтлою любовью къ могуществу мысли. За нее рвешься въ бой и рисуешь тебѣ молодая фантазія кровавыя схватки македонскихъ фалангъ во имя цивилизаціи съ темной и дикой силой... А теперь, когда грубо, внезапно, не спросясь, вырвали меня изъ того міра, гдѣ я могъ быть полезенъ людямъ, и велѣли ихъ убивать, я до сумасшествія ясно вижу, какая разница между мыслью и дѣломъ, между тѣнями древнихъ персовъ и живыми людьми, въ которыхъ я долженъ втыкать штыкъ... Не могу! Не военный я человѣкъ.

Г л у ш а к о в ъ. Я васъ въ дѣлѣ видалъ, что вы на себя клеплете? Офицеръ вы храбрый.

Ч А Р У С С К І Й. Легче самому умереть, чѣмъ приносить смерть другимъ.

Г л у ш а к о в ъ. Молодость. Я помню былъ я еще прапорщикомъ, погнали мы партію. Наскочилъ я на какого-то оборванца и подоснулъ на отмахъ. Упалъ. Кровь хлещетъ изъ шеи, глаза мутнѣютъ... Я побѣжалъ дальше и слышу, кто-то въ самое ухо кричитъ мнѣ дивнымъ голосомъ, точно его рѣжутъ. А это я самъ кричалъ за убитого. Такъ-то! А теперь, батенька, такъ привыкъ, что подъ Майюртупомъ спалъ я, а подъ головой, вмѣсто подушки, тѣло Сергѣя Семеныча. Для всѣхъ, голубчикъ, семи смертямъ не бывать, а одной не миновать.

Ч А Р У С С К І Й *(съ тяжелымъ вздохомъ задумчиво)* И подумать, что всегда люди грызутъ, рѣжутъ, губятъ людей, что такъ и надо, такъ и будетъ, никогда это не кончится!.. *(Вздыхнувъ)*. Ужасно!

Г л у ш а к о в ъ. Да, не хорошо, а Божья воля! Ничего не подѣлаешь.

Ч А Р У С С К І Й *(встаетъ съ горящими глазами)*. Нѣтъ, можно! Это не Божья воля! Не это говорить мнѣ вся великая красота, эти могучія покойныя горы. Эти чудные звуки говорятъ не о крови и насиліи, этотъ воздухъ несетъ мнѣ съ небесъ не вражду и злобу, а миръ и покой и любовь. Не мечъ и не штыкъ, но мысль и любовь завоюютъ міръ.

Г л у ш а к о в ъ *(съ большою нѣжностью)*. Что вамъ у насъ дѣлать? Ушли бы въ отставку, да опять за книжки...

Ч А Р У С С К І Й. Поздно, Анастасій Анастасевичъ! Куда я теперь похужу? Товарищей мнѣ не догнать; что я зналъ, почти забылъ, а главное силъ-то ужъ нѣтъ прежнихъ, молодыхъ силъ. Жизнь такъ жестоко, такъ грубо швырнула меня во что-то чужое... Со мною кончено. Прошлое отрѣзано навсегда. *(Молчаніе)*. *(Входитъ Блѣбоборскій и отступаетъ въ тѣнь, увидѣвъ ихъ)*.

Ч А Р У С С К І Й. Это Вѣра Борисовна играетъ?

Глушаковъ. Должно быть.

Ч А Р У С С К І Й. Какъ хорошо! *(Внезапно притаивъ къ плечу Глушакова).*

Глушаковъ. Что, милый, что такое?..

Ч А Р У С С К І Й. Оторвань!.. оторвань... навсегда! *(Глухо рыдаетъ).*

Глушаковъ. О чемъ, Семенъ Петровичъ, голубчикъ?

Ч А Р У С С К І Й. О свѣтлыхъ надеждахъ... о всей жизни... Ну, кончено! Эти лунныя ночи всегда мнѣ дорого стоятъ. Да еще эти звуки. Все всплываетъ. Успокойтесь, капитанъ. Завтра утромъ буду на своемъ мѣстѣ.

Глушаковъ. И слава Богу, милый. Утро вечера мудренѣе. *(Расходятся. Бѣлоборскій подходитъ къ авансценѣ и, скрестивъ руки, садится на паранетъ. Звуки все растутъ сильнѣе и сильнѣе, потомъ внезапно обрываются; онъ вздрагиваетъ, встаетъ, но все въ тьмѣ, и ждетъ, притаивъ дыханіе. Въ дверяхъ показывается Вѣра и Людмила).*

ЯВЛЕНІЕ IX.

Бѣлоборскій. *(еле слышно)* Наконецъ!

Вѣра. *(Людмилѣ)*. Нѣтъ, милочка, больше не могу... У меня голова болитъ.

Людмила *(въ дверяхъ)*. Ну, покойной ночи. И я устала. Я лягу, Вѣруся. Приходи меня перекрестить.

Вѣра. Приду, милочка, только пройдуся немного. Можетъ быть, освѣжусь.

Людмила *(выходя на сцену)*. Хочешь я съ тобой побуду?

Вѣра. Нѣтъ, голубочка, у тебя глазенки слипаются.

Людмила. И то правда. Я ужъ очень много сегодня носилась. Поди-жъ ты! Говорятъ, влюбленные не спятъ. Должно быть, я не влюблена, потому что ужасно спать хочу. Сообщи объ этомъ завтра Ванѣ... Ваня... Ваня... Ваня... Милый Ваня... Правда хорошенькое имя, Вѣрочка? Странно, что раньше я не замѣчала этого. Мнѣ всегда казалось, что имя очень обыкновенное, а теперь... Оно даже романическое: Ваааня... Иванъ Иваанычъ... Нѣтъ, Иванъ Иванычъ хуже... А Иванъ Иванычъ теперь и самъ не спитъ и Корневу не даетъ. Пойду спать и за себя, и за него, и за Корнева. *(Уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ X.

(Вѣра идетъ въ глубину, останавливается тамъ и смотритъ вдаль. Бѣлоборскій выходитъ изъ-подъ деревьевъ и, стоя молча, ждетъ, чтобы она его увидала. Вѣра оборачивается, видитъ его и, невольно вздрогнувъ, отступаетъ. Бѣлоборскій кланяется. Молчаніе. Вѣра, быстро отътихнувъ на поклонъ, идетъ къ себѣ. Онъ заступаетъ ей дорогу. Молчаніе).

Вѣра. Что вамъ нужно, графъ?

Бѣловорскій. Двухъ, трехъ минутъ съ вами наединѣ, чего я не могу добиться двѣ недѣли.

Вѣра. Завтра днемъ.

Бѣловорскій. Нѣтъ, сейчасъ.

Вѣра. Завтра днемъ, говорю я вамъ. Пустите меня.

Бѣловорскій. Вѣра, перейдя черезъ этотъ порогъ, вы услышите выстрѣлъ. Я васъ не пугаю. Я вамъ говорю только свое неизмѣнное рѣшеніе.

Вѣра. Юнкерство!

Бѣловорскій. Я старъ для этого чина. Дайте только высказать вамъ все, что цѣлыхъ два года жжетъ и душитъ меня, и я найду средство навсегда сойти съ вашей дороги, не смущая вашего покоя видомъ смерти. Вѣра! уйдемъ со мной... Прости мнѣ все... Уйдемъ со мной...

Вѣра (*вздвинувъ, невольно отдастъ движеніе къ нему*). Мнѣ... Вы смѣете мнѣ...

Бѣловорскій. Смѣю ли я васъ оскорблять? Да? Вы это хотите спросить? Какое мнѣ дѣло до всѣхъ этихъ оскорбленій, обязанностей, всего, что вы можете сказать мнѣ? Мнѣ нужно тебя, чтобы жить. Только тебя—зачѣмъ же мнѣ думать обо всемъ остальномъ?

Вѣра. Правда. Разъ вамъ нужно что-нибудь для себя, вы больше ничего не хотите знать. Оскорбленій нѣтъ, долга нѣтъ, чести нѣтъ, ничего нѣтъ кромѣ того, что хочется балованному, скучающему, бездушному графу. Нѣтъ, не должно быть воспоминаній обо всемъ пережитомъ, безсонныхъ ночей, тоски, молитвъ, борьбы... Все долой, когда графу угодно развлекаться.

Бѣловорскій. Говори и думай, что хочешь, это все равно. Обвиняй, упрекай, мучай меня, только отдай мнѣ себя.

Вѣра. Еще одно «ты»—я уйду. Слышите? Никакого права на эту близость нѣтъ у васъ. Если къ этому васъ приучили ваши столичные побѣды, то здѣсь вы не на балу, не въ будуарѣ вашихъ великосвѣтскихъ любовницъ. Я честная жена честнаго солдата. Говорите скорѣе, что вамъ нужно отъ меня. Кончимъ сегодня и навсегда обидную для меня таинственность, которую вы установили съ перваго дня вашего пріѣзда. Зачѣмъ самый пріѣздъ? Я уже теперь, я хочу объясненія. Эти полные чего-то взгляды, это молчаніе, эта неумовимая близость мнѣ невыносимы. Вы угнетаете меня. Это безчестно. Вы не любите меня и теперь, какъ не любили раньше, не увѣрайте меня въ этомъ. Я не повѣрю.

Бѣловорскій. Хорошо, пусть это не любовь. Что же это? Я не могу назвать. Я боленъ вами.

Вѣра. Давно ли?

Бѣловорскій. Думаю, что давно, когда еще и самъ не понималъ, что меня влечетъ къ вамъ. Во всей жизни я уже не встрѣтилъ никого, кто былъ бы сильнѣе васъ надо мною. Вашъ бракъ былъ для меня свѣтомъ молніи. Онъ освѣтилъ мнѣ и себя и все, что я въ васъ потерялъ.

Вѣра. Будемъ искренни, графъ. Вы не могли не знать, что этотъ бракъ былъ для меня единственной защитой противъ моей

любви къ вамъ. Я любила васъ сильнѣе, чѣмъ вы думали. Мнѣ надо было отдѣлать себя отъ прошлаго непрístupной стѣной. Прежде, чѣмъ рѣшиться на него, я сломила свою гордость, я глядѣла вамъ въ глаза, передъ вашимъ отѣздомъ, я ждала хоть намека на отдавленную возможность быть вашей женой. Скажи вы мнѣ тогда: жди годы — я бы ждала. Вы это знали. Вспомните же, чѣмъ вы отвѣтили на это... Вспомните вашу картину семьи, вспомните то чувство холоднаго отвращенія, съ какимъ вы рисовали мой рай, всю мою мечту, всю мою надежду—чего мнѣ ждать было? Теперь я вамъ благодарна за это. Когда я ослабѣвала и мысль о васъ съ прежней, неудержимой силой охватывала меня, когда въ слезахъ и въ тоскѣ въ безсонныя ночи я страстно молилась объ одномъ—забыть васъ, передо мною иногда вставала, какъ живая, эта минута и ваше лицо и вашъ голосъ... и этотъ холодъ, который вѣялъ тогда надъ моими мечтами... И я подымалась съ колѣнъ—оскорбленная, сильная, почти одолевшая себя.

Бѣловорскій. Почти!

Вѣра. Да, я лгать не умѣю. Совсѣмъ вырвать прежняго нельзя. Но теперь этотъ прежній и вы—разные люди. И я другая, Валерьянъ Николаевичъ. Все, чего нѣтъ для васъ—честь, долгъ, совѣсть, сильнѣе живеть во мнѣ, чѣмъ молодая, почти забытая любовь. Меня научили здѣсь цѣнить все это и научили не словами, а дѣломъ, жизнью, кровью. Это живеть во мнѣ. И я даже рада, что ваша дерзкая вспышка заставила меня дать самой себѣ отчетъ въ томъ, чего я добилась тяжелой двухлѣтней борьбой. Я даже не прошу васъ утѣшать. Вблизи или вдали я не боюсь васъ больше.

Бѣловорскій. Я это зналъ, Вѣра. Я опоздалъ пріѣхать.

Вѣра. Да, опоздали.

Бѣловорскій. Я опоздалъ бы и тогда, когда хотѣлъ рискнуть всѣмъ и самовольно вернуться въ Петербургъ съ дороги, чтобы вырвать васъ хоть изъ-подъ вѣнца.

Вѣра (*съ отчаяннымъ, сдвоеннымъ звукомъ оборачивается къ нему*). Чтѣ же вы этого не сдѣлали? Какъ же вы могли этого не сдѣлать! Чего вы боялись? Каторги? Я пошла бы за вами... Гдѣ же любовь? О какой любви вы можете говорить? Никогда ея не было, никогда! Или вы боялись, какъ бы вмѣсто романа, который вы играете теперь, вамъ не попасть въ мужья? Боялись свѣтскихъ насмѣшекъ надъ женитьбой на неблестящей, по уши въ васъ влюбленной, засидѣвшейся дѣвушкѣ? Да и стоило ли идти на немилость Двора, на строгое наказаніе, на насмѣшки пріятелей, чтобы получить жену? Вы знали, что грустная судьба приведетъ вашу жертву туда же, гдѣ и вы, что ей не уйти отъ вашихъ рукъ, какъ всякой другой женѣ любого пожилого мужа. И вы навѣрняка рассчитали, что вмѣсто скучной своей жены лучше получить чужую въ... любовницу.

Бѣловорскій. Это безпощадно!..

Вѣра. Гдѣ же ваша пощада? Подумали вы хоть одну минуту обо мнѣ, поняли ли вы, какимъ похороннымъ звономъ былъ для меня благовѣсть моей свадьбы, чтѣ я пережила, отдавая себя не тому, кто былъ царемъ, богомъ моимъ, а чужому... Не говорите мнѣ о любви.

Будетъ честнѣе, если вы скажете, что вы хотите только моего паденія. Это оскорбить меня меньше, чѣмъ ваша любовь.

Бѣловорскій *(бѣшено топнувъ ногой)*. Довольно, Вѣра! Оскорбить тебя или нѣтъ моя любовь — я люблю тебя. Я люблю тебя съ той минуты, какъ потерялъ тебя. Пусть это смѣшно и странно, но въ этомъ правда, только въ этомъ. Знай и то, никогда я не могъ бы любить тебя такъ, какъ теперь, еслибы мнѣ не пришлось брать такъ, какъ возьму теперь. Уѣдемъ со мной, Вѣра.

Вѣра. Оставьте меня.

Бѣловорскій. Вѣра! не страхъ удержалъ меня вернуться и разорвать этотъ проклятый бракъ. Я себя не понималъ, я обезумѣлъ, я потерялся. Я не вѣрилъ, что эта смутная тоска по тебѣ, эта глухая мука и вѣчная, неугомонная мысль о тебѣ — любовь. Она не сразу охватила меня, она росла, вливалась мнѣ въ самое сердце, заслоняла все... Съ каждой новой верстой, которая ложилась между нами, меня все больше и больше давила безумная грусть... Я думалъ разсѣять ее въ опасностяхъ, въ разгульных пирахъ, въ бѣшеной игрѣ своей головой... Я давно уже былъ бы здѣсь, съ тобой, если бы это былъ только капризъ, еслибы я самъ не боролся, какъ ты, еслибы я хотѣлъ только твоей красоты или твоего паденія, еслибы я не жилъ самъ твоими муками, не видѣлъ, какъ на яву твоего сердца, твоей борьбы, еслибы я не жалѣлъ и не боготворилъ тебя...

Вѣра. Ради Бога... ради Бога...

Бѣловорскій. Уѣдемъ, Вѣра. Жизнь одна. Я ошибся, я не понималъ себя, что-жь, значить, ужъ и нѣтъ возврата? Вѣдь ты любишь меня. Такъ прости-же меня. Уѣдемъ за границу. Жена-ли ты, любовница-ли, кто-бы то ни была — ты все для меня, все! Тебя беречь, глядѣть въ твои глаза, выносить твои укоры, ноги твои цѣловать... Вѣра, пожалѣй меня!

Вѣра. Не могу-же, не могу... Отъ грѣха и обмана никуда не убѣжишь. Счастья не можетъ быть.

Бѣловорскій. А здѣсь будетъ счастье?

Вѣра. Уѣзжайте — и будетъ.

Бѣловорскій. Счастье?

Вѣра. Покой.

Бѣловорскій. Мертвый покой монастыря или могилы.

Вѣра. Это лучше грѣха и обмана.

(Брызгинъ показывается на верху, въ окно крѣпости, и слушаетъ до конца).

Бѣловорскій. Вѣра! Скажи мнѣ послѣдній разъ, что ты меня не любишь, и я уѣду. Я пропаду безъ вѣсти и навсегда. Выбирай между мужемъ и мной. Горе и отчаяніе отдало тебя въ его руки, ему было все равно, любишь-ли ты его или нѣтъ, ему было все равно, только-бы взять тебя, освѣжить свою старость. А я беру то, что всегда было моимъ... Если я теперь чужой тебѣ, воскреси все, что ты убивала въ себѣ для него, вспомни меня прежняго, кого ты любила. Вѣдь я тотъ, какимъ ты хотѣла меня видѣть когда-то... Я

молюсь на тебя. Прости мнѣ. Вѣра, я наказанъ больше тебя... Ты побѣдила себя, а я не могу... не могу... *(Рыдаетъ у ея ногъ).*

ВѢРА *(бѣдная, съ глубокой тоской опускаетъ руки на его голову).*
Ты губишь меня... ты губишь меня...

Окликъ часового *(за сценой).* Слуша-а-ай!..
(Брызгинъ скрывается).

ВѢРА *(быстро встаетъ).* Прощайте... Ни слова больше. Если вы скажете одно слово я закричу... я созову людей. Я выберу одна между грѣхомъ и мученьемъ. *(Уходитъ).*

Окликъ часового. Слуша-а-ай!

(Занавѣсъ).

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Комната въ помѣщеніи полковника въ крѣпости. Стѣны выбѣлены известью, обвѣшаны восточными паласами и коврами. Въстодивановъ тахты съ валиками, по стѣнамъ оружіе. Въ окна въ глубинѣ тотъ-же видъ, что и въ предыдущихъ двухъ окнахъ. Направо одна дверь въ кабинетъ полковника. Налѣво двѣ двери: первая—входная, вторая во внутреннія комнаты и въ столовую.

Часовъ шесть вечера слѣдующаго дня.

ВѢРА *(быстро и нервно пишетъ. Входитъ Людмила).*

Людмила. Наши показались, Вѣра.

ВѢРА *(оборачивается).* Кто?

Людмила. Василій Сергѣевичъ и Брискъ. *(Подходя къ окну, смотритъ въ бинокль, взятый со стола).* Они... они... Летятъ—то какъ! Настя, накрой два прибора... Василій Сергѣевичъ ѣдетъ.

Настя *(за сценой).* Сію минуту.

Людмила. Ты папѣ пишешь? Поцѣлуй его за меня, скажи, что я непременно, не-пре-жѣнно напишу скоро. До чего я писать не люблю! За три дня до письма начинаю тожиться. И всѣ пальцы вымажу въ чернилахъ... Да, не пиши ничего объ Иванѣ Ивановичѣ.

ВѢРА *(кончитъ писать).* Я пишу тетѣ. Я хочу ѣхать отсюда на нѣсколько времени къ ней.

Людмила. Вѣра... а я... какъ-же?

ВѢРА. Поѣдешь со мной.

Людмила. А... Иванъ Ивановичъ? А... все это? Опять въ Петербургъ или въ какую-нибудь чумазую деревню! Вѣра, что ты это придумала?

ВѢРА. Я не могу... не могу больше.

Людмила. Чего ты не можешь?

ВѢРА. Я не люблю мужа... Вчера... Людмила, силъ моихъ больше нѣтъ. Я не желѣзная. Пусть я виновата въ томъ, что съ горя, не видя свѣта впереди, пошла за него... Я искупаю этотъ грѣхъ тѣмъ,

что не беру счастья, когда оно такъ полно и такъ... поздно дается мнѣ въ руки. Я отказываюсь отъ него, слышишь, я отказываюсь... Но мнѣ надо отдохнуть отъ этой невыносимой жизни съ чужимъ, далекимъ мнѣ человѣкомъ. Это будетъ ему горемъ,—что дѣлать? У каждого свое.

Людмила (*схватившись за юбку*). Господи, какъ это все ужасно!

Вѣра (*нервно ходитъ*). Я съ ума схожу, съ ума скажу... Опять эта ложь въ сердцѣ, эти поцѣлуи, эти права на каждую минуту твоей жизни... опять эти взгляды, которые точно роются въ твоихъ глазахъ и ищутъ того, чего нѣтъ... Ну, нѣтъ, нѣтъ, что-же мнѣ дѣлать, если нѣтъ? Что? что?

Людмила (*со слезами*). Ради Бога, Вѣра... Объясни мнѣ, что это вдругъ... Такъ все было хорошо, все забыто...

Вѣра. Люда, прости меня... Вѣдь кромѣ тебя никого нѣтъ около меня. Я одна, одна совсѣмъ. Я... меня безумная тоска... Можно ускорить вашу свадьбу... Ну, я подожду немного... (*Входитъ графъ Бѣловорскій. Вѣра, точно въ смертельномъ ужасѣ, откидывается. Людмила ослѣдываетъ и быстро, почти съ ненавистью, взглянувъ на него, выходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Вѣра (*сурово*). Что вамъ нужно здѣсь?

Бѣловорскій. Вашъ мужъ сейчасъ вернется. Я измучился ждать вашего рѣшенія. Вѣра, Вѣра!

Вѣра (*съ мучительнымъ напряженіемъ глядя на него*). Ну, что, что, мука моя? Что? Чего вы ждете отъ меня... Что я вамъ могу сказать? Я обезсиѣла, я ничего не могу...

Бѣловорскій (*набавая къ ней*). Я буду васъ ждать въ Одессѣ... Завтра я посылаю просьбу о годовомъ отпускѣ... Мы уѣдемъ за-границу... Пусть говорятъ про насъ, что хотятъ... Что намъ за дѣло, когда мы вмѣстѣ, вдвоемъ и навсегда? Скажи-же мнѣ, Вѣра, скажи... Да?

Вѣра (*встаетъ*). Нѣтъ.

Бѣловорскій. Вѣра!..

Вѣра. Рѣшеніе мое неизмѣнно. Вашей я не буду никогда, знайте это... Я уѣду отсюда, потому что вы не хотите уѣхать, потому что и я не могу лгать всю жизнь честному человѣку, лгать молча, любя другого... Понимаете? Я не могу. Все равно—я не переживу этого. Идите!

Бѣловорскій (*злобно*). Вѣра, вы играете нашими головами—и моей и его. Я уже потерялъ все въ жизни, кромѣ васъ, и если только онъ, этотъ случайно подвернувшійся мнѣ на дорогѣ человѣкъ, стоитъ между нами, то я его смету съ нея безъ сожалѣнія и пощады.

Вѣра (*дрожа, растерянно*). Не говорите мнѣ этого!.. И думать не смѣйте!.. Мало мнѣ этого презрѣнія къ себѣ за все, что я сдѣ-

лала? Еще быть причиной его смерти... Довольно того, что я обманула его.

Бѣловорскій. Вы его? Черезчуръ у васъ чуткая совѣсть...

Вѣра. Нѣтъ, нѣтъ, графъ... О совѣсти вы мнѣ не говорите... Лучше-бы ея не было. Никакимъ счастьемъ ее не заставишь молчать. Никакой палачъ такъ не можетъ мучить, какъ она меня мучить со вчерашней ночи. Мое счастье пришло полно, но поздно. Мнѣ жаль его, какъ жаль жизни, когда она уходитъ. Я почти готова забыть все. Она одна ничего не забываетъ. Будь онъ жестокъ, подозрителенъ, грубъ, мнѣ было-бы легче, легче въ тысячу разъ. Но его любовь вяжетъ меня... Я не своя... Никто не толкалъ меня подъ вѣнецъ, кромѣ васъ. Мы съ вами подѣлимъ пополамъ все, что себѣ приготовили.

Бѣловорскій. Это безуміе, настоящее безуміе!

Вѣра. Я сама полубезумная, графъ. Развѣ не безуміе такъ отдать все свое сердце одному, какъ я вамъ его отдала? Развѣ не безуміе переживать всѣ эти муки, не видѣть исхода и почти... почти любить ихъ?.. Но уже силъ моихъ не стало въ этой борьбѣ. Я хочу только покоя... и одиночества. Прощайте. *(Отворачивается)*.

Бѣловорскій. Не совѣсти вы боитесь, а свѣта. Въ васъ нѣтъ жалости.

Вѣра *(быстро повернувшись къ нему, смотритъ на него въ упоръ съ упрямомъ и страданіемъ)*.

Бѣловорскій. Не смотри такъ: мнѣ ни тебя, ни себя не жаль. Я убить тебя готовъ!

Вѣра. Такъ убей!

Бѣловорскій. И радъ-бы, да духу не хватитъ. *(Входитъ Людмила)*.

Людмила *(не глядя на нихъ, подходитъ къ окну)*. Вѣхали въ ворота. *(Вѣра быстро уходитъ. Бѣловорскій идетъ за ней)*.

ЯВЛЕНІЕ III.

Людмила *(заступая ему дорогу)*. Графъ, какъ васъ назвать?

Бѣловорскій *(безсознательно глядя на нее)*. Что?

Людмила. То-есть, я знаю какъ. Но не рѣшаюсь сказать. Можетъ быть, вы сами найдете себѣ имя и избавите меня отъ неудобнаго слова.

Бѣловорскій *(усмѣхнувшись)*. Знаете, Люда, это похоже на вызовъ.

Людмила. О, еслибъ я только могла! Да что! Я и теперь могла-бы, да вы не примете. А съ какимъ-бы я удовольствіемъ пробила вашъ бѣлый лобъ. Вотъ ужъ рука-бы не дрогнула!

Бѣловорскій *(шутя глядитъ на нее, хочетъ взять ее за руки)*. За что, ангелъ съ мечомъ?

Людмила *(вспыхнувъ, выпрямившись и сверкнувъ на него глазами)*. Не трогайте меня! Дьяволъ! *(Входитъ Олѣгъ, весь въ пыли, съ Вѣрой; за ними Захаровъ)*.

ЯВЛЕНІЕ IV.

Олтинъ (*обнявъ Вѣру*). Такъ и велѣлъ передать: расцѣлуйте ручки Вѣрѣ Борисовнѣ и скажите, что я по ней скучаю. (*Людмила*). А, вѣтеръ, здравствуй! И тебѣ отъ князя посланка: пять фунтовъ щеколаду. Вспомнилъ, какъ ты ему жаловалась, что въ крѣпости нѣтъ, онъ и поручилъ казаку привезти изъ Тифлиса. Здравствуйте, дорогой графъ. (*На ухо къ нему*). Поздравляю съ походомъ въ ночь!

Бѣловорскій (*кланяясь*). Слушаю-съ, полковникъ. (*Идетъ къ дверямъ*).

Олтинъ (*ему вслѣдъ*). Пожалуйста, графъ, зайдите черезъ полчаса. Я вотъ только умоюсь, а то глаза пыль выѣла. Да если встрѣтите ротныхъ, посылайте ко мнѣ немедленно. (*Отходитъ въ глубину и кладетъ папаху*).

Бѣловорскій. Слушаю-съ... (*Останавливается около Вѣры*).

Вѣра (*тихо ему*). Уходите. Я за себя не отвѣчаю. (*Онъ уходитъ*).

Людмила (*сквозь зубы*). Пропали ты!

ЯВЛЕНІЕ V.

Олтинъ (*цѣлуя жену*). Ну, какъ безъ меня? Все благополучно? Вѣра. Д-да.

Людмила. Не совсѣмъ. Я замужъ собралась.

Олтинъ О! Чтѣ-жъ такъ, съ налету?

Людмила. Да такъ вотъ случай вышелъ...

Олтинъ. Улынь?

Людмила. Конечно. (*Захаровъ улыбается*). Ты чего дѣдушка Захаръ?

Захаровъ (*опять скорчивъ суровую рожу*). Никакъ нѣтъ-съ. Про вчерашнее.

Людмила. А твое вчерашнее (*Захаровъ дѣлаетъ знаки укоризненнаго характера и неодобрительно качаетъ головой*).

Олтинъ (*Захарову*). Умыться приготовь.

Захаровъ. Слушаю, ваше высокоблагородіе. (*Проходитъ въ кабинетъ*).

Людмила (*задумчиво*). Вотъ и мнѣ крышка, какъ говоритъ Дарья Кировна, потому что я согласна и влюблена. Какъ это у меня вышло, я сама не понимаю.

Олтинъ (*хохочетъ*). Ну, не вѣтеръ? скажите, пожалуйста!

Людмила. Послала за нимъ, отъ скуки, а оно вонъ чѣмъ кончилось. (*Тихо выпроваживая Вѣру*). Уйди ты, оправься... Ты на себя не похожа. (*Олтинъ стягиваетъ запяленные грязныя перчатки*).

Вѣра (*внезапно оборачивается у дверей*). Василій Сергѣевичъ!

Олтинъ Чтѣ, Вѣрочка? (*Людмила замираетъ*).

Вѣра. У меня есть просьба...

Олтинъ Говори скорѣе. Можетъ быть, успѣемъ исполнить. Надо тебѣ сказать, черезъ два часа, какъ стемнѣетъ, мы выступаемъ на соединеніе съ отрядомъ князя.

ВѢРА. Какъ! Сейчасъ! Боже мой! Всегда эти сюрпризы. Никогда не ждешь, никогда не успеешь приготовиться къ мысли...

Олтинъ. Чего ты всколыхнулась? Ничего нѣтъ опаснаго, просто военная прогулка. Эхъ, ты! Ну, а ты, коза, также за своего прапорщика будешь трястись каждый разъ? Я вѣдь его съ собой ужъ возьму, съ вашего позволенія.

Людмила. Съ собой?

Олтинъ. Надо-жъ ему хоть подпоручика получить, а то, сама знаешь, курица не птица, прапорщикъ не офицеръ.

Людмила (*вздыхая*). Да, чинъ не великъ на его благородіи.

Олтинъ. Очені-то влюбляться, положимъ, я тебѣ не совѣтую. Коли убьютъ молодого мужа, да любимаго — скверно, братъ. Послѣ стараго все не такъ трудно, не говоря ужъ о пенсіи. Ха-ха

ВѢРА. Лучше горе послѣ большого счастья, чѣмъ и жизнь не въ радость и горе въ горе.

Олтинъ (*вздвигнувъ*). Какъ?

Людмила (*вся дрожа*). Правда, ВѢРА. Лучше потерять любимаго мужа, чѣмъ жить съ нелюбимымъ.

Олтинъ (*серьезно*). Что ты мнѣ хотѣла сказать, ВѢРА?

ВѢРА. Когда ты вернешься?

Олтинъ. Я надѣюсь черезъ два дня. Экспедиція не дальняя. Всего верстъ за двадцать.

ВѢРА. И никакой... ни малѣйшей опасности? Честное слово?

Олтинъ. Да перестань, ты, трусишка. Говорю, никакой... Что-жъ ты хотѣла сказать?

ВѢРА (*послѣ молчанія*). Когда вернешься. (*Уходитъ. Людмила обмеченно вздыхаетъ*).

Олтинъ (*подумавъ, пожимаетъ плечами*). Что такое? (*Повеселѣвъ*). Какъ она себя чувствуетъ, Люда?

Людмила. Нервничаетъ все, капризничаетъ.

Олтинъ. Съ чего-жъ такъ сразу... (*Радостно*). Да неужели... Господи, вотъ-бы счастье!..

Людмила. Что такое?

Олтинъ (*все весело*). Рано понимать, ваше благородіе! Рано понимать. Гдѣ-жъ твой плѣнникъ? Посмотрѣть-бы на эту веселую рожу! Экой чудакъ! Самъ съ лица чисто барышня, а туда-же... (*Ултинъ быстро входитъ и, увидѣвъ полковника, очень смущенно ретируется*). А! Добро пожаловать. Вы что это затѣваете, прапорщикъ? а?

ЯВЛЕНІЕ VII.

Ултинъ (*поглядывая на Людмилу*). Желалъ-бы жениться, полковникъ.

Олтинъ. А молоко на губахъ обсохло?

Ултинъ. Такъ точно, полковникъ.

Олтинъ. Никакъ нѣтъ, ваше благородіе.

Людмила. Я ему говорила... Напрасно онъ всю ночь Корневу спать не давалъ.

Олтинъ. И не страшно вамъ на такомъ козырѣ жениться, а? Ей-бы не Людмилой, а Русланомъ родиться.

Людмила (*живая молодой*). Вотъ что умные люди говорятъ. Вѣрно, Иванъ Ивановичъ, ей-Богу, вѣрно. И я что-то ужъ не чувствую къ вамъ вчерашней любви.

Ульинъ (*испуванно*). Отчего?

Людмила. Днешъ вы какой-то... желтенькій... какъ цыпленокъ... И молоко.

Ульинъ (*полковнику*). Василий Сергѣевичъ, сдѣлайте Божескую милость, дайте мнѣ какое-нибудь опасное порученіе!

Людмила (*настороживъ уши*). Какое вамъ еще опасное порученіе? Чтѣ это за вздоръ такой? Это Корневъ...

Ульинъ. Нѣтъ, не вздоръ, Людмила Борисовна, и Эсперъ ничего не говорилъ про это. А я и самъ чувствую, что пока я незамѣтная тварь, вы меня уважать не будете... Коли-же я окажусь боевымъ офицеромъ, тогда ужъ...

Людмила. Да я вовсе...

Олтинъ. Нѣтъ, милочка, онъ правъ совершенно. Идешь замужъ за солдата, такъ нечего нюнить, да впередъ заглядывать. Будь всегда готова встрѣтить мужа живымъ и мертвымъ. У насъ день сегодняшний, а о завтрашнемъ думать нельзя. И жены наши должны жить по тому же регламенту. Правда, ваше благородіе?

Ульинъ (*восторженно*). Такъ точно, г. полковникъ.

Людмила (*образя ея*). Такъ точно г. полковникъ! Уродъ этакой.

Олтинъ (*Ульину*). Вашу просьбу я скоро исполню. Какъ она за васъ недѣльки двѣ помучится, не зная, гдѣ вы, да живы ли, да какъ всѣ глава проглядитъ, не идетъ ли отрядъ, да какъ кинется встрѣчать васъ за крѣпостныя ворота, еле пыль покажется, вотъ какъ влюбится, глазъ не сведетъ!

Ульинъ. Такъ точно, г. полковникъ.

Людмила (*въ сильномъ волненіи*). Ахъ, Боже мой! И такъ всю жизнь?

Олтинъ. Вотъ Вѣра у меня молодецъ! Амазонка! Бери съ нея примѣръ. У! Кова! (*уходитъ въ кабинетъ*).

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Ульинъ (*ходитъ по комнатѣ*). Вотъ именно! Вотъ именно!

Людмила. Чтѣ именно? чтѣ именно? что я кова?

Ульинъ. Да нѣтъ, не то! А вотъ, чтѣ говорилъ полковникъ...

Людмила. И вы воображаете, что я для какого-нибудь мальчугана стану все это переживать? Да никогда въ жизни! Ни за чтѣ! Вотъ спасибо братцу, что онъ меня предупредилъ! Вотъ ужъ спасибо!

Ульинъ. Опять пережѣна?

Людмила (*взвѣшаванно*). Ну, скажите, пожалуйста. Онъ тамъ будетъ гарцовать, джигитовать, геройствовать, а я за него и не спи, и не ѣшь, и глаза всѣ прогляди. Какой вы военный? Вы можете быть отличнымъ засѣдателемъ.

Ульинъ. Ну, ужъ извините!

Людмила. Скажите, какъ весело одной дома сидѣть да ждать! Тутъ никакая твердость не поможетъ! Я нетерпѣливая. Мнѣ надо, чтобы вы всегда были подъ рукой, а тутъ... Нѣтъ, Ваничка, извините...

Ульинъ (*убитымъ голосомъ*). За что съ?

Людмила. Ну, вотъ мнѣ васъ даже теперь жалко, что-жъ, это тогда будетъ? Да я высохну. Я зачахну. Нѣтъ, я рѣшила!

Ульинъ. Что вы рѣшаете?

Людмила. Давайте, рассудимъ. За кого больше боитесь, за любимаго или за простого мужа?

Ульинъ. За любимаго.

Людмила. Значить, за кого надо выходить? За простого мужа, котораго, если и жаль, такъ такъ, просто, какъ всякаго. Вѣдь правда?

Ульинъ. Нѣтъ.

Людмила. Какъ нѣтъ?

Ульинъ. Мнѣ на васъ жениться гораздо страшнѣе, чѣмъ вамъ идти за меня, потому всѣ въ васъ будутъ влюбляться. И все-таки мнѣ лучше хочется жениться на васъ, чѣмъ, напримѣръ, на Дарѣй Кировнѣ. Ей-Богу, я честно рассудилъ, какъ себѣ, такъ и вамъ.

Людмила. Ну, какъ же не застѣдатель! Чистый старый крючокъ! Нѣтъ, вы опасный. Вы хитрый. Э-э... еще надо подумать...

Ульинъ (*пламенно и рѣшительно*). Нѣтъ, ужъ шабашъ! Думать тутъ нечего! Моя! (*обнимаетъ ее и целуетъ*).

Людмила. Ахъ!.. Какой сильный! (*Ежится*). Иванъ Ивановичъ, не смѣйте такъ сразу... (*Проходитъ къ дверямъ, останавливается*). Скажите, какой воинственный! (*Уходитъ. Ульинъ побѣдоносно ходитъ, покручивая усы. Входитъ Бристъ въ походной формѣ, очень правильной и чистой*).

ЯВЛЕНІЕ IX.

Бристъ. Полковника нѣтъ?

Ульинъ (*восторженно, и побѣдоносно нѣсколько наростъ*). Никакъ нѣтъ, никакъ нѣтъ!

Бристъ. Что съ вами, прапорщикъ Ульинъ?

Ульинъ (*перемѣнивъ тонъ*). Ничего особеннаго, Иванъ Густавовичъ.

Бристъ. Вы бы лучше подумали о своемъ взводѣ, чѣмъ сочинять какія-то странныя пѣсенки: никакъ нѣтъ... никакъ нѣтъ. Съ первой темью мы выступаемъ.

Ульинъ. Не можетъ быть!

Бристъ (*поднимая брови*). Когда я говорю это,—не только можетъ быть, а и есть. (*Подходитъ къ кабинету*). Василій Сергѣевичъ!

Олтинъ (*за сценой*). Что, Иванъ Густавычъ?

Бристъ. Ну, умывайтесь, умывайтесь. Я буду ждать васъ въ столовой. (*Уходя, Ульину*). Съ вами что-то особенное, прапорщикъ, совѣтую вамъ наблюдать за собой.

Ульинъ. Я женюсь, Иванъ Густавычъ.

Бристь (*поглядывая на нею, спокойно*). Не вижу въ этомъ никакихъ причинъ, чтобы распѣвать свои отвѣты на вопросы старшихъ.

Ульинъ. Иванъ Густавычъ, что же вы не спросите, на комъ?

Бристь. Не имѣю привычки утруждать ко́го бы то ни было нескромными вопросами.

Ульинъ. На Людмилѣ Борисовнѣ.

Бристь. Не надѣюсь, чтобы она измѣнила къ лучшему вашъ легкомысленный характеръ. Впрочемъ, поздравляю! (*Уходитъ*).

Ульинъ (*идетъ за нимъ*). Какъ бы проститься съ Людой... (*Шепотомъ въ дверь*) Людмила Борисовна!... (*Дѣлаетъ ей знаки*) Не слышать. Люд... (*Входитъ Олтинъ съ Захаровымъ*).

ЯВЛЕНІЕ X.

Олтинъ (*озабоченнымъ голосомъ*). Прапорщикъ Ульинъ! (*Она быстро оборачивается и вытягивается*). Извольте поторопиться явиться ко мнѣ командировъ всѣхъ четырехъ ротъ, хорунжаго Перервенка и графа Бѣлоборскаго по экстренному дѣлу. Приготовьтесь къ выступленію съ заходомъ солнца.

Ульинъ. Слушаю-съ, полковникъ. (*Идетъ въ столовую*).

Олтинъ. Проститься еще успѣете. Маршъ, куда приказано! (*Ульинъ безропотно уходитъ въ первую дверь*). Перегляди заряды въ лядункѣ. Пашку отточи вострѣе.

Захаровъ. Отточена вчера, ваше высокоблагородіе.

Олтинъ. Пистолеты аглицкіе. Пашку даргинскую.

Захаровъ. Завсегдашнюю отпустилъ, ваше высокоблагородіе. Мнѣ въ походъ прикажете, ваше высокоблагородіе?

Олтинъ. Нѣтъ. Останешься при Вѣрѣ Борисовнѣ.

Захаровъ. Обидно, ваше высокоблагородіе. Что-жъ я буду дамовъ стеречь? Скучно.

Олтинъ. Ворчи, ворчи.

Захаровъ. Или ужъ прикажите, чтобы Настасъ за меня замужъ шла.

Олтинъ (*изумленно*). Что-о? А! Женихъ! Женихъ! Ха, ха, ха.

Захаровъ. Что-жъ, ваше высокоблагородіе, всякому пріятно. Вы женатый и денщикъ при васъ долженъ быть женатый.

Олтинъ. Что-жъ она?

Захаровъ. Брыкается, ваше высокоблагородіе.

Олтинъ. Такъ ты ей сперва понравься.

Захаровъ. Я ей нравлюсь, ваше высокоблагородіе, только она меня боится.

Олтинъ (*замываясь хохотомъ*). Ну, братъ Захаровъ, ты лучше самъ съ рожи будь поласковѣй, да не пугай дѣвку, можетъ, она и безъ приказанія поидетъ. А то ишь ты страшилище какое! Одни усищи, что твой конскій хвостъ.

Захаровъ. Слушаю-съ, ваше высокоблагородіе.

Олтинъ (*уходя въ столовую съ хохотомъ*). Женихъ! Каковъ! Ха-ха-ха. Доложи, какъ господа офицеры пожелуютъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ XI.

ЗАХАРОВЪ (*мрачно и задумчиво идетъ въ кабинетъ, выноситъ оттуда шашку, пистолеты и ядунку. Все это кладетъ на столъ. Достаетъ изъ ядунки патроны и ошлядываетъ. Потомъ начинаетъ пить, стараясь, чтобы выходило потяжкнѣ*):

Вельяминовъ генералъ
Кабардинцамъ приказалъ:
„Я васъ, братцы, не забуду,
Не забуду николи“.

(*Входитъ Корневъ, Вотяковъ и эсаулъ Перервенко, высокій казачій офицеръ съ огромнымъ пластыремъ на глазу*).

ЯВЛЕНІЕ XII.

Вотяковъ. Ужъ говорю вамъ, навѣрное въ походъ. Видите, Захаровъ амуницію приволокъ.

Корневъ. Захаръ Иванычъ, въ самомъ дѣлѣ?

Захаровъ. Не могимъ знать. Секретъ. (*Уходитъ*).

Перервенко (*сидя въ креслѣ*). Добре! Походъ такъ походъ. Пора. И коняки застоялись и казаки запьянствовали.

Корневъ. А у меня, господа, голова, какъ послѣ полкового праздника. Этотъ жасминъ жасминовичъ всю ночь у меня пресидѣлъ, изливалъ свои чувства. Перебѣсились, ей Богу, всѣ тутъ! Не крѣпость, а какой-то пикникъ завели.

Вотяковъ (*хлопнувъ его по плечу*). Завидно?

Корневъ (*покраснѣвъ*). Вотъ уже совершенно не нуждаюсь. Плевать я хотѣлъ на всѣ эти ранде-ву. (*Входитъ Бѣлоторскій*).

Вотяковъ. Врешь, Корневъ.

Корневъ. Пусть этимъ занимаются петербургскіе фазаны, да наши жасмины, а я ужъ дѣломъ займусь.

Перервенко. Якимъ діломъ, безпутная голова?

Корневъ. Ужъ я знаю.

Вотяковъ. Ничего ты не знаешь.

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Бѣлоторскій (*подходя въ упоръ къ Корневу*). Чѣмъ занимаются петербургскіе фазаны?

Корневъ (*не находя, что сказать*). Какіе фазаны?

Бѣлоторскій (*стиснувъ зубы, отчетливо*). Я сегодня не расположенъ шутить, поручишь, хотя ваша пышная фізіономія невольюно располагаетъ къ шуткамъ. Вы изволили упомянуть о Петербургѣ, откуда въ этой мѣстности я одинъ. Такъ извольте знать, что фазановъ тамъ не водится, а есть люди, умѣющіе ошипать индѣйскихъ пѣтуховъ.

КОРНЕВЪ (*зажмурясь отъ волненія, не зная, что сказать*). Вотъ что... Который... (*Не находитъ словъ*) Вы мнѣ дадите удовлетвореніе...

БѢЛОВОРСКІЙ (*поклонился и отошелъ*).

ВОТЯКОВЪ. Господа, это не годится!

ПЕРЕРВЕНКО. Да нехай ее къ бісу вашу дуэль. (*Входитъ Глушаковъ и Чарусскій*).

ЯВЛЕНІЕ XIV.

ГЛУШАКОВЪ (*въ дверь*). Идите къ дамамъ, Дарья Кировна. Вѣдь васъ не звали. (*Плотно притворяетъ за собою дверь*). Здравствуйте, господа. (*Всѣ здороваются*). Должно, походъ?

ВОТЯКОВЪ. Должно быть. (*Входитъ Олтинъ; за нимъ Бристъ*).

ЯВЛЕНІЕ XV.

ОЛТИНЪ (*здороваясь*). Добрыя вѣсти! Добрыя вѣсти, господа!

БРИСТЪ (*въ дверь*). Настенька. (*Входитъ Настя, за ней улыбающийся, насколько можетъ, Захаровъ*). Милая, напои котеночка молокомъ тепленькимъ.

НАСТЯ. Слушаю-съ, Иванъ Густавычъ.

ЗАХАРОВЪ (*протягивая руки къ Настѣ*). Дозвольте, я животное донесу, Настасья Герасимовна.

БРИСТЪ. Не трогать! Не трогать! Настя, не давай ему!

НАСТЯ. Не дамъ, Иванъ Густавычъ! (*Захарову, уходя*) Что это вы сегодня какіе веселые, Захаръ Ивановичъ!

ЗАХАРОВЪ. Завсегда можемъ, Настасья Герасимовна. Кунь! (*Наставляетъ ей рогульку въ спину, какъ бы желая пощекотать*).

НАСТЯ. Ай!

ЗАХАРОВЪ (*сурово*). Васъ забавляютъ, а вы пищите. (*Настя уходитъ*).

ОЛТИНЪ. Захаровъ! Запри дверь и никого не пускай.

ЗАХАРОВЪ. Слушаю-съ, ваше высокоблагородіе. (*Уходитъ*).

ОЛТИНЪ. Господа, назначена экспедиція. Нашъ батальонъ выступаетъ, какъ стемнѣетъ, съ пятью сотнями казаковъ и четырьмя горными орудіями. Сухарей забрать на три дня. Сигналъ безъ горнистовъ, шепотомъ. Обоза не будетъ, конные вьюки. Лошадямъ казачьихъ сотенъ ноги закутать.

ПЕРЕРВЕНКО. Слухаю, г. полковникъ.

ОЛТИНЪ. Дѣло важное, господа. Въ Гени самъ Шамиль съ двумястами значковъ, съ орудіями. До Гени около двадцати пяти верстъ. Пройти ихъ надо въ пять часовъ до свѣту.

ГЛУШАКОВЪ. Ходили въ 46-мъ.

ВОТЯКОВЪ. Коли дорога не очень скверная, можно.

ГЛУШАКОВЪ. Дорога прямо сказать—проклятая. Вонъ вьется. А пройти можно.

БРИСТЪ. Можно ли, нельзя ли, а надо.

КОРНЕВЪ. Конечно, можно.

Олтинъ. По прибытіи на мѣсто весь батальонъ укроется въ лѣсу по сю сторону оврага. Я буду находиться при ротѣ капитана Глушкова. Мы послѣдовательно сдѣлаемъ рядъ, а такъ на непріятельскіе завалы и должны продержаться до появленія въ непріятельскомъ тылу главнаго отряда князя, чего бы не стоило. Слышите, господа... *чего бы ни стоило.*

Офицеры. Слушаю-съ, полковникъ... Будетъ исполнено.

Олтинъ. Хотя до послѣдняго человѣка. Князь въ наши руки отдастъ судьбу всего своего отряда. Если этотъ отрядъ замѣтятъ раньше его появленія на высотахъ, то перебьютъ по одиночкѣ всѣ двадцать два батальона. Мы на себя должны обрушить всѣ силы Шамиля и, въ надеждѣ на помощь Божію, продержаться до князя, пока останется хоть одинъ зарядъ. Совѣтую субалтерновъ и фельдфебелей посвятить въ цѣль движенія, дабы они могли въ случаѣ чего насъ замѣнить съ успѣхомъ.

Офицеры. Постараемся.

Олтинъ. Капитанъ Бѣлоборскій приметъ начальство надъ крѣпостью и гарнизономъ.

Бѣлоборскій (*помолчавъ*). Позвольте идти съ отрядомъ, полковникъ.

Олтинъ. И радъ бы, графъ, да не могу. Некого оставить.

Глушakovъ. Поручикъ Чарусскій плохо оправился отъ раны. Семень Петровичъ, замѣните графа.

Чарусскій (*вздрыгнулъ*). Н... нѣтъ, я не согласенъ.

Глушakovъ. Вы всего два дня, какъ выходите...

Чарусскій (*блѣдный, весь дрожа*). Стыдно вамъ... стыдно... Не ожидалъ отъ васъ, капитанъ, не ожидалъ...

Глушakovъ. Извините, голубчикъ, ради Бога. (*Тихо*) Я думалъ услужить.

Чарусскій. Убѣдительно прошу васъ, полковникъ, не мѣнять своего назначенія. Вы меня знаете въ дѣлѣ...

Олтинъ. Еще бы, Семень Петровичъ! Видите, графъ?

Перегривенко. Чего-жъ долго сгадувать? Покинемъ нашего стараго майора Иванченко. Винъ даромъ, что съ пострѣломъ, а дуже здорово осидится, коли яку ни на есть нечисть нанесе. И орудія винъ знае, не дуже подполковника Брыся.

Брысь (*покойно*). Вѣрный и опытный человѣкъ.

Глушakovъ. А похода ему съ его ревматизмами не вытянуть.

Олтинъ. Хорошо. Присоединитесь, графъ, къ ротѣ поручика Чарусскаго. Ну-съ, господа, готовьтесь съ Богомъ! Капитанъ Глушakovъ, извѣстите лѣкаря. Онъ съ нами!

Глушakovъ. Слушаю-съ, полковникъ. (*Достаетъ конвертъ*). Подрядчикъ Брызгинъ высланъ съ оказіей согласно вашему приказанію сегодня утромъ. Передъ выѣздомъ онъ поручилъ мнѣ передать вамъ этотъ конвертъ въ собственныя руки.

Олтинъ (*беря конвертъ*). А чортъ его дері! Какія у меня съ нимъ переписки! Постойте, господа, можетъ быть, это повтореніе конверта поручика Чарусскаго. (*Вскрываетъ конвертъ*). Слава Богу, безъ

вложеній. *(Читаетъ вслухъ)*. «Полковникъ, я прощаю вамъ ваше вчерашнее оскорбленіе, какъ благородный человѣкъ, цѣня ваши высокія доблести»... Мерзавецъ! «Но сердце мое обливается кровью, видя опозоренн...». *(Замокаетъ, пробѣгаетъ письмо дальше и, побавровѣвъ, почти разрываетъ тугой воротъ своего сюртука, оборачивается, глядя въ упоръ налившимися кровью глазами на Бѣлоборскаго, который сперва отвѣчаетъ недоумывающимъ взглядомъ, потомъ, внезапно догадавшись, смертельно поблѣднѣвъ, отступаетъ на шагъ и опускаетъ голову. Брискъ съ безпокойствомъ подходитъ. Всѣ изумлены)*.

Олтинъ *(хрипло)*. Извольте идти, господа... по своимъ мѣстамъ... и готовиться... *(Всѣ уходятъ. Олтинъ еще перечитываетъ письмо, потомъ идетъ къ двери, куда всѣ вышли)*. Графъ Бѣлоборскій! *(Бѣлоборскій входитъ обратно)*.

ЯВЛЕНІЕ XVI.

Олтинъ. Вы поняли все?

Бѣловорскій. Понялъ.

Олтинъ. Мнѣ некогда драться съ вами теперь. У меня служба. Она важнѣе и васъ, и ее, и меня. Чтò было между вами?

Бѣловорскій. Полк....

Олтинъ *(въ бѣшенствѣ)*. Чтò тутъ за нѣжности! Изъ-за угла обезчестить человѣка можно, обольстить женщину можно, а заговорилъ объ этой низости—такъ деликатничай. Я не шутъ, Своимъ именемъ я ваши любовныя похожденія прикрывать не стану. Не для роговъ моя сѣдая голова! Отвѣчай прямо: чтò было между вами или, клянусь Богомъ, я изрублю васъ на мѣстѣ, безъ поединка, безъ сожалѣнія, какъ послѣдняго вора!

Бѣловорскій *(пожавъ плечами)*. Вы съ ума сошли!

Олтинъ *(съ страшной силой схвативъ его за руку, хриплымъ шепотомъ)*. Графъ! Не на того попалъ! Я грозить попусту не умѣю. Я церемониться не привыкъ, когда со мной не церемонятся.

Бѣловорскій. Если вы вѣрите доносамъ...

Олтинъ. Я вѣрю тому, что вы, какъ преступникъ, помертвѣли отъ одного моего взгляда на васъ. Видно, легче смѣяться за глаза надъ обманутымъ мужемъ, чѣмъ встрѣтиться съ нимъ лицомъ къ лицу. Я хочу знать правду или вы живымъ не выйдете...

Бѣловорскій. Подъ этой угрозой я говорить не стану.

Олтинъ *(не помня себя, почти обнажаетъ шашку)*. Эхъ ты!.. *(Овладевъ собою)*. Счастье ваше, что я еще помню себя... Извольте идти. Встрѣтимся завтра послѣ дѣла, если Богъ не разсудитъ насъ раньше.

Бѣловорскій *(послѣ молчанія)*. Я давно люблю Вѣру Борисовну. Еще до васъ я дѣлалъ ей предложеніе. Она мнѣ отказала. Вчера я заставилъ ее выслушать меня подъ угрозой убить себя. Я умолялъ ее бѣжать со мной. Она мнѣ отказала. Я одинъ виноватъ передъ вами. Малѣйшее подозрѣніе въ ея виновности будетъ съ вашей стороны незаслуженнымъ и недостойнымъ васъ оскорбленіемъ.

Олтинъ. Лжете!

Бѣловорскій (*выпрямившись и сверкнувъ глазами*). Неблагодарно оскорблять меня, зная, что я немедленно не могу смыть оскорбленія.

Олтинъ. Еслибъ я съ вами поссорился за кутежомъ или карточнымъ столомъ, или изъ-за какой-нибудь феи, я бы всѣ ваши тонкости сумѣлъ исполнить не хуже любого маркиза. Но вы для меня разбойникъ,—слышите, графъ? Я вамъ отворилъ двери моего дома, вы за это ограбили меня и съ вами чиниться не стану и не хочу. Передъ дѣломъ нѣтъ поединка. Извольте идти къ своей командѣ, а тамъ будетъ видно.

Бѣловорскій. Ваша правда. Видно будетъ. (*Кивнувъ головой, выходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ XVII.

Олтинъ (*проводитъ его взглядомъ, идетъ къ дверямъ жены*). Вѣра Борис... (*Ему на встрѣчу изъ столовой входитъ Бристь*).

Бристь (*пристально глядя на Олтина*). Полковникъ! (*Олтинъ вздрогнулъ, отвернувся*). Я велѣлъ лафетныя колеса обмотать: грохоту меньше.

Олтинъ. Попробуемъ. Черезъ Бешанское ущелье придется на людяхъ перевозить.

Бристь. На людяхъ (*Молчаніе. Пристально глядя на него*)... Не будетъ никакихъ распоряженій?

Олтинъ (*разсѣянно*). А? Распоряженій? Какихъ же? Строиться еще рано. Я осмотрю отрядъ такъ черезъ полчаса. Если что замѣчу... (*Ходитъ по комнатѣ. Бристь не сводитъ съ него глазъ*). Ну, что вы на меня глядите?

Бристь. Ничего. Я думалъ, не нуженъ ли я вамъ... для чего-нибудь?

Олтинъ (*отрывисто*). Нѣтъ.

Бристь. Я бы предпочелъ васъ видѣть болѣе спокойнымъ передъ серьезнымъ дѣломъ.

Олтинъ. Какого вамъ еще нужно покоя? Что вы ходите вокругъ меня и въ чужой душѣ роетесь? Вѣдь это невыносимо, Иванъ Густавовичъ.

Бристь (*идетъ къ дверямъ*).

Олтинъ. Погоди, Бристь. У насъ былъ уговоръ, когда мы помѣнялись оружіемъ, не говорить «ты» другъ другу, пока душа не запроситъ, чтобы не дѣлать изъ нашей дружбы пьянаго панибратства. Крещены мы съ тобой вмѣстѣ свинцомъ и желѣзомъ, дѣлили и горе, и радость, и бой, и палатку, и черствый сухарь. А вотъ, какъ я женился, точно мы дальше стали. Правда?

Бристь. Съ внѣшней стороны... и больше съ твоей.

Олтинъ. Ничего не подѣлаешь... Сказано: «оставь отца и мать и прилѣпись»... Вотъ я и прилѣпился. Надоѣло, должно быть, бобылемъ жить, походы ломать, да чихирять съ казаками по станіцамъ. Захотѣлось семьи, тихой ласки. Нѣтъ, братъ, вольная жизнь

лучше всего. По крайней мѣрѣ, не ноетъ сердце, какъ раненая кость къ ненастью. Или ужъ женился бы смолоду: и любили бы вмѣстѣ и старились бы вмѣстѣ. А то — сѣдина въ бороду, бѣсъ въ ребро. Не угодно ли, чтобы соловьи пѣли, розы благоухали, а молодая гурія глазъ не сводила съ тебя! Дудки, братья! Есть и получше, на что поглядѣть.

Бристь. Ты какое письмо получилъ?

Олтинъ. Догадался? Да какъ же не догадаться, когда я передъ всѣмъ батальономъ себя сдержать не могъ: заколотило меня, какъ въ лихорадкѣ. Да чего ужъ тутъ кривляться, да прятаться, когда, небось, давно ужъ на меня всѣ пальцами показываютъ, только я самъ сижу, какъ филинъ передъ огнемъ, и ничего не вижу. Эхъ, дуракъ, дуракъ! Слушай, Бристь! Давно идутъ разговоры да шуточки про...?

Бристь. Про что?

Олтинъ. Про мать командиршу?

Бристь (*весь взоромъ, почти съ крикомъ*) Ошалѣлъ ты, безумный!

Олтинъ (*порывисто*) А что-жъ, не ошалѣешь, по твоему? Взяли да грязью...

Бристь. Хорошо!

Олтинъ. Да ужъ чего лучше. Попалъ въ мужа, что держать адъютантовъ и для себя... и для жены.

Бристь. Олтинъ!

Олтинъ. Кто шпионить за женщиной, будь ли это мужъ ли, влюбленный ли — подлецъ и нѣтъ ему другого имени. Ломалъ рыцаря — да и дождался!

Бристь. Чего? Доноса? Пасквиля? И повѣрилъ!

Олтинъ. Не хитри, Бристь. Чему тутъ не вѣрить, когда бывало онъ стоитъ подъ картечью и банкъ на сѣдлѣ мечетъ, а тутъ какъ полотно побѣлѣлъ. Не будь это теперь, за часъ до похода, я бы его, беззащитнаго, на мѣстѣ изрубилъ.

Бристь. Послушай, Олтинъ! Ты измучилъ меня. Что ты узналъ? Она любить его?

Олтинъ. Почему я знаю, что у нихъ тамъ въ ихъ надушенныхъ будуарахъ, въ ихъ проклятомъ свѣтѣ зовется любовью! Ее я не могу видѣть... Я себя не помню при одной мысли... Онъ отрицаетъ и беретъ все на себя. Денди! Джентльмены! Всю душу перевернуть, не снимая перчатокъ. А вотъ, слушай, что пишетъ Брызгинъ.

Бристь. И Брызгину ты...

Олтинъ (*читаетъ*). Я забылъ ваше оскорбленіе. Я помнилъ только ваши славныя сѣдины, полковникъ, когда раздавались въ ночной тиши ихъ поц...

Бристь (*выхвативъ письмо, съ несвойственной ему яростью рветъ его въ мелкие клочки*). Полковникъ Олтинъ! Я своей честью ручаюсь вамъ, что это подлая клевета.

Олтинъ (*не помня себя*). Не ручайся! Не поймемъ мы никогда съ тобой женской лжи. Не этому мы съ тобой учились!

Бристь. Про кого ты смѣешь такъ говорить, Олтинъ! Опомнись!

Олтинъ. Да ты какъ можешь ручаться? У нихъ было свиданіе этой ночью. Ты былъ со мной, а не здѣсь...

Бристь. Миѣ не нужно знать факта. Я знаю человѣка. Я знаю твою жену. Еслибъ миѣ сказали про тебя: «Олтинъ укралъ», я бы отвѣтилъ: — «нѣтъ»! — «Мы видѣли». — «Все-таки нѣтъ»! Оказалось бы, что правъ я. То же скажу я о твоей женѣ. Это свѣтлая и чистая душа.

Олтинъ (*вслушиваясь въ его слова, глядя куда-то въ даль*). Да... да... да...

Бристь. Твоя честь въ хорошихъ рукахъ. Будь покоенъ. А лучше погляди, что ты самъ надѣлалъ! Грязный мерзавецъ, изъ мести, пишетъ тебѣ доносъ на твою жену, имени которой онъ не достоинъ упоминать, а ты, забывши все, уже увѣренъ въ ея измѣнѣ. Не повидавшись съ ней, не спросивъ ея — ты объясняешься съ Бѣлоборскимъ. Смѣшнымъ ты боишься быть, развѣ все это не хуже, не унижительно?

Олтинъ (*опустившись встѣмъ тѣломъ*). Ужъ очень я люблю ее!.. Только и свѣту въ глазахъ, что она. Бристь, посуди, пойми меня. Вся молодость ушла на схватки, походы, на всю нашу служебную лямку. И вдругъ... Что тутъ! Не скажешь всего словами... Небо открылось!.. Снова въ свѣтъ родился!.. Ужъ лучше совсѣмъ не знать счастья, чѣмъ потерять... Точно вотъ сердце вырываютъ... Эхъ, голову бы себѣ въ дребезги! (*Наклоняется къ столу*).

Бристь. Ты вызвалъ графа?

Олтинъ (*грустно поднимаясь. Брови нахмурены, очень медленно и сильно*). Съ лица земли сотру его, чтобы съ нимъ исчезла и память объ этой проклятой ночи. Понимаешь, я точно вижу ихъ вмѣстѣ. Я точно слышу его и ее... Пусть даже такъ! Пусть она оттолкнула его — я вѣрю въ это!.. Но не любовь ко миѣ въ ней говорила, Бристь. Это-то ужъ я знаю, знаю...

Бристь. Что бы ни было...

Олтинъ. Да на что миѣ ея ледяная вѣрность, когда я жить не могу безъ ея ласки... За эту ласку я все отдамъ, и все прощу... Въ нее ушла вся моя сила, все, что оберегъ я за свою долгую, суровую, одинокую жизнь... Все ей отдалъ!.. Эхъ, Бристь, Бристь! погибла моя голова!

Бристь (*сурово*). Нельзя тебѣ требовать отъ нея такой же любви въ отвѣтъ. Самъ схѣлся сейчасъ надъ розами, соловьями да гуріями. Она дала тебѣ семью, освѣтила твою угрюмую жизнь, подъ твоей казарменной крышей распустился благоуханный цвѣтокъ. А ему не здѣсь бы цвѣсти, среди крови и пороха...

Олтинъ. Правда, правда...

Бристь. Будь ей благодаренъ и вѣрь ей, какъ она этого стоитъ. Если и заслушалась она горячихъ рѣчей, засмотрѣлась въ молодые глаза, горящіе восторгомъ и страстью... не вини ее. Тѣмъ больше ея заслуга передъ тобою, что все-таки помнить свой долгъ. Ей, братъ, можетъ быть, тяжелѣе тебя... Не засти же солнца цвѣтку.

Олтинъ. Суровый ты человѣкъ, Бристь, жалости въ тебѣ нѣтъ!

Бристъ. Правда нужна, а не жалость. Будь правъ передъ со-
вѣстью и передъ тѣми, кого Богъ вручилъ твоему попеченію, такъ
и не станешь просить о жалости.

Олтинъ. Что же мнѣ дѣлать?

Бристъ. Одолѣть себя надо. Не все на ура. Да возьми себя
въ руки, слышь ты. Боевое дѣло на носу. Скоро солнце зайдетъ.
Пора строй оглядѣть.

Олтинъ *(домо стоитъ съ опущенной головою, тяжело дыша)*.
Да. Отъ правды куда не уйдешь. Фу, тяжело! *(Встряхнувшись,
точно сбрасываетъ съ себя тяжесть, протягиваетъ руку Брису)*.
Спасибо, товарищ! *(Подходитъ къ дверямъ)*. Захаровъ, увяжи бурку
въ сѣдло. Положи пистолеты въ кобуры. Сѣдай «Гордаго» и выводн!

Бристъ. Извольте идти оглядѣть орудія, полковникъ.

Олтинъ. Идите, голубчикъ. Я сейчасъ за вами. *(Бристъ ухо-
дитъ)*.

ЯВЛЕНІЕ XIX.

Олтинъ. Не засти солнца цвѣтку. Такъ, такъ... Исчезнетъ
туча — и проглянетъ солнце... а пока она повисла... Фу, ты, Боже
мой, какъ грудь давитъ!.. *(Входитъ Вѣра. Олтинъ быстроворачи-
вается и начинаетъ осматривать патроны лядушки)*.

Вѣра. Ты сейчасъ уѣзжаешь?

Олтинъ *(подходитъ къ окну и заглядываетъ)*. Да, пора ужъ...
Солнце зашло...

Вѣра. Экспедиція долгая?

Олтинъ. Нѣтъ. Можетъ быть, завтра въ ночь вернемся.

Вѣра. Кто остается въ крѣпости?

Олтинъ. Я хотѣлъ оставить Бѣлоборскаго.

Вѣра *(вздвигнувъ)*. Зачѣмъ?

Олтинъ. Какъ зачѣмъ? Не оставлять же крѣпости безъ комен-
данта. Это не водится. Впрочемъ, онъ упросилъ меня взять его въ
дѣло. Остается майоръ Иванченко. Ты видѣла графа послѣ моего
пріѣзда?

Вѣра. Нѣтъ.

Олтинъ. Вѣроятно, онъ зайдетъ до выступленія.

Вѣра. Не знаю.

Олтинъ. Вѣроятно. *(Молчаніе)*. Ну, что-жъ, прощай, Вѣра!

Вѣра. Уже?...

Олтинъ. Пора... *(Беретъ шапку)*. Прощай!

Вѣра. Погоди... мнѣ надо...

Олтинъ. Что?

Вѣра. Позволь мнѣ уѣхать.

Олтинъ *(вздвигнувъ)*. Куда?

Вѣра. Въ Россію, повидаться съ родными.

Олтинъ. Что жъ это такъ внезапно?

Вѣра. Я давно собиралась просить тебя.

Олтинъ *(помолчавъ, тронувшимъ волосомъ)*. Хорошо... уѣзжай!

ВѢРА. Я объясню тебѣ причину...

Олтинъ (*раздражительно*). Не надо! Не надо! Ни причинъ мнѣ не надо, ни объясненій. Никто не принуждалъ тебя ѣхать сюда, никто не принуждаетъ и оставаться... Жаль только... Да нечего тутъ! Разнѣжился я очень, разбаловался... «Наши жены ружья заряжены, вотъ и наши..» (*Внезпно обрываетъ*). Съѣзди, разсѣйся, повеселись... На... долго?

ВѢРА (*съ усмѣшкой*). Пока не разсѣюсь.

Олтинъ. Такъ! Поѣзжай, поѣзжай... Вернешься—хорошо. Нѣтъ—твоя воля. Ёдешь одна?

ВѢРА (*съ испугомъ*). Съ кѣмъ же?

Олтинъ. Нельзя же безъ попутчика... Ну, съ Людмилой...

ВѢРА. Нѣтъ, одна.

Олтинъ. А если я... буду просить тебя...

ВѢРА (*съ бользненно искаженнымъ лицомъ*). Я должна исполнить все, что ты пожелаешь.

Олтинъ. Должна. должна. Все долгъ, да долгъ, точно въ немъ вся сила. Для долга у меня начальники и подчиненные, а отъ жены чего-нибудь другого бы хотѣлось.

ВѢРА. Я дѣлала все, что могла...

Олтинъ. И за то спасибо...

ВѢРА. Въ чемъ же можешь ты меня обвинить?

Олтинъ. Ни въ чемъ. По службѣ исправна. Прощай!

ВѢРА. Постой.

Олтинъ. Мы, точно, стараемся скрыть другъ отъ друга что-то тяжелое... Точно оба знаемъ о чьей-то смерти и боимся сказать.

ВѢРА. Когда ты вернешься?

Олтинъ. Я говорилъ тебѣ, можетъ быть, завтра въ ночь.

ВѢРА. А если...

Олтинъ. Убьютъ?

ВѢРА. Спаси тебя Богъ!.. Спаси тебя Богъ!.. Василій Сергѣевичъ, выслушай меня... Я не знаю, что со мною дѣлается сегодня... Ты правъ... точно, мы чью-то смерть скрываемъ другъ отъ друга... Останься...

Олтинъ. Какъ?

ВѢРА. Ты говорилъ, дѣло не важное... Поручи отрядъ другому...

Олтинъ. Вѣра! чтобъ этихъ просьбъ я никогда не слыхалъ!

ВѢРА (*не слушая*). Умоляю тебя!.. Умоляю тебя!.. Вся жизнь моя рѣшается... Мнѣ нужно тебѣ сказать...

Олтинъ. Говори-же.

ВѢРА. Не могу... Я боюсь подумать, что будетъ со мной, если ты уѣдешь и такъ скоро... съ тѣмъ, что ты услышишь отъ меня... А молчать я больше не въ силахъ... Василій Сергѣевичъ, пожалѣй меня... Еслибъ ты зналъ... Во мнѣ все горитъ... Я себя не помню...

Олтинъ (*сминаясь*). Вѣра, я все знаю. Я получилъ грязный доносъ на тебя... Я не вѣрю ему... Понимаю, почему ты мнѣ сама не сказала... ты знала, что одно твое слово—и мы съ нимъ добромъ не кончимъ. Его-ли, меня-ли ты берегла—я не знаю.

ВѢРА. Чтѣ?!

Олтинъ. Вѣрю, что ты остановила его пламенные чувства. Вѣрю въ твою честность, во все вѣрю... Если, какъ ты боишься, меня и убьютъ, все-таки я знаю, являться къ тебѣ послѣ смерти по ночамъ и упрекать за обманъ не буду. Значить, совѣсть твоя спокойна: ты сдѣлала все, чтѣ должна. Ну, и не о чемъ тутъ больше говорить.

ВѢРА (*съ тоской смо ря на нею*). Нѣтъ, не такъ все это было! И не оправдывай меня... Я лгать больше не въ силахъ...

Олтинъ (*вздвочнувъ*). Лгать? Ты лжешь?

ВѢРА. И лгала и лгу. Вся моя жизнь съ тобою—ложь!.. Больше я не могу. До нашей свадьбы я не знала тебя, не знала и того, что мало быть вѣрной мужу. Надо, чтобы ему принадлежали всѣ мысли, все сердце... А этого нѣтъ, не было... и не будетъ... Такъ жить, какъ я живу съего пріѣзда, я больше не въ силахъ... а вчера, когда я его слушала, я поняла, что каждой мыслью своей я нвмѣняю тебѣ... Какъ-же мнѣ жить съ тобой? Отпусти меня! Отпусти! Я не хочу ни счастья, ни любви его... Я на такое счастье не пойду... Но и оставаться съ тобою нѣтъ моихъ силъ... Сейчасъ ты напомнилъ мнѣ, что тебя могутъ убить, у меня подкопились ноги, меня ужасъ охватилъ, что я гдѣ-то, въ глубинѣ души, можетъ быть, ношу эту мысль. Ничего я не могу скрыть отъ тебя. Знай все. Убей меня, если хочешь, я рада буду. Ты имѣешь полное право.

Олтинъ (*сурово*). Зачѣмъ ты шла за меня? Кто неволилъ тебя?

ВѢРА. Никто. Я одна виновата. Ничего ты мнѣ не скажешь, чего-бы совѣсть моя мнѣ не сказала давно... Я въ глаза смотрѣть тебѣ не смѣю...

Олтинъ (*медленно, тяжело дыши*). И кромѣ совѣсти... ничего... Одна только совѣсть, а то бы... ни на что не поглядѣла. (*Впра молча наклоняетъ голову*). И когда шла за меня, другой былъ и въ сердцѣ и въ каждой мысли... а я такъ... партія? И моей ты не была никогда?

ВѢРА (*еле слышно*). Никогда.

Олтинъ. Шла за меня, какъ въ монастырь... Не свадьба была, а постригъ. А я-то... Я не ждалъ отъ тебя пламенныхъ чувствъ, да и смѣшно-бы это было: но я не ждалъ и того, чтобы у меня ничего... ничего не осталось отъ прошлаго... чтобы въ отвѣтъ на... ну... Богъ съ тобой! (*Отворачивается. Весь дрожитъ*).

ВѢРА (*еле слышно съ мутнымъ взглядомъ*). Я боролась съ собою, какъ могла эти два года. Чего я ни дѣлала, чтобы только быть тебѣ доброй женой, но едва онъ пріѣхалъ... и вчера... вчера... все воскресло во мнѣ, точно и не было этихъ двухъ лѣтъ... Я грѣшна передъ тобой каждой мыслью своей. Суди меня, какъ знаешь... (*Опускается на колѣни*).

Олтинъ (*сурово*). Богъ судить, а не я... Я сдѣлалъ, чтѣ могъ. Дать тебѣ свое имя. Другого богатства ни отецъ мнѣ не оставилъ, ни самъ я себѣ не наворовалъ. Нуженъ былъ тебѣ мужъ—ты его получила. Отдалъ еще я тебѣ и сердце и всю жизнь, больше ужъ

у меня ничего не осталось. Зачѣмъ-же мнѣ знать всѣ эти тонкія чувства!.. И что я могу тутъ подѣлать Я? армейщина! По вашему свѣтскому мнѣнію, на вашемъ салонномъ языкѣ, «мы пушечное мясо», *chair a canon*. Виновать за произношеніе... Въ Дворянскомъ полку учили, забылъ ужъ. Годимся только съ азіятами биться, да коли надобность выйдетъ—въ мужья, за которыхъ идутъ съ горя, что съ кручи внизъ головой.

ВѢРА. Боже мой! Боже мой!

Олтинъ. Только лучше—бы ты мнѣ до свадьбы сказала, что идешь за меня, какъ въ могилу. Честнѣе было-бы... Этого счастья я бы не принялъ. Каковъ я ни есть, въ такіе мужья, какихъ ты искала, я не гожусь...

ВѢРА (*рыдая*). Ничего я не искала.. Я себя не помнила...

Олтинъ (*съ состраданіемъ глядя на нее*). Ну, довольно, ВѢРА! Довольно... не плачь... Я слезъ твоихъ видѣть не могу... Ты была вѣрна мнѣ—и за то спасибо...

ВѢРА. И была и буду вѣрна до послѣдняго вздоха. Дай мнѣ уѣхать, остаться одной съ моими мыслями, съ моей мукой... Или я умру, или вернусь другая... Я справлюсь съ собою, я душу въ себѣ изломаю...

Олтинъ. Эхъ, еслибы эта душа была моею, я-бы не то, что жизни, а вѣчнаго спасенія не взялъ-бы за нее! (*Встаетъ*). Ну, пора

ВѢРА. Прости, прости меня!..

Олтинъ. Богъ тебя прости, бѣдная... дорогая головка... (*Уходитъ*).

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ V.

Ущелье въ горахъ. Справа высокія скалы, съ нихъ сходятъ тропинка, уходящая въ глубь налѣво. Направо на авансценѣ большое орѣховое дерево. Налѣво чаща, среди которой возвышается голая скала. Въ чащѣ пробивается ручей. Изъ-за горъ видно вечернее небо, горящее послѣдними отблесками вечерней зари; къ концу акта загораются звѣзды. Глубина ущелья занята солдатами въ рубахахъ, мундирахъ и шинеляхъ. Кто возится у костровъ, кто чинитъ амуницію, чиститъ ружья, кто сидитъ, кто лежитъ. Входятъ и выходятъ. Справа на 1 планѣ, на скалѣ, стоитъ часовая. Батальонное знамя, оборванное, старое,—стоитъ направо, близъ дерева. Около него часовая. Сваленное дерево лежитъ у подножья скалы слѣва. Большой барабанъ рядомъ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Бристъ, Ульнинъ и офицеръ.

Бристъ (*офицеру, стоящему рядомъ*). Поставить караулъ у зарядныхъ ящиковъ двойной и смѣнять чаще! Орудія хорошенько вы-

чистить. Наблюдайте лично. Можете идти. (*Офицеръ, откозырявъ и сказавши: „слушаю-съ“, уходитъ*). Когда вы молодецъ, такъ молодецъ, прапорщикъ. Не по лѣтамъ—хладнокровны, и да будетъ вамъ это впередъ урокомъ. Отстояли батарею.

Ульинъ (*руки на перевязи*). Признаться, Иванъ Густавычъ, какъ они понеслись на меня снизу—вѣдь ихъ человѣкъ 200 съ лишнимъ было.

Бристь. Ну да, цѣлый значекъ.

Ульинъ. Такъ я себѣ языкъ прикусилъ, чтобы не скомандовать залпа раньше времени. Вѣдь, пропаль-бы даромъ... и насъ поминай, какъ звали!

Бристь. Во-время князь подоспѣлъ. Опоздай на часъ, ни одному изъ насъ не уйти.

Ульинъ. А у непріятеля-то! Стоя, вой поднялся, какъ завидѣли князя надъ собой. Не ждали съ той стороны! Чтò мы теперь, не больше, какъ въ верстахъ въ 3-хъ отъ главнаго лагеря!..

Бристь (*смотритъ въ трубу вверхъ*). Не больше. Вонъ наши батальоны, сейчасъ за ауломъ... И аулъ отрядомъ князя занять.

Ульинъ (*вбѣгаетъ на скалу*). А тамъ внизу... глядите... чтò такое: ей-Богу, мюриды.

Бристь (*подойдя къ нему*). Да... кучка человѣкъ въ 300... больше... чего они тамъ дѣлаютъ?.. (*Входитъ Глушаковъ, за нимъ Онуфрычъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Глушаковъ. Тебѣ чортова перечница, чтò было приказано, когда взводнаго убили!

Онуфрычъ. Залечь за камни, ваше благородіе.

Глушаковъ. А ты чего начудилъ?

Онуфрычъ. Наверхъ повелъ, ваше благородіе. Къ ихнему завалу.

Глушаковъ. Это чтò-же выходитъ, ракалія! Залечь

Онуфрычъ. Никакъ нѣтъ, ваше благородіе.

Глушаковъ. Какъ-же ты это братецъ? а?

Онуфрычъ. Не удержишь, ваше благородіе. Осатанѣли! Команды не слушаютъ. Пруты!

Глушаковъ. Я тѣ научу, «пруты!» Я тѣ спорю нашивки то, дай обратъ до крѣпости.

Онуфрычъ. Слушаю-съ, ваше благородіе.

Глушаковъ. Скажи, какой мандаринъ персидскій! Кабы тебя съ этого завала сбили, я-бъ съ тебя 7 шкуръ спустилъ фухтелями.

Онуфрычъ. Такъ точно, ваше благородіе.

Глушаковъ. Счастье твое, что удержался. Такъ и быть, прощаю. А ослушаешься еще—въ денщики переведу. Василенко живъ?

Онуфрычъ. Отдыхался, ваше благородіе.

Глушаковъ. А чортъ тебя пойметъ! Живъ, чтò-ли!

Онуфрычъ. Такъ точно, ваше благородіе, полегчало. На перевязочный отвелъ.

Глушаковъ. Сколько во взводѣ убито?

Онуфричъ. 14 человекъ, ваше благородіе!

Глушаковъ (*солдатамъ*). Спасибо, братцы! Молодцы! Не посрамились.

Солдаты. Рады стараться, ваше благородіе!

Глушаковъ. Вари кашу. Отъ меня по крышѣ водки. Онуфричъ, вели сбѣгать къ выюкамъ спросить боченокъ въ 1-ю роту отъ меня особо.

Солдаты. Рады стараться, ваше благородіе.

Глушаковъ. Архиповъ! (*Тотъ подходитъ*). Спасибо, братъ! На, тебѣ, цѣлковый. Кабы не заслонилъ меня во время, пропалъ-бы я, какъ муха.

Архиповъ. Такъ точно, ваше благородіе.

Глушаковъ. Ловко ссадилъ джигита. Только папаху новую, поддець, попортилъ.

Архиповъ. Лядацій былъ, ваше благородіе, а ужъ какой юркій: такъ налѣзъ на штыкъ, какъ на вертелъ.

Глушаковъ. Братцы, кто въ караулъ пойдетъ, и Боже сохрани глазъ сомкнуть! Своими руками застрѣлю, изъ поганатаго ружья. Такъ и знай. Ну, отдыхай съ Богомъ! Гдѣ полковникъ?

Бристь. На перевязочномъ. Его позвали къ Чарусскому.

Глушаковъ. Жаль бѣднягу. На вылетъ. Ну, жарня была! Очень люди заморились. Съ утра, вѣдь, не ѣли.

Бристь. Много у васъ потери?

Глушаковъ. Не люблю считать. Да и некогда было. Я вѣдь только-что успѣлъ расположиться. Охъ, эти мнѣ короткіе наскоки! Людей перетеряешь цѣлую пропасть, и денщиковъ брать нельзя. Чаю некому заварить. Онуфричъ, можешь чай заварить?

Онуфричъ. Могимъ, ваше благородіе.

Глушаковъ. На, отсыпь въ чайникъ и тащи сюда. Да дай настояться хорошенько.

Онуфричъ. Слушаю, ваше благородіе.

Глушаковъ. Чтѣ Корневъ, подошелъ съ ротой?

Бристь (*глядя влѣво*). Подходить. Онъ отсюда дальше всѣхъ былъ, да и по дорогѣ не вытерпѣлъ: наскочилъ таки на партію бѣгущихъ. Кажется, тутъ его ранили. Однако, изъ строя не выбылъ.

Глушаковъ. Дорого денегъ обошелся, на третъ батальонъ убавили. И то сказать! Былъ я какъ-то въ театрѣ въ Тифлисѣ: ходять 20 голоштаниковъ, вотъ тебѣ и несмѣтная рать! Такъ и мы 8 часовъ продержались противъ 2-хъ сотъ значковъ! Зато и сдѣлали дѣло, можно сказать!

Бристь. Очень рѣшительное дѣло. Пожалуй, этимъ лѣтомъ. Шамиль отъ насъ на правый флангъ кинется.

Глушаковъ. Ловко его князь обошелъ. Вѣдь имаму и въ башку не влетало, что онъ надъ нимъ сзади повиснетъ. Думалъ, что за нами идетъ. Ухъ, и полковникъ нашъ! Изморомъ ихъ извелъ: чтѣ-жъ, насъ съ казаками полторы тысячи не наберешь, а какъ пошелъ по ротно пускать въ атаки, почти всѣ 12-ть т. внизъ сманилъ. Мастеръ! Былъ

онъ все время при моей ротѣ—я вамъ скажу: самъ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ похвалилъ бы! Какъ время понимаетъ! Какъ мѣсто знаетъ! Какъ умѣетъ войсками распорядиться! Молодецъ!

Ульинъ. А жарко было внизу, Анастасій Анастасьевичъ?

Глушаковъ. Жарко, жарко! Какъ я свою роту повелъ, идемъ рядомъ съ Василиемъ Сергѣевичемъ, гляну, темнѣе ночи, вѣдь сзади-то ужъ никого... Последніе мы пошли. Идетъ и глазъ съ вершинъ не сводить, что надъ Гени... А ужъ и Корнева, и Чарусскаго, и Вотякова, и Перервенко внизу прямо вѣдь въ котлахъ кипятятъ... Вошли мы въ дѣло, думаю себѣ: «ваше сіятельство, опоздаешь! Опоздаешь, ваше сіятельство», какъ самъ Шамиль двинулся на насъ, я ужъ на верхъ глядѣть пересталъ... Всѣ, думаю, «ляжемъ». Вдругъ... вотъ онъ, Господь то пожалѣлъ! Затрещали князевы ракеты... Глянули мы на верхъ... видимъ, наши, наши голубчики, какъ орды! Надъ самыми ихними головами нависли! Боже ты мой, что съ ребятами сдѣлалось... точно ихъ вдесятеро прибавилось! Духъ, значить, подняло... Слава тебѣ, Господи!! Правой-то нельзя было, такъ я лѣвой перекрестился.

Ульинъ. И они не ждали! Что у нихъ за вой поднялся! Вѣдь еле имама увезли, тучами побѣжали, а ужъ на что удалой народъ.

Глушаковъ. Иванъ Густавычъ, какъ это вы говорили,—страхъ есть какой-то особенный?

Бристь. Паника.

Глушаковъ. Вотъ отъ нея они и шарахнули. Да чего вы тамъ воззрились, Иванъ Густавычъ?

Бристь. Да вонъ, внизу, надъ рѣчкой, на скалѣ, видите, лѣсъ?.. Должно быть, выбитые изъ аула отрядомъ князя уходить не хотятъ.

Глушаковъ (*взойдя на скалу*). Гдѣ? Ишь ты, вѣдь въ самомъ дѣлѣ!.. Последніе остаточки. Ужъ какъ я этихъ чертей озвѣрѣлыхъ не люблю. Хоть ты что—живыми не дадутся... значить, поклялись... Придется повозиться, пока не перебьемъ...

Бристь (*все смотритъ въ трубу*). Укрѣпляются... Деревья рубятъ... фанатичный народъ.

Глушаковъ (*серьезно*). Съ этими, должно быть, князь самъ распорядится. Они къ нему ближе... А вѣдь ихъ такъ оставить нельзя: одно у насъ съ княземъ сообщеніе—мимо ихъ...

Бристь. Кажется, сотня казаковъ на нихъ пущена сверху, да... Или на мѣстѣ рѣзня пойдетъ, или на насъ погонять...

Глушаковъ (*сходитъ*). Ну, мы свое дѣло сдѣлали за сегодня. Пусть теперь самъ князь справляется. Мы ужъ бивакомъ стали, и часовыхъ разставили, и секреты расположили... Люди заморились... съ разсвѣта въ дѣлѣ, не ѣвши, а ужъ, глядите, и солнце заходить. На насъ погонять — примемъ, а беспокоиться нечего (*солдатамъ*). Братцы, навалите-ка травки вотъ тутъ, подъ орѣхомъ, да прикройте моей пинелькой... Больно заморился... Прилечь хочется... Полоснулъ-таки какой-то подлець... хорошо, что папаха на головѣ... ишь, какъ отдѣлали!..

Онуфричъ. Тапши травы, ребята... *(Солдаты, въ теченіе слѣдующаго разговора, приносятъ охапки зеленой травы и накрываютъ шинелью).*

Глушаковъ *(уходя)*. Я пока еще обойду роту, а ты, Онуфричъ, чайничекъ то, какъ вскипитъ, поставь вотъ тутъ, рядомъ съ постелькой. Иванъ Густавычъ, слѣзайте, я васъ чайкомъ попотчую... *(Входитъ Олтинъ, съ нимъ два офицера и Перервенко и Вотяковъ).*

ЯВЛЕНІЕ III.

Олтинъ *(Перервенко)*. Передвиньте въ ночь казаковъ на версту ближе къ ущелью. Казачьи пикеты поставите кругомъ всего лагеря.

Перервенко. Слухаю, полковникъ.

Олтинъ *(сидя на барабанъ)*. Прапорщикъ Вязницынъ, скажите поручику Корневу, чтобъ роту подвинуть выше. Лагерь растянуть. *(Офицеръ козыряетъ и уходитъ)* Б. д. ротные, всѣхъ раненныхъ сдали?

Глушаковъ *(возвращаясь)*. Всѣхъ.

Олтинъ. Плѣнныхъ накормить. Караулъ на мѣстахъ?

Глушаковъ. На мѣстахъ, полковникъ.

Олтинъ. Секреты?

Глушаковъ. На мѣстахъ.

Олтинъ. Ночные караулы чаще мѣнять. Люди утомились. Часовые смѣны.

Глушаковъ и Вотяковъ. Слушаемъ, полковникъ.

Олтинъ *(другимъ тономъ)*. Чтò, господа, очень устали?

Глушаковъ. Нѣтъ, Василій Сергѣевичъ, пока ужъ очень рады, что выскочили. Усталость-то есть, а горячка не остыла. Кабы не въ походѣ, здорово бы я напился. А вотъ чтò, командиръ, съ чего вы, какъ князя увидѣли, въ самый разгаръ стали кидаться? Ни дать, ни взять — Эсперъ Андреевичъ! Бога вы не боитесь! Какъ еще васъ не ухлопали?

Олтинъ. И безъ меня управились бы. Какъ князь показался, наше дѣло было кончено.

Глушаковъ. Ишь, вы какъ разсуждаете! А Вѣрфъ Борисовиѣ, каково было бы? *(Олтинъ поднялся)*. Какими глазами мы на ее глядѣли бы, кабы васъ истратили? А главное — нужды не было. Хорошо, что ребята подоспѣли, когда вы съ обломкомъ шапки кинулись въ самую гущу.

Олтинъ *(сухо)*. Я, капитанъ, не мальчикъ, и въ бою, знаю, чтò дѣлать.

Глушаковъ *(изумленный)*. Виновать, полковникъ.

Бристь. Внизу казаки изъ отряда князя подогнали партію въ плотную къ скалѣ... Тутъ прямокомъ и версты нѣтъ... Пошли рукопашную...

Олтинъ. Не надо ли подмоги?

Бристь *(утвердно)*. Нѣтъ. Въ полчаса дѣло кончатъ и безъ

нась. (*Офицеры входят на скаму. Бристь и Олтинъ остаются одни*). Ты услалъ Бѣлоборскаго къ князю?

Олтинъ Съ рапортомъ.

Бристь. Когда онъ вернется?

Олтинъ (*задумчиво*). Къ утру. Бристь, лагерь хорошо выбранъ?

Бристь. Очень хорошо. Ты вообще сегодня вель дѣло на рѣдкость.

Олтинъ. Потери страшныя.

Бристь. И дѣло страшное.

Олтинъ (*послѣ молчанія*). Жаль Чарусскаго

Бристь. Умеръ?

Олтинъ (*киваетъ юловой*). Передъ кончиной просилъ переслать въ Москву зтотъ медальонъ... Съ груди снялъ... должно быть... сувениры... тутъ написано, куда и кому. Сдѣлай это, Бристь, какъ въ крѣпость вернешься. Поди жъ ты, никогда ни отъ него, ни отъ офицеровъ не слыхалъ, чтобы и онъ... Тото... грустный всегда былъ!.. Отъ любви.

Бристь. Ты что говоришь-то, ты понимаешь?

Олтинъ (*стряхнувшись*). А что?

Бристь. Что жъ ты то въ крѣпость не вернешься, что-ли?

Олтинъ (*спокойно глядя ему прямо въ лицо*). Я сейчасъ ѣду къ князю, доложить о дѣлѣ.

Бристь. Да ты-жъ послалъ Бѣлоборскаго?

Олтинъ. Это еще съ мѣста боя, пока я не передвинулъ скуда свой отрядъ. А теперь лагерь устроенъ, тутъ всего двѣ-три версты. Надо самому явиться.

Бристь. Такъ.

Олтинъ. Оттуда меня князь можетъ послать прямо въ Тифлисъ къ намѣстнику съ донесеніемъ. А нашъ отрядъ, вѣроятно, завтра-же къ вечеру будетъ дома. Такъ ты медальонъ пошли съ первой оказіей.

Бристь. У тебя дуэль?

Олтинъ. Нѣтъ, братъ, старъ я для этихъ вещей. Да вздоръ все это... Ну вчера ошалѣлъ я... стыдно. Такъ стыдно... Вотъ кровь-то неугомонная... Ты забудь, что я говорилъ тебѣ. Это, братъ, все вздоръ... Вѣра такая... Вѣра, братъ, такой ангель... Вотъ что... Если ушлетъ меня князь въ Тифлисъ—а случится можетъ,—сегодняшнее дѣло измѣняетъ весь лѣтній планъ движеній.

Бристь (*острымъ взглядомъ глядитъ на него*). Планъ движеній...

Олтинъ. Такъ ты скажи Вѣрѣ—писать я не мастеръ... Скажи, что цѣлую ее и прошу... простить мой вчерашній разговоръ... Да поцѣлуй ей руку... за меня.

Бристь. Олтинъ! Не ладно что-то...

Олтинъ. Чего не ладно? (*смыется*) Все, братъ, ладно... все хорошо будетъ!.. Прапорщикъ Ульинъ! Мой конвой внизу, около 3-й роты, меня дожидается. Велите ему ѣхать, я сейчасъ его догоню. Архиповъ! Сведи Гордаго внизъ, къ дорогѣ, и жди меня. (*Ульинъ отвѣчаетъ: „слушаю-съ“ и солдатъ бѣгомъ уходитъ... Офицеры подходятъ*). Подполковникъ Бристь! Я ѣду къ его сіятельству. Примите

начальство. На зарѣ, вѣроятно, тронемся въ крѣпость. До свиданья, господа! Передамъ князю подробно, съ какими товарищами мнѣ привелъ Богъ сегодня... послужить. (*Уходитъ*).

Офицеры (*козыряя*). Счастливаго пути, Василій Сергѣевичъ!

ЯВЛЕНІЕ IV.

(*Голосъ Корнева за сценой: „Жаръ барана, братецъ, да отъ меня по чаркѣ“. Голоса: „Рады стараться, ваше благородіе“*).

Корневъ (*выходитъ, хромая, опираясь на шашку*). Здравствуйте, господа! Привелъ Богъ увидѣться.. Глушаковъ, дай-ка свою мадерку.

Глушаковъ! Да на. Только она съ бальзамомъ.

Корневъ. Тутъ, братъ, не то, что съ бальзамомъ, а съ киндеръ бальзамомъ выпьешь.

Вотиковъ. Былъ у живорѣза?

Корневъ. Заглянулъ. Не до меня ему... Вотъ къ Настенькѣ пришелъ... Пустое дѣло, а болитъ. Примочка-то съ тобой, Дарьи Кировны-то, знаменитая?

Глушаковъ. Сомной. Я безъ чаю, ни безъ ея примочки въ походъ не хожу. Она, братъ, такъ понимаетъ, какая рана что любить, какъ ни одинъ лѣкарь не можетъ понять. И дома у нея есть умягчительныя припарки такія... Просто, братъ, какъ рукой снять. Иванъ Густавычъ, хотите чаю?

Бристь. Давайте, только поскорѣе. Надо по лагерю походить.

Глушаковъ. Эй, Онуфрычъ, тащи чайникъ... Небось, ужъ вскипѣлъ...

Онуфрычъ (*у костра*). Никакъ нѣтъ, ваше благородіе! Маненько пообождите.

Бристь. Какъ, васъ ранили, Эсперъ Андреевичъ?

Корневъ. Да, на второмъ заваѣ. Рана пустая, а болитъ. Да счастье еще, что живъ. Ввалиться-то я ввалился, а тамъ вижу, ни мнѣ, ни всей ротѣ назадъ не уйти.

Бристь. Потому что никогда не глядите, куда лѣзете!

Корневъ. Ну, да, по вашему на 3 аршина въ землю видѣть не умѣю. Разбили насъ на куски и насѣдаютъ... Меня, юнкера Васильева да человѣкъ 8 нашихъ солдатъ оттѣснили въ уголъ—и пошла жарня!.. Ничего не помню, такой содомъ стоялъ.. Вдругъ, глядь, —изъ-за бревенъ наши—Чарусскій впереди съ Бѣлоборскимъ рядомъ Вижу, Чарусскій вытянулъ руки и рухнулъ внизъ головой... И тутъ же меня по ногѣ; я упалъ, а на меня убитый. Васильевъ, да еще двое нашихъ —я и шевельнуться не могу, и воздуху нѣтъ.. Что тутъ было —не разберу. Только, спустя нѣсколько времени, гляжу, надо мной Бѣлоборскій.. Протягиваетъ мнѣ руку и спрашиваетъ: «живы»? Я вскочилъ.. Кругомъ наши. А графъ щурится и говоритъ: «когда же дуэль индюка съ фазаномъ?» Чуть я его не полоснулъ шашкой: такъ онъ меня этимъ взбѣсилъ! Ну, спасъ человѣка, чего жъ еще зубы скалить?

Глушаковъ. Скидавай мундиръ-то, гдѣ у тебя? Давай разотру.

Корневъ. Постой, я легъ удобно, какъ будто полегче...

Глушаковъ. Ну, потому...

Вотяковъ *(во время разсказа устраниваетъ закуску и достаетъ изъ кармановъ вѣтъ)*. Ты хлебни-ка кахетинскаго, свѣтъ увидишь.

Глушаковъ *(видя, что Перервенко спитъ на его шинели)*. Ахъ, ты, старовѣръ окаанный! Чего же это ты на чужой постели растянулся? Перервенко! Бѣсова дытына! Не растолкаешь, вѣдь, здоровъ спать! Онуфрычъ. Давай хоть чаю скорѣе.

Онуфрычъ. Слушаю, ваше благородіе.

Вотяковъ Много тебѣ, капитанъ, за этотъ чай грѣховъ отпустится.

Глушаковъ *(располомался)*. Да ужъ, братъ, могу сказать, я навсегда съ удобствами въ походъ хожу. У меня все найдешь: и лѣкарства, и чай, и сахаръ есть. Вѣдь чай теперь дороже золота. *(Все это время старался налить чай въ походный стаканчикъ)*. Чтѣ за чортъ... Онуфрычъ, подлецъ, ты чтѣ это надѣлалъ!

Онуфрычъ Чай сварилъ, ваше благородіе.

Корневъ Въ крутую!

Глушаковъ Вѣдь, это каша, дьяволъ!

Онуфрычъ Отъ кипяточку увесь разбухъ, ваше благородіе.

Глушаковъ. Ахъ, ты, чортова кума! Ахъ ты... Уйди, пока я тебя не убилъ! Уйди!

Онуфрычъ Слушаю, ваше благородіе. *(Отходитъ)*.

Глушаковъ. Вѣдь, надо жъ, такое несчастье! Захарову первый другъ—а чаю не умѣетъ заварить. И, вѣдь, всю четвертку всыпалъ!.. *(съ досадой)*. А этотъ шутъ на моей постели развалился... *(Толкаетъ Перервенко)*. Вставай, вставай, кривой шайтанъ! Нечего на чужое лѣзть... Отдохнуть, дьяволы, не дадутъ... Эка, казацья образина, на чужое до чего падки! Вставай!

Перервенко *(слабымъ голосомъ)*. Я, моя коханочка, спать хочу...

Глушаковъ. Ишь ты, коханочками еще бредить... *(Поднимаетъ его за руку)* Съ чужого коня, среди грязи.. *(За сценой слышенъ шумъ и крикъ: „Дикаря къ командиру... Несите сюда... „Эй, носилки!“.. Неси прямо!.. Гдѣ первая рота?.. На перевязочный бы!..“ На сценѣ встѣ поднимаются, бѣгутъ, шумъ, говоръ разростается, общая тревога и движеніе)*.

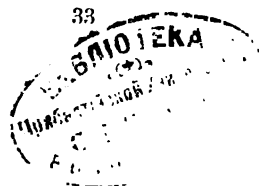
Офицеры и солдаты. Чтѣ случилось? гдѣ?..

Бристъ Въ чемъ дѣло?

Голосъ Ульина *(за сценой)*. Командира убили! *(Вбѣгаетъ внѣ себя, прерывисто дышитъ)*.

Офицеры. Чтѣ такое?!

Ульинъ *(голосъ обрывается)*. О, Боже мой! Боже мой! Я ждалъ полковника. Архиповъ лошадь держалъ.. Онъ подошелъ, вскочилъ въ сѣдло, да, вмѣсто дороги, внизъ по кручѣ во весь опоръ... и врѣзался въ партію... чтѣ съ казаками князя... Я кинулся къ 3-й ротѣ... кричу: «Братцы, спасай командира»!.. пока добѣжали.. еле живого отбили... Весь израненъ... Сюда несутъ... *(Всѣ кидаются въ сторону,*



откуда вблжзалъ Улыинъ *Передній планъ почти пустъетъ. Солдаты вносятъ раненаго Олтима на шинели. За нимъ всѣ офицеры. Его кладутъ на стно Глушакова).*

Бристь. Дѣвара живѣе!.. Онъ при раненыхъ!..

Голоса. Побѣжали...

Бристь. *(Дрожа отъ волненія).* Вася, Вася... голубчикъ ты мой!..

Олтинъ. Слушай, Бристь... Полторы... тысячи... всѣ мои деньги... въ столѣ заперты. Тысячу... Вѣрѣ... сто Захарову... остальное батальону... по сколько... придется... Оружіе... тебѣ... и Глушакову... Нагнись... *(Офицеры отходятъ).*

Бристь *(наибавается)*. Вася, Вася...

Олтинъ. Скажи Вѣрѣ... пусть... не горюетъ... дѣло военное... Успокой... у нея совѣсть... тревожная... Пусть... замужъ... идетъ за кого хочетъ.

Бристь. Ни за кого она не поидетъ.

Олтинъ. Ея... дѣло... Вдова... человекъ вольный.

Бристь *(сдерживая слезы, сурово)*. Грѣхъ большой ты взялъ на себя, Олтинъ. Не имѣлъ ты права...

Олтинъ. Туча... туча...

Бристь. Чтѣ ты говоришь?

Олтинъ. Ничего... говорю... чтѣ-жѣ... въ бою... не всѣмъ... уцѣлѣть... Не ѣхатъ же... командиру... мимо боя...

Бристь. Полно...

Олтинъ. Свою... службу... справилъ... какъ могъ... Пора на покой... *(Солдаты образавали кучку, оперились на ружья. Подходятъ офицеры).*

Глушаковъ *(солдатамъ, почти плача)*. Эхъ, братцы, жалъ командира!..

Бристь *(писавиій завѣщаніе Олтима, даетъ его подписать Глушакову)*. Подпишите его волю.

Олтинъ *(солдатамъ)*. Спасибо... братцы... за службу... не оспрамили... стараго... командира... Архиповъ!.. не рюмйтъ!

Старый солдатъ *(сурово. Слезы текутъ по лицу)*. Слушаю, ваше высокоблагородіе-сѣ.

Олтинъ. Государъ... не забудетъ... вашего... сегоднвшняго... дѣла..., если... пожалуетъ... батальонъ... своей... милостью..., помяните... тогда... стараго... боеваго... товарища... Подойди, Архиповъ... *(Слезы текутъ по лицамъ солдатъ, впереди которыхъ офицеры. Архиповъ становится на колѣни)*. Вотъ, братъ Архиповъ... Подъ Дарго отбилъ меня... Чтѣ-жѣ теперъ сплеховалъ?

Старый солдатъ. Сплеховалъ, ваше высокоблагородіе... Ноги стары стали, не убѣжалъ...

Олтинъ. Прощай, передай отъ меня товарищамъ... *(цѣлуетъ его въ лобъ. Солдатъ рыдаетъ)*. Эхъ, размякъ... старыи!.. А бывало... лихо пѣсни водилъ...

Старый солдатъ *(притаиваетъ къ нему)*. Отецъ... Отецъ... ты нашъ...

АДЪЮТАНТЪ (за сценой). Держи лошадей! Гдѣ командиръ? (Входитъ. Солдаты разступаются). Честь имѣю явиться, записавъ отъ его сіятельства.

ОЛТИНЪ (ослабѣвъ, еле слышно). Бристу. (Адъютантъ отдаетъ ему пакетъ). Прочитай...

БРИСТЪ (читаетъ). «Спасибо, спасибо, дорогой другъ, за ваше геройское дѣло. Всю честь и весь нашъ успѣхъ приписываю безприхѣрному мужеству вашему и вашего батальона. Прошу всѣмъ вашимъ офицерамъ, безъ исключенія достойныхъ ихъ подвиговъ наградъ и для васъ св. Георгія 3-й степени. Посылаю 20 крестовъ—молодцамъ гренадерамъ. Обнимаю васъ отъ сердца».

«Вашъ Бяратинскій».

ОЛТИНЪ. Дай Богъ... его... сіятельству... за его доброту... до фельдмаршала дослужиться... а мнѣ ничего... не надо... кромѣ... деревяннаго креста... да солдатской могилы... (Опускаетъ голову на грудь. Бристъ на коленяхъ около него).

БРИСТЪ. Прощай, братъ!

ГЛУШАВОВЪ. На молитву! (Всею обмаживаютъ головы). Стройся!

Занавѣсъ.

К О Н Е Ц Ъ.

Поэзія и жизнь Щербины.

(Читано на вечерѣ Общ. Люб. Росс. Сл. 13 января 1896 г.).

Съ дѣтства въ ушахъ нашихъ такъ пріятно, заманчиво звучать имена трубадуровъ, миннезенгеровъ. Пѣсня трубадура это непременно нѣчто нѣжное, чарующее, воспѣвающее любовь, розы, соловья, прелестныхъ дамъ, неотразимыхъ рыцарей. Пѣвцы нѣги, любви, страсти... Но кто они? Какъ они жили? Часто это были бѣдные странники, блуждавшіе изъ города въ городъ, изъ замка въ замокъ, порой голодные, нищенствующіе, гонимые, знакомые съ грязью, съ пороками, съ побоями. Эти воспѣватели красоты терпѣли одну участь съ скоморохами и уличными комедіантами. Ихъ пѣсни оглашали рыцарскіе замки, заставляли биться сердца милыхъ дамъ, но сами авторы рѣдко пользовались большими удобствами, тѣмъ рабы, слуги средневѣковаго замка. Рубище, голодъ, презрѣніе „благородныхъ“, вся тягость мрачной жизни средневѣковаго пролетарія въ дѣйствительности—чуждая красота, нѣга, весна, соловей, розы—въ мечтахъ,—вотъ жизнь такого поэта-пролетарія. А изъ поэтовъ такихъ было большинство. И потомъ долго съ представленіемъ о поэтѣ какъ-то невольно соединялось представленіе чердака, бѣдной, грязной, даже порочной жизни, жизни, не имѣющей ничего общаго съ его поіеіей. Выдавались изъ поэтовъ такіе, которые были довольны своей мансардой, сосѣдкой Лизетой,—воспѣвали ихъ, „дули себѣ въ кулакъ и ежились зимою“ и притомъ смѣялись; но были и другіе, которые страдали отъ своей бѣдности, проклинали свою судьбу и рвали къ нѣгѣ, къ роскоши, къ довольству. Жажда нѣги, не удовлетворяемая въ дѣйствительности, выливалась въ приемахъ, въ образахъ роскошныхъ и даже сладострастныхъ. Чѣмъ меньше

даетъ жизнь, — тѣмъ сильнѣе у такихъ натуръ работаетъ фантазія. Это жалкій нищій арабъ пустыни, воспѣвающий дворцы, фонтаны, одалисковъ и драгоценности; это бѣдный хлѣбомъ лопарь, среди своихъ льдовъ поющій о неизсякаемыхъ источникахъ хлѣба Сампо; это всѣ обиженные судьбою мечтатели, строящіе себѣ воздушные замки.

Къ числу ихъ принадлежитъ Щербина. Страшно и жалко читать откровенный рассказъ его о своей бѣдственной жизни въ то время, когда писалъ онъ свои такъ называемыя греческія стихотворенія, гдѣ онъ пишетъ о Левконовыхъ, Никоныхъ, нахсосскомъ винѣ, поцѣлуяхъ и т. д.

Вотъ что онъ пишетъ въ откровенномъ письмѣ къ друзьямъ („Заря“, 1870 г., V):

„Предоставленный 17-ти лѣтъ самому себѣ, безъ друзей, безъ руководителя, въ моей совершенной институтской невинности, я попалъ въ омутъ самой грязной московской жизни. Былъ обманываемъ, оскорбляемъ, подвергался самымъ мелочнымъ бѣдствіямъ, голоду, холоду, насмѣшкамъ, глумленіямъ, окруженный въ своемъ вертепѣ ворами, мошенниками, пьяницами, развратомъ, пролетаріатомъ, словомъ, всѣмъ діаметрально противоположнымъ моей идеальной природѣ наклонностямъ, цѣлямъ. Здѣсь я увидѣлъ жизнь во всей ея наготѣ, узналъ людскія скверны; но все-таки не могъ сдѣлаться практическимъ человѣкомъ. Мнѣ мѣшала во всемъ пожирающая меня жизнь сердца и пламя чувства, раздуваемое мечтательностью, воображеніемъ, страстностью моей природы. Я тогда, какъ и теперь, былъ исполненъ возможностями, стремленіями, желаніями самой страстной любви и нѣжности... и это пожирающее меня чувство никогда не удовлетворялось. Признаюсь, это *idée fixe*, это основное начало души моей, и имъ-то я такъ боленъ, такъ несчастенъ“. Вотъ бѣдственная жизнь Щербины, когда онъ бѣжалъ изъ Таганрога, отъ „слезъ и несчастій“ семьи въ Москву, по притонамъ вмѣсто университета, куда онъ хотѣлъ попасть. Онъ бѣжитъ отъ нея, ѣдетъ въ Таганрогъ къ роднымъ; но тамъ опять преслѣдуетъ его нищета; оттуда рыбный обозъ доставляетъ его въ Харьковъ. Едва достигаетъ онъ цѣли своихъ желаній — поступаетъ въ университетъ — какъ опять та-же бѣдность заставляетъ его бросить ученіе. „Уволившись изъ университета“, говоритъ онъ, „изъ-за шестидесяти рублей не окончивъ курса, поѣхалъ я къ малороссійскимъ помѣщикамъ по

деревнямъ учить молодыхъ осленковъ—и терпѣлъ много. Я въ это время писалъ свои греческія стихотворенія... Приѣхалъ въ Харьковъ. Коллежскій ассессоръ былъ для меня въ то время, Богъ знаетъ, какой вельможа, а десять цѣлковыхъ огромная сумма денегъ. Жилъ порою въ развалившихся избахъ съ мужиками и бурсаками, даже въ притонѣ нищихъ. Изъ Харькова приѣхалъ въ Одессу. Ужасна была моя внѣшняя жизнь. Въ это время была напечатана книжка моихъ стихотвореній. Она противъ моего ожиданія имѣла успѣхъ въ публикѣ и со стороны критики. Ею я приобрѣлъ извѣстность въ литературѣ. Но извѣстность и похвалы меня не радовали: я просидѣлъ 4 мѣсяца, одинъ, больной, въ грязной каморкѣ, по сосѣдству съ одной сумасшедшей и подъ разными болѣзненными впечатлѣніями“.

Что-же было создано идеальными стремленіями преслѣдуемаго судьбою поэта? Бѣльшей противоположности между дѣйствительностью и мечтами представить себѣ трудно. Около сорока греческихъ стихотвореній, ямбовъ и т. д. не дають и намека на внѣшнюю обстановку жизни Щербины. При чтеніи ихъ возникаетъ образъ человѣка, вполне наслаждающагося жизнью, притомъ такъ, какъ любили наслаждаться древніе греки. Это не нищенствующій обитатель притоновъ, голодающій и несчастный—а какой-то новый Анакреонъ, поклонникъ Вакха и Афродиты, возведшій это поклоненіе въ идеаль и построившій на немъ свою философію. Этотъ Анакреонъ живетъ исключительно любовью, притомъ любовью никакъ не платонической, а весьма реальной, пластической. Это какой-то эпикуреецъ, изобрѣтательный въ роскоши, напиткахъ и сладострастіи. Ни антологистъ Батюшковъ, ни любимецъ нѣги и Харитъ Пушкинъ, ни кто другой въ русской поэзіи не пускали въ печать такихъ греческихъ картинъ, какъ Щербина. Но предварительно прочтемъ для контраста то, что онъ говоритъ о своихъ отношеніяхъ къ женщинамъ.

„Я могу любить только женщину—дѣтя, дѣвушку въ первой молодости, а такая женщина врядъ-ли можетъ полюбить меня... Сознавая все это положительнымъ разсудкомъ, могу-ли я быть хоть сколько-нибудь покоенъ душою, доволенъ собою и своей жизнью, тогда какъ у меня натура страстная, горячая любовью, и въ душѣ такъ много нѣжности, которая рвется перейти на другое существо. Мнѣ совѣстно признаться, сколько страстности, любви и нѣжности въ моей натурѣ, и какъ я

способенъ любить вѣчно и самоотверженно, духовно, по преимуществу духовно и всесторонне. Любовь къ женщинѣ для меня не радость, а мучительная пытка, потому что безъ самаго малѣйшей надежды. Въ такомъ состояніи я весь сосредоточиваюсь на одномъ чувствѣ: всегда и во всемъ вижу одну женщину, жажду вѣчно быть съ нею, изучаю каждое ея движеніе. Страдаю дни и бессонныя ночи, наконецъ изнемогаю и впадаю въ болѣзнь—и это уноситъ у меня здоровье и годы жизни“.

Теперь посмотримъ, какія картины рисуются нашему страдающему автору. Вотъ стихотвореніе: „Ваятель и Натурщица“, гдѣ художникъ недоволенъ статуей въ одеждѣ, скрывшей „отъ взоровъ выпуклость бедръ и лядвей“ и „лучшіе перлы красоты и глубокаго полныя смысла“. Онъ умоляетъ натурщицу:

„Сбрось же, красавица, сбрось, умоляю, одежды и поясъ!
Пределятъ тѣла они безобразіе, а не прикраса...
Что ты стыдишься напрасно?... Оставь предрасудки“...

Въ стих. „Въ Портикѣ“, гдѣ поэтъ наслаждается съ гетерой Теано, онъ слышитъ отъ нея такой отвѣтъ:

„Пахнутъ чудесно твои умищенія, мой милый,
Слившись съ моими, и я ихъ вливаю въ трепетъ сладкомъ, въ забывчивой нѣгѣ,
Лежа головкой на персяхъ твоихъ млечнопѣнныхъ,
Близко устами къ устамъ и къ очамъ недалеко“...

Или такой призывъ его, конечно, къ возлюбленной гречанкѣ:

„Наполнимъ же звонкія чаши, Никоя,
Душистымъ наксосскимъ виномъ!
Тебя ожидалъ съ нетерпѣньемъ давно я.
На это пурпурное шитое ложе,
Мы бросимся жадно съ тобой,
И нестро-златистая барсова кожа
Обниметъ насъ теплой волной.
Пусть наши сердца загорятся, забьются,
Взволнуется юная кровь,
И крѣпко уста поцѣлуемъ сомкнутыя
И вздохомъ раскроются вновь.
Мы будемъ восторговъ забывчивыхъ полны“... —

дальше мы не читаемъ по слишкомъ сильной откровенности описанія пары греческихъ влюбленныхъ. Поэтъ разнообразитъ обстановку своихъ воображаемыхъ свиданій. Въмѣсто барсовой кожи онъ иногда предлагаетъ своей воображаемой подругѣ ложе изъ лилій и розъ. Дѣйствіе должно происходить не въ портикѣ, а подъ открытымъ небомъ, подъ яворомъ, на берегу залива, въ виду острова. Для возлюбленной, отличающейся дѣтскимъ смѣхомъ,—поставлено, однако, одно любимое поетомъ усло-

віе—это отсутствіе всякой одежды, даже персепольскихъ сандалій и тирскихъ запястій — „всѣхъ этихъ прикрасъ безобразныхъ“. А поэтъ занимается тѣмъ, что достаетъ воду изъ цистерны и обливаетъ оставшуюся безъ одежды аеинянку—водою, „влагою Зевса прохладной“. Таковы картины изъ греческой жизни, рисовавшіяся воображенію Щербины. Возможность согласить идеальныя стремленія, духовную любовь, о которой онъ говоритъ въ вышеприведенномъ письмѣ, съ нескромностью образовъ, даетъ самъ Щербина въ тѣхъ мѣстахъ стихотвореній, гдѣ онъ выражаетъ свой основной взглядъ на жизнь духа и тѣла. Эти картины поэтъ освѣщаетъ одной идеей, проходящей черезъ всѣ его греческія стихотворенія. Поэтъ поклонникъ красоты, пластики, и высшее выраженіе красоты онъ видитъ въ прекрасной женщинѣ. По этому-то греческому взгляду на красоту—онъ и называлъ свои стихотворенія греческими. Въ статуѣ или въ женщинѣ онъ видитъ верхъ совершенства творенія, видитъ осуществленіе высшаго изъ идеаловъ. Увидѣвъ обнаженную натурщицу въ мастерской скульптора, онъ восклицаетъ: „О какъ ты чиста непорочно!“. Передъ статуей Елены онъ говоритъ:

„Проникнутый нѣмымъ очарованьемъ.
Едва дыша, взираю на черты
Возвышенной античной красоты“.

Въ своей страсти къ женщинѣ онъ не видитъ низменной, пошлой стороны: ему кажется, что его преклоненіе проникнуто исключительно идеальными стремленіями:

„Въ выпуклыхъ линіяхъ формъ, изваянныхъ богиней природой,
Душу и цѣлую жизнь, и поэмѣ созданья читаю“.

говоритъ онъ и объясняетъ, что въ своихъ идеалахъ онъ отнюдь не поклонникъ одной отвлеченной красоты. „Будемъ гармоніей духа и тѣла съ тобой наслаждаться“, обращается онъ къ воображаемой подругѣ:

„Вѣрь мнѣ: одна безъ различія жизнь и людей, и природы.
Всюду единая царствуетъ мысль, и душа обитаетъ
Въ глыбахъ камней бездыханныхъ и радужныхъ листьяхъ растеній.
Нѣтъ для меня, Левконой, и тѣла безъ вѣчнаго духа,
Нѣтъ для меня, Левконой, и духа безъ страстнаго тѣла“.

Красота въ природѣ для поэта неразрывна съ искусствомъ: все прекрасное кажется ему созданіемъ искусства; поэтому Веренику, обрѣзавшую свои волосы, онъ называетъ „преступ-

ною женою предъ искусствомъ“, которая „разбила стройность женской красоты“; поэтому самое наслаждение его этой красотой, въ какомъ бы видѣ оно ни было, неразлучно у него съ мыслью объ искусствѣ. „Первый нашъ гимнъ“, говоритъ онъ своей подругѣ Нигоѣ, „мы споемъ жизнедавцу-Зевесу; гимнъ же второй Прометею за пламя искусства“.

Даже въ порывахъ страсти онъ думаетъ о своемъ поэтическомъ долгѣ, о служеніи искусству:

„Дай же, Киприда, мнѣ страсти, дай больше мнѣ страсти,
Восторговъ и жара въ крови!
Всего жъ не предай одурающей власти
Больной и безумной любви.
Но пусть я спокойно, свѣтло и здорово
Предстану предъ жертвенникъ музъ,
Да снова сѣрѣнится, да здравствуетъ снова
Труда съ наслажденьемъ союзъ!“

Такова философія Щербины въ его взглядахъ на красоту. Проникшись идеей служенія искусству, подъ которымъ онъ разумѣлъ все прекрасное, Щербина и преклоненіе свое предъ женщиной ставилъ себѣ въ заслугу и видѣлъ въ немъ уже служеніе искусству, красотѣ. Равнымъ образомъ свое поэтическое призваніе онъ видѣлъ въ преклоненіи предъ вѣчной красотой природы и провелъ эту идею въ своихъ прекрасныхъ „пѣсняхъ о природѣ“. На этомъ основаніи критика и отнеслась съ похвалами къ его греческимъ произведеніямъ, увидѣвъ въ нихъ стремленіе изобразить гармонию духа и тѣла. Публика же могла отнестись благосклонно къ его произведеніямъ и не только съ этой философской точки зрѣнія, но и имѣя въ виду новостъ этихъ греческихъ сюжетовъ въ русскихъ стихахъ, а нѣкихъ привлекала, можетъ быть, и чрезмѣрная откровенность „греческихъ“ образовъ. Что касается образовъ его греческихъ стихотвореній, то опытнаго читателя они не поразятъ своимъ богатствомъ. Скажемъ болѣе: картины греческихъ щербининскихъ произведеній, за нѣкоторыми исключеніями, отличаются какой-то бѣдностью содержанія. Въ нихъ, по большей части, общія мѣста, образы, заимствованные изъ элементарныхъ свѣдѣній, вычитанныхъ кое-откуда, и потому неярко представляющіеся воображенію читателя, или даже ничего ему не говорящіе. Часто авторъ старательно собираетъ въ одно мѣсто все, что ему извѣстно красиваго, и составляетъ картину, не украшая ее, а загромождая, когда въ одномъ мѣстѣ онъ помѣ-

щаетъ: яворъ столѣтній, подъ нимъ обнаженную азіянку, тутъ же портикъ, въ немъ картину славнаго мастера, статуи музъ и грацій, тутъ же и Эгейское море, и островъ зеленый, лиловыя горы, бѣловершинныя скалы, мраморъ утесовъ; тутъ же и сладкія фиги и миндаль съ виноградомъ, и непремѣнный членъ наслажденій Вакхъ-Діонисъ въ амфорахъ чистаго вина — однимъ словомъ, все, что могъ придумать поэтъ прекрасно-греческаго, все нагромождено, какъ въ комнатѣ Плюшкина. Автору казалось, что онъ рисуетъ греческое побережье, а вышло нѣчто похожее на картины доморощенныхъ мастеровъ прошлаго столѣтія, изображавшихъ нѣжныя идиалліи. Авторъ и въ языкѣ старательно хотѣлъ явиться грекомъ, и это выразилось въ его подражаніи гнѣдичевскому языку, въ этихъ сложныхъ эпитетахъ, какъ: „полнолилейный локоть, сереброногая дѣва, млечнопѣйныя перси“, и т. д. Вообще эпитеты, употребляемые авторомъ, мало живописуютъ предметъ для русскаго читателя и часто являются излишними. Такъ, напр., что, говорятъ нашему воображенію „переспольскія сандалии“ или „тирскія запястья?“ Не остаются ли они пустыми звуками? Да, можетъ быть, и для самого автора, врядъ ли ясно представлявшаго себѣ переспольскія и тирскія вещи и, конечно, ихъ никогда не выдававшего. Во всемъ этомъ видна наивность убѣжденія, что можно изображать то, съ чѣмъ авторъ не имѣетъ основательнаго знакомства. Щербина, будучи по матери внукомъ гречанки, но гречанки таганрогской, съ дѣтства мечтая о своемъ греческомъ происхожденіи, думалъ быть истиннымъ грекомъ, и притомъ древнимъ грекомъ, и въ поэзіи — но эти мечты его исполнѣ не осуществились. Впитавши въ себя греческое воззрѣніе — преклоненіе предъ пластической красотой — онъ не могъ всегда воплощать его въ истинно-греческихъ образахъ. ибо по натурѣ, какъ онъ самъ говоритъ, онъ былъ „наивень“, какъ институтка. Въ его греческихъ стихотвореніяхъ сквозитъ ненатуральность, потому что слишкомъ силенъ былъ контрастъ между его фантазіей и жизнью. Древнегреческая поэзія отражала въ себѣ дѣйствительную жизнь автора: о наслажденіяхъ писалъ наслаждающійся, красоты Эллады изображалъ древній грекъ, проникнутый ихъ созерцаніемъ. Въ произведеніяхъ Щербины — о наслажденіяхъ говоритъ человѣкъ больной, нищенствующій, озлобленный; о красотахъ Эллады — человѣкъ, ея не выдававшій. Отсюда всѣ недостатки греческихъ произведеній,

подавшие поводъ авторамъ сочиненій Кузьмы Пруtkова написать нѣсколько удачныхъ пародій на греческія стихотворенія Щербины, какъ напр.: „Полно меня, Левконой, упругою гладить ладонью“. Надо замѣтить, что авторы были дружественно расположены въ Щербинѣ, какъ къ человѣку.

Мы остановились особенно на греческихъ стихотвореніяхъ Щербины потому, что онъ ими-то и сталъ извѣстенъ публикѣ, и до сихъ поръ считается наиболѣе полнымъ представителемъ этого рода поэзіи. Намъ пришлось указать въ нихъ недостатки настолько яркіе, что умолчаніемъ о нихъ мы были бы далеки отъ справедливости. Критика давно уже указывала и достоинства этихъ произведеній: и греческое міросозерцаніе, и пластичность, и красивый звучный стихъ,—однимъ словомъ, все то, что составило извѣстность нашего автора, и что навсегда будетъ привлекать въ его произведенія этого рода. Особенно хороши тѣ изъ нихъ, гдѣ авторъ отрѣшается отъ изображенія себя самого древнимъ грекомъ; таково стихотвореніе „Эллада“, гдѣ онъ изображаетъ ее, уже какъ памятникъ минувшаго—или „Epicedium“,—прекрасный плачъ женщины на могилѣ возлюбленнаго.

Перейдемъ къ произведеніямъ Щербины второго отдѣла, которыя онъ называетъ ямбами, элегіями и пѣснями о природѣ. Впечатлѣніе отъ нихъ получается совершенно иное, часто вполне противоположное тому, что мы видѣли въ греческихъ стихахъ. Поклонникъ красоты внѣшней, пластической является здѣсь передъ нами поклонникомъ красоты нравственной, мировой гармоніи, красоты высшаго порядка. Здѣсь Щербина является поэтъ-мыслителемъ, порой страдающимъ отъ людскихъ неправдъ, возмущающимся пошлостью жизни, сострадающимъ бѣдствіямъ ближнихъ. Какъ поэтъ-мыслитель, авторъ стремится къ безконечному, къ идеальному совершенству:

„Духа совершенство,
Безъ границъ познанье—
Вотъ мое блаженство,
Вотъ мое страданье!“

Мысль о безконечности занимаетъ поэта, и она страшитъ его:

„Намъ вѣдомо, что міръ переживетъ
И то, что мы вѣками созидали,
И насъ самихъ, и нашихъ думъ полетъ...
Но не грусти, что червь тебя изложетъ
Въ ничтожествѣ и прахѣ, человѣкъ!“

Что было разъ, того не быть не можетъ;
Что создано, то создано на вѣкъ“.

Въ другомъ стихотвореніи поэтъ разсуждаетъ:

Мы преходящія духа явленья,
Всюду-жъ предъ нами царить его вѣчность
Жизни всемірной мы только мгновенья,
И испугала намъ душу и зрѣнье
Ждущая насъ безконечность“.

Отъ мыслей о безконечномъ поэтъ переходитъ къ прошедшему и настоящему. Въ прошедшемъ его поражаетъ отсутствіе гармоніи въ человѣчествѣ, людская злоба и бѣдствія.

И сколько мы зла совершили
Подъ чистой броней креста...
Для чувства корыстно земного
Купались мы въ братней крови.
Во имя предвѣчнаго Слова,
Во имя Верховной Любви...
Мы слово небесъ толковали
Въ угоду земной суеты“.

Обращаясь отъ прошедшаго къ настоящему, поэтъ видитъ темныя стороны нашего времени, когда „пало сердце не одно, когда глубоко порчи сѣмя у людей вкоренено“; когда „наша мысль не стала дѣломъ, а въ нашемъ дѣлѣ мысли нѣтъ“. Среди людскихъ бѣдствій идеалистъ-мыслитель никогда не можетъ быть покоенъ:

Мы счастливы не будемъ никогда,
И нѣтъ въ душѣ у насъ задатковъ счастья,
Всегда, больной, исполненной всегда
Тревогъ и думы и участья...
И грустно намъ за тысячи людей,
Въ невѣжествѣ погразшихъ безъ сознанья,
Усвоившихъ въ недвижности своей
Потребность тьмы, корысти и страданья:
Въ нашъ ранній вѣкъ, и безотрадный вѣкъ
Съ той истиной пора-бы примириться,
Что въ немъ здоровъ пустой лишь человѣкъ,
И боленъ всякъ, кто мыслью просвѣтлится!“

Въ сатирическомъ стихотвореніи „Въ обществѣ“ поэтъ изображаетъ пустоту и мелочъ обыденной жизни: карты, сплетни и боязнь истинно насущныхъ вопросовъ:

„Когда-жъ порой на нашемъ вѣчѣ
О злѣ насущномъ рѣчь зайдетъ:
Какъ отъ чумы, отъ этой рѣчи
Всякъ осторожно отойдетъ.
Иной, пожалуй, осмѣетъ

Того, кто мыслить благородно,
Того, кто чувствует свободно,
Но скажетъ съ горечью подчасъ
То, что „не принято“ у насъ“.

Особенно возмущаетъ поэта дамское салонное общество:

„Впередъ прошу я позволенья
О дамахъ что-нибудь сказать,—
Вѣдь ихъ вошло въ обыкновенье
Священнымъ чѣмъ-то почитать...
Онѣ танцуютъ, нѣ болтаютъ,
Изъ-за снуровки терпятъ боль,
И въ человѣчествѣ играютъ
Нечеловѣческую роль.
Имъ чужды: родина ихъ сына
И зло ея, и благодать,
И чуждо груди ихъ питать
Родною правдой гражданина,
И силъ, чѣмъ полонъ нашъ народъ,
Версальскій умъ ихъ не пойметъ.
Еще-бъ сказалъ... но нѣтъ, довольно!
И безъ того такъ сердцу больно!
Я вырваться отсюда радъ,
Куда сошлись, какъ на парадъ,
Не изъ душевныхъ побужденій,
Не для взаимныхъ наслажденій,
Но чтобы выполнить обрядъ“.

Съ такою горечью смотритъ поэтъ на современное общество. Въ другомъ стихотвореніи, уже въ иномъ, грозномъ, карающемъ тонѣ разитъ поэтъ людей, попирающихъ законъ и притѣсняющихъ ближнихъ изъ своихъ корыстныхъ цѣлей. Въ прекрасномъ стих. „Поэтамъ“ онъ говоритъ о современномъ обществѣ:

„О Боже, имъ въ корысть и родины невзгода,
Всѣ испытанія, всѣ земскія бѣды,
Чтобъ нагло расхищать сокровища народа,
Его труда тяжелаго плоды!“

Отъ этой грозной картины современныхъ общественныхъ явъ перейдемъ къ болѣе спокойному разсужденію нашего поэта о человѣкѣ вообще и женщинѣ въ частности. Поэтъ поражается несоотвѣтствіемъ людскихъ неправдъ съ вѣчной гармоніей въ природѣ, въ которой, кажется, человѣкъ долженъ-бы былъ занять первое мѣсто:

„Какъ высоко твое, о, человѣкъ, призванье,
Онъ лика Божія на землю навѣи свѣтъ!
Есть все въ твоей душѣ, чѣмъ полно мірозданье,
Въ ней все нашло себѣ созвучье и отвѣтъ.
Въ гармонию міровъ прозрѣлъ ты мысли окомъ
И все согрѣлъ своимъ ты внутреннимъ огнемъ;

Исполненный, какъ міръ, ничтожнымъ и высокимъ,
Ты гордо примирилъ ихъ въ существѣ своемъ.
Но отчего, скажи, семьѣ твоихъ собратій
Чужда гармонія, объемлющая міръ?
Средь разногласія желаній и проклятій
Свой жизненный вы празднуете пиръ...
Смотри, какъ на небѣ течетъ порядокъ вѣчный,
Неизмѣняемо идетъ за вѣкомъ вѣкъ,
Единство царствуетъ въ природѣ безконечной—
Въ одной твоей семьѣ смятеніе—человѣкъ“.

Такъ страдаетъ поэтъ, поклонникъ красоты вѣчной и нравственной.

Въ стихотвореніи „Женщинѣ“—мы уже не увидимъ и намека на прежнее греческое къ ней отношеніе нашего поэта. Это уже не обнаженная Левкоия и Никоя на барсовой кожѣ; нѣтъ: поэтъ искренно и глубоко задумывается надъ ея призваніемъ:

„Какъ надъ тобою насмѣялась
Твоя жестокая судьба!
Какая жизнь въ удѣлѣ досталась
Тебѣ, царица и раба!
Ты стала, средь мгновенной власти,
Мишурнымъ блескомъ облитой,
Игрушкою судьбы и страсти,
Не человѣкомъ не женой.
И на когняхъ предъ тобою,
Страдая, плача и любя,
Мужчина съ жаркою мольбою
Цвѣтами путаетъ тебя!“

Поэтъ находитъ, что женщина забыла свое призваніе, что она „пала предъ ложью и суетой“. Но свое разсужденіе онъ кончаетъ вѣрой въ возрожденіе женщины, для которой настаетъ время:

„Новой мыслью, новой страстью,
Огнемъ, любовью, красотой
Подвинуть міръ въ путяхъ ко счастью
И взволновать его застой“.

Не на одну женщину возлагаетъ надежды поэтъ въ дѣлѣ обновленія міра. Онъ видитъ залогъ свѣтлаго будущаго и въ молодомъ поколѣніи. „О, дѣти, лучшія когѣна молодого“,—обращается поэтъ къ юношамъ:

„Мужайтесь! Пусть язвятъ они насмѣшкой злою
Порывы страстные возвышенной любви,
И называютъ мысль—ребяческой мечтою,
А пылъ сердечныхъ чувствъ—волненіемъ въ крови.
И ваши тайныя, невидимыя слезы
Польютъ сокрытыя блаженства сѣмена;
Для міра выростутъ изъ вашихъ терній розы,
И ваша мысль всплыветъ нетлѣнна и ясна“.

И вотъ поэтъ, опираясь на эти силы, ждетъ лучшей участи человечества. Мало того, онъ впадаетъ даже въ нѣкоторое противорѣчiе съ самимъ собою и, едва разгромивъ современное ему поколѣнiе, самъ-же находитъ ему „Оправданiе“:

„Нашъ вѣкъ и наше поколѣнiе
Безмолвно сноситъ клевету
Незаслуженнаго презрѣнiя
И громкихъ браней пустоту“.

Назвавъ такимъ образомъ клеветой презрительное отношенiе ко всему современному ему обществу, онъ выдѣляетъ изъ этого общества то, что есть въ немъ достойнаго будущности. „Наше поколѣнiе“, продолжаетъ онъ, безмолвствуетъ, но знаетъ,

„Что мысль живая скрыта въ немъ,
Что насъ потомство оправдаетъ
Своимъ торжественнымъ судомъ;
Что судъ не видитъ современный
Ни слезъ подавленныхъ, ни мукъ,
Ни мысли съ болью сокровенной,
Ни скованныхъ судьбою рукъ“.

Въ этихъ мукахъ, подавленныхъ слезахъ, скованныхъ рукахъ, видитъ поэтъ залогъ будущаго счастья и нужную ступень къ блаженству возрожденiя, по которой миръ пойдетъ отъ „нестроенiя къ грядущей стройности“:

„И ту ступень, гдѣ отряхали.
Не замѣчая, прахъ отъ ногъ,
Когда во храмъ по ней вступали,
Превыше звѣздъ поставить Богъ“.

И при этой мысли о будущемъ блаженствѣ, поэтъ обращается ко всѣмъ людямъ со словомъ тихаго святого примиренiя и всепрощающей любви ко всѣмъ, даже ко врагамъ:

„Грѣхи ужъ приняли съ Голгофы отпущенье
И ихъ судить не намъ, и ихъ карать не намъ.
Зачѣмъ, не снисходя къ врагамъ, ихъ ненавидѣть,
Когда они не знаютъ, что творять.
О, братья! Не дерзнемъ мы никого обидѣть,
И объ одной любви уста пусть говорятъ.
Повѣрьте, въ злѣ своемъ тѣ люди не виновны—
Зачѣмъ, что человекъ не совершенъ душой;
Они въ томъ праведны, въ чемъ мы грѣховны—
Отпустимъ-же грѣхи взаимно межъ собой.
Съ невольнымъ зломъ людей, о, примиритесь, братья!
Еще во тьмѣ и дѣтствѣ человекъ:
Созрѣетъ мыслью онъ—и примутъ насъ въ объятъя
Добро, любовь и миръ на нескончанный вѣкъ.
И райскiе плоды божественнаго знанья
Всѣмъ поровну раздѣлятся тогда,
Блаженство дастся всѣмъ—и никому страданье—
Настанетъ царствiе желанное Христа“.

Если Щербина и оказывался иногда не правъ, то не потому-ли, что онъ съ институтской наивностью своей не понималъ проходящихъ передъ нимъ новыхъ явленій жизни и слишкомъ довѣрился людямъ извѣстныхъ воззрѣній. Насъ поражаетъ иногда въ сатиры Щербины ея чрезмѣрная рѣзкость, озлобленность, желчность. Въ нихъ мы не узнаемъ поклонника греческой красоты, мыслителя о вѣчномъ благѣ, о всепрощающей любви, о счастіи человечества. Посмотримъ, что говоритъ онъ самъ по этому поводу въ откровенномъ письмѣ къ друзьямъ: „Я хотѣлъ-бы никогда и ни съ кѣмъ не ссориться, всѣхъ любить; но нѣкоторые люди безъ всякой вины съ моей стороны, грубо оскорбляли меня. Когда я вынужденъ былъ необходимо показать имъ зубы, они прозвали меня злымъ. Я долго молча сносилъ оскорбленія, но наглость этихъ дерзкихъ людей и мѣра моего терпѣнія переполнились. Вотъ невольный источникъ моихъ эпиграммъ. Другая причина моего, подчасъ злого, слова есть противорѣчіе тому, что я считаю правдой. Будь я равнодушенъ къ добру и злу, къ правдѣ и ко лжи (или, по крайней мѣрѣ, къ тому, что я считаю правдой и ложью) меня-бы всѣ любили и считали добрымъ. На меня взѣлись и печатаютъ на меня намеками разныя оскорбительныя сплетни, личности, клеветы, нисколько не касающіяся литературы. Нѣкоторые люди рѣшались въ глаза намекнуть мнѣ, что я не имѣю убѣжденій. Нѣтъ! положивъ руку на сердце, я смѣло скажу, что я имѣю ихъ, и самыя твердыя“.

Далѣе Щербина разъясняетъ, что онъ не принадлежитъ ни къ западникамъ, ни къ славянофиламъ, хотя и у тѣхъ и у другихъ видитъ свою долю правды.

Въ другомъ мѣстѣ авторъ, раздраженный вообще на большинство писателей, говоритъ, что онъ написалъ сатиры въ своемъ „Сонникѣ“ на людей, даже глубоко имъ уважаемыхъ.

„Оставляю здѣсь нѣсколько эпиграммъ“,—говоритъ онъ въ предисловіи къ Альбому ипохондрика,— „для наказанія самого себя, въ укоризну себѣ. Нѣкоторыя эпиграммы были не болѣе, какъ лирической вспышкой отъ извѣстнаго рода современныхъ впечатлѣній, разговоровъ, взглядовъ кружковъ литературныхъ. Я теперь смотрю на нихъ, какъ на распущенную запальчивость моихъ заблужденій. Я разумѣю здѣсь эпиграммы на Майкова, Аксаковыхъ, Гербеля и, къ сожалѣнію, на многихъ еще другихъ. Сюда-же относятся эпиграммы на Погодина и

Мельникова“. Мы не будемъ здѣсь „на поминкахъ“ Щербины приводить этихъ рѣзкостей, въ которыхъ онъ и самъ раскаивается. Какъ-бы то ни было, сатирическія произведенія Щербины подчасъ очень остроумны, и мы считаемъ долгомъ напомнить нѣкоторые изъ нихъ. Такова, напримѣръ, эпиграмма на одного господина, обезпечившаго себя казнокрадствомъ во время Крымской кампаніи, когда онъ служилъ по провіантской части, и сказавшаго одному знакомому, что онъ ужъ теперь „экс-чиновникъ и экс-писатель“:

„Хоть теперь ты экс-писатель, экс-чиновникъ, экс-дѣлецъ,
И казны экс-обиратель, все-же ты не экс-подлецъ“.

Или эпиграмма, подъ названіемъ „Мы“:

„У насъ чужая голова,
А убѣжденія сердца хрупки,
Мы—европейскія слова
И азіатскіе поступки“.

Эпиграмма финансоваго характера, подъ названіемъ „Изъ одной проповѣди“:

„Что нашъ билетъ кредитный, братіе,
Съ зеленымъ цвѣтомъ и въ кружкахъ?
Онъ—отвлеченное понятіе
О настоящихъ трехъ рубляхъ“.

Въ знаменитомъ „Сонникѣ современной русской литературы (изданіе сотое безъ перемѣнъ, какъ и все остальное въ богоспасаемой Россіи“), Щербина помѣщаетъ чуть-ли не всѣхъ болѣе или менѣе извѣстныхъ тогда писателей, западниковъ и славянофиловъ безъ разбору. Смотря по настроенію, онъ дѣлалъ въ немъ нѣкоторые перемѣны. Такъ, въ одномъ вариантѣ, говорится: „Аксаковыхъ во снѣ видѣтъ предвѣщаетъ объявленіе войны Германіи, или въ квасѣ, смѣшанномъ съ кислой капустой и толокномъ, добродушно и съ умиленіемъ провидѣтъ великіе политическіе идеалы православнаго нашего отечества“. Въ другомъ вариантѣ объ нихъ говорится такъ: „Аксаковыхъ во снѣ видѣтъ вообще означаетъ все честное, благородное и достойное подражанія для всѣхъ русскихъ писателей“. Приведемъ еще нѣсколько мѣстъ изъ „Сонника“: „Булгарина во снѣ видѣтъ—предвѣщаетъ быть битымъ“. „Данилевскаго во снѣ видѣтъ предвѣщаетъ слышать пріятныя новости о Россіи, но, увы! большею частью несбыточныя“. „Фета во снѣ видѣтъ—предвѣщаетъ для читающей публики

подслушаны разговоры на этомъ обѣдѣ, наконецъ, перечислены ботаническіе виды травъ, которыя растутъ на могилѣ автора.

Изъ другихъ „набросковъ“ особенно остроумны: 1) „Портреты писателей“ и 2) „О вредѣ журнала „Москвитининъ“: одинъ касается чрезвычайно плохо сдѣланныхъ портретовъ писателей въ журналѣ „Сынъ Отечества“, а другой — неисправности въ выходѣ книжекъ „Москвитинина“.

Въ нашемъ очеркѣ мы старались представить разнообразіе дѣятельности нынѣ поминаемаго поэта въ трехъ главныхъ отдѣлахъ его произведеній. Эти отдѣлы чрезвычайно далеки одинъ отъ другого и, кажется, могутъ принадлежать тремъ разнымъ лицамъ. Поклонникъ красоты пластической въ греческомъ духѣ переходитъ въ поклонника красоты высочайшей, нравственной, въ духѣ христіанскомъ, — и вдругъ замолкаютъ пѣсни красоты, появляется талантливый юмористъ, сатирикъ, часто озлобленный, несправедливый и мелочной. Какую рѣзкую противоположность представляетъ анакреонтизмъ греческихъ стихотвореній и христіанская философская глубина его думъ и элегій; красота Эллады и чуть ли не цинизмъ многихъ сатиръ; — наконецъ — все это вмѣстѣ и жизнь, исполненная невзгодъ, несчастій, оскорбленій. Всепрошеніе и злоба даже на друзей; надо удивляться, какъ рѣдко онъ прибѣгаетъ въ стихахъ къ жалобамъ на свою личную несчастную судьбу. Мы едва можемъ доискаться такихъ стихотвореній. Между тѣмъ, онъ лирикъ, лирикъ по преимуществу. Пришлось бы повѣрить его откровеннымъ признаніямъ, что онъ душою и сердцемъ обыкновенно далекъ былъ отъ окружающей его дѣйствительности, что всю низость настоящаго онъ пренебрегъ и позабылъ, еслибы не его желчныя эпиграммы. И какъ странно: тѣмъ болѣе его угнетала жизнь — тѣмъ онъ свѣтлѣе смотрѣлъ на міръ; какъ-только онъ получилъ возможность жить въ довольствѣ — такъ онъ въ произведеніяхъ своихъ сдѣлался озлобленнѣе. Въ 1840-хъ и 50-хъ годахъ онъ писалъ греческія стихотворенія и думы и элегіи; въ 50-хъ, съ улучшеніемъ вѣншихъ обстоятельствъ, началъ примѣшивать сатиры, а съ 62-го года, когда онъ достигъ наибольшаго матеріальнаго благосостоянія, до конца его жизни (1869) г.), мы находимъ одни сатиры и эпиграммы. Такая противоположность жизни и поэзіи была, очевидно, въ натурѣ Щербины: приходится опять повторить сдѣланное нами вначалѣ сравненіе его съ труверами и миннезенгерами, поэтами

пустыни и ледяного сѣвера. Кто знаетъ, можетъ быть, если бы матеріальное положеніе его не улучшилось, то не изсякла бы и его возвышенная побѣда; можетъ быть, нищета и невзгоды возбуждали его мечты о прекрасномъ и высокомъ, а спокойная жизнь, наоборотъ, обратила его взглядъ на мелкое и низкое, и, надо признаться,—измельчалъ онъ самъ. Или ужъ онъ такъ натерпѣлся, что, вырвавшись на свободу, далъ волю желчи, накопившейся за много лѣтъ? Или онъ потерялъ способность предаваться мечтамъ о прекрасномъ? или извѣрился? „Онъ весь состоялъ изъ противорѣчій, крайностей, стремленій къ добру и до мелочности раздражительнаго самолюбія“—говорить о немъ авторъ воспоминаній въ журналѣ „Заря“. „Щербина ни въ какомъ отношеніи не оправдывалъ образа, въ который я его облакала по прочтеніи его греческихъ стихотвореній. Онъ былъ худой, невзрачный, сутуловатый брюнетъ, съ птичьимъ лицомъ, испорченными зубами и загадочными приемами. Трудно было опредѣлить: уменъ онъ на самомъ дѣлѣ, корчить ли шута, или смѣется болѣзненнымъ смѣхомъ; притомъ онъ немного заикался. До крайности раздражительный, нервный, не умѣлъ онъ ни лицемерить, ни скрываться. За его колкимъ, злымъ остроуміемъ и желчными шутовскими выходками было мягкое и горячее сердце“.

Заключимъ нашъ очеркъ отрывкомъ изъ недавно напечатаннаго письма гр. А. Толстого, 18 апр. 1869 г.: „Я только что получилъ письмо отъ Гончарова, гдѣ одна фраза, приписанная сбоку, меня глубоко и серьезно огорчила“: „Сейчасъ узналъ о смерти Щербинки“. Скажите мнѣ, какъ онъ умеръ? Былъ ли около него кто-либо изъ его друзей? Не былъ ли онъ оставленъ безъ необходимаго ухода? Я не могу вамъ сказать, какъ огорченъ и я, и всѣ мы, что онъ не пріѣхалъ умирать къ намъ. Его смѣрть, которой я, впрочемъ, ожидалъ, опечалила меня болѣе, чѣмъ я думалъ. Это былъ человѣкъ добрый, теплый, такой благодарный за дружбу, которую ему оказывали“...

Л. Бѣльскій.

„Иванъ“

(опытъ краткой монографіи).

Посвящается памяти Н. М. Астырева.

Мой герой не красивъ, но зато онъ около сажени ростомъ, кряжистъ, силенъ и удивительно выносливъ. Руки у него шершавыя, мозолистыя, но этими руками онъ умѣетъ пахать, косить, жать и дѣлать еще многое другое изъ того, что мы, не „Иваны“, такъ охотно уступаемъ „Иванамъ“. Онъ слѣпо вѣритъ въ „планиду“ и всецѣло надѣется на одно всевыручающее „авось“, подчасъ дѣйствительно оказывающее ему неоцѣнимыя услуги. Многіе относятся къ нему сверху внизъ, брезгливо, иные не прочь обозвать: „ска...а...тиной“; но бывали моменты, когда и эти „иные“, изумленные подвигами моего героя, снисходительно прибавляли къ такому нелестному эпитету смягчающее слово: „святая“... Не смотря на все указанное, я буду горячо отстаивать свое убѣжденіе, что мой Иванъ, хотя онъ никогда не прибѣгаетъ къ одеколону и ходить въ лаптахъ, можетъ сойти за полумифическую героическую натуру. Данныхъ для этого у меня пропасть... Я знаю, на примѣръ, что въ дѣтствѣ его ѣла свинья, что онъ тонулъ, распухалъ отъ голода, болѣлъ всякими тифами и не только остался цѣлъ и невредимъ, но и проявилъ при этомъ самое героическое спокойствіе, не теряя ни вѣры въ „планиду“, ни надежды на „авось“. Стойкость, прошу согласиться, во всякомъ случаѣ замѣчательная. Затѣмъ онъ перебирался босыми ногами черезъ Балканскіе снѣга и „былъ спокоенъ“, замерзая на исторической Шипкѣ... Вообще, — онъ проявилъ много такого, что дѣйствительно заслужилъ монографію...

Какъ и всѣ исторіографы, я тоже хочу начать свой опытъ съ вопроса о предѣлахъ. Признаюсь, однако, это будетъ самое

слабое мѣсто моей монографіи, ибо данныхъ у меня почти нѣтъ и заключенія свои я долженъ строить исключительно à priori... Мой герой не имѣлъ ни малѣйшаго представленія о родословномъ деревѣ, а лѣтописи, реляціи и донесенія, наконецъ, даже самъ Иловайскій, не указываютъ ни одного предка моего Ивана, за свои подвиги удостоившагося внесенія на скрижали... Нигдѣ нѣтъ даже намека, чтобы какой-нибудь изъ предковъ его служилъ въ опричнинѣ, былъ перебѣжникомъ, жалованъ былъ за потѣшанье или что-нибудь другое въ этомъ родѣ. Съ другой стороны у насъ нѣтъ ни малѣйшаго основанія отрицать за Иваномъ право возводить начало своего рода съ момента грѣхопаденія, — ибо самъ собою, онъ, очевидно, появиться на свѣтъ не могъ. Извѣстныя мнѣ попытки нѣкоторыхъ исторіографовъ сдѣлать его, въ отличіе отъ благонаправнаго Іафетова потомства, прямымъ отпрыскомъ прославившагося грубостью Хама, отнюдь не отрицаютъ, а подтверждаютъ такое положеніе. Отсюда ясно, что если мой Иванъ самъ собою произойти не могъ, — то у него были свои предки; а если эти предки ничего достойнаго не совершали, — то, значить, они мирно населяли и только пахали землю.

Такимъ образомъ, самъ собою уже устанавливается фактъ, что предки моего Ивана были тѣ „сошныя“ люди, что въ общей своей массѣ слывуть у исторіографовъ то „народомъ“, то „подлою чернью“, смотря по роду описываемыхъ ими дѣяній. А разъ это такъ, то у самаго злого скептика не найдется достаточныхъ данныхъ отрицать, что они, эти предки, не клали и „своя животы“ со всею сошною безымянщиной, свергавшей, напр., татаръ, боровшейся съ Литвой, устроая Русь въ Смутное время, изгоняя „двунадесять языкъ“ и т. д., и т. д. — Отецъ моего Ивана, — конечно, тоже Иванъ, — былъ севастопольскимъ ополченцемъ и, хотя въ спискахъ значится въ числѣ „безвѣстно пропавшихъ“, тѣмъ не менѣе у меня есть много данныхъ предполагать, что онъ взлетѣлъ на воздухъ въ той знаменитой ополченской колоннѣ, что, не понимъ окрика „мина!“, не захотѣла идти „мимо“, пошла прямо и была взорвана французами. Въ свое время мы жарко молились о „животъ свой во браня положившихъ, имена же ихъ, Ты, Господи, вѣси!“

Исторія собственно знаетъ только родителей моего героя, и то потому, конечно, что послѣдніе были крѣпостными го-

сподъ Лариныхъ. Какъ извѣстно, у господъ Лариныхъ были двѣ красивыя дочки, — томная Татьяна и вертушка Ольга, съ которыми феллакурили два друга, — разочарованный Онѣгинъ и поэтичный Ленскій, — что въ свое время послужило сюжетомъ для безсмертной поэмы безсмертнаго Пушкина. Въ одно прелестное страдное утро влюбленная Татьяна и полумрачный Онѣгинъ въ Чайльд-Гарольдовскомъ плащѣ, изъ-подъ котораго высовывался кончикъ татарской нагайки, — лихо гарцовали на прекрасныхъ кровныхъ скакунахъ мимо толпы „прелестныхъ жницъ“. Татьяна недоумѣвала, какъ могутъ *sans peine* выносить эту страшную *chaleur*, а Онѣгинъ, объясняя такую выносливость привычкой и свойствами дикой породы, — доказывалъ ей полнымъ трагизма голосомъ, что *они*, эти дикіе *raucapans*, неизмѣримо счастливѣе его. Наивная Татьяна колебалась... Но, вдругъ, къ стройнымъ ножкамъ ея Бэтси повалилась одна изъ этихъ жницъ, Марья, вопя упросить „папеньку барина“ позволить ей обвѣнчаться съ Иваномъ. Татьяна великодушно общала, — у нея было доброе сердце, — а страдалецъ Онѣгинъ вздохнулъ и далъ вопившей Марьѣ... пятиалтынный.

— Eh bien!? — спросилъ онъ мрачно.

— Вы правы! — томно отвѣтила тронутая Татьяна, и ея доброе сердце затрепетало отъ жалости и любви къ этому красивому скитальцу, избѣгавшему законнаго счастья.

Папаша Ларинъ сначала заворчалъ, имѣя другіе виды на хорошенькую Марью, но такъ какъ брусничная вода приводила его всегда въ хорошее настроеніе, а Татьяна поднесла еѣ кстати, то, въ концѣ-концовъ, разрѣшилъ. Такому-то случаю и незначительнымъ причинамъ обязанъ мой герой, что у него явились родители: Иванъ да Марья. Затѣмъ источники становятся сбивчивы и неясны. Извѣстно только, что вслѣдъ за скандаломъ на балѣ и послѣдовавшей смертью на дуэли Ленскаго Ларины собрались въ столицу, чтобы разсѣять печаль вертушки Ольги и уйти отъ толковъ и пересудовъ. Для поѣздки нужны были средства, а добыть таковыя легче всего было продажей „на выводъ“ лишнихъ крѣпостныхъ по стоявшей тогда довольно высоко биржевой цѣнѣ. При продажѣ произошли какіе-то инциденты, для усмиренія которыхъ потребовалась энергія князя Греммина, который прискакалъ, увидѣлъ и, конечно, побѣдилъ, получивъ въ награду руку томной Татьяны, распѣвавшей при этомъ грустный романсъ: „мнѣ все равно!“..

Какъ-бы тамъ ни было, но Иванъ и Марья несомнѣнно перешли въ собственность къ юркому культуро-носителю Штольцу, отбывшему у Обломова невѣсту, которая, какъ извѣстно, разочаровалась въ женихѣ, не сумѣвшемъ възыскать оброкъ съ своихъ крѣпостныхъ. Штолецъ перепродалъ ихъ съ большой выгодой Демону, который раскаялся, оставилъ „снѣжныя вершины“ и поступилъ по особымъ порученіямъ къ Калиновичу. Демонъ перепродалъ ихъ Печорину, спустившему ихъ въ банкъ на одну семерку (онъ, какъ всегда, „пыталъ судьбу“), послѣ чего они перебивали у многихъ душевладѣльцевъ, преимущественно изъ славянофиловъ, которыхъ умиляли „духомъ смиренія“, какъ извѣстно, давно утраченнымъ гнилымъ западомъ. Пока тѣ слагали свои знаменитые оды и трактаты, Иванъ да Марья отбывали имъ барщину и платили оброкъ. Исторія настигаетъ ихъ вновь крѣпостными г. Лежнева, къ которому они перешли путемъ какого-то божоваго наслѣдства.

Устные источники гласятъ, что Мишукъ Лежневъ, объѣзжая на бѣговыхъ дрожкахъ въ своемъ знаменитомъ сѣромъ пальто собственные заливные луга, неожиданно наткнулся на курьезную сцену. Было чудное весеннее утро, — вольная птица игриво купалась въ ясной лазури. Молодое, только-что всплывшее солнце улыбалось своими свѣтлыми лучами всѣмъ безразлично, а легкій вѣтерокъ колыхалъ высокую траву и любовно освѣжалъ горѣвшія лица косцовъ. Вдругъ, одна изъ бабъ, сгребавшихъ господское сѣно, бросила грабли, всплеснула руками, завопила:— „ой, батюшки, видать, часъ мой пришелъ!“ — и, упавъ, родила мальчика. Это была Марья, жена Ивана, а родившійся на барскомъ лугу ребенокъ, — мой герой Иванъ.

Мишукъ Лежневъ былъ добрый баринъ и, хотя отрицалъ Рудинскія бредни, — отпустилъ Марью съ барщины и даже послалъ ей стаканъ водки. Марья покрахтѣла день и затѣмъ вновь вышла сгребать сѣно съ крошечнымъ Иваномъ у груди. Лежнева, до брака — Волинцева, похвалила ее, конечно, за усердіе и въ награду подарила ей даже аршинъ коленкора на пеленки, что, впрочемъ, ея милый Мишукъ обозвалъ баловствомъ.

— Нельзя, мой другъ, — мягко, но внушительно сказалъ онъ, — награждать человѣка за исполненіе имъ своего долга прямого...

— Но, Мишукъ, — она только-что родила.

— Знаю,—и что-же изъ этого?!?—разсудительно продолжалъ супругъ.—Рожаютъ всѣ,—это общій законъ...

Но Александра Петровна была страстная спорщица.

— Ты самъ иногда жалѣешь ихъ!—горячо перебила она мужа.

— О, да!—и Михайло Михайловичъ вздохнулъ. — „Очень жалѣю... Но такая доля ихъ,—историческій фатумъ, а съ нимъ нужно уметь примириться!..“

Онъ еще разъ вздохнулъ и для успокоенія предложилъ выпить за Рудина...

Убѣдившись, что слухи о готовившемся освобожденіи не вздоръ, разсудительный Лежневъ сейчасъ-же отпустилъ всѣхъ крѣпостныхъ на волю и сразу такимъ образомъ убилъ двухъ зайцевъ:—прослылъ гуманистомъ и избѣжалъ непріятности отводить мужикамъ ихъ надѣлы. Юный Басистовъ, правда, вскипѣлъ и назвалъ это мошеннической продѣлкой, но слишкомъ горячаго молодого человѣка сумѣли унять быстро. Какъ никакъ, а Марья и новорожденный Иванъ (отецъ былъ уже давно взорванъ) очутились на волѣ.

II.

Мое личное знакомство съ героемъ и непосредственное наблюденіе надъ нимъ начались съ тѣхъ поръ, какъ ма tante Тамара взяла къ себѣ уже вольную Марью въ прачки. Послѣ смерти раскаявшагося Демона, ма tante осталась вѣрна его памяти, часто вздыхала и, старѣя въ грусти, занялась добрыми дѣлами. Она поселилась въ деревнѣ, и, такъ какъ отъ брака съ Демономъ дѣтей у нея не было,—стала воспитывать племянниковъ. Сначала ма tante зорко слѣдила, чтобы мы, племянники, не играли съ Иваномъ, который могъ научить насъ дурнымъ манерамъ и вообще испортить нашу нравственность. Къ тому-же, она была брезглива, любила вдыхать только „розъ весеннихъ ароматъ“, а отъ вида грязной Ивановой рубашки,—въ дѣтствѣ онъ ходилъ sans culotte,—и запачканныхъ рукъ ей дѣлалось дурно. Но такъ какъ ма tante вообще не отличалась строгой выдержкой и сдавалась легко на просьбы, какъ это видно изъ чудной поэмы, то въ концѣ-концовъ мы все-таки вошли съ Иваномъ въ довольно тѣсныя сношенія.

— Ахъ, нельзя, нельзя!.. онъ васъ испачкаетъ! — запротестовала она, увидѣвъ въ первый разъ, какъ мы съ Аркашей

Кирсановымъ, нашимъ сосѣдомъ сверстникомъ, гоняли Ивана на кордѣ.—Я запрещаю!

Но Иванъ такъ хорошо изображалъ кровнаго рысакъ, такъ ловко забрасывалъ ногами, выгибая шею, а намъ съ нимъ было такъ весело, что мы съ плачемъ запротестовали.

— Онъ у насъ рысакъ, та tante!..

— Все равно... У него руки...

— Мы не беремъ его за руки... Мы взнуздали.

— Ахъ, какіе вы! — уже колебалась тети.

— Онъ на кордѣ,—посмотрите!—настаивали мы, и та tante сдалась.

— Ну, на кордѣ, пожалуй!—сказала она и даже дала замарашкѣ пряникъ. До тѣхъ-же поръ его дѣтство было окутано мракомъ, полнымъ таинственныхъ миссовъ, какъ и дѣтство всѣхъ героевъ. Помню, мы съ ужасомъ вслушивались въ разговоръ о томъ, какъ его чуть-чуть не съѣла свинья, которую во время успѣла схватить за ухо безстрашная Жучка. Эта Жучка замѣняла ему бонну и всегда сторожила крошечнаго ребенка, когда Марья уходила на работу... Разъ, какъ и всѣ бонны, вѣрная Жучка сладко вздремнула на солнцепекѣ и этимъ моментомъ вздумала воспользоваться дородная Хавронья. Похрюкавъ надъ безпечно играющимъ ребенкомъ, она жадно захватила зубами его рубашку и чуть было уже не принялась чавкать, но заплатилась добрымъ кускомъ собственнаго уха.

Затѣмъ, гласятъ миссы, мальчикъ объѣдался бѣлены, леталъ съ крыши, ѣлъ всякую дрянъ, тонулъ, бѣгалъ даже въ стужу босыми ногами,—и все это ни почему,—остался цѣлъ и невредимъ, когда мы съ Аркашей, наприкладъ, капляли отъ лишняго глотка холодной воды и всѣхъ насъ укладывали въ постели при малѣйшемъ насморкѣ.

Наши сношенія съ Иваномъ, правду сказать, начались съ потѣшанья и только въ немъ одномъ и заключались. Мы были не злые мальчики, но потѣшаться надъ наивностью любили, какъ и всѣ на свѣтѣ. Иванъ бѣгалъ у насъ рысаконъ, мы „показывали ему Москву“, учили, гдѣ живетъ: „ай“! и всякой другой мудрости, доставшейся ему, конечно, слонами и слезами. Когда онъ принимался плакать, намъ, конечно, становилось жаль, мы цѣловали его, дарили пряники, — но соблазнъ былъ великъ и, при первой возможности, мы опять

устроивали ему какую-нибудь штуку, пользуясь его наивностью и доверием. Къ тому-же, не смотря ни на что, онъ всегда относился къ намъ доверчиво и ласково,—поревѣвъ немного, сейчасъ-же улыбался и дѣлалъ все, что было намъ угодно. Въ рѣдкихъ случаяхъ протеста съ его стороны, мы хоромъ кричали ему, что онъ мужикъ и потому „не смѣетъ“, — чему давно научила насъ ма tante, увѣрявшая, что Иванъ „другой породы“. И одинъ только юный Рахметовъ держалъ себя съ нимъ иначе и, своевольный, упрямый, дерзкій, вѣчно раздражалъ нервную тетю своими „почему“, да „почему“, за что она его и не жаловала. Тетя увѣряла иногда, что сирота Рахметовъ, приходившійся черезъ Рудина близкимъ родственникомъ ея покойному Демону,—посланъ ей только въ наказанье.

— Почему намъ нельзя пить холодную воду, а Ивану можно?—спросилъ онъ ее разъ, сдвигая угрюмо брови.

— Ахъ, мой другъ, потому что онъ мужикъ!—отвѣтила немного нервно ма tante.

— А почему онъ мужикъ?..

— Почему... почему!—тетя уже взволновалась,—потому, что онъ такой породы,—вотъ почему!

— А почему онъ такой породы?—не унимался Рахметовъ.

Тамара совсѣмъ разсердилась.

— Фи, ну можно-ли быть такимъ навязчивымъ, мой другъ! Это совсѣмъ не *comme il faut* приставать съ глупыми вопросами! И знай, мой другъ, эти твои „почему“ до добра не доводятъ. Вотъ увидишь!—говорила ма tante.

Но Рахметова это не смутило. Онъ дерзко заложилъ руки въ карманы, повернулся къ намъ, подмигнувъ насмѣшливо и сказалъ довольно громко:

— Сама не знаетъ,—вотъ что!—и за это былъ оставленъ безъ воздушнаго пирога.

Въ тотъ же день, насколько помню, Ивана выдрали. Случилось это вотъ какъ. Пріѣхалъ къ намъ съ отцомъ Аркаша Кирсановъ, и, пока отецъ его наигрывалъ тетѣ на виолончели,—предложилъ Ивану сдѣлать ему „лимонку“. Такъ какъ Иванъ позналъ уже эту мудрость раньше, — то онъ насупился, обидѣлся, сложилъ крайне неприличнымъ образомъ пальцы правой руки и со словами: — „па-кось, выкуси!“ поднесъ эту вульгарную штуку прямо къ носу Аркаши. Ма tante отъ ужаса упала на руки Кирсанову почти въ обморокъ, прогнала всѣхъ насъ

изъ комнаты и велѣла Марья сейчасъ же хорошо выпороть сына. Съ этихъ поръ намъ безусловно было запрещено играть съ нимъ подъ страхомъ лишенія „безъ пирожнаго“. Мы выдались съ нимъ изрѣдка, угадкой, черезъ плетень сада. Онъ добродушно показывалъ намъ свои рубцы и попрежнему, казалось, любилъ насъ. За эти воровскія свиданія та tante, лишь узнала о нихъ, сейчасъ же разчитала Марью, а своего героя я надолго потерялъ изъ виду.

Встрѣтилъ я его опять, когда былъ уже въ университетѣ. Мой сокурсникъ Аркадій Кирсановъ привезъ его съ собой въ качествѣ лакея. Иванъ былъ уже рослый, здоровый парень, такой же добродушный, какъ и въ дѣтствѣ, твердо вѣрилъ уже въ планиду и крѣпко надѣялся на „авось“. Вообще, онъ успѣлъ уже сложиться въ цѣльный опредѣленный типъ, и другъ—сожитель Кирсанова,—Базаровъ, часто всматривался въ него своими умными, пытливыми глазами изслѣдователя, жалѣя, что „эту разновидность“ нельзя разсмотрѣть подъ микроскопомъ.

— А разновидность интересная!—говаривалъ онъ часто.—Сравнивая ее съ высшими типами, можно допустить, пожалуй, что она или регрессирующее явленіе, или рудиментъ.

Но развѣ онъ сказалъ не то.

Это было послѣ одного ученаго собранія, гдѣ безстрастные ученые слишкомъ много пили за безстрастную науку. Тостовъ было такъ много, что Базаровъ, возвращаясь, чуть не заплутался въ переулкахъ,—во хмелю онъ становился другимъ человекомъ. Это выручилъ вѣрный Иванъ, взвалилъ къ себѣ на дюжія плечи, принесъ домой, раздѣлъ и уложилъ спать...

На другое утро Базаровъ протянулъ ему руку.

— Спасибо, братъ,—сказалъ онъ,—давай руку!..

Стыдливо улыбаясь, Иванъ робко протянулъ свою руку. Долго и пристально всматривался въ него Базаровъ...

— Эхъ, Иванъ!—сказалъ онъ не то съ укоромъ, не то со вздохомъ.—Да, вѣдь, ты,—братъ—сила! Знаешь ты это?!

Своей стыдливой, недоумѣвающей улыбкой Иванъ обнаружилъ полное незнаніе. Тогда Базаровъ всталъ и, угрюмый, подошелъ къ окну, откуда открывалась великолѣпная, захватывающая духъ картина. Рѣка вломала ледъ и, мощно бушуя, неудержимо гнала громадные ледяныя глыбы. Глубоко задумавшись, Базаровъ долго всматривался и любовался этой картиной.

— Ишь, стихія, — что за сила! — прошепталъ онъ, наконецъ, про себя. Дай-ка ей хоть на мгновение сознаніе!..

Тема была интересная и много давала для размышленія, но.. въ банкѣ зашевелились лягушки, приготовленныя для препарировки... Базаровъ встряхнулся, — онъ не любилъ „метафизики“ и выше всего ставилъ препарировку...

III

Я встрѣтился съ Иваномъ опять, когда, по выходѣ изъ университета, благодаря протекціямъ дядей и тетокъ, получилъ хлѣбное мѣсто въ нѣсколько тысячъ въ большой строительно-промышленно-акціонерной компаніи, дѣлами которой завѣдывалъ извѣстный Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Тутъ, въ качествѣ исторіографа, я позволю себѣ сдѣлать маленькое отступленіе, чтобы кинуть „ретроспективный взглядъ“ и кое-что уяснить такимъ образомъ читателю. Теперь не подлежитъ уже сомнѣнію, конечно, что г. Чичиковъ по сравненію со всѣми остальными персонажами его эпохи, является „положительнымъ“, прогрессивнымъ типомъ и что поэтому утвержденіе, будто великій Гоголь въ своей безсмертной повѣсти изобразилъ одни типы отрицательные, нелѣпо. Какъ бы ни относились къ Чичикову самые галантные господа изъ „Дворянскаго гнѣзда“, — его, однако, никто не можетъ упрекнуть въ торговлѣ живыми душами и въ рабовладѣльческихъ тенденціяхъ. Онъ никогда не училъ „на конюшнѣ“, былъ до нельзя вѣжливъ и торговалъ только условными, не гарантированными бумажными цѣнностями, какими, несомнѣнно, являлись скупавшіеся имъ у помѣщиковъ реестры почившихъ крѣпостныхъ, — причемъ, какъ извѣстно, продавцы безбожно торговались и старались поднадууть его, (передѣлывая, напримѣръ, „Елисавету“ въ мужика „Елисаветъ“), при продажѣ этихъ завѣдомо фиктивныхъ цѣнностей. Чичиковъ, наконецъ, несомнѣнно былъ яркимъ исповѣдникомъ прогрессивнаго принципа „laissez faire, laissez passer“, а въ общемъ — явился провозвѣстникомъ началъ „зари промышленнаго обновленія“ и прототипомъ блестящей плеяды рыцарей этой „новой эпохи“, смѣнившей крѣпостную эру. Скомпрометированный повѣстью Гоголя, онъ куда-то юркнулъ съ горизонта и въ тиши рабочаго кабинета занялся составленіемъ исторіи генераловъ, которая незамѣтно для него самого выросла въ тяжеловѣсную „Исторію Россіи“, обработанную и нынѣ изданную

какимъ-то современнымъ Плутархомъ — (гг. Зоилонъ прошу не дѣлать имя Плутархъ на два слога и не производить первый отъ русскаго корня), — какъ говорятъ, живымъ послѣдствіемъ кратковременнаго пребыванія Павла Ивановича въ скромный день у г-жи Коробочки...

Такъ, по крайней мѣрѣ, торжественно заявляютъ раскаявшіеся въ заблужденіяхъ страстей потомки Чичикова и „дамы пріятной въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ“, нынѣ усердно реабилитирующіе свѣтлую тятенькину память и мамашины пріятности въ разныхъ охотнорядскихъ „Вѣстникахъ“, „Вѣдомостяхъ“, „Листкахъ“ и т. д. — свидѣтели несомнѣнно компетентные...

Какъ-бы тамъ ни было, — однако, — фактъ несомнѣнный, что какъ-только въ воздухѣ понесло „концессіей“, а на горизонтѣ отечества блеснула „заря промышленнаго обновленія“, Павелъ Ивановичъ немедленно вынырнулъ изъ неизвѣстности и явился тутъ, какъ тутъ. Онъ строилъ, разрушалъ, созидалъ, оживлялъ и благодѣтельствовалъ отечество во всѣхъ его концахъ, появляясь для удобства операцій въ каждомъ уголкѣ подъ другимъ псевдонимомъ. И, само собою ясно, — ему необходимо былъ Иванъ... Такимъ образомъ, пока мы съ Аркашей Кирсановымъ и прочими сверстниками, служа культурѣ, получали свои оклады, Иванъ, часто по поясъ въ водѣ, рылъ выемки, возводилъ насыпи, прокладывалъ пути, вырубалъ, моталъ, прятъ, — словомъ, свершалъ все то, чтó полагается свершать Иванамъ въ интересахъ всеобщаго прогресса. Какъ существо неприхотливое и некультурное, онъ довольствовался при этомъ сырой землянкой, тухлой солониной и полбой, чтó, удешевляя производство, косвенно служило той-же культурѣ, способствуя накопленію богатства, по выраженію ученыхъ сподвижниковъ Павла Ивановича. Досугъ свой онъ тоже безсознательно посвящалъ тому-же косвенному служенію культурѣ, проводя время въ пріютахъ молодого Ситникова, гдѣ и оставлялъ свои полушки. Молодой Ситниковъ, какъ извѣстно, очень скоро освободился отъ бредней, сочетался съ Кукшиной и, во славу родины, значительно расширилъ тятенькины операціи. Такимъ образомъ казалось, что дѣло преуспѣянія развивается неудержимо и, ликуя, мы частенько устраивали веселенькіе пикники при посредствѣ того-же Ивана, который ставилъ намъ само-

вары и таскалъ хворость для костровъ, пока мы осушали свои тосты за народъ.

Аркаша Кирсановъ, уже степенный отецъ семейства, съ солиднымъ брюшкомъ и внушительнымъ баскомъ, неизмѣнно возлежалъ въ такихъ случаяхъ у прелестныхъ ножекъ своей все еще миленкой, хотя и осунувшейся, и припудренной, Кати, говорилъ рѣчи, вздыхалъ по поводу „пропасти“, отдѣлившей насъ отъ Ивана, а иногда, охваченный грустно-пессимистическимъ настроеніемъ, покушался, сомнѣваться въ счастья, доставляемомъ культурой, и ставилъ поэтому теоретическій вопросъ: стоитъ-ли вообще обучать Ивановъ,—даетъ-ли это имъ счастье?

— Право-же, въ невѣдѣннѣ, господа, счастье!—грустно вздыхалъ онъ.—Знаніе породить одну неудовлетворенность, а слѣдовательно и страданіе...

Съ этимъ вполне соглашался Разуваевъ, нашъ неизмѣнный подрачикъ, нажившій тѣмъ деньжищъ и въ качествѣ крупнаго туза, допущенный въ нашъ кругъ...

— Вѣрно-съ, какъ день!—подхватывалъ онъ съ апломбомъ знатока деревни и народа,—ни зачѣмъ *ему* наука не нужна-съ, —одно мошенство пойдетъ-съ отъ нея!

Но тутъ всегда первой вступалась г-жа Одинцова, отерывшая у себя въ деревнѣ школу домашней прислуги послѣ смерти Базарова.

— Извините-съ,—горячо возражала эта изящная дама,—совсѣмъ напротивъ,—*ихъ* нельзя оставить въ такомъ состояніи!.. Намъ же нужна хорошая прислуга, хорошіе рабочіе, лакеи, горничныя... Безъ образованія никакъ нельзя!

— Одно мошенство!—не унимался упрямый Разуваевъ.—На нихъ во, чтѣ нужно!—складывалъ онъ свой дюжій кулакъ.

Но тогда всѣхъ еще коробила такая откровенность, тѣмъ болѣе въ такой грубой формѣ, и разъ ему крикнули: „брысь!“ Онъ съежился, насупился и ноздри у него дрожали, когда онъ отвѣчалъ.

— Это, конечно, какъ угодно-съ,—и замолчать можемъ, коли ежели...—а только на мое выйдетъ-съ! *Емз* форситъ почнетъ,—увидите-съ!

Но по отношенію къ Ивану это была безусловная неправда,—онъ никогда не форсилъ и мирился со всѣмъ. Не форсилъ онъ ни на вьемкахъ, ни на насыпяхъ, ни въ больницахъ, куда его втаскивали въ цынѣ или тифѣ. Онъ былъ

положѣ убоенія отъ своей свободы, отъ сознанія, что онъ уже не вѣрностной и имѣетъ право на собственную полушку за свой ваторажный трудъ. Хотя всѣ предпріятія Павла Ивановича по оживленію отечества неизмѣнно приходили, какъ это извѣстно, къ тому печальному результату, который всего лучше характеризуется словами: „врахъ“ или „пуфъ“, почему Ивану постоянно приходилось искать свою полушку и пачпортъ у мирового, но и тутъ онъ не форсилъ. Онъ поднималъ, правда, гвалтъ, толкался на одномъ мѣстѣ, требуя расчетъ „по божески“, но, получивъ умирненіе, быстро смолкалъ и безропотно путешествовалъ на родину, за неизмѣннымъ полушкой, этапнымъ порядкомъ. Потолкавшись тамъ, онъ неизмѣнно начинался вновь на новое предпріятіе до новаго краха и свыхся съ такимъ положеніемъ до того, что считалъ его своего рода „планидой“...

— Куда, Иванъ?!..

— На заработки, вѣшескорodie, — хлѣбушка нѣтъ... Павелъ Ивановичъ, сказываютъ, новое дѣло беретъ...

— Кто навимаетъ, — Разуваевъ?..

— Они-съ, Іона Іоничъ, — какъ опять, значить, въ подрядчикахъ состоятъ...

— Да, вѣдь, не рассчитался съ тобой!?

— Это такъ тошно, — какъ Богъ святъ, обидѣли-съ, — ну, да теперь авось...

Съ такимъ „авось“ было не до форсу...

Въ это-то время въ нашемъ кругу сверстниковъ племянниковъ и произвелъ извѣстный расколъ. Случилось это на вечерѣ у Кирсановыхъ въ свѣтлый день Катинныхъ именинъ, когда всѣ были настроены самымъ радужнымъ образомъ и веселились отъ души. Даже Разуваевъ разблагодушествовался и пожертвовалъ сторублевый билетъ на школу г-жи Одинцовой съ бахвальными словами: — „Намъ это все единственно, — пущай пропадаетъ! Не первая сотня-съ!“ Объявшись имениннаго пирога, онъ добродушно иналъ и вскорѣ засопѣлъ въ креслѣ, сложивъ на кругломъ животѣ короткія, жирныя руки. Катя Кирсанова лихо проплясала съ Соломиннымъ „русскую“, удивительно подмахивая платочкомъ, и, какъ заправская цыганка, поводила круглыми плечами. Это привело насъ въ шумный восторгъ, который разбудилъ на моментъ Разуваева. Онъ открылъ жирныя глазки, погладилъ бороду, промычалъ какъ-то

жирно:— „м-м-да!“ — и снова засоптѣлъ, когда послѣ танцевъ всѣ перешли къ оживленной бесѣдѣ о культурной миссиі, задачахъ и цѣляхъ. Наэлектризовавшаяся Одинцова кинулась снова къ фортепьяно, быстро взяла нѣсколько знакомыхъ всѣмъ аккордовъ и въ заглъ грянулъ хоръ... Пѣли дружно всѣ, и Кирсановъ, и Очищенный, тогда еще писавшій томные фельетоны, и Балалайкинъ, и Соломинъ, и т. д. весь общій кругъ, — известную пѣсню: „Проведемте, друзья!“ Пѣли съ жаромъ, съ увлеченьемъ, съ жестиами, а Балалайкинъ, какъ болѣе экспансивный, обнимался со всѣми, утиралъ слезы и клялся, „до гроба!“ Но вотъ тутъ-то и вышла бѣда... Точно привлеченные этимъ хоромъ, въ залу неожиданно вошли Рахметовъ съ друзьями, Аверинымъ, Неждановымъ, Маріанной, — съ цѣлымъ кругомъ другихъ племянниковъ своего пошиба. Между двумя группами племянниковъ давно уже тянулась пикировка, — Рахметовъ всегда оставался вѣренъ себѣ и своимъ назойливымъ „почему“, — и первые иронически совѣтовали вторымъ серьезно заняться научными изысканіями вмѣсто того, чтобы увлекаться непроверенными опытомъ теоріями. Почва для столкновеній была взрыхлена, но никто еще не ожидалъ скандала и полного разрыва. Вышло же именно то, чего не ждали.. Рахметовъ съ своей обычной рѣзкостью называлъ Чичикова — мошенникомъ.

— Это почему? — вспыхнулъ Очищенный, но довольно осторожно, зная, что съ этими ребятами шутки плохи.

— А потому, что мошенникъ! — подхватилъ Неждановъ.

— Но вѣдь это еще нужно доказать, мой амурчикъ! — взвизгнулъ Балалайкинъ и высунулъ языкъ.

— Нечего и доказывать, — само собой ясно!

— Извините-съ, — визжалъ Балалайкинъ, — не пойманъ — не воръ, — известно-съ!

— Нѣтъ, воръ!

Споръ раскалялся, — Соломинъ, по обыкновенію молчалъ, и только загадочно улыбался, поворачиваясь на обѣ спорившія стороны. Наконецъ, авторитетнымъ тономъ вмѣшался Кирсановъ.

— Позвольте, позвольте, господа! — воскликнулъ онъ, выступая впередъ. — Позвольте! По вашему Чичиковъ — мошенникъ, — хорошо-съ! А значить, — мы по вашему?!.. — и онъ вызывающе сжузилъ глаза.

— Вы?! — подхватилъ Рахметовъ. — Вы то же, что и онъ... Расхитители!..

— Мерси! — поклонился съ ироніей Кирсановъ при гробовомъ молчаніи.

— Не за что! — Совсѣмъ не за что! — подхватили тѣ. — Лучше бы ты, Аркадій, вспомнилъ свои клятвы при гробѣ Базарова!..

Это, конечно, было самое непріятное напоминаніе. Кому же, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть пріятно воспоминаніе о заблужденіяхъ страстей! Мало-ли что говорилось, думалось, обѣщалось въ извѣстныя минуты, — не всякое же лыко въ строку!.. Посыпались упреки, споръ перепелъ въ гвалтъ, поблѣднѣвшія дамы вскочили въ испугѣ, умоляя не дѣлать скандала, а ничего не понимавшій Разуваевъ спросонокъ заоралъ на все горло: караулъ!

— У...у...у...у...—недоумки! — злобно шипѣли всѣ вслѣдъ уходившимъ во свояси рахметовцамъ. — Конечно, — мы съ этихъ поръ чужіе другъ для друга!..

— Конечно, конечно! — вторили уходившіе. — И лучше, что кончено!

Они направились къ Ивану, но тотъ, все еще полный упоенія и ликованья, — встрѣтилъ ихъ крайне недовѣрчиво.

— Зна...а...емъ! — говорилъ онъ имъ, недовѣрчиво и злобно улыбаясь. — Понимаемъ!.. На старое, значить, повернуть желаете, на господское положеніе... Ишь овцами прикинулись, — дубьемъ бы васъ всѣхъ!

Аркашины друзья-пріатели отъ восторга ликовали...

— Такъ имъ! Такъ имъ и слѣдуетъ! — потирали они руки...

Но тутъ Исторія временно прерываетъ свое теченіе за неразъисканіемъ пока необходимыхъ матерьяловъ...

IV.

Это было уже у подножія Балканъ, гдѣ, по рекомендаціи Павла Ивановича, мы съ Кирсановымъ получили хорошія мѣста агентовъ у гг. Грегера и Горвица. Очищенный въ то время издавалъ уже свой „Демидронъ“ и писалъ громовыя статьи на тему: „Смерть врагамъ“. Балалайкинъ то сопровождалъ партіи тухой солонины, то писалъ реляціи о побѣдахъ и одолѣніяхъ, а Соломинъ, сидя на фабрикѣ, постоянно жаловался на плохія дѣла и дороговизну рукъ.

Мы сидѣли въ палатѣ, метали отъ скуки банкъ, закусывали въ промежуткахъ сардинками и тянули недурной коньякъ,

когда доносился слухъ, что вернулась партія изъ числа сидѣвшихъ на Шипкѣ. Понятно, мы бросили все и высочили посмотреть этихъ полумифическихъ героевъ. Аркаша Кирсановъ такъ и застылъ въ изумленіи предъ оборванной, босой, посинѣвшей отъ лишеній и голода фигурой, съ обвязанной головой,—застылъ, разставивъ руки и открывъ ротъ...

— Иванъ, — неужели это ты?! — вырвалось у него наконецъ.

— Такъ точно-съ! — отвѣчалъ Иванъ, добродушно улыбаясь.

— Ты, собственной персоной? — продолжалъ изумленный Кирсановъ. — Ты не погибъ въ выемкахъ, на насыпяхъ, въ больницахъ, подъ колесами?!

— Никакъ-съ нѣтъ-съ! — отвѣчалъ, такъ-же улыбаясь, Иванъ. — Богъ миловалъ!..

— Ты былъ на Шипкѣ?

— Такъ точно-съ!

— Нѣтъ, постой! — говорилъ Кирсановъ. — Что-то не вѣрится мнѣ, — точно-ли это ты, — дай-ка я тебя пощупаю!..

Онъ щупалъ кости и кожу, повторяя изумленно: — онъ, онъ, ей-Богу, онъ! — и, наконецъ, кинулъ: — Вѣрно, ты настоящій! Кто-бы подумалъ!? Ну, что, страшно, чай, было?

— Зачѣмъ страшно, — отвѣчалъ Иванъ, такъ же добродушно, спокойно улыбаясь: — извѣстно, — каждому свой предѣлъ положень, — кому какъ, — ваше-скородіе! Чего-жъ страшиться-то? Вотъ, на счетъ табачку, такъ, дѣйствительно, плохо было, — на счетъ цыгарки, значить, — совсѣмъ мать!.. А какъ на счетъ замиренья, ваше-родіе, слыхать? — просить, что-ль, турокъ пардону?.. — спросилъ онъ вдругъ робко.

— На счетъ замиренья? гм... а тебѣ на что!.. Домой хочется?

— Такъ точно-съ!.. — осклабился Иванъ. — Жена тама, — опять хозяйство...

— Да развѣ ты женатъ?..

— Женатъ-съ! — осклабился еще шире Иванъ. — Маршей звать, — помните, ваше-скородіе. чай, у госпожи Одинцовой въ услуженіи была?! Такъ она самая-съ!

Но Кирсановъ не слушалъ, — онъ поглощенъ былъ своими мыслями... Уставивъ глаза въ одну точку, онъ точно вематривался во что-то и вдругъ крикнулъ, поднявъ руки въ изумленіи.

— Да, знаешь-ли ты, Иванъ, — что ты герой?!

Улыбавшийся Иванъ какъ то сразу смѣшался, или сконфузился...

— Какъ угодно-съ, ваше-скородіе! — отвѣтилъ онъ, боясь поднять вѣки, не глядя. — Оно, конечно, — всякому своя планка, — а только извѣстно, — какъ угодно-съ!..

— Ты герой, герой, герой! — говорилъ горячо Кирсановъ, точно охваченный какимъ-то острымъ, жгучимъ порывомъ, и трясъ Ивана за руку. — Понимаешь, — нѣтъ? — ну, все равно, — ты герой! Такъ что тебѣ, — домой, къ Марьѣ, хочется, а?

— Хоть-бы письмецо послать! — нервнительно, робкимъ просящимъ голосомъ отвѣтилъ совсѣмъ сконфуженный Иванъ.

Кирсановъ далъ ему „на чай“, далъ десятокъ папиросъ и написалъ письмо. Это солдатское письмо я помню... Тамъ было двадцать семь земныхъ поклоновъ, вопросъ объ урожаѣ, вопросъ о меринѣ и телушкѣ... Тамъ былъ вопросъ, отдать-ли Разуваевъ двѣ съ половиной заработанныхъ полушки и согласится-ли отпустить въ кредитъ сѣмянъ для полудесятинной нивки. И только въ концѣ, въ самомъ концѣ, было приписано, что онъ, Иванъ, благополучно вернулся съ Шипки, слегка раненный, что начальство у него не очень, чтобы строгое, что, вообще, все слава Богу, — только, вотъ, на счетъ ѣды, сапогъ да табачку — туговато... Но и это не то, чтобы совсѣмъ ужъ! Я помню все это, — помню такъ ясно, точно картина стоитъ передо мною. Я помню это сконфуженное, широко улыбающееся добродушной улыбкой лицо, помню взволнованный, мягкій, счастливый тонъ, какимъ голодный, оборванный Иванъ упоминалъ о своей Марьѣ, помню его робкую, нервнительную просьбу на счетъ „письмеца“... Помню, какъ въ этихъ ясныхъ, свѣтлыхъ глазахъ играли слезинки, пока перечислялись поклоны роднѣ, сватьямъ, вятямъ и сосѣдямъ, пока писались вопросы о домѣ, меринѣ и телушкѣ. Помню, наконецъ, какъ у меня самого что-то зашевелилось въ груди теплое, доброе, счастливое, и, поднимаясь все выше, туманило взглядъ. Что-то засверлило вдругъ, какъ бы капля горячей совѣсти, какъ-бы стыдъ какой-то и за что-то, — незабытое, задуманное, — засверлило, зазвонилось, а затѣмъ стало не про себѣ, совсѣмъ жутко...

— Герой! — буркнулъ про себя Кирсановъ, не поднимая головы. — Да, герой!

Послѣ того мы долго не встрѣчались съ Иваномъ. Слѣдовало намъ, что онъ плѣнился подѣ странной Плевной Осман-

папу, переваливъ затѣмъ за Балканы, прошелъ Адрианополь и стоялъ у стѣнъ Константинополя. Знаю, что, по сообщеніямъ достовѣрныхъ свидѣтелей, онъ былъ въ той знаменитой скобелевской колоннѣ, которой бѣлый генералъ производилъ „ученье“ подъ адскимъ огнемъ турокъ. Посланная въ атаку, колонна дрогнула предъ страшнымъ лицомъ смерти, которая прямо дышала на нее залпами батарей и ружейнаго огня со всѣхъ сторонъ. Генералъ остановилъ дрогнувшихъ окрикомъ: „смирно!“ — построилъ и началъ ученье. прямо подъ огнемъ, подъ картечью, вырывавшей сотни жизней изъ рядовъ, командуя: „на плечѣ!“ и „къ ногѣ!“ — и затѣмъ крикнулъ: — „впередъ!“ Иванъ бросился съ другими, небольшой горстью пощаженныхъ смертью, и черезъ нѣсколько минутъ сидѣлъ уже верхомъ на турецкой пушкѣ, обливаясь кровью. Генералъ кинулся къ нему на шею и, пачкаясь кровью, вдругъ зарыдалъ у него на плечѣ, какъ ребенокъ...

— Ваше превосходительство!.. Такой подвигъ!! Такая побѣда!! — поздравляли его со всѣхъ сторонъ... Но генералъ поднималъ вдругъ блѣдное, искаженное гнѣвомъ и раздраженіемъ лицо и нервно кинулъ поздравлявшимъ:

— Развѣ вы слѣпы, не понимаете?! Развѣ это моя побѣда, мой подвигъ!?! Вѣдь, это все онъ, онъ, — голодный, босой Иванъ!.. Вотъ, кто настоящій герой, кого поздравляйте!..

V

Творилось что-то неладное...

Почившій Чичиковъ оставилъ послѣ себя неисчислимое потомство трезвенныхъ молодцовъ и тѣ заполнили собою всю исторію быстро и неудержимо. Въ воздухѣ слышались только чавканье, да хрустѣніе. Отечества, точно, не было, — оно какъ будто исчезло, покрытое влившейся трезвенной массой. Изъ всѣхъ щелей ползли все новые и новые чичиковы дѣти, и люди прятались въ страхъ и тревогъ...

Стояла холодная, снѣжная зима. Иванъ умиралъ. Въ закопѣлой, черной и низкой избѣ безъ крыши, которую давно съѣла скотина, безъ ограды, которая пошла на топливо, было темно и холодно. За рванымъ ситцевымъ пологомъ изъ старой, поношенной юбки, металась и стонала Марья, за которой ухаживала недавно прибывшая Маріанна, измученная, похудѣвшая, разбитая, но все такая же добрая, чуткая и честная, какой

изобразилъ ее Тургеневъ. Она принесла съ собой въ эту избу пригоршню муки, выпрошенную у Разуваева и пожертвованныхъ кружкомъ Кирсанова суррогатовъ и жмыховъ, замѣняющихъ, какъ говорятъ ученые люди, жиры и бѣлокъ. Она же выпросила гдѣ-то и охапку хворосту и своими худыми, слабыми руками затопила давно нетопленную печь...

— Спаси тебя Богъ!—слышалось изъ-за рваного ситцевого полога, въ перемежку съ Марьиными стонами и вслѣдъ затѣмъ раздавался ласковый, бодрящій шепотъ Маріанны, повторявшей все одно и то же: — „крѣпись, крѣпись, Марья!“ На Марью этотъ ласковый шепотъ дѣйствовалъ, повидимому, успокоительно, но иногда больная не выдерживала и у нея вырывалось съ отчаяньемъ:

— Почто крѣпиться то, — не зачѣмъ?! Такъ-то, бы сразу ужъ, — лучше! Охъ, и зачѣмъ намъ-то, горемычнымъ, крѣпиться!?

Не находила-ли Маріанна другихъ словъ, не хватало-ли у нея отъ слезъ голоса, — только она еще ласковѣе, точно бы подавляя плачь, шептала и на это свое неизмѣнное: „крѣпись, крѣпись, Марья!“

Багровый отблескъ огня пылавшей печи падалъ красными пятнами на лежавшаго неподвижно Ивана. Этотъ отблескъ окрашивалъ его раздутое, посинѣлое лицо, неподвижные бѣлки его глазъ, его мѣрно двигавшіяся, покрытые цынговыми язвами, губы. Только эти губы и двигались, — совершенно такъ, какъ двигаются онѣ у голоднаго, просящаго груди ребенка, — конвульсивно, произвольно, то размыкаясь, то снова смыкаясь. Молодой Рудинъ, развившій отцовское: „надо покориться!“, кинутое его отцомъ Наташѣ на ея признаніе, въ цѣлую пресловутую философскую систему, сидѣлъ тутъ-же на убогомъ ложѣ умирающаго и время отъ времени щупалъ пульсъ. Его привела сюда на помощь себѣ та-же Маріанна, пробудивъ горячимъ словомъ отъ страшнаго, неврастеническаго состоянія апатіи и пессимистической простраціи. Онъ влилъ, по ея указанію, въ эти мѣрно двигавшіяся губы нѣсколько ложекъ бульона, ложку вина, еще бульона, и еще вина, — но дѣло не мѣнялось. Иванъ оставался неподвиженъ, нѣмъ, такъ-же неподвижны оставались эти страшные бѣлки и только однѣ губы продолжали смыкаться и размыкаться, но все медленнѣе, все тише и съ бѣлыми промежутками...

Но вдругъ Иванъ вадрогнулъ, вадрогнулъ весь, каждымъ фибромъ, каждымъ атомомъ, казалось, своего пластомъ лежащаго тѣла. Его ротъ широко раскрылся и оттуда внезапно вырвался дикій крикъ, какъ у человѣка, котораго душатъ, которому не хватаетъ воздуха, котораго въ то-же время охватываетъ ужасъ. Этотъ крикъ, похожій и на мольбу, и на отчаяніе, и на угрозу, — искрой прорѣзалъ глубокую тишь и, какъ искра же, безслѣдно потухъ въ сумракъ низкой, черной избы. Что померещилось Ивану въ его послѣдній часъ, — кого онъ увидалъ передъ собой, чѣмъ былъ вызванъ этотъ вопль, полный боли, — осталось его тайной, которая такъ и потонула въ гробовой, глубокой, какъ сама смерть, наступившей паузѣ... Это была лебединая пѣсня Ивана...

— Кончено! — крикнулъ молодой Рудинъ, вскочивъ отъ ужаса и безнадежно махнувъ рукой...

Но, какъ-бы страстно протестуя, ему на встрѣчу изъ-за перегородки раздался внезапный дѣтскій визгъ, громкій и сильный, какъ сама жизнь. И прежде чѣмъ онъ могъ опомниться, предъ нимъ предстала дрожавшая торжествомъ Маріанна съ двумя новорожденными Иванами, пришедшими на смѣну почившему...

— Живы! — говорила она счастливая и ласковая. — Видите, — живы! И еще двойня!.. Идите же, Рудинъ, идите скорѣе, — хоть о молокѣ-то позаботьтесь!.. У бѣдной Марьи — ни капли!..

Она прижимала близнецовъ къ своей теплой, любящей груди, слегка покачивая ихъ и на дѣтскія личики тихо капали ее радостныя, любовныя слезы. Рудинъ ушелъ, и она, полная жгучей думы о грядущей судьбѣ новыхъ Ивановъ, долго слѣдила за нимъ глазами въ тусклое оконце, откуда глядѣло на нее сѣрое, свинцовое небо съ легкой, чуть видной, розоватой дымкой на горизонтѣ, — Богъ его знаетъ — чего, — не то наступающаго разсвѣта, не то послѣднихъ тоновъ догорѣвшаго дня...

Григорій Мачетъ.

И. С. Тургеневъ въ кругу французскихъ литераторовъ

Матеріалы для его характеристики за послѣднія 12 лѣтъ жизни.

I.

Предметъ настоящаго очерка—старческіе годы Тургенева. Жизнь его теперь неразрывно связана съ семействомъ Віардо и протекаетъ, судя по письмамъ, довольно уныло. Съ внѣшней стороны она разнообразится только переменною мѣста, переменною, часто вынуждаемой болѣзнію. Послѣ фр.-прусской войны Віардо вернулись во Францію и живутъ лѣто и осень въ Буживалѣ подъ Парижемъ, зиму въ самомъ Парижѣ. Въ Россію Тургеневъ пріѣзжаетъ разъ въ годъ, большею частью весною, чтобы часть лѣта прожить въ деревнѣ. Иногда, какъ въ 1873 и 1875 годахъ, онъ совсѣмъ не пріѣзжаетъ или, какъ въ 1877 и 1879, не доѣзжаетъ до Спасскаго, побывавъ только въ Петербургѣ и Москвѣ—потому что подагра донимаетъ его частыми приступами и гонитъ его или „домой, къ своимъ“, т. е. къ Віардо, или на воды въ Карлсбадъ. Два послѣднихъ лѣта 1882 и 1883 года онъ, хотя и тоскуетъ по Россіи, но прикованъ болѣзнію—теперь уже смертельною—къ Буживалю.

Уныло течетъ его жизнь не потому только, что ее одолеваетъ старческія немощи, но потому, что въ немъ съ годами усиливается та изклонность къ хандрѣ, которая такъ сильно чувствуется въ его письмахъ. Это настроеніе—склонность къ тоскѣ и къ унылому взгляду на вещи—„существуетъ, по его признанію, ¹⁾ уже весьма давно—чуть ли не съ самой молодости“. И хотя онъ увѣряетъ, что оно не возникло вследствие послѣднихъ непріятностей, но несомнѣнно, что непріятности должны были и вызывать и усиливать это настроеніе.

¹⁾ Перв. Собр. Пис. 317 стр. Коломенскому, 20 Апр. 1877 г.

Причина неприяностей коренилась прежде всего въ общихъ условіяхъ нашей жизни. Особенно мрачный колоритъ носятъ письма послѣ появленія „Нови“. Какъ художникъ бытописатель, изобразитель современности, Тургеневъ близко былъ знакомъ съ тѣми революціонными кружками и тѣми политическими процессами, которые волновали наше общество 70-хъ годовъ. Его пребываніе за границею могло даже способствовать этому знакомству, а нѣкоторое отдаленіе — болѣе спокойному, объективному отношенію къ событіямъ. Матеріалъ же онъ имѣлъ возможность черпать изъ первыхъ рукъ. Кромѣ личныхъ знакомствъ въ Россіи и за границею, мы знаемъ изъ его писемъ, что въ его распоряженіи бывали иногда цѣнные для художника документы, письма, стихотворенія, дневники (оттуда онъ заимствовалъ стихъ: „Люби не меня, а идею“). По этимъ документамъ онъ могъ воссоздать внутреннюю фیزیономію тѣхъ молодыхъ дѣятелей, которые его тогда интересовали. А между тѣмъ этотъ-то интересъ, т. е. знакомство съ тѣмъ, что волновало и тревожило его время, и ставился ему въ упрекъ одной частью печати, навлекая на него нареканія и съ другой стороны — изъ противоположнаго лагеря. Къ этимъ упрекамъ и нареканіямъ Тургеневъ не могъ оставаться равнодушнымъ: отзываясь на жгучіе вопросы дня художественнымъ творчествомъ, выражая свой горячій и искренній интересъ къ дѣламъ родины цѣлымъ рядомъ поэтическихъ картинъ, Тургеневъ раздражался и обижался, когда встрѣчалъ мнѣнія о нихъ въ печати и даже въ отзывавъ друзей; онъ чувствовалъ себя не понятымъ и это усиливало въ немъ то ощущеніе безполезности, бессмысленности существованія, которое смолodu вызываетъ его хандру и всегда лежитъ въ основѣ его меланхоліи.

Это взаимное непониманіе общества и поэта, — общества въ лицѣ его литературныхъ критиковъ и публицистовъ, и поэта, какъ его бытописателя и выразителя, — это взаимное непониманіе составляетъ отличительную черту всей литературной жизни Тургенева. Вопросъ этотъ слишкомъ сложенъ и слишкомъ тѣсно связанъ съ общими условіями нашей жизни и литературы, чтобы его можно было касаться бѣгло или вскользь. Но его нельзя не отмѣтить въ біографіи нашего писателя. Ему нельзя, конечно, приписать всѣхъ тѣхъ элегическихъ настроеній, которыя такъ мастерски изображались имъ; эти настроенія могли вытекать и изъ прирожденныхъ свойствъ его мягкой меланхо-

лической натуры, изъ его болѣзненности и мнительности и изъ воздѣйствій первоначально воспитавшей его среды. Но несомнѣнно, что опытъ жизни, даже въ тотъ поздній заключительный періодъ, который съ очень многими примиряетъ человѣка, въ тотъ старческій возрастъ, о которомъ идетъ теперь рѣчь, опытъ могъ только усиливать эти настроенія и, придавая имъ новую горечь, окрашивать ихъ въ унылые, мрачные цвѣта.

Такими цвѣтомъ окрашены почти всѣ его письма: охлажденіе къ литературѣ, отвращеніе къ перу, ощущение своей непригодности, неспособности; жалобы на отсталость, на старость,—хотя возрастъ его не такой, чтобы даровитый человѣкъ могъ отказываться отъ работы; жалобы на невозможность жить въ Россіи, а внѣ Россіи нельзя писать о ней; жалобы на всеильныя обстоятельства, удерживающія его за границею,— всѣ эти жалобы, свидѣтельствуя о пониженномъ тонѣ жизни, объ упадкѣ жизненной энергіи, дѣлаются настойчивѣе и учащеннѣе послѣ появленія каждаго болѣе или менѣе крупнаго произведенія. Эти жалобы—точно отголоски тѣхъ порицаній, которыя и прямо высказываются въ печати и сквозятъ въ письмахъ друзей.

Слѣдуетъ замѣтить, что письма Тургенева представляютъ собою матеріалъ для опредѣленія настроеній—мало доказательный. У него часто, какъ вообще у людей подвижныхъ и впечатлительныхъ, тонъ интимной переписки отражаетъ только случайныя преходящія ощущенія, которыя исчезаютъ въ общей сложности преобладающаго образа мыслей, особенно если письма адресуются лицамъ, знакомымъ съ этимъ образомъ мыслей. Кромѣ того, многіе склонны изъ своей жизни отмѣчать въ письмахъ только то, что вызываетъ ихъ недовольство, сбывать съ души тяжелыя, непріятныя впечатлѣнія, между тѣмъ какъ всѣ бодрія, жизнедѣятельныя ощущенія употребляются ими на энергическую и плодотворную работу. Это видимъ и у Тургенева: тутъ онъ констатируетъ охлажденіе къ литературѣ, отвращеніе къ перу, неспособность къ работѣ; а рядомъ читаемъ: „кое-что задумалъ“, „кончилъ рассказъ“ и т. п.

Еслибы неодобрительные отзывы и давали ему поводъ жаловаться на непонятость и на несправедливый судъ толпы,—то вѣдь слышались же и сочувственные ему голоса; было признаніе прежнихъ заслугъ; было наконецъ собственное сознаніе, гордое сознаніе поэта, продиктованное Пушкинымъ:

„Ты самъ свой высшій судъ“.

И тѣмъ не менѣе, какъ ни утѣшать себя взыскательный художникъ, онъ все-таки чутокъ и раздражителенъ, и даже, чѣмъ взыскательнѣе къ себѣ, тѣмъ сильнѣе ощущаетъ взыскательность другихъ; онъ не можетъ выносить отрицательнаго къ себѣ отношенія даже тѣхъ, въ чей судъ онъ не вѣритъ, или радъ бы былъ не вѣрить. Отсюда то тоскливое настроеніе, то нѣсколько малодушное уныніе, которое въ письмахъ Тургенева служитъ отвѣтомъ на непризнаніе его со стороны родной публики.

Это пониженіе тона послѣ каждой большой работы мы можемъ провѣрить и на хронологической послѣдовательности его повѣствованій. Взглянемъ на эту послѣдовательность назвѣй, не вдаваясь въ разборъ внутренней стороны произведеній.

Послѣ романа „Отцы и Дѣти“ 1861 г., въ продолженіе 5 лѣтъ написаны только: небольшое воспоминаніе о худож. А. А. Ивановѣ (1861 г.); „Призраки“ (1863 г.), „Довольно“ (1864 г.) и маленькая вещь „Собака“ (1866 г.). Нельзя, кажется, отрицать, что „Призраки“ и „Довольно“ наиболѣе краснорѣчивое воплощеніе въ художественной прозѣ того унынія и тоски, которыя овладѣли авторомъ послѣ шума, надѣланнаго его „Отцами и Дѣтьми“.

Романъ „Дымъ“ выходитъ въ 1867 году. Послѣ него, правда, періодъ очень продуктивный — сравнительно; но зато усиливается то отчужденіе отъ русской современности, на которое негодуешь публика. Появляется „Исторія лейтенанта Ергунова“, „Бригадиръ“, большая повѣсть „Несчастная“ и рядъ воспоминаній въ 1868 году. Судя по письмамъ, всѣ эти произведенія не имѣютъ успѣха. Тургеневъ, очевидно, обманывается ими ожиданія публики. Онъ отлично понимаетъ эти ожиданія и требованія, но упорствуетъ; въ 1871 году, большая повѣсть „Вешніе воды“ („Вѣстникъ Европы“, янв. 1872 г.); онъ знаетъ, что она не понравится отсутствіемъ политическихъ, социальныхъ намековъ (стр. 200). Въ то время онъ уже задумалъ кое-что (стр. 207) изъ современности; но зрѣетъ этотъ замыселъ медленно. *Новъ* появляется черезъ 4 года (311 стр.) въ 1876 г.; написана она скоро, легко (въ 3 мѣсяца). „Идея у меня долго вертѣлась въ головѣ“, говоритъ Тургеневъ, „я нѣсколько разъ принимался за исполненіе—но, наконецъ, написалъ всю штуку, какъ говорится, сплеча“. А пока, въ этотъ промежутокъ вре-

мени, отчужденіе отъ родной современности, вѣроятно, заботить его, потому что, желая правиться публикѣ, онъ возвращается къ тому роду повѣствованій, который составилъ славу его молодости, т. е. къ „Запискамъ Охотника“: „Конецъ Чертопханова“, „Пунинь и Вабуринь“, „Живыя Мошцы“, „Стучить“... Другимъ въ Россіи эти рассказы не нравятся. Анненковъ, которому Тургеневъ довѣрялъ больше, чѣмъ другимъ, взялъ съ него слово, говорить онъ (стр. 209), „никогда впредь никакихъ прибавленій и продолженій къ „Зап. Охотника“ не дѣлать“.

Возвращеніе къ старымъ сюжетамъ, навѣяннымъ воспоминаніями давно прошедшихъ временъ, было, по отзыву друзей, нежелательно; но и обработка новой темы, взятой изъ живой дѣйствительности, очень многихъ не удовлетворила. Послѣ *Нови* въ письмахъ преобладаетъ то подавленное настроеніе, которое выражается чаще всего отвращеніемъ къ литературѣ. Онъ беретъ даже безповоротное будто бы рѣшеніе не появляться болѣе въ печати съ самостоятельными литературными трудами; хочетъ заняться переводами — мечтаетъ о „Донъ-Кихотѣ“, о Монтенѣ, а пока перевелъ уже легенду Г. Флобера, „небольшую, но красоты необычайной“. (312 стр.) До 1880 г. онъ работаетъ надъ новымъ изданіемъ своихъ сочиненій, надъ дополненіемъ своихъ воспоминаній и т. п. Послѣ пушкинскаго празднества 1880 года тонъ писемъ бодрѣе: въ 1881 г. „Пѣснь Торжествующей Любви“ имѣетъ тотъ успѣхъ, который миритъ нѣсколько Тургенева съ родною публикою. Но это позднее примиреніе — уже прощальное. Последняя его повѣсть „Клара Миличъ“ 1882 г. на таинственно-замогильную тему является какъ бы предвѣстницею близкаго конца и, дѣйствительно, на слѣдующій годъ Тургенева не стало. А болѣзненно-меланхолическія настроенія послѣднихъ лѣтъ со всею силою и субъективныхъ ощущеній и художественнаго мастерства выразились въ „Стихотвореніяхъ въ Прозѣ“.

Итакъ, послѣ каждой большой работы на общественныя темы, мы наблюдаемъ у Тургенева если не полное охлажденіе къ литературѣ, вслѣдствіе упадка жизненной энергіи, то отчужденіе отъ современной дѣйствительности. Причина тутъ — разногласіе поэта и публики въ ихъ взглядахъ на эту дѣйствительность, ихъ взаимное непониманіе. Пушкинское празднество привело, быть можетъ, нѣкоторое согласіе и примиреніе; хотя

Тургеневъ здѣсь и не былъ предметомъ такихъ овацій, какъ Достоевскій, но его могло утѣшить и ободрить то сочувствіе къ обще-человѣческой сферѣ поэзіи, которое выражено было тогда чествованіемъ его великаго учителя. Сфера поэзіи, которая вѣдаетъ вѣчныя повсемѣстныя чувства, воплощаемыя въ образахъ и картинахъ разныхъ вѣковъ и національностей, — эта сфера не пользовалась у насъ въ 1860 и 1870 годахъ открытымъ сочувствіемъ: мысль общества слишкомъ поглощена была заботами политическаго и социальнаго характера. — А между тѣмъ, поэзія, удаленная отъ борьбы и житейскихъ тревоженій, поэзія, какъ предметъ звуковъ сладкихъ и молитвъ, — наиболее свойственна природному дарованію Тургенева; я разумѣю подъ молитвою всю гамму личныхъ чувствъ — отъ эстетическаго созерцанія природы и вызываемаго этимъ созерцаніемъ ощущенія ея красоты и силы и нашего ничтожества и безпомощности до любви къ женщинѣ, любви не раздѣляемой, не понятой, часто не высказанной и часто попираемой силою или грубой страсти, или всевластныхъ обстоятельствъ. Такая молитва, т. е. глубокое сердечное чувство, не подчиняется разсудочной мысли и не заключается въ границы тѣхъ или иныхъ философскихъ и политическихъ убѣжденій; оно прежде всего свободно, а потому и отъ художника, воплощающаго его въ образахъ фантазіи, требуетъ прежде всего внутренней свободы. За эту-то свободу творчества и ратовалъ всегда Тургеневъ. Она-то и не позволяла ему становиться въ ряды борющихся въ жизни партій. — Оттого съ обѣихъ сторонъ онъ и встрѣчалъ непріязненное къ себѣ отношеніе. И непріязнь эта вполне понятна: люди, разгоряченные борьбою, трудно мирятся съ тѣмъ, что ихъ жизненные интересы становятся предметомъ эстетическаго наслажденія. Художнически-созерцательное отношеніе къ борьбѣ не прощается тѣмъ, для кого эта борьба есть кровный интересъ, смыслъ и сущность всей жизни. А Тургеневъ былъ всегда такимъ созерцателемъ, какъ бы тепло и участливо ни относился къ событіямъ. И за это-то изъ своихъ лагерей на него и сыпались обвиненія. — Наглядный тому примѣръ (въ 1-мъ Собр. Пис.) представляютъ письма его къ А. П. Ф.—ой по поводу доставленныхъ ею „документовъ“ для „Нови“. Тонъ ихъ всегда искренній, сначала нѣсколько рѣзокъ, но скоро становится мягкимъ и добродушнымъ: чувствуется его симпатія ко всему, что есть честнаго,

безкорыстнаго, горячаго въ увлеченіяхъ молодости; но съ тѣмъ вмѣстѣ и жестокое порицаніе той притязательности и рисовки, которая, не смотря на неумѣлость и бездарность, стремится импонировать обществу. Чувствуется, что Тургеневъ смотритъ извнѣ, со стороны. Онъ становится выше современности и тѣхъ вопросовъ, которые ее волнуютъ. Съ широтою взглядовъ, привитыхъ ему въ 40-хъ гг. философски-нѣмецкимъ образованіемъ, съ его поклоненіемъ пантеистическому генію Гете, на котораго онъ такъ часто любилъ ссылаться, Тургеневъ уходитъ отъ борьбы и тревоженій въ широкую область чувства, непонятную тѣмъ, кто ищетъ въ художественномъ образѣ рѣшенія социальныхъ и политическихъ вопросовъ. А можно ли свободно игрою личнаго чувства и художественной фантазіи отзвѣщаться на тѣ задачи, которыя жизнь рѣшала по своему, иногда кровавою расправою?

Вотъ эта-то внутренняя свобода, т. е. работа чувства и фантазіи въ той сферѣ, гдѣ идетъ мучительная борьба интересовъ,—и отстраняетъ Тургенева отъ общественной жизни родины. Она разобщаетъ его и со всѣми видными дѣятелями литературы. Въ 40-хъ и 50-хъ годахъ онъ близокъ съ очень многими, но въ 60-хъ расходится понемногу со всѣми. Опубликованная въ послѣднее время переписка его съ Аксаковыми, съ Герценомъ, съ Фетомъ, съ Анненковымъ позволяетъ судить о томъ, какъ постепенно слабѣли дружескія симпатіи и распадалась, казалось бы, крѣпкія, товарищескія связи.—Къ 70-мъ годамъ у Тургенева въ Россіи не оставалось никого изъ друзей, равносильныхъ ему по таланту и значенію въ литературѣ, друзей, чье-бы общеніе могло быть плодотворно для его дѣятельности.—Съ Аксаковыми, какъ съ московскимъ кружкомъ славянофиловъ, онъ разошелся давно уже, какъ западникъ. Съ Некрасовымъ и Достоевскимъ они были врагами. Съ гр. Л. Н. Толстымъ они много разъ въ теченіе жизни сходились и расходились въ силу самыхъ основныхъ свойствъ ихъ художнической организаціи, — природныхъ свойствъ характера. Антипатія къ Салтыкову съ годами, особенно послѣ пребыванія Салтыкова въ Парижѣ, замѣнилась уваженіемъ и признаніемъ таланта и литературныхъ заслугъ, но тѣснаго сближенія произойти не могло. Съ лирическими поэтами, какъ Фетъ и Полонскій, въ натурѣ Тургенева было больше общаго, чѣмъ съ сатирикомъ; но съ Фетомъ, не смотря на его искательное къ

Тургеневу отношеніе, возобновленіе дружбы не привело къ соглашенію принципиальныхъ взглядовъ, не смотря на всю терпимость Тургенева и уваженіе къ чужимъ конькамъ. А съ Положскимъ чувство было очень искреннее съ обѣихъ сторонъ, но далеко не равное: въ письмахъ къ нему тоиъ Тургенева авторитетный; онъ какъ будто чувствуетъ себя въ роли наставника и руководителя и раздражается на возраженіе и разногласіе. Самымъ близкимъ ему человекомъ былъ Анненковъ (вся ихъ переписка еще не опубликована)—но Анненковъ по долгу и почти постоянно живалъ за границею, слѣдовательно его нельзя причислить къ кругу тѣхъ русскихъ друзей, съ которыми Тургенева разобщила его заграничная жизнь.

Вообще не пребываніе внѣ Россіи отчуждало его отъ друзей, а наоборотъ, отсутствіе тѣсной товарищеской семьи способствовало въ нѣкоторой степени отчужденію отъ родины. Конечно, въ этомъ разобщеніи нельзя винить только тургеневское мировоззрѣніе, т. е. потребность внутренней свободы и отсутствіе всякой партійности;—очевидно, что и въ характерѣ его, при всей несомнѣнной добротѣ, мягкости и широкой терпимости, были особые свойства, охлаждавшія дружескія отношенія.—Но все это, вмѣстѣ взятое, облегчаетъ нашему писателю разлуку съ родиною и позволяетъ ему отдаться тѣмъ привязанностямъ, среди которыхъ протекають его послѣдніе годы. Чужбина давала ему то, чего не доставало ему въ родномъ обществѣ. Тѣ потребности его художнически-изящной натуры, которыя у насъ находили мало оцѣнки и поддержки, нашли свое удовлетвореніе въ средѣ, которую онъ создалъ себѣ въ семьѣ Віардо.

Въ 80-хъ годахъ русская литература выдвинула новые запросы мысли;—или, вѣрнѣе, тогда старые вопросы политики и общественности были силою обстоятельствъ отодвинуты на задній планъ,—тогда только произведенія Тургенева встрѣтили больше сочувствія, чѣмъ прежде. Это былъ тотъ моментъ, когда любовь публики, т. е. новыхъ ея поколѣній, „блеснула улыбкою печальною на закатъ поэта“ и простила ему отчужденіе отъ родины и ея тревоженій. Въ этихъ произведеніяхъ съ наибольшею силою сказались всѣ коренныя, основныя свойства тургеневской поэзіи. Въ этомъ существенный ихъ интересъ, и отъ этого старческіе годы его крайне любопытны. Жизнь въ иностранной средѣ дала болѣе ясное и спокойное теченіе его поэтической мысли. Тутъ уже не можетъ быть рѣчки о влія-

пінхъ и въздѣйствіяхъ, направляющихъ такъ или иначе дѣятельность писателя; такіа въздѣйствія имѣють очень большое значеніе въ его молодую, незрѣлую пору, пока не опредѣлились еще индивидуальныя свойства таланта. Но въ томъ возрастѣ, когда не только фізіономія автора вполнѣ сложилась, но ясно высказалось отношеніе къ жизни, къ людямъ, тогда всѣ вліянія современной мысли успѣли уже переработаться внутри его творческой личности и получили наиболѣе рельефное выраженіе; тогда талантъ писателя какъ будто упрощается—съ него исчезаетъ все мелкое, наносное, извнѣ навѣянное. „Старость только тѣмъ и хороша, что даетъ возможность смѣть и уничтожить всѣ прошедшія дразги, и, приближая насъ самихъ къ окончательному упрощенію, упрощаетъ всѣ жизненныя отношенія“. Такъ писалъ Тургеневъ Фету въ августѣ 1878 г.¹⁾; это же можно сказать и про его послѣднія произведенія.

II.

Когда въ письмахъ Тургенева встрѣчаешь его жалобы на всеильныя обстоятельства, мѣшающія ему жить и писать въ Россіи, то сѣтуешь на безпредѣльную страсть къ женщинѣ, поработившей мягкосердаго поэта и какъ-будто отнявшей его у родины.—Но, глубже всматриваясь въ его жизнь и характеръ, спрашиваешь себя: виновата ли эта женщина въ томъ, что во всей жизни поэта, въ его семьѣ, родинѣ, друзьяхъ, въ самой личной природѣ его не нашлось ничего равносильнаго, что бы могло служить противовѣсомъ ея вліянію, и спасительнымъ противовѣсомъ, если это вліяніе было пагубное? Неужели это вліяніе, эта власть надъ нимъ вытекала изъ однихъ только отрицательныхъ свойствъ ея алчной, деспотической природы? Не было-ли тутъ силы и положительныхъ въздѣйствій, силы, необходимой для его природы, активно-творческой въ дѣлѣ фантазіи, но слабой и пассивной тамъ, гдѣ проявляется дѣятельная воля, характеръ.—Привязанность, длаящая всю жизнь отъ 25-лѣтнаго возраста²⁾ въ продолженіе 40 лѣтъ; — отношенія, не губящія талантъ и не отрывающія человѣка отъ его при-

¹⁾ Фетъ. „Воспоминанія“, т. II, стр. 353.

²⁾ Письма къ Аппенкову, „Русское Обозрѣніе“, 1894, II.

званія, могутъ-ли считаться только злополучными? Исходя не изъ случайныхъ обстоятельствъ, а изъ коренныхъ свойствъ человѣческаго существа,—могутъ-ли подобныя отношенія быть предметомъ только порицанія? Я думаю, что этотъ взглядъ былъ-бы односторонень или лицемѣренъ.

Когда въ 1871 г. разнесся ложный слухъ о смерти м-ше Віардо, Тургеневъ благодарилъ Писемскаго за дружеское участіе: „Нѣтъ никакого сомнѣнія“, пишетъ онъ, „что окажись то извѣстіе справедливымъ—всякій жизненный интересъ для меня прекратился бы“. ¹⁾ Эта единственно глубокая и постоянная привязанность, несомнѣнно, давала Тургеневу очень многое: уже прежде всего она давала ему семью, очагъ. Грустно, конечно, что это не была своя, та правильная, нормальная семья, о которой такъ часто вздыхаетъ Тургеневъ въ своихъ письмахъ, но всегда-ли и „своя“ семья обезпечиваетъ нравственное спокойствіе, душевное благополучіе своихъ членовъ? Среда, въ которой жилъ Тургеневъ, давала ему семейныя заботы и радости, тѣ волненія, которыми крѣпнута и кровныя связи. Въ его письмахъ столько указаній на эти волненія, что излишне, кажется, и приводить ихъ: то хлопоты по замужеству „моей любимицы Диди“, то ожиданія у ней перваго ребенка, затѣмъ тѣ же заботы со второю дочерью и т. д. Благодаря этимъ заботамъ, старость Тургенева не страдала отъ того одиночества, которое тяготитъ жизнь старыхъ холостяковъ—ходили слухи, проникавшіе и въ печать, о томъ, что Тургеневъ не пользуется въ семьѣ Віардо тѣми удобствами и попеченіями, которыхъ требовали его возрастъ и недугъ; но въ письмахъ его есть ясныя доказательства, какъ подобные слухи оскорбляли его и какъ твердо онъ отклонялъ заботы „друзей“, ссылаясь на „своихъ дамъ“.

Г-жа Житова ²⁾ рассказываетъ, что мать Тургенева, знавшая о привязанности сына къ семьѣ Віардо и, конечно, не сочувствовавшая ей, сказала въ 1846 г., прослушавши артистку и сердясь на сына: „А надо признаться, хорошо поетъ проклятая цыганка!“ — Съ тѣхъ поръ прошло полвѣка; позабылось обаяніе артистическаго музыкальнаго исполненія, и русская публика, любя поэта такъ же ревниво, какъ любила мать его,

¹⁾ „Новь“, 1886 г. XII, № 23, стр. 190.

²⁾ Воспомин. о семьѣ И. С. Тургенева, „В. Евр.“, 1884 г. XI.

оказывается менѣе ея справедливой: она видитъ въ пѣвицѣ только проклятіе и забываетъ о талантѣ, въ которомъ и предубѣжденная мать Тургенева не могла отказать ей. Этотъ-то талантъ силою и красотою своею и игралъ большую роль въ его жизни. Если знаменитая артистка и рисуется иногда въ воображеніи тургеневскихъ почитателей въ видѣ сирены, терзающей сердце любимого нами писателя, то надо помнить, что вмѣстѣ съ тѣмъ въ ея жизни былъ тотъ блескъ, та сила и красота, которыя неотразимо дѣйствуютъ на эстетическія натуры, и дѣйствуютъ ободряющимъ, возвышающимъ образомъ. Многіе очевидцы подтверждаютъ, что до послѣднихъ лѣтъ жизни Тургеневъ приходилъ въ неподдѣльный восторгъ и умиленіе отъ пѣнія м-ше Віардо; объясняютъ это тѣмъ, что она, хотя и утратила молодость и свѣжесть голоса, но всегда сохраняла и прирожденную силу чувства, драматическую выразительность и выработанность вкуса, манеры; выполненіе ея отличалось тѣми внутренними качествами, которыя не замѣняются никакою виртуозностью, указываютъ на богатство артистическаго темперамента и производятъ неизгладимое и годами не ослабляемое впечатлѣніе. Сила артистической натуры этой женщины не могла не покорить такого художника, какимъ былъ Тургеневъ.

Полина Віардо принадлежала къ знаменитой артистической семьѣ итальянскихъ пѣвцовъ *Тарсія*—семьѣ испанскаго происхожденія съ примѣсью—судя по типу лица—арабской крови. Она была младшею сестрою пѣвицы Малибранъ (умершей въ 1836 г.) и года на три моложе Тургенева (род. 18 іюля 1821 г.). Когда они познакомились въ 1843 году, она уже была три года замужемъ, имѣла дочь и пріѣхала въ Россію по блестящему ангажементу вмѣстѣ съ Рубини и Тамбурини. Мужъ ея, Луи Віардо, былъ на 20 лѣтъ старше ея. *). Это былъ литераторъ, извѣстный своими путешествіями по Испаніи, знакомствомъ съ испанскою и арабскою литературою. Одно время онъ былъ директоромъ *Théâtre Italien*; въ 1840 году женился, а въ слѣдующемъ издавалъ вмѣстѣ съ Пьеромъ Леру и Ж. Зандъ „*Revue Indépendante*“. Вскорѣ успѣхи его жены и ея артистическія путешествія отвлекли его отъ журнала; но съ Ж. Зандъ они навсегда остались въ дружескихъ отношеніяхъ. Въ письмахъ своихъ Ж. Зандъ всегда очень тепло отзы-

*) Род. 31 іюня 1800 г., умеръ 5 мая 1883 г.

вается о Полинѣ; въ 40-хъ годахъ они подолгу гостятъ у ней въ Nohant, гдѣ Полина и Шопенъ радуютъ хозяйку музыкою. Нѣкоторое время друзья какъ будто теряютъ другъ друга изъ виду; — тутъ прошла революція 1848 года, декабрьскій переворотъ. Во время имперіи Віардо живутъ за границею; въ 1867 году (во время выставки въ Парижѣ), переписка съ Ж. Зандъ возобновляется. Наполеонскій режимъ, недостатокъ общественной свободы отстранилъ многихъ литераторовъ, въ томъ числѣ и Ж. Зандъ, отъ политики; многіе ушли, какъ и она, въ частную семейную жизнь и въ литературную дѣятельность, исключительно художественную. Віардо живутъ въ Баденъ-Баденѣ вмѣстѣ съ Тургеневымъ. М-мъ Віардо не предпринимаетъ больше поѣздокъ по Европѣ, занимается преподаваніемъ, пишетъ для ученицъ небольшія оперы, драматизированныя сказки: „Craquemiche, le dernier des Sorciers“, „L'ogre“, „Trop de femmes“, либретто которыхъ сочиняется Тургеневымъ. Иногда она сама исполняетъ въ нихъ контральтовые партіи. Она собираетъ на музыкальныя утра все высшее общество, даже коронованныхъ особъ, имѣетъ открытый домъ, большія знакомства. Мужъ ея въ литературѣ занятъ вопросами философіи, научной мысли. Революція 1848 года разрушила гуманитарныя иллюзіи, а реакція второй имперіи низвела всѣ общественныя стремленія къ вопросамъ практическаго благополучія. Строгая теоретическая мысль направилась въ область положительнаго знанія. Стоя на высотѣ современной мысли, Луи Віардо не остался чуждъ этихъ движеній ея. До тѣхъ поръ онъ занимался иностранной литературой и искусствомъ. Кромѣ работъ по исторіи и литературѣ испанской и арабской, — работъ, пользовавшихся успѣхомъ и переведенныхъ на испанскій и нѣмецкій языки, ¹⁾ Віардо, какъ знатокъ и цѣнитель искусства, составилъ нѣсколько гидовъ — комментаріевъ по европейскимъ музеямъ, съ которыми ознакомился, сопровождая жену по Италіи, Германіи, Бельгіи и Россіи, издалъ нѣсколько руководствъ по исторіи живописи; какъ страстный любитель охоты, — въ чемъ ему такъ симпатизировалъ Тургеневъ — написалъ „Souvenirs de Chasse“, выдержавшія въ четыре года 6 изданій. (Изъ переводовъ его особенно славится знаменитый „Донъ-Кихотъ“ Сервантеса;

¹⁾ „Etudes sur l'histoire et la littérature en Espagne“ 1835. „Essai sur l'histoire des arabes et des maures d'Espagne“. 1832, переработано въ 1851 г. въ „Histoire des arabes et des maures d'Espagne“.

въ 1853 году онъ издалъ Гоголя „Nouvelles Choiesies“, „Taras Boulba“, затѣмъ Пушкина „Капитанская дочь“, Тургенева „Scènes de la vie russe“. При этой широтѣ литературныхъ интересовъ, Луи Віардо, слѣдя за направленіями современной мысли, применилъ къ тому новому теченію, которое на мѣсто спиритуалистическихъ воззрѣній поставило свободу научнаго изслѣдованія. Въ 1867 году онъ издалъ брошюру подъ заглавіемъ „Libre examen, apologie d'un incrédule“, послалъ ее Ж. Зандъ. Знаменитая писательница, насчитывавшая тогда уже 63 года, не сочувствовала новому направленію мысли. Она жила, по своему признанію, тою смѣсью спиритуализма и пантеизма, которые отвѣчали запросамъ ея ума и сердца, и противъ отрицательной мысли Віардо защищала права и требованія чувства.¹⁾ Раздѣляя съ сыномъ увлеченія естественными науками, изучая ботанику, минералогію, энтомологію, она вѣрила въ успѣхи точнаго знанія, вѣрила въ науку; но не сочувствовала походу научной мысли противъ вѣрованій: достаточно того похода, который наука предпринимаетъ какъ наука, потому что и такъ уже каждое движеніе ея впередъ составляетъ побѣду надъ церковью и нѣтъ необходимости и, быть можетъ, нѣтъ даже пользы настаивать на томъ отрицаніи, о которомъ мы все-таки ничего вѣрнаго не знаемъ. „Мнѣ кажется“, — прибавляетъ она, — „что въ настоящую минуту слишкомъ далеко заходятъ въ установленіи узкаго и немного грубаго реализма, какъ въ наукѣ, такъ и въ искусствѣ“. — Віардо, по мнѣнію Ж. Зандъ, долго жилъ крайне спиритуалистической философіею Рено (Reynaud) и Леру; онъ покинулъ ее подъ вліяніемъ собственныхъ размышленій, воспользовался священнымъ правомъ свободы мысли; а такъ какъ многіе изъ его поколѣнія отказались отъ прежнихъ идей, чтобы вдаться въ католицизмъ, то протестъ Віардо, какъ мыслителя, является вполне законнымъ и достойнымъ уваженія. Віардо писалъ ей: „Надо, чтобы вѣра сожгла и убила науку или чтобы наука прогнала и разсѣяла вѣру“. Это не нравилось писательницѣ: при такомъ взаимномъ уничтоженіи погибла бы *свобода*. Надо, чтобы истина торжествовала сама собою, поиски истины въ свободныхъ искреннихъ умахъ разсѣютъ ложь. „Соединимся“, — заключаетъ она, — „въ любви къ истинѣ и въ культѣ свободной мысли. Это — первая заповѣдь

¹⁾ G. Sand. Correspondence, t. V, стр. 186, 190, 260—264.

моей религии и вы должны вѣрить, что ваше *nezéprie* не оскорбляетъ меня“ (Письмо 10 іюня 1868 г. въ Баденъ.)

Письма двухъ литераторовъ, когда-то работавшихъ подъ однимъ знаменемъ и теперь разошедшихся во взглядахъ, не только свидѣлствуютъ объ ихъ взаимной симпатіи, искренности и уваженіи, но показываютъ и разнообразіе умственныхъ интересовъ, которое господствовало на Баденской виллѣ Віардо въ то время, когда, казалось бы, Тургеневъ съ Віардо только охотились, принимали гостей, да ставили оперетки.

Старая дружба мужа и жены Віардо съ Жоржъ Зандъ доставила и Тургеневу случай познакомиться съ послѣднею. Но сблизить ихъ, главнымъ образомъ, Флоберъ.

Когда и какъ познакомился Тургеневъ съ Флоберомъ, я не имѣю возможности указать. Флоберъ въ литературѣ дебютировалъ въ 1856 году наиболѣе знаменитымъ своимъ романомъ „М-мъ Бовари“; а въ 1863 году онъ напечаталъ Саламбд, романъ изъ исторіи Картегена, имѣвшій успѣхъ совершенно иного рода, чѣмъ М. Бовари, но также вызвавшій много толковъ въ печати. Крупное литературное имя Флобера нельзя было не знать, вращаясь въ литературныхъ сферахъ Парижа, гдѣ въ это время, то есть по напечатаніи Саламбд, Флоберъ завелъ много литературныхъ связей, часто бывалъ въ обществахъ и т. п. Въ 1863 году Тургеневъ принималъ участіе въ литературномъ обѣдѣ въ ресторанѣ Magny, гдѣ познакомился съ бр. Гонкуръ.¹⁾ Неудивительно, что онъ могъ гдѣ-нибудь въ эту пору встрѣтить знаменитаго писателя, бывшаго тогда въ апогей своей славы. Въ перепискѣ Флобера о Тургеневѣ упоминается въ 1-й разъ въ 1867 году по поводу напечатанія его повѣсти въ „Revue des deux Mondes“. Тургеневъ упалъ тогда въ мнѣніи Флобера за то, что позволилъ редактору что-то урѣзывать въ своей повѣсти. Флоберъ всегда очень возмущался подобною уступчивостью авторовъ. Чаще всего онъ говоритъ о Тургеневѣ въ письмахъ къ Жоржъ Зандъ. Онъ очень высоко цѣнилъ его художественный талантъ не только въ печати, но и въ устной бесѣдѣ: „Я обѣдалъ третьяго дня и вчера съ Тургеневымъ. Этотъ человѣкъ обладаетъ такою силою образности, „une si belle puissance d'images“ даже въ разговорѣ, что онъ показалъ мнѣ Жоржъ Зандъ, облокотившуюся на бал-

¹⁾ Goucourt. Journal t. II, p. 96.

конѣ въ замкѣ М-мъ Віардо, въ Розэ. Подъ башенкою былъ ровъ, во рву лодка; Тургеневъ сидѣлъ на скамьѣ въ этой лодкѣ и снизу смотрѣлъ на васъ, а заходящее солнце ударило вамъ прямо въ черные волосы“ ¹⁾ — И Тургеневъ, очевидно, дорожилъ обществомъ Флобера, если видался съ нимъ, даже когда прѣвѣжалъ во Францію на самое короткое время. — Такъ, въ 1868 году, побывавши на недѣлю въ Парижѣ, повидаться съ дочерью, Тургеневъ, хотя и „закружился“, по его выраженію, ²⁾ въ водоворотѣ, тѣмъ не менѣе нашелъ возможность съѣздить въ Руанъ — 2 часа по желѣзной дорогѣ отъ Парижа. Флоберъ жилъ тамъ отшельникомъ на своей дачѣ Круассе, былъ тогда поглощенъ тою частью своего романа „Education Sentimentale“, гдѣ выводится революція 1848 года и июньскіе дни возстанія. — Въ то время и Тургеневъ писалъ свои Воспоминанія. Два эпизода: „Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ“ и „Наши послали“ помѣчены 1868 годомъ. Художественная характеристика революціонера и вызвана была, быть можетъ, этимъ посѣщеніемъ и бесѣдами Флобера. — Флоберъ отмѣтилъ это посѣщеніе въ письмѣ къ Жоржъ Зандъ: „Сказалъ ли я вамъ, что у меня былъ Тургеневъ? Какъ бы онъ вамъ понравился!“ ³⁾ Жоржъ Зандъ отвѣтила: „Я знакома съ Тургеневымъ очень мало, но знаю его наизусть. Какой талантъ! Сколько оригинальности и выдержки! Я нахожу, что иностранцы пишутъ (font) лучше нашего. Они не позируютъ, а мы драпируемся, или валяемся по землѣ“. ⁴⁾ Мѣсяца черезъ 3, (апр. 69 г.) она опять пишетъ Флоберу: „Я бы рада возобновить знакомство съ Тургеневымъ, котораго я немного знала, не читавши его. А съ тѣхъ поръ прочла съ полнымъ восхищеніемъ. Мнѣ кажется, ты его очень любишь; тогда онъ и мнѣ нравится и мнѣ хочется, чтобы ты, когда кончишь свой романъ, привезъ его къ намъ. Морисъ (сынъ ея) тоже его знаетъ и очень цѣнитъ; онъ вообще любитъ все, что не похоже на другихъ“ (стр. 312).

¹⁾ Письмо это, не вошедшее въ 4-хтомное изданіе писемъ Флобера, помѣщено въ „Lettres de G. Flaubert à G. Sand, précédées d'une étude par Guy de Maupassant, стр. 2. Издатель выставилъ на немъ 1866 годъ, но такъ какъ Флоберъ не всегда помѣчалъ мѣсяцъ и годъ, а нѣкоторые письма этого изданія датированы не вѣрно, то возможно, что это письмо относится къ 1867-му году.

²⁾ Письма, стр. 144.

³⁾ Собр. соч. III, 380.

⁴⁾ Собр. соч. V, 291.

Въ 70-хъ годахъ, когда Віардо съ Тургеневымъ основались въ Парижѣ, у нихъ установились и болѣе частыя сношенія съ Флоберомъ и Жоржъ Зандъ. Послѣ пронесшейся надъ Франціей грозы — войны и коммуны — люди старыхъ поколѣній, какъ Жоржъ Зандъ, дѣтели прошлаго, трудно осваивались съ новымъ положеніемъ вещей въ республикѣ. „Тутъ было“, какъ выразился про Парижъ Тургеневъ (письма 198,) „междумочное положеніе во всѣхъ отношеніяхъ“. Но рознь политическихъ взглядовъ и идеаловъ усиливала умственную пріязнь въ той сферѣ художественно-философской мысли и чисто-эстетическихъ интересовъ, куда эта рознь не достигала. Оттого и Флоберъ ближе сходилъ съ Жоржъ Зандъ и Тургеневымъ. „Кромѣ Васъ и Тургенева“, — пишетъ онъ ей въ іюлѣ 1870 г., — „я никого не знаю, кому бы могъ излиться о предметахъ, наиболѣе близкихъ моему сердцу; а оба вы живете далеко отъ меня“. ¹⁾ И позже, въ 1873 году, жалующься на свое одиночество, на рознь убѣжденій, созданную войною, онъ говоритъ: „М-мъ Зандъ съ Тургеневымъ единственные теперь мои литературные друзья! Эти двое стоятъ (*valent une foule*) цѣлой толпы...“ ²⁾ Въ рѣдкомъ письмѣ къ ней не упоминаетъ онъ про Тургенева. Онъ ждетъ его въ августѣ 71 года ³⁾, сообщаетъ, что съ октября Тургеневъ на всю зиму оснуется въ Парижѣ: „будетъ съ кѣмъ поговорить“. ⁴⁾ Въ декабрѣ находитъ Тургенева прелестнѣе, чѣмъ когда либо („*plus charmant que jamais*.“) Въ это время Флоберъ занятъ своею философскою поэмою въ прозѣ „Искушеніе Св. Антонія“. Ему очень хочется знать о ней мнѣніе Тургенева. „Съ начала декабря Тургеневъ въ Парижѣ. — Каждую недѣлю мы назначаемъ свиданіе, чтобы читать св. Антонія и вмѣстѣ обѣдать. Но все возникаютъ препятствія, и мы не выдаемся“. ⁵⁾ Наконецъ препятствія устранены. „Въ будущую субботу я читаю“ ⁶⁾ все, что у меня готово, Тургеневу. Почему Васъ при этомъ не будетъ!“ ⁷⁾ Жоржъ Зандъ вполне раздѣляетъ это сожалѣніе: „Единственное, о чемъ я жалѣю въ Парижѣ“, пишетъ она ему 25 января 72 г. ⁸⁾ „это,

¹⁾ Corrесп. IV, 25.

²⁾ Corrесп. IV, 140.

³⁾ Corr. IV, стр. 68.

⁴⁾ Corr. IV, стр. 72.

⁵⁾ Corrесп. IV, 85 и 90.

⁶⁾ 130 стр.

⁷⁾ 93 стр.

⁸⁾ Corrесп. VI, 194.

что не могу быть съ вами, когда ты будешь читать Тургеневу твоего св. Антонія".—Когда свиданіе состоялось, и Флоберъ прочелъ Тургеневу и то, что самъ написалъ, и книгу стихотвореній своего друга Булье, изданную имъ, онъ остался въ восторгѣ отъ Тургенева. „Какой слушатель! И какой критикъ! Онъ ослѣпилъ меня глубиною и ясностью своего сужденія! Ахъ, еслибы всѣ, кто берется судить о книгахъ, могли бы его слышать, какой бы имъ былъ урокъ! Ничто не ускользаетъ отъ него! Послѣ пѣснь въ 100 стиховъ онъ помнитъ каждый слабый эпитетъ! Онъ далъ мнѣ для св. Антонія 2 или 3 детальныхъ совѣта отнѣсныхъ".¹⁾

Объ эту же пору Флоберъ отмѣтилъ свое знакомство съ М. Віардо, которой его представилъ Тургеневъ.²⁾ Какъ объ артисткѣ, онъ былъ очень высокаго о ней мнѣнія еще въ 1860 году. Тогда, живя въ Парижѣ, онъ мало гдѣ бывалъ, не посѣщалъ и театровъ, но два раза слушалъ „Орфея“ Глюка, (поставленнаго М. Віардо) и былъ въ восторгѣ. А въ 1874-мъ онъ пишетъ Жоржъ Зандъ: „Я очень жалѣлъ, что васъ не было двѣ недѣли тому назадъ у М. Віардо“. Она пѣла „Ифигенію въ Авлидѣ“. Не могу выразить, на сколько это было прекрасно, увлекательно, возвышенно наконецъ! beau transportant, enfin sublime. Что за артистка эта женщина! Что за артистка! Такія впечатлѣнія мирять съ существованіемъ („De pareilles émotions consolent de l'existence“.) Въ 1873 и 1874 гг. Тургеневъ аккуратно посѣщаетъ Флобера каждое воскресенье и тотъ замѣчаетъ (IV. 172), что Тургеневъ все больше и больше ему нравится. У него для Тургенева много ласкательныхъ эпитетовъ, на которые онъ вообще не скупится въ дружеской перепискѣ: „Mon vieux, le Moscove, le bon Moscove, le bon Tourgueneff, le grand, le gigantesque, l'immense Tourg.“ и т. п.

Жоржъ Зандъ очень хотѣлось видѣть его у себя въ Ноганъ съ Тургеневымъ. Онъ долго собирался, его все задерживалъ Тургеневъ; но наконецъ оба собрались наканунѣ Пасхи (14 апрѣля 1873 г.)³⁾ Флоберъ былъ очень доволенъ своимъ пребываніемъ у Жоржъ Зандъ. Она жила съ семьею сына,

¹⁾ Сочер. IV стр. 95.

²⁾ Соч. IV. 97.

³⁾ См. также Письма Тургенева, стр. 216.

который въ этой обстановкѣ представился Флоберу, своему сверстнику, воплощеніемъ счастья. „Ваши два друга философствовали по этому поводу, отъ Ноганъ до г. Шатору, пока очень пріятно ѣхали въ Вашемъ экипажѣ“. Въ вагонѣ было тѣсно и неудобно; обомъ было грустно, они не разговаривали и не спали ¹⁾ После этого и Тургеневъ писалъ Полонскому о Ж. Зандѣ ²⁾: „она предобрая, препростая, преумная старушка“... Въ сентябрѣ того-же года Тургеневъ опять гостилъ въ Ноганъ, но на этотъ разъ съ семействомъ Віардо. И хозяйка, и гости отмѣтили это посѣщеніе въ своихъ письмахъ. Тургеневъ писалъ Фету 13 сентября 1873 г. ³⁾ „Здѣшняя хозяйка умна и мила до нельзя; теперь она совсѣмъ добрая старушка. Ко мнѣ она очень благоволяетъ и я сердечно къ ней привязанъ“. А она пишетъ Флоберу: „Le grand Moscovite былъ обворожителемъ; онъ уѣхалъ здоровымъ и очень веселымъ (жалѣлъ, что не былъ у тебя, но, правда, онъ тогда былъ боленъ). Какой любезный, прекрасный и достойный человекъ! И какая скромность таланта! („Et quel talent modeste!“) Здѣсь его обожаютъ, и я подаю примѣръ“ ⁴⁾. Цѣня Тургенева какъ человека, она не меньше Флобера восторгалась Полиною Віардо, какъ артисткою. Пѣніе ея и ея дочерей доставляло ей восторженное наслажденіе. Такъ, въ іюлѣ 1872 года въ очень короткомъ, горячемъ письмѣ Флоберу она говоритъ о своей страсти къ природѣ, къ солнцу, къ цвѣтамъ, къ горамъ, къ Пиринеямъ. „Можешь-ли ты тогда думать объ издателяхъ, дирекціи театровъ, о читателяхъ и всякихъ „публикахъ?“ Я тогда все забываю, когда поетъ Полина Віардо“ ⁵⁾. „Ахъ, какая музыка!“ пишетъ она ⁶⁾ въ томъ-же 1872 году, послѣ того, какъ семейство Віардо гостило у ней въ Ноганъ, — „Полина Віардо и двѣ ея дочери! Тѣ радости прекраснаго, которыя вы имѣли въ Венеціи (адрес. къ m-me Adam), были у насъ въ Ноганъ“. Съ эстетическими радостями не забывались умственные интересы и иного разряда. „Преумная“ старушка благодаритъ Л. Віардо за присланную дичь, за доставленное ею семьею и Тургеневымъ удовольствіе и возвращается къ спору объ ате-

¹⁾ 149 стр.

²⁾ Письма, 218 стр.

³⁾ Фетъ. Воспом., т. II, стр. 281.

⁴⁾ Corresp. de G. Sand, т. VI, стр. 295.

⁵⁾ Corresp., G. S. VI, 216.

⁶⁾ Corr. VI, 295.

измѣ. Истина для нея имѣетъ двѣ стороны, и настоящій мудрецъ не можетъ ничего отрицать такъ безусловно и горячо. Она находитъ Віардо крайне нетерпимымъ не къ людямъ, а къ идеямъ. Абсолютное отрицаніе вызываетъ и въ противномъ лагерѣ такое-же абсолютное и нетерпимое утвержденіе. А она не понимала крайностей отрицанія и нетерпимости, какъ человѣкъ богатой фантазіи и широкаго сердца. — Въ этомъ отношеніи къ музыкальности П. Віардо, она раздѣляетъ симпатіи Тургенева. Воспитанный на свободныхъ гуманныхъ началахъ 1840-хъ годовъ, провозвѣстницею которыхъ была и Жоржъ Зандъ, Тургеневъ сходилъ съ нею въ широкихъ взглядахъ на литературу и науку, но общеніе съ нею не могло быть особенно плодотворно для его художественной дѣятельности. Пора ей давно миновала. Она мирно доживала свой вѣкъ, радуясь на внучатъ и неустанно работая; строчила романъ за романомъ; ее читали охотно, платили хорошо, но того значенія, которое имѣли раннія проявленія ея страстнаго и пылкаго таланта, романическія повѣствованія послѣднихъ ея лѣтъ уже не имѣли. Ея прежняя отзывчивость на вопросы соціальной и умственной жизни теперь замѣнилась широкою симпатіею ко всему человѣческому, а на новое литературное направленіе, на школу натуралистовъ въ романѣ, она смотрѣла издали и не особенно сочувственно ¹⁾. Какъ горячо симпатизировалъ ей Тургеневъ, извѣстно ²⁾. Всѣмъ намъ памятна та фраза, которую онъ почтилъ ея кончину: „На мою долю выпало счастье личнаго знакомства съ Жоржъ Зандъ..“ и тотчасъ-же оговорился: „пожалуйста не примите этого выраженія за обычную фразу: кто могъ видѣть вблизи это рѣдкое существо, тотъ дѣйствительно долженъ почтить себя счастливымъ“. Онъ, какъ свидѣтель частной ея жизни, преклоняется передъ ея щедрою, благоволящею натурою, поэтическимъ энтузіазмомъ, вѣрою въ идеалъ, видитъ бессознательный ореолъ, что-то высокое, свободное, героическое. „Жоржъ Зандъ“, говоритъ онъ, „одна изъ нашихъ святыхъ“ ³⁾.

¹⁾ См. Согг. VI, 397.

²⁾ Послѣ ея смерти, Флоберъ, присутствовавшій на ея похоронахъ и жалвавшій о ней, какъ о родной матери, пишетъ ея сыну 24 іюня 1876 года: „Я получилъ вчера очень умиленное письмо отъ милаго Тургенева. И онъ тоже ее любилъ. Да и кто не любилъ ея!“ (Согг. IV, стр. 236).

³⁾ Письма 292.

Къ Флоберу отношенія его были проще и ближе; тотъ и по возрасту былъ человекъ его поколѣнія. ¹⁾ „Между этими двумя геніальными натурами—говоритъ Додэ въ своихъ воспоминаніяхъ, ²⁾—была связь, сродство непосредственной доброты. Сосватала ихъ Жоржъ Зандъ, Флоберъ былъ френирующій говорунъ, Донъ Кихоть, съ голосомъ, какъ труба, съ могучей ироніею своей наблюдательности, съ приемами Норманна завоевателя, онъ былъ мужской половиной этого союза. Кто-бы въ другомъ колоссѣ широкой кости, съ сѣдыми пушистыми бровями угадалъ натуру женственную? „О непосредственной добротѣ и наивности Тургенева говоритъ и Мопассанъ, который эти же свойства находитъ и у Флобера. „Его наивность“,—говоритъ онъ про Флобера въ предисловіи (ст. III) къ сборнику пис. Флобера къ Жоржъ Зандъ,—„сохранилась до послѣднихъ дней жизни. Этотъ проницательный и тонкій наблюдатель, казалось, издали только видѣлъ жизнь съ ясностью. Какъ-только онъ ближе подходилъ къ ней, какъ-только дѣло касалось его ближайшихъ сосѣдей, тутъ точно завѣса опускалась ему на глаза. Его крайнее природное прямодушіе, его непоколебимое чистосердечіе, великодушіе всѣхъ его чувствъ и всѣхъ побужденій были причиной этой упорной наивности“. Почти то же говоритъ Мопассанъ и про Тургенева. „Да, онъ былъ невѣроятно наивенъ—этотъ геніальный романистъ... Казалось, осязательная дѣйствительность оскорбляла его: онъ ничему не удивлялся, про что читалъ,—а въ жизни возмущался ничтожными явленіями. Можетъ быть, вслѣдствіе своей чрезвычайной прямоты и врожденной мягкости онъ испытывалъ непріятное чувство при малѣйшемъ прикосновеніи съ двоедушіемъ, пороками, жестокостью людей. Между тѣмъ, какъ, сидя у себя за письменнымъ столомъ, онъ понималъ своимъ проницательнымъ умомъ всѣ позорныя тайны жизни,—какъ будто смотря въ окно на улицу, слѣдилъ за происшествіемъ, не принимая въ немъ участія“ ³⁾. Такъ-же, какъ и Додэ, Мопассанъ отмѣчаетъ симпатію, существовавшую между обоими романистами, и указываетъ на ту гармонію природныхъ свойствъ, которая обуславливаетъ эту симпатію. „Выше еще ростомъ, чѣмъ Флоберъ, русскій романистъ привязанъ былъ къ французскому рѣдею, глу-

¹⁾ Флоберъ родился 12 декабря 1821 года, на три года позже Тургенева.

²⁾ *Trente ans de Pris*, стр. 334.

³⁾ Другой переводъ сдѣланъ въ Иностран. вѣст. о Тург., стр. 213.

бокою любовью. Сродство талантовъ, убѣжденій, умовъ, сходство во вкусахъ, въ жизни, въ мечтахъ, одинаковость литературнаго направленія, идеализма восторженнаго и благоговѣйнаго, эрудиціи — все это давало имъ столько точек соприкосновенія, что, встрѣчаясь, оба испытывали больше еще, быть можетъ, радости для сердца, чѣмъ для ума. Тургеневъ глубоко усаживался въ кресло и говорилъ медленно, голосомъ мягкимъ, нѣсколько слабымъ и неувереннымъ, но зато придававшимъ словамъ необыкновенную прелесть и интересъ. — Флоберъ слушалъ его съ благоговѣніемъ, не отрывая большихъ голубыхъ глазъ, съ подвижными зрачками, отъ крупной сѣдой фигуры своего друга. Онъ отвѣчалъ ему тѣмъ звонкимъ голосомъ, который звукомъ трубы выходилъ у него изъ-подъ усовъ, какъ у древняго воинственнаго Галла. Разговоръ ихъ рѣдко касался текущей жизни и не удалялся отъ предметовъ литературныхъ или литературно-историческихъ. Часто Тургеневъ приходилъ съ иностранными книгами и бѣгло переводилъ поэмы Гете, Пушкина или Свинбѣрна¹⁾. То воскресенье, гдѣ Тургеневъ переводилъ пріятелямъ гетевского „Прометея“, и Гонкуръ отмѣтилъ въ Дневникѣ, и Додэ помянулъ прочувствованнымъ словомъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Зная въ совершенствѣ французскій языкъ, Тургеневъ признавался Додэ, что писать на немъ смущался: его пугала строгость академическаго словаря. При устномъ-же переводѣ Тургеневъ не стѣснялся; со всею смѣлостью поэта переводилъ онъ генія. Это не была та обманчивая близость къ подлиннику, которая сушитъ и жертвитъ его. Тутъ оживалъ и говорилъ самъ Гете.

Что Тургеневъ очень высоко цѣнилъ въ Флоберѣ художника, видно изъ того, что, намѣреваясь заняться переводами классическихъ произведеній, онъ ограничивался двумя „сказками“ Флобера; его памяти посвящаетъ и „Пѣснь торжествующей любви“. Какъ сказалоь на поэтическомъ творествѣ Тургенева воздѣйствіе этой симпатіи и этого чистаго общенія съ Флоберомъ, можетъ объяснить только критическое разсмотрѣніе и сравненіе обоихъ романистовъ; біографическій же матеріалъ даетъ слишкомъ мало. Изъ писемъ Флобера можно заключить только, что дѣйствительно общеніе это было частое: живя въ Парижѣ, Тургеневъ посѣщаетъ Флобера по

¹⁾ Стр. 79.

воскресеньямъ; и въ послѣдніе годы, когда число посѣтителей весьма сократилось и свелось на небольшой дружескій кружокъ 5—6 лицъ, Тургеневъ постоянно поддерживалъ связь съ этимъ кружкомъ. Живя въ Россіи, онъ ведетъ съ ними переписку. Флоберъ сообщаетъ изъ Круассе Золя: „Тургеневъ пишетъ мнѣ то-же, что и вамъ. Я жду его къ концу будущаго мѣсяца“ ¹⁾. Другой разъ онъ спрашиваетъ: „нѣтъ-ли какихъ слуховъ о Тургеневѣ?“ ²⁾ или жалуется, что ничего о Тургеневѣ неизвѣстно. Спрашиваетъ о немъ Мопассанъ, совѣтуетъ тому навѣстить его въ болѣзни (1879 г.). Въ іюль 1874 года онъ пишетъ къ Жоржъ Зандъ: „Тургеневъ послалъ мнѣ вѣсти о себѣ изъ глубины Скионіи. Онъ нашелъ тамъ свѣдѣнія, нужныя ему для книги, которую онъ собирается писать. Тонъ его письма игривъ,—изъ чего я заключаю, что онъ здоровъ. Вернется онъ въ Парижъ черезъ мѣсяцъ“ ³⁾. О подагрѣ, задерживающей то возвращеніе его, то посѣщеніе Круассе, часто бываетъ рѣчь, а также и о разсѣянности Тургенева. „Тургеневъ (въ 1879 году), который за недѣлю не сдержалъ мнѣ слова только 4 раза, извѣщаетъ сегодня, что прійдетъ въ воскресенье“ ⁴⁾. Или въ 1876 г. „Я вернулся сюда (т. е. въ Круассе), и Тургеневъ прійхалъ ко мнѣ на другой день. Но такъ какъ онъ непосѣда, („un homme fugace“), то и уѣхалъ черезъ 48 часовъ“ ⁵⁾. Говорится и о денежныхъ потеряхъ Тургенева (декабрь 1876 г.), о томъ, что онъ занятъ свадьбою дѣвицы Віардо (окт. 1877 г.) и о томъ, что онъ чѣмъ-то разстроенъ, озабоченъ (окт. 1877 г.). Хотя совсѣмъ здоровъ, теперь. Или въ маѣ 1874 г.: „Добрый Тургеневъ уѣзжаетъ на будущей недѣлѣ въ Россію; путешествіе поневолѣ остановить въ немъ страсть къ картинамъ; а теперь нашъ другъ не выходитъ изъ залы аукціона. Онъ человѣкъ увлекающійся, passionné, тѣмъ лучше для него“ ⁶⁾.

О произведеніяхъ Тургенева онъ отзывался не иначе, какъ съ восторгомъ. Онъ прочелъ повѣсть Жоржъ Зандъ „Ріетте Воніп“. „Такъ какъ страницы эти посвящены Тургеневу“,—пи-

¹⁾ Стр. 239.

²⁾ Стр. 297.

³⁾ Стр. 195.

⁴⁾ Стр. 329.

⁵⁾ Стр. 243.

⁶⁾ Стр. 186.

петь онъ ей ¹⁾, — „то по этому случаю я и спрашиваю васъ: читали-ли вы „Несчастную?“ Я это нахожу просто великолѣпнымъ (*simplement sublime*). Этотъ скіеъ огромный малый (*un immense bonhomme*)“. Другой своей пріятельницѣ онъ рекомендуетъ для чтенія и „Несчастную“, и „Вешнія воды“ исполинскаго Тургенева. „Вы мнѣ будете потомъ благодарны“ ²⁾. „Новъ“ онъ находитъ вещь очень сильною: „Вотъ это человѣкъ!“ (*Voilà un homme celui-là!*“ IV, 261). Какъ онъ дорожилъ критическимъ мнѣніемъ Тургенева, уже было указано; но крайне къ себѣ взыскательный художникъ, онъ иногда сомнѣвался и въ Тургеневскихъ отзывахъ. Онъ очень мучился надъ замысломъ и выполненіемъ своей послѣдней книги Буваръ и Пекюше. „Мнѣ, тѣмъ не менѣе, показалось“, — пишетъ онъ въ маѣ 1875 года, — „что Тургеневъ остался очень доволенъ двумя первыми главами моей ужасной книги. Но Тургеневъ, можетъ быть, слишкомъ меня любитъ, чтобы судить обо мнѣ безпристрастно“ ³⁾.

Надо предполагать, что Тургеневъ дѣйствительно очень расположенъ былъ къ Флоберу; да къ нему и нельзя было относиться иначе, какъ къ человѣку высокихъ качествъ сердца и идеальныхъ порывовъ. Этотъ воспитанникъ романтизма, ненавистникъ всего низменнаго и пошло-житейскаго былъ убѣжденнымъ, строго-последовательнымъ представителемъ культа „чистаго искусства“. Въ силу самыхъ крайностей своей горячей, искренней и восторженной природы, онъ долженъ былъ привлекать къ себѣ мягкую, широко-воспримчивую натуру нашего писателя. Фанатики опредѣленнаго, хотя-бы и узкаго идеала, всегда сильно воздѣйствуютъ на умы разносторонніе, скептическіе, склонные къ анализу, открытые для противоположныхъ теченій мысли. Тургеневъ признавался, что на него въ молодости дѣйствовали только натуры энтузіастическія ⁴⁾, а симпатію къ такимъ натурамъ онъ могъ чувствовать до глубокой старости. Флоберъ и былъ именно энтузіастомъ, фанатикомъ исключительно эстетическаго идеала. — Восторгаться и негодовать было органическою потребностью его природы; — восторгаться красотою явленія или силою его художественнаго воспроизведенія; негодовать на глупость, тупость людей, на ихъ бур-

¹⁾ Стр. 115.

²⁾ Стр. 156.

³⁾ Стр. 211.

⁴⁾ Письма, стр. 33.

жаузное непониманіе высокихъ сторонъ жизни. Это негодование на глупость, соотвѣтствовавшее благоговѣнію передъ красотой, было его постояннымъ, нормальнымъ настроеніемъ, и какъ-бы двигателемъ его жизни. Онъ самъ часто смѣялся надъ этою потребностью своей природы. „Разъ только я перестану возмущаться“, — писалъ онъ, — „я свалюсь какъ кукла, изъ которой вынули палку“. ¹⁾

Онъ требовалъ отъ искусства воспроизведенія жизни во всей ея яркости и пестрой правдѣ. Но хотя школа „натуралистовъ“ съ Золя во главѣ и признала его отцомъ новаго реалистическаго романа, онъ въ основныхъ своихъ взглядахъ кореннымъ образомъ расходился съ этою школою, не смотря на дружескія личныя отношенія къ ея представителямъ—Золя, Додэ и Гонкуру. Для него правда не была первымъ условіемъ искусства, а красота. ²⁾ Человѣкъ громадной начитанности, онъ интересовался историческими, философскими и религіозными сюжетами, но только какъ предметами творческаго воспроизведенія, которые онъ пропускалъ сквозь призму своей фантазіи, композиціи стиля. Для него вся дѣятельность человѣческой мысли ограничивалась воспроизведеніемъ „l'exposé“ существующаго прошлаго и настоящаго — возсозданіемъ его въ типическихъ и идеальныхъ формахъ внѣ всякаго рѣшенія вопросовъ умственнаго или нравственнаго порядка. Въ этихъ вопросахъ онъ былъ самый рѣшительный отрицатель. — При тщательномъ и пристальномъ изученіи повседневныхъ нравовъ провинціи, изученіи, дѣлающемъ М. Бовари шедевромъ реалистическаго романа, Флоберъ обладалъ тѣмъ идеалистическимъ полетомъ фантазіи, который заставлялъ его съ любовью отдаваться такимъ философско-символическимъ сюжетамъ, какъ „Искушеніе св. Антонія“, или переноситься мыслью въ эпоху древняго Карфагена и возсоздавать не только внѣшній бытъ, но и душевный строй древней жизни (въ Саламбо). Выписывая и отдѣлывая съ необыкновеннымъ стараніемъ и изяществомъ пошлыхъ рутинеровъ-буржуа и бездарныхъ неудачниковъ, — создавши классическій типъ провинціальной мечтательницы, искательницы романтическихъ ощущений, — Флоберъ самъ въ душѣ былъ страстный мечтатель: для него культъ красоты былъ тою областью недосигаемыхъ, священныхъ идеаловъ, въ которую

¹⁾ Corr., т. III, стр. 324.

²⁾ Стр. 267.

онъ уходилъ отъ дѣйствительности, — какъ вѣрующій монахъ уходитъ въ молитву. Этотъ поэтический энтузіазмъ и приподнятость душевнаго строя дѣлають его истиннымъ сыномъ французскаго романтизма. — Если романтизмъ задавался цѣлью вывести литературу изъ круга классическихъ формъ и внести въ нее новые элементы мысли подражаніемъ англійской, испанской или своей народной поэзіи, то въ кругу Тургенева представителемъ этого романтизма былъ Луи Віардо. Расширеніемъ же литературной области новыми социальными-гуманитарными и политическими идеями Франція 30-хъ и 40-хъ годовъ обязана въ сильной степени Жоржъ Зандъ. А культъ художественной формы въ этой школѣ „чистаго искусства“, представитель которой и въ поэзіи, и въ критикѣ былъ Теофиль Готье, — усвоенъ былъ и доведенъ до крайности Флоберомъ. — Но Жоржъ Зандъ и Віардо были представителями уже отживающаго поколѣнія; а Флоберъ — посредствующимъ звеномъ между ними и новой школой, выступившей подъ знаменемъ точной науки и неприкрашенной житейской правды. И въ этой роли его, какъ посредника, стоящаго на рубежѣ двухъ крайнихъ направленій, было нѣчто общее съ Тургеневымъ, что и должно было сблизать ихъ. Только въ натурѣ Тургенева было больше равновѣсія; въ его поэзіи суровый реализмъ сливался менѣе насильственно съ красотой художественнаго образа; а происходило это оттого, что обличеніе жизненной пошлости у Тургенева смягчалось теплотою гуманнаго участія къ человѣку; между тѣмъ какъ у Флобера преобладала высокоумѣнная иронія, какъ у идеалиста, не мирящагося съ жизнью. У Флобера трезвость реалистическаго наблюденія всегда боролась съ полетомъ фантазіи и находила примиреніе только въ неподражаемомъ изяществѣ выраженія, внѣшней формы. Въ природѣ Тургенева не было такихъ крайностей и разницу ихъ взглядовъ на искусство отмѣтилъ однажды мелькомъ и самъ Флоберъ. „Я не раздѣляю“, — пишетъ онъ къ Жоржъ Зандъ въ 1876 году (Corresp. томъ IV, стр. 226), — „строгости Тургенева по отношенію къ Жакъ (Додэ), ни его огромнаго („l'immensité de son admiration“) восторга передъ Ругономъ. Въ одномъ прелесть, въ другомъ сила. Но ни тотъ, ни другой не заняты тѣмъ, прежде всего, что для меня составляетъ цѣль искусства — именно красотой“. Дальше въ теоретическомъ развитіи своей мысли онъ нѣсколько затрудняется, чувствуетъ себя неувереннымъ, находитъ, что

всякій художникъ долженъ идти собственною дорогою и заключать: „А какъ трудно утолковаться! Вотъ два человѣка, которыхъ я очень люблю и на которыхъ смотрю, какъ на настоящихъ художниковъ, Тургеневъ и Золя. И это не мѣшаетъ имъ нисколько не восторгаться прозою Шатобриана и еще меньше прозою Готье. Фразы, которыми я увлекаюсь, имъ кажутся пустыми! Кто тутъ неправъ? И какъ нравиться публикѣ, когда самые близкіе такъ далеки отъ васъ? Это меня очень огорчаетъ. Не смѣйтесь!“

Флоберъ дѣйствительно чистосердечно огорчался разногласіемъ въ эстетическихъ вопросахъ, потому что культъ художественной формы, выработка красивой, звучной, но вмѣстѣ съ тѣмъ и сжатой содержательной фразы была единственною насущною заботою его жизни. А Тургеневъ смотрѣлъ на вещи шире. Но его, какъ художника, должна была привлекать и ободрять та страстная, фанатическая любовь къ красотѣ слова, мученикомъ которой былъ Флоберъ. Если этотъ культъ и сопровождался нелѣпыми, до смѣшного доходившими, крайностями—известно, на примѣръ, что Флоберъ могъ пересчитать цѣлые томы научныхъ изслѣдованій, чтобы найти мѣткое и вѣрное слово, мучился цѣлые дни и ночи въ поискахъ надлежащаго выраженія или оборота фразы,—то это указывало въ немъ на всепоглощающую и самоотверженную любовь къ *идеѣ*, а такая любовь и безкорыстное ей служеніе замѣняли ему не только сердечныя привязанности, но и всѣ другія вѣрованія и убѣжденія. Въ этомъ отношеніи Флоберъ являлся какъ бы аскетомъ—монахомъ, отдавшимъ всецѣло одной религіи, одному божеству, которое воплощалось для него въ художественной фразѣ. При отрицательномъ или скептическомъ отношеніи къ идеямъ нравственности, это преклоненіе передъ идеей красоты, давало то высшее основное начало, безъ котораго не можетъ жить мыслящій человѣкъ.—Я нахожу очень характернымъ сопоставленіе двухъ стихотвореній въ прозѣ: „Стой! какою я теперь тебя вижу—останься навсегда такою въ моей памяти“. Этотъ фаустовскій мотивъ: „Wenn ich dem Augenblicke sage:—„Verbleibe doch, du bist so schön!..“ моментъ, разрѣшающій всѣ сомнѣнія, ставящій человѣка какъ бы передъ лицомъ того божества, которое открываетъ ему тайну жизни, любви и бессмертія—этотъ мотивъ представляетъ собою у Тургенева—воплощеніе того восторга, который испытывалъ онъ отъ вдохновен-

наго півня г-жи Віардо; красота, которую ей удавалось выразить, доставляла непосредственное ощущение вѣчности, безсмертія. — „Другого безсмертія нѣтъ — и не надо“. Такой же экстазъ, приближающій художника къ высшимъ источникамъ вѣчности и безсмертія, выраженъ и въ слѣдующемъ за этимъ стихотвореніи „Монахъ“, помѣченномъ тѣмъ-же мѣсяцемъ и годомъ (ноябрь 1879 г.). Возможность забыться въ сладости и радости молитвы, отрѣшиться отъ своего я, тягостнаго и противнаго, отшельнику святому даетъ церковь. „Онъ нашелъ въ чемъ забыть себя... да вѣдь и я нахожу, хоть и не такъ постоянно“. Художнику могутъ быть недоступны религіозныя радости и утѣшенія, но ему служеніе красотѣ даетъ ту-же возможность, что и монаху, „уничтожить себя, свое ненавистное я“, уйти отъ него въ сферу мечты. — „Надо нашему брату старику работать, а то приходится тяжело“, — писалъ Тургеневъ сверстнику своему Писемскому ¹⁾ въ 1870 году. А затѣмъ въ 1876-мъ: „Изъ наблюденій послѣднихъ лѣтъ я вынесъ убѣжденіе, что хандра, меланхолія, ипохондрія не что иное, какъ страхъ смерти: понятное дѣло, что съ наждымъ годомъ онъ долженъ увеличиваться. Радикально помочь этому нельзя, но есть паліативныя средства. Если въ Васъ, какъ Вы пишете, начали преобладать религіозныя чувства, то я Васъ поздравляю съ этимъ драгоценнымъ приобрѣтеніемъ: это средство очень вѣрное, только не вѣсьмъ доступное“. Богомольное благоговѣніе передъ святынею красоты во всѣхъ ея формахъ и проявленіяхъ, работа, какъ личное служеніе искусству, составляла идеальное содержаніе жизни нашего старѣющаго писателя. То, что ему давали общество, семья Віардо и дружба Флобера, могло только усиливать и поддерживать тѣ радости жизни, безъ которыхъ немислима плодотворная дѣятельность, безъ которыхъ Тургенева одолевала меланхолія.

¹⁾ „Новь“. 1886 г. № 23.

III.

Нигдѣ, быть можетъ, меланхолическія настроенія Тургенева не встрѣтили бы больше сочувствія и больше пониманія, чѣмъ въ томъ кружкѣ писателей, который группировался около Флобера. Гонкуръ, Золя и Додэ были постоянными собесѣдниками на тѣхъ обѣдахъ, подробный отчетъ о которыхъ находимъ въ Дневникѣ Гонкура. Сближало эти таланты общее имъ стремленіе сказать свое новое слово въ литературѣ, установить то направленіе, теоретикомъ и популяризаторомъ котораго сталъ Золя, протестъ противъ всякой реторики, противъ всего условнаго, банальнаго, академичнаго; необходимость пристальнаго изученія и наблюденія дѣйствительности и внесеніе въ это изученіе научныхъ приѣмовъ мысли—было главною задачею этого кружка. Стремленіе къ правдѣ, къ точности воспроизведенія было такъ сильно, что объединяло литераторовъ самыхъ несходныхъ темпераментовъ, талантовъ и возрастовъ. Искренность этого стремленія и потребность солидарности въ той борьбѣ, которую они предприняли въ романѣ, сплотило ихъ симпатію на долгіе годы. Они затѣяли обѣды „освистанныхъ писателей“, какъ они называли ихъ въ шутку за то, что никто изъ нихъ не имѣлъ успѣха въ театрѣ; къ нимъ применилъ и Тургеневъ, увѣряя, что и его драматическія произведенія всегда проваливались въ Россіи. Споры и бесѣды велись очень откровенныя, какъ у людей, проникнутыхъ взаимнымъ уваженіемъ къ таланту, но имѣвшихъ каждый свою рѣзко опредѣленную физіономію, свой индивидуальный опытъ жизни, свои особенныя, этимъ опытомъ выработанныя, приемы творчества и литературной работы. Та доктрина „искусства для искусства“, которую Флоберъ раздѣлялъ съ Т. Готье, выражалась у каждого изъ этихъ писателей по своему; но всѣ они, кромѣ наблюденія внѣшняго быта, записыванія и занесенія его въ романъ, не знали иныхъ цѣлей жизни. Флоберъ и Гонкуръ не имѣли даже семейныхъ привязанностей. Эта односторонность мстила за себя тоскою и неудовлетворенностью. Самъ Флоберъ чувствовалъ себя очень несчастнымъ, его переписка—сплошныя стенанія и жалобы на пустоту жизни, гдѣ ничто не можетъ удовлетворить ни сердца, ни фантазіи; гдѣ одно только утѣшеніе и одна забота—красота слога, изящество фразы. Та же неудовлетворенность и

у братьев Гонкуръ въ томъ дневникѣ, который они начали вдвоемъ въ 1852-мъ году и который, по смерти одного изъ братьевъ въ 1870 г., продолжается другимъ. Онъ умеръ отъ нервной, мозговой болѣзни. „Братъ мой умеръ отъ работы“, — пишетъ Гонкуръ въ одномъ изъ писемъ, — „главное — отъ выработки формы, отдѣлыванія фразы, отъ работы надъ слогомъ въ поискахъ совершенства, во французскомъ языкѣ трудно достижимаго для передачи современныхъ ощущеній“. (*A. Delzant — Les Goncourt*, p. 187). Жизнь не удовлетворяла и бр. Гонкуръ: болѣе холодно-пессимистическаго взгляда на міръ божій, чѣмъ тотъ, который вылился въ этомъ 7-томномъ дневникѣ, результатъ длинной трудовой жизни, рѣдко встрѣтишь у людей, насколько судьбою не обиженныхъ. Правда, ихъ гложетъ одна неизлѣчимая боль, которую они сознаютъ: это неукротимое и ненасытимое литературное честолюбіе, жажда успѣха, популярности, которой они не имѣютъ, или, вѣрнѣе, которую получаютъ слишкомъ поздно. Это недовольство вмѣстѣ съ крайнимъ напряженіемъ мозга и нервовъ производитъ тотъ недостатокъ душевнаго равновѣсія, который лежитъ въ основѣ ихъ пессимистическихъ настроеній. Спокойнѣе и счастливѣе другихъ рисуется по этому дневнику Додэ, пока не захворалъ; Золя слишкомъ упорно, ремесленно работаетъ, слишкомъ много вкладываетъ личнаго самолюбія, слишкомъ алченъ къ деньгамъ, къ шумному успѣху, слишкомъ желаетъ импонировать массамъ, чтобы довольствоваться тѣмъ, что даетъ ему жизнь. Въ дружескомъ кругу за ѣдою всѣ общительны, откровенно говорятъ о своихъ успѣхахъ и неудачахъ, о намѣреніяхъ и планахъ, о настроеніяхъ и ощущеніяхъ; а Гонкуры, въ вѣчной погонѣ за наблюденіями, за фактической правдой жизни, заносятъ въ свой дневникъ все, что такъ безцеремонно говорится, заносятъ все, что есть характернаго въ рѣчи, въ мысли, въ отдѣльных замѣчаніяхъ собесѣдниковъ. Опубликованіе этихъ нескромностей вызвало немало неудовольствія. Участники обѣдовъ въ ресторанѣ Magnu, гдѣ собиралось много и литераторовъ и журналистовъ, были скандализированы своими собственными словами, когда черезъ нѣсколько лѣтъ встрѣтились съ ними въ печати. Особенно носители крупныхъ именъ, какъ напр. Ренанъ.

Тургеневъ былъ интересенъ этому кружку и какъ талантливый писатель, котораго, раньше личнаго знакомства, они

знали по переводу „Записокъ Охотника“, и какъ образованный иностранецъ, человѣкъ иной расы, иного склада ума, выросшій среди условій жизни, не похожихъ на западныя, онъ скоро сталъ и симпатиченъ, какъ оригинальный и словоохотливый собесѣдникъ. Гонкуръ занесъ очень многое изъ рассказовъ Тургенева на страницы своего дневника, и я думаю, что, какъ матеріалъ біографическій, оно можетъ дать нѣсколько дополнительныхъ чертъ къ фізіономіи нашего писателя, а также служить матеріаломъ и для критики послѣднихъ его произведеній. Нѣсколько „стихотвореній въ прозѣ“ рассказаны были французскимъ литераторамъ, прежде чѣмъ они появились въ печати у насъ, а Гонкуры записали ихъ. Сопоставленіе этихъ текстовъ не лишено интереса.

Гонкуры познакомились съ Тургеневымъ 25 февраля 1863 г., на литературномъ обѣдѣ, въ ресторанѣ Magny. Привелъ его *Шарль Эдмонъ*, одинъ изъ сотрудниковъ газеты *Temps*, хороший пріятель Ж. Зандъ. Первое впечатлѣніе, произведенное Тургеневымъ, было очень выгодное: „Это“, — пишетъ Гонкуръ, — „очаровательный исполинъ, кроткій великанъ съ сѣдыми волосами, похожій на привѣтливаго горнаго или лѣснаго духа. Онъ красивъ; красота большая, огромная красота съ синевою неба въ глазахъ, съ прелестью пѣвучаго русскаго акцента, тою пѣвучестью, гдѣ слышится чуточку ребенокъ и негръ. — Ободренный сдѣланною ему оваціею, онъ рассказываетъ любопытныя вещи о русской литературѣ, объявляя ее, отъ романа до театра, на широкомъ пути реалистическаго изученія. — Мы узнаемъ отъ него, что русская публика охотница до журналовъ; ему стыдно намъ признаться, что онъ и десятки другихъ получаютъ по 600 фр. за листъ. Книга у нихъ наоборотъ оплачивается плохо и даетъ самое большее что 4 тысячи фр.“. Отъ Тургенева они узнаютъ также, что Диккенсъ у насъ самый популярный писатель и что съ 1830-го года французская литература не имѣетъ вліянія, а преобладаетъ англійская и американская ¹⁾. Черезъ 9 лѣтъ — 2 марта 1872 года — Гонкуръ встрѣчаетъ Тургенева на обѣдѣ у Флобера, и выноситъ изъ этой встрѣчи такое же пріятное впечатлѣніе. „Тургеневъ — кроткій великанъ, любезный варваръ съ сѣдыми волосами, падающими на глаза, съ глубокою складкою, прорѣзывающею лобъ

¹⁾ Journal, II т., стр. 95 и слѣд.

отъ виска до виска, на подобіе борозды отъ плуга. Начиная уже съ супа, онъ плѣняетъ насъ своимъ дѣтскимъ говоромъ, очаровываетъ насъ смѣсю наивности и тонкости, этою прелестью славянской расы. Эта прелесть усиливается у него оригинальностью самобытнаго ума и знаніемъ огромнымъ и космополитическимъ. — Онъ рассказываетъ намъ о мѣсячномъ заключеніи, которое онъ выдержалъ по напечатаніи „Записокъ Охотника“; тюрьмою ему служилъ архивъ полицейскаго квартала, гдѣ онъ дѣлалъ справки въ секретныхъ дѣлахъ. Онъ рисуетъ намъ штрихами и живописца, и романиста, портретъ полицейскаго офицера, котораго онъ однажды напоилъ шампанскимъ, а тотъ, подталкивая его локтемъ, поднималъ стаканъ: „за Робеспьера!“ — Онъ на минуту останавливается, углубившись въ размышленія, и продолжаетъ: „еслибы я гордился такими вещами, я бы попросилъ, чтобы надъ моею могилою вырѣзали только то, что я сдѣлалъ для освобожденія крестьянъ. Да, я бы попросилъ только это. . Императоръ Александръ велѣлъ мнѣ сказать, что чтеніе моей книги было однимъ изъ главныхъ поводовъ его рѣшенія“... Затѣмъ „со стиховъ Мольера разговоръ переходитъ на Аристофана, и Тургеневъ, не сдерживая своего энтузіазма къ этому „отцу смѣха“ и къ этой способности, которую онъ цѣнитъ такъ высоко, что признаетъ ее только за двумя или тремя во всемъ человѣчествѣ, восклицаетъ, и губы его дѣлаются влажны отъ удовольствія: „Еслибы нашлась утерянная пьеса Кратина, пьеса, считающаяся выше аристофановской, признававшаяся греками за шедевръ, за образецъ комическаго“, словомъ, „Бутылка“, написанная старымъ аѳинскимъ пьяницею, я... я не знаю, что бы я отдалъ за нее, нѣтъ, не знаю, мнѣ кажется, все бы отдалъ“...

Теофиль Готье совсѣмъ больной жалуется на скуку, на недостатокъ интереса къ жизни; Тургеневъ, — ему тогда 54 года, — сочувствуетъ ему: онъ тоже испытываетъ нѣчто, подобно тому, какъ когда въ комнатѣ еле-замѣтный запахъ мускуса, который нельзя изгнать, уничтожить“. Онъ чувствуетъ кругомъ себя запахъ смерти, уничтоженія, разложенія.

Онъ приписываетъ это отсутствію любви и признается, какую роль въ его жизни играла женщина. Только любовь даетъ тотъ расцвѣтъ жизненныхъ силъ, который ничѣмъ больше не дается. Затѣмъ слѣдуетъ рассказъ о мельничихѣ, — рассказъ приводимый и у Додэ — въ которую онъ былъ влюбленъ и ко-

торая приняла отъ него одинъ только подарокъ—душистое мыло и вымыла имъ руки, чтобы онъ могъ цѣловать ихъ какъ у петербургскихъ барынь (V, 28).

Это описаніе первыхъ двухъ встрѣчъ Гонкура съ Тургеневымъ даетъ общій тонъ и характеръ всѣхъ послѣдующихъ. Несомнѣнно, что французы отнеслись къ русскому собрату немного свысока. Не смотря на умъ, познаніе, широкое космополитическое образованіе, онъ для нихъ человѣкъ иной и притомъ низшей расы; его фигура, легкій недостатокъ произношенія—напоминающій имъ дѣтей, негровъ, птицу,—то добродушіе, въ которомъ они видятъ наивность, — все признаки чего-то самобытнаго, но какъ бы недорослага до ихъ культурности.—И, мы увидимъ, это отношеніе осталось у нихъ навсегда. — А Тургеневъ съ первыхъ встрѣчъ показалъ себя художникомъ, не менѣе ихъ проникнутымъ эстетическимъ чувствомъ, въ мысли котораго красота слова занимаетъ первенствующее мѣсто, но притомъ и общественное значеніе слова цѣнится высоко. Такъ какъ они выдаются по большей части все въ одномъ и томъ же кружкѣ, то разговоръ вращается все около однихъ и тѣхъ же предметовъ; касается литературы и какъ ремесла и какъ наслажденія, — затѣмъ женщинъ и любви,—наконецъ, болѣзни и смерти.

22 марта 1872 г. Тургеневъ съ Флоберомъ обѣдали у Гонкура. Сперва Тургеневъ очертилъ оригинальную фигуру своего московскаго издателя, еле-грамотнаго человѣка, который держитъ себѣ 12 фантастическихъ старичковъ, чтецовъ и совѣтчиковъ. Затѣмъ рисуеъ типы литературной богемы. Наконецъ, переходитъ на себя. Анализируетъ себя. Говоритъ, что когда онъ грустенъ, плохо настроенъ, 20 стиховъ Пушкина выводятъ его изъ унынія, возвращаютъ бодрость, перевозбуждаютъ его („surexcitent“). Это даетъ ему то восхищенное умиленіе, которое онъ не испытываетъ ни передъ какими высокими и великодушными поступками. — Только литература способна дать ему то просвѣтлѣніе, которое онъ узнаетъ даже по физическому ощущенію, по какому-то пріятному чувству въ щекахъ.

Натура эстетическая при остромъ аналитическомъ умѣ, Тургеневъ очень ясно отдаетъ себѣ отчетъ въ своихъ ощущеніяхъ: „Мнѣ, чтобы работать“,—говоритъ онъ (5 мая 1876 г.)—мнѣ нужно зиму, морозъ, какъ у насъ въ Россіи, вѣжущій

(„astringent“) холодъ, когда деревья покрываются инеемъ, тогда... Впрочемъ, еще лучше я работаю осенью, знаете, по такой погодѣ, когда нѣтъ вѣтра, совсѣмъ нѣтъ вѣтра, когда почва эластична и въ воздухѣ какъ будто вкусъ вина... У меня при домѣ, — домъ небольшой, деревянный, садъ усаженъ желтою акаціею — бѣлая у насъ не растетъ. Осенью, земля вся покрыта стручками, они трещать, когда на нихъ наступаешь, а воздухъ полонъ звуками птицъ — сорокъ (pies-grisèches), которыя подражаютъ чужому пѣнію... И тамъ — совсѣмъ одинъ“... Тургеневъ не доканчиваетъ фразы, но такъ сжимаетъ кулаки на груди, что это рисуетъ намъ все мозговое наслажденіе и все опьяненіе, которое онъ испытываетъ тамъ, въ этомъ уголкѣ своей Россіи (стр. 275). Другой разъ (8 мая 73 г.), когда Тургеневъ обѣдаетъ съ Ж. Зандъ, Флоберемъ и Гонкуромъ, онъ, по обыкновенію, разговорчивъ и экспансивенъ (Journal, t. V, p. 79).

По поводу одной фразы изъ дѣтской драмы Флобера, онъ переносится мыслью во времена своего суроваго воспитанія, когда несправедливость глубоко возмущала его юную душу. Онъ вспоминаетъ, какъ за какой-то ничтожный поступокъ его сперва отчитывалъ наставникъ, потомъ его высѣкли, потомъ оставили безъ обѣда; онъ видитъ себя гуляющимъ въ саду и глотающимъ, съ какимъ-то горькимъ удовольствіемъ, соленныя капли, которыя изъ глазъ текли по щекамъ въ углы рта. — Онъ говоритъ потомъ объ упоительныхъ часахъ молодости, когда, лежа на травѣ, онъ прислушивался ко всѣмъ звукамъ земли, о часахъ его мечтательнаго наблюденія природы, которое не передается словами. — Онъ рассказываетъ о своей любимой собакѣ; она, казалось, раздѣляла его душевное состояніе, удивляя его глубокими вздохами въ минуты его меланхоліи; собака эта однажды вечеромъ на берегу пруда, когда Тургеневымъ овладѣлъ таинственный ужасъ, бросилась къ его ногамъ, какъ бы раздѣляя его страхъ.

Быть можетъ, благодаря этой суровой обстановкѣ, съ раннихъ лѣтъ воспитавшей его меланхолію, благодаря той несправедливости, отъ которой страдалъ онъ самъ, страдали и кругомъ него. Тургеневъ при всемъ культѣ красоты помнилъ всегда и объ общественно-нравственномъ значеніи художественнаго произведенія; и его „Записки Охотника“, рисуя такъ тонко и изящно картины русской природы и русскаго быта, сослужили ту службу обществу, которою гордился писатель. Сознаніе

этой заслуги умѣряло горечь обижаемаго обществомъ литератора и оставляло его преимущество передъ французскими собратами. Вотъ примѣръ: „23 января 1875 г.—Золя постоянно жалуется: онъ еще молодъ, но взгляды его всегда мрачны. Хотя ему и говорятъ, что для человѣка 35 лѣтъ онъ сдѣлалъ уже хорошую карьеру, но ему хочется имѣть орденъ, быть академикомъ, имѣть то отличіе, которымъ открыто признается талантъ. Для публики онъ всегда будетъ паріа“. Тургеневъ глядитъ на него съ отеческою провіею, затѣмъ рассказываетъ ему эту хорошенькую притчу: „Золя, когда въ русскомъ посольствѣ чествовалось освобожденіе крестьянъ — событіе, въ которомъ я, вы знаете, игралъ нѣкоторую роль,—Гр. Орловъ — другъ мнѣ, на его свадьбѣ я былъ свидѣтелемъ, графъ пригласилъ меня обѣдать. Быть можетъ, я не первый русскій писатель въ Россіи, но въ Парижѣ, гдѣ нѣтъ другихъ, согласитесь, что я первый; ну, и при этомъ, знаете-ли, куда меня посадили за столомъ? Мнѣ дали 47-е мѣсто; посадили ниже попа; а вы знаете, какимъ презрѣніемъ духовенство пользуется въ Россіи“. И въ заключеніе славянская усмѣшка играетъ въ глазахъ Тургенева¹⁾.

„Славянская усмѣшка“ это—та смѣсь наивности и тонкости, то лукавство, которыя наблюдательные европейцы не могли не замѣтить у нашего соотечественника-варвара. Онъ знаетъ, что смотреть на вещи шире ихъ, слѣдовательно и вѣрнѣе, а имъ цѣнны его интересныя наблюденія надъ ними²⁾. По поводу французскаго языка на примѣръ: „Вашъ языкъ, господа, представляется мнѣ инструментомъ, изобрѣтатели котораго попросту искали только ясность, логику и приблизительную точность опредѣленія; а выходитъ такъ, что инструментъ этотъ очутился въ рукахъ людей самыхъ нервныхъ, самыхъ впечатлительныхъ, наименѣе способныхъ довольствоваться приблизительною точностью“³⁾.

25 января 1875 г. Золя, Додэ, Гонкуръ и Тургеневъ говорятъ о Тэнѣ. Всякій старается опредѣлить качества и несовершенства его таланта. „Тургеневъ прерываетъ насъ со свойственною ему оригинальностью мысли и мягкимъ щебечущимъ говоромъ: „Сравненіе мое не изъ высокихъ, но позвольте

¹⁾ 175. V.

²⁾ 14 апрѣля 1874 года.

³⁾ Стр. 118—9, V.

миѣ, господа, сравнить Тэна съ одной моею охотничьей собакой. Она искала, дѣлала стойку, великолепно выполняла всѣ приемы охотничьей собаки, только — лишена была чутя; миѣ пришлось продать ее¹⁾.

Напомню, что Тургеневъ любилъ сравненіе критики съ собакою. Въ одномъ изъ писемъ, удивляясь провинцальности Анненкова, онъ сравнилъ его чуткость съ чуткостью охотничьяго пса.

Коренная разница взглядовъ нашихъ и западныхъ, разница, вытекавшая изъ расовыхъ отличій, поражала Тургенева. „Мы всѣ люди одного ремесла, люди пера“, — говорилъ онъ однажды²⁾ у Флобера, — „а между тѣмъ какая разница!“ Фраза, слышанная имъ со сцены,³⁾ глубоко возмутила его и возмутила бы всякаго русскаго, а Флоберъ и другіе, бывшіе въ ложѣ, остались вполне равнодушны. „Да, вы люди латинской расы, въ васъ сидитъ еще римлянинъ и его религія права; словомъ, вы люди закона... Мы не таковы... Законъ у насъ, такъ сказать, не кристаллизуется, какъ у васъ. Напр., мы въ Россіи воры, но пусть у насъ человѣкъ совершитъ 20 кражъ и повинится; но тутъ будетъ доказано, что онъ нуждался и голодалъ, и его оправдаютъ... Да, вы люди закона, чести, мы, не смотря на все наше самодержавіе, мы люди“... — онъ затрудняется, ищетъ слова, „я“, — говоритъ Гонкуръ, — „подсказываю человѣчине“ („de l'humanité“). — „Да“, — продолжаетъ онъ, — „въ насъ меньше условности, въ насъ больше человѣчнаго“⁴⁾.

Если въ области нравственныхъ вопросовъ мы не знаемъ твердо формулированныхъ правилъ долга и чести, а рѣшаемъ вопросы непосредственнымъ чувствомъ гуманности, — то и въ области искусства мы любимъ, по мнѣнію Тургенева, правду и реальность, не смотря на то, что мы лживы, какъ люди, долго жившіе въ рабствѣ⁵⁾.

Женщины, любовь — на эту тему бесѣдуютъ не мало, и Тургеневъ очень много рассказываетъ и про себя и по поводу того, что говорится; а говорится такъ многое и такое, что и

1) 174. V.

2) 5 марта 1876 г.

3) Эту пьесу рассказываетъ Полонскій въ своихъ воспоминаніяхъ о Тургеневѣ. „На высотахъ спиритизма“, 535.

4) „Nous sommes des hommes moins conventionnels, nous sommes des hommes de l'humanité“. V, 266.

5) V, 299.

перо Гонкура, ни передъ какою нескромностью не останавливающагося, ставить часто многоточіе. „Женщины, любовь“, — пишетъ онъ 28 января 78 г., — „всегдашняя тема разговора, когда соберутся умные люди за питьемъ и ѣдою¹⁾“. Разговоръ сперва „игривъ“, и Тургеневъ слушаетъ насъ съ удивленіемъ, слегка окаменѣлымъ, какъ подъ взглядомъ Медузы, какъ варваръ“²⁾...

И Тургеневу, какъ варвару, эти высоко-культурные литераторы отдаютъ справедливость въ силѣ его непосредственного чувства³⁾). На обѣдѣ въ честь отъѣзжающаго въ Россію Тургенева говорится о любви, изображаемой въ книгахъ: Гонкуръ находитъ, что до сихъ поръ любовь не была въ книгѣ предметомъ *научнаго* изслѣдованія, что они до сихъ поръ изображаютъ одну только ея поэтическую сторону. Золя объявляетъ, что любовь не представляетъ собою какого-нибудь особеннаго чувства, не владѣетъ человѣкомъ такъ всецѣло, какъ это описывается; что она имѣетъ тѣ-же проявленія, что и дружба и патриотизмъ, но только интенсивнѣе ощущается, какъ желаніе. Тургеневъ утверждаетъ, что это — не то... Онъ думаетъ, что любовь имѣетъ свою особую окраску и что Золя на ложномъ пути, если не допускаетъ этой качественной особенности... Онъ утверждаетъ, что любовь производитъ то дѣйствіе, какое не дается никакимъ другимъ чувствомъ... Что у истинно влюбленнаго человѣка, какъ будто отдѣляются его особу... Онъ говоритъ о тяжести на сердцѣ, не имѣющей ничего человѣческаго... Онъ говоритъ о глазахъ первой женщины, которую онъ любилъ, какъ о чемъ-то не матеріальномъ и не имѣющемъ ничего общаго съ матеріальностью. „Во всемъ этомъ“, — заканчиваетъ Гонкуръ, — „одно горе; то, что ни Флоберъ, не смотря на его повышенный тонъ, говоря о такихъ предметахъ, ни Золя, ни я, мы никогда не были серьезно влюблены и потому не можемъ описывать любовь. Одинъ Тургеневъ могъ бы это сдѣлать, но ему какъ разъ не достаетъ той критики, которую мы могли-бы вложить, еслибы такъ любили, какъ онъ“.

Тутъ Гонкуръ какъ будто забываетъ, что сила критическаго анализа и сила непосредственнаго чувства взаимно уничтожаются. Они думаютъ, что чувство можетъ воссоздаваться

¹⁾ „Réunion d'intelligences en train de boire et de manger“.

²⁾ VI, 9.

³⁾ 5 Мая 1877 года.

въ поэзіи только аналитическою способностью ума — и тутъ, конечно, эстетика ихъ сильно погрѣшаетъ, — что доказывается уже примѣромъ тургеневской поэзіи.

Да и вообще у Тургенева было больше критическаго отношенія къ людямъ, чѣмъ это казалось его французскимъ собесѣдникамъ. Они очень высоко цѣнили въ немъ даръ рассказчика. 10 апрѣля 83 года они узнаютъ, что Тургеневъ приговоренъ докторомъ Шарко. „За столомъ“, — пишетъ Гонкуръ, — говорятъ объ этомъ оригинальномъ рассказчикѣ; его рассказы сначала выходили изъ какого-то тумана, сперва ничего не обѣщали интереснаго, а потомъ становились мало-по-малу такіе завлекательные, забирающіе, захватывающіе. Какъ будто хорошенькія тонкія вещицы медленно переходятъ изъ тѣни къ свѣту, съ постепеннымъ и послѣдовательнымъ обнаруживаніемъ ихъ мельчайшихъ деталей“¹⁾. — Вообще, они цѣнятъ въ немъ его любовь къ литературѣ, къ художественному слову: „Настоящій литераторъ — нашъ старый Тургеневъ“, — замѣчаетъ Гонкуръ весною 1883 года. Ему дѣлалась операція. „Во время операціи“, — говоритъ Тургеневъ навѣщавшему его Додэ, — „я думалъ о нашихъ обѣдахъ; я искалъ словъ, какими бы можно было вамъ точно передать ощущеніе стали, разсѣкающей кожу и входящей въ мясо... какъ ножъ, который рѣжетъ бананъ“²⁾. За нѣсколько лѣтъ до этого въ 1876 г. у Тургенева была подагра. „Онъ оригинально описываетъ намъ“, — говоритъ Гонкуръ, — „что испытываетъ. Ему кажется, что у него въ большомъ пальцѣ сидитъ кто-то и выпрыгиваетъ ему нготъ круглымъ и тупымъ ножомъ“³⁾.

Общаго у этихъ собесѣдниковъ, кромѣ любви къ женщинамъ и къ литературѣ, былъ также страхъ смерти. Въ 1882 г. Флобера нѣтъ уже въ живыхъ. Пріатели обѣдаютъ вчетверомъ. „Нравственныя заботы однихъ, физическія страданія другихъ приводятъ къ разговору о смерти — курьезно, что смерть и любовь всегда предметъ нашихъ послѣобѣденныхъ бесѣд“. Додэ и Золя каждый жалуются по своему на преслѣдующую ихъ мысль о смерти; Золя особенно сильно рисуетъ тотъ ужасъ, который нападаетъ на него иногда по ночамъ. „У меня“, — говоритъ Тургеневъ, — „это — мысль очень обыкновенная. Но когда она является, я ее отгоняю“ — и онъ дѣлаетъ небольшой отри-

¹⁾ VI, 255.

²⁾ VI, 256.

³⁾ V, 252.

цательный жестъ рукою;—потому нашъ, „славянскій туманъ“ намъ такъ и пріятель... онъ скрадываетъ отъ насъ логику нашей мысли, крайніе выводы разсудка. У насъ, видите-ли, говорятъ, когда вы попадаете въ мятель: „Не думайте о холодѣ, не то замерзнете“. И вотъ, благодаря туману, о которомъ я вамъ говорю, славянинъ въ мятели не думаетъ о смерти, и у меня мысль о смерти скоро разсѣивается и исчезаетъ“¹⁾.

Это признаніе Тургенева можетъ служить комментариемъ къ „Стихотворенію въ прозѣ“: „Что я буду думать?“ Точно также и упоминаніе объ одномъ кошмарѣ, гдѣ онъ видѣлъ бурое пятно на стѣнѣ, кошмарѣ, вызванномъ сжатіемъ сердца²⁾, можетъ служить поясненіемъ „Стихотворенія въ прозѣ“ *Настыкомое*. Также любопытное, въ критическомъ отношеніи, сравненіе можно сдѣлать стихотворенія *Мама* съ тѣмъ разсказомъ, который записалъ Гонкуръ³⁾ со словъ Тургенева.

Тургеневъ въ этомъ кружкѣ былъ дружески откровененъ и сообщалъ многое изъ своей внутренней жизни, какъ людямъ близкимъ, способнымъ понять и раздѣлить его чувства. Напр., въ 1880-мъ году онъ даетъ (1 февраля) прощальный обѣдъ Золя, Додэ и Гонкуру передъ отъѣздомъ своимъ въ Россію. „Этотъ разъ“, — говоритъ Гонкуръ, — „онъ уѣзжаетъ на родину“⁴⁾, волнуемый чувствомъ какой-то странной неувѣренности; чувство это, говоритъ онъ, онъ испыталъ однажды въ ранней молодости, при переѣздѣ по Балтійскому морю, когда корабль былъ совершенно окутанъ туманомъ и единственнымъ спутникомъ его была обезьяна, прикованная къ палубѣ“. — Это характерное настроеніе описано, какъ извѣстно, въ стихотвореніи „Морское плаваніе“. — Затѣмъ онъ рассказываетъ имъ о своемъ образѣ жизни въ деревнѣ, дѣлаетъ характеристику крестьянъ. „Какъ острый наблюдатель и тонкій комикъ, Тургеневъ изображаетъ намъ три слоя современныхъ поколѣній: старые мужики—онъ подражаетъ ихъ звучной и пустой рѣчи, состоящей изъ односложныхъ словъ и нарѣчій, — никогда не заканчиваютъ мысль; — сыновья этихъ мужиковъ, краснорѣчивые разглагольствуютъ по-адвокатски („la parole avocassière et belle-diseuse“); — внуки—слой молчаливый, дипломатическій и въ выс-

¹⁾ VI, 186.

²⁾ VI, 102.

³⁾ V, 232.

⁴⁾ VI, 101.

шей степени разрушительный". Тургеневъ любитъ съ ними разговаривать, наблюдать, что творится въ этихъ головахъ безъ образованія, мозгъ которыхъ работаетъ одиноко и сосредоточенно.

При всей близости пріятельскихъ отношеній, всякій изъ собесѣдниковъ имѣлъ, конечно, свое мнѣніе о произведеніяхъ другого. Мнѣніе Тургенева очень обидѣло Гонкура. Въ 1887 г. Ізаас Павловскіи издалъ книгу „Souvenirs sur Tourgueneff“, гдѣ привелъ разныя, будто-бы, слышанныя имъ отъ Тургенева мнѣнія о французскихъ писателяхъ. Обиженъ былъ этими отзывами Додэ, какъ писатель и какъ человѣкъ, что и высказалъ, прибавивъ нѣсколько горестныхъ словъ къ своимъ воспоминаніямъ. А Гонкуръ, уязвленный только въ писательскомъ самолюбіи, которое у него болѣзненно изощрено, возражаетъ въ своемъ Дневникѣ на критическія замѣчанія Тургенева и высказываетъ свой общій взглядъ на нашего писателя. „Нашъ покойный другъ“, говоритъ онъ, „очень свирѣпъ ¹⁾ къ намъ, нападаетъ на нашу изысканность, отрицаетъ нашу наблюдательность замѣчаніями, легко опровержимыми“. Опровергаетъ Гонкуръ сперва мелочи. Затѣмъ, упоминая о Faustin, романъ, гдѣ героинею актриса, Тургеневъ, — говоритъ Гонкуръ — укрывается за авторитетомъ М-мъ Віардо и находитъ, что наши наблюденія надъ сценическими ощущеніями актрисъ — совершенно ложны. А между тѣмъ это списано съ подлинныхъ документовъ: отчасти со словъ сестеръ Рашель“. Гонкуру можно возразить, что правда художественная и правда житейская — двѣ вещи совершенно различныя, чему доказательства находимъ въ самомъ Дневникѣ Гонкура по поводу той же Faustin. Въ апрѣлѣ 1881 г. Гонкуръ читаетъ первыя главы этого романа нѣкоторымъ писателямъ: Золя, Додэ, Эредіа и кружку такъ назыв. молодежи Медана (молодыхъ натуралистовъ Юсманеъ, Мопассанъ, П. Алексіи и др.). „Я удивленъ“, говоритъ Гонкуръ, „главы, наиболѣе документованныя, цѣликомъ взятія изъ жизни, кажутся не производить впечатлѣнія. И наоборотъ, главы, которыя я немного презираю, гдѣ преобладаетъ одно воображеніе, захватываютъ публику“. Лицо вымышленное принимается Золя за портретъ, рисованный съ натуры ²⁾. Что же доказываетъ это впечатлѣніе компетентной и для Гонкура

¹⁾ Т. VII, 215.

²⁾ Journal VI, 114.

публики, какъ не то же, что находилъ Тургеневъ (если слова его вѣрно переданы Павловскимъ) и что не подлинныя документы дѣлаютъ силу художественнаго впечатлѣнія, а творческая фантазія художника?

Гонкуръ даетъ такое заключеніе о талантѣ Тургенева— „Тургеневъ, несомнѣнно,—разсказчикъ (conteur) изъ ряду вонъ, но, какъ писатель, онъ ниже своей репутаціи. Я не оскорблю его тѣмъ, что стану судить его по роману „Вешнія воды“. Да, онъ пейзажистъ, живописецъ лѣсной жизни очень замѣчательный, но какъ живописецъ человѣчества онъ мелокъ, не имѣетъ мужества въ наблюденіяхъ. Дѣйствительно, въ его произведеніяхъ нѣтъ первобытной суровости его страны,—rudesse moscovite, суровости московской, казацкой, и по его книгамъ соотечественники его представляются мнѣ русскими, изображенными тѣмъ русскимъ, который конецъ жизни провелъ при дворѣ Людовика XIV; потому что въ немъ, кромѣ того, что по самому темпераменту своему онъ далекъ былъ отъ всего рѣзкаго, отъ слова грубо-правдиваго, отъ варварской окраски,—въ немъ была прискорбная податливость на требованія издателей. (Гонкуръ не знаетъ или забываетъ объ условіяхъ нашей цензуры). Такъ, въ русскомъ Гамлетѣ (Щигровскаго уѣзда)—онъ самъ при мнѣ признавался Бюлозу въ отвѣтъ на его замѣчанія,—что урѣзалъ характеръ на четыре или пять фразъ. Это-то въ его произведеніяхъ смягченіе характера его соотечественниковъ и вызвало у меня съ Флоберомъ самый горячій споръ, какой только у насъ былъ; Флоберъ утверждалъ, что суровость эта—потребность моего воображенія и что русскіе должны быть такими, какими Тургеневъ ихъ изображаетъ. „Съ тѣхъ поръ“, заканчиваетъ Гонкуръ, „романы Толстого, Достоевскаго и другихъ оправдали мое мнѣніе“.

Эта краткая характеристика, не смотря на свой отрицательный характеръ, не имѣетъ еще ничего обиднаго для Тургенева. Но Гонкуръ былъ сильно задѣтъ книгою Павловскаго. Черезъ день онъ опять пишетъ въ своемъ дневникѣ о враждебности и литературной несправедливости Тургенева къ нему и Додэ. Они не только повѣрили въ эту враждебность и не нашли въ прежнемъ дружескомъ расположеніи Тургенева никакого опроверженія этой сплетнѣ, но приписали враждебность непониманію Тургенева ихъ ироніи. Иностранцы, какъ провинціалы, боятся этой, по ихъ мнѣнію, чисто парижской спо-

собности и чувствуют „антипатію къ людямъ, слова которыхъ заключаютъ въ себѣ скрытыя и таинственныя насмѣшки, ключа къ которымъ они не имѣютъ“ ¹⁾).

Высокомѣріе парижскаго литератора проглянуло и тутъ. Какъ ни цѣнили они и симпатичность Тургенева, и его умъ, и образованіе, и талантъ рассказчика, и самообытность, замѣченную семьею Ж. Зандъ и въ плохомъ переводѣ, — онъ все-таки былъ для нихъ варваръ, не доросшій до утонченности ихъ парижской современности. — Но и грубости первобытнаго человѣка, или, вѣрнѣе, той непосредственной силы чувства, которая пренебрегаетъ изяществомъ внѣшней формы, — они не нашли у Тургенева; тутъ они забыли, что это-то чувство мѣры, чувство изящнаго въ натурѣ и темпераментѣ Тургенева и сблизило его съ ними. Замѣчаніе, что Тургеневъ рисуетъ русскихъ, какъ придворный временъ Людовика XIV, можетъ быть и вѣрно; но тѣмъ самымъ онъ не только вѣренъ своему западному образованію, но онъ и первый изъ русскихъ, который, благодаря этой культурности, заслужилъ славу европейскаго романиста. Высокомѣріе французовъ понятно; но не имъ судить о мѣстѣ, занимаемомъ Тургеневымъ въ ряду другихъ романистовъ. — Своею симпатіею къ его литературности, своею преданностью искусству, свободою и искренностью своихъ взглядовъ на вещи, они дали Тургеневу среду, наиболее сродную его характеру. Въ тотъ возрастъ, когда человѣкъ уже утомленъ борьбою, — а борьба никогда и не была для Тургенева родною стихіею — когда поэту трудно отстаивать свободу нераздѣленныхъ взглядовъ, и слушая судъ глупца и смѣхъ толпы — ждать суда потомства, — Тургеневъ не живетъ на родинѣ. Онъ нашелъ на чужбинѣ и семью, которая удовлетворяла его сердечнымъ потребностямъ, и товарищескій кругъ, судъ котораго, при всей строгости требованій, не лишенъ справедливости. Эта семья и эта дружба поддержали его бодрость въ служеніи той родинѣ, которой онъ никогда не забывалъ; а судъ родного потомства оцѣнитъ современемъ и большое художественное значеніе и общественныя заслуги его дѣятельности.

А. Андреева.

26 февраля 1895 г.

¹⁾ VII, 218

Левъ и Лиса *).

Левъ, разъярясь, разгрызъ вола.
Въ большомъ испугѣ
Всѣ львовы слуги:
Вѣдь за воломъ не знали зла—
Онъ льву былъ преданъ,
Въ трудахъ извѣданъ,
По честности, по добротѣ своей,
Имѣлъ онъ множество друзей.
Теперь друзья его роптали,
И самые враги хвалить царя не стали.
Но льстецъ одинъ, Лиса, не утерпѣлъ и тутъ:
«О государь», сказалъ, «то правый, скорый судъ».
— «Торопишься, Лиса, ты соглашаться съ нами,
Но лучше бъ ты обождала:
Здѣсь неумѣстна похвала —
Себя мы осуждаемъ сами.»

Храбрая Муха *).

Разъ муха, на совѣтъ мухъ,
Въ нихъ возбудила ратный духъ:
«Товарки, мы напрасно такъ робѣемъ
Предъ паукомъ-злodeмъ: —
Когда мы дружно налетимъ,
То вѣрно совладаемъ съ нимъ».
И мухи громко загудѣли:
«Она права! Конечно! Въ самомъ дѣлѣ!»
Пустилась та впередъ, и цѣлый рой за ней.
Но вотъ она забилась средь сѣтей,
А остальные—улетѣли.

*) По Красицкому: „Lew, Wól, Lis“ (Bajki nowe, III, 10).

*) По Горьцкому (Muchy i pajak).

Лошадь и Свинья *).

Разъ старой лошади сказала молодая,
Вернувшись съ пахоты домой:
«Какіе мы несчастные съ тобой!
Мы на работѣ день-деньской,
Насъ бьютъ кнутомъ, нещадно погоняя.
А вотъ свинья—счастливица какая:
Все только занята ѣдой».

— «Ужъ такъ ли плохо намъ? Мы сыты, братъ, и гладен;
Что надобно работать—не бѣда,
И что стегнуть насъ иногда.
Нѣтъ, знай ты здѣшніе порядки,
Ты бѣ не завидовалъ свиньѣ
Въ ея покоѣ и жраньѣ:
Теперь ее и берегутъ и нѣжатъ,
А передъ праздникомъ—зарѣжутъ».

Мопсъ и мѣсяцъ *).

Жилъ толстый, жирный Мопсъ на свѣтѣ.
Въ довольствѣ жизнь его текла;
Но разъ фантазія ему пришла
Пойти гулять при лунномъ свѣтѣ.
Случилась канавка на пути,
Назадъ не хочется идти,
А нѣту переходу.
Вотъ, разбѣжавшись по-сильнѣй,
Мопсъ прыгнулъ, но, увы, по грузности своей,
Не доскочилъ, а плюхнулъ въ воду.
Пыхтѣлъ, барахтался бѣднякъ —
И вылезъ кое-какъ.
Потомъ, оправаясь отъ тревоги,
Онъ сталъ посреди дороги,
Пошелъ кричать, что было силъ,
И—ясный мѣсяцъ забранилъ.
«Еще ты смотришь, не краснѣя,
Невѣжа, дрянъ, болванъ, нахаль!
Когда бы ты свѣтилъ яснѣе,
Тогда я прыгнулъ бы вѣрнѣе,
И въ воду бѣ не упалъ».

А не одинъ вѣдь Мопсъ, чѣмъ самому виниться,
Готовъ бранить, кого случится.

Р. Брандтъ.

СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ.

(Изъ воспоминаній московскаго старожила.)

Андрей Андреевичъ Уклеинъ — круглый сирота, сынъ вдовы кастелянши какого-то большого заведенія, — нѣкогда учитель городской школы, а послѣднее время жившій частными дешевыми уроками, — написалъ святочный рассказъ... Писалъ то онъ много: у него лежали въ столѣ — огромный романъ (изъ великосвѣтской жизни) съ помѣтами разныхъ редакцій; большая драма изъ народнаго быта, въ 5 дѣйствіяхъ и семи картинахъ, — съ неблагополучной надписью театральнo-литературнаго комитета; была еще „историческая повѣсть“ изъ временъ Всеволода Большого Гнѣзда, о которой одинъ чехъ, считавшій себя знатокомъ русской литературы, какъ и всего на свѣтѣ, сказалъ автору, что „это произведеніе-то очень-то талантливое“... Уклеинъ много писалъ; но его святочный рассказъ напечатали наконецъ, и мало того — читали, какъ говорится, нарасхватъ, такъ что редакція (и солидная) просила Андрея Андреевича прислать и еще что-нибудь...

Полный фантазіи и дѣтски-наивной простоты, рассказъ Уклеина особенно выдѣлялся неподобнымъ изображеніемъ чорта, къ которому, какъ извѣстно, такъ называемая святочная литература прибѣгаетъ нерѣдко...

Андрей Андреевичъ торжествовалъ...

Въ ожиданіи гонорара, заложивъ свои серебряные часы и все лѣтнее платье, Уклеинъ сходилъ два раза въ театръ, однажды пообѣдалъ въ большомъ трактирѣ и нѣсколько вечеровъ провелъ въ мелкихъ кондитерскихъ, гдѣ выпивалъ стаканъ молока, изрѣдка — чаю, а самъ приглаждался — не читають ли посѣтители... его рассказъ. И разъ случилось при

намъ, что вошедшій такъ-таки прямо и сказалъ слугѣ: „дай номеръ *Отечественнаго Круга*, въ которомъ „*Роковая Ошибка*“, на что половой отвѣтилъ: „повремените, сударь, „*Ошибку*“ читають“...

Въ видѣ отдохновенія — особенно, когда деньги стали на исходѣ — оставалось съ небольшимъ рубля два — Андрей Андреевичъ пускался въ откровенныя словозліянія со своей кухаркой Аграфеной, женщиной лѣтъ подъ пятьдесятъ, на рѣдкость сохранявшееся, и замѣчательно честной, до того честной, что въ двухъ комнаткахъ Улейкина никогда и ничего не записывалось: Аграфена возвращала серебряныя монеты, если находила ихъ на полу; приносила сдачи полукопѣйки, и разъ притащила своему барину цѣлыхъ четыре рубля съ полтиной, отправившись въ лавку всего на всего съ тремя рублями: ей по ошибкѣ сдали съ пяти рублей вмѣсто трехъ...

— Вотъ и писалъ бы да писалъ, чѣмъ ласы точить со мной! — замѣчала Аграфена послѣ того, какъ Андрей Андреевичъ сообщалъ ей, какъ хорошо оплачивается писаніе, и какъ уже многіе разбогатѣли съ него.

Наконецъ, какъ-то подъ вечеръ, изъ конторы редакціи „*Отечественнаго Круга*“ получился и говорарь, т. е. не деньги собственно, а почти деньги: „*Сто пятьдесятъ рублей, съдвумья Вамъ за „Роковую ошибку*“, — говорилось въ извѣщеніи, — „пересланы по переводу отъ Лисицына, вложенному въ это письмо“. „Лисицынъ, вложенный въ письмо“ — означало, что авторъ получить деньги въ банкирской конторѣ, средней руки, Лисицынъ и К°. Въ письмѣ находился и самый переводъ... Хотя у Аграфены и сидѣлъ въ ту пору какой-то кумъ (изъ отставныхъ интендантскихъ писарей), но Улейкинъ не вытерпѣлъ, чтобъ не задержать ее и не поболтать по поводу полученія. И въ самомъ дѣлѣ, радость была велика: изъ закладныхъ денегъ оставался совершенный пустякъ, одна мелочь, а за уроки Улейкинъ давнымъ давно забралъ впередъ все, что только не постыдился забрать.

— Аграфена! — вернулъ Андрей Андреевичъ свою собесѣдницу: — Смотри! — сказалъ онъ, показывая бабѣ узенькую полоску бумаги, похожую на вексель.

— Это чтѣ же? — спросила кухарка.

— А вотъ чтѣ: пойдѣ съ этой бумажкой, куда здѣсь сказано, и тебѣ безъ всякаго разговору сейчасъ-же выдадутъ полтора ста рублей.

— Ну?!.. Меня-то, небось, так накостыляютъ съ ней, что и домой не воротиться!

— Нѣтъ. Вотъ слушай! — и Уклеикинъ прочиталъ: „По предъявленіи заплатить по сему переводу господину Андрею Андреевичу Уклеикину или кому онъ прикажетъ сто пятьдесятъ рублей серебромъ, каковая сумма отъ редакціи „Отечественнаго Круга“ получена наличными...“ А дальше Аграфена, прямо сказано, — прибавилъ Андрей Андреевичъ: „за достовѣрность лица, получающаго деньги нашъ торговый домъ отвѣтственности на себя не принимаетъ“... Понимаешь?

— Ничего и въ толкъ не возьму.

— Да пойми же: кто явится, тотъ и получить. Вѣдь они въ лицо меня не знаютъ: Уклеикинъ я, или Семеновъ?

— Да, получишь! — усомнилась Аграфена: — скажутъ: „ты, тетка, отклеива пришла?“

— Да! — сообразилъ Андрей Андреевичъ: — ты вѣдь, правда, безграмотная... А вотъ будь ты грамотной...

— Грамотной! — усмѣхнулась чему-то Аграфена.

— Ну, не ты, не баба — горячился Уклеикинъ: — А вотъ, напримѣръ, я обронилъ бы на улицѣ эту бумажонку — долго-ли? — а какой-нибудь прохожій грамотей шелъ, да поднялъ — получилъ бы.

— Самоваръ-то ставить, — Андрей Андреевичъ — спросила кухарка: — аль опять уйдешь?

Надо сказать, что Уклеикинъ вообще велъ очень правильную жизнь: встанетъ рано, обѣгаетъ свои уроки, съ аппетитомъ пообѣдаетъ (Аграфена безподобно варила щи и борщъ), потомъ всхрапнетъ съ „Отечественнымъ Кругомъ“ въ рукахъ, а вечеромъ засядетъ писать, и пишетъ до полночи: то начнетъ перебѣлять „Всеволода“ съ авторитетными вставками чеха, то придумаетъ новую сценку для своей „Зои“ (упомянутый великосвѣтскій романъ), или вставитъ лишнюю картину въ народную драму... Но со дня выхода въ свѣтъ „Роковой Ошибки“ Андрей Андреевичъ, какъ говорится, выбился изъ колеи, и Аграфена имѣла полное право, спрашивая объ обѣдѣ или самоварѣ, прибавлять свои шпильки въ родѣ: „аль опять уйдешь?“

— Ставь! — приказалъ Уклеикинъ на этотъ разъ и тотчасъ добавилъ: — „Слушай, Аграфена: сто пятьдесятъ рублей за три вечера работы!!... А сколько по урокамъ надо избѣгать, чтобы собрать такую пройму! Чуть не полгода!“

— Чѣмъ же ты дорого такъ взялъ съ нихъ? — замѣтила Аграфена.

— Вотъ чудачка! Сами даютъ.

— Ну и писалъ бы, да писалъ — усмѣхнулась кухарка, уходя.

Въ ожиданіи самовара Андрей Андреевичъ прилегъ на кровать. Все это время спалъ онъ изъ рукавъ вонъ плохо, — нервны его были подняты до послѣдней крайности: мечты о будущей литературной славѣ; ожидаемый гонараръ; молва, изрѣдка до-летавшая до него, о большомъ успѣхѣ „Роковой ошибки“ — все это волной накатывалось на Уклейкина едва онъ тушилъ свѣчу и собирался заснуть. Нерѣдко, среди глубокой ночи, онъ ловилъ себя на томъ, напримѣръ, что декламируетъ полупшепотомъ лучшія мѣста изъ своей „Ошибки“, или — создаетъ новыя положенія для своего *чорта*, котораго онъ дѣйствительно чуть не живьемъ видѣлъ... Развивались при этихъ грезахъ и всякія корыстныя поползновенія: вѣдь вотъ, — думалось ему, — быть можетъ, мой „Всеволодъ Большое Гнѣздо“ вовсе не такъ ужъ и плохъ, какъ писали о немъ эти редакторы? Неужели *Подсочили* — фамилія чеха, знатока русской литературы — неужели онъ меньше ихъ смыслилъ?... Прибавить нѣшто на рукописи „автора-де Роковой Ошибки? — тогда поглядимъ, что скажутъ... Драму бы, драму пристроить!... Цѣлый капиталъ!.. А „Зоя“ надо всучить имъ во что бы то ни стало: я замѣтилъ — вотъ какъ обѣдалъ тогда въ трактиръ, въ день выхода моей „Ошибки“ — какъ одинъ тузъ, выколенный да важный, впился въ мой рассказъ, и какъ же онъ фыркалъ-то, Господи!... То-то и есть! вы, господа (это относилось къ гг. редакторамъ), вы, господа, напечатайте только, а ужъ тамъ видно будетъ: понравится романъ, или нѣтъ; извѣстна мнѣ велико-свѣтская жизнь, или неизвѣстна: предоставьте объ этомъ судить самому читателю...

Присылка гонорара, какъ видно, сразу положила конецъ этому болѣзненному возбужденію: Андрей Андреевичъ, въ ожиданіи самовара, прилегъ безъ малѣйшаго желанія спать, но... вѣвнулъ, повернулся на бокъ и вмгъ сладко-сладко заснулъ. Однако, блаженный покой его продолжался не долго. Уклейкину вдругъ, сквозь сонъ, вспомнилось, что завтра его заложенымъ часамъ, пальто, жакетѣ и брюкамъ истекаетъ послѣдняя *лыотная* недѣля, — завтра ровно въ 12 часовъ дня. — „Фу“

ты пропасть!" пробормоталъ Андрей Андреевичъ: „какъ же это я довелъ такъ?... Хорошо—успѣю завтра до 12 часовъ и деньги получить, и къ закладчику попасть; а то, вѣдь, послѣ 12-ти каналья жидъ упрется, и еще милостивъ будетъ, если помирится на томъ, что сдеретъ съ меня проценты мѣсяцевъ за шесть... Да нѣтъ — не пощадить, пархатый, ни за что не пощадить...". Еще не поздно“, —подумалъ Андрей Андреевичъ, — „пожалуй у Лисицына теперь не заперто?... Гдѣ этотъ Лисицынъ?... Хотя бы разспросить объ ней, объ этой конторѣ, гдѣ она и когда открывается, — чтобъ завтра, не медля ни минуты, все обдѣлать во время“. . Онъ вскочилъ, какъ встрепаанный, одѣлся, мимоходомъ крикнулъ Аграфенѣ въ кухню, что вернется тотчасъ и вышелъ на улицу. Былъ часъ шестой вечера. Андрей Андреевичъ спросилъ у извозчика, стоявшаго подлѣ воротъ, — не знаетъ ли онъ, гдѣ контора Лисицына: тотъ не зналъ. Уклеикинъ наудачу запагалъ по ближайшему бульвару въ надеждѣ, что „языкъ до Кіева доведетъ“. Но знакомыхъ, какъ нарочно, не попадалось, а городовые, — какъ на подборъ — все какіе-то чухонцы, на всѣ разспросы отвѣчали, что служатъ еще недавно, и объ Лисицынѣ не слыхивали. Такъ прошелъ Андрей Андреевичъ цѣлыхъ три бульвара; наконецъ, присѣлъ на одну изъ скамеекъ и рѣшилъ, отдохнувъ, вернуться домой, а по дорогѣ зайти въ полицейскій участокъ (который какъ разъ объ эту пору, часамъ къ 7 вечера, всегда оживился) и тамъ получить нужное свѣдѣніе отъ любезнаго и всезнающаго помощника квартальнаго, Ивана Кондратьича Трензелева, своего хорошаго знакомаго. Перечитать повнимательнѣе лисицынскій *переводъ* — нѣтъ-ли тамъ адреса конторы? — Уклеикину, какъ ни странно это, ни на секунду не пришло въ голову... Вскорѣ къ нему подсѣлъ какой-то старикашка, весьма бѣдно одѣтый, — изъ тѣхъ, что минуты не могутъ побыть съ вами рядомъ, чтобъ не вступить въ разговоръ. Изъ кармана его обшарканнаго ватнаго пальто торчала свернутая въ три погибели газета — судя по печати — „Отечественный Кругъ“...

— И какъ это, господинъ, пишете вы — заговорилъ незнакомецъ: — вѣдь это просто на удивленіе, господа! Чего даже вообразить невозможно!

— А вы меня знаете? — удивился Андрей Андреевичъ: — вы о чемъ это? Конечно, о „Роковой Ошибкѣ!“

— Я, сударь, — отвѣтил старичекъ, — всегда умѣю отличить съ кѣмъ говорю, и настоящаго господина не смѣшаю съ другимъ-съ... Вотъ вы помянули „Роковую Ошибку“; господинъ! ну... ну, какъ, — какъ вы можете такое придумать и написать все это-съ?... Какъ вы можете постигнуть, что у меня на душѣ теперь, къ примѣру сказать-съ?

— „Роковую Ошибку“ я написалъ...

— Именно-съ! — перебил старичокъ: — и даже убѣжденъ-съ! И для счастливаго знакомства могу, господинъ, осмѣлюсь просить васъ...

— На память?... Кромѣ визитной карточки, я вамъ ничего на память дать не могу, — сказалъ польщенный Уклеинъ.

За послѣднее время онъ такимъ образомъ уже роздалъ нѣсколько своихъ карточекъ — и даже съ тѣми и иными надписями — писмоводителю своего квартала, брату приходскаго дьякона и другимъ...

Спрятавъ новенькій бумажникъ, Андрей Андреевичъ распространился на тему о „должной лозы прозябаньи“, а когда замѣтилъ утомленіе собесѣдника (старичокъ начиналъ дремать), то сразу спросилъ о Лисицынѣ. Неанаконецъ, все время вертѣвшій карточку и бурчавшій: „буду хранить“, тотчасъ взялся проводить Уклеина: слѣдовало пройти всего два-три переулка; главное-же можно еще было посѣтъ: контора Лисицына, по словамъ старика, не закрывалась до 8 часовъ вечера. Они свернули съ бульвара влѣво и скоро вступили въ какой-то переулокъ, спускавшійся круто все внизъ и внизъ, — точно въ пропасть; далѣе началась совершенная трущоба: харчевни, лавчонки, какіе-то дворы вродѣ извозничьихъ; прохожіе — все бѣднота отпѣтая... Всю дорогу тичероне Уклеина цитировалъ монологи чорта изъ „Роковой Ошибки“, и съ такимъ умненьемъ, что Андрей Андреевичъ поневолѣ началъ подавать ему соответственныя реплики. Удивительно! удивительно! — восклицалъ старичокъ, нмураясь отъ удовольствія, какъ котъ на солнцѣ.

— Ничего удивительнаго! — самодовольно посмѣиваясь, возразилъ Уклеинъ, — Знаете, милѣйшій человѣкъ, что я вамъ скажу: кто не признаетъ чорта, тотъ и въ Бога не вѣритъ.

— Ахъ, это правильно!... Правильно, правильно!

— Ну, и вотъ вамъ объясненіе, почему многимъ до меня не удавалось то, что удалось мнѣ...

Тутъ подошли они къ конторѣ.

Цѣлый полуподвальный этажъ огромнаго стараго зданія былъ занятъ одной лисицынской конторой. Они спустились съ тротуара на двѣ ступеньки — причежъ Уклекинъ сильно спотынулся — и вошли въ большое, но низенькое и плохо освѣщенное помѣщеніе, съ разными прилавками, оконцами, конторками... Такихъ комнатъ видѣлась цѣлая амфилада... Работа, повидимому, заканчивалась. Въ концѣ амфилады, стоя у стѣны, одинъ старикъ, зѣвая, вкуспо потягивался.

— Вотъ-съ — сказалъ старичокъ, чичероне, войдя въ контору: — что угодно? — а самъ началъ привѣтливо здороваться со швейцаромъ и встрѣчными артельщиками.

— У меня переводъ—объяснилъ Уклекинъ.

— Переводъ?... Вотъ вамъ *переводъ!* — и старичокъ указалъ на верхушку арки, гдѣ была крупная надпись: „Переводы и Комиссіи“.

— Позвольте-съ! — спѣшно изъ-за прилавка принялъ у Андрея Андреевича бумагу усталый писецъ. — Присядьте! — добавилъ онъ, и, что-то черкнувъ на бумажкѣ, тотчасъ передалъ ее другому, постарше себя, даже совсѣмъ старичку... Но затѣмъ дѣло замѣшкалось: бумажку стали разглядывать; къ конторкѣ начали подходить другіе старички... и самого Уклекина, въ общей суматохѣ, какъ-то протолкнули за прилавокъ, такъ что и онъ очутился подлѣ служащихъ; и его провожавшій туда же протолкался и также безъ церемоній перевортывалъ на всѣ манеры эту бумажку, — цѣлыхъ десять старческихъ головъ, низко нагнувшись надъ столомъ, все что-то разглядывали и разглядывали...

— Развѣ не по формѣ? — робко спросилъ Андрей Андреевичъ.

— О нѣтъ!... Nein, nein! — и всѣ старички, необыкновенно похожіе одинъ на другого — вдругъ уставились съ любопытствомъ уже на самого Уклекина: они съ благоговѣніемъ разглядывали его; лица ихъ сіяли блаженной улыбкой...

— Негг Уклекинъ! — сказалъ одинъ изъ старичковъ, поважнѣ остальныхъ. — По переводамъ операція на сегодня прикончена, — пожалуйста, bitte, къ намъ зафтра.

— Да!... Ja!... bitte! — и всѣ старички низко поклонились...

— Вотъ-съ и вся недолга!—подхватилъ чичероне:—завтра получите.

Уклеикинъ благосклонно согласился. Не обращая уже никакого вниманія на своего бывшего проводника—вѣрнѣе, забывъ о немъ совершенно — онъ откланялся, еще разъ споткнулся на приступочкахъ и вышелъ на улицу, преисполненный восторгомъ: какова популярность! Бульварный искатель приключеній, при свѣтѣ тусклаго фонаря, узнаетъ автора „Роковой Ошибки“; всѣ эти бухгалтеры и счетчики, и писцы кидаютъ работу и сбѣгаются смотрѣть на него, какъ на чудо; даже *переводы* разглядываютъ, какъ какую-нибудь археологическую драгоценность... Что же будетъ, когда напечатаются „Зоя“? Драма? „Всеволодъ“?!...

Съ такими думами Андрей Андреевичъ, не спѣша, вернулся домой. У себя въ столовой онъ нашелъ на столѣ только одинъ подносъ съ чайнымъ приборомъ, да на полу валялось нѣсколько угольковъ: признакъ, что самоваръ Аграфена унесла подогрѣвать. По привычкѣ Уклеикинъ прилѣгъ (дома, при бездѣлн, это была его излюбленная поза) — и, самодовольно улыбаясь, началъ рисовать себѣ, какъ завтра, у Лисицына, вдругъ... пробѣжить шепотъ, что авторъ „Роковой Ошибки“ здѣсь, и всѣ — не одни старички: вѣдь, чай, будетъ и публика—всѣ уставятся на него, какъ бараны на чужую собаку... „Принесли ли прачка бѣлье?“ — обезпокоился Андрей Андреевичъ, и даже спросилъ о томъ вслухъ. Но оставя этотъ вопросъ безъ отвѣта и просвиставъ „Коперникъ цѣлый вѣкъ трудился, чтобъ доказать земли вращенье“... Уклеикинъ снова заснулъ, и на сей разъ уже сномъ по истинѣ богатырскимъ.

Вдругъ онъ услышалъ—робко, дрожащимъ голосомъ произнесенное: — „пожалуйста!“... и въ одинъ мигъ ему представилось, будто онъ подлетѣлъ на лихачѣ къ конторѣ Лисицына, и въ дверяхъ стоитъ блѣдный, растерянный швейцаръ и, распахнувъ дверь, говоритъ: „по... пожалуйста!“... „Швейцаръ,—думается Уклеикину,—смущенъ, конечно, тѣмъ, какъ-то онъ проведетъ меня сквозь эту давку, которая у нихъ идетъ теперь въ конторѣ: вотъ и на улицѣ собралась толпа — вѣдь все это ринется вслѣдъ за мной...

— Андрей Андреевич!... Что же, право?... Вставайте! — осторожно, очевидно, боясь перепугать спящего, промолвила Аграфена и тико, какъ тѣнь, стала удаляться.

— Докелева съ самоваромъ маяться?—произнесла она уже въ другой комнатѣ. Голосъ ея дрожалъ, — вѣроятно, отъ злости...

Спросонья Уклеикинъ долго не могъ сообразить — что это? — наступило ли радостное утро, о которомъ онъ такъ мечталъ, или еще тянется безконечный вечеръ?...

— Ба!—вдругъ воскликнулъ Андрей Андреевичъ: чортъ!.. неужели—сонъ?—Тутъ онъ вскочилъ такъ стремительно, точно его укололи иглой, и съ безумно вытаращенными глазами сталъ озираться туда и сюда. Спальня его, кабинетъ-тожъ, слегка освѣщалась изъ другой комнаты...

— А вѣдь *переводъ*-то я оставилъ у нихъ?!—пробормоталъ Андрей Андреевичъ; по всему тѣлу его пробѣжали мурашки... —Какъ же это я?... чортъ... не получивши денегъ?...

Онъ кинулся къ столу — на немъ *перевода* не было; схватилъ скюртку, висѣвшій на стулѣ: изъ грудного кармана выгладывалъ до половины редакціонный конвертъ. „Вотъ онъ!“ — Уклеикинъ ясно вспомнилъ, какъ давеча, уходя изъ конторы — если только это не былъ сонъ! — какъ онъ небрежно давеча сунулъ конвертъ въ карманъ, именно въ этотъ самый лѣвый карманъ, и теперь мысленно ругнулъ себя за такую оплошность: вѣдь могъ потерять. Но... странно: въ конвертъ оказалось одно лишь письмо, а *перевода* не было... Уклеикинъ перешарилъ всѣ карманы до послѣдняго, осмотрѣлъ еще разъ свой столъ, заглянулъ и подъ столъ и даже подъ кровать — нѣтъ... „И вдругъ обронилъ дорогой!“ — прошепталъ Андрей Андреевичъ. — „Нѣтъ, быть не можетъ, — нѣтъ, конечно, *переводъ* остался у нихъ“ (подъ ними подразумѣвались старички), — такъ рѣшилъ Уклеикинъ, и тутъ же невольно подумалъ: „а преподозрительная личность этотъ старикашка, что подсѣлъ ко мнѣ на бульварѣ: если *этотъ* поднялъ, то лишь — пропало!... Да нѣтъ же, нѣтъ, конечно, у *нихъ*, у нихъ лежить... Чортъ — и хотъ бы мнѣ на вывѣску взглянуть: *какая* это была контора — Лисицына, или какого другого дьявола?“..

Онъ прошелъ въ кухню. *Гостя* тамъ уже не было; а кухарка, должно быть, завалилась спать. Ночничекъ, *детская*, сильно коптилъ. Былъ часъ второй ночи, если не позже,

— Аграфена, поди-ка сюда! — кликнулъ Андрей Андреевич и пошелъ заняться чѣмъ.

— Чего, Андрей Андреевичъ? — спросила Аграфена, входя въ столовую и протирая глаза.

— Что... — началъ Уклеикинъ и сразу сбился: какъ и о чемъ ему спрашивать? — Слушай-ка, — продолжалъ онъ: — что я вечеромъ уходилъ со двора?

— Со двора?

— Ну, да — уходилъ?

— Уходилъ?... уходилъ, чай?... вѣстимо, уходилъ.

— А давно вернулся?

Но тутъ Аграфена такъ гляннула на своего барина, что тотъ сразу прекратилъ начатый допросъ и только добавилъ: — Слушай, Аграфена, — ты завтра меня чуть свѣтъ разбудишь; какъ водовозъ прѣдетъ, такъ и буди: онъ въ седьмомъ часу прѣзжаетъ.

— Ладно, побужу — отвѣтила кухарка: — и то намереніи прислали отъ этихъ — какъ, бишь, ихъ? — когда, говорятъ, на уроки почнетъ онъ ходить?... Вѣдь я тебя не сторожила, Андрей Андреевичъ. — прибавила Аграфена: — ключъ у тебя, — самъ отперешься, самъ затворишься: мнѣ въ кухнѣ не слышно. Съ самоваромъ okayнымъ колько времени путалась... Она помялась еще съ минуту на мѣстѣ, спросила — можно ли въ кухнѣ огонь гасить — и ушла.

— Чортъ его знаетъ! — ворчалъ Андрей Андреевичъ, съ жадностью глотая горячій чай. — Чортъ его знаетъ! — повторялъ онъ и укладываваясь въ кровать послѣ чаю. Что означало это „чортъ его знаетъ!“ предоставляемъ обсудить читателю. — „Чортъ!“ — пробурчалъ онъ еще нѣсколько разъ, ворочаясь съ боку на бокъ, и, наконецъ, со словами: „ну, завтра все разыщу и разузнаю“ бѣдный авторъ „Роковой Ошибки“ заснулъ...

Еще водовозъ, покуривая трубочку и не спѣша околачивая лѣдины на возу, ожидалъ подлѣ бассейна своей очереди, чтобъ наполнить водой первую бочку, а ужъ Андрей Андреевичъ давно былъ на улицѣ. Онъ не потревожилъ Аграфену. Квартирка Уклеикина состояла изъ двухъ комнатъ и кухни, между которыми были темныя сѣни; легонькая входная дверь въ эти сѣни притворялась, да и то изрѣдка, съ помощью веревочекъ; дверь же въ кухню и, противоположная ей, дверь

въ комнатки Андрея Андреевича запирались обыкновенно самими обитателями кухни и квартиры, и запирались основательно. Такое распределение квартиры давало возможность и Уклеину, и его кухаркѣ уходить и возвращаться, ни мало не беспокоя другъ друга... Разумѣется, прежде всего Андрей Андреевичъ кинулся на бульваръ; менѣе, чѣмъ въ десять минутъ, онъ достигъ и той лавочки, гдѣ отдыхалъ вчера, бесѣдуя со старичкомъ; оставалось найти крутой переулокъ, которымъ они вышли вчера къ конторѣ Лисицына. Но тутъ-то и начались нескончаемыя мученія для несчастнаго Уклеина: оказывалось, что влѣво отъ бульвара (къ слову сказать — довольно коротенькаго) не было не только крутого, но и вовсе ни одного переулка... Андрей Андреевичъ остолбенѣлъ. Онъ вернулся на второй, потомъ на первый бульваръ, становился такъ и этакъ, чтобы лучше вспомнить мѣстность: тутъ улицы и переулки были, но такихъ крутыхъ, по какому шелъ вчера Андрей Андреевичъ, ни одного не оказывалось. Стараясь изо всѣхъ силъ припомнить, гдѣ, у какого бульвара, ему приходилось видѣть подобные переулки, бѣднякъ изслѣдовалъ не только лѣвые, но и правые проѣзды всѣхъ трехъ бульваровъ, и все таки ничего мало-мальски подходящаго не нашелъ. Уклеинъ опрометью кинулся въ участокъ...

— Иванъ Кондратьичъ пришелъ? — спросилъ онъ у встрѣчнаго городского.

— Сей минуту только вернулись съ пожара — войдите.

— Иванъ Кондратьичъ! — началъ Уклеинъ послѣ обычнаго привѣтствія, принявъ папиросу отъ любезнаго помощника. — Иванъ Кондратьичъ, видите-ли въ чемъ дѣло... Впрочемъ, я все вамъ расскажу послѣ какъ-нибудь; а теперь, ради Бога, сообщите мнѣ адресъ банкирской конторы Лисицына. Я тамъ былъ вчера, а теперь никакъ не могу вспомнить, гдѣ она.

— А-ха, ха! — усмѣхнулся Трензелевъ. — хороши-же, знать, были?

— Нѣтъ, кромѣ шутокъ, Иванъ Кондратьичъ: это гдѣ-то около нашего бульвара?

— Нѣтъ-съ, не около бульвара. Идите къ театру: такъ — театръ, а направо — Лисицынъ... А затѣмъ вы туда — урочекъ?

— У театра? — не слушая помощника, изумлялся Андрей Андреевичъ: — позвольте... Да какъ же отъ бульвара туда пройти?

— А вамъ и на бульваръ надо?

— Нѣтъ, я не то хотѣлъ сказать...

— Откуда угодно пройти можно. Вы только къ театру-то выйдите... А зачѣмъ вамъ къ Лисицыну?

— Да вотъ... *переводъ* изъ редакціи.

— А!!... Наконецъ-то!... Что — извините за нескромный вопросъ—сколько вамъ заплатили?

— Полтораستا,— машинально отвѣтилъ Уклекинъ и началъ прощаться.

Помощникъ щелкнулъ языкомъ.

— Ну, батенька! — прибавилъ онъ восторженно: — нашъ Артемій Борисычъ (такъ звали участковаго) просто въ восторгѣ отъ вашей „Ошибки“. Вы знаете,—кажется, ни одного номера въ продажѣ не осталось: вчера докторъ нашъ, полицейскій, посылалъ купить — дудочки! Одинъ газетчикъ говорить: не угодно за рубликъ?... Положимъ, тамъ и о наградахъ было... Артемій Борисычъ сулитъ вамъ великую будущность, а вѣдь онъ въ этихъ дѣлахъ—не кладетъ палецъ въ ротъ: онъ вѣдь одно время завѣдывалъ Полицейскимъ листкомъ!... Да куда вы завсегда, Андрей Андреевичъ, спѣшите такъ?

— Послѣ, послѣ, Иванъ Кондратьичъ!—торопился Уклекинъ.

— На пожарѣ были?

— Да какой тамъ!... До свиданія!

— Слушайте,—догналъ его помощникъ уже въ сѣняхъ:— скажите, кто изъ нѣмцевъ-то вотъ на этихъ самыхъ разсказахъ собаку съѣлъ?... Ахъ, какъ его?

— Шиллеръ?

— Нѣтъ!

— Гете?... Мефистофель?

— Нѣтъ, нѣтъ... Мефистофеля-то я знаю... ахъ, ты Боже мой!... Да вотъ еще лѣкарство есть?

— Гофманъ?

— Ну... Артемій Борисычъ Гофманомъ васъ окрестилъ... Заходите—потолкуемъ. Помните, сюжетики для комедій просили — есть, голубчикъ, да какой! Перекувырнетесь отъ радости.

„Да,—думалъ Андрей Андреевичъ, перебѣгая улицу:—все это прекрасно, еслибы только благополучно кончилось... Чортъ

его знаетъ, какъ это все вышло у меня“... Извозчикъ, къ театру!

Прежде, чѣмъ войти въ контору Лисицына, Уклеикинъ дважды обошелъ вокругъ всего дома, гдѣ она помѣщалась... Правда, и эта контора также занимала нижній, полуподвальный этажъ дома, — что сразу значительно успокоило Андрея Андреевича, — но... во-первыхъ, не было памятныхъ двухъ приступочекъ внизъ; а главное—вся мѣстность, и самый домъ, не имѣли ничего общаго съ тѣмъ, что Уклеикинъ успѣлъ замѣтить наканунѣ вечеромъ: улица чистая и далеко неглухая, и—гдѣ эти лавочки, харчевни?...

Онъ вошелъ въ контору... Какъ будто и похоже: тѣ же арки съ черными надписями, такая же амфилада клѣтушекъ; конторки, прилавки, окна... И потолокъ также низокъ и также темновато. Однако... правда, при дневномъ освѣщеніи все могло показаться нѣсколько инымъ... Однако — куда, напримеръ, дѣвались вчерашніе старички?... Были тутъ синьоры съ отмѣнными усами, съ удивительными носами, со всякими проборами и коками: были молодые и старые; но такихъ характерныхъ, добродушныхъ старикашекъ-хлопотуновъ, какихъ Уклеикинъ видѣлъ вчера, такихъ не было ни одного...

Блѣдный и растерянный, Андрей Андреевичъ подошелъ къ одной изъ арокъ и обратился къ какому-то гордому юношѣ, широкоплечему и приземистому.

— Здѣсь... у васъ имѣется... долженъ быть... переводъ на мое имя отъ редакціи „Отечественнаго Круга“...

— Позвольте!—равнодушно отвѣтилъ надушенный и расфабранный юнецъ и небрежно протянулъ руку. Онъ говорилъ съ иностраннымъ акцентомъ.

— То есть вамъ что, — переводъ?—спросилъ, конфузясь, Андрей Андреевичъ.

— Переводъ позвольте, — рѣзко отчеканилъ франтъ.

— Видите-ли... я... — замаялся Уклеикинъ: — я... да, впрочемъ лучше всего — вотъ письмо изъ редакціи, чтобъ вы не подумали что-нибудь. Но я... мнѣ кажется, я вчера оставилъ самый переводъ здѣсь, у васъ.

Не слушая его, франтъ читалъ адресъ на редакціонномъ конвертѣ: „Андрейхъ Андрейхичъ гасинъ Клейкинъ“, — проворчалъ онъ сквозь зубы и прибавилъ: „здѣсь и переводъ?“

— Нѣтъ—возразилъ Андрей Андреевичъ: это одно письмо; позвольте мнѣ его назадъ. А переводъ... Развѣ вчера не получали вы?..

Франтъ заложилъ обѣ руки въ карманы, промичалъ „присядьте“ и скрылся, громко стуча своими каблучками подъ каменными сводами.

Андрей Андреевичъ усѣлся. Въ одно ухо еще кто-то непрерывительно нашептывалъ ему: „это франтикъ идетъ сзывать всѣхъ, чтобъ поглядѣли на тебя“; въ другомъ — ясно и настойчиво, какъ набатъ, звучало: „дѣло твое плохо, плохо, плохо, даже... безнадежно“... И бѣдный Уклеикинъ сидѣлъ съ такой кислой физиономіей, что проходящіе принимали его за злополучнаго искателя скромнаго мѣстечка.

Франтъ вернулся въ сопровожденіи другого лица, постарше и посолиднѣ себя, и оба, дѣйствительно, еще издали, смотрѣли на Андрея Андреевича съ нескрываемымъ и несомнѣннымъ любопытствомъ. Солидный оказался чисто русскимъ.

— Переводъ на имя г. Уклеикина выданъ вчера,—сказалъ онъ, подозрительно вглядываясь въ блѣднаго Андрея Андреевича. Вотъ и на бланкѣ *его* подпись,—прибавилъ онъ послѣ минутнаго молчанія, показывая *переводъ*,—а это *его* визитная карточка.

— Развѣ что это получили не вы?—спросилъ франтъ.

— Вчера?! — изумился Андрей Андреевичъ, да такъ и остался съ открытымъ ртомъ...—Карточка?... А въ какомъ часу?—спросилъ онъ еще. Русский пожалъ только плечами.

— Развѣ что это можно запомнить?—усмѣхнулся разсерженный франтикъ.—Это не одинъ переводъ, это каждый день очень много переводъ... Кажется,—я такъ помню,—что это было вечеромъ. Но это подпись ваша, или не ваша? — вы ничего не сказали.

Уклеикинъ осмотрѣлъ подпись: на оборотѣ знакомаго ему перевода чья-то дрожащая рука красиво расписалась: „*Деньги получилъ сполна А. Уклеикинъ.*“ Послѣ фамиліи слѣдовалъ небрежный росчеркъ... Въмѣсто отвѣта на вопросъ, ошеломленный Андрей Андреевичъ еле пролепеталъ:—*Онъ старичекъ?...* Вы не припомните его виѣшность?...

— О! мейнъ Готъ!—фыркнулъ безцеремонный франтъ.—Гаспадинъ, вы можете видѣть, сколько у насъ народу—развѣ что это возможно всѣхъ запоминать?...

— Да вы-то собственно кто-же?—спросилъ ужъ и русскій посмѣяе, хотя не безъ участія:—вы и есть самый г. Уклеинъ?

— Да, да, да,—заспѣшилъ Андрей Андреевичъ:—вотъ и письмо изъ редакціи... Это мнѣ за „Роковую Ошибку“...

— Для насъ это безразлично,—отвѣтилъ русскій и ужъ взялъ было письмо, но франтикъ авторитетно замѣтилъ: *переводъ* здѣсь нѣтъ,—и затѣмъ обратился къ Андрею Андреевичу:

— Развѣ что вы потеряли *переводъ*?

— Нѣтъ, не потерялъ... — бормоталъ Уклеинъ: — хотъ, должно быть, потерялъ... Тутъ, знаете-ли... Это цѣлая исторія... Но неужели никакъ, никакъ нельзя ужъ спасти? — и голосъ его дрогнулъ.

— Надо вамъ сказать,—началъ было русскій, но, вдругъ оборвавъ, убѣжалъ за чѣмъ-то.

— Присядьте!—тотчасъ подхватилъ франтикъ съ истинно наполеоновскою невозмутимостью.

Въ головѣ бѣднаго Уклеина блеснулъ лучъ надежды: а можетъ быть, мошенничество уже открыто, и они только изъ осторожности испытываютъ меня? не даромъ этотъ *молодой* такъ горячится.

— Присядьте!—повторилъ Наполеонъ.

Но садиться было не затѣмъ. Русскій уже приближался съ какой-то толстой книгой въ рукахъ.

— Вотъ извольте взглянуть, — сказалъ онъ, подставляя книгу къ самому носу Андрея Андреевича:—здѣсь бланки на сумму свыше тысячи рублей. Свыше тысячи рублей мы выдаемъ не иначе, какъ съ полицейскимъ свидѣтельствомъ, и вотъ на этихъ переводахъ для крупныхъ суммъ, — никакой оговорки о безотвѣтственности нашей не имѣется. Но до 1000 р., чтобъ не стѣснять публику, мы не требуемъ свидѣтельства; но... да вотъ и на вашемъ переводѣ сказано, что за выдачу другому лицу контора не отвѣчаетъ...

— Ахъ, я знаю, я знаю! — простоналъ Уклеинъ (и послѣдняя надежда его расплылась въ отчаяніи, какъ дымокъ въ воздухѣ) — Конечно, всѣхъ въ лицо вы не можете знать.

— Согласитесь сами,—заклучилъ русскій: — а ждѣ онъ еще и визитную карточку представилъ: вотъ она.

Андрей Андреевичъ посмотрѣлъ на карточку, на которой четко отпечатался чей-то большой жирный палецъ. — Но неужели

же нельзя поправить это дѣло? — воскликнулъ онъ снова, медленно простирая руки къ Наполеону. Последнему это очень понравилось.

— Развѣ, что вы имѣете подозрѣніе на кого? — глубоко-мысленно замѣтилъ онъ — Тогда вы намъ укажите, тогда мы этого господина можемъ узнавать.

— Видите-ли, — началъ Андрей Андреевичъ: — вчера одинъ старичокъ проводилъ меня... Тутъ русскій и нѣмецъ во всѣхъ подробностяхъ (за исключеніемъ подробности о визитной карточкѣ) услышали то, что уже читателю хорошо извѣстно. Русскій, дослушавъ все до конца, усмѣхнулся, какъ говорится, въ бороду и неспѣшилъ незамѣтно улизнуть, чтобъ поскорѣе подѣлаться куріозомъ съ остальными скучающими коллегамъ; но франтикъ, повидимому, не намѣренъ былъ отступить раньше, чѣмъ не сниметъ последнее пятно съ того учрежденія, въ которомъ его особа изволить служить...

— Вы припомните, *господинъ Клейкинъ*, — сказалъ онъ съ замѣтнымъ отгѣнкомъ оскорбленія: — развѣ что вчера вы были это у насъ?

Но *господинъ Уклекинъ* началъ вдругъ медленно обходить клѣтушку за клѣтушкой, пока не уперся въ конецъ коридора; потомъ возвратился опять къ тому прилавку, гдѣ покинулъ обиженнаго Наполеона (около этого уже собралась цѣлая компанія: всѣ испаніюлки, проборы, усы и носы были тутъ на лицо, и всѣ, подобно вчерашнимъ старичкамъ, съ любопытствомъ смотрѣли на Андрея Андреевича, но только, вмѣсто благоговѣнія, на ихъ лицахъ выражалось самое полное состраданіе) — потомъ Андрей Андреевичъ сказалъ франту: „до свиданія“, а между тѣмъ самъ утѣлся на диванѣ и началъ разспрашивать — нѣтъ-ли другого Лисицына, и обо всѣхъ другихъ банкирскихъ конторахъ; наконецъ, сорвался съ мѣста и выбѣжалъ на улицу, какъ уторѣлый!

— Васъ-то мнѣ и надо! — окликнулъ Андрея Андреевича Трензелевъ, едва Уклекинъ вѣхалъ въ свой переулокъ.

— Ахъ, и я [къ вамъ, — заводилъ Андрей Андреевичъ, останавливая своего извозчика. — Слушайте. Иванъ Кондратьевичъ! — началъ бѣднякъ задыхаясь, подбѣжая къ помощнику: Я даже всѣ уроки сегодня промакировалъ!... Ахъ, какъ я радъ, что вы попались!

— Слушайте вы меня прежде, дорогой Андрей Андреевич! — подхватил Трензелевъ, тоже сильно возбужденный. — Эврика, батенька!... Но дайте впередъ слово, что исполните мою просьбу безъ возраженій.

— Все, что хотите, только мнѣ-то не откажитесь помочь!

— Ну, такъ по рукамъ! — отрѣзалъ Иванъ Кондратьевичъ. Вотъ что, батенька: завтра вы у Артемія Борисича, во что бы то ни стало, прочтите намъ свою „Ошибку“... Свои будутъ! только свои! — поспѣшилъ добавить Иванъ Кондратьевичъ, замѣтивъ, наконецъ, какъ болѣзненно исказилось лицо его собесѣдника. Что вы, голубчикъ, такъ испугались? Прочтете, потомъ въ картишки до ужина засядемъ; за ужиномъ поболтаемъ, да и съ колокольни долой... Артемій Борисичъ радушнѣйшій хозяинъ, а ужъ для васъ-то... Батенька! — вдругъ всполохнулся Трензелевъ: — Андрей Андреевичъ! да вамъ, знать, не здоровится?... Посмотрите, на васъ просто лица нѣтъ!

— Ради Бога, Иванъ Кондратьевичъ, — сказалъ Уклеинъ, — зайдите ко мнѣ на минуту... Или позвольте мнѣ къ вамъ зайти — на одну, на одну минуту... Дѣло очень важное!.. Какъ вы мнѣ посовѣтуете? Вашъ совѣтъ въ такомъ дѣлѣ очень, очень дорогъ...

Но чтобы не утомлять читателя, доскажу все съ той же быстротой, съ какой повернулъ это важное дѣло нашъ энергичный Иванъ Кондратьевичъ. Уклеинъ зашелъ къ нему действительно на одинъ мигъ; безъ передышки онъ разсказалъ Трензелеву все приключеніе, и былъ прерванъ Иваномъ Кондратьевичемъ лишь тогда, какъ упомянулъ, что преступникъ воспользовался ею, Уклеина, визитною карточкой.

— Да какимъ чортомъ она попала къ нему? — воскликнулъ изумленный Трензелевъ.

— Да... — замялся было Уклеинъ: — это ужъ моя неосторожность... Но вѣдь это безразлично.

— Нѣ-ѣ-тъ, голубчикъ, — загорячился Иванъ Кондратьевичъ: это штука важнѣйшая, и вы мнѣ разскажите о карточкѣ все до ноготка. Вы что-ли обронули ее при немъ и, какъ запачканную, не захотѣли поднять, или онъ выпросилъ ее у васъ?

— Да... т. е. онъ... просилъ у меня что-нибудь на память, какъ отъ автора...

— Отъ автора?... Такъ онъ васъ знаетъ?... Вѣдь вы говорите, — оборванецъ совсѣмъ?

— Нѣтъ, все-таки... довольно прилично одѣтый...

— Прили-и-чно одѣтъ? — протянулъ Трензелевъ, точно въ этомъ-то и заключалась вся загвоздка.

— Да... посредственно,—отмѣчался, наконецъ, до корня волосъ покраснѣвшій Андрей Андреевичъ.

Черезъ секунду они вышли, сѣли на перваго попавшагося извозчика и полетѣли вдоль бульваровъ... Всѣ учрежденія, имѣвшія хотя малѣйшее подобіе банкирскихъ конторъ, получили удовольствіе видѣть ихъ у себя въ тотъ же день. Они вбѣгали (буквально!), быстро обходили прилавокъ за прилавкомъ и, перекинувшись словомъ, молча удалялись. Переѣзды совершали въ видѣ двуглаваго орла, ибо, по предварительному соглашенію, одинъ изъ нихъ зорко оглядывалъ всѣхъ встрѣчныхъ по *правой* сторонѣ улицъ, другой — по *левой*... Одиого старичка, по указанію Уклекина, они настигли и уже задержали было; но то оказался бондарь, наипочтеннѣйшій мѣщанинъ, и вдобавокъ — хорошо извѣстный самому Ивану Кондратьевичу, такъ какъ не болѣе мѣсяца назадъ старикъ этотъ сдѣлалъ для малютки Трензелевыхъ дубовую ванну. — Ну, какъ моя ванночка служить, Иванъ Кондратьевичъ, — доволенъ чай? — спросилъ старикъ, когда ошибка разъяснилась, и ему махнули уходить: — вѣрите Богу, вотъ какъ передъ Истиннымъ: себѣ въ убытокъ! — кричалъ бондарь вслѣдъ уѣзжавшимъ.

Обѣздъ занялъ времени не мало, такъ что, — по приказанію Артемія Борисовича, — съ добрыхъ два часа, если не больше, разыскивали по городу уже самого Ивана Кондратьевича.. Всѣ поиски друзей остались безуспѣшны. Съ каждой новой конторой Андрей Андреевичъ все болѣе и болѣе терялъ ясное представленіе о *той* неизвѣстной, роковой, конторѣ; всѣ онѣ стали ему казаться похожими и не похожими одна на другую, и своими сбивчивыми отвѣтами онъ приводилъ горячаго Трензелева въ раздраженіе. Подъ конецъ Иванъ Кондратьевичъ не вытерпѣлъ, чтобъ не сказать: — чортъ васъ знаетъ, гдѣ же вы были?...

Измученный до послѣдней крайности, насквозъ прозябшій, да еще и съ отмороженной щекой, Уклекинъ вернулся домой, когда уже совсѣмъ смерклось.

— Накрывать на столъ? — спросила Аграфена. — Хотя съ утра во рту у него не было ни маковой росинки, Андрей Андре-

евичъ, однако, отказался обѣдать. — Обѣдай сама, — сказалъ онъ, закуривая чуть-ли не сотую папироску въ этотъ день.

— Ужъ какой теперь обѣдъ! — возразила кухарка довольно грубо — чего съ ней прежде никогда не случалось, да вѣдь всякому терпѣнію бываетъ предѣлъ: анаемская жизнь! — проворчала она въ заключеніе, сильно хлопая дверью.

«Вѣдная!» — подумалъ Андрей Андреевичъ. На сколько онъ могъ, при подобныхъ обстоятельствахъ, сочувствовать чужому горю, онъ пожалѣлъ свою кухарку: въ самомъ дѣлѣ, не говоря о сегодняшнемъ безпорядкѣ, — съ перваго дня авторской славы Уклейкина жизнь Аграфены стала поистинѣ анаемской... „И зачѣмъ она голодаетъ?“ — собогѣзновалъ Уклеикинъ: „точно я запрещаю ей пообѣдать до моего прихода?“ .. Онъ прислонился къ печкѣ погрѣться, а между тѣмъ его такъ и поднимало бѣжать опять на бульваръ, — именно теперь, вечеромъ: Андрей Андреевичъ почему-то былъ увѣренъ, что не только встрѣтитъ теперь своего старичка, но прямо-таки найдетъ его сидящимъ на той самой скамейкѣ, гдѣ они бесѣдовали вчера. — Тутъ его, мерзавца, и накрою! — злобно ворчалъ Уклеикинъ, потирая отмороженную щеку. И точно, онъ не вытерпѣлъ и, спустя немного времени, очутился на бульварѣ...»

— Ужъ какъ вамъ угодно, — объявила Аграфена своему барину на другой же день вечеромъ, когда тотъ вернулся домой... (Давши съ грѣхомъ пополамъ одинъ урокъ вмѣсто трехъ, онъ остальное время дня провелъ отчасти въ совѣщаніи съ Иваномъ Кондратьевичемъ и Артеміемъ Борисочемъ, а, главнымъ образомъ, слоняясь по всякимъ вертепнымъ закоулкамъ) — какъ вамъ будетъ угодно, — сказала кухарка, — а я служить вамъ больше не согласна: энта не жизнь, прости Господи, а каторга!...

Уклеикинъ только-что подносилъ ко рту первую ложку щей, — первую за цѣлыхъ двое сутокъ! — Что онъ могъ сказать въ свое оправданіе?

— Потерпи хоть недѣлку, — съ виноватымъ видомъ произнесъ наконецъ Андрей Андреевичъ: — вѣдь тебѣ еще слѣдуетъ что-то два или около трехъ рублей, а у меня денегъ нѣтъ теперь... Я тогда потерялъ эту бумагу, по которой долженъ былъ деньги получить...

Но Аграфена и слушать его не захотѣла: — Ну ихъ, къ Богу три рубля твои! — возразила она презрительно: — и такъ мною довольны: не столько за господами пропадало... Какъ вышло угодно, а мнѣ начертъ пожалуйте: мнѣ завтра на мѣсто надоть вступить... Тоже я проведандаюсь тутъ съ тобой, а хорошее мѣсто умушу, тогда гдѣ искать?..

— Паспортъ отдамъ, а за деньгами заходи послѣ; теперь нѣтъ у меня.

— Уже мое дѣло: найду-ли, нѣтъ-ли — вотъ что! Два рубля невелики деньги: дворнику отдамъ, опосля мы съ ними соотчемся — землякъ.

Андрей Андреевичъ тотчасъ вынесъ паспортъ, закурилъ папироску и началъ ходить по комнатѣ. „Нѣтъ худа безъ добра“ — подумалъ онъ: „въ кухмистерской еще дешевле столотаться, а тамъ и дача не за горами... Чтобы сшить лѣтнее платье — (Жидъ-чортова отродье!) — надо быть очень экономнымъ... А за квартиру?... вѣдь ужъ полтора мѣсяца не плачу!... Легко сказать — кухмистерская? — Вѣдь надо раза три пообѣдать за деньги, чтобы заслужить кредитъ! Ахъ, Господи!... О, чортъ возьми!... Ахъ, еслибъ этого прохвоста бульварнаго схватить!“... Онъ вновь съѣшино принялся за свои щи, хотя уже далеко не съ тѣмъ аппетитомъ, съ какимъ собирался было проглотить первую ложку. Положеніе его дѣйствительно было критическое, и на его мѣстѣ, пожалуй, и всякій потерялъ бы голову.

Аграфена, получивши паспортъ, сдѣлалась поласковой: воспользовавшись тѣмъ, что баринъ обѣдалъ въ туфляхъ, она взяла чистить его сапоги, потомъ зашла за платьемъ, котораго и унесла съ собой цѣлый ворохъ; все это продѣлывалось демонстративно — передъ самымъ носомъ Уклекина. „На поглядѣть!“ — замѣтила она съ легкой усмѣшкой. Однако, Андрей Андреевичъ, едва дождалъ послѣдній кусокъ мяса, какъ настоятельно потребовалъ сапоги и пальто. Еще съ утра, въ постели, онъ обдумалъ преоригинальный способъ — навѣрняка, и непремѣнно сегодня же, поймать своего моварнаго старикашку. Надо лишь выйти вечеромъ на *тотъ* бульваръ, усѣсться на одной изъ скамеекъ, недалеко отъ *той* скамейки, и терпѣливо выжидать появленія незнакомца, хотя бы для этого пришлось высидѣть на мѣстѣ вплоть до утра. Вотъ почему Уклекинъ торопилъ такъ Аграфену съ чистой платой. Уже

выйдя на улицу, онъ вспомнилъ и еще одно обстоятельство. Въ самомъ дѣлѣ, — какъ устроить, чтобы городской сразу принялъ сторону его, Уклейкина, когда тотъ, дружески бесѣдуя со старичкомъ, поровняется незамѣтно съ городовымъ и вдругъ воскликнетъ: „арестуйте этого негодяя!“ Для этого надо запастись карточкой Ивана Кондратьевича, — не иначе. Андрей Андреевичъ кинулся на квартиру къ Трензелеву. Надо было спѣшить: и то ужъ половина вечера упущена напрасно.

Иванъ Кондратьевичъ съ перваго же слова вручилъ Уклеикину свою карточку, — необыкновенно изящную и вѣскую, съ золотымъ обрѣзомъ и съ большой короной на верху, — но только замѣтилъ, что карточка его вовсе тутъ не нужна, какъ не нужно и восклицаніе: „арестуйте“ и проч., а что просто-на-просто надо сказать городовому: „веди насъ въ участокъ“ — и всякій городской исполнить эту просьбу безъ возраженій, и даже съ величайшимъ удовольствіемъ, ужъ хоть бы для того только, чтобъ ему самому кстати обогрѣться и покурить въ томъ же участкѣ.

— А вы все не теряете надежды встрѣтить этого проходимца? — спросилъ Трензель, провожая гостя до передней. Онъ между прочимъ сообщилъ Уклеикину, что, благодаря горячему участію Артемія Борисовича, вся полиція оповѣщена, и что теперь строго слѣдуетъ за разными праздношатающимися — не проявитъ ли который изъ нихъ излишней щедрости, не соотвѣтствующей его обшарпанной шкурѣ; что, наконецъ, кажется нападаютъ на слѣдъ цѣлой шайки мазуриковъ, обдѣлавшихъ нѣсколько штучекъ, почище уклеикинскаго перевода. — А на бульваръ онъ не выѣзаетъ долго теперь, — заключилъ Иванъ Кондратьевичъ: — напрасно вы надѣетесь.

— Все-таки попробую, — со вздохомъ замѣтилъ Андрей Андреевичъ. — Знаете, — сказалъ онъ въ какомъ-то фанатическомъ экстазѣ: — знаете, Иванъ Кондратьичъ, это не иначе, какъ месть.

— Чья? — таинственно спросилъ Трензель.

— Мнѣ отомстилъ... Но, дорогой Иванъ Кондратьичъ, между нами: не распространяйте, Бога ради, вѣдь сейчасъ подымутъ на смѣхъ, — хотя еще Гоголь сказалъ: какую фамилію ни выдумай, — на Руси навѣрное найдется...

— Такъ кто же, кто? — съ нетерпѣніемъ прошепталъ Иванъ Кондратьевичъ: — „Оля, дуся“ — обратился онъ къ своей смазливенькой чернобровой женѣ: — „отойди, ангелочекъ“.

— Мнѣ отомстилъ...

— Да говорите-же!

— *Памва Сарвиловъ!* выговорилъ наконецъ Андрей Андреевичъ.

Лицо Ивана Кондратьевича исказилось такой гримасой, какъ будто у помощника внезапно запылъ больной зубъ.

— Что это вы говорите? — спросилъ онъ, не спуская глазъ съ Уклейкина: — *Памва Сарвиловъ* — вѣдь это имя чорта въ вашей „Ошибкѣ“?

— Вообразите! — подтвердилъ Андрей Андреевичъ, приложивъ палецъ къ губамъ и печально кивая головою. — Очевидно, его задразнили послѣ моего разсказа, онъ разыскалъ меня и напакостилъ, — поняли? Вѣдь вы у Гоголя помните о „капитанѣ-исправникѣ“?

— Да! — отвѣтилъ Иванъ Кондратьевичъ такимъ тономъ, точно онъ говорилъ не о Гоголѣ, а объ своемъ надобдливомъ зубѣ, который надо вырвать, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Вы, Иванъ Кондратьичъ, прежде, — до моей „Ошибки“, — среди всякихъ мошенниковъ не слыхивали такого имени?“

— Нѣтъ-съ.

— Въ адресномъ сегодня я былъ, — не нашли... И какъ странно: нынче ночью во снѣ вдругъ вспоминаю, какъ этотъ старикашка прямо отрекомендовался мнѣ Памвой Сарвиловымъ, да еще спросилъ, почему я постигнулъ, что у него на душѣ... Я тогда счелъ это за шутку: вѣдь мой Памва длинный, худой, среднихъ лѣтъ, ни одного сѣдого волоса... Сначала я и то чуть было старикомъ его не сдѣлалъ: Памва Сарвиловъ — фельдшеръ былъ, служилъ съ покойной матушкой, — старичокъ: вотъ, какъ писалъ, мнѣ и вспомнилось его имя... А что найдется другой съ тѣми же именемъ и фамиліей — въ голову не пришло. Тутъ Андрей Андреевичъ крѣпко пожалъ руку Трензелеву, поблагодарилъ за карточку и быстро удалился, повторивъ еще разъ: — „Бога ради — между нами“.

Вечеръ былъ теплый; на улицѣ стояли лужи, на бульварахъ непроходимая грязь, да вдававокъ еще падалъ мокрый снѣгъ пополамъ съ дождемъ. Уклеикинъ, нисколько, однако, не задумываясь, добрался до облюбованнаго еще издали наблюдательнаго пункта и усѣлся самымъ комфортабельнымъ образомъ. Еслибы не отмороженная щека, сдѣлавшаяся донельзя чувствительной къ малѣйшему холоду, то онъ чувствовалъ бы

себя совсѣмъ хорошо. На бульварѣ не было ни души. Уклеikinъ выкурилъ одну папироску, другую, и, немного спустя, подумалъ: „ну-ка, Памва, третью выкурю за твое здоровье!“ — и только было полѣзъ въ карманъ за портсигаромъ, какъ на той скамейкѣ обозначилась фигура старичка. Онъ не спѣша свертывалъ газету, а самъ презрительно смотрѣлъ въ сторону Андрея Андреевича: такъ смотреть дѣловые люди на мимоходящихъ, когда тѣ оторвутъ ихъ отъ работы. Уклеikinъ вскопился, сдѣлалъ — если можно о человѣкѣ такъ выразиться — стойку и сталъ крадучись приближаться къ незнакомцу...

— Памва Сарвиловъ.. опять... мы встрѣтились... — съ напускной любезностью протворилъ Андрей Андреевичъ, остановившись шагахъ въ двухъ отъ старичка. Но тотъ, какъ видно, былъ совсѣмъ не въ духѣ: сразу перешелъ на ты, сталъ браниться и, наругавшись вдоволь, вдругъ заоралъ: — городской!

— Ахъ вотъ вы какъ! — вскипѣлъ Андрей Андреевичъ: — такъ позвольте же и мнѣ въ свою очередь... И, схвативъ старичка, Уклеikinъ отчаянно взвизгнулъ: — городской, въ участокъ, сейчасъ же въ участокъ!...

— Пооры, пооры! я тѣ поору! — сердился гдѣ-то обезпоясанный чухна-городовой.

Однако, незнакомые знакомцы подняли такой гвалтъ, что сонный блюститель порядка, — маленькій тщедушный чухонецъ — оставивъ свои отеческія угрозы, вскорѣ предсталъ передъ крикунами. Два голоса столь единодушно умоляли вести ихъ въ участокъ, что чухонецъ, чтобы скорѣе достигнуть цѣли, тотчасъ пустилъ въ дѣло свои кулаки и работалъ ими до тѣхъ поръ, пока передъ нимъ не выплыла изъ тумана спокойно прогуливавшаяся пара кокардъ. И кто бы могъ ожидать?... То были — Иванъ Кондратьевичъ подъ руку съ тучнымъ полицейскимъ врачомъ Вафлинымъ. „Сама судьба!“ — подумалъ Уклеikinъ. И читатель согласится, что подобныя счастливыя встрѣчи выпадаютъ на долю немногимъ.

— Который? — съ начальническимъ лаконизмомъ спросилъ Трензелевъ у городского, подразумевая — кто изъ двоихъ преступниковъ? Но пока городской соображалъ, къ которому изъ двухъ озорниковъ подойдетъ больше сѣрая арестантская куртка: — Ахъ, это вы, Андрей Андреевичъ! — воскликнулъ Иванъ Кондратьевичъ и по нечаянности пренеосторожно толкнулъ въ

божь спѣсиваго Вафлина:—а вѣдь мнѣ-то понадобилось, что это Подскачиль идетъ: онъ все по вѣстамъ по бульварамъ шатается.

Уклейкины разразился цѣлымъ потокомъ словъ:—Нѣтъ-съ, Подскачиль пробѣжалъ давеча... Ахъ, Иванъ Кондратьичъ!... Самъ Божь!.. Вотъ предчувствіе!.. Именно: рыбакъ рыбака!.. Куда же мы теперь?... Передъ вами Памва Сарвиловъ!!...

— Ты кто? — грозно овликнулъ Трензелевъ недоумѣвающаго старичка, горло котораго Андрей Андреевичъ только-что выпустилъ изъ рукъ.

— Хе, хе, хе... — вдругъ залился тотъ самымъ добродушнымъ смѣхомъ:—шутникъ ты право, Иванъ Кондратьичъ, хе, хе, хе... Вотъ въ какую передѣлку угодила Семенъ Бѣлотѣловъ!...

— Да это ты, Семенъ?—опѣшилъ Трензелевъ.

— Такъ точно, Иванъ Кондратьичъ: теперь засади меня, такъ я тѣ на десять лѣтъ седеръ да кадокъ надѣлаю! — заключилъ весельчакъ-бондарь, пересыпая свою рѣчь самымъ забористымъ смѣхомъ.

— Какъ тебя занесло сюда? — поинтересовался помощникъ.

— Да иду, батюшка, домой, — вижу сидить (онъ указалъ на Уклеикина)—педобраго челоуѣка сразу видать: дай, думаю, пережду его. Только было сѣлъ, а онъ ко мнѣ: „ты, говоритъ, такой-сякой, сорви голова!“—да прямо за горло... Господи, у насъ этого и не водилось николи!.. А теперь какъ угодно: я въ участокъ не пойду, Иванъ Кондратьичъ, — съ вами свяжись, такъ жизни не радъ будешь...

— Ну, ладно, ладно, — согласился Трензелевъ:—ступай себѣ съ Богомъ!.. Это бондарь нашъ, — пояснилъ онъ Уклеикину:—вы опять ошиблись... А ваше дѣло, кажется, раскрыто, —завтра денежки навѣрное получите, затѣмъ васъ и ищу. Вашъ Памва сидитъ!

— Можетъ ли быть?

— Кажется, что такъ, — подтвердилъ и докторъ, доселѣ желча разглядывавшій взволнованнаго Уклеикина. Отрекомендовавшись ему, онъ прибавилъ:—теперь можете спать, —утро вечера мудренѣе.

Всѣ трое двинулись вдоль бульвара.

— Но какимъ образомъ открылось все? — доспрашивалъ повеселѣвшій и словно помолодѣвшій Андрей Андреевичъ.

— Да такимъ образомъ, что теперь, батенька, спите, сколько влѣзетъ! — отвѣтилъ Трензелевъ..

— Мы куда же сейчасъ? — перебилъ его толстякъ докторъ, вынимая своей пухлой, съ массивнымъ перстнемъ, рукой огромную луковицу и стараясь разглядѣть, который часъ.

— А — какъ думаете? — вотъ проводимъ Андрея Андреевича, да и по домамъ? — пробормоталъ сквозь зубы Иванъ Кондратьевичъ: — Артемій Борисычъ въ театрѣ... да и поздно ужъ: до завтраго!... Вы же, батенька, — обратился онъ къ Андрею Андреевичу, — завтра изъ дому ни шагу, пока я самъ не загляну или не пришлю за вами; а то, какъ разойдемся, — пиши всему пропаю. Мы завтра, батенька, засаду устроимъ.

— Вотъ! — заключилъ докторъ, щелкнувъ своей луковицей.

— Никуда,, никуда! — согласился Уклеинъ: — если это необходимо, — распоряжайтесь мною, какъ вещью... А вамъ извѣстна вся исторія? — спросилъ онъ доктора.

— Какъ же, какъ же-съ! — отвѣтилъ Вафлинъ съ глубокимъ сочувственнымъ вздохомъ: — меня только занимаетъ вопросъ, — Андрей Андреевичъ? такъ, кажется? — убѣждены-ли вы, Андрей Андреевичъ, что не потеряли своего перевода?

— Ахъ, такъ вы главного не знаете! — всполошился Уклеинъ. — Слушайте, я вамъ все расскажу, если позволите.

— Пожалуйста, пожалуйста, — согласился толстякъ, тономъ, по меньшей мѣрѣ, председателя суда, что, разумѣется, не ускользнуло отъ наблюдательнаго Андрея Андреевича, и онъ не упустилъ случая посмѣяться въ душѣ надъ этой важностью, столь свойственной, если не всѣмъ, то очень многимъ полицейскимъ врачамъ.

— Сначала, — продолжалъ Уклеинъ, — я и самъ колебался — потерянъ, или не потерянъ мой переводъ? Но какъ вспомнилъ, что этотъ нахалъ отрекомендовался мнѣ Памвой Сарвиловымъ, — тутъ ужъ все для меня стало ясно: это подлая месь! Видите-ли, сажу я на бульварѣ...

— Виновать! — перебилъ докторъ: — Памва — это герой вашего разсказа?

— Да,—вѣдь вы читали?

— Нѣтъ... т. е. началъ, но не кончилъ... Хорошо-съ, продолжайте.

Въ своемъ разсказѣ Андрей Андреевичъ вдавался въ такія подробности и отступленія, что не довелъ его и до половины, какъ всѣ трое очутились подлѣ квартиры рассказчика. Иванъ Кондратьевичъ сталъ прощаться первымъ: всю дорогу онъ, очевидно, скучалъ, ибо ни единымъ словомъ не прерывалъ повѣствованіе Уклекина.— Да завтраго, Митрофанъ Савельичъ! —пожалъ онъ руку сначала доктору, а потомъ молча и самому Андрею Андреевичу. Послѣдній не мало удивился такой холодности со стороны любезнаго Трензелева.

— Вы ужъ простите меня, милѣйшій Иванъ Кондратьичъ, —сказалъ съ особеннымъ чувствомъ Уклекинъ,—вѣдь я понимаю вполне, какъ измучилъ васъ за эти дни.

— Да что вы, голубчикъ, Андрей Андреевичъ? Да нисколько, батенька!—и помощникъ съ чисто братской любовью облобызалъ Уклекина своими надушенными усиками. — Э, батенька! — прибавилъ онъ:—вы насъ забудьте, а вотъ сами-то усните хорошенько.

— Теперь усну, —бодро отвѣтилъ Андрей Андреевичъ:—и то за эти дни совсѣмъ отъ сна отбился.

— Да? спите плохо? — съ любезной улыбкой откланялся Вафлинъ,—и полицейскіе молча удалились.

На другой день, чуть свѣтъ, Уклекинъ выпроводилъ Аграфену съ узелочкомъ, напомнивъ ей вторично о двухъ рубляхъ; потомъ заперся и, вымытый и прилизанный, усялся въ окну поджидать разсылнаго изъ участка. „Памва сидитъ!“ —думалъ онъ:—„и если деньги и пропали, то все-таки инцидентъ огласится, и редація можетъ принять участіе въ своемъ сотрудникѣ... Пошлю „Зю“ при письмѣ, въ которомъ чистосердечно расскажу имъ мое положеніе: вѣдь одно изъ двухъ—или грошовые уроки, или писать! Угодно имъ спасти меня для литературы, такъ пусть поддержать: лѣтняя одежда тю-тю, часы тоже“...

Въ это время на улицѣ показались Иванъ Кондратьевичъ съ Вафлинымъ. Странно, никогда прежде не замѣчалъ Уклекинъ такой близости между Трензелевымъ и полицейскимъ „эскулапомъ:“ друзья—оказывается!—подумалъ Андрей Андреевичъ и сталъ прислушиваться, не постучатся-ли къ нему.

Стуль раздался действительно вскорѣ же. Но, вмѣсто полицейскаго, Улейкинъ встрѣтилъ за дверью дворника.

— Что, Сысой, — въ участокъ? — спросилъ Андрей Андреевичъ.

— Нѣтъ, сударь, я уже былъ въ участокъ; а ждите вамъ нужно что?

— Да помощникъ съ докторомъ развѣ не ко мнѣ?

— Наказали кланяться, сей минуту прошли... Я, Андрей Андреевичъ, почему что Аграфена ушла, такъ вамъ коли что потребуется — позовите безъ сомнѣнія, это что же, помочь во всякое время можно.

— Спасибо, Сысой!... Аграфена о двухъ рубляхъ не говорила тебѣ?

— Сказывала вѣдь.

— Я тебѣ ихъ отдамъ навѣрное сегодня же... Ты же замѣтилъ, куда свернулъ Иванъ Кондратьичъ?

— Да вы, сударь, погодите, — похоже, къ вамъ зайдутъ: все спрашивали, какъ поживали ваша милость, давно-ли встали?.. Воды, Андрей Андреевичъ, довольно пока, а коли что — кликните.

— И заботливый дворникъ успѣлъ. Улейкинъ съ папирской снова усѣлся къ окну. Вскорѣ онъ проголодался и съ аппетитомъ докончилъ остатокъ колача, что уцѣлѣлъ отъ чая. Такъ прошло времени съ добрыхъ два часа. Соскучившись, Андрей Андреевичъ взялся за письмо въ редакцію *Круга*. Съ первыхъ же строкъ письмо приняло тонъ фамиліарно-родственный, и потому Улейкинъ, списывая страницу за страницей, совершенно не замѣчалъ времени... Наконецъ раздался давно ожидаемый стулъ въ двери. Андрей Андреевичъ вылетѣлъ въ сѣни...

— Честь имѣю!... Вы дома, и отлично! — съ тяжелой отдышкой проговорилъ Вафлянь.

— А Иванъ Кондратьичъ? — спросилъ Улейкинъ.

— Сейчасъ доложу вамъ все обстоятельно.

Толстякъ, войдя въ комнаты, тотчасъ сѣлъ безъ приглашенія, вытащилъ тяжелый серебряный норсигаръ, всталъ папирску въ замысловатый и очень крупный янтаръ и, наконецъ выговорилъ:

— А дорогъ эта штучка? — Собираясь закурить, онъ внимательно разсматривалъ бронзовую спичечницу, изображавшую

печь, въ дупло котораго, стоя на заднихъ лапкахъ, заглядывалъ длинноухій заяцъ-русакъ.

— Право, не знаю, — замедля удивленный Андрей Андреевичъ: — это подарокъ родителей одного изъ моихъ бывшихъ учениковъ, — купленъ въ Пале-Рояль.

— Гм!.. Да! — сказали докторъ, закуривая свою толстую пациросу: — А... намъ съ вами надо ѣхать къ Ивану Кондратьичу, — я и лошадь не отпустилъ: вѣдь вы скоро соберетесь?

— Въ участокъ ѣхать!

— Нѣтъ, не въ участокъ... Трензелевъ далъ мнѣ адресъ, а что на умѣ у него, — не могу вамъ сказать. Тутъ дѣло идетъ о цѣлой шайкѣ отъявленныхъ негодяевъ, и устраиваютъ какую-то засаду, въ которой и вы должны принять участие.. Да ужъ это ихъ дѣло, а мнѣ туда по дорогѣ, и я съ удовольствіемъ подвезу васъ.

— Я готовъ! — такъ и подпрыгнулъ вдвойнѣ заинтересованный Уклеикинъ.

— Такъ и нечего терять драгоценное времячко, — похвалилъ толстякъ, — отлично, ѣдемте!

Докторскій кучеръ, вѣроятно, былъ предупрежденъ о важности настоящаго вояжа и съ мѣста пустилъ лошадь во всю рысь. Андрей Андреевичъ былъ въ самомъ прекрасномъ расположеніи духа, пока у доктора не сорвалась съ языка довольно, правда, цвѣтистая фраза, — что-де Уклеикина сто пятьдесятъ рублей — положены, такъ сказать, на алтарь правосудія, ибо, если деньги эти и не сыщутся, то зато, благодаря имъ, перехватаютъ цѣлую роту вольнопрактикующихъ.

— Такъ денегъ еще нѣтъ? — вздохнулъ бѣдный Андрей Андреевичъ: — а я вѣдь думалъ... — Но вдругъ онъ вскричалъ, какъ безумный: „и съ кумомъ?“

— Атаманъ, то есть? — спросилъ неформатный Вафлинъ, не поворачивая головы: — вотъ ужъ не сумѣю вамъ доложить — пойманъ-ли атаманъ... А ловко вы изводили замѣтить: кумъ, ха, ха, ха... Именно — кумъ, ха, ха... Докторъ не замѣчалъ, что сосѣдъ давно его не слушаетъ. Дѣло въ томъ, что какъ разъ навстрѣчу докторскому экипажу двигались по тротуару двѣ фигуры: впереди шла Аграфена — въ яркомъ сарафанѣ въ новой бѣличей душегрѣйкѣ, какъ говорится, съ ягодицки; она тащила на спинѣ тяжелый узелъ, завернутый въ полосатый

платокъ; а слѣдомъ за ней шагаль, весь вспотѣвшій, самъ кумъ, неся, тоже на спинѣ, новый' небольшой сундукъ; на кумѣ былъ барашковый тулупъ и такая же шапочка. Шли оба, повидимому, на какой-нибудь вокзалъ—очень довольные, хотя и замѣтно усталые...

Минута — и докторскія сани миновали ихъ.

— Стой! — завопилъ Уклеинъ на кучера и ужъ приготовился было выскочить изъ саней: но — оглохъ-ли кучеръ, или лошадь испугалась крику, — только сани понеслись, какъ отъ волковъ...

— Бога ради, докторъ! — взмолился Андрей Андреевичъ. — Вотъ она дѣйствительность!... Велите остановиться!... О, какъ я былъ далека отъ дѣйствительности!... То былъ сонъ!... Проклятый сонъ!... Теперь все ясно!... Вотъ ужъ это такъ сама дѣйствительность.. Да вы посмотрите—вотъ они!.. Не туда, докторъ, не туда—оглянитесь назадъ: вотъ настоящій Памва!.. Ну, я васъ спрашиваю... да остановитесь-же... я васъ [спрашиваю—откуда у нея эта шубка?... И кумъ! и кумъ!... Ахъ, Богъ мой! да вѣдь онъ не далѣе, какъ въ тотъ самый вечеръ, былъ у меня весь опипанный, точно мокрая курица! Гдѣ взяли барашки!... Ахъ, ты, интендантская крыса!... —Такъ свирѣпствовалъ Уклеинъ, давно уже обращая на себя всеобщее вниманіе...

Въ теченіе этого бурнаго монолога не безмолвствовалъ и Вафлинъ: не слушая своего попутчика, онъ, въ свою очередь, твердилъ одно:—Опомнитесь, Андрей Андреевичъ!... Какой тамъ Памва?... Вѣдь такъ и вчера вы ошиблись... Вашъ Памва сидитъ давно за семью печатями... Вѣдь вы все дѣло испортили!... Изъ-за чего-жъ хлопоталъ Иванъ Кондратьичъ? Неужели полиція не знаетъ, чтѣ дѣлаетъ?... Стой!!—гаркнулъ докторъ въ заключеніе, поровнявшись съ однимъ громаднымъ зданіемъ казеннаго типа. — Въ ворота! — добавилъ онъ, срываясь съ голоса. И сани свернули съ улицы во дворъ къ великому огорченію многихъ уличныхъ зѣвакъ.

Роковая ошибка объяснилась для Уклеина слишкомъ поздно...

Не знаю, какъ идетъ лѣченіе злосчастнаго автора знаменитаго святочного разсказа, и есть-ли надежда на его полное выздоровленіе; судя по тому, что завѣдующій больницей докторъ-психіатръ затребовалъ къ себѣ не только экземпляръ

„Роковой Ошибки“, „Зоя, драму“, одобренного всезнающим чехом „Всеволода Большое Гнѣздо“... но даже и послѣднее, неоконченное, письмо Андрея Андреевича въ редакцію „Отечественнаго Круга“ — судя по всему этому, можно предположить, что, конечно, мнимо-больной попалъ, къ счастью, въ руки надежныя; однако, я, близко знавшій Уклекина, не рѣшаюсь слишкомъ обнадеживать читателя: мнѣ думается, что бѣдному Андрею Андреевичу врядъ-ли пройдетъ даромъ пребываніе, хотя бы и кратковременное, въ томъ домѣ и обществѣ, куда его, по непростительному недоразумѣнію, завезъ г. Вафлинъ, о чемъ послѣдній и доложилъ Ивану Кондратьевичу въ тотъ же день, ровно въ 5-ть часовъ вечера, — какъ показывала стрѣлка на докторской луковицѣ...

— Да — соболѣзновать Артемій Борисовичъ, немного позднее, нѣжась въ халатикѣ за вечернимъ чаемъ (въ этой обстановкѣ онъ любилъ пофилософствовать) — да, удивительная судьба нашихъ писателей: Пушкинъ на 38-мъ, Лермонтовъ 27-ми лѣтъ...

— Вотъ я то-то и говорю, — сказала супруга Артемія Борисовича, любившая вмѣшиваться въ философскія разсужденія своего мужа: — я всѣмъ говорю — на что это писаніе, если можно прожить жизнь хорошимъ человѣкомъ и безъ писанія?..

А. С.

20 сентября 1895 г. ✓

К. М. Фотанову *).

Морозъ... Мятель... Растутъ сугробы
Презрѣнной лжи, докучныхъ дразгъ!..
Бушуетъ буря лютой злобы,
Цѣпей позорныхъ слышенъ лязгъ...

* * *

Въ твоємъ саду—благоуханье,
Поютъ немолчно соловьи...
Тамъ тѣни, тайны, тамъ сліянье
Всѣхъ красокъ въ радугѣ любви!..

* * *

Измученъ бурей, тьмой унылой,
Томимый жаждой красоты,—
Гостилъ я часто, другъ мой милый,
Въ саду, въ дворцахъ твоей мечты!

* * *

Теперь... къ тебѣ стучится въ двери
Дитя досуга моего...
Отцомъ будь крестнымъ для него:
Вѣдь мы собраты и по вѣрѣ
Въ любви безсмертной торжество!...

*) При посвященіи драматическаго этюда: „Два милостыни“.

Библиографическія замѣтки.

Сочиненія Н. В. Шелгунова. Второе изданіе (О. Н. Поповой). Три тома Ц. 5 р. СПб. 1895.

Къ новому, значительно (на цѣлый томъ) дополненному изданію сочиненій покойнаго Н. В. Шелгунова приложены портреты писателя и видъ памятника надъ его могилой (на Волковомъ кладбищѣ, въ Петербургѣ). Перепечатана изъ перваго изданія и статья Н. К. Михайловскаго, также добавленная тѣми статьями (въ «Русской Мысли» и въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ»), которыя были написаны Н. К. Михайловскимъ послѣ смерти Шелгунова. Въ этихъ статьяхъ представлена мастерская характеристика неутомимаго публициста, стойкаго и до старости пылкаго дѣятеля, мягкаго, добрѣйшаго и деликатнѣйшаго человѣка.

Большая часть статей Шелгунова посвящена популяризациі научныхъ знаній, социально-экономическимъ и педагогическимъ вопросамъ. Въ немногихъ критико-литературныхъ статьяхъ Шелгуновъ оставался публицистомъ опредѣленнаго лагеря. Такъ, по поводу *Обрыва* Николая Васильевича написалъ разборъ, озаглавивъ его *Талантливая безталантность*. Шелгуновъ упрекаетъ Гончарова въ недостаткѣ пониманія жизни, въ недостаткѣ свѣтлаго, прогрессивнаго ума, который, по мнѣнію Шелгунова, важнѣе самого таланта. Этотъ взглядъ составляетъ извѣстную, *писаревскую* крайность того направленія, лучшими представителями котораго были Чернышевскій и Добролюбовъ. Съ большею частью идей, горячо и умно защищаемыхъ Шелгуновымъ, нельзя не согласиться; но самыя задачи критики ставятся имъ односторонне. Невозможно признать *соціальную мысль* — единственнымъ мѣриломъ и основною силою таланта.

Другая изъ большихъ критическихъ статей Н. В. Шелгунова посвящена *Войнѣ и миру* Л. Н. Толстого и содержаніе ея достаточно характеризуется заглавіемъ: *Философія застоя*.

Въ послѣдніе годы своей жизни Н. В. Шелгуновъ помѣщалъ почти каждый мѣсяцъ въ «Русской Мысли» свои обзорѣнія текущей жизни (*Очерки русской жизни*). Эти превосходные очерки (третій томъ новаго изданія) создали ему новую и исключительно широкую извѣстность. Когда распространились слухи о тяжелой болѣзни писателя, то со всѣхъ концовъ Россіи стали поступать письма и адреса съ выраженіемъ глубочайшаго уваженія и сочувствія къ человѣку шестидесятихъ годовъ, такъ бодро, горячо и проникательно обсуждавшему явленія нашей общественной жизни въ восьмидесятихъ годахъ (Николай Васильевичъ Шелгуновъ скончался 12 апрѣля 1891

года). Къ сожалѣнію, по нашимъ условіямъ, для этихъ поучительныхъ документовъ еще не настала исторія.

Случалось, конечно, Н. В. Шелгунову ошибаться въ своихъ сужденіяхъ, но и въ этомъ отношеніи онъ поступалъ такъ, какъ многія счастливыя исключенія. Въ одной изъ своихъ статей, напри-
мѣръ, онъ рѣзко отзывался о Хвоцинской (Крестовскій - псевдонимъ). Убѣдившись въ своей ошибкѣ, онъ написалъ письмо автору «*Большой Медицины*». О содержаніи письма можно судить по отвѣту Хвоцинской, который не задолго до смерти передалъ мнѣ Николай Васильевичъ. Отвѣтъ характеренъ для обѣихъ сторонъ. «Сію минуту прочитала ваше письмо, Николай Васильевичъ», — пишетъ изъ Рязани Хвоцинская (10 декабря 1874г.), — «и протягиваю Вамъ обѣ руки. Оно меня много, горько обрадовало. Не передать всего, что оно мнѣ напомнило, далекаго, хорошаго, тяжелаго — лучшихъ годовъ. Если Вамъ хотѣлось бы поплакать, то я пишу Вамъ и плачу. Но я не могу быть не сама собой, особенно передъ Вами, я не могу не высказать именно Вамъ, теперь, когда Вы сами вспомнили меня. Я не удивилась, что Вы мнѣ написали: Вы никогда не могли и не имѣли права отказаться отъ меня, какъ отъ человѣка. Я тогда, три года назадъ, удивилась, что Вы отдали на осужденіе всѣхъ нашихъ общихъ недруговъ всю мою дѣятельность, какъ человѣка. Въ художественномъ отношеніи я знаю себя и свое мѣсто. Никто лучше меня не видитъ моихъ промаховъ, незнанія, словомъ, всего, что справедливо осмѣивается. Я давно бы, никогда бы не писала, еслибъ не необходимость работать; изъ-за нея я и пишу такъ много. Но, рѣшившись на эту поденщину, я сказала себѣ, что никогда не проговорюсь нечестнымъ словомъ, не измѣню той правдѣ, которой вѣрю, которая общая у меня съ лучшими людьми; этой вѣрой — я равна съ этими людьми, — и вдругъ Вы (Вы — только одно это слово!) говорите, будто все, что я дѣлала слишкомъ двадцать лѣтъ — нечестно! Никакими словами не скажешь, что я вынесла, — этой нравственной боли, этого сомнѣнія въ самой себѣ. Мнѣ было необходимо пройти всю свою жизнь, всѣ помыслы и дѣйствія, чтобы убѣдиться снова, что я не виновата. Виноваты были Вы, — это мнѣ было также горько. Вы не подумали, когда писали вашу статью, что бѣете не по глупому самолюбію, а по живому, по душѣ и убѣжденіямъ человѣка. Но, говорю Вамъ, какъ честный человѣкъ, я не почувствовала ничего, кромѣ глубокаго горя, и Вы остались для меня тѣмъ-же вѣчно уважаемымъ дѣятелемъ, на котораго мы должны глядѣть, какъ на примѣръ. Вы только ошиблись и не досмотрѣли. Вы, можетъ быть, думали, что это примется легко. Страшно сказать: можетъ быть, у васъ въ главахъ бывали примѣры, что такіа осужденія принимаются легко. Теперь, когда это прошло, когда у меня въ глазахъ ваше письмо — этотъ залогъ вашего добраго, дорогаго для меня чувства, — я только попрошу Васъ всегда помнить, что я Ваша, что мои убѣжденія нераздѣльны съ моею жизнью, а другую сторону, — художественность, писательство, — предоставляю кому угодно, не только Вамъ, отдѣлывать по заслугамъ. Это только работа, а не мое внутреннее чувство. Жизнь, которой мы живемъ, слишкомъ темна, чтобы

еще я, писатель десятого разряда, осмѣливалась прибавлять къ ней и свое зло. Этого не бывало и никогда не будетъ. Я не могу высказать всего, что думаю, да не хватаетъ у меня на это и дарованія,— но ручаюсь за себя: до конца жизни не скажу того, чего не думаю, и ничто меня не заставитъ. Счастье въ нашей темнотѣ — вотъ оно: черезъ много лѣтъ встрѣтить вниманіе, которое и радуется, и ободряетъ, съ которымъ связано столько дорогого и общественнаго, и личнаго. Не знаю, какъ Васъ благодарить за него. Слѣдую тоже своему первому движенію и высказываюсь: какъ-бы хотѣлось, чтобы еще, когда-нибудь, когда у Васъ будетъ лишняя минута и захотите сказать слово, которое будетъ сужденіемъ критика,—Вы написали мнѣ еще. Какъ-бы это было хорошо!»

М. А. Протопоповъ: *Литературно-критическія характеристики*. Спб. 1896. Ц. 2 руб. 20 коп. Изд. редакція журнала «Русское Богатство».

Авторъ собралъ въ этотъ томъ свои статьи о писателяхъ, «уже заключившихъ свою литературную дѣятельность». Всѣхъ статей десять: о Бѣлинскомъ, Л. Н. Толстомъ, Шелгуновѣ, Гаршинѣ, С. Т. Аксаковѣ, А. М. Жемчужниковѣ, Г. И. Успенскомъ, Рѣшетниковѣ, Златовратскомъ, Петропавловскомъ (Каронинѣ). А. М. Жемчужниковъ продолжаетъ, однако, бодро и честно писать; Л. Н. Толстой также не *заклочилъ* еще, къ счастью, свою литературную дѣятельность; Н. Н. Златовратскому пятьдесятъ лѣтъ. *Формальный признакъ*, какъ говоритъ М. А. Протопоповъ въ предисловіи, выбранъ не совсѣмъ удачно.

Г. Протопоповъ пользуется большою и заслуженною извѣстностью. Честная, горячая мысль характеризуетъ всѣ его статьи, нерѣдко отличающіяся мѣткимъ остроуміемъ. Очень рекомендую *Литературно-критическія характеристики*, я отмѣчу и нѣкоторые, по моему мнѣнію, недостатки въ этихъ статьяхъ.

Г. Протопоповъ не признаетъ, чтобы человѣческая природа развивалась въ своемъ внутреннемъ содержаніи, въ богатствѣ и тонкости чувствованій. Для него въ пушкинскомъ стихотвореніи «Въ часъ незабвенный, часъ печальный», слова «заснула ты послѣднимъ сномъ» и «издохла», какъ говоритъ рѣшетниковскій Сысойка, — выражаютъ одно и то же чувство. Мы думаемъ, — ужъ, конечно, не изъ аристократизма — что въ подобныхъ случаяхъ существуетъ разница не въ формѣ только, но и въ содержаніи.

Для М. А. Протопопова, какъ и для Н. В. Шелгунова, «литературная критика есть ни что иное, какъ литературная (?) публицистика». Самъ авторъ на слѣдующей страницѣ признаетъ, однако, существованіе и исторической, и эстетической критики (стр. 78 и 79).

Критикъ говорить, что гр. Л. Н. Толстой никогда не былъ выразителемъ идеаловъ извѣстной общественной группы. «Глубокій психологъ,—онъ (Л. Н. Толстой) въ то-же время самъ, какъ нравственная личность, глубочайшая психологическая загадка, не только для насъ, людей постороннихъ, но и для самого себя». Критика шестидесятихъ годовъ будто-бы безнадежно махала на него рукою и пре-

вращала съ нимъ и о немъ всякій разговоръ. Въ дѣйствительности мы находимъ о гр. Л. Н. Толстомъ у одного Чернышевскаго двѣ статьи (*О дѣтствѣ и отрочествѣ, Военные рассказы и Ясной Поляны*), и статьи эти весьма интересны. Чернышевскій признавалъ удивительнымъ изображеніе психическихъ сценъ у Л. Н. Толстого. «Глубокое изученіе человѣческаго сердца»,—писалъ Чернышевскій,—«будетъ неизмѣнно придавать очень высокое значеніе всему, что бы ни написалъ онъ и въ какомъ-бы духѣ ни написалъ». Чернышевскій предсказывалъ, что Л. Н. Толстой напишетъ сочиненія, въ которыхъ поразить «глубиною идей, интересомъ концепціи, сильными очертаніями характеровъ, яркими картинами быта». Неужели такъ писать значило безнадежно махать рукою?

М. А. Протопоповъ, полемизируя съ Н. К. Михайловскимъ, говоритъ, что по отношенію къ гр. Толстому *совсѣмъ не годятся* логическіе приемы: «Его нужно изучать и наблюдать, какъ фیزیологъ и психологъ изучаютъ живое тѣло и живую душу, во всей полнотѣ ихъ физическихъ и духовныхъ отпавленій, во всей цѣлостности ихъ строенія и организаціи». Но развѣ такое изученіе мыслимо безъ *логическихъ приемовъ*?

Приведенные примѣры свидѣтельствуютъ, что взгляды М. А. Протопопова въ иныхъ случаяхъ не отличаются точностью. Но въ общемъ его книга можетъ доставить много пользы и нравственнаго удовлетворенія обширному кругу читателей.

В. Гольцевъ.

Общество Любителей Россійской Словесности,
учрежденное при
ИМПЕРАТОРСКОМЪ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ
6 июня 1811 года.

Составъ Общества къ 1 февраля 1896 года.

1. Должностныя лица.

Предсѣдатель:

Николай Ильичъ Стороженко.

Временный Предсѣдатель (товарищъ Предсѣдателя):

Алексѣй Николаевичъ Веселовскій.

Секретарь:

Дмитрій Дмитриевичъ Языковъ.

Временный секретарь (товарищъ Секретаря):

Владиміръ Ивановичъ Шенрокъ.

Казначей:

Андрей Ендокимовичъ Носъ.

Члены Приготовительнаго Комитета:

Викторъ Александровичъ Гольцевъ.

Иванъ Андреевичъ Линиченко.

II. Почетные члены:

1859 г. 15 апрѣля.	Энгельгардтъ, Софья Владиміровна.
1864 г. 22 марта.	Бахметева, Александра Николаевна.
1869 г. 30 января.	Николай I-й, Князь Черногорскій.
1870 г. 18 декабря.	Ригеръ, Францъ Владиславъ.
1873 г. 15 декабря.	Леже, Луи.
" " "	Рамбо, Альфредъ.
1885 г. 19 апрѣля.	Толстой, графъ Левъ Николаевичъ.

- 1886 г. 15 октября. Буслаевъ, Оедоръ Ивановичъ.
1887 г. 14 марта. Полонскій, Яковъ Петровичъ.
1887 г. 24 апрѣля. Брандесъ, Георгъ.
1887 г. 16 ноября. Успенскій, Глѣбъ Ивановичъ.
1887 г. 20 ноября. Майковъ, Леонидъ Николаевичъ.
1890 г. 17 февраля. Пыпинъ, Александръ Николаевичъ.
1890 г. 10 іюня. Е. И. В. Великій Князь Константинъ Констан-
тиновичъ.
1892 г. 16 октября. Забѣлинъ, Иванъ Егоровичъ.
1893 г. 20 октября. Григоровичъ, Дмитрій Васильевичъ.
1894 г. 1 февраля. Солдатенковъ, Козьма Терентьевичъ.
1995 г. 23 февраля. Ермолова, Марья Николаевна.
" 21 октября. Вессловскій, Александръ Николаевичъ.
1896 г. 17 января. Росси, Эрнесто.

III. Дѣйствительные члены:

- 1858 г. 10 ноября. Безсоновъ, Петръ Алексѣевичъ.
1859 г. 28 января. Бартеневъ, Петръ Ивановичъ.
" " " Фонъ-Крузе, Николай Оедоровичъ.
1859 г. 29 апрѣля. Жемчужниковъ, Алексѣй Михайловичъ.
1860 г. 27 января. Майковъ, Аполлонъ Николаевичъ.
1860 г. 29 февраля. Майковъ, Аполлонъ Александровичъ.
1860 г. 6 апрѣля. Ламанскій, Владиміръ Ивановичъ.
1864 г. 24 ноября. Чаевъ, Николай Александровичъ.
1865 г. 9 января. Иловайскій, Дмитрій Ивановичъ.
1866 г. 26 января. Ефремовъ, Петръ Александровичъ.
1868 г. 14 апрѣля. Бергъ, Оедоръ Николаевичъ.
1870 г. 18 января. Аксаковъ, Николай Петровичъ.
" " " Барсовъ, Ельпидифоръ Васильевичъ.
1870 г. 18 декабря. Медаковичъ, В.
" " " Миличевичъ, М.
1872 г. 9 февраля. Ягичъ, Игнатій Викентьевичъ.
" 22 мая. Нефедовъ, Филиппъ Діомидовичъ.
" 5 октября. Веселовскій, Алексѣй Николаевичъ.
" " " Миллеръ, Всеволодъ Оедоровичъ.
1873 г. 9 ноября. Кирпичниковъ, Александръ Ивановичъ.
1874 г. 12 марта. Аверкіевъ, Дмитрій Васильевичъ.
" " " Павловъ, Николай Михайловичъ.
1874 г. 14 декабря. Субботинъ, Николай Ивановичъ.
1875 г. 3 февраля. Квашинъ-Самаринъ, Николай Дмитріевичъ.
1876 г. 19 сентября. Стороженко, Николай Ильичъ.
1877 г. 9 октября. Коршъ, Евгеній Оедоровичъ.
" 12 ноября. Голохвастова, Ольга Андреевна.

1877 г.	12 ноября.	Коваленская, Александра Григорьевна.
"	18 декабря.	Ключевскій, Василій Осиповичъ.
"	"	Павловъ, Алексѣй Степановичъ.
"	"	Поливановъ, Левъ Ивановичъ.
1878 г.	13 марта.	Мрочекъ-Дроздовскій, Петръ Николаевичъ.
"	"	Салиасъ, графъ Евгеній Андреевичъ.
"	"	Соловьевъ, Владиміръ Сергѣевичъ.
"	"	Троицкій, Матвѣй Михайловичъ.
"	"	Филимоновъ, Юрій Дмитріевичъ.
"	"	Фортуатовъ, Филиппъ Федоровичъ.
"	"	Чупровъ, Александръ Ивановичъ.
"	"	Шпажинскій, Ипполитъ Васильевичъ.
"	17 ноября.	Ковалевскій, Максимъ Максимовичъ.
"	19 декабря.	Богдановъ, Анатолій Петровичъ.
"	"	Шпилевскій, Сергѣй Михайловичъ.
1879 г.	22 марта.	Миропольскій, Сергѣй Иринеевичъ.
1880 г.	10 ноября.	Гольцевъ, Викторъ Александровичъ.
"	3 декабря.	Звѣревъ, Николай Андреевичъ.
"	"	Иванюковъ, Иванъ Ивановичъ.
"	"	Семевскій, Василій Ивановичъ.
"	"	Стасюлевичъ, Михаилъ Матвѣевичъ.
"	"	Сухомлиновъ, Михаилъ Ивановичъ.
1882 г.	"	Анучинъ, Дмитрій Николаевичъ.
"	"	Венкстернъ, Алексѣй Алексѣевичъ.
"	"	Джаншиевъ, Григорій Аветовичъ.
1883 г.	22 апрѣл.	Маклакова, Лидія Филипповна.
"	"	Некрасова, Екатерина Степановна.
"	"	Цебрикова, Марія Константиновна.
"	"	Янжулъ, Иванъ Ивановичъ.
1884 г.	1 марта.	Боборыкинъ, Петръ Дмитріевичъ.
"	"	Златовратскій, Николай Николаевичъ.
"	"	Муромцевъ, Сергѣй Андреевичъ.
"	"	Носъ, Андрей Евдокимовичъ.
"	"	Острогорскій, Викторъ Петровичъ.
"	12 декабря.	Камаровскій, графъ, Леонидъ Алексѣевичъ.
"	"	Языковъ, Дмитрій Дмитріевичъ.
"	"	Якушкинъ, Вячеславъ Евгеньевичъ.
1885 г.	19 января.	Пругавинъ, Александръ Степановичъ.
"	19 апрѣл.	Эртель, Александръ Ивановичъ.
1886 г.	22 марта.	Короленко, Владиміръ Галактіоновичъ.
"	"	Маминъ, Дмитрій Нарвизовичъ.
"	"	Мачтетъ, Григорій Александровичъ.
"	15 октября.	Гротъ, Николай Яковлевичъ.
"	"	Виленинъ (Минскій), Николай Максимовичъ.
"	24 "	Брандтъ, Романъ Федоровичъ.
1886 г.	24 октября.	Лесевичъ, Владиміръ Викторовичъ.
1887 г.	16 января.	Венгеровъ, Семенъ Аванасьевичъ.
"	"	Сумбатовъ, князь, Александръ Ивановичъ.

1887 г.	9 февраля.	Розина, Евдокия Францевна.
"	"	Каблукова, Мина Карловна.
"	24 апреля.	Михайловскій, Николай Константиновичъ.
"	"	Трунинъ, Павелъ Викторовичъ.
"	20 ноября.	Архангельскій, Александръ Семеновичъ.
"	"	Воселовская, Александра Адольфовна.
"	"	Леонтьевъ, Иванъ Леонтьевичъ.
"	"	Энгельгардтъ, Анна Николаевна.
1888 г.	12 марта.	Крыловъ, Викторъ Александровичъ.
1889 г.	16 марта.	Бѣлоускій, Леонидъ Петровичъ.
"	"	Герье, Владимиръ Ивановичъ.
"	"	Корелинъ, Михаилъ Сергѣевичъ.
"	"	Личиниченко, Иванъ Андреевичъ.
"	"	Станкевичъ, Алексѣй Ивановичъ.
"	"	Чеховъ, Антонъ Павловичъ.
"	5 мая.	Станкевичъ, Константинъ Михайловичъ.
1890 г.	22 сентября.	Сядовскій, Михаилъ Прохоровичъ.
"	10 ноября.	Ивановъ, Иванъ Ивановичъ.
1891 г.	5 марта.	Щенрокъ, Владимиръ Ивановичъ.
1892 г.	26 марта.	Карнѣевъ, Александръ Дмитріевичъ.
1893 г.	20 октября.	Бальмонтъ, Константинъ Дмитріевичъ.
"	"	Немировичъ-Данченко, Владимиръ Ивановичъ.
"	"	Цоталенко, Игнатій Николаевичъ.
"	"	Салага, Илья Александровичъ.
"	"	Сперанскій, Михаилъ Несторовичъ.
1894 г.	15 января.	Виноградовъ, Павелъ Гавриловичъ.
"	"	Миллеръ, Павелъ Николаевичъ.
"	"	Осоловъ, Матвей Ивановичъ.
1894 г.	1 февраля.	Допатинъ, Давъ Михайловичъ.
"	14 марта.	Церткевъ, князь, Дмитрій Николаевичъ.
"	30 апреля.	Ожаничевскій, Александръ Михайловичъ.
"	28 сентября.	Волынецъ, Василій Львовичъ.
"	"	Сливинскій, Алексѣй Михайловичъ.
"	30 ноября.	Александровъ, Александръ Семеновичъ.
"	"	Андреева, Александра Алексеевна.
"	"	Дашкевичъ, Николай Павловичъ.
1895 г.	23 февраля.	Долговъ, Семенъ Осиповичъ.
"	23 марта.	Альбоу, Михаилъ Павловичъ.
"	"	Спасовичъ, Владимиръ Даниловичъ.

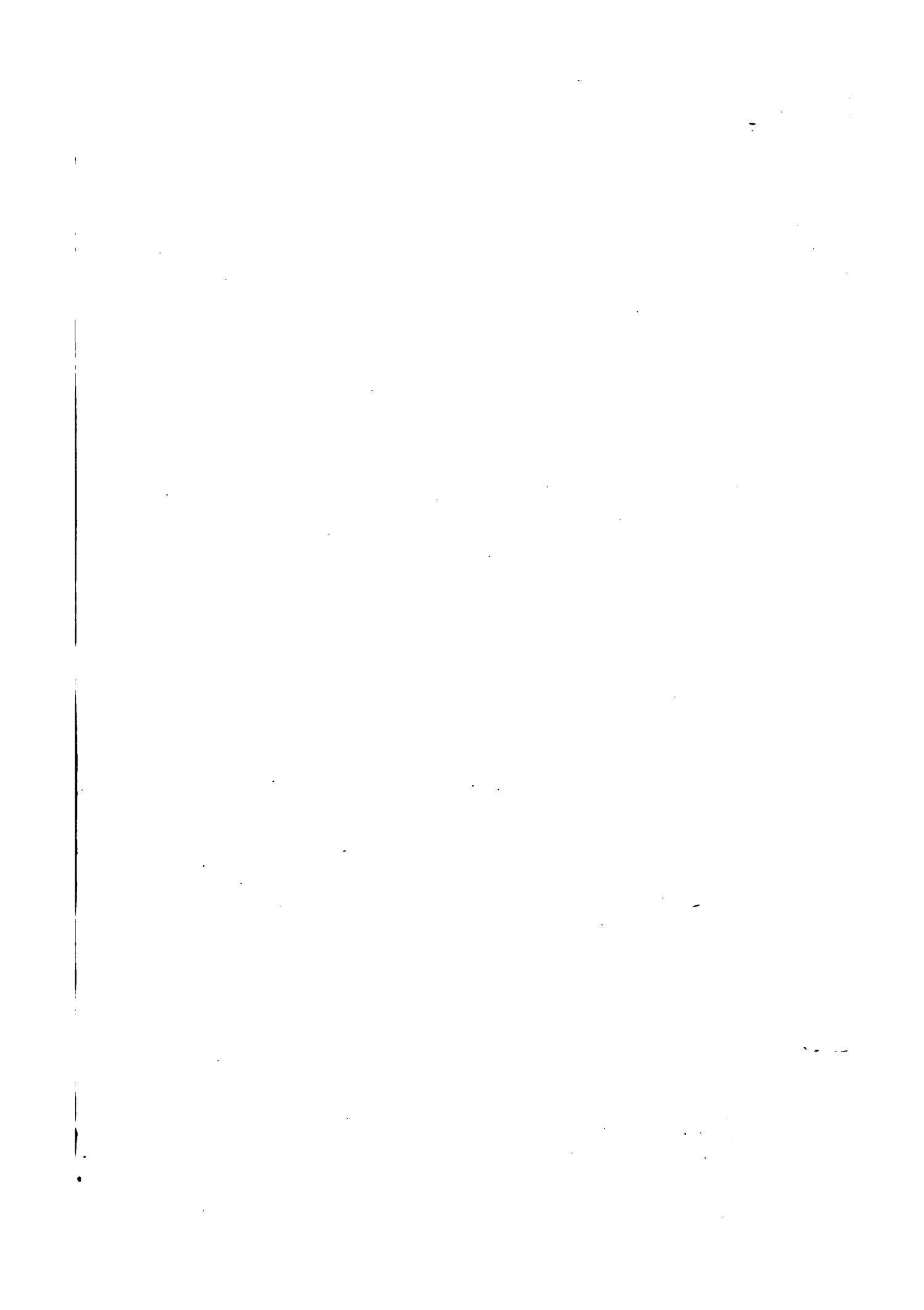
IV. Члены-сотрудники:

1869 г.	12 ноября.	Шейтъ, Павелъ Васильевичъ.
1894 г.	28 сентября.	Боженикова, Надежда Георгиевна.
1895 г.	23 февраля.	Бернатовъ, Владимиръ Евграфовичъ.



Содержаніе.

Изъ дополненій къ «Моимъ Воспоминаніямъ» <i>Θ. И. Буслаева</i>	1
Общій взглядъ на древнюю русскую литературу. <i>Н. С. Тихо- правова</i>	35
Ночь. Переводъ изъ „Фауста“. <i>К. Д. Бальмонта</i>	45
Нотулицулус. Этюдъ изъ алхиміи и изъ исторіи русской лите- ратуры. <i>А. Н. Пытца</i>	51
Два моряка. Разсказъ. <i>К. М. Станюковича</i>	67
Герценъ въ Вяткѣ. <i>Е. С. Некрасовой</i>	87
На могилѣ Шевченка. <i>Н. Н. Златовратскаго</i>	132
Изъ неизданной переписки В. Г. Бѣлинскаго. Письма его не- вѣстѣ—съ предисловіемъ <i>П. Н. Милюкова</i>	143
Конь Калигулы. <i>А. М. Жемчужникова</i>	229
Памятники древне-христіанской легенды въ нашей словесности <i>М. Сперанскій</i>	230
Двѣ милостыни. Драматическій этюдъ <i>В. Л. Величко</i>	242
Поэзія и личность Жадовской. <i>И. И. Иванова</i>	270
Переполюхъ. Разсказъ. <i>Ф. Д. Нефедова</i>	284
Былина о Батыгѣ. <i>В. Θ. Миллера</i>	348
Мертвые корабли. Поэма. <i>К. Д. Бальмонта</i>	372
Донъ-Кихоть московскаго захолустья. <i>М. П. Садовскаго</i>	376
Старый закалъ. Драма въ пяти дѣйствіяхъ князя <i>А. И. Сум- батова</i>	437
Поэзія и жизнь Щербины. <i>Л. П. Бѣльскаго</i>	516
Иванъ. Опытъ краткой монографіи. <i>Г. А. Мачета</i>	534
И. С. Тургеневъ въ кругу французскихъ литераторовъ <i>А. А. Андреевой</i>	553
Басни. <i>Р. Θ. Брандта</i>	594
Святочный разсказъ. <i>А. С.</i>	596
<i>К. М. Фофанову</i> . <i>В. Л. Величко</i>	626
Библиографическія замѣтки. <i>В. А. Голышева</i>	627
Списокъ членовъ Общества Любителей Россійской Словесности.	631



35P

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY



8000315646

